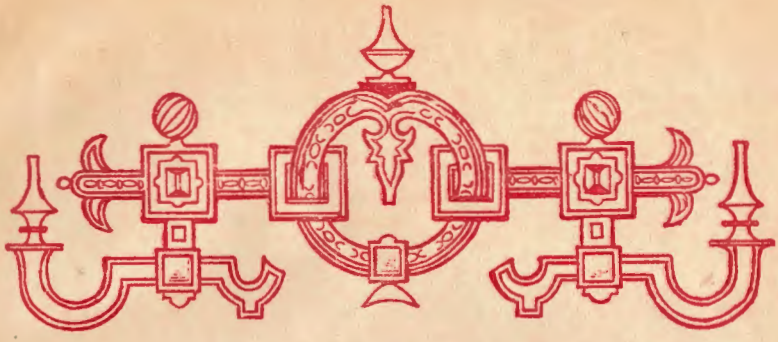
ГЕНРИ

ФИЛЬДИНГ

Избранные произведения

С. Захаров
Л. Захарова

20/XI 54 г.



ГЕНРИ ФИЛЬДИНГ

Избранные произведения в двух томах

1 том

ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

Вступительная статья

С. С. МОКУЛЬСКОГО

ГЕНРИ ФИЛЬДИНГ — ВЕЛИКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ

1

Генри Фильдинг (1707—1754) был выдающимся романистом и драматургом, крупнейшим сатириком и юмористом, «творцом реалистического романа, удивительным знатоком быта страны и крайне остроумным писателем», как отмечал М. Горький.

Генри Фильдинг принадлежал к числу наиболее замечательных людей того знаменательного исторического периода, простирающегося от конца английской революции XVII века до французской революции 1789 года, который принято называть эпохой Просвещения. В своей работе «От какого наследства мы отказываемся» В. И. Ленин говорит о трех чертах, характерных как для русских, так и для западноевропейских просветителей. Просветители были одушевлены «горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта...— горячая защита просвещения, самоуправления, свободы... Наконец, третья характерная черта «просветителя» это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому»[1]. Просветители разных стран, ведя борьбу с феодализмом и его пережитками в различных сферах жизни, мысли и культуры, «...совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»[2]. Они

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 472.
[2] Там же, стр. 473.

стремились поставить на службу народу все области знания и творчества. Веря в вечное совершенствование человечества, они проповедовали наступление «царства разума», построенного на священных принципах свободы, равенства и братства.

Основные идеологические тенденции были общими у просветителей разных стран. Все они более или менее решительно боролись с пережитками крепостничества, критиковали монархическое самовластие и религиозный фанатизм, вели борьбу за политическое и социальное освобождение народных масс, за приобщение их к культуре. Все просветители пропагандировали новые идеи в максимально доступной народу форме. Философия, наука, литература, театр носили у просветителей откровенно воспитательный, тенденциозный характер.

Однако острота нападок просветителей на феодальный порядок и уровень их демократизма были глубоко различны в отдельных странах Европы. В основном это определялось степенью экономического развития и политической зрелости буржуазии этих стран, связью буржуазии с движением народных масс и ее подготовленностью к революционным действиям. Соответственно этому, в различных странах совершенно по-разному протекала литературная и театральная жизнь.

Особенно боевой характер имело просветительское движение во Франции, где оно идеологически подготовляло первую французскую буржуазную революцию, явившуюся великим рубежом в мировой истории. Ф. Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно»[1]. Защита интересов угнетенного народа придавала огромную силу борьбе французских просветителей с феодализмом и абсолютизмом. Их основной задачей являлось стремление выковывать идеологическое оружие для грядущих революционных боев.

Иной характер имело просветительское движение в Англии, где оно не предшествовало буржуазной революции, а следовало за ней. Буржуазная революция произошла в Англии уже в середине XVII века. Начатая буржуазией, она победила благодаря активному участию в ней крестьянства и городских плебейских масс. Английская буржуазия была обязана пожатыми ею плодами победы революционной энергии народа, точно так же, как это имело место полтораста лет спустя во Франции. «За этим избытком революционной деятельности последовала неизбежная реакция, которая в свою очередь тоже зашла дальше своей цели»[2],— писал Энгельс. Эта реакция достигла высшей точки в период реставрации династии Стюартов, господству которых положила конец верхушечная буржуазная революция 1689 года, именуемая либеральными историками «славной революцией», тогда как на самом деле она была, по выражению Энгельса, «...сравнительно незначительным событием... компромиссом между подымающейся буржуазией и бывшими феодальными землевладельцами»[3]. В результате этого компромисса политическая власть осталась в руках аристократии, но

---

[1] Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. 1952. стр. 16.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 297.
[3] Там же, стр. 298.

буржуазия обеспечила себе экономическое господство. «С этого времени буржуазия стала скромной, но признанной частью господствующих классов Англии. Вместе с ними она была заинтересована в подавлении огромных трудящихся масс народа»[1]. Она перешла теперь на консервативные позиции, потому что начала испытывать страх перед новой революцией, в которой трудящиеся могли бы уже выступить против своих хозяев.

Приведенные факты вполне объясняют характерный для Англии XVIII века политический застой, особенно заметный по сравнению с революционными бурями предшествующего столетия. Они объясняют также сравнительную умеренность большинства английских просветителей, их страх перед революцией, их склонность к компромиссам, к прославлению буржуазной практики, готовность части просветителей вступить в контакт с пуританами, переняв присущее пуританам лицемерие.

Говоря об английском просветительстве, следует иметь в виду, что более или менее последовательные материалисты (например, Джон Толанд, Джозеф Пристли, Вильям Годвин) являлись в Англии исключением, становились объектом гонений и насмешек. Большинство английских просветителей придерживалось не материализма, а деизма — учения, признающего существование бога в качестве безличной первопричины мира, который во всем остальном предоставлен действию законов природы. В условиях господства церковного мировоззрения деизм зачастую являлся скрытой формой атеизма, удобным и легким способом отделаться от религии. Понятно широкое распространение деизма в Англии, этой классической стране политических и философских компромиссов. Наиболее известными английскими деистами были Болингброк, Шефтсбери, Коллинс. Их идеи оказали значительное влияние на писателей Просвещения. Впрочем, последние на словах часто открещивались даже от деизма, признавая его «безбожным» учением; так поступил, например, поэт-просветитель Александр Поп, хотя его «Опыт о человеке» насквозь проникнут деистическими идеями. Еще более непримиримы к деизму были представители чисто буржуазного крыла просветителей — Стиль, Аддисон, Ричардсон, придерживавшиеся пуританско-религиозного образа мыслей.

Приверженность религии и религиозной морали, которая издавна (еще с конца XVI века) облекалась в Англии в своеобразную оболочку пуританизма, составляла одну из наиболее характерных особенностей мировоззрения английской буржуазии XVIII века, решительно отличавшей ее от французской буржуазии XVIII века, последовательной в своей иррелигиозности. Пуританизм определил в сороковых годах XVII века идеологию первой английской революции. Он мобилизовал вокруг буржуазии широчайшие народные массы и помог ей одержать победу над королем и лордами. После того как буржуазия пришла к власти, она сохранила верность религии и пуританизму, который, однако, изменил свой прежний характер и из учения буржуазно-революционного превратился в учение буржуазно-охранительное, реакционное, имевшее задачу при помощи религии затемнять народное сознание и закреплять подчинение трудящихся работодателям, буржуа.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 298.

Пуританизм XVIII века характеризуется сочетанием политической консервативности с религиозным ханжеством, тартюфством. Последнее получает в Англии такое широчайшее распространение, что Белинский с полным основанием именует Англию «страной всеобщего тартюфства».

Не удивительно поэтому, что именно вопрос об отношении к пуританизму оказался в какой-то момент центральным в идеологической борьбе среди просветителей. По этому вопросу и произошло размежевание английских просветителей на два направления. Писатели, критически настроенные по отношению к буржуазии и ее пуританскому мировоззрению,— Свифт, Гей, Фильдинг, Смоллет,— образуют критическое, антипуританское течение внутри английского просветительства, резко отличавшееся от апологетического, буржуазно-пуританского течения, представителями которого были Дефо, Стиль, Аддисон, Ричардсон и Лилло.

Существенным различием между двумя отмеченными течениями английского просветительства являлось то, что представители второго течения стремились перевоспитать, «просветить» людей путем морально-религиозной проповеди и совсем не ставили вопроса о недостатках общественно-политического строя Англии, установленного после «славной революции» и казавшегося им совершенным. Представители первого течения стремились воспитать людей при помощи критики социально-политических недостатков современного общества, которое казалось им весьма далеким от совершенства; критикуя буржуазно-дворянское английское общество, они исходили из интересов народа, испытывавшего жесточайший гнет не только при феодальных, но и при буржуазных общественных отношениях.

Однако при всей прогрессивности установок критического течения просветительства мировоззрение писателей этой группы было лишено революционности; изменения существующих общественных условий они хотели достигнуть посредством такой же моральной проповеди, к какой прибегали и представители второго течения. Это сближало подчас просветителей критического, антипуританского течения с просветителями буржуазно-пуританского, апологетического течения или же вносило в их творчество нереальные, утопические черты. И ту и другую тенденцию мы найдем также и в творчестве Фильдинга.

Основоположником критического направления в просветительстве в первой половине XVIII века был великий английский сатирик Джонатан Свифт (1667—1745), бессмертный автор «Сказки о бочке» (1704), «Путешествий Лемюэля Гулливера» (1726) и серии острых политических памфлетов. Характерной особенностью идейных установок Свифта являлось сочетание ненависти к пережиткам феодализма и огромной прозорливости в оценке новых буржуазных общественных отношений, которые казались ему враждебными человеческой природе. Свифт первый из всех европейских просветителей положил начало критике буржуазного «прогресса», он первый раскрывал отвратительные стороны буржуазного общества и государства, в котором царит собственнический дух, всеобщая купля и продажа, наглая погоня за наживой, прикрытая лицемерной пуританской моралью. Питательной почвой для таких широких антибуржуазных настроений, наслаивающихся на антифеодальные, являлся подъем народно-освободительного движения на родине Свифта, в Ирландии, откуда распространялась в Англию волна на-

родного гнева, беспрестанно растущего и углубляющегося недовольства обездоленных народных масс.

Другие представители критического направления, опиравшиеся на исторический опыт собственно Англии, тоже начинали понимать, что государственный и общественный строй, созданный в результате «славной революции», не отвечает интересам народа. Особенно отчетливо выявилась мнимость английской буржуазной демократии и вся ограниченность парламентаризма в период политического господства в Англии партии вигов, продолжавшегося около полувека (1714—1760).

В партии вигов сильны были торгово-промышленные элементы, заинтересованные в росте морской торговли и захвате колоний. По этому вопросу внутри партии вигов произошел раскол: старым вигам, во главе которых стоял премьер-министр Роберт Уолпол, противостояли новые, или молодые виги, иначе называемые «патриотами», возглавляемые Питтом-старшим, сторонником активной внешней политики. Молодые виги упрекали старых вигов в чрезмерном миролюбии, в недостаточной решительности внешней политики, шедшей вразрез с интересами английской буржуазии.

При Ганноверской династии, вступившей на английский престол после смерти королевы Анны (1714), сильно возрастает значение английского парламента. Однако это был парламент, избранный по крайне устарелой системе, которая характеризовалась неравенством в распределении голосов, лишением избирательных прав буржуазии растущих промышленных городов (Манчестера, Бирмингама и др.) и наличием избирательных прав у представителей так называемых «гнилых местечек», почти не имевших населения. Последнее обстоятельство содействовало развитию системы подкупа избирателей. При министерстве Уолпола коррупция стала главным жизненным нервом всего государственного управления и политической жизни страны. Если виги получали свои депутатские мандаты путем подкупа избирателей, то правительство в свою очередь подкупало членов парламента, раздавая им пенсии и выгодные должности, делая их участниками в прибылях торговых компаний. Это была разветвленная система подкупов и взяток, которой Уолпол опутал всю страну.

Против Уолпола выступали политические деятели и писатели разных группировок. Уолпола обличали и с позиций аристократической партииториев, и с позиций фракции молодых вигов, и с позиций беспартийных литераторов, державшихся просветительских взглядов.

Из среды последних и выросла группа писателей, создавших просветительский политический памфлет, комедию, роман. В творчестве этих писателей критика деятельности Роберта Уолпола начала перерастать в критику различных сторон политической и гражданской жизни современного им буржуазно-аристократического общества. Особенно важное значение имела деятельность талантливого драматурга Джона Гея, который под непосредственным воздействием Свифта создал в английском театре XVIII века пародийно сатирический жанр, смело бичевавший пороки современного общества. В качестве последователя этого направления в драматургии и завоевал первоначально свою известность Генри Фильдинг.

2

Генри Фильдинг родился в обедневшей аристократической семье. Он был старшим сыном Эдмунда Фильдинга, офицера, дослужившегося до генеральского чина. Кроме него, у его отца было еще одиннадцать детей. Материальное положение семьи Генри Фильдинга было стесненным. Отец рано оставил его без средств, обзаведясь после смерти первой жены новой семьей. Тем не менее будущему писателю удалось получить хорошее образование. Сначала он учился у священника соседней деревни. В 1718 году он поступил в Итонский колледж — привилегированное учебное заведение, где на одной скамье с ним сидели будущие руководители фракции молодых вигов — Питт-старший и Джордж Литтльтон, навсегда оставшиеся его друзьями и покровителями. Итонский колледж дал Фильдингу хорошее знание древних и новых языков.

В 1727 году, после окончания Итонского колледжа, Фильдинг появился в Лондоне почти без всяких средств к существованию. Несмотря на свое аристократическое происхождение, он превратился в настоящего «разночинца». Ему пришлось подумать о заработке, и он избрал себе профессию писателя.

В январе 1728 года вышло первое произведение Фильдинга — поэма «Маскарад». Фильдинг издевался в ней над пустотой и праздностью английской аристократии, над ее излюбленным увеселением — маскарадами, над придворным шаркуном, швейцарским авантюристом — «графом» Гейдеггером. Поскольку Гейдеггеру покровительствовал король Георг II, Фильдинг скрыл свое авторство под именем свифтовского героя Гулливера, «поэта-лауреата короля Лилипутии». Так, Фильдинг в первом же своем произведении как бы объявляет себя последователем Свифта и заимствует некоторые краски у знаменитого сатирика; впрочем, в выборе основного объекта своего нападения Фильдинг был самостоятелен. Мотив маскарада не раз появляется и в более поздних его произведениях («Том Джонс», 1749; «Амалия», 1751).

В том же 1728 году Фильдинг ставит в театре Дрюри-Лейн свою первую комедию — «Любовь в различных масках». Молодость и неопытность автора еще очень сильно чувствуются в этой пьесе. Она перегружена действующими лицами, интрига чрезмерно сложна и запутанна. Немало в ней прямых заимствований из Мольера и Конгрива. Однако мысль, лежащая в основе комедии, ставит ее в один ряд с будущими, более зрелыми произведениями Фильдинга-драматурга. Пьеса посвящена разоблачению притворства в любви ради наживы. В ней утверждается мысль, что подлинное чувство несовместимо с корыстью.

Через месяц после постановки первой пьесы Фильдинг отправился в Голландию, в Лейден, славившийся своим старинным университетом, в котором некогда преподавали Гроций и Декарт. Фильдинг учился здесь на филологическом факультете и расширил свои познания в античной литературе, приобретенные в колледже. Скудость средств не дала ему, однако, возможности закончить курс. Менее чем через два года он был уже снова в Лондоне. Здесь, в маленьком театре Гудменс-фильдс он поставил свою вторую комедию нравов — «Щеголь из Темпля» (1730).

Вторая комедия Фильдинга свидетельствует о значительном росте его литературного и театрального мастерства. Главным героем пьесы является молодой Уайльдинг, посланный богатым отцом в Лондон для обучения юридическим наукам в Темпле. Но повеса Уайльдинг тратит деньги на светские увеселения, а отцу посылает длинные счета за книги, свечи и т. п. Щеголю Уайльдингу противопоставлен юноша другого типа — Педант, далекий от жизни философ, напичканный книжной премудростью. С точки зрения просветителя Фильдинга, оба этих молодых человека в равной степени уклоняются от его положительного идеала. Последнему должны соответствовать, по замыслу Фильдинга, добродетельные любовники Белларня и Веромил, перекочевавшие в его комедию из модного жанра сентиментальной комедии Сиббера и Стиля.

Наибольший интерес в этой комедии представляют, однако, ее отрицательные персонажи. Они весьма разнообразны и колоритны. Здесь на первом месте стоит сэр Эварайс Педант, признающий одну науку — «уменье добывать деньги» и трепещущий от слова «философ», которое сразу наводит его на мысль о бедности. «Кому нужна наука в наш век, когда из тех немногих, кто владеет ею, большая часть умирает от голода!» — восклицает он. Близок к сэру Эварайсу и сэр Гарри Уайльдинг, богатый помещик, которому деньги заменяют все высокие чувства и принципы. Таковы старики и молодежь, мужчины и женщины в высшем английском обществе, для которого деньги уже давно стали силой всех сил.

К тому же жанру комедии нравов относится и ряд других комедий Фильдинга: «Политик из кофейни, или Судья в ловушке» (1730), «Старые развратники» (1732), «Дамский угодник» (1734), «Свадьба» (1742). Все они в жанровом отношении несколько напоминают комедии периода Реставрации и созданные под их влиянием произведения конца XVII и первых лет XVIII века — комедии Конгрива, Фаркера, Вэнбру. Однако в этих комедиях Фильдинга нет того цинизма, той откровенной грубости и скабрезности, которая была характерна для комедий периода Реставрации, особенно для главного представителя этого жанра, Вильяма Уичерли. Если в комедиях нравов Фильдинга и встречаются иногда отдельные элементы комедийного стиля Реставрации, то они используются в целях критики развращенности верхушки английского буржуазно-аристократического общества.

В настоящем издании напечатана лучшая комедия этого жанра: «Политик из кофейни, или Судья в ловушке». Из всех перечисленных пьес она содержит наиболее значительные элементы социальной сатиры. В стихотворном прологе к пьесе Фильдинг вспоминает традицию великого древнегреческого сатирика Аристофана. Он заявляет о том, что намерен разоблачать негодяев, которые держат в своих руках меч юстиции, разоблачать порок, облеченный властью, ибо «уважение к власти обязательно лишь тогда, когда она заботится о благе народа».

В центре комедии стоит сатирический образ судьи Скуизема (дословно: вымогателя), мошенника, взяточника и труса. Он беспощаден к бедным и снисходителен к богатым. Его житейская мудрость ярко выражена в следующих афоризмах: «Если вы не богач и у вас нет золота, чтобы платить за свои прегрешения, вам придется расплачиваться за них, как бедняку,— страданиями». «Те, которые издают законы, и те, которые осуществляют их,

могут им не подчиняться». «Закон — это дорожная застава, где пешим нет прохода, а каретам — сделайте милость, пожалуйста». Образ Скуизема дает Фильдингу возможность глубоко раскрыть классовый характер английского суда.

Но как ни важна сатира на английский суд, не она одна составляет содержание образа Скуизема. Этот неправедный судья является живым воплощением лицемерия и ханжества, присущего всему английскому буржуазному обществу, облаченному в пуританские одежды.

Характерной фигурой в комедии является констебль Стафф (дословно: жезл). Его функция — наблюдение за нравственностью, его привилегии — именем закона приводить клиентов к себе в дом, который является местом предварительного заключения, и наживаться на них. Стафф мечтает о том, чтобы на свете было побольше преступников,— вот когда он разбогатеет по-настоящему!

У Скуизема и Стаффа всегда наготове целый набор лжесвидетелей и присяжных, которые время от времени обновляются, потому что старый состав попадает на виселицу.

К числу отрицательных персонажей пьесы принадлежит и Политик, богатый и невежественный купец, помешанный на чтении газет и рассуждениях на политические темы. Купец ломает голову над вопросами международной политики, а в это время у него сбегает дочь. Фигура купца, забросившего дела вследствие увлечения политикой, часто встречалась в английской литературе и до Фильдинга. Но Фильдинг высмеивает Политика не столько за то, что он бросил торговлю, сколько за то, что он занят мнимой опасностью, грозящей Англии от вторжения турок, и не видит реальной опасности, которую представляют для Англии всякие скуиземы. Увлечение политикой заглушило в нем родительские чувства. В дочери он видит только наследницу. От Скуизема Политик отличается тем, что он не лицемер и не демагог,— он всего-навсего болтун, фразер, у которого слова противоречат поступкам.

Комедия Фильдинга недаром имеет два названия — по двум героям. Скуизем и Политик — это два аспекта английской буржуазии, две разновидности ее бездушия, эгоизма, подлости. Два героя определяют своеобразное построение комедии, имеющей два сюжетных центра и две линии развития действия, соприкасающиеся только в конце пьесы. Основные персонажи пьесы связаны родственными отношениями, которые полностью выясняются только в последней сцене.

Наряду с отрицательными персонажами в комедии есть и положительные: это героиня пьесы Хиларет и окружающие ее молодые люди — Констант («постоянный»), Рембл («грохот») и Сотмор («горький пьяница»). Все они любят жизнь и борются за свои права. Но все они живут в жестоком мире, где любовь и постоянство подвергаются самым суровым испытаниям. Не случайно двое из названных положительных персонажей — пьяницы, гуляки, забулдыги. Из них самый независимый и самый неустроенный в жизни — женоненавистник Сотмор. Капитан Рембл — это как бы первый набросок Тома Джонса, неистощимо жизнерадостный, жизнелюбивый и влюбчивый молодой человек с добрым сердцем. Главное отличие его от любимого героя Фильдинга Тома Джонса — то, что у него нет своей Софии,

своего идеала в жизни. Во всяком случае Рембл и Сотмор — это образец тех людей, которых особенно любит Фильдинг и которых он противопоставляет жадным и лицемерным буржуа.

Капитан Констант — наиболее добродетельный персонаж пьесы, но зато и наиболее бесцветный, ибо он лишен активности, действенности. Гораздо интереснее героиня, Хиларет. Это живая, разбитная девушка; она мягка, женственна и в то же время за словом в карман не лезет. Как живое отрицание «голубых» героинь английских сентиментальных комедий, она кое в чем подготовляет образ Софии Вестерн, возлюбленной Тома Джонса.

К положительным персонажам пьесы принадлежит и добродетельный судья Уорти («достойный человек»). Но в этом образе слишком уж чувствуется нарочитый замысел Фильдинга противопоставить положительный тип судьи отрицательному, дабы у читателя и зрителя не создалось впечатления, что автор выступает против государственной системы в целом, а не против отдельных недостойных ее представителей. Однако все прописные истины, изрекаемые Уорти, не могут загладить впечатления от убийственного разоблачения судейского мира через образ Скуизема. Здесь, как и во всех других случаях, реализм Фильдинга оказывается сильнее его буржуазной лойяльности и добропорядочности.

Параллельно комедии нравов Фильдинг начинает с 1730 года разрабатывать жанр фарса, стяжавший ему огромную популярность. Значение его в драматургии Фильдинга определялось тем, что этот жанр создал благоприятную почву для развития элементов пародии и сатиры, к которым Фильдинг обнаруживал особое пристрастие и способности. Разрабатывая жанр фарса, Фильдинг близко подошел к установкам Свифта и Гея.

Первым опытом Фильдинга в жанре фарса был «Авторский фарс, или Лондонские развлечения» (1730). Здесь изображались злоключения некоего молодого драматурга Лаклеса, отвергаемого руководителями театров только потому, что он неизвестен и беден. Лаклес решает, что лучше прокормиться глупостью, чем умереть с голоду от великого ума; он сочиняет нелепейшее кукольное представление, которое охотно принимается театром. Во второй части пьесы Фильдинг показывает репетицию кукольного представления. Он зло высмеивает развлечения, которые имеют наибольший успех у публики. По примеру «Лягушек» Аристофана, он переносит действие в загробный мир, и там перед троном богини Глупости синьор Опера, дон Трагедия, сэр Фарс и мистер Пантомима соревнуются в стремлении покорить сердце богини и получить от нее дурацкий колпак. Колпак этот достается синьору Опере, представителю самого нелепого жанра, по мнению Фильдинга. Пьеса эта произвела большое впечатление на лондонского зрителя, дружно хохотавшего над насмешками Фильдинга.

В следующем фарсе Фильдинг выступил против увлечения английской публики жанром классицистской героической трагедии. Будучи поклонником Шекспира, Фильдинг решил осмеять этот ходульный, напыщенный, эпигонский жанр в остроумной пародийной пьесе «Трагедия трагедий, или Жизнь и смерть Великого Тома Тама» (1730). В пьесе изображается история Тома Тама («мальчика с пальчик»), побивающего великана, покоряющего сердца великанши Глюмдальки и придворных дам, спасающего короля Артура от заговора лорда Гризла и трагически погибающего во время воз-

вращения во дворец после победы над мятежниками: этого храброго витязя на глазах у всех войск проглатывает рыжая корова. В конце «Трагедии трагедий» все действующие лица убивают друг друга.

Подражая стилю ученых критиков и комментаторов, Фильдинг в предисловии сообщает, что пьеса эта — найденная им неизвестная трагедия елизаветинского периода, из которой все новейшие авторы заимствовали отдельные выражения, мысли и даже целые сцены. И действительно, две трети всего текста этой пьесы представляет собой монтаж наиболее нелепых строк из произведений английских драматургов-классицистов от Драйдена до Томпсона. Но значение «Трагедии трагедий» не исчерпывается литературной пародией. Фильдинг пользуется ею для злободневных политических выпадов и, в частности, для насмешек над английской двупартийной системой.

Ряд последующих пьес Фильдинга написан в жанре так называемой «балладной оперы» — комедии со вставными музыкально-вокальными номерами и значительными элементами фарса и пародии. Этот специфический комедийный жанр XVIII века создал Джон Гей, автор широко известной «Оперы нищего» (1728). После Гея крупнейшим представителем этого жанра являлся Фильдинг.

Первой из балладных опер Фильдинга была «Валлийская опера, или У жены под башмаком» (1731), позже переименованная в «Оперу Граб-стрита». За ней последовали «Лотерея» (1731), «Горничная интриганка» (1733), «Старик, наученный мудрости» (1734) и продолжение этой комедии — «Мисс Люси в городе» (1742).

Из всех названных опытов Фильдинга в жанре «балладной оперы» наибольшее значение имеет «Опера Граб-стрита». Это была первая политическая комедия Фильдинга, направленная против Роберта Уолпола и его системы управления. Он написал ее, придерживаясь приемов построения «Оперы нищего». Даже вступление к «Опере Граб-стрита», в форме разговора автора с актером, явно навеяно аналогично построенным вступлением к «Опере нищего». Намеки на нравы Граб-стрита, этой улицы литературных поденщиков, имели одновременно и политический смысл. Так, сцена ссоры слуг, в которой каждый обвиняет другого во лжи, тогда как врут все, отождествляется с борьбой двух правящих страной партий. Такой прием политических аналогий распространяется на все содержание «Оперы Граб-стрита».

Пьеса, которая на первый взгляд могла показаться просто комедией провинциальных нравов, в действительности имела отчетливый политический подтекст. Он был сразу уловлен зрителем. В старом джентльмене из Уэльса все узнали короля Георга II, говорившего на английском языке с немецким акцентом; в образе его экономной и богомольной супруги узнали королеву Каролину, а в вороватом Робине — премьер-министра Роберта Уолпола. Все детали сюжета комедии заключали намеки на события английской придворной жизни. Так, у короля Георга II и у королевы Каролины действительно были опасения по поводу женитьбы их сына. Королева и в самом деле больше своего супруга занималась политическими вопросами и увлекалась теологией. Драка дворецкого Робина с кучером Вильямом намекала на поединок Уолпола с лордом Гервн, а любовная связь Робина и Свитиссы — на интрижку Уолпола с мисс Скаррет.

Реалисту Фильдингу, однако, не хотелось превращать свою пьесу в плоскую политическую аллегорию. Он вводит в нее много бытовых, реалистических деталей. В некоторых местах пьесы преобладает именно бытописательный элемент, в других — памфлетно-аллегорический.

Работая над своими фарсами, Фильдинг не переставал мечтать о создании настоящей большой комедии. Переход на работу в театр Дрюри-Лейн облегчил ему выполнение этой задачи. Он поставил серьезную комедию «Современный супруг» (1731) — единственный образец этого жанра в его драматургическом наследии.

Комедия «Современный супруг» разоблачает буржуазный брак. Фильдинг показывает мужа, ведущего блестящую светскую жизнь на деньги, которые его жена получает от своих любовников. Ему нужна крупная сумма для покрытия карточного долга, и он цинично предлагает жене дать ему возможность застигнуть ее с любовником, чтобы сорвать с него большой куш. Когда же жена заявляет, что опасается за свою репутацию, он доказывает ей, что у нее будет достаточно денег, чтобы позолотить эту репутацию. Так Фильдинг показывает, какие уродливые формы брак принимает в буржуазно-аристократическом обществе, как разлагается семья под влиянием денежных отношений. В пьесе с огромной силой раскрыта власть денег, которая губит людей, лишает их человеческого облика, распространяется на семью, общество, на оценку человеческого ума, знаний, талантов. «Не заключено ли больше очарования в звоне тысячи гиней, чем в пустом звуке тысячи похвал»,— так определяет циничную мораль этого общества мистер Модерн, наиболее типичный из буржуазных персонажей пьесы.

Резкость пьесы вполне объясняет возмущение зрителей, которые узнавали себя в ее персонажах. Между тем Фильдингу удалось в ней добиться несомненных достижений в области реалистической драмы, дать глубокое изображение характеров, показать внутренние причины человеческих поступков, развитие страстей, сложность характеров героев.

Разоблачение буржуазного брака Фильдинг продолжает в пьесах, появившихся непосредственно после «Современного супруга»: «Ковент-гарденская трагедия» (1732), «Совратители, или Пойманный иезуит» (1732), «Мнимый врач, или Излечение немой леди» (1732) и «Скупой» (1733); три последние близки к пьесам Мольера «Тартюф», «Лекарь поневоле» и «Скупой».

В пьесе «Совратители, или Пойманный иезуит» Фильдинг обратился к теме тартюфства, злободневной для Англии XVIII века. И хотя драматург придал своей сатире антипапистскую тенденцию, напоминавшую о временах якобитской реакции в Англии, однако основной удар в его пьесе был направлен против религии вообще, препятствующей естественным проявлениям человеческой природы и несоответствующей здравому смыслу. Критика религии переплетается у Фильдинга с критикой политической и социальной. Фильдинг обличает религию за то, что она прикрывает присущее английскому буржуа отвратительное себялюбие и жадность. Ударяя по католическому лицемерию, он метит прежде всего в пуританское лицемерие, которое является излюбленной мишенью нападок Фильдинга. Он подчеркивает, что все беззакония, которые совершаются под прикрытием религии, творятся также под защитой государственной власти и ее органов. «Святое Колесо,

святая Тюрьма, святая Виселица и святая Палка — вот святые, которые защищают вас»,— говорит отец героя пьесы, старый Ларун.

В комедии «Скупой» Фильдинг, следуя своему принципу творческого отношения к мольеровскому наследию, показывает историю Гарпагона и его семьи, как она развернулась бы в Англии XVIII века. Совершенно отброшен финал мольеровской комедии — появление Анселька и сцены узнавания. Вместо этого Марианна, которая очень мало похожа на свою тезку у Мольера, отталкивает от себя богача Лавголда (Гарпагона) тем, что скупает на огромную сумму драгоценности, посуду и шикарные платья. Испуганный Лавголд спасается от грозящего ему разорения выплатой Марианне «неустойки» в восемь тысяч фунтов. Фильдинг отступил в этой пьесе от мольеровского метода односторонней обрисовки характеров и от классицистского правила «трех единств».

Комедии Фильдинга, написанные под влиянием Мольера, сыграли немаловажную роль в творческом развитии великого английского писателя. Гуманистический оптимизм Мольера нашел благодарную почву в просветительском сознании Фильдинга.

3

Сатирическая драматургия Фильдинга достигает вершины в трех политических комедиях, написанных в течение трех последних лет его драматургической деятельности. Это были: «Дон Кихот в Англии» (1734), «Пасквин, драматическая сатира на современность» (1736) и «Исторический календарь за 1736 год» (1737). Эти три сатирических шедевра Фильдинга безусловно подготовлены его предшествующими опытами в жанрах пародии («Авторский фарс, или Лондонские развлечения», «Трагедия трагедий», «Ковент-гарденская трагедия») и сатиры («Опера Граб-стрита»). Однако они отличаются от всех перечисленных пьес значительно большей социально-политической глубиной и критичностью

Появление всех названных пьес находится в прямой связи с обострением политической борьбы в Англии после 1733 года. В этом году премьер-министр Р. Уолпол весьма активизировал свою хищническую финансовую политику. Предложенный им на рассмотрение парламента «закон об акцизе» предусматривал значительный рост налогов, падавших на широкие слои населения. Это вызвало массовые протесты. Во многих городах жители громили акцизные конторы. Королева Каролина толкала Уолпола на применение вооруженной силы, но Уолпол счел более благоразумным взять этот законопроект обратно. Однако от своей финансовой политики он не отказался и продолжал в течение последующих лет вводить новые налоги на отдельные товары и предметы потребления.

Широкое недовольство политикой Уолпола, выражавшего интересы верхушки финансистов и крупных землевладельцев, привело к образованию в 1730-х годах так называемой «сельской партии» (country party), представлявшей собой довольно пестрый в политическом отношении антиправительственный блок. В него входили и представители партии землевладельцев-ториев во главе с Болингброком и Маром и представители новых вигов («патриотов») во главе с Честерфильдом, Питтом и Литтльтоном. «Сельская

партия» противопоставляла себя «придворной партии» (court party), как иронически именовали в это время фракцию старых вигов, стоявшую у власти и являвшуюся правительственной партией.

Победив «придворную партию» в феврале 1742 года, «сельская партия» довольно быстро распалась, потому что представляла собой беспринципный блок. Любопытно, что министерство Уильмингтона, пришедшее на смену министерству Уолпола, стало пользоваться тем же методом парламентской и непарламентской коррупции, против которого так горячо протестовала «сельская партия», пока она находилась в оппозиции. Но в годы борьбы «сельской партии» с «придворной» она так резко воевала против беспринципности и продажности Уолпола и его единомышленников, что эта борьба принесла ей широкую популярность в стране.

В борьбу против Уолпола включился и Г. Фильдинг. Однако его близость к «сельской партии» в этот период объясняется лишь тем, что она выражала недовольство самых широких слоев населения политикой правительства Групповые же, фракционные интересы «сельской партии» ему всегда были чужды Несмотря на личную дружбу с Питтом и Литтльтоном, Фильдинг умел сохранить самостоятельную позицию внутри этой группировки и отстаивал подлинные интересы народа от посягательств со стороны любых представителей господствующих классов.

Никогда на английской сцене, ни до, ни после Фильдинга, не высмеивался так зло, язвительно, беспощадно весь общественно-политический строй, вся правительственная система Англии, как в трех последних пьесах Фильдинга. По своей остроте и проницательности они могут быть поставлены в один ряд с памфлетами и романами Свифта. Сатирические шедевры Фильдинга проникнуты огромным пафосом гражданского негодования, в котором просветительская мысль Англии достигает своей высшей точки.

Первую из названных пьес, «Дон Кихот в Англии», Фильдинг начал писать еще в свои студенческие годы в Лейдене Однако он сильно развил ее в Лондоне, внеся в нее элемент политической сатиры, причем избрал объектом обличения коррупцию, царившую в Англии во время выборов в парламент Этот вопрос был чрезвычайно актуален в 1734 году, когда все английские газеты были переполнены сообщениями о подкупах избирателей, подтасовке голосов, о всякого рода злоупотреблениях, которыми сопровождались выборы в парламент.

Фильдинг делает героем своей пьесы знаменитого рыцаря-мечтателя, последнего гуманиста Возрождения — Дон Кихота Ламанчского, образ которого всегда очень интересовал его и прошел через всю его творческую жизнь, особенно полно отразившись в его больших романах. В данном случае образ Дон Кихота был нужен Фильдингу как своеобразный рупор, с помощью которого можно подвергнуть критике мнимую «свободу», царящую в Англии.

Устами Дон Кихота Фильдинг выражает возмущение тем общественным строем, при котором «богатства и власть стекаются в руки одного ценою гибели тысяч». Он говорит о несправедливости английского законодательства. «Коли бедняк украдет у дворянина пять шиллингов — в тюрьму его! Знатный же безнаказанно может ограбить тысячу бедняков — и останется в собственном доме». Дон Кихот противопоставляет несправедливому строю

Англии «естественный» порядок природы, при котором все люди должны трудиться, а «сквайры должны были бы засевать поля, а не вытаптывать их копытами своих лошадей».

В этой комедии ярко выявились особенности дарования Фильдинга. Для его художественной манеры характерно сочетание гротесковых сцен и положений с глубокой реалистической обрисовкой характеров. При этом автор проявляет необычайное чувство меры: самые причудливые ситуации оказываются у него естественными и жизненно оправданными.

Фильдинг посвятил своего «Дон Кихота в Англии» графу Честерфильду, одному из вождей «сельской партии», откровенно предлагая свое перо к услугам оппозиции. Однако в 1734 году предложение это было еще несколько преждевременным. Иначе обстояло дело в 1736 году, когда необычайно усилились разногласия в парламенте, а общее недовольство политикой Уолпола настолько возросло, что уже стало невозможно обходить назревшие вопросы. Но так как театры Дрюри-Лейн и Ковент-Гарден, находившиеся под правительственным контролем, боялись ставить политические пьесы, то Фильдинг решил организовать собственный театр, в котором он не будет ни от кого зависеть в выборе репертуара. Он снял маленький театр Хеймаркет, в котором работала группа молодых актеров из театра Дрюри-Лейн. Фильдинг реорганизовал эту группу и дал ей шуточное наименование: «Труппа комедиантов Великого Могола». Именно эта труппа и сыграла в марте 1736 года новую сатирическую комедию — «Пасквин».

Сатирическая линия «Пасквина» продолжает линию «Дон Кихота в Англии», но она значительно разрастается и становится основной темой пьесы. Если в «Дон Кихоте» осмеивались предвыборные махинации избирателей и кандидатов в депутаты, то в «Пасквине» сатира на предвыборные кампании с обязательным подкупом связывается с разоблачением правительства Уолпола и заведенной им системы коррупции. Кроме того, Фильдинг высмеивает в этой пьесе театральные нравы, законы, медицину. Но насмешки над всеми этими сторонами современной жизни выступают на фоне политической сатиры.

С точки зрения структуры «Пасквин» примыкает к специфическому английскому театральному жанру «репетиции», восходящему к комедии герцога Букингема «Репетиция» (1671). В этой пьесе, пародировавшей жанр героической трагедии Драйдена, изображалась репетиция на сцене театра одной из пьес этого жанра. Как известно, прототипом «Репетиции» был «Версальский экспромт» Мольера (1663). Обращение Фильдинга к жанру «репетиции» объясняется тем, что эта форма давала возможность широко откликаться на явления современной жизни. Она показалась Фильдингу более удобной для выполнения его пародийно-сатирических замыслов, чем жанр балладной оперы, использованный им многократно, в том числе в «Дон Кихоте в Англии».

Своеобразие «Пасквина» заключалось в том, что в одном спектакле показывались репетиции пьес разных жанров — трагедии и комедии. Репетиция комедии «Выборы» переносит зрителя в провинциальный городок в период предвыборной кампании. Фильдинг с одинаковой иронией изображает кандидатов как «придворной», так и «сельской партии». Обе они прибегают к взяткам, но только кандидаты «придворной партии» практикуют прямой

подкуп избирателей, а кандидаты «сельской партии» прибегают к косвенным взяткам — например, к экстренным крупным заказам местным торговцам. «В вашей пьесе, мистер Трепуит, нет ничего, кроме взяток?» — спрашивает автора комедии поэт-трагик, присутствующий на репетиции. «Сэр, моя пьеса—точное воспроизведение действительности»,—отвечает автор комедии.

После репетиции комедии начинается репетиция трагедии.

Трагедия эта представляет, с одной стороны, пародию на героическую трагедию, и в этом смысле она является как бы продолжением «Трагедии трагедий»; с другой стороны, ее аллегорическая форма дает возможность Фильдингу в наиболее философски-обобщенном виде высказать свое отношение ко многим сторонам современной действительности — к закону, религии, искусству. Современная законность, религия, искусство находятся, по мнению Фильдинга, в противоречии со здравым смыслом.

Но конечный вывод великого просветителя все же оптимистичен: можно на время убить здравый смысл, но в конце концов дух его восторжествует над невежеством.

Еще большую смелость приобрела сатира Фильдинга в следующей его сатирической комедии — «Исторический календарь за 1736 год». Эта пьеса представляет вершину социально-политической сатирической драматургии Фильдинга и всего английского Просвещения. Прибегая снова к приему «репетиции», Фильдинг показывает в ней в хронологическом порядке все достопримечательные события истекшего 1736 года. Пьеса состоит из пяти сцен: сцены политиков, сцены светских дам, сцены аукциона, сцены в театре и сцены «патриотов».

Сцена политиков непосредственно направлена против правительства Уолпола, но метит значительно дальше. На сцене сидят пять политиков, рассуждающих о положении в Европе. Вскоре выясняется, что все они ничего не смыслят в международных делах и что их интересует только нажива. Сцена намекала на недавно введенные Уолполом новые налоги, вызвавшие широкое недовольство в стране.

Сцена светских дам, наименее удачная в пьесе, высмеивает пустоту и легкомыслие лондонских дам и их увлечение итальянской оперой.

Особенно удачна сцена аукциона, выдержанная почти в гротесковых тонах. На аукцион выставляется «любопытный остаток политической честности», «три грана скромности», «бутылка храбрости», «чистая совесть» — «кардинальные добродетели», которых никто не хочет брать. Единственный предмет, который идет нарасхват,— это местечки при дворе.

Сцена в театре высмеивает актера и драматурга Колли Сиббера и его сына Теофиля Сиббера. В этой сцене есть много намеков на незначительные факты театральной жизни Лондона. Интерес в этой сцене представляет борьба Фильдинга за оздоровление театральных нравов в Англии.

Комедия завершается сценой «патриотов». Здесь выводятся четыре оборванных «патриота», которые за рюмкой вина горюют о трудном положении страны и клянутся в своей верности оппозиции. Фильдинг видел мелочность и корыстность своих политических единомышленников, именовавших себя «патриотами». Сатира на «патриотов» из «сельской партии» перерастает у него в сатиру на буржуазный лжепатриотизм вообще. Трудно более отчетливо, чем это сделал Фильдинг, подчеркнуть своекорыстную

сущность буржуазного лжепатриотизма, который отождествляет интересы родины с интересами отдельных торговцев.

Особенно ядовит конец сцены «патриотов». На сцене появляется скрипач Квидам («некто»), который легко подкупает «патриотов» и заставляет их танцевать под звуки своей скрипки, пока из дырявых карманов оборванных «патриотов» не вываливаются обратно данные им Квидамом деньги; последние попадали, таким образом, обратно в мошну Квидама. Более прозрачного намека на финансовую политику Уолпола нельзя было себе представить. Эта забавная сцена имеет глубокий политический смысл: Фильдинг дает в ней ответ на вопрос о том, кто поддерживает Уолпола,— это торгаши, для которых существуют только интересы их лавки.

Успех «Исторического календаря» превзошел даже успех «Пасквина». Фильдинг стал популярнейшим английским драматургом. У него появились подражатели, чьи политические фарсы проникали даже в королевский театр Дрюри-Лейн. Драматург становился опасным для правящих кругов. Правительственная газета «Дейли газеттер» («Ежедневный газетчик») намекала, что Фильдинг может попасть в тюрьму за дискредитацию правительства и предупреждала заодно «джентльменов из оппозиции», что Фильдинг для них ненадежный союзник и что в случае их прихода к власти он может выступить и против них. Это предсказание впоследствии сбылось. Когда в 1742 году Уолпол получил отставку и к власти пришли «патриоты», они не внесли никаких существенных изменений в английскую политику. Коррупция, которой они в свое время столь возмущались, осталась в полной силе. Фильдинг, и раньше скептически относившийся к гражданским доблестям представителей оппозиции, выразил всю горечь своего разочарования в памфлете «Видение об оппозиции» (1742).

Еще раньше Фильдингу нанесло удар правительство Уолпола, которое добилось в 1737 году от парламента восстановления театральной цензуры. Была сфабрикована грубая, нехудожественная драматургическая фальшивка, озаглавленная «Видение золотого охвостья», которую приписали Фильдингу. Уолпол поставил на обсуждение в парламенте «акт о цензуре», который после горячих дебатов прошел через обе палаты незначительным большинством голосов. 21 июня 1737 года «акт о цензуре» был подписан королем. Согласно этому закону, театры могли отныне существовать, только имея специальную королевскую лицензию. Все пьесы должны были проходить предварительную цензуру лорда камергера. Драматургам отныне совершенно запрещалось касаться политических вопросов и выводить на сцене государственных деятелей.

Так английская буржуазия, через сорок два года после отмены предварительной цензуры и утверждения в Англии основных гражданских свобод, отказалась от этого завоевания «славной революции». В конституционной, парламентской стране театр был поставлен примерно в такое же положение, в каком он находился в абсолютистской Франции. В соответствии с «актом о цензуре» все лондонские театры были закрыты, кроме театров Дрюри-Лейн и Ковент-Гарден, которые снова стали монопольными.

Фильдинг понял, что всякое сопротивление этому закону будет бессмысленным. Он перестал писать для театра; три комедии, которые он не успел поставить до издания нового закона, попали на сцену лишь через много лет.

В 1898 году Бернард Шоу писал в предисловии к своему сборнику «Приятные и неприятные пьесы»: «В 1737 году Генри Фильдинг, величайший из всех профессиональных драматургов, появившихся на свет в Англии начиная со средних веков до XIX века, за единственным исключением Шекспира, посвятил свой гений задаче разоблачения и уничтожения парламентской коррупции, достигшей к тому времени своего апогея. Уолпол, будучи не в состоянии управлять страной без помощи коррупции, живо заткнул рот театру цензурой, остающейся в полной силе и поныне. Выгнанный из цеха Мольера и Аристофана, Фильдинг перешел в цех Сервантеса; и с тех пор английский роман стал гордостью литературы, тогда как английская драма стала ее позором».

Эти замечательные слова, которыми Бернард Шоу почтил память своего великого предшественника, разумеется заключают в себе известную долю преувеличения, вызванного той полемикой с мещанской драматургией Пинеро и его присных, которую он вел в те годы. Отдавая должное Фильдингу-драматургу, вряд ли следует забывать о Гольдсмите и Шеридане, его знаменитых преемниках. Но Шоу хотел подчеркнуть инициативную роль Фильдинга — как первого большого английского драматурга-просветителя, как создателя английской политической комедии, как достойного соратника и последователя Свифта в сатирическом жанре.

Нет ни малейшего сомнения, что при других общественно-политических условиях Фильдинг мог бы еще очень многим обогатить английскую драму, но и то, что им дано в его двадцати пяти комедиях, внесло в английский театр и в английскую литературу мощную пародийно-сатирическую струю, которая была широко использована мастерами политического гротеска XIX века — Байроном, Диккенсом, Теккереем и Шоу.

4

После закона о театральной цензуре Фильдинг прекратил драматургическую деятельность. Ему пришлось задуматься над переменой профессии и над поисками средств к существованию. Писатель вторично принялся за учение и сел на студенческую скамью в старинной юридической школе в Темпле, подготовляя себя к профессии адвоката. В 1740 году, после трехлетнего обучения, он был уже допущен к адвокатской практике.

Однако даже в годы своих самых усиленных занятий правом Фильдинг не оставлял мысли о литературе. Он перепробовал в конце тридцатых и в начале сороковых годов разнообразные виды литературной работы: писал дидактические поэмы в стиле Попа («Об истинном величии», «Свобода» и др.), нравоописательные очерки в стиле Аддисона, фантастические сатиры в манере Лукиана («Путешествие в загробный мир»). Все эти произведения были напечатаны Фильдингом вместе с сатирической повестью «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» в «Смешанных сочинениях», выпущенных им в трех томах по подписке в 1743 году.

К тому же времени относится начало журналистской деятельности Фильдинга. В 1739—1741 годах он издавал журнал «Борец», («The Champion»), на страницах которого возобновил свою борьбу с правительством Уолпола.

Особенно оживилась журналистская деятельиость Фильдинга в 1745 году, в разгар второго якобитского восстания, поднятого сторонниками «молодого претендента», принца Карла-Эдуарда Стюарта, внука низложенного в 1688 году Иакова II. Восстание это угрожало, в случае своего успеха, восстановлением в Англии реакционного абсолютизма Стюартов и усилением влияния Франции, поддерживавшей якобитов. Якобитская опасность заставила Фильдинга прекратить свои нападки на вигское правительство, во главе которого стоял в то время Пельгам. В издаваемом Фильдингом журнале «Истинный патриот» (1745—1746) он открывает огонь по якобитам и всеми силами стремится укрепить в английском обществе дух сопротивления этим реакционерам. После подавления якобинского восстания он приступил к изданию «Журнала якобита» (1747—1748), в котором под псевдонимом Джона Тротт-Пледа возобновил кампанию против всех недовольных протестантским правительством Ганноверской династии. Оба журнала почти целиком заполнялись статьями одного Фильдинга, проявившего незаурядное дарование политического журналиста и памфлетиста.

Последующие годы были посвящены Фильдингом работе над большими романами, которые создали ему славу великого писателя, основоположника английского реалистического романа. Впрочем, они принесли Фильдингу больше славы, чем материального достатка. Именно этим и объясняется, что в самый разгар своей работы над романом «История Тома Джонса найденыша» (1749) он получает в 1748 году, по протекции своего школьного товарища Литтльтона, место мирового судьи в Вестминстере, которое сохранил почти до самой смерти.

Фильдинг принялся за выполнение своих судейских обязанностей с пафосом социального реформатора. Работа судьи стоила Фильдингу огромной затраты времени и сил. Он близко познакомился с самыми темными сторонами английской жизни — голодом, нищетой, проституцией, алкоголизмом, детской преступностью — всеми социальными бедствиями, явившимися следствием развития буржуазных отношений и экспроприации мелких свободных производителей.

Потрясенный всем увиденным и услышанным в камере мирового судьи, Фильдинг пишет «Исследование о причинах недавнего роста грабежей» (1751) и «Предложения по организации действительного обеспечения бедняков» (1753); он добивается ограничения продажи спиртных напитков, в которых видит одну из главных причин роста преступности, ведет статистику воровства и краж со взломами, разрабатывает и проводит в жизнь план истребления в округе грабительских шаек.

Обдумывая проекты многочисленных частных реформ, Фильдинг еще раз возвращается к журналистике и предпринимает издание морально-сатирического «Ковент-гарденского журнала» (1752). У Фильдинга было несколько сотрудников по изданию этого журнала, и все же значительная часть помещенного здесь материала была написана им самим. Журнал был пронизан ощущением неразрешимости противоречий между богатыми и бедными, между высокими идеалами просветителей и реальной общественной действительностью. Все эти черты проявляются также в последнем романе Фильдинга — «Амалия» (1751).

К 1754 году силы Фильдинга были окончательно подорваны, хотя в ту пору ему было только сорок шесть лет. Он был вынужден передать место судьи своему сводному брату Джону, а сам, по совету врачей, предпринял длительное путешествие в Лиссабон. Это последнее свое путешествие он описал в посмертно изданном «Дневнике путешествия в Лиссабон». 8 октября 1754 года, вскоре после прибытия в Лиссабон, Фильдинг скончался.

Центральное место в творчестве Фильдинга принадлежит романам. Именно в них необычайно ярко и полно проявились все особенности реалистического дарования Фильдинга-просветителя.

Изучение деятельности Фильдинга-романиста следует начинать с его второго, по времени выхода в свет, романа, «История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого». Хотя этот роман был напечатан в 1743 году, то есть через год после первого романа — «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса», однако по своему общему характеру он непосредственно примыкает к последним сатирическим комедиям Фильдинга — «Пасквину» и «Историческому календарю за 1736 год». Имеются все основания предполагать, что «Джонатан Уайльд» был начат Фильдингом в конце 1739 или в начале 1740 года, когда Фильдинг вел борьбу с правительством Уолпола на страницах журнала «Борец». Некоторые же части романа, например весь эпизод с ювелиром Хартфри и его женой, были написаны около 1743 года.

«Джонатан Уайльд» — ироническая биография знаменитого лондонского вора и скупщика краденого. При написании этого романа Фильдинг исходил из подлинной биографии Джонатана Уайльда, главаря бандитской шайки, повешенного в ньюгейтской тюрьме в 1725 году. Биография его была в свое время написана Даниэлем Дефо, который стремился дать строго фактическое, документально точное повествование. Фильдинг разработал эту тему в совсем ином плане, чем Дефо. Она явилась для него лишь отправной точкой к созданию сатирического повествования большого политического размаха и остроты.

Такого рода поворот произведения Фильдинга был в известной мере предопределен личностью его героя. Реальный Джонатан Уайльд был весьма мало похож на романтического разбойника; он не принимал участия в грабежах и убийствах и ограничивался только сбытом краденого, ведя образ жизни благонамеренного буржуа. В течение многих лет он был связан с полицией и выдавал ей за денежное вознаграждение тех из членов своей шайки, которые чем-либо ему не угодили. Именно такое сочетание преступности с притворством, лицемерием и подлостью и привлекло внимание Фильдинга к личности Джонатана Уайльда. Даже простое описание жизни этого преступника давало Фильдингу возможность раскрыть лицемерие английского буржуа и коррупцию государственного аппарата.

Но Фильдинг пошел в своем романе по несколько иному пути, мысль о котором ему безусловно подала «Опера нищего» Гея. Подобно Гею, Фильдинг проводит все время аналогии между «модными джентльменами» и «джентльменами с больших дорог», стирает грани между респектабельным дворянско-буржуазным обществом и преследуемыми им уголовными элементами. «В целом мы обнаружим гораздо более близкое соответствие между жизнью высших и низших слоев общества, чем принято думать.

Знатные люди должны были бы воздавать разбойнику больше почестей, чем они это делают», — иронически замечает он.

В основе всех этих аналогий между преступниками и знатными людьми лежит излюбленная просветителями идея о преступности всякого величия, основанного на угнетении одних людей другими, на процветании верхов общества за счет разорения низов. Развивая эту тему, Фильдинг, естественно, приходит к уподоблению своего преступного героя Роберту Уолполу. Впрочем, если роман был начат еще в период правления Уолпола, то закончен он был уже после его отставки и появления новых правителей, которые пользовались, однако, старыми методами. Фильдинг имел возможность убедиться, как ничтожны результаты смены партий и министерств в буржуазной Англии. Поэтому Фильдинг, по собственному замечанию, разоблачает в своем романе не отдельных плутов, а плутовство, не отдельных плохих министров, а всех парламентских деятелей, к каким бы партиям, фракциям или группировкам они ни принадлежали.

Замечательно зло, метко и остроумно разоблачает Фильдинг английскую двупартийную систему, являющуюся в руках правящих классов средством для одурачивания народа. Оппозиционная партия демагогически критикует линию правительства, отвлекая этим недовольство народных масс; когда же она затем возьмет в свои руки бразды правления, она предоставит возможность партии, стоявшей раньше у власти, критиковать ее политику — с такими же результатами. Двупартийная система высмеяна в романе в знаменитой главе «О шляпах». Единая шайка грабителей разделяется здесь на две партии: заломленных шляп и нахлобученных шляп. «Между ними происходили постоянные стычки, так что со временем они сами начали думать, что в их расхождениях есть нечто существенное». Уайльд пытается урезонить их, говоря: «Может ли быть что-нибудь смехотворнее джентльменов, ссорящихся из-за шляп, когда среди вас нет ни одного, чья шляпа стоила бы хоть фартинг?» (Здесь под словом «шляпа» подразумевается «политический принцип».)

Такой же политический смысл имеет глава «Волнения в Ньюгейте», рисующая борьбу между Уайльдом и Джонсоном, двумя претендентами на пост главаря заключенных. Победа Уайльда над Джонсоном, переход власти в его руки столь же мало улучшает положение заключенных, как переход парламентского большинства от одной партии к другой.

Фильдинг разоблачает в своем романе и социальные противоречия английского гражданского общества. Он говорит об эксплуатации наемного труда, разоблачает сказку о работодателях как благодетелях народа, показывает, что за разговорами о «естественных отношениях» между хозяевами и работниками кроется самое обыкновенное насилие и принуждение. В тюремных сценах своего романа Фильдинг показывает бесполезность «моральных способов» борьбы со злом. Один из заключенных в тюрьме должников предлагает прекратить всякое общение с разбойниками, обложившими их данью, но и после этого разбойники продолжают их обирать, должники же утешаются тем, что они «лучше», «моральнее» бандитов.

Если в образе Уайльда Фильдинг выразил свое отвращение к несправедливости и лицемерию политического строя дворянско-буржуазной Англии, то в образе добродетельного ювелира Хартфри Фильдинг выразил свое

преклонение перед частной деятельностью купца, которого он (как и земледелец) считал представителем «полезной профессии». Этого «честного» купца, доверчивого друга и доброго семьянина Фильдинг хотел противопоставить Уайльду как положительного героя. Однако образ этого «честного буржуа» Фильдингу не удался, потому что он является сторонником теории моральной борьбы с социальным злом — борьбы, в эффективность которой сам Фильдинг не верил.

Будучи не в силах разрешить противоречия политической жизни, Фильдинг переносит их в чисто моральный план, противопоставляя честного человека бесчестному, из коих первый счастлив благодаря своей честности, и второй несчастен благодаря своей бесчестности. Но такое противопоставление совершенно схематично, нежизненно, нереалистично; оно не может разрешить социальные и политические противоречия. К тому же добродетели Хартфри оказываются идеализированными буржуазными добродетелями, которые Фильдинг обычно сам осмеивал. Совершенно натянуты, безжизненно дидактичны те сцены романа, в которых описывается «моральное торжество» Хартфри над Уайльдом.

Таким образом, Фильдинг, начав с изображения вопиющего общественного неравенства, переносит разрешение общественных противоречий в сферу частной жизни. Так намечается переход его от политической сатиры к «комическому эпосу» частной жизни — к роману «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса» (1742), начавшему серию его больших реалистических романов.

«Джозеф Эндрус» был ответом Фильдинга на роман Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740). В этом романе, открывшем новую эру семейно-бытового, психологического романа в английской литературе, была рассказана история служанки Памелы Эндрус, живущей в доме молодого сквайра Б., светского повесы, преследующего ее своими ухаживаниями. Добродетельная девушка из народа с таким упорством отвергает домогательства порочного аристократа, что тот в конце концов, умилившись несокрушимой добродетелью и душевной чистотой Памелы, делает ее своей законной женой.

В романе Ричардсона утверждались права человеческого чувства, идущего вразрез с существующими сословными классовыми нормами и предрассудками. Однако сам Ричардсон не сумел высказать эту просветительскую мораль со всей той силой и решительностью, с какой это делали впоследствии его преемники. Типичный английский буржуа, смотревший на жизнь сквозь пуританские очки и твердо стоявший на платформе дворянско-буржуазного компромисса 1689 года, Ричардсон значительно ослабил остроту этического конфликта, положенного в основу его романа. Гордая своей добродетелью Памела, получив предложение от хозяина, поспешила отдать ему руку и сердце, после чего превратилась в чопорную английскую даму, преподающую всем уроки пуританской добродетели.

«Памела» имела огромный успех. Она выдержала в течение одного года не меньше пяти изданий, после чего вышло несколько анонимных продолжений, подделок, а затем памфлетов и пародий на «Памелу». Это были: «Поведение Памелы в высшем свете», «Анти-Памела, или Разоблаченная притворная невинность», «Истинная Анти-Памела», «Осужденная

Памела», «Памела, или Прелестная обманщица». Наиболее талантливая из этих пародий — «Апология жизни миссис Шамелы Эндрус» (имя Шамела происходит от английского слова «sham» — притворство, фальшь) приписывалась многими современниками Фильдингу. В памфлете ричардсоновская героиня объявляется лицемерной кокеткой, притворщицей, «юной политиканкой», весьма ловко расставившей сети своему хозяину, чтобы женить его на себе. Автор приходит к выводу, что «роман Ричардсона преподает не урок добродетели, а урок порока».

Через десять месяцев после «Шамелы Эндрус» вышел в свет роман Фильдинга «Джозеф Эндрус». Первое, на что обратили внимание читатели, была фамилия героя, совпадавшая с фамилией Памелы. В романе разъяснялось, что Джозеф — родной брат Памелы, находящийся в услужении у родственницы ее бывшего хозяина, нынешнего мужа. Но если у Ричардсона молодой сквайр именуется просто мистером Б., то Фильдинг расшифровывает этот инициал как Буби («олух»). Вообще он изображает ту же ситуацию, которая дана Ричардсоном, но «вывернутой наизнанку». Если у Ричардсона порочный аристократ преследовал своими ухаживаниями Памелу, угрожая ее невинности, то у Фильдинга не менее порочная, но вдобавок еще и лицемерная аристократка преследует своим кокетством лакея Джозефа, который, как его библейский прототип Иосиф Прекрасный, с неослабным рвением защищает свою невинность от леди Буби и от ее домоправительницы Слипслоп. Добродетель Джозефа была, однако, вознаграждена совсем иначе, чем добродетель его сестры: Джозефа выгоняют из дома. Впрочем, читатель скоро узнает, что действительная причина целомудрия Джозефа крылась в его любви к деревенской девушке Фанни.

В образе Фанни Фильдинг рисует идеал здоровой красоты, женственности, трудолюбия. Фанни обладает цельной и непосредственной натурой, способна горячо и верно любить. Она одинаково чужда аристократической развращенности леди Буби и чопорной пуританской «добродетели» героини Ричардсона.

Полемика Фильдинга с Ричардсоном в «Джозефе Эндрусе» имела глубоко принципиальный, философско-эстетический характер. В ней отразились идейные разногласия среди английских просветителей, борьба двух течений — апологетического и критического, или же пуританского и антипуританского.

Фильдинг — политический писатель, публицист, сатирик, беспощадный обличитель правящих классов дворянско-буржуазной Англии — решительно противостоял аполитичному, законопослушному, буржуазно-ограниченному писателю Ричардсону, которому конституция 1689 года, плод компромисса между дворянством и буржуазией, представлялась «совершенным продуктом английского разума». Все творчество Фильдинга было пронизано жизнерадостным свободомыслием и материализмом, несравненно более прогрессивным, чем мировоззрение Ричардсона, не освободившегося от стесняющих оков религиозно-пуританского мировоззрения. Если Ричардсон был сухим рационалистом, педантичным проповедником протестантского толка, с недоверием относившимся к чувственной природе человека, то Фильдинг, напротив, относился с любовью и доверием к чувственной природе человека, к инстинктам, которые толкают его к благу; перекликаясь с гуманистами

эпохи Возрождения. Фильдинг ратовал за равновесие духа и плоти и видел задачу писателя в том, чтобы показывать нравы общества, выводить живых, реальных людей, не останавливаясь перед тем, чтобы раскрывать в своих романах грубую, грязную, низменную сторону жизни. Отсюда все упреки в грубости, непристойности, вульгарности, которыми награждали Фильдинга сторонники Ричардсона. На самом же деле в произведениях Фильдинга проявлялся полнокровный реализм, напоминающий величайших мастеров ренессансного реализма — Шекспира, Рабле, Сервантеса. Последнего Фильдинг особенно упорно называл своим учителем, начертав его имя на титульном листе «Джозефа Эндруса».

Пародийные задачи выступают обнаженно только в первых главах романа, напоминающих завязку «Памелы». «Джозеф Эндрус» явился по существу новым типом реалистического романа, в котором соединяются традиции авантюрного, «плутовского» романа («эпоса больших дорог», по выражению Фильдинга) с элементами романа семейно-бытового («эпоса частной жизни»).

«Подражание манере Сервантеса», о котором Фильдинг сам говорит в подзаголовке «Джозефа Эндруса», сказалось и в широком эпическом размахе романа, и в обилии в нем разнообразных действующих лиц, и в пародийной направленности романа против Ричардсона, и в самой теме «донкихотства», которая особенно ярко раскрылась в «Джозефе Эндрусе» в образе пастора Адамса, подлинного героя романа.

Пастор Адамс — самый живой и обаятельный образ в романе. Прежде всего, в этом полунищем служителе культа нет поповского лицемерия, навязчивой морализации и дидактизма. Он весьма жизнелюбив и жизнерадостен, весел, здоров; он умеет постоять за себя и обладает крепкими кулаками. Не в пример большинству своих собратьев по профессии, он вполне равнодушен к жизненным, материальным благам. Он беден и бескорыстен, человеколюбив и милосерден. Он друг всех несчастных и обездоленных, с которыми готов поделиться последним. Наконец, он по-детски простодушен, наивен, доверчив, неопытен в житейских делах. Добрый фантазер, милый чудак, он на каждом шагу попадает в глупое положение. И все же, сталкиваясь с житейской пошлостью и прозой, он не дает этой тине затянуть себя, не дает ей победить себя и свою веру в людей. Подобно герою романа Сервантеса, он воодушевлен непоколебимой верой в свой идеал, и хотя содержание этого идеала у англиканского пастора несколько иное, чем у испанского рыцаря, тем не менее англиканский священник столь же одержим верой в совершенство человеческой природы, как и испанский рыцарь. Естественно, что Фильдинг так же сочувствует Адамсу, как Сервантес Дон Кихоту.

Итак, пастор Адамс является героем комического романа Фильдинга. Комизм образа Адамса порождается несоответствием между суровой английской действительностью и наивными гуманистическими представлениями о ней Адамса. Его «донкихотизм» является как бы своеобразной формой протеста Фильдинга против лживой морали английского буржуазно-пуританского общества. И все же в образе Адамса можно найти отдельные, правда слабые, проявления пуританско-религиозной морали. Сюда относятся все тирады, произносимые Адамсом в назидание его юному другу Эндрусу,—

тирады в честь умеренности, воздержания и христианского смирения, мысли Адамса о преступности любви, если она не подчинена долгу, и другие проповеднические банальности. Характерно, однако, что Адамс поступает совсем не так, как говорит, и что ограниченная пуританская мораль все время побеждается в нем народной, «естественной» моралью, которую пропагандировали просветители.

Эта «естественная» мораль, притом в ее отвлеченном понимании, полностью пронизывает образ Джозефа Эндруса; Джозеф — образ несравненно более условный, литературный, декларативный, чем образ Адамса, он написан Фильдингом односторонне положительным, во всем привлекательным персонажем. Джозеф наделен всеми теми качествами, которых недостает Адамсу. Хотя он гораздо моложе Адамса, однако кажется опытнее его и лучше разбирается в людях. Он первый разгадывает проделки хвастливого джентльмена, осознает бездушие, бессердечие, скаредность, тщеславие, лицемерие богатых людей, восстает против пуританского догматизма.

В высшей степени характерным является поведение Джозефа по отношению к его возлюбленной Фаини. Эта служанка с фермы вызывает в герое романа — лакее — такие возвышенные эмоции, какие были бы впору героям рыцарских романов. Выбрав своими героями представителей социальных низов, Фильдинг наделил их возвышенными чувствами, переживаниями, устремлениями. В такой антисословной тенденции Фильдинга, в его стремлении показывать людей низших классов способными к высоким, тонким и красивым чувствам, а людей высших классов наделять отрицательными чертами, низменными устремлениями проявляется позиция Фильдинга как критического просветителя, «как защитника низших классов против высших», по выражению Чернышевского.

Эта позиция проявляется также в построении романа Фильдинга. Его «комический эпос» отличается широким общественным фоном и редкостным разнообразием действующих лиц. В последнем отношении Фильдинг значительно опережает «плутовской» роман, в котором отдельные эпизоды механически, без всякой внутренней связи, нанизывались на нить повествования, а появляющиеся в них персонажи оказывались случайными спутниками героя. Иначе у Фильдинга: все второстепенные персонажи его романа являются ярко обрисованными социальными типами, судьбы которых в большей или меньшей степени связаны с судьбами главных персонажей романа. Фильдинг в значительной степени преодолевает композиционный недостаток старого приключенческого романа, сшитого из ряда самостоятельных новелл.

Как уже говорилось выше, объект изображения в «Джозефе Эндрусе» — частная, а не общественно-политическая жизнь, исследование нравов частных лиц, а не критика государственных или общественных учреждений. По сравнению с сатирическими комедиями и с «Джонатаном Уайльдом Великим», центр внимания Фильдинга явно переместился. И все же Фильдинг, изображая частную жизнь, находит достаточно материала для критики пороков английского общественно-политического строя с царящим в нем буржуазным правопорядком, умеет через частную жизнь показать общественную.

Картина английской жизни, нарисованная в «Джозефе Эндрусе», весьма неприглядна. Читатель видит пагубные последствия накопления капитала:

колоссальный рост нищеты, бродяжничества, воровства и вообще преступности; жестокие законы против бедных; полная безнаказанность, самоуправство и самодурство дворян; собственнический эгоизм, прикрытый пуританским фарисейством буржуазии; бессердечие и равнодушие к несчастьям маленьких людей у всех представителей имущих классов, дающее полное право Адамсу жаловаться на то, что «в стране, исповедующей христианство, человек может умереть с голоду на глазах у ближних, процветающих в изобилии»; собственнические замашки у многих служителей культа, вроде пастора Траллибера, интересующегося только разведением свиней,— таков далеко не полный перечень социальных зол, типичных для процветающей буржуазно-дворянской Англии XVIII века, которую на континенте считали страной гражданских свобод и передовой цивилизации. Как ни мягок и ни снисходителен юмор Фильдинга, но нарисованные им реалистические образы и ситуации сами говорят за себя.

И все же в «Джозефе Эндрусе» сильна примирительная тенденция Фильдинга, и конечном счете связанная с линией классового компромисса, которая была генеральной линией развития английской буржуазии. Эта примирительная тенденция находит выражение в счастливом конце, столь характерном для английского романа. Счастливый конец «Джозефа Эндруса» заключается не только в том, что демократические герой и героиня романа после перенесенных ими многочисленных испытаний и опасностей соединяются законным браком, но и в том, что они находят честных родителей, а Джозеф — даже отца-дворянина, владеющего небольшим клочком земли, который он сам возделывает. Джозеф приобщается вместе со своей Фанни к этому образу жизни, который является, по мнению Фильдинга, наилучшим, возрождающим «золотой век». Это и есть присущая многим просветителям теории «счастливого среднего состояния», которое в сущности представляло собою идеализированное царство буржуазии.

Оптимистический финал «Джозефа Эндруса» не является случайным. Он связан с жизнеутверждающей настроенностью Фильдинга в этот период его творчества. Фильдинг возлагал надежды на доброе начало, заложенное в природе человека, и стремился противопоставить деляческому буржуазному миру то бескорыстие, жизнелюбие и человеколюбие, которые присущи его демократическим героям.

5

Идейно-художественные особенности реализма Фильдинга, проявившиеся в его «Джозефе Эндрусе», получили дальнейшее развитие в «Истории Тома Джонса найденыша» (1749). Именно это произведение в первую очередь принесло мировую славу Фильдингу, как основоположнику и крупнейшему представителю жанра реалистического романа в английской и европейской литературе. Перед читателем проходит огромная галерея действующих лиц, взятых из различных классов английского общества. При этом все персонажи романа, даже эпизодические, обрисованы с той социальной конкретностью, которую мы уже отмечали в «Джозефе Эндрусе».

Антисословная тенденция, которой пронизан «Джозеф Эндрус», в «Томе Джонсе» еще более усиливается. Чванливые дворяне и буржуа-выскочки,

«дикий помещик» сквайр Вестерн, развратная леди Белластон и проходимец лорд Фелламар — таковы представители правящих классов Англии. Симпатии Фильдинга на стороне простых людей, которые обрисовываются им с большим сочувствием.

Если в «Джозефе Эндрусе» главными героями были полунищий сельский священник и бывший лакей, то в «Томе Джонсе» в центре романа стоит образ подкидыша и бродяги Тома. Подобно Джозефу, он прежде всего — человек, и потому близок разным социальным кругам, чувствует себя как дома не только среди людей, равных ему по положению в обществе, но и в помещичьей усадьбе и в столичном салоне.

Однако если Джозеф Эндрус был в значительной степени условным, односторонне положительным литературным образом, то Том Джонс — настоящий живой человек. Том Джонс — первый в европейском романе герой, наделенный богатой духовной жизнью, стремлением к идеалу и одновременно легкомысленный, беспутный, порой совершающий серьезные проступки. Угрызения совести не могут иной раз удержать его на правильном пути. И все же Том Джонс остается положительным героем Фильдинга, потому что он благороден, честен, чужд своекорыстия.

Внешне непривлекательный моральный облик Тома скрывает за собой его человечность, большое, горячее, преданное сердце. Все некрасивые подробности биографии Тома даются Фильдингом в контрасте с его отношениями к мистеру Олверти, к Софье, к сводному брату Блайфилу, ко всем, кто нуждается в его помощи и поддержке. Фильдинг не боится контрастов, а, напротив, ищет их, потому что вся жизнь состоит из контрастов. Он смело проводит своего положительного героя через грязь и даже позволяет ему поскользнуться и упасть, потому что, даже падая в грязь, Том остается душевно чист.

Итак, Фильдинг лишает своего героя схематизма и наделяет его характером многостороннним, противоречивым, шекспировски-полнокровным. В этом характере мы находим опять некоторые черты сходства с любимым Фильдингом Дон Кихотом. Не случайно Фильдингу приходится искать и находить аналогии у великих писателей Возрождения. В современном Фильдингу романе мы не найдем ни такого богатства красок ни такого разнообразия психологических оттенков, какое находим в «Томе Джонсе», в характере как главного героя, так и второстепенных персонажей. Среди последних выделяется низменный, прозаичный Партридж, выполняющий при Томе Джонсе ту же функцию, какую выполняет Санчо Пансо при Дон Кихоте.

Подобное построение образа в значительной мере явилось результатом продолжающейся полемики Фильдинга с Ричардсоном. Однако, если в «Джозефе Эндрусе» Фильдинг боролся с пуританином Ричардсоном при помощи пародии, здесь он отвечает на моральные схемы этого писателя созданием живого, реалистического, полнокровного человеческого образа.

При этом Фильдинг полемизирует не только с Ричардсоном, но и с гораздо более близким ему в идейном отношении Свифтом, который в своем трагическом пессимизме нарисовал страшный образ человекоподобной обезьяны йеху, наделенной всеми чертами, присущими человеку собственнического общества. Фильдингу была чужда и слащавая пуританская мо-

ранизация Ричардсона и трагический гротеск Свифта. Он видит все уродства и отрицательные стороны современной ему действительности, но не теряет веры в человека. Это придает роману Фильдинга оптимистическое звучание, поскольку в центре его стоит образ Тома Джонса — положительный идеал человека, в характере которого смешаны зло и добро, однако с явным перевесом добра над злом. Величайшим достижением Фильдинга было то, что ему удалось придать образу Тома Джонса подкупающую жизненность. Вот почему этот образ стал показательным достижением всей просветительской литературы, притом не только в английском, но и в общеевропейском масштабе.

Как образ шекспировской строптивой Катарины раскрывается по контрасту с образом ее сестры Бьянки, которую все считают скромницей, так характер Тома полностью раскрывается при сопоставлении его с характером Блайфила. Если добродетель Тома выступает под маской порока, то злодейство Блайфила выступает под маской добродетели. Беспутству Тома противостоит лицемерие Блайфила. Эта маскировка является пружиной действия романа. Задача Фильдинга заключается в том, чтобы привести роман к тому моменту, когда маски будут сорваны и читателю раскроется подлинная сущность обоих его героев.

Объектом разоблачения для Фильдинга является чисто английское, пуританское лицемерие. Фильдинг с огромным темпераментом просветителя ведет в своем романе антипуританскую пропаганду. Пуританское лицемерие разоблачается им в трех образах, на трех участках, где оно чаще всего проявляется,— в жизненной практике (образ Блайфила), в религии (образ Твакома) и в философии (образ Сквейра). Это разоблачение достигает апогея в финале романа, когда злодеи посрамлены до последней степени и повержены в прах.

Как и «Джозеф Эндрус», «Том Джонс» имеет счастливый конец, в котором разрешается тайна рождения героя, улаживаются все недоразумения, происходит наказание порока и вознаграждается добродетель. Такой финал выражает оптимистические установки Фильдинга, попрежнему верящего в то, что в существующих условиях социальной жизни возможно торжество справедливости и достижение жизненной гармонии.

Но просветительская жизнерадостность и гармоническое восприятие жизни, проявившиеся в двух больших романах Фильдинга, оказались непрочными. Английская буржуазная действительность не давала основания для просветительского оптимизма, для установления равновесия между идеалом и действительностью. Благополучное разрешение неразрешимых [illegible] Англии того времени конфликтов возможно было только ценой [illegible] последовательно реалистического и материалистического [illegible]. Неизбежным являлось здесь обращение к религии и [illegible], которое имело место в последнем романе Фильдинга — «Амалия» (1751), отмеченном его поворотом к жанру семейного романа, разработанному Ричардсоном, его недавним идейным антагонистом.

Всего два года отделяют «Амалию» от «Тома Джонса», а между тем как далеки оба эти произведения по своему идейному содержанию! В «Амалии» нет даже следа свежести, жизнерадостности «Тома Джонса». Юмор Фильдинга становится желчным. Оптимизм сменяется пессимизмом.

Если в двух предыдущих романах Фильдинг исходил из доверия к неиспорченной человеческой природе, верил в то, что человеческая доброта одержит верх над всеми соблазнами жизни, то в «Амалии» этого доверия автора к человеку уже нет. Герой романа, неукротимый капитан Бутс, является как бы новым вариантом недавнего образа Тома Джонса. Как и последний, он любит свою жену, но на каждом шагу ей изменяет. Однако Фильдинг уже не прощает своему герою его бесчисленных проступков, как он прощал Тому. С каждым шагом Бутс падает все ниже и ниже, он проигрывает последние деньги и попадает в долговую тюрьму.

Причину несчастий Бутса Фильдинг видит в том, что он слишком послушен порывам своей «натуры», что он не хочет и не умеет подчиняться никаким высшим морально-религиозным принципам. Фильдинг приходит к выводу о необходимости для человека религиозной узды. И он заставляет своего вольнодумного героя испытать в конце романа религиозное «обращение». За этой моральной развязкой романа следует развязка материальная — известие о полученном Амалией большом наследстве. Нетрудно заметить, что благополучный финал этого романа Фильдинга имеет, в отличие от таких же финалов «Джозефа Эндруса» и «Тома Джонса», отчетливо филистерский характер.

Весь роман «Амалия» в целом отличается большой внутренней противоречивостью. Если во вводных главах Фильдинг дает широко задуманную сатиру на современную Англию со всеми особенностями ее государственной системы, с живо написанными реалистическими картинами английского суда и тюрьмы, то в дальнейшем все подобные картины в романе исчезают и на первое место выдвигается сентиментальное изображение домашнего мирка супругов Бутс. Подобно Ричардсону, Фильдинг ограничивается изображением одного дома и переполняет свое повествование показом бесчисленных мелочей семейного быта.

Здоровый юмор изменяет Фильдингу. На страницах его романа проливается множество слез. «Амалия» — сентиментальный роман с некоторой религиозной окраской. Спору нет, есть в романе безусловно удачные главы. Так, очень удался Фильдингу характер Амалии — верной супруги, прощающей мужу все его слабости. Теккерей считал образ Амалии самым обаятельным женским образом, какой был когда-либо создан в английской литературе. Действительно, образ Амалии богаче содержанием и трогательнее, чем образ Софьи Вестерн. Недаром этот образ вдохновил Теккерея на создание в его «Ярмарке тщеславия» одноименного образа Амалии Седли, по мужу Осборн, этой безумно любящей жены и матери, которой ее легкомысленный муж, капитан Осборн, приносил не меньше огорчений, чем капитан Бутс своей Амалии в романе Фильдинга.

Творческий кризис Фильдинга как писателя-реалиста отразился также и на его эстетике. Если в «Томе Джонсе» Фильдинг провозглашал себя учеником и последователем Аристофана и Рабле, то в последних своих статьях, напечатанных в «Ковент-гарденском журнале», он отрекается от этих былых властителей своих дум. Одновременно с этим он изменяет отношение к Ричардсону, который был ему прежде столь чужд по духу и которого он именует теперь «остроумным автором «Клариссы», пытаясь, подобно ему, подчинить веселье и шутку поучению, дидактике.

Последними произведениями Фильдинга были публицистические трактаты, журнальные статьи и памфлеты. Некоторые из них представляют несомненный интерес, как «Письмо из Бедлама», ставящее вопрос об уничтожении денег, как средства ликвидации «наших политических зол, которые все умножаются и усугубляются», или как сатирический «Современный словарь», выдержанный в мрачных, пессимистических тонах и явно навеянный страницами о тайном значении слов из «Путешествий Гулливера» (часть III, глава 6). Если у Свифта «чума» означает постоянную армию, «ночной горшок» — комитет вельмож, «мышеловка» — государственную службу, «дурацкий колпак» — фаворита, «помойная яма» — королевский двор, а «гноящаяся рана» — систему управления, то Фильдинг в том же духе объясняет слова «капитан» и «полковник» — любая дубина, на которую насажена голова, украшенная черной лентой, «патриот» — кандидат на место при дворе, «политика» — искусство получать такие места, «проповедь» — средство от бессонницы, «религия» — слово, не имеющее значения (с его помощью, правда, хорошо запугивать детей), и т. д.

Несмотря на несомненные черты кризиса просветительского мировоззрения Фильдинга и связанные с этим отдельные отступления его от последовательного материализма и реализма, Фильдинг остается до конца своих дней крупнейшим представителем критического, антипуританского течения английского просветительства, достойным учеником, преемником и продолжателем великого сатирика Свифта. Романы Фильдинга заслужили высокую оценку самых крупных представителей русской и мировой литературы. Из воспоминаний Элеоноры Маркс-Эвелинг и Поля Лафарга мы знаем, что романы Фильдинга принадлежали к числу любимых книг Маркса. Молодой Чернышевский высоко ценил Фильдинга, называл его «карателем лжи и лицемерия». Имя Фильдинга не случайно названо Всемирным Советом Мира в числе крупнейших представителей литературы, юбилей которых отмечается в 1954 году. Любовь Фильдинга к народу, его страстное обличение своекорыстия собственнических классов, его разоблачение английской государственной системы, его беспощадная насмешка над религиозным мракобесием и лицемерием, над пуританским тартюфством, столь распространенным в Англии по сей день,— делают Генри Фильдинга писателем, дорогим не только английскому народу, который вправе гордиться таким великим сыном, но всему прогрессивному человечеству.

С. МОКУЛЬСКИЙ

ПЬЕСЫ

ПОЛИТИК ИЗ КОФЕЙНИ, ИЛИ СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Уорти.
Скуизем.
Миссис Скуизем.
Политик.
Хиларет.
Рембл.
Констант.
Сотмор.
Деббл.
Порер.
Куилл.
Стафф.
Миссис Стафф.
Изабелла.
Клорис.
Фейсфул.
Свидетели.
Стража и т. п.

Место действия — Лондон.

ПРОЛОГ

Еще в Элладе, древней школе муз,
Узнал Порок сатиры горькой вкус.
Свободен, чист и неподкупно строг,
Правдивый бард бичом хлестал Порок.
Пусть негодяй был властью облечен,
В комедии за все карался он,
И был казним общественным стыдом
Виновный пред общественным судом.

Но вскоре стал Порок сильней всего,
Опасно стало раздражать его.
Могуществом оборонен от стрел,
Он нераздельно знатью овладел.
На сцене франт, скупец, ревнивец, мот,
Но знатный плут сюда не забредет.
Тут сильного не заклеймит наш свист,
Боясь хлыста, поэт упрятал хлыст.

Но вот, опасных не страшась дорог,
Сегодня муза вновь казнит Порок.
Вернув перу законные права,
Она проникла в логовище льва
Где сильный благо общества блюдет,
Он уваженье в гражданах найдет.
Но тот, кто им на пагубную часть
Употребил полученную власть,
Услышит здесь, как рукоплещет зал
Тому, кто подлость подлостью назвал.
Ханжа, развратник иль чиновный вор
Сердито скажут: «Ваша пьеса — вздор!»
Но тех, кто чист, развеселит она:
Безвинному сатира не страшна [1].

[1] Перевод В. Левика.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Гостиная в доме Политика. Стол, заваленный газетами. Кресла, стулья.

Хиларет, Клорис.

Хиларет. Безумная затея, Клорис, ей-богу! Отдаться во власть молодому мужчине! Да меня бросает в дрожь при одной мысли об этом!

Клорис. Поначалу-то оно, верно, страшновато; я и сама в день своей свадьбы ух как боялась! Ну, да к утру все как рукой сняло! Муж — что твое пугало: когда его узнаешь получше, куда и страх девался!

Хиларет. А что как муж окажется плохой?

Клорис. О, тогда и вы, сударыня, должны оказаться не лучше его. Коли он любовницу заведет, заводите и вы кавалера; а станет по кабакам шататься — назовите себе полон дом гостей, да и гуляйте с ними вволю.

Хиларет. Хороши твои советы, нечего сказать!

Клорис. Плохи ли, хороши ли, не знаю, а только я сама держусь этих правил. Муж мой был негодяй, обчистил меня как липку и содержал любовницу у меня под носом. Ну да и я в долгу не осталась! По мне, сударыня, при таком муже непременно должно держать заместителя. Бывают же они у наших сановников, которые от важности сами и шагу ступить не могут!

Хиларет. Ну а если б ты была влюблена в своего мужа?

Клорис. А я и любила его, сударыня, покуда он того стоил; да ведь любовь — что твой огонь, без топлива гаснет.

Хиларет. Вот кому можно верить, так это моему Константу! По мне, если любишь, так уж верь своему избраннику, хотя бы и знала, что он тебе врет. Ах, Клорис, легче гору сдвинуть, чем женскую любовь...

Клорис. А гора-то, глядишь, на песке!

Хиларет. Любовь — всегда любовь, кого б мы ни любили! Подчас приписываешь своему милому такие достоинства, каких у него нет и в помине. Все мы, когда влюблены, глядим на предмет своей страсти как бы сквозь волшебный кристалл; и это радужное видение остается у нас в душе навсегда. Любовь — как вера в бога: не требует никаких доказательств.

Клорис. Насколько я могу судить о мужчинах, сударыня,— а опыт у меня, по чести сказать, немалый,— вы не могли избрать себе лучшего предмета страсти: капитан Констант обладает всеми качествами, о каких может мечтать женщина. Молод, статен, с лица красив, любезен, и такой, что уж никогда не изменит! К тому же, как мистер Каули * говорит, у него очень...

ЯВЛЕНИЕ 2

Политик, Хиларет, Клорис.

Политик. И пошли и пошли — тик-так, тик-так, как часы! Ну, что вы там замышляете, а? Известное дело, где две женщины, там и жди беды!

Клорис. Напротив того, сударь, я слыхала, что, коль женщина побудет с мужчиной, вот тогда-то и жди беды! Хотя, по-моему, мужчина и женщина самая подходящая пара!

Политик. Ты и дочери моей проповедуешь такую же мудрость?

Хиларет. Право, папенька, в том нет нужды, у меня у самой те же мысли.

Политик. Скажите! Ну да в этом деле я не дам тебе воли!

Хиларет *(в сторону)*. Посмотрим!

Политик. Я думаю, у самого кардинала Флери * меньше забот, чем у меня с этой девчонкой! Один из древних мудрецов говорил, что легче управлять королевством, чем собой; я же скажу, что управлять женщиной труднее, чем двадцатью королевствами.

Хиларет. Право, папенька, было бы лучше, если б вы меньше заботились о кардиналах да королевствах и занялись бы своими делами. Ну что вам дался хотя бы этот Дон Карлос?* Уж не прочите ли вы его себе в зятья?

Политик. Кого? Его? Да ни за какие королевства! Вот погоди, я тебе сейчас растолкую, что он за птица, этот Дон Карлос...

Хиларет. Ах, увольте! Ничевошеньки-то я не понимаю в вашей политике!

Политик. И напрасно. Ни один роман не принесет тебе столько пользы, сколько приносит газета. В одном газетном столбце заключено больше, чем в вашем «Великом Кире» *.

Хиларет. Больше небылиц, вы хотите сказать? Вы знаете, я всегда читаю великосветские новости в «Правительственной вечерней газете», остальное же и читать незачем.

Политик. Если хочешь быть осведомленной в политике, ты должна прочитывать все газеты — примерно сорок в день, а то и пятьдесят. По субботам же — все восемьдесят. Если бы ты следовала этой системе на протяжении года, ты разбиралась бы в политике не хуже любого... любого завсегдатая нашей кофейни. Чем лезть в великосветские дамы, занялась бы ты лучше политикой!

Хиларет. С вашего позволения, папенька, лучше бы вы занимались ею поменьше!

Политик. До чего же ты заблуждаешься, дитя мое! Ну, да я вижу, какой-то дурак замутил тебе голову! Погоди, ты

еще доживешь до того, что твой отец станет одним из величайших людей в Англии. Не я ли пророчил во время осады Гибралтара *, что не далее как через три года выяснится, чего нам ждать: мира или войны? Но нет, твой отец невежда, твой отец ничего не смыслит, зачем только он забросил свою торговлю, не так ли? Ну а что бы в таком случае сталось со всеми моими проектами, позвольте вас спросить? У меня двадцать различных планов, которые я готов представить в парламент. Они должны принести мне бессмертную славу, а моему отечеству — неоценимые блага. Да знаешь ли ты, что я изобрел способ погасить весь наш государственный долг, не тратя при этом ни гроша?

Хиларет. И, верно, ни гроша не заработаете на этом.

Политик. Боже упаси! Но это даст мне такую славу, такой великий почет, какого я не уступил бы и за двадцать тысяч фунтов. Вот уж три года, как этот проект лежит у одного моего приятеля, члена палаты общин, и совсем недавно этот приятель заверил меня, что мой проект будет представлен в парламент в ближайшее время... не на этой сессии, однако...

Хиларет *(в сторону)*. И не в этом столетии, боюсь.

Политик. А в чем, ты спросишь, состоит мой проект? Да просто-напросто в том, чтобы соорудить машину, которая проволокла бы наши корабли по суше на протяжение каких-нибудь ста миль. Таким образом мы могли бы вести торговлю с Ост-Индией * через Средиземное море.

Хиларет. Желаю вам успеха, сударь! Однако становится поздно. Покойной ночи, папенька! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 3

Политик *(один)*. Приготовления турок не дают мне покоя. Хотел бы я знать, каковы их намерения? Уж не собираются ли они выступить против самого императора? * Не иначе, как еще одной венгерской кампанией пахнет *. Дай-то бог, чтобы дальше не пошло!.. Уж если турецкие галеры проникнут в Проливы *, беды не оберешься. Могу только сказать, что не хотел бы дожить до этого дня.

ЯВЛЕНИЕ 4

Политик, Деббл.

Деббл. Беда, беда, сосед Политик! Все кончено! Мы пропали!

Политик. О боже, что случилось? Не новости ли из Турции?

Деббл. Прибыла депеша с известиями о смерти дофина *.

Политик. Час от часу не легче! Вот это удар! Мистер Деббл, я чрезвычайно обрадован вашим посещением! Мы должны потолковать об этом злополучном происшествии. Курите, не стесняйтесь... Только бы это не помешало Дон Карлосу закрепиться в Италии!

Деббл. Дай бог, чтоб помешало!

Политик. Что вы?

Деббл. Боюсь, как бы Дон Карлос не оказался более грозной силой, чем мы думаем.

Политик. Дон Карлос — грозная сила, мистер Деббл?

Деббл. Еще бы! Вот погодите, увидите!

Политик. Сударь, на мой взгляд — Дон Карлос совершеннейший нуль в европейской политике, и, позвольте вам заметить, турки внушают мне в тысячу раз больше тревоги, чем ваш Дон Карлос. Трудно сказать, что скрывается за их приготовлениями,— я знаю лишь одно, что я ничего не знаю.

Деббл. Незачем идти так далеко, когда опасность под носом. Наши дела на Западе так плохи, что на Восток нечего и глядеть. Чудовищная власть, которую со смертью дофина приобретает Дон Карлос...

Политик. Вы хотите сказать, чудовищная власть, которую приобретет император?

Деббл. Император — ха!

Политик. Дон Карлос — пф!

Оба неодобрительно покачивают головой.

Деббл. Позвольте задать вам один вопрос, мистер Политик: как велика, по-вашему, Тоскана?

Политик. Как велика, по-моему, Тоскана? Позвольте, позвольте... Тоскана, ну да... Вы спрашиваете, как велика Тоскана?.. Гм... Фейсфул, еще табаку! Как велика она, говорите вы?.. Полагаю, что она величиной с королевство французское... а то и побольше...

Деббл. Больше королевства французского?! С таким же успехом можно сравнить вот эту трубку с пушкой. Тоскана, сударь вы мой, всего лишь городишко! Впустить гарнизон в Тоскану... я хочу сказать — в город Тоскану...

Политик. Я докажу вам, что вы заблуждаетесь, сударь... Фейсфул, принеси-ка сюда карту Европы!

Деббл. Вот уж не думал я, что вы окажетесь таким профаном в географии, сударь!

Политик. Да уж, верно, я смыслю не меньше вашего или кого другого в этом предмете.

ЯВЛЕНИЕ 5

Политик, Деббл, Фейсфул.

Фейсфул. Сударь, сударь, ваша дочь бежала, и никто не знает куда!

Политик. Боюсь, сударь, как бы нам не пришлось жестоко поплатиться за ваше невежество в государственных вопросах!

Деббл. Пошлите же за картой, сударь!

Политик. Далась вам эта карта! Карта в моей голове, карта всего мира, сударь!

Фейсфул. Сударь, ваша дочь...

Деббл. Сударь, если ваша голова и впрямь карта, то по этой карте далеко не уедешь.

Политик. Сударь, я не решился бы в нашей кофейне назвать Тоскану городом, даже если б меня сделали ее королем!

Деббл. А я так не стал бы сравнивать Тоскану с Францией, даже если б меня за это провозгласили королем и Тосканы и Франции!

ЯВЛЕНИЕ 6

Политик, Деббл, Фейсфул, Порер.

Порер. Замечательные новости, джентльмены! Угроза миновала!

Политик. Еще кто-нибудь умер?

Порер. Напротив, получена депеша, в которой сообщается, что дофин пребывает в добром здоровье.

Деббл. Поистине добрые вести!

Политик. Ваши сведения из достоверного источника?

Порер. Из самого наидостовернейшего — я только что из канцелярии министра!

Политик. Дражайший мистер Порер, вы самый желанный гость!.. Ваши вести делают меня счастливейшим из смертных...

Фейсфул. Сударь, как бы мои вести не превратили вас в несчастнейшего из них. Ваша дочь, сударь, мисс Хиларет, бежала из дому, и никто не знает куда!

Политик. Моя дочь бежала! Признаться, это и в самом деле несколько омрачает мое счастье. Но, потеряй я двадцать дочерей, радость от выздоровления дофина превзошла бы мою печаль! Все же я вынужден покинуть вас, джентльмены, и пойти расследовать это дело.

Деббл. Ничто не должно огорчать вас, сударь, после того, что мы с вами сейчас узнали... Ведь личные интересы всегда должны уступать интересам общественным.

Все уходят.

ЯВЛЕНИЕ 7

Улица. Сотмор и Рембл.

Сотмор. Как? Ты хочешь нас покинуть и улизнуть к какой-нибудь дрянной девке? Чума их порази, они перепортили всех моих собутыльников! По их милости мне так часто приходится ложиться трезвым в четвертом часу утра, что, если бы даже все до одной женщины провалились в тартарары, я поднял бы бокал и сказал бы: «Счастливого пути!»

Рембл. А я пустился бы туда следом за ними. Прелестные созданья! Женщина! Какое слово! В нем музыка, волшебная сила! Марк Антоний хорошо распорядился своим добром, когда отдал весь мир за женщину *. Он приобрел сокровище за бесценок.

Сотмор. Что до меня, то я признал бы его сделку выгодной, если бы он взял не девчонку, а бочку доброго бордо.

Рембл. Вино должно служить лишь прологом к любви, оно обостряет радость предвкушения. Бутылка — лишь приступочка у ложа сладострастья. Невежда пьет вино лишь для того, чтоб напиться, а любовник — чтобы воспламенить свою страсть.

Сотмор. Ну, не досадно ли, что такой прекрасный напиток заставляют служить такому недостойному делу?

Рембл. Напротив, в этом самое благородное назначение виноградной лозы. И нет большей чести для Вакха, чем быть пажом при Венере.

Сотмор. Да не видать мне ничего, кроме несчастной маленькой пинты вина до скончания моих дней, если я когда-нибудь еще отправлюсь в кабак с человеком, который норовит улизнуть после первой же бутылки!.. Да я скорее запишусь в члены купеческого клуба, где все пьют наперстками, точно боятся, как бы вино не распалило их воображение прежде, чем они раскачают свои ленивые мозги беседой! Да лучше пить кофе с каким-нибудь политиканом, или чай со светской дамой, или кислый пунш с джентльменом из общества, чем служить [illegible]льным камнем сладострастию своих приятелей! И все ради [illegible] чтоб какая-то дрянная потаскушка пожинала плоды моих [illegible]!

[illegible]мбл. Да ты рассвирепел словно женщина, у которой [illegible] последний миг сплоховал.

[illegible]тор. А что же, мне впрямь так же худо, как ей.

Рембл. Друг мой, пойми: когда у мужчины начинает туманиться ум, вот тогда-то он и подходит для женского общества. Еще одна бутылка, и я бы не годился ни для какого общества.

Сотмор. И тебя унесли бы со славой! Порядочный человек не смеет покинуть кабак, как солдат не смеет бежать

с поля сражения. А ваш брат, щеголь, только и думает, как бы уберечь себя и от войны и от вина ради прекрасных дам. Черт побери! Я презираю вас, как честный солдат презирает дезертира. И не удивляйтесь, сударь, если, завидя вас на улице, я перейду на другую сторону.

Рембл. Дражайший Силен *, смени гнев на милость! Я только пойду освежиться,— прогуляюсь немного и опять вернусь к тебе в кабачок. Бургундское будет моим девизом, и я буду сражаться под твоей командой, пока не лягу костьми.

Сотмор. Теперь я вижу, что ты честный малый, и потому разрешаю тебе провозгласить тост в честь любой красотки. Мы будем пить ее здоровье, пока тебе не почудится, что ты ее обнимаешь. Для человека с пламенным воображеньем нет лучшей сводни, чем бутылка. Она приведет в твои объятия, кого ты захочешь — от самой чопорной жеманницы до самой отчаянной кокетки. Ты овладеешь ее прелестями, несмотря на все ее уловки. Куда там,— ее прелести возрастут так, что никакому искусству с ними не сравняться! А наутро, пресытившись наслаждением, ты спокойно проснешься в своей постели — ни жены под боком, ни заботы о возможном потомстве.

Рембл. Однако!.. Ты нарисовал пресоблазнительную картину!

Сотмор. Все так и будет, мой милый, вот увидишь! Ты восторжествуешь над ее добродетелью, если она порядочная женщина, и вызовешь у нее краску стыда, если она уличная девка. Ну, я пойду за пополнениями. Смотри же, не задерживайся. *(Поет «Наполняйте стаканы». Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 8

Рембл (один).

Рембл. У этого малого, верно, душа сидит в глотке. Он только тогда доволен, когда глотает что-нибудь. А пьян он никогда не бывает; скорее бочка опьянеет от вина, чем он. Увы, я устроен не так! Чума возьми мою картонную башку! Только похоронишь вино в желудке, как его дух возносится тебе в голову. Впрочем, я сейчас в самом подходящем состоянии для интрижки. Кабы моя добрая звезда — а ее злая — привела сюда какую-нибудь красотку!.. Ба! Дьявол услышал мои молитвы!

ЯВЛЕНИЕ 9

Рембл, Хиларет.

Хиларет. Надо же было случиться такому несчастью! Потерять свою служанку в потасовке и не знать дороги к милому! Ну что мне делать?

Рембл. Ага, приключение!

Хиларет. Боже мой! Кто это? Кто вы такой, сударь?

Рембл. Кавалер, сударыня. Рыцарь, странствующий по свету в поисках приключений. Моя профессия — брать приступом вдов, лишать девушек чести, уменьшать число котов и увеличивать ряды рогоносцев.

Хиларет. Сударь искатель приключений, разрешите пожелать вам достойного успеха! (*Порывается уйти.*)

Рембл (*преграждая ей дорогу*). Позвольте, сударыня, я только отправился в путь, и вы — первое мое приключение.

Хиларет. Пустите меня, сударь, умоляю вас! Мне не о чем говорить с человеком вашей профессии.

Рембл. Однако вы не слишком любезны, сударыня! Если я не ошибаюсь, у нас с вами профессии родственные. Мы с вами — как священник с монашенкой, и сам бог велел нам держаться друг друга.

Хиларет. Я вас не понимаю, сударь!

Рембл. Послушайте, сударыня, я немножко знаком с уставом вашей почтенной обители. Очень может быть, что я даже знаком с вашей матерью-игуменьей. Хоть я еще и недели не пробыл на суше, а перезнакомился с ними со всеми, с целым десятком.

Хиларет. Вы нетрезвы, сударь, и, вероятно, не знаете, с кем имеете дело, поэтому я прощаю вам вашу дерзость.

Рембл (*в сторону; свистит*). Вот оно что! Дочь знатного вельможи! Так я ей и поверил!.. Послушай-ка, милая, что мне за дело до твоего положения? Мне все равно, как ездит твой отец: сидит ли он в карете, запряженной шестерней, или с вожжами на козлах. Я бывал равно счастлив и в объятиях жены какого-нибудь честного боцмана и на груди ближайшей родственницы Великого Могола *.

Хиларет. Сударь, ваша наружность говорит о том, что вы порядочный человек, и я убеждена, что всему виной досадное недоразумение. Я понимаю, что несколько странно встретить порядочную женщину на улице в такой час...

Рембл (*в сторону*). Что странно то странно!

Хиларет. Я не сомневаюсь, что, когда вы узнаете, как я очутилась в подобном положении, вы сами захотите мне помочь. Нынешней ночью я убежала из родительского дома; я шла, чтобы вверить свою судьбу возлюбленному, меня сопровождала служанка. В это время на улице случилась драка; мы разбежались в испуге и потеряли друг дружку... Сударь, я полагаюсь на ваше великодушие,— правда же, вы не захотите оставить женщину в беде? Вызволите меня, и вы можете рассчитывать не только на мою благодарность, но и на благодарность одного весьма достойного джентльмена.

Рембл. Покорнейший слуга достойнейшего джентльмена! Однако, сударыня, вы пришлись слишком по сердцу мне

самому, чтоб я стал вас беречь для другого. Если б вы оказались той, за кого я в первую минуту вас принял, я расстался бы с вами без особой печали. Но я увидел в ваших глазах аристократический герб, ваша светлость! *(В сторону.)* Пусть себе будет светлостью, если ей это нравится; легче дать титул, чем деньги.

Хиларет. Теперь вы ударились в другую крайность.

Рембл. Э, нет, сударыня! Судя по вашей выходке, вы должны быть либо знатной дамой, либо уличной женщиной! Жалкие добропорядочные твари, живущие с оглядкой на приличия, никогда не позволят себе такого благородного полета фантазии. Подобные полеты доступны лишь тем, кто привык парить над общественным мнением.

Хиларет *(в сторону)*. Этот малый просто безумец!

Рембл. Так вот, моя милая! «Светлость» вы там или нет, не знаю, а распить со мной бутылочку в соседнем кабачке вам придется.

Хиларет *(в сторону)*. Есть только один способ от него отвязаться.

Рембл. Идем же, мой ангел! О, какая нежная ручка!

Хиларет. Если бы знать, что мне удастся сохранить мою честь...

Рембл. О, на этот счет будьте совершенно покойны! Я готов заложить за нее что угодно *(в сторону)*... кроме моих часов.

Хиларет. А мое доброе имя?

Рембл. Об этом уж позаботится темная ноченька... *(В сторону.)* Честь! Имя! Вон как эти девушки научились петь за то время, что меня не было в Англии!

Хиларет. Но будете ли вы вечно любить меня?

Рембл. О, во веки веков, безусловно!

Хиларет. И вы обещаете?..

Рембл. Да, да, конечно!

Хиларет. И вы не будете грубы со мной?

Рембл. Что за вопрос! *(В сторону.)* А я то боялся, что она денег попросит!

Хиларет. В таком случае я, пожалуй, рискну. Вы идите вон в тот кабачок на углу, а я за вами.

Рембл. Помилуйте, сударыня, как можно! С вашего позволения, я за вами.

Хиларет. Я требую, чтоб вы шли впереди!

Рембл. Ну да, чтоб оставить меня в дураках! Вас, повидимому, смущает неприглядность моего одеяния. Клянусь вам, я честный моряк и не улизну, не расплатившись!

Хиларет. Я не понимаю, о чем вы говорите, сударь.

Рембл. Вот вам фунтик чаю — лучшего не сыскать во всей Индии. Это, я надеюсь, вы понимаете?

Хиларет. Сударь, я не беру подачек.

Рембл. Отказалась от чая! Право, вы начинаете мне по-настоящему нравиться. Видно, что вы попали на улицу недавно. Однако довольно разговоров! Если вы такая знатная особа, что вас непременно нужно носить на руках, извольте, я готов.

Хиларет. Сударь, вы становитесь дерзки!

Рембл. Вот что, перестаньте дразнить мою страсть! Поймите же, я только что сошел с корабля, я полгода не видел ничего, кроме облаков и мужчин, и вид женщины для меня так же мучительно-сладок, как появление солнца над Гренландией после полярной ночи. Я не из тех пресыщенных молодчиков, что способны лишь любоваться женщиной, как в театре. Я голоден, как зверь, и ты — моя перепелка. Чтоб мне не видеть ничего, кроме солонины, если я не проглочу тебя разом! *(Обнимает ее.)*

Хиларет. Я закричу караул!

Рембл. Неужто ты такая злюка? А впрочем, я привык к опасностям! Ну-с, моя Венерочка, соглашайся лучше добром, а не то я обойдусь без твоего согласия!

Хиларет. Караул, караул! Насилие!

Рембл. Не так громко, люди могут подумать, что это всерьез!

Хиларет. Насилие! Спасите!

ЯВЛЕНИЕ 10

Рембл, Хиларет, Стафф, стража.

Стафф. Вот он, хватайте его!

Рембл. Назад, негодяи!

Стафф. Э, сударь, это вам следовало бы идти на попятный. Вы обвиняете этого человека в совершении насилия над вами, сударыня?

Хиларет. Ах, я вне себя от страха!

Стафф. Дело ясное. Насилие налицо. Бес, что ли, в вас вселился, что вы вздумали заниматься этим на улице?

Хиларет. О боже! Мистер констебль, я прошу лишь о том, чтоб вы проводили меня домой!

Стафф. Не беспокойтесь, сударыня, мы не оставим вас без свидетелей.

Рембл. Ну нет, уж коли мне с этими господами суждено ночевать, я по крайней мере заручусь вашим обществом, сударыня! Констебль, я заявляю, что эта женщина пыталась меня обесчестить, в то время как я мирно прохаживался по улице. При этом она угрожала обвинить меня в насилии над ней.

Хиларет. О! Мерзавец!

Рембл. Да, да, сударыня, пусть ваш пример послужит

уроком для других! Хороши наши законы, если трезвому человеку нет на улице проходу от женщин!

Хиларет. Ради бога, сударь, не верьте ему!

Стафф. К сожалению, сударыня, так как мы имеем всего лишь голословные заявления обеих сторон, мы не можем решать, кто прав, кто виноват. Это выяснится к утру, после того, как мы наведем о вас справки. *(К Хиларет.)* Не огорчайтесь, милая, вы не останетесь без свидетелей.

Хиларет. Нужно же было свалиться такому несчастью на голову честной женщины!

Стафф. Если вы в самом деле честная женщина, этого джентльмена повесят за попытку лишить вас чести. Если же нет, вы будете биты кнутом за то, что обвинили этого джентльмена в похищении того, чего у вас нет и в помине.

Хиларет. Ах, всему виной мой испуг! Право, мистер констебль, я готова отказаться от своего обвинения, лишь бы вы отпустили меня!

Стафф. Подобная просьба, сударыня,— лишняя улика против вас.

Рембл. Шила в мешке не утаишь!

Стафф. Ведите их!

1-й стражник. А по-моему, она похожа на порядочную.

Рембл. Черт бы побрал всех порядочных женщин! С ними только свяжись — как раз угодишь либо под венец, либо в петлю!

Все уходят.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Комната Скуизема; стол, чернильница, перо, бумага и т. д.
Скуизем и Куилл.

Скуизем. Так тетушка Билкем отказывается платить, говоришь?

Куилл. Так точно, сударь. «Я, говорит, гроша ломаного не дам за его покровительство, потому, говорит, на те деньги, что он у меня перебрал за три месяца, можно купить парочку присяжных на целый год».

Скуизем. Отлично, отлично! Я ей покажу, что и я умею обращаться с присяжными. Куилл, сделай памятку на деле сводни Билкем, чтоб заручиться присяжными из списка номер три, когда начнут разбирать ее дело. Там всё надежные и вер-

ные люди, один к одному. Их не собьешь никакими уликами, они слушают только меня.

Куилл. Сударь, тут некто мистер Снеп, помощник пристава, арендовал дом и открыл торговлю. Он просит иметь его в виду, если где окажется свободное местечко присяжного.

Скуизем. Занеси его в список номер два. Там чуть не все — помощники пристава. Закон, слава богу, не запрещает этим мясникам...

Куилл. Закон, сударь, запрещает мясникам быть присяжными, но не запрещает присяжным быть мясниками.

Скуизем. Вот еще что, Куилл,— подыскивай кандидатов для списка номер один. На ближайшей сессии откроется много вакансий. Право, если мы не научимся ладить с присяжными в Олд Бейли *, у нас не останется присяжных для Хикс-холла *.

Куилл. Ваша правда, сударь. Этому списку как-то особенно не везет. На моей памяти уже дважды обновлялся весь состав — всех до одного перевешали!

Скуизем. Бедняги, что и говорить! Все мы под богом ходим, Куилл! Кто желает процветать на этом свете, не должен бояться, что его скоро отправят на тот. На гражданской ли ты службе, на военной ли — все равно рискуешь головой Хочешь пробиться в люди — не пугайся скамьи подсудимых. Она для тебя то же самое, что для солдата поле битвы. Тут та же война. Там герой погибает от пули, здесь — от петли!

ЯВЛЕНИЕ 2

Куилл, Скуизем, Стафф.

Куилл. Пришел мистер Стафф, констебль по наблюдению за нравственностью!

Стафф. Дозвольте доложить, ваша милость: мы заглянули сегодня в игорный дом — в том переулке — и задержали шестерых. Двое предъявили нам бумагу с вашей подписью, и мы их отпустили.

Скуизем. Остальные кто?

Стафф. Офицер в отставке, помощник стряпчего и два молодых джентльмена из Темпля *.

Скуизем. Офицера и стряпчего можешь сейчас отпустить: с армейских да с судейских ничего не возьмешь — у тех нет денег, а эти ни за что не расстанутся со своим кошельком... А молодых джентльменов подержим.

Стафф. Не прогневайтесь, ваша милость, а только ведь они как-никак представители закона!.. Разумно ли, ваша милость, самим соваться льву в пасть?

Скуизем. Напрасные страхи! Эта молодежь так же похожа на адвокатов, как наше дворянское ополчение похоже на солдат. У тех мантии, у этих сабли,— а толк один. Что подоб-

ные джентльмены проживают свои состояния, я знаю, а вот чтобы наживали — не слыхивал.

Стафф. Ах, сударь, они ходят в кружевах, не хуже лордов!

Скуизем. Не бойся адвоката в кружевах. Кто начинает свою карьеру в кружевах, кончает ее в лохмотьях.

Стафф. Хорошо, сударь, я задержу их... Кроме того, мы подкрались к дому, о котором ваша милость сказывали, и уже с улицы услышали стук игральных костей; увидав, однако, у подъезда две кареты с гербами, мы предпочли не входить.

Скуизем. И правильно сделали. Закон — это дорожная застава, где пешему нет прохода, а каретам — сделайте милость, пожалуйста! Законы подобны игре в «мушку»: всякие там короли, дамы всегда в безопасности, а червонные валеты — самые надежные карты.

Стафф. Кроме того, нами задержан некто по обвинению в насилии над женщиной, сударь.

Скуизем. Что за птица?

Стафф. Да, по всему судя, крупная: говорит по-французски, поет по-итальянски, а ругается по-английски.

Скуизем. Богат?

Стафф. Не думаю; нам не удалось выжать из него ни фартинга *.

Скуизем. Значит, богат. Глубокие карманы подобны глубоким рекам, а деньги та же вода — где помельче, там и текут быстрее.

Стафф. Да вот, ваша милость, у нас тут еще одно затруднение...

Скуизем. Что такое?

Стафф. Женщина отказывается присягать против него.

Скуизем. Ну, это не беда! Присягнет, в чем только нам будет угодно. Какого она звания?

Стафф. Да как будто из уличных, сударь.

Скуизем. Ну, если так, присягнет! Другое дело — порядочная женщина: как джентльмен не признается в том, что получил оплеуху, так и она — нипочем не признается, что подверглась насилию. А эта у нас скажет ровно столько, сколько нужно, чтобы припугнуть молодца и заставить его раскошелиться. Ведь тогда и ей перепадет кое-что. Поди приведи их сюда... Нет, постой! Я посылал тебе утром одного арестованного. Был ты в то время дома?

Стафф. Был, ваша милость.

Скуизем. Ну, и что он?

Стафф. Отчаянно ругается, сударь. «Меня, говорит, осудили, не предъявив никаких обвинений». Боюсь, сударь, что из него ничего не выжмешь.

Скуизем. Все же подержим его до обеда.

ЯВЛЕНИЕ 3

Мистер и миссис Скуизем.

Миссис Скуизем. Мистер Скуизем, я бы попросила вас закончить все ваши грязные дела к двенадцати часам, не позднее! Мне надобно, чтобы с этого времени весь дом был в моем распоряжении.

Скуизем. Слушаю, милая! Будет исполнено. А вы в свою очередь не разрешите ли мне воспользоваться, этак через час, нашей каретой?

Миссис Скуизем. Мне самой она будет нужна.

Скуизем. В таком случае мне придется взять коляску.

Миссис Скуизем. Я еще не решила окончательно, поеду ли я в коляске, или в карете. Поэтому я не могу предоставить вам ни той, ни другой. К тому же по делам службы можно выезжать и в наемной колымаге,— все равно ведь я не могла бы уступить вам лакея для выезда.

Скуизем. Хорошо, дорогая, отлично!.. Пусть будет по-вашему... Я об одном только хотел бы просить вас: нельзя ли нам сегодня пообедать часиком раньше?

Миссис Скуизем. Невозможно! Как раз сегодня наш обед запоздает на час. Мне до зарезу необходимо побывать на торгах: я приглядела там фарфоровую вазочку, не хотелось бы ее прозевать. Она должна обойтись мне в какие-нибудь сто гиней, не больше, хотя на самом-то деле ей цены нет. Кстати, мой милый, я рассчитываю взять эти деньги у вас.

Скуизем. Сто гиней за какую-то вазочку! Да пропади она пропадом, эта Ост-Индская компания! * Все золото, что мы выкачиваем из одной Индии, мы ухлопываем на глиняные безделушки, которые нам шлют из другой *.

Миссис Скуизем. Может быть, мне удастся еще и поторговаться. Однако никогда не мешает иметь при себе лишние деньги.

Скуизем. Послушайте, сударыня, я не желаю больше потакать вашей расточительности!

Миссис Скуизем. Послушайте, сударь, я не прошу вас потакать моей расточительности!

Скуизем. И не просите, сударыня!

Миссис Скуизем. Вот как обстоит наше дело. Вы утверждаете, мой дорогой, что я мотовка; я отрицаю это. Как, по-вашему, кому поверят — мне или вам? Я, конечно, не говорю о Хикс-холле... Так вот знайте, дорогой мой: если вы еще когда-нибудь из-за такой мелочи позволите себе упрекать меня в мотовстве, я стану мстить. Я вас уничтожу, я выведу вас на чистую воду! Я разоблачу все ваши ночные проделки, расскажу, что вы оказываете покровительство притонам разврата, подкупаете присяжных, берете процент со стряпчих —

словом, обнаружу всю цепь ваших мошеннических махинаций. Если вы не будете давать мне столько, сколько мне нужно,— я поспешу овдоветь, наконец!

Скуизем. Хорошо, моя дорогая, на этот раз я вам уступлю. *(К публике.)* Доверьте свой кошелек вору или стряпчему, свое здоровье — врачу или шлюхе, но никогда не доверяйте своей тайны жене! Ей дай только кончик веревки, и уж будьте покойны — повесит!

ЯВЛЕНИЕ 4

Мистер и миссис Скуизем, Куилл, Стафф, стражник, Рембл, Хиларет.

Стафф. Ваша милость, вот джентльмен, который вчера вечером совершил насилие над этой девицей.

Скуизем. Ай-яй-яй! Неужели насилие? Дитя мое, это над вами он совершил насилие?

Миссис Скуизем *(в сторону)*. Послушать, что ли, и мне?

Хиларет. Сударь, мне не в чем обвинить этого джентльмена, и я прошу вас возвратить нам обоим свободу. Вчера он показался мне слишком развязным, и я обратилась к этим людям за помощью. Теперь же мы попали к ним в руки и не можем вырваться на волю.

Скуизем. Они только исполняют свой долг, сударыня. Их дело задерживать; освобождать — лишь в нашей власти.

Рембл. Сударь...

Скуизем. Я бы просил не перебивать меня! Послушайте, милая, если этот джентльмен поступил с вами дурно, неужели вы позволите вашей скромности встать на пути правосудия? Ведь тогда следующее преступление, которое он совершит, будет на вашей совести. Судя же по наружности этого молодчика, он способен совершить с десяток насилий в неделю.

Хиларет. Уверяю вас, сударь, он ни в чем не повинен.

Скуизем. Что вы имеете сказать по этому поводу, мистер Стафф?

Стафф. Ваша милость, я своими собственными глазами видел, как задержанный вел себя самым непристойным образом, и своими собственными ушами слышал, как эта женщина кричала, что он хочет ее погубить.

Скуизем. Нехорошо, мое дитя, нехорошо! Неужели вы не согласитесь присягнуть?

Хиларет. Ни за что на свете, сударь! Но я присягну кое в чем, касающемся вас, если вы не отпустите нас сию же минуту.

Скуизем. Никак не могу. Дело слишком уж явное. Если вы отказываетесь принести присягу сейчас, нам придется держать этого человека за решеткой, пока вы не согласитесь.

Стафф. Если она и откажется, то наших показаний будет довольно, чтоб засудить его.

Рембл. Это мне нравится, ей-богу! Да этот судья почище великого инквизитора! Послушайте, грозный сударь, чем я вам так насолил, почтеннейший, что вы готовы поставить эту даму к позорному столбу *, а меня вознести еще выше?

Скуизем. Вы только взгляните на эту физиономию, моя дорогая! Ведь на ней так и написано: «соблазнитель»! Сударь, на месте королевского судьи *, я бы повесил вас, не требуя никаких улик! Вот этакие-то молодчики и вбивают клин между мужем и женой, из-за них-то у нас и не переводятся такие слова, как «бастард», «рогоносец»...

Рембл. Ну, если к этому сводится все ваше обвинение — что ж, готов признать, что не терял времени даром. Однако я что-то не припомню, чтобы я когда наградил лично вас, сударь, этой почтенной кличкой, и мне совершенно непонятно, что могло так ожесточить вас против меня? Считать вас противником подобных развлечений было бы так же нелепо, как считать католического священника врагом греха или врача — врагом болезней.

Миссис Скуизем. Куда как учтиво, сударь, в моем присутствии сулить моему мужу рога!

Рембл. Прошу прощения, сударыня! Я не знал, в чьем обществе я имею честь находиться. Не в моих правилах оскорблять даму, тем более такую, как вы, чьи исключительные достоинства требуют исключительного уважения.

Миссис Скуизем. Сударь, я не думала услышать грубость от джентльмена с такой наружностью и была готова приписать неудачное слово, вырвавшееся у вас, досадной случайности, а никак не желанию оскорбить меня.

Рембл. Сударыня, я не знаю, как благодарить вас за ваше лестное мнение обо мне. Позвольте вас уверить, что эти преследования, в злостной несправедливости которых вы, наверное, уже убедились,— ничто по сравнению с теми опасностями, которым я был бы готов подвергнуть себя за счастье знакомства с вами. Сударыня, я полагаю, что в ваших глазах я уже оправдан.

Миссис Скуизем. Сударь, я полагаю, что все это шутка. Признаюсь, я всегда была противницей насилия... тем более, что со многими женщинами можно обойтись без него.

Рембл. *(в сторону)*. Уж с тобой, я вижу, оно вовсе и не потребовалось бы!

Миссис Скуизем. Что же, душечка, у вас есть какие-нибудь улики против этого джентльмена?

Скуизем. Да вот женщина никак не решится предать его вину огласке. Все же я надеюсь кое-чего добиться от нее с глазу на глаз... Мистер констебль, уведите арестованного!

Миссис Скуизем. Нет, нет! По всему видно, что это порядочный человек, и я беру его на поруки, пока вы не подберете более веских улик... Сударь, я прошу вас отпить у меня чашку чаю! *(Констеблю и другим.)* Вы мне не понадобитесь.

Рембл. Ваша любезность, сударыня, такова, что ради нее всякий пожелает нарушить закон!

ЯВЛЕНИЕ 5

Скуизем, Хиларет.

Скуизем. Дитя мое, послушайте: вам следует принести присягу, даже если вы не знаете точно, что именно произошло. Правосудие должно быть сурово. Для пользы общества лучше, чтобы пострадало десять невинных, чем чтобы один виновный ускользнул от правосудия. Поэтому долг всякого честного человека жертвовать своей совестью для общего блага.

Хиларет. Вы предлагаете мне быть лжесвидетельницей?

Скуизем. Боже упаси! Ни за что на свете! Лжесвидетельство, скажете тоже! Я не хуже вашего знаю, чем это пахнет. Но вы сами признали, что он собирался применить к вам насилие. А тот, кто пытается нанести нам обиду, уже нанес ее в сердце своем. К тому же случается, что женщина — а со сколькими женщинами оно именно так и случалось! — не может толком разобраться, был ли совершен акт насилия, или его не было. И тем не менее сколько мужчин из-за этого попадало на виселицу!

Хиларет. Да вы, я вижу, настоящий казуист — что вам надо, то и выведете! Но не трудитесь дальше — это бесполезно, уверяю вас.

Скуизем. Я понимаю ваши колебания: вы боитесь испортить себе коммерцию... Вы думаете, что суровое обращение с клиентом отвадит публику от вашего заведения... А что, душенька, давно вы промышляете своим ремеслом?

Хиларет. Что вы хотите сказать?

Скуизем. Ну, ну, я вижу, ты совсем зелененькая, этим-то ты мне и нравишься. Ваше дело ведь такое, что чем меньше опыта, тем лучше... А ведь ты премиленькая, право! Жаль, что ты так погрязла в грехе... Поцелуй же меня!.. Ну, не жеманься со мной! Клянусь, в тебе столько же прелести, сколько благоуханья в розе, а во мне столько любви, сколько на ее стебле шипов! Ах, до чего же мне хочется, чтобы мы с тобой оказались так близки, как роза и стебель!..

Хиларет. Мистер Скуизем, да вы никак сами хотите прибегнуть к насилию!

Скуизем. Видишь ли, если б я мог надеяться на твое

постоянство, я бы взял тебя на содержание. Давненько мне никто так не нравился.

Хиларет *(в сторону)*. Что мне делать? Буду поддакивать старому плуту.

Скуизем. Ну, так как же? Обещаешь быть верной своему покровителю? Я мужчина еще не старый, в полном соку, здоровье у меня крепкое. Смотри-ка! Как ты думаешь, нельзя ли этой штукой откупиться от шайки бездельников, у которых нет за душой ничего, кроме щегольских нарядов? Карманы у них так же пусты, как головы, а сами они губительнее для женщины, чем бледная немочь. Тут уже не воображаемые болезни, а самые что ни на есть настоящие... Ты молчишь, ты согласна? Возьми же этот кошелек для начала.

Хиларет. А что я должна буду делать за это?

Скуизем. Ты? Да ничего! Действовать буду я. Я буду активной формой глагола, а ты — пассивной.

Хиларет. Лишь бы вы не оказались существительным среднего рода.

Скуизем. Эге! Да у тебя острый язычок! Ты и с грамматикой знакома, бесенок?

Хиларет. Немножко, сударь. Мой отец был сельским священником и позаботился о нашем образовании. Он сам обучал своих дочерей чтению и письму.

Скуизем. Так у тебя и сестренки есть?

Хиларет. Увы, сударь! Нас было у отца шестнадцать, и все пошли по этой дорожке.

Скуизем *(в сторону)*. Учи дочерей грамоте после этого! Я бы скорей доверил меч сумасшедшему, чем перо женщине. Если меч в руках у безумца может обратить в пустыню шар земной, женщина, вооруженная пером, в два счета вновь его заселит... А что, душечка, верно в вашем роду сильна жилка сладострастья?

Хиларет. Ах, сударь! Всему виной этот противный военный корабль, который бросил якорь неподалеку от нашего жилища. Моих бедных сестер погубили офицеры, а я пала жертвой судового священника.

Скуизем. Знаю, знаю, дитя мое, против моряков да военных ни одна женщина не устоит. Одна Венера вышла из морской волны, а сколько их захлебнулось в ней! Ну да что Венера по сравнению с тобой, мой розанчик!

Хиларет. Сударь, остудите свой пыл!

Скуизем. Прикажи, чтоб трут не загорался от искры! От твоих пламенных глазок я загораюсь, как трут.

Хиларет *(в сторону)*. Да ты и сух, как трут, мой милый!

Скуизем. Тсс! Жена! Идет сюда!.. Оставь моему писарю адрес, куда можно прислать за тобой. Я буду идеальным папашей, вот увидишь,— щедрым и преданным.

Хиларет. Поистине прелестные качества в любовнике!

Скуизем. Бутончик мой, ты увидишь, что я в тысячу раз лучше всех этих молодых сорванцов. К тому же со мной тебе будет спокойно. Девушка, которой покровительствует судья, может чувствовать себя не менее спокойно у нас в Англии, чем поп на чужбине. В любой стране степенный вид — наилучший покров для греха... Смотри же, не запоздай на свиданье, приходи минута в минуту.

Хиларет. Уж будьте покойны!

Скуизем. Адье, моя красоточка! Я сгораю от нетерпения.

ЯВЛЕНИЕ 6

Скуизем (один).

Скуизем. Прелесть что за девочка! Если мне удастся заполучить ее, да еще заставить этого шалопая расплачиваться, я буду воистину премудрым судьей. Ибо надобно стараться, чтобы другие расплачивались не только за свои грехи, но и за наши. Наверное, моя жена уже порядком застращала его, и он готов на все, лишь бы его отпустили на волю. Надо отдать ей справедливость: умеет обработать человека! Любого обчистит — получше меня... Да вот и они! С этим джентльменом, однако, надо повести разговор в ином духе.

ЯВЛЕНИЕ 7

Скуизем, миссис Скуизем, Рембл.

Рембл. Ну что, сударь? Дама намерена принести присягу?

Скуизем. Трудно сказать, каковы ее намерения. Она решила испросить совета у священника и адвоката.

Рембл. Плохо мое дело! Адвокат посоветует ей присягнуть, а поп не станет ему перечить.

Скуизем. Дело и впрямь щекотливое, и чем скорее мы его уладим, тем лучше. Ранние убытки лучше поздних. Лучше намочить одежду, чем промокнуть насквозь. Лучше бежать домой, чуть только начинает накрапывать дождик, чем ждать, когда разразится гроза. Короче говоря — выкладывайте двести фунтов, чтоб тут же и покончить, а то ведь неизвестно, как оно все обернется. Мне тяжело видеть джентльмена в такой беде. Мне также весьма прискорбно, что мы живем в такой корыстный, такой развращенный век. Подчас мне начинает казаться, что страшная кара готова обрушиться на нашу страну. Ведь мы грешнее Содома и Гоморры *, и я боюсь, как бы нас не постигла судьба этих двух городов.

Рембл. Послушайте, судья! Я полагаю, что все эти поповские проповеди — наказание, которому подвергают подсуди-

мого *после* приговора. Но наказывать его заранее — не слишком ли жестоко?

Миссис Скуизем. Сударь, мистер Скуизем хлопочет о вашей же пользе. *(В сторону.)* Я надеюсь заработать себе ожерелье.

Скуизем. О чем же мне и хлопотать! Мои личные интересы тут ни при чем... Будь я на месте джентльмена, я поступил бы именно так, как я советую ему поступить.

Рембл. Ну, уж это едва ли, сударь! Будь вы на моем месте, у вас не было бы таких денег.

Скуизем. Вы шутите, конечно, сударь. Не может того быть, чтоб порядочный человек не имел при себе такой мелочи.

Рембл. Очень даже может быть, сударь. Я знаю уйму порядочных людей, у которых и трех медяков не наскребется. Тому, кто решил жить честно, нельзя не спознаться с нуждой.

Скуизем. Джентльмен — и нужда! Извините, сударь, это как-то не вяжется. Джентльмен без денег — все равно что ученый без знаний. Впрочем, мне некогда тут с вами прохлаждаться. Вы только тогда оцените хорошее обращение, когда познакомитесь с дурным. Сейчас еще можно все уладить за пустяковую сумму. Но может прийти время, когда и всего вашего состояния не хватит... В деле правосудия, как в хирургии,— час промедления может привести к роковым последствиям.

Рембл. Ладно, уговорили! Я принимаю ваш совет.

Скуизем. И вы не пожалеете об этом... Я уверен, вы поймете, что я ваш друг.

Рембл. Я это уже понял. И в доказательство обращаюсь к вам с просьбой, с какой обращаются только к самому близкому другу: не дадите ли вы мне эти деньги взаймы?

Скуизем. Увы, сударь, я не располагаю подобной суммой! К тому же, согласитесь, мне, представителю закона, как-то не совсем ловко давать обвиняемому деньги для того, чтобы он мог избежать правосудия. Увы, сударь, в жизни приходится думать о своей репутации и заботиться о ее чистоте до конца своих дней. Уже одно то, что я даю обвиняемому советы, есть некоторое нарушение полномочий судьи, а вы еще хотите, чтоб я ссужал его деньгами!

Миссис Скуизем. Как только такая мысль могла прийти вам в голову, сударь?

Рембл. От нужды, сударыня, что только не взбредет на ум! Мистер Скуизем был так добр, что убедил меня выложить деньги, но мои карманы оказались так жестоки, что убедили меня в невозможности воспользоваться его добротой.

Скуизем. Что ж, сударь? Если вы не богач и у вас нет золота, чтобы платить за ваши прегрешения, вам придется расплачиваться за них, как бедняку,— страданиями!.. Эй, констебль!

ЯВЛЕНИЕ 8

Скуизем, миссис Скуизем, Рембл, Стафф, констебли.

Скуизем. Уведите арестованного! Держите его взаперти до дальнейших указаний. Если в течение двух часов вы одумаетесь, сударь, пошлите за мной; потом поздно будет.

Рембл. Послушайте, мистер судья, вы бы лучше отпустили меня подобру-поздорову, как велит закон. Только попробуйте его нарушить — вы увидите, что я умею мстить... Пусть меня повесят, если я лгу!

Скуизем. Повесить-то вас повесят. Вы и сами не подозреваете, сколько истины в ваших словах!

Рембл. Ах ты старый лиходей! Была бы моя воля, я бы так тряханул твои старые кости, что они, как труха, посыпались бы из твоей поганой дряхлой шкуры!

Скуизем. Я призываю вас всех в свидетели: мне было нанесено оскорбление при исполнении служебных обязанностей.

Рембл. Почтенный мистер констебль, ночной блюститель закона, уведите меня подальше от этого человека... Кажется, ночной судья посговорчивей дневного.

ЯВЛЕНИЕ 9

Скуизем и миссис Скуизем.

Скуизем. Боюсь, что из этого молодца так ничего и не выжмешь. Я думаю отпустить его.

Миссис Скуизем. Ни в коем случае! Я уверена, что у него есть деньги.

Скуизем. Я и сам так думаю. Но что поделаешь, если он не желает расстаться с ними? Не отнимать же силой! К сожалению, такого закона еще нет, который дозволял бы судье грабить людей открыто.

Миссис Скуизем. Все же помаринуйте его еще.

Скуизем. Я могу задержать его до вечера. Если же он к тому времени не раскошелится, придется его отпустить. Та женщина наотрез отказалась дать присягу, я уже отпустил ее.

Миссис Скуизем. Я навещу его в доме констебля и попробую еще раз пугнуть его. Возможно, что мне удастся добиться большего, чем вы думаете.

Скуизем. Верно, верно, дорогая... Я не сомневаюсь в ваших способностях... До свиданья, душечка.

Миссис Скуизем. Не забудьте же сто гиней, мой милый!

Скуизем. Забыть их? Никогда!.. Идемте со мной, они у меня в столе.

ЯВЛЕНИЕ 10

Миссис Скуизем (одна).

Миссис Скуизем. Уж раз ты, любезный муженек, решил отправиться в ад, так я дам тебе в дорогу пару прелестных рогов, чтобы ты ничем не отличался от дьявола. Этот милый, милый дикарь должен быть моим во что бы то ни стало. И он будет моим! Он мне до того полюбился, что, если бы даже он обесчестил меня, клянусь честью, я бы простила его!

ЯВЛЕНИЕ 11

Комната в доме мистера Уорти.
Уорти и Политик.

Уорти. Мистер Политик, я от души огорчен, что нашему знакомству суждено возобновиться при таких обстоятельствах. Я могу представить себе чувства отца, хотя сам не имел счастья быть родителем.

Политик. Дорогой сосед, вы и вообразить не можете всех хлопот, связанных с этим счастьем, если не испытали его на себе. Брак разбивает все наши надежды — куда ни повернись. Искать утешения в детях столь же безрассудно, сколько ждать его от жены. У меня было двое детей, сударь. Сын уже давно повешен, а дочь того и гляди угодит на виселицу.

Уорти. При каких обстоятельствах покинула она ваш дом?

Политик. За полчаса до того, как я узнал о ее побеге, она простилась со мной на ночь. Я не сомневаюсь, что во всем повинен этот дьявол в юбке, именуемый служанкой: служанка исчезла вместе с моей дочерью.

Уорти. Не было ли у вашей дочери возлюбленного?

Политик. Дай бог памяти... Ну конечно! Теперь я припоминаю, что, невзирая на все мои запреты, она частенько беседовала с одним молодчиком в красном кафтане *.

Уорти. Это наверняка он и есть. Я могу, конечно, приказать, чтоб его арестовали, если вы знаете, как его зовут, но, боюсь, уже поздно.

Политик. Нет, сударь, не поздно: дочь моя — единственная наследница, а вы знаете, чем карается похищение богатых наследниц. Мне бы хоть повесить этого прощелыгу — и то бы я был доволен.

Уорти. Без ее согласия это вам не удастся. Если они уже поженились, я бы на вашем месте последовал примеру одного императора, который, обнаружив, что между его дочерью и одним из его подданных существует незаконная связь, вместо того чтобы казнить любовника, благословил молодых.

Политик. А где царствовал этот император, сударь?

Уорти. Если не ошибаюсь, это был не то греческий император, не то турецкий.

Политик. Не говорите мне о турках, почтенный мистер Уорти! У меня не может быть ничего общего с ними. Я испытываю ужас и отвращение к туркам, сударь. Они нам еще дадут перцу, вот увидите!

Уорти. Позвольте, сударь...

Политик. Не позволю! Что значат все их военные приготовления, о которых ежедневно трубят наши газеты? Да, да, они все об этом пишут по сто раз на дню! С кем это собираются турки воевать? С Персией? Или с Германией? Или, вы думаете, они точат зуб на Италию? А что, как турецкие галеры появятся в нашем проливе? Они нападут на нас вдруг, когда мы будем меньше всего думать о них. Троя, когда ее взяли, была погружена в сон *. Так будет и с нами: мы дремлем, а между тем...

Уорти. Сударь, да вы сами спите или грезите наяву!

Политик. О, я знаю, все это принято называть бреднями... Самые мудрые пророчества называли пустыми бреднями... Позвольте лишь заметить, сударь, что зачастую люди, нападая на мнимое невежество других, только выдают этим свое собственное.

Уорти. Какое же отношение все это имеет к вашей дочери, сударь?

Политик. Ах, не говорите мне о моей дочери! Отечество мне дороже, чем тысяча дочерей. Что станется со всеми нашими дочерьми, если турки доберутся до нас? Да и с сыновьями нашими, женами нашими, нашими поместьями и очагами, с нашей религией и свободой? Когда турецкий ага * станет помыкать нашей знатью, а его янычары породнятся с британскими лордами — где, скажите мне, где искать нам нашу древнюю Британию?

Уорти. Да уж, верно, там, мистер Политик, где сейчас витаете вы сами,— в облаках!

Политик. Позвольте, позвольте, я должен познакомить вас хоть в немногих словах с нынешним положением в Турции...

Уорти. Как-нибудь в другой раз, сударь! Если я могу быть полезным в том, что касается вашей дочери, пожалуйста, располагайте мной. Еще от ваших соотечественников я, пожалуй, могу оградить вас, но от турок... нет уж, увольте!

Политик. Вот видите, вы сами сознаете, что они представляют реальную опасность. Я рад, что предрассудки не застилают вам глаз, как некоторым из моих приятелей в кофейне. Но и вы, вероятно, недооцениваете опасности. Позвольте лишь объяснить вам, каким путем падишах мог бы проникнуть в Европу... Пусть вот это место, сударь, где я стою, будет Турцией... Тогда Венгрия будет вон там... так. Здесь — Франция, а здесь вот — Англия... Ну вот... Теперь предположим, что он покоряет Венгрию... Ему остается лишь захватить Францию,

чтоб очутиться у наших берегов. Но это еще не все, сударь. Теперь я вам покажу, как он может подойти к нам морским путем...

Уорти. Нельзя ли отложить это до более удобного случая, дорогой мой? Я полностью удовлетворен вашими объяснениями, право.

Политик. Да мне и самому пора в кофейню... Дорогой мистер Уорти, ваш покорный слуга!

Уорти. Мистер Политик, ваш нижайший слуга!

ЯВЛЕНИЕ 12

Уорти (один).

Уорти. Насколько я помню, это увлечение политикой началось у него лет десять назад, когда мы были вместе на водах в Бате *. Однако как оно разрослось с тех пор; и какая же это, должно быть, всепоглощающая страсть, если он мог из-за нее позабыть потерю своей единственной дочери! Поистине, всяк по-своему с ума сходит! Дон Кихот отличался от других не тем, что был безумен, а лишь формой безумия. Завистник или мот, распутник, чернокнижник или просто политикан из кофейни — все они Дон Кихоты, каждый на свой лад.

Лишь про того скажу, что не безумец он,
Чей разум страстью не был ослеплен.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Улица.
Хиларет и Клорис встречаются.

Хиларет. Ах, Клорис!

Клорис. Сударыня моя милая, вы ли это? И уцелели?

Хиларет. Цела, цела, благодарение небу! Я чуть не потеряла кое-что, да, слава богу, все при мне осталось.

Клорис. Кабы и впрямь оно так было!

Хиларет. Как? Ты мне не веришь?

Клорис. Ах, сударыня, я предпочла бы, чтоб вы могли не верить мне или чтоб я сама себе могла не верить. Наш бедный капитан Констант...

Хиларет. Что с ним?

Клорис. Ах, сударыня!

Хиларет. Говори же скорей, ты убиваешь меня!

Клорис. Он арестован за нападение на женщину!

Хиларет. Как?!

Клорис. Увы, сударыня, это сущая правда. Мне говорил собственный его слуга.

Хиларет. Это клевета! Это ложь! И ты повторяешь ее! Веди меня к нему, я разыщу его, где бы он ни был, хотя бы в темнице.

Клорис. Очень уж вы сердобольны, сударыня... Чтобы я стала навещать изменившего мне возлюбленного! Да скорей король придет в тюрьму навестить мятежника, как друга!

Хиларет. Неужели ты думаешь, что я так легко поверю вздорной клевете на того, кто явил мне столько доказательств своей любви, своей преданности? К тому же мое собственное приключение заставляет меня усомниться в достоверности ваших слухов... Но если это окажется правдой, я найду в себе силы вычеркнуть его из своей памяти навсегда.

Клорис. Боюсь, сударыня, как бы судья Скуизем не вычеркнул его из списка живых!

Хиларет. «Скуизем», ты говоришь? Дай-ка я тебя расцелую за это известие! Теперь-то я наверняка могу сказать, что мой Констант ни в чем не виноват. Вот погоди, я еще расскажу тебе о своем приключении! Но сейчас не до этого, веди же скорей к нему.

Клорис *(в сторону)*. Бедняжка! Она и без меня знает дорогу к своей погибели. Ну, да спасать господ не нашего ума дело.

ЯВЛЕНИЕ 2

Комната в доме констебля.
Констант (один).

Констант. Я начинаю склоняться к мнению того мудреца, который сказал, что, если хочешь быть счастливым, не хлопочи о счастье других. В самом деле, добросердечие всего лишь пустое донкихотство, и всякая принцесса Микомикона заводит своего избавителя в клетку *. Зачем только я впутался в эту историю? Рисковать своим счастьем, своей репутацией из-за злоключений какой-то незнакомой женщины!.. Но какова неблагодарность: обвинить меня в насилии — меня, который вырвал ее из объятий насильника!

ЯВЛЕНИЕ 3

Констант и миссис Стафф.

Миссис Стафф. Чего изволит ваша милость, джину или пуншу?

Констант. Любезная сударыня, оставьте меня в покое, прошу вас. Я и думать не могу о вине.

Миссис Стафф. Но вы могли б подумать о нас! «Ах, оставьте меня»... такой клиент попадается мне впервые. А еще капитан, а еще насильник!.. Да вы больше смахиваете на какого-нибудь голодранца стряпчего, уличенного в мелком подлоге, или на бродягу попа, укравшего подрясник да рясу.

Констант. Пейте, что вам вздумается, я заплачу, сколько вы скажете.

Миссис Стафф. Благодарю вас, ваша милость, спасибо! Ведь очень дорого приходится платить вот за эту квартирку, а уж после введения нового налога на вино дела пошли совсем из рук вон плохо. Я и то уж говорю муженьку: чем охотиться за разбойниками, не лучше ли самому пойти в разбойники!

Констант. Я думаю, сударыня, что многие жены дали бы своим мужьям точно такой же совет. И если бы мужья из любви к своим женам вняли ему, у палачей оказалось бы не меньше работы, чем у адвокатов по бракоразводным делам.

Миссис Стафф. Вот бы и хорошо! Наше дело ведь такое: пустует виселица — и у нас затишье! Увы, любезный капитан, нынче у нас в десять раз меньше вашего брата против прошлых годов!.. Если не считать вашей милости, вот уже целых две недели к нам никого не приводили за насилие. Дай бог, чтоб у вашей милости оказалась легкая рука для почина.

ЯВЛЕНИЕ 4

Констант, Стафф, миссис Стафф.

Стафф. Капитан, ваш покорный слуга! Вы, верно, будете рады обществу... Сейчас к вам присоединится еще один джентльмен, прелюбезнейший малый, смею вас заверить.

Миссис Стафф. Джентльмены так и сыплются! Вот удача!

Констант. Что до меня, я предпочел бы одиночество.

Стафф. У меня всего одно помещение для арестованных, капитан, к тому же, смею вас уверить, это не какой-нибудь мужлан неотесанный, а чистой воды джентльмен... тоже в чине капитана... А уж веселый какой!..

Констант. Что привело его сюда?

Стафф. Насилье, капитан, насилье — джентльменский проступок! Я бы не осмелился ввести в общество вашей милости кого-нибудь из низшего сословия. Но насилие и убийство — такие дела, которых нечего стыдиться джентльмену. Он наш собрат: тоже напал на какую-то девку. Я и сам грешил в свое время, пока не женился. В браке мужчина тяжелеет, тускнеет... И ваша милость отстанет от этого дела, когда женитесь, вот увидите... Женатый не станет бросаться на женщину, как не станет снова убийцею тот, кого отпустили на поруки.

Миссис Стафф. Мой муж большой шутник, вы уж его извините, ваша милость.

Стафф. А вот и джентльмен, о котором я говорил!

ЯВЛЕНИЕ 5

Констант, Рембл, Стафф, миссис Стафф.

Констант. Что за чудо!

Рембл. Констант, дорогой мой!

Констант. Какой ветер пригнал тебя к берегам Англии?

Рембл. Какой дьявол занес тебя сюда, к констеблю?

Констант. Насилие, сударь, насилие! Джентльменский проступок, как говорит мистер констебль.

Рембл. Ты шутишь, конечно?

Стафф. Нет, сударь, даю вам слово, капитан не шутит.

Рембл. Вот уж не думал! Я бы скорей заподозрил пэра Англии или самого архиепископа, чем тебя! Ну да, видно, благонравие всегда неразлучно с лицемерием... Руку, товарищ! Наши судьбы во всем одинаковы!

Стафф *(в сторону)*. Да и кончите вы одинаково! Им, видно, не впервой встречаться в этом деле. Ходоки по женской части оба!

Миссис Стафф. Не угодно ли, судари, пуншику? Это придаст вам бодрости, бравые капитаны.

Стафф. Не навязывай джентльменам угощения, жена. Я всей душой желаю вам выкарабкаться из этой истории. А покуда вы здесь, весь мой дом к вашим услугам. Позвольте лишь сказать вам, что чем больше вы будете пить, тем меньше у вас будет времени оплакивать ваши несчастья.

Рембл. Истинно философский взгляд на вещи.

ЯВЛЕНИЕ 6

Констант и Рембл.

Рембл. Милый Билл, скажи мне правду: ты ведь на самом-то деле не совершил никакого насилия?

Констант. О чем я от души жалею. Я спас какую-то женщину на улице, а в благодарность она присягнула, что я пытался ее обесчестить. Но я так рад нашей встрече, что готов позабыть все невзгоды!

Рембл. Узнаю твое великодушие, твое доброе сердце!

Констант. Слов нет, если бы мы встретились с тобою не здесь, наша встреча была бы много радостней. Зная твою разгульную жизнь, я думаю, что тебе будет труднее, чем мне, выпутаться из этого дела.

Рембл. Как я выпутаюсь, я, конечно, не ведаю, да и не задумываюсь об этом. Однако уверяю тебя, что я невиннее грудного младенца. Мое дело отличается от твоего только тем, что моя мнимая жертва не стала присягать против меня.

Констант. Рад это слышать... Но что, скажи мне, заставило тебя покинуть Индию? Я думал, ты поселился там до конца своей жизни.

Рембл. Что? Да то же, что погнало меня в Индию и ради чего я вернулся, то — чем я дышу, ради чего я живу: женщина!

Констант. Женщина?

Рембл. Да, женщина — молодая, красивая, богатая! Вдова, у которой в кармане восемьдесят тысяч фунтов,— вот полярная звезда, на которую следует держать курс.

Констант. Как же она зовется?

Рембл. Да так и зовется: миссис Рембл.

Констант. Так ты женат?

Рембл. Да, сударь. Вскоре после того, как ты покинул Индию, добрейший мистер Ингот покинул сей бренный мир, оставив мне в наследство свою жену и ее капиталы.

Констант. Поздравляю же тебя, дорогой Джек! Твое счастье наполняет мое сердце такой радостью, что в нем не осталось места для моих собственных невзгод.

Рембл. Погоди, я тебе еще не все рассказал...

Сотмор *(за сценой)*. Сварите пунш, да не жалейте рома, и пусть он будет горячим, как ад!

Рембл. Слышишь? Нам, кажется, предстоит теплая компания.

ЯВЛЕНИЕ 7

Констант, Рембл, Сотмор, Стафф.

Сотмор. Вот они где, эти любители женского пола! Что же вы приуныли? Рембл, да ты никак молчишь — ни словечка во славу женщины! А какую выгодную сделку заключил Марк Антоний, отдав мир за женщину, не правда ли? Черт побери! Живи он сейчас — ставлю полдюжины бочонков бордосского! — он тоже болтался бы за насилие на виселице вместе с моими дорогими друзьями!

Рембл. Еще одно слово хулы на женщину, и мы тебе перережем глотку и подарим судье еще одно уголовное дельце!

Сотмор. Не ругать женщин? Уж лучше прикажите мне никогда не прикасаться к бутылке! Да заодно зашейте мне рот, чтоб я не пил вина и не ругал ваших дам. Эй, там,— готовьте пунш поскорей!

Стафф. Сию минуту, ваша милость! *(В сторону.)* Такой клиент для нас находка, жаль, что и он не привлечен за насилие.

ЯВЛЕНИЕ 8

Констант, Рембл, Сотмор.

Констант. Сотмор, вы не должны ругать женщин в присутствии Рембла: он ведь женатый человек.

Рембл. И что лучше всего — моя жена покоится на дне морском.

Сотмор. И что хуже всего — все ее приданое там же!

Констант. Как?

Рембл. В том-то и дело! Впервые в жизни Сотмор не соврал... Шутки шутками, а мадам пропала со всем своим богатством. Она отправилась на тот свет, и с нею восемьдесят тысяч! Если подобные вещи практикуются на том свете, ей было нетрудно с таким капиталом сыскать себе нового мужа.

Сотмор. Эх, не послушал ты меня! Говорил я тебе: где женщина — там пиши пропало! Если бы я занимался страхованием имущества — давай мне двойную цену, я и то не стану страховать тот корабль, на котором находится женщина... У одной-единственной женщины столько грехов, что господь из-за нее может погубить целый флот.

Рембл. Смотрите, как он любит это слово «грех», не менее любого ханжи!.. Не тебе бы произносить это слово!.. Сам-то ты хорош! Твоими грехами можно нагрузить целый караван кораблей! Зачем твоя поганая пасть извергает хулу на других, когда все твои трюмы набиты до самого верха грехами?

Констант. Как случилось, что вы с ней расстались?

Рембл. В этом повинны шторм на море и моя злосчастная звезда. Я покинул корабль, на котором находилась супруга, так как меня пригласил на обед капитан другого судна из нашей флотилии. В это время поднялся внезапный шторм, я потерял из виду ее корабль, и с тех пор о ней ни слуху ни духу.

Сотмор. От души желаю тебе, чтобы ты не слышал о ней до конца твоей жизни!.. Однако мне жаль ни в чем не повинных сундучков, что пошли ко дну вместе с ней. Ну да у моря губа не дура: женщину оно, возможно, и выплеснет, а уж денежек ни за что не отдаст. Женщина ведь всплывает, как пробка, да и цена ей такая же! Хотя не скажи: пробка еще годится на то, чтобы сохранять вино от порчи, а женщина только портит его.

Констант. У тебя, Сотмор, нет другого мерила, чем вино. Оно для тебя — что золото для барышника: как он готов продать свою душу за гинею, так и ты готов свою продать за бутылку.

Сотмор. Всякое благо, сударь, можно сравнить с вином, и всякое зло — с женщиной.

Констант. Стыдись, Сотмор! Твои нападки на женщин так же неприличны в обществе порядочных людей, как хула на господа бога в присутствии пастора.

Рембл. Браво, Констант! Женщины — моя религия, и я их верховный жрец.

Сотмор. Женщины и религия! Уж лучше скажите: женщины и дьявол! У них манера одна: завлечь поклонника, да и бросить его потом.

Констант. А что, Рембл, наш приятель того и гляди станет попом...

Рембл. Этого можно было ожидать от него, если б он не был пьянчужкой.

Сотмор. Ну что ж, я свято верю, что это тебя бог наказал за то, что ты нарушил свое слово... Не говорил ли я тогда, что тебя подцепит какая-нибудь уличная тварь? Теперь ты видишь: мое пророчество сбылось.

Рембл. Твоя правда. Мало того, что она шлюха, она принадлежит к самой наглой породе этих женщин: скромная шлюха.

Сотмор. Скромная шлюха! Так надо ее выдать замуж за скромного стряпчего.

Рембл. И отправить их обоих на каторгу, чтобы они там плодились и размножались.

Сотмор. Да, да, скромностью прикрываются не только дурнушки, но и самые распутные девки. Ни скромность, ни опрятность в наш век не являются признаком добродетели,— так же как не всякий, кто ходит в шелках,— дворянин.

Рембл. И все же, к чести ее будь сказано, она отказалась дать ложную присягу, несмотря на все уговоры судьи.

Сотмор. Вон как, потаскушка-то с совестью! Она припасает тебя на другой случай. Дай-то бог, чтобы ты дожил до другого случая. Уж если на этот раз тебя не вздернут, она тебя обчистит, будь покоен! И потому, как твой друг, желаю ей удачи.

Рембл. Послушай, душа моя, как это тебе удалось разыскать нас? Вот уж за кем я не стал бы посылать в такой беде! Не пошлет же мальчишка, застигнутый в чужом саду с полными карманами яблок, за своим школьным учителем?

Сотмор. Да мне и не пришлось тебя разыскивать. В городе только и разговору, что о тебе... Нет ни одного мужа, ни одного отца, который сегодня не напился бы на радостях. Если только твои приятельница не глуха к звону золота, ее подкупит, чтобы она принесла присягу против тебя. Вы сидите в печенках у всех, сударь! И шести дней не пробыл тут, ей-богу, а на его счету уже шестнадцать женщин!

Рембл. А ты за это время проглотил столько же бочек вина! Поверь мне, мои наслаждения поблагородней твоих!

Сотмор. Сударь, я плачу за свое вино и оттого никому не причиняю убытков.

Рембл. А я, сударь, никому не причиняю убытков, и оттого мне не за что платить.

Сотмор. Ого-го! А по-твоему, ты не наносишь человеку убытка, если ты похищаешь его жену или дочь?

Рембл. Какой же это убыток, если жене опостылел муж, а дочь только и мечтает, что о муже?

Констант. Ты бы постыдился попрекать человека его грехами, когда он и так страдает за них.

Сотмор. А это самое время попрекать его, сударь. Да он, как вы видите, не очень-то к сердцу принимает мои упреки. У него стыда не больше, чем у тех молодчиков, что продают свои показания всем, кто в них нуждается,— иной раз приходится и у позорного столба постоять, велика важность!

Рембл. Оставь его, сейчас внесут пунш, и тогда ему будет самому некогда брюзжать.

Сотмор. Помилуй! Человек оставляет своего лучшего друга беспечным и счастливым, а наутро находит его на краю гибели, готовым ввергнуться в геенну огненную! Как же не брюзжать после этого? Где эта девка? Я отомщу ей, а заодно и всем женщинам в мире! Коли тебя повесят за насилие, пусть меня вздернут за убийство. Какая она из себя, эта дрянная девчонка? Долговязая или коротышка, белобрысая или чернявая? Какое обличие принял дьявол на этот раз?

Рембл. Ах, очень соблазнительное, уверяю тебя! Она божественно сложена, чудо как деликатна. А глазки такие, что ни одному любовнику не снились! Прелестнейший ротик, губки пунцовые, как вишня... А грудь! Что снег, мрамор, лилия, алебастр, слоновая кость в сравнении с ее белизной! Форма же такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать: маленькая, упругая, круглая... Эх, Сотмор, за счастье покоиться на этой груди я бы принял миллион смертей!

Сотмор. Что миллион! Когда тебе и так грозит одна!

Констант. Неужто все эти восторги посвящены уличной девке, Рембл?

Сотмор. Да ему была бы юбка! Ему все равно — порядочная ли женщина или шлюха, высокого ли она звания или низкого, живет ли она на чердаке или в подвале, в Сент-Джемсе * или в публичном доме где-нибудь на окраине. Дай ему любую женщину, и он сделает из нее ангела... Он их обожает, как дитя картинки, как обжора еду! Ведь для дитяти что ни картинка — Венера, а для обжоры что ни блюдо — перепелка!

Рембл. Давай, Сотмор, будем так говорить: ты согласись, что она хороша, а я сделаю тебе уступку и признаю, что она просто-напросто дрянная уличная...

ЯВЛЕНИЕ 9

Констант, Рембл, Сотмор, Хиларет.

Рембл. Легка на помине, клянусь Юпитером! Ну, так как же, мой милый неприятель? Что вам там посоветовали священник и стряпчий?.. Вы решились принести присягу?.. Ба!

Хиларет *(не обращая внимания на Рембла, подбегает к Константу)*. Констант! Родной мой!

Рембл. Ого! Неужто нас обоих сюда посадили за одну и ту же?.. Однако, надо полагать, он преуспел больше моего... Как она нежна с ним!

Констант. Хиларет! Твое великодушие повергает меня в еще большее отчаяние. И ты не отвернулась от человека, обвиненного в такой низости?

Хиларет. Я и мысли не допускаю о справедливости этого обвинения.

Рембл *(в сторону)*. Черт возьми! Да это никак и есть возлюбленная Константа! Ну, теперь пойдет кутерьма!

Сотмор *(Ремблу)*. Это и есть та дама, что оказала вам известную услугу, сударь?

Рембл. Что вы?! Это ведь порядочная женщина. Должен признаться, однако, сходство поразительное...

Сотмор. Тогда это, верно, та самая, за чье здоровье Констант пил последние полгода... его почтенная невеста, чума ее возьми!.. Самое подходящее общество для мужчины, арестованного за насилие!

Хиларет. Вы, верно, попали в ту самую потасовку на Лестерфильде, которая разлучила меня с моей служанкой?

Констант. Да, да, там и произошло это досадное недоразумение. Как раз когда я направлялся на свидание с вами.

Хиларет. Со мной тоже чуть было не приключилась беда, и я должна благодарить этого джентльмена за свое избавление.

Рембл. Сударыня, я ваш покорнейший слуга. Так это были вы?

Констант. Так это тебе, дорогой друг, я обязан всем [illegible]?.. Чем я отблагодарю тебя за такую услугу? [illegible] что за пустяки, право! Твоя дружба — моя [illegible]

Констант. Я твой должник навеки... Самая ничтожная услуга, оказанная этой даме, для меня больше, чем вся вселенная!

Рембл *(в сторону)*. Я был готов и не на такую услугу, если б она приняла ее.

Хиларет. Я рада узнать, что мой избавитель оказался другом мистера Константа.

Сотмор *(в сторону)*. Радуйся, радуйся! Ты бы еще не так обрадовалась, если б послушала, как он тебя тут расписывал!

Констант. Расскажите же мне все по порядку, моя дорогая Хиларет! Я никогда не устану слушать рассказы о благородстве моего друга.

Хиларет. Хорошо же, слушайте...

Рембл. Сударыня, вы тогда были вне себя от страха и вряд ли в состоянии изложить все это дело достаточно связно. Позвольте поэтому мне рассказать капитану Константу все наше приключение, раз уж он хочет знать... Только я расстался с этим джентльменом, как вдруг слышу молодой женский голос, взывающий о помощи. Мне показалось — однако точно не припомню, так ли это,— что кричали: «Спасите! Меня хотят обесчестить!» Я тотчас ринулся туда и обнаружил эту даму в объятиях какого-то грубияна...

Хиларет. Такого наглеца еще свет не видывал!

Рембл. Да, да, удивительно наглый малый! К тому же и трус: только я подошел, как он выпустил свою жертву и исчез.

Констант. Мой дорогой Рембл, что ты для меня сделал!

Рембл. Стоит ли об этом говорить, дорогой Констант! Я не задумываясь оказал бы такую же услугу всякому другому. Слушай же дальше. Подоспевшая стража, не удовлетворившись объяснениями этой особы, задержала нас и отправила наутро к судье Скуизему. А судья, несмотря на все заверения этой дамы, препроводил вашего покорного слугу сюда, где он имеет счастье наслаждаться вашим прекрасным обществом.

Констант. Друг бесценный!.. Да ниспошлет мне небо случай оказать тебе подобную услугу!

Рембл *(в сторону)*. Да услышит оно все твои молитвы, кроме этой!

ЯВЛЕНИЕ 10

Констант, Рембл, Сотмор, Хиларет, Стафф.

Стафф. Пунш готов, джентльмены. Пожалуйте вниз. Вы можете пользоваться неограниченной свободой в пределах моего дома.

Сотмор. Нам большего и не нужно, покуда твой пунш не иссякнет. Будь твой дом морем пуиша, он был бы мне милее всякого другого дома во всем городе.

Стафф. За пуншем дело не станет, ваша милость.

Сотмор. А мне больше ничего и не нужно.

Стафф *(Рембду)*. Небольшое дельце, капитан: тут пришла миссис Скуизем и желает поговорить с вами наедине.

Рембл. Попросите же ее подняться... Извини меня, Сот-

мор, я должен тебя покинуть на несколько минут. Я думаю, ты не соскучишься в обществе этой дамы и Константа.

Сотмор. Смотри же, не задерживайся! Ставлю пять бочонков против одного: у этого малого еще одна девица на примете!

ЯВЛЕНИЕ 11

Рембл, миссис Скуизем.

Рембл. Уф! Я благополучно выкарабкался из одной истории... Как мог я не узнать порядочной женщины?! Впрочем, так ли уж мудрено ошибиться, когда наши городские шлюхи ударились в скромность, а светские дамы щеголяют напускным бесстыдством! Ну-с, теперь займемся миссис Скуизем. Нетрудно догадаться, чего ей от меня надо.

Миссис Скуизем. Вас, должно быть, удивит, капитан, что у меня такое доброе сердце. Как видите, я не только ходатайствую за вас перед моим супругом, а еще и навещаю вас в вашем заточении. Но я не могу оставаться спокойной, когда вижу, что человек, которого я считаю невинным, терпит напраслину.

Рембл. Благодарю вас, сударыня, за ваше доверие ко мне.

Миссис Скуизем. Вы вполне заслужили его, сударь. Для чего, по-вашему, я рискнула остаться с вами наедине нынче утром?

Рембл. Я полагал, из человеколюбия.

Миссис Скуизем. Нет, сударь, я хотела лично убедиться, таковы ли вы на самом деле, каким вас расписала молва. И я увидела, что самая добродетельная женщина не могла бы требовать от джентльмена большей скромности, учтивости, благовоспитанности, большего смирения. Вы оказались, сударь, до того скромны, что я и представить себе не могу, чтобы вы были способны совершить насилие. Сударь, вы безобидней заплывшего жиром шестидесятилетнего мэра, вы смирнее маменькиного сынка двадцати шести лет от роду.

Рембл. Фью!..

Миссис Скуизем. Сегодня утром вы произвели на меня столь благоприятное впечатление, что я решилась довериться вам еще раз; такому джентльмену, как вы, я бы смело вверила свою честь, где бы мы с вами ни встретились.

Рембл. Сударыня, я постараюсь сделать все, чтобы вы и впредь были обо мне такого же доброго мнения; вы можете довериться мне, где бы мы ни находились, и я обещаю всегда и всюду держать себя с вами, как подобает самому благовоспитанному джентльмену с самой благовоспитанной дамой. Клянусь вам этой нежной ручкой, этими алыми губками и миллионом прелестей, заключенных в вашем драгоценном теле!

Миссис Скуизем. Я вас не понимаю, сударь!

Рембл. Ах, я и сам себя не понимаю! Язык бессилен, и самый ум постичь не может,— одним лишь сердцем можем мы предчувствовать те наслаждения, что нам готовит любовь.

Миссис Скуизем. О, клянусь вам!..

Рембл. Ни клятвы, ни сопротивление уже не помогут. В этой комнате есть постель, которой не побрезговали бы король с королевой.

Сотмор *(за дверью)*. Эй, Рембл! Джек Рембл! Ну не стыдно ли тебе бросать своих друзей ради какой-то девчонки? Если ты не спустишься сейчас же, я выломаю дверь, а ее утоплю в пунше!

Миссис Скуизем *(тихо)*. Я погибла!

Рембл. Не бойтесь ничего... Возвращайся к своему пуншу, я сейчас приду!

Сотмор. Без тебя ни шагу!

Рембл. Тогда я спущусь, разобью твою кружку и разолью весь пунш.

Сотмор. Можешь захватить с собой свою шлюху, там одна уже есть, она небось будет рада подружке. Если ты не придешь сейчас же, я сам за тобой приду.

Миссис Скуизем. Что мне делать?

Рембл. Делай, что тебе подскажет сердце, ангел мой!

Миссис Скуизем. Пустите!.. В другой раз... Мне здесь никак нельзя.

Рембл. Но не могу же я с вами расстаться!

Миссис Скуизем. Я дам вам знать о себе через полчаса. Вам предоставят свободу, и я назначу место для свидания!

Рембл. Так я могу рассчитывать на вас, сударыня?

Миссис Скуизем. Да, да... Прощайте же!.. Не провожайте меня, я проскользну черным ходом.

Рембл. Прощай, мой ангел!

ЯВЛЕНИЕ 12

Рембл (один).

Рембл. Черт бы подрал этого несчастного пьянчужку! Вечно он пакостит мне. Впрочем, раз мне заранее обещана свобода, можно и не жалеть об этой короткой отсрочке. Мысль о предстоящей свободе поможет мне подавить в себе на время кое-какие желания. Кажется, мое приключение начинает принимать недурной оборот. В моем отчаянном положении мне, молодому человеку, нельзя пренебрегать благосклонностью жены богача-судьи. Следующий раз, когда меня привлекут за насилие, я подкуплю судью его же собственными деньгами. Одолжите человеку золото, и он забудет, что он ваш долж-

ник; рискуйте за него головой — он может забыть и об этом. Но вступите в связь с его супругой — и вы обеспечены его дружбой по гроб. Нет лучшего друга в беде, чем муж, которого вы снабдили рогами!.. Хватайте же его, как быка: за рога!

ЯВЛЕНИЕ 13

Рембл, Констант, Сотмор, Хиларет.

Сотмор. Вот и он! А где же девка? Если ее не было, твое поведение уж совсем непростительно.

Констант. Послушай, Рембл, какую штуку придумал наш ангел-хранитель! Теми же сетями, которыми наш почтенный судья накрыл и опутал нас всех, мы опутаем его самого! Вот этот бочонок тоже сыграет свою роль в нашем деле.

Рембл. Нельзя ли обойтись без него? А то еще попадется ему по дороге бутылочка бордосского, и вся наша затея сорвется!

Сотмор. Нет, я не подведу вас даже за бургундское — самое лучшее, какое только есть во всей Франции. Эта дама осушила со мной целую чашу пунша — подумайте, целую чашу! — и тем завоевала мое сердце. Клянусь всеми радостями, какие нам дарует вино, вы, сударыня, нравитесь мне больше, чем все женщины на свете вместе взятые! Нет ни чести, ни совести в человеке — будь то мужчина или женщина,— который чурается бутылки. Золото испытывается огнем, а честность вином. Сударыня, вы меня покорили. Пока я держусь на ногах, я буду пить ваше здоровье, а как свалюсь — тут уже ни одна благоразумная женщина никаких тостов от меня не потребует.

Хиларет. Я горжусь победой над человеком такого высокого ума, как мистер Сотмор.

Констант. Тут и в самом деле есть чем гордиться! Ведь вы первая женщина, с которой он соизволил быть любезным.

Сотмор. Это оттого, что ни одна из них не обладала вашими достоинствами, сударыня. До сих пор мне все попадались такие, что пили один только чай. Если б у меня была дочь и если бы она пила чай, я выгнал бы ее из дому, сударыня! Потому-то мужчины и порядочней женщин, что они пьют вино, а не чай. Если б женщин с детства приучали курить и пить коньяк и если б они с таким же удовольствием пили, как вы, сударыня, право я начал бы за ними ухаживать.

Рембл. Ого, Констант, еще один такой комплимент, и тебе придется ревновать твою милую!

Хиларет. Да, пожалуй, он мог бы приревновать и сейчас.

Сотмор. Сударыня, вы мне нравитесь. Если б по одну сторону поставили бутылку бургундского, а по другую вас, ей-богу и не знал бы, кого выбрать.

Констант. Чего там не знать,— уж, верно, выбрал бы бутылку.

Рембл. Расскажите же мне о вашем заговоре.

Сотмор. Только не здесь. Идемте вниз. Такие секреты должны обсуждаться лишь за торжественным столом заседаний. Стакан замыкает человеку уста.

Констант. Однако мудрецы говорят нам другое.

Сотмор. Ты говоришь о трезвых мудрецах. Подлинные же мудрецы, известное дело, все пили как лошади. Ни разу еще не видел я трезвенника, который не был бы безмозглым ослом,— недаром же осел самое трезвое из животных. Ваши трезвые мудрецы, сударь, давно уже истлели в могиле вместе со своей философией. Еще Гораций, этот величайший поэт и мудрец, писавший не чернилами, а фалернским вином, сказал:

Забвенью будет предан тот поэт,
Кто воду пьет, а водку — нет.

Все уходят.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

В доме у Скуизема.
Скуизем и Куилл.

Скуизем. Ты отнес мое письмо?

Куилл. Отнес, ваша милость. Оставил в кофейне. Так распорядилась эта дама.

Скуизем. Отлично, отлично... Куилл!

Куилл. Сударь?

Скуизем. На тебя можно положиться, я знаю. То, что я сейчас тебе скажу, убедит тебя в моем безграничном доверии. Короче говоря, Куилл, я подозреваю свою жену...

Куилл. В чем, сударь?

Скуизем. Боюсь, Куилл, что не меня одного она удостаивает своей благосклонности и что я с некоторых пор состою в почтенной корпорации рогоносцев.

Куилл. Тогда ваша милость принадлежит к самой обширной корпорации в Англии.

Скуизем. Закон, как тебе известно, стоит на стороне рогоносцев и преследует женщин, изменивших мужьям. Рога приносят мужчине одно преимущество: с их помощью он может выставить свою жену за дверь.

Куилл. Преимущество немалое, сударь.

Скуизем. Да, но, чтобы воспользоваться им, надобно сперва уличить жену в неверности. Недостаточно того, чтобы

сам рогоносец знал о своем позоре, нужно, чтоб его позор стал публичным. А хочешь, чтобы твои рога не торчали наружу,— изволь, но тогда уж прощай свобода: от жены тебе ввек не избавиться! Так вот, Куилл, я и решил обратиться к тебе, так как у тебя есть возможность наблюдать за моей женой. Если нам удастся поймать ее с поличным, то получишь изрядное вознаграждение. Это дело уж не терпит отлагательства: ведь если я не разоблачу ее, она разоблачит меня. А вечно платить ей за то, чтоб она держала свой язычок за зубами,— значит, разориться вконец. Чтобы заткнуть рот женщине, никакого золота не хватит.

Куилл. Сударь, я постараюсь быть как можно усерднее.

Скуизем. А я — возможно щедрее... если, конечно, ты добьешься успеха. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ 2

Куилл *(один)*. Ну нет, почтеннейший судья, на такую приманку я не поддамся! Я слишком хорошо тебя знаю и потому не верю в твою щедрость. Твоя жена заплатит мне больше за такую же услугу. К тому же я человек чести и совести и не могу служить двум господам! А так как я уже давно состою при госпоже для особых услуг, пойду-ка я к ней, как честный и верный слуга, и раскрою перед нею весь заговор. Ведь если ее выгонят из дому, с этим скупердяем мне будет не сладко. Он так жаден, что готов сжить со свету всех мошенников, кроме себя самого.

ЯВЛЕНИЕ 3

В доме констебля.
Рембл и Констант.

Рембл. Э, да твоя милая, оказывается, тонкий политик! Только бы наш пьянчужка не испортил нам дела!

Констант. Не бойся за него, у него хитрости тоже хватает. В его башке столько лет шла война между пьянством и трезвостью, что они, наконец, пришли к соглашению, и теперь он уже всегда полупьян, полутрезв.

Рембл. Ну что же! Делать нам здесь нечего, только сидеть да ждать. Поэтому расскажи-ка мне подробнее, как прожил ты эти три года, что мы не виделись. Шутка ли — три года! Что делал ты после того, как покинул службу в Ост-Индии и вернулся с Сотмором сюда?

Констант. В тот год у всех на уме была война. О ее близости мы судили не только по слухам, но и по таким фактам, как увеличение армии. Вот я и решил остатки своего состояния отдать на служение отечеству и снова, как в Индии,

купил себе офицерский патент. Особых приключений у меня не было,— служил, пока не сократили армию, а с тех пор разделяю судьбу тех несчастных солдат, которым дали отставку да и пустили нищими в красном кафтане.

Рембл. Да, таково свойство солдатской одежды — превращаться в лохмотья. Уж так у нас заведено: наши славные солдаты привыкли возвращаться с потрепанными знаменами, в рваных кафтанах. Знамена вывешиваются в Вестминстер-холле *, а солдата, по приказу того же Вестминстер-холла, сажают за решетку. В тюрьмах, слава богу, всегда найдется местечко для нашего брата.

Констант. Единственное, в чем мне была удача за последнее время,— это в любви. Я полюбил ту милую девушку, что ты здесь видел, и мы должны были нынче ночью с ней встретиться, чтоб обвенчаться. Но только я прибыл на место свидания, вдруг вижу: какой-то негодяй нападает на прилично одетую женщину. Я бросился к ней на помощь, ее оскорбитель немедленно скрылся, а подоспевшая стража схватила меня и наутро отвела к судье Скуизему, который и распорядился отправить меня сюда.

Рембл. Что ж, она дала показания против тебя?

Констант. Нет еще. Я слышал, что она еще не оправилась от вчерашних ушибов и просила продержать меня до вечера. А вечером она предъявит мне свое обвинение. Впрочем, я думаю, что она здесь ни при чем. То, что тут рассказала нам Хиларет, да и те ухищрения, какими из меня пытаются выжать деньги, наводит меня на мысль, что все это мошенничество подстроено самим судьей.

Рембл. Да уж будь уверен: где какое мошенничество, там судья играет самую главную роль. Но пусть мысль о предстоящем возмездии послужит тебе утешением. Не думаю, чтобы судье удалось ускользнуть из сетей, которые мы для него приготовили,— разве что дьявол окажется добрей, чем мы думали, и захочет прийти на выручку своему лучшему другу.

Констант. Но что ты собираешься делать в Англии? Здесь у тебя ни родных, ни знакомых.

Рембл. Почем знать, может еще и сыщется кто. Когда-то у меня был здесь отец, старик, и притом богатый. Он счел нужным изгнать меня из дому за кое-какие невинные шалости, да, верно, теперь простил меня, если только остался в живых. Впрочем, я уже десять лет не имею о нем известий.

Констант. Как же ты мог бросить родного отца на целые десять лет? Непростительное легкомыслие!

Рембл. Увы, я таков от природы: мои мысли не поспевают за поступками, и раздумье нападает на меня лишь тогда, когда думать уже поздновато. Всю-то свою жизнь я был задним умом крепок. Верно, у моего рассудка глаза на затылке.

ЯВЛЕНИЕ 4

Рембл, Констант, Стафф.

Стафф. Письмо к вашей милости.

Рембл *(читает)*. Вот это письмо так письмо!

Констант. Что же в нем такое?

Рембл. В нем моя свобода, скрепленная собственноручной подписью здешней повелительницы.

Констант. Да о чем же оно?

Рембл. Говоря попросту, не прибегая к высокому стилю, это письмо от миссис Скуизем, жены судьи, с приказом констеблю немедленно отпустить меня на волю. *(Читает.)* «Сударь, как только я оправилась от испуга, причиненного мне вашим дерзким приятелем, я тотчас же выполнила свое обещание. Вы застанете меня дома; податель сего одновременно вручит констеблю приказ о вашем освобождении». Вот добрая душа! *(Целует письмо.)* Драгоценная супруга проклятого мерзавца судьи, лечу в твои объятья!..

Констант. Послушай, а что если посвятить ее в наши планы?.. Вот возьми и снеси-ка ей эту записку, в которой судья назначает Хиларет свиданье. Записка подкрепит твои слова.

Рембл. Чудесная мысль! Лечу осуществить ее на деле. Прощай, драгоценный Констант! Надеюсь, милый, встретиться с тобой

В спокойной гавани, где не грозит беда,
Где мерзостный судья не причинит вреда.

Констант. Ну что ж, желаю тебе успеха!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ 5

В кабачке.
Скунзем, слуга.

Скунзем. Скажи-ка, любезный, не приходила ли сюда одна женщина и не справлялась ли она о мистере Джонсе?

Слуга. Что-то не слыхал, сударь. Если хотите, я спрошу в буфете.

Скунзем. Да, да, спроси.. и скажи там, что, если кто придет, пусть проведут наверх, ко мне... У меня нет оснований думать, что она обманет меня, но я так и горю от нетерпения. Право, эта женщина возродила во мне весь пыл моей ранней юности. Оказывается, я моложе, чем думал! Мне сорок девять, никак не больше. Да что ж это моя милая не идет в самом деле?.. Напрасно я ей дал те пять шиллингов, да еще в кошельке, которому цена уж не меньше двух шиллингов. Как знать, она, может быть, истратила их на какого-нибудь молодчика, который в благодарность еще наградит меня кой-чем.

ЯВЛЕНИЕ 6

Скуизем. Хиларет.

Скуизем. Наконец-то!.. Моя хорошенькая, моя славненькая, моя миленькая плутовочка!.. Я ждал тебя по крайней мере... четыре часа.

Хиларет. Да уж это известное дело, молодые любовники всегда приходят на свидание задолго до срока.

Скуизем. Награди меня за это поцелуем. Да, ты увидишь, что я молод и страстен... Ну, приласкай меня, похлопай по щечке... Гав, гав! Гав, гав! Сейчас я съем твое платьице... Что же мы будем пить — белое или красное?.. Дамы любят белое.... Эй, мальчик, полпинты шотландского... Давай-ка мы с тобой посидим... Да садись же!.. Садись поближе! Ну-с, расскажи-ка мне, как ты потеряла невинность... Рассказывай, а я дома запишу твой рассказ в свою летопись. Это такая книга, куда я пишу о каждой женщине, с которой у меня была хотя бы мимолетная связь. Знаешь, как я озаглавил свой труд?.. *«История моей эпохи»*.

Хиларет. Небось увесистая получилась у вас книга, сударь, не меньше церковной библии!

Скуизем. Да, не маленькая; матерьялу хватило на много страниц.

Хиларет. Бог даст, вы еще столько напишете в ней!

Мальчик *(за сценой)*. Запишите: бутылка шотландского в гостиницу «Льва».

Скуизем. Ну, рассказывай... Где ты начала свои амуры?.. Уж верно в церкви. Много любовных историй начинается в церкви, но, увы, они редко кончаются там. А может быть, дело началось с того, что ты вздумала поглазеть на военный корабль? Женщины падки на зрелища. Сколько вас погибло из-за них! Оттого-то и дети так любят зрелища — ведь многие из них и на свет-то появились благодаря этим самым зрелищам.

Хиларет *(в сторону)*. Спасибо, что напомнил, а то я чуть не позабыла, что мой первый соблазнитель был моряк... Правда, сударь, там-то я и познакомилась с ним, там-то и произошла наша роковая встреча.

Скуизем. Ну, и как же началась ваша любовь — с разговора или с письма?

Хиларет. Все началось с письма, сударь. Он извел целую кучу бумаги, а я все не отвечала ему: сперва я возвращала его письма нераспечатанными, потом стала распечатывать — и все же посылала обратно... Но наконец... он добился ответа.

Скуизем. Добился ответа — и что же?

Хиларет. Ах, как только он получил мое письмо, он почувствовал себя победителем!

Скуизем. Да, да, конечно. Я и сам замечал во всех моих любовных похождениях, что, как только получишь от женщины ответ на письмо, можно уже рассчитывать на все остальное: женщина незамедлительно следует за своим письмом собственной персоной. Так что же было в его ответном письме?

Хиларет. Ах, он исписал его клятвами: и любить-то он будет меня до самой смерти, и счастья-то ему нет без меня... чего-чего только там не было!

Скуизем. Да, да, да! Точно так же писал и я. В ухаживании за женщиной, как в судопроизводстве, важна система.

Хиларет *(в сторону)*. То-то, старик, ты так скучно ухаживаешь — точно тяжбу ведешь.

Скуизем. Сколько же ты ему писем написала, прежде чем...

Хиларет. О, совсем немного, сударь: он уже не нуждался в поощрении.

Скуизем. Ну-с, минуем все околичности и перейдем к вашему последнему, роковому свиданию.

Хиларет. Это случилось утром, в воскресенье...

Скуизем. Правильно! Таков и мой излюбленный прием: улучить часок, когда все прихожане в церкви.

Хиларет. День был очень жаркий...

Скуизем. Верно, был май... а быть может, июнь. Женщины, как и вишни, слаще всего в этом месяце.

Хиларет. Утомленная прогулкой по саду, я зашла отдохнуть в беседку. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила там своего коварного друга!

Скуизем. До чего же хитер! Молодец! Снова узнаю свою систему. Засада бывает так же полезна в любви, как и на поле сражения.

Хиларет. Он сделал вид, что наша встреча для него неожиданность. Когда же я потребовала у него объяснения, ради чего он затаился в беседке, он сорвал с себя маску и сознался во всем. Он подлетел ко мне, страстно прижал меня к своей груди и стал клясться в пламенной любви, вечной верности. Охваченная гневом, я оттолкнула его. Он усилил натиск, я ослабила сопротивление; он умолял, я негодовала; он вздыхал, я рыдала; он настаивал, я потеряла сознание; он...

Скуизем. Довольно!.. Я больше не в силах терпеть, мой ангел! Мое блаженство! Цветочек! Голубка! Солнышко!

Хиларет. Что с вами, сударь? Чего вы хотите?

Скуизем. Съесть тебя, проглотить тебя, задушить тебя в своих объятиях!

Хиларет. На помощь! Караул! Помогите! Он хочет меня обесчестить!

ЯВЛЕНИЕ 7

Скуизем, Хиларет, Сотмор.

Сотмор. Ба! Что за чертовщина!.. Никак судья Скуизем собирается обесчестить девицу?

Хиларет. Ах, сударь, заклинаю вас небом, помогите бедной, одинокой, несчастной девушке... Этот злой человек коварно соблазнил меня.

Скуизем. О господи!

Сотмор. Стыдно, мистер Скуизем! Судья, блюститель закона, а сами же его нарушаете!

Скуизем. И ты смеешь обвинять меня?!

Хиларет. Вы сами знаете, как гнусно вы со мной поступили. *(К Сотмору.)* Сжальтесь, сударь, надо мной и схватите его! Не дайте ему уйти до прихода констебля. Если только закон распространяется и на судей, я добьюсь, что этого негодяя повесят.

Скуизем. Господи боже мой! До чего я дожил! Какой позор! Какое унижение!

Сотмор. Если б ты был честным малым и держался бутылки, этого с тобой никогда не случилось бы; а ты погнался за юбкой, чума тебя возьми, в твои-то года! У тебя не ноги, а спицы, морда — как у хорька, шея — как у цапли, а туда же — блудить! Кто бы мог подумать, что такой старый, гнилой пень посягнет на женщину? Да ты сделаешься посмешищем всего города!.. Все наши щелкоперы газетчики напишут о тебе столько статеек, что потом будут целый месяц обедать на твой счет. Сам Александр Македонский не въезжал в Вавилон с такой помпой, с какой тебя повезут на виселицу. Когда жреца правосудия ведут на казнь, это настоящий праздник — праздник правосудия!

Скуизем. Сударь, если есть правда на земле, я невинен, как...

Сотмар. Да будь ты хоть трижды невинен, это тебя не спасло бы... Не груз грехов затягивает петлю на шее. Твоя невинность не поможет тебе на суде, если эта особа присягнет против тебя; а уж когда ты попадешь на виселицу, кричи сколько угодно о своей невинности — не поможет! Тут что попало в сеть — то и рыба. Виселице так редко достается законная добыча, что, только попадись ей, не выпустит.

Хиларет. И вы смеете утверждать, что вы не виновны? Да вот свидетель,— вы думаете, он не видел, как вы дерзко оскорбили меня?

Сотмор. Да, да, я присягну в том, что было совершено насилие, присягну с такой же чистой совестью, с какой я выпиваю стакан вина.

Скуизем *(в сторону)*. Теперь я вижу, что меня предали. Я попался в свою же ловушку. Возможен только один вы-

ход — тот, который я всегда предлагаю другим... Сударыня, вы, очевидно, рассчитываете получить с меня деньги. Я слишком хорошо знаю законы и потому не стану спорить. Надеюсь, вы будете благоразумны в своих требованиях,— я ведь беден, очень беден; с моей честностью не больно разбогатеешь.

Хиларет. Сударь, никакие миллионы не способны приостановить мое мщение! Вас повесят в назидание другим.

Скуизем. Ах ты негодяйка! Ах жестокая! Жаждет крови, когда я предлагаю ей золото! Ведь золото и есть моя кровь.

Сотмор. Эге-ге! Это что за посудина?.. Из-под уксуса, что ли? Да это вино, ей-богу вино! Ах ты мерзкий негодник! И ты еще божишься, что невинен, когда пойман с такой уликой? Будь я судьей или хоть всей дюжиной присяжных, я бы тебя вздернул на основании одной этой подлой бутылки! Ну, раз уж тебя все равно повесят, дай-ка я выпью за твое благополучное отбытие на тот свет... Ты встретишь там уйму знакомых, отправленных тобою туда же... Ну-с, а теперь я пойду за слугой, пусть позовет констебля.

Скуизем. Стойте, стойте, сударь! Ради бога, не губите меня!.. Неужто, сударыня, вас ничем невозможно умилостивить?

Хиларет. Ничем, кроме строгого исполнения закона. Сударь, прошу вас, не теряйте времени, посылайте скорей за констеблем.

Скуизем. Я сделаю все, что вы скажете, я согласен на любые условия!

Хиларет. Констебля, констебля!

Скуизем. О, погодите, сударь! Голубчик! Я дам вам сто гиней! Я сделаю все!

Хиларет. Вспомните, как вы обошлись с двумя джентльменами нынче утром!.. Но я отомщу за них... Сударь, пошлите же за стражей, прошу вас!

Скуизем. Одного из них я уже освободил, а другого немедленно выпущу.

Хиларет. Поздно!

Сотмор. Послушайте, сударь, обещаете ли вы бросить женщин и перейти на вино?

Скуизем. Я брошу и то и другое

Сотмор. Тогда вас повесят. Но если вы обещаете начать новую жизнь и напиваться всякий божий день, как подобает порядочному человеку, я похлопочу перед этой дамой за вас, чтоб она вас отпустила, как только вы отпустите ее друзей.

Скуизем. Я сделаю все, я брошу все!

Сотмор. Сударыня, будьте на этот раз милосердны к этому несчастному, к этому заблудшему служителю правосудия.

Хиларет. Сударь, я не в силах в чем-либо отказать вам.

Скуизем. Дайте мне перо и чернила! Я пошлю за ним тотчас и прикажу его освободить.

Сотмор. Перо, чернила и бумагу, любезный! Да прихвати бутылочку старого портвейна!

Скуизем *(к Хиларет)*. И у тебя хватило бы совести присягнуть против бедного старца?

Сотмор. В самом деле, это было бы немножко жестоко, сударыня. Неужели у вас хватило бы духу смотреть, как болтается в петле этот ветхий мешок с костями? Неужели вы осмелились бы предложить правосудию такое невкусное блюдо? Вот и бумага! Пишите же, сударь, скорее приказ об освобождении того джентльмена,— это же и вам вольная!

Скуизем пишет. Сотмор и Хиларет выходят на авансцену.

Сотмор. Вы так блестяще провели это дело, что я, наконец, уверовал в женский ум.

Хиларет. Уж если пошло на каверзы, мистер Сотмор, положитесь на женщину — не подведет.

Сотмор. Да, сударыня, на женщину, которая не гнушается стаканчиком, можно положиться. Вино — источник мыслей:

Чем больше вина,
Тем больше ума.

Я так и не решил еще, что больше: польза, приносимая вином, или вред, причиняемый лекарствами? Была бы моя воля, я превратил бы все аптеки, какие есть в нашем городе, в кабаки.

Хиларет. Боюсь, что чем больше бы вы развели кабаков, тем больше аптек пришлось бы открыть.

Сотмор. Напротив! Это аптекари со своими снадобьями и портят нам вино: само по себе оно ведь так же безвредно, как вода. Сами посудите, какой может быть вред от виноградного сока? Иное дело все эти порошки да травы... Послушайте меня, сударыня,— бросьте ваш чай, эту гнусную тлетворную воду, и переходите на вино. Оно оживляет лицо лучше любых румян, оно укрепляет нравственность лучше всех проповедей в мире. Я введу вас в несколько клубов, в которых состою сам. Там вы найдете компанию честных малых, которые живут в облаках табачного дыма и не знают иного жилья, кроме кабака.

Скуизем. Вот, сударь, письмо: оно доставит сюда джентльмена, о котором вы хлопочете.

Сотмор. Послушай, любезнейший, доставь это письмо по назначению... Ну что же, почтеннейший судья, хоть наше знакомство и началось не совсем обычно, оно может вскоре обратиться в дружбу. Давайте же усядемся и будем поджидать нашего приятеля, как подобает добрым людям. Вспомните, что́ вы обязались делать каждый день, и начните новую жизнь с этой минуты. Садись же, старый кабатчик, садись, торговец законами!

Садятся.

Выпьем за процветание вашей торговли, сударь; за то, чтоб не переводились шлюхи и фальшивые игральные кости... Ты сборщик пошлин с человеческих грехов и пороков, вот ты кто! И кто хочет плутовать и распутничать без всякой узды, должен получить от тебя разрешение. Пей же со мной, старина! Если ты хоть каплю оставишь на дне, тебя отправят в тюрьму, клянусь вот этой бутылкой!

Скуизем. Нет, сударь, уж очень вы щедры! Я, право, боюсь охмелеть.

Сотмор. Люблю видеть пьяного судью! Когда правосудие пьяно, оно не способно брать взятки.

Скуизем. Вы, верно, забыли, как афиняне карали судей за пьянство?

Сотмор. Мы, слава богу, не афиняне, и такого закона у нас нет. У нас за пьянство, да и за другие грешки, привлекают только низшее сословие. Пьянство, как и азартные игры,— господская забава. Кто не имеет кареты, чтоб добираться домой,— и думать не смей напиваться!

Хиларет. Право, сударь, не принуждайте меня.

Сотмор. Клянусь бутылкой, сударыня, я заставлю вас выпить! Я силой заставлю вас пить в присутствии судьи. Для вас вино пользительней чая, и вам не придется после него убегать к себе, чтоб потихоньку запивать его джином. Выпейте за здоровье судьи в знак дружбы и мира. Судья честный пьянчужка и добрый малый. *(Обращается к судье.)* Позволь дать тебе хороший совет: брось охальничать с девками, предоставь их молокососам. Твое дело — бутылка. Это по нашему с тобой возрасту. И впредь не суди так строго честных сорванцов. Славных ребят посадил ты нынче за решетку — тех двоих; пусть это будет в последний раз... Будь беспощаден, если хочешь, с шулерами, гулящими девками, которые действуют без твоего разрешения, но если ты еще хоть раз прикажешь схватить кого-нибудь из моих друзей, знай: я тебя заставлю не только пить из бутылки, но и съесть бутылку. Твое здоровье! Надеюсь, что ты станешь честней! Постой, тебе тоже придется выпить стаканчик за свое здоровье!.. Эй, мальчик, еще вина!

Скуизем. Ни капли больше!

Сотмор. «Капля», ты сказал? Будь оно проклято, это слово! А ну-ка, осуши стакан! Видишь, леди ждет.

Скуизем. Да это похуже тюрьмы!

Сотмор. Ну нет, из тюрьмы-то выбраться стоит дороже. Пей же!

Скуизем. Ну ладно, раз вы заставляете.

Сотмор. Ну-ка, затянем песенку во славу вина!.. Я буду запевать, вы подхватывайте. *(Поет.)*

1

Пусть гонят трезвые ослы
Дух винопитья благородный,—
Быть может, сладкий чай
Понудит невзначай
Мечтать и мыслить мозг холодный.
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая!

2

Когда вели о счастье речь,
У древних расходились мненья.
Насколько их умней
Философ наших дней:
Он пьет — и счастлив без сомненья!
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая!

3

Румянит женщину вино,
Мужчине силы прибавляет,
Дает полет певцу
И мужество бойцу,
Любовь и дружбу укрепляет!
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая!

4

Там благоденствует поэт,
Где виски служит Ипокреной *,
Где пить вино
Заведено,

В Амуре чтут царя вселенной!
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая!

5

Когда в ларце Пандоры * к нам
Свалились тысячи болезней,
Веселый бог
Открыл нам сок,
Который всех лекарств полезней.
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая!

6

В вине для всех пороков смерть,
Для добродетели — победа,
Ум — для глупца,
Честь — для купца
И правда — для законоведа!
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая!

7

Вино нам радости несет
И в сердце исцеляет раны.
Для христиан
Тот свой, кто пьян,
А трезвы только басурманы.
Здоровье, силу, страсть,
Над женским сердцем власть —
Ну, словом, все утехи рая,
Богатство, красоту,
Блаженства полноту —
Все подарит нам чаша круговая! [1]

[1] Перевод В. Левика.

ЯВЛЕНИЕ 8

Скуизем, Хиларет, Сотмор, Констант, Стафф.

Констант. Хиларет! Счастье мое!

Хиларет. Констант, дорогой мой!

Сотмор. Поздравляю тебя, душа моя, с освобождением!

Констант. Спасибо, друг Сотмор, ведь это тебе я обязан своей свободой. Мы не останемся в долгу перед тобой, Рембл и я, мы посвятим тебе за это шесть ночей.

Сотмор. А где же Рембл?

Констант. О, за него не беспокойся, он в безопасности.

Хиларет. Сударь, раз уж мы покончили с этим делом, возьмите назад кошелек, который вы мне давеча подарили. Пусть я кое в чем и обманула ваши надежды, но вы получите то, чего вы никак не ждали,— ваши собственные деньги, сударь! Я не прикасалась к ним, поверьте.

Скуизем. Ну что ж! И на том спасибо!

Сотмор. Джентльмены, прошу всех занять места, возьмите каждый по стакану. Мы во что бы то ни стало должны посвятить часок-другой веселью.

Скуизем. Джентльмены, правосудие прежде всего! Мистер констебль, исполняйте ваш долг.

Стафф *(страже)*. Эй вы, сюда!

ЯВЛЕНИЕ 9

Скуизем, Хиларет, Сотмор, Констант, Стафф и стражники.
Стража хватает Константа, Хиларет и Сотмора.

Скуизем. Именем короля — хватайте их! Я обвиняю эту женщину и этого мужчину в намерении принести ложную присягу против меня.

Стафф. Сопротивление бесполезно, джентльмены.

Хиларет. О, мерзавец!

Скуизем *(Сотмору)*. Это вам вперед наука: прежде чем отсылать письмо, написанное под вашу диктовку, не побрезгуйте заглянуть в него.

Сотмор. Ну и подлюга! Даже вино бессильно внушить тебе понятие о чести.

Скуизем. Обратите внимание, джентльмены, на выражения, которые употребил арестованный. Уж погодите, я с вами расправлюсь со всеми по всей строгости законов!.. Мистер констебль, отведите арестованных к себе на квартиру и держите их там, пока не получите распоряжения доставить их к судье.

Сотмор. Эй, судья, не слишком ли далеко зашла твоя шутка?

Скуизем. А вот ты на собственной шкуре узнаешь, как далеко заходят мои шутки!

Сотмор. Наконец-то я нашел человека, с которым я сам отказался бы выпить!

Стафф. Пожалуйте, джентльмены, ко мне на квартиру. Благо дорожка знакомая... *(Сотмору.)* Сердечно рад приветствовать вашу милость и постараюсь устроить вас со всеми удобствами.

Констант. Что до меня, я притерпелся к несчастьям и уже не ропщу на них. Но как мне снести твою беду, Хиларет?

Хиларет. Чем меньше ты будешь тревожиться обо мне, Констант, тем легче мне будет.

Сотмор. Позвольте лишь сказать на прощанье два словечка судье: пусть небо ниспошлет тебе целый ливень жидкого пива и пусть твое поганое тело сгниет от него, как уже сгнила твоя душа!

Хиларет.

Я к небу возношу мольбу одну:
Всего лиши его — оставь ему жену!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

В доме Политика.

Политик *(один)*. Это просто поразительно, до чего у моей дочери нрав не похож на мой! Не иначе, как ее мать с кем-нибудь согрешила! В самом деле, возможно ли, чтобы я, который всю жизнь славился своей добродетелью, произвел на свет такую шальную девчонку? Теперь я начинаю припоминать, что в нам одно время повадился какой-то долговязый отставной офицер, да и девчонка как будто смахивает на него. Она такая отчаянная, что любой офицер в нашей армии мог бы оказаться ее папенькой!.. Природа благоволит ко всем самцам, кроме мужчины: бык, конь, пес — все они свободны от забот о собственном потомстве; у них эти заботы лежат целиком на самке. Человек же, с того часа как болтливый поп пробормочет над ним свои роковые слова, обязан печься обо всех щенках, каких только заблагорассудится жене подарить ему. Должен, однако, признать, что сия девица исправно выполняла свой дочерний долг, пока ей не повстречался тот проклятый молодчик в красном кафтане. Почему это красный цвет так любезен дамам? Римский сенат все время держал свою армию в чужих краях, чтобы не делить с солдатами своих земель. И нам бы следовало так поступать с нашей армией, если мы не хотим, чтоб солдаты

разделяли ложе с нашими женами. Да знаете ли вы, сколько работы повивальным бабкам может задать один дюжий молодец за одну только зиму, сидя у себя дома? Воюй он десять лет без роздыху, он не причинил бы столько хлопот хирургам неприятельской армии!

ЯВЛЕНИЕ 2

Политик и Фейсфул.

Политик. Ну что, есть ли какие-нибудь известия о моей дочери?

Фейсфул. Нет, сударь. Зато есть новости из канцелярии министра: прибыла голландская почта, и вы с ней познакомитесь в вечернем выпуске наших газет.

Политик. Ну что ж, подождем... Итак, у нас накопилось три почты. Не нравятся мне что-то наши дела на севере! Да, покуда северный ветер не сулит нам ничего хорошего. И на востоке как будто начинают собираться тучи.

ЯВЛЕНИЕ 3

Политик, Деббл.

Политик. Добрый день, мистер Деббл!

Деббл. Почта прибыла?

Политик. Только что.

Деббл. Я не спал всю ночь, все думал о том, что вы мне вчера сообщили. Может быть, голландская почта прольет свет на все эти дела... Но что пишут «Завиральные новости»?

Политик. Я не успел еще познакомиться с ними. Может быть, вы почитаете их вслух? Я прочел всего только «Лондонскую газету», «Сельскую газету», «Еженедельную газету», «Газету Аппельби», «Британскую газету», «Британский репортер», «Утренние новости», «Утренние новости кофейни», «Дневные новости», «Дневной курьер», «Дневную газету», «Ежедневную хронику», «Листок», «Вечерние новости», «Правительственные вечерние новости», «Лондонские вечерние новости» и «Сент-Джемские вечерние новости». Теперь я не прочь послушать «Завиральные новости».

Деббл. «Москва, января пятого. Нам пишут из Константинополя, что ситуация остается неопределенной; еще не ясно, что предпримет двор. На днях императрица, испытывая легкое недомогание, выезжала на прогулку в карете. Вернувшись с прогулки, ее императорское величество почувствовала себя исцеленной и изволила скушать отменно обильный ужин».

Политик. Странно, в других газетах ничего не говорится об ужине.

Деббл. «Берлин, января двадцатого. В городе ходят упорные слухи о некиих мерах, предпринятых некиим северным монархом, в ответ на некии события... Однако мы не в состоянии со всей определенностью назвать вышеупомянутого монарха, а также определить характер мер, предпринятых им. При всем том мы не сомневаемся, что время прольет свет на вышеозначенные события».

Политик. Будьте добры, повторите последнее предложение.

Деббл. «При всем том мы не сомневаемся, что время прольет свет на вышеозначенные события».

Политик. Так, так.

Деббл. «Марсель, января восемнадцатого. Положение с Италией продолжает оставаться неопределенным».

Политик. Так.

Деббл. «Слухи об отправке крупных воинских соединений не прекращаются».

Политик. Так.

Деббл. «Испанцы попрежнему стоят лагерем близ Барселоны».

Политик. Так. *(Качает головой.)*

Деббл. «Угроза разрыва отношений не миновала. При всем этом мы ожидаем курьера из Вены с известиями о заключении общего мира».

Политик. Ну и слава богу!

Деббл. Люблю читать газеты, в которых добрые вести приберегаются под конец, где в начале столбца вам угрожают войной, а в конце обещают мир!

Политик. Читайте, пожалуйста, дальше.

Деббл. «Однако, несмотря на заверения в противном, в некоторых кругах полагают, что вышеупомянутый курьер только подтвердит опасения тех, которые ожидают войны. Нам остается лишь гадать о возможном исходе событий, и пока мы не столкнемся с фактом военных действий, мы вынуждены оставить наших читателей в той же неопределенности, в какой они пребывали доныне».

Политик. Так. Очевидно, ничего определенного нельзя еще сказать: миру ли быть, или войне?

Деббл. Ставлю десять против одного, что будет война. Обратите внимание: о возможности войны тут говорится дважды, о мире же всего лишь один раз... Постойте, в следующем сообщении, из Фонтенебло, мы, может быть, получим окончательное разрешение вопроса. «Фонтенебло, января двадцать третьего. Вчера его величество отправился на охоту. Сегодня он посетит оперу, а завтра намеревается присутствовать на обедне».

Политик. Это мне уже не нравится. Обедня — не к добру.

Деббл. «Как известно, кардинал Флери...»

Политик. А ну, а ну!

Деббл. «Как известно, кардинал Флери несколько дней тому назад имел продолжительную беседу с послом некоей державы. Это обстоятельство наводит на размышления. Однако, не будучи осведомлены относительно предмета их беседы, мы ничего не можем сказать о ее результатах. Между тем нельзя не отметить, что известные лица, которые последнее время хмурились, заметно повеселели в связи с последними событиями. Приняв во внимание как вышеупомянутое обстоятельство, так и последние сообщения из Марселя, в некоторых кругах полагают, что война неизбежна; в других же, менее воинственно настроенных кругах можно найти горячих сторонников противоположной точки зрения... Окончательное решение вопроса предоставим времени, этому великому судье всемирной истории, который с помощью своей обоюдоострой косы, освобождая тайные государственные совещания от окружающих их сорняков, тем самым делает эти совещания доступными простому глазу проницательного политика».

Политик. Можно попросить вас повторить эту последнюю фразу?

ЯВЛЕНИЕ 4

Политик, Деббл, Фейсфул.

Деббл *(читает)*. «Окончательное решение вопроса предоставим времени, этому великому судье всемирной истории, который с помощью своей обоюдоострой косы, освобождая тайные государственные совещания от окружающих их сорняков, тем самым делает эти совещания доступными простому глазу проницательного политика»...

Фейсфул. Сударь, сударь! Клорис принесла такие чудные вести о моей молодой госпоже.

Политик. Не перебивай, болван!

Фейсфул. Сударь, нельзя медлить — вы рискуете потерять ее навеки!

Политик. Молчать!

Фейсфул. Сударь, мою молодую госпожу, мисс Хиларет, погубят, опозорят, повесят, если вы не поспешите к ней на помощь! Она арестована по обвинению в насилии, сударь... О, моя бедная госпожа! Такая добрая, такая милосердная! Такой еще никогда не бывало на свете! Не думал я дожить до этого черного дня! Сударь, и вы можете сидеть тут и читать эту проклятую, дурацкую, лживую чушь, когда ваша дочь погибает!

Политик. Да он с ума сошел, этот малый!

Фейсфул. Ах, сударь, ваша дочь в тюрьме... Ее схватила стража... она арестована за насилие.

Политик. Моя дочь — за насилие?!

Фейсфул. Да, да, сударь! Говорят, что она обесчестила самого судью.

Политик. Ей-богу, этот малый свихнулся!

Фейсфул. Эх, сударь, вы тоже свихнулись бы, когда бы у вас было сердце! О, зачем довелось мне увидеть мою госпожу в такой страшной беде!

Политик. Обвинять женщину в совершении насилия — да ведь это неслыханно!

Фейсфул. И, однако, они собираются подкрепить свое обвинение присягой... как будто я не знаю, что во всем королевстве не сыщешь такой скромной и благонравной девицы! Но эта шайка мерзавцев готова присягнуть в чем угодно. Сударь, прежде чем поступить к вам, я был в услужении у этого Скуизема и знаю, что другого такого подлеца не сыщешь во всем королевстве. Идемте же, мой добрый господин, идем к судье Уорти. Прогоните меня вон, как собаку, если вы не найдете у него свою дочь!

Деббл. Я припоминаю, сосед Политик, что мне уже случалось читать о подобном случае в какой-то газете.

Политик. В газете? Ну, если вы читали в газете, тогда, может быть, все это правда! Позвольте в таком случае откланяться, сосед Деббл, я приду через час в кофейню, где мы продолжим нашу беседу.

ЯВЛЕНИЕ 5

В доме Уорти.
Уорти, Изабелла.

Уорти. Видно, благородная скромность совершенно исчезла в наш век. Было время, когда добродетель внушала людям священный трепет. Никто и думать не смел посягать на нее. Ныне же наша молодежь до того распустилась, что ни одна женщина, кроме уличной, не смеет показаться на улице.

Изабелла. И, однако, милый брат, наши законы не менее суровы, чем в других государствах, и соблюдаются с неменьшей строгостью.

Уорти. О, если б это было так! Но увы, колесница правосудия слишком часто застревает в золотом песке, который не дает ее колесам вращаться. Само богатство, вместо того чтобы служить уликой против неправедного стяжателя, приводит к обвинению невинного. Золото успешнее стали может перерезать петлю, накинутую на шею преступника.

Изабелла. Что до меня, я буду впредь остерегаться выходить на улицу, когда стемнеет. Солнце, оказывается, лучшая защита для женщин. Что бы там ни говорили про девственность луны, ей нет дела до нашего целомудрия.

Уорти. Неужто этот негодяй нанес тебе оскорбление?

Изабелла. Он оскорбил бы меня гораздо сильнее, если бы ему не помешали. В ту минуту я отдала бы все свое добро, все богатство, лишь бы только очутиться здесь в безопасности. Ну, да пора и забыть этот случай,— слава богу, все обошлось.

Уорти. Забыть? Ни за что! Клянусь небом, я потрясен до глубины души! Мы гордимся самым лучшим законодательством в мире, и все же наши законы не могут служить правосудию из-за подлости тех, кто должен наблюдать за их исполнением. Я мечтаю дожить до того времени, когда у нас, как в Голландии, пешеход будет спокойно шагать по всем улицам и безбоязненно держать при себе свой кошелек.

ЯВЛЕНИЕ 6

Уорти, Изабелла, Скуизем.

Скуизем. Мистер Уорти,— ваш покорный слуга. Я пришел побеспокоить вас... случилось удивительное происшествие. Хорошие времена, нечего сказать, когда сами судьи не могут считать себя в безопасности! Как же мы можем охранять других, если не в состоянии защитить самих себя?

Уорти. Чем вы так взволнованы, мистер Скуизем?

Скуизем. Чем? У меня едва хватит силы рассказать вам об этом. Сударь, я открыл коварнейший заговор, равного которому не знает история со времен Порохового заговора *.

Уорти. Не против правительства, надеюсь?!

Скуизем. В том-то и дело, что против правительства! Ибо всякий заговор, направленный против лица, находящегося на правительственной службе, есть тем самым заговор против правительства. Короче говоря, сударь, этот заговор был направлен против меня, против моей собственной персоны. Вы только послушайте, коллега Уорти: публичная женщина, подстрекаемая самим сатаной, обвиняет меня ни больше ни меньше как в совершении насилия над нею и намерена подкрепить свое чудовищное измышление присягой.

Уорти. Вас обвинить в совершении насилия? Безумная женщина! Стоит только взглянуть на вас, чтобы увидеть, что вы не способны на такое злодейство. Ваша наружность, коллега Скуизем, так и пышет невинностью.

Скуизем. Сударь, я полагаю, что моей репутации достаточно, чтобы опровергнуть подобный поклеп.

Уорти. Надо надеяться. Было бы весьма прискорбно, если бы лицо, занимающее такую почетную должность, не было в состоянии опираться на свое незапятнанное доброе имя.

Скуизем. Совершенно верно. Подобные оскорбления бросают тень на всех нас. Обвинение одного из членов корпорации равносильно обвинению всей корпорации. В этом смысле мы

должны брать пример с адвокатов — они стоят горой друг за дружку. Надеюсь, коллега Уорти, вы отнесетесь к моему делу с особым доброжелательством. Уверяю вас, что, если мне когда-либо доведется разбирать ваше дело, вы можете смело рассчитывать и на мое снисхождение к вам.

Уорти. Снисхождение, сударь? Надеюсь, что я никогда не буду нуждаться в чьем-либо снисхождении. Уверяю вас, что мой суд будет полностью беспристрастен. Да я полагаю, что иного суда вам и не нужно.

Скуизем. Разумеется, сударь, лично я не нуждаюсь в пристрастном суде. Однако мне кажется, что наш общий долг опровергать любые обвинения, выдвигаемые против любого из нас.

Уорти. Опровергать их своей праведной жизнью — дело похвальное. Иных опровержений быть не может. Плох закон, если он освобождает самого законодателя или блюстителя правосудия от ответственности.

Скуизем. А я полагаю, коллега Уорти, что законодателям, равно как и блюстителям правосудия, должно делать поблажки. Пользуются же сочинители и актеры правом бесплатного посещения театра.

Уорти. Это просто смешно, мистер Скуизем! Позвольте лишь высказать вам мое глубочайшее убеждение: отъявленным негодяем является тот, кто держит в руках меч правосудия, и сам заслуживает, чтобы этот меч поразил его.

Скуизем. Позвольте, коллега Уорти, и мне высказать вам мое глубочайшее убеждение: тот, кто держит в руках меч правосудия и сам ранит себя этим мечом,— просто-напросто дурак!

Изабелла. Пожалуй, я пойду, милый братец. Мое присутствие едва ли необходимо при разборе этого судебного дела.

ЯВЛЕНИЕ 7

Уорти, Скуизем, Констант, Хиларет, Стафф, Сотмор, Брейзенкорт, Файербол, три помощника констебля.

Скуизем. Вот и мои арестанты!.. Вот, коллега Уорти, женщина, которую я обвиняю в гнуснейшем поступке. Дело было так: я получил письмо, написанное незнакомой рукой. В нем меня просили прийти в определенный час в одну харчевню. Руководимый единственно чувством сострадания, я откликнулся на просьбу и пошел в назначенное место. Там я застал эту женщину. Она была одна. Обменявшись со мной несколькими словами, она с громким криком бросилась на меня. На ее крик явился этот человек. Оба приступили ко мне с угрозами, требуя немедленного освобождения вот этого человека *(указывая на Константа)*, а также еще одного, которого я

задержал за особенно гнусные противозаконные действия. В случае моего отказа женщина грозила присягнуть, что я обесчестил ее. Сударь, то, что я рассказал,— сущая правда, и я готов повторить свои показания под присягой.

1-й помощник констебля
2-й помощник констебля
3-й помощник констебля } *(хором)*. И мы готовы присягнуть!

Уорти. Женщина, что вы имеете сказать в свое оправдание? Судя по вашей наружности, я никак не подумал бы, что вы способны на такие дела.

Хиларет. В том, что я грозила ему, я готова признаться.

Уорти. Правда ли, что он пытался обесчестить вас?

Хиларет. Это не совсем так, но...

Скуизем. Видите, видите, коллега Уорти! Вам остается только подписать приказ об ее аресте.

Уорти. С какой же целью вы угрожали ему?

Хиларет. Я хотела припугнуть его, чтобы добиться освобождения двух джентльменов, которых он задержал беззаконно.

Уорти. Мистер констебль, в чем обвиняются эти джентльмены?

Стафф. Два насилия, ваша милость.

Хиларет. Одного из этих джентльменов обвиняют в покушении на меня, хотя я и не думала обвинять его в этом.

Уорти. В покушении на вас? Я начинаю бояться, что его и в самом деле напрасно обвинили.

Скуизем. А вот погодите: сейчас мы исследуем ее темное прошлое. Позовите сюда мистера Брейзенкорта! Что вы можете сказать нам об этой прекрасной леди, мистер Брейзенкорт?

Брейзенкорт. О ней-то? Я содержал ее в течение шести месяцев...

Уорти. Содержали ее? В качестве кого же вы ее содержали?

Брейзенкорт. В качестве содержанки, сударь. Мне, однако, пришлось ее выгнать: она украла у меня четыре рубашки, две пары чулок и молитвенник.

Скуизем. Позовите капитана Файербола!

Уорти. Скажите, капитан, вам известно что-нибудь дурное об этой особе?

Файербол. Известно ли мне? Спросите моего врача, он вам скажет. Она поступила ко мне после того, как ушла от майора Брейзенкорта. Я ее содержал в течение двух месяцев.

Хиларет. Сударь, выслушайте меня, молю вас!

Уорти. Все в свое время. Вы не должны прерывать показаний. Продолжайте, капитан... Вы тоже потеряли что-нибудь благодаря этой особе?

Файербол. Потерять не потерял, а вот кое-что приобрел от нее,— это так же точно, как то, что мой врач кое-что приобрел у меня благодаря ее подарочку... Я люблю выражаться деликатно, без грубостей. Ну, я надеюсь, вы меня понимаете...

Констант. Проклятье!

Скуизем. Позовите-ка сюда мистера Дрюри! Он тоже может пролить свет на ее прошлое.

Уорти. Все ясно и так. Отныне я даю зарок не доверяться невинному личику... Женщина, что вы можете сказать в свое оправдание?

Хиларет. Ах, только бы мне навеки схоронить себя от людей, спрятаться от солнечного света!

Уорти. Нет, сударыня, вам не удастся спрятаться ни от людей, ни от солнца.

Констант. Иди сюда, прильни к моей груди, мой ангел, моя любовь, моя милая! Спрячь свое горе у меня на груди... Только смерть оторвет тебя от меня! Что смерть? Все пытки ада ничто по сравнению с той пыткой, какую причиняют мне твои слезы!

Сотмор. Послушай, судья, ты, верно, почестней своего собрата — бесчестней его ведь быть нельзя,— если ты хочешь поступить справедливо, оправдай нас, а этого мерзавца посади за решетку.

ЯВЛЕНИЕ 8

Уорти, Скуизем, Констант, Хиларет, Сотмор, Стафф, констебль, помощники констебля, Политик, Фейсфул, Клорис.

Фейсфул. Ну, сударь, теперь вы можете убедиться своими глазами... Не ваша ли дочь там стоит?

Политик. Действительно, это она!.. О, мое бедное дитя!..

Уорти. Мистер Политик,— ваш слуга!.. Мне только нужно тут покончить с одним делом — отправить эту женщину в тюрьму, и я весь к вашим услугам.

Политик. Хороши ваши услуги, сударь,— отправлять мою единственную дочь в тюрьму! Да вы хуже самого отъявленного турка!

Уорти. Вашу дочь, сударь?

Политик. Да, сударь, мою дочь, сударь!

Хиларет. Отец!

Политик. Мое бедное дитя!.. Думал ли я дожить до такого несчастья!

Уорти. Возможно ли, мистер Политик, чтобы эта молодая особа была вашей дочерью?

Политик. Это так же возможно, сударь, как то, что турки могут оказаться в наших краях, в Европе, а это, увы, даже слишком возможно!

ЯВЛЕНИЕ 9

Уорти, Скуизем, Констант, Хнларет, Стафф, констебль, помощники констебля, Политик, Фейсфул, Сотмор, Клорис, Рембл, миссис Скуизем, Кунлл.

Миссис Скуизем. Где эта звезда правосудия, где этот доблестный блюститель закона? Гроза порока, бич преступлений? Знакома ли вам эта рука, сударь? Не вы ли тут назначаете кому-то свидание? Благородно, нечего сказать, добиваться свидания с дамой, а потом тянуть ее в суд!

Скуизем. О, моя злосчастная судьба!

Уорти. В чем дело, миссис Скуизем?

Миссис Скуизем. Ах, мистер Уорти, у вас я, верно, найду сочувствие! Я имею несчастье быть женой человека, который столь же позорит свое высокое звание, сколь вы украшаете это звание своей добродетелью. Совесть не позволяет мне дольше скрывать от людей его плутни, и без того она слишком долго дремала. Он, сударь, он один виноват, а все, кого он обвиняет, невинны.

Уорти. Я, право, не знаю, что и подумать!

Рембл. Сударь, этот человек, этот палач правосудия — величайший злодей, какой только существует на свете... Вчера вечером я был слегка навеселе и хотел полюбезничать с этой дамой. Констебль схватил нас обоих. И вот из-за меня она терпит такие унижения и горести. Впрочем, и мистер констебль тоже виноват перед нею, так как не пожелал отпустить нас, несмотря на просьбу этой дамы.

Миссис Скуизем. Виноват также и мистер судья, который распорядился о вашем аресте, не имея не только улик, но и какого-либо обвинения против вас.

Рембл. И все это для того, чтобы выманить у нас двести фунтов. За эту сумму он обещал отпустить нас на волю.

Скуизем. Послушайте, вы, сударыня! Как бы мне не пришлось отправить вас в сумасшедший дом!

Миссис Скуизем. Нет, сударь, я и здесь сорву все ваши планы. Весь свет узнает, как вы подговаривали мистера Куилла устроить развод со мною... Вы развод получите, не беспокойтесь, да только не такой, о каком вы мечтали.

Скуизем. Сударь, не слушайте больше никого, умоляю вас!

Уорти. Нет уж, сударь, позвольте!

Рембл. Сударь, будьте добры, прочтите это письмо. Он писал его этой молодой даме, которую теперь обвиняет.

Уорти *(читает)*. «Розанчик мой! Моя дорогая малютка! Жду тебя в «Орле» через полчаса. Надеюсь, что после моего сегодняшнего подарка ты не захочешь обмануть преданного тебе отныне и на веки веков». Вы — автор этого письма, мистер Скуизем?

Скуизем. Нет, сударь, готов присягнуть!

Миссис Скуизем. А я, сударь, присягну, что это его рука.

Фейсфул. Я тоже... я у них служил целый год и отлично знаю его почерк.

Куилл. А я сам относил его письмецо к этой даме.

Сотмор. Ну что же, судья, неужели тебе и сейчас не ясно, что она ни в чем не виновата? Даю тебе слово честного человека,— а оно стоит клятвы двадцати таких негодяев, как эти молодчики,— что она только хотела припугнуть судью и заставить его освободить ни в чем не повинного капитана Константа...

Констант. ...которого судья предлагал отпустить за известную взятку.

Уорти. Капитан Констант! Сударь, ваше имя — Констант?

Констант. К вашим услугам, сударь.

Уорти. Пригласите, пожалуйста, сюда мою сестру. Вы и представления не имеете, как я обязан вам!

Скуизем. Сударь, вы понапрасну тратите время. Выписывайте ордер на ее арест, и дело с концом.

ЯВЛЕНИЕ 10

Уорти, Скуизем, Рембл, Констант, Сотмор, Хиларет, Политик, миссис Скуизем, Куилл, Стафф, Фейсфул, Изабелла и другие.

Уорти. Сестра, вы знакомы с этим джентльменом?

Изабелла. Знакома ли я с капитаном Константом? К счастью, знакома... Благодарю вас, сударь, за ваше рыцарское вмешательство. Страх, овладевший мною, помешал мне выразить вам тогда же свою благодарность.

Констант. Так это были вы, сударыня?

Рембл. Моя дорогая Изабелла!

Изабелла. Боже мой! Это он, это мой Рембл!

Рембл. О, теперь я вижу, что это она, та самая, кого я уже и не надеялся встретить.

Изабелла. Какая счастливая звезда уготовила нам эту встречу!

Рембл. Теперь-то я вижу, что то была счастливая звезда. А признаться, минуту тому назад мне эта звезда казалась чертовски злопредной.

Изабелла. Как странно! Братец, велите схватить вон того человека! *(Указывает на Файербола.)* Это от него-то и спас меня капитан Констант.

Куилл. Будьте снисходительны ко мне, ваша милость. Я нанял этих двух лжесвидетелей по приказу хозяина.

Уорти. Неслыханное злодейство! Немедленно схватите их обоих, но прежде всего судью. До сих пор я обходился с ним,

как с джентльменом,— отныне я буду обращаться с ним, как того заслуживает такой негодяй! Констебль, я поручаю вам эту банду. Отведите их вниз и дожидайтесь меня. Я сейчас спущусь за вами и подпишу приказ об аресте.

Скуизем. Сударь, вы еще раскаетесь в том, что не решили это дело в мою пользу.

Уорти. Вы меня не запугаете, сударь!

Фейсфул. Проходите, джентльмены, мы будем охранять вас.

Миссис Скуизем. А я буду следовать за тобой, как твой демон, пока правосудие не покарает тебя!

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Уорти, Рембл, Констант, Сотмор, Хиларет, Изабелла, Политик.

Рембл. Дражайшая Изабелла, я в таком восторге от нашей неожиданной встречи, что даже не спрашиваю, целы ли наши сокровища. Море вернуло мне мою Изабеллу — пусть же оставит себе наши бриллианты!

Изабелла. Сударь, море оказалось щедрее, чем вы полагаете, и возвратило вам и жену и приданое.

Рембл. Я бы и не вспомнил о наших сокровищах, с меня было бы довольно и одной Изабеллы,— но ради ее счастья я приветствую спасенные драгоценности.

Уорти. Мистер Политик, я весьма сожалею, что ваша дочь подверглась таким неприятностям.

Рембл. Мистер Политик? Да, да, это его черты!.. Сударь, был у вас когда-нибудь сын?

Политик. Был, сударь, был у меня сын. Но я его выгнал из дому и думаю, что он давно повешен.

Рембл. В таком случае его дух, должно быть, спустился на землю и, принявши мой облик, приехал сюда из Индии. После того как вы меня выгнали, сударь, я поступил на службу в Ост-Индскую компанию. Я переменил свое имя, чтобы вы не могли меня разыскать. А теперь, отец, позвольте испросить вашего благословения. *(Берет Изабеллу за руку и подводит к Политику.)*

Политик. Неужто это и впрямь мой сорванец?

Рембл. Он самый, уверяю вас. Остался таким же сорванцом, каким был.

Политик. Я не могу дать своего благословения на ваш брак, пока не узнаю, удачно ли ты выбрал невесту.

Уорти. Мистер Политик, я счастлив породниться с вами. Эта дама, супруга вашего сына,— моя родная сестра. Смею надеяться, что восемьдесят тысяч приданого сделают этот брак приемлемым для вас.

Политик. Неужто этот отчаянный сорви-голова наконец разбогател, вышел в люди? Ну что ж, сын мой, благословляю тебя. И вас, дочь моя,— дай бог, чтобы вы были счастливы с ним!.. Если он окажется плохим мужем, я отрекусь от него, а если он не подарит вам наследника, я лишу его наследства.

Изабелла. О сударь, я знаю вашего сына: он не подведет.

Рембл. Отец, разрешите обратиться к вам еще с одной просьбой. Я хочу просить вас за моего друга, капитана Константа, который один мог бы составить счастье моей сестры.

Уорти. Я все еще не могу прийти в себя от всей этой мерзости! *(Константу.)* Сударь, я буду хлопотать о том, чтобы и вы и ваши товарищи получили компенсацию за то, что невинно пострадали. Сударь, то, что моя сестра рассказала мне о поведении капитана Константа, позволяет мне утверждать, что, несмотря на некоторое неравенство состояний, лучшей партии для вашей дочери и пожелать нельзя.

Рембл. Тем более, сударь, что капитан Констант рискует со временем разбогатеть и сравняться в этом с моей сестрой: он ведь на редкость тонко разбирается в политике.

Политик. О, человек с такими наклонностями никогда не пропадет! И предсказать невозможно, что ждет его впереди. Если бы я раньше знал, что капитан Констант интересуется политикой, я бы никогда не закрывал перед ним дверей своего дома. Сударь, я всегда буду рад видеть вас у себя и беседовать с вами. И если вы в самом деле пожелаете со временем жениться на моей дочери — что ж, я не стану чинить препятствий.

Рембл. Зачем же откладывать, сударь? Нынче такой торжественный день! Позвольте представить вашей дочери ту, которая, я надеюсь, заслуживает называться ее сестрой.

Констант. Рембл, ты уж и так облагодетельствовал меня сверх всякой меры. Но этот твой последний дар дороже мне всех сокровищ вселенной.

Хилларет. Только бы вы продолжали всегда так думать, капитан! Отец, я хочу просить, чтобы вы простили мне и бедняжке Клорис наше вчерашнее приключение. Поверьте, мы достаточно наказаны за свое легкомыслие. И уж если все приняло такой счастливый оборот, не думаете ли вы, сударь, одинаковавшийся раз взять пример с турок и отнестись к этому происшествию с той благосклонностью, с какой они относятся к всякой ерунде?

Политик. Турки? Пора тебе судить о них не только по романам. Надеюсь, что капитан развеет твое невежество в области политики... *(Рембл.)* Мне, однако, не терпится обсудить с тобой положение дел в обеих Индиях, Джек, и возможности торговли с ними... Надеюсь, ты оставил Великого Могола в добром здоровье?

Рембл. Сударь, когда я уезжал, он жаловался на легкий насморк.

Политик. Ну что ж, от души прощаю вас всех. Обнимите же друг друга, дети!.. Вот они, утехи старости, мистер Уорти!

Сотмор. Дайте-ка я вас всех обниму на радостях... Сегодня я впервые встретил двух добродетельных женщин... и они достались моим друзьям... Я нынче напьюсь, как никогда в жизни... Пока вы будете наслаждаться вашим счастьем, я буду пить за него... Вы будете вкушать дары Венеры, а я — запивать их нектаром Вакха... Конечно, я не рассчитываю на ваше общество в ближайший месяц, друзья... А уж судье придется прогулять эту ночку со мной... Идем же, честный судья!.. Ведь вот какая редкая удача: мне удалось даже набрести на честного судью!..

Уорти. Полноте, сударь! Вы, мне кажется, и так достаточно праздновали сегодня...

Сотмор. Что вы, сударь, что вы!.. Эй, послушайте, сударь, вам ведь тоже предстоит сегодня ночью напиться на свадьбе ваших детей.

Политик. Сударь, я не пью ничего, кроме кофея.

Сотмор. Черт бы побрал ваш кофей!..

Рембл. Стой, Сотмор, мы воздадим тебе должное... Поверьте, мистер Уорти, что, несмотря на его пристрастие к вину, свет не видывал более честного малого.

Уорти. Тем более прискорбно, что он так губит себя. Ваши слова побуждают меня заняться им и употребить все свое влияние на то, чтобы отучить его от этих низменных наслаждений. Джентльмены, прошу вас пожаловать ко мне завтра, чтобы отпраздновать радостный день. Я со своей стороны приму все меры, чтобы вознаградить вас за перенесенные вами обиды, а злодея всенародно наказать. Ибо судья, нарушая законы, тем самым поощряет преступников.

Нет уваженья там ни к алтарям, ни к тронам,
Где судьи и попы глумятся над законом.

Конец

ЭПИЛОГ

Нас разлучило ветром и волной,
Но здесь опять мы встретились с женой.
Был в море шторм, на суше — суматоха,
И все же пьеса кончилась не плохо.
Но дамы хмуры — я их рассердил.
Не тем ли, что Насилье осудил,
Направив к этой цели все усилья?
Иль тем, что вовсе не было насилья?

Поэт, в угоду веку своему,
На сцене вывел ужасы. К чему?
И без того у нас любая дама
Насилью — враг, хоть, если молвить прямо,
Она лишь при свидетелях упряма.
Пускай поэт кой-что и сочинил,
Каков, однако, франтов наших пыл!
Ведь если бы со всей их страшной силой
Повел Дон Карлос их на Рим постылый,
Они, землей священной овладев,
Для папы не оставили бы дев.
В святилище папессы Иоанны *
Открыли б вход нечистому буяны,
Монашки натерпелись бы обид,
И, как рожден, так был бы Рим убит.
Лукреция *, верна слепой доктрине,
Пошла на смерть, хоть наблудил Тарквиний,—
Нелепая языческая месть!
«Держись за жизнь, коль потеряла честь!» —
Так христианка мыслит благонравно.
И будет жить, хоть жаждет смерти явно.
Но пусть прекрасных зрительниц моих
Судьба хранит от происков мужских,
Пусть от насилья — помоги им боже! —
Их оградит супружеское ложе [1].

1730

---

[1] Перевод В. Левика.

ОПЕРА ГРАБ-СТРИТА,

или

У ЖЕНЫ ПОД БАШМАКОМ

Sing.
Nom: Hic, hœc, hoc.
Gen: Hujus
Dat: Huic.
Acuss: Hunc, hanc, hoc.
Voc: Caret.
Lil. Gram. quod vid.*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сэр Овен Апшинкен — джентльмен из Уэльса, любитель табака.

Мастер Овен Апшинкен — его сын, любитель женского пола.

Апшонес — арендатор сэра Овена.

Пазлтекст* — домашний священник, любитель женского пола, табака, выпивки, игры в триктрак*.

Робин — дворецкий, влюбленный в Свитиссу.

Вильям — кучер, враг Робина, влюбленный в Сусанну.

Джон — конюх, влюбленный в Марджери.

Томас — садовник.

Леди Апшинкен — жена сэра Овена, превосходно управляющая хозяйством и собственным мужем, ревностная поборница веры.

Молли Апшонес — дочь Апшонеса, особа строгой нравственности.

Свитисса — камеристка
Сусанна — кухарка
Марджери — горничная
} особы строгой нравственности, влюбленные в Робина, Вильяма и Джона.

Место действия — Уэльс, Северный или Южный, безразлично.

ВСТУПЛЕНИЕ

Скриблерус*, актер.

Актер. Я от всей души одобряю ваше решение переименовать свою оперу из Валлийской в оперу Граб-стрита *.

Скриблерус. Я рассчитываю, сэр, что подобный шаг наилучшим образом зарекомендует меня перед ученым обществом, носящим такое имя: ведь его членам нравится только то, что бесспорно принадлежит им самим.

Актер. Уверяю вас, это послужит вам хорошей рекомендацией в моих глазах и, надеюсь, в глазах всего города.

Скриблерус. Вы еще только пробуете свои силы на театральном поприще, и с вашей стороны было бы просто неблагоразумно идти против общества, которому признанные театры выказывают столь явное уважение. Да и публика, как видите, всегда на его стороне, ибо не следует думать, будто члены этой могущественной корпорации непременно обитают на той улице, от которой она получила свое наименование. Нет, установления Граб-стрита столь же всеобщи, как и установления Королевской Скамьи *. Они распространяются на все степени и звания, и нет ничего удивительного, если вы встретите одного нашего члена в лентах, а другого в лохмотьях.

Актер. Но пусть все общество будет единодушным в похвалах вам!

Скриблерус. Ну, что касается меня, то никто еще, пожалуй, не испытывал большей уверенности в благосклонном приеме. Успех, который имела Валлийская опера, породил эту. Из предыдущей я сохранил только то, что снискало наибольшее одобрение публики. В первом акте вы обнаружите некоторые добавления; второй и третий, за исключением одной сцены, написаны заново.

Актер. Вы сделали добавления даже в сцене перебранки или, как вы изволите ее называть, ругательской.

Скриблерус. О сэр, маслом каши не испортишь! Невероятная склонность к брани — самая характерная особенность Граб-стрита. С каким воодушевлением Робин и Вилл целых полстраницы обвиняют друг друга во лжи! «Ты врешь!» — «И ты врешь!» Ей-богу, все остроумие Граб-стрита в этих двух коротких словечках: «Ты врешь».

Актер. Считается, что отпарировать подобным образом — значит совершенно обезоружить противника; вот почему споры между джентльменами всегда кончаются этими словами.

Скриблерус. Да и мы поминутно прибегаем к ним, сэр. Я, кажется, первый, кто попытался ввести такого рода остроты на сцену, однако в нашем обществе, где многие увлекаются политикой, они уже давно в ходу. Короче говоря, только такое остроумие и процветает в среде политиков.

Актер. Ну что же, соберите и вы такие же плоды, какие удается пожинать политикам. Но не скажете ли, сэр, в чем состоит сюжет или основная идея вашей оперы? Я что-то не разобрал толком на репетициях.

Скриблерус. Ну, сюжет я придумал просто восхитительный! Правда, обнаружив, что публика остается равнодушной к нашим английским операм, каков бы ни был их сюжет, я от него отказался. Зато идея у меня глубокая, очень глубокая: моя опера написана, сэр, с целью научить человечество бережливости. Это своего рода семейная опера, vade mecum[1] супруга. Каждому женатому человеку совершенно необходимо иметь ее в своем доме. Если вы не возражаете, я сейчас скажу несколько слов публике относительно своего замысла, а вы пока что пойдите за кулисы и сделайте необходимые приготовления.

Актер. Я буду ждать вас там, сэр.

ПРОЛОГ

В сих скромных сценах автор с чувством меры
Преподает полезные примеры,
Здесь учит он, как ладить меж собой,
Как управлять супругой и слугой,
Здесь учит он, что слуги плутоваты
И что мужья по воле жен рогаты,
Что ревность возникает оттого,
Что разум слеп, а глаз острей его,
Что юношам полезно жить любовью,
Но... соразмерно своему здоровью,

[1] Путеводитель. Буквально: «Иди со мной» *(лат.)*.

Что иногда и пасторская речь
От заблуждений может уберечь,
Что маловерок можете найти вы
Средь женщин, что всегда благочестивы,
Что скромность надо предпочесть всему,—
И больше он не учит ничему [1].

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Дом сэра Овена Апшинкена.
Сэр Овен и Пазлтекст курят.

Сэр Овен. Вот ваш стакан, мистер Пазлтекст, и давайте кончать завтрак, пока моя супруга не встала. Ах, Пазлтекст, каково человеку моего положения жить в вечном страхе перед женой! Раз в день напиться спокойно не дадут — сейчас нагоняй!

Пазлтекст. Под женой ходить — невеселое дело. Но такова уж судьба многих честных джентльменов! *(Поет.)*

Плохо дело, друг,
Коль попал ты под каблук,—
Каждый день тебя бранят и попрекают;
Ни винца тебе хлебнуть,
Ни девчонку ущипнуть.
А себе грехи охотно отпускают.

Было б это невтерпеж,
Да везде одно и то ж
И всегда одно и то ж, без перемены.
Будь ты молод, будь ты сед,
Обними меня, сосед,
И пожмем друг другу руки, джентльмены.

Сэр Овен. Ах, Пазлтекст, мне бы только сидеть да покуривать трубочку, и чтоб никто меня не тревожил — лучшей жизни и не надо.

Пазлтекст. Табак — штука пользительная. Сколько ни выкуришь — все во благо!

---

[1] Все стихотворные переводы в этой пьесе принадлежат Д. Самойлову.

ЯВЛЕНИЕ 2

Те же и леди Апшинкен.

Леди Апшинкен. Ни свет ни заря уже бражничаем! Видно, горбатого могила исправит, сэр Овен! Но я больше палец о палец не ударю ради такого бездельника. А вам, мистер Пазлтекст, стыдно поощрять пьянство.

Пазлтекст. Прошу прощения, ваша милость! Право, я сегодня только пригубил за ваше здоровье. На вино, коли оно веселит наш дух, запрет не наложен. Я враг излишеств, но бутылочка-другая, а ежели ты против вина стоек — и третья дозволительны. Помню, мне случалось читать проповеди во обладании всеми чувствами и после четвертой.

Леди Апшинкен. Мыслимо ли это! Четыре бутылки, по-вашему, не излишество?!

Пазлтекст. Для кого как. Судить надобно не по тому, знатно ли выпито, а по тому — знатный ли выпил.

Леди Апшинкен. Что-то не уразумею я ваших мудрствований, хоть и знаю толк в божественном.

Пазлтекст. Как же, как же, сударыня! Усердие, с которым вы изучаете священное писание, делает честь всему женскому полу, и вас следовало бы величать валлийским светочем богословия.

Леди Апшинкен. Я стараюсь поддерживать веру у нас в приходе и когда-нибудь охотно займусь с вами выяснением того, как следует понимать термин «излишество». А сейчас мне надобно сообщить вам кое-что о своем сыне. Я заметила, он слишком вольно ведет себя со служанками.

Пазлтекст. С которой же из них, сударыня? *(В сторону.)* Надеюсь, не с той, что мне самому приглянулась?

Леди Апшинкен. По правде говоря, со всеми. И если мы не вмешаемся — боюсь, придется нам услышать о браке, не больно-то желательном. Вы понимаете, мистер Пазлтекст, каким для нас было бы горем, если б наш единственный сын погубил себя.

Пазлтекст. Что ж нам предпринять?

Леди Апшинкен. Я знаю только один способ помешать ему: он не сможет жениться ни на одной из них, если все они повыходят замуж. У нас ровно столько слуг, сколько служанок. Я полагаюсь на вас — пережените их всех. Пока в доме останется хоть одна незамужняя девушка, я не успокоюсь. Увы, мистер Пазлтекст, мальчик пошел не в меня, а в отца: у него в голове одни шашни. Природа щедро его одарила, только насчет головы не позаботилась.

Пазлтекст. Велика власть любви над юными умами. *(Поет.)*

Когда любовью болен солдат,
Не надо ему ни меча, ни лат.

На что уж был храбр герой Ахилл,
И тот на прялку свой меч сменил *.
Веселые древние боги порой
Для шлюх покидали небесный покой,
Юпитер из них был первый ходок —
На небе никак усидеть он не мог.

Леди Апшинкен. Вы, наверно, обо всем уже выспросили у них в церкви, так что нужно только поторопить их со свадьбами. Поверьте, я уж не забуду вашей услуги! Сейчас я отправлюсь малость покататься в коляске по парку, а вас прошу помнить, что время не ждет.

Пазлтекст. Вы слышали, сэр, что говорит миледи? Как же мне поступить?

Сэр Овен. В точности, как она велит. Коли она не мешает мне покуривать трубочку, я не вмешиваюсь в домашние дела. Пускай себе управляет, пока я курю!

Пазлтекст. Честное слово, сэр Овен, вы прямо эпикурейский философ. А теперь пойду искать молодого сквайра *: этот — философ иного толка.

ЯВЛЕНИЕ 3

Молодой Овен один, в руках у него два письма.

Овен. Сегодня Робин и Свитисса собираются обвенчаться. Если я им не помешаю, мне ее не видать. Когда женщина понимает, что к чему, по мне — она слишком много понимает. Ну кто еще претерпевал такие трудности в поисках предмета любви?! Женщина, побывавшая в чужих руках, мне не годится, а побывавшая хоть раз в моих, говорит, что я не гожусь. *(Поет.)*

Как мучится, страдает
Любовник, что слаб и хил,
Любовь, как дым, растает,
И милой он не мил.
Но как зато прекрасно
Прижать подругу страстно
И знать, что не напрасно
Растрачиваешь пыл.

Вот два письма, которые я смастерил: одно будто бы от Сусанны Робину, другое — от Вильяма Свитиссе. Надо их подкинуть так, чтоб каждый из влюбленных нашел письмо, адресованное не ему. Их ревность будет мне на руку, и, таким образом, Свитисса достанется мне невинной.

ЯВЛЕНИЕ 4

Пазлтекст, Овен.

Пазлтекст. А я вас ищу, мастер Овен! Хочу преподать вам несколько полезных наставлений, дитя мое. С горечью узнал я, что вы намерены жениться на особе ниже вас по рождению и опозорить этим свою семью.

Овен. Не утруждайте себя моими сердечными делами, дорогой пастор! Я женюсь для своего удовольствия, а не для вашего.

Пазлтекст. Лишь бы вас не осудили за этот брак. Подумайте, хорошенько подумайте о том, какое вы занимаете положение в обществе. *(Поет.)*

Одумайтесь, прошу вас, мой славный господин,
Ведь вы же сами Апшинкен и Апшинкена сын,
Вы побывали в Оксфорде и в Лондоне к тому же,
Вы в люди выбились почти, почти что вышли в щеголи,
И вам жениться кое-как, ей-богу, не убого ли?!

Вы должны управлять своими чувствами, мастер Овен.

Овен. Проповедуйте сколько душе угодно, господин пастор, мне до вас дела нет! Глупее глупого, когда старик смеется над любовью.

Пазлтекст. Или юнец над старостью.

Овен. Или вельможа, попавший в немилость, над королевским двором. *(Поет.)*

Кто плох, чтоб быть среди повес,
Порочит их забавы,
А кто в вельможи не пролез,
Хулит их быт и нравы.
Напрасный труд!
Ведь все поймут,
Почему он так благороден:
А потому,
Что ни к тому,
Ни к этому делу не годен,
не годен,
Ни к этому делу не годен.

К тому же, ваше преподобие, вы сами, верно, не всегда управляли своими чувствами, хоть любите других поучать. Поэты тоже охотники высмеивать чужие промахи, а сами пишут еще худший вздор.

Пазлтекст. Притворщица осуждает чужие грешки, а сама грешней иного грешника.

Овен. Пастор прочтет проповедь против пьянства — и в пивную.

Пазлтекст. Истинная правда — если только речь идет о пресвитерианском пасторе *. *(Поет.)*

Хулил блудниц один чудак,
Суля им страшный суд,
Хотя они его никак
Не сбили бы на блуд,
Будь их больше, чем звезд, чем птиц и зверей,
В городах фонарей и в морях кораблей
Или больше, больше, больше, чем
Девиц у Дрюри-Лейн *.

Овен. Слабенькие у тебя сравненьица, словно пиво в бутылках. А заставить тебя замолчать так же трудно, как вытащить из пивной!

Поют.

Пазлтекст.

Едва сверкнет лучами
Светило над холмами,
холмами,
Охотник на лугу
Со сворой гончих мчится,
да мчится.

Овен.

А я поволочиться,
поволочиться,
За девами бегу.

Пазлтекст.

В лугах Водфорта заяц
Скрывается, мерзавец,
И сам король такому зайцу рад.

Овен.

А мне милей, ей-богу,
Девица-недотрога,
Моя охота лучше во сто крат!

Пазлтекст.

Как весело видеть взъяренную свору
И зайца, что скачет, подобно актеру.
Он по полю мчит и собак горячит.
Но нет, не обманешь стрелка!
Он справа мелькнет,
Он влево скакнет.
Петляешь, дружок!
Последний прыжок —
И кончилась жизнь беляка.

Овен.

Приятней на юную деву взглянуть,
К себе притянуть, устами прильнуть,
Касаться рукой, теряя покой,
И видеть, как тает она.
И слезы, и трепет,
И вздохи, и лепет,
Объятья, лобзанья,
Признанья, касанья
Пьянят, как бутылка вина.

ЯВЛЕНИЕ 5

Свитисса, Марджери.

Свитисса. Если б ты знала, что такое любовь, ты поняла бы, как можно слугу предпочесть хозяину.

Марджери. Это не удивило бы меня, Свитисса, будь наш молодой сквайр, как другие деревенские господа. Но ведь он светский молодой человек, Свитисса.

Свитисса. Упаси нас бог от этих светских господ!

Марджери. Ты боишься, что он станет бегать за другими, а ты его ревновать?

Свитисса. Тьфу! Да его и ревновать не стоит! Бегает за каждой юбкой, а сам, верно, не знает, что такое женщина. Языком горазд болтать, да пылу нет. А может, пылу хоть отбавляй, да сам ни на что не гож. Как жила я с хозяйкой в Лондоне, нагляделась я на этих щеголей; иные даже ухаживать за мной пробовали. Видала я подобных вздыхателей, да только смотреть тут не на что. *(Поет.)*

Гуляки пестрый шьют наряд,
Стремясь к лихим утехам,
Но наши вдовы их корят
И гонят прочь со смехом.
Попробуй с ворона содрать
Павлинье оперенье —
С презреньем будут все взирать
На жалкое творенье.

Ах, Марджери, у Робина в одном мизинце больше силы, чем в целом таком щеголе!

Марджери. Да и плутовства...

Свитисса. Знаю, тебе Вильям на него наговорил. Только это все враки, просто Вильям метит на его место.

Марджери. Скорей тебе наговорили на Вильяма.

Свитисса. Послушай, Марджери. Когда слуги бранят дворецкого, можешь не сомневаться в его честности. Надо же им кого-нибудь бранить! А свалят все на дворецкого — хозяева выходят чистенькие.

Марджери. Не стала бы я все-таки заводить такого жениха!

Свитисса. Впрочем, будь даже все, что ты говоришь, правдой, какое мне до того дело? Если б женщины надумали вдруг не выходить замуж за мошенников, свадьбы среди знати стали б совсем в диковинку!.. *(Поет.)*

Раздельно я и Робин
Не можем прожить ни дня.
Любого надуть он способен,
Но, нет, не надует меня.
Крадет у хозяина? Что ж!
Он в долю хозяйку берет.
А тех, кому он не хорош,
Пусть черт поскорей поберет.

Марджери.

А вдруг попадется ваш друг,
Подумайте, что за позор!
Зацепят веревку за сук,
И кончен тогда разговор.

Свитисса.

Пусть нищих пугают петлей —
У них ни добра, ни земли.
А кто обзавелся землей —
Сумеет избегнуть петли.

Это я, конечно, не о Робине. Будь у предков моего хозяина такие добрые слуги, как Робин, он был бы теперь куда богаче!

ЯВЛЕНИЕ 6

Робин, Свитисса.

Робин.

Моя Свитисса,
Ко мне обратися,
Ко мне прикоснися
И обнять разреши.
На тебя я взираю,
Огнем я пылаю...

Свитисса.

В объятьях моих ты его потуши...

Робин. О моя Свитисса! Ты стройнее стройного дерева, прелестней прелестного цветка. Руки твои белы и теплы, как молоко, грудь твоя бела и холодна, как снег; ты смесь всех совершенств, ты сад блаженства, в котором пребывает моя

душа! Я хочу изучить каждую его тропинку, заглянуть в каждый его уголок, всюду, всюду...

Свитисса. О Робин! Невозможно сказать, как я люблю тебя. Это так же трудно, как узнать, сколько воды в море.

Робин. Свитисса моя, если б даже я был учен, как автор оперы, которая лежит у нас на окне в гостиной, я все равно не знал бы, с чем сравнить свою любовь.

Свитисса. Поверь, ни одно слово любви, сказанное тобой, не останется без ответа. *(Поет.)*

Когда влюбленные сердца
Пылают страстью без конца,
Как сладко ноет грудь!
И ты противишься сперва,
А после никнет голова,—
И тут уж все забудь.

Робин. О моя Свитисса, я жду не дождусь той минуты, когда пастор соединит нас узами, разрезать которые способны лишь ножницы судьбы!

Свитисса. Как чарует меня твой голос. Он для меня слаще звука волынки! Век бы слушала!

Робин. А я век бы глядел на тебя! Лицо твое сияет ярче серебра. Если б я умел так начищать серебро, я был бы король дворецких.

Свитисса. Ах, Робин, моя кожа не знает притираний! Цветом своим мое лицо обязано природе, а не искусству. Честное слово, за время, что я служу при госпоже, я наложила на ее щеки немало румян, но не стащила для себя ни наперстка.

Робин. Прощай, дорогая, мне надо еще наточить ножи. Тем временем пастор вернется с обхода, и мы сегодня же утром обвенчаемся. О Свитисса, легче измерить глубины бездонного моря, чем мою любовь!

Свитисса. Или измерить глубины женской совести, чем рассказать тебе о моей.

Робин. Моя любовь глубока, как знания врачей.

Свитисса. Моя — как планы государственных деятелей.

Робин. Моя — как добродетель шлюхи.

Свитисса. Моя — как честность адвокатов.

Робин. Моя — как благочестие священников.

Свитисса. Моя... не знаю как что.

Робин. Моя... моя... ей-богу, не знаю как что! *(Поет.)*

Чтоб описать мою любовь,
Слова для чувства обрести,
Я полагаю, нужно вновь
Людской язык изобрести.
С чем же, скажи, сравнить мне любовь свою?
Итак, дорогая, итак, дорогая, итак, дорогая,— адью!

ЯВЛЕНИЕ 7

Свитисса, Марджери.

Свитисса. Ах, милая Марджери, если мы всегда будем так любить друг друга, какое счастье ждет меня!

Марджери. Вы будете любить друг друга, сколько положено,— медовый месяц.

Свитисса. Скажи лучше — медовый год, медовый век! Еще ни одна женщина не любила, как я. Мы должны пожениться сегодня утром, а мне все хочется поторопить время. Влюбленной девушке час перед свадьбой кажется месяцем.

Марджери. Что и говорить, дорогая! Зато после свадьбы час нередко кажется годом. Вот единственный случай, когда человек получил, что хотел, и тотчас назад отдать готов: пока мы не замужем, мечтаем о браке, а после — жалеем о девичестве.

Свитисса. А потом мечтаем о новом муже. Недаром один поэт сказал, что любовь напоминает ветер.

Марджери. Другой — что она напоминает море.

Свитисса. Третий сравнивает ее с флюгером.

Марджери. Четвертый — с блуждающим огоньком.

Свитисса. Словом, она подобна всему на свете.

Марджери. И ни на что не походит.

Свитисса

(поет).

Да, любовь такой предмет,
Про нее любой поэт
Пишет то и то
И бог знает что,—
С ней готов сравнить весь свет.

Спросите у девы,
Точнее нигде вы
Секрета любви не узнаете:
Летит эта штука
Стрелою из лука,
Но боль или муку —
Вы всё ей без звука
За краткое счастье прощаете.

Марджери. Посмотри, милая, что я нашла, пока ты пела.

Свитисса. Женская рука, и не моя. *(Читает.)* Ах, Марджери, я пропала! Робин не верен мне: он соблазнил Сусанну и бросил ее.

Марджери. Что ты говоришь?!

Свитисса. В этом письме она корит его за измену.

Марджери. Тогда благодари судьбу, что во-время все узнала. Какая была бы польза, если б ты нашла письмо после свадьбы, уже ставши женою Робина? Что толку было б от этого открытия?

Свитисса. Твоя правда, Марджери: замужней женщине что знать, что не знать об изменах мужа — все едино! *(Поет.)*

Когда решит девица
К замужеству склониться,
Чтоб ей не ошибиться,
Не сделать ложный шаг,
Пусть жениха помучит,
Со всех сторон изучит,
Все сведенья получит,
Чтоб не попасть впросак.
Мужчина тих,
Пока жених,
Но мужем став,
Меняет нрав.
Пусть он сердит,
Ты делай вид,
Что твой супруг добряк.

Да, Марджери, я решила никогда больше не встречаться с Робином!

Марджери. Держись своего решения, и ты будешь счастлива.

ЯВЛЕНИЕ 8

Робин (один).

Робин. До чего верно в этой книжке сказано: часы для влюбленного уподобляются годам. О, если б хлынул ливень и пастору пришлось вернуться с обхода! Но что это за бумага? Почерк Вильяма. *(Читает.)* «Свитиссе. Сударыня, надеюсь, что вы не окончательно воз-на-ме-ри-лись — вознамерились выйти за Робина, а потому...» Дальше я не читаю! Мыслимое ли дело, чтоб в человеке было столько вероломства! Неужто слуги не уступают в подлости господам?! Я буду теперь знать, что под ливреей может таиться такое же низкое сердце, как и под расшитым кафтаном. Но взгляну еще: «...а потому сообщаю вам, что готов исполнить свое обещание». Как! И она виновна?! Значит, горничные такие же дряни, как их хозяйки, и весь мир — одна шайка негодяев! *(Поет.)*

К проделкам склонен род людской,
У всех обычай воровской,
В Уэльсе — как повсюду.
И чтоб обмана избежать,

Пришлось бы в горы убежать
Или устроить чудо.
Крадут хозяин со слугой,
И лгут кухарка с госпожой,
Бедняк, лакей
И богатей.
И, может быть, из ста людей
Один найдется не злодей.

ЯВЛЕНИЕ 9

Робин, Джон.

Робин. Джон, мой лучший друг, дай мне обнять тебя! Глядя на тебя, я снова готов поверить, что не перевелись еще честные люди на свете.

Джон. О чем ты, Робин?

Робин. Ах, друг, Свитисса мне не верна! Я погиб! Это письмо все тебе объяснит.

Джон. Как? Подпись Вильяма! Того самого Вильяма, который всегда был таким врагом брака и женщин! Да, прав наш пастор,— нельзя верить людям!

Робин. Особенно женщинам! Джон, ты друг мне?

Джон. Разве я когда отказал тебе в чем? Разве не оставлял я своих лошадей неприбранными, чтобы наточить твои ножи, конюшню невычищенной, чтоб начистить ложки, и даже гнедого коренника немытым, чтоб перемыть твои стаканы?

Робин. Так отнеси от меня вызов Вильяму.

Джон. Ах, Робин, вспомни, что говорит пастор: мстить грешно, надо забывать обиды и прощать врагам.

Робин. Болтать-то он горазд! Сам-то он простил кого-нибудь? Простил он старика Джобсона, когда тот вместо пяти стогов сена подсунул ему три? Простил тетку Саугрант, когда она, отдавая церковную десятину *, ужулила у него свинью? Простил Сусанну Фаулмауф, когда она сказала, что его больше знает в погребок, чем на церковную кафедру? О всепрощении он горазд болтать, а сам еще никого не простил. И я последую его примеру, а не поучениям. Я стерпел бы от Вильяма пощечину, простил бы даже, если б он украл серебряную ложку и свалил бы на меня, за что я лишился бы места. Но он задумал украсть у меня возлюбленную, и этого, Джон, я никогда ему не прощу. *(Поет.)*

Пес бросит еду,
Почуяв беду,
Умчится от греха.
Клевать петух
Не станет вдруг,
Другого узрев петуха.

И тот не трус,
Кто лучший кус
Врагу готов отдать.
Не лезть же в бой,
Чтобы собой
И шкурой рисковать!
Но стоит чуть
Кому-нибудь
С соперником сойтись —
Трясется весь,
Без драки здесь
Уже не обойтись!
Почуяв страсть,
Дерутся всласть
Мужчина, пес и кочет.
И в том бою
Никто свою
Любовь отдать не хочет.

Джон. Что ж, как подумаешь, правда за тобой. Желаю удачи. Я передам твой вызов и, вот увидишь, поведу себя, как истинный валлиец и преданный друг.

ЯВЛЕНИЕ 10

Робин (один).

Робин. Не будь самоубийство грехом, я повесился бы на первом попавшемся дереве. Да, Свитисса, повесился бы и являлся к тебе с того света. О женщина, женщина, так-то ценишь ты верную любовь! Пока женщина не обзавелась от тебя ребенком, не верь ей. Мужчине следовало бы поступать по примеру школьников, которые плюют в свою кашу, чтоб никто не отнял. А что, если Вильям уже плюнул?

ЯВЛЕНИЕ 11

Робин, Свитисса.

Свитисса. Как вероломны мужчины! Неверно, значит, говорят, будто что привиделось во сне, наяву не случится. Нет, недаром мне снилось, что Робин женился на другой.

Продолжительное молчание. Оба ходят, делая вид, будто не замечают друг друга. Наконец, Свитисса достает платок и разражается слезами.

Робин. Слезы не помогут, сударыня, уж вы мне поверьте! Довольно вам меня дурачить. Больше слезами меня не разжалобишь! Хватит!

Свитисса. Ах, варвар, обманщик, жестокосердый!.. У меня сердце готово разорваться!..

Робин. Ну, сердечко у вас что хороший камень — сколько ни бей, не прошибешь. Да только всякий, кому нагнуться не лень, может его в карман сунуть.

Свитисса. Изверг, сущий изверг!

Робин. Сразу видно, что вы грубого воспитания. *(Поет.)*

Не верю сам
Чужим слезам.
Скажу вам напоследок:
Я предпочту
Сквозняк во рту,
Чем чей-нибудь объедок.

Свитисса.

Да ты юлишь!
Да ты хитришь!
И шашни прячешь просто.
А я жила —
Себя блюла
Для этого прохвоста!
Я сбить с пути —
Лишь захоти —
Давно могла бы Вилла.

Робин.

Что ж, твой живот
Ревмя ревет,
Что ты беднягу сбила.

Свитисса.

Как мой живот?

Робин.

Так, твой живот.

Свитисса.

Что ж там, исчадье ада?

Робин.

Ребенок там
Сидит, мадам,—
Ведняги Вилли чадо.

Мне дела нет, с кем вы крутите. Не все ли равно, кто тебе рога наставит — свой брат слуга или хозяин? Нет, уж лучше хозяин: с него хоть содрать за это можно...

Свитисса. Жестокосердый! И не боишься ты, что за та-

кую бессовестную ложь небеса обрушатся на твою голову? Да веришь ли ты в священное писанье? Слыхал ли про дьявола и преисподнюю?

Робин. Слыхал, сударыня, и вы про это тоже скоро услышите. Чтоб женщина под венец шла, когда уже имела дело с другим!

Свитисса. Я... с другим?

Робин. Вы, сударыня, вы!

Свитисса. Я... с Вильямом?

Робин. Да, да, вы с Вильямом!..

Свитисса *(поет)*.

Ах, женщины, сколько мы терпим обид!
Невинных и то негодяй оскорбит.
Когда бы любила
Я этого Вилла,
Стерпела бы все, что мне ставят на вид.
Но, его не любя,
Берегла для тебя,
Для тебя одного, свою честь.
Как ты вымолвить смог
Свой неправый упрек?
Ту, которая в рот
И глотка не берет,
Как посмел ты в пьянчуги зачесть?!

Робин. Ах, Свитисса, Свитисса! Сама ведь знаешь, что, будь ты мне верна, я не отдал бы тебя и за пятьсот фунтов. Но что говорить с женщиной, которая проявила черную неблагодарность, изменила мне, такому верному, и даже не испытывает раскаянья. Но если уж ты столь низко пала, я скажу то, о чем бы иначе промолчал! Когда я жил в Лондоне, я мог завести интрижку с одной знатной дамой, но отказался от нее ради тебя.

Свитисса. Подумаешь, со знатной дамой! Да у меня могло быть по три лорда на день! Однажды я отвергла человека с такой вот лентой через плечо, ну точь-в-точь перевязь катафальщика! А это, говорят, самые важные люди в королевстве.

Робин. О Свитисса, в утюгах, которыми ты орудовала, прежде чем стала служить при хозяйке, меньше меди, чем у тебя во лбу.

Свитисса. О Робин, Робин, серебряные канделябры, что на твоем попечении, такие же пустые внутри, как ты.

Робин. О Свитисса, ты фальшивей всех румян, которые извела на хозяйку, фальшивее даже ее бровей.

Свитисса. У тебя любовниц — что стаканов в буфете!

Робин. А у тебя любовников — что мушек у твоей хозяйки!

Свитисса. Сколько б их ни было, а не про вашу я честь!

Робин. Тем лучше. Потерять жену — выпутаться из беды, потерять невесту — избежать несчастья, особенно если она побывала в руках у другого. Брак — цена добродетели. Уличные обходятся дешевле. *(Поет.)*

Да, женщина — что чашка:
Покуда цела — хороша.
А чуть она треснет, бедняжка,
Не дам за нее ни гроша.
В Сент-Джемсе признаешь богиней,
Гляди на нее, дуралей:
Что стоит в Сент-Джемсе сто гиней —
Идет за пустяк в Дрюри-Лейн.

ЯВЛЕНИЕ 12

Свитисса, Марджери.

Свитисса. Неблагодарный, бессердечный негодяй!

Марджери. Что случилось?

Свитисса. Ах, Марджери! Робин...

Марджери. Опять сделал какую-нибудь подлость?

Свитисса. Да еще какую! Я и представить себе не могла! Он порочит мою добродетель!

Марджери. Твою добродетель?

Свитисса. Да, Марджери, добродетель, которую я держала под замком, словно в буфете. Такую добродетель вздумал чернить! Он, как последний грубиян, заявил, будто это вовсе и не добродетель. Я все могла бы стерпеть, но уж не такое. Я готова, сохранности ради, спрятать свою добродетель в котомку и пронести ее по всему свету. Я охотнее стала бы женой последнего бедняка, чем любовницей богача. И меня, которая устояла бы перед самим королем, обвиняют, будто я сделалась подружкой лакея!

Марджери. Печально, что и говорить!

Свитисса. Ах, Марджери! Мужчины не знают цены добродетели! Лакеи научились распутничать не хуже своих господ, и скоро добродетель пойдет лишь на то, чтоб затыкать бутылки. *(Поет.)*

Без пользы беречь свою честь
Не станет любая из нас.
А если такие и есть,
Их в дуры запишут тотчас.
Лакеи, под стать шаркунам,
Невинность привыкли ругать.
Так, может быть, стоит и нам
Хозяйкам своим подражать?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

В полях
Апшонес и Молли.

Апшонес. Пойми, дочка, я сомневаюсь в честности его намерений. Нельзя доверять этим льстивым барчукам. Для них соблазнить бедную девушку — значит одержать славную победу, все равно как для солдата — овладеть городом, и часто родители даже поощряют их. Научив сына льстить женщинам и обманывать их, они уже считают, что дали ему хорошее воспитание, и называют его светским джентльменом.

Молли. Не подозревай моего Овена, отец. Он совсем не такой.

Апшонес. А мне говорили, что этот милый юноша, когда жил в Лондоне, обегал все театры, чтоб сыскать себе любовницу. Да ты сама слышала о его проделках в нашем приходе. Разве не он соблазнил дочь скрипача?

Молли. Тут сам скрипач виноват. Ты же знаешь, что он продал свою дочь и получил деньги под расписку.

Апшонес. А разве не поссорил он нескольких мужей с женами? Сама ведь знаешь, что он гоняется за каждой юбкой, хотя, как видно, у него еще молоко на губах не обсохло.

Молли. Даже у ангела нет такой нежности во взгляде.

Апшонес. При чем тут ангел? Павиан! Вот на кого смахивают наши щеголи. Нежный, говоришь? Нет, сладенький, как апельсин, когда в нем гниль завелась. Если у наших женщин цвет лица свежей и вид здоровее, чем у лондонских, так потому, что у нас меньше щеголей. Выкинь ты его из головы! У меня нет на него никаких видов, и я не допущу, чтоб он на тебя имел виды. Если он еще хоть раз здесь появится, я пожалуюсь его матери.

Молли. Прежде чем так опрометчиво прогонять его, ты бы хоть проверил, в самом ли деле у него нечестные намеренья.

Апшонес. Я не дам согласия на тайный брак. Пусть знатные грабят друг друга и нас, если угодно,— я докажу, что бедняк может быть честен. Я желаю только уберечь свою дочь, а за сыном своим пусть они сами приглядят.

Молли. Если вы заботитесь о своей дочери, пощадите ее любовь. *(Поет.)*

В глубинах сердца моего
Есть Овена портрет.
И ваша Молли без него
Покинет белый свет.

Бывает, в боевом пылу
Солдат стрелой пронзен,
Но вынь из сердца ту стрелу —
И вмиг погибнет он.

Апшонес. Ну, ну, любовь излечивается любовью. У меня на примете другой жених. Одену тебя во все новенькое, и сыграем свадьбу. У него, доложу я тебе, такое состояние, что женщина познатнее тебя забыла бы о своих увлечениях.

Молли. Ничто не возместит мне потери Овена. А если он чего лишится, женившись на мне, так я своей лаской заставлю его забыть об этом.

Апшонес. Бедняжка, как мало она знает свет! Скудость средств не искупают никакие достоинства, а за богатство прощают любые пороки.

Молли. Я уверена, мой Овен думает иначе. *(Поет.)*

С любимым не страшна беда,
Желанья его — закон.
Счастлива буду я всегда,
Когда доволен он.
Что мне богатства знатных дам!
Они меня бедней.
За пышный титул не отдам
Простой любви своей.

Апшонес. Больше ничего не желаю слушать! Запомни, что я тебе сказал, и следуй своему долгу, или ты мне не дочь.

Молли. Как я несчастна! Мне приходится выбирать между отцом и мужем. Как быть, что делать? Любовь стоит за мужа, долг — за отца. Но тот же долг требует, чтоб я подчинилась мужу! Впрочем, я еще не замужем... Ну что ж! Придется мне предвосхитить события и выполнить свой долг заранее. А если он и вправду обманщик? Я потеряю и отца и мужа. Но нет, это невозможно, обман и Овен несовместимы. *(Поет.)*

Любовник забудет силу чар,
Забросит дама свой наряд,
И врач разлюбит гонорар,
И поп покинет маскарад,
Старуха скорей оставит кадрил *,—
Чем поверю, что Овен меня разлюбил.

ЯВЛЕНИЕ 9

Овен, Молли.

Овен. Дорогая Молли, пускай мысли о прежних моих похождениях не волнуют тебя. Поверь, я давно устал от этих вечных перемен — новые женщины, новые костюмы. Я на опыте убедился, что все равно больше одного костюма на себя

зараз не наденешь и одной женщины с человека довольно. *(Поет.)*

Беспутству жизни холостой
Я говорю «прости».
В объятиях Молли дорогой
Я все могу найти.
Все любят что-нибудь одно:
Тот — выезд, тот — дома.
А мне навеки быть дано
От милой без ума.

Молли. Я верю тебе, милый, и решила с сегодняшнего дня делить с тобой все тяготы жизни. Пусть твои богатые и мои бедные родители говорят, что им угодно, давай теперь думать лишь о том, чтобы самим сделаться родителями.

Овен. С радостью, дорогая! И чем скорей мы начнем любить друг друга, тем скорее это случится.

Молли. Начнем любить? Разве мы еще не любим друг друга, милый?

Овен. Я не о теории любви, мой ангел. Мне так долго пришлось ходить в учениках, что просто не терпится приняться за дело.

Молли. Так пойдем к пастору. Я не меньше твоего хочу, чтоб мы поженились.

Овен. При чем тут пастор, моя дорогая?

Молли. Без него нельзя стать мужем и женой.

Овен. Но любить можно и без него. Зачем венчаться, когда мы и так любим друг друга? Брак — плохая дорога к любви. Счастлив, кто достигает любви, минуя этот тернистый путь. *(Поет.)*

Не вынуждай меня сказать
То, что без слов могла понять —
По этим взорам скромным,
По этим вздохам томным.
Подскажет в роще каждый куст
Слова для выраженья чувств,
И голубь горлинку зовет,
Пример нам верный подает.

Молли. Теперь-то я вас поняла! Нет, пусть это и тернистый путь, я с него не сверну. Я знаю, есть еще одна дорога, но пойти по ней — значит угодить прямо в грязь. Всякий, кто на это отваживался, приходил к цели таким замаранным, что уже не мог отмыться.

Овен. Раз чистота не в моде, кто решится ходить чистым? Знатные дамы замараны с ног до головы,— тебе ли стыдиться одного пятнышка?

Молли. Знатные дамы могут не заботиться ни о своей репутации, ни о платье, перед ними все равно будут преклоняться. Но бедная девушка должна быть скромной, иначе о ней пойдет дурная слава. Всякой женщине необходимо хоть одно хорошее качество: только знатным дозволено не иметь их вовсе.

Овен. Ты судишь слишком строго. Природа не может внушать нам преступные желания. Если человеку запрещено наслаждение, дозволенное всякой твари лесной, природа тут ни при чем, это поповские выдумки. Но зачем я доказываю тебе то, что ты сама прекрасно знаешь? Зачем оспариваю твои слова, когда твой ласковый взор сам их опровергает? *(Поет.)*

Могу ль поверить я словам,
Суровости твоей?
Глаза, глаза, я верю вам,
И — нет! — не верю ей.
Язык солжет,
Убережет
Желанья, мысли, чувства.
Но томный взгляд
Весь маскарад
Откроет без искусства.

Молли. Прочь, лживый, бессовестный, бессердечный, негодяй! Вот какова твоя любовь? Ты хочешь совратить, погубить меня?!

Овен. Не надо сердиться, милая Молли. Я скорей соглашусь сам погибнуть, чем погубить тебя.

Молли. Оно по всему видно! Какая я была дура, что поверила в твое постоянство. Ведь ты погубил столько женщин, ты всю жизнь только и делал, что старался кого-нибудь соблазнить. А я-то думала, будто ты хочешь на мне жениться! Чтоб я поверила теперь в честность мужчины! Да я скорей поверю, что масло собьется, когда ведьма в кадушку забралась, сено под дождем высохнет, пшеница на рождество созреет, амбар без молока сделается! Что амбар без мышей бывает, свалка без крыс, вишневый сад без черных дроздов, а кладбище без привидений!

Овен. Не выходи из себя, душенька! Дай я успокою тебя поцелуем.

Молли. Поди прочь! В твоем поцелуе отрава, порча в твоем дыхании... Добродетели не место рядом с тобой! *(Поет.)*

Неверный! Горький мой удел!
Меня... до свадьбы захотел.
На брег Плутонов * я уйду,
Чтоб там оплакивать беду.

Овен. Ты и полпути не пройдешь, как пожалеешь о своем решении. Полчаса она будет дуться и негодовать, а потом страсть вновь овладеет ею, и она станет моей. *(Поет.)*

Любовь подобна водопаду:
Неодолима и сильна,
Рассудка слабую преграду
Она сметает, как волна.
В объятия манит,
И в пропасть тянет,
И разум гонит,—
И гордость тонет,
И — нет — не выплывет она!

ЯВЛЕНИЕ 3

Поле.
Робин, Вильям, Джон, Томас.

Вильям. Вот самое подходящее место для нашего дела.

Робин. И чем скорее мы приступим к нему, тем лучше.

Джон. Ну, Томас, мы с тобой, думаю, тоже не будем стоять сложа руки?

Томас. Что ж, обменяться оплеухой-другой я готов от чистого сердца.

Вильям *(поет)*.

А ну-ка, Робин, подходи!
Зачем — ты знаешь сам!

Робин.

Что ж, ты сейчас получишь по,
Получишь по зубам!

Вильям.

А я бы, дорогой,
Тебе бы дал ногой,
Дал пинок ногою сразу!

Робин.

Так пинайте, сэр!

Вильям.

Начинайте, сэр!

Робин.

Я готов!

Вильям.

Я вас ударю,
Так и знайте, сэр!

Томас. Вам надо драться под какой-нибудь другой мотив, а то вы никогда не начнете *.

ЯВЛЕНИЕ 4

Робин, Вильям, Джон, Томас, Сусанна.

Сусанна. Что это вы здесь делаете, дармоеды несчастные? Забыли разве? Через два часа хозяин вернется, а к ужину еще ничего не готово.

Вильям. Пускай себе возвращается, когда вздумает, не моя то забота. Пока он держит Робина, я готов хоть сейчас на все четыре стороны. Нам с Робином в одном доме не ужиться.

Сусанна. Да что случилось?

Робин. Он хотел отнять у меня невесту, только и всего.

Вильям. Вранье, все вранье!

Робин. Кому ты это говоришь, балда? Сам врешь!

Вильям. А я говорю — ты врешь!

Робин. Нет, ты!

Вильям. А я говорю — ты!

Робин. Дьявол забери того, кто больше врет.

Сусанна.

Что слышу я, Робин? Что вижу я, Вилл?
Какие слова! Лакейская брань!
Пусть каждый из вас бы язык откусил,
Чем слышать от вас подобную дрянь!

Вильям.

Он выдумал ложь!
Но лучше не трожь —
Я тоже не лезу за словом в карман!

Робин.

[illegible] холуй!

Вильям.

Ах ты холуй!

Робин.

Пес!

Вильям.

Скот!

Робин.

Свинья!

Вильям.

Болван!

Робин.

Чурбан!

Вильям. Ты еще пожалеешь, черт тебя подери, что затеял со мной ссору! Я скажу хозяину, кто украл две серебряные ложки. Я раскрою все твои проделки: как ты продавал стаканы и говорил, будто они лопнули на морозе; как ты уговаривал хозяина варить побольше пива, а потом оно попадало к твоей родне — особенно в пузо твоего нашпигованного салом братца, который по два раза на день напивается пьяным за хозяйский счет.

Робин. Ха, ха, ха! И это все?

Вильям. Нет, голубчик, не все. Кто спиливал столовое серебро, а когда заметили, что вроде оно легче стало, сказал, будто оно стерлось от чистки? А твои счета за триполит * и цинковые белила, когда ты обходился одним мелом? Ты ведь, проходимец, разворовал половину хозяйского серебра, а остальное испортил.

Сусанна. Бог ты мой! Вильям, что вам за дело до хозяйских убытков? Хозяин богат, с него не убудет. Довольно вам ссориться, будем стоять друг за друга, потому что,— уж послушайте вы меня,— коли по чести разобраться, боюсь, нам всем не сдобровать. Умные слуги всегда держатся рядышком, как изюм в недопеченном пудинге; это говорит вам кухарка Сусанна.

Джон. Или как лошади в горящей конюшне; это говорит вам конюх Джон.

Томас. Или как виноградины в грозди; это говорит вам садовник Томас.

Сусанна. Каждый слуга должен подавать своего товарища под хорошим соусом! Как соус скрывает недостатки блюда, так и мы должны скрывать недостатки друг друга. Ах, Вильям, если каждому воздавать по заслугам, всех нас в конце концов изжарят! *(Поет.)*

Мудрец — тот свой прикроет грех,
Чужих не замечая,
А дура — та орет про всех,
Себя разоблачая.
Завяжут поп и адвокат
Глаза свои потуже,
Ведь, право, каждый их собрат
Обоих их не хуже.

Робин.

Здесь честный Боб перед вами стоит,
Не он был зачинщиком ссор и обид.
Глядит он, бедняга,
Как некий бродяга,
Жену и работу отнять норовит.

Вильям.

Коли так, пусть повесят меня за обман!

Робин.

Я могу за уликами слазить в карман!

Вильям.

Что ж носишь ты там?

Робин.

Чай, знаешь ты сам,
Какие поклепы строчил ты, смутьян.

Робин. Ты не подписался, но разве это не твоя рука? Скажешь — не твоя?

Вильям. Я не собираюсь давать тебе отчет, моя или нет.

Робин. Мало того, что ты домогался моего места, ты еще решил отбить у меня возлюбленную?

Вильям. Твою-то? Да любую из твоих возлюбленных отобьет всякий, кто больше заплатит. Ведь все знают, что женщины встречаются с тобой только за деньги.

Робин. Не на таковского напал! Чем на мою должность кориться, за свою бы держался покрепче, а то смотри, как бы не слететь!

Вильям.

Пусть мне велят —
Я буду рад
Покинуть этот дом, сэр.
Пока вы тут,
Любой мой труд
Не поминут добром, сэр.
Не страшно мне:
Везде в цене
Работники, как я, сэр.
Но если вас
Прогнать сейчас,
Не будет вам житья, сэр.

Сусанна. Если вы никак не можете кончить миром, уж лучше подеритесь.

Вильям. Что ж, идет!

Робин. Нет, нет, я против драки. С Вильямом только свяжись — он перессорит всю общину. А вы знаете, сколько трудов я положил, чтоб у нас в приходе была тишь да гладь.

Вильям. Видно, миротворчество — одна из твоих тайных услуг хозяину, хоть у вас с ним столько секретов, что сам дьявол, твой приятель, не разберет. И все твое миролюбие — от одной боязни, что тебе нос расквасят или синяк под глазом посадят. Ведь если б ты мог, сам в драку не встревая, заставить весь приход передраться, так давно бы это устроил. Уж не из любви ли к арендаторам ты, как говоришь, о мире печешься? Будь оно так, ты не подбивал бы хозяина на строгости, когда он сидит в судейском кресле. Не подговаривал бы его экономии ради лишать арендаторов жирного быка на рождество!

Робин. Ну, как ты любишь хозяина — уже по твоей езде видно! Гонишь, как оглашенный! Опрокинешь когда-нибудь экипаж, болван, и свернешь шею хозяину... да и хозяйке впридачу. На меньшем не помиришься.

Сусанна. Будет вам! Давай я вас рассужу, Вильям.

Робин. Ладно, пускай она рассудит... Мне все равно, кому доверить свое дело.

Вильям. А я не доверюсь женщине в деле, затрагивающем мою честь. *(Поет.)*

Вы, грязная стряпуха,
На рот замок повесьте!
Вот ваш удел:
Чтоб суп кипел,
А в прочее не лезьте!

Когда перед кобылой
Конь спасовать способен, сэр,
То он, глупец —
Не жеребец,
А лишь осел, как Робин, сэр!

ЯВЛЕНИЕ 5

Робин, Томас, Сусанна.

Сусанна. Каков нахал!

Томас. Наверно, пошел наговаривать на тебя хозяину.

Робин. Пускай его! Я слишком хорош с хозяйкой, чтоб опасаться неприятностей от хозяина. Между нами говоря, хозяйка не допустит, чтоб меня выгнали. Вы слышали, Вильям обвиняет меня, будто я краду пиво для своей семьи! А ведь половина всего пива идет в отдельный погребок хозяйки, и кто, кто, а она это знает. Там они с пастором сидят вдвоем,

потягивают пивцо и рассуждают, как лучше заставить весь приход следовать заповедям божьим.

Сусанна. Не говори дурно о хозяйке, Робин. Она очень добра к своим слугам.

Робин. Да, к нам, старшим слугам, которым ключи доверены. А прочие, чтоб Робину хватило, могут подыхать с голоду. Всюду так, Сусанна, в каждом ремесле: заправилы живут припеваючи,— остальным жрать нечего. *(Поет.)*

Большие лорды спят в спальнях дворца,
У малых — в тюрьме постель.
Большие попы пьяны от винца,
А малые хлещут эль.
Великих шлюх на бал везут,
А их подруг,
Незнатных шлюх,
За поцелуй секут.
Большой бандит
В шелку сидит,
А малых тащат в суд.

ЯВЛЕНИЕ 6

Сусанна, Свитисса.

Свитисса. Ишь какая смелая! Решила, значит, идти в открытую! Женщина, однажды поступившись добродетелью, уже не знает, где остановиться. *(Поет.)*

Невинность девушкам дана,
Она под стать воде:
Плотина верная нужна —
Хранить ее в пруде.
Но если страсть
Заставит пасть
Душевные плотины,
Уйдет вся честь,
Какая есть.
Виновны ль в том мужчины?

Сусанна. Простите за тупость, сударыня, но никак я не пойму: о чем вы?

Свитисса. Чего не надо, вы понимаете, сударыня.

Сусанна. Вы очень темно выражаетесь, сударыня.

Свитисса. Ваши делишки, сударыня, потемней.

Сусанна. В целом свете не сыщешь человека, который мог бы сказать что дурное о моих делах; они так же чисты, сударыня, как мои тарелки.

Свитисса. Скажите лучше — как котелки! А если вы и

похожи на тарелку, так на суповую, куда каждый мужчина может сунуть свою ложку.

Сусанна. Я, сударыня?!

Свитисса. Вы, сударыня!

Сусанна.

Что за скверная брехня
Бабы грязной,
Безобразной!
Что ей надо от меня,
Этой гнусной швали?

Свитисса.

Если вспомните, мадам,
Как вы с Бобом... Ясно вам?
Вы б такой вопрос, мадам,
Мне не задавали!

Прочти это письмо и подумай, как низко ты поступила с женщиной, которую называла своей подругой.

Сусанна. На что это вы намекаете, предлагая мне прочесть письмо, когда знаете...

Свитисса. Что вы написали его, сударыня!

Сусанна. Что я не умею ни писать, ни читать. В этом виновата не я, а мои родители, которые не дали мне лучшего образования. Если б вас не учили, вы бы знали грамоте не больше моего. И нечего попрекать меня и потешаться надо мной, раз не моя это вина.

Свитисса. Как? Вы не умеете ни читать, ни писать? Быть не может!

Сусанна. Быть не может? Да что ж тут удивительного, если служанка не умеет ни читать, ни писать, когда многие джентльмены не знают, как писать правильно?

Свитисса. Вот любовное письмо к Робину, подписанное твоим именем. Здесь ты жалуешься, что он оставил тебя, насладившись тобою.

Сусанна. Насладившись мною?

Свитисса. Так написано, поверь мне.

Сусанна. Если я когда говорила что Робину, кроме слов, которые всякий слуга может сказать другому, пусть мой котелок никогда больше не закипит!

Свитисса. Жаль, что вы не умеете читать, а то убедились бы, что я говорю правду. Здесь черным по белому написано: Сусанна Ростмит. И если это писали не вы, то, верно, сам черт!

Сусанна. Кажется, чтобы вас успокоить, я сказала все, что могла сказать, не роняя своего достоинства.

Свитисса. ...и убедили меня в своей невинности. Ду-

маю, с моим достоинством тоже совместимо уверить вас, что я сожалею о сказанном и покорно прошу вашего прощения, сударыня.

Сусанна. Я вполне удовлетворена, сударыня. Ах, Свитисса, будь я из таких, я могла бы иметь дело с самим молодым хозяином.

Свитисса. Ну, с ним-то мы все могли бы иметь дело, это еще не оправдание. Но уж в чем я уверена, так уверена: если вы не умеете писать, то и письма не могли написать. (*Поет*).

Невинность надо соблюдать,
Пока ты без изъяна,
Нельзя же в карты плутовать
Без полного кармана.
И кто не ездит на коне,
Тот в поле не поскачет.
Раз вы безграмотны вполне —
Не вы писали, значит.

ЯВЛЕНИЕ 7

Овен, Апшонес.

Апшонес. Я не желаю, чтоб вы женились на моей дочери, мистер Овен. Муж должен быть ей ровней. Мне хочется, чтоб под мое благословение подходили хорошенькие, здоровые внучата, а не заморыши и недоноски, унаследовавшие вместе с титулами болезни предков.

Овен. Фу, хозяин Апшонес!.. Как узко вы, старики, смотрите на вещи. Видно, вы не бывали в свете или успели его позабыть. Если ваша дочь уедет за пять миль, вам уж кажется, будто она умчалась за тридевять земель, и вы предпочли бы, чтоб она ходила пешком дома, чем ездила в экипаже где-нибудь в чужих краях.

Апшонес. Я не хотел бы, чтоб она сейчас ездила в экипаже, а через год ее повезли на катафалке.

Овен. Ну, такой чести вы, может, еще и не дождетесь, дорогой сэр.

Апшонес. Я не советовал бы вам бесчестить нашу семью: это может кончиться для вас хуже, чем вы думаете.

Овен. Хуже, говорите?

Апшонес. Да, сэр. Я потерял состояние, но моя гордость осталась при мне. И хоть я арендатор вашего отца, я ему не раб. Вы безнаказанно погубили немало бедных девушек, но не всегда это будет сходить вам с рук. Имейте в виду, сэр: кто желает навлечь бесчестье на мою семью, скорее накличет беду на свою голову.

Овен. Ха, ха, ха!

Апшонес. Сэр Овен и его супруга, по-моему, слишком порядочные люди, чтобы вы могли распутничать с их ведома. До сих пор сэр Овен поступал, как лучший из помещиков. Он знает, что должен защищать своих арендаторов, а не грабить их, быть пастырем своего стада, а не волком. Но вы, кажется, считаете, сэр, что у нас сохранился тот варварский обычай, о котором я читал,— когда помещику принадлежала невинность всех дочерей арендаторов.

Овен. Ха, ха, ха! Право, ты презабавный старый чудак!

Апшонес. Это на вас похоже, да и другой кто может так обо мне подумать. Но в мое время над вашим платьем посмеялись бы не меньше, чем сейчас над моим. Что это вы себе парик белым посыпали? Верно, хотите, чтоб люди подумали, будто у вас уж мозги в голове не умещаются?

Овен. Вам не нравится мое обличие, зато оно по вкусу вашей дочери.

Апшонес. Я хочу, чтоб вы оставили мою дочь в покое. Глаз с нее не спущу. А если вам все-таки удастся погубить ее, знайте: поместье отца не спасет вас от моего возмездия. Тогда вы поймете, что истинный дух английской свободы не мирится с притеснением, как бы высоко ни вознесся обидчик.

Овен. Истинный дух английской свободы! Ха, ха, ха! Думаешь, ты первый отец или муж, который сперва поднимает шум, а потом ходит смирный, как овечка? Хорош любовник, если он отступается от возлюбленной, чуть родня пригрозит. Прими вас всерьез, может и стоило бы поостеречься, да ведь вы герои на словах, не на деле. *(Поет.)*

Прослыть стремится шлюха
    Скромнейшей из людей,
А трус боится слуха
    О трусости своей.
Всяк льстит своей природе:
При всем честном народе
Толкуют о свободе
    Любители цепей.

ЯВЛЕНИЕ 8

Овен, Молли.

Овен. Она здесь!

Молли. Жестокий, ты уже избегаешь меня? Я уже стала тебе ненавистна? Твои лживые клятвы позабыты? Если б ты помнил их, ты вел бы себя иначе.

Овен. Тебе ли обвинять меня за то, что я послушен твоему приказанию? Разве ты не помнишь, что поклялась никогда больше со мной не встречаться?

Молли. Увы, ты не хуже моего знаешь, что в глубине души я так же не способна отказаться от тебя, как ты быть искренним в своих признаниях. До чего несправедливы мужчины, обвиняя нас в жестокости! Разве иначе они ведут себя, когда мы оказываемся в их власти? *(Поет.)*

Жестокосердый! Скажи, к чему ты,
Как птицу в путы,
Меня завлек?
Пока мой разум
Сиял алмазом,
Ты вовсе не был со мной жесток.
Цветут растенья
Под летним солнцем,
И нет цветенья
Среди зимы.
Для чувства негу
Зимы и лета.
И в стужу жарче пылаем мы.

Овен. Ты не должна так обижать меня, дорогая Молли. Твой отец только что был здесь и разговаривал со мной самым оскорбительным образом. Но, несмотря на это, я решил...

Молли. Исполнить свое обещание и жениться на мне!..

Овен. Зачем произносить это ненавистное слово! Оно подобно жестокому морозу, губящему цветы любви. Учтивость не так враждебна честности, а кадрил — здравому смыслу, как брак — любви. Брак и любовь несовместимы, точно вода и огонь. Женитьба — единственное, в чем я способен отказать тебе.

Молли. И пока ты отказываешь в ней, я буду отказывать тебе во всем остальном.

Овен. Но я не хочу жениться ради тебя же самой. Я не смогу любить по обязанности. *(Поет.)*

Как славно жить тому,
Кто чувств не прячет,
Поет и скачет,—
И сразу удача
В руки дается ему.

Как славно бродить
По темному саду,
Любовь и отраду
Себе находить.
Но жалок иной,
Кто, словно больной,
Навеки прикован к постели одной,
Кто многих не может любить.

А я хочу свое питье
Из разных стаканов пить.
Раз ты не согласна,
Ну что ж — и прекрасно!
Покину я место свое!

Молли. Ушел! Потерян навсегда! Безвозвратно потерян!.. Где же твоя сила, добродетель? Где они, бесчисленные наслаждения, которые ты сулишь? Влюбленным они недоступны: если б Овен вернулся и был настойчив — боюсь, я не устояла бы. Любовь что ни день все больше берет верх над добродетелью. *(Поет.)*

Глаза — огонь, язык — снаряд
У тех, кто от души влюблен.
И добродетель, как солдат,
Обороняет бастион.
Но все ж любовь стократ сильней;
Она штурмует там и тут,
Еще упорней и грозней
Она врывается в редут.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Дом сэра Овена.

Сэр Овен *(курит)*. Кто первый открыл пользу табака — молодчина! Терпеливый труженик забывает о деле, сластолюбец об удовольствии, влюбленный о жестокосердии возлюбленной, муж о ненавистной жене... а я за своей трубочкой забываю обо всем на свете. *(Поет.)*

Пускай эрудит
Над книгой сидит,
Пусть голубь твердит о голубке,—
Счастливым вполне
Быть может, по мне,
Лишь тот, кто не может без трубки.
Пусть бьется солдат
Во имя наград,
Пусть славу найдет себе в рубке,—
Из всех его благ
Я взял бы табак,
Дымящийся в маленькой трубке.
Чудак-резонер
Вдруг станет остер,

За трубкой мечтая о кубке,
И чтобы суду
Доказать ерунду,
Юристы берутся за трубки.
И не оттого ль
В рассказах есть соль,
Что речь про дела и поступки
Рассказчик прервет
И в рот наберет
Затяжечку дыма из трубки.
В чем мудрость врача,
Который, леча,
Знай воду толчет себе в ступке?
Не ведать иных
Лекарств для больных,
Чем пара затяжек из трубки.
Лишь знатный народ
Без трубок живет,
Не делает этой покупки.
Где ум и где честь,
Там трубочка есть,—
А эти не тянутся к трубке.

ЯВЛЕНИЕ 2

Сэр Овен, леди Апшинкен.

Леди Апшинкен. Мне надоело, дорогой мой, быть в вечном рабстве у семьи. Стоит мне на минутку отвернуться, как все в доме — вверх дном. Ведь вы, словно сонный трутень, не желаете ничем себя утруждать.

Сэр Овен. У меня отличная жена, только немного говорлива. Не будь у нее языка или у меня ушей, мы были бы счастливейшей парой во всем Уэльсе.

Леди Апшинкен. Сэр Овен! Всем известно, какие предложения я отвергла, когда выходила за вас замуж.

Сэр Овен. Да, моя дорогая, очень хорошо известно. Откровенно говоря, вы мне об этом все уши прожужжали. Только я искренне убежден, что вы бы никогда не отказались от лучшего предложения: вы свой интерес помните.

Леди Апшинкен. Неблагодарный! Если я доказала, что знаю цену деньгам, так пеклась не только о своих, но и о ваших интересах. И да будет вам известно, сэр: коли выгода вступала у меня в спор с совестью — побеждала совесть.

Сэр Овен. Что ж, очень может быть. Ведь чью сторону возьмет ваш язычок, та и победит. Но совесть-то у вас всегда на языке, а интерес вы приняли так близко к сердцу, что язык о нем и ведать не ведает.

Леди Апшинкен. Мне думается, сэр Овен, вам последнему следовало бы роптать на то, что я браню ваших слуг.

Сэр Овен. Я и не стал бы, если б вы не бранили меня самого. Изливайте свою злобу на весь приход, только меня оставьте в покое с моей трубочкой, и я слова не скажу. Но бранчливая жена, по мне, все равно что расстроенная виолончель, которая вдруг встала на ноги и принялась ходить вокруг тебя.

Леди Апшинкен. Муж-пьяница — плохой смычок для такой виолончели, сэр: он не может ни настроить ее как следует, ни сыграть на ней.

Сэр Овен. Сварливая жена — канифоль для смычка: до тех пор трет его, чтоб играл, пока он совсем не перетрется. *(Поет.)*

Из жен ужасней всех
Сварливая карга,
Как заведет шум, гам, полный тарарам!
Уж лучше мне носить
На лбу своем рога,
Чем слушать этот шум, гам, полный тарарам!
Когда б Юпитер был
Поблагосклонней к нам,
Пандору б он тогда
Послал ко всем чертям
И с нею этот шум, гам, полный тарарам!

ЯВЛЕНИЕ 3

Леди Апшинкен, Сусанна.

Леди Апшинкен. Иди себе, странствующий рыцарь! Ну, Сусанна, что ты мне принесла?

Сусанна. Меню, сударыня.

Леди Апшинкен. Меню?! Можно подумать, что это меню на целый месяц, а не на один день.

Сусанна. Хозяин пригласил сегодня кой-кого из арендаторов, сударыня.

Леди Апшинкен. Мне известна щедрость вашего хозяина. Он готов кормить арендаторов на свой счет. Пожалуй, он позволил бы тем, кто победней, съедать больше, чем сам от них получает.

Сусанна. Да благословит его господь за подобную доброту!

Леди Апшинкен. Говяжий филей можешь подать. Только отрежь половину на завтра: зараз его не скушать.

Сусанна. Ах, сударыня, его так жалко резать, слов нет!

Леди Апшинкен. Вздор! Тебе следует знать, что у людей благовоспитанных не подают на стол сразу слишком много. Однажды меня угощали обедом из трех перемен, где все вместе не составляло и половины этого филея.

Сусанна. Черт бы побрал такую благовоспитанность!

Леди Апшинкен. «Жареный гусь» — очень хорошо. Особенно позаботься, чтоб хватило потрохов: они очень дешевы сейчас на рынке. «Две пары куропаток» — оставим одну. «Яблочный пирог с айвой». Почему с айвой? Ты же знаешь, что айва очень дорога. Вот так. Остальное ты пока припрячь и будешь готовить мне по два блюда в день, пока все припасы не выйдут.

Сусанна. Что вы, сударыня! Да ведь половина провизии протухнет за это время.

Леди Апшинкен. Тем меньше съедят. Я знаю, иные хорошие хозяйки только с тухлинкой и покупают: оно и дешевле и тянется дольше.

Сусанна. Когда старое английское гостеприимство было в чести, самый запах манил людей в дом, а нынешние ароматы заставляют обходить его сторонкой.

Леди Апшинкен. Старое английское гостеприимство! Слышать о нем не могу! Мне от одного этого слова тошно становится.

Сусанна. Жить бы мне в то времечко! Жаль, что я не стряпала, когда на кухне было чем заняться. А нынче переняли мы тонкие французские манеры и жарить мясо учимся у тех, кому самим жарить нечего. *(Поет.)*

Когда ро́стбиф был главной английской едой,
Благороден был сердцем придворный седой,
Храбрецом и героем солдат молодой.
О наш ростбиф английский,
Старый ростбиф!
Но с тех пор, как с французов мы взяли пример,
Пляшем, варим рагу на французский манер,—
Стали наши мужчины галантны сверх мер.
О наш ростбиф английский,
Старый ростбиф!

Леди Апшинкен. Слуги вечно принимают за обиду малейшее проявление бережливости со стороны хозяина или хозяйки. Им по сердцу только расточительность.

ЯВЛЕНИЕ 4

Леди Апшинкен, Пазлтекст.

Леди Апшинкен.

Ах, доктор! Ах, доктор! Я так вас ждала!
Я в полном смятенье, мой Пазлтекст!

Пазлтекст.

Быстрее борея
Летел в седле я,
Для проповеди я обдумывал текст.

Леди Апшинкен. Не мешало бы вам прочитать проповедь о благотворительности. Пусть мои слуги знают, что благотворительность вовсе не поощряет чревоугодия.

Пазлтекст. Как вашей милости известно, благотворительность бывает религиозная и нерелигиозная. Религиозная предписывает нам скорее заморить ближнего голодом, чем накормить его. Ведь голодом лучше всего можно обуздать нашу грешную плоть.

Леди Апшинкен. Я хотела бы, доктор, чтоб вы, когда снова поедете в Лондон, купили мне по самой дешевой цене все книги о благотворительности, какие только есть.

Пазлтекст. Я в скором времени опубликую трактат, сударыня, в котором будут обобщены все суждения об этом предмете. Он написан по-латыни и посвящен вашей милости.

Леди Апшинкен. Во имя религии я готова на все! Я большая почитательница латинского языка и, как мне кажется, знаю теперь латынь не хуже английского. Но, увы, ваше преподобие, какую боль, какую жестокую боль причиняет мне сознание того, что, несмотря на все наши усилия, в приходе еще столько безнравственных людей. На днях один арендатор самым ужасным образом оскорбил свою жену. Неужели я никогда не научу их прилично обращаться с женами? *(Поет.)*

О доктор! Молю, как скупой о казне,
Чтоб вся ваша паства равнялась по мне.

Пазлтекст.

Миледи! Клянусь, что в ближайшем году
До этого всех прихожан доведу.

Леди Апшинкен.

О доктор! Спасенья они не хотят,
Их всех ваши проповеди тяготят.

Пазлтекст.

Коль деньги платить их заставит мадам,
Я им в заблужденьях погибнуть не дам.

ЯВЛЕНИЕ 5

Те же и Робин.

Робин.

Несчастливая планета
Хочет сжить меня со света!
С ума сошел
Весь женский пол,
Все лишились головы.
Я уж думал —
К вам пойду, мол,—
Да и вы,
Вы хотите, чтобы Вилл
Всех на свете обдурил
С ног до головы.

Леди Апшинкен. Что вы хотите этим сказать?

Робин. Значит, вашей милости ничего не известно? Разве вы не знаете, сударыня, что меня прогоняют, а Вильяма делают дворецким?

Леди Апшинкен. Как так?

Робин. Уверяю вас, миледи, это сущая правда. Я только что получил от хозяина приказание отчитаться в серебре, и, поверьте, сумею справиться с этим лучше, чем Вильям, пробудь он столько на моем месте.

Леди Апшинкен. Ну, уж такого я не стерплю! Сию же минуту иду к сэру Овену — и посмотрим, значу ли я что-нибудь в этом доме!

Пазлтекст. Послушайте, Робин, вам все равно ничего не будет: с хозяйкой вы в дружбе. Так пошлите ко мне в комнату бутылочку хорошего винца,— ведь я тоже вам добрый друг.

ЯВЛЕНИЕ 6

Робин *(один)*. Не то, чтоб я думал долго здесь оставаться, но не хочется быть выгнанным. Самому предупредить об уходе — другое дело, и если бурю пронесет, я так и поступлю. Благодаря своему трудолюбию я ухитрился сколотить деньжат на весь остаток жизни. Куплю себе маленькую уютненькую ферму в Уэльсе с сотенкой фунтов годового дохода и удалюсь на покой со своей... Но... с кем же я удалюсь, если Свитисса мне не верна? Какой смысл покупать поместье, коли счастье купить нельзя? *(Поет.)*

Для чего тебе богатство?
Чтобы счастья домогаться,
Без него богатство — вздор
И готов отдать бедняга
Все свои земные блага
За единый нежный взор.

ЯВЛЕНИЕ 7

Робин, Свитисса.

Робин. Не знать мне больше счастья! Шкатулка, в которой оно хранилось, взломана и обчищена!

Свитисса. Он здесь! Страсть, подобно вихрю, кинула бы меня в его объятия, если б не связывала меня честь, исторгающая больше лживых слов из уст женщины, чем золото из уст адвоката.

Робин. Вот она, вероломная, коварная! И все же, как ни виновна эта женщина, она была б мне дороже всего на свете, если б не моя честь, запрещающая мне жениться на шлюхе. Приходится выбирать между возлюбленной и честью, а ведь слуга, лишившийся чести,— пропащий человек. Хорошо знатным: как ни поступай, все равно величать будут «вашей честью». Видно, настоящую честь испытывают мошенничеством, как золото огнем. Если, сколько ни жульничай, не пострадает — значит неподдельная. *(Поет.)*

Всегда оберегает честь
Незнатный человек.
А потерял — не приобресть
Тебе ее вовек.
А если знатен ты — владей
И честью, как угодно:
В тебе, мерзавец и злодей,
И подлость благородна.

Свитисса. Ах, если б я могла объяснить твое ослепление любовью! Любовь дает зрение, чтоб видеть человека, а не его провинности. Но, увы, ты видишь только их, а не меня.

Робин. Я рад бы считать тебя безгрешной. Но, увы, ты до того погрязла в пучине греха, что стала противна человеческому взору.

Свитисса. Я не знаю за собой иного греха, кроме того, что слишком люблю тебя.

Робин. Что ж, это, конечно, грех, раз ты ждешь ребенка от Вильяма.

Свитисса. Ах, Робин, если ты решил меня бросить, не надо из-за этого порочить мою добродетель, умоляю тебя!..

Робин. Вот что, сударыня, прочтите-ка это письмо еще разок, а потом, если хватит совести, требуйте, чтоб я заботился о вашей репутации. Впрочем, женщина больше всего кричит о своей репутации, когда б ей лучше помалкивать. Добродетель — что порох: пока есть — о ней не слышно, а произвела шум — значит нет уж в помине.

Свитисса. Тут какой-то подвох! Пусть черт меня заберет сню же минуту, если я когда-нибудь видела это письмо.

Робин. Неужто? А сами выронили его из кармана!

Свитисса. Негодяй! Если я хоть когда-нибудь, разве что во время игры в фанты, позволила Вильяму поцеловать себя, пусть меня больше никто в жизни не поцелует! И если я не девушка, пускай я так и умру в девушках! А теперь погляди-ка сам! Оказывается, не я одна получаю письма и роняю их из кармана: коли за тобой есть вина, это письмо устыдит тебя. Мне же защитой — моя невинность! *(Поет.)*

Тому, чья совесть нечиста,
Не утаить вины.
Кричат глаза, когда уста
Молчать принуждены.
Но кто невинно оскорблен,
Тот страха не таит,
Перед обидчиками он
Как судия стоит.

Робин. Ну и дела! Словно черт, обучившись грамоте, забрался в дом. Ба! Я начинаю кое о чем догадываться! Если у тебя есть добродетель, если есть у тебя честь, человечность, ответь мне, Свитисса, на один вопрос: пастор никогда не пробовал ухаживать за тобой?

Свитисса. Почему ты об этом спрашиваешь?

Робин. Оба письма написаны одним почерком, и если их написал не Вильям, — так только пастор: по-моему, никто больше во всем доме не умеет ни читать, ни писать.

Свитисса. Нельзя сказать, чтоб ухаживал, да и «нет» тоже не скажешь. Однажды он намекнул, что женился бы на мне, будь у меня сто фунтов.

Робин. Вот как? Ну, все ясно. Клянусь святым Георгием, и его здорово проучу! Буду тузить до тех пор, пока не появится у него такое отвращение к браку, как у католического священника *.

Свитисса. Фу, бить священника!

Робин. Плевать мне на то, что он священник! Полез в мой огород — пусть бока бережет.

Свитисса. Образумься, Робин! Хоть ты гадко поступил со мной, я не хочу, чтоб тебя прокляли.

Робин. А с помощью пастора, дай бог ему доброго здоровья, я, наверно, угодил бы в рай. По мне, уж лучше быть проклятым, чем отправиться на небеса за то, что духовный отец, пропади он пропадом, наставил тебе рога! Я его так отделаю, что у него не больше станет охоты лакомиться женщинами, чем кониной.

Свитисса.

Ради бога, берегись —
Он ведь пастор, он ведь пастор!
Он запомнит на всю жизнь,
Только с ним свяжись!

Робин.

Замолчи! Я все равно
Вздую подлеца,
Буду драить, шпарить, шпорить,
Словно конюх жеребца!

Свитисса. Ушел... Как бы он и вправду не стукнул пастора по башке. Быть ему тогда повешенным! Ах, если б он, целый и невредимый, повесился мне на шею! Силы небесные, спасите его от петли палача и затяните потуже петлей Гименея! *

ЯВЛЕНИЕ 8

Свитисса, Джон.

Свитисса. Ах, Джон, беги, лети!.. Ты можешь еще спасти своего друга... Скорей к пастору!

Джон. Что случилось?

Свитисса. Минута промедления, и Робин пропал! Сейчас он в страшной ярости кинулся бить пастора. Останови его! Если он убьет пастора, его повесят.

Джон. Убьет?! Если он только поднимет на него руку, так попадет в церковный суд, а это похуже, чем быть повешенным.

Свитисса. Беги, беги, дорогой Джон!.. Какие муки подстерегают на каждом шагу влюбленную девушку! *(Поет.)*

Как много счастья тем дано,
Чье сердце страстно влюблено.
Для горя много есть причин,—
Для счастья повод есть один:
Когда в объятья мы летим.
Стремись к любви, не знай преград,
Как корабельщик, скрывший клад
На острове, среди морей.
Лети быстрее кораблей
К сокровищам любви своей.

ЯВЛЕНИЕ 9

Овен, Свитисса.

Овен. Свитисса в слезах! Будто лилия после грозы. Дождевые капли тихо стекают с шелковистых лепестков, собирая по пути их аромат. *(Поет.)*

Свитисса, не грусти!
Ведь там, где слезы,
На щеках розы
Не смогут расцвести.
Свитисса, не грусти!
Свой взор прекрасный
Улыбкой ясной,
Как небо солнцем, освети!

В чем дело, моя дорогая Свитисса?

Свитисса. В чем бы ни было, не ваша это забота, мастер Овен.

Овен. Если б ты позволила, я бы обнял тебя и утешил. Поцелуй меня!..

Свитисса.

Юный сударь,
Юный сударь,
Вы напрасно прытки:
Для меня вы
Не забава,
Бросьте все попытки.
Умеет порой
Шаркун молодой
Забавные выкинуть штуки,
Но пустишь в постель
Таких пустомель —
Ей-богу, подохнешь со скуки!

ЯВЛЕНИЕ 10

Овен *(один)*.

Грязная Бесс! Ступай, мне плевать!
Кричи, реви, сколько хочешь!
Чем больше ты будешь рыдать, тол-де-рол,
Тем меньше ты похохочешь!

ЯВЛЕНИЕ 11

Овен, Сусанна.

Овен. А вы, прелестная Сусанна, куда направляетесь?

Сусанна. Куда? К хозяйке. Если она не желает давать мне продуктов, пусть ищет себе другую кухарку. Шутка ли сказать, такой говяжий филей резать! Пусть меня лучше черт пополам разрежет! *(Поет.)*

Ирландец ест картошку,
Француз по рагу́ тоскует,
Итальянец ест макароны,
Голландец — траву морскую,
Шотландец — башку баранью,
Валлиец питается сыром, сэр,
И ростбифом англичанин
Хвалится перед миром, сэр!
И если разрежу говяжий филей,
Пусть дьявол меня заберет поскорей!

Овен. Можно ли, чтоб гнев портил твое милое личико! Поцелуй меня, моя очаровательная кухарочка!

Сусанна. Поцеловать вас? А не хочешь ли по физиономии получить да палкой по заду? Если меня кто целовать будет, так уж не такое расфранченное чучело. Полюбуйтесь только: голова — что кусок баранины, обсыпанный мукой, перед тем как попасть на сковородку. А еще туда же — целоваться лезет!

ЯВЛЕНИЕ 12

Овен, Марджери.

Овен. Проваливай, грязнуля!.. А вот моя маленькая Марджери!

Марджери. Не такая уж маленькая, мастер Овен. Для вас великовата.

Овен. Ничего, моя дорогая голубка. Давай... давай... давай...

Марджери. Чего давай-то?

Овен. Давай... черт возьми, сам не знаю что... Давай поцелуемся!

Марджери. Вы больно прытки, сквайр. Прежде чем у нас с вами до этого дойдет, нужно, чтоб мамаша стала вам побольше отпускать на расходы. Видите ли, сэр, когда вы подарите мне, наконец, тот нарядный передник, что обещали, не знаю, как далеко заведет меня благодарность. Я решила, что если когда-нибудь окажусь дурой, то смогу похвастаться чем-нибудь, кроме живота.

Овен. Чума их всех побери! В целом доме ни одной не окрутишь! Придется, как видно, возвратиться к Молли. Хоть с ней дело слажу, если еще не поздно. А то как бы мне самому не умереть полудевой. Черт возьми, кажется, несмотря на все свои похождения, я до сих пор хорошенько не знаю, что такое порядочная женщина! И такое, надо думать, нередко случается с нами, светскими джентльменами. *(Поет.)*

Гуляки не желают
Скрывать своих проказ,
Банкроты выставляют
Богатство напоказ,—
Но прячет свой сундук хапуга-богатей,
И милую любовник скрывает от людей.

ЯВЛЕНИЕ 13

Пазлтекст, Робин, Джон.

Пазлтекст. Я требую удовлетворения! Слышать не хочу ни о чем, кроме удовлетворения, мастер Джон! Я его поколочу!.. Покажу ему, что не зря в Оксфорде учился! Плевать я на тебя хотел! Увидишь,— у меня голова на плечах не только для того, чтоб проповеди читать! *

Робин. Вы больше заботились, чтоб мне было чем бодаться, дай вам бог здоровья!

Пазлтекст. Врешь, мерзавец! Все ты выдумал!

Робин. У самого что ни слово, то ложь!

Пазлтекст. И это ты мне говоришь, негодяй! Да я у тебя все мозги из башки вышибу, если только они там есть. Пусти меня, Джон, пусти!..

Робин. Зачем ты его держишь? Пусть только сунется — мигом назад полетит!..

Пазлтекст. Черт побери!.. Черт побери!.. Черт побери!..

Джон. Как можно, ваше преподобие! Успокойтесь, вспомните свой сан. Вы должны прощать.

Пазлтекст. Я не прощу! Прощение порою грех, смертный грех! Нет, я не прощу его! Пусть его пример будет всем наукой. Эти бродяги больше не посмеют оскорблять церковь! *(Поет.)*

В церковный суд
Призову тебя, плут,
Ты с этим, видать, не знаком, сэр!

Робин.

Без всяких улик
Не сможешь, старик,
Моим завладеть кошельком, сэр!

Пазлтекст.

Так будешь в аду
Ты предан суду,
А здесь опозорен по гроб, сэр!

Робин.

Ну что ж, не беда,
Узнаю тогда,
Кто противнее — черт или поп, сэр!

Пазлтекст. Пусти, Джон! Я тебе!.. Плевать мне на тебя!..

ЯВЛЕНИЕ 14

Сэр Овен, леди Апшинкен, Пазлтекст, Робин, Вильям, Джон, Сусанна, Свитисса, Марджери.

Леди Апшинкен. Что такое? Что это значит? Мистер Пазлтекст! Надеюсь, вы в своем уме?

Пазлтекст. Плевать мне на него!.. В своем, сударыня, в своем! Я оскорблен, избит!..

Леди Апшинкен. Я уверена, что Робин тут ни при чем. Он человек смирный.

Вильям. Он и пальцем никого не тронет, разве что силой его заставят, могу поручиться.

Пазлтекст. И все же это Робин оскорбил меня. Говорит, будто я писал к его невесте. А я вот уж полгода пера в руке не держал, да и тогда всего полпроповеди сочинил.

Вильям. Странное дело! Сегодня он целый день толкует про какие-то письма. Сперва со мной поссорился из-за письма к невесте, теперь с мистером Пазлтекстом. Просто видит свои недостатки, ну и ревнует ко всем, в каждом соперник ему чудится.

Робин. Я не такого дурного мнения о себе, чтоб к тебе ревновать, сколько ты ни тверди о своих достоинствах!

Леди Апшинкен. Прошу вас, оставьте ссоры. *(Робину.)* Я думала, у вас хватит ума жить в ладу с церковью.

Вильям. Пускай хозяин, если хочет, держит тебя, зная, какой ты жулик, но я готов под присягой подтвердить, что ты украл две серебряные ложки.

Свитисса. Вам-то уж знать толк в подобных делах, дорогой мистер Вильям! Я готова присягнуть, что вы украли занавески из кареты и сшили себе жилет да еще содрали пару пряжек со сбруи и продали мистеру Овену на туфли.

Сусанна. Коли на то пошло, сударыня, может быть вы скажете, кто украл у миледи шелковый передник и новую фланелевую юбку, которая сейчас на вас?

Джон. Полегче, дорогая Сусанна, это уж нахальство. Скажите лучше, кто на масло не скупился: целыми брусками на жаренье изводил, а гусиный жир продавал на сторону? Кто подает фальшивые счета, а что остается — прикарманивает? Кто требует вина и коньяку на соуса да десерты и сам их выпивает?

Вильям. А кто требует крепкого пива для лошадей и тоже сам его выпивает?

Марджери. Лучше помолчали бы об этом, а то как бы вам не напомнили, что вы проделываете то же самое с выездными лошадьми!

Сусанна. Может, вы припомните еще, кто прикладывается к бутылочке миледи всякий раз, как стелит ей постель?

Леди Апшинкен. Ты, Марджери, вне подозрений — и свои бутылки держу под замком.

Сусанна. А если у нее поддельный ключ — ваша милость все равно ее подозревать не станет? Могу присягнуть — он сейчас у нее в кармане.

Леди Апшинкен. Очень мило, право!..

Пазлтекст. Я глубоко опечален тем, что мои проповеди не оказали на вас лучшего действия. Трудно решить, кого первым следует повесить! Если дворецкий Робин мошенничал больше других, так, верно, потому только, что у него было для этого больше возможностей.

Робин. Верно, пастор! Хоть раз в жизни правду сказал.

Вильям. И все-таки Робин — худший из нас. Недаром его имя начинается с той же буквы, что и слово «разбойник». Что «Робин» сказать, что «жулик» — все равно.

Пазлтекст. Каламбур не из удачных, мистер Вилл.

Робин. И это верно, пастор! *(Поет.)*

В сей скромной семейке любитель найдет
Все то, чем богат человеческий род:
Дано здесь и нищему и богачу
Обманывать так, как ему по плечу,
Здесь жулики все, та-ра-ра́!
Вельможа не сыщет порядочных слуг,
Коль честности хочешь — живи без услуг.
Всяк любит урвать от чужого добра,—
Вот так в этом мире ведется игра!
Все Бобу, все Бобу под стать, та-ра-ра́!
Все Бобу под стать та-ра-ра́!

Леди Апшинкен. А я-то скопидомничала, скаредничала, жадничала, дрожала над каждым куском, день-деньской маялась по хозяйству,— и все для того, чтоб меня обобрали собственные слуги!

Сэр Овен. Правда, дорогая, будь у нас большая семья на руках, это еще оправдало бы вашу скупость: приходилось бы думать о будущем детей. Но у нас только один сын, да и тот не стоит нашей заботы. Пусть же слуги оставят себе, что украли, и да пойдет им это на пользу!

Леди Апшинкен. Что за дикая расточительность!

Все. Да благословит небо вашу честь!

Робин.

Я жульничал здесь, не скрою,
Но в гости позвать вас готов,
И я угощу вас свиньею
Из собственных ваших хлевов.

Свитисса.

И я не служила безгрешно —
Что можно, старалась урвать.
Но, дом ваш покинув, конечно,
У вас не смогу воровать.

Вильям.

И я был виновником кражи,
Унес занавески, к стыду.
Что ж, продайте коней с экипажем,
Коль от этого впали в нужду.

Сусанна.

В проделках своих сознаюся,
Грех этот на душу приму.
Но там, где не жарятся гуси,
Кухарка уже ни к чему.

Хор.

Вас ставим в известность о том,
Что завтра покинем ваш дом,
Но пусть вас утешит при том,
Что денег мы с вас не берем.

ЯВЛЕНИЕ 15

Те же, Молли и Овен.

Овен и Молли. Благословите нас, сэр!

Сэр Овен и леди Апшинкен. Что такое?

Овен и Молли. Мы — ваши дети.

Сэр Овен. Мой сын женился на дочери арендатора!

Овен. Да, сэр, она — дочь вашего арендатора, но достойна быть королевой!

Молли.

В вас нету ко мне интереса,
Но роскошь не ставлю ни в грош.
Мне Овен, хоть будь я принцесса,
Всегда был бы мил и хорош.

С добром я готова расстаться —
Лишь с Овеном встретиться вновь.
Нам горе приносит богатство
И радость дарует любовь.

Овен.

Пусть сгинут и титул и злато,
Они мне уже не нужны.
Любимая пусть небогата,
Любви ее нету цены.
Пусть тешатся лорды обманом,
Их ненависть ждет во дворцах.
А роскошь — она не нужна нам,
Коль счастье и нежность в сердцах.

Сэр Овен. Признаться, поет она очаровательно!

Овен. Другую песню, скорее! Заморочь его песнями, пока он не простит нас.

Молли.

Любовь возвысить может
И сделать, окрыля,
Из мужика вельможу,
Из сквайра — короля.
О, как прекрасен Овен!
О, как он мной любим!
Кто устоять способен
Пред Овеном моим!

Сэр Овен. Я не могу устоять.

Леди Аншникен. И я тоже. Поцелуйтесь же и дайте мне обнять вас обоих.

Молли.

О голос твой отрадный!

Овен.

Ах, сколько в сердце боли!

Молли.

Ах, Овен ненаглядный!

Овен.

О дорогая Молли!

Овен. Я счастлив и хочу, чтобы другие тоже были счастливы. Послушай, Робин, письма, которые заставили вас со Свитиссой ревновать друг друга, написал я озорства ради.

Робин. И я зря подозревал Свитиссу?

Свитисса. А я — своего Робина?

Робин. Моя Свитисса, дорогая!

Свитисса. Мой Робин, мой Боб!

Робин. Отныне мы будем неразлучны. Ведите нас в церковь, ваше преподобие!

Вильям. А ты что скажешь, Сусанна? Не последовать ли нам их примеру?

Сусанна. Что ж тут чиниться. Ты знаешь, у меня что на уме, то и на языке. Я согласна.

Джон. А ты, Марджери?

Марджери. Отказываться не стану.

Пазлтекст. Я к вашим услугам, когда вам заблагорассудится.

Овен. Послушайте! Я женился раньше всех и хочу, чтоб мою свадьбу отпраздновали первой. Станцуем хоть разок,— я уже позвал скрипачей.

Пазлтекст. А я приготовил свою скрипку. Я ведь всегда utrumque paratus [1].

Овен. Я решил так: пускай сегодня двери нашего дома будут открыты для всех.

Леди Апшинкен. А я решила не участвовать в этом. И тебе советую не слишком сорить деньгами.

Танец.

Пазлтекст.

Вот славные парочки!
Поднимем же чарочки!
Пусть в мире живут новобрачные!

Женщины.

Под венец не пора ль нам!

Мужчины.

А после — по спальням!

Все.

Да здравствуют браки удачные!

Хор повторяет весь куплет.

Конец

1731

---

[1] Готов для любого дела *(лат.)*.

ДОН КИХОТ В АНГЛИИ

Комедия

— facilè quis
Sperèt idem, sudèt multùm, frustráque laborèt
*Ausus idem... —**

Hor.

ГРАФУ ФИЛИППУ ЧЕСТЕРФИЛЬДУ,*

пэру Англии,
кавалеру высокопочетного
ордена Подвязки

Быть может, милорд, эти сцены не достойны покровительства Вашей светлости, и все же замысел, легший в основу некоторых из них, непременно должен послужить им рекомендацией в глазах того, чья известность зиждется на борьбе за славное дело свободы, ибо коррупция, изобличаемая здесь, способна однажды оказаться для нее неодолимым противником.

Свобода сцены, мне думается, не менее достойна защиты, чем свобода печати *. По мнению автора, не составляющему для Вашей светлости тайны, пример оказывает на человеческий ум действие более непосредственное и сильное, нежели наставление.

Поэтому, милорд, в отношении политики это еще вернее, чем в отношении этики. Самое жестокое осмеяние роскоши или алчности производит подчас весьма малое впечатление на любителя плотских наслаждений или скупца, но живое воспроизведение бедствий, навлекаемых на страну всеобщей коррупцией, может, как мне кажется, иметь весьма ощутимое и полезное действие на зрителей. Сократ, который своей гибелью в немалой степени обязан презрению, навлеченному на него комедиями Аристофана *, навсегда останется примером, свидетельствующим о силе театральной насмешки. Правда, здесь это оружие употреблено было во зло, но то, что способно лишить уважения даже добродетель и мудрость, куда легче сумеет вызвать всеобщее презрение к их противникам. Есть среди нас люди, кои так хорошо осознали опасности, таящиеся в юморе и остроумии, что решили навсегда избавиться от них.

Они правы, нет сомнения. Ведь остроумие подобно голоду: его никак не удержишь при виде обильной и разнообразной пищи.

Но если могущественные сыны Глупости употребляют все свое влияние для защиты своих более слабых собратьев, Вы, милорд, любимый отпрыск английских Муз, будьте покровителем младших потомков этих богинь. У Вас столько же оснований любить их, сколько у других страшиться, ибо, как Вы, наверное, и сами не преминули заметить, заслужить у Муз славу, а у наиболее проницательных и достойных из людей — рукоплескания,— вот единственные награды, на каковые может рассчитывать истинный патриотизм, ставший предметом насмешек для иных злопыхателей. Я прошу не за себя, а за других, ибо быть причисленным к тем, для кого я стараюсь снискать Ваше расположение, дает мне право лишь величайшее восхищение и уважение, которое испытывает к Вам милорд,

покорнейший слуга Вашей светлости

Генри Фильдинг.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эта комедия была начата в Лейдене в 1728 году. Однако, набросав несколько разрозненных сцен, автор оставил ее и долго о ней не вспоминал. Сперва я писал ее для собственного развлечения; и, разумеется, не чем иным как донкихотством было бы ждать других плодов от попытки воспроизвести характеры, столь блестяще обрисованные неподражаемым Сервантесом. Невозможность превзойти его и крайняя трудность идти с ним в ногу — всего этого оказалось достаточно, чтобы повергнуть в отчаянье самонадеянного автора.

К тому же я скоро обнаружил, что совершил ошибку, которой был обязан недостатком житейского опыта и слабым знанием света. Я понял, что перенести действие в новую обстановку и дать моему рыцарю возможность проявиться в ней иначе, чем в романе, гораздо труднее, нежели я воображал. Человеческая природа всюду одинакова, а привычки и обычаи разных наций не настолько изменяют ее, чтобы Дон Кихот в Англии заметно отличался от Дон Кихота в Испании.

Соображения мистера Бута и мистера Сиббера * совпали с моими; проглядев упомянутый набросок, они отговорили меня от опрометчивой мысли поставить его на сцене. Пьеса снова была водворена ко мне на полку и, наверно, погибла бы там в забвении, если б мольбы попавших в беду актеров Дрюри-Лейна * не заставили меня взяться за ее исправление; в то же время мне пришла в голову мысль добавить сцены, относящиеся к нашим выборам.

В переделанном виде пьеса многократно репетировалась в этом театре, и был уже назначен день ее первого представления, но великан Каджанус, из рода, который всегда был враждебен нашему бедному дону, так долго задерживал ее появление перед зрителями, что актерские бенефисы заставили бы пере-

нести спектакль на следующий сезон, не передай я пьесу туда, где она ныне поставлена *.

Я задержал внимание читателя для того, чтобы объяснить, почему комедия публикуется в ее теперешнем виде, и предоставить ему возможность отличить части, возникшие в этом сезоне, от других, написанных в более ранние годы, когда еще не существовало большинства произведений, которыми я пытался доставить развлечение публике.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Дон Кихот.
Санчо.
Сэр Томас Лавленд.
Доротея.
Фейрлав.
Сквайр Баджер.
Мэр.
Избиратель.
Газл.
Миссис Газл.
Джезабел.
Джон.
Бриф — адвокат.
Доктор Дренч — врач.
Мистер Сник.
Миссис Сник.
Мисс Сник.
Кучер дилижанса.
Толпа.

Место действия: гостиница в провинциальном городишке.

ВСТУПЛЕНИЕ

Директор театра. Автор.

Директор. Как можно без пролога, сэр?! Публика никогда не потерпит этого. Она не поступится ничем из того, что ей причитается.

Автор. Я покорный слуга публики, но даже она не заставит меня написать пролог, если это мне не под силу.

Директор. О, ничего нет проще, сэр. Я знавал одного автора, который вместе с пьесой приносил в театр три или четыре пролога, а мы уж выбирали, какой читать.

Автор. Бывает, сэр. У меня самого в кармане три пролога. Их сочинили мои друзья, но ни одного из этих прологов я не решусь предложить вам.

Директор. Почему же?

Автор. Да потому, что они уже двадцать раз были прочитаны со сцены.

Директор. Разрешите-ка мне самому на них взглянуть.

Автор. Они написаны дьявольски трудным почерком, вам все равно не разобрать. Я расскажу, о чем там идет речь. Один из них начинается поношением всего, что сочинили мои современники. Автор сокрушается по поводу упадка театра и под конец заверяет публику, что данная пьеса была написана с целью возродить подлинный вкус. Если публика ее одобрит, заявляет он, это будет лучшим доказательством того, что она таковым обладает.

Директор. Что ж, хороший план.

Автор. Возможно. Но вот уже десять лет, как об этом твердят чуть не все прологи. Следующий пролог в ином духе: первые двенадцать строк обличают непристойность на сцене, а последние двенадцать наглядно знакомят вас с нею.

Директор. Это больше подходит для эпилога. Ну, а третий каков?

Автор. Что ж, третий написан не без остроумия и очень бы нас устроил, не случись одна ошибка.

Директор. Какая же это?

Автор. Да, видите ли, автору не довелось прочесть моей пьесы, и, решив, что это, должно быть, комедия в пяти актах, написанная согласно всем правилам, он яростно обрушился на фарс. Что и говорить, пролог недурен и вполне подойдет для первой же комедии из светской жизни, которую вы поставите.

Директор. Однако не думаете ли вы, что пьеса с таким необычным названием, как ваша, нуждается в кое-каких разъяснениях? Все ли будет понятно публике?

Автор. Безусловно. Ей, надо думать, знакомы образы Дон Кихота и Санчо? Я перенес их в Англию и поселил в деревенской гостинице; и кого удивит, что рыцарь повстречал здесь людей, столь же безумных, как он сам? При желании это можно сказать в сорока скучных строках, но лучше обойтись без них. По правде говоря, все прологи, которые я когда-либо слышал, наводят на мысль, что авторы, сознавая недостатки своих пьес, желают усыпить публику еще до представления. Большой ли прок в меню, если гостям не дают выбрать блюдо, и заставляют проглатывать все подряд?

Входит актер.

Актер. Сэр, публика так стучит тростями, что если мы тотчас же не начнем, она разнесет театр, прежде чем откроется занавес. Лучше ее не сердить! На галерее сидит несколько таких оголтелых свистунов, каких никому еще слышать не приходилось.

Автор. Не бойтесь! Это мои хорошие друзья. Сначала они прикинутся недоброжелателями, но уже к концу первого акта перебдут на нашу сторону.

Директор. В таком случае вели сейчас же играть увертюру. Где вы устроитесь, сэр?

Автор. В таком месте, откуда я все увижу, а сам останусь незамеченным. И уверяю вас, сэр, если публика будет хоть вполовину так занята пьесой, как я, представление окончится под общие аплодисменты.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Двор гостиницы.
Газл и Санчо.

Газл. И слышать я не хочу про этого Дон Кихота, черт бы его подрал! Явился ко мне в дом, объедает меня, а потом, не угодно ли, оказывается — он странствующий рыцарь! Странствующий жулик, вот он кто! Пусть только попробует не заплатить мне по счету, я достану на него приказ об аресте.

Санчо. Моему хозяину ваши бумажки нипочем, приятель. Побывали б в Испании, так знали бы, что люди его положения стоят выше закона.

Газл. И слышать я не хочу про вашу Испанию, сэр! Я англичанин, а у нас законы для всех писаны. И если ваш хозяин не заплатит мне, я прямехонько отправлю его испанское сиятельство в такое местечко, откуда ему выбраться будет не легче, чем вашим землякам забраться в Гибралтар.

Санчо. Это уж, как в пословице говорится, ни к селу ни к городу. Одни вешают замок, чтоб не впустить, а другие — чтобы не выпустить. Дома запирают, чтобы жулики туда не вошли, а тюрьмы — чтоб они оттуда не вышли. Коли повесят сегодня конокрада, не пойдет он завтра овес покупать.

Газл. Ах, вот как! Ну, тогда ни лошади вашей, ни ослу не есть больше овса за мой счет! Ведь до чего похожи хозяева и скотина! Ваш дон такая же тощая кляча, как этот... ну как его... Росинант, а ты просто мешок требухи, вроде твоего Дапла. Вон из моего дома и моей конюшни! И если я еще когда-нибудь испанца на порог пущу, пусть ко мне роту солдат на постой ставят! Раз уж должны меня объедать, так лучше я от своих проходимцев пострадаю, чем от заграничных.

Санчо
(поет).

Везде есть плуты, без сомненья,
И только ангелы невинны.
Ведь в уксус с первых дней творенья
Перерождаются все вина.

Один судья своим коварством
Прикончить может государство.
Один-единственный священник
Оставит весь приход без денег.

И одного б врача хватило,
Чтобы наполнить все могилы [1].

---

[1] Перевод Д. Файнберг.

ЯВЛЕНИЕ 2

Дон Кихот, Санчо.

Дон Кихот. Санчо!

Санчо. Что угодно вашей милости?

Дон Кихот. Приблизься, Санчо! Я предчувствую приключение.

Санчо. И я тоже, с позволения вашей милости. Хозяин дома божится, что достанет приказ о нашем аресте.

Дон Кихот. Какой хозяин? Какой дом? Когда ты, наконец, образумишься? Разве мы не в замке?!

Санчо. Пока, слава богу, нет, но уже на верном пути туда.

Дон Кихот. Что ты хочешь сказать, болван?

Санчо. Я хочу сказать, что через денек-другой увижу вашу милость в тюрьме.

Дон Кихот. Меня в тюрьме? Ха! Презренный!

Санчо. Да, сэр, мы попали в ужасную страну! И дворянское звание не защитит здесь человека, коли он преступит закон.

Дон Кихот. Тогда не было б нужды в странствующих рыцарях. Говорю тебе, презренный, во всех странах тюрьмы — обиталища бедняков, а не знати. Коли бедняк украдет у дворянина пять шилингов — в тюрьму его! Знатный же безнаказанно ограбит тысячу бедняков и останется в собственном доме. Но знай, недостойный оруженосец великого Дон Кихота Ламанчского, сейчас мне предстоит совершить подвиг, который прославит не только меня, но и все странствующее рыцарство!

Санчо. Бедный Санчо! Конец твой пришел! Рукой или ногой тут не отделаешься.

Дон Кихот. Только что в замок прибыл великан, немало зла причинивший людям. Он ведет за собой войско, которое воет, как турки в бою.

Санчо. Вот смех-то, вот смех! Да это ж деревенский сквайр со своей сворой!

Дон Кихот. Что ты бормочешь, мошенник?

Санчо. Да великан-то, о котором говорит ваша милость, всего только помещик, собравшийся к своей даме, а войско его — просто напросто свора гончих.

Дон Кихот. Сколь велика сила чародейства! Я тебе говорю, это великан Тоглогмоглогог, владыка острова Гогмогог, в чьем брюхе нашли могилу тысячи крепких мужей.

Санчо. Тысячи бочек крепкого пива, сдается мне.

Дон Кихот. А может, это волшебник Мерлин?! Я узнаю его собак! Не воображаешь ли ты, недоумок, что за женщинами охотятся, как за зайцами? Или берут собак на свиданье с возлюбленной?

Санчо. Сэр, чистокровный английский сквайр и его собаки

так же неразлучны, как испанец и его толедский клинок. Он жрет со своими собаками, пьет со своими собаками и спит с ними. Настоящий, отъявленный сквайр — не более как первый псарь в своем доме.

Дон Кихот. Как жаль, что богатство мирское и богатство духовное так часто достаются разным людям! Платон * мудро установил, что детей надо учить согласно их способностям, а не рождению. Эти сквайры должны бы засевать поля, а не вытаптывать их копытами своих коней. Когда я вижу джентльмена * на козлах коляски, я сожалею, Санчо, что кто-то потерял в его лице кучера. Человек, который день-деньской бродит в поисках куропатки или фазана, мог бы служить стране, идя за плугом. А когда я вижу низкого, подлого, жуликоватого лорда, я с грустью думаю: ну что за адвокат пропадает без толку.

Пение за сценой

Но чу! Прекрасная обитательница замка решила усладить мой слух.

Доротея
(поет).

Нет, сударь, не груда монет
Презренной девчонке цена.
Родись я принцессой на свет,
Была бы я Билли верна.

Приносит нам золото боль.
Отдай свои деньги другим,
А мне быть счастливой позволь
С возлюбленным Билли моим.

К чему за богатство, почет
Платить дорогою ценой?
Любовь мне сторицей вернет
Все то, что отвергнуто мной.

Пусть золота яркая ложь
Богатого радует глаз.
Вражда — во дворцах у вельмож,
Любовь без обмана — у нас [1].

ЯВЛЕНИЕ 3

Дон Кихот, Газл, Санчо.

Дон Кихот. Славный и могущественный властитель, чем отплачу я вам за эти пленительные звуки?

Газл. Ничего мне не надо, сэр, оплатите только этот сче-

---

[1] Перевод Д. Файнберг.

тец. Скотина вашей милости оседлана, и погода сегодня самая подходящая для путешествия.

Дон Кихот. Никакие соблазны на свете не заставят меня покинуть вас, милорд, пока я не уничтожу обнаруженного сегодня в вашем замке...

Газл *(в сторону)*. Так! Он, верно, заметил говяжий филей на кухне... Но если ваша милость намерена побыть здесь еще немного, я надеюсь, вы уладите это дельце. Я в очень стесненных обстоятельствах, уверяю вас.

Дон Кихот. К каким низменным поступкам побуждает человека нужда! Могущественный лорд просит денег!

Газл. Мне совестно столько беспокоить вашу милость из-за такой безделицы, но...

Дон Кихот. Понимаю вас, милорд. Я вижу благородное смущение на вашем лице.

Газл. Я так беден, с позволения вашей милости, что вы меня просто облагодетельствуете. За подарок почту́.

Дон Кихот. Милорд, я смущен не меньше вашего. И коль скоро вам трудно принять их как дар, я не буду на этом настаивать. Отныне все, что у меня есть, кроме очаровательной Дульсинеи Тобосской и ее неизменных прав на меня, будет вашим. Позвольте назвать это долгом, милорд. Санчо, заплати его милости тысячу английских гиней.

Санчо. Только извольте сперва сказать мне, где их взять. Пустой рукой не заплатишь! Из ничего ничто и получится. Из дюжины адвокатов не выйдет и одного честного человека.

Дон Кихот. Попридержи язык и сейчас же уплати деньги.

Санчо. Не видать мне больше Терезы Панса, если за эти две недели я хоть краешком глаза видел золото.

Дон Кихот. Милорд, мой оруженосец, оказывается, очень расточителен. Ведь он обобрал стольких поверженных мною великанов и, вот видите, не сумел сберечь такого пустяка, чтоб выручить вашу милость. Но если кто-нибудь может предоставить вам необходимую сумму, я вышлю ему возмещение с первого же завоеванного мною острова.

Газл. Вы смеетесь надо мной, сэр?

Дон Кихот. Не гневайтесь. Я глубоко сожалею, что не могу помочь вам.

Газл. Сожалею! Ишь ты! Нечего сказать, славный способ платить долги! Хорош я был бы, если б заявил акцизному и пивовару, что рассчитаться, правда, с ними не могу, но очень об этом сожалею. Они мигом отправили бы меня в тюрьму вместе с моим сожалением. Мне, сэр, эти деньги причитаются, и я от своего не отступлюсь.

Санчо. Без философского камня вам денег из нас не вытянуть.

Газл. Кончено! Пока не заплатите, не есть вам и не пить в моем доме! *(Уходит.)*

Санчо. Не пора ли подумать вашей милости, как выбраться отсюда потихоньку? Коли на то пошло, я и на одеяле полетать согласен *. У меня уж двенадцать часов маковой росинки во рту не было, да похоже и следующие двенадцать будет не лучшее пропитание. К тому времени я стану легок, как перышко,— пускай подкидывают.

Дон Кихот. Приблизься, Санчо! Я хочу назначить тебя своим послом.

Санчо. Что ж, сэр, по правде говоря — это бы меня здорово устроило. Посыльным, сказывают, сладко живется. И, уверяю вашу милость, из меня отменный посыльный выйдет.

Дон Кихот. Ты отправишься моим послом ко двору Дульсинеи Тобосской.

Санчо. Вашей милости, верно, все едино, к какому двору меня послать, а я, по совести, лучше поехал бы к какому-нибудь другому. Миледи Дульсинея, правда, женщина хорошая, да вот беда — заколдованная. А посыльные, надо думать, скверно кормятся при ваших заколдованных дворах.

Дон Кихот. Тварь ползучая! Замолчи, если хочешь жив остаться, и собирайся в путь! Тебе придется отправиться сегодня же вечером; не премини зайти за дальнейшими распоряжениями. Но чу! Снова звучит дивный голос.

Доротея
(поет за сценой).

Нельзя словами описать
Мою тоску и боль.
Кто мог бы имя чувствам дать,
Неведомым дотоль?
Сердцам разбитым нет числа,
Любви неведом путь.
Но жесточайшая стрела
В мою вонзилась грудь.

Дон Кихот. Бедная принцесса!

Доротея.

О Тантал! * Ты хоть видеть мог
Желанную струю.
Ах, если б видеть дал мне бог
Опять любовь мою.

Всесильно страсти волшебство.
Как от него уйти?
И где, чтобы разбить его,
Заклятие найти? [1]

[1] Перевод Д. Файнберг.

Дон Кихот. Я сумею разрушить эти чары! Взгляни, обожаемая, хоть и несчастная принцесса, взгляни и узри прославленного Рыцаря Печального Образа, непобедимого Дон Кихота Ламанчского, которого небо послало тебе на выручку. Только его победоносной длани суждено свершить сей подвиг. О проклятый волшебник, ты скрыл от моих очей эту очаровательную принцессу! Караульные, кто бы вы ни были, откройте ворота замка, откройте их немедля! Не то вы изведаете силу моего натиска! Увидите, трусы, что и перед одним-единственным рыцарем вам не устоять! *(Кидается на стену и бьет стекла.)*

ЯВЛЕНИЕ 4

Дон Кихот, Газл, толпа.

Газл. Что случилось? Что вы делаете, черт возьми?! Или уж и дом решили сокрушить?

Дон Кихот. Бесчестный лорд, освободи принцессу, которую ты беззаконно скрываешь здесь. Знай, что всем чародеям на свете не спасти тебя от моей мести.

Газл. И слышать я не хочу про ваших принцесс и лордов. Я не лорд, я честный человек. А вам скажу, что, может, вы и джентльмен, но ведете себя, не как джентльмену положено. Бить у бедняка окна этаким манером!

Дон Кихот. Освободи принцессу, негодяй!

Газл. Платите по счету, сэр, и уходите из моего дома, а не то я достану приказ о вашем аресте. И посмотрим, можно ли съесть в доме всю говядину, выпить все пиво, попортить стены, перебить стекла, напугать гостей — и все бесплатно!

Дон Кихот. Недостойный рыцарь! Так часто попрекать меня скромным гостеприимством, которое ты обязан оказывать членам моего героического ордена!

Газл. Тоже геройство — людей обирать!

Дон Кихот. Я отлично понимаю, негодяй, почему ты стремишься избавиться от меня. Ты знаешь, что мне одному суждено освободить знатную леди, которую ты заточил в своем замке. Сию же минуту отпусти ее со всей свитой и верни ей похищенное серебро и драгоценности!

Газл. Вы слышите, соседи? Меня обвиняют, будто я ложки ворую! И повернется же язык сказать такое, когда всякий знает, что у меня ложек-то всего пять дюжин и есть, да и за те я честно при покупке расплатился. А что до драгоценностей, то черта с два сыщешь какую драгоценность в этом доме, кроме серожек, которые подарил моей жене сэр Томас Лавленд, когда мы последний раз его выбирали.

Дон Кихот. Прекрати словоизвержение и отдай их

немедленно, или ты увидишь, что напрасно полагаешься на сопровождающих тебя великанов.

Толпа хохочет.

Вы смеетесь надо мной, негодяи? Несравненная Дульсинея Тобосская, сопутствуй своему доблестному рыцарю! (*Прогоняет их и уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ 5

Комната.

Доротея, Джезабел.

Доротея. Ха, ха, ха! Трудно мне сейчас приходится, но как не посмеяться над таким забавным подвигом Рыцаря Печального Образа.

Джезабел. Вы думаете, сударыня, что это и есть тот самый дон, как вы его называете, которого ваш отец встречал в Испании * и потом рассказывал о нем всякие смешные истории?

Доротея. Он самый, другого такого нет на свете. Ах, Джезабел, хотела бы я, чтоб мое приключение кончилось так же счастливо, как у моей тезки Доротеи *. Мне кажется, судьбы наши одинаково необычны. Разве не вправе я винить Фейрлава за то, что мне приходится его дожидаться? Расторопный влюбленный опережает желания возлюбленной.

Джезабел. И позвольте заметить, сударыня, большое для этого надобно проворство.

Доротея

(*поет*)

Верни, Купидон легкокрылый,
Мне юного друга опять.
Дает мне мой олух постылый
Досуг, чтобы милого ждать.

Пусть леди, что чопорно строги,
Томятся себе на беду.
А я, не в пример недотроге,
Сама на свиданье иду [1].

Какая же я взбалмошная девчонка! Не кажется ли тебе, что моему будущему мужу предстоит восхитительная задача укротить меня?

Джезабел. Насколько я могу судить, не много вам понадобится времени, чтоб его самого укротить.

---

[1] Перевод Д. Файнберг.

ЯВЛЕНИЕ 6

Санчо, Доротея, Джезабел.

Санчо. Простите, леди, которая из вас заколдованная принцесса? Или вы обе заколдованные принцессы?

Джезабел. Не твое дело, нахал, кто мы такие.

Доротея. Помолчи, дорогая Джезабел, это, верно, славный Санчо Панса. *(К нему.)* Я принцесса Индокаламбрия.

Санчо. Мой хозяин, Рыцарь Печального Образа,— уж и впрямь: как взглянешь на него сейчас, так и опечалишься! — шлет вашему высочеству свой нижайший поклон и просит не обижаться, что он не всем в доме дал по башке. Зато он с лихвой выместил это на стеклах. У вашей милости будет вдосталь свежего воздуха и прохлады, потому что черта с два сыщется теперь во всем доме хоть одна цельная рама. Заплати ему стекольщик, и то б чище не сработал.

Доротея. Могучий оруженосец могущественнейшего рыцаря на свете! Передай своему хозяину мою глубокую признательность за все, что он предпринял ради меня. Но пусть он побережет свои драгоценные кости. Освободить меня суждено другому рыцарю.

Санчо. Вот, вот, и я так думаю. Всех дел ведь не переделаешь. За что один поместье получит, другой — петлю на шею. Не все рыба, что плавает. Один жену себе ищет, другой — как от нее избавиться не знает. Видит простак рога, да на чужой голове. Деньги — плод зла и корень его. Милосердие редко к чужому заглянет, а зло по белу свету рыщет. Всякая женщина красавица, когда в зеркало глядится; и мало красивых найдется, как соседей послушаешь.

Доротея. Ха, ха, ха! Не откажите в любезности, мистер Санчо, помогите мне повидать вашего прославленного хозяина.

Санчо. Ничто так не порадует его сердце, сударыня, разве только встреча с самой миледи Дульсинеей. Ах, сударыня, могу ли я надеяться, что ваша милость замолвит за меня словечко?

Доротея. Скажи только, честный Санчо, и поверь — я сделаю все, что в моих силах.

Санчо. Ах, если б ваша светлость могла уговорить моего хозяина, чтоб он не посылал меня домой за миледи Дульсинеей! Ведь коли правду сказать, сударыня, я так влюблен в английский ростбиф и крепкое пиво, что, будь на то моя воля, я б в Испанию ни ногой. Для меня кусок ростбифа лучше всех яств на свадьбе Камачо *.

Доротея. Вот уж сказал так сказал, благородный оруженосец! *(Поет.)*

Когда ростбиф английский был нашей едой,
Зажигал он отвагу в крови молодой.
Каждый лорд был умен, каждый воин — герой.
О старый английский ростбиф!
Могучий английский ростбиф!

Наши предки не знали французской стряпни,
Итальянской едой не прельщались они.
Пусть же ростбиф царит и в грядущие дни.
О старый английский ростбиф!

Санчо.

Могучий английский ростбиф! [1]

Доротея. Слышала я, благородный оруженосец, что вы однажды ловко провели своего хозяина и выдали ему за Дульсинею другую женщину. Что, если б эта молодая леди разыграла роль несравненной принцессы?

Джезабел. Кто, я?

Санчо. Вот, вот! В самую точку ваша светлость попали, потому что никогда он и не видел своей Дульсинеи. И никто, говорят, ее не видел; и что это за госпожа Дульсинея, я не знаю, если это не одна из вас, заколдованных леди. Наш приходский священник и мистер Николас, цирюльник, часто мне говорили, что нету такой леди и что хозяин у меня помешанный. Иной раз и сам задумаешься: может, он и впрямь помешанный? Да что тут толковать! Если б не островок, которым я буду править, неужто стал бы я бродить с ним по свету столько времени?!

Доротея. Фи, разве можно такое даже помыслить о прославленном рыцаре!

Санчо. Ваша правда, сударыня. Сердце мне не позволяет признать его за помешанного. Иной раз он так заговорит, что просто заслушаешься. Три часа говорить вам будет — ни слова не поймешь. Наш священник — дурень по сравнению с ним, а тоже ведь, когда говорил — ничегошеньки я уразуметь не мог. Но это так, к слову пришлось. Бедность душу питает. Старуха — невеста плохая, да жена хорошая. Совесть когда о кочку запнется, когда и гору перемахнет. Закон от всех зол спасает, да от себя не уберегает. Что нынче грех, то завтра заслуга. Не из одного изюма пудинг пекут. Горько лекарство, да на пользу идет; сладко вино, да с него тошнит.

Джезабел. А от ваших пословиц самому черту тошно станет!

Доротея. Не теряй попусту времени, добрый Санчо. Скажи непобедимому рыцарю, что госпожа Дульсинея находится в замке. Мы так хитро все устроим, что ты можешь не опасаться разоблачения.

Санчо. Да я и не боюсь с тех пор, как последнюю Дульсинею к нему привел. Кто с гусыней управится — и от гусака не откажется. Медведь танцевать будет, хоть осел ему на скрипке играй. *(Уходит.)*

---

[1] Перевод Д. Файнберг.

ЯВЛЕНИЕ 7

Доротея, Джезабел.

Доротея. Ха, ха, ха! Ну, теперь уж, что путешественник ни скажет, всему поверю. Рыцарь со своим оруженосцем и впрямь потешные — совсем как их описали. Мы посмеемся всласть!

Джезабел. Бедный Фейрлав! Ты совсем забыт!

Доротея. Ну, уж если кто забыт, так Доротея. Это не просто моя выдумка. Если мужчина заставляет свою возлюбленную дожидаться на месте свидания, не ему корить ее за невинное развлечение, которым она скоротает время. И, признаться, я все еще не знаю, удастся ли отделаться от жениха, которого прочит мне отец. Как видишь, у меня немало причин искать утешения! *(Поет.)*

Когда почует зверь лесной
Волнение в крови,
Послушен власти он одной,
И это — власть любви.

А нами властвуют отцы.
Закон их прост и строг:
Любви покорны лишь глупцы,
Для умных — деньги бог [1].

ЯВЛЕНИЕ 8

Улица.
Мэр и избиратель.

Мэр. Ну, сосед, что вы думаете об этом странном человеке, который приехал в город, о Дон Кихоте, как он себя величает?

Избиратель. Что думаю? Да он помешанный! Что же еще можно о нем думать?

Мэр. А мне сдается, он приехал выставить свою кандидатуру в парламент.

Избиратель. Что вы, сосед! Ведь он, говорят, испанец.

Мэр. А нам-то что? Пускай сам о своих правах заботится, если его выберут. Не дадут ему заседать в парламенте, пусть на себя пеняет.

Избиратель. Куда там! Если он даже выставит свою кандидатуру, его все равно нельзя избирать. Я точно знаю, что корпорация * договорилась с сэром Томасом Лавлендом и мистером Баунсером.

---

[1] Перевод Д. Файнберг.

Мэр. Вздор! Все обещания условны. И позвольте вам сказать, мистер Ритейл *, здесь пахнет подвохом. Я предчувствую, что не будет оппозиции, и тогда мы проданы, сосед.

Избиратель. Нет, сосед. Мы не будем проданы, а это куда хуже. Но прежде чем дойдет до этого, я все королевство обшарю, чтоб найти кандидата. И если сэр Томас собирается украсть нас, вместо того чтобы купить, моего голоса он не получит, уверяю вас. Я не буду голосовать за человека, который ценит корпорацию так дешево.

Мэр. Тогда мы должны обратиться к Дон Кихоту с просьбой выставить свою кандидатуру. А что он сумасшедший, неважно, раз он не в Бедламе *.

Избиратель. Но есть еще одно препятствие, сосед, которое, боюсь, остановит корпорацию.

Мэр. Что ж это за препятствие, скажи, пожалуйста?

Избиратель. Говорят, он денег с собой не привез.

Мэр. Да, это хуже. Но хоть он сейчас и не при деньгах, его слуга рассказывает, что поместье у него большое. Если другая партия честь честью выложит наличные, ему можно и в долг поверить. Выбрать мы его все равно не выберем, а денежки свои получим.

Избиратель. Не хочется быть проданным, сосед...

Мэр. И мне не больше вашего, сосед. Если уж повелось такое, я лучше сам себя продам. По-моему, это право всякого свободного британца.

ЯВЛЕНИЕ 9

Газл, мэр, избиратель.

Газл. Господин мэр, доброе утро вам, сэр. Не хотите ли стаканчик с утра пропустить?

Мэр. С превеликим удовольствием. А где тот джентльмен, путешественник?

Газл. Верно, спать лег. Не иначе, как от работы устал. Ума не приложу, как с ним быть, черт его подери!

Мэр. Нам с соседом пришла в голову замечательная мысль. Похоже, мистер Газл, что в городе не будет оппозиции, а вы, я думаю, нуждаетесь в ней не меньше других. Вот мы пораскинули умом и решили пойти к Дон Кихоту, попросить его быть нашим депутатом.

Газл. От всего сердца рад буду, если кто из вас повесит на свой дом мою вывеску и станет его кормить. У меня за ним уже изрядный должок.

Мэр. Вы излишне осторожны, мистер Газл. По-моему, и сомневаться не приходится, что он очень богат. Только притворяется бедным, чтобы ему выборы подешевле обошлись. С какой еще стати ему среди нас оставаться? И он наверняка собирается выступить от придворной партии.

Газл. Ну, понятное дело, уж если он выступит, так от придворной партии. Он только и знай что говорит о королях, об императорах да императрицах, о принцах да принцессах.

Мэр. Ручаюсь, он и в армии служит, если толком разобраться.

Газл. И правда, он чертовски любит стоять на постое.

Избиратель. Но если, как вы говорите, он сам хочет быть нашим кандидатом, пусть себе. А станет скупиться — мы его выбирать не обещались.

Мэр. Друг мой олдермен *, я уже укорял вас за подобные рассуждения. Это попахивает взяткой. Я люблю оппозицию, потому что, не будь ее, человек, чего доброго, оказался бы вынужденным голосовать против своей партии. Между тем, приглашая джентльмена выставить свою кандидатуру, мы доставляем ему возможность тратить деньги во славу его партии. А когда обе партии выложат сколько могут, каждый честный человек будет голосовать, как ему подсказывает совесть.

Газл. Господин мэр говорит, как человек умный и честный, слушать его приятно.

Мэр. Да, да, мистер Газл, я никогда еще не отдавал голоса иначе как по убеждению. Я искренне рекомендую всем моим братьям думать об интересах сельской партии, но советую каждому из них печься прежде о городе, то бишь, о корпорации, и, конечно, первым делом о самом себе. И я не ошибусь, если скажу, что кто мне хорошо служит — и городу будет хорошо служить, а кто хорошо служит городу — хорошо послужит стране.

Газл. Вот оно что значит в Оксфорде побывать! Сам наш приходский священник лучше не скажет.

Мэр. Пойдем, хозяин, разопьем бутылочку за корпорацию. Не каждый год такой случай выпадает, так и воспользоваться им надо умеючи. Пошли!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Комната в гостинице.

Дон Кихот и Санчо.

Дон Кихот. Теперь ты вполне осознал, Санчо, сколь трудна и опасна жизнь странствующего рыцаря.

Санчо. Да и жизнь странствующего оруженосца, с позволения вашей милости.

Дон Кихот. Но доблесть — сама себе награда.

Санчо. Вашей милости, может, и по нраву такие награды, но я человек бедный, простой и, говоря по правде,

ничего не смыслю в подобных тонкостях. Без наград, которые я до сих пор получал, мне было бы куда легче. Конечно, островок недурно бы получить, да ведь, пока тебе кафтан шьют, и простудиться недолго. Вот ежели вы в силах пособить мне без больших хлопот, то осмелюсь попросить...

Дон Кихот. Ты знаешь, Санчо, я не откажу тебе ни в чем, что мне пристало пожаловать, а тебе принять.

Санчо. Если б ваша милость по доброте своей устроила мне гостиницу, из меня вышел бы редкостный хозяин. Уж очень это бойкое дело среди англичан!

Дон Кихот. Как мог ты пасть так низко, презренный?!

Санчо. Любой промысел, как я посмотрю, честней нашего, потому что, осмелюсь сказать...

Дон Кихот. Говори без страха. Я припишу это лишь твоему невежеству.

Санчо. Тогда скажу вам, сэр, что нас принимают здесь ни больше ни меньше как за двух помешанных.

Дон Кихот. Санчо, меня не трогает дурное мнение людей. Стоит только подумать, кто их любимцы, и у нас не будет причин искать их похвалы. Доблесть, Санчо, слепит им глаза, и они не смеют взирать на нее. Лицемерие — вот их божество. Не называют ли порою адвоката честным человеком? А ведь он за грязные деньги защищает злодея или собирает улики, чтобы погубить невинного! Разве дурно живется врачу среди тех, кто себе же на гибель оплачивает его невежество? Но к чему говорить о людях, самое ремесло которых — наживаться на чужой беде. Погляди на светских господ. Что олицетворяет собой знатный человек, если не пороки, нищету, страдания прочих людей? Они сами знают это, Санчо, но не стремятся стать лучше, каждый лишь пытается опорочить соседа. К славе поднимаются, топча и попирая других. Богатство и власть приходят к одному ценою гибели тысяч. Таковы те, о ком люди хорошего мнения. И когда они отдают притворную дань добродетели, двигает ими лишь надменное презрение к ближнему своему. Что такое человек доброй души? Не тот ли, кто, видя друга в нужде, кричит о своем сострадании?.. В этом ли истинная доброта? Нет! Будь он добр, он помог бы ему. Его жалость оскорбительна, в ней скрыто унижение. Она порождена гордостью, а не сочувствием. Пусть называют меня безумным, Санчо,— я не столь безумен, чтобы искать их похвалы.

Санчо. Эх, и славно у вашей милости выходит! Я готов лишний час без еды обойтись, только бы ваших речей послушать.

ЯВЛЕНИЕ 2

Комната в гостинице.
Газл, Дон Кихот, Санчо.

Газл. Мэр города пришел навестить вас, если вашей милости будет угодно.

Дон Кихот. Проси. *(К Санчо.)* Это правитель города; наверно, он явился поздравить меня с прибытием. Мог бы и пораньше прийти. Впрочем, пренебрежение долгом все же лучше полного его забвения. А ты, Санчо, отправляйся скорей в Тобосо, и да сопутствует тебе удача.

Санчо *(в сторону)*. Со мною ей не придется утруждать себя долгим путешествием.

ЯВЛЕНИЕ 3

Мэр, Дон Кихот.

Мэр. Покорнейший слуга вашей милости.

Дон Кихот. Рад вас видеть, сэр. Вы, очевидно, правитель города?

Мэр. Да, с позволения вашей милости. Я мэр этого города. Я бы раньше доставил себе удовольствие посетить вас, если б знал, с какой целью вы сюда прибыли.

Дон Кихот. Прошу садиться, сэр. Вы достойный человек и, к чести вашей должен сказать, первый, кто исполнил свой долг со дня моего прибытия.

Мэр. За весь город я не ответчик, но корпорация наша исполнена такого же воодушевления, как любая корпорация в Англии, и, разумеется, высоко ценит честь, которую вы ей оказали. Человек не знает своих сил, пока не испытал их, и, что бы там ни толковали о Рыцаре Большой Мошны, если вы перед ним не спасуете, ручаюсь за успех.

Дон Кихот. Есть ли на свете рыцарь, который устрашил бы меня? Будь у него не меньше рук, чем у Бриарея *, и глаз, чем у Аргуса *, я не испугаюсь его.

Мэр. Ну, тут не о том речь. *(В сторону.)* Что он такое плетет?

Дон Кихот. Я понимаю причину ваших опасений: вы прослышали о недавней моей неудаче. *(Вздыхает.)* Моей вины тут нет.

Мэр *(в сторону)*. Видно, он где-то уж провалился... Я ни в коей мере не виню вас, сэр. В подобных делах ничего не сделаешь без обильной утечки.

Дон Кихот. Как! Вы думаете, я боюсь пролить свою кровь?

Мэр. Не горячитесь, сэр! Уверяю вас, это обойдется вам дешевле, чем всякому другому. Я полагаю, сэр, вы в состоянии оказать кое-какие услуги нашему городу.

Дон Кихот. Можете в этом не сомневаться. Ради вас я защищу его от любого бесчестья. Ни одна армия не причинит вам ни малейшего вреда.

Мэр. Поверьте, сэр, это будет вам лучшей рекомендацией. Если вы сумеете избавить нас от постоев, у нас дело сладится. Но, я надеюсь, ваша честь примет во внимание, что город очень беден. Некоторая циркуляция денег среди нас была бы...

Дон Кихот. Я огорчен, сэр, что сейчас не в моей власти удовлетворить любое ваше желание. Но пусть это вас не тревожит. Года не пройдет, как я сделаю губернатором острова любого, кого вы пожелаете.

Мэр *(в сторону)*. Это придворный. Ясно по посулам.

Дон Кихот. Но кто же тот рыцарь, с которым я должен сразиться? Он сейчас в замке?

Мэр. Да, сэр, он в замке Лавлендов, в своем поместье, не более как в десяти милях отсюда. Здесь он был всего за день до вашего прибытия в город: ехал к одному знакомому рыцарю, и сотен шесть фригольдеров * за ним следом.

Дон Кихот. Хм! В Испании о таких солдатах мне что-то не приходилось слышать. Какое у них вооружение?

Мэр. Как это «вооружение», сэр?

Дон Кихот. Ну — карабины, мушкеты, копья, пистолеты, шпаги или что еще? Я ведь должен выбрать подходящее оружие, чтобы биться с ними.

Мэр. Ха, ха, ха! Вашей милости угодно шутить! Что ж, по правде говоря, сэр, они были здорово на взводе, когда уходили из города. У каждого в голове шумела целая батарея.

Дон Кихот. Подлые трусы! Поддерживать свой дух вином! Будьте покойны, сэр, через два дня ни одного из них не останется в живых.

Мэр. Боже упаси, сэр! Среди них есть честные джентльмены, не хуже других в нашем графстве.

Дон Кихот. Как? Честные? И в свите Рыцаря Большой Мошны? Не он ли обольститель дев, притеснитель сирот, обиратель вдов, совратитель жен...

Мэр. Кто? Сэр Томас Лавленд, сэр? Да вы его не знаете! Это на редкость добрый и обходительный джентльмен.

Дон Кихот. Так зачем же вы побуждаете меня стать его соперником?

Мэр. Ну, это дело совсем особого рода. Пусть себе будет обходительным, сколько ему угодно, а деньги у одного не хуже, чем у другого. Вы ведь тоже как будто джентльмен обходительный, и, если выступите против него, еще неизвестно, кто выиграет. Но вы, конечно, понимаете, что кто больше потратит, тот и на успех может рассчитывать.

Дон Кихот. Как, негодяй! Неужто ты думаешь, что я удостою своей защиты сборище торгашей? Если службой своей я не добьюсь у этих людей избрания, разве деньги сделают

меня их рыцарем? Что, кроме невзгод, опасностей, неустанных забот и козней злых волшебников, доставила бы мне защита этого города и замка? Прочь с глаз моих! Иначе — клянусь бесподобным взором Дульсинеи! — ты кровью своей заплатишь за оскорбление, нанесенное моей чести. Того ли ради сенат единодушно избрал меня покровителем Ламанчи? О боги! До чего же пал род человеческий! Ныне не только хлеб насущный, но и почести, каковые должно воздавать одной лишь добродетели, покупаются за деньги!

ЯВЛЕНИЕ 4

Другая комната.

Сквайр Баджер, Скат (его егерь) и Газл.

Баджер. Ату, мои милашки, ату! Найдется у тебя в доме, с кем время провести, хозяин? Какой-нибудь славный парень, чтоб выпить был не дурак?

Газл. Эх, благородный сквайр, жаль, что немного раньше не сказали. Мистер Пермат, офицер, сейчас только с квартиры съехал. Вашей милости он бы очень по нраву пришелся — на редкость компанейский малый.

Баджер. Значит, нет никого, черт подери?

Газл. Ни одного постояльца в доме, сэр, кроме молодой леди со служанкой да одного сумасшедшего с оруженосцем, как он себя величает *.

Баджер. Оруженосцем? Как его зовут?

Газл. Оруженосец... чертовски трудное имя, никак не могу запомнить... Оруженосец Панчо-Санчо... Так, кажется.

Баджер. А кто он — виг или тори?

Газл. Не знаю, сэр, кто он такой. Они с хозяином пробыли в моем доме целый месяц, и я просто ума не приложу, что с ними делать. Жалею только, что не отправились они ко всем чертям еще до того, как я их увидел,— и хозяин и оруженосец!

Баджер. А что у него за хозяин?

Газл. Да я и не знаю, который из них хозяин. Иногда думаешь один, а иногда — другой. Сам-то я лучше стал бы оруженосцем: этот и спит дольше и ест больше. Он все равно что борзая в доме: только оставь съестное — не успеешь спохватиться — уже слопал. А с этого рыцаря за разбитые стекла больше причитается, чем за еду. Эх, кабы мне от него избавиться! А то посадит вас ни с того ни с сего во дворе — «замок охранять», говорит; а я все боюсь, как бы он дом не ограбил, если удобный случай выпадет. Говорить начнет — добрую половину не разберешь: все о великанах, замках, королевах, принцессах, волшебниках, колдунах да разных дульсинеях. Попутешествовал, видать, на своем веку!

Баджер. Чудной, собака! Пойди засвидетельствуй ему мое почтение и скажи, что я рад буду завести с ним знакомство. Ступай!

Газл. Боюсь, он не в слишком хорошем настроении; ему только что крепко досталось!

Баджер. Ну, ступай, ступай, зови его. Здесь найдется для него отличное лекарство. А ты, Скат, усаживайся да спой эту песню еще разок.

Скат
(поет).

Мы платим врачам за опасные смеси,
Что вылечат двух, а погубят десятки;
На дюжину хватит у доктора спеси,
Спасти одного — не хватает ухватки.

Но есть с давних пор
Целебный раствор,
Он вылечит сразу любые болезни,
И душу и тело,—
Лишь выпей умело:
Чем больше ты выпьешь, тем будет полезней.

Когда ты обманщиком денег лишен,
Бутылка кларета восполнит потерю.
Коль сам ты смошенничал,— тоже лишь он
Поможет тебе в свою честность поверить.

Красотки нету —
Хлебни кларету,
Излечит души и кармана болезни!
Вверх, вниз бюджет,
Хоть лги, хоть нет,
Чем больше ты выпьешь, тем будет полезней.

ЯВЛЕНИЕ 5

Дон Кихот, Газл, Скат и Баджер.

Дон Кихот. Доблестный и могучий рыцарь, считаю за честь целовать вам руки.

Баджер. Ваш слуга, сэр, ваш слуга. *(В сторону.)* Чертовски странная личность!

Дон Кихот. Встретить подобную персону — для меня нежданное счастье. Если я не ошибаюсь, вы Рыцарь Солнца либо Рыцарь Черного Шлема.

Баджер. Либо Черной Шапки, сэр, если вам угодно.

Дон Кихот. Сэр Рыцарь Черной Шапки, я рад встретить вас в этом замке и желаю вам успеха в славном приклю-

чении, которое из-за козней проклятых волшебников закончилось для меня неудачей.

Баджер *(в сторону)*. Вот шут гороховый! Какую чушь несусветную порет!

Дон Кихот. Знаете ли вы, сэр Рыцарь Черной Шапки о том, что этот бесчестный владелец замка заточил у себя принцессу, прекраснейшую во всей вселенной?

Баджер. Попал пальцем в небо!

Дон Кихот. Зачарованную... если я не ошибаюсь, волшебником Мерлином. Осмелюсь предположить, что целью вашего приезда было освободить эту принцессу?

Баджер. Да, да, сэр, уж я-то ее освобожу, будьте покойны! Прошу вас, сэр! Простите, сэр, смею ли осведомиться о вашем имени?

Дон Кихот. Среди моих странствующих собратьев я известен как Рыцарь Печального Образа.

Баджер. Сэр Рыцарь Печального Образа, не угодно ли вам присесть? *(Наливает вина.)* Прошу вас, сэр. Хозяин, придвинь стул. Давно ли в здешних краях, сэр Рыцарь Печального Образа?

Дон Кихот. Сэр Рыцарь Черной Шапки! Странствующему рыцарю не подобает следовать обычаю простых смертных, измеряющих время днями, которые они прожили, а не делами, которые свершили. Возможно, вы странствуете здесь дольше меня. Много ли рыцарей в этом королевстве?

Баджер. Им и числа нет! Тут вам и просто рыцари, и бароны, и рыцари лживой присяги, и рыцари большой дороги, и рыцари карточного стола.

Дон Кихот. О, это королевство может считать себя счастливым, если столько рыцарей стоит на страже его благополучия.

Баджер. А теперь давайте веселиться! Послушаем охотничью песню! Сэр, рад буду видеть вас в своем поместье. Ну-ка, Скат, затягивай!..

Скат
(поет).

Едва занялся неба край,
И светом мрак разбит,
Как своры гончих слышен лай,
Охотник в рог трубит.
На зверя мы пойдем.

Жена не хочет со двора
Так рано отпустить:
«Сегодня дождь и снег с утра —
Куда тебе идти?»
На зверя мы пойдем.

Пусть лес и глух и нелюдим,
Настигнем мы лису.
Тебе я, цел и невредим,
Добычу принесу.
На зверя мы пойдем.

Лишь конь оседлан — шпоры в бок,
И по полю летим.
Кто скачки выдержать не мог,
Свалился по пути.
На зверя мы идем.

Затравлен зверь, и мы домой
Спешим к закату дня;
Свой день закончим трудовой,
Стаканами звеня.
Мы пировать пойдем.

Баджер. Ха, ха, ха! Сэр Рыцарь Печального Образа, вот она, жизнь большинства наших английских рыцарей.

Дон Кихот. Охота — занятие достойное мужчины и неплохое развлечение. Но обязанность странствующего рыцаря избавлять человечество от зверей иного рода — не от лисиц.

Баджер. За Доротею, самую прекрасную женщину в мире! *(Пьет.)*

Дон Кихот. Как, негодяй! И ты смеешь говорить это в моем присутствии, запамятовав, что на свете есть бесподобная Дульсинея?! Немедленно проси прощения! Признайся, что Дульсинея прекраснее твоей дамы, или судьба твоя станет страшным уроком всем рыцарям, которые посмеют усомниться в несравненности сей божественной леди.

Баджер. Плевать мне на вас, сэр! Плевать! Не боюсь я вас, черт подери! Зубы твои в глотку тебе вобью, мерзавец! *(Замахивается на Дон Кихота.)*

Газл. Чтоб он сдох! А ну его, дорогой сквайр!

Дон Кихот. Ага, вывел я тебя на чистую воду, самозванец! Благодарю тебя, несравненная леди, что не позволила мне осквернить руки своей низкой кровью этого лжерыцаря!

ЯВЛЕНИЕ 6

Дон Кихот, Санчо, сквайр Баджер.

Санчо. О сэр, я как раз искал вашу честь. У меня для вас такие новости...

Дон Кихот. Приготовься к бою, Санчо, и сию же минуту задай хорошенько этому оруженосцу!

Санчо. Миледи Дульсинея, сэр...

Дон Кихот. Была оскорблена, была унижена клеветническим языком этого оруженосца, объявившего себя рыцарем.

Санчо. Сэр, но...

Дон Кихот. Если ты хочешь пробыть в живых еще хоть мгновение, не произноси ни слова, прежде чем этот негодяй не отведал твоего кулака.

Санчо. Что ж, сэр, если вся и речь только об оплеухе-другой — я готов от чистого сердца. Терпеть вас не могу, проходимцев-сквайров!

Баджер. Я тебя сначала одной рукой двину, а потом обеими. Да я таких могу дюжину отколотить! Я не я, если не отделаю тебя как следует!

Сбрасывают кафтаны.

Санчо. А может, и нет, дружочек сквайр, может и нет! Ругают — только жизни прибавляют. Брань на вороту не виснет, пар костей не ломит. Иные сами в бой идут, а домой их волокут. Сердца золотник пудов жира стоит. Костоправу с мертвеца взятки гладки. Под скрипку-то оно спокойней плясать, чем под барабан, хоть и славы меньше. Человек с головой и мирное время в солдаты пойдет, а война грянет — в проповедники.

ЯВЛЕНИЕ 7

Миссис Газл, сквайр Баджер, Санчо.

Миссис Газл. Ах вы, чертово отродье, что это еще затеяли?! Убирайтесь со своим хозяином из моего дома, карманники вы эдакие... Надеюсь, сэр, ваша милость не будет на нас в обиде?

Баджер. Отойди, отойди, хозяйка! Уж и отделаю я его!

Санчо. Пошли во двор! Так я вас и испугался!.. Дайте мне только разойтись!!!

Миссис Газл. Убирайся отсюда, мерзавец, убирайся, [illegible] живо на тот свет отправлю! Я научу тебя, как с по[illegible] драться, негодяй! Я тебе задам, я тебе [illegible]

[illegible] 8

[illegible] Баджер.

[illegible] джентльмен подвергся оскорблению, сэр. Что послужило причиной драки?

Баджер. Надеюсь, вы не странствующий рыцарь, сэр?

Фейрлав. Сэр!?

Баджер. Я говорю, сэр: надеюсь, вы не странствующий рыцарь?

Фейрлав. Вы шутите, сэр?

Баджер. Э, сэр, вы бы тоже от души посмеялись, когда бы видели, что мне увидать довелось. Остановился здесь один полоумный, чудней я в жизни не встречал! Он собирался вышибить мне мозги за то, что я хотел выпить за здоровье своей возлюбленной.

Фейрлав. Быть может, это ваш соперник, сэр?

Баджер. Погодите! А может, и правда? Как мне сразу в голову не пришло! Верно, это тот самый сукин сын Фейрлав, о котором мне говорили!

Фейрлав. Что?

Баджер. Провалиться мне на месте! Это он! Как пить дать он! Странный же у вас вкус, мисс Доротея, скажу я вам!

Фейрлав. Вы не в Лондон, сэр? Я буду рад вашему обществу.

Баджер. Нет, сэр, мне езды всего пятнадцать миль и в другую сторону.

Фейрлав. Очевидно, вы направляетесь к сэру Томасу Лавленду?

Баджер. Так вы знаете сэра Томаса, сэр?

Фейрлав. Мы с ним накоротке.

Баджер. Вашу руку, сэр! Вы честный малый, могу поручиться. Так вот, сэр, я собираюсь влюбиться в дочь сэра Томаса.

Фейрлав. Вам не избежать этого, сэр, когда вы ее увидите. Это самая привлекательная женщина в мире.

Баджер. И притом поет, как соловей! Это очень приятное качество в жене. Знаете, чем больше она будет петь, тем меньше разговаривать. А есть ведь такие, которым в женщинах ум нравится, черт подери! Впрочем, лишь потому, что у них своего не хватает. Для рассудительного мужчины ничего нет страшней слишком умной жены. *(Поет.)*

Как злато для скряги — так в девушках ум:
Немало хлопот он супругу задаст,

Фейрлав.

Не в золоте дело! Дурак толстосум
Из золота пользу извлечь не горазд.

Баджер.

Уж ум-то наставит
Рога вам наставить —
За прелести эти цена дорога.

Фейрлав.

Но ум их и скроет.
А коль вы в покое,
На вас будет трудно заметить рога.

ЯВЛЕНИЕ 9

Фейрлав, сквайр Баджер, Джон.

Джон. Сэр, сэр!

Фейрлав. Ну, что еще?

Джон что-то шепчет ему.

Как! Уже здесь?

Джон. Я видел ее, сэр, честное слово!

Фейрлав *(в сторону)*. Я счастливейший из смертных! Прощайте, дружище!

Баджер. А разве мы не выпьем?

Фейрлав. В другой раз, сэр; сейчас мне некогда. *(Джону.)* Держи ухо востро, Джон, я тебя оставляю со своим соперником. Прочее тебе ясно. О Доротея, какое очарование в этом имени!

ЯВЛЕНИЕ 10

Джон, сквайр Баджер, потом Дон Кихот.

Баджер. Послушайте, сударь, как зовут вашего хозяина?

Джон. Хозяина, сэр?

Баджер. Ну да, как зовут вашего хозяина?

Джон. Откуда вы взяли, что у меня есть хозяин? Думаю, вам не очень бы по нраву пришлось, спроси я имя вашего хозяина. Или я так мало похож на джентльмена, что нуждаюсь в господине?

Баджер. О, прошу прощенья, сэр. Ваше платье ввело меня в заблуждение, сэр.

Джон. Это бывает. У вас в деревне, а по правде сказать — и у нас в городе, джентльмен и лакей одеваются до того похоже, что иной раз их и не различишь.

Баджер. Значит, сэр, вы только знакомый этого джентльмена?

Джон. Мы с ним попутчики.

Баджер. Могу я узнать, как его зовут, сэр?

Джон. О сэр, его зовут... его зовут сэр Грегори Навуходоносор. Он богатый еврей, а родился он в Италии, в городе Корко *, а теперь едет в Корнвол, чтобы вступить во владение маленьким поместьем — тысяч на двадцать годового дохода. Это имение оставила ему на днях любовница одного голландского купца, с которой у него была интрижка. Он, сэр, пользуется всеобщим уважением в бомонде.

Баджер. В бомонде! Скажите на милость, что это такое?

Джон. Бомонд, сэр,— это все равно что все самые важные люди вместе. Когда говорят: «Он принадлежит к бомонду», то имеют в виду человека вроде меня.

Баджер. Надеюсь, вы простите невежество деревенского сквайра?

Джон. О сэр, мы, люди бомонда, охотно извиняем невежество!

Дон Кихот *(за сценой)*. Прочь, негодяй! Не думай, проклятый великан, что тебе еще удастся когда-нибудь привести сюда хоть одну пленную принцессу.

Баджер. Эй! Что там случилось?!

Кучер *(за сценой)*. Да откройте же, наконец, ворота! С ума, что ли, все посходили?!

Дон Кихот. Если вы допустите их в замок, милорд, это дорого вам обойдется!

Джон. Такой шум, будто стоишь возле Оперы во время ридотто *.

ЯВЛЕНИЕ 11

Миссис Газл, Джон, сквайр Баджер.

Миссис Газл. Бога ради, джентльмены, помогите нам! Этот помешанный Дон Кихот разорит мое заведение: он ни одному дилижансу не дает въехать во двор. Милые, дорогие джентльмены, усовестите вы его!.. О, чтоб глаза мои никогда его не видели!

Джон. Я слишком джентльмен, чтоб оставить даму в беде. Пойдемте, сэр.

Баджер. Сперва вы, сэр. Не такой уж я неотесанный.

Джон. О дорогой сэр!

ЯВЛЕНИЕ 12

Дон Кихот, вооруженный до зубов, с копьем в руке, Санчо, Газл, сквайр Баджер, Джон, миссис Газл.

Кучер *(за сценой)*. Если вы сию же минуту не откроете ворота, я еду в другую гостиницу.

Бриф *(за сценой)*. Я на вас акт составлю! Вывеску у вас сниму!

Газл. Джентльмены, у меня сумасшедший во дворе! Дадите вы мне открыть ворота или нет?

Дон Кихот. Отвори, и я покажу тебе, что не нуждаюсь в укрытии! Отвори, говорю тебе! Вы увидите, на что способен один-единственный рыцарь!

Миссис Газл. Дорогие джентльмены, неужто никто мозги ему не вышибет?

Джон. Вот смешной, собака! В жизни другого такого не видывал.

Баджер. Пока у него в руках эта штука, нам не о чем с ним разговаривать. А то, чего доброго, она у меня в кишках очутится.

Газл *(кучеру)*. Эй, ворота открыты!

Дон Кихот. О несравненная принцесса Дульсинея!.. *(Выбегает.)*

Кучер *(за сценой)*. Но, но, удалые! Тронули!

Санчо и другие покидают сцену.

ЯВЛЕНИЕ 13

Миссис Газл, Бриф, доктор Дренч, мистер Сник, миссис Сник, мисс Сник, служанка с канделябром.

Миссис Сник. Не бойся, дорогой, опасность миновала!

Мистер Сник. Все благодаря мне, дорогая. В хорошеньком бы мы очутились положении, если б не вышли из кареты, как я посоветовал.

Бриф. Скажи мне, милая, что это за человек, который учинил подобный беспорядок?

Миссис Газл. Ах, дорогой господин советник, я до смерти перепугалась. Это, верно, сам дьявол. И никак мне его из дому не выжить!

Бриф. Как, разве поблизости нет мирового суда? Вам надлежит обратиться к мировому судье. Правосудие располагает надежными средствами против подобного рода людей. Я сам займусь вашим делом. Доктор Дренч, вы не знаете, где находится ближайший суд?

Дренч. При чем тут суд? Этот человек помешан; медицина здесь больше к месту, чем закон. После ужина я сам за [illegible] примусь.

[illegible] Сник. Я полагаю, мистер Сник, вам бы следо[illegible] на кухню посмотреть, что мы можем получить [illegible]

[illegible] моя дорогая. *(Уходит.)*

[illegible] воздух этих дюн возбудил и мой [illegible] испуга, сударыни? Мне ка[illegible] не повредил бы глоток сердечной настойки, что всегда у вас в кармане.

Миссис Сник. Вы шутник, господин советник. Пойдем, дочка.

Миссис Газл. Пожалуйте, сударыни!

Женщины уходят.

ЯВЛЕНИЕ 14

Мэр, Бриф, доктор Дренч, Дон Кихот, сквайр Баджер, Джон.

Баджер. Шерш, шерш, ату его! Провалиться мне на этом месте, здорово он карету гонит! Куда там хозяину с кучером за ним поспеть!

Дон Кихот *(входит)*. Славные и знатные лорды, я счастлив поздравить вас с освобождением, которым вы обязаны лишь несравненной Дульсинее. Для себя я не жду никакой награды и желаю лишь, чтоб вы оба немедленно отправились в Тобосо и пали к ее ногам.

Дренч. Бедняга! Бедняга! Его надо уложить в постель. Я применю все нужные средства. Тяжелый случай помешательства. Надеюсь, впрочем, мы сумеем его излечить.

Бриф. Помешательство?! Жульничество! Этот молодец — прохвост; он не более помешан, чем я. Кучер с хозяином могут возбудить против него в суде очень серьезное дело.

Дон Кихот. Санчо, проводи этих принцев в самые богатые и прекрасные покои. Славные принцы, владетель сего замка — волшебник. Но пусть это вас не тревожит. Все силы ада не причинят вам вреда. Я сам буду стоять на страже всю ночь, оберегая вас, а утром, надеюсь, вы отбудете в Тобосо.

Дренч. Гален * называет этот вид помешательства френабракум.

Бриф. Милорд Коук * относит подобных людей к числу обыкновенных мошенников.

Дренч. Я пропишу ему кровопускание, промывание, рвотное, слабительное, вытяжной пластырь и банки.

Бриф. Против него можно возбудить уголовное дело, а также предъявить ему иски за оскорбление действием, причиненные убытки и за нарушение прав владения. Короче говоря, будь у него даже пять тысяч фунтов, после суда не останется ни пенса. Но не кажется ли вам, доктор, что нам пора к нашим дамам?

Уходят.

Баджер. Знаете, мистер Кихот, кого вы называли принцами?

Дон Кихот. Я полагаю, что один из них — принц Сарматии, а другой — принц Пятигорья.

Баджер. Один — адвокат, а другой — врач.

Дон Кихот. Чудовищное чародейство! В какие нелепые существа преображает этот Мерлин величайших из людей. Но странствующее рыцарство ему все-таки не одолеть! *(Уходит.)*

Джон. Ха, ха, ха! Ну и смешной, собака!

Баджер. Если вы не возражаете против бутылочки крепкого, приятель, она к вашим услугам.

Джон. От всей души, сэр. Боюсь только, что в этом доме хорошего шампанского не достанешь.

Уходят.

Санчо. Ну как, путь свободен? Где это, черт возьми, запропастился мой помешанный хозяин? Да, он помешан, это ясно. Последнее приключение все сомнения рассеяло. Ах, бедный Санчо, что с тобой станется? Не разумнее ли будет присмотреть себе нового хозяина, пока у тебя еще кости целы? А все-таки не позволяет мне сердце старого покинуть, ну хоть пока не получу того маленького острова. Только вдруг получу его, да опять потеряю, как прежнее губернаторство? Нет уж, коли я дорвусь когда-нибудь до острова, так поступать стану, как другие мудрые губернаторы: без удержу буду грабить; и сколочу состояние — пускай себе выгоняют, если угодно. (*Пост.*)

К проделкам склонен род людской,
У всех обычай воровской
В Испании, повсюду.
И, чтоб обмана избежать,
Пришлось бы в горы убежать
Или устроить чудо.
Крадут хозяин со слугой,
И лгут кухарка с госпожой,
Бедняк, лакей
И богатей.
И, может быть, из ста людей
Один найдется не злодей [1].

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ 1

Комната в гостинице.
Фейрлав, Доротея, миссис Газл.

Фейрлав. Поверьте, вы получите возмещение за все убытки, причиненные вам героическим рыцарем и его оруженосцем.

Миссис Газл. Сразу видно, что вы достойный джентльмен, сэр. Ваше слово для меня стоит больше, чем все, что он мне должен.

Доротея. Но скажите, пожалуйста, миссис Газл, где вы достали это чудесное платье, в котором должна появиться миледи Дульсинея?

Миссис Газл. С месяц назад, сударыня, приезжали

[1] Перевод Д. Самойлова.

сюда комедианты. Больше двух недель пробыли, всё свои представления показывали. Не знаю, как это получилось, только господа не больно-то их ласково приняли,— вот они в конце концов и сбежали все, кроме королевы. Ну уж с нее-то я все наряды сняла! Больше мне нечем похвастаться. По всем их счетам ни гроша не получила.

Доротея. Ха, ха, ха! Бедная королева! Бедная странствующая принцесса!

Миссис Газл. Пусть себе странствует хоть к чертям на кулички, сюда бы не ездила! По мне, хоть кого принимать, лишь бы не актеров и странствующих рыцарей! Уверяю вас, сударыня, пятидесяти фунтов не хватит, чтоб возместить мои убытки. И представляете себе, ваша милость, ведь помимо всего прочего, она еще в долг у меня взяла двадцать шилингов — на гром и молнию *.

ЯВЛЕНИЕ 2

Джезабел, Санчо, Фейрлав, Доротея, миссис Газл.

Доротея. Взгляните на несравненную принцессу! Ха, ха, ха! Да я со смеху помру! Ха, ха, ха!

Санчо. Батюшки, да она настоящую Дульсинею в краску вгонит! Такой важной и разодетой дамы во всем Тобосо не сыщешь.

Фейрлав. Уведомили вы рыцаря о скором прибытии его возлюбленной, мистер Санчо?

Санчо. Да, сэр. И, скажу вам, дорого это могло мне стать! Только сказал я ему, он как обхватит меня, да так крепко, что, я думал, из меня и дух вон. Не иначе, как принял меня за саму миледи Дульсинею.

Доротея. Но почему на вас сапоги со шпорами, мистер Санчо? Вы собрались в путешествие?

Санчо. Да, сударыня. Как вашей милости известно, мне было приказано съездить за миледи Дульсинеей. Что ж, пришлось мне поскакать на кухню и битых полчаса гарцевать с хлыстом и в сапогах со шпорами вокруг филея для ростбифа. Потом вернулся я к хозяину, который стоял, опираясь на копье, глядел на звезды и взывал к своей тобосской леди, словно одержимый. Только он увидел меня: «Санчо,— говорит, да таким голосом, будто из большой пушки выстрелил,— когда же ты соберешь, наконец, свою котомку? Когда отправишься в Тобосо?» — «Да ниспошлет небо благословение на вашу милость и да сохранит оно вас в здравом рассудке, отвечаю. Ведь я только сейчас оттуда. И, право, будь у вас в костях хоть вполовину такая ломота, верно не сомневались бы, что порядком поездили».— «Ну, Санчо, значит ты путешествовал силой волшебства».— «Не знаю, какой там силой я путешествовал, знаю только, что милях в пяти отсюда повстречал миледи Дульси-

нею».— «Неужели!» — вскричал он, да как подпрыгнет; я уж думал, он сейчас через стену перескочит. «Да, отвечаю, мне ли не знать ее милость. Кто у позорного столба стоял, тот знает, из какого он дерева. Женщине, что по улицам ходит, положено знать — мощеные они или немощеные».

Джезабел. Надеюсь, он не позволит себе никаких вольностей?

Санчо. Этого вашей милости нечего бояться! Присягнуть готов: он так обожает вашу милость, что и за сотню фунтов не подойдет к вам ближе чем на ярд. Он ведь из самых благовоспитанных господ и знает свое место.

Джезабел. Стоит ему только прикоснуться ко мне, и упаду в обморок.

Санчо. Коли вашей милости угодно, я провожу вас в такое место, откуда вы хорошо рассмотрите моего хозяина, а сам пойду подготовлю его еще немножко к вашему прибытию.

Миссис Газл. Так и быть, погляжу на это представление. И, право, я начинаю сомневаться, кто из моих гостей самый помешанный.

ЯВЛЕНИЕ 3

Фейрлав, Доротея.

Доротея. Подойдем к окну посмотрим, что будет.

Фейрлав. Как может моя Доротея думать сейчас о таких глупостях?

Доротея. Если б я застала вас здесь по приезде, я вряд ли бы все это затеяла. Да и чем повредит нам эта шутка?

Фейрлав. Не лучше ли нам немедленно бежать? Кто знает, может быть вас преследуют? Я вздохну с облегчением, лишь когда вы станете моей и никто не сможет вас отнять у меня.

Доротея. Еще успеем утром. Я приняла меры, и меня до той поры не хватятся. Да и то, что, не получив моего письма, вы все-таки очутились здесь, это, по-моему, такая удача, что я не сомневаюсь в счастливом исходе нашего предприятия. Вы способны сделать меня счастливой, Фейрлав, но могу ли я верить, что это всегда будет вашим желанием? Когда я размышляю о вашем былом легкомыслии, разве нечего мне опасаться?

Фейрлав. Злая! *(Поет.)*

Коль с правды ты сбросишь завесу,
Во мне ты найдешь не повесу.
Пусть мне предлагают принцессу,
Я слышать о ней не хочу!

Доротея.

Пусть принц волочится за мною,
Прельщая несметной казною,

Его я не стану женою,
К тебе я в объятья лечу!

Фейрлав.

Ласкать без конца мою Долли —
Нет в мире завидней доли.
Тобой любоваться вволю —
Прекраснее нету наград!

Доротея.

Я так тебе, милый мой, рада,
Что мне и богатства не надо!
Не надо бесценного клада —
Ты сам мой бесценный клад! [1]

ЯВЛЕНИЕ 4

Слуги со свечами, за ними сэр Томас и Газл.

Сэр Томас. Как дела, хозяин? Торговля, видно, бойко идет?

Газл. Не плохо по нынешним временам, с позволенья вашей милости.

Сэр Томас. Лучшие времена не за горами: скоро выборы.

Газл. Да, кабы нам каждый год выборы, можно было бы как-нибудь свести концы с концами.

Сэр Томас. Раз в год! Ах ты бессовестный, да ведь тогда в целом королевстве недостало бы нам солода. Лучше скажи, кто у тебя в доме? Есть кто порядочный? А?

Газл. Остановились сейчас у меня адвокат Бриф и доктор Дренч, мистер Сник с женой и еще какой-то сквайр Баджер из Сомерсетшира.

Сэр Томас. Да ну! Немедленно передай ему мое почтение и скажи, что я буду очень рад его видеть.

Газл. Слушаюсь, сэр, как прикажет ваша милость. *(Уходит.)*

Сэр Томас *(вслед Газлу)*. Этот малый не так прост, как кажется. Одно слово — жулик! Но до выборов нужно с ним ладить... А на своего будущего зятя я давненько мечтаю взглянуть. С таким поместьем он завидная партия для моей дочери! Надобно только, чтоб он хоть немного ей приглянулся. Впрочем, если мне правильно его описали, мыслимое ли дело, чтоб он ей не понравился?

---

[1] Перевод Д. Файнберг.

ЯВЛЕНИЕ 5

Сэр Томас, сквайр Баджер, Газл, Джон.

Газл. Вот и сквайр, ваша честь.

Сэр Томас. Ваш покорнейший слуга, мистер Баджер, добро пожаловать в нашу деревню! Я позволил себе, сэр, выехать вам навстречу, чтобы лично проводить вас к своей дочери.

Баджер. Вы, должно быть, сэр Томас Лавленд?

Сэр Томас. К вашим услугам, сэр.

Баджер. Тогда жаль, если уж к тому дело шло, что вы и дочку с собой не прихватили.

Сэр Томас. Ха, ха! Вы, оказывается, весельчак, сэр!

Баджер. А как же, сэр! Вы бы и сами немало потешились, если б попали к нам в компанию. Милорд! Черт побери, где же милорд? Черт побери!.. Сэр Томас, милорд Слэнг — один из самых развеселых людей, какие только бывают на свете. Он мне кучу таких историй порассказал!..

Джон. О сэр... вы такой обходительный джентльмен... прямо смутили меня совсем... Ваш покорнейший слуга, сэр Томас.

Сэр Томас. Этому лорду, верно, не по средствам держать слугу, вот он сам и носит свою ливрею.

Баджер. Жаль, милорд, вы не рассказали сэру Томасу, какая у вас приключилась история с этой герцогиней, как ее там... Ах, черт возьми! Презабавная история!.. Про то, как на маскараде они повстречались в темноте и она сунула ему в руку письмо, и как он потащил ее в ба...

Джон. В баню, в баню.

Баджер. Ну да, в баню! Провалиться мне, сэр, но, если б я некоторым образом не имел чести быть женихом вашей дочери, я бы отправился с милордом в Лондон, где женщин, говорят, — что кроликов в садке! Знай я прежде, как люди живут, стал бы я думать о женитьбе! Да и кто захочет жениться, коли, как милорд рассказывает, мужчина может заполучить ваших важных леди потому лишь, что носит расшитый кафтан, прет напропалую да отвешивает поклоны!

Сэр Томас. Я полагаю, сэр, моя дочь не будет принуждать вас к женитьбе.

Баджер. Принуждать меня! Надеюсь, что нет, черт побери! Посмотрел бы я, как это женщина сможет меня к чему принудить! И коли на то пошло, сэр, не боюсь я ни вас, ни вашей дочери.

Сэр Томас (*в сторону*). Парень, видать, большой дурак, да жалко терять поместье... Вы не так поняли меня, сэр. Я хотел сказать, что вам не придется жаловаться на недостаток любезности ни с моей стороны, ни со стороны моей дочери.

Баджер. Если со мной любезны, сэр, я тоже умею быть любезным. Что ж, названый тестюшка, как вы насчет

стаканчика веселящего? Послушаете кстати, какие милорд истории рассказывает.

Сэр Томас. Одну бутылочку, сквайр, но не более того.

Баджер. Ладно, ладно, можете уйти когда вздумается. Мы с милордом и вдвоем хорошая компания. Прошу вас, милорд, вы сперва! Не подумайте, что я тонкого обращения не знаю. *(Уходит.)*

Сэр Томас. Щеголь, подающий надежды! Но поместье у него изрядное, а от земли я не собираюсь отказываться. Пусть себе остается, каким хочет.

ЯВЛЕНИЕ 6

Двор.

Дон Кихот, Санчо.

Дон Кихот. Как ты думаешь, далеко еще от замка передовые отряды?

Санчо. Сэр?

Дон Кихот. Но, возможно, она предпочла путешествовать инкогнито и ради скорости оставила это проклятое, бесполезное, неповоротливое войско — своих конных телохранителей — на расстоянии месяца или двух пути. Сколько экипажей ты насчитал?

Санчо. Право, сэр, их было столько, что не перечесть. Могу побожиться, с чертову дюжину по меньшей мере!

Дон Кихот. Санчо, перестанешь ли ты когда-нибудь унижать великое своими грубыми сравнениями? До коих пор будешь ты испытывать мое терпение? Воздержись от своего низкого сквернословия, недостойный оруженосец, когда говоришь о несравненной и бесподобной принцессе! А если будешь продолжать, клянусь мощью этой непобедимой длани...

Санчо. Пощады! Пощады! Пусть только я когда еще обижу вашу милость или отпущу шуточку насчет миледи Дульсинеи...

Дон Кихот. Продолжай свой рассказ! Какие рыцари сопровождали ее?

Санчо. От них исходил такой блеск, сэр, что невозможно было отличить одного от другого. Издали они были ну совсем как стадо овец.

Дон Кихот. Ах, ты опять за свое!..

Санчо. Нет уж, сэр, если ваша милость не позволяет человеку говорить, как он привык, ему остается только язык прикусить. Не каждый в университетах воспитывался. Кому на ум взбредет требовать, чтобы мужик как придворный разговаривал? Грубые слова могут от доброго сердца идти. Сколько людей — столько голов, сколько голов — столько ртов, сколько ртов — столько языков, а сколько языков — столько и слов.

Дон Кихот. Прекрати свой поток дерзостей и скажи мне, там ли Рыцарь Черного Орла?

Санчо. Известное дело, там, сэр! И этот... Рыцарь Черного Барана тоже. Скачут себе рядышком, сэр, ни дать ни взять две молочницы на рынок. А за ними торжественно движется в своей карете миледи Дульсинея с пятью дюжинами фрейлин. Сердце радуется, на них глядя! А она совсем как...

Дон Кихот. Как молочно-белая голубка среди стаи ворон.

Санчо. Точь-в-точь новая полукрона в куче старых медных фартингов!

ЯВЛЕНИЕ 7

Буфетчик со свечой, Бриф, Дон Кихот, Санчо.

Буфетчик. Вот сюда, сэр! Только ступайте осторожней!

Дон Кихот. Она приближается! Уж факелы появились в воротах! Великий Фалгоран спешился. О желаннейший из рыцарей, позволь мне обнять тебя!

Бриф. Руки прочь, приятель, а то я живо тебя упеку куда следует. Ты что, грабить меня собрался?

Дон Кихот. Возможно ли, чтоб могучий Фалгоран не узнал меня?!

Бриф. Тебя-то? Думаю, не в твоих интересах, чтоб тебя опознали. Имей в виду, приятель: за такие переодевания тебя ничего не стоит под Черный акт * подвести. Уж будь покоен, я тебя хорошенько обработаю! Все что можно из этого акта извлеку! Славное обвиненьице состряпаю!

Санчо. Смотрите, сэр, вон сама миледи Дульсинея.

Бриф. Посвети, парень! Надо бы возбудить дело против местного судьи за то, что он не карает таких молодцов согласно закону

ЯВЛЕНИЕ 8

Дон Кихот, Санчо, Джезабел.

Дон Кихот. О блистательнейшая и могущественнейшая принцесса, каким взором мне смотреть на вас? Какими словами благодарить вас за бесконечную доброту к вашему недостойному рыцарю?

Джезабел. Встаньте, сэр!

Дон Кихот. Не подавляйте меня чрезмерной добротой! Видеть вас — уже неизреченное счастье. Но ваше присутствие здесь тревожит меня. Этот замок зачарован, обожаемая принцесса, в нем обитают лишь великаны да знатные пленницы.

Джезабел. Будь я уверена в вашем постоянстве, я не испытывала бы страха. Но, увы, на свете столько вероломных мужчин! *(Поет.)*

В июле девица гуляла одна,
Бродила по рощам беспечно.
Была молода и прекрасна она
И встретила парня, конечно.

Он крепко руками ее обвил
И клялся любить ее вечно.
Она не забыла, а он позабыл
Июльский день быстротечный [1].

Дон Кихот. Да падет вечное проклятие на головы этих вероломных негодяев!

Джезабел. Может, и вы сначала будете постоянны, но, когда мы проживем вместе много лет и у нас будут дети, пожалуй вы также покинете меня и разобьете мне сердце.

Дон Кихот. Скорее нарушится порядок вещей во вселенной, исчезнут бесследно честность, честь, добродетель... нет — само странствующее рыцарство, эта квинтэссенция всего сущего!

Джезабел. Если б я всегда оставалась юной! Но, увы, когда-нибудь я состарюсь, и вы покинете меня ради молодой девушки. Я знаю, все мужчины таковы, все любят молоденьких. Недаром вы поете:

Девушка мила,
Пока не знает зла,
Противны ей корысть и ложь.
Прочтешь в ее глазах
Желание и страх
И счастье с ней вдвоем найдешь.
Пусть дама похитрей
Пленит тебя скорей,
Но ей цена, поверь мне, грош.
Девушка мила,
Пока не знает зла,
Противны ей корысть и ложь [2].

Дон Кихот. О божественная принцесса, чей голос неизмеримо слаще соловьиного! Не чаруй более слух мой столь дивной мелодией, или восторг окажется для меня чрезмерным!

---

[1] Перевод Д. Файнберг.
[2] То же.

ЯВЛЕНИЕ 9

Дон Кихот, Санчо, Фейрлав, Доротея, Джезабел.

Доротея. Заступитесь, блистательный рыцарь, заступитесь за несчастную принцессу, которой вы один способны оказать покровительство. Меня преследует могучий великан!

Дон Кихот. О моя обожаемая Дульсинея! Если вам самой нечего приказать вашему рыцарю, позвольте ему совершить этот подвиг!

Джезабел. Вы ничем не обяжете меня больше!

Санчо. А меня — меньше. О, черт бы побрал все эти великанские приключения! Теперь-то уж все мои кости будут переломаны. Я отдал бы руку или даже обе, чтоб спасти остальное, от чистого сердца бы отдал! А впрочем, может удастся улизнуть и все сохранить?

Дон Кихот. Пойди сюда, Санчо! Встань впереди и прими на себя первый натиск неприятеля! А пока великан будет целиться тебе в голову, я улучу момент и отсеку его собственную.

Санчо. Эх, сэр! Зря я, видать, был странствующим оруженосцем, коли не научился ничему лучшему, как соваться вперед хозяина! К тому же, сэр, всякому свое: я последний человек в начале боя, зато сущий дьявол в конце.

ЯВЛЕНИЕ 10

Джон, Фейрлав, Дон Кихот, Доротея, Джезабел.

Джон. О сэр, мы пропали, погибли! Сэр Томас в гостинице! Вы обнаружены, и он спешит сюда с полутора сотней людей — отнять у нас госпожу Доротею.

Фейрлав. Знаем, знаем!

Дон Кихот. Пусть он приведет сюда столько же тысяч, я докажу, что им не осилить одного-единственного рыцаря!

Фейрлав. Десять тысяч раз спасибо, славный рыцарь! Клянусь небом, я умру рядом с вами, прежде чем отдам ее!

Дон Кихот. Ныне, обожаемая Дульсинея Тобосская, придай мне силы своим лучезарным сиянием!

Сэр Томас (*за сценой*). Где моя дочь, злодеи?! Где моя дочь?!

Дон Кихот. А, это ты, проклятый великан Тергиликомбо! И слишком хорошо знаю твой голос! Трепещи, негодяй!

Доротея. Дорогая Джезабел, я сама не своя от страха! Или погибнет Фейрлав, или отец! Знаю, как мне поступить: брошусь между ними и, пусть это грозит мне гибелью, положу конец их схватке!

Джезабел. Поступайте, как решили. А я тем временем отправлюсь в спальню и прикончу бутылочку, которая у меня там припасена. Поверьте, я и сама до смерти напугана!

ЯВЛЕНИЕ 11

Санчо (один).

Санчо. Ну и неразбериха! Кому там башку расшибут, не знаю, только уж теперь не Санчо. Ловко я вывернулся!.. А все же не выбраться мне из этой драчливой страны таким целым, как я сюда попал. Останется здесь несколько фунтов бедного Санчо! Вот, выходит, всего и проку от английской говядины и пудинга! Эх, уж лучше мне снова очутиться в Испании! Я начинаю думать, что этот дом, или замок, в самом деле заколдован. Еще, чего доброго, в нем сам дьявол поселился! С тех пор как мы сюда въехали, потасовкам конца нет. У меня уже не те кости, что две недели назад, и не на тех они местах. А что до моей шкуры, то по расцветке ей радуга в подметки не годится. Она похожа... На что она похожа? Ни на что не похожа, разве только на кожу моего хозяина. А вам, хозяин мой милый, ежели достается, то, прямо скажу, поделом. И коли вас хорошенько вздуют — что ж, не за зря! Что нам до этой принцессы, пропади она пропадом?! К тому же я уверен: она такая же принцесса, как я. И кой толк в чужие дела соваться? На хлеб не заработаешь, за других отдуваясь. А чтоб удобного случая не упускать, отправлюсь-ка я в кладовую и, пока они там колотят друг друга по башкам, набью себе брюхо и котомку до отказа.

ЯВЛЕНИЕ 12

Сэр Томас, Доротея.

Сэр Томас. Смотри, бесстыжая девчонка! Смотри, к чему привело твое проклятое увлечение!

Доротея. Вот причина моего несчастья. Если Фейрлав погибнет, моя жизнь кончена.

Сэр Томас. Да ему и впрямь лучше погибнуть. Я его так отделаю, что весь остаток своей жизни он уж никому не приглянется.

Доротея. На коленях молю вас, сэр!.. Заклинаю всей нежностью, какую вы когда-либо питали ко мне, всей радостью, что, по вашим словам, я вам доставляла, всей болью, которую я сейчас терплю,— не старайтесь повредить Фейрлаву! Какую бы кару вы на него ни обрушили, тяжесть ее падет на меня. Разве мало вам, что сердце мое обливается кровью? Разве мало вам отнять у меня того, кто мне дороже зеницы ока? Лишить меня блаженства, о котором я так мечтала? Внемлите моей мольбе, сэр, или убейте меня, но не превращайте в проклятье жизнь, дарованную мне вами!

Сэр Томас. Оставь меня, ты мне не дочь!..

Доротея. Что ж, разлучите нас, только пусть он будет счастлив! Это утешит меня, когда я останусь одна. Я могу

отказаться от счастья с ним, но не в силах быть равнодушной к его страданиям. Живи он во дворце, я примирилась бы со своим тягостным одиночеством, но если он окажется в тюрьме, ничто на свете не удержит меня вдали от него.

ЯВЛЕНИЕ 13

Газл, миссис Газл, сэр Томас, констебль, Дон Кихот, Фейрлав, Джон.

Газл. Наконец-то, с позволенья вашей милости, удалось нам забрать этого помешанного. Но он причинил нам такие убытки, что никогда не сможет их возместить.

Миссис Газл. Наше заведение разорено дотла. Ни одного целого окна в доме! Кучер дилижанса клянется, что никогда больше не завезет сюда постояльцев. Мисс Сник лежит наверху в обмороке, мистер Сник, бедный, плачет, а миссис Сник ругается и топает ногами, как драгун.

Сэр Томас. Вы за это ответите, мистер Фейрлав! А что до этого бедного малого, так, надо думать, вы его наняли. Послушай, любезный, сколько ты получил с джентльмена за этот содом?

Дон Кихот. Что ж, пользуйтесь властью, пока ваше время не прошло! Я вижу, этот подвиг предуготован не мне, и я вынужден подчиниться волшебству

Сэр Томас. Ты что, издеваешься надо мной, негодяй?..

Дон Кихот. Ничтожный! Я не унижу себя ответом на твои оскорбления.

Сэр Томас. Я тебе покажу, кто я такой!

Дон Кихот. Неужели ты полагаешь, что я не узнал тебя, великан Тергиликомбо? Но, хоть я и покорился своей участи, не думай, что я тебя боюсь. Придет твой час, и я увижу, как ты падешь жертвой другого рыцаря, к которому судьба будет более благосклонна.

Сэр Томас. Я тебе покажу рыцаря, собака! Я тебе покажу!

Миссис Газл. Слыхал, муженек? Надеюсь, ты не станешь больше сомневаться, что это помешанный? Он даже его милость ставит не выше какого-нибудь скрипача.

Газл. Как бы мне хотелось, чтоб ваша милость отправили его в замок. Вид у него чертовски подозрительный. Я только и вздохну с облегчением, когда он очутится под замком.

Фейрлав. Сэр Томас, я не заслужил от вас подобного обращения. И хотя любовь к вашей дочери до сих пор связывала мне руки, не заходите слишком далеко. Поверьте, вы за это ответите.

Сэр Томас. Ничего, сэр, мы не из пугливых!

ЯВЛЕНИЕ 14

Сквайр Баджер, сэр Томас, Доротея, Фейрлав, Дон Кихот, миссис Газл.

Баджер. Ого-го! Что это стряслось с вами со всеми? Или в этой гостинице сам черт поселился? Вы человеку и поспать не дадите! Я так было сладко заснул на столе, словно на перине. В чем дело? Черт побери, где милорд Слэнг?

Сэр Томас. Дорогой сквайр, не лучше ли вам сейчас отправиться в постель? Вы немного разгорячились от вина.

Баджер. Эвона что, сэр! Не хотите ли вы сказать, что я пьян? Заявляю, сэр, я трезв, как судья, и если кто говорит, что я пьян, сэр, то он лжец и сукин сын! Попробуй-ка теперь, дружище, сказать, что я не трезв!

Доротея. О мерзкий, грязный негодяй!

Баджер. Святой Георгий! Славная девчонка! Дай-ка я ее поцелую... Могу поручиться, что она вдвое красивее моей будущей жены.

Сэр Томас. Постойте, дорогой сэр, ведь это моя дочь!

Баджер. Плевать мне, чья она дочь, сэр!

Доротея. Бога ради, защитите меня от него!

Фейрлав. Пустите, негодяи! Ах ты мерзавец! Лучше тебе проглотить свои собственные пальцы, чем дать волю рукам!

Сэр Томас. Дорогой мистер Баджер, это моя дочь, молодая леди, относительно которой у вас определенные намерения.

Баджер. Ну так что ж, сэр? А разве сейчас у меня нет никаких намерений?

Сэр Томас. Позвольте просить вас, сэр, проявлять их не столь грубо.

Баджер. Слушай, ты знаешь, кто я такой? Если б знал, не стал бы так со мной разговаривать! Поговори еще, дождешься у меня!.. Пойдемте, сударыня! Раз уж я обещал на вас жениться и раз уж нельзя, как говорят, уйти с честью, так чем быстрей — тем лучше. Пошлем за священником, да и дело с концом. У меня подходящее настроение, черт возьми! Вижу, нехитрая это штука — любовь крутить, ежели приняться хорошенько. Мне еще ни разу в жизни не случалось в любви объясняться, а как гладко выходит! Словно специально обучался.

Дон Кихот. Сэр, одно слово, с вашего позволения! Я полагаю, вы считаете себя человеком разумным...

Сэр Томас. Что?

Дон Кихот. Считаете, что сами способны устраивать свои дела и не нуждаетесь в наставнике...

Сэр Томас. А?..

Дон Кихот. Но если это верно, как могло случиться, что

вы предпочли последнего негодяя — джентльмену, чьи способности и наружность сделали бы честь лучшему из лучших?

Сэр Томас. Он нанял вас адвокатом? Передайте ему, что я умею разобраться, что больше — одна тысяча дохода или три.

Дон Кихот. Обычное безумство рода человеческого! Ради себя или ради нее выдаете вы дочь замуж? Если ради нее, то поистине остается загадкой, как можно осчастливить ее, сделав несчастной? В подобных делах не следует забывать о деньгах, но обычно родители думают о них слишком много, а влюбленные слишком мало. Брак бывает счастливым, если супруги живут в любви и достатке. И одно, сколь бы обильно оно ни было, плохо восполняет отсутствие другого. Даже с миллионом годового дохода эта скотина не станет для вашей дочери милее, чем ее возлюбленный, у которого всего тысяча.

Сэр Томас. Кто это? Философствующий сводник? Нельзя не признать, что в его словах есть доля правды.

Доротея *(Баджеру)*. Я вечно буду испытывать к вам отвращение.

Баджер. Послушайте, сударыня, я могу понять шутку или что-нибудь в этом роде, но если вы всерьез...

Доротея. Да, серьезно. Я всей душой ненавижу и презираю вас!

Баджер. Вот как! Тогда можете поцеловать... Черт побери!.. Я умею ненавидеть не хуже вас! Ваша дочь меня оскорбила, сэр... как вас там, и я требую удовлетворения!

Дон Кихот. О, если б только меня расколдовали!..

Баджер. Я требую удовлетворения, сэр!

Сэр Томас. Моя дочь, сэр...

Баджер. Ваша дочь, сэр... сукин сын, сэр! Черт побери!.. Пойду сыщу милорда Слэнга. Кукиш вам с вашей дочерью. Требую удовлетворения! *(Уходит.)*

Дон Кихот. Турок христианскую рабыню и ту вряд ли выдал бы за подобного мужа!

Сэр Томас. В каком неверном свете представили мне этого человека! Ребята, отпустите пленника! Мистер Фейрлав, простите ли вы меня? Чем могу я загладить несправедливость, которую проявил в этом злосчастном деле?

Доротея
Фейрлав } Ах!

Сэр Томас. Если немедленное исполнение всех моих прежних обещаний заставит вас забыть о том, что я нарушил их, и если ваша любовь к моей дочери неизменна, в чем я, кажется, могу не сомневаться,— даю свое согласие завершить ее браком, когда вам заблагорассудится. Согласием моей дочери вы, повидимому, уже располагаете.

Фейрлав. О, счастье! О, благословенный миг!

Доротея. Я соглашусь на все, что может доставить ему радость!

Фейрлав
(поет).

К берегам родного края
Из чужих приплыв сторон,
Друг невесту обнимает.
За невзгоды,
Непогоды
Он стократно награжден.

Доротея
(поет).

А подружка истомилась,
Но теперь, забыв свой страх,
Снова к жизни возвратилась,
Вся во власти
Нежной страсти
У любимого в руках [1].

Миссис Газл. Дай бог им счастья! Надо иметь каменное сердце, чтоб разлучить их.

Дон Кихот. Вот плоды деяний странствующего рыцарства! Вот пример нашего замечательного служения человеческому роду! Видно, выпадают еще приключения и на долю Дон Кихота Ламанчского!

Сэр Томас. Дон Кихот Ламанчский! Возможно ли, что вы настоящий Дон Кихот Ламанчский?!

Дон Кихот. По правде говоря, сэр, чародеи доставили мне столько злоключений, что не берусь судить, остался ли я самим собой.

Сэр Томас. Сэр, я высоко ценю вас. Я слышал о ваших удивительных подвигах в Испании. Что привело вас в Англию, благородный дон?

Дон Кихот. Жажда приключений, сэр! Нет места, которое бы так изобиловало ими! Мне говорили, что здесь бессчетное множество чудищ, и я не обманулся в своих ожиданиях.

ЯВЛЕНИЕ 15

Дон Кихот, сэр Томас, Фейрлав, Доротея, Газл, миссис Газл, Бриф, доктор Дренч.

Бриф. Я потребую удовлетворения! Покуда существуют законы, королевские и мировые судьи, присяжные, коронная коллегия *, иски за убытки, иски на случай *, иски за наруше-

[1] Перевод Д. Файнберг.

ние прав владения или за оскорбление действием, я не позволю так обращаться с собой безвозмездно!

Сэр Томас. В чем дело, господин советник?

Бриф. О сэр Томас! Я оскорблен, избит, изранен, изувечен, изуродован, обезображен, растерзан на части, убит, зарезан и умерщвлен этим мерзавцем, грабителем, негодяем и злодеем! Я целую сессию не смогу появиться в Вестминстере *, а это верней верного — три сотни фунтов из моего кармана!

Дренч. Если сию же минуту этому умалишенному не пустят кровь, не дадут потогонного, рвотного, слабительного, не поставят ему банки и вытяжной пластырь — его уже не вылечишь. Мне хорошо знаком этот вид помешательства. Следующий пароксизм будет в шесть раз сильней!

Бриф. Ерунда! Этот человек такой же помешанный, как я. Для меня сущее разорение, если его признают non compos mentis [1]. Любой может симулировать сумасшествие ex post facto [2].

Дренч. Симулировать сумасшествие? Позвольте вам заметить мистер Бриф, что со мною это не пройдет! Я сужу по симптомам, сэр.

Бриф. Симптомы! Боже мой, да вот вам симптомы, если уж они вам понадобились!

Дренч. По-моему, явные симптомы умопомешательства.

Бриф. Очень мило, право! Очень милая теория! Очень, очень милая! Человек избивает другого, и его признают за сумасшедшего! Достаточно обвиняемому заявить, что он non compos mentis, и он будет оправдан. Выходит, искам за оскорбление действием — конец?!

ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Сэр Томас, повар, Дон Кихот, Санчо, Фейрлав, доктор Дренч.

Слуги тащат на сцену Санчо.

Сэр Томас. А это еще что такое?

Повар. Тащите, тащите его сюда! Эх, хозяин, не зря вы жаловались, что съестное у вас все время пропадает. Оказывается, всякий раз, чуть мы за порог, этот негодяй сразу в кладовую — брюхо себе набивать! Да если б только брюхо! Он еще все, что съесть не мог, запихивал в свой огромный мешок, который называет котомкой.

Дон Кихот. Ты позоришь звание оруженосца! До коих пор будешь ты срамить господина своими воровскими проделками?!

Санчо. Зачем так говорить, добрый мой хозяин?! Кто

[1] Не в здравом уме (*лат.*).
[2] Задним числом (*лат.*).

краденое принимает — не лучше вора. А вы, простите на грубом слове, не меньше моего рады были заглянуть в мою котомку после некоторых ваших приключений. Чума на ваши странствующие проделки, коли вы покидаете друга в беде!

Дон Кихот. Подлый раб! Негодяй!

Сэр Томас. Дорогой рыцарь, не сердитесь на верного Санчо. Вы же знаете, что, по законам странствующего рыцарства, набивать котомку всегда было привилегией оруженосца.

Санчо. Будь этот джентльмен странствующим рыцарем, я поступил бы к нему в оруженосцы.

Дон Кихот. Мой гнев утих.

Фейрлав. Не беспокойтесь, хозяин! Я позабочусь, чтобы вам уплатили за все убытки, причиненные мистером Санчо и его прославленным господином.

Сэр Томас. Если вы, благородный рыцарь, окажете моему дому честь своим присутствием на свадьбе моей дочери с этим джентльменом, мы сделаем все возможное, чтобы вы были довольны.

Дон Кихот. Я принимаю ваше приглашение, сэр, и останусь у вас до тех пор, пока этому не помешает какое-нибудь приключение.

Санчо. Ну и повезло же тебе, Санчо! Вот новость так новость! Мне бы только свадебные приключения, а все остальные — к чертям!

Дренч. Неужели вы пустите к себе в дом сумасшедшего, сэр Томас?

Дон Кихот. Я долго, сохраняя терпение, слушал, как ты бросал мне в лицо это слово, невежественный негодяй! Ибо чем я заслужил его более других людей? Кто усомнится в том, что шумный и хвастливый сквайр, который только что был здесь, безумен? И не в припадке ли безумия этот благородный рыцарь хотел выдать свою дочь за подобного негодяя? Вы, доктор, тоже безумны, хоть и не в такой степени, как ваши пациенты. Безумен и этот адвокат. Иначе он не вмешался бы в драку, когда его профессия — ссорить других, а самому оставаться в стороне.

Сэр Томас. Ха, ха, ха! Как бы этот рыцарь в конце концов не доказал, что все мы безумнее его!

Фейрлав. Быть может, это не так уж трудно, сэр Томас. *(Поет.)*

Род людской сошел с ума:
Тем дай место,
Тем — невесту,
Тот — расчетливость сама,
Этот деньгами швыряет.
А придворные глупцы
Верят плуту,
Сеют смуту.

Эти лезут нам в отцы,
Те на бунты подстрекают.

Доротея.

Стряпчих всех пора в Бедлам,
Нет в них чести,
Хоть повесьте,
Только зло приносят нам!
Мы, безумцы, им прощаем.
Не разумнее поэт,
Чем стяжатель
И мечтатель.

Фейрлав.

Женщин глупых полон свет,
Мы им цену набиваем.
Коль безумье — наш удел,
Каждый зритель
И ценитель
Полюбить уже успел
Дон Кихота из Ламанчи,
Полюбить уже успел
Хитреца и плута Санчо.

Конец

1734

ПАСКВИН*

Комедия-сатира на современность, представляющая собой репетицию двух пьес: комедии под названием «Выборы» и трагедии под названием «Жизнь и смерть Здравого Смысла».

*ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА**

Трэпуит — автор комедии.
Фастиан — автор трагедии.
Снируэлл — критик.
Актеры.
Суфлер*.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА КОМЕДИИ

Лорд Плейс
Полковник Промиз
Сэр Гарри Фоксчейз
Сквайр Танкард
} — кандидаты в члены парламента.
Мэр.
Олдермены.
Избиратели и другие.
Жена мэра.
Дочь мэра.
Мисс Ститч — дочь портного.
Слуги.
Толпа.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ТРАГЕДИИ

Королева Здравый Смысл.
Королева Невежество.
Файрбрэнд — жрец солнца.
Законник.
Медик.
Дух трагедии.
Дух комедии.
3-й дух.
Арлекин.
Прислужники Невежества.
Фрейлины и другие.
Офицер.
Гонец.
Барабанщик.
Поэт.

Действие происходит в театре.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Театр.

Входят актеры.

Первый актер. Когда же начнется репетиция?

Второй актер. Я думаю, мы вряд ли будем нынче утром репетировать комедию. Автора арестовали за долги, когда он шел домой из кофейни Кинга *. Говорят, он должен уплатить четыре фунта с чем-то, а где он их достанет?

Первый актер. Ну, а где же автор трагедии? У меня крупные роли в обеих пьесах, а уже одиннадцатый час.

Актриса. Я тоже участвую в двух пьесах, но роли у меня из рук вон плохие. В обеих не будет и семи строчек. Каково женщине с талантом играть такую ерунду! Все главные роли сейчас отдают миссис Мэрит. Но мы еще с ней поборемся! Пусть узнает весь город, как надо мной издеваются!

Первый актер. А вот и автор трагедии!

Входит Фастиан.

Фастиан. Джентльмены, ваш слуга! Леди, ваш покорный слуга! Я пришел бы раньше, если бы мне не пришлось развозить билеты некоторым знатным особам. Клянусь честью, меня ругают за то, что премьера все откладывается. Надеюсь, с ролями у вас все благополучно? Весь город прямо сгорает от нетерпения. На афишах можно будет указать: «Исполняется по особому желанию некоторых знатных леди. Премьера».

Входит суфлер.

Суфлер. Мистер Фастиан, придется отложить репетицию вашей трагедии. Джентльмена, который играет первого духа, все еще нет. К тому же он чертовски охрип и его не будет слышно даже в середине партера.

Первый актер. Может быть, его просто выкинуть из пьесы? Я боюсь, что он провалит спектакль.

Фастиан. Выкинуть призрак?! Да это один из главных персонажей в пьесе.

Суфлер. Тогда, сэр, вам придется передать эту роль кому-нибудь другому. Этот субъект так хромает, что не сможет проковылять и двух шагов.

Фастиан. В таком случае его придется нести на руках. Никто во всей Англии не сыграет роль призрака так, как он. Он рожден, сэр, быть призраком, он прямо создан для этой роли, и роль написана специально для него.

Суфлер. Ну, так с вашего разрешения, сэр, мы сперва прорепетируем комедию.

Фастиан. Да, да, пожалуйста, репетируйте сперва комедию, можете даже сыграть ее в первую очередь. Моей пьесы она не затмит ни в коем случае. Быть может, у автора и есть влиятельные друзья, но пьеса его — дрянь, бессмыслица, ерунда, каких свет не видывал. Публика не выдержит и трех актов... Ах, вот и он!

Входит Трэпуит.

Дорогой мистер Трэпуит, ваш покорнейший слуга! Вчера вечером прочитал вашу превосходную комедию. Она будет гвоздем сезона, и вы окажетесь на вершине славы.

Трэпуит. Я очень рад это слышать, сэр. Ваше мнение мне особенно ценно. Кто же, кроме вас, обладает таким вкусом и здравым суждением? Но, сэр, скажите, пожалуйста, почему актеры не начинают репетировать вашу трагедию? Честное слово, я так спешил, просто с ног сбился.

Второй актер *(в сторону)*. Так мы тебе и поверили!

Фастиан. В первую очередь будут репетировать вашу комедию, сэр.

Трэпуит. Прошу прощения, сэр, но трагедия всегда должна быть на первом месте.

Фастиан. Я и не отказываюсь от первенства, сэр. Но дело в том, что мой призрак заболел. А я ни за что на свете не стану рисковать его драгоценной жизнью.

Трэпуит. Вы совершенно правы, сэр, ибо призрак — это душа всякой трагедии.

Фастиан. Ну да, сэр; по-моему не мешает напомнить людям о том, во что в наши дни уже перестают верить. К тому же не так давно вышел закон, отменяющий ведьм *. Кто знает, может быть скоро выйдет закон, отменяющий призраки. Но слушайте, мистер Трэпуит, раз уж комедия репетируется в первую очередь, то давайте начинать.

Трэпуит. Да, да, очень рад! Скорей, скорей! Где же джентльмен, который произносит пролог? Этот пролог, мистер Фастиан, написал один мой приятель, который хочет посмотреть, будет ли он иметь успех на сцене.

Входит актер, произносящий пролог.

Идите сюда, сэр. Отвесьте публике глубокий поклон и постарайтесь выразить на лице самое глубокое почтение.

ПРОЛОГ

Как ловкий стряпчий, чтоб снискать успех,
Лавирует среди законов всех;
Иль как танцмейстер объясняет па,
Чтоб повторила новичков толпа;
Как тянущий мелодию скрипач
Или меняющий рецепты врач;
Как знахарь, что вам сто пилюль сует;
Как пекарь, что вам сто хлебов печет;
Как акробат, прыжкам забывший счет,—
Таков наш автор, драматург таков.
Чтоб вас развлечь, он не щадит мозгов.
Он вам расскажет множество историй;
Он вам покажет вигов, как и тори,
Произнесет свой беспристрастный суд
Всем партиям, как там их ни зовут.
Теперь мы пьесу поручаем вам...

Трэпуит. Ах, дорогой сэр, больше чувства, умоляю вас! Шагните на авансцене, низко поклонитесь, приложите руку к сердцу, глубоко вздохните и выньте носовой платок.

Теперь мы пьесу поручаем вам —
Партера всемогущим мудрецам.
Цените нашу пьесу, как хотите,
Но если будет скучно — не свистите:
Посмейтесь иль поплачьте, а потом,
Как надоест,— засните крепким сном! [1]

Очень хорошо, сэр, превосходно! Честное слово, вы меня просто растрогали!

Фастиан. Ручаюсь, что точно так же будет растрогана и публика.

Трэпуит. О сэр, вы чересчур снисходительны! Уверяю вас, мой собственный пролог был куда лучше, но раз уж этот достался мне бесплатно, я решил приберечь мой собственный для следующей пьесы. Сберечь пролог — это все равно, что написать новый, правда ведь, коллега Фастиан? Но, слушайте, где же наши актеры? Что, мэр и олдермены все еще сидят за столом?

Суфлер. Да, сэр; они требуют вина, а квакер * нам в долг больше ничего не отпускает из своего погреба.

Трэпуит. Да ну его! Неужели он не может подождать еще каких-нибудь два дня? Вот вам шесть пенсов, принесите две кружки портера. Налейте его в бутылку, и он отлично пойдет за вино.

---

[1] Все стихотворные переводы в этой пьесе принадлежат Б. Слуцкому.

Фастиан *(в сторону)*. Уж, верно, это вино будет такое же крепкое, как юмор в его пьесе!

Трэпуит. Мистер Фастиан, обратите внимание: моя пьеса начинается не так, как большинство современных комедий, где непременно выведено несколько персонажей только для того, чтобы сыпать остротами. По правде сказать, в моей пьесе очень мало, почти совсем нет острословия. Нет, сэр, моя пьеса следует принципам здорового юмора, верности природе и естественности. Она совершенно в духе Мольера. И я ручаюсь, что за исключением десятка-другого острот все шутки у меня вполне благопристойны. Но отойдем вглубь сцены, а то мы им помешаем. Мистер Фастиан, не угодно ли вам сесть рядом со мной?

На сцене появляются мэр и олдермены.

Фастиан. Скажите, пожалуйста, сэр, что это за фигуры?

Трэпуит. Сэр, это мэр города и его собратья; они обсуждают предстоящие выборы.

Фастиан. И все они принадлежат к одной партии?

Трэпуит. Да, сэр. Надо сказать, сэр, жители этого городка — народ благоразумный. У каждого из них есть веские основания поддерживать ту или другую партию. Господин мэр, вам начинать!

Мэр. Джентльмены, я собрал вас для того, чтобы выбрать достойных кандидатов в члены парламента от нашего города. Вам известно, что кандидатами придворной партии являются милорд Плейс и полковник Промиз. Кандидаты сельской партии — сэр Фоксчейз и сквайр Танкард. Все они достойные джентльмены, и я был бы счастлив, если бы мы могли избрать их всех четверых.

Олдермен. Но раз это невозможно, господин мэр, то, я полагаю, нам следует поддерживать своих соседей; мы можем всегда проверить их честность, потому как их поместья по соседству с нами, и ежели их кто-нибудь вздумает подкупить, мы это сразу же обнаружим.

Фастиан. Однако этот джентльмен, мистер Трэпуит, не так уж беспристрастен в своих суждениях!

Трэпуит. Ерунда, сэр! Должен же быть в пьесе хоть один дурак. К тому же я его вывел, чтобы противопоставить всем остальным.

Мэр. Господин олдермен, вы судите слишком односторонне: честные люди живут не только здесь. Человек, находящийся от нас на расстоянии ста миль, может быть так же честен, как и тот, кто живет в трех милях от нас.

Все *(кивая головой)*. Да, да, да.

Мэр. Кроме того, джентльмены, разве мы не должны испытывать бо́льшую благодарность к жителю столицы, который нам оказывает услуги, чем к какому-нибудь соседу, с которым

у нас давнишние счеты? Я уверен, джентльмены, что всякий из нас раз двадцать в год запросто ел и пил за одним столом с сэром Гарри. Ну, а я вот до сих пор еще никогда не видал и ничего не слыхал ни о милорде, ни о полковнике, а между тем они так любезны и обходительны со мной, как будто мы с ними старые друзья.

Первый олдермен. Да, они вежливые, воспитанные люди, что правда то правда. Но что, если они приведут к нам на постой солдат?

Мэр. Вы ошибаетесь, господин олдермен, это сельская партия приведет к нам целую армию. А если мы выберем милорда и полковника, ни одного солдата не будет у нас в городе. Но тсс! Вот идут милорд и полковник.

Входят лорд Плейс и полковник Промиз.

Плейс. Джентльмены, ваш покорнейший слуга! Мы с полковником решили утром пройтись для моциона и заглянули к вам.

Мэр. Вы, милорд, и вы, господин полковник, оказываете нам большую честь. Пожалуйста, садитесь, милорд. Полковник, прошу вас, садитесь. Подать еще вина!

Фестиан. Боюсь, мистер Трэпуит, как бы ваши актеры не перепились в первом же акте.

Трэпуит. Дорогой сэр, не прерывайте действия.

Плейс. Джентльмены, пью за процветание вашей корпорации!

Фестиан. Сэр, и я желаю того же их корпорации. Если позволите, я вместе с милордом подниму бокал за успех вашей комедии! *(Пьет.)*

Трэпуит. Дайте мне стакан. Сэр, желаю того же и вашей трагедии! Но не будем больше мешать актерам. Эта сцена насыщена юмором, и ни на секунду нельзя нарушать живую связь между шутками.

Мэр. Милорд, мы знаем, как много вы можете сделать для нашей корпорации, и мы не сомневаемся, что скоро почувствуем вашу заботу.

Плейс. Джентльмены, можете положиться на меня. Я сделаю все, что только от меня зависит. Я окажу вам ряд услуг, о которых в настоящий момент мне неудобно распространяться. А теперь, господин мэр, позвольте мне от всей души пожать вам руку.

Трэпуит. Прошу вас, господин актер, суньте деньги в ладонь мэра так, чтобы все видели, а не то публика не поймет соли этой шутки, а она одна из самых удачных во всей пьесе.

Плейс. Сэр, сидя за столом, я не могу сделать это так, чтобы все видели.

Трэпуит. В таком случае, джентльмены, встаньте из-за стола и выходите на авансцену. Те, которые играют мэра и

олдерменов, пусть выстроятся в ряд, а вы, милорд и полковник, подойдите к ним и давайте взятки не стесняясь, направо и налево.

Фастиан. И в этом состоит ваше остроумие, мистер Трэпуит?

Трэпуит. Вот именно, сэр, и эта шутка облетит все королевство.

Фастиан. Мне кажется, что полковник Промиз назван вами неправильно, потому что он как воды в рот набрал.

Трэпуит. Вы будете другого мнения, когда посмотрите пьесу до конца. Полковник сейчас слишком занят делом, чтобы разговаривать. К тому же, сэр, я уже вам говорил, что моя комедия ничуть не похожа на те пьесы, где много болтовни и мало действия. Ну, джентльмены, вы все уже получили взятку?

Все. Да, сэр.

Трэпуит. В таком случае, милорд и полковник, вам нужно уйти и освободить место для других кандидатов, которые будут также давать взятки.

Плейс и Промиз уходят.

Фастиан. В вашей пьесе, Трэпуит, нет ничего, кроме взяток?

Трэпуит. Сэр, моя пьеса — точное воспроизведение действительности. Надеюсь, публика оценит по достоинству мою пьесу в наши дни, когда еще не вышел билль против подкупа и взяток. Тогда моя пьеса будет больше не нужна. А сейчас, мистер Фастиан, я блесну перед вами драматическим искусством. Я изображу одно и то же различными путями. Дело в том, сэр, что я различаю два рода взяток — прямые и косвенные. Первые вы уже видели; сейчас я покажу вам образчик другого рода взяток. Господин суфлер, позовите сюда сэра Гарри и сквайра. Но что вы делаете, джентльмены? Сколько раз я вам говорил, что, как только кандидаты уйдут, вы должны снова сесть за стол и пить вино с глубокомысленным видом. Особенно глубокомысленный вид должен быть у вас, господин мэр.

Фастиан *(в сторону)*. Уж наверно ты сделаешь из него форменного дурака.

Мэр. Выпьем, друзья, за здоровье милорда и полковника. Плейс и Промиз — Выгодная должность и Обещание,— это неплохо! Говорят, будто придворные надменны в обращении. Что до меня, то никогда в жизни я не испытывал более приятного рукопожатия.

Трэпуит. Да, вы крепко пожали ему руку. Но при этих словах, сэр, пожалуйста, покажите золотые монеты на ладони.

Мэр. У меня их нет.

Трэпуит. Господин суфлер, потрудитесь достать ему несколько монет на время представления.

Фестиан. Ха, ха, ха! Честное слово, эти придворные здорово сыграли свою роль! Актеры превзошли автора. Этот подкуп с пустыми руками — вполне в духе придворных.

Трэпуит. Где же сэр Гарри и сквайр? Почему они не выходят?

Первый актер. Сэр, мы уже несколько раз посылали за мистером Саундвеллом, но он отказывается играть эту роль.

Трэпуит. Он прислал письменный отказ?

Первый актер. Да, вот его ответ.

Трэпуит. Пусть оба письма покажут публике. Но скажите, господин суфлер, кто же будет играть эту роль?

Первый актер. Сэр, мне эта роль так по душе, что я выучил ее наизусть в надежде когда-нибудь ее сыграть.

Трэпуит. Вы на редкость приятный молодой человек, и я очень рад этой замене.

Сэр Гарри. Ату! Пиль! Аппорт! Здоро́во, дружище Нэд! Как поживаете, мэр? О чем это вы так весело толкуете? Да ну, садитесь, садитесь. Мы со сквайром хватим с вами по кружечке. Итак, мэр, да здравствует свобода, собственность и никакого акциза! *

Мэр. За ваше здоровье, сэр Гарри!

Сэр Гарри. Как, вы не хотите поддержать мой тост, господин мэр? Не желаете пить за отмену акциза?

Мэр. Мне не по душе политические тосты, сэр Гарри.

Олдермены. Да, да, никаких политических тостов!

Сэр Гарри. Вот как, джентльмены? Ну, кажется, я вас рассмешил. Вас кто-то уже смазал... Но неужели вы способны продать свою родину? Откуда, вы думаете, придворные берут деньги для подкупов? У вас же самих. Тот, кто дает взятку, так же легко ее и берет. Хотите, чтобы ваши интересы добросовестно соблюдались? В таком случае добросовестно выбирайте кандидатов и голосуйте только за того, кто этого стоит. Что до меня, то я скорей подкупил бы свидетеля на суде присяжных, чем избирателя на выборах.

Мэр. Я вам верю, сэр Гарри.

Сэр Гарри. Кстати, господин мэр, я надеюсь, вам пришлась по вкусу оленина; помните, я вам прислал трех оленей?

Мэр. Спасибо, сэр Гарри. Но это было так давно, что я, по правде сказать, успел уже позабыть вкус оленины.

Сэр Гарри. Ну что ж, постараемся, чтобы вы припомнили. Завтра утром вам доставят еще трех.

Мэр. Как бы вам не перекормить нас олениной, сэр Гарри, это мясо такое сухое, просто беда!

Сэр Гарри. А мы постараемся смочить его вином, если только в этом городишке его можно достать... Господин олдермен Ститч *, ваш последний счет слишком скромен. Он вам

прямо в убыток. Пришлите мне, пожалуйста, еще полдюжины ливрей; мои слуги обносились до нитки. А вы, мистер Дамаск, разве перестали мне доверять, что прислали всего несколько ярдов шелка моей жене? Ей так понравился его рисунок, что она решила обить этим шелком свои комнаты. Пожалуйста, пришлите пока что сотню ярдов, потом понадобится еще. Мистер Тимбер и мистер Айрон, я вам также кое-что закажу...

Фастиан. Но ведь такого рода заказы более к лицу придворным, как вы полагаете, мистер Трэпуит?

Трэпуит. Продолжайте, продолжайте, сэр.

Сэр Гарри. Этот джентльмен все время нас прерывает... Ах да, вспомнил! Слушайте, мистер Тимбер, и вы, мистер Айрон, я вам также кое-что закажу; но будьте уверены, ваши счета будут быстро оплачены.

Трэпуит. Ну вот, вы сами видите, сэр,— разве это похоже на замашки придворных? Вы напоминаете мне наших новейших критиков, которые набрасываются на автора, не выслушав его до конца, не дождавшись ни одной его шутки.

Фастиан *(в сторону)*. Долго бы этим критикам пришлось ждать шуток в этой комедии.

Сэр Гарри. Я хочу сообщить вам, джентльмены, что решил снести свой старый дом и построить себе новый.

Трэпуит. Джентльмены, при словах «старый дом» вы должны встрепенуться. Сэр Гарри, пожалуйста, повторите еще раз свою реплику.

Сэр Гарри. Я хочу сообщить вам, джентльмены, что решил снести свой старый дом и построить новый. Господин мэр, кирпичи будете мне поставлять вы.

Мэр Вы в самом деле решили строить новый дом, сэр Гарри?

Сэр Гарри. Да, решил.

Мэр. Джентльмены, мне кажется, можно провозгласить тост мистера Гарри. Итак, да здравствует свобода, собственность и никакого акциза!

Все пьют и кричат «ура».

Сэр Гарри. Руку, мэр. Я ненавижу подкупы и взятки. Я говорю напрямик. Если все члены вашей корпорации устоят против взяток, то среди вас не будет ни единого бедняка.

Мэр. А если и попадется хоть один бедняк, значит так ему и надо. Лично я за все сокровища в мире не согласился бы голосовать против совести.

Трэпуит. Вы поняли эту шутку, сэр?

Фастиан. По правде сказать, нет, сэр.

Трэпуит. Ну как может человек голосовать против совести, когда ее нет у него и в помине?

Первый олдермен. Ну, джентльмены, все за Гарри Фоксчейза и Танкарда!

Все. Да здравствуют Фоксчейз и Танкард. Ура!

Сэр Гарри. Ну, теперь мы завернем на рынок, а потом — домой обедать.

Провозгласим же дружною гурьбой:
Свобода! Собственность! Акциз — долой!

Сэр Гарри, Танкард, олдермены и мэр уходят.

Трэпуит. Ну, как вам нравится эта песенка, сэр?

Фастиан. О, прелестно, сэр!

Трэпуит. Это конец первого акта, сэр.

Фастиан. Не могу не отметить, мистер Трэпуит, как оригинально вы трактуете образы полковника Промиза и сквайра Танкарда: ни тот, ни другой до сих пор еще не открыли рта.

Трэпуит. Не могут же все быть ораторами! Для каждой партии хватит и одного. Смею вас уверить, сэр, что и один сумеет полностью высказать все идеи и принципы своей партии.

Фастиан. Я думаю, сэр, все-таки надо показать публике, что они умеют говорить, хотя бы «да» или «нет».

Трэпуит. Публика уже знает это. Ведь если бы они не умели сказать ни «да», ни «нет», их бы не выдвинули кандидатами в члены парламента.

Фастиан. О, вы глубоко правы! Вы вполне убедили меня. Но скажите, сэр, в чем же заключается действие в вашей пьесе?

Трэпуит. Действие, сэр?

Фастиан. Да, сэр, фабула, интрига.

Трэпуит. О, я понимаю: вы спрашиваете, кто на ком женится? Как же, сэр, в пьесе имеется и свадьба. Я знаю законы комедии, согласно которым в финале непременно должна состояться свадьба.

Фастиан. И развитие действия в пьесе приведет в конце концов к свадьбе?

Трэпуит. Да, сэр.

Фастиан. Честное слово, сэр, я не понимаю, каким образом события, которые мы видели, могут привести к такому концу?

Трэпуит. Не понимаете? Да как же вам понять! Такова уж интрига в моей пьесе. Я полагаю, моя пьеса ничуть не похожа на те бездарные комедии, в которых с первого же акта ясно, кто на ком женится. Попробуйте-ка, сэр, догадаться, кто в пьесе жених и невеста, а в финале они — тут как тут! И заметьте, сэр, свадьба вызвана одним событием, к которому закономерно приводит развитие основной темы пьесы.

Фастиан. Да, это в самом деле удивительно.

Трэпуит. Сэр, не вас первого удивляют мои произведения. Но что случилось с нашими актерами? Кто начинает второй акт? Эй, суфлер!

Входит первый актер.

Первый актер. Сэр, суфлер вместе с актерами распивает чай в зеленой комнате *.

Трэпуит. Мистер Фастиан, пойдемте и мы выпьем по чашке чаю. *(Обращаясь к актеру.)* И вы с нами, сэр. Вы ведь участвуете в моей пьесе, так будем же пить чай все вместе.

Первый актер. О, я не решаюсь входить в зеленую комнату, сэр. Я получаю слишком маленькое жалованье. Я останусь без гроша, если туда войду.

Трэпуит. Вздор! Идем, идем! Ваша сестрица весьма достойная особа. Ее достоинств хватит и на вашу долю. Если вы пострадаете, уверяю вас, она сумеет возместить этот ущерб.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Входят Трэпуит, Фастиан, суфлер, лорд Плейс, жена мэра и дочь мэра.

Трэпуит. Вы, вероятно, думаете, мистер Фастиан, что я какой-нибудь кропатель комедий низкого жанра. Вы ошибаетесь, сэр. Сейчас вам будет показан образец утонченного светского разговора. Прошу вас, милорд, начинайте.

Плейс. Как вы думаете, мадам, сколько могут стоить эти кружева?

Фастиан. Нечего сказать, хорошенькое начало для светского разговора!

Трэпуит. В своей пьесе, сэр, я строго придерживаюсь истины. В этой сцене воспроизведено только то, что я слышал из уст самых блестящих представителей нашего общества. Эта сцена обошлась мне в десять шиллингов, я истратил их на билет в партере, чтобы побыть в так называемом высшем обществе.

Жена мэра. Я думаю, милорд, эти кружева стоят не менее десяти фунтов за ярд.

Плейс. Скажите, мадам, вы были на последнем маскараде?

Фастиан. На маскараде? Какого черта! Жена провинциального мэра будет вам разъезжать по маскарадам?! Как хотите, эти слова не соответствуют данному образу, мистер Трэпуит!

Трэпуит. В разговорах такого рода, сэр, всегда упоминают про балы и маскарады. Кроме того, почему бы этой жене провинциального мэра, как вы выражаетесь, не быть знакомой с городской жизнью? Да будет вам известно, что в молодости она была компаньонкой одной знатной леди.

Фастиан. Очень рад это слышать.

Жена мэра. О милорд! Не говорите мне об этих чудесных маскарадах! Вот уже целый год, как я прозябаю в этой

глухой дыре! Здесь нет никаких развлечений, кроме отвратительного балагана, где подвизаются бродячие комедианты. До приезда вашей милости мы не видели здесь ни одного настоящего человека. Да тут еще свалились на нас эти противные выборы! Как только они кончатся, я поеду немного поразвлечься в столицу.

Дочь мэра. Ах, мамочка, как мне хочется увидать этого чудного Фаринелло *, про которого говорят, что он не то мужчина, не то женщина, да вдобавок еще с ребенком! Затем я бы посмотрела канатных плясунов и акробатов, а в театре — «Пещеру Мерлина» *.

Фастиан. Судя по вкусам мисс, она получила утонченное светское воспитание.

Плейс. Меня очень радуют, мадам, деликатные вкусы вашей дочери, она умеет выбирать развлечения! Клянусь честью, она будет иметь большой успех в бомонде. Я не сомневаюсь, что вскоре какой-нибудь знатный джентльмен возьмет ее на содержание.

Дочь мэра. На содержание, милорд?

Плейс. Ах, как очаровательно наивное удивление юного существа, не знающего света! Но, дорогая мисс, в наши дни все порядочные люди или берут, или идут на содержание. Браки нынче не в моде и сводятся к простой торговой сделке, как в Смитфильде *. Но через каких-нибудь две недели супруги расходятся в разные стороны и каждый устраивается по своему вкусу.

Жена мэра. О милорд! Мне бы так хотелось, чтобы моя девочка научилась себя держать, как подобает молодой светской леди! Но, к сожалению, она не знает ни одного знатного джентльмена, который мог бы ее познакомить со светскими дамами.

Плейс. Вы сами должны это сделать, мадам. Вы должны держать открытый дом, приглашать гостей; у вас должны играть в карты и не стесняться ставками. А большую часть денег, которые будут выигрывать ваши гости, вы должны откладывать в особый ящик, как плату за карты. А на самом деле они пойдут на свечи, на платья, на квартиру — словом, на расходы по содержанию вашей семьи. Я знаю немало уважаемых леди в Лондоне, которые составили себе состояние таким образом.

Жена мэра. И подумать только! Как чудесно я могла бы жить! Дернуло же меня выйти за какого-то жалкого провинциального купца!

Фастиан. Если эта дама бывала когда-то в обществе, то как она может не знать подобных вещей?

Трэпунт. Черт возьми, вы правы! Я совершенно упустил из виду это обстоятельство. Со мной это бывает, я часто забываю всякие мелочи. Всего ведь не упомнишь, не правда ли? Ну

ладно, продолжайте, продолжайте! Я как-нибудь потом исправлю это место.

Плейс. В самом деле, мадам, ваша жизнь достойна сожаления. Я надеюсь, что вскоре у нас больше не будет купцов. От них ведь нет никакого проку. Если меня выберут, я добьюсь введения закона о прекращении всякой торговли в нашей стране.

Жена мэра. Да, милорд. К чему этим заниматься знатным особам, которые и так вполне обеспечены?

Фастиан. Опять! Боюсь, что супруга мэра не слишком-то знакома с образом жизни знатных особ. А ведь вы говорили, что она бывала в свете.

Трэпуит. Господи, боже мой! Как вы придираетесь, сэр! Не все ли вам равно, где она жила? Ведь от меня зависит заставить ее жить, где мне угодно! Допустим, она когда-то была компаньонкой знатной леди; но ведь ей вполне могли отказать от места через какие-нибудь полмесяца, а после этого где было ей видеть знатных особ? Продолжайте, продолжайте!

Плейс. Ах, мадам, когда я говорю «торговля», я имею в виду низменную, презренную, примитивную торговлю, которая под стать черни. Но существуют иные виды коммерческой деятельности, которыми могут заниматься и люди весьма достойные,— например, карточная игра, подкупы, голосование и долги.

Трэпуит. Ну, пора выходить слуге и шептать на ухо милорду.

Входит слуга.

Пожалуйста, сэр, следите за своими выходами.

Слуга уходит.

Плейс. Дорогие леди, я вынужден вас покинуть. Меня призывает спешное дело. Ваш покорнейший слуга. *(Уходит.)*

Жена мэра. Ах, какой достойный джентльмен!

Дочь мэра. Мама, а мне непременно нужно идти на содержание?

Жена мэра. Дитя мое, ты должна делать то, что теперь в моде.

Дочь мэра. Но я слышала, что это неприлично.

Жена мэра. Не может быть неприличным то, что делают знатные дамы. Обычно людей наказывают за дурные поступки. Знатных особ никогда не наказывают — значит, они никогда не делают ничего дурного.

Фастиан. Превосходный силлогизм! И как он вяжется с образом жены мэра!

Трэпуит. Пустяки, дорогой сэр! Что вам за дело до образа! Раз это хорошо сказано, то совершенно безразлично, кто это сказал! Но, слушайте, что же не входит пьяный мэр?

Входит мэр.

Мэр. Да здравствует свобода, собственность, долой акциз! Правильно, жена?

Жена мэра. Фу, грязное животное! Не подходи ко мне!

Мэр. А почему не подходить? Я за свободу и собственность! Не стану я голосовать за придворных!

Жена мэра. Ничуть не бывало! Ты будешь голосовать именно за них.

Дочь мэра. Ах, папа, неужели ты будешь голосовать за этих мерзких, вонючих тори?

Мэр. Что за черт! И вы тоже за этих придворных?

Дочь мэра. Ну конечно, я хочу добра своей родине. Я не желаю, чтобы над нами сидел папа римский *.

Мэр. А я не желаю получить целую армию на постой.

Жена мэра. А я так очень этого хочу, сэр! Когда военные в городе — это так интересно! Вы говорите, что вам дороги свобода и собственность, а на самом деле вы просто боитесь за своих жен и дочерей. Мне так нравится, когда военные маршируют по улицам нашего городка! Что ни говори, а наш город только выиграет от военных.

Мэр. Ты хочешь сказать, что женщины выиграют?

Жена мэра. Что делать, сэр,— вам придется считаться с желаниями женщин. Так и знайте! Милорд и полковник оказывают вам великую честь, соглашаясь быть избранными в парламент такой бандой грязных, грубых, неотесанных мужланов. Ах, если бы мы, женщины, имели право выбирать!

Мэр. Воображаю, кого бы вы там выбрали!

Жена мэра. О, мы выбрали бы достойных, красивых джентльменов. Во всей палате общин не было бы ни одного джентльмена без кружевного камзола.

Дочь мэра. Ах, какое бы это было изысканное, чудесное, прелестное зрелище! Мне так нравятся кружевные камзолы! Я соглашусь идти на содержание только к джентльмену в кружевном камзоле.

Мэр. Что ты сказала, дрянная девчонка? Повтори!

Жена мэра. А какое тебе дело до того, что она сказала?

Мэр. Как, сударыня, я не могу разговаривать со своей дочерью?

Жена мэра. Если она твоя дочь, то ты должен быть *мне* за это благодарен. Честное слово, если бы я только знала, что ты способен погубить свою семью, ни за что бы за тебя не пошла. Уж лучше бы ты угодил на виселицу!

Мэр. Это я-то погублю свою семью?

Жена мэра. Конечно, погубишь. Я говорила с лордом о тебе. Он обещал выхлопотать тебе выгодную должность, а ты вот отказываешься.

Дочь мэра. Ты должен принять эту должность, папа.

Жена мэра. Ты должен голосовать за милорда и полковника.

Дочь мэра. Они самые симпатичные...

Жена мэра. Самые обходительные...

Дочь мэра. Самые любезные люди на свете...

Жена мэра. И ты должен голосовать за них.

Мэр. Меня не подкупишь.

Жена мэра. Хорошая должность ничего не имеет общего с подкупом. Спроси-ка нашего пастора, он тебе скажет то же самое.

Мэр. А что это за должность?

Жена мэра. Не знаю, и лорд тоже пока еще не знает, но это будет замечательная должность.

Мэр. Пусть сперва скажет, что это за должность. Взяток я не беру, но я хочу знать, что это за должность. Да здравствуют свобода и собственность! Пусть скажут сперва, что это за должность. *(Уходит.)*

Жена мэра. Идем за ним, дорогая, посмотрим, как он будет голосовать: по-своему или по-моему...

Лукавством хвалится,— как он смешон!
Я докажу, что власть в руках у жен.

Трэпуит. На этом заканчивается второй акт.

Жена и дочь мэра уходят.

Мистер Фастиан, каждый акт моей пьесы имеет свою особую мораль, и она особенно ярко выражена в конце акта; поэтому я мог бы, подобно автору «Цезаря в Египте» *, снабдить каждый акт особым эпиграфом. Итак, первый акт, сэр, ясно говорит: «Все продажны, все подкупны!» Второй акт показывает, что все мы под властью юбки. Третий акт покажет... Но вы сами увидите, что именно он покажет. Входите, милорд, полковник и господа избиратели. Милорд, вы начинаете третий акт.

Входят лорд Плейс, полковник Промиз и несколько избирателей.

Плейс. Будьте спокойны, джентльмены. Я позабочусь обо всех вас. В ближайшее время все вы будете прекрасно устроены. В таможне и в акцизном управлении немало вакантных мест.

Первый избиратель. Не можете ли вы, ваша милость, устроить меня на службу во дворец?

Плейс. Конечно, могу. А какую должность вы бы хотели?

Первый избиратель. Нет ли какой-нибудь должности вроде пожирателя говядины *, сэр? Если вы, ваша милость, устроите меня на должность пожирателя говядины, то это будет как раз по мне.

Плейс. Сэр, будьте спокойны, я не забуду про вас.

Второй избиратель. Милорд, мне бы тоже хотелось попасть во дворец. Мне все равно, какая бы ни была работа, лишь бы я был хорошо одет, сыт и пьян.Хорошо бы мне попасть на кухню, либо в винный погреб. Я чертовски люблю белое вино!

Плейс. Белое вино, говорите вы? Ну, тогда вы сможете быть поэтом-лауреатом *.

Второй избиратель. Поэтом? Нет, милорд, какой я поэт, я не умею сочинять стихов.

Плейс. Это не имеет значения. Вы ведь сумеете написать оду?

Второй избиратель. Оду, милорд? А что это такое?

Плейс. По правде сказать, я и сам хорошенько не знаю. Но я уверен, что вы сможете быть придворным поэтом, даже не умея писать стихов.

Трэпуит. Теперь, милорд, отойдите в сторону, разговаривайте с избирателями, а то вы помешаете полковнику.

Фастиан. Слава богу! Наконец-то мы услышим полковника!

Промиз. Будьте спокойны, сэр, я сделаю для вас все, что смогу.

Фастиан. Честное слово, полковник недурно начинает, но, кажется, это уже было кем-то сказано.

Трэпуит. Ну что ж! Даже если бы я вывел в пьесе целую сотню придворных, все они говорили бы то же самое, и ни один из них не сдержал бы своего слова.

Третий избиратель. Прошу прощения, ваша милость, я читал в книге «Дневник Фога» *, что солдаты в полку у вашей милости все восковые. Я в свое время служил у мастера восковых кукол и был бы не прочь получить заказик на поставку солдат для вашей милости.

Промиз. Я вам это устрою, сэр.

Третий избиратель. А что, ваши офицеры тоже восковые? Я бы сумел их смастерить из самого лучшего воска.

Промиз. Нет, только полковой священник.

Третий избиратель. О, у меня как раз есть для него кусок замечательного черного воска!

Трэпуит. Видите, сэр, полковник умеет разговаривать на военные темы. До сих пор, мистер Фастиан, действие пьесы развивалось спокойно, а сейчас вы увидите бурную сцену. Где ваша толпа? Входите с двух сторон и начинайте тузить друг друга. Полковник, вам сейчас не надо сражаться, пожалуйста отойдите. А вы, гнилые избиратели, станьте поближе к своим лидерам. Встаньте вместе с полковником на середину сцены.

Толпа пытается ворваться на сцену.

Обождите, джентльмены! Понимаете, как только полковник уйдет, так вы и начнете драку. Милорд и полковник, стойте перед своими избирателями! Да ну же, ну же, ну! Пожиратель говядины, станьте позади милорда, а вы, специалист по солдатам, позади полковника... А теперь, господа, говорите...

Плейс и Промиз. Джентльмены, мы будем защищать ваши интересы.

Милорд и полковник со своими приверженцами поспешно уходят в разные двери. На сцене появляется толпа людей, выкрикивающих вразброд: «Долой охвостье!»—«Никаких придворных!»—«Долой якобитов!» *—«Долой папу!»—«Не хотим акциза!» — «Да здравствуют Плейс и Промиз!» — «Да здравствуют Фоксчейз и Танкард!» Начинается потасовка, дерутся кулаками и дубинками и, наконец, выталкивают друг друга со сцены.

Входят сэр Гарри, Фоксчейз, сквайр Танкард и мэр.

Сэр Гарри. Молодцы ребята, молодцы! Клянусь честью, нынче наша взяла!

Мэр. Да, сэр Гарри, кулаками-то мы всегда себе проложим дорогу! Если бы нам только удалось распустить армию, мы бы зажили на славу! Ей-богу, сэр, я выдержал из-за вас здоровую перепалку! Ваши противники сумели переманить на свою сторону мою жену: милорд посулил ей тепленькое местечко. Но меня не заманишь! Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь.

Сэр Гарри. Я знаю, вы честный человек и любите свою родину.

Мэр. Верно, сэр Гарри. Все, чего я хочу от своей родины,— это чтобы она не мешала мне жить в свое удовольствие...

Фастиан. Господин мэр как-то неожиданно протрезвел.

Трэпуит. Я думаю, вы сами бы протрезвели, если бы ваша жена обрушилась на вас с таким градом упреков и ругани. Но если, по-вашему, этого недостаточно, чтобы протрезветь, то пускай мэр остается под хмельком, хотя это вовсе не обязательно. Пожалуйста, сэр, сыграйте эту сцену так, как будто вы все еще навеселе.

Фастиан. Да, по правде сказать, вовсе не к лицу мэру быть трезвым во время выборов.

Танкард *(пьяный)*. Человек, который не хочет выпить за процветание своей родины,— сущий негодяй!

Мэр. Вы правы, благородный сквайр, честный человек никогда не откажется выпить. Человек, который не пьет, злейший враг отечественной торговли!

Сэр Гарри. В доброе старое время у нас в Англии процветало хлебосольство. Бывало, за столом у помещика собирались все его соседи и напивались допьяна. Это было еще до введения проклятых французских новшеств. А теперь — можете себе представить, господин мэр! — иной раз увидишь в карете разряженного придворного; на запятках у него с полдюжины голодных лакеев, а в доме не найдется и полбочонка вина. А на что, спрашивается, тратят они деньги?

Мэр. Право, не знаю.

Сэр Гарри. На обстановку, картины, кружева, безделушки, на итальянских певцов и французских акробатов. Те, кто будет голосовать за придворных, после выборов ни за что не дождутся от них угощения.

Мэр. Но вот что мне приходит в голову, сэр Гарри. Если мы выставим этих придворных, то кто же их заменит?

Сэр Гарри. Как кто? Конечно, мы.

Танкард. Ну да, мы.

Сэр Гарри. И тогда уж мы позаботимся о своих друзьях. От души люблю свою родину, но не понимаю, почему бы мне кое-чем не попользоваться от нее? Ну там возместить расходы... Смею вас уверить: хоть я не купил ни одного голоса, а все-таки выборы обойдутся мне в добрых пять тысяч фунтов.

Танкард. Да и мне не меньше того. Но если мы победим, сэр Гарри, мы должны сразу же начать выплату государственного долга.

Сэр Гарри. Мистер Танкард, мы сделаем это без промедления.

Танкард. Я не потерплю задержки в этом деле, сэр!

Мэр. Вот голос истинного англичанина! Ах, как я люблю слушать сквайра! Уж он сумеет отстоять честь своей родины за границей.

Сэр Гарри. Друзья поджидают нас в таверне. Пойдемка потолкуем с ними за бутылкой вина.

Танкард. С удовольствием. Но все же я намерен выплачивать государственный долг.

Мэр. Идем в таверну,

Обсудим за стаканчиком вина,
Как развиваться нация должна.

Сэр Гарри, Танкард и мэр уходят.

Трэпунит. На этом заканчивается третий акт.

Фестиан. Скажите, сэр, в чем, собственно говоря, мораль этого акта?

Трэпунит. Как! Неужели вы не понимаете?

Фестиан. Хоть убей, не понимаю!

Трэпунит. Ну, так я вам, хоть убей, ничего не скажу. Если вы до сих пор еще ничего не поняли, то поймете ли вы, как будет дальше развиваться интрига? В четвертом акте начинается сюжетная линия. Попрошу вас слушать внимательно. Провалюсь я на месте, если стану вам растолковывать пьесу!

Фестиан. А не поздновато ли в четвертом акте начинать сюжетную линию?

Трэпунит. Вы жестоко заблуждаетесь, сэр. Иной раз интрига бывает известна уже с первого акта, а к третьему публика и автор успевают ее забыть. Я не хочу утруждать зрителей и перегружать их память. Ведь публика легко может позабыть все, что происходило раньше на сцене, и каково им будет припоминать все с самого начала!

Суфлер. Позовите мэра, его жену и дочь.

Входят мэр, его жена и дочь.

Жена мэра. Наконец-то я нашла вас, сэр! Я охочусь за вами уже добрый час!

Мэр. Жаль, моя дорогая, что ты не разыскала меня пораньше. Мы были в компании с сэром Гарри и сквайром Танкардом, пили за правое дело, за старину. И наша компания радушно бы тебя встретила.

Жена мэра. Не нужна мне такая компания! Я не желаю даже разговаривать со всякими там мужиками да с сельскими сквайрами!

Дочь мэра. Мама не желает разговаривать с якобитами!

Мэр. Но послушай, моя дорогая, у меня важные новости. Я получаю хорошую должность.

Жена мэра. Вот как! Значит, ты одумался и будешь голосовать за милорда?

Мэр. Нет, дорогая, это сэр Гарри обещает мне тепленькое местечко.

Жена мэра. Где же это? Уж не в собачьей ли конуре?

Мэр. Нет, такого местечка тебе нипочем не добиться для меня от милорда. Сэр Гарри обещает назначить меня послом.

Жена мэра. Что такое? Уж не вздумал ли сэр Гарри встать на место милорда? Откуда у него такое влияние?

Мэр. Нет, но они вскоре в самом деле поменяются ролями. Дело в том, что сэр Гарри должен скоро стать не знаю точно кем, но важной шишкой. А как только он станет шишкой, он сделает меня послом.

Жена мэра. Осла он из тебя сделает, так и знай! Неужели ты никогда не возьмешь в толк, что лучше синица в руках, чем журавль в небе?!

Мэр. Да, но я пока еще не вижу синицы у тебя в руках. Если бы я ее увидел, быть может я и переменил бы мнение. Я знаю, что дурак тот, кто верит придворному.

Жена мэра. Слушайте, господин посол, что я вам скажу! Вы будете голосовать, как я вам велела, или нет? Я устала спорить с тобой, дураком! Но так и знайте, сэр, вы должны голосовать за милорда и полковника, а не то я вас со свету сживу! Я не потерплю, чтобы ты со своими дурацкими капризами погубил всю семью.

Дочь мэра. Я знаю, он в душе якобит!

Жена мэра. Какое мне дело до его души! Тысячи таких же самых заправских якобитов при случае становились чистокровными вигами. Что общего между мыслями человека и его словами? Мне совершенно безразлично, что он об этом думает, лишь бы голосовал как следует.

Дочь мэра. Право же, мамаша очень рассудительная женщина.

Жена мэра. Да, я чрезвычайно рассудительна. Я слиш-

ком церемонилась с ним до сих пор. Видно, с ним надо действовать по-другому. *(Отходит в угол и берет палку.)*

Мэр. В таком случае да здравствует свобода, собственность и долой акциз! *(Убегает.)*

Жена мэра. Я тебе дам акциз, негодяй! *(Бежит за ним.)*

Дочь мэра. Ого! Подвернись мне под руку сейчас кто-нибудь, уж я сорвала бы на нем злость, будь это даже самый дорогой для меня человек!

Фастиан. Какое странное желание, не правда ли, мистер Трэпуит?

Трэпуит. Нисколько, сэр. Разве не так обращаются со своими возлюбленными молодые леди в наших комедиях? И разве эти сцены не самые выигрышные?

Суфлер. Прошу вас, джентльмены, не прерывайте репетиции. Где же слуга?

Входит слуга.

Почему вы не следите за своими репликами?

Слуга. Я прозевал, черт возьми! Мисс, тут пришла мисс Ститч, дочь портного. Она хочет вас видеть.

Дочь мэра. Просите ее сюда. Что еще нужно этой противной кокетке? Она прекрасно знает, что я терпеть ее не могу за то, что она принадлежит к враждебной партии. Но постараюсь быть с ней любезной.

Входит мисс Ститч.

Дорогая мисс! Милости просим! Какая приятная неожиданность!

Мисс Ститч. Напрасно вы так говорите, мисс. Правда, мы с вами принадлежим к враждебным партиям, но я всегда дорожила знакомством с вами. *(В сторону.)* Как это люди не умеют хранить про себя свои убеждения?

Дочь мэра. Садитесь, пожалуйста, мисс. Что нового в городе?

Мисс Ститч. Не знаю, дорогая. Вот уже три дня как я не выхожу из дому. Все это время я только и делала, что читала «Крафтсмен» *. Замечательная газета! Я выучила наизусть чуть ли ни все номера.

Дочь мэра *(в сторону)*. Вот нахалка! Могла бы и не вкладывать мне этого. Ведь она знает, что я ненавижу этот листок.

Мисс Ститч. Прошу прощения, дорогая. Я совсем позабыла, что вы не читаете этого журнала.

Дочь мэра. Нет, мисс, с меня достаточно «Дейли газеттер» *. Папаше присылают даром по шесть номеров в неделю. Прекрасная газета, советую вам ее почитать.

Мисс Ститч. Да что вы! Читать весь этот вздор, который строчит какая-то старушонка!

Дочь мэра. «Старушонка», мисс?

Мисс Ститч. Ну да, миссис Осборн *. Неужели вы будете это отрицать, мисс?

Дочь мэра. Лучше не будем касаться этой темы, сударыня. Мы с вами никогда не столкуемся.

Мисс Ститч. Прекрасно. Так позвольте вас спросить, вы действительно довольны миром в Европе? *

Дочь мэра. Да, сударыня. И, надеюсь, вы тоже ничего не имеете против него?

Мисс Ститч. Я тоже была бы им довольна, если бы можно было доверять испанской королеве.

Дочь мэра *(поднимаясь)*. Я не желаю слушать ваших инсинуаций, мисс, по адресу испанской королевы!

Мисс Ститч. Не волнуйтесь, сударыня.

Дочь мэра. Я не могу быть спокойной, сударыня, когда ставятся на карту интересы моей родины!

Мисс Ститч *(вставая)*. Будьте уверены, сударыня, я не меньше вас дорожу интересами своей родины, хотя и плачу́ за газеты, которые читаю. А вы этого не делаете, сударыня!

Дочь мэра. Не беспокойтесь, мисс, мои газеты тоже кем-то оплачиваются. Неужели «старушонка», как вы позволили себе выразиться, рассылает их на свой счет? Но знайте, мисс, что, когда речь идет об интересах моей родины, деньги меня мало интересуют. Я готова отдать все свои карманные деньги, лишь бы сохранить нашу армию.

Мисс Ститч. А если бы мой любезный вздумал отдать свой голос полковнику, я бы разломала на куски вот этот веер, хотя я люблю его больше всех вееров на свете, ибо это подарок моего Валентина. О боже! У меня в самом деле сломался веер! Я так боялась его сломать! О мой милый, любимый веер! Я готова послать все партии к черту, ведь я никогда в жизни не получу от них такого веера!

Дочь мэра. Хоть вы и наговорили мне дерзостей, сударыня, но сердце — не камень, и я не могу не сочувствовать вашему горю. Успокойтесь, дитя мое, у меня точно такой же веер. Если вы уговорите своего любезного голосовать за полковника, веер будет ваш.

Мисс Ститч. Неужели же я продам свою родину за веер? А впрочем, что мне до родины? Мне ведь никогда не получить от нее веера! А вы дадите мне веер бесплатно?

Дочь мэра. Я вам его подарю.

Мисс Ститч. Со стыдом признаю себя побежденной. Я все-таки возьму веер.

Дочь мэра. А теперь, моя дорогая, пойдем выпьем по чашечке чаю.

Пускай меня все партии клянут —
Не страшен этих взяточников суд.

Обе мисс уходят.

Трэпуит. На этом заканчивается четвертый акт. Если вы и сейчас не поняли смысла того, что происходило на сцене, то уж, верно, вы не в своем уме. Ей-богу, этот эпизод с веером мне самому до того нравится, что я одно время собирался всю комедию назвать «Веер» *. Ну, теперь приступим к пятому акту.

Суфлер. Сэр, актер, который должен начинать пятый акт, немного запаздывает. Он просит вас подождать его несколько минут.

Трэпуит В таком случае пройдемте, Фастиан, в зеленую комнату, поболтаем там с актрисами.

Фастиан. Неужели вы думаете, что этим девицам к лицу толковать о политике и о партиях?

Трэпуит. Уверяю вас, сэр, это самое обычное явление. Поглядишь, иной раз мужчины ведут спор о политике, а смыслят в ней не больше этих девиц.

Уходят.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Входят Трэпуит, Фастиан и Снируэлл.

Трэпуит. Ах, черт возьми! Черт возьми! И вам не стыдно так опаздывать?

Снируэлл. Но поймите, сэр, я сам себя наказал.

Трэпуит. Я отлично понимаю, сэр, что при желании вы могли бы прийти во-время!

Снируэлл. Надеюсь, что я не очень много пропустил?

Трэпуит. Все уже кончено, сэр! Все кончено! Вы могли бы и вовсе не приходить. Начинается пятый акт. Интрига уже закончена.

Снируэлл. Как это так — интрига закончена? Ведь пятый акт еще не начинался?

Трэпуит. Нет, нет, нет, нет! Я не хочу сказать, что действие совсем закончено; но оно уже так продвинулось, что вы все равно ничего не поймете и не догадаетесь.

Фастиан. Вы слишком плохого мнения о мистере Снируэлле. Бьюсь об заклад, что он поймет столько же, сколько и я, хоть я просмотрел уже четыре акта.

Трэпуит. Что я могу поделать, сэр, если вы так туго соображаете и плохо схватываете! Подавай вам катастрофу в каждом акте! Я вас предупреждал, черт побери, что действие будет развертываться постепенно. Но вы до того нетерпеливы...

Фастиан. Мне кажется, меня уж никак нельзя обвинить в недостатке терпения! Не огорчайтесь, мистер Снируэлл! Один короткий акт — и начнется моя трагедия. И, я надеюсь, вы будете вознаграждены за те испытания, какие вам сейчас предстоит. Трэпуит, не пора ли начинать?

Трэпуит. Сейчас начнем. Эй вы, суфлер! Что, посадили новых членов парламента в портшезы?

Суфлер. Да, сэр.

Трэпуит. Тогда пускай их пронесут по сцене. Но стойте, стойте, стойте! Где женщина, которая разбрасывает цветы?

По сцене проносят в портшезах членов парламента.

Да ну же вы, народ, кричите, кричите, кричите! Черт побери! Господин суфлер, надо побольше народу, чтобы было больше крику, а то публика не поверит, что эти джентльмены получили большинство голосов...

Суфлер. Сэр, у меня нет больше людей. Все остальные ушли в Сент-Джемский парк * смотреть представление.

Снируэлл. Что это за джентльмены в портшезах, мистер Трэпуит?

Трэпуит. Вот что значит опаздывать, сэр! Если бы вы видели первые четыре акта, вы бы знали, кто они такие.

Фастиан. Дорогой Снируэлл, не задавайте ему больше вопросов. Если вы будете вникать во все глупости, которые сейчас увидите, мы не успеем показать вам трагедию.

Трэпуит. Ваш выход, господин мэр, и вашей супруги!

Входят мэр и его жена.

Мэр. Это ты натворила бед своими глупостями! Ты заставила меня голосовать против моей совести, против моих интересов. И теперь я рассорился с обеими партиями.

Жена мэра. Почему, скажи на милость, ты рассорился с обеими партиями?

Мэр. Потому что милорд, который нынче потерпел поражение, забудет, что я отдал ему голос. А сэр Гарри, который одержал победу, не простит мне, что я голосовал против него. Какая бы партия ни победила, я уж, конечно, не получу никакого места до следующих выборов.

Жена мэра. И сам будешь во всем виноват. Ведь ты еще можешь оказать немалую услугу милорду. Иди скорей верни милорда и полковника, поскольку они законно избраны. А я устрою для тебя местечко.

Мэр. Мне идти за ними? Что ты, моя дорогая! Ведь их противники получили на несколько десятков голосов больше!

Жена мэра. Наплевать на какие-то два-три десятка голосов! Будь у их противников даже на несколько сот голосов больше, и то бы ты мог безнаказанно позвать вельмож обратно. Если ты их вернешь, ты сможешь чего угодно добиться от них. Неужели ты думаешь, что эти вельможи что-нибудь сделают для тебя, если ты сам не хочешь им послужить?

Мэр. Совесть мучает меня... Но ведь от их противников мне никогда ничего не достанется.

Жена мэра. Разумеется, другим путем тебе ничего не добиться! Пусть это успокоит твою совесть.

Мэр. Да, пожалуй что и так.

Снируэлл. Мне кажется, мистер Трэпуит, выгода в данном случае — более подходящее слово, чем совесть.

Трэпуит. Ах, выгода или совесть, это в конце концов одно и то же. Но, мне кажется, совесть более пристойное слово и больше в ходу при дворе.

Жена мэра. К тому же ты этим окажешь немалую услугу нашему городу. Ведь добрая половина горожан собирается прокатиться в Лондон за счет кандидатов. И я ручаюсь, что любой из них, за кого бы он ни голосовал, рад будет заставить кандидатов раскошелиться!

Мэр уходит. Входит дочь мэра.

Дочь мэра *(рыдая)*. Ах, мамочка, какое несчастье, что придворной партии сегодня так не повезло! Ведь если противная партия получит большинство в парламенте, что будет с нами? Увы, мы не сможем поехать в Лондон!

Жена мэра. Вытри слезы, душенька, все будет хорошо. Твой отец пошел за милордом и полковником. Мы будем оспаривать эти выборы и потребуем новых. И мы с тобой поедем в Лондон, моя дорогая!

Дочь мэра. Так мы все-таки поедем в Лондон? Ах, как я рада! Вот если бы мы остались здесь, у меня бы сердце разорвалось,— так бы я страдала за мою родину. Но отец пошел за милордом и полковником, и можно надеяться, что справедливость восторжествует. Она найдет защиту в высших сферах, где люди умеют отличать добро от зла. Будь что будет, а все-таки мы поедем в Лондон!

Жена мэра. Надеюсь, ты не забыла наставлений милорда? И теперь ты уже не будешь колебаться, идти тебе на содержание или нет. Я думаю, что ты сможешь помочь семье... Великий будет грех, если ты не сделаешь все, что от тебя зависит, для нашей семьи!

Дочь мэра. Мне теперь только и снятся, что кареты шестерней, увеселения, балы, театры и маскарады.

Фастиан. Снятся, сэр? Но каким образом? Мне кажется, действие вашей комедии, мистер Трэпуит, охватывает один день?

Трэпуит. Ничего подобного, сэр. Но даже если бы и так,— разве дочь мэра не могла вздремнуть после обеда?

Снируэлл. В самом деле! А может быть, она спит наяву, как иные прочие.

Входят лорд Плейс и полковник Промиз.

Плейс. Мадам, я пришел проститься с вами. Я глубоко признателен вам за все, что вы для нас сделали. При следую-

щих выборах я снова воспользуюсь вашей любезностью. Но теперь, я полагаю, нам уже нечего здесь делать. Хотя наши избиратели собираются обжаловать результаты выборов...

Жена мэра. Нет, нет, милорд, еще далеко не все потеряно! Я ведь недаром заставила мужа вернуть вас и полковника.

Плейс. Так это вы вернули нас?

Жена мэра. Да, вернула вас, как законно избранных. А теперь уже от вас самих зависит доказать, что так и было на самом деле.

Плейс. Мадам, эта новость так меня взволновала, что мне необходимо выпить глоток вина, чтобы прийти в себя.

Жена мэра. Если вы, ваша милость, соблаговолите пройти со мной в мою комнату, я сумею удовлетворить ваши желания.

Трэпуит. Как вам понравился этот глоток вина, сэр?

Снируэлл. О, превосходно!

Фастиан. Не могу этого сказать, поскольку я его не пробовал.

Трэпуит. Ей-богу, сэр, если бы не этот глоток вина, моя пьеса, вероятно, уже окончилась бы.

Фастиан. Черт бы побрал этот глоток!

Трэпуит. Теперь, мистер Фастиан, интрига моей пьесы, которая до сих пор была дана только намеками, появляясь то там, то сям, подобно резвящемуся ребенку, выступит перед публикой во всей своей цветущей красе, подобно зрелой матроне. И, я надеюсь, она своей чарующей прелестью привлечет всех, как магнит, и вызовет всеобщее восхищение, бурю аплодисментов, ураган рукоплесканий во всем зале. А сейчас, джентльмены, попрошу полной тишины. Полковник, вы станьте с этой стороны, а вы, мисс, вот с той. Теперь смотрите друг на друга.

Продолжительная пауза.

Фастиан. Скажите, мистер Трэпуит, они так больше и не заговорят?

Трэпуит. Ах, черт возьми! Вы прервали их молчание. Как я вас ни предупреждал, вы все-таки испортили мне всю сцену! А это лучшая сцена без слов, какая только была написана. Ну что ж, теперь вы можете говорить, можете даже сыпать словами.

Промиз. Сударыня, позвольте поблагодарить вас от лица всей армии за все, что вы сделали для нас!.. Я навеки ваш раб. Вы меня осчастливите, если согласитесь стать моей женой.

Дочь мэра. Вот как! И вы так великодушно прощаете мне все мои дерзости?..

Фастиан. Какие это дерзости? Позвольте, мистер Трэпуит, если я не ошибаюсь, любовники впервые разговаривают друг с другом.

Трэпуит. Вы спрашиваете, какие дерзости, сэр? Их было немало, сэр.

Фастиан. Когда же, сэр? Где же, сэр?

Трэпуит. Как где? Да за кулисами, сэр! Зачем же непременно все показывать на сцене? В наших комедиях нередко изображают то, что с успехом могло бы произойти за кулисами. Я следую благородным традициям французского театра и руководствуюсь советом Горация. А у французов, как вам известно, не принято изображать на сцене тяжелые события. Почему же мы должны показывать на сцене, как молодая особа жестоко обращается со своим возлюбленным? Ведь это может подать публике дурной пример. В наших комедиях мы часто видим, как какая-нибудь дама в продолжение целых четырех актов так издевается над достойным джентльменом, что ее следует по крайней мере повесить. И вдруг в пятом акте она в награду за это получает его же в мужья! Я знаю, это многим не по вкусу. А я вот хочу угодить всем и сделал так, что любая дама будет думать, что героиня вела себя так, как именно ей это нравится.

Снируэлл. Прекрасно сказано, милейший Трэпуит! Однако продолжайте эту сцену.

Трэпуит. Прошу вас, мисс, мы ждем.

Дочь мэра. Мне хотелось испытать вашу верность и постоянство, и я заставила себя пойти на эти невинные уловки. Правда, я слишком много себе позволяла, я оскорбляла вас, мучила вас, кокетничала, лгала вам, играла вами. Но вы так великодушны, что готовы все это забыть. Даю вам честное слово, что всеми силами постараюсь загладить все это. Я буду вам верной женой.

Трэпуит. Такое обещание вы не часто услышите, сэр, из уст героини в наших пьесах. Обычно оказывается так, что герои комедии попадают в гораздо худшее положение, чем злодей в трагедии. Будь я на месте героя, я предпочел бы попасть на виселицу, чем жениться на такой особе!

Снируэлл. Ей-богу, ты прав, Трэпуит! Кроме шуток!

Фастиан. Дальше, дальше, дорогой сэр, дальше!

Полковник. Как вы великодушны, как вы добры! О, мое сердце переполнено любовью и благодарностью! О, если бы я прожил даже сто тысяч лет, я не смог бы отблагодарить вас за такие слова! О мое сокровище!

О, с ваших губ всегда стекает мед —
И Фаринелло слаще не поет!

Трэпуит. Откройте пошире объятия, мисс. Помните, что вы уже больше не кокетка. *(Показывает ей, как обнимать.)* А ну-ка, постарайтесь как следует обнять. Еще разочек, прошу вас. Так, так. Теперь совсем недурно. Вам надо еще попрактиковаться за кулисами.

Полковник и дочь мэра уходят.

Снируэлл. Они пошли практиковаться, мистер Трэпуит?

Трэпуит. Ах, какой вы шутник, мистер Снируэлл, какой шутник!

Входят лорд Плейс, мэр и жена мэра.

Плейс. Рад услужить вам, дорогой мэр, в благодарность за ваши услуги. И вам в услугу, за все ваши заслуги, я вскоре окажу большую услугу.

Фастиан. Я боюсь, мистер Трэпуит, что публика не поставит вам в заслугу эту тираду.

Снируэлл. В самом деле, Трэпуит, слишком уж много услуг! С успехом можно бы кое-что урезать.

Трэпуит. Скорее я позволю отрезать себе ухо, сэр! Это лучшее место во всей пьесе! Итак, возвращается полковник со своей женой.

Снируэлл. Честное слово, они не теряли времени даром!

Трэпуит. Да, сэр, пастор знает свое дело. Он несколько лет прослужил во Флите *.

Входят полковник и дочь мэра. Они становятся на колени перед мэром и его женой.

Полковник и дочь мэра. Сэр, мадам, благословите нас!

Мэр и его жена *(вместе)*. Ах!

Промиз. Ваша дочь сделала меня счастливейшим из смертных.

Жена мэра. Как это вы не спросили моего согласия, полковник? Разве можно венчаться без согласия родителей? Впрочем, я согласна и благословляю вас, дети мои!

Мэр. И я тоже!

Плейс. В таком случае позовите сюда наших коллег кандидатов. Сегодня вечером мы будем пировать и веселиться.

Фастиан. Скажите, мистер Трэпуит, что заставило враждующие партии так неожиданно примириться?

Трэпуит. Как что? Конечно, свадьба, сэр. Свадьба всегда все примиряет в финале комедии.

Плейс. Итак, полковник, вы начинаете новую жизнь. Желаю вам счастья. Счастливого вам пути!

А вы, гуляки, вам ясны ль уроки,
Что вам диктуют этой пьесы строки?
Довольно ссор! Одуматься пора!
Нет от обеих партий вам добра.

Трэпуит. На этом кончается моя пьеса, сэр.

Фастиан. Объясните мне, пожалуйста, мистер Трэпуит, каким образом все события в пьесе привели к свадьбе?

Трэпуит. Неужели вы думаете, что мэр отдал бы за полковника свою дочь, если бы это не было ему на руку? Неужели вам не ясно, что свадьба тесно связана с выборами, ибо благодаря им мэру посчастливилось отдать дочь за полковника?

Снируэлл. Другими словами, ему удалось опереться на военного, которого велела вернуть его жена?

Трэпуит. Конечно, сэр, я именно это и хотел сказать.

Снируэлл. А где же ваш эпилог?

Трэпуит. Право, не знаю, сэр, как мне быть с эпилогом.

Снируэлл. Как? Вы его не написали?

Трэпуит. Написать-то я написал, да только...

Снируэлл. Только что?

Трэпуит. Дело в том, что некому его декламировать. Актрисам чертовски трудно угодить. Когда я написал первый вариант, они отказались его декламировать, говоря, что там слишком мало двусмысленности. Тогда я прибег к помощи мистера Уоттса, решив позаимствовать кое-что из его пьес. Я перечел все его эпилоги, набрал оттуда двусмысленностей и напихал их в свой эпилог, и теперь их там, пожалуй, слишком много. Черт побери, придется мне на весах отвесить нужную порцию этого самого...

Фастиан. Ладно, ладно, мистер Трэпуит, освобождайте сцену, прошу вас!

Трэпуит. Охотно, мистер Фастиан. Я уже и так запаздываю. Мне надо еще сегодня прочитать свою пьесу в шести светских салонах.

Фастиан. Надеюсь, вы останетесь на репетицию трагедии?

Трэпуит. К великому моему сожалению, не могу. Я лишаю себя большого удовольствия, но никак не могу. *(В сторону.)* Оставаться, чтобы слушать дикую чепуху, которую он там накропал!

Снируэлл. Нет, дорогой Трэпуит, вы не должны уходить. Подумайте, ведь вы можете дать полезные указания мистеру Фастиану. К тому же ведь он присутствовал на репетиции вашей пьесы.

Фастиан. Конечно, я все прослушал. *(В сторону.)* А каких трудов мне стоило не задремать!

Трэпуит. Ну как вам отказать! Остаюсь. *(В сторону.)* Как бы не заснуть во время первого акта!

Снируэлл. Если вы мне поведаете, каким именно знатным особам вы собираетесь читать свою пьесу, то, пожалуй, я вас отпущу.

Трэпуит. Так я вам и сказал! Ха-ха-ха! Нет, я вас слишком хорошо для этого знаю, Снируэлл. Но послушай-ка, приятель Фастиан, скажи по совести, тебе нравится моя пьеса? Будет она иметь успех?

Фастиан. Я уверен, что да.

Трэпуит. Ну, если так, то давай уговоримся: за каждое представление ты мне платишь гинею, а я тебе — крону.

Снируэлл. Как, мистер Трэпуит, вы заключаете пари против самого себя?

Трэпуит. Мне нужны гарантии, сэр.

Фастиан. Джентльмены, прежде чем начать репетицию трагедии, я хотел бы знать ваше мнение о моем посвящении. Обычно посвящение — это чек на известную сумму; вся его ценность — в грубой, наглой лести. Все это мне отвратительно, я ненавижу лесть и всячески избегал даже малейшего намека на нее.

Снируэлл. Посвящение, да еще не льстивое, стоит того, чтобы его послушать.

Фастиан. Сейчас, сэр, вы его услышите. Прочитайте его, дорогой Трэпуит. Я терпеть не могу читать свои произведения.

Трэпуит *(читает)*. «Вам известно, милорд, что все современные пьесы представляют собой жалкую смесь невежества, глупости и всякого рода мерзостей и непристойностей; поэтому я беру на себя смелость просить вашу милость взять под свое покровительство мое произведение, которое если и не обладает высокими достоинствами, то по крайней мере не разделяет недостатков остальных пьес. Может быть, вашей милости понравится это исключение на общем фоне пошлости и скуки. Не могу не прибавить, что публика всегда щедро награждает меня и мои пьесы рукоплесканиями...»

Фастиан. Знаете ли, мистер Снируэлл, это место можно опустить, если оно встретит возражения со стороны критики. Поэтому я решил не опубликовывать посвящения, пока пьеса не будет поставлена.

Трэпуит *(читает)*. «Я охотно бы перечислил благородные черты характера вашей милости, но так как я боюсь, что меня могут заподозрить в лести, а ваша милость, я уверен, единственный джентльмен в нашей стране, который не любит слушать похвал, то я вынужден замолчать. Лишь одно позвольте мне сказать, а именно, что ваша милость обладает бо̀льшим запасом умственных сил, остроумия, учености и моральных достоинств, чем все человечество вместе взятое, и что ваша особа воплощает в себе все прекрасное, что есть на свете; ваша осанка — само изящество, ваш взгляд — само величие, ваше сердце — вместилище всех добродетелей и совершенств; что же касается вашего великодушия, то оно, подобно солнцу, своим блеском затмевает все прочие ваши достоинства... Это выше всего...»

Снируэлл. Довольно, сэр. Это свыше моих сил!

Трэпуит *(читает)*. «Но я вынужден себя прервать. Примите уверение в преданности вашего покорнейшего, благороднейшего, преданнейшего, скромнейшего, почтительнейшего слуги».

Фастиан. Как видите, сэр, достаточно лаконично и никакой лести.

Снируэлл. Вы правы, сэр. Если было бы еще лаконичнее, пожалуй не было бы толку.

Фастиан. Конечно, если бы я написал короче, было бы недостаточно учтиво: ведь посвящение предназначено для весьма знатного джентльмена.

Снируэлл. Ну, Трэпуит, а где же ваше посвящение?

Трэпуит. А у меня его нет, сэр.

Снируэлл. Нет посвящения? Как же так?

Трэпуит. Видите ли, сэр, я написал на своем веку немало посвящений, но до сих пор еще за них ни гроша не получил. Теперь я уже никому не верю. Я не отпущу из своей лавочки никакой лести, пока у меня в руках не будет задатка.

Фастиан. В настоящее время лесть очень плохо оплачивается, сэр. Вокруг каждой знатной персоны увивается с десяток присяжных льстецов. Они-то и профанируют высокое искусство лести. Но если я ничего не получу и за это посвящение, то в следующий раз я напишу сатирическое посвящение. Если мне не заплатят за то, что я говорю, то мне должны будут заплатить, чтобы я замолчал. Так как вам, джентльмены, понравилось мое посвящение, я рискну показать вам и мой пролог. *(Обращаясь к актеру.)* Сэр, будьте любезны, прочтите пролог, если вы его хорошо помните.

Актер. Я изо всех сил постараюсь, сэр.

Фастиан. Этот пролог написал один мой приятель.

ПРОЛОГ

Пускай взмахнула смерть своей косою —
Ведь Муза в силах воскресить героя:
Стрелу судьбы она из сердца вынет
И в новый бой героя снова двинет;
Показывая зрителям былое,
Небывшее представит им порою,—
Что в голову судьбе не приходило,
То Муза в царстве грезы находила.
Чтоб вас развлечь, монархи в этот вечер
Из стран мечты выходят вам навстречу,
И арлекин рвет страсть в клочки со сцены,
И всходит Здравый Смысл ему на смену.
Внемлите, бритты, Муза перед вами!
Та, что в Афинах правила умами,
Непобедимых римлян вдохновляла
И в дни Шекспира нами чтима стала.

Кто эти доказательства не ценит,
Пусть внемлет необычному на сцене.
За чудеса пусть любит эту пьесу,
Кому другие чужды интересы.

Снируэлл. Честное слово, Фастиан, ваш приятель написал превосходный пролог.

Фастиан. Вы так думаете, сэр? В таком случае я открою вам секрет. Мой приятель не кто иной, как я сам. Однако приступим к трагедии. Джентльмены, попрошу всех вас очистить сцену. Некоторые эпизоды в моей трагедии требуют большой сцены.

Входит второй актер и шепчет на ухо Трэпуиту.

Второй актер. Сэр, вас спрашивает какая-то леди.

Трэпуит. А что, она в портшезе или пешком?

Второй актер. Нет, сэр, она в амазонке и говорит, что принесла вам чистую рубаху.

Трэпуит. Сейчас иду. Прошу прощенья, мистер Фастиан, я отлучусь на несколько минут. Тут приехала за билетами одна знатная леди. *(Уходит.)*

Суфлер. Здравый Смысл хочет поговорить с вами, сэр, и ждет вас в зеленой комнате.

Фастиан. Сейчас иду!

Снируэлл *(в сторону)*. Еще бы тебе не спешить! Ведь ты в первый раз имеешь дело со Здравым Смыслом.

Снируэлл и Фастиан уходят.
Входит танцовщица.

Танцовщица. Слушайте, господин суфлер. Партию первой богини должна танцевать я, а вовсе не мисс Менуэт. Вы же знаете, что я любимица публики.

Суфлер. Мадам, я не решаю такие вопросы.

Танцовщица. А кто же их решает? Во всяком случае публика лучше всех может оценить достоинства балерины. Я уверена, что публика отдаст мне предпочтение. Если же вы мне не дадите эту роль, я брошу театр и уеду во Францию. Все их балерины перекочевали к нам, и французы, наверное, с восторгом меня встретят.

Шум за сценой.

Суфлер. Боже мой, что случилось?

Входит актер.

Актер. Автор пьесы и Здравый Смысл ссорятся в зеленой комнате.

Суфлер. Ого, на это стоит посмотреть! Это пожалуй, самая интересная сцена во всей пьесе! *(Уходит.)*

Танцовщица. Черт подери эту пьесу и все пьесы на свете! Театр держится только нами, балеринами. Если бы не мы, они давно бы уже прогорели со своим Шекспиром.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Входят Фастиан и Снируэлл.

Фастиан. Да, мистер Снируэлл, чего только не бывает с драматургом! Сколько мучений испытывает он, пока доживет до премьеры. Сперва его терзают капризные музы,— ведь это избалмошные особы, за которыми приходится ухаживать: вдруг им взбредет в голову покинуть автора, и тогда бедняге ничего не выдавить из своих мозгов. Затем начинаются терзания с хозяином театра, которому автор иной раз докучает своей пьесой добрые три месяца, пока не добьется окончательного ответа, да вдобавок может услыхать, что пьеса не пойдет, хозяин вернет ему рукопись, а фабулу и название использует для своей собственной пантомимы. Но допустим, что пьеса принята театром,— тут автору предстоит еще переписать и распределить роли и репетировать пьесу. Но вот, сэр, начались репетиции, тут новые мучения — с актерами, которые недовольны своими ролями и то и дело требуют всяческих переделок. Наконец, после всех этих треволнений пьеса появляется на сцене. И вот ее освистывают: одни потому, что не любят автора пьесы; другие потому, что им не по вкусу этот театр; третьи недовольны игрой актеров; четвертые осуждают самую пьесу; пятые свищут смеха ради; шестые — чтобы не отстать от остальных. И вот, пьеса провалена, враги издеваются над автором, друзья отворачиваются, автор уничтожен. Таков конец фарса

Снируэлл. Это уж перестает быть фарсом, а становится трагедией, мистер Фастиан. Но что же сталось с Трэпуитом?

Фастиан. Вероятно, он ушел. Я так и думал, что он не останется. Он так захвачен своей постановкой, что ему нет дела до других. Но послушайте, господин суфлер, не пора ли начинать трагедию?

Входит суфлер.

Суфлер. Все готово, сэр. Поднимайте занавес!

Занавес поднимается. На сцене жрец Солнца, Законник и Медик.

Снируэлл. Скажите, пожалуйста, Фастиан, что это за люди?

Фастиан. В середине — Файрбрэнд — жрец Солнца. Тот, что направо, представляет закон, а слева — представитель медицины.

Жрец.

Прочь знаменья! Их отвратите, звезды!

Фастиан. Что это за знаменья! Где же гром и молния, черт побери?!

Суфлер *(за сценой)*. Эй, вы там! Почему не гремит гром? Почему не жгут смолу?

Гром и молния.

Фастиан. Сэр, начните снова. Слушайте, сэр: к представлению непременно нужно достать покрупнее шар для грома и истратить на два пенса больше на молнию. Прошу вас, продолжайте, сэр.

Жрец.

Прочь знаменья! Их отвратите, звезды!
Внемлите мне, о Медик и Законник!
Священным ладаном я храм окутал.
Храм зашатался. Призраки явились:
Кот в сапогах плясал передо мной,
А страшный пес наигрывал на скрипке.
Я, трепеща, стоял у алтаря
И слушал голоса, что мне вещали:
«Проснитесь, спящие, довольно спать!»
Что это значит?

Законник.

В этом есть значенье!
Мы тоже наблюдали чудеса:
На днях поток в судебный зал ворвался.
Казалось, он законы хочет смыть!
Носильщиков юристы оседлали,
Спасаясь от потока, но свалился
Один из нас и вмиг пошел ко дну,
А с ним его — о, знаменье! — бумаги.
Смысл этого нетрудно угадать.
Вас не разгневают мои догадки?

Жрец.

Без страха говори. Клянусь богами,
Хотя бы ты самих богов задел,—
Покуда нас, жрецов, ты не задел,
Тебе ничто не угрожает.

Законник.

Небо
Являет знаменья лишь для того,
Чтоб вывести нас всех из летаргии,
В которую нас ввергла королева.
Неоспоримы доводы небес;
Пока она у власти, что́ мы стоим?

Медик.

Милорд Законник, я согласен с вами.
Хоть с виду я и предан королеве,—
Под маскою лойяльности таю,
Клянусь богами, ненависть и злобу.
Хочу орлом подняться в небеса,

Чтоб сверху миру прописать рецепты,
А королева топчет мою гордость!

Законник.

Ты знаешь, Медик, та же королева
Меня лишила древних привилегий.
Я не могу, как прежде, издавать
На непонятных языках законы.
Теперь законы понимают все
И власть моя заметно сократилась.

Медик.

Милорд Законник, до меня дошло,
Что с королевой вы в родстве и Разум
Был общим предком ваших двух семейств.

Законник.

Пусть так. С тех пор наш род ушел вперед,
Поднявшись высоко над этим предком,
И редко мы снисходим до того,
Чтобы признать, откуда происходим.

Жрец.

Милорды Медик и Законник, вас
Я выслушал с полнейшим одобреньем.
Поскольку оба вы давно известны
Как честные и преданные люди,
Я вам откроюсь. Знайте, что под маской —
Она нужна, чтоб простаков дурачить,—
Я ненависть скрываю к королеве.
Не по греховным, суетным причинам:
Хочу усилить поклоненье Солнцу,
Дабы с его жрецами поделились
И властью и доходами страны.
При вашей помощи, милорд Законник,
Нам королева помешать не сможет.

Законник.

Но чем помочь?

Жрец.

Взгляните в этот список.
Здесь те, кто королеве Здравый Смысл
Всегда служили преданно и верно.
Мы перед ней их выставить должны
Врагами неба и ее врагами.
Но тише! Королева на пороге.

Входит королева в сопровождении двух фрейлин.

Фастиан. Как! У королевы только две фрейлины?

Суфлер. Сэр, третью упекли в долговую тюрьму. Но к спектаклю я раздобуду еще несколько фрейлин.

Королева Здравый Смысл.

За вами посылала я, Законник.
Я получила странное прошенье:
Два человека обратились в суд;
Спор был из-за какого-то поместья,
Но не досталось ничего истцам—
Поместье адвокаты разделили.

Законник.

В судах такие случаи бывают.

Королева Здравый Смысл.

Тогда нам лучше не иметь судов!
Но мне пропела птичка сверх того,
Что часто неимущих должников
У нас бросают в тюрьмы долговые
И там гноят, покуда не заплатят.

Законник.

Но это слишком мелкие людишки,
Чтоб занимать вниманье королевы.

Королева Здравый Смысл.

Милорд, пока еще я королева —
Нет слишком малых для моей защиты.
Сверх этого рассказывали мне,
Что с каждым днем растет число законов
И век Мафусаила слишком краток,
Чтоб все статуты ваши перечесть.

Жрец.

Мадам, у вас есть дело поважнее.
Все говорят о знаменьях чудесных,
Виденья видят, слышат голоса.
Умилостивить следует богов.
И лучший способ избежать их гнева—
Жрецов умилостивить для начала:
Мы жаждем власти и о славе плачем.

Королева Здравый Смысл.

Да, у богов для гнева есть причины,
И жертвы будут им принесены.
Но чтоб они богам угодны были,
Должны жрецы мягкосердечней стать:
О милосердии не забывайте.
Надменность ваша оскорбляет Солнце,
И не дойдут к нему молитвы ваши.

Входит офицер.

Королева Здравый Смысл.

В твоих глазах я новости читаю.

Офицер.

Мадам, язык мой возвещает вам
То, что душа моя стерпеть не в силах:
К нам вторглась вражеская королева
По имени Невежество, а с нею
Полки певцов, шутов и скрипачей,
Французских плясунов и итальянских.

Королева Здравый Смысл.

Так передай моим войскам приказ —
Немедля приготовиться к сраженью.
Я поведу их в бой. А вы, милорды,
Охотно нам поможете, надеюсь.
Отпор врагу — вот ваш священный долг.
Забыть ты должен, жрец, свои виденья.
Пугать толпу — вот их предназначенье.
А боги с Здравым Смыслом в соглашенье.

(Уходит.)

Жрец.

Нет, боги сами знают, что им нужно,
Или, верней, жрецы их это знают.
Невежество, которую сейчас
Такою черной краской малевали,—
Богобоязненная королева.
Она столь набожна, что доверяет
Всему, что б ей жрецы ни говорили.
Клянусь, что лишь такая вера — вера!
При ней непогрешимым стану я!
При Здравом Смысле это невозможно.
Поэтому перехожу немедля
На сторону Невежества! Милорды,
Все по местам! Я к алтарю пойду.
К своим делам, Законник, обратитесь,
А вы идите к королеве, Медик,—
Пульс щупайте, микстуры ей готовьте.

Медик.

О, если бы внимала королева
Моим советам и пила микстуры,
Не нужно было б чужеземных армий.
Клянусь богами! Маленькой пилюлькой
Я выдернул бы душу ей из тела.
Но Здравый Смысл не верит в медицину —

Ни мне не верит, ни моим рецептам.
Публично отрицала королева,
Что размазня — отличное лекарство.
Да, если мы признаем Здравый Смысл,
Мы сами будем пить свои микстуры.

Жрец.

От всей души сочувствую вам, Медик!
Клянусь богами! Все во мне ликует!
Мы свергнем королеву Здравый Смысл!
Лукавство королеву победит:
Тех, что сегодня трон ее шатают,
Народ своей опорою считает.

Жрец, Законник и Медик уходят.

Фастиан. На этом заканчивается первый акт, сэр.

Снируэлл. Ваша трагедия, Фастиан, весьма аллегорична. Как вы думаете, будет она понята публикой?

Фастиан. Сэр, я не могу ручаться за публику. Но мне кажется, что мой панегирик весьма уместен и будет всем понятен.

Снируэлл. Какой это панегирик?

Фастиан. Да нашему духовенству, сэр, во всяком случае лучшим его представителям. Я показываю разницу между языческим жрецом и христианским священником. Я старался писать как можно абстрактнее и избегать всяких намеков. Надеюсь, никто не сможет обвинить меня в том, что я непочтителен к религии.

Снируэлл. Ну, а ваша сатира на закон и медицину не слишком ли уж абстрактна?

Фастиан. Моя сатира отнюдь не направлена против честного адвоката или хорошего врача. Ведь такие все-таки бывают. Но встречаются они редко, и это уж не моя вина. К тому же я питаю личную неприязнь к представителям этих двух профессий, ибо однажды они составили форменный заговор против меня.

Снируэлл. Как это так?

Фастиан. Не так давно аптекарь принес мне объемистый счет за лекарство, а адвокат заставил меня его оплатить.

Снируэлл. Ха-ха-ха! Вот уж подлинно заговор!

Фастиан. Сейчас, сэр, начнется второй акт. В моей трагедии всего три акта.

Снируэлл. А я думал, что трагедии не подобает быть трехактной.

Фастиан. Быть может, вы и правы. Но мне никак не удалось далее протянуть существование Здравого Смысла, даже ее призрака. Однако пора начинать второй акт.

Открывается занавес. Видна спящая королева Здравый Смысл.

Снируэлл. Скажите, пожалуйста, сэр, кто это там лежит на кушетке?

Фастиан. Как кто? Неужели же вы ее не узнали, сэр? Ведь это спящая королева Здравый Смысл!

Снируэлл. А я-то думал, что она повела свои войска на врага!

Фастиан. Так и должно было быть. Но, я вижу, сэр, вы не знакомы с правилами драматургии. Главное из них — это умение медленно, постепенно развивать действие пьесы. Его необходимо как можно больше растягивать, иначе вся пьеса уложится в какие-нибудь полчаса, а что потом делать автору? Я вижу, мистер Снируэлл, вы придерживаетесь мнения, что в пьесе следует выводить только самые необходимые для действия персонажи. А я, наоборот, считаю, что пьеса должна прежде всего развлекать зрителя. Всякий персонаж, который забавляет зрителей, совершенно необходим для развития действия.

Снируэлл. Но почему королева Здравый Смысл заснула? Как бы это объяснить публике?

Фастиан. Дело в том, сэр, что она размышляла над судьбами Европы и так углубилась в европейскую политику, так ломала себе голову, выискивая в ней смысл, что под конец не выдержала этого напряжения и заснула. Но где же первый призрак? Позвать его сюда!

Появляется призрак.

Вы с ним знакомы?

Снируэлл. Честное слово, я вижу его в первый раз.

Фастиан. Это меня крайне удивляет, сэр, ведь вы должны бы его хорошо знать. Это Дух Трагедии. Он уже много лет подвизается на сценах всех лондонских театров. *(К призраку.)* Но почему вы не загримированы? Где цирюльник, черт его побери?

Призрак. Сэр, он пошел в королевский театр Дрюри-Лейн брить султана для нового спектакля.

Фастиан. Прошу вас, господин призрак, начинайте.

Призрак.

Из царства тьмы, скача на почтовых,
Я, Дух Трагедии, сюда явился.
Тебе скажу я много, Здравый Смысл,
Что стоит королевского вниманья.

Кричит петух.

Чу! Прибыл слишком поздно я сюда —
Меня опередил проклятый кочет.
Отложим дело до другого раза. *(Исчезает.)*

Снируэлл. Должно быть, этот персонаж выведен только для развлечения публики, иначе к чему он в этой пьесе?

Фастиан. Где второй призрак?

Снируэлл. Но ведь петух уже пропел.

Фастиан. Да, но второй призрак ведь мог и не слышать петуха, правда? Проследите, господин суфлер, за тем, чтобы первый призрак уходил, а второй приходил в одно и то же время. Они — как звезды в созвездии Близнецов.

Появляется второй призрак.

Второй призрак.

О королева Здравый Смысл, проснись!
Взгляни! Те руки, что меня убили,
И над тобой сейчас занесены.
Не думай пережить меня надолго,—
Ты многим стала поперек дороги:
Врачам клиентов убивать мешаешь;
Жрецы не могут на собор собраться;
Законникам людей опасно грабить;
Льстецам придворным хода не дают;
Банкроты свой кредит не восстановят;
Газеты, где ни новостей, ни толку —
Их тысячи таких,— не проживут;
Театры не в почете, там искусство
Пошлейшей ерундою подменяют;
Шекспир и Джонсон, Драйден, Ли и Роу *
Вознесены тобой над Седлерс-Уэллсом *;
Ты умным с голоду не дашь погибнуть;
Ты дураков не наградишь за глупость;
Ты не потерпишь наглости кастратов,
Которые сюда понаезжали.

Появляется третий призрак.

Третий призрак.

Петух пропел. До наступленья дня
Под землю предстоит тебе спуститься.

Второй призрак.

Остаться здесь я дольше не могу!
(Исчезает.)

Фастиан. Гром и молния! Где гром и молния? Смотрите не забудьте про них на представлении.

Снируэлл. Объясните мне, пожалуйста, мистер Фастиан, почему появление и исчезновение духа обязательно должно сопровождаться громом и молнией? Я много читал о духах, но нигде не упоминалось об этом обстоятельстве.

Фастиан. Может быть, и так. Но без грома и молнии никак нельзя обойтись. В самом деле, это неотъемлемые аксессуары всякого духа.

Снируэлл. Но скажите, что это был за призрак?

Фастиан. Кто же еще, как не Дух Комедии? Я думал, вы и сами догадаетесь, поскольку прежде появлялся Дух Трагедии! Слушайте, Здравый Смысл, вам пора просыпаться! Протрите ваши глазки.

Королева Здравый Смысл
(просыпаясь).

Кто там?

Входит фрейлина.

Скажи, ты что-нибудь слыхала?

Фрейлина.

Нет, ничего не слышала, мадам!

Королева Здравый Смысл.

Во сне подслушала я речи духа.

Фрейлина.

Я бодрствовала в комнате соседней.
И слышала бы, если б дух вошел.

Входит жрец.

Королева Здравый Смысл.

Жрец Солнца, как ты во-время пришел!
Сейчас мне было страшное виденье.
Спала я, и во сне мне дух явился.

Жрец.

Веротерпимость ваша, королева,
Разгневала богов, и этот двор
В двор ду́хов не замедлит превратиться.
Костры зажгите и спалите всех
Неверующих! Тотчас духи сгинут.

Королева Здравый Смысл.

Людей насильно верить не заставишь
И набожность им не навяжешь пыткой.

Жрец.

Так хочет Солнце.

Королева Здравый Смысл.

Кто докажет это?

Жрец.

Моя непогрешимость подтвердит.

Королева Здравый Смысл.

Кто подтвердит твою непогрешимость?

Жрец.

Ну, если усомнились вы и в ней,—
Я ничего не докажу. Но долг
Внушает мне сказать вам, королева,
Что сами вы — смертельный Солнцу враг,
И все жрецы желают одного:
Чтоб никогда на свет вы не рождались.

Королева Здравый Смысл.

Так вот какие песни ты запел!
Знай, жрец, что я обожествляю Солнце.
Его тепло, его лучи во мне
Любовь и благодарность вызывают.
Но я жреца обожествлять не стану:
Под маской веры ты надменность прячешь;
Ты хочешь у людей украсть свободу,—
Вот для чего шумиху поднял ты.
Пока жива, ты власти не получишь!

Жрец.

Нет, королева, власть дана жрецам
Не вамн. Солнце нам ее послало.
В тот день, когда неловкий Фаэтон *
Низверг в пучину колесницу Солнца,
В ней ящик был с пергаментом о власти.

Королева Здравый Смысл.

Что ж, покажи и дай прочесть пергамент.

Жрец.

О, вы его не сможете прочесть:
Он сильно поврежден морской водой
И только нам, жрецам, теперь понятен.

Королева Здравый Смысл.

Ты думаешь, я верю этим сказкам?

Жрец.

Я вам приказываю в них поверить!

Королева Здравый Смысл.

Не буду верить, дерзкий властолюбец!
Религия, закон и врачеванье
Даны богами людям в обладанье.
Но медик, жрец и адвокат-сутяга
Присвоили общественное благо;
Они себе карманы набивают
И тем добро в проклятье обращают.

Фастиан. Сейчас выход Законника и Медика. Где же Законник?

Входит Медик.

Медик. Сэр, Законника задержал у входа в театр судебный пристав.

Жрец. Ну, так обойдемся без него.

Фастиан. Нет, нет, постойте! Нужно заменить его кем-нибудь, чтобы прорепетировать его роль. Черт бы подрал всех этих судейских! Если бы я знал, что это случится, я бы еще не так над ними посмеялся!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Входят Фастиан, Снируэлл, суфлер, жрец, Законник и Медик.

Фастиан. Я рад, что вам удалось вырваться, сэр Но надо уладить это дело до начала спектаклей. Продолжайте, пожалуйста, господин жрец. В тот момент, когда королева Здравый Смысл уходит со сцены, должны появиться Законник и Медик.

Жрец

Любезнейшие Медик и Законник!
Приди вы раньше, вы бы услыхали
Всю брань, что королева Здравый Смысл
Обрушила на нас.

Законник

Давно известно,
Что ненависть она ко мне питает.
Но перейдем к другому. Королева
Невежество со свитою из тех,
Кто издавна не любит Здравый Смысл,
Сегодня прибывает в Ковент-Гарден.
Мы срочно с ней должны соединиться.
Из Темпля Клиффорд, Тевис и Фернваль
С полками наступают к Дрюри-Лейну.
Там стряпчие и пристава, а с ними
Ходатаи, закованные в латы,
Констебли, адвокаты, стражи, судьи.

Медик

Мои войска нас ждут в Уорвик-Лейне.
Там душегубы славные сидят
В бессчетных колесницах. Каждый врач
Зажал в руке гусиное перо —
Стрелу, что бьет без промаха больного.

За ними полк аптекарей стоит;
Его оружье — яды и пилюли.
Хирурги-живорезы — в арьергарде;
Любой из них готов убить сначала,
А вскрытие произвести потом.

Жрец.

Милорды, я предсказываю вам,
Что королева не забудет помощь.
Она употребит свое влиянье,
Чтобы возвысить ваши гонорары
До непомерной цифры. Люди будут
Платить вам за свою погибель деньги.
От всей души желаю вам успеха!
Молить я буду Солнце о победе!
Жрецам сражаться не велит обычай,
Но я вам помогу делить добычу.

Жрец, Законник и Медик уходят.

Фастиан. Сейчас, мистер Снируэлл, начнется третий и последний акт. Я смело могу сказать, что ничего равного ему нет и не будет в нашей драматургии! Там, сэр, столько барабанного боя, литавр, грома, молнии, бряцания оружием, битв и призраков, что публика будет в полном восторге. Это так же занимательно, как «Пещера Мерлина». Что касается остроумия, то это почти так же смешно, как фокусы жонглеров и кувыркание акробатов. Итак, начинаем.

Слышится веселый марш. Входит королева Невежество в сопровождении певцов и скрипачей, канатных плясунов, акробатов и т. д.

Королева Невежество.

Здесь водружаем знамя! Что за местность?

Первый приближенный.

Ей имя Ковент-Гарден, королева.

Королева Невежество.

Мы выдвинулись слишком далеко.
В театрах здешних держит Здравый Смысл
Свои войска. Их вылазки опасны,
Пока врачи с юристами не с нами.

Бьет барабан.

Что означает барабанный бой?

Первый приближенный.

Сигнал переговоров, а не битвы!

Входит арлекин.

Арлекин.

Я прихожу к тебе, о королева,
Послом от двух прославленных театров,
Которые приветствуют тебя
И заключить с тобой союз стремятся.
В залог они сокровища прислали.
Храни их все, пока не убедишься,
Что Здравый Смысл мы тоже ненавидим.

Королева Невежество.

Где ваш залог?

Арлекин.

Вот списки, королева.
По твоему приказу мы доставим
Все обозначенное в них. Заметь,
Здесь подлинные ценности. В обмен
Дадим своих актеров и поэтов.

Королева Невежество.

Читай же списки!

Арлекин *(читает)*. «Великан и великанша, нанятые за высокую плату; чрезвычайно дорогой силач; две собаки, которые ходят на задних лапах и столь искусно изображают людей, что легко могут быть приняты за таковых; человек, который столь искусно изображает собаку, что вполне может быть принят за таковую; два человекообразных кота; набор щенят; пара голубей; труппа канатных плясунов из Седлерс-Уэллса».

Королева Невежество.

Довольно. Будет! Но скажи, посол,
Возможно ли, что связаны театры
С людьми из Седлерс-Уэллса? Если так,
Они и в самом деле Здравый Смысл
Всем сердцем ненавидят. Возврати
Залог,— он им понадобиться может,—
И прикажи сыграть вот эту пьесу,
Ни складу в ней, ни ладу вовсе нет.

Арлекин.

Благодарю, мадам, и принимаю.
Мы б ухватились за такую пьесу,
Из чьих бы рук ее ни получили.

Королева Невежество.

Ее названье «Модная чета».
Я болтовней ей окажу поддержку,
Хотя б все были против.

Первый приближенный.

Королева! Подходит Здравый Смысл
и все войска.

Королева Невежество.

Я встречу их как должно. Этот день
Закончить должен долгий спор меж нами!

Входит королева Здравый Смысл в сопровождении барабанщика.

Фастиан. Проклятье! Где же войско королевы Здравый Смысл?

Суфлер. Сэр, я искал по всему городу и не мог найти для нее ни одного солдата, кроме этого несчастного барабанщика, которого не так давно выгнали из одного ирландского полка.

Барабанщик. Клянусь честью, я барабаню вот уже двадцать лет, но еще ни разу не был на войне. А мне бы хотелось, хозяин, понюхать пороха хоть раз в жизни.

Фастиан. Молчать, бездельник! Тебе не полагается острить, это не входит в твою роль.

Барабанщик. А что же входит в мою роль, сэр? Мне хочется что-нибудь делать, я устал от безделья.

Королева Здравый Смысл.

С какою целью вы, мадам, ввели
В мою страну враждебные войска?

Королева Невежество.

Чтоб ваших подданных освободить.
Народ не в силах выносить ваш гнет
И звал меня, чтоб навести порядок.

Королева Здравый Смысл.

Какая низость и неблагодарность!
На что ж они пожаловались вам?

Королева Невежество.

Вы обложили их налогом мысли,
Который уплатить они не в силах.

Королева Здравый Смысл.

Ты хочешь их освободить от мысли?

Королева Невежество.

Конечно. Мысль вредна для человека;
Ведь счастье достается дуракам.
Зачем, скажите, мыслить мудрецу,
Когда судьба его хитросплетенья
Одним ударом ловким разрушает,
Коварно вознося над ним глупца?

Королева Здравый Смысл.

Но ты сама ведь в этом виновата —
Твои уловки и твои интриги.
О, если б здравый смысл проник повсюду,
Величье б не досталось дуракам.

Королева Невежество.

А что такое глупость, для которой
Ты не жалеешь самых черных красок?
Не лучший ли подарок это смертным?
Пускай иные хвалятся умом —
Их большинство считает чудаками.
Ученые всегда поднимут крик,
Коль ум проникнет в область их науки
И новые пути укажет им:
Исхоженные предками — милее.

Снируэлл. Однако Невежество знает немало, мистер Фастиан!

Фастиан. Да, сэр, она знает то, что ей приходилось не раз наблюдать. Но вы сами увидите, она во многом ошибается, и Здравому Смыслу ни за что не заставить ее это признать.

Королева Невежество.

Отец всех страхов — Разум; мудрый лис
Мудр потому, что он людей боится
И прячется от них в густых лесах.
А бедный гусь, счастливый, беззаботный,
Живет без страха в клетке, полагая,
Что их, гусей, из чувства дружбы кормят.
Уйди же, Здравый Смысл, и не дерзай
Вступить в сраженье: мы сильнее вас.

Королева Здравый Смысл.

Знай, королева, я не подчинюсь!
А если я предам своих друзей
И отступлюсь от прав своих исконных,—
Пускай молва мое порочит имя!

Снируэлл. Мне кажется, королеве Здравый Смысл следовало бы сдаться, поскольку некому ее защищать.

Фастиан. В самом деле, сейчас это выглядит немного странно, но я постараюсь достать ей хорошее войско ко дню спектакля. Итак, продолжайте.

Королева Невежество.

Я вколочу в тебя твое упрямство!
Эй, наголо мечи!

Королева Здравый Смысл.

Вперед, герои!

Королева Невежество.

Сейчас тебя пронзят!

Королева Здравый Смысл.

Скорей тебя!

Сражаются.

Фастиан. Стойте, стойте, черт возьми! Я в жизни не видал худшего сражения на сцене! Пусть несколько человек перейдут на другую сторону.

Снируэлл. Это, наверно, швейцарские наемные солдаты, мистер Фастиан. Им все равно, на чьей стороне драться.

Фастиан. Начните снова, джентльмены. Деритесь вовсю! Вы должны биться, как будто это настоящий бой!

Сражаются.

Проклятье! Господин суфлер, уж не в ополчении ли вы навербовали таких вояк? Они боятся задеть друг друга.

Снова сражаются.

Так, так, теперь пошло лучше. Я надеюсь, что нам все-таки удастся в спектакле изобразить настоящую битву, а, мистер Снируэлл?

Снируэлл. По правде сказать, от них едва ли можно ожидать чего-нибудь лучшего.

Фастиан. Кажется, эта сцена не слишком-то вам понравилась, мистер Снируэлл?

Снируэлл. Откровенно говоря, я далеко не в восторге от этого акта. Мне думается, описать битву яркими красками было бы куда выигрышнее, чем так ее показывать. У меня, право же, не хватает фантазии, чтобы превратить эту маленькую сцену в поле битвы, а несколько человек актеров в многотысячное войско.

Фастиан. Слуга покорный! Если бы мы угождали вам и еще десятку таких же знатоков, то мы живо бы прогорели! Ведь нам надо окупить расходы по содержанию театра. Поверьте, сэр, публика будет довольна зрелищем битвы. Ведь она привыкла к развлечениям еще более низкого сорта, вроде пантомим.

Снируэлл. Да что вы, мистер Фастиан! Разве можно пантомимы называть развлечениями?

Фастиан. Правда, сэр, это слишком громкое название для пантомим. Но я хочу сказать, что, после того как публику утомят нудные произведения Шекспира, Бен Джонсона, Ванбру * и других авторов, ее начинают развлекать пантомимами, которые состряпаны хозяином театра с помощью двух-трех

художников и нескольких плясунов. Что это за развлечения, мне нет нужды вам говорить. Вы их достаточно насмотрелись. Но меня всегда поражало: как это может разумный человек, который три часа наслаждался творениями великих гениев, просидеть еще три часа, глядя на клоунов и акробатов, которые, не произнося ни единого слова, скачут по сцене, кривляются, выделывают затасканные фокусы, и, кстати сказать, куда хуже, чем в балагане у Фоука. И за эту дрянь с публики дерут добавочную плату. Но мало того, от этого страдают лучшие пьесы наших писателей, которые коверкаются напропалую в угоду авторам пантомим.

Снируэлл. Вы правы. Многие так говорят, а сами ходят смотреть на них.

Фастиан. Сколько ее ни ругай, публика валом валит на эти представления.

На сцене появляется призрак королевы Здравый Смысл.

Тысяча чертей! Откуда вы взялись, сударыня? Что все это значит? Вы пропустили целую сцену! Какая нелепость! Как мог появиться ваш призрак прежде, чем вы сами были убиты?

Королева Здравый Смысл. Прошу прощения, сэр. В пылу сражения я забыла, что меня должны убить.

Фастиан. Тогда сотрите пудру со своих щек и прорепетируйте пропущенную сцену. Смотрите, не повторите этой ошибки во время спектакля. А не то вы наверняка провалите мою пьесу. Теперь отойдите в сторону и стойте с убитым видом, так как вы проиграли битву.

Королева Здравый Смысл.

Прочь, негодяи, Здравый Смысл восстал!

Фастиан. Черт бы вас подрал, мадам! Я же вам сказал, что вы еще не дух, вы еще живы!

Королева Здравый Смысл.

Проиграно сраженье, а друзья
Погибли или предали меня.

Входит поэт.

Поэт.

У вас еще остался друг, мадам!

Королева Здравый Смысл.

Скажи, кто ты?

Поэт.

Поэт я, королева.

Королева Здравый Смысл.

Ты друг Невежества, и потому
Я отрекаюсь от тебя, поэт.

Поэт.

Я был освистан за враждебность к вам,—
С тех пор я добиваюсь вашей дружбы.

Королева Здравый Смысл.

Дурак, ты был освистан потому,
Что был врагом, а притворялся другом.
Но если бы, подобно Герлотрамбо *,
Подобно опере иль пантомиме,
Ты поддержал Невежество открыто,—
Тогда бы ты завоевал успех.
Со мной нельзя дружить — даже притворно!

Поэт.

Билет на мой возьмите бенефис!

Королева Здравый Смысл.

Я больше сделаю. Уйдет навеки
Из твоего театра Здравый Смысл,
И никогда тебя уж не освищут.

Поэт.

Ах, что вы говорите! Я клянусь,
Что Здравый Смысл не посещает нас.
Но, раз вы презираете меня,
Под вашим именем, о Здравый Смысл,
Невежество я выведу на сцену.
Я облачу его в одежды ваши
И знания Невежества прославлю.

Поэт уходит. Входит жрец.

Жрец.

Благодарю за эту встречу, Солнце.

Королева Здравый Смысл.

Ах, жрец! Разбиты воины мои;
Иных уж нет, но большинство бежало.

Жрец.

Заранее все это я предвидел
И говорил вам: Солнце против вас.

Королева Здравый Смысл.

Не перекладывай вину на Солнце.
Предатели виновны, а не Солнце.

Жрец.

Все эти трусы — набожные люди.
Молю тебя, о Солнце, не оставь их!

Королева Здравый Смысл.

Наглец, ты смеешь говорить мне это!

Жрец.

Я смею больше! Солнце посылает
Тебе *(закалывает ее)*,
А я передаю исправно.

Королева Здравый Смысл.

Предатель, Здравый Смысл ты убиваешь!
Тщеславный мир! Передаю тебя
Невежеству, под скипетр оловянный.
Жрец! Ныне расцветет твоя надменность;
Тебя с восторгом будут слушать люди,
И ты заставишь их воздать тебе
Те почести, что полагались Солнцу.
Все в мире вверх тормашками пойдет:
Врач будет убивать своих больных;
Поработит клиентов адвокат;
Придворные пойдут играть на биржу,
Купцы же будут слушать итальянцев;
Места, где ум и знание нужны,
По жребию распределяться будут,
Их неучи займут или безумцы.
Но смерть... ее дыханье ледяное
Меня на полуслове прерывает.
Об остальном — вы сами догадайтесь.

(Умирает.)

Жрец.

Нас не должны подозревать в убийстве —
Дурная слава повредит жрецам.
Я рядом с нею положу кинжал,
И это, вместе с небольшою суммой,
Суд убедит, что здесь самоубийство.
А доброе Невежество поверит,
Когда я речь надгробную скажу,
Покойную искусно восхваляя.

Входит королева Невежество.

Королева Невежество.

Мы победили. Здравый Смысл разбит.
Солдаты разбежались. Бей отбой!

Мне бы хотелось, мистер Фастиан, чтобы в этой фразе была бы хоть капля здравого смысла!

Снирруэлл. Да разве это возможно, черт побери? Ведь со Здравым Смыслом покончено!

Фастиан. Вы, я вижу, придираетесь к лучшему пассажу во всей пьесе. Я готов пожертвовать чем угодно, только не этими двумя строчками!

Арлекин.

Взгляните, вот лежит она в крови...

Мне бы хотелось, сэр, чтобы вы вычеркнули эту строчку из моей роли или хотя бы изменили ее. Прошу вас, сэр!

Фастиан. Вот еще! С какой стати! Я готов расстаться с любой фразой, но ни за что не стану лишать свою пьесу ее главных красот.

Арлекин.

Вот окровавленный кинжал. Она
Покончила с собой.

Королева Невежество.

Как благородно!
Я доблести завидую такой
И прикажу ей почести воздать:
Перенесите тело в Гудменс-фильдс *.

Входит вестник.

Вестник.

Мадам, меня направил к вам Крейн-Корт *,—
Собравшиеся там вас поздравляют
И просят разрешенья на союз
Меж королевским обществом Граб-стрита
И нами. Более того, мы просим
Чтоб нас с Граб-стритом слили воедино.
В корзине этой мы подносим вам
Забавные вещицы: клык слона,
На целый дюйм длинней он, чем обычно;
Таможенный жетон, весьма похожий
На древнюю монету; конский хвост,
Сто волосков сверх нормы он имеет.

Королева Невежество.

Бесценные дары мы принимаем
И сохраним их в надлежащем месте,
Пока дворец воздвигнуть не прикажем,
Достойный раритетов. Передай
Крейн-Корту, что мы очень им довольны.
Пускай готовятся,— я собираюсь
Смотреть, как там отплясывают джигу.

Вестник уходит.

Милорды Медик и Законник, вы
Увидите, что я вас не забыла.
Твои услуги помню, арлекин,
И для тебя, Сквикаронелли *, буду
Я доброй королевою... Но, чу!

Под сценой раздается музыка.

Откуда эти мерзостные звуки?
Какой-то призрак оперных мелодий!

Снируэлл. Призрак оперных мелодий, мистер Фастиан?

Фастиан. Как, сэр? Разве вы никогда о нем не слыхали? В одной из своих пьес я вывел на сцену Духа музыки в аллегорическом образе английской оперы. Пожалуйста, входите, господин Дух Музыки! Только нежные звуки ваших мелодий могут призвать сюда призрак королевы Здравый Смысл.

Призрак королевы Здравый Смысл появляется под тихую музыку.

Призрак.

Прочь, негодяи, Здравый Смысл восстал!
Бегите прочь, не то вас уничтожу!
С лица земли немедля вас сотру!

Королева Невежество.

Дух! Дух! Спасайтесь же скорей, друзья!
Ведь мы убили тело королевы,
И дух ее пощады нам не даст.

Все.

Дух! Дух!

Убегают.

Призрак.

Из наших мест в свое родное царство
Невежество со свитой убегает.
Теперь на нас напасть они не смогут.
Теперь здесь воцарится здравый смысл.
Я только дух, но здесь хозяин я!
Невежество и все его друзья,
На эти сцены глядя, понимают,
Что здравый смысл всегда одолевает!

Снируэлл. Я рад, что в конце концов здравый смысл одерживает у вас верх. Признаться, я сильно опасался за мораль пьесы.

Фастиан. Уверяю вас, сэр, это единственная пьеса, где здравый смысл оказывается победителем. Сейчас вы прослушаете эпилог. Начинайте, пожалуйста, сударыня.

ЭПИЛОГ

Дух.

К вам Эпилог приходит на минутку
И превращает сыгранное в шутку.
Он объясняет дамам: «Я свидетель,
Что хороша лишь в драмах добродетель,
А мисс Нужда всегда дает советы
Толковей, чем актеры и поэты».
Таков обычный метод Эпилога.
Но ни к чему нам торная дорога.
Весь вечер хохотали мы до слез,
Теперь наш автор говорит всерьез:
«Гоните прочь все детские забавы!
Пусть драматурги добывают славу,
Не забывая смысл, рассудок здравый.
Вас удивляет итальянцев пенье,
Я ж удивляюсь вашему терпенью:
Они карманы вам опустошают,
А вас, хозяев, нагло презирают.
Пред музыкой открыты все дороги,
Поэзия ж едва таскает ноги.
Ну что ж, морите голодом поэта,
Покуда сами рыщете по свету
И тащите в страну всю накипь эту!
Весь мир не сможет выставить ученых,
Что стоили бы Локка иль Ньютона!
Как могут состязаться сцены мира
С Бен-Джонсоном, с твореньями Шекспира?
Была щедра природа к англичанам,—
Так не завидуйте соседним странам.
Чужой ячмень достойно оцените
И жемчугам родным не предпочтите».

1786

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ЗА 1736 ГОД

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПОСВЯЩЕНИЮ

Ни в ком лесть не встретит более сурового и неумолимого противника, чем во мне, и поэтому, когда только удавалось, я публиковал свои драматические произведения без такого рода украшений, как эпистолярные предисловия, называемые посвящениями. Однако мой книгопродавец * решительно возражает против подобного обычая, считая его в высшей степени нехристианским. «Покровитель для книги — нечто вроде крестного отца,— говорит он,— и хороший автор должен так же заботливо подбирать покровителя своим произведениям, как хороший родитель — крестного своим детям». Мой книгопродавец усматривает между двумя этими званиями очень много общего, ибо, имея дело с драматическими писателями, он приобрел по умеренным ценам в полную собственность сто тысяч сравнений, и никто на свете, наверно, не превзойдет его в умении применять их, устанавливая сходство между предметами абсолютно несходными. «Что способно оказать книге большую услугу и сильнее возбудить любопытство читателя,— говорит он,— чем слова: «Посвящается его светлости герцогу такому-то», или: «Графу такому-то, пэру Англии», в объявлении о ее выходе в свет? Можно сказать,— продолжает он,— что в данном случае покровитель дает книге свое имя. Если же он присоединяет к этому еще и подарок, как же не назвать его крестным отцом? И чем автор, употребив подарок на собственную пользу, будет отличаться от родителя?» Он говорит еще, что книгопродавец исполняет при наших сочинениях роль няньки, но его доводов я не буду здесь приводить, так как уже довольно сказано в подтверждение полнейшего сходства между детьми и книгами и о том, как лучше всего позаботиться о тех и других. Это, я думаю, дает мне достаточно оснований оставить нижеследующее произведение на произвол судьбы, поскольку иные весьма благоразумные родители именно так поступают со своими детьми.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПУБЛИКЕ

Надеюсь, вы простите меня за то, что я печатаю это посвящение без вашего ведома: я не знаю, как получить ваше согласие на публикацию оного, и не жду от вас никакого подарка. Сам обычай просить такого рода разрешение объясняется, я думаю, именно последним обстоятельством: глупо ведь добиваться от человека, чтобы он позволил польстить себе; дать такое позволение может только дурак или нахал или дурак и нахал одновременно. Поэтому, когда автор интересуется, позволят ли ему напечатать посвящение, он попросту желает узнать, заплатят ему или нет; именно в этом смысле, мне кажется, понимают указанный обычай как авторы, так и покровители.

Кроме того, извинением мне служит чистосердечный прием, который встретили у вас эти сцены. С незапамятных времен известно, что самая скромная похвала по адресу автора дает ему право на посвящение, которое теперь рассматривается уже лишь как бескорыстная попытка вернуть комплимент, а в этом отношении ни у кого еще не было больших обязательств, чем у меня, ибо, присутствуя на всех представлениях моей пьесы и неизменно выражая свое восхищение и горячее одобрение, вы оказали мне величайшую честь. Не менее обязан я вам и за панегирики, которые можно было услышать повсюду, моему... Но стоп! Боюсь, я пошел по стопам иных хитроумных писателей, которые, адресуя по внешности похвалы своему покровителю, изливают их на себя самих. Я помолчу поэтому о себе, тем более что у меня множество оснований избрать вас покровителем этих сцен. Вот в чем они состоят.

Во-первых, в намерении, с которым написана моя пьеса. Конечно, всякое драматическое произведение рассчитано на публику, однако данное, я уверен, более всех прочих принад-

лежит вам. Оно имеет целью не только развлечь вас, но также сообщить вам некоторые сведения о теперешнем положении в театральном мире, которые, будь на то ваша воля, могут оказать публике неоценимую услугу. Театр, по-моему, весьма далек ныне от желанного процветания. Я с горечью услышал о ряде шагов, предпринятых в недавнее время, а равно и других, с обоснованной тревогой ожидаемых, которые представляют огромную опасность для самих устоев британского театра; и будь даже мистер*** достойнейшим человеком и моим добрым другом, я все же не мог бы отрешиться от мысли, что в его поступках обнаруживается самоуправство, а практикуемая им система покупать актеров по непомерным ценам приведет к дурным последствиям. Его издержки вынуждена возмещать публика, и, следовательно, высокие входные цены, вызывающие столько нареканий, никогда не будут снижены. Правда, при теперешнем своем благосостоянии и процветании торговли публика платит их без труда, но в худшие времена (от которых нельзя зарекаться) она почувствует всю их тяжесть, последствия чего ясны сами собой. Пусть даже какой-нибудь великий гений создаст произведение исключительных достоинств, способное доставить огромное наслаждение зрителям, хотя и не отвечающее его собственному вкусу и личным запросам,— если он закупит всех ведущих актеров, подобный спектакль, несмотря на весь свой блеск, будет плохо посещаться и не принесет публике никакой пользы. Чтобы не занимать больше внимание читателя несообразностями, проистекающими из этого argumentum argentarium [1], многие из коих самоочевидны, я ограничусь замечанием, что коррупция, поражающая общество, в пагубном действии своем подобна болезням человеческого организма, которые обычно приводят к совершенному его разрушению или перерождению. Вот почему всякий, кто насаждает коррупцию в обществе, совершает то же самое и заслуживает того же отношения, что и человек, который, задавшись целью распространить заразу, отравляет источник, откуда, как ему известно, черпают воду все.

Наконец, в оправдание своей вольности, я сошлюсь на настоятельную необходимость с помощью могущественного покровителя защититься от наветов некоего анонима, поместившего в «Газеттере» от семнадцатого числа сего месяца диалог, в котором пытается создать впечатление, будто «Исторический календарь» ставит себе целью в сообществе с Мельником из Менсфильда *, свергнуть п-во *. Подобное утверждение, появись оно в «Крафтсмене», «Коммон-Сенсе» * или в какой-нибудь другой из тех газет, которых никто не читает, можно было бы оставить без ответа, но поскольку оно содержится в таком распространенном издании, как «Газеттер», выставленная в окнах

[1] Подкуп, взятка; буквально: денежный довод *(лат.)*.

чуть не всех почтовых контор Англии, столь злостная клевета относительно моих намерений обязывает меня, думается, к самой серьезной защите.

Я вынужден поэтому отметить, что человечество либо слепо, либо в высшей степени нечестно, если мне приходится публично уведомлять его, что «Календарь» — правительственный памфлет, имеющий целью внушить людям высокое мнение о их правительстве и таким способом обеспечить автору тепленькое местечко, которое ему не раз обещали, буде он примет сторону министерства.

Что может быть яснее первой строфы моей оды:

Такого дня во все года
Мы не видали никогда.
До дня такого, может быть,
И нашим детям не дожить [1].

В ней содержится ясный намек, что мы живем во времена, каких человечеству не довелось еще знать и не суждено узнать в будущем, и что мы обязаны этим нашему правительству. Можно ли объяснить сцену, в которой выведены политики, чем либо еще, как не желанием осмеять нелепое и несообразное с действительностью представление о деятельности наших министров и о них самих, которое составили себе иные из нас, не имеющие чести лично быть с ними знакомыми. Более того, я вложил в уста действующих лиц этой сцены такие выражения, которые, боюсь, слишком грубы даже для завсегдатаев пивной. Надеюсь, «Газеттер» не усмотрит здесь никакого намека, а также не сделает столь лестного для любого правительства предположения, будто подобные личности способны самоуверенно стремиться к руководству великой или вообще какой-бы то ни было нацией, а народ сможет жить в довольстве при подобном управлении.

Страсть к сравнениям, которую обнаруживают эти джентльмены, сопоставляя любой отрицательный персонаж со своими покровителями, заставляет меня вспомнить одну историю, которую я где-то вычитал. Шли по улице два джентльмена, и один из них, заметив вывеску с изображением осла, сказал: «Гляди, Боб, какой-то нахал повесил твой портрет вместо вывески». Его приятель, абсолютно лишенный чувства юмора и к тому же, по несчастью, на редкость близорукий, пришел в неописуемую ярость: он вызвал хозяина заведения и стал грозить ему судом за то, что тот выставил его изображение напоказ. Бедный хозяин, как нетрудно догадаться, был просто ошарашен и начисто все отрицал. Тогда ловкий франт, внушивший приятелю мысль о неприятном сходстве, обращается

---

[1] Слово «день» в первой и второй строке можно при желании заменить словом «человек». *(Прим. автора.)*

за поддержкой к собравшейся толпе; публика, быстро смекнув в чем дело, подтверждает, что изображение на вывеске — точная копия джентльмена. Наконец, один добрый человек, почувствовав жалость к бедняге, оказавшемуся мишенью насмешек уличной толпы, шепнул ему на ухо: «Я вижу, сэр, у вас плохое зрение, а ваш друг — прохвост и дурачит вас. На вывеске изображен осел, и ваш портрет появится здесь не раньше, чем вы сами его нарисуете».

Прошу читателя извинить меня за то, что я отвлек его внимание историей, совершенно здесь неуместной,— разве что в смысле вышеупомянутом.

Продолжаю свою защиту и перехожу к сцене патриотов, с помощью которой я рассчитывал — поскольку высмеивать патриотизм дело верное и прибыльное — составить себе целое состояние. Пусть любой из адвокатов правительства укажет мне во всем ворохе им написанного хотя бы одно место, где лжепатриотизм (ибо, я полагаю, у них недостанет нахальства говорить о подлинном патриотизме) был бы подвергнут большему шельмованию, выставлен в более неприглядном свете, чем в означенной сцене. Надеюсь, не останется незамеченным и то, что политики изображены тупоумными болванами, заслуживающими скорее жалости, чем презрения, в то время как патриоты показаны в виде сборища хитрых, своекорыстных людишек, которые за жалкую, ничтожную подачку готовы продать свободу и благосостояние своих сограждан. Вот в ком опасность, вот скала, о которую наша конституция может когда-нибудь разбиться. Народные вольности попирались дерзостью и силой, их пытались отнять искусные политики при помощи хитроумных и ловких ухищрений. Но и то и другое имело место лишь в редких случаях, ибо такого рода гении появляются не каждое столетие. Если же всюду проникнет коррупция, а те, кто призван стоять на страже, быть оплотом нашей свободы, увидят свой действительный или мнимый интерес в предательстве по отношению к ней,— не понадобится больших способностей, чтобы погубить ее. Напротив, если у самого низкого, ничтожного, грязного субъекта в грядущих веках достанет наглости внушить окружающим, будто у него сила, и запугать выше стоящих, он не хуже самого Макиавелли * сумеет искоренить вольности самого храброго народа.

Но, я знаю, меня спросят, кто такой Квидам, насмеявшийся над патриотами и совративший их подачками. Да кто же, кроме дьявола, способен сыграть подобную роль? Разве в ином свете изображен он в священном писании и в сочинениях лучших наших богословов? Улавливая грешные души, он всегда предпочитал золото любой другой наживке. А смеяться над беднягами, им же соблазненными,— какая еще черта характера лучше выдает дьявола? Кто изображен в образе Квидама, совершенно понятно, и сделать здесь неверное сопоставление —

это все равно, что спутать Томаса с Джоном или старого Ника со старым Бобом *.

Сказанного, думается, довольно, дабы всякий беспристрастный человек убедился, что на меня возвели злой поклеп и что на самом деле я правительственный писатель, чем весьма горд. Теперь мне предстоит опровергнуть весьма распространенное мнение, будто некое лицо иногда выступает в «Газеттере» как автор, нередко в роли редактора и является постоянным ее покровителем. Чтобы показать, насколько нелепо подобное утверждение, достаточно отметить, что даже те, кто не признает за означенным лицом особого ума или малейшего литературного вкуса, все же согласны в том, что оно обладает средними способностями и некоторой долей здравого смысла. Но в таком случае считать его покровителем или сотрудником газеты, которая ведется без единого проблеска ума, без малейшей претензии на вкус и вразрез со здравым смыслом, просто невозможно.

Если меня спросят, как же в таком случае осуществляется это издание, мне придется ответить вместе с моими политиками: «Не знаю». Здесь, думаю, дело не обходится без помощи недавно упомянутого старого джентльмена,— ведь он один способен оказывать ей поддержку и покровительство, и уж, наверно, никому другому не могли прийти в голову иные из тех коварных замыслов, в коих эта газета открыто признавалась. Если она не прекратит немедленно своего существования, я в ближайшем времени постараюсь уничтожить ее, основав газету в защиту правительства от хитрых, коварных и злокозненных инсинуаций, появляющихся на страницах этого издания. Да простится мне это отступление: я вынужден защититься от наветов, грозящих мне разорением, и если я не сумел осуществить свое намерение достаточно полно, то все же не теряю надежды получить от вас возмещение за убытки, которые понес, пытаясь вас развлечь. Величайшая снисходительность, с которой вы на протяжении последних двух лет относились к моим пьесам, идущим в Маленьком театре, так ободрила меня, что я осмеливаюсь ныне предложить подписку в пользу театра. Это позволило бы украсить его, расширить и улучшить состав труппы. Если вы сочтете возможным принять в ней участие, я со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы развлекать вас дешевле и лучше, чем это, по всему судя, станет делать кто-либо другой. Раз природа наделила меня известной способностью осмеивать порок и плутовство, я буду упражнять ее усердно и бесстрашно, пока существует свобода печати и сцены,— иначе говоря, пока сохраняется у нас хоть какая-нибудь свобода. Я попрежнему искреннейший друг и покорнейший слуга публики.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Медли — автор пьесы.
Сурвит — театральный критик.
Лорд Даппер.
Граунд-Айви.
Хеи — аукционист.
Незаконный сын Аполлона.
Пистоль — актер.
Квидам.
Политики.
Патриоты.
Бантер.
Дангл.
Миссис Скрин.
Миссис Бартер.

Суфлер, дамы, актеры и другие.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА 1

Помещение театра. Входят несколько актеров.

1-й актер. С добрым утром, мистер Эмфазис. Раненько же вы сегодня пришли на репетицию.

Эмфазис. Ах, знаете, Джек, у меня от мяса с пивом такая тяжесть в желудке, что просто на месте не усидишь. Пришлось выйти спозаранку.

1-й актер. Хоть бы мне какую тяжесть в желудке почувствовать! Если в ближайшее время наши дела не поправятся, мои зубы совсем разучатся жевать.

2-й актер. Да, времена тяжелые. То ли было, когда мы ставили «Пасквина»!

1-й актер. И не говори! Славные были денечки! Говядины и пунша вволю! Ах, друзья, скоро ли опять такое время настанет?!

2-й актер. Кто его знает, на что он способен, этот новый автор! Моя роль, правда, мне очень по душе.

1-й актер. Что ж, ведь публика любит, чтобы в спектакле было всего понемногу. Такая пьеса ей как раз подойдет. Жаль только, сатиры здесь маловато, да и не слишком она понятная!

2-й актер. По-моему, вполне понятная.

1-й актер. Хм! Пожалуй... Значит остроты ей не хватает. Думается и я, черт возьми, мог бы написать вещичку, которая имела бы успех.

2-й актер. А какой, скажи на милость, ты выбрал бы сюжет?

1-й актер. Да никакого, сэр. Зато сатиры хоть отбавляй. Я повторял бы на каждой странице, что придворные — обманщики и не платят долгов, адвокаты — плуты, врачи — тупицы, солдаты — трусы, а министры...

2-й актер. А эти, эти-то кто, сэр?

1-й актер. Их стоит только назвать, публика сразу заулюлюкает.

2-й актер. Черт возьми, сэр! В одних этих словах столько остроумия, что хватит на целую пьесу.

1-й актер. Только-то?! Да я почерпнул его более чем из дюжины! *

Входят Сурвит и лорд Даппер.

2-й актер. А это кто такие?

1-й актер. Верно, какие-нибудь джентльмены пришли послушать репетицию.

Даппер. Скажите, пожалуйста, джентльмены: вы сегодня репетируете «Исторический календарь»?

1-й актер. Ждем автора с минуты на минуту, сэр.

Сурвит. Этот «Исторический календарь» — трагедия или комедия?

1-й актер. Право, сэр, не могу сказать.

Сурвит. Значит, вы не участвуете в ней?

1-й актер. Нет, сэр, у меня несколько ролей в этой пьесе, но... Да вот и автор. Он сам вам все объяснит.

Сурвит. Что-то не верится, сэр.

Входит Медли.

Медли. Ваш покорный слуга, милорд. Мог ли я надеяться на подобную честь? Целую ваши руки, мистер Сурвит, очень рад видеть вас здесь.

Сурвит. Скоро вы, наверное, перестанете этому радоваться.

Даппер. Мы пришли поглядеть репетицию вашей пьесы, сэр. Скажите, когда она начнется?

Медли. Сию минуту, милорд. Прошу приготовиться, джентльмены. Пусть суфлер принесет несколько экземпляров пьесы для этих господ.

Сурвит. Вы знаете, мистер Медли, я человек прямой... Заранее прошу извинить меня!..

Медли. Дорогой сэр, вы ничем так меня не обяжете...

Сурвит. Тогда признаюсь, сэр, меня немного смутило название вашей пьесы. Вам, конечно, хорошо известны законы театра, сэр, и я ума не приложу, как сумеете вы уместить события целого года в двадцать четыре часа.

Медли. Мне нетрудно ответить на ваше замечание, сэр. Прежде всего моя пьеса не принадлежит ни к одному из принятых жанров, а следовательно — не подчиняется никаким правилам. Но если бы даже дело обстояло иначе, я и тогда мог бы сослаться на авторов, пренебрегающих правилами. К тому же, сэр, если все, что произошло за год, я успеваю показать в какие-нибудь полчаса,— моя ли здесь вина, или тех, кто так

мало сумел сделать за это время? Мне не пристало, по обычаю газетных писак, за недостатком новостей заполнять свой календарь всякой ерундой, и потому, если я говорю мало или ничего не говорю, вам следует благодарить тех, кто мало делает или вообще сидит сложа руки.

Входит суфлер с книгами.

А вот и моя пьеса.

Сурвит. Как, уже напечатана, мистер Медли?

Медли. Да, сэр, так оно верней. Если ждать, пока пьесу освищут, она, пожалуй, и вовсе не попадет в печать. Публика отличается непостоянством, поэтому пьесу лучше всего печатать сразу, едва она закончена. Тогда, если пьеса провалится, у тебя хоть книжка останется.

Сурвит. А скажите, пожалуйста, в чем состоит ваш замысел? Какова у вас интрига?

Медли. В моей пьесе несколько интриг, сэр; одни довольно замысловатые, другие попроще.

Сурвит. И конечно, сэр, все они служат развитию основного замысла?

Медли. Разумеется, сэр.

Сурвит. Скажите, сэр, а в чем он заключается?

Медли. Развлечь публику и обеспечить сборы.

Сурвит. Э-э! Вы меня не поняли! Я спрашиваю, в чем состоит мораль вашей пьесы, ее, так сказать...

Медли. Понял, понял, сэр. Моя цель — невзирая на лица, высмеять порочные и глупые обычаи нашего времени, без лести или злопыхательства, без непристойностей, банальности и шутовства. Я хочу высмеять глупость, свойственную всем нам, таким манером, чтобы люди избавились от нее, прежде чем поймут, что смеются над собой.

Сурвит. Но что придает единство вашей пьесе? Как свяжете вы сцены политиков со сценами, посвященными театру?

Медли. Очень просто: когда мои политики обращают свое занятие в фарс, они прямым путем ведут меня в театр, а здесь, позвольте заметить, тоже есть свои политики и, как при любом христианском дворе, гнездятся ложь, лесть, лицемерие, вероломство, интриги и плутовство.

Входит актер.

Актер. Не пора ли начинать репетицию, сэр?

Медли. Да, да, конечно. Написана ли музыка к прологу?

Сурвит. Музыка к прологу?!

Медли. Да, сэр. Я хочу быть во всем оригинальным. По-моему, чем пользоваться чужим умом, лучше уж оставаться при собственной глупости. Темы для прологов давно исчерпаны, мистер Сурвит. Цель пролога заключается как будто в том, чтобы добиться рукоплесканий, запугав публику славой

автора, или вымолить их, льстя ей. Изготовленный по такому рецепту пролог подойдет для любой пьесы. А мой пролог, сэр, годится лишь для моей и как раз ей под стать. Раз моя пьеса излагает события, происшедшие за год, что же должно служить ей прологом, как не новогодняя ода?

Сурвит. Новогодняя ода?

Медли. Да, сэр, новогодняя ода. Начинайте же, начинайте!

Входит суфлер.

Суфлер. Для пролога все готово, сэр.

Сурвит. Дорогой Медли, может быть вы прочтете его мне? А то, пожалуй, его так пропоют, что я ни слова не разберу.

Медли. С величайшим наслаждением, сэр.

«НОВОГОДНЯЯ ОДА

Такого дня, за все года,
Отцы не знали никогда.
До дня такого, может быть,
И нашим детям не дожить.
О дне таком
Ты песню пой
И веселись
Весь день-деньской!
Вот это день!
И чудная ночь!
Коль светить солнцу лень,
Выйдет месяц помочь.
За ночь устанет
Луна сиять,
И солнце встанет
Из туч опять.
О дне таком
Ты песню пой
И веселись
Весь день-деньской!»

А теперь спойте ее.

Входят певцы и поют оду.

Здесь заключена, сэр, самая соль и квинтэссенция всех од, которые мне довелось прочесть за последние несколько лет.

Сурвит. А я думал, сэр, что вы не посягаете на чужое остроумие.

Медли. Я этого и не делаю. Черта с два найдешь сколько-нибудь остроумия хоть в одной из них!

Сурвит. Признаюсь, вы меня побили, сэр!

Медли. Что вы, что вы, сэр! Но вернемся к пьесе. Суфлер, политики уже за столом?

Суфлер. Пойду посмотрю, сэр.

Медли. В первой сцене моей пьесы, мистер Сурвит, действие происходит на острове Корсика,— он ведь сейчас в самом центре европейской политики.

Входит суфлер.

Суфлер. Они готовы, сэр.

Медли. Тогда открывайте занавес.

Занавес открывается. За столом сидят пятеро политиков.

Сурвит. У вас тут опечатка, мистер Медли. Сказано, что второй политик говорит первым.

Медли. Сэр, мой первый и самый большой политик вообще никогда не говорит. Он человек глубокомысленный. Мораль здесь, как нетрудно заметить, в том, что главное искусство политика — хранить тайну.

Сурвит. Вы хотите сказать: хранить свою политику в тайне?

Медли. Начинайте, сэр.

2-й политик. Король Теодор * уже вернулся?

3-й политик. Нет.

2-й политик. А когда он вернется?

3-й политик. Не знаю.

Сурвит. Мне кажется, этот политик очень плохо осведомлен.

Медли. Черт побери, он ведь только политик! Не хотите ли вы, чтоб он был еще и пророком? Сами видите, сэр: то, что уже совершилось, он знает,— а это все, что ему положено знать. Ну за коим чертом политику быть прорицателем? Продолжайте, джентльмены! Прошу вас, сэр, не прерывайте их дебатов. Они имеют очень важное значение.

2-й политик. Усиленные приготовления турок направлены, бесспорно, против какого-то определенного пункта. Возникает вопрос: против какого именно пункта они направлены? На это я не могу ответить.

3-й политик. Однако нам следует быть начеку.

4-й политик. Безусловно, и в особенности потому, что у нас нет об этом никаких сведений.

2-й политик. Совершенно справедливо. Легко остерегаться известных тебе опасностей, но чтобы остерегаться опасностей неведомых, надо быть очень большим политиком.

Медли. Вы уже, наверно, решили, сэр, что никто ничего не знает?

Сурвит. Да, сэр, создается именно такое впечатление.

Медли. Нет, сэр. Один знает. Маленький джентльмен, который молча сидит вон там на стуле, знает все.

Сурвит. Но как поймет это публика?

Медли. Она прочтет это в его взгляде. Черт возьми, сэр,

разве политику, дабы прослыть великим человеком, нужно доказать свою мудрость?

5-й политик. К черту иностранные дела! Давайте займемся финансами!

Все. Да, да, да!

Медли. Джентльмены, это придется повторить. И, прошу вас, хватайте деньги проворнее, а то какие же вы политики!

5-й политик. К черту иностранные дела! Давайте займемся финансами!

Все. Да, да, да!

2-й политик. Единственное, о чем тут стоит подумать,— это как раздобыть денег.

3-й политик. По-моему, надо сперва выяснить, есть ли что раздобывать. Окажется, что есть,— тогда возникнет другой вопрос: как прибрать деньги к рукам.

Все. Гм...

Сурвит. Скажите, пожалуйста, сэр, кем являются эти джентльмены на Корсике?

Медли. Это умнейшие люди в королевстве, сэр, а значит и наиболее влиятельные. Ведь всякое должным образом организованное правительство,— а таким именно я изображаю корсиканское,— назначает на видные должности самых способных людей.

2-й политик. Я изучал данный вопрос и считаю, что деньги мы достанем при помощи налога.

3-й политик. Я уже думал об этом и пытался доискаться: что еще не обложено налогом?

2-й политик. Образование. Что, если мы обложим налогом образование?

3-й политик. Правда, образование вещь бесполезная, но, по-моему, лучше ввести налог на невежество. Образованием обладают немногие, и к тому же бедные. Боюсь, на них не разживешься. А невежество обитает в самых богатых домах королевства.

Все. Да, да, да.

Политики уходят.

Сурвит. Право, со стороны этих джентльменов в высшей степени благородно с такой готовностью облагать налогом самих себя!

Медли. Да, и притом чрезвычайно мудро: этим они предотвратят народное недовольство, а деньги все равно попадут к ним в карман.

Сурвит. Но куда делись политики?

Медли. Они ушли, сэр, ушли. Ведь они собрались, только затем, чтобы договориться о новом налоге, и, покончив с этим делом, отправились выколачивать из народа денежки. В одной этой сцене, сэр, заключена вся история Европы, насколько она нам известна.

Сурвит. Полноте! Вы ни словом не обмолвились о Франции, об Испании, об императоре!

Медли. Об этом на будущий год, сэр. К тому времени мы, быть может, получше узнаем их намерения. А пока наши сведения столь туманны, что вряд ли можно на них положиться. Однако вернемся к пьесе, сэр. Сейчас вам покажут, как совещаются дамы.

Сурвит. Опять на Корсике?

Медли. Нет, на этот раз место действия — Лондон. Видите ли, сэр, выводить на сцену английских политиков,— я имею в виду мужчин,— было бы, пожалуй, не совсем уместно, потому что в политике мы еще не стяжали себе славы. Но, к чести моих соотечественниц, нужно сказать, что наши политики женского пола не знают себе равных. Откройте занавес и покажите нам этих дам!

Суфлер. Их еще нет, сэр. Одна занимается наверху с учителем танцев, и я никак не могу добиться, чтоб она сошла вниз...

Медли. Я приведу их, будьте покойны! *(Уходит.)*

Сурвит. Ну, милорд, каково ваше мнение о том, что нам здесь показали?

Даппер. Откровенно говоря, сэр, я не следил за действием; впрочем, на мой взгляд, все это страшная чушь.

Сурвит. Я того же мнения, и, надеюсь, ваша светлость не станет поощрять подобное. От таких особ, как ваша светлость, мы должны учиться благородству. Если люди, обладающие вашим изысканным и утонченным вкусом, станут поддерживать более достойные развлечения, публика скоро сочтет зазорным смеяться над тем, над чем она смеется теперь.

Даппер. Право, это прескверный театр.

Сурвит. Он, правда, меньше других, зато в нем лучше слышно.

Даппер. Наплевать, что слышно. Здесь ничего не видно,— я хочу сказать: не во что посмотреться, нет ни одного зеркала. Поэтому я предпочитаю Линкольн-Инн-фильдс любому лондонскому театру.

Сурвит. Совершенно справедливо, милорд. Но мне хотелось бы, чтоб ваша светлость удостоила мои слова вниманием. Нравственные устои народа, как это было неоднократно и убедительно доказано, целиком зависят от публичных развлечений, и было бы крайне ценно, если бы ваша светлость и другие представители знати оказывали поддержку произведениям более возвышенным.

Даппер. Я никогда не откажу в похвале представлению, на которое ходит хорошая публика, мистер Сурвит. Большего от театра и не требуется. Ведь сюда ходят не пьесу смотреть, а встречаться со знакомыми. Поэтому хорошая пьеса всегда найдет во мне ценителя.

Сурвит. Ваша светлость будет ей лучшим судьей...

Даппер. Вы мне льстите, мистер Сурвит. Но поскольку первую половину представления я провожу в зеленой комнате, беседуя с актрисами, а вторую — в ложах, беседуя со светскими дамами, мне случается порой увидеть что-нибудь на сцене, и судить о пьесе я могу, пожалуй, не хуже других.

Входит Медли.

Медли. Дамы еще не готовы, милорд. Если ваша светлость соблаговолит пройти со мной в зеленую комнату, вам будет там приятнее, чем здесь, на холодной сцене.

Даппер. С удовольствием. Пойдемте, мистер Сурвит.

Сурвит. Следую за вашей светлостью.

Уходят.

Суфлер. Нечего сказать, хорош знаток! А ведь от таких вот франтов зависят и доход и репутация честного человека. *(Уходит.)*

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА 1

Входят Медли, лорд Даппер, Сурвит и суфлер.

Медли. Откройте занавес и покажите, как совещаются дамы. Прошу вас, садитесь, милорд.

Занавес открывается. На сцене четыре дамы.

Сурвит. По какому поводу собрались эти дамы?

Медли. По очень важному; сейчас увидите. Пожалуйста, начинайте все сразу.

Все дамы сразу. Вы были вчера вечером в опере, сударыня?

2-я дама. Как можно пропустить оперу, когда поет Фаринелло?

3-я дама. Ах, он очарователен!

4-я дама. Он обладает всем, чего только пожелать можно!

1-я дама. Почти всем, чего можно желать!

2-я дама. Говорят, у одной дамы в Лондоне от него ребенок.

Все. Ха, ха, ха!

1-я дама. Ах, это должно быть, восхитительно — иметь от него ребенка!

3-я дама. Сударыня, на днях я встретила у знакомых даму с тремя...

Остальные дамы. И все от Фаринелло?!

3-я дама. Все от Фаринелло! Все из воска!..

1-я дама. Боже мой! Где их делают? Завтра же утром пошлю заказать полдюжины!

2-я дама. А я — сколько уместится в карете.

Сурвит. Какое же это имеет отношение к истории, мистер Медли? Просто выдумка!

Медли. Право, сэр, это подлинный случай и, по-моему, самый примечательный за весь прошлый год. Его невозможно обойти молчанием. И позвольте сказать вам, сэр, ничего хорошего это нам не сулит. Если мы и впредь будем нежить себя и изощряться в разврате и роскоши, то через сотню лет станем больше похожи на этих пискливых итальянцев, чем на отважных бриттов.

Все дамы. Не перебивайте, милостивый государь!

1-я дама. Как хорошо, должно быть, с этими малютками!

2-я дама. О, лучше быть не может!

3-я дама. Если б научить их петь, как отец!..

4-я дама. Боюсь только, муж не позволит мне держать их. Он не терпит, чтоб я интересовалась чем-нибудь, кроме него самого!

Все дамы сразу. Какое безрассудство!

1-я дама. Если б мой муж стал возражать против них, я забрала бы дорогих малюток и сбежала от него.

Медли. Входит щеголь Дангл.

Входит Дангл.

Дангл. Фи, сударыни, что вы здесь делаете? Почему не на аукционе? Мистер Хен * уже целых полчаса на помосте.

1-я дама. О, милейший мистер Хен, как я перед ним провинилась! Ведь я никогда его не пропускаю.

2-я дама. Что выставлено сегодня на продажу?

1-я дама. А не все ли равно! Там будет весь свет!

Дангл. Не знаю, удастся ли вам туда пробраться. Это почти невозможно.

Все дамы. О, я буду так огорчена, если туда не попаду!

Дангл. Так не теряйте ни минуты.

Все дамы. Ни за что на свете!

Дамы уходят.

Медли. Они ушли.

Сурвит. И слава богу!

Даппер. Честное слово, мистер Медли, последняя сцена восхитительна: в ней столько изящества, здравого смысла и философии!

Медли. Это жизнь, милорд, сама жизнь.

Сурвит. Право, сэр, дамы должны быть вам очень признательны.

Медли. Поверьте, сэр, я отнюдь не желаю, чтобы существовали подобные женщины, так как питаю величайшее уважение к лучшей части этого пола. Но ее достоинства нельзя оттенить иначе, как осмеяв этих пустых, легкомысленных и ветреных особ, которые позорят свой пол и являются несчастьем для нашего.

Суфлер. Джентльмены, вам придется посторониться. Нам надо закрыть занавес и приготовить декорацию для аукциона.

Медли. Я думаю, вам лучше отойти к рампе, милорд. На сцене очень тесно, а у нас еще много приготовлений.

Сурвит. Честное слово, мистер Медли, не могу не повторить вопроса одной из ваших дам. Что вы собираетесь выставить на аукционе? Товары какого-нибудь проторговавшегося мануфактурщика или галантерейщика?

Медли. Сэр, я собираюсь выставить такие предметы, которые никогда на аукционах не продавались и продаваться не будут. Это лучшая сцена во всем спектакле, мистер Сурвит; пусть вас ничто не отвлекает: стоит вам взять понюшку табаку — и вы уже пропустили какую-нибудь шутку. Эта сцена к тому же столь глубокомысленна, что человеку заурядному не понять ее иначе, как сосредоточив все свои способности.

Сурвит. Надеюсь, она все же менее глубока, чем политика молчаливого джентльмена из первого акта. Тут уж надо быть вдохновленным свыше, чтобы хоть что-нибудь уразуметь.

Медли. Это аллегорическая сцена, сэр. Я старался сделать ее как можно понятнее, но, как всякая аллегория, она требует большого внимания.

Суфлер. Все готово, сэр.

Медли. Тогда открывайте занавес. Входят миссис Скрин и миссис Бартер.

Сцена изображает аукционный зал. Стол аукциониста, выставка товаров. По залу расхаживает публика, некоторые сидят у стола. Входят миссис Скрин и миссис Бартер.

Миссис Скрин. Дорогая миссис Бартер!

Миссис Бартер. Милая миссис Скрин, как вы рано сегодня!

Миссис Скрин. Да ведь если не проберешься к помосту, ничего не достанешь, а я собираюсь накупить целую уйму вещей. Весь аукцион скуплю, если, конечно, удастся получить по дешевке. Вы не станете ведь набивать цену на вещи, которые мне понравятся?

Миссис Бартер. Не в моих правилах платить дороже других.

Входят Бантер и Дангл.

Бантер. Могу подтвердить ваши слова, миссис Бартер.

Миссис Скрин. Ах, это вы? Уж вы-то все будете перебивать, ничего теперь не купишь дешевле, чем в лавке.

Бантер. Нехорошо, миссис Скрин! Вы же знаете, что я ни одной покупки у вас не перебил. Это было бы просто жестоко по отношению к даме, которая скупает все, что идет с молотка,— как видно, затем, чтобы в один прекрасный день самой устроить распродажу. Нет, я не стану вам мешать, запасайтесь товаром. Будьте спокойны, я не состязаюсь с мелочными торговцами.

Миссис Бартер. Какая любезность!

Бантер. А вам нечего лезть в заступницы, сударыня! Вам на аукционе столько же дела, сколько мэру на сессии. Вы, сударыня, сюда ходите для того лишь, чтобы показать, что вам и в других местах делать нечего.

Миссис Бартер. Во всяком случае не для того, чтобы грубить всем на свете!

Бантер. У вас, слава богу, на это ума не хватит.

Миссис Скрин. Оставьте его! Пускай себе злословит.

Миссис Бартер. Ну конечно, на таких ведь не обижаются. А вот скажите, сэр, зачем ваш приятель, мистер Дангл, сюда явился?

Бантер. О, разумной женщине он принес бы немало пользы!

Дангл. Что же ей от меня за польза, скажи, пожалуйста?

Бантер. Будет сидеть дома, чтобы не слушать твои глупости.

Миссис Скрин. Уж не намерены ли вы, мистер Бантер, отвадить всякого, кто не имеет к тому особой надобности, ходить куда ему нравится? Ведь вы не запретите людям посещать ассамблеи или маскарады, если они не собираются играть, танцевать или заводить интрижки? Позволите им ходить в оперу, если у них нет слуха, в театр — если у них нет вкуса, и в церковь — если они неверующие?

Входит Хен, раскланиваясь.

Миссис Скрин. Ах, дорогой мистер Хен, как я рада, что вы пришли! Вы сегодня так опоздали!

Хен. Я уже на помосте, сударыня. Надеюсь, дамы остались довольны каталогом?

Миссис Скрин. Кое-что подойдет, только бы вы не мешкали со своим молотком.

Бантер. Мальчик, подай каталог.

Хен *(на помосте)*. Милостивые государи и государыни, готов побожиться, этот аукцион удовлетворит каждого. Из всех аукционов, какие я только имел честь проводить,— этот

единственный в своем роде. Среди выставленного имеются уникальные ценности. Каталог раритетов, собранных неустанными трудами прославленного знатока Питера Хамдрама, эсквайра *, и назначенных к продаже на аукционе Христофора Хена в понедельник двадцать первого марта, открывается номером первым. Леди и джентльмены, номер первый: в высшей степени любопытный остаток политической честности. Кто берет, джентльмены? Из него выйдет превосходный плащ: можете убедиться — на обе стороны одинаков, выворачивайте сколько душе угодно. Внимание, начинаем! Пять фунтов за этот редкий отрез. Смею вас уверить, несколько великих людей сшили себе платье ко дню рождения из этого же куска. Век будет носиться, никогда не сносится. Цена пять фунтов! Кто больше за этот любопытный кусок политической честности? Пять фунтов! Больше никто? *(Ударяет молотком.)* Лорд Боф-Сайдс. Номер второй: тончайшего сукна патриотизм! Кто берет? Десять фунтов за весь патриотизм!

1-й придворный. Я не стал бы носить его, если бы мне еще приплатили тысячу.

Хен. Сэр, уверяю вас, многие джентльмены носят его при дворе. С изнанки он совсем не такой, как с лица.

1-й придворный. Это запрещенный товар, сэр. За него недолго угодить в Вестминстер-холл. Я ни за что не рискну его надеть.

Хен. Вы путаете его со старым патриотизмом, а между ними нет ничего общего, кроме покроя. Ах, сэр, большая разница в материале! Но я ведь не предлагаю носить его в городе, сэр; он годится только для деревни. Зато подумайте, джентльмены, как будет он вам к лицу на выборах! Начинаем! Пять фунтов! Одна гинея?! Отложим патриотизм в сторону.

Бантер. Лучше припрячьте его: когда-нибудь он опять может войти в моду.

Хен. Номер третий: три грана скромности. Учтите, сударыни, этот товар ныне очень редок.

Миссис Скрин. Да и к тому же совсем вышел из моды, мистер Хен.

Хен. Прошу прощения, сударыня: это настоящая французская скромность; ни при каких обстоятельствах не меняет цвета. Полкроны за всю скромность! Неужели среди присутствующих нет ни одной особы, которая нуждалась бы в скромности?

1-я дама. Простите, сэр, какова она с виду? Никак не разгляжу на таком расстоянии.

Хен. Ее не разглядишь даже вблизи, сударыня. Это превосходная пудра, помогающая сохранить естественный цвет лица.

Миссис Скрин. Но вы, кажется, сказали, будто она настоящая французская и не меняет цвета кожи?

Хен. Совершенно справедливо, сударыня, не меняет. Однако она очень помогает краснеть, прикрывшись веером. Хороша также под маской на маскараде. Как? Никому не требуется? Ладно, отложим скромность в сторону. Номер четвертый: бутылка храбрости. Принадлежала некогда подполковнику Эзекилю Пипкину — олдермену, торговавшему сальными свечами. Как, разве нет здесь ни одного офицера городского ополчения? Она может пригодиться и армейскому офицеру, в мирное время. И даже в военное, джентльмены! Уходя из армии, всякий продает ее за наличные *.

1-й офицер. Полная она? Трещины нет?

Хен. Что вы, сэр, целехонька, хоть и побывала во многих сражениях в Тотхил-фильдс *. Больше скажу: после смерти олдермена она принимала участие в одной или двух кампаниях в Хайд-парке *. Ее содержимое никогда не иссякнет, пока вы на родине, но стоит вам попасть в чужую страну, как оно немедленно испарится.

1-й офицер. Черт возьми, храбрости мне не занимать! А впрочем, излишек не повредит. Три шиллинга!

Хен. Три шиллинга за бутылку храбрости!

1-й щеголь. Четыре!

Бантер. Зачем она вам?

1-й щеголь. Я не для себя; меня просила одна дама.

1-й офицер. Пять шиллингов!

Хен. Пять шиллингов! Пять шиллингов за всю храбрость! Кто больше пяти шиллингов? *(Ударяет молотком.)* Ваше имя, сэр?

1-й офицер. Макдональд О'Тандер.

Хен. Номера пятый и шестой: все остроумие, недавно принадлежавшее мистеру Хью Пантомиму, сочинителю театральных увеселений, и мистеру Вильяму Гузквилу, автору политических статей в защиту правительства. Может быть, пустить их вместе?

Бантер. Конечно. Жаль было бы разделить их. Где они?

Хен. В соседней комнате, сэр. Желающие могут взглянуть. Тащить их сюда невозможно: слишком тяжеловесные; там около трехсот фолиантов.

Бантер. Отложи их. На черта они кому понадобятся, разве что какому-нибудь директору театра. За эти сочинения город уже расплатился.

Хен. Номер седьмой: очень чистая совесть, которую сперва носил судья, а затем епископ!

Миссис Скрин. И все такая же чистая?

Хен. Да. К ней никакая грязь не пристает. Обратите внимание на размер: ее столько, что на все хватит. Не скупитесь, джентльмены: кто ею обладает, тот бедности не знает!

Щеголь. Один шиллинг.

Хен. Фи, сэр! Вам она просто необходима! Будь у вас хоть сколько-нибудь совести, вы бы не назначили такую сумму. Итак, пятьдесят фунтов за совесть!

Бантер. Я б не пожалел пятидесяти фунтов, чтоб от своей собственной избавиться.

Хен. Вижу, джентльмены, вы не желаете ее покупать. Откладываю ее. Номер восьмой: очень значительное количество протекций при дворе! Сто фунтов за все протекции!

Все. Мне! Мне, мистер Хен!

Хен. Сто фунтов за них где хочешь дадут, джентльмены!

Щеголь. Двести фунтов!

Хен. Двести фунтов, двести пятьдесят, триста, триста пятьдесят, четыреста, пятьсот, шестьсот, тысяча! Тысяча фунтов, джентльмены! Кто больше тысячи фунтов за протекции при дворе? Нет никого? *(Ударяет молотком.)* Мистер Литтлвит.

Бантер. Будь я проклят, если не знаю лавку, где это обойдется дешевле *!

Даппер. Черт побери! Вы-таки провели меня, мистер Медли: я не удержался и тоже стал предлагать цены.

Медли. Верный признак того, что это прямо из жизни. Меня бы не удивило, если бы все зрители повскакали с мест и вступили в торг.

Хен. Девятый номер: все кардинальные добродетели! Кто берет кардинальные добродетели, джентльмены?

Джентльмен. Восемнадцать пенсов.

Хен. Восемнадцать пенсов за кардинальные добродетели! Кто больше восемнадцати пенсов? Восемнадцать пенсов за все кардинальные добродетели! Никто больше не дает? Все добродетели, джентльмены, идут за восемнадцать пенсов. *(Ударяет молотком.)* Ваше имя, сэр?

Джентльмен. Произошла маленькая ошибка, сэр. Мне показалось, вы сказали «кардинальские добродетели». Черт возьми, сэр! Я думал, что сделал выгодную покупку, а у вас тут — терпимость, целомудрие и куча всякой дряни, за которую я не отдал бы и трех фартингов.

Хен. Что ж, отложим их. Номера десятый и одиннадцатый: бездна остроумия и немножечко здравого смысла!

Бантер. Почему вы ставите их вместе? Между ними нет ничего общего.

Хен. Хорошо, в таком случае поставим здравый смысл отдельно. Номер десятый: немножечко здравого смысла! Уверяю вас, джентльмены, отличный товар. Кто назначит цену?

Медли. Обратите внимание, мистер Сурвит, как он ни хорош, никто в нем не нуждается. Красноречивое молчание, как сказал бы великий писатель. Заметьте: никто против него не возражает, но никто его и не требует. Каждый думает, что уже обладает этим качеством.

Хен. Отложим здравый смысл. Я оставлю его себе. Номер двенадцатый!

Барабанный бой.

Сурвит. Что такое? Что сейчас будет, мистер Медли?

Медли. Сейчас, сэр, перед вами разыграют одну шутку.

Входит джентльмен; он смеется. За сценой кричат «ура».

Бантер. Что такое?

Джентльмен. Вот так потеха! Животики надорвешь! Пистоль* помешался: вообразил себя важною персоной и шагает по улицам под барабан и скрипки.

Бантер. Господи!.. Пойду взгляну на это представление. *(Уходит.)*

Все. И я! И я!

Уходят.

Хен. Зачем же мне оставаться, раз все ушли?

Даппер. Мистер Сурвит, пойдемте и мы.

Медли. Если ваша светлость подождет, пока сменят декорации, Пистоль сам предстанет перед вами.

Сурвит. Не переигрываете ли вы с этой шуткой?

Медли. Ручаюсь, мы и вполовину не переигрываем против того, как он переигрывает свои роли. Впрочем, я хочу, чтобы публика оценила его по достоинству не в качестве актера, а в качестве министра.

Сурвит. Министра?..

Медли. Ну да, сэр. Помните, я говорил вам перед репетицией, что государства политическое и театральное удивительно схожи. И в том и в другом существуют правительства, и, прямо скажу, неважные! Королевству, которое имеет такое правительство, похвастаться нечем! Тут совсем как в театре: роли раздают, вовсе не думая о том, подходят для них исполнители или нет. Это я, конечно, о временах давно минувших. Публика освистывает и правительство и театральную дирекцию, а те, пока денежки текут в карман, смеются себе над нею за кулисами. Если сравнить театральные пьесы и статьи, которые пишутся по заказу правительства, то можно подумать, что они принадлежат одним и тем же авторам. А теперь начинайте сцену на улице! Входит Пистоль cum suis[1]. До сих пор, мистер Сурвит, перед нами появлялись лишь персонажи низшего порядка: щеголи, портные и им подобные, поэтому можно было обходиться прозой. Теперь, когда мы собираемся вывести на сцену более значительное лицо, наша муза заго-

---

[1] Со своими *(лат.)*.

ворит возвышенным стилем. Дальнейшее, сэр, предназначено для людей утонченного вкуса. Итак, входит Пистоль.

Бьют барабаны, играют скрипки. Входит Пистоль, за ним толпа.

Пистоль.

Сограждане, друзья, коллеги, братья,
Участники больших и славных дел,
Предпринятых супруги нашей ради!
Свидетель бог! Нас огорчает очень,
Что мы — с таким талантом и ролями,
Вознесшими нас до вершины власти,
До званья театрального премьера,—
Должны теперь, супругу защищая,
В бой с жалкою фигляршею вступить.
И несмотря на то, что по наследству
Мы обладаем незаконной властью,
Причина есть — она пока в секрете —
Нам к публике покорно обращаться.
Узрите же Пистоля на коленях!
Пусть публика велит своею властью
Роль Полли Пичум в пьесе Джона Гея
Отдать моей супруге знаменитой! *

Толпа свистит.

Спасибо, Лондон! Свист твой — знак согласья.
Такой же свист, взамен рукоплесканий,
Тогда был моему отцу приветом,
Когда поставил он свою «Загадку»,
Когда приплыл в Египет славный Цезарь,
Под этот свист великий Джон угас... *
Неповторимый свист был вызван нами!
День ото дня, годами, и по праву,
Он отмечал повсюду нашу славу!

Медли. Ты сойдешь за величайшего из героев, каких только знает сцена!

Пистоль уходит.

Сурвит. Коротко и мило. Неужели нам его больше не покажут?

Медли. Покажут, сэр. Он просто пошел дух перевести.

Даппер. Пускай себе, а мы пойдем пока погреемся. На сцене дьявольски холодно.

Медли. Я провожу вашу светлость. Не репетируйте без нас. Мы скоро вернемся.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА 1

Входят Медли, Сурвит и лорд Даппер.

Медли. Теперь, милорд, я покажу вам современного Аполлона. Приготовьте сцену и поскорее открывайте занавес.

Сурвит. Современного? Почему современного? Все вы, горе-сатирики, упорно стараетесь убедить нас, будто наш век наихудший из всех. А ведь человечество с самого сотворения мира почти не изменилось. Каждое новое столетие не хуже и не лучше предыдущего.

Медли. Не спорю, мистер Сурвит, дурные наклонности искони присущи людям. Порок и глупость — удел не одного нашего века. Но то, что я намерен высмеять в следующей сцене, от начала до конца, ручаюсь, выдумано и осуществлено нашими современниками. Всем философам и математикам не удалось еще открыть ничего подобного; впрочем, люди и теперь не станут лучше.

Сурвит. Что вы имеете в виду, сударь?

Медли. Новейшее открытие, сэр, заключающееся в том, что нечего ждать проку от человека больших способностей, знаний и добродетели; владельцу поместья нельзя доверять; болвана можно назначить на любую должность, а за честность, которая является одной из разновидностей глупости, людей следует избегать и презирать, и, наконец... Но вот и он сам, сделавший это открытие!

Занавес открывается. На сцене в большом кресле сидит Аполлон, окруженный свитой.

Выдвиньте-ка его вперед, чтобы публика могла получше его рассмотреть и услышать. Надо вам сказать, сэр, что это незаконный сын старого Аполлона, рожденный от прекрасной нимфы Мории, которая продавала апельсины актерам из труппы Фесписа *, этим балаганным комедиантам. Он — любимец папаши, и старик пристроил его к управлению театрами и драматургией.

Аполлон. Суфлер!

Суфлер. Да, сэр?!

Аполлон. Есть какие-нибудь дела?

Суфлер. Да, сэр. Надо распределить роли в этой пьесе.

Аполлон. Дай сюда. «Жизнь и смерть короля Джона», написанная Шекспиром. Кто сыграет короля?

Суфлер. Пистоль, сэр. Он обожает корчить из себя короля.

Аполлон. Еще здесь куча английских лордов.

Суфлер. Ну, это все мелочь. Тут я сам подберу исполнителей.

Аполлон. Ладно, но только таких, которые хорошо затверживают свои роли. «Фальконбридж...» Это что за персонаж?

Суфлер. Воин, сэр. Его отлично сыграет мой кузен.

1-й актер. Я — воина? Да я в жизни не фехтовал!

Аполлон. Не важно. Драться вам не придется. Умеете вы напускать на себя свирепость и бахвалиться?

1-й актер. Это сколько угодно!

Аполлон. О лучшем воине у нас на театре и мечтать нечего. «Роберт Фальконбридж...» А он что делает?

Суфлер. Право, не сумею сказать, сэр. Он вроде все больше о земле помышляет. Персонаж не очень значительный. Любой справится. Если его выкинуть, пьеса не пострадает.

Аполлон. Ладно, поступай с ним, как хочешь. «Питер из Помфрета, прорицатель». Есть у вас кто-нибудь, кто смахивал бы на прорицателя?

Суфлер. Есть один, который смахивает на дурака.

Аполлон. Подойдет. «Филипп Французский...»

Суфлер. Я уже распределил все французские роли, кроме посла.

Аполлон. Кто его сыграет? Роль небольшая. У вас, верно, найдется человек с изящной наружностью и умеющий танцевать? Во всей Европе англичане обладают самым тонким воспитанием, и было бы очень кстати, если б посол по прибытии, чтоб развлечь их, разок-другой станцевал джигу.

Суфлер. У нас в театре пропасть учителей танцев, которые аккуратно получают деньги и, можно сказать, ровно ничего не делают.

Аполлон. Поручи эту роль кому-нибудь из них. Выбери кого посмешней. У Шекспира это, видно, комический персонаж, и он выведен на сцену, только чтобы посмешить публику.

Сурвит. Так вы утверждаете, сэр, что Шекспир задумал своего Шатильона как комический персонаж?

Медли. Нет, сэр, я этого не утверждаю.

Сурвит. Простите, сэр, может быть я ослышался, но мне показалось, что он выразился именно так.

Медли. Да, сэр. Но я не отвечаю за каждое его слово.

Сурвит. И вы решились, сэр, вложить ошибочную мысль в уста бога остроумия?

Медли. Да, но только современного. Он по праву может считаться богом большинства известных мне нынешних остроумцев — тех, кого почитают за остроумие, кого предпочитают за остроумие, кто живет остроумием; гениальных джентльменов, которые освистывают пьесы, а возможно, и тех, кто их пишет. Вот идет один из почитателей этого бога. Входите, входите! Те же и мистер Граунд-Айви *.

Входит Граунд-Айви.

Граунд. Что вы здесь делаете?

Аполлон. Я распределяю роли в трагедии «Король Джон».

Граунд. Значит, вы распределяете роли в трагедии, которая обречена на провал.

Аполлон. Что вы, сэр! Разве она написана не Шекспиром и разве Шекспир не был одним из величайших гениев человечества?

Граунд. Нет, сэр. Шекспир был славный малый, и кое-что из написанного им для театра сойдет, если только я это немножко приглажу. «Короля Джона» в теперешнем виде ставить нельзя, однако скажу вам по секрету, сэр: я мог бы его приспособить для сцены.

Аполлон. Каким же образом?

Граунд. Путем переделки, сэр. Когда я заправлял театральными делами, у меня был такой принцип: как ни хороша пьеса — без переделки не ставить. В этой хронике, например, Фальконбридж Незаконнорожденный отличается чрезвычайно женственным характером. Я бы этот персонаж выкинул, а все его реплики вложил в уста Констанции, которой они куда более подходят. Да будет вам известно, мистер Аполлон, что в подобных случаях я прежде всего стремлюсь добиться цельности образов, изысканности выражений и возвышенности чувств.

Суфлер. Но ведь Шекспир — такой популярный писатель, а вы, простите, так непопулярны, что боюсь, как бы...

Граунд. Не сойти мне с этого места, если своими произведениями я не приучу публику к вежливости, и притом сделаю это с такой скромностью, что даже армия казаков растаяла бы от умиления. Я скажу ей, что нет равного мне актера и никогда еще не было лучшего писателя. Как по-вашему, смогу я все это сказать, соблюдая скромность?

Суфлер. Почем я знаю!

Граунд. А вот как: я скажу, что актеры только следуют по моим стопам, а писателей освистывали не хуже моего. Так чего толковать о популярности! Поверьте, господин суфлер, мне не впервой наблюдать, как театр ставит пьесу, не считаясь с мнением зрителей.

Аполлон. Пускай свистят, пускай шикают и бранятся сколько душе угодно, лишь бы их денежки к нам в карман текли!

Медли. Вот оно, суждение великого человека, сэр! Так мог бы сказать и настоящий Аполлон.

Сурвит. Да, сынок достоин своего родителя, ежели думает, что этот джентльмен вправе переделывать Шекспира!

Медли. А я уверен, сэр, что он имеет на это не меньше прав, чем любой подданный нашего королевства.

Сурвит. Вы так полагаете?

Медли. Разумеется, сэр. Если Шекспир удовлетворяет

людей со вкусом, то его следует переделывать для тех, у кого нет вкуса. А кто еще, по-вашему, лучше сумеет его испортить? Впрочем, раз вы такой рьяный защитник старика Шекспира, видно переделкам скоро конец. Но послушаем, что скажет Пистоль.

Пистоль, выходя на сцену, сбивает с ног своего отца Граунд-Айви.

Граунд. Ах, чума тебя забери! Малый шагает по моим стопам в буквальном смысле слова!

Пистоль.

Простите, сэр, но вы должны понять:
Стремясь вперед, не отступлю я вспять.
А вас и всех, кто преградит мне путь,
Сумею я с дороги отшвырнуть.

Сурвит. Надеюсь, сэр, ваш Пистоль не собирается пародировать Шекспира?

Медли. Нет, сэр. Я слишком преклоняюсь перед Шекспиром, чтобы допустить самую мысль о пародии на него. И, не желая написать такую пародию нечаянно, я никогда не стану его переделывать.

Даппер. Пистоль — молодой капитан!..

Медли. Вы ошибаетесь, милорд. Пистоль — просто ничтожество, воображающее себя человеком весьма значительным, без всяких на то оснований. Он сразу — и милорд Пистоль, и капитан Пистоль, и советник Пистоль, и олдермен Пистоль, и щеголь Пистоль... и... Черт возьми, что я еще хотел сказать?.. Ладно, продолжайте!

Аполлон.

Суфлер, вы здесь управитесь и сами,
А мы прочтем, что пишут в этой драме.

Аполлон и Граунд-Айви уходят.

Сурвит. С какой целью выведен у вас Пистоль, сэр?

Медли. Да так просто. Очень уж колоритная фигура. Умеет пустить пыль в глаза. На этом кончается у меня сцена в театре.

Сурвит. А куда же девались ваши две Полли? *

Медли. Провалились, провалились, сэр! Провалились на первой же репетиции, и я их выбросил. Откровенно говоря, я думаю, что публика и так воздала им слишком много чести: целый месяц только и было о них разговоров. Хотя, пожалуй, это случилось потому лишь, что в городе не нашлось другой темы для болтовни. А теперь обратимся к патриотам. Заметьте, мистер Сурвит, мои политики появляются в начале пьесы, а патриоты в конце. Я сделал это затем, сэр, чтобы показать, какая между ними дистанция. Я начинаю с политиков, потому что они всегда и повсюду будут в большей чести, чем

патриоты, и кончаю патриотами,— дабы у зрителей осталось приятное впечатление о пьесе.

Сурвит. Но ваш танец патриотов может навести на мысль, что вы собираетесь обратить патриотизм в шутку.

Медли. Да, собираюсь. Но разве вы не заметили, что танцем патриотов я завершаю пьесу? А из этого нетрудно понять, что, коль скоро патриотизм обращен в шутку, всему представлению конец. Итак, входят четверо патриотов. Заметьте, патриотов у меня меньше, чем политиков. Таким способом я хочу показать, что они вообще не столь многочисленны.

Сурвит. А где на этот раз происходит действие, сэр?

Медли. На Корсике, сэр, все на той же Корсике.

Четверо патриотов выходят из разных дверей, встречаются посреди сцены и пожимают друг другу руки.

Сурвит. Эти патриоты, кажется, не разговорчивее ваших великих политиков.

Медли. О чем они думают, сэр, толком сказать нельзя, но из того, как они кивают головами, можно о многом догадаться. Подождите, пока они стаканчик-другой опрокинут, языки у них развяжутся. Но вы, конечно, мало что от них узнаете: хоть я и не делаю своих патриотов политиками, я не делаю их и дураками.

Сурвит. Однако ваши патриоты порядочные-таки оборванцы.

Медли. Просто они скромно и дешево одеты. Впрочем, низкое звание, не в пример высокому, не мешает быть патриотом.

1-й патриот. Да здравствует Корсика!

2-й патриот. Свобода и собственность!

3-й патриот. Да процветает торговля!

4-й патриот. Да, да, особенно в моей лавке.

Сурвит. Зачем вы позволяете тому актеру, который стоит за кулисами, смеяться и мешать репетиции?

Медли. Он должен стоять там, сэр, и смеяться в кулак над патриотами. Это очень важный персонаж, ему предстоит много дела.

Сурвит. Но надо бы как-нибудь разъяснить это зрителям, а то они ошибутся, вроде меня, и, чего доброго, освищут его.

Медли. Хоть весь зал свисти, ему нипочем,— совершенно бесстыжий малый! Я подобрал его специально для этой роли. Продолжайте, патриоты.

1-й патриот. Джентльмены, я считаю, что наша Корсика в скверном положении. Мы не воюем, и поэтому я не буду утверждать, что мы находимся в состоянии войны. Но угроза войны все время висит над нами. А ведь иной раз предчувствие какой-нибудь напасти хуже ее самой. И чем ожидание войны

лучше самой войны? Со своей стороны скажу, прямо скажу: будь что будет, а я пью за мир!

Медли. Этот джентльмен — патриот-пустомеля. Он пьет за свою страну и кричит о ней, но никогда ради нее палец о палец не ударит. Второй — осторожный патриот.

2-й патриот. Вашу руку, сэр. В том, что вы говорите, есть доля правды. Я готов поддержать вас от всей души. Но пусть это останется между нами.

3-й патриот. Послушайте, джентльмены! Моя лавка — моя отчизна. Об успехах второй я сужу по состоянию дел в первой. Богатеет или беднеет моя страна, об этом я сужу по своему обороту. И я не могу согласиться с вами, сэр, будто война нанесла бы нам ущерб. Напротив, я считаю ее единственным условием процветания моей родины. Я веду торговлю саблями, и война обеспечит мне хорошие барыши. Поэтому я за войну!

Медли. Это своекорыстный патриот. А сейчас заговорит последний из патриотов, безразличный; это уже четвертая разновидность. Мне довелось в одном обществе встретить человека, который благоразумно заснул в начале драки и не просыпался, пока она не кончилась. Этот патриот ведет себя точно так же.

4-й патриот *(просыпаясь)*. Пью за мир или за войну! По мне, все едино.

Сурвит. Поскольку этот джентльмен ни за тех, ни за других, мир отстаивают двое против одного.

Медли. А если ни те, ни другие не окажутся в большинстве? Вдруг я нашел способ примирить обе партии? Впрочем, продолжайте!

1-й патриот. Может ли тот, кому дорога Корсика, желать войны при теперешних обстоятельствах? Все мы жалкие бедняки! Разве это не так, спрашиваю я вас?

Все. Да, да!

3-й патриот. Что верно то верно! Этого никто не станет отрицать.

Входит Квидам.

Квидам. Я отрицаю, сэр.

Все вскакивают.

Не волнуйтесь, джентльмены, сядьте, прошу вас. Я пришел попросту выпить с вами стаканчик. Можно ли назвать Корсику бедной, когда есть на ней вот это? *(Кладет на стол кошелек.)* Не пугайтесь, джентльмены, это честное золото, уверяю вас. Вы все считаете себя жалкими бедняками, а я не согласен с вами, потому что все это — ваше. *(Высыпает золото на стол.)* Поделите поровну.

1-й патриот. А что мы должны за это делать?

Квидам. Говорить, что вы богаты, вот и все.

Все. И только! *(Хватают деньги.)*

Квидам. Ну, сэр, каково теперь ваше мнение? Скажите откровенно!

1-й патриот. Что же, скажу. Можно ошибаться по неведению. Но тот, кто сознательно говорит неправду,— мерзавец. Признаюсь, сэр, я считал нас бедняками, но вы убедили меня в обратном.

Все. Мы все убедились!

Квидам. Значит, вы честные ребята. Пью за ваше здоровье! И раз бутыль опустела, к черту печаль, отбросьте заботы! А ну-ка, попляшем! Я буду вам подыгрывать на скрипке.

Все. Идет!

1-й патриот. Начинайте, пожалуйста. Мы готовы повторять каждое ваше движение.

Танец. Квидам, танцуя, удаляется со сцены, за ним следуют танцующие патриоты.

Медли. Вы, быть может, не поняли, что я хочу сказать при помощи этого танца?

Сурвит. Что же?

Медли. У моих патриотов дырявые карманы, сэр. Скрипачу Квидаму это известно, и он их нарочно заставляет плясать, пока деньги не высыплются; тогда он подбирает их. Вот и получается, что Квидам не теряет и полушки от своих щедрот. Напротив, он даже попивает винцо задаром, а бедный народ — увы! — расплачивается по счету из своего кармана. Эта пантомима, сэр, кажется мне чрезвычайно удачной. Она тонко пародирует плутов, которых великий Лан * показывал в своих дивертисментах. И так кончается моя пьеса, мой фарс или как вам угодно будет ее назвать. Могу ли я надеяться на одобрение вашей светлости?

Даппер. Очень мило, очень, очень мило!

Медли. В таком случае, милорд, позвольте мне рассчитывать на вашу поддержку, ибо в Лондоне вещи не всегда оцениваются по достоинству. Если вы введете меня в моду, милорд, я вечно буду вам обязан. А вы, мистер Сурвит, надеюсь, поможете мне завоевать расположение критики, избавив от ученых статей, где доказывается, что трехактный фарс и построенная по всем правилам пьеса в пяти действиях не одно и тоже. Наконец, я обращаюсь к вам, незнакомые джентльмены, почтившие мою репетицию своим присутствием, и к вам, сударыни, независимо от того, поклонницы ли вы Шекспира, или Бомонта и Флетчера *. Я надеюсь, что вы будете судить о моей репетиции не слишком строго.

Пускай из ваших уст узнает вся столица,
Что остроумия чужого ни крупицы
Во всем, что вы смотрели, не таится.

Конец

ПАМФЛЕТЫ

СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАРЬ

— Nanum cujusdam Atlanta vocamus:
Æthiopem Cygnum: parvam extortamque puellam.
Europen. Canibus pigris Scabieque vetusta
Lœvibus, et siccœ lambentibus Ora lucernœ
Namen erit Pardus, Tigris, Leo; si quid adhuc est
Quod fremat in Terris violentius[1].

Juv., Sat., VIII

В каждом языке, говорил Локк, нетрудно обнаружить ряд слов, которые ни в первоначальном своем смысле, ни в общепринятом не выражают какой-нибудь определенной и ясной идеи *. В качестве примера Локк приводит слова: «мудрость», «слава», «обходительность». «Они на устах у каждого,— говорит он,— но из великого множества людей, употребляющих эти слова, любой станет в тупик и не найдется, что ответить, если его попросят растолковать их значение; это ясно доказывает, что, хотя затверженные звуки привычно слетают с уст говорящего, он сам не представляет себе, какой смысл в них вкладывает».

Помимо названных великим философом причин неверного употребления слов, существует еще одна, им упущенная, которая, однако, немало усугубила это огромное зло. Заключается она в том, что богословы и моралисты присвоили себе право совершать насилие над некоторыми словами, дабы подчинить их своим собственным измышлениям, и употребляют их в смысле, прямо противоположном тому, который закрепил за ними обычай — этот, согласно Горацию, верховный властелин и законодатель всех видов речи *.

[1] Правда, и карлика мы иногда называем Атлантом,
Лебедем негра зовем, хромую девчонку — Европой;
А у ленивых собак, с плешинами, вовсе паршивых,
Лижущих край фонаря, в котором нет уже масла,
Кличка бывает и Барс, и Тигр, и Лев, и еще там,
Кто погромче рычит на зверей.

Ювенал, Сатиры, VIII [стихи 32—37].

Но, возможно, подобная погрешность заслуживает снисхождения (я склонен относиться снисходительно к такого рода авторам). Может быть, она проистекает не из какого-либо намеренного пренебрежения обычаем, а из полного с ним незнакомства, неизбежно порождаемого пребыванием в университете; в последнем же обстоятельстве всякий признается не краснея.

Но, в чем бы ни крылась причина неверного словоупотребления, последствия его остаются весьма печальными. Пока автор и публика по-разному понимают одно и то же слово, им довольно трудно уразуметь друг друга; может быть, именно это отвратило столь многих леди и джентльменов от сочинений, трактующих вопросы религии и этики, а равно повело к тому, что иные читали эти книги всю жизнь, не понимая, что читают, и, следовательно, не извлекли из них никакой для себя пользы.

Объяснить ряд трудных слов, часто встречающихся в сочинениях Бэрроу, Тиллотсона, Кларка * и им подобных,— задача, достойная великого комментатора. Есть все основания полагать, что такие слова, как «небеса», «ад», «божья кара», «праведность», «грех» и некоторые другие, сейчас понятны лишь очень немногим.

Я не могу, по крайней мере в настоящее время, принять на себя подобный труд и в оставшейся части этого листа * постараюсь помочь самим писателям. Я дам здесь краткий перечень употребительных ныне выражений и постараюсь установить, с какими представлениями каждое из них связывают в обществе, ибо, пока те, кто учился в университетских колледжах вкладывают в эти слова, сколь я могу судить, совсем иной смысл, их труды вряд ли принесут много пользы светским леди и джентльменам.

Автор — предмет насмешек. Под этим словом разумеют человека бедного, всеми презираемого.

Ангел — женщина, обычно прескверная.

Богатство — единственная поистине ценная и желанная вещь на свете.

Брак — вид торговой сделки, заключаемой между представителями обоих полов, причем стороны постоянно пытаются надуть друг друга, и обычно обе остаются в проигрыше.

Валет — не более как название игральной карты (например, червонный валет).

Величие — в отношении неодушевленного предмета означает величину оного, в применении к человеку нередко означает низость и ничтожество.

Вкус — любой очередной каприз лондонской моды.

Возможность — подходящий момент наставить рога.

Воскресение — лучшее время для игры в карты.

Галантность — прелюбодейство и супружеские измены.

Греховность — забавы, шутки, веселье.

Добро — слово, имеющее так же много значений, как и греческое ἔχω или латинское ago[1]; в свете оно поэтому не очень в ходу.

Докучать — давать советы, особенно когда они исходят от мужа.

Достоинство — власть, чины, богатство.

Мудрость — уменье добиться всего этого.

Дурак — сложное понятие, включающее бедность, честность, благочестие и простоту.

Еда — наука.

Знание — обычно означает осведомленность в городских сплетнях; во всяком случае это единственное, что является предметом светских разговоров.

Изысканный — прилагательное особого рода, уничтожающее, или по крайней мере уменьшающее, значение существительного, которому предшествует, например: изысканный джентльмен, изысканная леди, изысканный дом, изысканные наряды, изысканный вкус,— во всех этих случаях слово «изысканный» следует понимать как синоним слова «бесполезный».

Капитан } — любая дубина, на которую насажена
Полковник } голова, украшенная черной лентой *.

Красота — качество, при наличии которого женщина обычно становится содержанкой.

Критик — подобно слову «homo»[2], дает наиболее общее определение человеческого рода.

Любовь — в собственном смысле слова: приверженность к каким-либо видам пищи. Иногда иносказательно этим словом обозначают другие наши вожделения.

Медведь — сельский дворянин или любое другое двуногое животное, не умеющее отвесить изящный поклон.

Негодяй } — член противной партии.
Мерзавец }

Неприлично — эпитет, который светские дамы прилагают чуть ли не ко всему; он является, так сказать, чем-то вроде междометия, выражающего тонкость чувств.

Ничтожество — любой житель Великобритании, за исключением примерно тысячи двухсот человек.

Обещание — пустой звук.

Образованность — педантство.

Остроумие — богохульство, непристойность, безнравственность, грубое шутовство, кривлянье, паясничанье, поношение всех порядочных людей и в особенности церковнослужителей.

---

[1] Первое значение указанных слов: «имею» и «веду».
[2] Человек *(лат.)*.

Патриот — кандидат на место при дворе.

Политика — искусство получать такие места.

Платье — главное достоинство мужчин и женщин.

Порок
Добродетель } — темы для разговора.

Провал — термин театральный, иногда, впрочем, применяемый шире, ко всем сочинениям, отмеченным живой мыслью.

Проповедь — средство от бессонницы.

Религия — слово, лишенное смысла; с его помощью, правда, хорошо пугать детей.

Свет — круг ваших знакомых.

Скотина — под этим словом подразумевается наличие в человеке прямоты и честности; в более узком смысле оно означает философа.

Скромность — неловкость в обхождении, провинциальность.

Скука — слово, которым все писатели определяют чужой юмор и остроумие.

Смерть — конец человека (как мыслящей, так и остальных частей его тела).

Судья
Правосудие } — старая баба.

Существо — выражение крайнего сословного презрения, уместное лишь в устах супруги пэра.

Счастье — великолепие.

Терпимость — недостаток религиозного рвения.

Хлыщ — уничижительное слово, обозначающее в то же время качества, достойные высшей похвалы.

Честь — дуэлянтство.

Чушь — философия, особенно философские сочинения древних; в еще более узком смысле слова — сочинения Аристотеля.

Щеголь — если к этому слову прибавить определение «любой», оно будет означать любимца всех женщин.

Юмор * — пересуды, балаганщина, пляска на канате.

1752

ПИСЬМО ИЗ БЕДЛАМА*

*Сэру Дрокансеру**
Бедлам, 1 апреля 1752 года.

Απόλοιτο πρῶτος αὗτος
Ὁ τόν ἄργυρον φιλήσας,
Διό τοῦτον οὐκ ἀδελφος
Δια τοῦτου οὐ τοκῆες
Πόλέμοι, φόνοι δι'αὐτόν[1].

*Анакреон**

Не сомневаюсь, сэр, что, не дойдя и до середины моего письма, Вы уже станете недоумевать, почему оно помечено Бедламом, и, может быть, согласитесь с давним моим мнением, что это место в Англии отведено специально для тех, кто оказался разумнее своих соотечественников.

Но, как бы там ни было, скажу Вам без обиняков, что, если Вы и впрямь собираетесь исправлять нравы нашего королевства, то не преуспеете в этом, ибо средства у Вас негодные.

Медики утверждают, что, прежде чем бороться с расстройствами человеческого организма, надо обнаружить и устранить их причину. Так и в политике. Поступая иначе, Вы и в том и в другом случае принесете, быть может, больному временное облегчение, но не в состоянии будете его излечить.

С Вашего позволения, сэр, Вы, на мой взгляд, весьма далеки от того, чтобы познать подлинный источник наших политических зол, и едва ли можно рассчитывать, что Вам когда-либо удастся составить хотя бы самое слабое представление о нем. Стоит ли после этого удивляться, что Вы не только не предлагаете правильного способа лечения, но, предаваясь своим умствованиям, нередко роняете намеки, способные на практике привести лишь к обострению болезни.

Знайте же, сэр, только я постиг источник всех зол. Ценою изнурительного труда и упорных изысканий я открыл причину коррупции, расточительной роскоши, разврата, позорящих наши нравы, а посему я один способен исправить их.

---

[1] Перевод смотри в тексте. (*Прим. автора.*)

Но пусть не будут слова мои истолкованы ложно. Если я притязаю на честь быть первым, сделавшим подобное открытие, то лишь среди новых авторов. Древним философам и некоторым из древних поэтов этот бесценный секрет был хорошо известен; я имею тому обширные доказательства и могу подтвердить свою правоту многочисленными цитатами. Он упоминается в их сочинениях так часто, что достойно немалого удивления, как могло подобное обстоятельство ускользнуть от внимания джентльмена, столь хорошо, по всей видимости, знакомого с этими яркими светочами истинного знания и образованности.

Но перейдем к сути дела. Что, как не деньги, является источником наших политических зол, которые все умножаются и усугубляются? Деньги! Это о них греческий поэт, чьи слова приведены мною в качестве эпиграфа, сказал: «Да погибнет тот, кто их придумал. Они убивают любовь брата к брату и отца к сыну, они несут с собой войны и кровопролития».

Если согласиться с этими словами,— а с ними нельзя не согласиться,— в чем же тогда спасение? Разве не в том, чтобы устранить первопричину, извергнув из нашего общества этот вредоносный металл, этот ящик Пандоры?

Но, хотя преимущества предложенной меры, по-моему, на редкость очевидны, никому еще на моей памяти не приходила в голову и тень подобного проекта; он, видимо, не открылся с такой ясностью умам других людей. Поэтому я коснусь важнейших достоинств этой идеи и, дабы не повторять общие места из авторов, упомянутых выше, внимание свое сосредоточу на вопросах, затрагивающих непосредственные интересы нашей страны.

Во-первых, подобная мера решительно положит конец лихоимству, которое почти каждый осуждает, хотя чуть ли не все к нему причастны; исчезнут раздоры, породившие коррупцию и неизменно ее питающие. Люди перестанут добиваться высоких и обременительных должностей, они будут всячески избегать их. А народ, предоставленный самому себе, непременно остановит свой выбор на самых способных и заставит их именем конституции служить обществу. Таким образом, возродится к жизни процедура, известная под названием выборов и благотворная для свободной нации; в противном случае она легко может стать пустым звуком.

Я допускаю, правда, что иной человек, подстрекаемый лишь честолюбием, будет стремиться к должностям, исполнять которые не способен. Но мздоимство при этом не укоренится или окажется столь явным, что закону нетрудно будет пресечь его: в самом деле, как распорядиться стадом коров или овец так, чтобы никто не заметил?

Во-вторых, эта мера навсегда положит конец роскоши; во всяком случае она сведет ее к простому излишку, который по-

зволял нашим предкам держать двери своего дома открытыми для гостей.

В-третьих, она принесет неисчислимые выгоды торговле, ибо мы не сможем более вести дела с нациями-кровопийцами, не желающими взамен своих брать наши товары. Я, конечно, мог бы отнестись к такого рода торговле и более благожелательно, поскольку она мало-помалу избавляет нас от зла, против которого направлено мое негодование, и со временем, полагаю, целиком достигнет этой благородной цели. Но я должен заметить, что, как ни похвальна цель, не все средства можно порой счесть желательными. Стоит лишь примириться с наличием у нас денег, как тотчас сыщется достаточно резонов накопить их побольше. Опасно иной раз прибегать к полумерам там, где надо действовать решительно. И уже совсем не вызывает сомнений, что, поскольку деньги принято теперь считать выражением всех вещей, только нация идиотов способна постоянно отдавать их в руки своих врагов.

В-четвертых, возродятся добродетель, образованность, добросердечие, честь и многие другие высокие качества, погубленные деньгами либо извращенные ими до такой степени, что невозможно отличить истинные от ложных. Богатство почитается ныне достойным их всех воплощеньем. Примеры этому, впрочем, нетрудно сыскать уже у древних философов и поэтов, которых я упоминал.

А с каким рвением старались бы адвокаты быстрее закончить процесс или медики вылечить больного, осуществись мой замысел! Могут, правда, возразить, что тогда они унесут у людей все пожитки, как и теперь уносят у иного бедняка; но я отвечу, что ими здесь руководит желание обратить потом эти вещи в деньги: не станут же они набивать свои дома вшивым тряпьем, содранным с постели какого-нибудь горемыки.

По той же причине мой проект положит конец грабежам, с которыми никак не справится наше правосудие; правда, добро крадут у нас наравне с деньгами, но лишь для того, чтобы обратить его в монету. В вашей табакерке, часах или кольце похититель видит не предметы, коими сам желал бы воспользоваться, а ценности; он рассуждает, подобно Гудибрасу *:

Какой же в этой вещи прок,
Коль ты продать ее не мог?

Остается только добавить, что в моем плане заключен верный и, пожалуй, единственный способ помочь бедным — сделать невозможным существование богатых. Где нет богатых, нет и бедных, ибо провидение в мудрости своей обеспечило полный достаток жителям каждой страны; где никто не владеет слишком многим, там никто не живет в нужде.

Я долго обдумывал этот превосходный проект,— так долго, что, если поверить иным, помешался в уме,— и, наконец, твердо решил исполнить свой долг, доказав путем примера, насколько я убежден в правильности своих идей. Я обратил в наличные имение, приносившее триста фунтов годового дохода, набил полные карманы денег и, прихватив с собой своего прямого наследника, отправился на Темзу, где принялся выгружать содержимое карманов в воду. Но не успел я избавиться и от трех пригоршен, как наследник схватил меня и с помощью лодочника уволок от берега. День я просидел взаперти в одной из комнат собственного дома, а наутро родственники, сговорившись, водворили меня сюда. Здесь я, по всей вероятности, и буду пребывать до тех пор, пока человечество не образумится.

Остаюсь, сэр, Ваш покорнейший слуга

Мизаргурус *.

1752

ТРАКТАТ О НИЧТО[1]

ВВЕДЕНИЕ

Достойно удивления, что, в то время как внимание искушенных в своем ремесле современных писателей привлекают сущие пустяки, великий и возвышенный предмет данного трактата остался совершенно неисследованным. Это тем удивительнее, что он как нельзя более соответствует дарованию многих писателей, безуспешно занимавшихся вопросами политики, религии etc[2].

Впрочем, их нежелание приняться за столь важную тему можно не без оснований отнести за счет скромности, хотя они далеко не всегда подвержены этому пороку. В самом деле, мне приходилось слышать, как иные, чья уверенность в обращении с другими темами была поистине замечательной, краснея отказывались от этой. Ничто внушает человечеству такой священный трепет, что, если бы некоторые весьма благородные наши современники стремились к титулам, богатству и власти, их, согласно общему мнению, остановило бы только Ничто.

Но, бесспорно, какова бы ни была тому причина, никто, кроме отважных остроумцев времен Карла II *, не дерзал еще писать об этом. Во всяком случае никто не делал этого открыто и прямо; ибо следует признать, что большинство авторов, сколь отдаленной от предмета нашего исследования ни казалась бы вначале избранная ими тема, под конец обычно сводят ее к полному Ничто.

И все же, надеюсь, эту попытку не вменят мне в вину, как проявление нескромности, ибо весьма многие в королевстве убеждены, что я подхожу для дела, за которое взялся. Но, поскольку принято считать, что если человек говорит о себе, то не иначе, как из тщеславия, я без дальнейших оговорок и предисловий перехожу к своему трактату.

---

[1] Дата памфлета не установлена.
[2] И тому подобное *(лат.)*.

ЧАСТЬ I

О древности Ничто

Трудно найти что-либо более неверное, нежели старая пословица, которая, подобно многим другим ложным мнениям, не сходит с людских уст:

Ex nihilo nihil fit,

которую Шекспир передал в «Лире» такими словами:

Из ничего и выйдет лишь ничто *.

А между тем в действительности из Ничто рождается все. Истина сия признана представителями всех философских школ, и единственное, в чем они расходятся, это: сотворило ли мир Нечто из Ничто, или Ничто из Нечто *. Нам незачем сейчас разбираться в их споре, поскольку каждая из указанных точек зрения равно говорит в нашу пользу. Однако мудрецы всех времен причисляли себя к одной из сторон, явно в зависимости от того, тяготели они к духовной субстанции или к материальной. Те, кто склонялся к духовному, становились на сторону первых, те же, чей гений лучше умел постичь свойства материи — такие, как прочность, плотность etc,— присоединялись ко вторым.

Но, является ли Ничто artifex [1], или только materies [2], в любом случае ясно, что оно имеет неотъемлемое право считаться первопричиной всего сущего. Далее — великая древность Ничто с очевидностью вытекает из имеющихся у нас сведений о возникновении каждой нации. Его присутствие легко обнаружить на первых же страницах книг, а порою и в целых трактатах всех крупнейших историков; изучение этого важнейшего предмета отнимает у исследователя древности целую жизнь, составляя самую основу его изысканий, а также их итог, достигнутый ценою неимоверных мучений и трудов.

ЧАСТЬ II

О природе Ничто

Другое ложное утверждение, которое в ходе исследования нам предстоит опровергнуть, гласит, что «никто не может представить себе Ничто». Люди, с такой самоуверенностью отрицающие за нами способность обладать подобным представлением, либо сами глубоко заблуждаются, либо пытаются

---

[1] Творец, демиург (*лат.*).
[2] Материя (*лат.*).

грубо обмануть человечество. Не только никто, а даже очень многие располагают целым рядом понятий о Ничто, хотя некоторые, возможно, путают его с Нечто.

Найдется ли, к примеру, человек, который не имел бы понятия о нематериальной субстанции?[1] Но чем нематериальная субстанция отличается от Ничто? Здесь сами слова вводят нас в заблуждение. Спросите человека, как он представляет себе нематериальную материю или несубстанциальную субстанцию,— ему сразу станет ясно, как нелепо видеть в них Нечто, и он тотчас заявит, что это Ничто.

Иные скажут: «Значит, мы все-таки не способны представить себе Ничто?!» Но мне нетрудно, опираясь на столь веские доказательства, отстоять свое мнение, и посему, чем вступать в праздные споры, я лучше покажу, во-первых, что такое Ничто, дам затем определение различным его видам и, наконец, чтоб с честью завершить свои рассуждения, выявлю присущее ему большое достоинство.

Поскольку дать положительное определение Ничто представляется весьма затруднительным, я поведу свое исследование от противного. Ничто не есть Нечто. Здесь я должен опровергнуть ошибочное мнение, будто Ничто не имеет местопребывания. Это возражение, как и два предыдущих, сводится к попытке доказать, что Ничто не существует. На самом же деле оно обитает в почетнейшем месте на земле, а именно — в голове человека. Впрочем, подобное заблуждение было уже должным образом опровергнуто многими мудрецами, кои, потратив жизнь на созерцание Ничто и погоню за ним, на склоне лет своих с грустью заключили, что «все в этом мире — Ничто».

Далее. Поскольку Ничто не есть Нечто,— все, что не Нечто, есть Ничто; а тот факт, что Нечто не есть Ничто, является чрезвычайно веским доводом в пользу Ничто, особенно для людей, искушенных в житейских делах.

Если, к примеру, надуть пузырь, его наполнит Нечто; но если воздух выпустить, справедливо будет сказать, что в нем — Ничто.

С человеком дело обстоит совершенно так же, как с пузырем. Как ни прикрывайся он кружевами и титулом, если нет в нем хоть чего-нибудь, мы вправе сказать о нем то же, что о пустом пузыре.

Но раз нам не удается в должной мере познать сущность Ничто, как и сущность материи, последуем примеру философов-эмпириков и займемся рассмотреннем его постоянных и преходящих свойств.

---

[1] Автор не желает, чтобы создалось впечатление, будто он выступает против доктрины, признающей нематериальное, каковую он искренне приветствует. Он хочет лишь указать на глупость тех, кто понятие нематериальности, имеющее разумный смысл, подменяет понятием нематериальной субстанции, где сами слова противоречат друг другу. *(Прим. автора.)*

И здесь мы обнаружим все неисчислимые преимущества, которые Ничто имеет перед Нечто; ибо в то время как Нечто познается одним, хорошо если двумя чувствами, Ничто — всеми пятью.

Во-первых, Ничто доступно зрению, что явствует из рассказов людей, перенесших тяжелую лихорадку. Это подтверждают и те, кому, судя по слухам, являлись призраки равно как на земле, так и в облаках. Когда у них спросишь, что они видели в означенном месте и в означенный час, эти люди нередко признаются, что видели Ничто. Допуская существование двух видимостей * — первой и второй, во что многие твердо верят, следует считать, что Ничто составляет значительную долю первой и целиком совпадает со второй.

Во-вторых, Ничто доступно слуху, что подтверждается теми же доводами.

Превосходный тому пример мы встретим у Горация, когда он говорит об одном аргивянине *:

— Fuit haud ignobilis Argis
Qui se credebat miros acedire Tragædos
In vacuo lætos sessor, Plausorque Theatro [1].

О том, что Ничто доступно вкусу и обонянию, знают не только люди, обладающие нежным нёбом и чувствительностью к запахам. Как часто заявляют, что тот или иной предмет не пахнет и не отзывается Ничем! Последнее мне довелось слышать касательно одного блюда, состоявшего из пяти или шести очень аппетитных ингредиентов. Когда же речь заходит о первом, мне вспоминается одна пожилая леди, которая терпеть не могла аромата яблок. Какой-то маленький озорник прицепил ей однажды к подолу несколько зрелых яблок, и с тех пор стоило этому мальчишке попасться упомянутой даме на глаза, как она начинала ощущать запах яблок, хотя бы их не было и на милю в окружности.

Наконец, об осязании. Вряд ли есть чувство, теснее связанное с материей, которая уж безусловно представляет собой Нечто. Мне даже приходилось слышать весьма правдоподобные рассказы о том, что иные люди способны чувствовать только хорошую палку. Тем не менее некоторым случалось ощущать движения души, а кое-кто бывал глубоко тронут несчастьем друга, хоть и не пытался выручить его. Вот уже два примера, свидетельствующие о том, что Ничто доступно этому чувству. Еще я слышал, как один хирург, отрезая больному ногу, на вопрос, что сам он в это время ощущает, ответил: «Ровно Ничего».

---

[1] Жил в Аргосе, не безызвестен,
Некто; казалось ему, что он слушает трагиков дивных:
Сидя в театре пустом, аплодировал он им в восторге.
[*Горацій*. Послание, II, 2, 128—130.]

Ничто в такой же степени является предметом наших эмоций, как и наших чувств. Одни любят Ничто, другие ненавидят Ничто, третьи боятся Ничто.

Мы упомянули пока лишь о трех существенных свойствах Ничто. С равным правом должны мы признать за ним наличие четвертого неотъемлемого свойства, а именно — его доступности нашему разуму в той же мере, сколь и чувствам.

В самом деле, многие считали слова «человеческое знание» лишь иным названием того же Ничто. А один из мудрейших людей на свете заявил, что он познал Ничто.

Не имея намерения заходить так далеко, я все же берусь утверждать, что человеку случается понять Ничто. Тот, кто с должным вниманием и прилежанием изучал произведения наших искусных современных писателей, будет вынужден сознаться, что, если он правильно их понял, он понял Ничто.

Читатели, для которых это осталось тайной, не раз бывали повергнуты в недоумение какой-нибудь книгой, главой или абзацем, содержащими Ничто, и по скромности своей решали, что истинный смысл прочитанного ускользнул от них, тогда как на самом деле им следовало бы заключить, что автор честно и bonâ fide [1] преподносит им Ничто. Помнится, как-то раз за столом одной весьма значительной особы, обладающей не только богатством, но и недюжинным умом, был прочитан темный отрывок из творений поэта, прославившегося тонкостью поистине непостижимой, причем кое-кто из присутствующих заявил, что никак не может добраться до смысла. Хозяин дома, пробежав глазами отрывок, подивился непонятливости гостей: ничто, по его словам, не могло быть проще строк, которые затруднили их. Мы стали еще больше теряться в догадках, но с прежним успехом. Наконец, мы честно признались в своем бессилии и попросили растолковать нам, что хотел сказать поэт. «Что он хотел сказать? — воскликнул хозяин.— Да Ничего!»

Подобное жестокое заблуждение вообще свойственно людям, которые не знакомы с тайной творчества и поэтому воображают, будто невозможно взяться за перо, не имея ничего в голове. В действительности же это более чем обычно. Я и сам принялся за этот трактат без единой мысли в голове, иначе говоря, избрал своей темой Ничто; но если даже не выставлять примером самого себя, остается неоспоримым ab effectu [2], что Ничто находится на дружеской ноге с современными писателями.

Неподражаемый автор предисловия к «Посмертным эклогам», принадлежащим перу одаренного молодого джентльмена, ныне покойного, пишет: «Бывают люди, которые садятся за стол, чтобы написать то, о чем они думают; и другие — ко-

---

[1] По чести, добросовестно *(лат.)*.
[2] Судя по результатам *(лат.)*.

торые садятся подумать, о чем они будут писать. Но есть еще третья и самая многочисленная категория людей: эти не думают ни до, ни после того, как принимаются писать, и запечатлевают на бумаге все, что есть у них в голове, то есть Ничто».

Итак, мы попытались познакомить читателя с природой Ничто и определить сперва, чем оно не является, а затем — чем является. Теперь остается показать различные его виды.

Правда, некоторые полагают, что эти виды различаются лишь по названиям. Но, чем опровергать подобную несуразицу, довольно отметить, что у наилучших авторов Ничто встречается в различных своих видах. Я ограничусь тем, что перечислю их, и пусть любезный читатель сам судит, возможно ли, чтоб все они имели один и тот же смысл.

Ничто существует в следующих видах: Ничто per se [1], полное Ничто, совершенное Ничто, Ничто в природе, Ничто на свете, Ничто в целом свете, Ничто во вселенной. И, пожалуй, еще много есть такого, чему имя Ничто.

ЧАСТЬ III

О достоинстве Ничто; попытка доказать, что Ничто — начало и конец всех вещей

Таким достоинством, какое присуще Ничто, ничто не обладает. Спросите бесчестного, низкого пэра (если, конечно, таковой сыщется), в чем состоит его достоинство. Возможно, правда, он найдет, что отвечать вам несовместимо с его достоинством, но, допустим, он снизойдет до ответа,— что сможет он вам сказать? Если он заявит, что достоинство унаследовано им от предков, любой адвокат потребует доказательств, что к нему перешли и те добродетели, с коими было связано достоинство его предков. Если он станет утверждать, будто достоинство заключено в самом его титуле, разве ему не возразят, что, хотя титулами были когда-то отмечены достоинства, а равно и добродетели, с оными неизменно связанные, обратная зависимость исчезает, коль скоро нам становятся известны его качества совершенно противоположного свойства. Равно и всякая иная его попытка найти основание своему достоинству будет тщетной, а посему достоинство это покоится на совершеннейшем Ничто и само таковым является. Но тем не менее не приходится сомневаться в существовании подобного достоинства; ярким сиянием оно слепит взоры людей и приносит немало благ своим обладателям.

---

[1] Само по себе (*лат.*).

Быть может, это разъяснит следующий силлогизм.

Почет, которым награждают титулованную особу, воздается ей, по крайней мере предположительно, за великие добродетели и способности; в противном случае он воздается за Ничто.

Но если человек славится своей глупостью и подлостью, указанное предположение невозможно.

Вывод ясен.

Не удивительно, что ни один человек не считает зазорным относиться к другому с почтением за Ничто или самому быть за это почитаемым, ибо величие Ничто, мне думается, достаточно очевидно. Но когда те же люди пытаются выдавать Ничто за Нечто, подобное богоотступничество уже достойно порицания. Обычная софистика! Мне довелось встретить одного малого, который был, и все это знали, полным Ничто. Но он не только сам притязал на Нечто,— его поддерживали в этом другие, имевшие значительно меньше оснований заблуждаться, и поступали так по единственной лишь причине: они стыдились Ничто,— скромность, весьма характерная для нашего времени.

И все же, сколь ни хитра эта маскировка, человек, довольно поживший при дворах и в людных городах, если он не вовсе лишен проницательности, должен убедиться в великом достоинстве Ничто. И если, поддавшись общей испорченности либо вняв собственному благоразумию, он станет падать ниц и пресмыкаться перед тем же, что и другие, так будет по крайней мере знать, что поклоняется Великому Ничто. Ничто пользуется всеобщим уважением, и наиболее удивительный тому пример — когда поклоняются чему-то, если позволительно так сказать, еще меньшему, чем Ничто, и человек, прославляемый за добродетели, в действительности не только лишен их, но и знаменит пороками, прямо им противоположными. В этом поистине кроется крайний предел Ничто или, если можно так выразиться, ничтожнейшее Ничто.

Следует заметить, что чувство восхищения может иметь своим предметом Нечто, а изливаться на Ничто. Мы, к примеру, воздаем почет и уважение напыщенности, ханжеству, павлиньству, хвастовству, тщеславию и тому подобным качествам, принимая их за мудрость, благочестие, великодушие, благотворительность, истинное величие etc. Было бы ошибкой считать, что я намерен уронить в глазах читателя предмет своего исследования и намекнуть, будто напыщенность, ханжество etc. суть Ничто. В свете, напротив, принято считать, что мудрость, благочестие и другие добродетели куда более заслуживают этого наименования. И мы, конечно, отнесемся с пущим уважением ко второго рода качествам, иначе говоря — воздадим почет тому, чего нет, то есть нашему Ничто.

Но довольно о достоинстве исследуемого предмета. Я еще не показал, что Ничто есть начало и конец всех вещей.

Ни один философ не станет, надо полагать, оспаривать, что всякий предмет распадается на составные элементы. И поскольку мы доказали, что мир возник из Ничто, он, следовательно, возвратится к тому, из чего произошел. Впрочем, я пишу для христиан, и мне нет нужды пускаться в долгие рассуждения, ибо каждый мой читатель, согласно своей вере, признает, что свет должен иметь конец, то есть обратиться в Ничто.

Но если Ничто — конечная цель мира, все в нем сущее имеет ту же цель. Какова цель честолюбия, самой великой, возвышенной, благородной, утонченной, героической и божественной из человеческих страстей? Ничто! Чего достигли ценою забот, тягот, невзгод, изнурения и опасностей Александр, Цезарь и остальные участники героической шайки, перебившей и ограбившей миллионы людей? Если б они могли сейчас сами за себя сказать, разве не пришлось бы им признаться, что конечной целью всех их стремлений было Ничто? Не одно только личное честолюбие постигает такой конец. Что произошло с Caput triumphati orbis, гордым владыкой мира Римом, которому льстецы, не задумываясь, пророчили бессмертие? Что осталось от его былого величия? Ничего.

А в чем конечная цель скупости? Скупой не стремится ни к власти, ни к наслаждениям, как полагают иные, ибо ни за что на свете не расстанется с шиллингом. Он не думает о спокойной жизни или счастье, ибо чем больше стяжает, тем беспокойнее и несчастнее становится. Никакие блага на свете не влекут его. Быть может, он ищет страданий? Но это грубо противоречило бы самому существу человеческой природы. Желаете вы того или нет, нельзя не признать, что цель, вдохновляющая скрягу,— Ничто. Ведь он и сам не способен объяснить, к чему вся эта суета, постоянное бдение и прилежание, самоограничение и самоотречение.

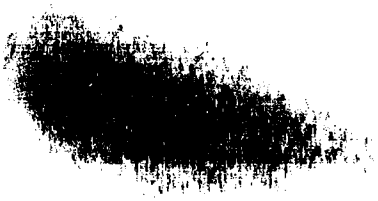
Если он заявит, что цель его — скопить большое состояние, которое он ни теперь, ни когда-либо по своей воле не употребит впрок ни себе, ни другим, этим, я полагаю, он ничего не объяснит. Пусть он покажет, какие существенные блага способно принести его состояние! Пока он не сделает этого, мы по справедливости будем считать, что у скупости одна цель с честолюбием.

Это понимал еще великий Гоббс. Однако, будучи противником исследуемой здесь достопримечательной нематериальной субстанции, он не пожелал признать ее значительность так полно, как это делаем мы. Поэтому он выдвинул чрезвычайно странную доктрину, утверждающую буквально, что во всех перечисленных нами великих стремлениях средства сами по себе являются целью, а именно: для честолюбия — заговоры, сражения, преодоление препятствий и тому подобное, для жадности — ложь, недоедание, бессонные ночи и вечные плутни, сопутствующие этой страсти.

Не составило бы труда наглядно доказать полную беспочвенность подобного суждения, но это не входит в мою задачу; ведь стоит признать, что цель совпадает со средствами, как приходится заодно согласиться, что цель в этом случае — полнейшее Ничто.

Я показал, какова конечная цель двух величайших и благороднейших страстей, и, поскольку почти каждому представителю деятельной части человеческого рода свойственна либо первая, либо вторая, я не буду утомлять читателя, перечисляя остальные. Полагаю, что мой вывод остается верным для любой из них.

Мораль, которой я намерен заключить свой трактат, в достаточной мере вытекает из уже сказанного. Если столь велики достоинства и значение Ничто, если в нем воплотилась конечная цель многого, окруженного такой торжественностью и блеском, таким уважением и почетом, мудрому следует с благоговейным трепетом и восхищением взирать на Ничто, стремиться к нему ценою всех усилий, жертвовать ему своим покоем, порядочностью и повседневным счастьем. Стремиться к Ничто нас подстрекает и то обстоятельство, что здесь исчезает боязнь обмануться в своей цели либо быть в ней обманутым. Человеку добродетельному, мудрому и ученому незачем в этом случае тревожить себя какими-либо сменами министерств и правительств. Он может успокоиться на том, что, пока министрами остаются проходимцы, которым служат такие же взяточники и корыстолюбцы, истинная добродетель, мудрость, образованность, ум и честность принесут своим обладателям верное Ничто.



ИСТОРИЯ ЖИЗНИ покойного ДЖОНАТАНА УАЙЛЬДА Великого

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I,

показывающая, какую мы получаем пользу, увековечивая подвиги удивительных явлений природы, именуемых великими людьми

Так как за всеми великими и дивными делами, замысел которых в своем возникновении, развитии и совершенствовании потребовал всей силы человеческой изобретательности и искусства, непременно стоят великие и выдающиеся люди, то жизнь таких людей по справедливости должна быть названа квинтэссенцией истории. Рассказанная умным писателем, она приятно займет наше воображение и даст нам к тому же немало самых полезных сведений; мы не только извлекаем из нее совершенное знание человеческой природы в целом, ее скрытых пружин, разнообразных извивов и сложных сплетений, — она еще ставит перед нашими глазами живые примеры всего, что привлекательно или же отвратительно, что достойно восхищения или презрения, и тем самым учит нас куда успешней всякой прописи, чему нам ревностно подражать и чего старательно избегать.

Но помимо очевидного двойного преимущества — лицезреть, как на картине, истинную красоту добродетели и безобразие порока, — Плутарх, Светоний, Непот * и другие биографы дают нам еще полезный урок: не слишком поспешно, не слишком щедро расточать и хвалу и хулу, ибо часто мы найдем у них такое смешение добра и зла в одном человеке, что потребуется пристальное внимание и точность оценки, чтобы решить, в какую сторону склоняются весы; правда, иногда мы встретимся с Аристидом и Брутом, с Лисандром или Нероном *, но неизмеримо больше окажется характеров смешанного вида, не совсем хороших, не окончательно дурных; их величайшие добродетели ущерблены и запятнаны пороками, а пороки в свою очередь смягчены и прикрашены добродетелями.

К такому роду принадлежал и тот знаменитый человек, за чью биографию решились мы приняться. Те великие и яркие дарования, какими его наградила природа, не были абсолютно безупречны. Хотя в натуре его было не мало такого, что вызывает восхищение,— пожалуй, не меньше, чем можно обычно найти в герое,— я все же не осмелюсь утверждать, что он был вполне свободен от каких бы то ни было недостатков или что острый взор критики не высмотрел бы некоторых мелких изъянов, затаившихся среди великих его совершенств.

Поэтому пусть не поймут нас так, будто мы ставим своею целью дать читателям законченный или непревзойденный образец человеческого совершенства,— напротив, нам хочется со всею верностью запечатлеть иные мелкие недочеты, умаляющие блеск тех высоких достоинств, которые мы здесь увековечим, и преподать читателям упомянутый выше урок. Пусть пожалеют они вместе с нами о непостоянстве человеческой природы и убедятся в том, что ни один из смертных, если вглядеться в него, не заслуживает поклонения.

Но прежде чем приступить к этому большому труду, мы должны отвести некоторые ошибочные мнения, укоренившиеся среди людей по вине недобросовестных писателей; опасаясь впасть в противоречие с устарелыми и абсурдными взглядами компании простаков, называемых в насмешку мудрецами или философами, эти писатели постарались по мере сил спутать два понятия: о величии и доброте,— тогда как не может быть двух вещей, более между собою различных: ибо величие состоит в причинении человечеству всяких зол, а доброта — в их устранении. Поэтому трудно себе представить, чтобы один и тот же человек обладал и тем и другим; между тем у писателей вошло в обычай, как только они докажут на ряде примеров величие своего излюбленного героя, тут же с умилением восславить и его доброту, не подумав о том, что этим они разрушают высокое совершенство, называемое цельностью характера. В биографиях Александра и Цезаря * нам постоянно и чрезвычайно нагло напоминают о их великодушии и благородстве, о милосердии и доброте. В то время как македонец прошел огнем и мечом обширную империю, лишая жизни огромное множество ни в чем не повинных людей, распространяя, подобно урагану, опустошение и гибель,— нам, в доказательство его милосердия, указывают на то, что он не перерезал горла одной старухе и не обесчестил ее дочерей, ограничившись их разорением. А когда могущественный Цезарь с поразительным величием духа уничтожил вольности своей отчизны и посредством обмана и насилия поставил себя главой над равными, растлив и поработив величайший народ, когда-либо живший под солнцем,— нам, как образец великодушия, выставляют щедрость его к своим приспешникам и к тем, кого он использовал в качестве орудия, когда шел к намеченной цели и утверждал свою власть.

Но кому же не ясно, что такого рода низменные черты в великом человеке должны скорее огорчать нас, как проявление его несовершенства, чем умилять, как его украшение? Они затемняют его славу, замедляют его восхождение к вершинам величия, они поистине недостойны той цели, для которой и пришел он в этот мир,— вершить безмерное, властное зло.

Надеемся, мы убедили нашего читателя, что у него нет никаких оснований подозревать нас в подобном смешении понятий на дальнейших страницах. Ставя своею задачей увековечить деяния великого человека, мы если и упомянем иногда об искре доброты, проблеснувшей в нем или ярко зажегшейся в ком-либо другом,— то всегда отзовемся о ней, как о пошлости и несовершенстве, которые только мешают им преуспевать в предприятиях, доставляющих почет и уважение среди людей.

Так как нашему герою эта пошлость свойственна в самой малой мере — лишь настолько, чтобы сделать его причастным несовершенству человечества, оставив чуждым совершенству сатанинства,—мы осмелились назвать его Великим. И не сомневаемся, что наш читатель, ознакомившись с его историей, вместе с нами признает за ним право на это наименование.

ГЛАВА II,

дающая отчет о всех предках нашего героя, каких удалось выяснить в хламе древности, тщательно обследованном с этой целью

Все биографы придерживаются правила, приступая к своему труду, отойти немного назад (обычно насколько лишь это возможно) и проследить своего героя, как древние прослеживали Нил,— до той точки, где невозможность идти дальше положит конец их розыскам.

Как возник этот метод, трудно установить. Иногда мне кажется, что родословная героя вводится, чтобы придать ему больше блеска. Или, думалось мне, не хотят ли этим отвести подозрение, что такие необычные персонажи не могли появиться на свет обычным, природным путем? Не боятся ли авторы, как бы мы, если им не укажут предков героя, не заподозрили его, как Принца Красавчика *, в том, что у него вовсе не было предков? Наконец, я строил и такое предположение (может быть, самое верное), что у биографа было одно лишь простое намерение: показать свою великую ученость и знание древности,— намерение, которому мир, вероятно, обязан многими замечательными открытиями и чуть ли не всеми трудами наших антиквариев.

Но откуда бы ни брал начало этот обычай, он утвердился теперь слишком прочно, чтобы спорить с ним. Я поэтому собираюсь следовать ему строжайшим образом.

Итак, мистер Джонатан Уайльд, или Вайльд (он не всегда придерживался одинакового написания своего имени), вел свой род от великого Уолфстана Уайльда, который пришел из-за моря вместе с Хенгистом * и славно отличился на том знаменитом пиру, когда бритты были так предательски истреблены саксонцами: когда раздались призывные слова: «Nemet eour Saxes» — «Хватайтесь за мечи!», этому джентльмену (он был туговат на ухо) послышалось: «Nemet her sacs» — «Хватайте кошельки», и он тотчас нацелился не на горло своего гостя, а на его карман и ограничился тем, что обобрал его, не покушаясь на его жизнь.

В дальнейшем из предков нашего героя выделился Уайльд по прозванию Долгохват, или Длинная Рука. Он процветал в царствование Генриха III и связан был тесными узами с Губертом де Бургом *, чье расположение он снискал своей замечательной сноровкой в том искусстве, изобретателем которого был сам Губерт: он умел без ведома владельца ловко и проворно извлечь кошелек, в какой бы части одежды ни был он запрятан, чем и заслужил свое прозвище. Этот джентльмен первым в своем роду имел честь пострадать за благо родины. Один острослов того времени сложил о нем следующую эпитафию:

Где справедливость? О, позор!
Повешен Вайльд, карманный вор,
Но Губерт лазит пресвободно,
Как в свой карман, в карман народный.

Долгохват оставил сына Эдварда, обученного всем тонкостям того искусства, коим прославился сам. У этого Эдварда был внук, служивший волонтером под начальством сэра Джона Фальстафа *, которому так нравилось удальство юного Уайльда, что он, несомненно, помог бы ему продвинуться по службе, когда бы Гарри Пятый сдержал слово, данное старому собутыльнику *.

После смерти Эдварда род Уайльдов оставался в тени вплоть до царствования Карла Первого, когда Джеме Уайльд в годы гражданской войны * отличился как соратник обеих враждующих сторон, переходя то на одну, то на другую, так как и благоволение к ним небес было, повидимому, переменным. К концу войны Джемс, не получив награды в полную меру своих заслуг (как обычно случается с такого рода беспристрастными людьми), примкнул к одному из удальцов,— каких не мало было в те времена,— некоему Хайнду, и объявил войну обеим партиям. Он успешно провел несколько операций и захватил немало военной добычи, но в конце концов превосход-

ные силы противника взяли верх: он был изловлен и, противно законам войны, подло и трусливо умерщвлен по сговору двенадцати представителей враждебной партии, которые, посовещавшись между собой, пришли к единодушному решению об этом убийстве.

Этот Эдвард * был женат на Ребекке, дочери вышеупомянутого Джона Хайнда, эсквайра, и имел от нее четырех сыновей — Джона, Эдварда, Томаса и Джонатана, и трех дочерей — Грацию, Хариту и Гонору. Джон делил с отцом превратности его судьбы и, пострадав вместе с ним, не оставил потомства. Эдвард отличался таким мягкосердечием, что всю свою жизнь провел в ходатайствах по судебным делам несчастных узников Ньюгейта * и состоял, говорят, в тесной дружбе с одной видной духовной особой, ходатаем этих узников по их духовным делам. Он женился на Эдит, дочери и наследнице Джофри Спэна, джентльмена, который долгое время служил под началом верховного шерифа * Лондона и Мидлсекса *, и на этой должности, пользуясь самой доброй славой, приобрел изрядное состояние; детей от нее Эдвард не имел. Томас совсем молодым отправился за море, в одну из наших американских колоний, и с той поры о нем не было слуха. Что же касается дочерей, то Грация вышла за йоркширского купца, торговавшего лошадьми; Харита была замужем за одним примечательным джентльменом, фамилии которого мне не удалось узнать, но который славился исключительным расположением к людям, так как брал на поруки сто с лишним человек в год; он, кроме того, был замечателен странной привычкой ходить в Вестминстер-холл с соломинкой в башмаке. Младшая, Гонора, умерла девицей; она прожила в Лондоне много лет, была постоянной посетительницей театральных представлений и приобрела известность тем, что раздавала апельсины всем желающим *.

Джонатан женился на Елизавете, дочери Скрэгга Холлоу из Хокли ин-зе-Хоула, эсквайра. От нее он имел сына Джонатана, знаменитого героя нашей хроники.

ГЛАВА III

Рождение, родня и воспитание мистера Джонатана Уайльда Великого

Как показывает наблюдение, редко так бывает, чтобы природа произвела на свет человека, призванного впоследствии играть видную роль на сцене жизни, и не возвестила бы о том каким-либо знаменьем; и как поэт-драматург обычно подготов-

ляет выход каждого значительного персонажа торжественным рассказом или хотя бы громом труб и барабанов, так и эта наша Alma Mater[1] предваряет нас о своем намерении, посылая нам какое-нибудь знамение и возглашая:

Venienti ocurrite morbo![2]

Так, деду Кира, Астиагу, привиделось во сне, что дочь его разрешилась от бремени виноградным кустом, лозы которого, разросшись, покрыли всю Азию *; Гекубе, когда она носила во чреве Париса, приснилось, что от нее родился пожар, спаливший всю Трою *; а матери нашего великого человека, когда она была им беременна, привиделось, что она всю ночь наслаждалась с богами Меркурием и Приапом. Этот сон озадачил всех тогдашних ученых астрологов, так как содержал явное противоречие, поскольку Меркурий — бог изобретательности, Приап же — гроза тех, кто ее проявляет на деле. Сон удивителен был еще одним необычайным обстоятельством, убедительно доказывающим его сверхъестественное происхождение (из-за этого, может быть, он и запомнился): хотя будущая мать никогда не слыхала даже имени этих двух богов, она наутро назвала их обоих, допустив лишь небольшую ошибку в долготе гласной,— второго бога ей вздумалось назвать Прúапом, а не Приáпом; муж ее клялся, что если Меркурия он, быть может, и упоминал когда-нибудь при ней, так как все же слышал об этом языческом боге, то уж о втором божестве он никак не мог при жене даже обмолвиться, поскольку и сам не имел о нем никакого представления.

Вторым замечательным обстоятельством было то, что всю беременность ее неизменно влекло ко всему, что попадалось на глаза, но удовлетворение она получала только в том случае, если утоляла свое желание украдкой; а так как природа, по свидетельству точных и правдивых наблюдателей, тем и замечательна, что, пробуждая в нас стремления, всегда наделяет нас и средствами осуществить их,— то и у этой особы пальцы приобрели поразительное свойство клейкости, и к ним, как к омеле, крепко прилипало все, чего касалась ее рука.

Опуская прочие предания, иные из которых явились, возможно, плодом суеверия, переходим к рождению нашего героя, который совершил свой первый выход на великую сцену жизни в тот самый день, когда в 1665 году впервые вспыхнула чума. Утверждают, будто мать произвела его на свет в Ковент-Гардене *, в доме сферической или круглой формы; но это не вполне достоверно. Несколько лет спустя он был крещен знаменитым мистером Титом Отсом *.

---

[1] Мать-кормилица *(лат.)*.

[2] Встречайте грядущий мор *(лат.)*. Обычно говорится в смысле: боритесь с болезнью при ее первом проявлении.

В младенческие годы с ним не произошло ничего примечательного, не считая того, что звук «th», самый трудный для произношения, так что дети научаются правильно его выговаривать обычно в последнюю очередь, у юного мистера Уайльда первым сошел с языка и без всякого труда[1]. Не можем мы также умолчать о ранних проявлениях мягкости его характера: от него нельзя было добиться послушания никакими угрозами, но зато конфетка приводила его в полную покорность; сказать по правде, подкупом его можно было склонить на что угодно, и многие усматривали в этом прирожденную черту великого человека.

Как только его определили в школу, он обнаружил признаки гордого и честолюбивого нрава, и все школьные товарищи стали относиться к нему с тем уважением, какое обычно оказывают люди тому, кто умеет потребовать его к себе, превосходя других силой духа. Если надобно было совершить налет на фруктовый сад, это обсуждалось с Уайльдом, и он, хоть и редко участвовал сам в исполнении замысла, однако всегда утверждал его и брал на хранение добычу, с удивительным великодушием кое-что выдавая время от времени тем, кто доставил ее. Как правило, он соблюдал в этих случаях строгую тайну; но если кому-либо приходило на ум очистить чужой сад за свой страх и риск, не оповещая мастера Уайльда и не сдавая ему добычи, он мог не сомневаться, что учителю будет доложено и проказник понесет суровое наказание.

Школьной науке наш герой уделял так мало внимания, что его учитель, умный и достойный человек, вскоре сложил с себя всякую заботу об этом и, сообщая родителям о превосходных успехах сына, предоставлял ученику следовать своим природным наклонностям: он видел, что они ведут юношу к более благородной цели, чем усвоение знаний, которое всеми признается бесполезной тратой времени и даже прямою помехой к преуспеянию в свете. Но если никто не заподозрил бы юного Уайльда в усердном приготовлении уроков, зато никто не стал бы отрицать, что он с исключительной ловкостью умел присвоить себе сделанное другими, никогда, однакоже, не попадаясь на краже чужих сочинений, ни в ином применении своих великих талантов, всегда направленных к одной и той же цели, — если не считать одного случая, когда он наложил дерзостную руку на книгу, озаглавленную «Gradus ad Parnassum», то есть «Ступень к Парнасу». Говорят, его учитель, человек редкого остроумия и проницательности, по этому поводу высказал ему пожелание, чтобы книга эта не оказалась в данном случае «Gradus ad Patibulum», то есть «Ступенью к виселице».

Но хотя юный Уайльд чуждался труда, необходимого для приобретения приличных познаний в языках ученого мира, он

[1] С этого звука начинается английское слово «thief» — вор.

охотно и внимательно слушал других, в особенности когда ему переводили классических авторов; и в этих случаях он никогда не скупился на похвалы. Ему чрезвычайно нравилось то место одиннадцатой песни «Илиады», где говорится о том, как Ахиллес связал, изловив под горою, двух сыновей Приама, а потом отпустил их за определенную сумму денег. «Одно это,— сказал он,— достаточно опровергает всех, кто высокомерно отрицает мудрость древних, и, несомненно, свидетельствует нам о великой древности мазизма» [1]. Его приводил в восхищение отчет Нестора в той же песни о богатой добыче, которую тот взял (то есть украл) у элеян. По его просьбе ему снова и снова перечитывали этот отрывок, и каждый раз, прослушав, он вздыхал и говорил: «Вот поистине славная добыча!»

Когда ему читали из восьмой песни «Энеиды» рассказ о Каке *, он выражал благородную жалость к этому несчастливцу, с которым, по его мнению, Геракл обошелся слишком круто; когда же один его школьный товарищ одобрил ловкую выдумку — втащить быков за хвосты обратно в пещеру, он улыбнулся и пренебрежительно заметил, что мог бы научить другой штуке, куда почище этой.

Он был страстным поклонником героев, особенно Александра Великого, и любил проводить параллель между македонцем и покойным шведским королем *. Он с восторгом слушал рассказы об отступлении московского царя перед шведом, угонявшим жителей крупных городов и населявшим ими свою собственную страну. «Вот это,— говаривал юный Уайльд,— Александру не пришло ни разу в голову. Но, пожалуй,— добавлял он,— ему не было в них нужды».

Счастьем было бы для Джонатана, если бы он всегда держался в этой высокой сфере; но главным — если не единственным — его недостатком было то, что по некоторой слабости натуры, столь губительной для истинного величия, он снисходил иногда до низких лиц и предметов. Так, его любимой книгой был «Испанский жулик» *, а любимой пьесой «Плутни Скапэна» *.

Когда юному джентльмену исполнилось семнадцать лет, его отец, из глупого предубеждения против наших университетов и напрасных, преувеличенных опасений за его нравственность, увез сына в Лондон, где тот жил при нем, пока не пришла для него пора отправиться в путешествие. Покуда же он оставался в городе, отец прилагал все усилия к наставлению его на добрый путь, всемерно стараясь привить сыну правила благородства и чести.

---

[1] Это слово на особом языке означает «воровство». *(Прим. автора.)*

ГЛАВА IV

*Мистер Уайльд совершает свой первый выход в свет. Его знакомство с графом Ла Рюз**

Вскоре после приезда мастера Уайльда в Лондон произошел случай, который почти снял с его отца всякую заботу по этой части и обеспечил юношу таким учителем жизни, какого ему не доставили бы никакие поиски и затраты. Старый джентльмен, повидимому, сделался преемником мистера Снэпа, сына того мистера Джофри Снэпа, упоминавшегося выше, который занимал почетную должность при шерифе Лондона и Мидлсекса и через замужество дочери породнился с Уайльдами. Мистер Снэп-младший, уполномоченный на то законом, наложил властную руку, или, вульгарно говоря, арестовал некоего графа Ла Рюз — довольно видное в те дни лицо — и запер его у себя в доме на время, пока тот не подыщет двух заступников, которые по всей форме дали бы слово, что граф в назначенный день и в условленном месте ответит некоему Томасу Тимблу *, портному, на все, что тот ему скажет; названный же Томас Тимбл, видимо, утверждал, что граф, согласно законам государства, должен предоставить ему свою персону в обеспечение платы за несколько костюмов, поставленных ему оным Томасом Тимблом. Но так как граф, хотя и был в полном смысле слова человеком чести, не мог тотчас же найти этих двух заступников, то ему полагалось прожить некоторое время в доме мистера Снэпа: ибо закон страны, оказывается, гласит, что всякий, кто должен другому десять фунтов стерлингов или хотя бы два фунта, может по присяге этого лица быть немедленно схвачен, уведен из собственного дома и оторван от семьи до тех пор, пока не задолжает поневоле все пятьдесят,— а за такую сумму он уже должен будет сесть в тюрьму; и все это без всякого суда или какого-либо доказательства долга, кроме упомянутой выше присяги; если же присяга ложна, как это нередко бывает, вы бессильны против клятвопреступника: человек ошибся — и только.

Но хотя мистер Снэп не соизволил (как, быть может, следовало по многим требованиям учтивости) отпустить графа на честное слово, однако и не стал (как допускали строгие требования закона) запирать его в одной комнате. Графу предоставлена была возможность свободно расхаживать по всему дому; и мистер Снэп, заперев из предосторожности дверь на ключ и засов, взял с узника обещание, что он не будет выходить на улицу.

Мистеру Снэпу его вторая жена оставила двух дочерей, которые были теперь в расцвете юности и красоты. Молодые леди, подобно девицам из романов, прониклись состраданием к пленному графу и всячески старались скрасить для него заключение; но, хотя обе они были очень красивы, наиболее действи-

тельным средством для достижения цели оказалась игра в карты, в которой, как станет видно из дальнейшего, граф был чрезвычайно искусен.

Так как самой модной игрой была тогда «метла и швабра», им приходилось подыскивать себе четвертого партнера. Иногда сам мистер Снэп бывал не прочь после тяжких служебных трудов дать отдых своему уму в этом занятии, иногда же приходили на выручку какой-нибудь молодой сосед или соседка; но самым частым гостем бывал юный мастер Уайльд, который с раннего детства воспитывался вместе с девицами Снэп и которого все соседи прочили в мужья мисс Тиши, или Летиции, младшей из сестер; правда, как племянница его дяди, она, пожалуй, по суду строгой морали, состояла с ним в слишком близком родстве,— однако родители жениха и невесты, хоть и были достаточно щепетильны в некоторых тонких вопросах, согласились пренебречь этим препятствием.

Гениальные люди распознают друг друга так же легко, как масоны. Поэтому не удивительно, что скоро у графа возникло желание ближе сойтись с нашим героем, чьи всесторонние способности не могли остаться незамеченными для столь проницательного человека. Хотя граф был в картах таким искусником, что всегда, по выражению игроков, «вел всю игру», однако он не мог тягаться с мастером Уайльдом, который при всей своей неопытности и при всем мастерстве, ловкости, а иногда и удаче противника неизменно выпускал его из-за стола с облегченным карманом,— ибо воистину сам Уайльд Долгохват не мог бы так ловко вытащить чужой кошелек, как наш юный герой.

Его руки успели несколько раз наведаться в карманы графа, прежде чем у того зародилось первое подозрение; до сих пор, недосчитываясь временами денег, граф в этих потерях склонен был видеть скорее невинные шалости мисс Доши (или Теодозии), с которыми считал себя обязанным мириться, так как и она в награду разрешала ему кое-какие невинные вольности по отношению к своей особе; но как-то вечером Уайльд, вообразив, что граф уснул, повел на него такую неосторожную атаку, что тот поймал его на месте преступления. Граф, однако, не счел нужным сообщать о сделанном открытии и, помешав Уайльду на этот раз захватить добычу, стал лишь впредь тщательно застегивать карманы и с удвоенным усердием подтасовывать колоду.

Это открытие не только не посеяло ссоры между двумя мазами [1], но послужило своего рода рекомендацией, ибо умный человек, иначе говоря — мошенник, смотрит на трюки в жизни, как актер на театральные трюки: они заставляют его насторожиться, но он восхищается ловкостью того, кто их разыгрывает. Таким образом, и этот и многие другие примеры уайльдова ма-

---

[1] Ворами. *(Прим. автора.)*

стерства произвели на графа столь сильное впечатление, что, невзирая на неравенство, создаваемое между ними возрастом, званием, а главное одеждой, он решил завязать знакомство с Уайльдом. Знакомство вскоре привело к полному единодушию, а то в свою очередь — к дружбе, просуществовавшей дольше, чем держится обычно это чувство между двумя людьми, которые не могут предложить друг другу ничего, кроме возможности вместе поесть, попить, пораспутничать или взять денег взаймы; а поскольку эти возможности быстро иссякают, то иссякает и дружба, основанная на них. Взаимная выгода, сильнейшее из всех побуждений, была цементом этого союза, который, следовательно, могло расторгнуть только одно — более высокая выгода.

ГЛАВА V

Обмен мыслями между юным мастером Уайльдом и графом Ле Рюэ, перешедший в препирательство, но разрешившийся затем самым мирным, спокойным и естественным образом

Однажды вечером, когда девицы Снэп удалились на покой, граф обратился к юному Уайльду с такими словами:

— Я полагаю, мистер Уайльд, ваши большие способности вам самому достаточно известны, и вас не удивит, если я вам скажу, что я нередко с изумлением и грустью смотрел на ваши блистательные дарования, ограниченные сферой, где на них никогда не упадет взор кого-либо, кто мог бы вывести их на свет и поднять на такую высоту, откуда они сияли бы на удивление всему человечеству. Уверяю вас, я радуюсь своему пленению, когда думаю о том, что ему я, повидимому, обязан знакомством и, надеюсь, дружбой с величайшим гением нашего века, и — что еще важнее — когда я льщу себя тщеславной мыслью извлечь из мрака неизвестности (простите мне это слово) такие таланты, какие, думается мне, еще никогда, вероятно, не бывали в нем похоронены. Ибо я твердо надеюсь, что как только выйду отсюда,— а этого теперь недолго ждать,— я смогу ввести вас в общество, где лучшие ваши качества получат возможность полного развития. Я вас познакомлю, сударь, с теми, кто способен не только по достоинству оценить ваши качества, но и благосклонно отнестись к вам ради них. Быть введенным в этот круг — вот единственно, чего недостает вам и без чего ваши достоинства могут стать вашим несчастием. Ибо те самые способности, которые при высоком положении в обществе принесли бы вам почет и выгоду, при низком положении только навлекут на вас опасности и позор.

Мистер Уайльд отвечал:

— Сэр, я вам глубоко признателен как за вашу слишком лестную оценку моих скромных дарований, так и за любезное

ваше предложение ввести меня в более высокий круг. Должен сознаться, мой отец часто уговаривал меня пробраться в общество людей более высокопоставленных, но, сказать по правде, моей натуре свойственна нелепая гордость, и мне более по нраву стоять в низшем классе наверху, чем в высшем — на самом дне. Позвольте мне сказать: хотя такое сравнение, может быть, и грубо,— но я предпочел бы стоять на вершине навозной кучи, чем у подножия какого-нибудь райского холма. Я всегда полагал несущественным, в какой круг забросила меня судьба,— лишь бы в нем я был крупной фигурой. И для меня одинаково приятно проявлять ли мои таланты, возглавляя небольшую партию или шайку, или же командуя могучей армией,— так как я отнюдь не согласен с вами, что большие способности при низком положении часто пропадают втуне; напротив, я убежден, что они не могут пропасть. Я часто уверял сам себя, что в войсках Александра было не меньше тысячи человек, способных совершить то же, что сделал сам Александр.

Но если эти лица не были избраны или же предназначены для верховного командования, должны ли мы предположить, что они остались без добычи или что они удовольствовались долей, равной доле их товарищей? Конечно, нет! В гражданском мире, бесспорно, тот же гений, те же дарования нередко отмечали наравне государственного мужа и *маза,* как мы именуем того, кого чернь называет вором. Нередко те же качества и тот же образ действий, какие ставят человека во главе общества в высших слоях, поднимают его до главенства и в низших; и где тут существенная разница, если один кончает Тауэром, а другой Тайберном? * Разве это не пустое заблуждение, что плаха предпочтительнее виселицы, а топор — веревки? Итак, вы меня извините, если я не так легко загораюсь восторгом перед внешней стороной вещей и не склонен, как иные, отдавать предпочтение одному состоянию перед другим. Гинея стоит одинаково, что в расшитом кошельке, что в кожаном; а треска останется треской — что на олове, что на серебряном блюде.

Граф отвечал на это так:

— То, что вы сейчас сказали, не снижает моей оценки ваших способностей, но утверждает меня во мнении о плохом воздействии дурного и низкого общества. Кто же станет сомневаться, что лучше быть большим государственным человеком, чем простым вором? Я слышал не раз, будто черт говаривал, не знаю где и кому, что лучше царствовать в аду, чем быть лакеем в раю,— и, может быть, он был прав; но если бы ему пришлось решать, где царствовать, тут или там, он бы уж, конечно, сумел выбрать наилучшее. Истина же в том, что мы, вращаясь в низких слоях, проникаемся бо̀льшим почтением к высоким вещам, чем они заслуживают. Мы отказываемся

преследовать великие цели не из презрения, а от безнадежности. Когда человек предпочитает грабеж на большой дороге более почетным способам добывания богатства, он поступает так лишь потому, что этот способ кажется ему легче других; но вы сами утверждаете — и здесь вы бесспорно правы,— что на обоих путях от вас требуются для начала одни и те же способности и к цели приводят одни и те же средства,— как в музыке мотив остается тот же, играете ли вы его в более высоком или более низком ключе. Разберем для ясности некоторые примеры. Человек захотел, допустим, наняться слугой, войти в доверие к хозяину и проникнуть в его тайны с целью обокрасть его; разве не те же нужны для этого качества, какие позволили б ему снискать доверие высшего порядка, чтобы затем обмануть его и совершить предательство? Путем притворства обмануть лавочника и добиться, чтоб он доверил вам свои товары, с которыми вы потом сбежите,— разве это легче, чем, обольстив его внешним блеском и видимостью богатства, получить у него кредит, который принесет вам прибыль, а ему двадцатикратный убыток? И не больше ли требуется ловкости, чтобы никем не замеченным вытащить из кармана у мужчины кошелек или из-за пояса у дамы часы (мастерство, в котором вас, скажу без лести, никто не превзойдет), чем для того, чтобы подделать кость или подтасовать колоду? Разве не то же искусство, не те же превосходные качества делают ловким сводником привратника непотребного дома, как те, что нужны семейному человеку, чтобы для собственной выгоды толкнуть на бесчестие свою жену или дочь или жену и дочь своего друга? Разве не та же отличная память, тонкая изобретательность, не та же твердость взгляда нужны для ложной присяги в Вестминстер-холле, каких достало бы на целый правительственный аппарат, включая и самого правителя?

Нет нужды разбирать подробно всевозможные случаи; мы в каждом убедились бы, что связь между высокими и низкими сферами жизни теснее, чем принято думать, и что грабитель с большой дороги имеет право на бо́льшую благосклонность великих людей, чем обычно встречает на деле. Итак, если я, как мне думается, доказал, что те самые способности, которые позволяют человеку выдвинуться в низшем кругу, достаточны и для выдвижения в высшем, то, конечно, не может быть спора о том, какой круг ему следует выбрать для их приложения. Честолюбие — это непременное свойство великого человека — тотчас научит его предпочесть, как вы выразились, райский холм навозной куче. Даже страх — самое противное величию чувство — и тот подскажет ему, насколько для него безопаснее дать полно и свободно развернуться своим могучим дарованиям при высоком положении, нежели при низком; ибо весь опыт убедит его, что в Тауэре за сто лет не соберется столько раз толпа поглазеть на казнь, сколько на Тайберне за год.

Мастер Уайльд с большой торжественностью ответил на это, что те же способности, какие позволят «скокарю» [1], «уздечке» [2] или «саламандрику» [3] выдвинуться до некоторой степени в своей профессии, равным образом помогли бы возвыситься и тому, кто избрал для себя специальность, почитающуюся в свете более почтенной. «Этого,— сказал он,— я не отрицаю; мало того: из некоторых ваших примеров ясно, что в более низких профессиях требуется больше ловкости, больше искусства, чем в более высоких. Поэтому, пока вы утверждаете, что каждый *маз* может, если хочет, быть министром, я охотно с вами соглашаюсь; но когда вы делаете вывод, что ему выгодно им быть, что честолюбие склонило бы его к такому выбору,— словом, что министр выше или счастливей *маза,*— то с этим я никак не согласен. Когда вы сравниваете их между собой, остерегайтесь впасть в заблуждение, приняв вульгарную ошибочную оценку вещей: в суждении об этих двух натурах люди постоянно допускают ту же ошибку, что врачи, когда они, рассматривая проявления болезни, не учитывают возраста и телесного склада своих пациентов. Степень жара, обычная для одной конституции, может в другом случае означать жестокую лихорадку; равным образом то, что для меня — богатство и честь, для другого может быть нищетой и позором. Все эти вещи надо оценивать соотносительно с тем, на чью долю они выпадают. Добыча в десять фунтов стерлингов представляется большой в глазах «уздечки» и обещает ему столько же подлинных утех, сколько десять тысяч фунтов — государственному деятелю; и разве первый не тратит свои приобретения на девок и на скрипачей с бо́льшей радостью, с бо́льшим весельем, чем второй на дворцы и картины? Что государственному деятелю в лести, в лживых комплиментах его шайки, когда он должен сам осуждать свои ошибки и поневоле уступает Фортуне всю честь своего успеха? Чего стоит гордость, порожденная такими притворными хвалами, по сравнению с тайным удовлетворением, какое в душе испытывает *маз,* размышляя о хорошо задуманном и хорошо проведенном замысле? Возможно, в самом деле, что опасностей выпадает больше на долю *маза,* но зато, не забывайте, и почета ему больше. Когда я говорю о почете, я имею в виду тот, какой оказывает каждому из них его шайка,— ибо та слабая часть человечества, которую пошлая толпа называет мудрецами, видит их обоих в невыгодном и неблаговидном свете; к тому же *маз,* пользуясь (и по заслугам) бо́льшим почетом у своей шайки, в то же время меньше страдает от поношения со стороны света, полагающего, что его злодейства, как у них это зовется, достаточно будут наказаны петлей, которая

[1] Взломщику.

[2] Разбойнику с большой дороги.

[3] Лавочному вору. Термины, употребляемые в Особом Словаре. *(Прим. автора.)*

граф положит конец его мукам и бесчестию, тогда как государственного мужа не только ненавидят, пока он стоит у власти,— его презирают и поносят при его восхождении на эшафот, а грядущие века со злобой чернят его память, тогда как *маз* спит в покое и забвении. Кстати о покое — заглянем в тайники их совести: как мало обременительна мысль о нескольких шиллингах или фунтах, которые ты взял у незнакомца без вероломства и, быть может, без большого ущерба для потерпевшего, по сравнению с мыслью о том, что ты обманул общественное доверие и разрушил благосостояние многих тысяч, возможно целого великого народа! Насколько смелей совершается грабеж на большой дороге, чем за игорным столом, и насколько невинней привратник непотребного дома, чем титулованный сводник!

Он с жаром продолжал свою речь, пока, бросив взгляд на графа, не увидел, что тот крепко спит. Поэтому, выудив сперва у него из кармана три шиллинга, он его легонько дернул за полу, чтобы попрощаться, пообещал зайти еще раз утром к завтраку, и они расстались: граф пошел почивать, а мастер Уайльд — в ночной погребок.

ГЛАВА VI

Дальнейшие переговоры между графом и мастером Уайльдом и прочие великие дела

Наутро граф хватился своих денег и отлично понял, у кого они; но, зная, как бесполезна будет всякая жалоба, он предпочел оставить дело без последствий и не упоминать о пропаже. Правда, иному читателю покажется странным, что эти джентльмены, зная каждый о другом, что тот — вор, ни разу ни единым намеком не выдали в разговоре, что им это известно,— напротив того, слова «честность», «честь» и «дружба» так же часто срывались у них с уст, как и у всех других людей. Это, повторяю, иному покажется странным; но кто подолгу живал в больших городах, при дворах, в тюрьмах и прочих подобных местах, тем, быть может, нетрудно будет понять эту мнимую несообразность.

Когда наши два приятеля встретились наутро, граф (которому, хотя в целом он не был согласен с рассуждениями друга, все же очень пришлись по душе его доводы) начал жаловаться на свое злосчастное пленение и на несклонность друзей помогать друг другу в нужде; но больше всего, сказал он, его терзает жестокость красавицы. И он посвятил Уайльда в тайну своих отношений с мисс Теодозией, старшей из девиц Снэп, с которой он завел интригу с первых же дней своего заключения, а все никак не может убедить ее выпустить его на свободу. Уайльд ответил с улыбкой, что нет ничего удивительного, если женщина

предпочитает держать своего любезного под замком, раз это ей дает уверенность, что так он будет принадлежать ей безраздельно, но добавил, что, пожалуй, мог бы указать ему надежный способ выйти на свободу. Граф горячо взмолился открыть ему этот способ. Уайльд ему сказал, что нет средства вернее подкупа, и посоветовал испытать его на служанке. Граф поблагодарил, но ответил, что у него не осталось ни фартинга, кроме одной гинеи, которую он дал ей разменять. На что Уайльд сказал, что можно все устроить при помощи посулов, а дальше граф, как человек светский, сумеет оттянуть исполнение обещанного. Граф весьма одобрил совет и выразил надежду, что друг его со временем, склонившись на его уговоры, согласится стать великим человеком, к чему он так превосходно подготовлен.

Договорившись о способе действий, два друга сели за карты,— обстоятельство, о котором я упоминаю только ради того, чтобы показать поразительную силу привычки: ибо граф, хоть и знал, что, сколько бы он ни выиграл, ему все равно не получить с мастера Уайльда ни шиллинга, не удержался и подтасовал колоду; так же и Уайльд не мог не пошарить в карманах друга, хоть и знал, что в них ничего нет.

Когда служанка вернулась, граф приступил к делу: он предлагал ей все, что имеет, и обещал золотые горы in futuro [1]; но тщетно — девушка была непоколебима в своей честности: она сказала, что «не станет нарушать доверия хозяев ни за какие блага на свете, ни даже за сто гиней». Тут приступился к ней Уайльд и объяснил, что ей-де нечего бояться потерять место, потому что никто ничего не узнает: можно будет выбросить две простыни на улицу, чтобы подумали, будто граф вылез в окно; он, Уайльд, сам присягнет, что видел, как тот спускался. А деньги — всегда деньги; к тому же, помимо обещаний, на которые она смело может положиться, ей будет дано наличными двадцать шиллингов девять пенсов (ибо три пенса из гинеи она, как водится, удержала в свою пользу), и, наконец, помимо своей чести, граф вручит ей пару очень ценных золотых пуговиц (впоследствии они оказались медными), как дополнительный залог.

Служанка, однако, упорно не сдавалась, пока Уайльд не предложил другу в долг еще одну гинею, с тем чтобы тут же отдать ей. Это подкрепление сломило решимость бедной девушки, и она дала твердое обещание вечером отпереть для графа дверь.

Так наш юный герой выручил друга не только своим красноречием, что немногие готовы делать безвозмездно, но еще и деньгами (суммой, с которой иной порядочный человек нипочем бы не расстался и уж нашел бы для этого пятьдесят извинений), и тем возвратил ему свободу.

[1] В будущем *(лат.)*.

Но было бы крайне умалительно для образа Уайльда Великого, если бы читатель вообразил, что эту сумму мастер Уайльд одолжил своему другу без всяких видов на выгоду для себя. И так как читатель без урона для репутации нашего героя свободно может предположить, что наш герой связывал освобождение графа с некоторыми корыстными видами, мы будем надеяться именно на такое милосердное суждение,— тем более что дальнейшее течение событий покажет, насколько эта предпосылка о корыстных видах не только разумна, но и необходима.

Тесная близость и дружба надолго связали графа с мастером Уайльдом, который по его совету стал носить хорошую одежду и был им введен в лучшее общество. Они постоянно появлялись вдвоем на балах, аукционах, за карточным столом и на спектаклях; в театре они бывали каждый вечер: просмотрят два акта и затем удалятся, не платя,— по привилегии, которую столичные франты, кажется, присвоили себе с незапамятных времен. Однако Уайльду это было не по вкусу: такие поступки он называл плутнями и возражал против них, утверждая, что они не требуют никакой ловкости и доступны каждому болвану. Дело это, говорил он, сильно отдает *медвежатиной* [1], но не так остро и не так почетно.

Уайльд был теперь заметною фигурой и сходил за джентльмена, обладателя большого денежного капитала. Дамы общества в обращении с ним допускали известную свободу, юные леди начинали уже пробовать на нем свои чары, когда одно происшествие заставило его отступить от этого образа жизни, слишком пошлого и бездейственного, не позволявшего развернуться его талантам, которым назначено было доставить их обладателю более значительную в свете роль, чем та, что сочетается с образом франта или светского красавца.

ГЛАВА VII

Мастер Уайльд отправляется в путешествие и возвращается снова домой. Очень короткая глава, обнимающая неизмеримо больший период времени и меньший материал, чем любая другая во всей нашей повести

К сожалению, мы не можем удовлетворить любопытство нашего читателя полным и исчерпывающим отчетом об этом происшествии. О нем имеется несколько различных версий, но из них может быть только одна, отвечающая истине, а возможно, и даже очень вероятно, что такой и вовсе нет; поэтому, отступив от обычного метода историков, которые в подобных

[1] Ограблением магазина. *(Прим. автора.)*

случаях приводят ряд различных вариантов и предоставляют вам выбирать между ними по собственному разумению, мы обходим молчанием все версии.

Достоверно лишь одно: в чем бы ни состояло это происшествие, оно привело отца нашего героя к решению немедленно отправить сына на семь лет за границу, и притом — что может показаться довольно примечательным — на плантации его величества в Америке *, так как, по его словам, эта часть света свободней от пороков, чем столицы и дворы европейских государей, и, следовательно, менее опасна для нравственности молодого человека. Что же касается преимуществ, то они, по мнению старого джентльмена, не уступали тем, какие предлагают страны более мягкого климата. Путешествие есть путешествие, сказал он, что по одной части света, что по другой; оно заключается в том, чтобы пробыть такой-то срок вдали от дома и проделать столько-то миль пути; и он сослался на опыт большинства наших путешественников по Италии и Франции: разве по их возвращении не оказывалось, что их с такой же пользой можно было бы послать в Норвегию и Гренландию?

Итак, согласно решению отца, юный джентльмен был посажен на корабль и в многочисленном и приятном обществе отбыл в Западное полушарие. Срок его пребывания там точно не известен; всего вероятнее, он был там дольше, чем предполагал. Но как ни долго отсутствовал наш герой, эти годы должны составить пробел в настоящей повести, так как вся его история в целом содержит немало похождений, достойных занять внимание читателя, и являет собой сплошную картину распутства, пьянства и передвижения с места на место.

Признаться, нам стало так стыдно за краткость этой главы, что мы решились было совершить насилие над историей и включить в нашу хронику два-три приключения какого-нибудь другого путешественника. С этой целью мы просмотрели путевые записки нескольких молодых джентльменов, вернувшихся недавно из поездки по Европе, но, к нашему большому огорчению, не могли извлечь из них ни одного происшествия, достаточно яркого, чтобы оправдать перед нашей совестью подобное воровство.

Когда мы думаем о том, какой смешной должна выглядеть эта глава, охватывающая по меньшей мере восемь лет, нас утешает лишь одно: что биографии многих людей — и, может быть, людей, которые немало нашумели в мире,— в сущности представляют собою такой же сплошной пробел, как путешествие нашего героя. Итак, поскольку в дальнейшем мы намерены с преизбытком возместить этот пропуск, поспешим перейти к делам истинной важности и безмерного величия. Здесь же удовольствуемся тем, что приведем нашего героя туда, где мы с ним расстались; а читателям уже известно, что он уезжал, пробыл за морем семь лет и затем вернулся домой.

ГЛАВА VIII

Похождение, при котором Уайльд, производя раздел добычи, являет удивительный образец величия

В один прекрасный вечер граф с большим успехом подвизался за игорным столом, где среди присутствующих находился и Уайльд, только что вернувшийся из странствий; был среди них и один молодой джентльмен по имени Боб Бэгшот, знакомый мистера Уайльда, о котором наш герой был самого высокого мнения. Поэтому, отведя мистера Бэгшота в сторону, Уайльд ему посоветовал раздобыть (если у него нет при себе) ящик с пистолетами и напасть на графа, когда тот пойдет домой, и пообещал, что сам, при том же оружии, будет держаться поблизости, в качестве corps de reserve[1], и подоспеет в случае нужды. Замысел был соответственно приведен в исполнение, и графу пришлось под напором грубой силы отдать то, что он таким благородным и учтивым способом взял за игрой.

А так как, по мудрому замечанию философов, беда никогда не приходит одна, граф, едва пройдя осмотр со стороны мистера Бэгшота, тут же попал в руки мистера Снэпа, который, вместе с мистером Уайльдом-старшим и еще двумя джентльменами, имея на то, повидимому, законные полномочия, схватил несчастного графа и отвел его обратно в тот самый дом, откуда при содействии доброго друга он в свое время бежал.

Мистер Уайльд и Бэгшот пошли вдвоем в харчевню, где мистер Бэгшот предложил (как, думал он, вполне великодушно) разделить добычу: разложив деньги на две неравные кучки и добавив к меньшей кучке золотую табакерку, он предложил мистеру Уайльду выбрать любую.

Мистер Уайльд, следуя своему превосходному правилу: «сперва закрепи за собой, сколько можешь, а потом дерись за остальное», немедленно отправил в карман ту кучку, в которой было больше наличных денег; затем, повернувшись к своему компаньону и сделав строгое лицо, спросил, уж не намерен ли тот забрать себе все остальное. Мистер Бэгшот ответил с некоторым удивлением, что мистеру Уайльду, полагает он, не на что жаловаться: неужели же это нечестно — во всяком случае со стороны добытчика — удовольствоваться равной долей добычи, когда вся она взята им одним?

— Согласен, взяли ее вы,— ответил Уайльд,— но позвольте, кто предложил ее взять? и кто посоветовал — как? Можете ли вы утверждать, что сделали нечто большее, чем просто выполнили мой план? И разве я не мог бы, когда б захотел, нанять другого исполнителя? Вы же знаете, в зале не было ни одного джентльмена, который отказался бы взять деньги, знай он только, как совершить это, не подвергаясь опасности

[1] Резервного отряда *(франц.)*.

— Что верно то верно,— возразил Бэгшот,— но не я ли привел план в исполнение? И не я ли взял на себя весь риск? Разве не понес бы я один все наказание, если бы меня накрыли, и разве работнику не причитается никакой платы?

— Бесспорно, причитается,— говорит Джонатан,— и я не отказываюсь уплатить вам по найму,— но это все, чего вправе требовать и что получает работник. Помню, когда я учился в школе, мне довелось услышать один стишок, очень поучительный, который произвел на меня большое впечатление: в нем говорилось, что птицы в воздухе и звери в поле трудятся не на себя. Правда, фермер дает корм своим быкам и пастбища овцам, но он это делает ради собственной выгоды, а не для них. Равным образом пахарь, пастух, ткач, и строитель, и солдат работают не на себя, а на других; они довольствуются скудной долей (платой работника) и позволяют нам, *великим,* пользоваться плодами их труда. Аристотель, как говорили нам учителя, ясно доказывает в первой книге своей «Политики», что низкая, подлая, полезная часть человечества — это прирожденные рабы, покорные воле высших и такая же их собственность, как скот. Недаром про нас, про смертных высшего порядка, сказано, что мы рождены только поедать плоды земли; и так же можно было бы сказать о людях низшего разряда, что они рождены только производить для нас эти плоды. Разве не потом и кровью простого солдата выигрывается битва? Но честь и плоды победы не достаются разве генералу, составившему план кампании? Разве строится дом не трудами плотника и каменщика? Но не для выгоды ли архитектора строится он, и поселятся в нем жильцами не те ли, кто не умеет положить как следует кирпич на кирпич? Сукно и шелк вырабатываются со всею тонкостью и расцвечиваются во все цвета радуги не теми ли, кто вынужден сам довольствоваться за свою работу лишь самой грубой и жалкой долей, тогда как выгода и радости от его труда достаются в удел другим? Оглядитесь и посмотрите, кто живет в самых великолепных домах, услаждая свой вкус самыми дорогими лакомствами, а зрение — красивейшими статуями и самыми изящными картинами, кто носит самые изысканные, самые роскошные наряды, и скажите мне: из них изо всех, овладевших этими благами, найдется ли хоть один, кто участвовал бы лично в их производстве или кто обладает для этого хоть малейшим уменьем? Почему же для *маза* должны быть другие правила, чем для всех остальных? Или почему вы, будучи только наемным работником, исполнителем моего плана, вправе рассчитывать на долю в прибыли? Послушайтесь совета: сдайте мне всю добычу и, положившись на мою милость, предоставьте мне вас вознаградить.

Мистер Бэгшот молчал с минуту, точно громом пораженный, потом, оправившись от изумления, начал так:

— Если вы думаете, мистер Уайльд, силою ваших доводов вытянуть деньги из моего кармана, то вы сильно ошиблись. Что мне весь этот вздор? Я, черт возьми, человек чести, и, хоть и не умею говорить так красиво, как вы, вам, ей-богу, не сделать из меня дурака; а если вы считаете меня таковым, то вы, скажу я вам, негодяй!

С этими словами он положил руку на пистолет. Уайльд, видя, к сколь ничтожному успеху привела великая сила его доводов и как горяч нравом его друг, решил повременить со своим намерением и сказал Бэгшоту, что пошутил. Но холодный тон, каким он попробовал затушить пламень противника, подействовал не как вода, а скорее как масло. Бэгшот в ярости вскочил на него.

— Такие шутки я, черт возьми, не терплю! — заявил он.— Я вижу, что вы подлец и негодяй.

Уайльд с философским спокойствием, достойным величайшего восхищения, отвечал:

— Что касается вашей ругани, то меня она не задевает; но чтоб вы убедились, что я вас не боюсь, давайте положим всю добычу на стол, и пусть она вся пойдет победителю!

С этими словами он выдернул сверкающий нож, так ослепивший Бэгшота своим блеском, что тот заговорил совсем по-иному. Да нет, сказал он, с него довольно и того, что он уже получил; и смешно им ссориться между собой: с них предостаточно внешних врагов, против которых нужно объединить свои силы; а если он принял Уайльда не за то, что он есть, то ему-де очень жаль; ну а шутка — что же, шутку он способен понять не хуже всякого другого. Уайльд, обладавший удивительным уменьем разбираться в человеческих страстях и применяться к ним, глубже проник теперь в мысли и чувства своего приятеля и, поняв, какие доводы сильнее всего подействуют на него, громогласно закричал, что тот «вынудил его вытащить нож», и раз уж дошло до ножа, то он его «не вложит в ножны, пока не получит удовлетворения».

— Какого же вы хотите удовлетворения? — спросил тот.

— Ваших денег или вашей крови,— сказал Уайльд.

— Видите ли, мистер Уайльд,— молвил Бэгшот,— если вы хотите приняться немного на моей доли, то, зная вас как человека чести, я готов одолжить вам, сколько надо; потому что, хоть я и не боюсь никого на свете, но, чем порывать мне с другом... когда к тому же вам, быть может, необходимы деньги из-за особых каких-нибудь обстоятельств...

Уайльд, неоднократно заявлявший, что заем представляется ему отнюдь не худшим способом отбирать деньги и является самым, как он выражался, деликатным видом карманничества, спрятал нож и, пожав приятелю руку, сказал ему, что он попал в точку: его в самом деле прижали обстоятельства и понудили пойти против собственной воли, так как завтра он по долгу

чести обязан выплатить значительную сумму. Затем, удовольствовавшись половиной из доли Бэгшота и получив, таким образом, три четверти всей добычи, он распростился со своим сообщником и пошел спать.

ГЛАВА IX

Уайльд навещает мисс Летицию Снэп. Описание этой прелестной молодой особы и безуспешный исход исканий мистера Уайльда

На другое утро, когда герой наш проснулся, ему пришла мысль нанести визит мисс Тиши Снэп, женщине больших заслуг и не меньшей щедрости; мистер Уайльд, однако, полагал, что к подарку она всегда отнесется благосклонно, как к знаку уважения со стороны поклонника, поэтому он пошел прямо в магазин безделушек и, купив там премиленькую табакерку, отправился с нею к своей даме, которую застал в самом прелестном и небрежном утреннем убранстве. Ее чудесные волосы прихотливо свешивались на лоб, не так чтобы белый от пудры, но и не лишенный ее следов; под подбородком был заколот премиленький платочек, который она проносила, повидимому, всего лишь несколько недель; кое-какие остатки того, чем женщины подправляют природу, блестели на ее щеках; тело ее облачено было в свободную одежду, без корсета и шнуровок, так что грудь с нестесняемой свободой играла своими двумя очаровательными полушариями никак не ниже пояса; тонкий покров примятой кисейной косынки почти скрывал их от взора, и только в нескольких местах милостивая дырочка давала возможность проглянуть их наготе. Халат на ней был атласный, белесого цвета, с десятком небольших серебряных крапинок, так искусно разбросанных по ткани на больших расстояниях, что казалось, их рассыпала по ней нечаянно чья-то рука; разлетаясь, он открывал великолепную желтую юбку, красиво отороченную по подолу узкой полоской позолоченного кружева, почти превратившегося в бахрому; из-под юбки выглядывала другая, топорщившаяся на китовых усах, именуемых в просторечии обручами, и свисавшая из-под первой не меньше как на шесть дюймов; а из-под нее выглядывало еще одно исподнее одеяние того цвета, который подразумевает Овидий, говоря:

Qui color albus errat nunc est contrarius albo [1].

Из-под всех этих юбок можно было также разглядеть две славные ножки, обтянутые шелком и украшенные кружевом,

[1] Цвет, который был белым, стал теперь противоположным белому (*лат.*).

причем правая была перевязана роскошной голубою лентой, а левая, как менее достойная, полоской желтой материи — должно быть, лоскутом от верхней юбки. Такова была милая дама, которую дарил своим вниманием мистер Уайльд. Она приняла его поначалу с тою холодностью, которую строго добродетельные женщины с похвальной хоть и мучительной сдержанностью проявляют в отношении своих почитателей. Табакерка, когда он ее извлек, была сперва, вежливо и, правда, мягко, отклонена, но при повторном подношении принята. Гостя пригласили скоро к чайному столу, где между молодою любящей четой произошел разговор, который, если бы точно его воспроизвести, был бы для читателя очень поучителен, равно как и занятен; довольно сказать, что остроумие молодой особы в сочетании с ее красотой так распалило чувства мистера Уайльда — хоть и самого честного свойства, однакоже крайне бурные,— что, увлеченный ими, он позволил себе вольности, слишком оскорбительные для благородного целомудрия Летиции, которая, признаться, сохранением своей добродетели была на этот раз обязана больше собственной силе, чем благоговейному почтению или воздержанию поклонника; он оказался, по правде сказать, так настойчив в своих исканиях, что, если бы много раз клятвенно не обещал ей жениться, мы едва ли вправе были бы назвать его чувства честными; но он был так необычайно привержен приличию, что никогда не применял насилия ни к одной девице без самых серьезных обещаний: обещания жениться, говорил он, дань, подобающая женской скромности, и так мало стоят, так легко произносятся, что уклоняться от уплаты этой дани можно только из пустого каприза или же по грубости. Прелестная Летиция, то ли из благоразумия, то ли, может быть, от набожности, о которой она так любила поговорить, оставалась глуха ко всем его посулам и, к счастью, непобедима и для силы. Хоть она и не была обучена искусству хорошо сжимать кулаки, природа все же не оставила ее беззащитной: на концах своих пальцев она носила оружие, которым пользовалась с такой поразительной ловкостью, что горячая кровь мистера Уайльда вскоре проступила мелкими крапинками на его лице, а его распухшие щеки стали похожи на ту часть тела, которую скромность не позволяет мальчикам обнажать нигде, кроме как в школе, после того как тяжелый на руку педагог поупражнял на ней свои таланты. Уайльд отступил с поля битвы, а победительница Летиция с законным торжеством и благородным воодушевлением прокричала:

— Бесстыжие твои глаза! Если ты эдак показываешь свою любовь, я, будь покоен, так тебе наддаю, что только держись!

Затем она перешла на разговор о своей добродетели, вместе с которой Уайльд предложил ей идти к черту, и на этом нежная чета расталась.

ГЛАВА X

Раскрытие некоторых обстоятельств касательно целомудренной Летиции, которые сильно удивят, а возможно, и смутят нашего читателя

Едва мистер Уайльд удалился, как прекрасная победительница открыла дверцу чулана и выпустила на волю молодого джентльмена, которого она там заперла при приближении другого. Звали этого рыцаря Том Смэрк *. Он служил писарем у одного стряпчего и был поистине первым франтом и первым любимцем дам в том конце города, где он жил. Так как мы признаем одежду самым характерным или самым важным отличием франта, мы не станем давать характеристики этого молодого джентльмена, а только опишем нашим читателям его костюм. Итак, на ногах у него были белые чулки и легкие башмаки; пряжки на этих башмаках представляли собой кусок посеребренной латуни, закрывавший почти всю стопу. Штаны на нем были из красного плюша и едва достигали колен; жилет — из белого канифаса, богато расшитого желтым шелком, а поверх него синего плюша кафтан с металлическими пуговицами, рукавами необыкновенного покроя и воротником, спускавшимся до середины спины. Парик был у него коричневого цвета и покрывал почти половину головы, на которой висела с одного бока маленькая треуголка с галуном, очень изящно изогнутая. Таков был в своем совершенстве Смэрк, который, как только вышел из чулана, был с открытыми объятиями принят прелестной Летицией. Она обратилась к нему, назвав нежным именем, и сказала, что выпроводила противного человека, которого ее отец прочит ей в мужья, и теперь ничто не помешает ее счастью с «дорогим Томми».

Здесь, читатель, ты нас должен извинить, если мы на минуту остановимся, чтобы посетовать на своенравие природы, проявленное при создании очаровательной половины творения, предназначенной дополнить счастье мужчины — своею нежной невинностью смягчить его жестокость, своей веселостью скрасить для него заботы и неизменной дружбой облегчить ему возможные тревоги и разочарования. И вот, зная, что именно эти блага главным образом ищет и обычно находит в жене мужчина, как должны мы жаловаться на странную особенность милых созданий, склоняющую их дарить своими милостями тех представителей другого пола, которые отнюдь не отмечены природой как венец ее мастерства! Ибо, сколь бы ни были полезны в мироздании франты (нас учат, что блоха и та не создана зря), бесспорно все они, включая даже наиболее блистательный и уважаемый отряд их — тех, кого на нашем острове природа для отличья облачила в красное *,— отнюдь не являются, как полагают иные, самым благородным произведением творца. Я со своей стороны — пусть кто другой изберет себе

для образца двух франтов, пусть хоть капитанов или полковников, одетых так изящно, как никто и никогда,— я осмелюсь противопоставить одного сэра Исаака Ньютона, одного Шекспира, одного Мильтона * — или, может быть, еще кого-нибудь — обоим этим франтам; и я сильно подозреваю, что если бы ни единый франт не родился на свет, то мир в целом пострадал бы от этого меньше, чем лишившись тех великих благ, какими его одарила деятельность любой из этих личностей.

Если это верно, то как печально сознавать, что один какой-нибудь франт, особенно если есть у него на шляпе хоть полъярда ленты *, больше потянет на весах женской нежности, чем двадцать сэров Исааков Ньютонов! Как должен наш читатель, быть может благопристойно объяснивший тот отпор, который целомудренная Летиция оказала бурным исканиям расшиленного Уайльда, неприступной добродетелью этой дамы,— как он должен, говорю я, залиться краской, увидев, что она отбрасывает всю строгость своего поведения и предается вольностям со Смэрком! Но увы! Когда мы все раскроем, как требует того правдивость нашей повести, когда мы расскажем, что они отринули стеснение и что прекрасная Летиция (здесь, в единственном этом случае, мы должны пойти по стопам Вергилия, опустившего кое-где *pius* и *pater* *, и опустить наш излюбленный эпитет «целомудренная»),— что прекрасная, говорю я, Летиция дала Смэрку то счастье, которого добивался Уайльд,— какое смущение должно будет тогда охватить читателя! Поэтому, следуя свойственному нам уважению к женщине, мы опустим занавес над этой сценой и перейдем к делам, которые не только не бесчестят род человеческий, но придают ему величие и благородство.

ГЛАВА XI,

содержащая замечательный образец величия, не уступающий тем, какие дает нам древняя и новая история. Заканчивается некоторыми здравыми указаниями веселым людям

Едва расставшись с целомудренной Летицией, Уайльд вспомнил, что друг его граф Ла Рюз снова водворен в прежнюю свою квартиру в этом доме, и решил его навестить; он не принадлежал к тем полувоспитанным людям, которые, ограбив или предав друзей, стыдятся с ними встретиться; обладая низменной и жалкой натурой, эти люди способны на чудовищные жестокости и в своей стыдливости доходят порой до того, что убивают или вконец разоряют своего друга, когда совесть им подсказывает, что они виновны перед ним в небольшом проступке — в совращении жены или дочери друга, в клевете на него самого, в предательстве или ином подобном пустяке. В нашем герое не было ничего, что чуждо подлинному величию: он

мог без тени замешательства распить бутылку с человеком, которому только что залез в карман и который это знает; а обобрав его дочиста, никогда не стремился и дальше чинить ему зло, ибо его доброта достигала той удивительной и необычайной высоты, что он никогда не наносил обиды человеку, если не рассчитывал получить от этого какую-либо пользу для себя. Он говаривал не раз, что, действуя обратным образом, человек часто вступает в скверную сделку с чертом и работает даром.

Наш герой застал узника не сетующим жалко на судьбу и не предающимся отчаянию — о нет, разумно покорившись своей участи, граф занимался делом: подготовлял карточные колоды для своих будущих подвигов. Нимало не подозревая, что Уайльд был единственным виновником постигшей его беды, он встал и радостно обнял его, а Уайльд отвечал на объятия с равной теплотой. Потом, как только они оба сели, Уайльд, заметив лежавшие на столе колоды, воспользовался случаем обрушиться на карточную игру. С обычной своей достохвальной непринужденностью он сперва преувеличенно расписал печальное положение, в каком очутился граф, а затем обвинил во всех его несчастьях этот проклятый зуд к игре, который один, сказал он, навлек, очевидно, на графа этот арест и в дальнейшем неизбежно погубит его. Тот с большим жаром защищал свою любимую забаву (или скорее профессию) и, рассказав Уайльду, каких он достиг успехов после его злополучного отъезда, поведал о приключившемся с ним несчастье, о котором тому как и читателю, было уже кое-что известно; он добавил только одно обстоятельство, прежде не упоминавшееся, а именно: что он защищал свои деньги с чрезвычайной храбростью и опасно ранил двоих или даже троих из напавших на него грабителей. Уайльд, отлично зная, с какой готовностью отдана была добыча и как всегда прохладна отвага графа, похвалил такой образ действий и выразил сожаление, что не присутствовал при грабеже и не мог помочь другу. Граф отвел душу в жалобах на то, как беспечна стража и какой это позор для властей, что честный человек не может безопасно ходить по улицам; затем, отдав этой проблеме достаточную дань, он спросил мистера Уайльда, видел ли он когда-нибудь такое неимоверное везение (так ему угодно было назвать свой выигрыш, хотя для Уайльда, как он знал, не было секретом, что он держит в кармане подправленные кости). Уайльд отвечал, что это везение поистине неимоверно — почти настолько, что человек, недостаточно знающий графа, вправе был бы заподозрить его в нечестной игре.

— Об этом,— возразил граф,— никто, я полагаю, не посмел бы и заикнуться.

— О, конечно,— сказал Уайльд,— вас слишком хорошо знают как человека чести. Но простите, сэр,— продолжал он,— негодяи отобрали у вас все?

До последнего шиллинга! — вскричал тот и крепко выругался.— На одну бы ставку — нет, и того не оставили!

Пока они так беседовали, мистер Снэп вместе с сопровождавшим его джентльменом представили почтенному обществу мистера Бэгшота. Повидимому, мистер Бэгшот, расставшись с мистером Уайльдом, тотчас же вернулся к игорному столу. Но когда он доверил Фортуне добытое трудом сокровище, коварная богиня предательски обманула его и выпустила из-за стола с такими пустыми карманами, какие только можно найти в расшитом кафтане у нас в королевстве. И вот когда наш джентльмен шел в один небезызвестный дом, или сарай, на Ковент-Гарденском рынке, ему посчастливилось встретиться с мистером Снэпом, который успел отвести графа в свое жилище и теперь прохаживался перед дверьми игорного дома; ибо, если вы, мой любезный читатель, не принадлежите к городским повесам, то надо вам объяснить: подобно тому как прожорливая щука залегает в камышах перед устьем какой-нибудь речушки, впадающей в большую реку, и подкарауливает малую плотицу, которую несет поток,— так часами перед дверью или устьем этих игорных домов мистер Снэп, или другой джентльмен его профессии, поджидает появления какой-нибудь мелкой рыбешки из молодых джентльменов, которому он вручает клочок пергамента, содержащий приглашение оного джентльмена к ним в дом вместе с неким Имярек [1],— личностью, без которой никак не обойтись. Среди прочих таких пригласительных билетов у мистера Снэпа был случайно один на имя мистера Бэгшота — иск или ходатайство некоей миссис Энн Сэмпл, девицы, у которой оный Бэгшот прожил на квартире несколько месяцев и затем без предупреждения съехал, не попрощавшись по всей форме, в связи с чем миссис Энн и решила договориться с ним таким путем.

Мистеру Снэпу, поскольку дом его был полон хорошего общества, пришлось провести мистера Бэгшота в комнату графа — единственную, по его словам, где он мог «замкнуть» человека. Едва увидев Бэгшота, мистер Уайльд кинулся обнимать друга и тотчас представил его графу, который раскланялся с ним очень учтиво.

ГЛАВА XII

Новые подробности насчет мисс Тинни, которые после нижеследующего едва ли сильно удивят читателя. Описание очень плачущего джентльмена. И диалог между Уайльдом и графом со ссылками на добродетель и т. д., и т. д.

Едва мистер Снэп повернул ключ в замке, как служанка Снэпов вызвала мистера Бэгшота из комнаты и сказала, что его ждет внизу одна особа, которой желательно с ним погово-

[1] Вымышленное имя, вставляемое в каждый документ; в каких целях — это знают лучше юристы. *(Прим. автора.)*

рить; особа эта оказалась не кем другим, как мисс Летицией Снэп, в чьих поклонниках мистер Бэгшот издавна состоял и в чьей нежной груди его страсть пробудила более пламенный отклик, чем искания всех его соперников. В самом деле, она не раз открывалась наперсницам в любви к этому юноше и даже говорила, что если бы могла помыслить о жизни с каким-нибудь одним мужчиной, то этим одним был бы мистер Бэгшот. И она была не одинока в своей склонности,— многие другие молодые дамы соперничали с нею из-за этого любовника, обладавшего всеми высокими и благородными достоинствами, которые необходимы истинному кавалеру и которые природа, расщедрившись, не часто дарит одному лицу. Постараемся, однако, описать их со всею возможной точностью. Ростом он был шести футов, отличался толстыми икрами, широкими плечами, румяным лицом при каштановых вьющихся волосах, скромной уверенностью осанки и чистым бельем. Правда, нельзя не признать, что в противовес этим героическим достоинствам у него были и некоторые маленькие недостатки: он был самым тупым человеком на свете, не умел ни писать, ни читать, и во всем его существе не было ни крупицы, ни проблеска чести, честности или доброты.

Как только мистер Бэгшот вышел из комнаты, граф взял Уайльда за руку и сказал, что должен сообщить ему нечто очень важное.

— Я твердо уверен,— промолвил он,— что этот Бэгшот — то самое лицо, которое меня ограбило.

Уайльд вскочил, изумленный этим открытием, и ответил с самым серьезным видом:

— Советую вам поосторожней бросать подобные замечания о человеке столь высокой чести, как Бэгшот; я уверен, что он этого не потерпит.

— Чёрта мне в его чести! — проговорил взбешенный граф.— Я терпеть не могу, когда меня грабят; я подам в суд.

В высоком негодовании Уайльд объявил:

— Раз вы позволяете себе выдвигать такое подозрение против моего друга, я порываю с вами всякое знакомство. Мистер Бэгшот — человек чести и мой друг, а следовательно, не может быть повинен в дурном поступке.

Он еще многое говорил на ту же тему, что, однако, не произвело на графа ожидаемого действия: он попрежнему оставался уверен в своей догадке и тверд в решимости обратиться в суд, почитая это своим долгом, сказал он, как перед самим собой, так и перед обществом. Тогда Уайльд сменил гневный вид на нечто вроде усмешки и заговорил следующим образом:

— Предположим, мистер Бэгшот в самом деле шутки ради (иначе я выразиться не могу) прибег к такому способу займа,— чего вы добьетесь, отдав его под суд? Только не возврата своих денег, так как вы уже слышали, что его обобрали

за игорным столом (о чем Бэгшот успел им сообщить в их недолгом собеседовании); значит, это вам даст возможность еще крепче сесть на мель, поскольку вам придется оплатить вдобавок судебные издержки. Вторая выгода, какой вы можете ждать для себя, это взбучка в каждом игорном доме Лондона, таковую я вам гарантирую; и после этого большую пользу вы получите, конечно, если будете сидеть и думать с удовлетворением, что исполнили свой общественный долг! Я стыжусь своей опрометчивости: как я мог принимать вас за великого человека! Не лучше ли будет для вас частично (а то и сполна) получить назад ваши деньги, разумно умолчав обо всем? Ибо, как ни порджен[1] сейчас мистер Бэгшот, если он в самом деле разыграл с вами эту шутку, то, будьте уверены, он сыграет ее и с другими; а когда он будет при деньгах, вы можете твердо рассчитывать на возмещение; преследование законом от вас никуда не уйдет, но к этому средству порядочный и умный человек прибегает в последнюю очередь. Предоставьте же все дело мне; я расспрошу Бэгшота, и, если увижу, что эту шутку сыграл с вами он, моя собственная честь вам порукой, в убытке вы не останетесь.

Граф ответил:

Если я могу быть уверен, что не останусь в убытке, мистер Уайльд, то вы, надеюсь, не столь уж дурного мнения обо мне и не вообразите, что я стану преследовать джентльмена только ради общественных интересов. Это, безусловно, лишь пустые слова, произносимые нами по дурацкой привычке, и мы часто роняем их непреднамеренно и неосознанно. Уверяю вас, я хочу только одного — вернуть свои деньги; и если при вашем посредстве я могу этого достичь, то общество может...

Он заключил фразу выражением слишком грубым, чтобы привести его в такого рода хронике.

Тут их известили, что обед готов, и вся компания собралась вниз в столовой, куда читатель, если ему угодно, может последовать за нашими джентльменами.

За столом сидели мистер Снэп и две девицы Снэп, его дочери, мистер Уайльд-старший, мистер Уайльд-младший, граф, мистер Бэгшот и один степенный джентльмен, раньше имевший честь служить в пехотном полку, а теперь занятый делом, быть может еще более полезным: он помогал, или, как говорится, «сопутствовал», мистеру Снэпу при вершении законов страны.

За обедом не произошло ничего особо примечательного. Разговор (как принято в учтивом обществе) шел главным образом о том, что они кушали сейчас и что им доводилось кушать в последнее время. При этом джентльмен из военных, служивший когда-то в Ирландии, дал им весьма обстоятельный отчет о новом способе жарить картошку, а прочие собеседники —

[1] Беден. *(Прим. автора.)*

о других блюдах. Словом, беспристрастный наблюдатель заключил бы из их разговора, что все они рождены на свет для одного лишь назначения — набивать себе животы; и в самом деле, это было если не главной, то самой невинной целью, какую могла преследовать природа при их сотворении.

Как только убрали со стола и дамы удалились, граф предложил перекинуться в кости; и когда вся компания согласилась и кости тут же принесли, граф взял ящик и спросил, кто пойдет против него. Но никто не откликнулся, так как все, наверно, полагали, что у графа в карманах более пусто, чем было на деле, ибо этот джентльмен (вопреки тому, в чем он с таким жаром поклялся мистеру Уайльду) со времени своего прибытия к мистеру Снэпу отправил в заклад кое-какое серебро и теперь имел в наличии десять гиней. Поэтому граф, видя замешательство своих друзей и, вероятно, догадываясь о его причине, вынул из кармана эти гинеи и бросил их на стол; тогда — увы! (такова сила примера) — все остальные стали извлекать свои капиталы, и тут, когда перед взорами забрезжила значительная сумма, игра началась.

ГЛАВА XIII

Глава, которой мы чрезвычайно гордимся, видя в ней поистине наш шедевр. Она содержит в себе чудесную историю о дьяволе и неподражаемо изящную сцену, в которой торжествует честь

Читатель, будь он даже игрок, не поблагодарил бы меня за точный отчет об успехах каждого из наших героев; достаточно будет сказать, что игра шла до тех пор, пока все деньги не исчезли со стола. Унес ли их сам дьявол, как заподозрили некоторые, я не берусь определить; но было крайне удивительно, что, по заявлению каждого, они все проиграли, и никто не мог понять, кто же выиграл, если не *дьявол*.

Однако, хотя вполне возможно, что исконный враг рода человеческого получил некоторую долю добычи, едва ли ему досталось все,— поскольку в значительном выигрыше был, как полагают, мистер Бэгшот, несмотря на его уверения в противном, ибо несколько лиц видели, что он частенько опускал деньги в карман; эту догадку подтверждает так же и то обстоятельство, что степенный джентльмен — тот самый, что служил отечеству на двух почетных поприщах,— в тот день, не желая полагаться на одно лишь свидетельство своих глаз, неоднократно запускал руку в карман вышеназванного Бэгшота, откуда (как он на то намекает в опубликованной им впослед-

своей апологии[1] своей жизни *) он, может быть, и вытянул несколько монеток, но все же, по его уверению, там оставалось еще немало. В пылу игры Бэгшот долго не замечал, как сей джентльмен удовлетворял таким путем свое любопытство, и только собравшись уже уходить, открыл это тонкое упражнение в ловкости; тут он в бешенстве вскочил со стула и закричал:

Я думал, что нахожусь среди джентльменов и людей чести, но, черт меня возьми, в нашу компанию, я вижу, затесался карманник!

Оскорбительный звук этого слова не на шутку взволновал всех присутствующих, и все они выказали не меньше удивления, чем выразила бы Конв...ция * (к прискорбию, уже не заседающая в наши дни), услышав, что в зале находится атеист; но особенно задело оно джентльмена, в которого метило, хотя и не было прямо к нему адресовано. Он тоже вскочил со стула и с яростью в лице и в голосе спросил:

Вы имеете в виду меня? Провалитесь вы к черту, подлец вы и мерзавец!

За этими словами тотчас пошли бы в ход кулаки, если бы не вмешались присутствующие и силой не развели противников. Прошло, однако, много времени, пока их убедили снова сесть; когда же, наконец, это было благополучно достигнуто, мистер Уайльд-старший, добродушный пожилой человек, посоветовал им пожать друг другу руки и быть друзьями; но джентльмен, получивший оскорбление первым, наотрез отказался и поклялся, что «негодяй заплатит ему кровью». Мистер Снэп горячо одобрил его решение, утверждая, что эта обида отнюдь не такая, чтобы человек, называющий себя джентльменом, мог с ней примириться, и если его друг не намерен должным образом взыскать за нее, то он, Снэп, не произведет больше ни одного ареста в компании с ним; что он всегда смотрел на него как на человека чести и не сомневается, что таковым он и покажет себя; и что, случись такое с ним самим, его ничто не убедило бы спустить обиду без надлежащего удовлетворения. Граф высказался в том же смысле, и сами противники пробормотали несколько выразительных слов о своих намерениях. Наконец, мистер Уайльд, наш герой, медленно поднявшись со стула и сосредоточив на себе внимание всех присутствующих, заговорил так:

— Я с бесконечным удовольствием выслушал все, что два джентльмена, говорившие последними, высказали о чести. Никто, конечно, не может придавать этому слову более высокий

[1] Он издал ее не самостоятельной книгой, в подражание некоторым подобным лицам, а в виде судебных отчетов, показаний и т. д., куда следовало бы включить все апологии жизней плутов и шлюх, опубликованные за последние двадцать лет. (*Прим. автора.*)

и благородный смысл или больше ценить его неоценимое значение, чем я сам. И если нет у нас наименования для этого понятия в нашем особом словаре, то выразим пожелание, чтобы оно появилось. Честь поистине составляет существенное качество джентльмена,— качество, которым ни один человек, показавший себя великим на поле битвы или (как выражаются иные) на большой дороге, не может не обладать. Но, увы, господа, разве это не прискорбно, если слово, означающее столь высокий и доблестный образ действий, применяется настолько неопределенно и по-разному, что едва ли два человека понимают под ним одно и то же? Не разумеют ли иные под честью доброту и гуманность, которую слабые духом зовут добродетелью? Так что же получается? Неужели мы должны отказать в ней великим, храбрым, благородным — разорителям городов, грабителям провинций, завоевателям царств? Разве не были они людьми чести? А между тем они презирали перечисленные мною жалкие качества. Далее — многие (если я не ошибаюсь) в свое понятие о чести включают и честность. И что же — в таком случае тот, кто удерживает у другого имущество, признаваемое по закону или, скажем, по суду собственностью этого другого, или кто благородно и смело отбирает у него эту собственность,— что же, он не человек чести? Упаси меня бог сказать такую вещь в нашем или в каком-нибудь другом порядочном обществе! Разве честь — это правда? Нет: не ложь, исходящая от нас, а ложь, обращенная к нам, оскорбляет нашу честь! Может быть, тогда она состоит в том, что толпа называет главными добродетелями? Предположить это — значило бы оскорбить вас подозрением в неразумии, ибо мы видим каждый день очень много людей чести, у которых нет никаких добродетелей. В чем же тогда сущность слова «честь»? В нем самом — и только! Человек чести — это тот, кого называют человеком чести; пока его так называют, он таковым и является,— но не долее того. Подумайте, ведь ничто совершаемое человеком не может ущемить его честь. Посмотрите вокруг, что делается в мире: *маз,* пока процветает,— человек чести; когда он в тюрьме, на суде, в петле — тогда, простите, нет. Откуда же такое различие? От его действий оно не зависит: зачастую они были так же широко известны в пору его процветания, как и после. Зависит оно только от того, что люди — то есть члены его партии или шайки — в одном положении называют его человеком чести, а в другом перестают его так называть. Теперь посмотрим: чем же мистер Бэгшот задел честь джентльмена? Он назвал его карманником, и это, если прибегнуть к косвенным и очень сложно построенным рассуждениям, пожалуй может показаться несколько обидным для его чести в самом тонком смысле этого слова. Итак, условно допуская, что чести джентльмена был нанесен некоторый урон, предложим мистеру Бэгшоту дать ему удовлетворение: пусть он вдвойне и втройне

оплатит эту косвенную обиду, заявив прямо, что считает джентльмена человеком чести.

Джентльмен сказал, что он согласен передать свое дело на суд мистера Уайльда и примет любое удовлетворение, какое тот признает достаточным.

— Пусть он сперва вернет мне мои деньги,— сказал Бэгшот,— и тогда я от всей души назову его человеком чести.

Джентльмен тогда возразил, что чужих денег у него нет, и это подтвердил Снэп, заявив, что все время не спускал с него глаз. Но Бэгшот стоял на своем, пока Уайльд в самых крепких выражениях не поклялся, что джентльмен не взял ни единого фартинга, и добавил, что всякий, кто станет утверждать обратное, тем самым обвинит его, Уайльда, во лжи, а он этого не спустит. И вот, столь сильно было влияние этого великого человека, что Бэгшот тотчас смирился и совершил требуемую церемонию. Так благодаря тонкому посредничеству нашего героя благополучно разрешилась эта ссора, которая грозила принять роковой оборот и между двумя такими лицами, крайне ревниво относившимися к своей чести, несомненно привела бы к ужасным последствиям.

В сущности мистер Уайльд был несколько заинтересован в деле, так как сам задал джентльмену эту работу и получил львиную долю добычи; что же касается показаний в его пользу мистера Снэпа, они явились обычным проявлением дружбы, которая в своем пламенном горении часто доходила у этого достойного человека до подобных высот. Его неизменным правилом было, что ему, маленькому человечку, не зазорно ради друга пойти на небольшую *передержку* [1].

ГЛАВА XIV,

в которой история величия идет дальше

Когда ссора таким образом улеглась, а игра по указанным выше причинам кончилась, компания снова вернулась к самой веселой и дружественной попойке. Пили за здоровье, пожимали друг другу руки и признавались в самой полной любви. Всему этому ничуть не служили помехой кое-какие замыслы, которые каждый обмозговывал тайком и намеревался исполнить, как только крепкие напитки кое-кому затуманят голову. Бэгшот и джентльмен собирались обокрасть друг друга; мистер Снэп и мистер Уайльд старший раздумывали, каких бы еще выискать должников, чтобы с помощью джентльмена отдать их под

[1] «Передержка означает на жаргоне — лжесвидетельство. *(Прим. автора.)*

стражу; граф надеялся возобновить игру; а Уайльд, наш герой, замышлял убрать Бэгшота с дороги или, как выражается чернь, при первой же возможности отправить на виселицу. Но ни один из этих великих замыслов нельзя было сейчас же осуществить, ибо мистера Снэпа вскоре вызвали по срочному делу, потребовавшему также помощи мистера Уайльда-старшего и его другого приятеля; а так как мистер Снэп не питал излишнего доверия к графским пяткам, с проворством которых он уже однажды познакомился, он объявил, что пора «повесить замок». Здесь, читатель, если ты не возражаешь, мы, поскольку нам не к спеху, остановимся и проведем образное сравнение. Как после охоты осторожный егерь загоняет своих быстроногих гончих и они, свесив уши и хвост, угрюмо плетутся к себе в конуру, он же, пощелкивая арапником, не считаясь с их собачьим упорством, следует за ними по пятам и, убедившись, что все они в целости и на месте, поворачивает ключ в замке, а потом удаляется туда, куда его зовет какое-нибудь дело или потеха,— так, заплетающимся шагом, с пасмурными лицами, поднимались граф и Бэгшот в свою комнату, или скорей конуру, куда сопровождали их Снэп и его приспешники и где Снэп, убедившись, что они на месте, с удовлетворением запер за ними дверь, а затем удалился. Теперь, читатель, мы, подражая достохвальному светскому обычаю, оставим наших друзей заниматься, кто чем может, и проследим благоприятные судьбы Уайльда, нашего героя, который в крайней своей нелюбви к довольству и успокоению — неотъемлемое свойство великих душ — стал в благоденствии расширять свои планы. Это чудесное неуемное беспокойство, эта благородная жадность, возрастающая по мере утоления, есть первый принцип, или основное качество, наших великих людей, с которыми на их пути к величию случается то же, что с путешественником при переходе через Альпы или — если наша метафора кажется слишком далекой — при перевале с востока на запад через холмы близ Бата, где собственно и возникла у нас эта метафора. Он не видит сразу конечной цели своего путешествия; но, переходя от замысла к замыслу и от холма к холму и с благородным постоянством решив, как ни грязна дорога, по которой предстоит ему пробираться, все-таки достичь намеченной взором вершины, он в конце концов приходит... в какую-нибудь скверную харчевню, где не получит ни какого бы то ни было развлечения, ни удобств для ночлега. Мне думается, читатель, если ты когда-нибудь ездил этими местами, то одна половина моей метафоры тебе достаточно ясна (да и вообще во всех таких сопоставлениях одна половина бывает обычно гораздо яснее другой); но поверь, если вторая кажется тебе не совсем вразумительной, то по той лишь причине, что ты не знаком с великими людьми и, не имея достаточного руководства, досуга или случая, никогда не задумывался о том, что происходит с теми, кто преследует

цель достичь так называемого *величия.* Если бы ты учел не только большие опасности, которым повседневно подвергается на своем пути великий человек, но разглядел бы, как под микроскопом (для невооруженного глаза они невидимы), те крошечные крупицы счастья, которые достаются ему даже при свершении всех желаний, ты вместе со мною посетовал бы на несчастную судьбу этих великих людей, которых природа отметила таким превосходством, что остальное человечество рождается только им на пользу и выгоду; и вместе со мною ты мог бы тогда воскликнуть: «Как жаль, что те, на радость кому и на корысть все человечество трудится в поте лица, ради кого людей и рубят и крошат, разоряют и грабят и всячески уничтожают,— как жаль, что они пожинают такую ничтожную выгоду от всех бед, причиняемых ими другим!» Что до меня, то сам я, признаться, причисляю себя к той смиренной части смертных, которые считают, что рождены на благо тому или другому великому человеку; и если бы я видел, что он черпает счастье из труда и разорения тысячи жалких тварей, вроде меня, то я бы с удовлетворением мог воскликнуть: «Sic, sic juvat!»[1] Но когда я вижу, как один великий человек умирает с голоду и дрогнет от холода среди сотни тысяч, страдающих от тех же бед ему в утеху; когда я наблюдаю, как другой превращает свою душу в презренную рабу собственного величия и она терпит худшие пытки и терзания, чем души всех его верноподданных; наконец, когда я подумаю, как искореняются целые народы для того лишь, чтобы пролил слезы один *великий человек,*— но не о том, что им истреблено так много, а о том, что больше нет народов, которые он мог бы истреблять,— тогда воистину я готов пожелать, чтобы природа избавила нас от этого своего венчающего творения и чтобы ни один *великий человек* никогда не рождался на свет.

Но вернемся к нашей повести, которая заключает в себе, мы надеемся, куда лучшие уроки и притом более назидательные, чем все наши проповеди. Удалившись в свой ночной погребок, Уайльд предался размышлениям о сладостях, доставленных ему в этот день чужими трудами, а именно: во-первых, мистером Бэгшотом, который ему на пользу обокрал графа, а во-вторых, джентльменом, который ради той же доброй цели залез в карман к Бэгшоту. Рассуждал он сам с собой следующим образом:

«Искусство политики есть искусство умножения, причем степень величия обусловливается двумя словами — «больше» и «меньше». Человечество следует рассматривать, разделив его сперва на два основных класса — тех, кто трудится своими руками, и тех, кто использует чужие руки. Первые — низкая чернь; вторые — благородная часть творения. Поэтому в

[1] Пусть ликует! *(лат.)*

купеческом мире вошло в обиход мудрое выражение «нанимать руки»; и там справедливо отдают предпочтение одному перед другим, в зависимости от того, кто больше нанимает рук и кто меньше; таким образом, один купец говорит, что он выше другого, потому что у него больше наемных рук. В самом деле, купец мог бы в какой-то мере притязать на величие, если бы здесь мы не подошли неизбежно к следующему разделению, а именно: на тех, кто использует чужие руки для служения обществу, в котором живет, и на тех, кто ими пользуется только для собственной выгоды, не думая о благе общества. К первому разряду относятся йомен, фабрикант, купец и, пожалуй, дворянин: первый обрабатывает и удобряет почву родной страны и нанимает руки, чтобы взращивать плоды земные; второй перерабатывает их, равным образом нанимая для этого руки, и производит те полезные товары, которые служат как для создания жизненных удобств, так и для удовлетворения необходимых нужд; третий нанимает руки для вывоза избытков наших товаров и обмена их на избыточные товары других народов,— так что каждая из стран, при всем различии почв и климатов, может наслаждаться плодами всей земли. Дворянин, нанимая руки, также способствует украшению своей страны — помогая развитию искусств и наук, составляя или приводя в исполнение хорошие и благотворные законы отправления правосудия и охраны собственности и разными другими путями служа пользе общества. Перейдем теперь ко второму разряду, то есть к тем, кто нанимает руки только на пользу самим себе: это та великая и благородная часть человечества, в которой обычно различают *завоевателей, абсолютных монархов, государственных деятелей и мазов* [1]. Между собой они разнятся только степенью величия: у одних больше занято рук, у других — меньше. И Александр Македонский был более велик, чем вожак какой-нибудь татарской или арабской орды только постольку, поскольку он стоял во главе большей массы людей. Чем же тогда *маз*-одиночка ниже всякого другого великого человека, если не только тем, что он использует лишь свои собственные руки? Его нельзя на этом основании ставить на один уровень с подлой чернью, ибо все же свои руки он использует только для собственной выгоды. Предположим теперь, что у *маза* столько же пособников и исполнителей, сколько когда-либо имелось у любого премьер-министра,— разве не будет он так же велик, как любой премьер-министр? Несомненно, будет. Что же должен я сделать в своем стремлении к величию, если не собрать шайку и стать самому тем центром, куда идет вся польза от этой шайки? Шайка будет грабить только для меня, получая за свою работу очень скромное вознаграждение. В этой шайке я буду отмечать своей милостью самых храбрых и самых пре-

---

[1] Воров. *(Прим. автора.)*

ступных (как выражается чернь), остальных время от времени, когда представится случай, я буду по-своему желанию отправлять на виселицу и на каторгу и, таким образом (в чем заключается, по-моему, высшее превосходство *маза*), обращать законы, созданные для блага и защиты общества, к моей личной выгоде».

Наметив таким образом план своих действий, Уайльд увидел, что для его немедленного осуществления не хватает только одного: того, с чего начинаются и чем кончаются все человеческие намерения,— то есть денег. Сего «продукта» у него было не более шестидесяти пяти гиней — все, что осталось от двойной прибыли, полученной им от Бэгшота. Этого, казалось ему, не хватит, чтобы обставить дом и обеспечить все прочие условия, необходимые для такого величественного предприятия; поэтому Уайльд решил тотчас отправиться в игорный дом, где все уже собрались. Но он имел в виду не столько довериться Фортуне, сколько поставить на более верную карту, ограбив выигравшего игрока, когда тот пойдет домой. Однако, придя на место, он подумал, что можно все же попытать счастья и перекинуться в кости, а тот, другой способ оставить про запас, как последнее средство. И вот он сел играть. А так как не замечалось, чтобы Фортуна более других особ ее пола склонна была раздавать свои милости в строгом соответствии с нравственными качествами, то наш герой потерял все до последнего фартинга. Однако свою потерю он перенес с большою стойкостью духа и со спокойным лицом. Сказать по правде, он считал, что эти деньги он как бы отдал взаймы на короткий срок или даже положил в банк. Он решил тогда прибегнуть немедленно к более верному средству и, окинув взглядом зал, приметил вскоре человека, сидевшего с безнадежным видом и показавшегося ему подходящим посредником или орудием для его цели. Коротко говоря,— дабы возможно более сжато изложить наименее блистательную часть нашей повести,— Уайльд заговорил с этим человеком, прозондировал его, признал пригодным исполнителем, сделал свое предложение, получил быстрое согласие,— и вот, остановив выбор на игроке, казавшемся в тот вечер первым любимцем Фортуны, они заняли вдвоем самую удобную позицию, чтобы захватить противника врасплох при его возвращении на свою квартиру, и вскоре он там был атакован, приведен в покорность и ограблен. Но добыча оказалась незначительной: джентльмен играл, повидимому, от некой компании, сдавая свои выигрыши на месте действия, и, когда на него напали, у него было в кармане всего лишь два шиллинга.

Это было таким жестоким разочарованием для Уайльда и так ощутительно затрагивает нас самих,— как затронет, несомненно, и читателя,— что, чувствуя и его и наше собственное бессилие идти незамедлительно дальше, мы сделаем здесь небольшую передышку и, значит, закончим первую книгу.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Глупцы, их душевный склад и надлежащее использование, для которого они рождены на свет

Одна из причин, почему мы почли нужным закончить вместе с последней главой нашу первую книгу, состоит в том, что теперь мы должны ввести два действующих лица совсем другого толка, чем все те, с кем мы имели дело до сих пор. Эти личности принадлежат к жалкой породе смертных, именуемых в насмешку «добрыми». На деле же они посланы природой в мир в тех же видах, в каких человек напускает мелкую рыбешку в щучий пруд: чтобы их проглотила прожорливая героиня вод.

Но поведем дальше наш рассказ. Уайльд, разделив добычу точно так же, как и в прошлый раз, то есть забрав из нее три четверти, что составило восемнадцать пенсов, в не слишком счастливом настроении духа шел домой поспать, когда встретил случайно одного молодого человека, с которым когда-то учился вместе в школе и даже дружил. Принято думать, что дружбу обычно порождает сходство поведения, но с этими юношами случай был обратный: в то время как Уайльд был жаден и бесстрашен, тот всегда берег больше свою шкуру, чем деньги; поэтому Уайльд, снисходя к его недостаткам, великодушно жалел товарища и не раз выручал из беды (в которую по большей части сам же, бывало, и втравит его), принимая на себя вину и розги. Правда, в таких случаях он неизменно получал хорошую плату. Но есть люди, которые, выгадав на сделке, умеют так повернуть дело, точно этим оказали другой стороне одолжение; так получалось и здесь: бедный юноша всегда считал себя в большом долгу перед мистером Уайльдом и проникся к нему глубоким уважением и дружбой,— чувствами, которые за долгие годы, прожитые врозь, нисколько не стерлись в его душе. Узнав Уайльда, он подошел к нему, заговорил самым

дружеским образом и, так как было уже около девяти часов утра, пригласил зайти к нему домой позавтракать, к чему наш герой легко позволил себя склонить. Этот молодой человек, почти ровесник Уайльда, стал с недавних пор компаньоном одного ювелира, вложив в его дело — капиталом и товаром — почти все свое небольшое состояние, и женился по любви на очень приятной женщине, от которой у него было теперь двое детей. Так как нашему читателю следует ближе познакомиться с этой личностью, не лишним будет обрисовать ее характер, тем более что он представит собою своего рода фольгу, оттеняющую благородный и высокий склад нашего героя, и что человек этот был словно нарочно послан в мир служить тем объектом, в применении к которому таланты героя должны развернуться с истинным и заслуженным успехом.

Итак, мистер Томас Хартфри (так его звали) был человеком честным и открытым. Он был из тех, кому не собственная природа, а только опыт открывает, что есть на свете обман и лицемерие, и про кого никак не скажешь, что в двадцать пять лет его труднее провести, чем иного хитрейшего старика. По своему душевному складу он отличался рядом слабостей, будучи до крайности добрым, дружелюбным и щедрым. Правда, он пренебрегал обычным правосудием, но лишь к тому, чтоб иногда простить долги своим знакомым, и на том лишь основании, что им нечем было платить; а однажды он поверил в долг банкроту и помог ему снова стать на ноги, так как был убежден, что тот объявил себя несостоятельным честно, без умысла и обанкротился только по несчастью, а не по небрежению и не злостно. Он такой был круглый дурак, что никогда не пользовался неведением покупателей и продавал свой товар, довольствуясь самой умеренной прибылью; это он тем легче мог себе позволить, что, несмотря на свою щедрость, вел очень скромный образ жизни: все его расходы сводились к приятному времяпровождению дома в кругу друзей да к стакану вина, распиваемому иногда в обществе жены, которая при своей привлекательной внешности была недалеким существом — убогим, малоразвитым домашним животным; она отдавала себя почти всецело заботам о семье и полагала свое счастье в муже и детях, не следовала разорительным модам, не искала дорогих развлечений и даже редко где-нибудь бывала, разве что заходила с ответным визитом к немногим из своих простодушных соседей да позволяла себе раза два в год пойти с мужем в театр, никогда не занимая там места выше, чем в партере, где сидела в задних рядах.

Этой-то глупой женщине глупый этот человек и представил Уайльда Великого, сообщив ей, что знаком с ним еще со школы и многим обязан ему. Едва простушка услышала, что муж ее чем-то обязан гостю, как в ее глазах заискрилась та благосклонность, которая шла у нее от чистого сердца и которую

великие и благородные гении, чьи сердца вскипают только обидой, не всегда способны правильно истолковать. И нет ничего удивительного, что наш герой бедную, скромную и невинную приверженность миссис Хартфри к другу ее мужа принял за ту высокую и щедрую страсть, которая зажигает огнем глаза современной героини, когда является полковник и любезно одалживает своего кредитора из мещан, не брезгуя сегодня его обедом, а завтра постелью его жены. Итак, истолковав лестно для себя ее умиленный взгляд, Уайльд тут же ответил ей взглядом, а вслед за тем не поскупился и на хвалы ее красоте, чем она, будучи все-таки женщиной, хотя и порядочной, и не разгадав его умысла, так же мало была недовольна, как и ее супруг.

Когда кончился завтрак и жена удалилась по своим хозяйским делам, Уайльд, обладая острым глазом на человеческие слабости и памятуя, каким добрым (или глупым) нравом отличался Томас в школе, а вдобавок успев и теперь обнаружить у приятеля проблески доброты и щедрости, завел разговор о разных происшествиях их детских лет и не преминул напомнить кстати раз-другой о тех услугах, которые, как знает читатель, он оказывал товарищу; затем он перешел на самые пылкие изъявления дружбы и выразил страстную радость по поводу возобновления их знакомства. Напоследок он объявил с видом великого удовольствия, что, кажется, ему представляется случай услужить другу, направив к нему покупателя — одного джентльмена, который как раз собирается вступить в брак.

— Если он еще ни с кем не уговорился, то я,— сказал он,— попробую его убедить, чтобы он взял для своей дамы драгоценности в вашем магазине.

Хартфри рассыпался в благодарностях перед нашим героем, и после долгих и настойчивых приглашений к обеду, отклоненных гостем, они, наконец, расстались.

Но здесь нам приходит на ум, что наши читатели могут удивиться (бывают подобные несообразности в хрониках такого рода): каким это образом мистер Уайльд-старший, будучи тем, чем мы его видим, мог содержать в свое время сына, как выясняется теперь, в приличной школе? А потому необходимо объяснить, что мистер Уайльд был тогда поставщиком в солидном деле, но вследствие мирских превратностей — точнее сказать, из-за игры и мотовства — снизошел до того почтенного занятия, о каком упоминали мы раньше.

Рассеяв это сомнение, мы теперь последуем за нашим героем, который тотчас отправился к графу и, установив предварительно условия раздела добычи, познакомил его с планом, составленным им против Хартфри. Обсудив, каким способом осуществить свой план, они стали измышлять средства к освобождению графа; первым, и даже единственным, о чем следовало подумать,— это как раздобыть денег: не на оплату его дол-

тов, так как это потребовало бы огромной суммы и не отвечало ни намерениям графа, ни его наклонностям, а на то, чтобы обеспечить ему поручительство; ибо мистер Снэп принимал теперь такие меры предосторожности, что всякая мысль о побеге была исключена.

ГЛАВА II

Великие примеры величия, проявленные Уайльдом как в его поведении с Бэгшотом, так и в его замысле сперва при посредстве графа провести Томаса Хартфри, а потом обмануть графа и оставить его без добычи

В этих обстоятельствах Уайльд замыслил вытянуть кое-какие деньги у Бэгшота, который, несмотря на произведенные у него хищения, вышел из их вчерашней игры в кости с изрядной добычей. Мистер Бэгшот льстил себя надеждой, что сам наймет поручителя, когда Уайльд пришел к нему и с видом крайнего огорчения, который он умел во всякое время с удивительным искусством напустить на себя, объявил, что все раскрылось — граф его узнал и хотел было отдать под суд за грабеж, «но тут,— сказал он,— я пустил в ход все свое влияние и с большим трудом уговорил его, при условии, что вы вернете ему деньги...»

— Вернуть деньги! — вскричал Бэгшот.— Вернуть их можете только вы: вы же знаете, какая незначительная часть пришлась на мою долю...

— Как! — отвечал Уайльд.— Где же ваша благодарность за то, что я вам спасаю жизнь? Собственная ваша совесть должна вам подсказать, как вы виновны и с какой достоверностью джентльмен может дать против вас показания.

— Ах, вот оно что! — проговорил Бэгшот.— Если так, в опасности будет не только *моя* жизнь. Я знаю кое-кого, кто виновен не меньше, чем я. И это вы мне говорите о совести?!

— Да, голубчик! — ответил наш герой, схватив его за ворот.— И раз вы осмелились мне грозить, я покажу вам разницу между совершением грабежа и потворством таковому,— и только в нем и можно меня обвинить. Да, сознаюсь, когда вы показали мне эти деньги, я тогда же заподозрил, что они вам достались нечестным путем.

— Как! — говорит Бэгшот, со страху растеряв одну половину ума, а от изумления вторую.— Вы станете отрицать?..

— Да, негодяй! — ответил Уайльд.— Я отрицаю все; ищите свидетелей, судитесь — все равно вы не в силах нанести мне вред; и, чтоб вам показать, как мало я боюсь ваших заявлений, я немедленно сам на вас заявлю...

Тут он сделал вид, что решил распроститься с ним, но Бэгшот ухватил его за полы и, меняя и тон и обращение, попросил его не быть таким нетерпеливым.

— Так уплатите, голубчик,— воскликнул Уайльд,— и, может быть, я вас пожалею!

— Сколько я должен уплатить? — спросил Бэгшот.

— Все, что есть у вас в карманах, до последнего фартинга! — ответил Уайльд.— И тогда я, может быть, проникнусь к вам состраданием и не только спасу вам жизнь, но в порыве великодушия еще и верну вам кое-что.

С этим словом, видя, что Бэгшот все еще раздумывает, Уайльд направился было к двери и разразился клятвой мести, такой крепкой и выразительной, что его друг сразу оставил колебания и позволил Уайльду обшарить его карманы и вытащить все, что там было,— двадцать одну гинею с половиной. Последнюю эту монетку в полгинеи наш великодушный герой вернул Бэгшоту, сказав ему, что теперь он может спать спокойно, но впредь чтоб не смел угрожать своим друзьям.

Так, наш герой совершал величайшие подвиги с небывалой легкостью — при помощи тех превосходных качеств, которыми его наделила природа, то есть бестрепетного сердца, громового голоса и твердого взора.

Потом Уайльд возвратился к графу, объявил ему, что получил от Бэгшота десять гиней (остальные одиннадцать он с достохвальным благоразумием опустил в собственный карман) и сказал, что на эти деньги достанет ему теперь поручительство; о поручительстве же он условился затем со своим отцом и еще с одним джентльменом той же профессии, пообещав им по две гинеи на брата. Так он сорвал законный куш еще в шесть гиней, сделав Бэгшота [1] должником на все десять,— столь велика была его изобретательность, столь широк охват его ума, что он никогда не вступал в сделку, не обхитрив (или, вульгарно говоря, не обманув) того, с кем она заключалась.

Граф, таким образом, вышел на свободу; и теперь, чтобы получить кредит у купцов, они прежде всего сняли прекрасный, полностью обставленный дом на одной из новых улиц. Далее, как только граф водворился там, они постарались обеспечить его прислугой, выездом и всеми insignia [2] состоятельного человека, которые должны были ввести в заблуждение бедного Хартфри.

Когда они все это раздобыли, Уайльд вторично навестил друга и с радостным лицом сообщил ему, что похлопотал не напрасно и что тот джентльмен обещал связаться с ним по поводу бриллиантов, которые он думает преподнести невесте и которые должны быть самыми великолепными и дорогими; и он тут же назначил другу зайти к графу на другое утро и прихватить с собою набор самых роскошных и красивых драгоценностей, какие у него только есть, намекнув притом довольно

---

[1] Описка автора: очевидно, не Бэгшота, а графа.

[2] Отличительными знаками (*лат.*).

ино, что граф ничего не смыслит в камнях и можно будет содрать с него какую угодно цену. Однако Хартфри не без некоторого пренебрежения ответил, что не признает такого рода барышей, и, горячо поблагодарив Уайльда, дал обещание быть на месте с драгоценностями в условленный час.

Я уверен, что читатель, если он имеет хоть какое-то понятие о величии, должен преисполниться такого презрения к предельной глупости этого человека, что нисколько за него не опечалится, какие бы тяжкие беды ни постигли его в дальнейшем. В самом деле, ничуть не заподозрить, что школьный товарищ, с которым в нежной юности водил он дружбу и который при случайном возобновлении знакомства проявил к нему самое горячее участие, с полной готовностью может его обмануть,— то есть вообразить, что друг-приятель без всяких видов на личную выгоду станет услужливо хлопотать для него,— разве это не говорит о слабости ума, о неведении жизни и о таком неискушенном, простом и бесхитростном сердце, что обладатель всех этих свойств в глазах каждого разумного и разбирающегося человека должен быть самым низменным существом, достойным всяческого презрения!

Уайльд не забыл, что в недостатках его друга повинно было скорее сердце, нежели голова; что он был жалким созданием, не способным предумышленно обидеть человека, но отнюдь не дураком, и провести его было не так-то просто, если только собственное сердце не предавало его. Поэтому наш герой научил графа взять при первом свидании только одну какую-нибудь вещицу, остальные же драгоценности отклонить, как недостаточно великолепные, и предложить ему, чтоб он доставил что-нибудь побогаче. Если так себя повести, сказал он, Хартфри не спросит наличными за уже принесенную вещь и она останется в распоряжении графа, а он, выручив за нее, что можно, да еще прибегнув к своему высокому мастерству по части костей и карт, постарается собрать побольше денег, которыми и расплатится с Хартфри за первую часть заказа, тот же, отбросив после этого всякую подозрительность, не преминет поверить ему в долг остальное.

При помощи этой уловки, как выяснится в дальнейшем, Уайльд предполагал не только вернее обмануть Хартфри, который и без того был далек от подозрений, но и ограбить самого графа на эту сумму. Такой двойственный метод обмана, когда вы обманываете того, кто был вашим орудием при обмане другого, представляет высшую ступень величия и, думается нам, так тесно, как только это мыслимо для бессмертного духа в бренной оболочке, граничит с самим сатанинством.

Итак, этот метод был немедленно пущен в ход, и в первый день граф взял только один бриллиант стоимостью в триста фунтов, попросив доставить ему через неделю ожерелье, серьги и солитер — еще тысячи на три.

Этот промежуток времени Уайльд употребил на осуществление своего замысла создать шайку и действовал так успешно, что за два-три дня завербовал несколько молодцов, достаточно храбрых и решительных, чтобы выполнить любое предприятие, хотя бы и самое опасное или великое.

Мы отметили выше, что вернейший признак величия — это ненасытность. Уайльд условился с графом, что получит три четверти добычи, но одновременно договорился сам с собой забрать и последнюю четверть, составив соответственно великий и благородный план; но тут он с прискорбием увидел, что та сумма, которую получит на руки Хартфри, безвозвратно ускользает от него вся целиком. Поэтому, чтобы завладеть и ею, он надумал приурочить доставку драгоценностей к обеденному часу да еще несколько задержать Хартфри перед его свиданием с графом,— в расчете, что на обратном пути его захватит ночь и тут два молодца из шайки, согласно приказу, набросятся на него и ограбят.

ГЛАВА III,

содержащая сцены любви, нежности и чести, — все в высоком стиле

Граф взял за первый камень полную цену и, пустив в ход всю свою ловкость, поднял ее до тысячи фунтов. Эту сумму он уплатил Хартфри, обещая через месяц остальное. Его дом, его выезд, его наружность, а главное — что-то располагающее к доверию в его голосе и манере обманули бы каждого, кроме того, кому великое и мудрое сердце подсказывает кое-что, отстраняя внутренним этим голосом внешнюю опасность обмана. Поэтому Хартфри без малейшего колебания поверил графу; но так как он сам достал драгоценности у другого ювелира — его собственный маленький магазин не мог бы поставить такие дорогие вещи,— он попросил его светлость не отказать ему в любезности выдать вексель на соответственный срок, что граф и сделал не сморгнув; итак, он уплатил тысячу фунтов in specie [1], а еще на две тысячи восемьсот выдал вексель от своего имени, который Хартфри принял, горячо благодаря в душе Уайльда за то, что тот сосватал ему такого благородного покупателя.

Как только Хартфри удалился, вошел Уайльд, ожидавший в соседней комнате, и принял от графа ларчик, так как между ними было условлено, что добыча передана будет в его руки, поскольку он был изобретателем плана и должен был получить

[1] Здесь: наличными деньгами *(лат.)*.

наибольшую долю. Приняв ларчик, Уайльд предложил графу встретиться для раздела поздно вечером, но тот, вполне полагаясь на высокую честь нашего героя, сказал, что если это ему сколько-нибудь затруднительно, то срочности нет и можно встретиться на другое утро. Уайльд нашел это более удобным и, соответственно договорившись по сему вопросу, пустился вдогонку за Хартфри, поспешая к месту, где приказано было двум джентльменам преградить ювелиру дорогу и напасть на него. Джентльмены с благородной решительностью исполнили задание: атаковали противника и взяли в виде трофеев всю сумму, полученную им от графа.

Сражение кончилось, и Хартфри был покинут распростертым на земле, а наш герой, не склонный оставлять добычу в руках своих товарищей, хотя их честность была проверена на опыте, отправился следом за победителями. Когда все они укрылись в безопасном месте, Уайльд, согласно уговору, получил девять десятых добычи: правда, младшие герои подчинились не совсем охотно (менее охотно, пожалуй, чем допускают строгие законы чести), но Уайльд отчасти доводами, а больше бранью и угрозами убедил их сдержать обещание.

С удивительной ловкостью доведя таким образом это великое и славное предприятие до счастливого конца, наш герой решил рассеять свой утомленный ум в обществе красавицы. Он направился к своей любезной Летиции, но по дороге случайно встретил одну знакомую девицу, мисс Молли Стрэдл, которая вышла подышать свежим воздухом на набережную. Мисс Молли, увидев Уайльда, остановила его и с развязностью, характерной для утонченного столичного воспитания, потрепала, или, скорее, хлопнула, его по спине и попросила угостить ее пинтой вина в соседнем кабачке. Герой хоть и любил целомудренную Летицию с необычайной нежностью, не принадлежал к той низменной плаксивой породе смертных, которые, как принято говорить, держатся за юбку женщины,— словом, к тем, кто отмечен клеймом постоянства — этого жалкого, мелкого, низкого порока, почему-то именуемого добродетелью. Поэтому он тотчас согласился и повел девицу в трактир, славившийся превосходным вином и известный под названием «Кубок и подкова», где они и уединились в отдельной комнате. Уайльд был очень напорист в своих исканиях, но безуспешно: девица заявила, что он от нее не дождется милостей, пока не сделает ей подарка; условие тут же было исполнено, и любовник был так счастлив, как мог того желать.

Безмерная любовь Уайльда к его дорогой Летиции не позволяла ему тратить много времени на мисс Стрэдл, поэтому, несмотря на все ее прелести и ласки, он вскоре под удобным предлогом спустился вниз, а прямо оттуда пошел своим путем, не попрощавшись ни с мисс Стрэдл, ни даже с официантом, с которым девице пришлось потом объясняться по поводу счета.

У Снэпов Уайльд застал дома одну только мисс Доши. Юная леди сидела в одиночестве и, по примеру Пенелопы *, занималась вышиванием или вязанием, с тою лишь разницей, что Пенелопа разрушала ночью то, что, бывало, свяжет, соткет или спрядет за день, тогда как наша юная героиня то, что свяжет за ночь, снова распускала днем. Короче говоря, она штопала пару голубых чулок с красными стрелками,— обстоятельство, о котором, пожалуй, мы могли бы и умолчать, если бы оно не доказывало, что еще существуют в наше время дамы, подражающие античной простоте.

Уайльд сразу спросил о своей любезной и получил ответ, что ее нет дома. Он тогда справился, где ее можно найти, и объявил, что не уйдет, пока не увидит ее и даже пока на ней не женится, ибо его чувство к Летиции было в самом деле вполне честным; другими словами, он так необузданно желал овладеть ее особой, что пошел бы на все, лишь бы утолить свое желание. Тут он вынул ларчик, полный, по его словам, великолепных драгоценностей, и поклялся, что отдаст все это Летиции, добавив к тому и другие посулы. Это подействовало, и мисс Доши, чуждая обыкновению, по которому девица завидует счастью сестры и нередко старается даже разрушить его, предложила гостю посидеть несколько минут, пока она попробует разыскать сестру и привести ее к нему. Влюбленный поблагодарил и пообещал дождаться ее возвращения. Тогда мисс Доши, предоставив мистеру Уайльду предаваться своим размышлениям, заперла его в кухне на засов (в этом доме большинство дверей запиралось снаружи), громко хлопнула дверью на улицу, не выходя, однако, за ее порог, и затем тихонько прокралась наверх, где мисс Летиция была занята интимным разговором с Бэгшотом. Когда сестра шепотом передала ей, что сказал Уайльд и что он ей показывал, мисс Летти объяснила Бэгшоту, что внизу ее ждет гостья, одна молодая леди, которую она постарается как можно быстрее спровадить и тут же вернется к нему; так что она его просит терпеливо посидеть пока здесь, а дверь она оставит незапертой, хотя ее отец никогда ей этого не простит, если узнает! Бэгшот дал слово не выходить ни на шаг из комнаты; и обе девицы тихо сошли вниз, а затем, разыграв предварительно, будто возвращаются с улицы, зашли в кухню. Но даже появление целомудренной Летиции не восстановило в чертах ее поклонника видимости той гармонии, которая владела им всецело, когда мисс Теодозия оставила его: дело в том, что за время ее отсутствия он обнаружил исчезновение кошелька с банкнотами на девятьсот фунтов стерлингов, который был отобран у мистера Хартфри и который мисс Стрэдл в пылу любовных ласк потихоньку вытащила у него. Но так как он в совершенстве владел собой, или, вернее, мускулами своего лица,— условие, столь же необходимое для формирования великого характера, как и для его воплощения на сцене,— он быстро

сумел изобразить на лице улыбку и, утаив свое несчастье и свою печаль, обратился к мисс Летти с почтительными излияниями. Эта юная леди при прочих своих приятных свойствах обладала тремя преобладающими страстями, а именно: тщеславием, сластолюбием и жадностью. Для удовлетворения первой ей служили мистер Смэрк и компания; для утоления второй — мистер Бэгшот и компания; а наш герой имел честь и счастье на себе одном сосредоточить третью. С этими тремя видами поклонников она держалась очень разных способов обхождения. С первыми она была вся веселье и кокетство; со вторыми — вся нежность и восторг; а с последним — холод и сдержанность. Итак, она с самым спокойным видом сказала мистеру Уайльду, что ее радует, если он и впрямь раскаялся и отказывается от той манеры обращения с нею, к какой он прибег при последнем их свидании, когда он вел себя так чудовищно, что она решила больше с ним никогда не встречаться; что она чувствует себя непростительно виновной перед всем женским полом, отступая сейчас, по слабости, от своего решения, но что сам он, конечно, никогда не склонил бы ее к этому, если бы ее сестра, которая для того и зашла, чтоб подтвердить ее слова (мисс Доши тут же подтвердила, не скупясь на клятвы), предательски не заманила ее сюда под ложным предлогом, будто ее хочет видеть совсем другое лицо; однако, раз он полагает нужным дать ей более убедительные доказательства своей любви (Уайльд уже держал в руках ларец) и раз она видит, что он не посягает больше на ее добродетель, и намерения его таковы, что порядочная женщина может к ним склонить свой слух, то она должна сознаться...

Тут она сделала вид, что застыдилась, а Теодозия начала:

— Нет, сестра, я не позволю тебе больше притворяться. Уверяю вас, мистер Уайльд, она питает к вам самую пламенную страсть. И, право, Тиши, раз ты идешь на попятный, когда я вижу ясно, что у мистера Уайльда самые честные намерения, я выдам тебя и перескажу ему все, что ты говорила.

— Как, сестрица! — воскликнула Летиция.— Ты, значит, хочешь просто выгнать меня отсюда? Не ждала я от тебя такого предательства!

Тут Уайльд упал на колени и, овладев ее ручкой, произнес речь, которую я не стану приводить, так как читатель может без труда придумать ее сам. Потом он вручил ей ларец, но она мягко его отклонила, а при повторном подношении скромно и застенчиво спросила, что в нем лежит. Тогда Уайльд открыл его и вынул (я с горечью это пишу, и с горечью это будет прочтено) одно из тех великолепных ожерелий, которые на ярмарке в Варфоломеев день украшают прекрасно набеленные шеи царицы амазонок Фалестриды *, Анны Буллен *, королевы Елизаветы и некоторых других высоких принцесс в потешных представлениях. Состояло оно из стразов, которые Дердеус

Магнус *, изобретательный мастер по части всяких безделок, продает второразрядным франтам столицы по очень скромной цене. Здесь мы просим извинения у читателя, что так долго скрывали от него правду, и откроем ее теперь: проницательный граф, справедливо опасаясь, как бы какой-нибудь несчастный случай не помешал Уайльду вернуть в условленный час принесенные ему мистером Хартфри драгоценности, предусмотрительно отправил их в свой собственный карман, а в ларец положил вместо них искусственные камни, которые для философа представили бы равную цену,— а для истинного любителя произведений искусства, может быть, даже и бо́льшую,— но не имели никакой прелести в глазах мисс Летти, кое-что понимавшей в драгоценностях, так как мистер Снэп, вполне основательно полагая, что для воспитанной леди очень важно разбираться в них, устроил мисс Летти — в том возрасте, когда девицы только еще учатся, как надо одеваться,— подручной (а на языке черни — горничной) к одному видному ростовщику, ссужавшему деньги под заклад. Поэтому тот огонь, которым должны были бы сверкать бриллианты, вспыхнул в ее глазах, а вслед за молнией грянул и гром: она обозвала нашего несчастного героя и мошенником, и мерзавцем, и плутом, а тот стоял и молчал, сраженный изумлением, но еще больше стыдом и негодованием, что его так обхитрили и провели. Наконец, он овладел собой, бросил в ярости ларчик, схватил ключ со стола и, ничего не ответив дамам, которые уже вдвоем напустились на него, даже не попрощавшись с ними, выбежал на улицу и направился со всей поспешностью к обиталищу графа.

ГЛАВА IV,

в которой Уайльд после долгих бесплодных стараний разыскать друга произносит по поводу своего несчастья нравоучительную речь, каковая (если правильно ее понять) может пригодиться кое-кому из видных ораторов

Самый упитанный слуга самой воспитанной дамы не стучит напористей, чем постучал Уайльд в дверь графа, которую незамедлительно открыл перед ним отлично одетый ливрейный лакей, объявивший, что хозяина нет дома. Не успокоившись на этом, Уайльд обошел дом, однако безуспешно; тогда он обрыскал все игорные дома в городе, но графа не нашел: джентльмен покинул свой дом в то самое мгновение, как мистер Уайльд обернулся к нему спиной, и, позаботившись только о сапогах и почтовой лошади, не взяв с собой ни слуги, ни костюмов — ничего из тех принадлежностей, какие необходимы для путешествия важной особы, отбыл с такой поспешностью, что теперь уже проделал двадцать миль по пути к Дувру.

Видя, что все напрасно, Уайльд решил оставить на этот вечер поиски; он направился в свой «кабинет для размышлений» — и ночной погребок, где, не имея в кармане ни фартинга, заказал кружку пунша и, сев в одиночестве на скамью, повел про себя такой монолог:

«Как тщетно *величие* человека! Чего стоят высшие дарования и благородное пренебрежение теми стеснительными правилами и оковами, которые покорно принимает чернь, если наши наилучшие, тонко задуманные планы подвержены крушению! В каком бедственном положении пребывает *мазизм!* Как немыслимо для человеческого благоразумия все предусмотреть и оградиться от обмана! Совсем как в шахматах: ладья, или конь, или слон подготовляет великое предприятие, но тут встревает ничтожная пешка и разрушает весь замысел. Лучше бы мне было соблюдать обычные законы дружбы и нравственности, чем вот так губить своего друга на благо другим. Я мог бы располагать в пределах скромности его кошельком, теперь же я отнял у него возможность быть мне полезным. Хорошо! Но ведь это не входило в мои намерения! Если я не могу управлять собственным своим поведением, зачем же мне, как женщине или ребенку, сидеть и сетовать на превратность счастья? Впрочем, могу ли я полагать, что не допустил никакой оплошности? Не сделал ли я промах, дав возможность другим перехитрить меня? Но этого нельзя избежать. Здесь *маз* несчастней всякого другого: осторожный человек может в толпе обезопасить свои карманы, засунув в них руки; но когда *маз* запускает руки в чужие карманы, как ему в это же время защитить свои собственные? В самом деле, если посмотреть под таким углом, кто может быть злосчастней *маза?* Как опасен его способ приобретения! Как ненадежно, неспокойно для него обладание! Зачем же тогда человеку стремиться к тому, чтобы стать *мазом,* или в чем же тогда величие *маза?* Я отвечаю: в его духовной силе. Только его тайная слава, сокровенное сознание, что он совершает великие и дивные деяния, одна и может поддержать истинно великого человека, будь то *завоеватель, тиран, государственный деятель* или же *маз.* Это сознание должно вознести его выше общественного порицания и выше проклятий со стороны отдельных личностей и, ненавидимого, презираемого всем человечеством, преисполнить тайным довольством собою. Ибо что же, кроме подобного внутреннего удовлетворения, может внушить человеку, обладающему властью, здоровьем, всеми в мире благами, каких только может пожелать гордость, жадность или любострастие, вдруг покинуть свой дом, променять удобства и отдых и все богатства свои и удовольствия на труды и лишения, поставить на карту все, что щедро дала ему Фортуна, и, возглавив множество *мазов,* именуемое войском, отправиться уничтожать своих соседей и производить грабежи, насилия, кровопролитие среди себе подобных? Что, кроме такой

достославной ненасытности духа, распаляет в государях, увенчанных величайшими почестями, обладающих самыми изобильными доходами, злостное желание отбирать вольности у тех самых подданных, которые согласны трудиться в поте лица, ради того чтобы эти самые государи жили в роскоши, и преклонять колени перед их гордыней? Что, как не она, побуждает их уничтожать одну половину своих подданных, чтобы поставить другую в полную зависимость от произвола самого государя или его жестоких приспешников? Какие другие причины соблазняют подданного, владеющего крупной собственностью в своем обществе, предать интересы прочих своих соотечественников и братьев и своего потомства ради прихоти таких государей? Наконец, какое менее достойное побуждение склоняет *маза* отступиться от обычных способов приобретения жизненных благ — вполне надежных и почетных — и, рискуя даже головой, под угрозой того, что ошибочно зовется позором, открыто и смело попирать законы своей страны ради неверного, непостоянного и небезопасного выигрыша? Итак, позвольте мне удовольствоваться этим рассуждением и сказать самому себе, что я оказался мудр, хотя и неудачлив, и что я *великий,* хоть и несчастный человек».

Монолог и пунш вместе пришли к концу — ибо на каждой паузе Уайльд подкреплялся глотком. И тут ему впервые пришло в голову, что уплатить за кружку будет труднее, чем опорожнить ее,— когда, к большому своему удовольствию, он увидел в другом углу зала того джентльмена, которого использовал для нападения на Хартфри и который, как он подумал, конечно охотно одолжит ему гинею или две. Но, обратившись к нему, Уайльд с огорчением услышал, что игорный стол отнял у него ту долю добычи, которую оставило в его владении уайльдово великодушие. А потому наш герой вынужден был прибегнуть к своему обычному в таких случаях методу: он грозно заломил шляпу и вышел вон, ни перед кем не извинившись,— и никто не посмел что-либо с него спросить.

ГЛАВА V,

содержащая ряд удивительных похождений, которые с превеликим величием совершил наш герой

Дадим теперь нашему герою немного соснуть и вернемся в дом мистера Снэпа, где после ухода Уайльда прекрасная Теодозия снова взялась за свой чулок, а мисс Летти поднялась к мистеру Бэгшоту; но джентльмен этот нарушил слово и, притаившись внизу у двери, воспользовался выходом Уайльда,

чтобы выйти тоже. Мисс Летти, должны мы сказать, была тем более удивлена, что, вопреки своему обещанию, она все-таки предосторожности ради повернула ключ,— однако второпях повернула оплошно. В каком же грустном положении оказалась наша юная дева, утратив возлюбленного, бесконечно дорогого ее нежному сердцу, и опасаясь вдобавок ярости оскорбленного отца, столь ревностно оберегавшего свою честь: и он ведь честью поручился шерифу Лондона и Мидлсекса за сохранное содержание под стражей вышеназванного Бэгшота; и за его честь поручились два благонадежных друга не только словом, но и залогом!

Но отведем глаза от этого печального зрелища и поглядим на нашего героя, который после безуспешных поисков мисс Стрэдл с поразительным величием духа и невозмутимым выражением лица рано утром пошел навестить своего друга Хартфри в такое время, когда пошлая толпа друзей была бы склонна избегать его и покинуть. Он вошел в комнату с веселым видом, который тут же сменил на удивление, как только увидел, что друг сидит в ночном халате, с полотняной повязкой на раненой голове, очень бледный от потери крови. Услышав от Хартфри, что́ с ним приключилось, Уайльд разыграл сперва величайшее сожаление, а потом дал волю бурной ярости по адресу разбойников, доведшей его до конвульсий. Хартфри из сострадания к другу, так глубоко потрясенному его злоключениями, постарался по возможности ослабить впечатление от своего рассказа и преувеличить в то же время свой долг перед Уайльдом, в чем ему вторила и жена, и завтрак прошел у них приятней, чем можно было ожидать после такого происшествия. Хартфри обмолвился, между прочим, о том, как он рад, мол, что положил вексель графа в другой бумажник: такая потеря, добавил он, оказалась бы для него роковой, «потому что, признаюсь вам по правде, дорогой мой друг,— сказал он,— у меня были недавно изрядные убытки, сильно пошатнувшие мои дела; и хотя мне немало следует самому от разных светских людей, уверяю вас, я нигде не могу твердо рассчитывать хоть на шиллинг». Уайльд сердечно поздравил его со счастливой случайностью, сохранившей ему вексель, а затем с большой язвительностью обрушился на варварство светских людей, по вине которых купцы сидят без денег.

Пока они тешились такими речами, а Уайльд еще размышлял про себя, призанять ли ему у друга, или лучше украсть, или же сделать, пожалуй, и то и другое, вошел молодой приказчик и подал своему хозяину кредитный билет на пятьсот фунтов стерлингов, который, сказал он, просит разменять благородная дама, покупающая у них в магазине камни. Хартфри, взглянув на номер, тут же припомнил, что это один из украденных у него билетов. Своим открытием он поделился с Уайльдом, который, не теряя присутствия духа и ничуть не изменившись в лице, что

так существенно для великого характера, посоветовал ему повести дело осторожно и предложил (так как мистер Хартфри, сказал он, слишком разгорячен, чтобы допросить женщину со всем искусством) пригласить покупательницу в одну из комнат дома и оставить ее там одну. А потом-де он сам выйдет к ней под видом владельца магазина, станет показывать драгоценности и постарается вытянуть из нее побольше сведений, чтобы верней захватить разбойников, а может быть, и их добычу. Хартфри с благодарностью принял это предложение. Уайльд тотчас же пошел наверх в условленную комнату, куда приказчик, как уговорились, привел даму.

Как только дама вошла в комнату, приказчика отозвали вниз, и Уайльд, прикрыв дверь, подступил к покупательнице с грозным видом и стал разъяснять ей сугубую подлость ее преступления. Но, хотя он произнес немало назидательных слов, мы, сомневаясь по некоторым причинам, чтоб они могли оказать сколько-нибудь хорошее воздействие на нашего читателя, опустим его речь и упомянем лишь, что в заключение он спросил у дамы, какого милосердия может она теперь ожидать от него? Мисс Стрэдл (это была она), девица достаточно образованная и не раз побывавшая на приеме у Старого Бейли *, самоуверенно отрицала все обвинения, утверждая, что получила билет от одного приятеля. Тогда Уайльд, повысив голос, сказал ей, что она будет сейчас же отдана под суд и, конечно, осуждена,— в этом можно на него положиться.

— Но,— добавил он, меняя тон,— так как я питаю к тебе нежную любовь, моя дорогая Стрэдл, то, если ты последуешь моему совету,— честь моя порукой! — я все прощу, и больше тебя никогда не потревожат по этому делу.

— И что же я должна сделать для вас, мистер Уайльд? — спросила девица, теперь уже приятно улыбаясь.

— А вот послушайте,— начал Уайльд.— Те деньги, которые вы у меня вытащили из кармана (да, черт возьми, вытащили; и если станете юлить, пойдете под суд), я выиграл у одного молодца, который, как видно, получил их, ограбив моего друга; поэтому вы должны под присягой дать показания против некоего Томаса Фирса * и сказать, что этот кредитный билет вы получили от него; а прочее предоставьте мне. Я не сомневаюсь, Молли, что вы чувствуете, в каком вы долгу передо мной, когда я таким образом плачу вам добром за зло.

Леди с готовностью подтвердила и потянулась было к мистеру Уайльду с поцелуями, но тот отступил на шаг и вскричал:

— Постойте, Молли! Вы еще не отчитались в двух других билетах, на двести фунтов каждый,— где они?

Леди с самыми торжественными клятвами заявила, что больше ей ничего не известно, а когда Уайльд не успокоился на этом, закричала:

— Можете меня обыскать!

— И обыщем! — ответил Уайльд.— И поймаем с поличным!

Он принялся ощупывать ее и обшаривать, но все было напрасно, пока она, разразившись слезами, не заявила, наконец, что скажет правду (и в самом деле сказала). Один билет она, по ее словам, отдала Джеку Свэггеру *, великому баловню дам, ирландскому джентльмену, который состоял когда-то писарем при одном адвокате, потом был выгнан из драгунского полка, а затем стал ходатаем при Ньюгейте и привратником при непотребном доме; а второй она весь истратила сегодня утром на парчу и фландрские кружева. С таким отчетом Уайльд, понимая, что он вполне правдоподобен, был вынужден согласиться; и, отбросив все мысли о том, что признал невозвратно потерянным, он дал девице некоторые дополнительные указания, а затем, предложив ей подождать его несколько минут, вернулся к своему другу и объявил ему, что раскрыл все дело с грабежом и что женщина призналась, от кого получила билет, и обещает подтвердить свои показания перед мировым судьей. Он очень сожалеет, добавил Уайльд, что не может отправиться вместе с ним к судье, так как должен идти в другой конец города и там получить тридцать фунтов, чтобы сегодня вечером уплатить один долг. Хартфри сказал, что не хочет лишаться его общества, а помеху легко устранить — такой пустяк он еще может одолжить ему. Деньги соответственно были даны и приняты, и Уайльд, Хартфри и леди пошли втроем к судье.

Когда выписан был ордер на арест и леди, сама получив свои сведения от Уайльда, указала констеблю, по каким притонам искать мистера Фирса, он был без труда арестован и после очной ставки с мисс Стрэдл, опознавшей его под присягой, хотя она никогда его раньше не видела, отправлен в Ньюгейт, откуда он тотчас же дал знать Уайльду о случившемся, и вечером тот пришел к нему на свиданье.

Уайльд представился сильно опечаленным бедою друга и столь же сильно удивленным тем, какими средствами она была навлечена. Впрочем, сказал он, Фирс, конечно, ошибается: он, вероятно, все-таки знавал мисс Стрэдл; но, добавил Уайльд, он сам ее разыщет и постарается отвести ее свидетельство, которое само по себе, заметил он, еще ничем не грозит Фирсу; кроме того, он ему достанет свидетелей: одного по части alibi и пять-шесть по части репутации; так что опасаться ему нечего — посидит в заключении до сессии, вот и все наказание.

Фирс, утешенный заверениями Уайльда, долго его благодарил, и, крепко пожав друг другу руки и сердечно обнявшись на прощанье, они расстались.

Герой между тем раздумывал о том, что показаний одной свидетельницы будет недостаточно для осуждения Фирса, а он решил отправить его на виселицу, так как это был тот самый молодец, который особенно упирался, не желая отдать обусловленную долю добычи; поэтому Уайльд пошел разыскивать

мистера Джемса Слая *, джентльмена, сыгравшего подсобную роль в его последнем подвиге,— нашел и сообщил ему, что Фирс в тюрьме. Затем, поделившись опасениями, как бы Фирс не оговорил Слая, Уайльд посоветовал ему упредить Фирса, самому отдавшись в руки мировому судье и предложив себя в свидетели. Слай принял совет Уайльда, пошел прямо к судье, и тот засадил его в камеру, пообещав допустить свидетелем против товарища.

Через несколько дней Фирс предстал пред судом присяжных, где, к своему великому смущению, убедился, что его старый друг Слай показывает против него заодно с мисс Стрэдл. Вся его надежда была теперь на помощь, обещанную нашим героем. К несчастью,-она не подоспела; и так как показания были явно против подсудимого, а он не защищался, присяжные признали его виновным, суд его приговорил, и мистер Кетч * казнил.

Так, с непревзойденной ловкостью, наш герой — этот поистине великий человек — умел играть на страстях людей, сеять рознь между ними и в собственных целях использовать зависть и страх, удивительно ловко возбуждаемые им самим при помощи тех искусных приемов, которые толпа называет изменой, лицемерием, обольщением, ложью, предательством и так далее, но которые великими людьми объединяются под общим наименованием «политика», или «политичность»,— искусство, которое указует на высшее превосходство человеческой природы и в котором наш герой был самым выдающимся мастером.

ГЛАВА VI

О шляпах

Уайльд собрал довольно большую шайку, состоявшую из проигравшихся картежников, разорившихся судебных приставов, проторговавшихся купцов, ленивых подмастерьев, адвокатских клерков и бесчинной и распутной молодежи — юношей, которые, не будучи ни рождены для богатства, ни обучены какой-либо профессии или ремеслу, желали, не работая, жить в роскоши. Так как все эти персоны придерживались разных принципов, вернее — разных головных уборов, между ними часто возникали разногласия. Среди них главенствовали две партии, а именно: тех, кто носил шляпы, лихо заломив их треуголкой, и тех, кто предпочитал носить «нашлепку» или «тренчер», спуская поля на глаза. Первых называли «кавалерами» или «торироры горлодеры» и т. д.; вторые ходили под всяческими кличками — «круглоголовых», «фигов» *, «стариканов», «вытряхаймошну» и разными другими. Между ними постоянно возникали распри, а потому со временем они стали думать, что

в их расхождениях есть что-то существенное и что интересы их несовместимы, тогда как в действительности все расхождение сводилось к фасону их шляп. И вот Уайльд, собрав их всех в винной в ночь после казни Фирса и подметив, по тому, как они держались друг с другом, некоторые признаки несогласия, обратился к ним с такою речью в мягком, но настоятельном тоне [1]:

— Джентльмены, мне совестно видеть, как люди, занятые столь великим и достославным делом, как ограбление общества, так глупо и малодушно ссорятся между собой. Неужели вы думаете, что первые изобретатели шляп, или по меньшей мере различия между ними, в самом деле замыслили так, что шляпы разных фасонов должны преисполнять человека та — благочестия, эта — законопочитания, та — учености, а эта — отваги? Нет, этими чисто внешними признаками они хотели только обмануть жалкую чернь и, не утруждая великих людей приобретением или сохранением сущности, ограничить их только необходимостью носить ее признак или тень. Поэтому с вашей стороны было бы мудро, находясь в толпе, развлекать простаков ссорами по этому поводу, чтобы с большей легкостью и безопасностью, пока они слушают вашу трескотню, залезать в их карманы; но всерьез заводить в собственной среде такую нелепую распрю — до крайности глупо и бессмысленно. Раз вы знаете, что все вы *мазы*, какая разница, носите ли вы узкие или широкие поля? Или *маз* не тот же *маз*, что в той, что в этой шляпе? Если публика так не умна, что увлекается вашими спорами и отдает предпочтение одной своре перед другой, покуда обе целят на ее карманы, ваше дело смеяться над дурью, а не подражать ей. Что может быть, джентльмены,

---

[1] Эта речь заключает в себе нечто весьма загадочное, на что, однако, глава Аристотеля по этому вопросу, упоминаемая одним французским автором, пожалуй могла бы пролить некоторый свет, но, к сожалению, она относится к числу утраченных произведений великого философа. Примечательно, что латинское «galerus» («шляпа») имело еще и другое равноправное значение: «морская собака»,— подобно тому как греческое κυνέη означает еще и «шкура животного». Отсюда я заключаю, что шляпы или шлемы древних делались, как сейчас у нас, из бобра или кролика. Софокл в финале своего «Аякса» упоминает о способе обмана при помощи шляп, а в комментариях к этому месту один толкователь говорит о некоем Крефонте, который был мастером этого искусства. Следует также заметить, что в первой песни Гомеровой «Илиады» Ахилл в гневе говорит Агамемнону, что у него «собачьи глаза». Но поскольку глаза у собаки красивей, чем у огромного большинства других животных, это никак не может служить выражением упрека. Следовательно, он, очевидно, хотел сказать, что Агамемнон был в шляпе, а это, возможно, считалось признаком бесчестия — по той ли твари, из коей делались шляпа, или на каком-то другом основании. Этот предрассудок, возможно, связан с неким обычаем, передававшимся через века от нации к нации,— обычаем выказывать уважение путем снимания головного убора, так что ни один человек не почел бы возможным разговаривать с высшим, не сняв шляпу с головы. В заключение настоящего ученого примечания добавлю, что эпитет «шляпа» и сейчас применяется в простонародье в не совсем почетном смысле *. *(Прим. автора.)*

нелепей, чем ссориться из-за шляп, когда ни у кого из вас шляпа не стоит и фартинга? Что проку в шляпе? Голову греть да прикрывать от людей лысую макушку,— а что еще? Признак джентльмена — снимать то и дело шляпу; да и в суде и в благородных собраниях никто и никогда не сидит в шляпе. А потому, чтоб я больше не слышал об этих ребяческих ссорах! Давайте-ка все вместе вскинем дружно шляпы, и отныне лучшей шляпой будем считать ту, в которой упрятана самая большая добыча!

Так закончил он свою речь, встреченную шумным одобрением, и тотчас же все присутствующие дружно вскинули шляпы, как он им велел.

ГЛАВА VII,

показывающая, к каким последствиям привели сношения Хартфри с Уайльдом, — вполне естественным и обычным для маленьких людей в общении с великим человеком; а также некоторые образцы писем, отражающие несколько способов отвечать заимодавцу

Возвратимся теперь к Хартфри, которому вернули индоссированный им вексель графа с сообщением, что должника нет на месте и, по наведенным справкам, он сбежал, а следовательно, за уплату отвечает теперь индоссант *. Возможность такой потери расстроила бы каждого дельца, а тем более такого, для которого потеря эта должна была повлечь за собой неизбежное разорение. Мистер Хартфри был так явно опечален и встревожен, что новый владелец векселя испугался и решил не теряя времени обеспечить хоть то, что можно. Поэтому в тот же день к обеденному часу мистер Снэп получил предписание навестить мистера Хартфри и со своей обычной пунктуальностью исполнил это предписание, отведя должника в свой дом.

Миссис Хартфри, как только узнала, что стряслось с ее мужем, совсем обезумела; но, дав излиться в слезах и жалобах первым терзаниям, она обратилась ко всем доступным мерам, чтобы добиться для мужа свободы. Она кинулась просить соседей взять его на поруки. Но так как новость дошла до их порога быстрей, чем она, миссис Хартфри никого из них не застала дома, кроме одного честного квакера, чьи слуги не посмели солгать. Однако и у него она успела не больше, потому что он, к несчастью, как раз накануне дал слово никогда и никого не брать на поруки. После многих бесплодных усилий такого рода она отправилась к мужу, чтобы утешить его хотя бы своим присутствием. Она его застала запечатывающим последнее из писем, которые он решил разослать своим друзьям и должни-

сам. Как только он ее увидел, радость нечаянной встречи мелькнула в его взоре, но не надолго: уныние тотчас заставило его опустить глаза. Не смог сдержать он и страстных выражений скорби за нее и за свою небольшую семью. А она со своей стороны старалась всеми силами смягчить его печаль, отвлекая его от мыслей о потере и укрепляя в нем надежду на графа, который, сказала она, может быть, просто уехал в свое поместье. Она утешала его также возможностью помощи от знакомых, особенно от тех, кому Хартфри сам в свое время удружал и услужал. Наконец, она заклинала мужа, если он так уважает и ценит ее, как он не раз уверял, не слишком предаваться печали и не расстраивать свое здоровье, от которого только и зависит ее счастье,— потому что, пока она с ним, уверяла миссис Хартфри, она будет счастлива и в бедности, и только его печаль и недовольство могут омрачить ее жизнь.

Такими словами эта слабая, недалекая женщина пыталась облегчить страдания мужа, которые ей подобало бы скорее отягчать, не только в самых ярких красках расписывая лишения, но еще и попрекая его глупостью и доверчивостью, которыми он навлек на себя это несчастье, и сетуя на выпавшую ей горькую участь делить с мужем нужду.

На так называемую доброту своей жены Хартфри откликнулся самой теплой благодарностью, и они потратили еще час на сцену нежности, слишком низменную и презренную, чтобы показывать ее нашим высоким читателям. Мы будем в нашем рассказе опускать такие излияния, потому что они только принижают человеческую природу и делают ее смешной.

Некоторые посланцы — те, которым удалось получить ответ на письмо,— уже вернулись. Мы отберем из этих ответов несколько и снимем с них копию, так как они могут послужить образцами для многих, кому представится случай, не такой уж редкий в светской жизни, отвечать на докучливые напоминания заимодавца.

ПИСЬМО I

Мистер Хартфри!

По поручению моего господина сообщаю Вам, что он очень удивлен той самоуверенностью, с какой Вы просите денег, которые он Вам задолжал, как Вы знаете, не так давно. Тем не менее, поскольку он после этого не намерен больше обращаться в Ваш магазин, он приказал мне уплатить Вам, как только у меня будут на руках наличные деньги; однако, ввиду предстоящих неотложных платежей по более давним счетам и т. д., мне сейчас затруднительно назначить какой-то определенный срок для расплаты с Вами. Остаюсь Вашим покорным слугой

Роджер Моркрафт.

ПИСЬМО II

Дорогой сэр!

Эти деньги, как Вы справедливо отмечаете, я должен Вам уже три года, но, клянусь Вам душой, я сейчас не в состоянии уплатить ни фартинга; однако, поскольку я не сомневаюсь, что в самом коротком времени не только уплачу по этому скромному счету, но еще сделаю в Вашем торговом доме новые покупки на крупную сумму, Вы, надеюсь, не сочтете для себя неудобным предоставить эту небольшую отсрочку, дорогой сэр, искренне преданному Вам

Вашему покорному слуге

Чарльзу Кортли.

ПИСЬМО III

Мистер Хартфри!

Прошу Вас, не сообщайте моему мужу об этом оставшемся между нами пустяковом долге, потому что, зная, какой Вы добрый человек, я доверю Вам маленькую тайну: муж давно дал мне денег, чтобы расплатиться с Вами, а я имела несчастье потерять их за игорным столом. Можете не сомневаться, что я рассчитаюсь с Вами при первой возможности. Остаюсь, сэр, Вашей покорнейшей слугой,

Кат. Рабберс.

Кланяйтесь, пожалуйста, миссис Хартфри.

ПИСЬМО IV

Мистер Томас Хартфри, сэр!

Письмо Ваше получил. Но что до упомянутой в нем суммы — сейчас ничего не выйдет.

Ваш покорный слуга

Питер Паунс.

ПИСЬМО V

Сэр!

Я искренне сожалею, что в настоящее время не могу исполнить Вашу просьбу, особенно после того, как Вы мне оказали столько одолжений, о чем я никогда не забуду и сохраню вечную к Вам благодарность. Я крайне огорчен Вашими несча-

стами и навестил бы Вас лично, но сейчас я не совсем здоров, а кроме того, непременно должен пойти сегодня вечером в Воксхолл *.

Премного Вам обязанный, сэр, покорный Ваш слуга

Ч. Изи.

P. S. Миссис Хартфри и малютки, надеюсь, в добром здоровье.

Были и еще письма, но проку от них было ровно столько же; мы и эти привели читателю только для образца. Из них последнее больнее всех задело бедного Хартфри, потому что прислал его человек, которому он сам когда-то помог в беде, одолжив крупную сумму, и который сейчас, как ему было твердо известно, пребывал в полосе процветания.

ГЛАВА VIII,

в которой наш герой поднимает величие на беспримерную высоту

Уберем же поскорее от взоров читателя эту гнусную картину неблагодарности и представим куда более приятное изображение той самоуверенности, которой французы так справедливо присвоили эпитет блаженной. Едва успел Хартфри прочитать письма, как пред его глазами предстал наш герой,— не с таким лицом, с каким сострадательный пастор встретит своего патрона после того, как отдаст свой голос на выборах его конкуренту; и не с таким, какое состроит врач, когда потихоньку выскользнет за дверь, узнав о смерти своего пациента; не с таким подавленным видом, какой принимает человек, когда после сильной борьбы между добродетелью и пороком он склонился перед вторым и был разоблачен в первом же своем предательстве,— нет, лицо нашего героя отражало ту благородную, смелую, великую прямоту, с какой премьер-министр уверяет своего подчиненного, что обещанное ему место еще раньше было предназначено другому. И те же огорчение и неловкость, какие сквозят при этом во взоре премьер-министра, выразил Уайльд при первой встрече с другом. И как премьер-министр распекает вас за то, что вы пренебрегли вашими собственными интересами и не попросили во-время,— так наш герой напустился на Хартфри за его доверие к графу и, не дав ему ни слова сказать в оправдание, излил на него поток ошеломительной ругани, подсказанной как будто самыми дружественными намерениями, но такой, что и от врага не услышать бы хлеще. Этим маневром несчастный Хартфри, если бы и захотел слегка упрекнуть друга

за его рекомендацию, был предупрежден от всякой попытки такого рода; так государь, вторгшийся к соседям, но атакованный в собственных владениях, вынужден бывает оттянуть все свои силы назад и защищаться на своей земле. Хартфри это и сделал, и небезуспешно, ссылаясь на видное положение графа, на его внешность, на выезд,— так что Уайльд, наконец, немного смягчился и сказал со вздохом:

— Я, признаться, меньше всех на свете имею право осуждать другого за такого рода неразумие, так как меня и самого провести куда как легко! Ведь и тут я тоже обманулся в графе, за которым, если он неплатежеспособен, у меня пропадают пятьсот фунтов стерлингов. Но лично я,— сказал он,— не собираюсь приходить в отчаянье, да и вам не советую. Многие вот так же находили для себя удобней удалиться или укрыться на время, а впоследствии выплачивали сполна свои долги или хоть приличным образом возмещали их. В одном я не сомневаюсь: если будет произведена частичная уплата по несостоятельности,— а это, я полагаю, худшее, чего можно опасаться,— то в убытке останусь я один: потому что я почту себя обязанным по долгу чести возместить вам потерю, хотя бы вы и признали, что должны благодарить за нее главным образом собственную дурость. Тьфу! Да если бы я только мог вообразить, что есть в этом надобность, я бы вас, конечно, предостерег. Но я полагал, что та часть города, где проживал граф, уже сама по себе достаточно ясно подсказывала, как мало можно ему доверять. И на такую сумму!.. Черт вас попутал, не иначе!

Такое бесстыдство превосходило все, что бедная миссис Хартфри могла себе вообразить. Если раньше она безудержно кляла Уайльда, то сейчас признала полную его невиновность и попросила его прекратить разговор, который, как он видит сам, слишком жестоко сокрушает ее мужа. Торговлю, сказала она, невозможно вести без кредита, а потому нельзя винить его за то, что он открыл кредит такому человеку, каким представлялся граф. К тому же, сказала она, не много проку теперь рассуждать о том, что прошло и чего не вернуть; сейчас надо прежде всего обдумать, как избежать угрожающих дурных последствий, и в первую голову постараться вернуть ее мужу свободу.

— Почему не достает он поручительства? — спросил Уайльд.

— Увы, сэр,— сказала миссис Хартфри,— мы обращались ко многим нашим знакомым, но напрасно: нам отвечали извинениями даже там, где меньше всего мы этого могли бы ожидать.

— Нет поручителя?! — воскликнул Уайльд в негодовании.— Будет у него поручитель, если только не перевелись они на свете! Сейчас поздновато, но положитесь на меня, завтра с утра я ему устрою поручительство.

Миссис Хартфри со слезами приняла эти заверения и сказала Уайльду, что он настоящий друг. Затем она предложила мужу провести с ним весь вечер, но он не позволил, так как не хотел, чтобы дети в эту тревожную пору оставались на попечении слуг.

Послали за наемной каретой, но напрасно, потому что, подобно друзьям-приятелям, извозчики всегда тут как тут, покуда светит солнце, а когда в них нужда, их не разыщешь. Не нашли и портшеза, так как мистер Снэп жил в той части города, где носильщики с портшезом — редкие гости. Доброй женщине пришлось идти домой пешком, и учтивый Уайльд рыцарственно вызвался ее проводить. Любезность была с благодарностью принята, и, когда наша чета нежно распрощалась, мистер Снэп собственноручно запер мужа в комнате, а за женою запер наружную дверь.

Так как этот визит Уайльда к Хартфри может показаться одним из тех исторических эпизодов в биографии нашего героя, которые писатели рассказывают, подобно Дрокансеру, «только потому, что смеют», и так как он противоречит как будто величию нашего героя и бросает тень на его репутацию, позволяя приписать ему дружеские чувства, чересчур отдающие слабостью и неразумием, то, пожалуй, следует дать объяснения по поводу этого визита,— в особенности более проницательным нашим читателям, чью благосклонность мы всегда особенно стараемся снискать. Итак, да будет им известно, что с первой же встречи с миссис Хартфри мистер Уайльд воспылал к этому прелестному созданию той страстью (или чувством, или дружбой, или желанием), которую джентльмены нашего века единодушно называют ЛЮБОВЬЮ; на деле же она есть не что иное, как того рода влечение, какое по окончании праведных трудов субботнего дня сластолюбивый служитель церкви способен чувствовать к филе с отменным гарниром или к прельстительной грудинке, которую ублаготворенный сквайр из благодарности ставит перед ним и которую (так горяча его любовь!) он пожирает в своем воображении, едва ее увидев. Не менее пламенна была голодная страсть нашего героя, который, как только взгляд его упал на это прелестное кушанье, стал мысленно примериваться, как бы получше подобраться к нему. Достигнуть этого, подумал он, будет проще всего после того, как свершится разорение Хартфри, намеченное им ради других целей. Поэтому он отложил все хлопоты в этом направлении до тех пор, пока не достигнет сперва того, что должно было предшествовать во времени его новому намерению,— с такой методичностью осуществлял наш герой все свои планы и настолько был он выше всех внушений страсти, которые так часто расстраивают и приводят к срыву благороднейшие замыслы других людей.

ГЛАВА IX

Все больше величия в Уайльде. Низкая сцена между миссис Хартфри и ее детьми и план нашего героя, достойный наивысшего восхищения и даже изумления

Едва Уайльд увел предмет своей страсти (или, продолжая нашу метафору, свое блюдо) от законного владельца, у него явилась мысль доставить его в один из тех ресторанов Ковент-Гардена, где женское тело под восхитительным гарниром предлагается жадному аппетиту молодых джентльменов; но, опасаясь, что дама не пойдет со всей готовностью навстречу его желаниям и что излишняя поспешность и горячность сорвут цвет его надежд, не дав созреть плодам,— и так как в тот час у него уже зародился счастливый проект, более благородный и почти непреложно обеспечивавший ему и наслаждение и прибыль,— наш герой ограничился тем, что проводил миссис Хартфри до дому и после долгих уверений в дружеских чувствах к ее мужу и в готовности к услугам, простился с ней, пообещав зайти рано утром и отвести ее к Снэпу.

Уайльд отправился затем в ночной погребок, где застал кое-кого из своих знакомых и прокутил с ними до утра, и ни малейшая тень сострадания к мистеру Хартфри не отравила ему чаши веселья! Так истинно величественна была его душа, что не тревожило ничто ее покоя; и только опасение, как бы мисс Тиши чего-либо не прознала (она все еще была на него сердита), несколько омрачало и расстраивало безмятежность духа, которой иначе он мог бы наслаждаться. И так как весь вечер ему не довелось увидеться с мисс Тиши, он написал ей письмо, содержащее десять тысяч уверений в почтительной любви и (на что он больше полагался) столько же посулов. Этим письмом он рассчитывал привести девицу в хорошее расположение духа, нимало не открывая ей, однако, своих подозрений и, следовательно, не давая ей повода насторожиться: ибо он взял себе за правило никогда не открывать другим, что в их власти причинить ему зло,— чтобы тем не навести их на мысль причинить это зло на деле.

Вернемся теперь к миссис Хартфри, которая провела бессонную ночь в таком терзании и ужасе из-за отсутствия мужа, какие иная благовоспитанная леди испытывала бы при возвращении мужа из дальнего плавания или поездки. Утром, когда к ней привели детей, старшая девочка спросила, где ее милый папа. И мать, не сдержавшись, разразилась слезами. Увидев это, девочка сказала:

— Не плачь, мама. Папа, я знаю, непременно пришел бы домой, если б мог.

При этих словах мать схватила девочку на руки и в порыве чувства, бросившись в кресло, воскликнула:

Да, дитя мое, и никакие адские происки не могут надолго нас разлучить!

Эта сцена позабавит, может быть, каких-нибудь шесть или семь читателей, и мы не стали бы включать ее в наш рассказ, если б она не показывала, что в жизни пошлой толпы есть еще слабости, которых великие духом так чужды, что даже не имеют о них никакого понятия; а кроме того, обнажая глупость этих жалких созданий, она оттеняет и возвышает то величие, верное изображение которого мы стараемся дать в нашей хронике.

Войдя в комнату, Уайльд застал мать с одной дочкой на руках и другой на коленях. После любезного приветствия он попросил ее отпустить детей и служанку, потому что, сказал он, ему нужно сделать очень важное сообщение.

Миссис Хартфри тут же исполнила это требование и, притворив дверь, с нетерпением спросила его, увенчались ли успехом старания найти поручителя. Он ответил, что еще не пытался даже, потому что ему пришел на ум один план, посредством которого она безусловно спасет своего мужа, себя и детей. Он ей советует, забрав все самое ценное, что есть у них в магазине, немедленно уехать в Голландию, пока еще нет акта о банкротстве, после которого отъезд станет невозможным. Он сам доставит ее туда, поместит в надежном месте, а затем вернется и освободит ее мужа, которому тогда нетрудно будет удовлетворить своих кредиторов. Он добавил, что пришел прямо от Снэпов, где познакомил с этим планом самого Хартфри, и тот его очень одобрил и просит ее без проволочек привести план в исполнение, так как нельзя терять ни минуты.

Сообщение, что муж одобрил план, разрешило все сомнения, смущавшие сердце бедной женщины, и она только выразила желание зайти на минутку к Снэпам, чтобы попрощаться с мужем. Но Уайльд наотрез отказал: каждая минута промедления, объяснил он, угрожает гибелью ее семье; вдали от мужа она пробудет лишь несколько дней,— ведь он, Уайльд, как только доставит ее в Голландию, тотчас же вернется, исхлопочет освобождение Хартфри и привезет его к ней.

— Я оказался, сударыня, злополучной безвинной причиной несчастья моего дорогого Тома,— сказал он,— и я погибну вместе с ним или вызволю его из беды.

Миссис Хартфри изливалась в своей признательности за его доброту и все же молила разрешить ей хотя бы самое короткое свидание с мужем. Уайльд объявил, что минута промедления может оказаться роковой, и добавил — правда, скорее печальным, нежели гневным голосом,— что если у нее недостанет решимости исполнить распоряжение мужа, которое он ей передал, то вина за разорение Хартфри падет на нее, а он, Уайльд, будет вынужден отказаться от всякого вмешательства в его дела.

Тогда она предложила взять с собою детей. Но Уайльд не позволил, сказав, что это только задержит их побег; да и приличнее будет, чтобы детей привез муж. Наконец, он всецело подчинил себе бедную женщину. Она упаковала все ценности, какие нашла, и, нежно простившись с дочками, взволнованно поручила их заботам очень преданной служанки. Потом они наняли коляску, которая доставила их в гостиницу, где они раздобыли карету шестерней и двинулись в Гарвич.

Уайльд ехал с ликованием в сердце, уверенный, что теперь прелестная женщина вместе с богатой поклажей в его руках. Словом, он мысленно упивался счастьем, которое необузданная похоть и хищная жадность могли ему сулить. А бедная жертва, которой надлежало удовлетворить эти страсти, вся ушла в мысли о горестном положении своего мужа и детей. С губ ее едва ли сорвалось хоть одно слово, тогда как слезы обильно лились из ее лучистых глаз, которые — если дозволено мне употребить это грубое сравнение — служили только изысканным соусом, возбуждавшим аппетит Уайльда.

ГЛАВА X

Приключения на море, удивительные и необычные

Прибыв в Гарвич, они нашли в гавани судно, зашедшее туда и готовое к отплытию на Роттердам. Их тотчас приняли на борт, и судно отчалило с попутным ветром. Но едва исчезла из их глаз земля, как поднялась внезапно яростная буря и погнала их на юго-запад,— да с такою силой, что капитан не надеялся избежать Гудвиновых Песков, и как сам он, так и вся его команда почитали себя погибшими. Миссис Хартфри, которую смерть только тем и страшила, что отрывала ее от мужа и детей, упала на колени с мольбой к всевышнему о милосердии, когда Уайльд, с истинно великим презрением к опасности, принял решение, едва ли не более достойное нашего восторга, чем все дошедшие до нас решения отважнейших героев древних и новых времен: оно ясно показывает, что он обладал всеми свойствами, необходимыми герою, чтобы восторжествовать над внушениями страха и жалости. Он видит, что деспот-смерть хочет вырвать у него намеченную им жертву, которой он успел насладиться только в воображении,— и вот он поклялся, что не уступит деспоту: он немедленно набросился на бедную, терзаемую отчаянием женщину, домогаясь своего сперва уговорами, а после силой.

Миссис Хартфри, при том расположении духа, в каком находилась она теперь, и при том мнении, какое она составила себе об Уайльде, не сразу поняла, чего он хочет, но, поняв,

отвергла его со всем отвращением, какое могут внушить негодование и ужас; когда же он попробовал прибегнуть к насилию, она огласила каюту таким пронзительным криком, что он дошел до ушей капитана,— благо буря несколько поутихла. Этот человек, грубый скорее в силу воспитания и воздействия среды, в которой жил, чем по природе, поспешил к ней на помощь и, увидев, что она лежит на полу, сопротивляясь нашему герою, во-время спас ее от насильника, которому пришлось оставить женщину и схватиться с ее дюжим рыцарем, не скупившимся на тумаки и не щадившим своих сил в защите прелестной пассажирки.

Как только кончилась недолгая битва, из которой наш герой, когда бы не численный перевес противника (к нему подоспела подмога), вышел бы, конечно, победителем, капитан выругался и бога и дьявола и спросил Уайльда: какой же он христианин, если готов насиловать женщину во время бури? На что тот величественно и мрачно ответил, что сейчас он, так и быть, смирится, но, «будь он проклят, если не получит удовлетворения, как только они сойдут на берег!» Капитан презрительно ответил: «Поцелуй меня...» и так далее, а потом, выставив Уайльда из каюты, запер там миссис Хартфри по ее собственной просьбе и вернулся к заботам о корабле.

Буря тем временем улеглась, и море колебала лишь обычная зыбь, когда один из матросов завидел вдали парус; и капитан, мудро рассудив, что это мог быть капер * (мы в то время вели войну с Францией), тотчас приказал поднять все паруса. Но мера эта была бесполезной, потому что ветер, очень слабый, дул в противную сторону; судно неслось прямо на них, и вскоре выяснилось, что опасения капитана справедливы: это оказался французский капер. Сопротивляться наш корабль был не в силах и при первом залпе из пушек противника опустил флаг. Капитан французского судна с несколькими матросами вступил на борт английского судна и забрал все что было на нем ценного, в том числе и поклажу бедной миссис Хартфри; потом он пересадил команду и двух пассажиров на борт своего капера, а английский корабль, как излишнюю обузу, решил потопить, так как это была старая, дырявая посудина и не стоило ради нее возвращаться в Дюнкерк,— он только снял с английского корабля шлюпку, потому что его собственная была не слишком хороша, и, дав по нему залп с борта, пустил ко дну.

Французский капитан, совсем еще молодой человек и притом учтивый кавалер, сразу влюбился — и не на шутку — в свою красивую пленницу. По некоторым фразам, оброненным Уайльдом, он вообразил, что они муж и жена, хотя ее лицо выдавало неприязнь к спутнику, и спросил, понимает ли она по-французски. Она ответила утвердительно, так как и вправду отлично владела французским языком. Тогда, указывая на Уайльда, капитан спросил, как давно она замужем за этим

человеком. Она ответила, глубоко вздохнув и обливаясь слезами, что она и в самом деле замужем, но не за этим подлецом, который один виноват во всех ее бедствиях. Это добавление возбудило в капитане любопытство, и он приступил к своей пленнице с такими навязчивыми, хоть и учтивыми расспросами, настаивая, чтоб она поведала ему свои обиды, что она, наконец, уступила и рассказала ему все свои злоключения. Ее рассказ так растрогал капитана, державшегося слишком слабых представлений о величии, и так распалил против нашего героя, что он решил его наказать: не считаясь с законами войны, он велел немедленно спустить на воду свою разбитую лодку и, преподнеся Уайльду полдюжины бисквитов для продления его мук, ссадил его в эту лодку, а затем, пустив ее на волю волн, повел корабль дальше намеченным путем.

ГЛАВА XI

Высокое и удивительное поведение нашего героя в лодке

Возможно, что надежда на награду от прелестной пленницы, или скорей покорительницы, сыграла немалую роль в осуществлении этого необычного акта беззаконного правосудия: ибо француз был охвачен той же страстью, или тем же голодом, какой испытывал Уайльд, и почти так же непреклонно решил удовлетворить свои желания любым путем. Поэтому оставим его пока преследовать свою цель и проследим за нашим героем в лодке, ибо в пору бедствия истинное величие предстает нам наиболее достойным удивления. В самом деле, взять ли государя, окруженного царедворцами, готовыми его величать столь милым ему прозванием или титулом и воздавать ему всяческие хвалы; или завоевателя во главе сотни тысяч человек, готовых исполнять его волю, как бы ни была она тщеславна, причудлива или жестока,— нетрудно, думается нам, вообразить или уразуметь, на сколько ступеней они в своей взбалмошной гордости возвышаются над всеми, кто служит им послушным орудием. Но что бы мог человек в цепях, в тюрьме — нет, в самой гнусной подземной темнице,— сохраняя всю свою гордость, все достоинство, проявлять высокое превосходство своей природы над остальным человечеством, которое взорам пошлой толпы кажется куда как счастливей его, и чтоб этот человек доказал, что небо и провидение в эту самую пору работают на него, как бы даря его своей особой заботой,— это одна из тайн величия, постижимых только для посвященного!

Можно ли вообразить что-либо тяжелей того положения, в каком очутился наш герой, когда утлая лодчонка уносила его в открытое море, без весел, без паруса, и первая же волна могла

по произволу опрокинуть его? И это было бы еще благом для него, жребием, куда более предпочтительным по сравнению с другим исходом, припасенным для него судьбой,— голодной смертью, которою неизбежно грозило ему продолжение пигиля.

Очутившись в этих условиях, наш герой начал извергать такие богохульства, что их едва ли можно привести, не оскорбив читателя, даже не чрезмерно набожного. Потом он обрушился с обвинениями на весь женский пол и на чувство любви (как он называл его),— в частности на то, которое питал он к миссис Хартфри, злополучной виновнице его настоящих страданий. Наконец, найдя, что слишком долго говорит жалобным языком ничтожества, он оборвал свои сетования и вскоре разразился такою речью:

— Человек, черт побери, может умереть только раз! Так что ж тут такого? От смерти никому не уйти, а когда кончено, то кончено. Я еще никогда ничего не боялся, не убоюсь и теперь. Нет, будь я проклят, не убоюсь! Что значит страх? Я умру, боюсь ли я, или нет; так кто же тогда боится, будь я трижды проклят! — При этих словах он напустил на себя самый грозный вид, но, вспомнив, что никто на него не смотрит, немного ослабил свирепость, проступившую в чертах его лица, и, помолчав, повторил: — Будь я трижды проклят!..

— Допустим, я в самом деле буду проклят,— вскричал он затем: а ведь я над этим никогда ни на минутку не задумался! Я часто смеялся и шутил насчет вечной гибели, а может, она и есть, поскольку мне неизвестно обратное... Если тот свет существует, то мне придется круто, уж это наверняка. Не простится мне тогда то, что я причинил Тому Хартфри. Попаду я за это к черту в лапы, безусловно попаду! К черту? Пфа! Не такой я дурак, чтоб испугаться его. Нет, нет, когда умер человек — ему конец, и все! А все-таки хотел бы я знать наверное, потому что ученые, как я слышал, на этот счет расходятся во мнениях. Думается, все дело в том, повезет мне или же не повезет. Если того света нет, что ж — мне тогда будет не хуже, чем колоде или камню; но если он есть, тогда... Черт меня побери, не стану я об этом больше думать!.. Пусть свора трусливых мерзавцев боится смерти, а я смело гляжу ей в лицо. Неужели остаться в живых — и подохнуть с голоду? Съем-ка я все бисквиты, которые мне выдал этот ублюдок-француз, а потом прыгну в море хлебнуть воды, потому что этот бессовестный пес не дал мне ни глотка водки.

Сказав, он немедленно приступил к исполнению своего намерения, и так как решительность никогда не изменяла ему, он, как только управился со скудным запасом провианта, предоставленным ему не очень-то широкой щедростью противника, в тот же час бросился очертя голову в море.

ГЛАВА XII

Странное, но все же естественное спасение нашего героя

Итак, наш герой с поразительной решительностью бросился в море, как мы о том упомянули в конце последней главы. А две минуты спустя он чудесным образом вновь очутился в своей лодке; и произошло это без помощи дельфина, или морского коня, или другой какой-нибудь рыбы или животного, которые всегда оказываются тут как тут, когда поэту или историку угодно бывает призвать их, чтобы перевезти героя через море, точь-в-точь как наемная карета, дежурящая у дверей кофейни близ Сент-Джемса, чтобы перевезти франта через улицу, дабы не замарал он свои белые чулки. Истина заключается в том, что мы не желаем прибегать к чудесам, ибо строго блюдем правило Горация:

Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus [1].

Что означает: не впутывай сверхъестественную силу, если можешь обойтись без нее. В самом деле, мы куда более начитаны в естественных законах, чем в сверхъестественных, а потому попытаемся объяснить это необычайное происшествие первыми из них; для этого же нам необходимо открыть нашему читателю некоторые глубокие тайны, с которыми ему очень стоит познакомиться и которые помогут ему разобраться во многих феноменальных случаях такого рода, происшедших ранее на нашем полушарии.

Итак, да будет известно, что великая Alma Mater — природа — изо всех особ женского пола самая упрямая и никогда не отступает от своих намерений. Как же правильно это замечание:

Naturam expellas furca licet usque recurret [2],—

которое мне не обязательно передавать по-английски, так как оно приводится в книге, по необходимости читаемой каждым утонченным джентльменом. Следовательно, если природа возымела какое-то намеренье, она никогда не позволит никакой причине, никакому замыслу, никакой случайности разрушить его. Хотя поверхностному наблюдателю и может показаться, что некоторые особы созданы природой без всякой пользы или цели, все ж таки не подлежит сомнению, что ни один человек не рождается на свет без особого предназначения,— то есть одни — чтобы стать королями, другие — министрами, эти — посланниками, те — епископами, те — генералами и так далее. Они делятся на два разряда: на тех, кого природа великодушно наделила некоторым дарованием в соответствии с той ролью, которую она назначила им играть со временем на сцене жизни,— и тех, кем она пользуется для показа своей неограни-

[1] Оставьте бога в стороне, коль скоро завязка не заслуживает вмешательства такого мстителя (*лат.*) (Гораций, «Наука поэзии», стих 192.)

[2] Природу хоть вилами гони — возвращается.

земной власти и чье назначение для той или другой высокой деятельности сам Соломон не объяснил бы иною причиной, кроме той, что так предначертала природа. Некоторые видные философы, желая показать, что этот разряд людей — любимцы природы, обозначают их почетным наименованием: «прирожденные». В самом деле, истинную причину всеобщего людского невежества в этой области следует, повидимому, искать вот в чем: природе угодно осуществлять некоторые свои намеренья побочными средствами, но так как иные из этих побочных средств кажутся идущими вразрез с ее намерениями, то ум человеческий (который, как и глаз, лучше всего видит прямо перед собой, а вкось видит мало и несовершенно) не всегда способен отличить цель от средства. Так, например, он не может постичь, почему красивая жена или дочь помогают осуществиться исконному замыслу природы сделать человека генералом, или каким образом лесть или пять-шесть домов в избирательном округе определяют, кому быть судьей или епископом. Мы и сами, при всей нашей мудрости, бываем вынуждены судить ab effectu; и если у нас спросят, к чему природа предназначила такого-то человека, мы, может быть, до того как она сама в ходе событий не раскроет свое намерение, затруднимся ответом: ибо, надо сознаться, на первый взгляд и без вдохновения свыше иной человек с большими природными способностями и широкими благоприобретенными познаниями скорее может показаться предназначенным природою для власти и почета, чем другой, замечательный только отсутствием и этих и вообще каких бы то ни было достоинств; а между тем повседневный опыт убеждает нас в обратном и склоняет к мнению, которое я здесь изложил.

Так вот, природа с самого начала предназначила нашему герою подняться на ту предельную высоту, достижения которой мы весьма желаем всем великим людям, так как это самый подобающий им конец, и, раз назначив, она уже ни в коем случае не дала бы отклонить себя от намеченной цели. Поэтому, едва увидев героя в воде, она тотчас же тихонько шепнула ему на ухо, чтобы он попробовал вернуться в лодку, и герой немедленно подчинился призыву; а так как он был хорошим пловцом и на море был полный штиль, он исполнил это без труда.

Таким образом, думается нам, этот эпизод нашей истории, поначалу столь поразительный, получил вполне естественное объяснение, а наш рассказ обошелся без Чуда, которое, хоть и часто встречается в жизнеописаниях, не заслуживает все же одобрения,— и вводить его никак не следует, кроме тех случаев, когда оно абсолютно необходимо, чтобы помешать преждевременному окончанию рассказа. А посему, мы выражаем надежду, что с нашего героя снимается всякое обвинение в отсутствии решительности, которое оказалось бы роковым для величия его облика.

ГЛАВА XIII

Исход приключения с лодкой и конец второй книги

Остаток вечера, ночь и следующий день наш герой провел в таких условиях, что ему не позавидовала бы ни одна душа, одержимая какой угодно человеческой страстью, кроме честолюбия; честолюбец же, дай ему только насладиться далекой музыкой литавров славы,— и он пренебрежет всеми утехами сластолюбия и теми более возвышенными (но при том и более спокойными) радостями, которые дает философу-христианину чистая совесть.

Уайльд проводил время в размышлениях, то есть ругаясь, богохульствуя, а часом напевая и посвистывая. Наконец, когда холод и голод почти подавили его природную неукротимость,— а было это сильно за полночь, при непроглядной темноте,— ему вдали померещился свет, который он принял бы за звезду, не будь небо обложено сплошь облаками. Свет, однако, казалось, не приближался, или приближался в такой незаметной степени, что давал лишь слабое утешение, и, наконец, покинул его вовсе. Тогда он вернулся к размышлениям в прежнем роде и так протянул до рассвета, когда, к своей несказанной радости, увидел парус на недалеком расстоянии и, по счастью, направлявшийся как будто к нему. Сам он тоже был вскоре замечен с судна, и не потребовалось никаких сигналов, чтобы дать знать о бедствии; а так как было почти совсем тихо и корабль лежал всего в пятистах ярдах от него, за ним спустили лодку и забрали его на борт.

Капитан оказался французом, а его судно шло из Норвегии с грузом леса и сильно пострадало в последней буре. Был он из тех людей, чьи действия диктуются общечеловеческими чувствами и в ком горести ближнего возбуждают сострадание, хотя бы тот принадлежал к народу, чей король поссорился с их собственным государем. Поэтому, пожалев Уайльда, который преподнес ему историю, способную растрогать такого глупца, капитан сказал, что по прибытии во Францию Уайльд, как ему и самому известно, останется там на положении пленника, но что он, капитан, постарается устроить ему возможность выкупа,— за что наш герой горячо его поблагодарил. Подвигались они, однако, очень медленно, так как в буре потеряли грот. И вот однажды, когда они находились в нескольких лигах от английского берега, Уайльд увидел вдали судно и, когда стал о нем расспрашивать, услыхал, что это, вероятно, английский рыболовный бот. А так как на море было совсем тихо, он предложил капитану снабдить его парой весел,— и тогда он догонит бот или по меньшей мере подойдет к нему достаточно близко, чтобы подать сигнал: он-де предпочитает любой риск верной судьбе французского пленника. Так как провизия (а особенно водка), на которую француз не скупился, подкрепила мужество

Уайльда, он говорил до того убедительно, что капитан после долгих уговоров согласился, наконец, и герою выдали весла, запас хлеба, свинины и бутылку водки. Тогда, простившись со своими спасителями, он снова пустился в море на своей лодчонке и стал грести так усердно, что вскоре попал в поле зрения рыболовов, которые тут же направились ему навстречу и подобрали его.

Очутившись благополучно на борту рыболовного бота, Уайльд немедленно начал просить, чтобы бот пошел со всею скоростью в Диль, так как корабль, который все еще оставался в виду, был пострадавшим в буре французским торговым судном; он держит курс на Гавр-де-Грас и может быть легко перехвачен, если найдется корабль, готовый погнаться за ним. Так, с истинным благородством великого человека наш герой пренебрег долгом благодарности к врагу своего отечества и сделал все что мог для захвата своего благодетеля, которому обязан был и жизнью и свободой.

Рыболовы приняли его совет и вскоре прибыли в Диль, где, к большому огорчению Уайльда — и, несомненно, читателя,— не оказалось ни одного корабля, готового к отплытию.

Итак, наш герой снова очутился в безопасности на terra firma [1], но, к сожалению, вдали от того города, где изобретательные люди могут с легкостью удовлетворять все свои нужды без помощи денег, или, вернее сказать, с легкостью добывать деньги на удовлетворение своих нужд. Однако, так как для его талантов не существовало трудностей, он очень ловко сплел историю о том, что он купец, взятый в плен и ограбленный неприятелем и что у него есть крупные средства в Лондоне,— и благодаря этому не только всласть попировал с рыбаком в его доме, но и захватил путем займа (способ захвата, который, как мы упоминали выше, вполне им одобрялся) изрядную добычу, давшую ему возможность оплатить место в почтовой карете, каковая с божьей помощью и подвезла его в положенный срок к одной из гостиниц столицы.

А теперь, читатель, поскольку ты можешь уже не волноваться за судьбу нашего великого человека, раз мы его благополучно доставили на главную арену его славы,— вернемся немного назад и посмотрим, как сложилась судьба мистера Хартфри, которого мы оставили в не очень-то приятном положении; но этим мы займемся в следующей книге.

---

[1] Твердой земле *(лат.)*.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Низкое и жалкое поведение мистера Хартфри и глупость его приказчика

Не надо думать, что Хартфри из-за своих несчастий не смыкал глаз. Напротив того, в первую ночь заключения он проспал несколько часов. Однако он, пожалуй, слишком дорого заплатил и за отдых и за сладкий сон, сопровождавший его,— сон, представивший ему его маленькую семью в одной из тех нежных сцен, какие часто в ней происходили в дни счастья и процветания, когда они с женой беседовали о будущих судьбах своих дочерей — самом милом их сердцу предмете разговора. Приятность этого видения послужила только к тому, что узнику по пробуждении его теперешнее бедствие представилось еще страшнее — и еще мрачнее стали мысли, толпившиеся в его уме.

Прошло немало времени с того часа, когда он впервые поднялся с кровати, на которую как бросился, не раздеваясь, так и проспал до рассвета, и его стало удивлять долгое отсутствие миссис Хартфри; но так как ум человеческий обладает склонностью (быть может, мудрою) утешаться, строя самые обольстительные выводы из всех неожиданностей, то и узник наш стал надеяться, что, чем дольше не приходит жена, тем вернее его освобождение. Наконец, нетерпение все-таки взяло верх, и он уже собрался отправить к себе домой посыльного, когда его пришел проведать молодой приказчик из его магазина и на его расспросы сообщил ему, что миссис Хартфри несколько часов тому назад уехала в сопровождении мистера Уайльда и увезла с собой из магазина весь самый ценный товар; и она, добавил приказчик, ясно ему объяснила, что получила на этот счет точные указания от своего мужа и что направляется в Голландию.

Некоторые мудрецы, изучавшие анатомию человеческой души более пристально, чем наши молодые врачи анатомию

ста, отмечают, что сильная неожиданность производит иное воздействие, чем то, какое производит на хорошую хозяйку беспорядок, замеченный ею на кухне,— беспорядок, который она в этих случаях обычно спешит распространить не только на весь свой дом, но и на всю округу. Но большие бедствия, и в особенности бедствия внезапные, ведут не к пробуждению всех способностей, а к их приглушению и подавлению; этому соответствует и рассказ Геродота * о лидийском царе Крезе, который горько плакал, глядя, как уводят в плен его слуг и царедворцев, но, увидев в том же положении свою жену и детей, застыл недвижимо, точно одурев; так стоял и бедный Хартфри, слушая рассказ своего приказчика, и ничто в нем не менялось, кроме краски, которая вовсе отлила от лица.

Приказчик, нимало не усомнившийся в правдивости своей хозяйки, увидав теперь столь явное удивление своего хозяина, онемел, как и он, и несколько минут оба безмолвно, в изумлении и ужасе, глядели друг на друга. Наконец, Хартфри воскликнул с тоской:

— Жена бросила меня в моих бедствиях!

— Боже упаси, сэр! — отозвался юноша.

— А что же сталось с моими бедными детьми? — спросил Хартфри.

— Они дома, сэр,— сказал приказчик.

— Слава богу! Их она тоже покинула! — воскликнул Хартфри.— Веди их сюда сию же минуту. Ступай, дорогой мой Джек, приведи сюда моих малюток — все, что осталось у меня теперь; лети, мальчик, если ты не надумал тоже покинуть меня в моих горестях.

Юноша ответил, что скорей умрет, чем замыслит такое, и, умоляя хозяина утешиться, подчинился его приказанию.

Как только он ушел, Хартфри в отчаянии бросился на кровать. Но когда он пришел в себя после первой вспышки страдания, его взяло раздумье, и неверность жены показалась ему делом невозможным. Ему вспоминалась ее неизменная нежность в обращении с ним, и была минута, когда он устыдился, что так легко допустил дурные мысли о ней; и все же другие обстоятельства — то, что она не приходила так долго, а потом, не написав ему, не прислав даже весточки, уехала со всеми его ценностями и с Уайльдом, относительно которого у него и раньше возникали кое-какие подозрения, наконец,— и это главное,— ее ложная ссылка на его распоряжения — все это вместе перетягивало на весах и убеждало в ее измене.

Он все еще предавался этим волнениям, когда добрый юноша-приказчик, спешивший, как мог, привел к нему детей. Отец обнял их горячо и любовно и без конца целовал в губки. Старшая девочка бросилась к нему почти с таким же пылом, какой проявил он сам при виде ее, и вскричала:

— Ах, папа! Почему ты все это время не приходишь домой

к бедной маме? Не думала я, что ты можешь оставить свою маленькую Нэнси на такое долгое время.

Тогда он спросил ее про мать и услышал, что утром она расцеловала их обеих и очень плакала о том, что его нет. И тут слезы хлынули потоком из глаз этого слабого, глупого человека, который не нашел в себе достаточно величия, чтобы преодолеть пошлый порыв нежности и человечности.

Потом он стал расспрашивать свою служанку, которая сама, по ее словам, ничего не знала и могла сообщить только одно: что хозяйка со слезами и поцелуями попрощалась утром с детьми и очень взволнованно препоручила их ее заботам; и она, служанка, обещала ей неизменно заботиться о них и будет верна своему слову, покуда дети на ее попечении. Хартфри горячо поблагодарил ее за это обещание и, потешившись еще немного нежностями, которых мы не станем описывать, передал детей на руки доброй женщине и отпустил ее.

ГЛАВА II

Монолог Хартфри, полный низменных и пошлых мыслей и лишенный всякого величия

Оставшись один, он посидел недолгое время молча и затем разразился следующим монологом:

«Что мне делать? Предаться унынию и отчаянию? Или бросить хулу в лицо всемогущему? Конечно, и то и другое равно недостойно разумного человека. В самом деле, что может быть бесполезнее и малодушнее, чем сетовать на судьбу, когда уже нечего не изменишь, или, пока еще есть надежда, оскорблять то высокое существо, которое лучше всех может поддержать ее в нашей душе? Но разве я волен в своих чувствах? Разве они настолько мне подчинены, что я могу договориться сам с собою, как долго мне горевать? Нет и нет! Наш разум, сколько бы мы ни обольщались, не имеет такой деспотической власти над нашим духом, чтобы он мог повелительным окриком мгновенно прогнать всю нашу печаль. Так что в нем толку? Либо он пустой звук, и мы обманываемся, думая, что у нас есть разум, либо он нам дан ради некой цели и ему предопределена некая роль премудрым создателем. Однако какое же другое может быть у него назначение, как не взвешивать справедливо, какова цена той или иной вещи, и направлять нас к тому совершенству человеческой мудрости, когда человек становится способен сообразовать свое суждение о каждом предмете с его действительным достоинством и не станет переоценивать или недооценивать ничего из того, на что надеется, чем наслаждается или что утрачивает? Разум не говорит нам бессмысленно: «Не ра-

дуйся!» или «Не горюй!» — это было бы так же тщетно и напрасно, как приказывать журчащему ручью остановить свой бег или ирому ветру не дуть. Он только не дает нам ребячески восторгаться, когда мы получаем игрушку, или плакать, когда мы ее лишаемся. Предположим теперь, что я утратил все утехи этого мира и навек потерял надежду на удовольствия или выгоды в будущем,— какое облегчение может доставить мне разум? Только одно: он покажет мне, что все свое счастье я полагал в игрушке; покажет, что к предмету своего желания умному человеку не стоит страстно стремиться, как не стоит оплакивать его потерю. Ибо есть игрушки, приспособленные ко всем возрастам — от погремушек до тронов; и ценность их, пожалуй, одинаковая для их различных обладателей: погремушка тешит слух младенца, и ничего бо́льшего лесть наушников не может дать государю. Государь так же далек от стремления вникнуть в источник и сущность своего удовольствия, как и младенец; и когда бы оба вникали, они должны были бы равно презирать его. И, конечно, если посмотреть на них серьезно и сопоставить их, мы неизбежно заключим, что весь блеск и все утехи, которые так любят люди и которых они — наперекор всем опасностям и трудностям — домогаются путем насилия и подлости, сто́ят не больше любого из тех пустяков, что выставлены для продажи в игрушечном магазине. Я не раз подмечал, как моя дочурка жадными глазами разглядывала куклу на шарнирах. Я понимал ее муки, ее желание и, наконец, сдался — решил побаловать девочку. В первую минуту, когда она получила желанное, какою радостью заискрилось ее лицо! С каким восторгом она завладела куклой! Но как мало удовольствия нашла она в обладании! А сколько потребовалось труда, чтобы кукла действительно доставила забаву! Шей ей новые наряды: мишурные украшения, сперва так привлекавшие взор, уже не тешат. И, сколько ни старайся, не заставишь ее ни стоять, ни ходить — изволь заменять это все разговором. Дня не прошло, как кукла была брошена где-то в углу и забыта, и девочка, пренебрегши дорогой игрушкой, предпочла ей другие, менее ценные. Как в своих стремлениях каждый человек похож на этого ребенка! Сколько преодолеет он трудностей, пока добьется желанного. Какая суетность почти во всяком обладании,— и какая пресыщенность там, где обладание кажется более прочным и реальным! В своих утехах большинство людей так же ребячливы и поверхностны, как моя дочурка: прикраса или безделица — вот за чем они гонятся, чем тешатся всю жизнь, даже в самые зрелые годы,— если только можно сказать о таких людях, что они достигли зрелости. Но глянем на людей более возвышенного, более утонченного склада ума: как быстро для них пустеет мир, как быстро в нем иссякают радости, достойные их стремлений! Как рано уходят они в одиночество и созерцание, в разведение плодовых деревьев и в уход за растениями,

в утехи сельской жизни, где вместе со своими деревьями они наслаждаются воздухом и солнцем и прозябают чуть ли не с ними наравне. Но предположим (хоть этого не допускает ни истина, ни мудрость), что есть в этих благах нечто более ценное и существенное,— разве самая неверность обладания ими не довольно обесценивает их? Как жалко владение, когда оно зависит от прихоти счастья, когда случай, мошенничество или грабеж так легко в любой день могут отнять их у нас,— и часто с тем большей вероятностью, чем выше для нас его ценность! Не значит ли это привязаться сердцем к пузырю на воде или к картине облаков? Какой безумец стал бы строить хороший дом или разбивать красивый сад на земле, которую так непрочно он закрепил за собой? Но опять-таки, пусть все это не столь бесспорно,— разве Фортуна, владетельница нашего поместья, сдает его нам в аренду пожизненно? А если и так, чего стоил бы даже такой договор? Допустим, что эти утехи даны нам неотторжимо,— зато как несомненно мы сами будем отторгнуты от них! Быть может, завтра или даже ранее; ибо, как говорит превосходный поэт:

Где будем завтра? Не на том ли свете?
Для тысяч это так, и ни один
В обратном не уверен.

Но если не осталось у меня надежды в этом мире, не могу ли я искать ее за его пределами? Те плодовитые писатели, которые затратили такой огромный труд на разрушение или ослабление доводов в пользу загробной жизни, бесспорно не настолько еще преуспели, чтобы отнять у нас надежду на нее. То действенное начало в человеке, которое так дерзновенно побуждает нас, не отступая ни перед какими трудностями, не щадя усилий, стремиться в этом мире к самым далеким и невероятным возможностям, конечно всегда готово потешить нас заманчивым видением прекрасных зáмков, которые, даже если их и считать химерическими, все-таки нельзя не признать самыми пленительными для человеческих глаз, тогда как дорога к ним, если мы правильно судим, так нетерниста и некамениста, так мало требует усилий от тех, кто ее изберет, что она справедливо зовется дорогою услад, и все ведущие к ней стези — стези мира. Если догмы христианской веры так обоснованы, как представляется мне, то из одного лишь этого положения можно вывести довольно такого, что утешит и поддержит самого несчастного из людей в его горестях. Итак, мой разум как будто внушает мне, что если проповедники и распространители неверия правы, то те потери, которые смерть приносит добродетельному человеку, не стоят его сожалений; а если (что кажется мне несомненным) они не правы, то блага, которые она им оставляет, не стоят того, чтобы ими дорожить и упиваться.

Итак, о себе мне печалиться нечего — только лишь о де-

тих!.. Но ведь то самое существо, чьей благости и власти я вверяю собственное счастье, равным образом и может и захочет оградить также и счастье моих детей. И не важно, какое положение в жизни достанется им в удел и суждено ли им есть хлеб, заработанный своим трудом или же добытый в поте лица другими. Может быть,— если мы со всем вниманием рассмотрим этот вопрос и разрешим его с должной искренностью,— первый слаще. Труженик-селянин, возможно, счастливей своего лорда, потому что желаний у него меньше, а те, какие есть у него, осуществляются с большей надеждой и меньшей тревогой. Я приложу все старания, чтобы заложить основу для счастья моих детей; я не стану воспитывать их для жизни в условиях, не соответствующих их средствам, и в этом буду уповать на то существо, которое всякому, кто истинно верит в него, дает силу стать выше всех земных скорбей!»

В таком низменном духе рассуждал этот жалкий человек, пока не привел себя в то восторженное состояние, когда душа постепенно становится неуязвимой для всех человеческих обид; так что, когда мистер Снэп сообщил ему, что пришел вторичный ордер и теперь он должен отвести его в Ньюгейт, он принял это сообщение, как Сократ принял весть о том, что корабли прибыли и пора готовиться к смерти *.

ГЛАВА III,

в которой наш герой идет дальше дорогой величия

Но не будем так долго задерживать внимание читателя на этих низких персонажах. Ему, конечно, так же не терпится, как публике в театре, чтобы вернулся на сцену главный герой; уступим же его желанию и проследим за действиями Великого Уайльда.

В почтовой карете, которая везла мистера Уайльда из Дувра, случилось ехать одному молодому джентльмену, продавшему в Кенте поместье и направлявшемуся в Лондон получить с покупателя деньги. И была там еще одна красивая молодая особа, бросившая в Кентербери своих родителей и тоже ехавшая в столицу, чтобы там (как она объяснила попутчикам) найти свое счастье. Юный ветреник так сильно влюбился в эту девицу, что при всем народе сообщил ей о цели своей поездки и предложил изрядную сумму единовременно и приличное содержание, если она соизволит вернуться вместе с ним в деревню, где она будет жить тихо и мирно вдали от своей родни. Приняла ли она предложение, или нет, мы не можем сказать с абсолютной достоверностью; но известно, что Уайльд, с той минуты, как услыхал о деньгах, начал прикидывать в уме, какими

средствами можно будет ими завладеть. Он пустился в разглагольствования о разных способах сохранно везти в дороге деньги и объяснил, что у него сейчас зашито в кафтане два банкнота, на сто фунтов каждый, которые, добавил он, «так хорошо укрыты, что я почти наверняка огражден от опасности ограбления даже со стороны самого бывалого разбойника».

Молодой джентльмен, который не был потомком Соломона, а если и был, то не в большей мере унаследовал мудрость своего прародителя, чем другие потомки мудрецов, похвалил изобретательность Уайльда и, поблагодарив за совет, объявил, что непременно последует ему на обратном пути в деревню: он рассчитывал избавиться таким образом от расхода на почтовый перевод. Уайльду оставалось теперь только распросить поточней о времени обратной поездки джентльмена, что он не преминул сделать, когда они расставались.

Приехав в Лондон, он наметил для своего предприятия двух молодцов, которых считал в своей шайке самыми решительными, и, пригласив одного из них — главного, или, как он считал, наиболее отчаянного (Уайльд никогда не делал своих сообщений двоим одновременно),— он предложил ему ограбить и убить молодого джентльмена.

Мистер Мерибон (так звали джентльмена, намеченного им в исполнители) с готовностью согласился на грабеж, но заколебался перед убийством. С грабежами, сказал он Уайльду, хорошенько взвесив и обдумав это дело, он отлично примирил свою совесть,— потому что, хотя тот благородный вид грабежа, который вершится на большой дороге, встречается из-за трусости людской не так уж часто, зато более низменные и мелкие разновидности его, именуемые иногда мошенничеством, но более известные под названием «законного грабежа», получили всеобщее распространение. Так что он не притязает на славу человека много более честного, чем все другие люди, но он ни в коем случае не согласен совершить убийство, которое есть «грех самой адской природы и так незамедлительно преследуется божьим судом, что никогда не проходит нераскрытым и безнаказанным».

С крайним презрением на лице Уайльд ответил так:

— Тебя я избрал из всей моей шайки для этого славного предприятия, а ты мне тут разводишь проповедь о мщении божьем за убийство? Выходит, с грабежом ты примирил свою совесть (хорошее слово!) именно потому, что это — дело обычное. А в убийстве, значит, тебя отвращает новизна? Не воображаешь ли ты, что ружье, и пистолет, и шпага, и нож — единственные орудия убийцы? Погляди вокруг, и ты увидишь, какое множество людей безвременно сводят в могилу изломанная судьба и разбитое сердце. Уж не говоря о тех многочтимых героях, которые, к своей бессмертной славе, вели на заклание целые народы,— что ты скажешь о преследовании судом со

стороны частных лиц, о предательстве и клевете, которые на свой лад убивают человека, отравляя ему душу? Разве не великодушней, не добрее отправить человека на вечный покой, чем, отобрав у него все достояние или по недоброжелательству и злобе лишив его доброго имени, обречь на томительную смерть, а то и хуже — на томительную жизнь? Значит, убийство не такое уж редкое дело, как ты по слабости своей воображаешь, хотя — как ты это сказал про грабеж — его более благородная разновидность, зажатая в когтях закона, быть может и необычна. Но из всех видов убийства этот наименее греховный для того, кто его творит, и наиболее предпочтительный для жертвы. Поверь мне, мальчик, жало ехидны не так зловредно, как язык клеветника, и золотая чешуя гремучей змеи не так ужасна, как мощна лихоимца. А потому не говори мне больше об угрызениях совести и без колебаний соглашайся на мое предложение, если ты не боишься, как женщина, запачкать кровью свою одежду или не страшишься, как дурак, быть повешенным в кандалах! Честное слово, уж лучше бы тебе быть честным человеком, чем стать мошенником наполовину. Не думай, что ты сможешь остаться в моей шайке, не отдавшись полностью под мою власть: потому что не даст награды рука моя никому, кто привержен чему-либо или руководится чем-либо, помимо моей воли!

Так закончил Уайльд свою речь, которая не оказала на Мерибона желанного действия: он шел на ограбление, но не соглашался совершить убийство, на котором настаивал Уайльд (из опасения, как бы Мерибон, потребовав от джентльмена, чтобы тот позволил ему осмотреть его кафтан, не навлек подозрения на него самого). Мерибон был тут же занесен Уайльдом в черный список и вскоре затем был выдан и казнен, как человек, на которого его вожак не мог вполне положиться. Так, подобно многим другим преступникам, пал он жертвой не преступности своей, а совести.

ГЛАВА IV,

в которой впервые появляется необыкновенно многообещающий молодой герой; и о других великих делах

Наш герой обратился потом к другому молодцу из своей шайки, который тотчас принял его приказание и не только не поколебался перед единичным убийством, а еще спросил, не размозжить ли кстати черепа и прочим пассажирам кареты, почтарю и всем остальным. Но Уайльд со свойственной ему и ранее нами отмеченной умеренностью этого не разрешил и, дав ему точное описание обреченного и все необходимые инструкции,

отпустил со строгим наказом по возможности не чинить вреда кому-либо еще.

Этот молодой человек, которому впредь предстоит играть довольно видную роль в нашей повести — роль Ахата при нашем Энсе или, скорей, Гефестиона при нашем Александре *,— именовался Файрблад *. Он обладал всеми качествами второразрядного *великого человека* — иными словами, был вполне способен служить орудием истинному или перворазрядному *великому человеку*. Мы поэтому опишем его негативно (самый правильный способ, когда дело идет о такого рода *величии*) и ограничимся тем, что укажем нашему читателю, какие свойства в нем отсутствовали: назовем из них гуманность, скромность и страх — три качества, которых во всем его существе не было ни крупицы.

Оставим теперь этого юношу, которого в шайке считали самым многообещающим и которого Уайльд не раз объявлял чуть ли не самым красивым парнем, какого ему доводилось видеть,— и того же мнения было о Файрбладе большинство его знакомых. Все-таки мы его оставим на пороге известного нам предприятия и перенесем внимание на нашего героя, которого узрим шагающим большими шагами к вершине человеческой славы.

Уайльд, вернувшись в Лондон, немедленно явился с визитом к мисс Летиции Снэп, ибо он не был свободен от этой слабости, столь естественной в мужчине героического склада,— позволять женщине порабощать его; сказать по правде, это вернее было бы назвать рабством у собственного сластолюбия: потому что, если бы он мог его утолить, он бы нимало не потревожился о том, что сталось с маленьким деспотом, в великом уважении к которому он так распинался. Здесь ему сообщили, что мистера Хартфри отправили накануне в Ньюгейт, так как поступил уже вторичный ордер на арест. При этом известии он несколько смутился,— но не в силу сострадания к несчастному мистеру Хартфри, к которому он питал такую закоренелую ненависть, точно сам претерпел от бывшего товарища те обиды, какие нанес ему. Следовательно, его смущение вызвано было другим. И действительно, Уайльда не устраивало место заключения мистера Хартфри, потому что оно должно было стать ареной его собственной грядущей славы и слишком часто пришлось бы ему видеть на ней человека, которому ему неприятно было бы смотреть в лицо — из ненависти, не из стыда.

Он раздумывал, как бы этому помешать, и разные способы приходили ему на ум. Сперва он помыслил, не убрать ли Хартфри с пути обыкновенным способом — то есть убийством, которое, как он не сомневался, Файрблад совершил бы с полной готовностью, ибо этот юноша при последнем их свидании клялся ему, что он — лопни его глаза! — не знает лучшего развлече-

ния, как разбивать черепа. Но этот способ, помимо сопряженной с ним опасности, казался недостаточно ужасным, недостаточно жестоким для последнего зла, которое наш герой считал необходимым причинить Хартфри. И вот, поразмыслив еще немного, Уайльд в конце концов пришел к решению послать Хартфри на виселицу,— и, если удастся, на ближайшей же судебной сессии.

Здесь я замечу: как ни часто наблюдалось, что люди склонны ненавидеть ими же обиженных и не любят прощать нанесенные ими самими обиды,— я не припомню, чтобы хоть раз и видел основание для этого странного на первый взгляд явления. А потому, узнай, читатель, что́ мы обнаружили после долгого и строгого изучения: мы обнаружили, что эта ненависть основана на чувстве страха и рождается из уверенности, что то лицо, которое мы сами с таким величием обидели, непременно постарается всеми доступными ему путями отомстить нам, воздать за нанесенную нами обиду. Убеждение это так прочно установилось в злых и великих умах (а тот, кто чинит обиды другому, редко бывает добрым и ничтожным), что никакая доброжелательность, ни даже благодеяние со стороны обиженного не могут его искоренить. Напротив того, все эти проявления доброты они приписывают обману или намерению усыпить их подозрения, чтобы потом, когда представится случай, тем вернее и жесточе нанести удар; и вот, в то время как добрый человек искренне забыл нанесенную ему обиду, злой обидчик бережет ее в памяти, живую и свежую.

Мы отнюдь не собираемся скрывать какие-либо открытия от читателя, так как наша повесть ставит себе целью не только развлекать его, но и поучать; поэтому мы здесь позволили себе несколько уклониться в сторону, чтобы вывести следующий краткий урок для того, кто прост и добродушен: хотя по-христиански ты обязан — и мы тебе так и советуем — прощать врага своего, все же *никогда не доверяй человеку, который может заподозрить, что тебе известно о зле, причиненном его стараниями.*

ГЛАВА V

Все больше и больше величия, беспримерного как в истории, так и в романах

Чтобы провести в жизнь благородный и великий план, изобретенный высоким гением Уайльда, первым необходимым шагом было вновь завоевать доверие Хартфри. Но как ни было оно необходимо, дело это оказалось сопряженным с такими непреодолимыми трудностями, что даже наш герой отчаялся было в успехе. Он далеко превосходил всех людей на свете твердостью взора, но задуманное предприятие, повидимому,

требовало этого благородного свойства в такой большой дозе, в какой никогда не обладал им ни один смертный. В конце концов герой наш все же решил попытаться, и, думается мне, успех его даст нам основание утверждать, что слова, высказанные римским поэтом о труде, который будто бы все побеждает, окажутся куда справедливей, если их применить к бесстыдству.

Разработав свой план, Уайльд пошел в Ньюгейт и, решительно представ пред Хартфри, горячо его обнял и расцеловал; и только тогда, осудив себя сперва за опрометчивость, а потом посетовав на неудачный исход, сообщил он ему во всех подробностях, что собственно произошло; при этом он скрыл только небольшой эпизод своего нападения на его жену, равно как и причину своих действий, которая, уверял он Хартфри, заключалась в желании сберечь его ценности в случае объявления банкротства.

Откровенная прямота этого заявления и невозмутимое выражение лица, с каким все это было изложено, и то, что Уайльда смущало, повидимому, только опасение за друга; и возможность, что слова его правдивы, в соединении с дерзостью и видимым бескорыстием этого посещения; да еще к тому его щедрые предложения немедленных услуг в такое время, когда у него, казалось бы, не могло уже быть никаких своекорыстных побуждений; а больше всего его предложение помочь деньгами — последний и вернейший знак дружбы,— все это вместе обрушилось с такой силой на склонное к добру (говоря языком пошлой черни) сердце простака, что мгновенно пошатнуло, а вскоре и опрокинуло его решительное предубеждение против Уайльда, который, видя, что весы склоняются в его сторону, во-время подбросил на их чашу сотню укоров самому себе за свое безрассудство и неуклюжее усердие в служении другу, так злополучно приведшее того к разорению; к этому Уайльд добавил столько же проклятий по адресу графа, которого он побожился преследовать своею местью по всей Европе, а под конец он обронил несколько зернышек утешения, заверив Хартфри, что жена его попала в самые благородные руки и что увезут ее не далее Дюнкерка, откуда ее нетрудно будет выкупить.

Хартфри и раньше только через силу мог допустить хотя бы малейшее подозрение в неверности жены, так что вероятность, пусть самая слабая, что жена ему не изменила, была несчастному дороже возвращения всех его ценностей. Он сразу отбросил все свое недоверие к обоим — и к ней и к другу, искренность которого (к успеху уайльдовых замыслов) зависела для него от тех же доказательств. Он обнял нашего героя, на чьем лице читались все признаки глубокого огорчения, и попросил его успокоиться; намеренья человека, сказал он, больше, чем его поступки, заслуживают благодарности, ибо делами людскими управляет либо случай, либо некая высшая сила;

дружбу же заботит только направление наших замыслов; и если они не увенчаются успехом или приведут к последствиям, обратным их цели, это нисколько не снижает заслугу доброго намеренья,— напротив того, должно еще дать право на сочувствие.

Вскоре, однако, любопытство толкнуло Хартфри на расспросы: он поинтересовался, как это Уайльду удалось вырваться из плена, в котором все еще томилась миссис Хартфри. Здесь герой наш тоже рассказал всю правду, умолчав лишь о том, почему так жестоко обошелся с ним французский капитан. Это он приписал совсем другой причине, а именно: попытке французов завладеть драгоценностями Хартфри. Уайльд всегда и во всем по возможности придерживался правды; это значило, как он говорил, обращать пушки неприятеля против него самого.

Так, благодаря изумительному поведению, поистине достойному похвал, Уайльд успешно разрешил первую задачу и повел речь о злобе мирской, порицая в частности жестокосердных кредиторов, которые никогда не считаются с тяжелыми обстоятельствами и безжалостно сажают в тюрьму должника, чье тело закон с неоправданной суровостью передает в их руки. Он добавил, что лично ему эта мера представляется чересчур суровым наказанием, равным тем, какие налагаются законом на самых больших преступников. По его мнению, сказал он, потерять свободу так же плохо, если не хуже, как лишиться жизни; у него давно решено: если когда-нибудь случай или несчастье подвергнет его заключению, то он поставит свою жизнь под величайший риск, лишь бы только вернуть себе свободу; при достаточной решимости это всегда достижимо; смешно же думать, что два-три человека могут держать взаперти две-три сотни людей, если, конечно, узники не дураки и не трусы, а тем более, когда они не в цепях и не в кандалах. Он продолжал в том же духе и, наконец, увидев, что Хартфри слушает с глубоким вниманием, рискнул предложить ему свои услуги для побега, устроить который, сказал он, будет нетрудно; он сам, Уайльд, создаст в тюрьме группу, а если и произойдут при совершении побега два-три убийства, то Хартфри не придется делить с другими ни ответственности за вину, ни опасности.

Есть одно злосчастное обстоятельство, которое встает поперек пути всем великим людям и разрушает их планы, а именно: чтобы провести свой замысел в жизнь, герой бывает вынужден, излагая его исполнителям, раскрывать перед ними склад своей души, и этот склад оказывается как раз таким, к какому иные писаки советуют людям относиться без доверия; и люди иной раз следуют этим советам. Поистине, немало неудобств возникает для великого человека из-за жалких этих щелкоперов, бесцеременно публикующих в печати свои намеки и сигналы обществу. Многие великие и славные проекты из-за этого-то и проваливались, а потому желательно было бы во всех

благоуправляемых государствах ограничить подобные вольности какими-либо спасительными законами и запретить всем писателям давать публике какие бы то ни было наставления, кроме тех, которые будут предварительно одобрены и разрешены вышеназванными великими людьми или же соответственными исполнителями и орудиями их воли; при такой мере публиковаться будет только то, что помогает успеху их самых благородных замыслов.

Совет Уайльда снова пробудил в Хартфри подозрения, и, взглянув на советчика с невыразимым презрением, он начал так:

— Есть одна вещь, потерю которой я оплакивал бы горше, чем потерю свободы, чем потерю жизни: это — чистая совесть, то благо, обладая которым, человек никогда не будет предельно несчастлив, потому что самый горький в жизни напиток подслащивается ею настолько, что его все-таки можно пить; тогда как без нее приятнейшие утехи быстро теряют всю свою сладость и самая жизнь становится безрадостна или даже мерзка. Разве уменьшите вы мои горести, отняв у меня то, что было в них моим единственным утешением и что я полагаю необходимым условием моего избавления от них? Я читал, что Сократ мог спасти свою жизнь и выйти из тюрьмы в открытую дверь, но отказался, не пожелав нарушить законы родины. Моя добродетель, может быть, не оказалась бы столь высока; но боже меня избави настолько прельститься соблазном свободы, чтобы ради нее пойти на гнусное преступление — на убийство! А что до жалкой уловки свершения его чужими руками, то она пригодна для тех, кто стремится избежать только временного наказания, но не годится для меня, так как не снимет с меня вины перед ликом того существа, которое я больше всего боюсь оскорбить; нет, она лишь усугубит мою вину столь постыдной попыткой обмануть его и столь подлым впутыванием других в свое преступление. Не давайте же мне больше такого рода советов, ибо величайшее утешение во всех моих горестях в том и состоит, что никакие враги не властны отнять у меня совесть, а я никогда не стану таким врагом самому себе, что нанесу ей ущерб.

Наш герой выслушал его с подобающим презрением, однако прямо ничего не сказал в ответ, а постарался по возможности замять свое предложение, сделав это с поразительной ловкостью. Этот тонкий метод сделать вид, будто ничего не произошло, когда вы получили отпор при атаке на чужую совесть, следует назвать искусством отступления, в котором не только генерал, но и политик находит иногда прекрасный случай блеснуть большим профессиональным талантом

Совершив такое удивительное отступление и заверив друга, что отнюдь не имел намеренья обременять его виной за убийство, Уайльд все же сказал в заключение, что считает излишней щепетильностью с его стороны этот отказ от побега; потом,

пообещав услужить ему всеми средствами, какие тот позволит применить, он пока что с ним распростился. Хартфри, побыв часок со своими детьми, отправился почивать и проспал до утра спокойно и безмятежно; меж тем как Уайльд, поступившись отдыхом, просидел всю ночь в раздумьях о том, как привести друга к неотвратимой гибели, не прибегая к его личному содействию, на которое он не мог теперь надеяться. С плодами его раздумий мы познакомим своевременно читателя, а сейчас нам нужно рассказать ему о куда более важных делах.

ГЛАВА VI

Исход похождений Файрблада; и брачный контракт, переговоры о коем могли бы вестись одинаково и в Смитфильде и в Сент-Джемсе

Файрблад возвратился, не выполнив возложенной на него задачи. Случилось, что джентльмен поехал обратно не той дорогой, как предполагал; так что все дело провалилось. Все же Файрблад ограбил карету, причем не удержался и разрядил в нее пистолет, поранив руку одному пассажиру. Захваченная добыча была не так велика — хоть и значительно больше, чем он показал Уайльду: из одиннадцати фунтов деньгами, двух серебряных часов и обручального кольца он предъявил только две гинеи и кольцо, поклявшись всеми клятвами, что больше не взял ничего. Однако, когда было объявлено об ограблении с обещанием награды за возврат кольца и часов, Файрбладу пришлось во всем сознаться и сообщить нашему герою, где он заложил часы, которые Уайльд, взяв за труды полную их стоимость, вручил законному владельцу.

Он не преминул по этому случаю отчитать молодого друга. Он сказал, что ему больно видеть в своей шайке человека, виновного в нарушении чести; что без чести *мазизму* конец; что *маз*, пока верен чести, может презирать все пороки в мире. «Тем не менее,— заключил он,— на этот раз я тебя прощаю, так как ты юноша, подающий большие надежды; и я надеюсь, что впредь никогда не уличу тебя в проступке по этой важной статье».

К тому времени Уайльд навел в своей шайке строгий порядок: все в ней слушались и боялись его. Кроме того, он открыл контору, где каждый ограбленный, уплатив за свои вещи всего лишь их стоимость (или немного больше), мог получить их обратно. В этом был большой прок для лиц, лишившихся серебряной вещицы, доставшейся от покойной бабушки, или для того, кто особенно дорожил какими-нибудь часами, кольцом, набалдашником трости, табакеркой и т. п. и не продал бы их

за цену в двадцать раз выше их стоимости,— потому ли, что владел ими слишком давно или слишком недавно, потому ли, что вещь принадлежала кому-то до него, или по другой столь же уважительной причине, придающей нередко безделушке бо́льшую цену, чем мог бы бесстыдно назначить за нее сам великий Мыльный Пузырь.

Казалось, Уайльд был на столь верном пути к приобретению состояния, так процветал в глазах всех знакомых джентльменов, вроде стражника и привратника Ньюгейта или мистера Снэпа и его товарищей по роду занятий, что в один прекрасный день оный мистер Снэп, отведя в сторону мистера Уайльда-старшего, вполне серьезно предложил ему то, о чем они частенько поговаривали в шутку: закрепить союз между их семьями, выдав дочь свою Тиши замуж за нашего героя. Старый джентльмен отнесся к предложению вполне благосклонно и пообещал сообщить о нем сыну.

В то утро, когда ему должны были сообщить эту новость, наш герой, и не мечтавший о счастье, которое уже само шло ему навстречу, призвал к себе Файрблада. Поведав юноше о своей пламенной страсти к девице и объяснив, какое доверие он ему оказывает, полагаясь на него и на его, Файрблада, честь, вручил письмо к мисс Тиши. Мы приведем это письмо в нашей хронике, не только почитая его крайне любопытным, но и видя в нем высший образец той отрасли эпистолярного искусства, которая именуется «любовные письма»,— образец, превосходящий все, что дает нам в этом роде *академия учтивости*. Призываем всех франтов нашего времени дать лучший в смысле содержания или орфографии.

Божественное и многоублажаемое созданье! Я не сомневаюсь, что те бриллиантовые глаза, которые зажгли такое пламя в моем сердце, спасобны в то же время это видеть. Было бы вышшей самонадеенностью воображать, что вы неведаете о моей лупви. Нет, сударыня, я таржественно заявляю, что изо всех красавиц зимнова шара ниадна не спасобна так ослипить мои глаза, как вы. Без вас все дворцы и замки будут для меня пустыней, а с вами дебри и топи будут для меня прилесней небесного рая. Вы мне, конечно, поверите, когда я поклянусь, что с вами фсякое место на земле для меня налично станет раем. Я уверен, что вы угадали мою пламеную страсть к вам, которую мне также невозможно скрыть, как невозможно вам или солнцу скрыть сеяние своей красоты. Увиряю вас, я не смыкаю глаз с тех пор как имел шчастье видеть вас в паследний раз; поэтому я надеюсь вы из сострадания акажете мне честь свидица с вами сиводня днем.

Остаюсь ублажающий вас, моя божественная,
ваш самый страстный поклонник и раб
Джонатан Вайльд.

Если орфография этого письма не совсем отвечает правилам, пусть читатель соблаговолит вспомнить, что такого рода недостаток можно осуждать в существе низменном, схоластического склада, но он не кладет пятна на то величие, о котором наша повесть старается дать высокое и полное представление. В сочинениях этого рода, как и во всех видах литературы, правильное правописание никогда не представлялось необходимым условием: были бы только налицо высокие особы, способные измышлять и составлять благородные проекты и рубить и кромить множество людей, а уж за талантливыми и опытными личностями, достаточно сильными в орфографии, чтобы увековечить их славословием, дело не станет. С другой стороны, если будет отмечено, что стиль этого письма не очень точно соответствует речам нашего героя, приведенным в нашей хронике, то мы ответим так: достаточно, если в них историк верно придерживается сущности, хотя и украшает их слог узорами собственного красноречия, без чего едва ли мы найдем хоть одну превосходную речь у тех древних историков (особенно у Саллюстия), которые их увековечили в своих писаниях. Да если взять современных витий,— как ни славны они своей велеречивостью,— едва ли их неподражаемые речи, публикуемые в ежемесячниках, вышли из уст разных Гургосов и прочих слово в слово такими, какими они приводятся там; не вернее ли предположить, что какой-нибудь красноречивый историк взял у них только суть и нарядил ее в те цветы риторики, которой не так уж блещут иные из этих Гургосов.

ГЛАВА VII

Дела, предшествовавшие бракосочетанию мистера Джонатана Уайльда с целомудренной Летицией

Но вернемся к нашему рассказу. Получив это письмо и поручившись честью, с добровольным добавлением страшнейших клятв, что верно исполнит свой посольский долг, Файрблад отправился к прекрасной Летиции. Дама, вскрыв и прочитав письмо, напустила на себя пренебрежительный вид и сказала Файрбладу, что ей непонятно, чего ради мистер Уайльд беспокоит ее с такой наглой назойливостью; она просит отнести письмо обратно; знай она наперед, сказала Летиция, от кого оно,— будь она проклята, если бы вскрыла его!

— Но на вас, молодой джентльмен,— добавила она,— я ничуть не сержусь. Мне скорее жалко, что такого красивого юношу используют для подобных поручений.

Эти слова она произнесла таким нежным тоном и сопро-

водила их таким шаловливым взглядом, что Файрблад, парень не промах, поймал ее руку и стал действовать дальше с таким пылом, что в несколько минут (если подражать его действиям быстротой рассказа) совершил насилье над прелестной девой,— верней, совершил бы, если бы она этого не предотвратила, своевременно сдавшись сама.

Сделав все, что мог, Файрблад вернулся к Уайльду и сообщил ему о происшедшем не больше того, что стал бы сообщать всякий разумный человек; в заключение он расхвалил красоту девицы, добавив, что и сам, если бы честь не запрещала, влюбился бы в нее; но черт его побери, если он не даст скорее растерзать себя бешеным лошадям, чем помыслит обидеть друга. Юноша так рьяно заверял в этом Уайльда, так крепко божился, что, не будь наш герой беззаветно убежден в неприступном целомудрии своей дамы, он, пожалуй, заподозрил бы, что Файрблад добился у нее успеха; но как бы там ни было, склонность друга к его невесте нисколько его не встревожила.

В таком положении находились любовные дела нашего героя, когда его отец принес ему предложение мистера Снэпа. Читатель должен был бы очень мало смыслить в любви да и во всем другом, если бы требовалось объяснять ему, какой прием встретило это предложение. Никогда слова «не виновен» не звучали слаще для слуха подсудимого или для приговоренного к повешению — весть об отмене казни, чем прозвучало сообщение старого джентльмена для слуха нашего героя. Он уполномочил отца на переговоры от его имени и жаждал лишь одного — быстроты.

Старики встретились, и Снэп, выведавший от мисс Тиши о сильной влюбленности жениха, постарался использовать это к своей наибольшей выгоде и хотел было не только сам отказать дочери в приданом, но еще и оттягать у нее то, чем она была обязана щедрости своих родных, особенно серебряную чашку для бульона емкостью в целую пинту — дар ее бабки. В этом, однако, сама девица позаботилась во-время ему помешать. Старый же мистер Уайльд отнесся к замыслам Снэпа недостаточно проницательно, так как все его внимание было поглощено его собственным намерением *обмишурить* (или, как выражаются другие, обмануть) оного Снэпа, показывая, будто назначает сына наследником всего своего имущества, тогда как в действительности он завещал ему только треть.

Пока старики улаживали таким образом свои дела, девица согласилась принимать мистера Уайльда и начала постепенно выказывать ему всю видимость нежности, насколько это позволяла ее прирожденная сдержанность, помноженная на еще большую искусственную сдержанность, привитую воспитанием. Наконец, когда между родителями все, повидимому, было со-

гласовано, контракт составлен и капитал девицы (на семнадцать фунтов и девятнадцать шиллингов наличными и вещами) выплачен, установили день бракосочетания, и свадьба соответственно была отпразднована.

Большая часть романов, да и комедий, заканчивается на этой ступени,— так как романисты и поэты полагают, что достаточно сделали для своего героя, женив его, или, пожалуй, они этим дают понять, что остальная жизнь его должна представить собой скучное затишье счастья, правда сладостного для самого героя, но несколько пресного для повествования; да и вообще брак, я полагаю, следует бесспорно признать состоянием спокойного благополучия, допускающего так мало разнообразия, что он, как равнина Солсбери, предлагает только один пейзаж — пусть и приятный, но все время один и тот же.

И вот все, казалось, обещало, что этот союз приведет к подобной счастливой гармонии, благодаря, с одной стороны, высоким совершенствам молодой девицы, обладавшей, по общему мнению, всеми необходимыми качествами, чтобы сделать брак счастливым, а с другой стороны — поистине пламенной страсти мистера Уайльда; но потому ли, что природа и Фортуна предназначили его к выполнению великих замыслов и не хотели допустить, чтобы его незаурядные способности пропали втуне, утонув в объятиях жены, или же природа и Фортуна были тут ни при чем,— этого я не стану предопределять, достоверно лишь одно: их брак не привел к тому состоянию ясного покоя, о каком упоминали мы выше, и больше походил на самое бурное море, чем на тихую заводь.

Не могу не привести здесь довольно остроумное соображение одного моего приятеля, который долгое время был близок с семьею Уайльдов. Он мне не раз говорил, что, ему кажется, причина неладов, возникших вскоре между Джонатаном и его супругой, восходила к большому числу кавалеров, которых она до свадьбы дарила благосклонностью; леди, говорит он (и это вполне правдоподобно), ждала, верно, от мужа всего, что получала раньше от нескольких, и, злясь, что один мужчина не так хорош, как десять, в гневе позволяла себе выходки, которые нам нелегко оправдать.

Этот же приятель доставил мне следующий диалог, по его уверению однажды подслушанный им и записанный verbatim [1]. Происходил он между молодоженами через две недели после свадьбы.

---

[1] Дословно *(лат.)*.

ГЛАВА VIII

Супружеский разговор, происходивший между Джонатаном Уайльдом, эсквайром, и его женой Летицией утром четырнадцатого дня после празднования их бракосочетания и закончившийся более мирно, чем это обычно бывает при такого рода дебатах

Джонатан. Дорогая моя, мне хотелось бы, чтобы сегодня ты подольше полежала в кровати.

Летиция. Право, не могу. Я пригласила на завтрак Джека Стронгбоу.

Джонатан. Не понимаю, почему Джек Стронгбоу вечно околачивается в моем доме. Знаешь, меня это не устраивает. Хоть я и не беру под сомнение твою добродетель, но это вредит твоей репутации в глазах моих соседей.

Летиция. Буду я еще дурить себе голову из-за соседей! Если я у мужа не спрашиваю, с кем водить компанию, то и они мне не указ.

Джонатан. Хорошая жена не станет водить компанию с человеком, раз это неприятно ее мужу.

Летиция. Могли бы, сэр, подыскать себе хорошую жену, если вам это было нужно, я не стала бы возражать.

Джонатан. Я думал, что нашел ее в тебе.

Летиция. Ты думал? Премного обязана, что ты считаешь меня такою жалкой дурой! Но, надеюсь, я докажу тебе обратное. Вот как! Ты, должно быть, принимал меня за простоватую, безмозглую девчонку, которая понятия не имеет, что проделывают другие замужние женщины?

Джонатан. Не важно, за что я тебя принимал. Я тебя взял, чтобы делить с тобой счастье и горе!

Летиция. Да! Взял к тому же по собственному своему желанию. Потому что, уверяю тебя, мое желание было тут ни при чем. Сердце мое не было бы разбито, если бы мистер Уайльд нашел более удобным осчастливить другую женщину, ха-ха!

Джонатан. Надеюсь, сударыня, вы не воображаете, что это было не в моей власти или что я женился на вас из-за какой-то необходимой надобности?

Летиция. О нет, сэр; я не сомневаюсь, что дур на свете хватает. И вовсе я не собираюсь обвинять вас в том, что вам так уж надобна жена. Я думаю, вы вполне удовольствовались бы и холостым состоянием: мне не приходится жаловаться, что я вам уж слишком нужна; но этого, вы знаете, женщина не может заранее предугадать.

Джонатан. Мне невдомек, что ты мне ставишь в вину, потому что, думается мне, ты меньше всякой другой женщины вправе жаловаться на недостаточную любовь своего мужа.

Летиция. Значит, многие женщины слишком высоко ценят любовь своих мужей. Но я-то знаю, что такое настоящая любовь. *(При этих словах она тряхнула головой и приняла многозначительный вид.)*

Джонатан. Хорошо, сладость моя, я так тебя буду любить, что большего и желать невозможно.

Летиция. Прошу вас, мистер Уайльд, без этих противных приемов и отвратительных слов! Да, я хочу, чтоб вы меня любили! Я просто не понимаю, какие вы мне приписываете мысли. У меня нет желаний, не подобающих добродетельной женщине. Их не было бы даже и тогда, когда бы я вышла замуж по любви. А тем более теперь, когда меня, надеюсь, никто не заподозрит в подобной вещи.

Джонатан. Чего же ради ты вышла замуж, если не по любви?

Летиция. Вышла потому, что мне это было удобно, да и родители принуждали.

Джонатан. Надеюсь, сударыня, вы все-таки не скажете мне в лицо, что вы меня использовали для собственного вашего удобства?

Летиция. Ничуть я вас не использовала. И не имею чести в вас для чего-то нуждаться!

Джонатан. Зачем же ты сделала меня своим мужем?

Летиция. Ты сам себя сделал: еще раз повторяю, сделано это по твоему желанию, не по моему!

Джонатан Ты должна считать себя обязанной мне за такое желание!

Летиция. Ля-ля, сэр! Вы не были в нем так уж одиноки! Я не отчаивалась выйти замуж. У меня были другие предложения, и даже лучшие.

Джонатан. От души жалею, что ты их отклонила.

Летиция. Должна вам заметить, мистер Уайльд, что не следует так грубо обходиться с женщиной, которой вы стольким обязаны. Однако у меня достанет ума пренебречь этим и пренебречь вами за такое ваше обращение. В самом деле, хорошо вы мне платите за то, что я имела глупость предпочесть вас всем остальным! Я льстила себя надеждой, что со мною будут хоть учтиво обращаться. Я полагала, что выхожу замуж за джентльмена, но убедилась, что вы во всем презренный человек и не стоите того, чтобы мне из-за вас огорчаться.

Джонатан. Черт побери, сударыня! Разве у меня не больше оснований жаловаться, когда вы говорите, что вышли за меня только удобства ради?!

Летиция. Очень красиво! Неужели это достойно мужчины — ругать женщину? Но стоит ли говорить об обиде, когда она исходит от жалкого человека, которого я презираю?

Джонатан. Не повторяй так часто это слово. Я тебя презираю так сильно, как ты не можешь презирать меня.

И, сказать по правде, женился я на тебе тоже только удобства ради — чтоб удобней было насытить свою страсть. Теперь же я ее насытил, и, по мне, можешь убираться ко всем чертям.

Летиция. Весь мир узнает, как варварски обращается со мной этот мерзавец!

Джонатан. А мне и утруждать себя не надо, чтобы весь мир узнал, какая ты с..а,— твои поступки говорят за себя.

Летиция. Чудовище! Советую тебе не слишком полагаться на мой слабый пол и не дразнить меня через меру: я могу причинить тебе немало зла — и причиню, раз ты смеешь так меня поносить, мерзавец!

Джонатан. Пожалуйста, хоть сейчас, сударыня. Но знайте: с того часа, как вы отказываетесь от своего пола, я перестаю обходиться с вами, как с женщиной; и если вы нанесете первый удар, обещаю вам: последний удар нанесу я.

Летиция. Обходитесь со мной, как хотите, но, черт меня возьми, больше я вам никогда не дам обходиться со мной как с женщиной. Будь я проклята, если когда-нибудь снова лягу с вами в одну постель!

Джонатан. Будь я проклят, если таким воздержанием вы не окажете мне величайшего одолжения! Заверяю вас честью, ваша особа — вот все, что мне было от вас нужно; а теперь она мне в той же мере омерзительна, как раньше была приятна. Уважать вас я никогда не уважал.

Летиция. Мы сходимся с вами как нельзя лучше, потому что ваша особа была мне омерзительна всегда; а что до уважения, то можете не сомневаться: я его к вам никогда не питала.

Джонатан. Что ж, раз мы пришли к взаимному пониманию и раз нам нужно жить вместе, может быть, чем ссориться и браниться, мы договоримся быть друг с другом вежливыми?

Летиция. Я — со всей душой!

Джонатан. Значит — по рукам! И с этого дня мы не живем как муж и жена: то есть не ссоримся больше и не занимаемся любовью.

Летиция. Согласна. Но все-таки, мистер Уайльд, почему с..а? Как вы позволили себе произнести такое слово?

Джонатан. Стоит ли об этом вспоминать?

Летиция. Итак, вы разрешаете мне встречаться, с кем мне заблагорассудится?

Джонатан. Без всякого контроля. И та же свобода предоставляется мне?

Летиция. Если я вмешаюсь, пусть меня постигнут все проклятия, каких вы можете мне пожелать!

Джонатан. Поцелуемся на прощанье, и пусть меня повесят, если это не будет для меня самым сладким вашим поцелуем!

Летиция. Но почему — с..а? Мне хотелось бы знать, почему с..а?

На этом ее слове он вскочил с кровати и послал к черту ее и ее прав. Она ответила такой же бранью, и обмен любезностями продолжался все время, пока Джонатан одевался. Тем не менее они условились твердо держаться своего нового решения. И, радуясь этому оба, они в конце концов весело разошлись, хотя Летиция не утерпела и в заключение спросила еще раз:

— Почему с..а?

ГЛАВА IX

Замечания по приведенному выше диалогу и низкие намерения нашего героя, которые должны показаться презренными каждому ценителю величия

Так, этот супружеский диалог, в котором, однако, очень слабо чувствовалась сладость супружества, привел в конце концов к не совсем благочестивому, но зато разумному решению — такому, что, если бы наши молодожены строго его придерживались, оно не раз избавило бы от неприятных минут как нашего героя, так и его кроткую супругу; но их взаимная ненависть была так сильна и безотчетна, что ни он, ни она не могли видеть спокойствия на лице другого и непременно пытались его согнать. Это побуждало их то и дело мучить и донимать друг друга, а жизнь бок о бок доставляла столько случаев выполнять эти злобные намерения, что им не часто доводилось провести вместе хоть один легкий или мирный день.

Это, и ничто другое, читатель, является причиной тех постоянных волнений, что нарушают покой некоторых супружеских пар, принимающих непримиримую ненависть за равнодушие; почему, скажите, Корвин, который вечно заводит интриги и крайне редко и неохотно проводит время с женой,— почему он старается мешать ей, когда она в свой черед ищет удовлетворения в интриге? Почему Камилла отказывается от соблазнительного приглашения, предпочитая остаться дома и срамить мужа за его собственным столом? Или, не приводя других примеров, скажем коротко: откуда проистекают все эти ссоры и сцены ревности и дрязги между людьми, не любящими друг друга, если не из этой благородной страсти, указанной нами, не из этого желания «излечить друг друга от улыбки», как выразилась миледи Бетти Модиш?

Мы сочли нужным дать читателю эту картинку домашней жизни нашего героя, чтобы тем яснее показать ему, что великие люди подвержены в быту слабостям и неурядицам наравне с маленькими и что герои действительно принадлежат к одному виду со всем прочим людом, сколько бы ни старались и сами они и их льстецы утверждать обратное; отличаются же они от

других главным образом безмерностью своего величия или, как это ошибочно называет чернь, своей подлости. А теперь, поскольку нельзя в истории о возвышенном так долго задерживаться на низких сценах, мы вернемся к делам более высокого значения и более соответственным нашему замыслу.

Когда мальчик Гименей своим пылающим факелом отогнал от порога мальчика Купидона — то есть, говоря обычным языком, когда бурная страсть мистера Уайльда к целомудренной Летиции (вернее, его аппетит) начала утихать,— он пошел проведать своего друга Хартфри, который теперь пребывал в пределах Флита, попав туда после разбора его дела в комиссии по банкротству. Здесь он встретил более холодный прием, чем ожидал. У Хартфри давно уже возникли подозрения против Уайльда, но временами обстоятельства устраняли их, а главным образом их заглушала та ошеломляющая самоуверенность, которая была самой удивительной добродетелью нашего героя. Хартфри не хотел осуждать друга, пока не получит несомненных доказательств, и хватался за каждое подобие вероятности, чтобы его оправдать; но предложение, которое тот сделал ему при последнем свидании, так безнадежно очернило нашего героя в представлении этого жалкого человека, что чаши колебавшихся весов пришли, наконец, в равновесие, и больше он уже не сомневался, что Джонатан Уайльд — один из величайших негодяев в мире.

Часто самое странное неправдоподобие иных обстоятельств ускользает от человека, когда он жадным слухом глотает рассказ; читатель поэтому не должен удивляться, что Хартфри, в смятении разнородных чувств, встревоженный сперва за верность жены, потом за ее безопасность, а под конец одолеваемый сомнениями относительно друга, пока тот вел свою повесть, не обратил особого внимания на одну частность, очень невнятно обоснованную рассказчиком: было не ясно, почему собственно капитан французского капера ссадил его в лодку; но теперь, когда Хартфри в сильном предубеждении против Уайльда стал все это перебирать в своих мыслях, несообразность этой детали вспыхнула перед его глазами и крайне его поразила. Страшная мысль напрашивалась сама собой и мучила воображение: а что, если все это выдумка? Быть может, Уайльд, готовый, по собственным словам, на любое, хоть самое черное, дело, похитил, ограбил и убил его жену?!

Нестерпимая мысль! А все же Хартфри не только всячески оборачивал ее в уме и тщательно проверял, но даже поделился ею с юным Френдли при первом же свидании. Френдли, ненавидевший Уайльда (должно быть, из зависти, которую великие натуры естественно внушают мелкому люду), так поддержал эти подозрения, что Хартфри решил схватить нашего героя и предать его в руки властей.

Уже прошло некоторое время, как решение это было принято, и Френдли с ордером и констеблем уже несколько дней усердно разыскивал Уайльда, но безуспешно — потому ли, что молодожены, уступая модному обычаю, уехали куда-то проводить медовый месяц — единственный, когда обычай и мода позволяют мужу и жене как-то общаться друг с другом; или же Уайльд по особым причинам сохранял в тайне свое местожительство, по примеру тех немногих великих людей, которых закон оставил, по несчастью, без того справедливого и почетного покровительства, каким он обеспечивает неприкосновенность другим великим людям.

Однако Уайльд решил пойти дорогой чести далее, чем требует долг; и хотя ни один герой не обязан принимать вызов милорда главного судьи или другого должностного лица и может без ущерба для чести уклониться от него, но такова была отвага, таковы были благородство и величие Уайльда, что он лично явился на зов.

Впрочем, зависть может подсказать нечто такое, что ущемит славу этого деяния, а именно, что оный мистер Уайльд ничего не знал об оном ордере и вызове; а так как яростная злоба — ты это знаешь, читатель,— ничем не побрезгует, лишь бы как-нибудь очернить столь высокий облик, то и здесь она постаралась приписать второй визит нашего героя к его другу Хартфри совсем иным побуждениям, а вовсе не стремлению установить свою невиновность.

ГЛАВА X

Мистер Уайльд с небывалым великодушием приходит на свидание к своему другу Хартфри и встречает неблагодарный прием

Известно, что мистер Уайльд, по самой строгой проверке не обнаружив в том уголке человеческой природы, который зовется собственным сердцем, ни крупицы жалкого, низменного свойства, именуемого честностью, пришел к выводу, быть может слишком обобщенному, что такой вещи нет совсем. Поэтому решительный и безусловный отказ мистера Хартфри пойти на соучастие в убийстве он склонен был приписать либо его боязни запятнать свои руки кровью, либо страху перед призраком убитого, либо же опасению явить своей особой новый пример для превосходной книги под названием «Возмездие господне за убийство»; и он не сомневался, что Хартфри (во всяком случае в своем теперешнем тяжелом положении) без зазрения совести согласится на простой грабеж, особенно если ему пообещают изрядную добычу и представят нападение явно

безопасным; а потом, когда удастся склонить его на это дело, он тотчас же будет обвинен, осужден и повешен. Итак, отдав должную дань Гименею и услышав, что Хартфри находится под гостеприимным кровом Флита, Уайльд решил сейчас же его навестить и предложить ему заманчивое ограбление — прибыльное, легкое и безопасное.

Едва выложил он свое предложение, как Хартфри заговорил в ответ следующим образом:

— Я мог надеяться, что ответ мой на прежний ваш совет оградит меня от опасности получить второе оскорбление такого рода. Я именую это оскорблением; и, конечно, если оскорбительно обозвать человека подлецом, то не менее оскорбительно, если вам дают понять, что видят в вас подлеца. Право, удивительно, как может человек дойти до такой дерзости, до такого, позволю я себе сказать, бесстыдства, чтобы первым обратиться к другому с подобными предложениями! Они, конечно, редко делаются тому, кто раньше не проявил каких-либо признаков низости. Поэтому, выкажи я такие признаки, эти оскорбления были бы в какой-то мере извинительны; но, уверяю вас, если вам и привиделось что-то злостное, то это нечто внешнее и не отражает ни тени внутренней сущности,— потому что низость представляется мне несовместимой с правилом: «Не наноси обиды другому ни по какому побуждению, ни по каким соображениям». Этому правилу, сэр, я следую неуклонно, и только у того есть основания мне не верить, кто сам отказался следовать ему. Но, верят ли, или не верят, что я ему следую, и чувствую ли я на себе, или нет, благие последствия соблюдения этого правила другими,— я твердо решил держаться его; потому что, когда я его соблюдаю, никто не пожнет пользы, равной той радости, какая утешит меня самого. Ибо как пленительна мысль, как вдохновительно убеждение, что всесильное добро в силу самой природы своей непременно меня наградит! Каким безразличным ко всем превратностям жизни должна делать человека такая уверенность! Какими пустячными должны ему представляться и услады и горести этого мира! Как легко мирится с утратой утех, как терпеливо сносит несчастья тот, кто убежден, что, если нет ему здесь преходящей и несовершенной награды, тем вернее получит он за гробом награду прочную и полную. А ты вообразил — ты, мелкое, презренное, ничтожное животное (такими словами поносил он нашего воистину великого человека),— что я променяю эти светлые надежды на жалкую награду, которую ты можешь предложить мне или посулить, на грязный барыш, ради которого несет все труды и муки труженик, вершит все варварства, все мерзости подлец,— на жалкое приобретение, какое тебе подобный может захватить, или дать, или отнять!

Первая половина этой речи вызвала зевоту у нашего героя, но вторая пробудила в нем негодование, и он накапливал

время для ответа, когда в комнату вошли Френдли с конвоем (которых Хартфри распорядился призвать, как только появился Уайльд) и схватили великого человека в то самое мгновение, как его бешенство разразилось потоком слов.

Последовавший затем диалог не стоит передавать: Уайльду быстро разъяснили причину столь грубого обхождения и тотчас повели его к судье.

На следствии адвокат Уайльда высказал ряд соображений, настаивая, что действия судьи неправильны, так как сперва должно быть вынесено постановление de homine replegiando [1], и лишь по возвращении исполнителем соответственного ордера можно выдать новый, на capias in zagrivcam [2]; но, невзирая на эти протесты, судья склонен был засадить арестованного, так что Уайльду пришлось применить иные методы защиты. Он попросил судье, что в лодке с ним был один молодой человек, и попросил, чтобы за ним послали. Просьба была уважена, и верный Ахат (мистер Файрблад) вскоре предстал пред судом, чтобы свидетельствовать в пользу своего друга. Он проявил искреннее рвение и давал при опросе вполне связные показания (хотя все свои сведения должен был почерпнуть только из намеков, сделанных ему Уайльдом в присутствии судьи и обвинителей); и так как это было прямое свидетельство против голословного предположения, наш герой был с почетом оправдан, а бедного Хартфри и судья, и публика, и все, кому позднее доводилось слышать об этой истории, обвиняли в чернейшей неблагодарности, вплоть до попытки отнять жизнь у человека, перед которым он был в таком большом долгу.

Чтобы читателя не слишком удивляло в наш век упадка такое высокое проявление дружбы со стороны Файрблада, нужно, пожалуй, объяснить, что, помимо чисто профессиональной связи, нашего героя и этого юношу соединяли и другие, более тесные и крепкие узы: ибо Файрблад только что вышел из объятий прелестной Летиции, когда пришла к нему весть от ее супруга. Этот пример может служить также к оправданию того неизменного переплетения любви и приятельства, которое в современности стало столь обычным между мужем и любовником. Поистине великая сила товарищества скрепляет этот более почетный, нежели законный союз, почитающийся едва ли не крепчайшими узами, связующими великих людей, и самым благородным и легким путем к завоеванию их благосклонности.

Со времени первого заключения Хартфри прошло уже четыре месяца, и дела его начинали принимать более благоприят-

---

[1] О том, что человек подлежит задержанию *(лат.)*.

[2] Хватай за... *(лат.)*. Далее идет искаженное на латинский лад слово.

ный оборот, но им сильно повредила эта попытка обвинить Уайльда (так опасно всякое нападение на *великого человека*): многие соседи Хартфри и особенно два-три купца, глубоко возмущенные такою гнусностью, усердно старались как можно шире разнести молву о его неблагодарности и сильно преувеличить ее; в пылу негодования они, не стесняясь, добавляли разные мелкие подробности собственного измышления о множестве услуг, оказанных Хартфри Уайльдом. Со всей этой клеветой узник спокойно мирился, утешаясь сознанием собственной невиновности и надеясь, что время — верный друг справедливости — обелит его.

ГЛАВА XI

Глубоко продуманный проект, посрамляющий все интриги нашего века; с первым и вторичным отступлениями

К ненависти, которую Уайльд питал к Хартфри из-за тех обид, какие сам ему чинил, прибавилась злоба за нанесенную ему другом обиду (несправедливую, казалось Уайльду, потому что он со слепотою любого постороннего человека не видел, насколько он ее заслуживал). И теперь Уайльд прилагал все старания, чтобы окончательно погубить того, чье имя стало ему ненавистно, когда, на счастье, в его воображении возник проект, суливший привести к цели не только вполне безопасным путем, но еще и посредством того зла (это ему больше всего нравилось), которое он сам же совершил: человек привлекался к ответственности за то, что ты же против него учинил, а потом подвергался суровейшей каре за деяние, в котором он не только не повинен, но от которого сам тяжело пострадал. Словом, Уайльд задумал не что иное, как обвинить Хартфри в том, что он услал жену за границу со своими ценнейшими товарами в целях обойти кредиторов.

Едва пришла ему эта мысль, как он тотчас решил ее осуществить. Оставалось только обдумать *quomodo*[1] и выбрать орудие — то есть исполнителя: ибо сцена жизни тем в основном и отличается от сцены Дрюри-Лейна, что если на театре герой или первый актер почти непрерывно находится у вас перед глазами, тогда как второстепенные актеры покажутся за вечер раз-другой,— то на сцене жизни герой или великий человек держится всегда за занавесом и редко или даже никогда не появляется на виду и ничего не совершает самолично. В этой *высокой драме* ему принадлежит скорее роль суфлера, и он только указывает разодетым фигурам, выступающим на сцене перед публикой, что сказать и что сделать. Собственно говоря, нашу

[1] Образ действия (*лат.*).

мысль лучше объяснило бы сравнение с кукольным спектаклем, где управитель (великий человек) заставляет двигаться и танцевать всех, кого бы мы ни видели на сцене,— будь то царь Московии и любой другой монарх — сиречь кукла,— а сам благоразумно держится в тени: потому что, стоило бы ему показаться — и все остановилось бы! Не то, что бы никто не знал, что он здесь, или не подозревал бы, что куклы — простые деревяшки и движет всем он один; но так как это не происходит открыто, то есть не делается у всех на глазах (хоть и каждому это известно), то никому не совестно соглашаться, чтоб его обманывали, и способствовать ходу драмы, называя деревяшки или куклы теми именами, какие присвоил им управитель, и приписывая каждой ту роль, в какой великий человек назначил им двигаться — или, точнее, в которой он сам ими движет по своему желанию.

Вообразить, дорогой читатель, что ты никогда не видел этих кукольных спектаклей, разыгрываемых так часто на большой сцене, значило бы почти совсем отказать тебе в знании света; но хотя бы ты и прожил все свои дни в тех отдаленных уголках нашего острова, куда лишь редко наезжают великие люди, все же, если ты не вовсе лишен проницательности, тебе случалось, конечно, удивляться и торжественному виду актера и степенности зрителя, когда разыгрывались перед тобою фарсы, какие почти ежедневно можно наблюдать в каждой деревне нашего королевства. Надо быть слишком презренного мнения о роде человеческом, чтобы думать, будто люди так часто дают себя провести, как они это показывают. Истина в том, что они попадают в положение читателей романа, которые хоть и знают, что все это сплошная выдумка, но все же соглашаются поддаваться обману; и как эти получают при таком согласии развлечение,— так тем оно доставляет удобство и покой. Но это уже вторичное отступление, возвращаюсь к первоначальному.

Великий человек должен делать свое дело через других — нанимать рабочие руки, как говорилось выше, для выполнения своих замыслов, а сам держаться по возможности за занавесом; и хотя нельзя не признать, что два весьма великих человека, чьи имена войдут, несомненно, в историю, с недавнего времени стали выходить на сцену, открыто рубя и кроша друг друга самым жестоким образом на забаву зрителям *,— это можно, однако, привести не как образец для подражания, а как образец того, чего следует избегать, как один из многочисленных примеров, служащих к подтверждению справедливости истин: «Nemo mortalium omnibus horis sapit». «Ira, furor brevis est...» [1] и так далее.

---

[1] Никто из смертных не бывает во всякий час благоразумен. Неистовство, гнев бывают кратковременны... *(лат.)*

ГЛАВА XII

Новые примеры глупости Френдли и т. д.

Вернемся к нашей хронике, которую после небольшой передышки мы можем теперь повести дальше. Лицом, способным сослужить ему службу в этом деле, Уайльд наметил Файрблада. При последнем испытании он достаточно проверил талант юноши к огульному лжесвидетельству. Итак, он его тотчас же разыскал и предложил ему взять на себя это дело. Тот сразу согласился; они тут же составили показания, передали их одному из самых обозленных и суровых кредиторов Хартфри, а тот представил дело в суд; и когда Файрблад подтвердил показания под присягой, судья немедленно выдал ордер, согласно которому Хартфри схватили и привели к нему.

Когда судейские пришли за беднягой, они застали его за жалким занятием: он забавлялся со своими дочками. Младшая сидела у него на коленях, а старшая немного поодаль играла с Френдли. Один из судейских, отличный человек, но похвально строгий в отправлении своих обязанностей, объяснив Хартфри, с чем он явился, велел ему следовать за собой и попасть к черту в лапы, а этих пащенков (ведь они, сказал он, наверно рождены вне брака) оставить на попечение прихода. Хартфри был крайне удивлен, услышав, что его привлекают к суду по уголовному делу, но на лице у него отразилось меньше тревоги, чем у Френдли. Старшая девочка, увидев, что судейский схватил ее отца, сейчас же прекратила игру, подбежала к нему и, обливаясь слезами, вскричала:

— Вы не сделаете зла бедному папе?

Другой наглец попробовал грубо сбросить младшую с его колен, но Хартфри вскочил и, взяв молодца за шиворот, так яростно стукнул его головой о стену, что, будь в этой голове хоть сколько-нибудь мозгов, они, вероятно, вылетели бы вон при таком ударе.

Пристав, как большинство тех героических натур, которые склонны оскорблять человека в несчастье, при всем своем рвении к правосудию обладал и некоторым благоразумием. Поэтому, видя, к чему привела грубость его товарища, он прибег к более вежливому обхождению и очень учтиво попросил мистера Хартфри последовать за ним, потому что он как-никак судебный пристав и обязан выполнить приказание; ему очень жаль, что джентльмен попал в беду, сказал пристав, и он надеется, что джентльмен будет оправдан. Тот ответил, что готов терпеливо подчиниться законам страны и пойдет за ним, куда ему приказано его отвести. Потом, попрощавшись с детьми и нежно их расцеловав, он препоручил их заботам Френдли, который обещал проводить их домой и затем прийти помочь Хартфри к судье, фамилию и местожительство которого он узнал у констебля.

Френдли прибыл к судье в ту минуту, когда сей джентльмен подписывал ордер на отправку его друга в тюрьму; показания Файрблада были так ясны и убедительны, а судья был так возмущен «преступлением» Хартфри, так уверен в его виновности, что еле его слушал, когда он что-то говорил в свою защиту,— и читатель, когда сам познакомится с показаниями против обвиняемого, не так уж строго осудит за это судью: свидетель показал, что Хартфри послал лично его отнести жене распоряжение скрыться у мистера Уайльда; что потом в его присутствии Уайльд вместе с миссис Хартфри подрядили в гостинице карету на Гарвич, и там же, в гостинице, миссис Хартфри показала ему ларец с драгоценностями и попросила сообщить ее мужу, что она в точности исполнила его приказание; и свидетель поклялся, что все это произошло уже после того, как Хартфри был извещен об установлении конкурса по банкротству; а чтобы не получилось расхождения во времени, Файрблад и Уайльд присягнули оба, что миссис Хартфри перед отъездом в Голландию несколько дней прожила тайком в доме Уайльда.

Убедившись, что судья упрям и не хочет слушать никаких доводов и что бедному Хартфри никак не избежать Ньюгейта, Френдли решил проводить туда друга. Там, когда они прибыли, смотритель хотел поместить Хартфри (у которого не было денег) вместе с рядовыми уголовниками, но Френдли этого не допустил и выложил из кармана все до последнего шиллинга, чтобы обеспечить другу комнату на «печатном дворе»,— и, надо сказать, благодаря гуманности тюремщика он ее получил за дешевую плату.

Тот день они провели вдвоем; а вечером узник попрощался с другом, горячо поблагодарив его за верность и прося не тревожиться за него.

— Я не знаю,— сказал он,— насколько может преуспеть, преследуя меня, злоба моего врага; но каковы бы ни были мои страдания, я твердо верю, что моя невиновность будет где-то вознаграждена. Поэтому, если со мной произойдет роковое несчастье (кто попал в руки лжесвидетеля, может опасаться самого худшего), дорогой мой Френдли, будь отцом моим бедным детям!

При этих словах слезы хлынули из его глаз. А тот молил его гнать прочь такие опасения, потому что он приложит все старания и не сомневается, что разрушит гнусные козни, чинимые к его погибели, и добьется того, что чистота Хартфри предстанет пред миром такой же незапятнанной, какой она мыслится ему, Френдли.

Здесь мы не можем умолчать об одном обстоятельстве, хоть оно, несомненно, покажется нашему читателю крайне неестественным и невероятным: а именно, что, несмотря на прежнюю, всеми признанную честность Хартфри, эта история с укрытием ценностей нисколько не удивила его соседей, и даже многие из

них заявили, что ничего другого и не ждали от него. Иные уверяли, что при желании он мог бы уплатить по сорок шиллингов за фунт *. Другие еще раньше будто бы слышали своими ушами, как он делал миссис Хартфри разные намеки, возбуждавшие у них подозрения. Но что всего удивительней — многие из тех, кто раньше осуждал его, как слишком щедрого, неосторожного простака, теперь с той же убежденностью обзывали его хитрым, коварным, скупым, мошенником.

ГЛАВА XIII

Кое-что относительно Файрблада, что удивит читателя; и кое-что касательно одной из девиц Снэп, что его сильно смутит

Однако, невзирая на все эти кривотолки в округе и несмотря на все домашние горести, Хартфри наслаждался в Ньюгейте мирным, невозмутимым отдыхом, в то время как наш герой, благородно презирая покой, всю ночь пролежал без сна, мучимый то страхом, как бы миссис Хартфри не вернулась прежде, чем он исполнит свой замысел, то опасением, что Файрблад способен его предать,— хотя бояться неверности с его стороны он мог по той единственной причине, что знал его как законченного негодяя (говоря языком черни), или (выражаясь нашим языком) как совершенного *великого человека*. Впрочем, сказать по правде, эти подозрения были не так уж необоснованны: та же мысль, к несчастью, пришла в голову и этому благородному юноше, который подумывал: нельзя ли ему выгодно продаться противной стороне, поскольку Уайльд ничего ему не обещает; однако, благодаря проницательности нашего героя, утром это было предотвращено посредством целого потока обещаний, показывавших, что герой наш принадлежит к самым широким натурам в мире; и Файрблад, вполне удовлетворенный, пустился в такие щедрые изъявления верности, что Уайльд окончательно убедился в справедливости своих подозрений.

В это время случилось происшествие, о котором, хоть оно и не касается непосредственно нашего героя, мы не можем умолчать, так как оно вызвало большое смущение в его семействе, как и в семействе Снэпа. В самом деле, сколь плачевно бедствие, когда оно марает чистейшую кровь и приключается в почтенном доме,— неисправимая обида... несмываемое пятно... неисцелимое горе! Но не будем больше томить читателя: мисс Геодозия Снэп благополучно разрешилась от бремени младенцем мужского пола, плодом любовной интриги, которую это

прелестное (о если бы я мог сказать добродетельное!) создание завязало с графом.

Мистер Уайльд и его супруга сидели за завтраком, когда мистер Снэп со всеми муками отчаяния в голосе и на лице принес им эту печальную весть. Наш герой, отличавшийся (как мы упоминали) удивительным благодушием, когда это не вредило его величию или его интересам, и не подумал бранить своячеицу, а с улыбкой спросил, кто отец. Но целомудренная Летиция — мы снова говорим «целомудренная», потому что теперь она вполне была достойна этого эпитета,— приняла новость совсем по-другому. Она с бешеной яростью обрушилась на всю родню, поносила сестру последними словами и клялась, что больше никогда не увидится с нею; потом разразилась слезами и стала причитать над отцом, сетуя, что на него ложится теперь такой позор,— да и на нее самое. Наконец, она со всею суровостью напустилась на мужа за то, что он так легкомысленно отнесся к этому роковому происшествию. Она ему сказала, что он не заслуживает выпавшей ему чести породниться с целомудренной семьей; что в таком его поведении она видит оскорбление своей добродетели; что, будь он женат на какой-нибудь непотребной лондонской девке, он не мог бы неприличнее обращаться с женой. В заключение она предложила отцу примерно наказать эту шлюху и вышвырнуть ее за дверь,— а иначе она, Летиция, никогда не войдет в его дом, ибо решила не переступать через порог вместе с потаскушкой, которую презирает тем сильнее (тут она, кажется, не солгала), что та ей — родная сестра.

Так сильна и так поистине щепетильна была приверженность целомудренной леди к добродетели, что и родной сестре, сестре, которая ее любила, перед которой она была в долгу за тысячу услуг, она не могла простить одного ложного шага (действительно единственного, сделанного в жизни Теодозией).

Возможно, мистер Снэп, как ни тяжко переживал он оскорбление, нанесенное чести его семьи, все-таки смягчился бы в своей суровости, когда бы на него самого не нажимали приходские служители; он отказался поручиться, что ребенок будет обеспечен, и несчастную девицу отправили в известное место, название которого мы, чтоб не бесчестить мистера Снэпа, состоявшего в близкой родственной связи с нашим героем, предадим вечному забвению. Там она подверглась таким исправительным мерам за свое преступление, что добросердечному читателю мужеского пола позволительно пожалеть ее или хотя бы подумать о том, что она была достаточно наказана за ошибку, которую — с разрешения целомудренной Летиции и всех других строго добродетельных дам — следует признать либо не столь уж тяжким преступлением для женщины, допустившей ее, либо преступлением, куда более тяжким со стороны мужчины, совратившего женщину с пути.

Но вернемся к нашему герою, являющему живой и яркий пример того, что не всегда человеческому величию неразлучно сопутствует счастье. Его непрестанно терзали страхи, опасения, ревность. Ему думалось, что каждый, кого он видит, припрятал нож, чтоб перерезать ему горло, и ножницы, чтобы вскрыть его кошелек. Особенно же в его собственной шайке — тут, он знал наверное, не было человека, который за пять шиллингов не отправил бы его на виселицу. Эти тревоги так неизменно разбивали его покой, заставляли с таким напряжением быть всегда начеку, чтобы во-время разрушить и обойти все козни, какие могли строиться против него, что его положение, на взгляд всякого человека, кроме гордеца-честолюбца, показалось бы скорее плачевным, нежели завидным и желанным.

ГЛАВА XIV,

в которой наш герой произносит речь, достойную прославления. И о поведении одного из участников шайки, более противоестественном, пожалуй, чем все, что рассказано в этой хронике

В шайке был человек, по фамилии Блускин *, один из тех, кто торгует тушами быков, овец и т. п.,— словом, то, что чернь называет мясником. Этот джентльмен обладал двумя качествами великого человека, а именно: безграничной отвагой и полным презрением к смешному различию между *meum* и *tuum,* которое приводило бы к бесконечным спорам, когда бы закон счастливо не разрешал их, обращая и то и другое в *suum* [1]. Обычный способ обмена имуществом посредством торговли казался Блускину слишком скучным, поэтому он решил оставить профессию купца и, заведя знакомство кое с кем из людей Уайльда, раздобыл оружие и был зачислен в шайку, где вел себя первое время очень скромно и благопорядочно, соглашаясь принимать, как все другие, ту долю добычи, какую ему назначал наш герой.

Но такое подчинение плохо вязалось с его нравом,— ибо нам следовало вспомнить сперва о третьем его героическом качестве — честолюбии, отпущенном ему весьма щедро. Однажды он вытащил в Виндзоре у одного джентльмена золотые часы, а когда в газетах появилось объявление с обещанием за них значительной награды и Уайльд потребовал их у него, он наотрез отказался сдать их.

— Как, мистер Блускин! — говорит Уайльд.— Вы не сдадите часы?

---

[1] Meum — мое, tuum — твое suum — свое (*лат.*).

Не сдам, мистер Уайльд,— отвечает тот,— я их взял и оставляю у себя; а захочу, так распоряжусь ими сам и оставлю себе те деньги, какие за них возьму.

— Вы, конечно, не станете,— сказал Уайльд,— самонадеянно утверждать, что эти часы ваша собственность и что у вас на них какие-то права?

— Я знаю одно,— возразил Блускин: — есть ли у меня права или нет, но вы своего права на них не докажете.

— Все же я попытаюсь,— кричит тот,— доказать вам, что у меня на них бесспорное право — по закону нашей шайки, во главе которой волей провидения стою пока что я.

— Не знаю, кто это поставил вас во главе,— кричит Блускин,— но те, кто поставил, сделали это для своей пользы: чтобы вы лучше руководили ими в грабежах, указывали, где взять самую богатую добычу, предотвращали разные неожиданности, подбирали присяжных, подкупали свидетелей и тем способствовали их выгоде и безопасности, а не для того, чтобы вы обращали весь их труд и риск на пользу и выгоду одному себе.

— Вы глубоко ошибаетесь,— ответил Уайльд,— все, что вы говорите, применимо к легальному сообществу, где главный управитель всегда избирается для общего блага, с которым, как мы это видим во всех легальных сообществах в мире, он постоянно сообразуется, повседневно содействуя в меру своего разумения всеобщему процветанию и никогда не поступаясь общественной пользой ради своего личного обогащения, удовольствия или прихоти. Но во всех нелегальных сообществах, или шайках вроде нашей, дело обстоит иначе: ради чего же станет человек во главе шайки, если не ради личного интереса? А без главаря, как вы знаете, вам не просуществовать. Никто, кроме главаря, которому все подчиняются, не убережет шайку хоть на час от развала. Для вас куда лучше довольствоваться скромной наградой и пользоваться ею в безопасности, по усмотрению вашего вожака, чем захватывать все целиком, идя на тот риск, которому вы окажетесь подвержены без его покровительства. И уж, конечно, во всей шайке нет никого, кто имел бы меньше оснований жаловаться, чем вы; вы пользовались моими милостями — свидетельством тому эта лента, что вы носите на шляпе, лента, посредством которой я произвел вас в капитаны. Итак, капитан, прошу: сдайте часы!

— Плевал я на ваши милости! — говорит Блускин.— Думаете, я дорожу этой лентой, пустяковиной, которую я мог бы и сам купить за полшиллинга и носить без вашего разрешения? Уж не воображаете ли вы, что я и впрямь считаю себя капитаном оттого, что вы, не имея права раздавать чины, меня так назвали? Звание капитана — мишура! Кабы к нему еще солдаты да жалованье — тогда был бы в нем прок, а мишурой меня не одурачишь. Не желаю я больше зваться капитаном, а кто

захочет ко мне подольститься, назвав меня так, того я почту за обидчика и пристукну его, так и знайте.

— Кто и когда говорил так неразумно?! — возгласил Уайльд.— Разве вся шайка не чтит вас как капитана, с тех пор как я произвел вас в чин? Но это, по-вашему, мишура, и вы пристукнете всякого, кто оскорбит вас, назвав капитаном! Столь же разумно могли бы вы сказать министру: «Сэр, вы мне дали только мишуру! Лента, этот пустячок, который вы мне дали, означает лишь, что я или сам отличился каким-либо великим деянием во славу и на пользу родине, или по меньшей мере происхожу от тех, кто отличился. Я знаю, что я подлец, и подлецами были те мои немногие предки, каких я помню или о каких я слышал. Поэтому я решил пристукнуть первого, кто назовет меня сэром или достопочтенным *». Однако все великие и разумные люди считают высокой наградой то, что приносит им почет и старшинство в шайке, не спрашивая о сути; если титул или перо на шляпе ведут к цели, то они есть самая суть, а не мишура. Но сейчас мне некогда с вами спорить, так что отдайте мне часы и не рассуждайте.

— Я не больше вашего склонен к рассуждениям,— ответил Блускин,— а потому говорю вам раз навсегда: как бог свят, не отдам я вам часов! И впредь никогда не буду сдавать какую бы то ни было часть своей добычи. Я их добыл, и я их ношу. Берите сами свои пистолеты и выходите на большую дорогу; не воображайте, что вы можете лежать на боку и жиреть на чужих трудах, на чужом риске.

С этими словами он ушел в свирепом расположении духа и направился в облюбованную шайкой харчевню, где у него назначена была встреча кое с кем из приятелей, которым он тут же и рассказал, что произошло между ним и Уайльдом, и посоветовал им всем последовать его примеру. Все охотно согласились и единодушно выпили за то, чтобы мистер Уайльд пошел к черту. Только прикончили они на этой здравице большой жбан пунша, как в харчевню вошел констебль и с ним несколько понятых с Уайльдом во главе. Они тут же схватили Блускина, которому его товарищи, увидев нашего героя, не посмели подать помощь. При нем найдены были часы и этого — в добавление к доносу Уайльда — оказалось более чем достаточно, чтобы засадить его в Ньюгейт.

Вечером Уайльд и остальные — из тех, кто пил с Блускином,— сошлись в харчевне, и в них ничего нельзя было приметить, кроме самой глубокой покорности своему главарю. Они поносили и честили Блускина, как перед тем честили нашего героя, и повторили ту же здравицу, заменив только имя Уайльда именем Блускина; все согласились с Уайльдом, что часы, обнаруженные в кармане у их бывшего товарища,— эта неопровержимая улика,— явились, как рок, справедливо карающий его за неповиновение и бунт.

Так этот великий человек, решительно и своевременно наказав непокорного (когда Блускин ушел от него, он отправился прямо к судье), подавил один из самых опасных заговоров, какой только может возникнуть в шайке,— заговор, который, дай ему для роста один лишь день, неизбежно привел бы к гибели героя. Вот как всем великим людям надлежит постоянно быть настороже и не медлить с исполнением своих намерений; и только слабые и честные могут предаваться лени и покою.

Наш Ахат, Файрблад, присутствовал на обоих этих сборищах; и хотя на первом слишком поспешно ринулся поносить своего вождя и призывать на него вечное проклятие, зато теперь, увидев, что план рухнул, он вновь обратился к верности, чему дал неопровержимое доказательство, сообщив Уайльду обо всем, что замышлялось против него и что сам он одобрил якобы лишь для вида,— чтобы тем вернее выдать заговорщиков; но это, как он сознался позднее на своем смертном одре на Тайберне, было опять только личиной: он был так же искренен и рьян в своем возмущении против Уайльда, как и все его товарищи.

Сообщение Файрблада наш герой выслушал с самым спокойным видом. Он сказал, что, поскольку люди поняли свои ошибки и раскаялись, то самое благородное дело — простить. И хотя ему угодно было скромно приписать такой образ действия снисходительности, им на самом деле руководили куда более высокие и политичные соображения. Уайльд рассчитал, что наказывать столь многих слишком опасно; к тому же он льстил себя надеждой, что страх будет держать их в подчинении. Да и в самом деле, Файрблад не сказал ему ничего такого, чего он не знал бы раньше,— то есть, что все они настоящие *мазы*, которыми он должен управлять, играя на их страхе, и которым следует оказывать доверие только в меру необходимости, следя за ними с крайней осторожностью и осмотрительностью, потому что, мудро говорил он, мошенником, как и порохом, надо пользоваться осторожно: оба они равно подвержены взрыву и одинаково могут как уничтожить того, кто ими пользуется, так и послужить к исполнению его злого умысла против другого человека или животного.

Отправимся теперь в Ньюгейт, так как он становится тем местом, куда большинство великих людей нашей хроники устремляется со всей поспешностью; и, сказать по правде, этот замок не такое уж неподобающее местожительство вообще для всякого великого человека. А так как до конца нашего повествования он будет служить неизменной сценой действия, мы ею и откроем новую книгу и, значит, воспользуемся случаем закрыть на этом третью.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

Замечание священнослужителя, которое следовало бы начертать золотыми буквами; образец безмерного неразумия Френдли и страшное несчастье, постигшее нашего героя

Довольно было Хартфри пробыть в Ньюгейте недолгое время, как частые его беседы со своими детьми, да и другие разговоры и поступки, выдававшие доброту его сердца, утвердили всех окружающих во мнении, что он один из самых глупых людей на земле. Сам ньюгейтский священник, умнейший, достойнейший человек, объявил, что это — отпетый мерзавец, но никак не злоумышленник.

Первую половину этого высказывания (насчет мерзавца) священнику внушило одно замечание Хартфри, которое тот сделал как-то в разговоре и которое мы, как верные сыны церкви, не собираемся оправдывать: он полагает, сказал узник, что праведный турок может получить спасение души. На это достойный священник с подобающим рвением и негодованием ответил:

— Не знаю, что ждет праведного турка; но если вы придерживаетесь такого убеждения, то объявляю: вам спастись невозможно. Нет, сэр, не будет спасения не только что праведному турку,— праведный пресвитерианец, анабаптист или квакер и те не уйдут от вечной гибели.

Но ни первое, ни второе свойство этой натуры, отмеченные священником, не побудили Френдли отступиться от своего бывшего хозяина. Он проводил с ним все свое время, кроме тех часов, когда отлучался по его же делу — ища свидетелей, которые могли бы дать показания в пользу узника на уже недалеком суде. Поистине этот юноша был единственным утешением, остававшимся у несчастного, кроме чистой совести и надежды на счастье за гробом,— потому что радость, которую ощущал он, глядя на своих детей, была подобна тем заманчи-

ным удовольствиям, какими иногда больной, услаждаясь, губит себя, так как они одновременно и облегчают и усугубляют болезнь.

Однажды, насмотревшись, как Хартфри в слезах обнимал свою старшую девочку и горевал о том, что ему, быть может, придется покинуть ее на сиротскую долю, Френдли ему сказал:

— Я давно дивлюсь, наблюдая, с какою силой духа вы принимаете ваши несчастья, с какою твердостью глядите в лицо смерти. Я заметил, что все ваши мучения возникают из мыслей о разлуке с детьми и боязни оставить их в бедственном положении; так вот, хоть я надеюсь, что все ваши страхи окажутся напрасными, все же, чтобы они вас поменьше тревожили, поверьте мне: ничто не может причинить мне горя тяжелее, чем эта нежная, эта сердечная тревога хозяина, которому я так обязан за его доброту и которого искренне люблю; и равным образом ничто не может доставить мне больше радости, чем возможность облегчить и устранить эту тревогу. Поэтому, если мое обещание что-то значит для вас, не сомневайтесь: я употреблю все мое маленькое состояние — а оно, вы знаете, не так уж ничтожно — на поддержку вашей семьи. Я молю судьбу предотвратить от вас всякое бедствие, но если оно вас постигнет раньше, чем вы успеете обеспечить как следует этих крошек, то я сам стану для них отцом, и ни одной из них не коснется нужда, покуда я буду в силах избавлять их от нее. Я стану опекать вашу младшую дочку, а что до маленькой моей щебетуньи — вашей старшей,— то, поскольку до сих пор я не искал еще себе невесты, я прошу вас выдать ее за меня; и я никогда не отступлюсь от нее ради другой.

Хартфри кинулся к другу и обнял его в порыве благодарности. Он признался, что юноша снял с его сердца все тревоги, кроме одной, но ту он унесет с собой в могилу.

— О Френдли! — сказал он.— Эта тревога — скорбь моя о лучшей из женщин, которую я посмел осудить в своих мыслях, за что сейчас ненавижу себя. О Френдли! Ты знал ее доброту; но, конечно, только мне одному открылись все ее достоинства. Она была само совершенство и духом и телом, сочетала в себе все добродетели, какими наделило небо женский пол,— и каждой из них обладала в бо́льшей степени, чем всякая другая женщина. Могу ли я вынести утрату такой женщины? Могу ли вынести мысль о тех ужасных испытаниях, каким ее мог подвергнуть этот злодей,— испытаниях, из которых смерть, быть может, наименее страшное?

Френдли, воспользовавшись первой же передышкой, мягко перебил его и стал успокаивать так же и на этот счет, преувеличивая значение всех обстоятельств, дававших хоть тень надежды, что Хартфри еще свидится с женой.

За это необычайное проявление дружбы молодой человек вскоре приобрел в Ньюгейте славу такого же чудака и глупца,

как его хозяин. Их глупость вошла в поговорку, и оба они стали посмешищем всего замка.

Наступил срок сессии. Совет присяжных в Хикс-холле ознакомился с обвинительным актом против Хартфри, и на второй день сессии узник предстал пред судом. Здесь, несмотря на все старанья Френдли и честной старой служанки, выяснилось, что все обстоятельства подкрепляют свидетельство Файрблада, равно как и Уайльда, который очень искусно делал вид, будто лишь через силу дает показания против своего старого друга Хартфри,— и судьи признали подсудимого виновным.

Итак, Уайльд преуспел в своем замысле; остальное, конечно, должно было теперь с неизбежностью свершиться само собой, так как Хартфри не имел влияния на великих, а привлекался он по статье, нарушителю которой не было надежды на пощаду.

Гибель, навлеченная нашим героем на беднягу, являла собой столь удивительный пример успеха, какого достигают великие люди, что Фортуна, возможно, позавидовала своему баловню; но из этой ли зависти, или из-за всем известного непостоянства и нетвердости, так часто с осуждением отмечавшихся в нраве этой дамы, которая нередко возносит людей на вершину величия только для того

...ut lapsu graviore ruant[1],—

достоверно одно: богиня стала теперь замышлять зло против Уайльда, дошедшего, казалось бы, до того предела, какого достигали все герои и какой она решила не давать им никогда преступать. Словом, существует, повидимому, известная мера злодейства и несправедливости, которые каждому великому человеку положено совершить,— а далее Фортуна видит от него не больше пользы, чем от шелковичного червя, с которого уже смотали всю пряжу, и покидает его. В тот же день мистер Блускин был обвинен нашим героем в грабеже; и эта немилость, хоть он и сам навлек ее на себя и сам принудил Уайльда прибегнуть к ней, сильно возмутила молодца; и когда Уайльд с тем небрежением и безразличием, какое так неосторожно позволяют себе великие люди в отношении своих жертв, стоял с ним рядом, Блускин исподтишка выхватил нож и вонзил его в нашего героя с такою силой, что все присутствовавшие подумали, что он сделал свое дело. И впрямь, если бы Фортуна (не из любви к герою, а ради твердого решения достичь, как мы указывали, некой намеченной цели), не позаботилась убрать из-под удара его кишки, он пал бы жертвой злобы своего врага,— незаслуженной им злобы, как объяснил он впоследствии: ведь если бы Блускин удовольствовался самим грабежом и отдал главарю добычу, он и по сей день, ни в чем не заподозренный, процветал бы в шайке. Но вышло так, что нож, миновав этот

[1] Чтобы они тем тяжелее разбились при падении (*лат.*).

благородный орган (у некоторых благороднейший) — кишки, только продырявил Уайльду брюхо и не причинил другого вреда, кроме обильного кровотечения, от которого герой ослабел на время, но быстро оправился.

Все же этот случай привел в конечном счете к самым дурным последствиям: лишь очень немногие люди (мы исключаем величайших в человечестве — абсолютных монархов) пытаются, подобно роковым сестрам [1], перерезывать нить человеческой жизни по одной лишь прихоти или забавы ради; обычно это делается с целью приобрести какое-то благо в будущем или отомстить за зло в прошлом; и так как первое из этих побуждений лицам, занявшимся расследованием, показалось маловероятным, то они стали искать, не имело ли тут место второе. И вот, когда были раскрыты обширные замыслы Уайльда, кое-кому показалось, что, при всем их величии, они, как и проекты большинства таких людей, имели целью скорее славу самого великого человека, нежели вящую пользу для общества; и поэтому кое у кого из тех, кто почитал это своей прямой обязанностью, возникло намеренье остановить победное шествие нашего героя; в частности, один ученый судья, великий враг величия этого рода, добился введения в один из парламентских актов оговорки, представлявшей собою ловушку для Уайльда, в которую он вскоре и попался. По этому закону *маз* мог привлекаться к уголовной ответственности за свершение кражи чужими руками. Закон был так тонко рассчитан на сокрушение всякого величия на путях *мазизма,* что нашему герою поистине невозможно было от него уйти.

ГЛАВА II

Несколько слов о неблагодарности народной. Прибытие мистера Уайльда в замок и прочие происшествия, о каких не повествует ни одна другая историческая хроника

Располагай мы досугом, мы бы здесь уклонились в сторону и потолковали о той неблагодарности, которая, по замечанию многих авторов, возникает у народа во всех странах свободного правления по отношению к великим людям; когда они в заботе о народном благе стремились поднять свое собственное величие, в котором так глубоко заинтересовано все общество (как все французское королевство видит свою славу в величии своего монарха), их нередко приносил в жертву тот самый народ, во славу которого так прилежно трудились эти

[1] То есть паркам, богиням судьбы.

великие люди; и делал он это из глупого рвения к смешному, призрачному предмету, который называют свободой и который, по общему наблюдению, ненавистен великим людям.

Прошло совсем немного времени с обнародования нового закона, когда мистер Уайльд, получив от некоторых обязательных членов шайки несколько ценных вещей, переправил их законному владельцу за вознаграждение, чуть выше их действительной стоимости; неблагодарный владелец возбудил против него дело Уайльд был захвачен врасплох в собственном доме и, уступив численному превосходству противника, вскоре предстал перед мировым судьей и был им отправлен в замок, который мы не хотим слишком часто называть в нашей хронике, хотя это место вполне приличествует величию и в ту пору там случилось собраться большому числу великих людей.

Правитель замка, или, как более почетно называет его закон,— смотритель, был старый друг-приятель мистера Уайльда. Так что наш герой был очень доволен местом своего заключения, где он рассчитывал не только встретить добрый прием и найти превосходные условия, но даже получить свободу при содействии друга, если почтет нужным пожелать ее. Но — увы! — он обманулся: старый друг не хотел его больше знать и отказался от свидания с ним, а заместитель правителя настоял на таких тяжелых кандалах и на такой неумеренной плате за помещение, как будто к нему под стражу попал благородный джентльмен, обвиняемый в убийстве или в другом каком-нибудь утонченном преступлении.

Как это ни горестно, надо признать печальную истину, что великим людям нельзя вполне полагаться на дружбу,— наблюдение, которое часто делалось теми, кто живал при дворе, в Ньюгейте или в другом особом местожительстве, отведенном для таких особ.

На второй день заключения Уайльда, к его удивлению, навестила жена; и — что его вдвойне поразило — лицо ее вовсе не говорило о желании оскорбить его — единственное побуждение, каким он мог бы объяснить ее присутствие; нет, он увидел, что по ее прелестным щекам струятся слезы. Он ее обнял с пылкой нежностью и объявил, что не может жаловаться на заключение, раз оно показало ему, каким счастьем владеет он, имея супругу, чья верность ему в этом случае, несомненно, вызовет зависть к нему у большинства мужей даже в Ньюгейте. Потом он ей сказал, чтоб она осушила глаза и утешилась, потому что его дела могут сложиться лучше, чем она ожидает.

— Нет, нет,— ответила Летиция,— тебя, я уверена, признают виновным. Смерть. Я же знала, к чему это всегда приводит. Я говорила тебе, что долго заниматься таким ремеслом невозможно, но ты не слушал советов — и вот вам последствия; теперь ты каешься, да поздно. У меня только то утешение и

оглянется, когда тебя вздернут[1], что я давала тебе добрые советы. Действовал бы ты всегда сам за себя, как я настаивала, ты, может быть, грабил бы и грабил преспокойно до конца своих дней, но ты же умнее всех на свете — то есть ленивей, и вот до чего довела тебя лень — до крючка[2], потому что теперь тебя засудят, уж это непременно! И справедливо будет — так тебе и надо за твое упрямство; меня одну и можно будет тогда пожалеть — бедную женщину, опозоренную по твоей вине! Я так и слышу, как все вокруг кричат: «Вот идет та, у которой мужа повесили!»

Летиция на этом слове разразилась слезами. Тут Уайльд, не сдержавшись, отругал ее за излишнюю заботу о нем и попросил больше его не беспокоить. Она ответила с сердцем:

— О тебе?! Да, по мне, провались ты ко всем чертям! Ну нет, голубчик, если бы этот старый олух судья не послал меня сюда, тебе пришлось бы, думаю, изрядно подождать, покуда я пришла бы тебя проведать; меня же, черт бы их всех побрал, посадили за ширмачество[3], и нас теперь вздернут вместе. Честное слово, мой любезный, я почти счастлива сама идти на виселицу ради удовольствия увидеть, как вздернут тебя.

— Признаюсь, дорогая,— ответил Уайльд,— это то, чего и давно тебе желаю; но я вовсе не хочу составлять тебе компанию и еще надеюсь увидеть, как вы, сударыня, пойдете на виселицу без меня; уж во всяком случае я не откажу себе в удовольствии избавиться от вас сейчас.

Сказав это, он обхватил ее за талию своей сильной рукой и вышвырнул вон из комнаты; она, однако, успела оставить кровавую памятку на его щеке. Так эта любящая чета расталась.

Едва Уайльд справился с неприятным чувством, которое в нем возбудил этот нежданный визит, вызванный излишней преданностью жены, как явился верный Ахат. Появление юноши сразу, точно сердечное лекарство, подняло дух нашего героя. Он принял его с раскрытыми объятиями, выразил свое полное удовлетворение его преданностью, столь необычной в наши времена, и наговорил по этому поводу много вещей, которые мы позабыли; помним только, что все они сводились к прославлению Файрблада, который из скромности остановил, наконец, этот поток похвал, заявив, что он только исполняет свой долг и что он презирал бы себя, если бы способен был покинуть друга в беде; затем, после долгих заверений, что пришел в ту же минуту, как услышал о его несчастье, он спросил, не может ли чем-нибудь ему услужить. Наш герой ответил, что, раз уж его друг оказал ему такую любезность и задал этот

---

[1] Жаргонное слово для повешенья. *(Прим. автора.)*
[2] Виселицы. *(Прим. автора.)*
[3] Карманные кражи. *(Прим. автора.)*

вопрос, то он, Уайльд, должен сказать, что будет весьма признателен, если Файрблад одолжит ему несколько гиней,— потому что сам он в настоящее время сидит на мели. Файрблад ответил, что, к большому своему сожалению, сейчас он никак не может этого сделать, и добавил, крепко побожившись, что у него в карманах нет ни единой монетки,— что было сущей правдой: у него был только кредитный билет, который он в тот вечер вытянул из кармана у одного джентльмена в коридоре игорного дома. Потом он спросил Уайльда о его жене, ради каковой, по правде говоря, он и пришел сюда, так как ее арест был тем самым несчастьем, о котором он только что услышал; о несчастье же с самим мистером Уайльдом он знал с первой минуты его ареста, но не собирался докучать герою своим присутствием. Услыхав от друга о том, как она его только что навестила, гость укорил Уайльда за грубое обращение с такою милой женщиной и затем, распрощавшись так скоро, как ему позволяла вежливость джентльмена, поспешил с утешениями к своей даме, которая приняла его очень любезно.

ГЛАВА III

Любопытные анекдоты из истории Ньюгейта

В зáмке одновременно с мистером Уайльдом проживал некий Роджер Джонсон, доподлинно *великий человек,* который долгое время стоял во главе всех *мазов* в Ньюгейте и взимал с них дань. Он вникал в план их защиты, нанимал и обучал для них свидетелей и сделался — по меньшей мере в их представлении — так для них необходим, что, казалось, все судьбы Ньюгейта всецело зависели от него.

Пробыв недолгое время в заключении, Уайльд повел борьбу против этого человека. Он изобразил его *мазам* как проходимца, который под благовидным предлогом оказания им помощи подкапывается в действительности под *вольности Ньюгейта.* Сперва он как бы ненароком ронял кое-какие намеки и пускал ложные слухи, а потом, создав против Роджера группу, собрал однажды всех заключенных и обратился к ним в таком цветистом стиле:

— Друзья и сограждане! Я обращаюсь к вам сегодня по делу столь великой важности, что, когда я думаю о своих собственных малых способностях, я трепещу за вашу безопасность, страшась поставить ее под удар вследствие слабых сил того, кто решился обрисовать вам нависшую над вами угрозу. Джентльмены, на карту поставлена вольность Ньюгейта! Ваши привилегии издавна подрывались, а ныне открыто захвачены одним человеком,— человеком, который взял на себя ведение

всех наших дел и под этим флагом облагает вас такими контрибуциями, какими ему вздумается. А идут ли эти суммы на те цели, для которых взимаются? Те обвинительные приговоры, которые так часто выносит вам Старый Бейли, злостность этих лихоимцев-судей слишком убедительно и прискорбно доказывают противное. Разве тех свидетелей, каких он добывал для заключенного, тот не достал бы и сам? Достал бы, а порой и лучше бы обучил их! Сколько погибло благородных юношей, когда довольно было б одного свидетеля *alibi*, чтобы их спасти! Неужели же мне молчать? И неужели не обретут языка ваши собственные обиды? Не закричат против него во всеуслышанье те, чье дыханье прервалось на *крючке* по его небрежению? А непомерность его грабежей явствует не только из страшных его последствий для *мазов*, пылает ярким огнем не только в бедствиях, навлеченных ею на них,— она откровенно бьет в глаза приятнейшими благами, доставленными ему самому, богатыми дарами, приобретенными благодаря ей; обратите ваши взоры на этот шелковый халат, на мантию позора, которую он, к великому своему бесчестию, носит публично,— этот халат, который я без колебания назову саваном вольностей Ньюгейта. Найдется ли среди вас хоть один *маз*, столь мало дорожащий интересами и честью Ньюгейта, что может, не сгорая от стыда, взирать на этот трофей, купленный кровью стольких *мазов*? Но это еще не все. Его расшитый шелками жилет и бархатная шляпа, купленные тою же ценой,— знаки того же бесчестия. Иные помыслят, что он удачно променял на этот пышный убор те лохмотья, которые прикрывали его наготу, когда его впервые сюда привели,— но в моих глазах никакая мена не может быть выгодна там, где ставится условием позор. Следовательно, если Ньюгейт...

Здесь единственный список этой речи, какой удалось нам достать, внезапно обрывается; однако из достоверных источников мы можем сообщить читателю, что Уайльд заключил речь, предложив *мазам* передать свои дела в другие руки. После чего один из его группы, как было условлено заранее, в длиннейшей речи посоветовал им остановить выбор на самом Уайльде.

Ньюгейт по этому случаю разделился на две партии, причем *мазы* каждой стороны выставляли своего главаря, или своего великого человека, единственным лицом, способным надежно и успешно вести дела Ньюгейта. Интересы *мазов* двух этих партий были поистине непримиримы: если сторонники Джонсона, захватившего в свои руки ограбление обитателей Ньюгейта, допускались своим вождем к участию в доходах, то и приверженцы Уайльда, выдвигая его, имели те же виды на дележ известной части добычи. А потому не удивительно, что каждая из сторон проявляла столько пыла. Более примечательно, что и должники-неплательщики, нисколько не заинтересованные в споре, сами обреченные на ограбление обеими партиями, с

равным рвением ввязались в спор, встав одни на сторону Уайльда, другие — на сторону Джонсона. Так что весь Ньюгейт огласился криками: *«Да здравствует Уайльд!»* и *«Да здравствует Джонсон!»* И бедные должники так же громко, как сами воры, вторили тем о *вольностях* Ньюгейта, хотя «вольности» на особом языке означают «грабеж». Словом, между ними пошли такие ссоры, такая вражда, что они больше походили на население двух государств, давно воюющих между собой, чем на обитателей одного и того же за́мка.

Партия Уайльда в конце концов взяла верх, и наш герой перехватил место и власть Джонсона и сорвал с него пышные его одежды. Но когда предложено было продать их и поделить деньги между всеми, он стал увиливать, говоря, что сейчас не время, что надо выждать более удобного случая, что вещи нуждаются в чистке и всякое такое, а через два дня, на удивление многим, появился в них сам, причем сослался в оправдание только на то, что ему они более впору, чем Джонсону, и сидят на нем куда изящней.

Такое поведение глубоко взволновало должников, в особенности тех из них, чьими стараньями он выдвинулся. Они сильно роптали и выражали крайнее свое возмущение поступком Уайльда. И вот в один прекрасный день некий степенный человек, пользовавшийся среди узников большим уважением, обратился к ним с такою речью:

— Ни над кем, конечно, не посмеются так заслуженно, как над тем, кто сам выведет овечку на волчью тропу, а потом станет плакать, что волк ее сожрал. Волк в овчарне то же, что в обществе великий человек. Но когда волк завладел овчарней, не много будет проку для стада простаков, если они прогонят одного волка и впустят вместо него другого! Столько же толку и нам опрокидывать одного *маза* на пользу другому. А для какой иной выгоды вы боролись? Разве вы не знали, что Уайльд и его приспешники такие же *мазы,* как и Джонсон со своей компанией? В чем же еще могла быть суть их спора, как не в том, что стало теперь столь явным для вас? Может быть, иные скажут: «Так неужели наш долг покорно подчиниться тем *мазам,* которые грабят нас сейчас из страха перед теми, которые придут им на смену?» Конечно, нет! Но лучше, отвечу я, отменить грабеж, чем сменить грабителя. А как иначе мы можем этого достичь, если не изменив в корне весь уклад нашей жизни? Каждый *маз* — раб. *Мазовские* страсти, поработившие его, отдают *маза* во власть чужой тирании. Итак, сохранить в неприкосновенности вольности Ньюгейта — значит изменить его уклад. Давайте мы, то есть те, кто попал сюда только за долги, начисто отделимся от *мазов,* не будем с ними ни пить, ни общаться. Отделимся затем и от всего, что пришло к нам от *мазов.* Вместо того чтобы с радостью вырывать что можно друг у друга, давайте станем довольствоваться своею честной долей

из лавиной общественной благотворительности и тем, что доставит нам собственный труд. Отделившись от *мазов* и *мазизма*, станем поддерживать более тесные связи друг с другом. Будем смотреть на себя, как на членов единой общины, в которой каждый должен ради общего блага жертвовать своими личными видами, не будем поступаться интересами всех ради любого какого-нибудь маленького удовольствия или выгоды, какие могут представиться нам. Где нет такой высокой честности, там невозможна вольность; а ту общину, где она имеется, ни один *мил*, даже самый бесстыдный и наглый, не дерзнет поработить. А если и дерзнет, такое посягательство привело бы лишь к одному — к его собственной гибели. Но когда один гонится за почетом, другой за выгодой, а третий ищет безопасности; когда один хочет совершить мошенничество (здесь оно зовется *мазизмом*), а другой укрыть то, что добыл мошенничеством,— тогда все, естественно, вынуждены прибегать к милости и покровительству тех, кто в силах дать им то, к чему они стремятся, и оградить от того, что их страшит; и им, естественно, выгодно ставить сильных над собой. Итак, джентльмены, если мы больше не будем *мазами*, то не станет у нас больше этих страхов и этих стремлений. Что же остается нам теперь, как не принять честное решение отступиться от собственного нашего *мазизма* или, попросту говоря, от нашего мошенничества, и сохранить нашу вольность? Неужели мы предпочтем другое — отступиться от вольности ради сохранения *мазизма*?

Речь эта была принята восторженно; тем не менее Уайльд попрежнему взимал с узников дань, обращал собранные им средства на собственные нужды и разгуливал в наряде, сорванном с Джонсона. Откровенно говоря, он носил этот наряд больше из молодечества, нежели приятности или пользы ради. Халат, правда, снаружи отливал мишурным блеском, но не грел нисколько и не доставлял своим роскошным видом большого почета, так как всем было ведомо, что по сути дела он не принадлежал Уайльду; жилет был ему не впору — чересчур велик, а шляпа так тяжела, что от нее болела голова. Таким образом, эта одежда, навлекая на него, быть может, больше зависти, ненависти и хулы, чем все его хитрые обманы и подлинные существенные преимущества (не потому ли, что она делала более зримой для людей их собственную нищету?), доставляла тому, кто ее носил, очень мало пользы или почета; она даже почти не тешила его тщеславия, когда оно остывало настолько, что позволяло спокойно подумать. И если перейти на язык людей, ценящих счастье человеческое и не помышляющих о том величии, которое мы так усердно старались обрисовать в нашей хронике,— весьма вероятно, что Уайльд ни разу не получил (то есть грабительски не отобрал у заключенных) ни единого шиллинга, за который ему не пришлось бы слишком дорого заплатить самому.

ГЛАВА IV

Томасу Хартфри вынесен смертный приговор, по случаю чего Уайльд выказывает некоторую слабость человеческую

В Ньюгейт поступил так называемый «смертный приказ» — приказ о казни нескольких узников, в том числе и Хартфри. И здесь, поскольку мы взялись обрисовать скорее естественные, чем совершенные образы и писать историческую правду, а не романическую блажь, читатель должен извинить нас, когда мы расскажем о слабости Уайльда, которой сами стыдимся; мы охотно скрыли бы ее, будь это совместимо с тою строгой верностью истине и беспристрастию, каковую мы обещали соблюдать в жизнеописании этого великого человека. Знай же, читатель, приказ не вызвал в Хартфри, которому предстояло подвергнуться позорной казни, и половины той муки, какую причинил он Уайльду, виновнику события. Накануне наш герой был несколько смущен при виде того, как детей уводят в слезах от отца. При этом зрелище кое-какие мелкие обиды, причиненные им их отцу, всплыли в его памяти, как ни старался он предать их забвению; а когда один из тюремщиков (мне бы следовало сказать «офицеров зáмка») в числе злодеев, которым предстояло через несколько дней пойти на казнь, назвал имя Хартфри, кровь отхлынула от лица Уайльда и холодным тихим током тяжело прилила к сердцу, которому едва достало силы поворотить ее обратно по жилам. Словом, тело его так откровенно показало его духовную мýку, что, убегая от нескромных наблюдателей, Уайльд удалился в свою камеру, где угрюмо предался столь горьким терзаниям, что даже сам обиженный им Хартфри пожалел бы его, когда бы мысль о том, что претерпела его жена, не закрыла состраданию доступ в его сердце.

Когда его дух был в конец истомлен и сломлен теми ужасами, какими его донимала близость роковой развязки для бедняги, на которого он неправедно навлек приговор, сон посулил герою облегчение, но — увы! — обещание было обманчивым. Этот верный друг усталого тела часто становится суровым врагом угнетенного духа. Таковым по крайней мере оказался он для Уайльда, добавив к ужасам действительности ужасы видений и истерзав его воображение призраками, слишком страшными, чтоб их описывать. Пробудившись, наконец, от этого сна и приведя свои мысли в ясность, герой наш воскликнул:

— Я еще могу предотвратить эту казнь. Еще не поздно все открыть.

Он замолк; но величие, мгновенно явившись ему на помощь, оборвало низменную мысль, едва она возникла в его уме. И тогда он холодно рассудил про себя так:

«Неужели я, как дитя, или женщина, или кто-либо из тех людишек, которых я всегда презирал, поддамся страху перед сновидениями и призраками и замараю ту честь, что я в таких

трудах приобрел и с такою славою оберегал? Неужели, чтобы спасти ничтожную жизнь какого-то глупца, я наложу на свое доброе имя пятно, которое не смыть и кровью миллионов? С тем, что небольшая часть человечества, кучка простаков, стала бы меня называть мошенником, я еще, пожалуй, примирился бы,— но стать навеки презренным в глазах *мазов*, ничтожной тварью, которой недостало духа довести до конца свое предприятие,— этого нельзя перенести! Что значит жизнь какого-то человека? Разве целые армии, целые народы не приносились в жертву ради чести одного *великого человека?* Да что там! Уж не говоря об этом величии первого класса, о всемирных завоевателях,— как часто гибло множество людей при раскрытии мнимых заговоров только ради того, чтобы могли рассеять скуку или, может быть, поупражнять свою изобретательность представители величия второго разряда — министерского! Что такого я сделал? Я только разорил одну семью да отправил на виселицу одного заурядного человека. Мне скорее следовало бы заплакать вместе с Александром, что не погубил я большего числа, чем раскаяться о том немногом, что сделано мною».

Итак, он в конце концов доблестно решил предоставить Хартфри его судьбе, хоть и нелегко поверить, каких усилий стоило ему окончательно преодолеть внутреннее сопротивление и изгнать из своей души последнюю тень человеколюбия, слабые вспышки которого были одною из тех слабостей, о которых мы посетовали, приступая к нашей хронике.

Но в оправдание нашего героя позволим себе заметить, что природа редко бывает так добра, как те писатели, которые рисуют образы абсолютного совершенства. Редко она создает человека таким безупречным в величии или в ничтожестве, что ни искры человечности не проблеснет у великого и ни искры того, что чернь называет злом, не вспыхнет в ничтожном. Совсем же угасить в себе эти искры стоит обоим и труда и беспокойства, потому что, боюсь, никогда ни один человек не был сотворен свободным от порока,— разве что какой-нибудь святоша, которому прикормленный им льстец из благодарности считает нужным возносить хвалы.

ГЛАВА V

О разных вещах

Настал тот день, когда бедный Хартфри должен был умереть бесславной смертью. Френдли еще раз убедительно заверил его, что исполнит свое обещание и станет отцом для одной из его дочерей и мужем для другой. Это дало осужденному несказанное утешение, и накануне вечером он простился навеки

с сиротами так задушевно, что растрогал до слез одного из тюремщиков, и с таким присутствием духа, какое похвалил бы стоик. Когда ему сказали, что карета, заказанная для него Френдли, подана и что остальные узники уже пошли, он с чувством обнял своего верного друга и попросил его расстаться с ним здесь; но тот хотел сопровождать несчастного до конца, и Хартфри был вынужден согласиться. И вот Хартфри шел уже к карете, когда выяснилось, что еще не все трудности позади: явился друг, прощание с которым должно было стать и тяжелей и задушевней всего, через что он уже прошел. Этим другом, читатель, был не кто иной, как сама миссис Хартфри, которая примчалась с диким взором, застывшим и безумным, и, кинувшись в объятия мужа, ни полслова не вымолвив, сникла в них в обмороке. От такой неожиданности да еще в такой час Хартфри и сам едва не лишился сознания. В самом деле, нашему добросовестному читателю впору бы тут пожелать злополучной этой чете найти уж лучше смерть в объятиях друг у друга и с нею конец своим страданиям, чем пережить те горькие минуты, какие им уготовал жребий и скорбь которых точно камнем придавила несчастную жену, когда она вскоре пришла в себя после недолгого ухода в небытие. Овладев, наконец, голосом, она разразилась такими жалобами:

— О мой муж! В каком положении я нахожу тебя после нашей злой разлуки? Чьих рук это дело? Жестокое небо! За что! Я знаю, ты не мог заслужить кары. Да скажите же мне, кто может еще говорить, скажите, пока я опять не лишилась сознания и способна понимать, в чем дело?

При этих словах многие рассмеялись, а один ответил:

— В чем дело? В пустяке! Джентльмен будет не первым и не последним. Самое скверное в этой истории, что, если мы проторчим здесь все утро, я останусь без обеда.

Хартфри, помолчав и придя в себя, воскликнул:

— Я стойко все перенесу!

Затем, обратившись к начальнику стражи, попросил, не позволит ли он ему провести несколько минут наедине с женой, с которой он видится впервые с той поры, как его постигло несчастье.

Великий человек ответил, что он ему сочувствует и готов ради него нарушить долг, но заключенный, как настоящий джентльмен, должен, думается ему, понимать, что за такую любезность кое-что причитается. При этом намеке Френдли, сам чуть живой, достал из кармана пять гиней, которые великий человек принял и сказал, что будет великодушен и даст заключенному десять минут. Один из присутствующих заметил, что многие джентльмены десять минут с женщиной покупали куда дороже, и сделано было не мало других грязных замечаний, которые здесь нет нужды приводить. Хартфри позволили удалиться с женой в отдельную камеру, причем начальник ска-

ждет ему в дверях, чтоб он не мешкал, а не то все благородное общество придет к *дереву* раньше него, и он, конечно, как джентльмен и воспитанный человек, не заставит их ждать.

И вот несчастная чета удалилась на несколько минут, которые начальник за порогом старательно отсчитывал по часам; а Хартфри собрал всю свою решимость, чтобы распроститься с тою, которой был так пламенно предан душой, уговорить ее стойко нести свою утрату ради их бедных детей и утешить ее, рассказав про обещание Френдли; но все это осталось лишь бесплодным намереньем. Миссис Хартфри не выдержала удара: она снова упала в обморок и настолько утратила все признаки жизни, что Хартфри стал громко звать на помощь. Френдли первый ворвался в комнату, а следом за ним и многие другие; и примечательно, что те самые люди, которые только что бесчувственно смотрели на трогательную сцену расставанья любящих супругов, были теперь глубоко потрясены бледностью женщины и носились в тревоге и смятении вверх и вниз по лестницам за водой, за каплями и так далее. Десять минут истекли, о чем начальник тут же дал знать, и, видя, что никто не предлагает возобновить договор (у Френдли, как на зло, в карманах ничего больше не было), стал наседать все наглее и, наконец, попрекнул Хартфри, что стыдно-де ему, коли он не может вести себя как мужчина. Хартфри извинился и сказал, что не заставит его больше ждать, потом с глубоким вздохом воскликнул:

- Мой ангел! — и, в страстном порыве обняв жену, припал к ее бледным губам с таким жаром, с каким никогда не целовал жених зардевшиеся щеки невесты. Затем он сказал: — Да благословит тебя всемогущий! И если будет на то его воля, он вернет тебя к жизни; если нет — заклинаю его, чтобы он дал нам встретиться снова в лучшем мире!

Он уже готов был оторваться от нее, но, увидев, что она приходит в чувство, не удержался и снова обнял ее и припал к ее губам, к которым теперь так быстро возвращались жизнь и тепло, что он попросил еще десять минут срока, чтобы сказать ей то, чего она из-за обморока не могла услышать. Достойный начальник, быть может тронутый немного этой нежной сценой, отвел Френдли в сторонку и спросил, что он ему даст, если он позволит его другу задержаться на полчаса?

Все, что угодно, сказал Френдли; у него нет при себе ничего, но после обеда он заплатит непременно.

Хорошо, я буду скромен,— сказал начальник.— Двадцать гиней.

Френдли ответил:

По рукам.

Заручившись твердым обещанием, начальник провозгласил:

Ну, так я не возражаю, чтоб они остались вдвоем на целый час! Потому что зачем скрывать добрую новость? Джентльмену отменили казнь...

(Начальнику только что шепнули на ухо эту новость.)

Слишком дерзко было бы предлагать здесь описание радости, доставленной этою вестью обоим друзьям, а также миссис Хартфри, которая уже совсем очнулась. Врачу, оказавшемуся тут по счастью, пришлось отворить им всем кровь. После чего начальник, получив подтверждение, что обещание насчет денег остается в силе, пожелал Хартфри счастья и, дружески пожав ему руку, приказал всей честной компании очистить помещение; и друзья остались втроем.

ГЛАВА VI,

в которой дается объяснение предыдущему счастливому событию

Но тут, хоть я и убежден, что мой добрый читатель тоже почти что нуждается в помощи врача и что во всей нашей повести нет места, которое могло бы доставить ему больше радости, я, чтобы наша отмена казни не показалась похожей на помилование в «Опере нищих», все-таки попробую показать ему, что этот случай, несомненно доподлинный, был по меньшей мере столь же естественным, сколько и счастливым,— ибо, уверяем, мы бы скорее позволили повесить половину рода человеческого, нежели спасли бы хоть одного человека вопреки строгим правилам вероятности и писательского мастерства.

Итак, да будет известно (обстоятельство, думается мне, вполне правдоподобное), что великий Файрблад за несколько дней перед тем был схвачен на месте преступления при свершении грабежа и приведен к тому самому мировому судье, который, на основании свидетельства оного Файрблада, отправил Хартфри в тюрьму. Этот служитель правосудия, поистине делавший честь тому званию, которое носил, благородно сознавал, какая ложится на него ответственность, если доверено ему выносить решения, от которых зависят жизнь, свобода, благосостояние его сограждан; поэтому он всегда крайне тщательно и осторожно взвешивал каждое мелкое обстоятельство. И вот, поскольку и раньше, когда судья разбирал дело Хартфри, прекрасные отзывы, данные о подсудимом Френдли и служанкой, вызвали у него немало колебаний, и так как он сильно был смущен, увидев, что из двух свидетелей, по чьим показаниям Хартфри был сперва лишен свободы, а потом и приговорен к повешенью, один сам теперь попал в Ньюгейт за уголовное дело, а другой предстал пред ним сейчас по обвинению в грабеже,— он почел нужным выпытать на этот раз у Файрблада все начистоту.

Юный Ахат был захвачен, как мы сказали, на месте преступления, так что он видел — отпираться бесполезно. Поэтому он честно сознался во всем, что, как он понимал, было бы все равно доказано, и обратился с просьбой, чтобы его допустили — в награду за разоблачения — выступить свидетелем против своих сообщников. Это давало судье счастливую возможность очистить свою совесть в отношении Хартфри. Он сказал Файрбладу, что испрашиваемая милость будет ему дарована на том условии, если он откроет всю правду о показаниях, которые он дал недавно против одного банкрота и которые, в связи с некоторыми обстоятельствами, взяты сейчас под сомнение; истина, сказал судья, непременно будет так или иначе открыта,— и косвенно намекнул (вполне извинительный обман), что Уайльд предложил и сам кое-что раскрыть. При одном упоминании имени Уайльда Файрблад сразу встревожился, так как нисколько не сомневался в готовности *великого человека* отправить на виселицу кого угодно из своей шайки, если этого потребует его личный интерес. Поэтому он не колебался ни секунды, и, получив от судьи обещание, что его допустят в свидетели, он раскрыл весь обман и объявил, что его подбил на лжесвидетельство Уайльд.

Судья, так счастливо и своевременно раскрыв эту картину подлости, *alias*[1] величия, не стал терять ни минуты и приложил все старания, чтобы дело приговоренного было доложено королю, и тот немедленно подписал милосердный документ об отмене казни, которая так осчастливила всех, кого это касалось, и появление которого, надеемся мы, теперь, к удовлетворению читателя, вполне разъяснено.

Добрый судья, получив для Хартфри отмену смертной казни, почел своим долгом навестить узника в тюрьме и вникнуть по возможности в суть его дела, чтобы, в случае если тот окажется так неповинен, как ему представлялось теперь, пустить в ход все мыслимые средства и добиться для него полного помилования и освобождения.

Итак, на другой день после того, когда происходила описанная выше низменная сцена, он пошел в Ньюгейт, где застал всех троих — Хартфри, его жену и Френдли. Судья сообщил заключенному о признаниях Файрблада и о мерах, принятых им самим в связи с ними. Читателю нетрудно вообразить, какими внешними изъявлениями признательности и какой глубокой благодарностью душевной наградили все трое судью; но эта награда была для него несущественна, по сравнению с тем тайным удовлетворением, какое ему доставляло сознание, что он сохранил жизнь невиновному, как это очень скоро стало ему ясно.

Когда он вошел в камеру, миссис Хартфри с жаром говорила о чем-то; поэтому, поняв, что перебил ее, судья попросил

[1] Иначе говоря *(лат.)*.

даму продолжать разговор и выразил готовность выйти самому, если его присутствие ее стесняет. Но Хартфри этого не допустил; он сказал, что его жена рассказывает свои приключения, которые, может быть, покажутся ему занятными; а ей будет только желательно, чтобы их послушал сам судья, так как они, возможно, объяснят, на чем был построен навет, навлекший на ее мужа столько бедствий.

Судья с радостью согласился, и миссис Хартфри, по просьбе мужа, повела свой рассказ с момента возобновления знакомства его с Уайльдом. Но, хотя такой повтор был необходим для осведомления доброго служителя правосудия, читателям он был бы бесполезен и, пожалуй, скучен; мы поэтому перескажем только ту часть ее рассказа, которая явится новой для них, и начнем с приключений, происшедших после того, как капитан французского капера ссадил Уайльда в лодку и пустил ее по воле волн.

ГЛАВА VII

Миссис Хартфри рассказывает свои приключения

Миссис Хартфри продолжала так:

— Расправа французского капитана с негодяем (с нашим героем) показала мне, что я попала в руки человеку чести и справедливости; к тому же поистине невозможно учтивей и почтительней обращаться с человеком, чем обращались со мною; но если такое обхождение не смягчало моего горя, причиняемого мыслями о том, в каком бедственном положении предатель вынудил меня оставить всех, кто мне дорог, то еще того меньше могло оно служить мне утешением, когда вскоре я открыла, что им я обязана главным образом страсти, грозившей мне большими неприятностями, так как быстро обнаружилось, что она сильна и что я в полной власти человека, одержимого ею. Однако нужно отдать справедливость французу и сказать, что в своих страхах и подозрениях я заходила дальше, чем имела на то основания, как стало мне ясно потом: он в самом деле не замедлил открыться мне в своих чувствах и, домогаясь их вознаграждения, применял все те галантные приемы, какие часто встречают у женщины успех, но по крайней мере не прибегал к силе. Он даже ни разу не намекнул, что я всецело в его власти, о чем и так мне было слишком хорошо известно и из чего возникали самые страшные мои опасения. Я отлично знала, что если есть грубые натуры, для которых жестокость придает наслаждению особенную остроту и пряность, то есть и другие — более благородные, для которых усладительней мягкими способами заставлять нас покориться их желаниям; но что часто и они отдаются необузданной страсти и, потеряв надежду до-

биться своего убеждением, в конце концов прибегают к насилию. Я, однакоже, оказалась, к счастью, пленницей человека, не столь дурного. Капитан принадлежал к числу тех, кем порок овладел лишь в ограниченной мере, и, легко склоняясь на соблазн, он был все же застрахован от искушений подлости.

Два дня мы еле двигались, захваченные штилем, когда вдруг, уже в виду Дюнкерка, при поднявшемся шторме мы увидели судно, шедшее к нам на всех парусах. Капитан капера располагал такими силами, что опасным ему мог быть только военный корабль, а его моряки отчетливо видели, что это судно не было военным. Поэтому он выкинул флаг и, насколько было можно, свернул паруса, чтобы лечь в дрейф и ждать встречи с этим судном, надеясь получить его в «приз»... (Тут, подметив улыбку мужа, миссис Хартфри остановилась и спросила, чему он улыбается. Его удивляет, сказал он, как ловко она обращается с морскими терминами. Она рассмеялась и ответила, что ему это покажется не таким удивительным, когда он узнает, как долго пробыла она на море; и стала рассказывать дальше.) То судно теперь поровнялось с нами, и нас с него окликнули, так как увидели, что наш корабль принадлежит их соотечественникам. Они нас попросили не заходить в Дюнкерк, а пойти вместе с ними на преследование большого английского торгового судна, которое мы легко настигнем и соединенными силами так же легко одолеем. Наш капитан тотчас же согласился и дал команду распустить все паруса. Для меня это явилось очень неприятной новостью; однако он утешил меня, как мог, заверив, что мне нечего бояться, так как он не только сам не позволит себе со мною никакой грубости, но с опасностью для жизни будет меня защищать. Его обещание успокоило меня, насколько это допускало мое тогдашнее положение и мучительная тревога за вас, мой дорогой. (При этих словах муж и жена подарили друг друга нежнейшим взглядом.)

Мы шли часов шесть, когда показалось судно, за которым мы гнались и которое, пожалуй, быстро бы настигли, если бы густой туман не укрывал его от наших глаз. Туман продержался несколько часов, а когда он рассеялся, мы убедились, что наш союзник находится от нас в большом отдалении; но нас сильно встревожило другое (то есть капитана, хочу я сказать, и его команду) — в одной миле от себя мы увидели очень крупный корабль, который, отсалютовав нам из пушки, предстал пред нами английским военным судном третьего ранга. Наш капитан объявил, что мы не в состоянии ни принять сражение, ни уйти, и соответственно опустил флаг, не дожидаясь бортового залпа, который готовил нам противник и который, быть может, лишил бы меня того счастья, что выпало мне теперь...

Тут Хартфри изменился в лице; и его жена, заметив это, поспешила перейти к менее мрачным вещам.

— Я очень порадовалась этому событию, полагая, что оно благополучно возвратит мне не только мои драгоценности, но и то, что я ценю выше всех сокровищ в мире. Однако и в том и в другом мои надежды наталкивались пока на препятствие: насчет драгоценностей мне сказали, что их бережно сохраняют, но что я должна буду сперва доказать свое право на них, и только тогда можно будет рассчитывать на их выдачу; и, если не ошибаюсь, капитану не очень-то хотелось, чтобы я оказалась в состоянии добиться ее; а что до второго, то я узнала, что меня пересадят на первый же встречный корабль, идущий в Англию, а наше судно пойдет своим курсом в Вест-Индию.

Недолго пробыла я на борту военного корабля, как убедилась, что, по справедливости, должна не столько радоваться, сколько сожалеть о перемене одного плена на другой: потому что я скоро пришла к заключению, что это самый настоящий плен. В лице английского капитана я приобрела нового поклонника, но куда более грубого и менее рыцарственного, чем был француз. В обхождении со мной он едва держался в границах обычной вежливости, которою, впрочем, не баловал и всех остальных: со своими офицерами он обращался немногим лучше, чем не очень воспитанный человек с самым последним из своих слуг; а если и выказывал иногда учтивость, то в какой-то вызывающей манере. Со мною он обращался так беззастенчиво, точно паша с рабыней-черкешенкой: в разговоре со мною он позволял себе те безобразные вольности, какими самый разнузданный распутник щеголяет перед проститутками и которые даже падшим женщинам, но не слишком погрязшим в пороке, бывают противны и мерзки; он часто с наглой развязностью целовал меня, а однажды попытался пойти и дальше в своей скотской грубости. Но тут меня выручил один джентльмен, попавший на корабль такою же судьбой, как и я,— то есть он тоже был захвачен каким-то капером и затем отбит; он вырвал меня из лап капитана, и за это капитан два дня продержал его в кандалах, хотя он и не был его подчиненным. Когда его освободили (пока он сидел взаперти, мне не разрешили его проведать), я пошла к нему и с горячей признательностью поблагодарила за то, что он для меня сделал и что выстрадал из-за меня. Джентльмен в этом случае держался со мною с отменным благородством; ему совестно, сказал он, что я как будто придаю чересчур высокое значение такой малой услуге — поступку, к которому его обязывали и долг христианина и мужская честь. С этого дня я относилась с большим дружелюбием к этому человеку, видя в нем своего покровителя, каковым он с готовностью и вызвался быть, выказывая крайнее возмущение грубостью капитана, особенно в отношении меня, и с отцовской нежностью оберегая мою добродетель, за которую он, видимо, тревожился чуть ли не больше, чем я сама. В самом деле, из всех мужчин, каких я встречала со времени

моего злополучного отъезда, он один не старался каждым взглядом, и словом, и всем поведением заверить меня, что моя злосчастная особа нравится ему; все остальные, казалось, жаждали принести в жертву своему желанию ту скромную красоту, перед которой они рассыпались в похвалах, и не хотели считаться с тем, что своими домогательствами они пытаются, как я им настойчиво на то указывала, погубить меня и навсегда лишить душевного мира.

Несколько дней я прожила спокойно, не подвергаясь посягательствам со стороны капитана,— пока не настала роковая ночь...

Тут, увидав, что Хартфри побледнел, она успокоила его, заверив, что небо оградило ее целомудрие и возвратило ее незапятнанной в объятия супруга. Она продолжала так:

— Может быть, я применила не тот эпитет, сказав «роковая». Но злосчастной ночью я, конечно, вправе ее назвать, потому что никогда ни одна женщина, вышедшая победительницей из борьбы, не подвергалась, я думаю, большей опасности. Итак, в одну злосчастную ночь, говорю я, выпив для храбрости пунша в компании с казначеем, единственным человеком на судне, которого он допускал к своему столу, капитан послал за мною; и волей-неволей я должна была спуститься к нему в каюту. Как только мы остались наедине, он схватил меня за руку и, оскорбив мой слух словами, которые я не способна повторить, крепкой клятвой поклялся, что больше не даст играть своею страстью; нечего мне воображать, сказал он, что можно применять к нему такое обхождение, какое терпят болваны на суше. «Так что, сударыня, довольно вам со мною кокетничать: я решил, что этой ночью вы станете моей. Пожалуйста, без борьбы и без писка, так как и то и другое будет только лишней докукой. Первого же, кто посмеет сюда войти, я спущу по шкафуту к рыбам». И он тут же поволок меня силком к кровати. Я бросилась перед ним на колени и в слезах взывала к его состраданию, но мольбы, увидела я, были бесполезны; тогда я прибегла к угрозам и попробовала припугнуть его последствиями,— угрозы поколебали его как будто больше, чем мольбы, однако и они оказались бессильны спасти меня. Наконец, я решилась на уловку, впервые пришедшую мне на ум, когда я заметила, что он не тверд на ногах. Попросив минуту отсрочки, я собралась с духом, напустила на себя притворно-веселый вид и сказала ему с деланым смехом, что он самый грубый из всех моих кавалеров и что, верно, ему никогда не доводилось ухаживать за женщиной. «Ухаживать? — вскричал он.— К черту ухаживание! Раздену — и вся недолга». Тогда я попросила его выпить со мною пунша: потому что я, мол, так же как и он, в дружбе с кружкой и никогда ни одного мужчину не дарю лаской, не выпив с ним сперва по чарочке.

«Ну, за этим,— сказал он,— дело не станет! Пунша будет

столько, что хоть утопись в нем». Тут он позвонил в колокольчик и велел подать галон пунша. Я тем временем была вынуждена сносить его гнусные поцелуи и кое-какие вольности, в которых с большим трудом не давала ему переступить границу. Когда принесли пунш, он поднял бокал за мое здоровье и, чванясь, стал пить в таком количестве, что сильно сам помог моему замыслу. Я ему подливала так быстро, как только могла, и принуждена была сама столько пить, что в другое время это мне затуманило бы голову, но тогда хмель не брал меня. Наконец, видя, что капитан уже изрядно упился, я подловила удобную минуту и выбежала вон из каюты, решив искать защиты у моря, если не найду другой. Но небу угодно было милосердно избавить меня от этой крайности: капитан, бросившийся было вдогонку за мной, покачнулся и, свалившись с трапа, ведшего в каюту, вывихнул руку в плече и так расшибся, что я не только в эту ночь могла не опасаться посягательства со стороны насильника,— случай этот вызвал у него горячку, угрожавшую его жизни, и я не знаю достоверно, поправился он или нет. Пока он лежал в бреду, кораблем командовал старший помощник капитана. Это был добрый и храбрый человек, прослуживший на своем посту двадцать пять лет; но он все не мог получить в командование корабль и не раз видел, как через его голову назначают мальчишек, побочных сыновей каких-нибудь вельмож. Однажды, когда корабль все еще находился под его управлением, мы встретили английское судно, державшее курс на Корк. Я и мой друг — тот, что просидел из-за меня два дня в кандалах,— пересели на него с разрешения старшего помощника, который выдал нам провизии, сколько мог, и, поздравив меня с избавлением от опасности, не составлявшей тайны ни для кого из команды, любезно пожелал нам обоим счастливого плавания.

ГЛАВА VIII,

в которой миссис Хартфри продолжает рассказ о своих приключениях

— В вечер того дня, когда нас взяли на борт этого судна, быстроходной бригантины, мы были неподалеку от острова Мадейра; как вдруг поднялась с норд-веста сильнейшая буря, в которой мы сразу потеряли обе наши мачты. Смерть представлялась нам неизбежной. Вряд ли должна я говорить своему Томми, о чем были тогда мои мысли. Опасность казалась так велика, что капитан бригантины, убежденный атеист, начал ревностно молиться, а вся команда, почитая себя бесповоротно погибшей, так же ревностно принялась опоражнивать бочонок коньяку, клянясь, что ни одна капля благородного напитка не

будет осквернена соленой водой. Тут я увидела, что мой старый друг проявляет меньше мужества, чем я от него ожидала. Он предался, казалось, полному отчаянию. Но — хвала господу! — мы все остались живы. Буря, пробушевав одиннадцать часов, начала затихать и понемногу совсем улеглась; теперь бригантина плыла по воле волн, которые несли ее лигу за лигой на юго-восток. Наша команда была мертвецки пьяна, упившись тем коньяком, который так заботливо уберегла от морской соли; но если бы матросы и были трезвы, труд их большой пользы не принес бы, так как мы потеряли все снасти и бригантина представляла собою только голый корпус. В таком состоянии мы шли тридцать часов, когда среди черной ночи увидели огонь, который, видимо, приближался к нам и стал постепенно таким сильным, что наши матросы признали его за фонарь военного корабля; и когда мы уже льстили себя надеждой на избавление от бедствия, огонь вдруг, к великому нашему горю, совсем исчез, оставив нас в унынии, возраставшем при воспоминании о тех мечтах, какими тешилась наша фантазия, пока он светил нам. Остаток ночи мы провели, строя печальные догадки о покинувшем нас огне, который большинство моряков объявило теперь метеором.

В нашей горести оставалось у нас одно утешение — обильный запас провианта; это так поддерживало дух матросов, что, по их словам, будь у них и водки вдоволь, им хоть месяц еще не ступать на сушу — все бы нипочем! Однако мы были куда ближе к берегу, чем воображали, как показал нам рассвет. Один из самых знающих в нашей команде разъяснил, что мы находимся вблизи африканского материка; но, когда мы были всего в трех лигах от земли, снова поднялась сильная буря — на этот раз с севера, так что мы опять потеряли всякую надежду на спасение. Буря эта была не столь яростна, как первая, но куда более длительна,— она бушевала почти три дня и отнесла нас на несчетные лиги к югу. Мы находились в одной лиге от какого-то берега, ожидая каждую минуту, что корабль наш разобьется в щепы, как буря внезапно унялась. Но волны еще вздымались, точно горы, и, прежде чем заштилело, нас бросило так близко к земле, что капитан приказал спустить свою лодку, объявив, что почти не надеется спасти бригантину; и в самом деле, едва мы ее оставили, как через несколько минут увидели, что опасения его были справедливы: потому что она ударилась о скалу и тотчас затонула. Поведение моряков в этом случае сильно меня поразило: они глядели на обреченную бригантину с нежностью влюбленных или родителей; они говорили о ней, как преданный муж о жене; и многие из них, кому, думалось, природа отказала в слезах, лили их ручьем, когда она шла ко дну. Сам капитан воскликнул: «Иди своей дорогой, прелестная Молли; никогда не глотало море более сладкого куска! Пусть дадут мне пятьдесят кораблей, ни один не полюблю я, как

любил тебя. Бедная моя девчонка! Я буду помнить тебя до смертного дня».

Итак, мы благополучно достигли в лодке берега и причалили без труда. Было около полудня, и солнце пекло невероятно, его лучи почти отвесно падали нам на головы. Все же по этому мучительному зною мы прошли миль пять равниной. Перед нами встал большой лес, тянувшийся направо и налево, докуда глаз хватал, и мне казалось, что он должен положить предел нашему движению вперед. Мы решили сделать здесь привал и подкрепиться той провизией, какую взяли с корабля,— от силы на несколько обедов: лодка наша была так перегружена людьми, что у нас оставалось очень мало места для всякого рода поклажи. Нашу трапезу составила отварная вяленая свинина, которую острая приправа голода сделала для моих спутников такой вкусной, что они очень основательно налегли на нее. Меня же усталость телесная и душевная так расслабила, что я совсем утратила аппетит; все искусство самого совершенного французского повара оказалось бы напрасным, когда бы он попробовал в тот час прельстить меня своими тонкими блюдами. Я думала о том, как мало выгадала я, снова выйдя живой из бури: спасение, казалось мне, только меняло стихию, среди которой мне теперь предстояло умереть. Когда наши вволю — и, надо сказать, очень плотно — поели, они решили вступить в лес и попробовать пробиться сквозь него, в надежде набрести на каких-нибудь жителей или хотя бы на что-либо годное в пищу. И вот мы пошли, установив такой порядок: один человек идет впереди с топором, расчищая дорогу; за ним следуют двое других с ружьями, защищая остальных от диких зверей; затем идут все прочие, а последним — сам капитан, тоже вооруженный ружьем, прикрывая нас от нападения сзади — с тыла, так это как будто говорится у вас? Наш отряд, общим счетом четырнадцать человек, шел и шел, пока нас не захватила ночь, и ничего по пути мы не встретили, кроме немногих птиц да коекаких мелких зверюшек. Переночевали мы под укрытием каких-то деревьев,— да, сказать по правде, в эту пору года мы почти и не нуждались в крове, потому что единственно, с чем приходилось бороться в этом климате, была нещадная дневная жара. Не могу не упомянуть, что мой старый друг не преминул улечься на земле подле меня, объявив, что будет моим защитником, если кто-нибудь из моряков позволит себе хоть малейшую вольность; но я не могу обвинить матросов в подобных попытках: никто из них ни разу не оскорбил меня серьезнее, чем каким-либо грубым словом,— да и это они позволяли себе скорее по невежеству и невоспитанности, чем вследствие распущенности или недостаточной гуманности.

Наутро мы выступили в поход и прошли совсем немного, когда один из матросов, проворно взобравшись на гору, прокричал в рупор, что видит совсем неподалеку город. Это сооб-

щение так меня успокоило и придало мне столько силы и мужества, что при содействии моего старого друга и одного матроса, позволивших мне опираться на них, я кое-как добралась до вершины; но я так устала от подъема, так окончательно выбилась из сил, что не могла держаться на ногах и вынуждена была лечь на землю; меня так и не уговорили отважиться на спуск сквозь очень густой лес в равнину, в глубине которой действительно видиелась кучка домов, или скорее хижин, но гораздо дальше, чем уверял нас тот матрос; то, что он назвал «неподалеку», составляло, как мне показалось, добрых двадцать миль,— да так оно, пожалуй, и было.

ГЛАВА IX,

содержащая ряд неожиданных происшествий

— Капитан решил двинуться безотлагательно вперед к лежавшему перед ним городу; его решение подхватила вся команда; но, когда уговоры оказались бессильны и я не согласилась, да и не могла пойти дальше, пока не отдохну, мой старый друг объявил, что не покинет меня и останется при мне телохранителем, а когда я освежусь коротким отдыхом, он поведет меня в город, откуда капитан обещал не уходить до встречи с нами.

Как только они двинулись в путь, я (поблагодарив сперва своего покровителя за его заботу обо мне) легла соснуть; сон немедленно смежил мои веки и, вероятно, долго меня продержал бы в своих милых владениях, если бы мой телохранитель не разбудил меня пожатием руки, которое я сперва приняла за сигнал об опасности, грозящей мне от какого-нибудь хищного зверя; но я быстро убедилась, что оно вызвано более мирной причиной и что милый пастушок — единственный хищник, угрожающий моей безопасности. Тут он начал объясняться мне в своих чувствах с невообразимой страстью, пламенней, пожалуй, нежели прежние мои почитатели, но все же без всяких попыток прямого насилья. Я дала ему отпор с более резкой и горькой укоризной, чем всем другим искателям, исключая подлеца Уайльда. Я сказала ему, что он самая низкая и лицемерная тварь на земле; что, обрядив свои недостойные намеренья в плащ добродетели и дружбы, он придал им невыразимую гнусность; что из всех мужчин на свете он самый для меня противный и если бы я могла дойти до проституции, то ему последнему довелось бы насладиться крушением моей чести. Он не позволил себе обозлиться в ответ на эти слова, а только попробовал подластиться по-другому — перейдя от нежностей к подкупу. Он подпорол подкладку своего жилета и вытащил

несколько драгоценностей; он умудрился, сказал он, пронести их сквозь бесконечные опасности, чтоб увенчать ими счастье, если они склонят меня сдаться. Я отвергала их в крайнем негодовании снова и снова, пока не остановила взгляд — скорей нечаянно, чем с умыслом,— на бриллиантовом ожерелье,— и тут меня точно молнией озарило: я мгновенно узнала в нем то самое ожерелье, которое вы продали проклятому графу, виновнику всех наших бедствий! Эта неожиданность повергла меня в такое смятение, что я сразу не подумала о том, кто этот негодяй, стоящий предо мною, но, едва опомнившись, сообразила, что он, несомненно, не кто иной, как сам граф, подлое орудие безжалостного Уайльда. Милосердное небо! В какое же я попала положенье! Как описать бурю чувств, вскипевшую тогда в моей груди? Однако, так как, по счастью, он меня не знал, у него не могло возникнуть ни тени подозрения. Поэтому, подметив, с каким волнением я гляжу на ожерелье, он приписал это совсем другой причине и постарался придать своему лицу еще больше умильности. Моя тревога несколько улеглась, и я решила, что буду щедра на обещания, надеясь так прочно убедить его в своей продажности, что он даст обманывать себя до возвращения капитана и команды, которые, как я была уверена, не только оградят меня от насилия, но и помогут вернуть мне то, что было злодейски отнято у вас грабителем. Но увы! Я ошиблась.

Миссис Хартфри, снова подметив на лице мужа признаки крайнего беспокойства, воскликнула:

— Мой дорогой, не бойтесь, ничего худого... Чтобы успокоить поскорей вашу тревогу, я продолжаю. Видя, что я отклоняю его пламенное искательство, он посоветовал мне как следует подумать; голос его и лицо сразу изменились, и, откинув притворно-ласковый тон, он поклялся, что я не проведу его, как того капитана, что Фортуна благосклонно бросает ему под ноги счастливый шанс, и не такой он дурак, чтоб его упустить; а в заключение он крепко побожился, что решил усладиться мною сей же час, и, значит, я понимаю, к чему поведет сопротивление. Тут он схватил меня в объятия, и началось такое грубое домогательство, что я закричала во всю мочь, как ни мало было у меня надежды на чью-либо помощь,— когда вдруг из чащи выскочил кто-то, кого я сначала, в овладевшем мною смятении чувств и мыслей, даже не приняла за человека,— но, поистине, будь то самый лютый из диких зверей, я бы рада была, чтоб он сожрал нас обоих. Я еще не разглядела в его руке мушкета, как он выстрелил из него в насильника, и тот упал замертво к моим ногам. Тогда незнакомец подошел ко мне с самым любезным видом и сказал по-французски, что чрезвычайно рад счастливому случаю, приведшему его сюда, когда я нуждалась в помощи. За исключением ног и чресел, он был обнажен, если можно это слово применить к существу, чье

тело покрыто волосом почти так же густо, как у любого животного. В самом деле, вид его показался мне таким отталкивающим, что ни его дружеская услуга, ни вежливое обхождение не могли вполне устранить ужаса, внушенного мне его обликом. Я думаю, он ясно это видел, так как он попросил меня не пугаться, потому что, какими бы судьбами ни попала я сюда, мне следует благодарить небо за встречу с ним, на чью учтивость я могу уверенно рассчитывать и чья рука всегда окажет мне защиту. Среди всей этой сумятицы у меня все же хватило духа поднять ларчик с драгоценностями, оброненный негодяем при падении, и положить его в карман. Мой избавитель, сказав, что я выгляжу крайне слабой и усталой, предложил мне отдохнуть в его маленькой хижине, находившейся, по его словам, тут же рядом. Даже не будь его обхождение так любезно и обязательно, безвыходное мое положение принудило бы меня согласиться: как можно было колебаться в выборе: довериться ли этому человеку, который, несмотря на дикий свой вид, выказал столь большую готовность служить мне и чье лицемерие по меньшей мере не было доказано,— или же отдаться во власть другого, о котором я знала доподлинно, что он законченный негодяй. Итак, я отдала свою судьбу в его руки, умоляя о сострадании к моей чистоте, которая вся в его власти. Он ответил, что обида, которой он был свидетелем,— обида, исходившая, как видно, от человека, нарушившего доверие, достаточно оправдывает мою подозрительность; однако он просит меня отереть слезы и постарается мне скоро доказать, что предо мною человек совсем другого склада. Любезный тон его несколько меня успокоил, равно как и возвращение наших драгоценностей — такое нежданное, что хотелось верить в благосклонность ко мне провидения.

Негодяй, когда мы двинулись в путь, попрежнему лежал в луже собственной крови, но к нему уже возвращались признаки жизни, и мы быстрым шагом пошли к хижине, или, скорее к пещере, так как она была выкопана в земле на склоне холма; расположено это жилище было очень приятно, и с его порога открывался вид на широкую равнину и город, виденные мною раньше. Как только я вошла, хозяин предложил мне сесть на земляную скамью, заменявшую стулья, и разложил предо мною всевозможные плоды, дико растущие в той стране, из которых два или три оказались превосходными на вкус. Подал он еще какое-то печеное мясо, напоминавшее дичь. Потом достал бутылку коньяку, которая, сказал он, осталась у него с того времени, когда он впервые поселился здесь,— а тому уже тридцать с лишним лет,— но за все эти годы он ее так и не откупорил, потому что единственный его напиток — вода; бутылку же эту он сохранял как подкрепляющее средство — на случай болезни, однако ему, слава богу, ни разу не представилось надобности в лекарстве. Затем он сообщил мне, что он отшельник,

что его когда-то выбросило на этот берег вместе с женой, которую он горячо любил, но не сумел уберечь от гибели,— из-за этого-то он и решил не возвращаться больше во Францию, свою родную страну, и предаться молитвам и святой жизни, блаженно уповая на встречу с любимой в небесах, где, как он твердо верит, она теперь приобщилась к сонму святых и является его заступницей. Он рассказал, что обменял свои часы у короля этой страны, которого он обрисовал очень справедливым и хорошим человеком, на ружье и запас пороха, дроби и пуль, которым пользуется иногда, чтобы добыть себе пропитание, но больше для защиты от диких зверей; живет же он главным образом растительной пищей. Он поведал мне еще многое, о чем я расскажу вам после, а сейчас буду как можно короче. Под конец он очень меня утешил, пообещав проводить в морской порт, где, возможно, мне удастся застать какой-нибудь невольничий корабль; и тогда я смогу отдаться на волю той стихии, которой, как ни много она уже принесла мне страданий, я должна буду вверяться, чтобы вновь обрести все, чем я дорожу на земле.

Жителей города, который видели мы внизу, и их короля он расписал такими приветливыми, что возбудил во мне желание отправиться туда,— тем более что мне не терпелось снова увидеться с капитаном и матросами, которые были ко мне так добры и среди которых, несмотря на всю учтивость отшельника, я все же чувствовала бы себя спокойней, чем наедине с этим человеком. Он, однако, очень отговаривал меня пускаться в поход, покуда я не восстановлю свои силы, и настаивал, чтобы я легла на его ложе, то есть на скамью, сказав, что сам он удалится из пещеры и останется у входа сторожем. Я приняла это любезное предложение, но долго сон не шел ко мне; наконец, однако, усталость взяла верх над моими тревогами, и я опять сладко проспала несколько часов. Пробудившись, я нашла своего верного часового на посту, готового явиться по первому моему зову. Такое поведение внушило мне некоторое доверие к нему, и я повторила свою просьбу проводить меня в тот город на равнине; но он в ответ посоветовал мне подкрепиться едой, прежде чем пускаться в путь, который будет длиннее, чем мне представляется. Я согласилась, и он выставил еще больше разнообразных плодов, чем в первый раз, и я поела их вволю. Покончив со своим полдником, я снова заговорила о том, что мне пора отправляться, но он опять принялся настойчиво меня отговаривать, уверяя, что я еще не набралась сил, что нигде я не смогу отдохнуть спокойней, чем у него в пещере; лично же для него не может быть большего счастья, чем сопровождать меня, сказал он, и со вздохом добавил, что в этом счастье он позавидовал бы всякому другому больше, чем во всех дарах судьбы. Вы легко представите себе, какие подозрения встревожили меня тогда, но он сразу устранил всякое сомнение, бросившись

к моим ногам и объяснившись мне в самой пылкой любви. Я бы впала в отчаяние, не сопроводи он свое признание ревностными заверениями, что никогда не применит ко мне иной силы, кроме силы мольбы, и что согласен скорей умереть самой жестокой смертью от моей холодности, чем купить высшее блаженство, позволив слезам и печали затуманить эти ясные глаза, эти звезды, сказал он, под благотворным влиянием которых только и возможно для него радоваться жизни или даже просто влачить ее...

Она повторила еще немало комплиментов, выслушанных ею от отшельника, когда страшный переполох, взволновавший весь замок, внезапно прервал ее рассказ. Я не могу дать читателю лучшего представления об этом шуме, как предложив ему вообразить, что у меня появились те сто языков, которых некогда пожелал для себя поэт, и что я пустил их в ход все сразу, вопя, ругаясь, крича, кляня, ревя,— короче сказать, производя все разнообразие звуков, доступное нашему органу речи.

ГЛАВА X

Страшный переполох в замке

Но как ни грандиозно выведенное отсюда читателями представление об этом шуме, его причина покажется более чем соответственной, когда она станет им известна: наш герой (с краской стыда говорю об этом) открыл, что его чести нанесено оскорбление — и по самому чувствительному пункту. Словом, читатель (ты должен это узнать, хоть это и вызовет у тебя величайшее возмущение), он застиг Файрблада в объятиях прелестной Летиции.

Как благородный бык, который долго пасся среди множества коров и потому привык считать всех этих коров своею собственностью, увидев, что в отведенных ему пределах другой бык обхаживает корову, громко взревет и станет грозить мгновенной расправой с обидчиком при помощи рогов, пока не всполошит всю округу,— так, не менее громогласно, не менее грозно, прорвалась ярость Уайльда и повергла в ужас весь за́мок.

Бешенство долго не давало ему говорить сколько-нибудь членораздельно; так в приемный день, когда пятнадцать, шестнадцать, а то и вдвое больше женщин нежными, но пронзительными флейтами засвиристят все сразу о разных вещах, то все у них сольется в гул, в гармонию, вполне, конечно, мелодическую, но не сообщит нам никаких понятий. Наконец, когда у нашего героя разум начал брать верх над страстью, а та, выдохшись, начала поне́многу отступать, следующие выра-

жения стали перескакивать через забор его зубов или, скажем, через канаву его десен, откуда колья этого забора давно уже были выбиты в сражении с некой амазонкой из Дрюри-Лейна.

— ...[1] человек чести? Разве это подобает другу? Мог ли я ожидать такого нарушения всех законов чести от тебя, которого учил я ходить ее стезями? Выбери ты другой какой-нибудь способ обмануть мое доверие, я еще мог бы простить, но это — укол в самое деликатное место, неисцелимая рана, невозместимая обида: ибо не только на утрату приятнейшей спутницы, жены, чья любовь была моей душе дороже жизни, не на одну только эту утрату я жалуюсь ныне,— утрату эту сопровождает позор и бесчестие! Кровь Уайльдов, в такой неизменной чистоте передававшаяся от отцов сыновьям через столько поколений, эта кровь загрязнена, осквернена: отсюда мои слезы, отсюда горе мое! Эту обиду ничем нельзя поправить, ни с честью простить.

— Дермо в картонке! — отвечал Файрблад.— Столько шуму из-за его чести! Если примесь к вашей крови — все, на что вы жалуетесь, то жалоба ваша пустая,— потому что моя кровь почище вашей.

— Вы понятия не имеете,— возразил Уайльд,— о тонкостях чести; вы не знаете, как она хрупка и деликатна — и женская и мужская,— так деликатна, что малейшее дуновение ветра, грубо дохнувшее на нее, грозит ей гибелью.

— Могу доказать на основании ваших собственных слов,— говорит Файрблад,— что я не ущемил вашей чести. Разве вы не говорили мне частенько, что честь мужчины состоит в том, чтоб не получать оскорблений от лиц своего пола, а честь женщины в том, чтобы не принимать любезностей от лиц нашего пола? Так вот, сэр, коль скоро я не нанес лично вам никакого оскорбления, чем же я ущемил вашу честь?

— Но разве все в жене,— вскричал Уайльд,— не принадлежит ее супругу? Поэтому-то женатый мужчина честь своей жены приравнивает к собственной, и, задев ее честь, вы задеваете мою. Как жестоко вы уязвили меня в это нежное место, я не должен повторять, это знает весь за́мок, и узнает весь мир. Я обращусь в Докторс Коммонс * и возбужу иск против жены! Я стряхну с себя позор, насколько можно, путем развода с нею! А что до вас, так ждите: вы услышите обо мне в Вестминстер-холле: таков современный способ возмещения подобного ущерба и воздаяния за такую обиду.

— Чтоб вам ослепнуть! — кричит Файрблад.— Не боюсь я вас и не верю ни одному вашему слову.

— Ну, если уж вы задеваете лично меня,— говорит Уайльд,— то тут предписывается другого рода воздаяние.

С этими словами он шагнул к Файрбладу и отпустил ему

---

[1] Начало этой речи утеряно. *(Прим. автора.)*

затрещину, которую юноша немедленно вернул. И вот наш герой и его друг вступили в кулачный бой, правда несколько затрудненный, так как у обоих ноги были отягчены цепями; они успели обменяться несколькими ударами, прежде чем джентльмены, стоявшие рядом, вступились и разняли бойцов; и теперь после того как оба противника прошипели друг другу, что если они переживут судебную сессию и не попадут на *дерево,* то один из них даст, а другой получит удовлетворение в поединке, они разошлись, и в зáмке водворилась вскоре прежняя тишина.

Теперь и судья и узник — оба попросили миссис Хартфри довести до конца свою повесть, и она приступила к рассказу, который мы приведем в следующей главе.

ГЛАВА XI

Исход приключений миссис Хартфри

— Если не ошибаюсь, меня перебили, как раз когда я приступила к пересказу комплиментов, сделанных мне отшельником.

— Как раз когда вы, мне думается, закончили его,— сказал судья.

— Отлично, сэр,— ответила она,— мне, конечно, не доставит удовольствия повторять их. Итак, в заключение он сказал мне, что, хотя в его глазах я самая очаровательная женщина на свете и соблазнила бы святого сойти с праведного пути, однако моя красота внушает ему слишком нежную любовь и он не купит удовлетворения своих желаний ценой моего горя; поэтому, если я столь жестока, что отвергаю его честное, искреннее искательство и не согласна разделить отшельничество с человеком, который всеми средствами старался бы дать мне счастье, то мне нечего опасаться насилия,— потому что, сказал он, я здесь так же вольна, как если бы находилась во Франции, Англии или другой свободной стране. Я дала ему отпор с тою же учтивостью, с какою он повел наступление, и сказала ему, что, раз он так уважает религию, то должен, я полагаю, оставить дальнейшие домогательства, когда я ему сообщу, что, не будь у меня других возражений, мое целомудрие не позволило бы мне слушать его речи, так как я замужем. Его слегка передернуло при этом слове, и он словно вдруг онемел, но потом, совладав с собой, выдвинул новые доводы: мол, неизвестно, жив ли мой супруг, и очень вероятно — что нет. Потом он заговорил о браке как о чисто гражданской сделке, приводя в пользу этого взгляда разные доказательства, не заслуживающие повторения, и понемногу стал так пылок и так назойлив, что не знаю, до чего бы он дошел в своей страсти, когда бы не показались в тот

час приближавшиеся к пещере три хорошо вооруженных моряка. Едва завидев их, я возликовала в душе и сказала отшельнику, что за мною уже идут друзья и теперь пора нам проститься; я всегда с глубокой признательностью, заключила я, буду вспоминать благородную услугу, которую он дружески оказал мне. Отшельник глубоко вздохнул и, с чувством пожав мне руку, поцеловал меня в губы более жадно, чем это полагается у европейцев при прощании, и сказал, что и он тоже до смертного дня своего не забудет мое пребывание в его пещере, и добавил: «О если бы мог я провести всю жизнь вместе с той, чьи яркие глаза зажглись, подобно...» Но, знаю, вы подумаете, сэр, что мы, женщины, любим повторять сделанные нам комплименты, а потому я их здесь опущу. Словом, так как матросы уже подошли, я с ним распрощалась, немного пожалев его в душе за то, что разлука со мной так для него тяжела, и пустилась со спутниками в дорогу.

Мы отошли всего на несколько шагов, когда один из матросов сказал товарищам:

— Разрази меня гром! Кто знает, Джек, нет ли у этого парня в его пещере доброй водки?

Я по невинности своей заметила:

— У бедняги только одна бутылка коньяку.

— Вот как? Коньяку? — вскричал матрос.— Я не я, если мы его не отведаем.

Они повернули назад, а с ними и я. Бедный отшельник навзничь лежал на земле, предаваясь печали и горестным сетованиям. Я объяснила ему по-французски (благо матросы не говорили на этом языке), чего им надо. Он пальцем указал место, куда была убрана бутылка, молвив, что с радостью позволит им забрать и ее и все, что у него есть, и добавил, что не возражает, если они заодно отнимут у него и жизнь. Матросы обшарили всю пещеру, но, не найдя в ней ничего, что стоило бы прихватить, ушли, забрав с собой бутылку, тотчас же распили ее, не предложив мне ни глотка, и двинулись со мною дальше, к городу.

В дороге я заметила, что один из них, не сводя с меня глаз, что-то шепчет другому. Мне стало не по себе; но тот ответил:

— Нет, к черту! Капитан никогда не простил бы нам; к тому же мы имеем вдосталь и черных баб, а как я посужу, цвет тут дела не портит.

Этого было достаточно, чтобы вызвать у меня страшные опасения; но больше я ничего в этом роде не слышала до самого города, куда мы благополучно дошли часов за шесть.

Как только явилась я к капитану, он спросил, что сталось с моим другом, разумея негодяя графа. Когда же я рассказала ему, что произошло, он меня от души поздравил с избавлением и, выразив крайнее возмущение такою подлостью, побожился

перерезать мерзавцу горло, если когда-нибудь его увидит; мы, однако, оба полагали, что он умер от пули, пущенной в него отшельником.

Теперь меня представили главному правителю той страны, пожелавшему на меня посмотреть. Я вам кратко расскажу о нем. Он был избран (таков там обычай) за высшую храбрость и ум. Власть его, пока он правит, ничем не ограничена; но при первом уклонении от законности и справедливости его может сместить и покарать народ, старейшие представители которого собираются раз в год для проверки его поведения. Помимо опасности, которой его подвергают эти проверки, крайне строгие, его должность связана с такими заботами и беспокойством, что только непомерное властолюбие, преобладающее свойство мужского характера, может делать ее предметом стремлений,— так как он поистине единственный невольник в своей стране. В мирное время он обязан выслушивать жалобы каждого человека и справедливо разрешать их; для этого каждый может потребовать у него аудиенции в любое время, кроме часа, оставленного ему на обед, когда он восседает один за столом и его обслуживают всенародно с церемонностью большей, чем европейская. Это установлено для того, чтобы создать ему почет и уважение в глазах толпы; но чтоб это не слишком его возвысило в собственном мнении, он, уничижения ради, каждый вечер наедине получает от своего рода педеля пинок в зад; кроме того, он носит в носу кольцо, несколько сходное с теми, что мы вдеваем свиньям, а на шее цепочку, вроде как у наших олдерменов; то и другое является, я думаю, эмблемой, но чего именно — мне не разъяснили. Есть у этого народа немало и других особенностей, о которых я расскажу, если представится случай. На второй день, после того как меня приняли при дворе, один из придворных служителей, которого у них называют *шах пимпах,* явился ко мне с визитом и через проживающего там французского переводчика доложил мне, что моя внешность понравилась главному правителю и он предлагает мне ценнейший подарок, если я позволю ему располагать моей особой (такова у них, как видно, обычная форма ухаживания). Я отклонила подарок, и дальнейших домогательств не последовало: поскольку там для женщины нисколько не зазорно соглашаться на первое предложение, она никогда не получает повторного.

Я прожила в том городе с неделю, когда капитан дал мне знать, что партия пленников, взятых на войне, отправляется под стражей к побережью, где их продадут купцам, ведущим торговлю рабами с Америкой, и что если я пожелаю воспользоваться этим случаем, то, наверное, найду возможность проехать в Америку, а оттуда в Англию; в то же время он извещал меня, что и сам предполагает отправиться с ними. Я охотно согласилась присоединиться к нему. Вождь, узнав о наших намерениях,

пригласил нас обоих ко двору, и там, не упомянув ни словом о своей любви, он преподнес мне камень огромной ценности, но все же менее ценный, сказал он, чем мое целомудрие, и очень вежливо простился с нами, препоручив меня заботам всевышнего и распорядившись снабдить нас в дорогу большим запасом провизии.

Нам дали мулов для нас и для поклажи, и в девять дней мы добрались до морского берега, где нашли английский корабль, готовый принять нас обоих и невольников. Мы сели на него и на другой день пошли с попутным ветром к Новой Англии, откуда я надеялась сразу же переправиться в Старую; но небо было ко мне так милостиво, как я не смела и мечтать: на третий день после того, как мы вышли в море, нам встретился английский военный корабль, шедший домой. Капитан его оказался очень добрым человеком и согласился взять меня на борт. Итак, я простилась с моим старым другом, капитаном бригантины, который предпочел плыть все-таки в Новую Англию, откуда хотел пробраться на Ямайку, где проживали владельцы его погибшего судна. Со мною теперь обращались со всею учтивостью: мне предоставлена была небольшая каюта, и обедала я каждый день за столом капитана, который был и впрямь обязательным человеком и оказывал мне вначале нежное внимание; но увидев, что я непреклонно решила сохранить себя в нетронутой чистоте для лучшего из мужей, он стал холоднее в своих изъявлениях и вскоре усвоил со мною манеру, самую для меня приятную, замечая во мне женщину лишь настолько, чтобы быть почтительным,— а это всегда очень нравится нам.

Но пора кончать, тем более что в этом плавании со мной не приключилось ничего, о чем бы стоило рассказывать. Мы причалили у Гревс-Энда, откуда капитан в своей лодке лично доставил меня к Тауэру. Очень скоро по моем прибытии произошла та наша встреча, которая, как ни была она ужасна вначале, теперь, надеюсь, при добрых стараниях лучшего из людей, на ком да будет вовек благословение небесное, должна кончиться нашим полным счастьем и явить убедительный пример того, во что я верю, как в непреложную истину: что провидение рано или поздно всегда вознаграждает добродетельного и невинного.

Так заключила миссис Хартфри свой рассказ, прежде, однако, передав супругу драгоценности — те, что у него похитил граф, а также ту, что ей преподнес африканский вождь,— камень несметной цены. Добрый судья был глубоко тронут ее повестью: он с волнением представлял себе как те страдания, какие перенесла эта женщина, так и те, которые он сам причинил ее мужу, став без вины орудием чужого умысла. Достойный этот человек был, однако, очень рад тому, что сделал уже для спасения Хартфри, и обещал приложить все труды и ста-

ранья, чтобы добиться для него помилования, или, лучше сказать, полной отмены приговора, который, как теперь стало ясно судье, был жестокой судебной ошибкой.

ГЛАВА XII

Хроника возвращается к созерцанию величия

Но мы, пожалуй, слишком долго задержали этим рассказом читателя, оторвав его помыслы от нашего героя, который ежедневно являл самые высокие примеры величия, улещивая *мазов* и облагая налогом должников; последние сами теперь настолько возвеличились, то есть развратились, что с крайним презрением говорили о том, что чернь называет честностью. Самым почетным наименованием стало среди них «карманный вор» (на правильном языке — *ширмач*), и осуждалось только одно — недостаток ловкости. А прямодушие, доброта и тому подобное — все это стало предметом насмешки и глумления, так что весь Ньюгейт превратился в сплошное скопище *мазов*: каждый норовил залезть к соседу в карман, и каждый понимал, что сосед точно так же готов его обворовать; таким образом (хоть это почти невероятно!) в Ньюгейте ежедневно совершалось не меньше краж, чем за его стенами.

Возможно, слава, увенчавшая Уайльда вследствие этих подвигов, возбудила зависть его врагов. Приближался день его суда, к которому он готовился, как Сократ,— но не со слабостью и глупостью этого философа, вооружившегося терпением и покорностью судьбе, а набрав изрядное число лжесвидетелей. Однако, так как не всегда успех бывает пропорционален мудрости того, кто старается его достичь, мы, скорее с прискорбием, чем со стыдом, сообщаем, что наш герой, невзирая на всю свою осторожность и благоразумие, был признан виновным и приговорен к казни, которую, учитывая, как много великих людей ее претерпело и какое множество было таких, кто считал для себя наивысшим почетом заслужить ее, мы иначе не назовем, как почетной. В самом деле, те, кого она, к несчастью, миновала, всю жизнь, как видно, тщетно трудились, стремясь к тому концу, в котором Фортуна — по известным ей одной причинам — посчитала нужным отказать им. Итак, без дальнейших предисловий, скажем: наш герой был приговорен к *повешению за шею;* но какова бы ни была теперь его судьба, он мог утешаться тем, что на путях преступления свершил то, чего

...nec Judicis ira, nec ignis,
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas[1].

[1] ...не может истребить ни гнев судьи, ни огонь, ни железо, ни разъедающее время *(лат.)*.

Я со своей стороны, признаться, полагаю, что смерть через повешение так же приличествует герою, как и всякая другая; и я торжественно заявляю, что если бы Александр Великий был повешен, это нисколько не умалило бы моего уважения к его памяти. Лишь бы только герой причинил при жизни достаточное количество зла; лишь бы только его от души проклинали вдова, сирота, бедняк, угнетенный (единственная награда величия, или *мазизма,* как жалуются горестно многие авторы в прозе и в стихах),— а какого рода смертью умрет он, не так это, думаю, важно — от топора ли, от петли, или от меча. Его имя, несомненно, всегда будет жить в потомстве и пользоваться тем почетом, к которому он так достославно и страстно стремился; ибо, согласно одному *великому* поэту-драматургу:

Слава
Не так добром питается, как злом.
В ней жив гордец, спаливший храм в Эфесе,
Но не простак, воздвигший этот храм.

Наш герой заподозрил теперь, что злоба врагов осилит его. Поэтому он ухватился за то, что всегда оказывает величию истинную поддержку в горе,— за бутылку. С ее помощью он нашел в себе силу ругать и клясть судьбу, и бросать ей вызов, и чваниться ею. Другого утешения он не получал, так как ни разу ни единый друг не пришел к нему. Его жена, суд над которой был отложен до следующей сессии, навестила его только раз и на этом свидании донимала, мучила и корила его так нещадно, что он наказал смотрителю в другой раз не допускать ее к нему. С ним часто вел беседы ньюгейтский священник, и нашу хронику очень бы украсило, если бы мы могли занести в нее все то, что добрый человек проповедовал осужденному; но, к несчастью, нам удалось раздобыть только краткую запись одной такой беседы, сделанную стенографически лицом, подслушавшим ее. Мы ее здесь точно воспроизведем — в той самой форме, в тех словах, как она получена нами; и не можем не добавить, что мы в ней видим один из самых любопытных документов, какие для нас сохранила история, древняя или новая.

ГЛАВА XIII

Диалог между пастором Ньюгейта и мистером Джонатаном Уайльдом Великим, в котором священнослужитель с великой ученостью толкует о смерти, бессмертии и прочих важных предметах

Пастор. С добрым утром, сэр! Надеюсь, вы хорошо отдохнули в эту ночь?

Джонатан. Чертовски плохо, сэр. Мне так назойливо снилась проклятая виселица, что сон никак не шел ко мне.

Пастор. Нехорошо, нехорошо. Вы должны принимать все с полной покорностью. Мне хотелось бы, чтобы вы извлекли немного больше пользы из тех наставлений, которые я старался вам преподать, особенно в последнее воскресенье, и из следующих слов: «Кто творит зло, тот будет гореть на вечном огне, уготованном для диавола и ангелов его». Я старался пояснить вам, во-первых, что разумеется под *вечным огнем,* а во-вторых — кто есть *диавол* и *ангелы его.* Далее я перешел к понятию о геенне [1] и сделал некоторые выводы. Но я жестоко обманулся, если не убедил вас, что вы сами один из тех *ангелов* и что, следственно, уделом вашим на том свете будет вечный огонь.

Джонатан. Ей-богу, доктор, я очень мало запомнил из ваших выводов, потому что, когда вы объявили, на какой текст прочтете проповедь, я сразу же и заснул. Но объясните: вы развивали эти выводы тогда или решили повторить их сейчас в утешение мне?

Пастор. Я это делаю, чтобы выявить истинное значение ваших многообразных грехов и таким путем привести вас к покаянию. Воистину, обладай я красноречием Цицерона или, к примеру, Туллия *, его бы недостало, чтобы описать муки ада или услады рая. Нам ведомо только одно: что *сего и ухо не вняло и для сердца сие непостижимо.* Кто же захочет ради ничтожных помыслов о богатствах и утехах мира сего поступиться таким невообразимым блаженством! Такими радостями! Такими усладами! Или кто добровольно подвергнет себя угрозе такого страдания, при одной мысли о котором содрогается разум человеческий? Кто же, находясь в полном рассудке, предпочтет последнее первым?

Джонатан. А и вправду, кто? Уверяю вас, доктор, я и сам куда как больше хочу быть счастливым, чем несчастным. Но [2] . . . . . .
. . . . . .

Пастор. Ничего не может быть проще. Св. . . . . .
. . . . . .

Джонатан. . . . . Коль скоро постигнешь . . . . . ни один человек . . . . жить тем . . . . . тогда как духовенство, несомненно, ... возможность . . более осведомил . . . . . все виды порока . . . . . .

Пастор. . . явл . . . атеистом. . . . . деист . . . ариа . . . нианин . . . . повешен . . .

---

[1] В его произношении получалось «гиене»,— и, возможно, это слово так же выглядело бы и в его написании. *(Прим. автора.)*

[2] Этот кусок был так перемаран, что его не везде удалось прочитать. *(Прим. автора.)*

сожжен . . . . в масле . . . жар . . . . дьяв . . . его . . енна огнен . . . чная пог . . ель . . анг . . .

Джонатан. Вы . . . запугать меня до потери рассудка. Но добрый . . . будет, несомненно, милостивей, чем его дурной . . . . Если бы я уверовал во все, что вы говорите, я попросту помер бы от несказанного ужаса.

Пастор. Отчаяние греховно. Уповайте на силу покаяния и милосердие божие; и хотя вам, несомненно, грозит осуждение, но есть место и для милости: ни для единого смертного, за исключением того, кто отлучен от церкви, не потеряна надежда на избавление от казни вечной.

Джонатан. Вот я и надеюсь еще, что казнь отменят и я уйду от *крючка.* У меня сильные связи, но если дело не выгорит, никаким запугиванием вы не отнимете у меня мужества. Я не умру, как трусливый сводник. Черт меня побери, что значит умереть? Не что иное, как попасть в одну компанию с платонами и цезарями, сказал поэт, и со всеми прочими великими героями древности . . . . . .

Пастор. Все это очень верно, но жизнь тем не менее отрадна; и, по мне, лучше уж жить для вечного блаженства, чем отправиться в общество этих язычников, которые, как я не сомневаюсь, пребывают в аду вместе с дьяволом и ангелами его; и как нимало вы, повидимому, этого опасаетесь, вы можете оказаться там же, и раньше, чем вы ждете. И где тогда будут ваши пересмешки и чванство, ваше бахвальство и молодечество? Вы тогда рады будете дать больше за каплю воды, чем когда-либо давали за бутылку вина.

Джонатан. Ей-богу, доктор, кстати напомнили! Как вы насчет бутылки вина?

Пастор. Я не стану пить вино с безбожником. Я считал бы, что в такой компании третьим будет дьявол, ибо, зная, что вы ему обречены, он, возможно, захочет поскорее захватить свое.

Джонатан. Ваше дело — пить с порочными, чтобы их исправлять.

Пастор. В этом я отчаялся; и я предаю вас дьяволу, который уже готов принять вас.

Джонатан. Вы ко мне еще более немилосердны, доктор, чем судья. Тот говорил, что предает мою душу небесам, а ваша обязанность указать мне туда дорогу.

Пастор. Нет, ворота на запоре для всех, кто возносит хулу на служителей церкви.

Джонатан. Я хулю только дурных пасторов, если есть такие, и это не может затронуть вас, который, ежели бы в церкви людям отдавалось предпочтение исключительно по их заслугам, давно уже был бы епископом. В самом деле, каждого порядочного человека должно бы возмущать, что муж вашей учености и дарования принужден применять их в таком

низком кругу, тогда как многие, кто ниже вас, утопают в богатстве и почестях.

Пастор. Да, нельзя не согласиться, бывают дурные люди во всяком сане; но не следует осуждать огулом всех. Я, надо признаться, вправе был ожидать более высокого продвижения, но я научился терпению и покорности; и вам порекомендую то же, ибо, достигнув такого настроения ума, вы, я знаю, обретете милосердие. Да, обещаю вам,— обретете! Вы грешник, это верно; но преступления ваши не самые черные: вы не убийца и не святотатец. А если вы и виновны в воровстве, то вам предстоит смягчить вину свою, пострадав за нее, что не всегда доводится другим. Поистине счастливы те немногие, кто разоблачен в грехах своих и, в пример другим, подвергается за них наказанию на этом свете. Поэтому вам не только не следует клясть судьбу, когда вы попадете на *крючок,*— ликовать и радоваться должны вы! И, сказать по правде, для меня вопрос, не подобает ли мудрецу скорее завидовать катастрофе, посылающей иных на виселицу, чем сожалеть о ней. Нет ничего греховнее греха, а убийство есть величайший из всех грехов. Отсюда следует, что всякий, кто совершает убийство, счастлив, страдая за него. А посему, если человек, совершивший убийство, так счастлив, умирая за это, то насколько же лучше должно быть вам, совершившему меньшее преступление!

Джонатан. Все это очень верно, но давайте разопьем бутылку вина для бодрости духа.

Пастор. Почему же вина? Позвольте мне сказать вам, мистер Уайльд, что нет ничего обманчивее, чем бодрость духа, сообщаемая вином. Если уж вам требуется выпить, осушим по кружке пунша,— этот напиток я, знаете, предпочитаю, так как против него в священном писании нигде ничего не сказано и он пользителен при почечных камнях — недуг, которым я жестоко страдаю.

Джонатан *(заказав по кружке)*. Прошу прощения, доктор: мне следовало помнить, что пунш — ваш любимый напиток. Вы, я полагаю, никогда не пригубите вина, покуда есть на столе хоть немного пунша?

Пастор. Признаться, я считаю пунш самым предпочтительным напитком, как по тем основаниям, какие я привел вам раньше, так и по той причине, что его легче проглотить единым духом. И что правда то правда: мне показалось не совсем любезным с вашей стороны говорить о вине, когда вам как будто известны мои вкусы.

Джонатан. Вы совершенно правы; и я осушу полную чашу за то, чтобы стать вам епископом.

Пастор. А я вам пожелаю отмены казни и проглочу за это е*диным духом* столько же. Эх, рано предаваться отчаянью, успеете еще подумать о смерти! У вас есть добрые друзья, которые, вероятно, похлопочут за вас. Я многих знавал, кому

отменили казнь, хотя у них было меньше оснований этого ждать.

Джонатан. Но если я стану обольщаться такими надеждами и обманусь — что станется тогда с моей душой?

Пастор. Ба! О душе не тревожьтесь! Предоставьте это дело мне,— я по этому предмету неплохо отчитаюсь, будьте покойны. У меня лежит в кармане проповедь, которую вам небесполезно бы выслушать. Я не горжусь талантом проповедника, потому что никто из смертных не должен гордиться никаким даром земным, но такую проповедь, пожалуй, не часто услышишь. Так что приступим, пока не подали пунш. Текстом я взял только вторую часть стиха:

...до неразумия эллинов.

Поводом к этим словам послужила главным образом та философия эллинов, которая в то время получила распространение в большей части языческого мира и отравила умы людей, преисполнив их чванства, так что стали они презирать все иные доктрины, ставя их ниже своих собственных; и как бы ни было здраво и разумно учение других, коль скоро оно в чем-то противоречило их собственным законам, обычаям и принятым мнениям, они кричали. «Долой его, оно не для нас!» Вот что значит *неразумие эллинов.*

Итак, в первой половине моей речи на этот текст я ставлю своей задачей главным образом раскрыть и выявить великую пустоту и суетность этой философии, которой нелепые и празднословные софисты так надменно величались и кичились.

И здесь я делаю две вещи: во-первых, разоблачаю сущность, а во вторых — приемы этой философии.

Сперва о первом, то есть о сущности. И вот тут мы можем обратить против наших противников то самое неучтивое слово, которое они дерзновенно бросили нам в лицо; ибо что такое есть вся могучая сущность философии, вся эта куча знаний, которая должна была доставить столь обильную жатву тем, кто их посеял, и столь безмерно, столь благородно обогатить почву, на которую упало семя? Что она такое, если не *неразумие?* Не бессвязное нагромождение бессмыслицы, нелепостей и противоречий, отнюдь не являющихся украшением для ума в теории и не дающих пользы для тела на практике? Как назвать проповеди, изречения, притчи и назидания всех этих мудрецов, если еще раз не воспользоваться словом, упомянутым в моем тексте,— словом *неразумие?* Кто был их великий учитель Платон? Или другой их великий светоч — Аристотель? Оба дураки, просто крючкотворы и софисты, в праздности своей и суете приверженные собственным смешным учениям, не основанным ни на истине, ни на разуме. Все их творения — странная мешанина всяческой лжи, еле прикрытая сверху на-

летом истины; их предписания не исходят от природы и не руководствуются разумом: они пустая выдумка, служащая лишь доказательством страшного роста человеческой гордости; одним словом — *неразумие*. Может быть, станут ждать от меня, чтобы я привел в доказательство этого обвинения некоторые примеры из их трудов; но так как переписывать каждую страницу, пригодную для этой цели, значило бы переписывать все их творения, и так как из такого изобилия трудно сделать выбор, то я не стану злоупотреблять вашим терпением и заключу первую часть моей проповеди, утвердив то, что я так неопровержимо доказал и что поистине можно вывести из текста,— то есть что философия эллинов была *неразумием*.

Теперь приступим ко второму пункту, к рассмотрению приемов, посредством которых распространялось это безрассудное и пустое учение. И здесь...

Здесь пунш, прибыв наконец, разбудил крепко заснувшего было мистера Уайльда и заставил оратора прекратить проповедь; отчета же о дальнейшей беседе, происходившей при этом свидании, нам не удалось получить.

ГЛАВА XIV

Уайльд достигает вершины человеческого величия

Близился день, когда нашему великому человеку предстояло явить последний и благороднейший пример величия, каким каждый герой может себя утвердить. То был день казни, или апогея, или апофеоза (его именуют по-разному),— когда нашему герою открывалась возможность глянуть в лицо смерти или вечного проклятия без страха в сердце, или по меньшей мере без признаков этого страха на лице. Вершина величия, достижения которой можно от души пожелать любому великому человеку. Ибо что может быть досадней зрелища, как Фортуна, подобно нерадивому поэту, проводит свою трагическую развязку кое-как и, потратив слишком мало стараний на пятый акт, дает улизнуть тишком со сцены герою, свершившему в первой части драмы такие замечательные подвиги, что каждый добрый судья среди зрителей вправе бы ждать для него высокого, публичного и благородного конца.

Но в этом случае богиня решила не допускать такой ошибки. Наш герой слишком явно и слишком заслуженно был ее любимцем, чтоб она могла в его последний час отнестись к нему с пренебрежением; сообразно с этим все усилия добиться отмены приговора оказались напрасны — имя Уайльда возглавило список тех, кого отправляли на казнь.

С того часа, как он оставил всякую надежду на жизнь, его поведение было поистине величественным и удивительным. Он

не только не выказывал никакого удручения или раскаяния, но придал своему взгляду еще больше твердости и уверенности.

Почти все свое время он проводил в попойках с друзьями и упомянутым выше достойным собутыльником. При одном из этих возлияний на вопрос, боится ли он умирать, он ответил: «Будь я проклят, если это не танец без музыки — и только!» В другом случае, когда кто-то выразил сожаление по поводу его несчастья, как он это назвал, Уайльд сказал свирепо: «Человек может умереть лишь раз». А когда один из его приятелей робко выразил надежду, что он умрет, как мужчина, Уайльд великолепно заломил шляпу и вскричал: «Фью! Есть чего бояться!»

Было бы счастьем для потомства, если бы мы могли привести целиком какой-либо разговор, происходивший в ту пору, особенно между нашим героем и его ученым утешителем; в этих целях мы просмотрели не одну папку записей, но тщетно!

Накануне его апофеоза супруга Уайльда пожелала повидаться с ним, и он дал свое согласие. Эта встреча проходила сперва с большой обоюдной нежностью, но долго так идти не могло, потому что, когда она стала напоминать о кое-каких прежних неладах, особенно же когда спросила, как он мог однажды обойтись с нею так варварски, обозвав ее с...й, и неужели такой язык подобает мужчине, а тем более джентльмену, Уайльд пришел в ярость и поклялся, что она самая подлая с..а, если в такой час попрекает его словом, вырвавшимся у него нечаянно да к тому же давным-давно. Она, заливаясь слезами, ответила, что получила хороший урок, навестив, по глупости, такую скотину, но ей остается хоть то утешение, что больше ему не представится случая так обращаться с нею; она, можно сказать, некоторым образом даже должна быть ему признательна, потому что эта его жестокость к ней примиряет ее с той судьбой, которая его постигнет завтра, и, конечно, только через такое его скотство нестерпимая мысль о позорной смерти мужа (так эта слабая женщина назвала повешенье), теперь уже неизбежной, не сведет ее с ума. Затем она перешла к перечню в точном порядке его провинностей, проявив при этом такую безупречную память, какой никто не предположил бы у нее; и очень вероятно, что она исчерпала бы весь их список, если бы нашему герою не изменило терпение настолько, что он в бешенстве и злобе схватил ее за волосы и выставил за порог таким сильным пинком, какой допускали его цепи.

Наконец, наступило то утро, в которое Фортуна при рождении нашего героя непреложно назначила ему достигнуть апогея *величия*. Правда, он сам скромно отклонил публичную честь, которую она присудила ему, и принял большую дозу настойки опия, чтобы тихо уйти со сцены. Но мы уже отметили

как то в ходе нашей удивительной истории, что бороться с предписаниями этой дамы напрасно и бесполезно: назначила ли она вам умереть на виселице, или стать премьер-министром, в обоих случаях сопротивляться — значит даром тратить труд. И вот, когда опий оказался бессилен прервать дыхание нашего героя, так как побороть его надлежало плоду конопли, а не духу макового семени, к Уайльду в обычный час явился почтенный джентльмен, на которого возлагаются такие дела, и сообщил ему, что повозка готова. По этому случаю Джонатан Уайльд проявил то великое мужество, которое столь высоко прославлялось в других героях, и, зная, что сопротивление невозможно, он спокойно объявил, что сейчас пойдет. Он спустился в ту камеру, где с великих людей торжественно, по установленному чину, сбивают кандалы. Потом, пожав руку друзьям (то есть тем, кто его провожал к *дереву*) и выпив за их здоровье чарку водки, он взошел на повозку, где, прежде чем сесть, принял стоя рукоплескания толпы, восхищенной его *величием*.

И вот повозка, предводимая отрядом конных стражников с дротиками в руках, медленно покатилась по улицам, между сплошными рядами зрителей, удивлявшихся величественному поведению нашего героя, который ехал то вздыхая, то ругаясь, а то распевая или посвистывая — по смене настроения.

Когда он прибыл к *древу славы*, его приветствовал дружный клик народа, стекшегося несметной толпой поглядеть на зрелище, происходящее в многолюдных городах куда реже, чем надлежало бы по разумному рассуждению,— то есть на гибель великого человека, вполне ему подобающую.

Но хотя завистники, страха ради, должны были бы в этом случае влить свои голоса в общий хор одобрения, нашлись все-таки охотники очернить эту полную славу, уже венчавшую нашего героя: кое-кто норовил умалить его величие, стукая его по голове, когда он стоял под виселицей и внимал последней молитве пастора; затем они принялись забрасывать повозку камнями, щебнем, грязью и прочим низменным метательным оружием; при этом иные попадали по ошибке в рясу священника, чем и принудили его так поторопиться отправлением требы, что закончил он с поразительным проворством, чуть ли ни мгновенно, и нашел укрытие в наемной бричке, где и дожидался развязки, в том расположении духа, какое описано в следующем двустишии:

Suave mari magno, turbantibus a equora ventis,
E terra alterius magnum spectare laborem[1].

---

[1] Сладко, когда на просторе морском разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого.
(лат.). (Лукреций, II, 1 и 2.)

Мы не должны, однако, обходить молчанием одно обстоятельство, показывающее, что наш герой и в последние свои минуты сохранил поразительную верность себе: пока священник с увлечением творил молитву, Уайльд под градом камней и прочего, чем швырялись зрители, запустил руку в его карман и вытащил оттуда штопор, который и унес с собой в кулаке на тот свет.

Пастор сошел с телеги, и тут Уайльд, уловив минуту, успел обвести глазами толпу и обложить всех крепкой руганью,— когда лошади двинулись и под общие рукоплескания наш герой унесся из этого мира.

Так Джонатан Уайльд *Великий* пал смертью такою же славной, какою была его жизнь, и столь верно соответствовавшей ей, что, отними у него эту смерть, и жизнь его представилась бы нам плачевно искалеченной и несовершенной,— смертью, которой одной недоставало для цельности образа многих героев, древних и современных, чьи жизнеописания читались бы с несравненно большим удовольствием мудрейшими людьми всех веков. В самом деле, мы почти готовы пожелать, чтобы везде, где Фортуна, повидимому, отступает своенравно от своих намерений и оставляет свой труд в этой части незавершенным, историк позволял бы себе уклониться в вольность поэзии и романа и даже погрешить против истины, дабы порадовать читателя страницей, которая оказалась бы самой приятной во всем повествовании и неизменно заключала бы в себе поучительное наставление.

Люди узкого кругозора, возможно не без основания, стыдятся уходить этим путем из мира, поскольку совесть может бросить им краску в лицо и сказать им, что они не заслужили такой чести; но глупцом будет тот, кто устыдится смерти на виселице, после того как не был в жизни слаб и не стыдился заслужить такую смерть.

ГЛАВА XV

Характеристика нашего героя и заключение хроники

Постараемся теперь очертить характер этого великого человека и, собрав воедино отдельные черты его духовного облика, какие проявлялись то здесь, то там на протяжении нашего повествования, преподнести читателям законченную картину его величия.

Джонатан Уайльд обладал всеми достоинствами, необходимыми человеку, чтобы стать великим. Если его самой сильной и главенствующей страстью было честолюбие, то природа в полном соответствии приспособила все его свойства к достижению тех славных целей, к каким направляла его эта страсть.

Он был чрезвычайно изобретателен в составлении замыслов, искусен в изыскании способов достижения своих намерений и решителен в их исполнении. И если самая тонкая хитрость и самая бестрепетная храбрость делали его способным на любое предприятие, то в то же время его ни в чем и никогда не удерживали те слабости, которые мешают мелким и пошлым людишкам в осуществлении их замыслов и которые все охватываются одним общим словом — *честность* (honesty), представляющим собой искажение слова «onosty», производного от греческого onos — осел. Ему были совершенно чужды два низменных порока — скромность и доброта, которые, утверждал он, означают полное отрицание человеческого величия и являются единственными свойствами, наличие коих безусловно закрывает перед человеком всякую возможность сделаться в свете видным лицом. Похотливость его уступала только его честолюбию; но о том, что простые люди называют любовью, он не имел и понятия. Он был безгранично жаден, но отнюдь не скуп. Жадность его была так беспредельна, что он никогда не довольствовался частью и всегда требовал всего целиком; и какую бы значительную долю добычи ни отдавали ему пособники, он не знал покоя в изобретении способов завладеть и теми крохами, какие они оставляли себе. Закон, говорил он, создан только на благо *мазов* и для охраны их собственности,— поэтому нет худшего извращения законности, как если ее острие направляется против них; но это обычно случается только из-за недостатка ловкости у *маза*. Чертой характера, какую он наиболее ценил в самом себе и главным образом почитал в других, было лицемерие. Он держался мнения, что без этой черты в *мазизме* далеко не продвинешься; по этой причине не приходится, говорил он, искать большого величия в человеке, признающемся в своих пороках, но можно возлагать большие надежды на того, кто кичится своею добродетелью. Сообразно с этим, хотя он всегда чурался человека, повинного в добром поступке, его никогда не отвращала репутация доброты, которая больше соответствует тому, что человек проповедует, чем его делам. По этой причине сам он всегда бывал безгранично щедр на восхваления честности, и слова «доброта» и «добродетель» слетали с его уст так же часто, как у праведника. Нимало не стесняясь, он клялся честью даже тому, кто его превосходно знал, и, бесконечно презирая доброту и скромность, он, ради дела, постоянно притворялся добрым и скромным и советовал то же всем другим, кому, по его уверениям, он искренне желал преуспеяния. Он установил ряд правил, являющихся, как бы методикой достижения величия, и сам неизменно придерживался их в своем стремлении к цели. Например:

1. Никогда не причиняй другому больше зла, чем это необходимо для осуществления твоих намерений. ибо зло слишком дорогая вещь, чтобы им бросаться зря.

2. Не делай различия между людьми по склонности к ним; с равной готовностью приноси любого в жертву личному своему интересу.

3. Никогда не сообщай о деле больше, чем нужно знать лицу, которому поручается его исполнить.

4. Не доверяй тому, кто обманул тебя, ни тому, кто знает, что обманут тобой.

5. Не прощай ни единого врага, но будь осторожен в мести, а зачастую и медлителен.

6. Сторонись бедного и горемычного и держись как можно ближе к влиятельному и богатому

7. Сохраняй на лице и в осанке неизменную важность и во всех обстоятельствах строй из себя мудреца.

8. Разжигай между участниками своей шайки вечную зависть друг к другу.

9. Никогда никого не награждай в полную меру заслуги; но неизменно при этом внушай, что награда выше ее.

10. Все люди — подлецы или глупцы, а чаще всего и то и другое вместе.

11. С добрым именем, как с деньгами, приходится разлучаться или по меньшей мере рисковать им, чтобы оно принесло владельцу выгоду.

12. Добродетели, как драгоценные каменья, легко подделываются; в обоих случаях подделка одинаково служит к украшению того, кто в них рядится, и лишь очень немногие обладают достаточным знанием или умением разбираться, чтобы отличить поддельную драгоценность от настоящей.

13. Многие погибли оттого, что зашли в мошенничестве недостаточно далеко; игрок может остаться в проигрыше, если не пойдет в игре до конца.

14. Люди кричат о своих добродетелях, подобно тому, как лавочники выставляют свои товары, чтобы на них заработать.

15. Сердце — надлежащее место для ненависти, любовь же и дружбу носи на лице.

Было у него еще много правил того же рода и столь же хороших, найденных после его кончины в его кабинете, как те двенадцать превосходных и прославленных правил в кабинете Карла Первого; при жизни же он ни разу не обнародовал их и не имел их постоянно на устах, подобно иным высоким особам, которые вечно твердят о правилах добродетели и нравственности, нисколько не считаясь с ними в своих действиях; тогда как наш герой — в твердой и неизменной приверженности своим правилам — сообразовался с ними во всем, что делал, и постепенно приобрел установившуюся привычку направлять по ним свои стопы, пока, наконец, не исчезла для него всякая опасность нечаянно уклониться от них; этим путем он достиг того величия, в каком не многие сравнялись с ним; и никто, добавим мы, не превзошел. Ибо, хоть и можно допустить,

что были некоторые герои, причинившие людям больше зла, вроде тех, например, что предавали в руки тиранов свободу отечества или сами подрывали ее и душили; или вроде завоевателей, которые ввергали в нищету, грабили, жгли, разоряли и крушили города и страны, населенные такими же людьми, как и они, ничем к тому не побуждаемые, кроме жажды славы, то есть, как сказал трагический поэт,

...по праву убивать и смело,
Войдя в соблазн, вершить дурное дело.

Однако, когда мы рассмотрим предмет в том свете, в каком представляет его эта строка:

Laetius est, quoties magno tibi constat honestum[1],

когда мы увидим, что наш герой, не опираясь ни на чье содействие, ни на какие притязания, стал во главе шайки, управлять которой он не имел и тени права; если мы учтем, что он сохранял абсолютную власть и держал тиранически в подчинении беззаконную банду, не считаясь ни с каким законом, кроме собственного произвола; если подумаем, как широко и открыто повел он свой промысел, наперекор не только законам страны, но и здравомыслию соотечественников; если вспомним, как он сперва затевал ограбление, а потом у самих грабителей отбирал ту добычу, которую они приобрели, рискуя головой, и без всякого риска могли бы оставить при себе,— тогда бесспорно он предстанет пред нами достойным удивления, и мы отважимся бросить вызов не только правде истории, но и вольности вымысла: дадут ли они равное этой славе?

И не было в его натуре ни единого из тех изъянов, которые,— хоть их и хвалят слабые авторы,— здравомыслящий читатель (как я упоминал в начале этой хроники) с презрением осудил бы. Таково милосердие Александра или Цезаря, которым природа наделила их по грубой оплошности,— как оплошал бы художник, обрядив земледельца в одежды сановника или придав сатиру нос либо иную черту Венеры. Что общего у истребителей рода человеческого, у этих двоих, из которых один явился в мир узурпировать власть и низвергнуть республиканский строй своей родины, другой — чтобы завоевать, поработить и подчинить своей власти весь мир или по меньшей мере все те земли, какие были ему известны и какие он мог посетить за свою короткую жизнь,— что общего, говорю я, у таких, как они, с милосердием? Кому не ясно, как бессмысленно и противоречиво добавление такой черты к великим и благородным достоинствам, указанным мною раньше? А в Уайльде все говорило об истинном величии, почти безупречном, так как его изъяны (хоть и небольшие, они в нем все же

[1] Почет тем приятней, чем дороже он тебе обходится (*лат.*).

были) служили только к тому, чтобы можно было причислить его к человеческим существам, из которых никто никогда не достигал полного совершенства. Но, конечно, все его поведение с его другом Хартфри убедительно доказывает, что поистине железное или стальное величие его сердца не было испорчено примесью более мягкого металла. В самом деле, покуда величие состоит в гордости, власти, дерзости и причинении зла человечеству,— иначе говоря, покуда великий человек и великий негодяй суть синонимы,— до тех пор Уайльд будет стоять, не имея соперников, на вершине *величия*. И здесь мы не должны обойти молчанием то, что завершает его образ и что воистину следовало бы запечатлеть на его могильной плите или на статуе: его смерть, как было указано выше, стоит в полном соответствии с его жизнью; после всех своих небывалых подвигов Джонатан Уайльд достиг того, что далось столь немногим *великим* людям,— он был *повешен за шею* и *висел, доколе не умер*.

Теперь, когда мы привели нашего героя к завершению его пути, возможно кое-кому из читателей (многих, я не сомневаюсь, далее судьбы героя уже ничто не заботит) будет любопытно узнать, что же сталось с Хартфри. Поэтому мы им сообщаем, что его страдания пришли теперь к концу, что добрый судья без труда добился для него полного помилования и не успокоился, пока не сделал всего, что мог, для вознаграждения Хартфри за все его невзгоды,— хотя сам он, судья, внес в них свою долю не только без вины, но и по самым похвальным побуждениям. Он исхлопотал ему выдачу его драгоценностей, когда вернулся в Англию тот военный корабль, а главное — не пожалел трудов, чтобы восстановить доброе имя Хартфри и убедить его соседей, знакомых и покупателей в его невиновности. Когда комиссии по банкротству было уплачено все сполна, у Хартфри осталась на руках еще значительная сумма, потому что алмаз, подаренный его жене, был несметной цены и с лихвой вознаградил владельца за потерю тех драгоценностей, которыми распорядилась мисс Стрэдл. Он снова открыл свой ювелирный магазин; сочувствие за его незаслуженные злоключения привело к нему много покупателей из среды тех, кто сколько-нибудь склонен к человеколюбию; и благодаря усердию и бережливости он скопил значительный капитал. Жена его и сам он так и состарились в нежной и чистой любви и дружбе, но детей у них больше не было. Когда их старшей дочери исполнилось девятнадцать лет, Френдли женился на ней и вступил компаньоном в дело Хартфри. А младшая не желала слушать о любви и отвергала все искательства, в том числе и предложение одного молодого и знатного дворянина, который согласен был взять ее в жены с приданым в две тысячи фунтов,— и отец охотно выделил бы ей такое приданое и даже искренне уговаривал ее на этот брак, но девушка отказалась

наотрез и на все настояния Хартфри не привела иных доводов, кроме того, что решила посвятить свою жизнь уходу за ним и не допустит, чтобы другие обязанности стали поперек ее долга перед лучшим из отцов и помешали ей покоить его старость.

Итак, Хартфри, его жена, обе дочери, зять и внуки, которых у него было несколько, живут по сей день все в одном доме; и живут так дружно и любовно, что среди соседей их так и называют — любящая семья.

Что касается прочих личностей, показанных этой хроникой в свете величия, то все они достигли подобающего им конца и были повешены, за исключением двоих, а именно: мисс Теодозии Снэп, которая была сослана в Америку, где довольно удачно вышла замуж, вступила на новый путь и стала хорошей женой; и графа, который оправился от раны, нанесенной ему отшельником, и пробрался во Францию, где совершил грабеж, был схвачен с поличным и умер на колесе.

В самом деле, всякий, кто знакомится с судьбою, обычной для великих людей, должен признать, что они вполне заслуживают и нелегко стяжают те хвалы, какими их дарит мир; потому что, когда мы подумаем, с какими трудами и муками, с какими хлопотами, тревогами, опасностями сопряжен их путь к величию, мы скажем вслед за проповедником, что *попасть в рай человек может, не затратив и половины тех трудов, каких ему стоит купить себе ад.* Сказать по правде, уже и этого основания довольно для народа, чтобы чтить таких людей, как Уайльд,— потому что если каждому под силу быть вполне честным, то едва ли хоть один из тысячи способен быть законченным негодяем; и поистине мало найдется таких, кто, подвигнутый тщеславием к подражанию нашему герою, после многих бесплодных усилий не оказался бы вынужден признать себя ниже мистера *Джонатана Уайльда Великого.*

ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ДЖОЗЕФА ЭНДРУСА

и
его
друга

АБРААМА АДАМСА

написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон Кихота

РОМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Так как простой английский читатель, возможно, держится иного понятия о романе, чем автор этих небольших томов *, и, значит, напрасно станет ожидать такого развлечения, какого ему не доставят, да и не предназначены доставить последующие страницы,— то, может быть, не лишним будет предпослать им несколько слов о литературе того рода, в котором до сей поры никто еще, насколько я помню, не пытался писать на нашем языке.

Эпос, как и драма, делится на трагедию и комедию. Гомер, отец эпической поэзии, дал нам образцы и того и другого; правда, созданное им комическое произведение безвозвратно потеряно, однако Аристотель сообщает, что оно так же относилось к комедии, как «Илиада» к драме *. И, может быть, отсутствие такого рода комических поэм у античных авторов объясняется именно утратой того первого образца, который, сохранись он в целости, нашел бы своих подражателей наравне с другими поэмами великого создателя прообразов.

Далее, если эпос может быть и трагическим и комическим, то равным образом, позволю я себе сказать, он возможен и в стихах и в прозе: в самом деле, пусть не хватает ему одного из признаков, которыми критики определяют эпическую поэму, а именно метра, все же, когда в произведении содержатся все прочие признаки, как фабула, действие, типы, суждения и слог, и отсутствует один только метр,— правильно будет, думается мне, отнести его к эпосу; тем более что ни один критик не почел нужным зачислить его в какой-либо другой разряд или же дать ему особое наименование.

Так «Телемак» архиепископа Камбрэйского * представляется мне произведением эпическим, как и «Одиссея» Гомера; в самом деле, гораздо правильней и разумней дать ему такое же название, как тем произведениям, от которых он отличается

только по одному признаку, нежели объединять в один разряд с теми, на какие он не походит ничем: а таковы объемистые труды, обычно именуемые романами,— «Клелия», «Клеопатра», «Астрея», «Кассандра», «Великий Кир» * и неисчислимое множество других, в которых, на мой взгляд, содержится очень мало поучительного или занимательного.

Итак, комический роман есть комедийная эпическая поэма в прозе; от комедии он отличается тем же, чем серьезная эпическая поэма от трагедии: действию его свойственна бо́льшая длительность и больший охват; круг событий, описанных в нем, много шире, а действующие лица более разнообразны. От серьезного романа он отличается своею фабулой и действием: там они важны и торжественны, здесь же легки и забавны. Отличается комический роман и действующими лицами, так как выводит особ низших сословий и, следовательно, описывает более низменные нравы, тогда как серьезный роман показывает нам все самое высокое. Наконец, он отличается своими суждениями и слогом, подчеркивая не возвышенное, а смешное. В слоге, мне думается, здесь иногда допустим даже бурлеск *, чему немало встретится примеров в этой книге,— при описании битв и в некоторых иных местах, которые не обязательно указывать осведомленному в классике читателю, для развлечения коего главным образом и рассчитаны эти пародии или шуточные подражания.

Но допустив такую манеру кое-где в нашем слоге, мы в области суждений и характеров тщательно ее избегали: потому что здесь это всегда неуместно,— разве что при сочинении бурлеска, каковым этот наш труд отнюдь не является. В самом деле, из всех типов литературного письма нет двух, более друг от друга отличных, чем комический и бурлеск; последний всегда выводит напоказ уродливое и неестественное, и здесь, если разобраться, наслаждение возникает из неожиданной нелепости, как, например, из того, что низшему придан облик высшего, или наоборот; тогда как в первом мы всегда должны строго придерживаться природы, от правдивого подражания которой и будет проистекать все удовольствие, какое мы можем таким образом доставить разумному читателю. Есть причина, почему комическому писателю менее, чем всякому другому, простительно уклонение от природы: ведь серьезному поэту иной раз не так-то легко встретить великое и достойное; а смешное жизнь предлагает внимательному наблюдателю на каждом шагу.

Я заговорил здесь о бурлеске потому, что мне часто доводилось слышать, как присваивалось это наименование произведениям по сути дела комическим из-за того только, что автор иногда допускал бурлеск в своем слоге; а слог, поскольку он является одеждой поэзии, как и одежда людей, в бо́льшей мере определяет суждение толпы о характере (тут — всей поэмы,

там — человека в целом), чем любое из их величайших достоинств. Но, разумеется, некоторая игривость слога там, где характеры и чувства вполне естественны, еще не есть бурлеск,— как другому произведению пустая напыщенность и торжественность слов при ничтожестве и низменности всего замысла не дает права называться истинно возвышенным.

И, мне думается, суждение милорда Шефтсбери * о чистом бурлеске сходится с моим, когда он утверждает, что подобного рода писаний у древних мы не находим. Но у меня, пожалуй, нет такого отвращения к бурлеску, какое высказывал он; и не потому, что в области бурлеска я стяжал на сцене некоторый успех,— нет, скорей потому, что ничто другое не дает повода для столь искреннего веселья и смеха; а веселый смех, быть может, самое целебное лекарство для духа и больше способствует изгнанию сплина, меланхолии и прочих болезней, чем это обычно предполагают. Сошлюсь на то, что наблюдалось многими: разве не правда, что одни и те же люди бывают благодушней и доброжелательней в общении после того, как они два-три часа услаждались подобным веселым развлечением, нежели после того, как их дух угнетали трагедией или торжественным чтением?

Но возьмем пример из другой области искусства, и тогда, быть может, это различие выступит перед нами отчетливей: сопоставим творения комического художника-бытописателя с теми произведениями, которые итальянцы называют «caricatura»; здесь мы найдем, что истинное превосходство первых состоит в более точном копировании природы; так что взыскательный глаз тотчас отвергнет всякое «outré» [1], малейшую вольность, допущенную художником по отношению к этой «almae matris» [2]. Между тем в карикатуре мы допускаем любой произвол; цель ее — выставить напоказ чудища, а не людей; и всяческие искажения и преувеличения здесь вполне у места.

Итак: то, что есть карикатура в живописи, то бурлеск в словесности; и в том же соотношении стоят комический писатель и комический художник. И здесь я замечу, что если в первом случае у художника есть как будто некоторое преимущество, то во втором оно на стороне писателя — и притом бесконечно большее: потому что чудовищное много легче изобразить, чем описать; смешное же легче описать, чем изобразить.

И хотя, быть может, комическое — будь то живопись или словесность — не действует так сильно на мускулы лица, как бурлеск или карикатура, все же, я думаю, надо признать, что оно доставляет удовольствие более разумное и полезное. Тот, кто назовет остроумного Хогарта * мастером бурлеска в живописи, тот, по-моему, не отдаст ему должного; ибо, конечно же,

---

[1] Преувеличенное *(франц.)*.
[2] Матери-кормилице *(лат.)*.

куда легче, куда менее достойно удивления, изображая человека, придать ему несообразных размеров нос или другую черту лица, либо выставить его в какой-нибудь нелепой или уродливой позе, нежели выразить на полотне человеческие наклонности. Почитается большой похвалой, если о живописце говорят, что образы его «как будто дышат»; но, конечно, более высокой и благородной оценкой будет утверждение, что они «словно бы думают».

Но вернемся назад. В область настоящего моего труда, как я уже сказал, входит только Смешное. И читатель не сочтет здесь неуместным некоторое пояснение к этому слову, если вспомнит, как превратно понимают его даже те авторы, которые избрали Смешное своим предметом: ибо чему же, как не такому непониманию, должны мы приписать многочисленные попытки высмеивания чернейшей подлости и, что еще того хуже, самых страшных несчастий? Кто может превзойти в нелепости автора, который напишет «Комедию о Нероне с веселой сценкой, где он вспарывает живот своей матери»? Или что могло бы сильнее оскорбить человеческое чувство, чем попытка выставить на посмеяние невзгоды нищих и страдающих? А между тем читатель, даже не обладая большой ученостью, без труда вспомнит ряд подобных примеров.

Может показаться примечательным, что Аристотель, так любивший определения и столь щедрый на них, не почел нужным определить Смешное. Правда, говоря, что оно свойственно комедии, он указал между прочим, что подлость не является предметом Смешного; но, насколько я помню, он не утверждает положительно, что же таковым является. Также и аббат Бельгард *, написавший трактат по этому вопросу и показывающий в нем много разных видов Смешного, ни разу не проследил ни одного из них до истока.

Единственный источник истинно Смешного есть (как мне кажется) притворство. Но хотя Смешное и возникает из одного родника, мы, когда подумаем о бесчисленных ручьях, на которые разветвляется его поток, перестаем удивляться тому, сколько можно почерпнуть из него наблюдений. Далее, притворство происходит от следующих двух причин: тщеславия и лицемерия; ибо как тщеславие побуждает нас надевать на себя личину с целью снискать похвалу, так лицемерие заставляет нас избегать осуждения, скрывая наши пороки под видимостью противоположных им добродетелей. И хотя эти две причины часто смешивают (потому что различать их затруднительно), однакоже и вызываются они совершенно разными побуждениями и в проявлениях своих явственно различны: ибо в самом деле притворство, возникающее из тщеславия, ближе к правде, чем притворство другого вида; ему не приходится бороться с тем сильным противодействием природы, с каким борется притворство лицемера. Нужно к тому же отметить, что притвор-

ство не означает полного отсутствия изображаемых им качеств: правда, когда оно порождается лицемерием, оно тесно связано с обманом; однакоже там, где его источник — тщеславие, оно становится сродни скорее чванству: так, например, притворная щедрость тщеславного человека явственно отличима от притворной щедрости скупца; пусть тщеславный человек не то, чем он представляется, пусть не обладает добродетелью, в какую он рядится, чтобы думали, будто она ему свойственна; однакоже наряд сидит на нем не так неловко, как на скупце, который являет собою прямо обратное тому, чем он хочет казаться.

Из распознавания притворства и возникает Смешное,— что всегда поражает читателя неожиданностью и доставляет удовольствие; притом в бо́льшей степени тогда, когда притворство порождено было не тщеславием, а лицемерием; ведь если открывается, что человек представляет собой нечто как раз обратное тому, что он собой изображал, это более неожиданно и, значит, более смешно, чем если выясняется, что в нем маловато тех качеств, которыми он хотел бы славиться. Могу отметить, что наш Бен Джонсон, который лучше всех на свете понимал Смешное, изобличает по преимуществу притворство лицемерное.

И только при наличии притворства могут стать предметом смеха житейские невзгоды и несчастья или физические изъяны. Только человеку извращенного ума безобразие, увечье или бедность могут казаться смешными сами по себе; и я не думаю, чтобы хоть у одного человека в мире встреча с грязным оборванцем, едущим в телеге, вызвала желание смеяться; но если вы увидите, как та же фигура выходит из кареты шестерней или соскакивает с портшеза, держа шляпу подмышкой, вы рассмеетесь — и с полным правом. Равным образом, если нам доведется войти в дом бедняка и увидеть несчастную семью, дрожащую от стужи и мучимую голодом, это нас не расположит к смеху (или вы должны отличаться поистине дьявольской жестокостью); но если в том же доме мы обнаружим очаг, украшенный вместо угля цветами, пустые блюда или фарфор на буфете или иное какое-либо притязание на богатство и утонченность — в самих ли людях, или в обстановке,— тогда, право, нам извинительно будет посмеяться над таким фантастическим зрелищем. Еще того менее могут быть предметом насмешки физические изъяны; но когда безобразие тщится стяжать славу красоты или когда хромота силится изобразить ловкость,— вот тогда эти несчастные обстоятельства, сперва склонявшие нас к состраданию, начинают вызывать одно лишь веселье.

Поэт проводит эту мысль еще дальше:

Ты тот, что есть,— тебя нельзя винить:
Виновен, кто не тот, кем хочет слыть.

Если б размер стиха позволил заменить слова «винить» и «виновен» словами «высмеивать» и «смешон», мысль, пожалуй,

была бы еще правильней. Крупные пороки достойны нашей ненависти; мелкие недостатки достойны сожаления; и только притворство кажется мне подлинным источником Смешного.

Но мне, пожалуй, могут возразить, что я, наперекор своим собственным правилам, изобразил в этом труде пороки — и пороки самые черные. На это я отвечу: во-первых, очень трудно описать длинный ряд человеческих поступков и не коснуться пороков. Во-вторых, те пороки, какие встречаются здесь, являются скорее случайным следствием той или иной человеческой слабости или некоторой шаткости, а не началом, постоянно существующим в душе. В-третьих, они неизменно выставляются не как предмет смеха, а лишь как предмет отвращения. В-четвертых, ими никогда не наделяется главное лицо, действующее в данное время на сцене; и, наконец, здесь никогда порок не преуспевает в свершении задуманного зла.

Указав, таким образом, в чем различие между «Джозефом Эндрусом» и творениями авторов-романистов, с одной стороны, и авторов бурлеска — с другой, и сделав несколько кратких замечаний (большее не входило в мои намерения) об этом виде словесности, до сих пор, как я отметил, не испытанном на нашем языке,— я предоставлю благосклонному читателю судить мою вещь на основе моих же замечаний и, не задерживая его дольше, скажу еще лишь несколько слов о действующих лицах своего произведения.

Торжественно сим заявляю, что в мои намерения не входило кого-либо очернить или предать поношению: ибо, хотя здесь все списано с Книги Природы и едва ли хоть одно из выведенных лиц или действий не взяты мною из собственных наблюдений и опыта,— все же я всемерно постарался замаскировать личности столь разными обстоятельствами, званиями и красками, что будет невозможно хотя бы с малой степенью вероятия их разгадать; а если и покажется иначе, то лишь там, где изображаемый недостаток так незначителен, что является только слабостью, над которой сам обладатель ее может посмеяться наравне со всеми.

Что касается фигуры Адамса, самой примечательной в этой книге, то подобной, мне думается, не встретишь ни в одной из ныне существующих книг. Она задумана как образец совершенной простоты; и доброта его сердца, расположив к нему всех хороших людей, оправдает меня, надеюсь, в глазах джентльменов духовного звания, к которым, когда они достойны своего священного сана, никто, быть может, не питает большего почтения, чем я. Поэтому, невзирая на низменные приключения, в коих участвует мой герой, они мне простят, что я его сделал священником: никакая другая профессия не доставила бы ему так много случаев проявить свои высокие достоинства.

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

О биографиях вообще и биографии Памелы в частности; и попутно несколько слов о Колли Сиббере и других

Старо, но правильно замечание, что примеры действуют на ум сильнее, чем прописи. И если это справедливо для мерзкого и предосудительного, то тем более для приятного и достохвального. Здесь соревнование возвышает нас и неопреодолимо побуждает к подражанию. Поэтому хороший человек есть живой урок для всех своих знакомых, и в узком кругу он неизмеримо более полезен, чем хорошая книга.

Но часто случается, что самые лучшие люди мало известны, и, значит, полезный их пример не может оказать воздействия на многих; и вот тогда на помощь может быть призван писатель, который расскажет их историю и нарисует их привлекательные образы для тех, кому не выпало счастья быть знакомым с оригиналами портретов; таким образом, делая достоянием всего мира эти ценные примеры, он может, пожалуй, оказать человечеству бо̀льшую услугу, чем то лицо, чью жизнь он взял прообразом для своего повествования.

В таком свете мне представлялись всегда биографы, описавшие деяния великих и достойных особ того и другого пола. Я не стану ссылаться на древних авторов, которых в наши дни читают мало, потому что писали они на забытых и, как думают обычно, трудных языках,— на Плутарха, Непота и других, о ком я слышал в юности; и на нашем родном языке написано немало полезного и поучительного, мудро рассчитанного на то, чтобы сеять в молодежи семена добродетели, и очень легко усваиваемого лицами самых скромных способностей. Такова

история Джона Великого, который своими отважными героическими схватками с людьми большого роста и атлетического сложения снискал славное прозвание «Победителя Великанов»; история некоего графа Варвика, нареченного при крещении Гаем; жизнеописания Аргала и Парфении; и прежде всего — история семи достойнейших мужей, поборников христианства *. Все эти произведения занимательны и вместе с тем поучительны и не только развлекают читателя, но почти в той же мере облагораживают его.

Но я оставлю их в стороне, как и многое другое, и назову только две книги, которые недавно вышли в свет и дают нам удивительные образцы приятного как среди сильного, так и среди слабого пола. Первая из них, рисующая добродетель в мужчине, написана от первого лица великим человеком, который сам прожил изображенную им жизнь и, как полагают многие, лишь затем, чтобы ее описать. Другой образец нам преподносит историк, который, следуя общепринятому методу, почерпнул свои сведения из подлинных записей и документов. Читатель, я думаю, уже догадался, что я говорю о жизнеописаниях господина Колли Сиббера и госпожи Памелы Эндрус *. Как тонко первый, упоминая словно бы вскользь, что он избежал назначений на высшие церковные и государственные посты, учит нас презрению к славе земной! Как настоятельно внушает он нам необходимость безоговорочного подчинения высшим! И, наконец, как он отменно вооружает нас против самой беспокойной, самой губительной страсти — против боязни позора! Как убедительно изобличает пустоту и суетность призрака, именуемого Репутацией!

Чему поучают читательниц мемуары миссис Эндрус, так ясно выражено в превосходных пробах пера, или письмах, предпосланных второму и последующим изданиям оного произведения, что повторять это здесь бесполезно. Доподлинная история, ныне предлагаемая мной вниманию читателей, сама служит образцом того, как много добра может породить эта книга, и выявляет великую силу живого примера, уже отмеченную мной: ибо здесь будет показано, что лишь безупречная добродетель сестры, неизменно стоявшая перед духовным взором мистера Джозефа Эндруса, позволила ему сохранить чистоту среди столь великих искушений. И я добавлю только, что целомудрие — качество, несомненно, в равной мере уместное и желательное как в одной половине рода человеческого, так и в другой,— является едва ли не единственной добродетелью, которую великий апологет не присвоил себе, дабы явить пример своим читателям.

ГЛАВА II

О мистере Джозефе Эндрусе, о его рождении, происхождении, воспитании и великих дарованиях, и в добавление несколько слов о его предках

Мистер Джозеф Эндрус, герой нашей повести, считался единственным сыном Гаффера и Гаммер Эндрусов * и братом знаменитой Памелы, столь прославившейся в наши дни своею добродетелью. Относительно предков его скажу, что мы искали их с превеликим усердием и малым успехом: нам не удалось проследить их далее прадеда его, который, как утверждает один престарелый обитатель здешнего прихода со слов своего отца, был бесподобным мастером игры в дубинки. Были ли у него какие-либо предки ранее, предоставляем судить нашему любознательному читателю, поскольку сами мы не нашли в источниках ничего достоверного. Не преминем, однакоже, привести здесь некую эпитафию, которую нам сообщил один наш остроумный друг:

Стой, путник, ибо здесь почил глубоким сном
Тот Эндру-весельчак, что всем нам был знаком.
Лишь в Судный День, когда окрасит небосклон
Заря Последняя, из гроба встанет он.
Веселым быть спеши: когда придет конец,
Печальней будешь ты, чем кельи сей жилец.

Слова на камне почти стерлись от времени. Но едва ли нужно указывать, что «Эндру» здесь написано без «с» в конце и, значит, является именем, а не фамилией. К тому же мой друг высказал предположение, что эпитафия эта относится к основателю секты смеющихся философов, получившей впоследствии наименование «Эндру-затейников» *.

Итак, отбрасывая обстоятельство, не слишком существенное, хоть оно и упомянуто здесь в сообразности с точными правилами жизнеописания,— я перехожу к предметам более значительным. В самом деле, вполне достоверно, что по количеству предков мой герой не уступал любому человеку на земле; и, может быть, если заглянуть на пять или шесть веков назад, он окажется в родстве с особами, ныне весьма высокими, чьи предки полвека назад пребывали в такой же безвестности. Но допустим, аргументации ради, что у него вовсе не было предков и что он, по современному выражению, «выскочил из навозной кучи», подобно тому, как афиняне притязали на возникновение из земли: разве этот autokopros [1] не имеет по справедливости всех прав на похвалы, коих достойны его собственные добродетели? Разве не жестоко было бы человека, не имеющего предков, лишать на этом основании возможности стяжать почет,

[1] В переводе с греческого: возникший из кучи навоза. *(Прим. автора.)*

когда мы столь часто видим, как люди, не обладая добродетелями, наслаждаются почетом, заслуженным их праотцами?

Десяти лет от роду (к этому времени его обучили чтению и письму) Джозеф был отдан в услужение к сэру Томасу Буби *, дяде мистера Буби с отцовской стороны. Сэр Томас был в ту пору владетелем поместья, и юному Эндрусу сперва препоручили, как это зовется в деревне, «отваживать птиц». На его обязанности было выполнять ту роль, которую древние приписывали Приапу — божеству, известному в наши дни под именем Джека-Простака *; но так как голос его, необычайно музыкальный, скорее приманивал птиц, чем устрашал их, мальчика вскоре перевели с полей на псарню, где он нес службу под началом ловчего и был тем, что охотники называют «захлопщиком». Для этой должности он тоже оказался непригоден из-за нежного своего голоса, так как собаки предпочитали его мелодическую брань призывному гику ловчего, которому вскоре так это надоело, что он стал просить сэра Томаса пристроить Джозефа как-нибудь иначе, и постоянно все проступки собак ставил в вину злополучному мальчику, которого перевели, наконец, на конюшню. Здесь Джозеф вскоре выказал себя не по годам сильным и ловким и, когда вел коней на водопой, всегда садился на самого резвого и норовистого скакуна, поражая всех своим бесстрашием. За то время, что он находился при лошадях, он несколько раз проводил скачки для сэра Томаса — и с таким искусством и успехом, что соседи помещики стали зачастую обращаться к баронету с просьбою разрешить маленькому Джойи (так его звали тогда) проскакать для них на состязаниях. Самые ярые игроки, прежде чем биться об заклад, всегда справлялись, на какой лошади скачет маленький Джойи, и ставили скорее на наездника, чем на лошадь,— особенно после того как мальчик с презрением отклонил крупную мзду, предложенную ему с тем, чтобы он дал себя обскакать. Это еще более упрочило его репутацию и так понравилось леди Буби, что она пожелала приблизить его к себе в качестве личного слуги (ему исполнилось теперь семнадцать лет).

Джойи взяли с конюшни и велели прислуживать госпоже: он бегал по ее поручениям, стоял за ее стулом, подавал ей чай и нес молитвенник, когда она ходила в церковь; там его прекрасный голос доставлял ему возможность отличиться при пении псалмов. Да и в других отношениях он так отменно вел себя в церкви, что это привлекло к нему внимание священника, мистера Абраама Адамса, который однажды, когда зашел на кухню к сэру Томасу выпить кружку эля, решил задать Джозефу несколько вопросов по закону божию. Ответы юноши пришлись священнику чрезвычайно по нраву.

ГЛАВА III

О священнике мистере Абрааме Адамсе, о кажеристне миссис Слинслоп и о других

Мистер Абраам Адамс был высоко образованным человеком. Он в совершенстве владел латинским и греческим языками; и в добавление к тому был изрядно знаком с наречиями Востока, а также читал и переводил с французского, итальянского и испанского. Много лет он положил на самое усердное учение и накопил запас знаний, какой не часто встретишь и у лиц, кончивших университет. Кроме того, он был человеком благоразумным, благородным и благожелательным, но в то же время в путях мирских столь же был неискушен, как впервые вступивший на них младенец. Сам несклонный к обману, он и других никогда не подозревал в желании обмануть. Мистер Адамс был великодушен, дружелюбен и отважен до предела; но главным его качеством была простота: он не более мистера Колли Сиббера, догадывался о существовании в мире таких страстей, как злоба̀ или зависть,— что, правда, в деревенском священнике менее примечательно, чем в джентльмене, проведшем свою жизнь за кулисами театров — месте, которое едва ли кто назвал бы школою невинности и где самое беглое наблюдение могло бы убедить великого апологета, что эти страсти на самом деле существуют в душе человека.

Благодаря своим добродетелям и другим совершенствам мистер Адамс не только был вполне достоин своего сана, но и являлся приятным и ценным собеседником и так расположил в свою пользу одного епископа, что к пятидесяти годам был обеспечен прекрасным доходом в двадцать три фунта в год, при котором, однако, не мог занять видного положения в свете, потому что проживал он в местности, где жизнь дорога̀, и был несколько обременен семьей, состоявшей из жены и шестерых детей.

Этот-то джентльмен, обратив внимание, как я упомянул, на необычайную набожность юного Эндруса, улучил время задать ему несколько вопросов: из скольких книг, например, состоит Новый завет? из каких именно? сколько каждая из них содержит глав? и тому подобное; и на все это, как сообщил кое-кому мистер Адамс, юноша ответил много лучше, чем мог бы ответить сэр Томас или некоторые мировые судьи в окру́ге.

Мистер Адамс особенно допытывался, когда и при каких счастливых обстоятельствах юноша почерпнул свои знания. И Джойи сообщил ему, что он очень рано научился читать и писать благодаря своему доброму отцу, который, правда, не располагал достаточным влиянием, чтоб устроить его в бесплатную школу, так как двоюродный брат того помещика, на чьей земле проживал отец, не тому, кому следовало, отдал свой голос при выборе церковного старосты в их избирательном

округе,— однакоже сам не скупился тратить шесть пенсов в неделю на обучение сына. Юноша поведал также, что с тех пор, как он служит у сэра Томаса, он все часы досуга уделяет чтению хороших книг; что он прочитал библию, «Долг человека» и «Фому Кемпийского» *; и что он так часто, как только мог, углублялся тайком в изучение премудрой книги, которая всегда лежит, раскрытая, на окне прихожей, и в ней прочел о том, «как дьявол унес половину церкви во время проповеди, не повредив никому из прихожан»; и «как хлеб на корню сбежал вниз по склону горы вместе со всеми древесами на ней и покрыл пажить другого пахаря». Это сообщение вполне убедило мистера Адамса в том, что названная поучительная книга не могла быть ничем другим, кроме как «Летописью» Бэкера *.

Священник, пораженный таким примерным усердием и прилежанием в молодом человеке, которого никто не понуждал к этому, спросил его, не сожалеет ли он о том, что не получил более обширного образования и не рожден от родителей, которые поощряли бы его таланты и жажду знаний. Юноша на это возразил, что «наставительные книги, надеется он, пошли ему впрок и научили его не жаловаться на свое положение в этом мире; что сам он вполне доволен тем местом, которое призван занять; что он будет стараться совершенствовать свой талант, который только и спросится с него, а не сожалеть о своей участи и не завидовать доле ближних, стоящих выше его».

— Хорошо сказано, мой мальчик,— ответил священник,— и было бы неплохо, если бы кое-кому из тех, кто прочел много больше хороших книг,— да, пожалуй, и из тех, кто сами писали хорошие книги,— чтение столь же пошло бы впрок.

Доступ к миледи или к сэру Томасу Адамс мог получить только через их домоправительницу: потому что сэр Томас был слишком склонен оценивать людей лишь по их одежде и богатству, а миледи была женщина веселого нрава, которой выпало счастье получить городское воспитание, и, говоря о своих деревенских соседях, она их называла не иначе, как «эти скоты». Оба они смотрели на священника, как на своего рода слугу, но только из челяди приходского пастора, который о ту пору был не в ладах с баронетом, так как пастор этот много лет пребывал в состоянии постоянной гражданской войны или — что, пожалуй, столь же скверно — судебной тяжбы с самим сэром Томасом и с арендаторами его земель. В основе этой распри лежал один пункт касательно десятины, который, если б не оспаривался, увеличил бы доход священнослужителя на несколько шиллингов в год; однако ему все не удавалось добиться утверждения в своем праве, и он пока что не извлек из тяжбы ничего хорошего, кроме удовольствия (правда, немалого, как он частенько говаривал) размышлять о том, что он разорил вконец многих арендаторов победнее, хоть и сам в то же время изрядно обнищал.

Миссис Слипслоп, домоправительница, будучи сама дочерью пастора, относилась к Адамсу с известной почтительностью; она питала большое уважение к его учености и нередко вступала с ним в споры по вопросам богословия; но всегда настаивала на том, чтобы и он уважал ее суждения, так как она часто бывала в Лондоне и уж, конечно, лучше знала свет, чем какой-то деревенский пастор.

В этих спорах у нее было особое преимущество перед Адамсом: она чрезвычайно любила трудные слова, которыми пользовалась так своеобразно, что священник, не смея усомниться в их правильности и тем оскорбить собеседницу, зачастую не мог разгадать их смысла и с большей легкостью разобрался бы в какой-нибудь арабской рукописи.

Итак, в один прекрасный день после довольно долгой беседы с нею о сущности материи (или, как она выражалась,— «матерьяла»), Адамс воспользовался случаем и завел разговор о юном Эндрусе, убеждая домоправительницу отрекомендовать его своей госпоже как юношу, очень восприимчивого к учению, и доложить ей, что он, Адамс, берется обучить его латыни, дабы предоставить юноше возможность занять в жизни место более высокое, чем должность лакея; и добавил, что ведь ее господину нетрудно будет устроить юношу как-нибудь получше. Поэтому он желал бы, чтобы Эндруса передали на его попечение.

— Что вы, мистер Адамс! — сказала миссис Слипслоп.— Вы думаете, миледи допустит в таком деле вмешательство в свои планты? Она собирается ехать в Лондон и мне конфинденцально известно, что она ни за что не оставит Джойи в деревне, потому что он самый милый молодой человек и другого такого днем с огнем не сыщешь, и я конфинденцально знаю, она и не подумает расстаться с ним, все равно как с парой своих серых кобыл; потому что она дорожит им ничуть не меньше.

Адамс хотел перебить, но она продолжала:

— И почему это латынь нужна лакею больше, чем джентльмену! Вполне понятно, что вам, духовным особам, надо учить латынь, вы без нее не можете читать проповеди,— но в Лондоне я слышала от джентльменов, что больше она никому на свете не нужна. Я конфинденцально знаю, что миледи прогневается на меня, если я ей на что-нибудь такое намекну; и я не хочу навлекать на свою голову промблему...

На этом слове ее перебил звонок из спальни, и мистер Адамс был вынужден удалиться; а больше ему не представилось случая поговорить с домоправительницей до отъезда господ в Лондон, который состоялся через несколько дней. Однако Эндрус остался весьма благодарен священнику за его благие намерения и сказал, что никогда их не забудет; а добрый Адамс не поскупился на наставления касательно того, как юноше вести себя в будущем и как сохранять свою невинность и рвение к труду.

ГЛАВА IV

Что произошло по переезде в Лондон

Как только юный Эндрус прибыл в Лондон, он завязал знакомства со своими разноцветными собратьями *, которые всячески старались внушить ему презрение к его прежнему образу жизни. Волосы его были теперь подстрижены по последней моде и составляли главную его заботу: все утро он ходил закрутив их в бумажки и расчесывал только к полудню. Однако его так и не удалось научить игре в карты, божбе, пьянству и другим изящным порокам, какими столь богата столица. Часы своего досуга он отдавал по большей части музыке и весьма усовершенствовался в ней: он стал таким знатоком в этом искусстве, что, когда посещал оперу, его мнение становилось решающим для всех других лакеев, и никто из них не смел осудить или одобрить песню наперекор его неодобрению или похвале. Он вел себя, пожалуй, слишком шумно в театре и на разных сборищах; сопровождая же свою госпожу в церковь (что случалось не часто), он меньше проявлял набожности, чем, бывало, раньше. Но если и появился у него внешний лоск, все же нравственно он оставался неиспорченным, хоть и был изящней и милей всех щеголей в городе — будь они в ливрее или без ливреи.

Его госпожа, говорившая ранее, что Джойи самый милый и красивый лакей в королевстве, но что ему, к сожалению, не хватает «живости ума», перестала находить в нем этот недочет; напротив, от нее теперь часто можно было услышать возглас: «Эге, в этом юноше есть огонек!» Она ясно видела действие, оказываемое воздухом столицы на самые трезвые натуры. Теперь она стала выходить с ним по утрам на прогулку в Гайд-парк, и, когда уставала, что с ней случалось чуть ли не ежеминутно, она опиралась на его плечо и заводила разговор в непринужденно-дружественном тоне. Выходя из кареты, она всякий раз брала его за руку и порой, боясь споткнуться, сжимала ее слишком крепко; по утрам призывала юношу в спальню, чтобы, еще лежа в постели, выслушать его доклад; постреливала в него глазами за столом и допускала с ним все те невинные вольности, какие могут позволить себе светские дамы, нисколько не запятнав своей добродетели.

Но хотя добродетель остается незапятнанной, все же легкие стрелы порой задевают ее зеркало — репутацию дамы, и это выпало на долю леди Буби, которая однажды утром прогуливалась в Гайд-парке под руку с Джойи в час, когда мимо проезжали случайно в карете леди Титл и леди Татл *.

— Боже! — сказала леди Титл.— Я не верю своим глазам! Неужели это леди Буби?

— Несомненно, она,— сказала Татл,— а что вас так удивляет?

— Что? Но ведь это же ее лакей,— ответила Титл.

А Татл рассмеялась и воскликнула:

— Старая история, уверяю вас! Да может ли быть, чтобы вы не слышали? Полгода, как весь Лондон знает.

Эта краткая беседа привела к тому, что в тот же день, из сотни визитов, нанесенных порознь двумя нашими дамами, родился шепоток [1], и он мог бы породить опасные последствия, если бы его не остановили две свежие новости, обнародованные на другой день и ставшие предметом разговора по всему городу.

Но какие бы суждения и подозрения ни высказывались о невинных вольностях леди Буби падкими на сплетню хулителями, достоверно установлено, что вольности эти не произвели впечатления на юного Эндруса и он никогда не пытался злоупотреблять теми привилегиями, какие предоставляла ему госпожа. Такое поведение она объясняла его безграничным уважением к ней, и это лишь усиливало то, что начинало зарождаться в ее сердце и о чем будет сказано несколько яснее в следующей главе.

ГЛАВА V

Смерть сэра Томаса Буби, горькая и страстная скорбь его вдовы и великая чистота Джозефа Эндруса

Об эту пору произошло событие, положившее конец тем приятным прогулкам, которые, вероятно, вскоре заставили бы Молву надуть щеки и затрубить на весь город в медную трубу; и событием этим было не что иное, как смерть сэра Томаса, который, покинув этот мир, обрек безутешную свою супругу на такое строгое заключение в стенах ее дома, как если б ее самое постигла тяжелая болезнь. Первые шесть дней бедная леди не допускала к себе никого, кроме миссис Слипслоп и трех приятельниц, составлявших ей компанию за карточным столом, но на седьмой она отдала приказание, чтобы Джойи, которого мы с полным основанием станем называть отныне Джозефом *, принес ей наверх чаю. Лежа в постели, леди подозвала Джозефа к себе, предложила ему присесть и, прикрыв невзначай своей ладонью его руку, спросила, был ли он когда-нибудь влюблен. Несколько смутившись, Джозеф отвечал, что он еще слишком молод — рано ему думать о таких вещах.

— Я уверена,— возразила леди,— что вы в ваши юные годы не чужды страсти. А ну-ка, Джойи,— добавила она,— скажите

[1] Может показаться нелепым, что Татл отправилась с визитами для распространения всем известной сплетни (а так оно и было на деле), но несообразность будет устранена, если читатель со мною вместе предположит, что дама, вопреки своему уверению, сама узнала новость лишь впервые. (*Прим. автора.*)

мне откровенно, кто та счастливая девушка, чьи глаза покорили вас?

Джозеф ответил, что все женщины, каких он видел, равно для него безразличны.

— О, если так,— сказала леди,— то вы влюблены во всех. В самом деле, вы, красивые мужчины, как и красивые женщины, долго медлите с выбором; но все же вам не убедить меня, что ваше сердце так недоступно нежным чувствам; я склонна скорее объяснить ваши слова скрытностью, качеством весьма похвальным, и за которое я на вас нисколько не сержусь. Молодой человек не может совершить бо̀льшую низость, как разгласить что-либо о своих тайных связях с дамами.

— С дамами?! Сударыня,— сказал Джозеф,— право же, я никогда не позволял себе наглости помышлять о ком-либо, кто вправе так называться.

— Не притязайте на чрезмерную скромность,— сказала леди,— потому что она может иногда обернуться дерзостью; но, прошу вас, ответьте мне на такой вопрос: предположим, что вам случилось понравиться какой-нибудь даме, предположим, что она отдала вам предпочтение перед всеми лицами вашего пола и разрешила вам все те вольности, на какие вы могли бы надеяться, если бы вы были равны ей по рождению,— уверены ли вы, что тщеславие не соблазнило бы вас предать ее? Ответьте честно, Джозеф, настолько ли вы разумней и добродетельней, чем бывают обычно молодые люди, всегда готовые без зазрения совести принести наше доброе имя в жертву своей кичливости, не помышляя о том, какие большие обязательства мы возлагаем на вас нашим снисхождением и доверием? Умеете ли вы хранить тайну, мой Джойи?

— Миледи,— отвечал он,— я надеюсь, вы не можете обвинить меня в разглашении тайн вашего дома; и, надеюсь, если бы даже вам пришлось прогнать меня со службы, вы отметили бы мою скромность в рекомендации.

— Я вовсе не намерена прогонять вас, Джойи,— сказала она и вздохнула,— боюсь, это было бы выше моих сил.— Тут она приподнялась немного в постели и обнажила шею, белее которой едва ли можно увидеть на земле. Джозеф вспыхнул.

— Ах! — говорит она, притворяясь, словно только сейчас спохватилась.— Что я делаю? Я доверчиво, наедине с мужчиной, лежу нагая в постели; что, если бы у вас явилась злая мысль посягнуть на мою честь, в чем нашла бы я защиту?

Джозеф стал уверять, что никогда не питал в отношении ее никаких дурных намерений.

— Да,— сказала она,— возможно, вы не называете ваши намерения дурными, и, может быть, в них и нет ничего дурного.

Он поклялся, что в самом деле нет.

— Вы меня не поняли,— пояснила миледи,— я хотела сказать, что, если они и направлены против моей чести, они, быть

может, не плохи, но свет зовет их дурными. Вы, правда, говорите, что свет никогда ничего об этом не узнает; но разве бы это не значило положиться на вашу скромность? Доверить вам свое доброе имя. Разве не стали бы вы тогда хозяином надо мной?

Джозеф попросил ее милость успокоиться; он никогда бы не замыслил ничего дурного против нее и скорее принял бы тысячу казней, чем дал бы ей основание для таких подозрений.

— Нет,— сказала она,— у меня есть основания для подозрений. Разве вы не мужчина? А я, скажу без лишнего тщеславия, не лишена привлекательности. Но вы, быть может, боитесь, что я стала бы преследовать вас по закону; я даже надеюсь, что вы боитесь этого; однакоже, видит небо, я никогда бы не отважилась предстать пред судом; и вы знаете, Джойи, я склонна к снисходительности. Скажите, Джойи, вам не кажется, что я бы вас простила?

— Право, сударыня,— отвечает Джозеф,— я никогда не сделаю ничего, что прогневило бы вашу милость.

— Как,— говорит она,— вы думаете, это бы меня не прогневило? Вы думаете, я охотно уступила бы вам?

— Я вас не понимаю, сударыня,— молвит Джозеф.

— В самом деле? — говорит она.— Ну, так вы либо глупец, либо притворяетесь глупцом; вижу, что я в вас ошиблась. Идите же вниз и больше никогда не показывайтесь мне на глаза: вы меня не проведете вашей напускной невинностью.

— Сударыня,— сказал Джозеф,— я не хотел бы, чтобы ваша милость дурно думали обо мне. Я всегда старался быть почтительным слугой и вам и моему господину.

— Ах, негодяй! — вскричала миледи.— Зачем упомянул ты этого прекрасного человека, если не на му́ку мне, если не затем, чтобы вызвать в уме моем дорогое воспоминание? (И тут она разразилась слезами.) Прочь с моих глаз! Я тебя не желаю больше видеть — никогда!

С этим словом она отвернулась от него, а Джозеф удалился из комнаты в глубокой печали и написал письмо, которое читатель найдет в следующей главе.

ГЛАВА VI

Джозеф Эндрус пишет письмо своей сестре Памеле

«Миссис Памеле Эндрус, проживающей у сквайра Буби.

Любезная сестрица!

После того как я получил ваше письмо о смерти вашей дорогой госпожи, наш дом постигло такое же несчастье. Несколько дней назад скончался сэр Томас, мой высокочтимый господин; и, что еще того хуже, моя бедная госпожа явно

потеряла рассудок. Никто из нас не думал, что она примет его смерть так близко к сердцу, потому что они ссорились чуть ли не каждый день; но об этом ни слова больше, так как вы знаете, сестрица, я никогда не любил разглашать семейные тайны моих господ; но вам было, конечно, известно, что они никогда не любили друг друга: я сам слышал тысячу раз, как миледи желала смерти моему господину; но никто, видно, не знает, что значит потерять друга, покуда не потеряешь его.

Никому не рассказывайте о том, что я вам напишу: мне не хотелось бы, чтоб люди говорили, будто я разглашаю, что происходит в доме; но не будь она такой высокопоставленной дамой, я подумал бы, что у моей госпожи появилась склонность ко мне. Дорогая Памела, никому не говорите, но она приказала мне сесть подле нее, когда она лежала голая в постели; и она взяла меня за руку и говорила в точности так, как одна дама говорила со своим возлюбленным в пьесе, которую я смотрел в Ковент-Гардене, когда ей захотелось, чтобы он показал себя самым обыкновенным развратником.

Ежели впрямь госпожа моя сошла с ума, мне не хотелось бы оставаться долго в этом доме, так что очень прошу вас, устройте меня на место к господину сквайру или к кому другому из джентльменов по соседству,— если только вы и вправду не выходите замуж за пастора Вильямса, как о том говорят, а тогда я охотно пошел бы к нему в причетники; для этого я, как вы знаете, достаточно обучен — умею и читать и запевать псалмы.

Думаю, что мне очень скоро дадут расчет; и если к тому времени я не получу от вас ответа, то вернусь в деревню, в поместье моего покойного господина,— хотя бы только затем, чтобы повидаться с пастором Адамсом, потому что он самый лучший человек на свете. Лондон — дурное место, и так мало тут дружелюбия, что люди живут бок о бок, а друг с другом не знакомы. Передайте от меня, пожалуйста, низкий поклон всем друзьям, какие спросят обо мне. Итак, остаюсь

любящий вас брат

Джозеф Эндрус».

Как только Джозеф запечатал письмо и надписал на нем адрес, он стал спускаться по лестнице и встретил миссис Слипслоп, с которой мы, пользуясь случаем, познакомим теперь читателя несколько ближе. Это была незамужняя особа лет сорока пяти. В юности она допустила небольшую оплошность и с той поры вела безупречный образ жизни. Ныне она не поражала красотой; при низеньком росте была излишне полнотела, краснощека и вдобавок еще угревата. К тому же нос у нее был слишком большой, а глаза слишком маленькие; и если походила она на корову, то не столько молочным запахом, сколько двумя бурыми шарами, которыми колыхала перед собой на ходу; да

еще и одна нога у нее была короче другой, вследствие чего она прихрамывала. Эта обольстительная леди давно уже поглядывала нежным оком на Джозефа, но до сих пор не добилась того успеха, какого, вероятно, ждала,— хотя в добавление к своим природным прелестям она постоянно его угощала и чаем, и сластями, и вином, и множеством других лакомых вещей, какими, держа в своих руках ключи, она могла распоряжаться, как хотела. Джозеф, однако, ни разу не поблагодарил ее за все эти милости — хотя бы поцелуем; впрочем, я отнюдь не утверждаю, будто таким образом ее легко было бы удовлетворить: ибо тогда, конечно, наш герой заслуживал бы всяческого порицания. Истина же в том, что она достигла возраста, когда, по ее рассуждению, она могла позволить себе любые вольности с мужчиной без опасения произвести на свет третье лицо, которое явилось бы тому живой уликой. Она полагала, что столь долгим самоотречением не только загладила ту небольшую ошибку молодости, на какую намекалось выше, но еще и накопила впрок известное количество добродетели для извинения будущих прегрешений. Словом, она решила дать волю любовным своим страстям и как можно скорее вознаградить себя той суммой наслаждений, на какую почитала себя в долгу перед самою собой.

Оснащенная такими телесными чарами и в таком расположении духа встретила она бедного Джозефа внизу на лестнице и спросила, не выпьет ли он нынче утром стакан чего-либо вкусного. Джозеф, будучи сильно угнетен, с большой охотой и благодарностью принял это предложение; и они прошли вдвоем в кладовую, где, налив ему полный стакан ратафии * и пригласив его сесть, миссис Слипслоп начала так:

— Конечно, ничто так верно не приведет женщину к пропасти, как если она отдаст свою нежность мальчишке. Если бы я могла подумать, что меня ждет подобная судьба, то я лучше приняла бы тысячу смертей, чем мне дожить до такого дня. Если нам понравился мужчина, малейший наш намек становится фантален. Тогда как с мальчиком приходится нарушать все препоны скромности, прежде чем сумеешь произвести на него запечатление.

Джозеф, не поняв ни слова из ее речи, отозвался:

— Да, сударыня...

— «Да, сударыня»! — подхватила миссис Слипслоп с некоторой горячностью.— Вы намерены извергнуть мою страсть! Мало вам, неблагодарный, что вы не отвечаете на все фаворы, какие я вам делала, вы еще позволяете себе игронизировать? Варвар вы и чудовище! Чем я заслужила, чтобы страсть мою извергали и еще игронизировали надо мной?

— Сударыня,— ответил Джозеф,— я не понимаю ваших замысловатых слов, но я уверен, что не дал вам основания назвать меня неблагодарным: я не только никогда не замышлял против

вас ничего дурного, но всегда почитал и любил вас, как если б видел в вас родную мать.

— Как, бездельник! — вскричала миссис Слипслоп в ярости.— Родную мать! Вы инсвинируете, будто я уж так стара, что гожусь вам в матери? Не знаю, как молокососы, но мужчина натурально предпочтет меня всяким глупым зеленым девчонкам с бледною немочью; но я должна не сердиться на вас, а скорей презирать вас, если вы отдаете преферанцию разговорам с девчонками, а не с разумною женщиной.

— Сударыня,— сказал Джозеф,— право же, я всегда высоко ценил честь, какую вы оказываете мне, разговаривая со мной, потому что вы, я знаю, образованная женщина.

— Но, Джозеф, ах,— отвечала она, несколько смягчившись от комплимента на счет образованности,— если б вы меня ценили, вы, конечно, нашли бы способ как-нибудь показать это мне. Я уверена, вы не могли не понять, как я вас ценю. Да, Джозеф, так это или нет, но глаза мои должны были выдать страсть, которую я не в силах победить. Ах, Джозеф!

Подобно тому как голодная тигрица, долго рыскавшая по лесам в бесплодных поисках добычи и вдруг увидевшая поблизости ягненка, готовится к прыжку, чтобы запустить в него свои когти; или как огромная прожорливая щука, высмотрев сквозь водную стихию плотичку или пескаря, которому не избежать ее пасти, широко ее раскрывает, чтобы проглотить рыбешку,— так приготовилась миссис Слипслоп наложить свои страстные длани на бедного Джозефа, когда, на его счастье, прозвенел колокольчик хозяйки, который и спас от лап домоправительницы намеченную жертву. Миссис Слипслоп была принуждена тотчас оставить юношу и отложить исполнение своего намерения до другого случая. Мы поэтому вернемся к леди Буби и дадим читателю некоторый отчет о ее поведении после того, как Джозеф удалился, оставив ее в состоянии духа, мало отличном от того, в каком пребывала воспламененная Слипслоп.

ГЛАВА VII

Изречения мудрых мужей. Диалог между леди и ее камеристкой и панегирик любовной страсти — или, скорее, сатира на нее в возвышенном стиле

Один древний мудрец, чье имя я запамятовал, высказал мысль, что страсти по-разному действуют на дух человеческий, как по-разному действует на тело болезнь, в сообразности с тем, крепки или слабы дух и тело, здоровы или подточены.

Мы поэтому надеемся, что рассудительный читатель даст себе некоторый труд уяснить то, что мы с таким тщанием ста-

рались описать,— различное действие любовной страсти на нежную и возвышенную душу леди Буби и на не столь утонченную, более грубую натуру миссис Слипслоп.

Другой философ, чье имя тоже ускользнуло сейчас из моей памяти, сказал где-то, что решения, принятые в отсутствие любимого существа, легко забываются в его присутствии. Последующая глава может служить иллюстрацией к обоим этим мудрым изречениям.

Не успел Джозеф оставить комнату вышеописанным образом, как миледи, в ярости от своей неудачи, предалась самым суровым мыслям о своем поведении. Ее любовь перешла теперь в презрение, и оно совместно с гордостью жестоко терзало ее. Она презирала себя за низменность своей страсти, а Джозефа за то, что ее страсть осталась без ответа. Вскоре, однако, она сказала себе, что одержала верх над этой страстью, и решила немедленно освободиться от ее предмета. Мечась и ворочаясь в постели, она вела сама с собой разговор, который мы, если б не могли предложить нашему читателю ничего лучшего, не преминули бы здесь передать; наконец, она позвонила, как было упомянуто, и тотчас явилась к ее услугам миссис Слипслоп, которой Джозеф угодил не многим больше, чем самой миледи.

— Слипслоп,— сказала леди Буби,— давно вы видели Джозефа?

Бедная домоправительница так была поражена неожиданным упоминанием этого имени в столь критическую минуту, что с трудом скрыла от своей госпожи охватившее ее смущение; все же она ответила довольно уверенно (хотя в душе побаивалась возможного подозрения), что в это утро не видела его.

— Боюсь,— сказала леди Буби,— что он престранный молодой человек.

— Так оно и есть,— сказала Слипслоп,— престранный и к тому же дурной. Насколько я знаю, он играет, пьет, вечно ругается и дерется; кроме того, у него отвратительная тяньтенция к волокитству.

— Да? — сказала леди.— Этого я про него никогда не слышала.

— О сударыня! — отвечала та.— Он такой бесстыжий негодяй, что, если ваша милость долго будете держать его, в вашем доме не останется ни одной честной девицы, кроме меня! И все ж таки я не понимаю, что эти девчонки в нем находят! Почему они все от него без ума: на мой взгляд, он самое что ни на есть безобразное чучело.

— Нет,— возразила леди,— мальчик недурен собой.

— Фи, сударыня! — воскликнула Слипслоп.— Он, по-моему, самый неавантажный молодой человек из всей прислуги.

— Право, Слипслоп,— сказала леди,— вы ошибаетесь; но кого из женщин вы больше всех подозреваете?

— Сударыня,— сказала Слипслоп,— взять к примеру горничную Бетти: я почти уверена, что она беременна от него.

— Вот как! — воскликнула леди.— Тогда, прошу вас, дайте ей сейчас же расчет. Я не желаю держать в моем доме потаскух. А что касается Джозефа, так можете уволить и его.

— Вашей милости угодно, чтобы я его рассчитала немедленно? — вскричала Слипслоп.— Но, может быть, когда Бетти тут не будет, он исправится? И в самом деле, мальчик — хороший слуга, и сильный, здоровый, видный такой парень...

— Сегодня же до обеда! — властно перебила леди.

— Позвольте, сударыня! — воскликнула Слипслоп.— Может быть, ваша милость испытали бы его еще немного?

— Я не желаю, чтобы мои распоряжения оспаривались,— сказала леди.— Надеюсь, вы не влюблены в него сами?

— Я, сударыня! — вскричала Слипслоп, и щеки ее стали красными, чуть не багровыми.— Мне было бы обидно думать, что у вашей милости есть основание заподозрить меня в симпатии к какому-нибудь молодому человеку; и если вам так угодно, я все исполню с полным моим прекословием.

— Полагаю, вы хотели сказать «беспрекословно»,— поправила леди,— так вот ступайте сейчас же, не откладывайте.

Миссис Слипслоп вышла, а леди, раза два перевернувшись с боку на бок, принялась яростно стучать и звонить. Слипслоп, вершившая свой путь без особой поспешности, быстро вернулась и получила противоположное распоряжение касательно Джозефа и приказ безотлагательно прогнать со службы Бетти. Она вторично направилась к выходу,— быстрее, чем раньше,— но тут леди стала винить себя в недостаточной решительности и опасаться возвращения своего чувства с его губительными последствиями. Поэтому она снова схватилась за звонок и снова потребовала к себе миссис Слипслоп; и та опять вернулась и услышала, что госпожа передумала и пришла к окончательному решению выгнать Джозефа,— что она и приказывает ей немедленно сделать. Слипслоп, которая знала горячий нрав своей хозяйки и не стала бы рисковать своим местом ни для какого Адониса или Геркулеса на свете, вышла из спальни в третий раз. Но не успела она переступить порог, как лукавый божок Купидон, убоявшись, что не покончил своего дела с миледи, вынул из колчана новую стрелу с самым острым наконечником и пустил прямо ей в сердце; или, говоря другим, более простым языком, страсть в миледи взяла верх над рассудком. Вновь она призывает обратно Слипслоп и объявляет ей, что решила еще раз повидать юношу и сама допросить его; а потому пусть пришлют его к ней. Эти колебания хозяйки, возможно, навели домоправительницу на мысль, которую нам нет надобности разъяснять проницательному читателю.

Леди Буби уже хотела снова позвать ее назад, но у нее не хватило духу. Следующий помысел ее был о том, как ей дер-

жаться с Джозефом, когда тот придет. Она решила сохранить все достоинство знатной дамы перед собственным слугою и при этом последнем свидании с Джозефом (а она твердо решила, что оно будет последним) вести себя с ним не более снисходительно, чем он того заслуживает,— то есть сперва отчитать его и затем рассчитать.

О Любовь, какие чудовищные шутки ты шутишь со своими приверженцами обоего пола! Как ты их обманываешь и как заставляешь их обманывать самих себя! Их безумства тебе в усладу! Их воздыхания тебя смешат. Их терзания — твое веселье!

Ни великий Рич *, превращающий людей в обезьян, в тачки и во что только ни заблагорассудится ему, не подвергал таким странным метаморфозам облик человеческий; ни великий Сиббер, путающий все числа, роды и падежи, ломающий по своему произволу все правила грамматики, так не искажал английского языка, как искажаешь ты в своих метаморфозах человеческие чувства.

Ты нам выкалываешь глаза, затыкаешь нам уши и отнимаешь у наших ноздрей их силу восприятия; так что мы не видим самых крупных предметов, не слышим самого громкого шума, не улавливаем самых острых запахов. Напротив, когда тебе это угодно, ты можешь сделать так, что муравейник нам покажется горой, флейта для нас зазвучит трубою и ромашка заблагоухает фиалкой. Ты можешь сделать трусость храброй, скупость щедрой, гордость смиренной и жестокость милосердной. Словом, ты выворачиваешь сердце человеческое наизнанку, как фокусник халат, и извлекаешь из него все, что тебе вздумается. Если кто-либо во всем этом сомневается, пусть прочтет следующую главу.

ГЛАВА VIII,

в которой после некого весьма изящного описания рассказывается о свидании между леди и Джозефом, когда сей последний явил пример, коему мы в наш порочный век не надеемся увидеть подражания со стороны лиц его пола

Вот и Геспер-повеса * крикнул уже, чтоб несли ему штаны, и, протерев сонные глаза, приготовился нарядиться на ночь; и, следуя сему примеру, его братья-повесы на земле также покидают постели, в которых проспали весь день. Вот и Фетида *, добрая хозяйка, загремела горшками, чтобы накормить на славу доброго честного Феба * по завершении его дневных трудов. Говоря низменным языком, был уже вечер, когда Джозеф явился на зов своей госпожи.

Но так как нам подобает оберегать доброе имя дамы, героини нашей повести, и так как мы, естественно, питаем

удивительную нежность к той прелестной разновидности рода человеческого, которая именуется прекрасным полом,— то, прежде чем открыть читателю слишком многое из слабостей этой дамы, правильно будет сначала описать ему яркими красками то великое искушение, которое одержало победу над всеми усилиями скромного и добродетельного духа; и тогда, мы смиренно надеемся, добрый наш читатель скорей пожалеет о несовершенстве людской добродетели, нежели осудит его.

О, даже и дамы, надеемся мы, приняв во внимание многообразие чар, соединившихся в этом молодом человеке, будут склонны обуздать свою безудержную страсть к целомудрию и — настолько хотя бы, насколько разрешит им их ревностная скромность и добродетель,— проявят мягкость в своем суде о поведении женщины, возможно не менее целомудренной по природе, чем те чистые и непорочные девы, которые, простодушно посвятив свою жизнь столичным увеселениям, начинают годам к пятидесяти посещать два раз per diem [1] фешенебельные церкви и капеллы, дабы возносить благодарения богу за явленное им милосердие, некогда уберегшее их среди стольких обольстителей от соблазнов, быть может менее могучих, чем тот, что ныне возник пред леди Буби.

Мистеру Джозефу Эндрусу шел теперь двадцать первый год. Роста он был скорее высокого, чем среднего. Телосложение его отличалось большим изяществом и не меньшей силой. Его ноги и бедра являли пример самой точной соразмерности. Плечи были широки и мускулисты; но руки висели так легко, что в нем при несомненной силе не было ни тени неуклюжести. Волосы были у него каштановые и падали на спину своенравными локонами. Лоб высокий, глаза темные, полные и огня и ласки. Нос римский с небольшой горбинкой. Зубы ровные и белые. Губы красные и сочные. Борода и усы резко проступали только на подбородке и на верхней губе; щеки же, в которых играла кровь, были покрыты лишь густым пушком. В выражении его лица нежность сочеталась с невыразимою тонкостью чувств. Добавьте к этому самую щепетильную опрятность в одежде и осанку, которая показалась бы аристократической тем, кто мало видывал аристократов.

Таков был человек, представший теперь пред взором леди. Некоторое время она глядела молча на него и два или три раза, прежде чем заговорить, меняла свое мнение о том, в каком духе ей следует начать. Наконец, она ему сказала:

— Джозеф, мне очень прискорбно слышать эти жалобы на вас; мне передавали, будто вы так грубо ведете себя с девушками, что они не могут спокойно исполнять свои обязанности; я говорю о тех девушках, которые не настолько испорчены, чтобы склонять слух к вашим искательствам. Что касается дру-

[1] В день (*лат.*).

гих, те, пожалуй, и не назовут вас грубым: есть же такие дурные распутницы, которые вызывают у нас стыд за весь наш пол и которые так же легко допускают всякую мерзкую вольность, как ее легко предлагает мужчина; да, есть такие и в моем доме; но здесь их не останется; та бессовестная потаскушка, которая ждет от вас ребенка, сейчас уже получила расчет.

Как человек, пораженный в сердце молнией, всем своим видом являет предельное изумление (а может, и впрямь бывает изумлен),— так принял бедный Джозеф ложное обвинение из уст своей госпожи, он вспыхнул и потупился в смущении; она же, усмотрев в этом признак виновности, продолжала так:

— Подойдите ближе, Джозеф. Так вот: другая хозяйка, возможно, уволила бы вас за такие проступки; но ваша юность вызывает во мне сострадание, и если бы я была уверена, что больше вы не провинитесь... Слушайте, дитя мое (тут она небрежно положила свою ладонь на его руку), вы — красивый молодой человек, и вы заслуживаете лучшей участи; вы могли бы найти свою судьбу...

— Сударыня,— сказал Джозеф,— уверяю вашу милость, ни на одну служанку в доме я не смотрю, не замечаю, мужчина она или женщина...

— Ах, фи! Джозеф,— говорит леди,— не совершайте нового преступления, отрицая правду. Я могла простить вам первое, но лжец для меня ненавистен.

— Сударыня! — воскликнул Джозеф.— Надеюсь, вашу милость не оскорбит мое уверение, что я невинен: ибо, клянусь всем святым, я никогда ни с кем не позволил себе ничего кроме поцелуев.

— Поцелуев! — сказала леди, и ее лицо отразило сильное волнение, причем больше было краски на ее щеках, чем негодования во взоре.— Вы не называете их преступлением? Поцелуи, Джозеф, это как пролог к пьесе. Могу ли я поверить, чтобы молодой человек вашего возраста и вашего цветущего вида довольствовался одними поцелуями? Невозможно, Джозеф! Нет такой женщины, которая, разрешая это, не была бы склонна разрешить и большее; вы сами привели бы ее к тому — или я жестоко в вас обманываюсь. Что вы подумали бы, Джозеф, если бы я вам позволила меня поцеловать?

Джозеф ответил, что он скорей бы умер, чем допустил такую мысль.

— А все же, Джозеф,— продолжала она,— леди не раз позволяли такие вольности своим лакеям; и лакеям, должна я признать, куда менее заслуживавшим этого, не обладавшим и половиною ваших чар; потому что такие чары, как ваши, почти могли бы оправдать преступление. Итак, скажите мне, Джозеф, если бы я разрешила вам такую вольность, что бы вы подумали обо мне?.. Скажите откровенно.

— Сударыня,— молвил Джозеф,— я подумал бы, что ваша милость снизошли много ниже своей особы.

— Фью! — сказала она.— В этом я сама перед собой держу ответ. Но вы не стали бы настаивать на большем? Удовольствовались бы вы поцелуем? Все желания ваши не запылали бы разве огнем при таком поощрении?

— Сударыня,— сказал Джозеф,— если бы даже и так, надеюсь, я все же не потерял бы власти над ними и не дал бы им взять верх над моей добродетелью.

Читатель, ты, конечно, слышал от поэтов о статуе Изумления, ты слышал также — если не вовсе уж мало ты наслышан — о том, как один из сыновей Креза, пораженный ужасом, вдруг заговорил, хотя был нем *. Ты видел лица зрителей в восемнадцатипенсовой галерее *, когда из люка под тихую музыку или без музыки поднимается мистер Бриджуотер, мистер Вильям Миллз * или еще какое-либо призрачное явление с лицом, бледным от пудры, и в рубахе, кровавой от красных лент. Но ни статуя эта, ни крезов сын, ни те зеваки в балагане, ни Фидий и Пракситель *, вернись они к жизни, ни даже неподражаемый карандаш моего друга Хогарта не могли бы явить тебе столь идеального образа изумления, какой представился бы твоим глазам, если б узрели они леди Буби, когда эти последние слова слетели с уст Джозефа.

— Над вашей добродетелью! — сказала леди, придя в себя после двух минут молчания.— Нет, я этого не переживу! Ваша добродетель? Какая нестерпимая самоуверенность! Вы имеете дерзость утверждать, что когда леди, унизив себя и отбросив правила приличия, удостоит вас высшей милости, какая только в ее власти,— то тогда ваша добродетель воспротивится ее желанию? Что леди, преодолев свою собственную добродетель, встретит препятствие в вашей?

— Сударыня,— сказал Джозеф,— я не понимаю, почему, если у леди нет добродетели, то ее не должно быть и у меня? Или, скажем, почему, если я мужчина или если я беден, то моя добродетель должна стать прислужницей ее желаний?

— Нет, с ним потеряешь терпение! — вскричала леди.— Кто из смертных слышал когда о мужской добродетели? Где это видано, чтобы даже самые великие или самые степенные из мужчин притязали на что-либо подобное? Разве судьи, карающие разврат, или священники, проповедующие против него, сколько-нибудь совестятся сами ему предаваться? А тут мальчишка, молокосос, так самоуверенно говорит о своей добродетели!

— Сударыня,— сказал тогда Джозеф,— этот мальчишка — брат Памелы, и ему было бы стыдно, когда бы семейное их целомудрие, сохранившееся в ней, оказалось запятнано в нем. Если бывают такие мужчины, о каких говорила ваша милость, я сожалею о том; и я хотел бы, чтобы им представилась возможность прочитать те письма моей сестры Памелы, которые

мне переслал мой отец; я не сомневаюсь, что такой пример исправил бы их.

— Бесстыдный негодяй! — вскричала леди в бешенстве.— Он еще меня попрекает безумствами моего родственника, который опозорился на всю округу из-за его сестры, этой ловкой плутовки! Да я никогда не могла понять, как это леди Буби, покойница, терпела ее в своем доме! Прочь с моих глаз, жалкий человек! И чтоб вы сегодня же вечером оставили мой дом! Я прикажу немедленно выплатить вам жалованье, отобрать у вас ливрею и выставить вас вон!

— Сударыня,— молвил Джозеф,— простите, если я оскорбил вашу милость, но, право, я этого никак не хотел.

— Да, жалкий человек! — кричала она.— В своем тщеславии вы истолковали по-своему те маленькие невинные вольности, на которые я пошла, чтобы проверить, правда ли то, что я слышала о вас. А вы, я вижу, имели наглость возомнить, будто я сама к вам неравнодушна.

Джозеф ответил, что он позволил себе все это сказать только из опасения за свое целомудрие — слова, от которых леди пришла в буйную ярость и, не желая ничего слушать, велела ему немедленно выйти за дверь.

Не успел он удалиться, как она разразилась такими восклицаниями:

— Куда увлекает нас эта бешеная страсть? Какому унижению мы подвергаем себя, толкаемые ею? Мы мудро делаем, когда противимся ее первым, самым ничтожным порывам; ибо только тогда мы можем обеспечить себе победу. Ни одна женщина не может с уверенностью сказать: «Я дойду до этой черты и не дальше». Не сама ли я довела до того, что оказалась отвергнута моим лакеем? О, эта мысль нестерпима! — Тут она обратилась к звонку и позвонила с безмерно большей силой, чем требовалось, ибо верная Слипслоп стояла тут же у порога: по правде сказать, при последнем свидании с госпожой у нее зародилось некое подозрение, и она поджидала в соседней комнате, старательно приникнув ухом к замочной скважине, все то время, пока шел приведенный выше разговор между Джозефом и леди.

ГЛАВА IX

О том, что произошло между леди и миссис Слипслоп; причем предупреждаем, что тут встретятся такие вещи, которые не каждый правильно поймет при первом чтении

— Слипслоп! — сказала леди.— У меня слишком много оснований верить всему, что ты рассказала мне об этом скверном Джозефе. Я решила сейчас же расстаться с ним; так что

ступай к управляющему и прикажи, чтобы он выплатил ему жалованье.

Слипслоп держалась с миледи почтительно больше по необходимости, чем по желанию; и считая, что теперь, когда ей раскрылась тайна миледи, всякое различие между ними исчезло, она очень дерзко ответила, что хорошо бы госпоже знать самой, чего она хочет, а она, Слипслоп, уверена, что не успеет сойти с лестницы, как леди опять позовет ее назад. Леди ответила, что «приняла решение и не отступит от него».

— Очень жаль,— вскричала Слипслоп,— знала бы я, что вы решите так сурово наказать молодого человека, вы бы никогда ни звука об этом деле не услышали. Вот уж впрямь: столько шуму из ничего!

— Из ничего? — возразила миледи.— Вы думаете, я стану терпеть в своем доме распутство?

— Если вы станете прогонять каждого лакея, который заводит амуры с какой-нибудь красоткой,— сказала Слипслоп,— вам скоро придется самой отворять дверцы своей кареты или набрать себе в услужение сплошь одних мофродитов; а я и вида их не переношу — даже когда они поют в опере.

— Делайте, как вам приказано,— сказала миледи,— и не оскорбляйте моих ушей вашим варварским языком.

— Ого! Это мне нравится! — вскричала Слипслоп.— Да у некоторых людей уши иногда оказываются самой благопристойной частью их существа.

Миледи, которая уже давно дивилась новому тону, каким заговорила ее домоправительница, а при ее заключительной фразе частично угадала истину, попросила Слипслоп объяснить ей, что значит эта чрезмерная вольность, с какой она позволяет себе распускать свой язык.

— Вольность! — сказала Слипслоп.— Не знаю, что вы называете вольностью; у слуг тоже есть языки, как и у хозяев.

— О да, и наглые к тому же! — ответила госпожа.— Но, уверяю вас, я не потерплю такой дерзости.

— Дерзости! Вот уж не знала, что я дерзкая,— говорит Слипслоп.

— Да, вы дерзки! — кричит миледи.— И если вы не исправите ваших манер, вам не место в этом доме.

— Моих манер! — кричит Слипслоп.— За мной никто никогда не знал, чтобы мне недоставало манер или, например, скромности; а что касается мест, так их не одно и не два; и я что знаю, то знаю.

— Что вы знаете, миссис? — сказала леди.

— Я не обязана говорить это всем и каждому,— ответила Слипслоп,— как и не обязана держать в секрете.

— Извольте искать себе другое место,— сказала миледи.

— С полным моим удовольствием,— отозвалась домоправительница и ушла, в сердцах хлопнув за собою дверью.

Леди ясно увидела теперь, что ее домоправительница знает больше, чем ей, госпоже, желательно было бы доводить до ее сведения; она приписала это тому, что Джозеф, очевидно, открыл ей, что произошло при первом их свидании. Это распалило ее гнев против него и утвердило ее в решении расстаться с ним.

Но уволить миссис Слипслоп — на это не так-то легко было решиться: миледи весьма дорожила своей репутацией, зная, что от репутации зависят многие чрезвычайно ценные блага жизни — например, игра в карты, галантные развлечения в общественных местах, а главное: удовольствие губить чужие репутации — невинное занятие, в котором она находила необычайную сладость. Поэтому она решила лучше уж стерпеть любые оскорбления от своей служительницы, чем подвергнуть себя риску лишиться столь больших привилегий.

Итак, она послала за управляющим, мистером Питером Паунсом, и велела ему выплатить жалованье Джозефу, отобрать у него ливрею и в тот же вечер прогнать его из дому.

Затем она вызвала к себе Слипслоп и, подкрепившись стаканчиком настойки, которую держала у себя в шкафу, начала следующим образом:

— Слипслоп, зачем же вы, зная мой горячий нрав, как нарочно, стараетесь рассердить меня вашими ответами? Я уверена, что вы честно мне служите, и мне очень не хотелось бы с вами расстаться. Я думаю также, что и вы не раз находили во мне снисходительную хозяйку и со своей стороны не имеете оснований желать перемены. Поэтому я не могу не удивляться, когда вы зачем-то прибегаете к самому верному способу меня оскорбить. Зачем, хочу я сказать, вы повторяете каждое мое слово,— вы же знаете, что я этого не терплю!

Благоразумная домоправительница уже успела все взвесить и по зрелому размышлению пришла к выводу, что лучше держаться за одно хорошее место, чем искать другого. Поэтому, увидев, что хозяйка склонна к снисхождению, она сочла для себя приличным тоже пойти на некоторые уступки, которые приняты были с равной готовностью; таким образом, дело завершилось примирением, все обиды были прощены, и в залог предстоящих милостей верной служительнице подарены были платье и нижняя юбка.

Слипслоп попробовала раз-другой закинуть словцо в пользу Джозефа, но, убедившись, что сердце миледи непреклонно, благоразумно отказалась от новых попыток. Она подумала, что в доме есть и другие лакеи и многие из них хотя, быть может, и не так красивы, но не менее сильны и крепки, чем Джозеф; к тому же, как читатель видел, ее нежные авансы не встретили того отклика, какого она вправе была ожидать. Она рассудила, что потратила впустую на неблагодарного бездельника немало десертного вина и, сходясь до некоторой степени во взглядах

с тем разрядом женщин, для которых один здоровый малый почти так же хорош, как и другой, она в конце концов отступилась от Джозефа и его интересов, в гордом торжестве над своею страстью взяла подарки, вышла от госпожи и спокойно уселась с глазу на глаз с графинчиком, что всегда оказывает благотворное действие на склонные к размышлению натуры.

Хозяйку свою она оставила в куда менее спокойном состоянии духа. Бедная леди не могла без содрогания подумать о том, что ее репутация оказалась во власти слуг В отношении Джозефа она утешала себя только надеждой, что юноша так и не понял ее намерений; по меньшей мере, она могла внушать себе, что ничего ему не высказала прямо; что же до миссис Слипслоп, то тут, как ей представлялось, можно было добиться молчания с помощью подкупа.

Но больше всего ее терзало то, что на самом деле она не вполне победила свою страсть; лукавый божок сидел, притаившись, в ее сердце, хотя злоба и презрение так ее слепили и дурманили, что она не замечала его. Тысячу раз она была готова отменить приговор, который вынесла бедному юноше. Любовь выступала адвокатом за него и нашептывала много доводов в его пользу. Чувство Чести также старалось оправдать его преступление, а Жалость — смягчить наказание. С другой стороны, Гордость и Месть столь же громко говорили против него, так что бедная леди мучилась сомнением, и противоположные страсти смущали и раздирали ее душу.

Так на заседании суда в Вестминстере, где адвокат Брэмбл представлял одну сторону, а адвокат Паззл *— другую (причем суммы, полученные ими в счет гонорара, были в точности равны), мне случалось видеть, как мнение присутствующих, словно весы, клонилось то вправо, то влево. Вот Брэмбл бросает свой довод, и чаша Паззла взлетает вверх; а вот та же судьба постигает чашу Брэмбла, сраженного более веским доводом Паззла. То Брэмбл сделает выпад, то нанесет удар Паззл; то один убедит вас, то другой,— пока, наконец, истерзанные умы слушателей не придут в полное смятение; равные пари предлагаются за ту и за другую сторону, и ни судья, ни присяжные не могут разобраться в деле: так постарались заботливые жрецы закона окутать все сомнением и мраком.

Или как происходит это с совестью, которую честь и справедливость тянут в одну сторону, а подкуп и необходимость в другую... Если бы единственной нашей задачей было подбирать метафоры, мы могли бы привести их здесь еще немало, но для умного человека довольно и одной метафоры (как и одного слова). Поэтому мы лучше последуем за нашим героем, о котором читатель, наверно, начинает уже беспокоиться.

ГЛАВА X

Джозеф пишет еще одно письмо; его расчеты с мистером Питером Паунсом и т. д. и уход его от леди Буби

Злополучный Джозеф не обладал бы разумением, достаточным для главного действующего лица такой книги, как эта, если б он все еще не уяснил себе намерений своей госпожи; и в самом деле, если он не разобрался в них раньше, то читатель может с приятностью это приписать его нежеланию открыть в миледи то, что он должен был бы осудить в ней как порок. Поэтому, когда она прогнала его с глаз, он удалился к себе на чердак и стал горько сетовать на бесчисленные беды, преследующие красоту, и на то, как плохо быть красивее своих ближних.

Потом он сел и отнесся к сестре своей Памеле со следующим письмом:

«Любезная сестрица Памела!

Надеясь, что вы в добром здравии, я сообщу вам удивительную новость. О Памела, моя госпожа влюбилась в меня. То есть это у больших господ называется влюбиться, а на деле означает, что она задумала меня погубить; но, я надеюсь, не так во мне мало твердости духа и пристойности, чтобы я расстался с добродетелью ради какой бы то ни было миледи на земле.

Мистер Адамс часто говорил мне, что целомудрие — такая же великая добродетель в мужчине, как и в женщине. Он говорил, что, вступая в брак, знал не больше, чем его жена; и я постараюсь последовать его примеру. В самом деле, только лишь благодаря его замечательным проповедям и наставлениям, а так же вашим письмам у меня достало силы противиться искушению, которому, как он говорит, человек не должен поддаваться, иначе он неизбежно раскается на этом свете или же будет осужден за гробом; а как же мне полагаться на покаяние на смертном одре, коль скоро я могу помереть во сне? Какая превосходная вещь — доброе наставление и добрый пример! Но я рад, что миледи выгнала меня из опочивальни, потому что я в тот час едва не забыл все слова, какие когда-либо говорил мне пастор Адамс.

Не сомневаюсь, милая сестрица, что у вас достанет твердости духа сохранить вашу добродетель вопреки всем испытаниям; и я душевно прошу вас помолиться, чтобы и у меня достало силы сохранить мою: ибо воистину на нее ведется жестокий натиск — и не одною этой женщиной; но я надеюсь, что, следуя во всем вашему примеру и примеру моего тезки Иосифа, я сохраню свою добродетель против всех искушений...»

Джозеф еще не дописал письма, когда мистер Питер Паунс кликнул его, чтобы он шел вниз получать жалованье. А надо сказать, Джозеф из своих восьми фунтов в год посылал четыре родителям и, чтобы купить себе музыкальные инструменты, вынужден был прибегнуть к великодушию вышеназванного Питера, который в крайности нередко выручал слуг, выплачивая им жалованье вперед: то есть не ранее того срока, когда оно им причиталось, но ранее возможного срока уплаты; а это значит примерно еще полгода спустя, после того как оно им следовало,— и делал он это за скромную мзду в пятьдесят процентов или несколько выше. Таким милосердным способом, а также ссужая деньги в долг другим лицам, вплоть до собственных своих господ, этот честный человек, не имея раньше ничего, сколотил капитал в двадцать пять тысяч фунтов или около того.

Когда Джозефу выдали скромный остаток его жалованья и сняли с него ливрею, ему пришлось занять у одного из слуг ливрейный кафтан и штаны (его так любили в доме, что каждый охотно одолжил бы ему что угодно); затем, услышав от Питера, что он не должен оставаться в доме ни минуты дольше, чем потребуется на укладку белья,— а уложил он его без труда в очень небольшой узелок,— юноша грустно простился со своими сотоварищами слугами и в семь часов вечера пустился в путь.

Он прошел две-три улицы, прежде чем решил, оставить ли город в эту же ночь, или, обеспечив себе ночлег, переждать до утра. Месяц светил очень ярко, и это, наконец, определило его решение двинуться в дорогу немедленно — к чему у него были и некоторые другие побуждения, которые читатель, не будучи ясновидцем, едва ли может разгадать, покуда мы не дали ему тех намеков, для каких теперь, пожалуй, настала пора.

ГЛАВА XI

О некоторых новых неожиданных обстоятельствах

Не раз наблюдалось, что, высказывая наше мнение о простоватом человеке, мы говорим: «Его видно насквозь». И я не думаю, чтоб это обозначение было менее уместно в отношении простоватой книги. Чем ссылаться на какое-нибудь произведение, мы предпочли показать пример обратного в этой нашей повести; и проницателен будет тот читатель, который сможет что-нибудь провидеть на две главы вперед.

Из этих соображений мы до сих пор не упомянули об одном обстоятельстве, которое теперь, повидимому, необходимо разъяснить; ибо может показаться странным, во-первых, почему Джозеф с такой чрезвычайной поспешностью двинулся из города (как было показано выше), а во-вторых, почему он (как

будет показано сейчас), вместо того чтобы направиться к родительскому дому или к своей возлюбленной сестре Памеле, предпочел устремиться со всей скоростью в поместье леди Буби, откуда его в свое время вывезли в Лондон.

Итак, да будет известно, что в том же приходе, где находилось это поместье, проживала юная девица, к которой Джозеф (хоть и был он нежнейшим сыном и братом) стремился с бо́льшим нетерпением, чем к своим родителям или сестре. Это была бедная девушка, воспитывавшаяся сначала в доме сэра Джона *, откуда потом, незадолго до переезда семейства в Лондон, она была изгнана стараниями миссис Слипслоп за необычайную свою красоту: других оснований мне никак не удалось установить.

Юное это создание (проживавшее теперь у одного фермера в том же приходе) было издавна любимо Джозефом и отвечало ему взаимностью. Девушка была всего на два года моложе нашего героя. Они знали друг друга с младенчества, и с самых ранних пор в них зародилась склонность друг к другу, перешедшая затем в такое сильное чувство, что мистеру Адамсу стоило большого труда предотвратить их бракосочетание и убедить их, чтоб они подождали, покуда несколько лет службы и бережливости не прибавят им опыта и не обеспечат им безбедную совместную жизнь.

Они последовали увещаниям этого доброго человека, так как поистине его слово было в приходе почти равносильно закону: в течение тридцати пяти лет он всем своим поведением неизменно доказывал прихожанам, что радеет всем сердцем об их благе, так что они по каждому случаю обращались к своему пастору и очень редко поступали наперекор его совету.

Нельзя вообразить себе ничего нежнее, чем расставание этой любящей четы. Тысяча вздохов вздымала грудь Джозефа; тысячу ручьев источали прелестные глазки Фанни (так звали ее); и хотя скромность позволила ей принимать только жаркие поцелуи друга, все же пламенная любовь делала ее отнюдь не бесстрастной на его груди, и она снова и снова привлекала милого к сердцу и нежно сжимала в объятии, которое, хотя едва ли удушило бы насмерть муху, в сердце Джозефа пробуждало больше волнения, чем могла бы вызвать самая крепкая корнвалийская хватка.

Читателя, быть может, удивит, что столь преданные влюбленные, находясь двенадцать месяцев в разлуке, не вели между собою переписки; и в самом деле, этому мешала и могла мешать только одна причина,— та, что бедная Фанни не знала грамоте, а никакая сила в мире не склонила бы ее писать о своей чистой и стыдливой страсти рукой какого-нибудь писца.

Поэтому они довольствовались тем, что часто справлялись друг о друге, не сомневались в обоюдной верности и с твердой надеждой ждали будущего счастья.

Разъяснив читателю эти обстоятельства и разрешив по возможности все его недоумения, вернемся к честному нашему Джозефу, которого мы оставили в тот час, когда он при свете месяца пустился в свое путешествие.

Те, кто читал какие-либо романы или стихи, древние или современные, не могут не знать, что у любви есть крылья; это положение, однако, им не следует понимать так, как оно ошибочно толкуется некоторыми юными девицами,— будто влюбленный может летать; своей тонкой аллегорией писатели хотят указать лишь на то, что влюбленные не ходят, как конногвардейцы; короче сказать, что они умеют перебирать ногами; и наш Джозеф, крепкий малый, не уступавший лучшим ходокам, в этот вечер шагал так добросовестно, что через четыре часа достиг странноприимного дома, хорошо известного путешественнику, направляющемуся на запад. Его вывеска являет вам изображение льва; а хозяин его, получивший при крещении имя Тимотеус, именуется обычно просто Тимом. Некоторые полагают, что он нарочно осенил свое заведение знаком льва, так как по внешнему виду сам сильно схож с этим благородным зверем, хотя нравом напоминает скорее кроткого ягненка. Он из тех людей, каких охотно принимает в свое общество человек любого звания,— так он умеет быть приятен каждому; и к тому же он может потолковать об истории и о политике, кое-что смыслит в законах и в богословии, умеет пошутить и чудесно играет на кларнете.

Сильная буря с градом заставила Джозефа искать убежища в этой гостинице, где, как ему припомнилось, обедал по пути в город покойный сэр Томас. Джозеф не успел присесть на кухне у огня, как Тимотеус, приметив его ливрею, стал высказывать ему соболезнования по поводу смерти его господина, которого он назвал самым своим близким, закадычным другом и вспомнил, как они в свое время «раздавили вдвоем не одну бутылку, не одну дюжину бутылок». Потом он добавил, что все это ныне миновало, все прошло, как не бывало; и закончил превосходным замечанием о неизбежности смерти, которое жена его объявила поистине справедливым. Тут в гостиницу явился человек с двумя лошадьми, одну из которых он вел для своего господина, назначившего ему встречу в деревне подальше; вновь прибывший поставил лошадей на конюшню, а сам вернулся и сел подле Джозефа, и тот сразу признал в нем слугу одного соседа-помещика, часто приезжавшего в гости к его господам.

Человека этого тоже загнала в гостиницу непогода; ему было приказано проехать в этот вечер еще миль двадцать — и как раз по той же дороге, которую выбрал себе Джозеф. Он не преминул тут же предложить приятелю лошадь своего хозяина (хоть и получил вполне точные распоряжения обратного свойства), на что Джозеф охотно согласился; итак, распив добрый кувшин эля и переждав непогоду, они поехали дальше вдвоем.

ГЛАВА XII,

содержащая ряд удивительных приключений, которые постигли Джозефа Эндруса в дороге и покажутся почти невероятными тому, кто никогда не путешествовал в почтовой карете

В дороге не произошло ничего примечательного, пока они не доехали до гостиницы, в которую приказано было доставить лошадей и куда они прибыли к двум часам утра. Месяц светил очень ярко; и Джозеф, угостив приятеля пинтой вина, поблагодарил его за лошадь и, не сдаваясь на его уговоры, пустился дальше пешком.

Не прошел он и двух миль, ласкаемый надеждой скоро увидеть свою возлюбленную Фанни, как ему повстречались на узком проселке два парня и велели остановиться и вывернуть карманы. Он с готовностью отдал им все деньги, какие имел,— без малого два фунта,— и выразил надежду, что они будут столь великодушны и вернут ему несколько шиллингов на дорожные расходы.

Один из негодяев выругался и ответил:

— Да, кое-что мы тебе выдадим, как раз! Только сперва разденься, черт тебя подери!

— Раздевайся! — крикнул второй.— Или я вышибу к дьяволу мозги из твоей башки!

Джозеф, памятуя, что взял свой кафтан и штаны у приятеля и что совестно будет не вернуть их, на какие ни ссылайся обстоятельства, выразил надежду, что они не будут настаивать на получении его платья, так как цена ему небольшая, а ночь холодна.

— Ах, тебе холодно, холодно тебе, мерзавец! — сказал первый грабитель.— Так я тебя согрею, будь спокоен! — и, добавив что-то вроде «лопни мои глаза», он навел пистолет прямо Джозефу в лоб; но не успел он выстрелить, как другой уже нанес Джозефу удар дубинкой, которую тот, будучи мастером игры в дубинки, отшиб своею и так успешно отплатил противнику, что тот распростерся у его ног; однако сам Джозеф в то же мгновение получил от второго негодяя такой удар по затылку рукоятью пистолета, что свалился наземь и лишился чувств.

Вор, сбитый им с ног, теперь оправился, и они принялись вдвоем обрабатывать бедного Джозефа своими палками, а потом, решив, что положили конец его жалкому существованию, раздели его донага, бросили в канаву и ушли со своей добычей.

Бедный малый, долго пролежав без движения, начал приходить в чувство как раз к тому часу, когда мимо проезжала почтовая карета. Почтарь, услышав стоны, придержал лошадей и сказал кучеру, что в канаве наверняка лежит мертвец, ибо он слышал его стон.

— Брось, любезный,— сказал кучер,— мы и так, черт возьми, опаздываем, некогда тут возиться с мертвецами!

Одна из пассажирок, слышавшая слова почтаря, равно как и стоны, громко крикнула кучеру, чтобы он остановил карету и посмотрел, в чем там дело. Кучер на это предложил почтарю слезть с козел и заглянуть в канаву. Тот пошел, посмотрел и доложил, что «там мужчина сидит прямо в чем мать родила».

— Боже! — вскричала леди.— Голый мужчина! Кучер, дорогой, поезжайте дальше и оставьте его!

Тут пассажиры мужчины вылезли из кареты; и Джозеф стал молить их сжалиться над ним, поскольку его ограбили и избили до полусмерти.

— Ограбили! — вскричал один старый джентльмен.— Едем, и как можно быстрее, а то и нас ограбят.

Молодой человек, принадлежавший к судейскому сословию, возразил, что предпочтительней было бы проехать мимо, не обращая внимания; но теперь может быть доказано, что они находились в обществе пострадавшего последними, и, если тот умрет, их могут привлечь к ответу, как его убийц. Поэтому он рекомендует, если возможно, спасти несчастному жизнь ради собственной безопасности,— дабы в случае его смерти можно было отклонить от себя обвинение следствия в том, что они бежали от места убийства. А посему его мнение таково, что следует взять этого человека в карету и довезти до ближайшей гостиницы. Леди настаивала, что его нельзя сажать в карету; что если они его возьмут, то она сама выйдет вон: она скорее простоит здесь до скончания века, чем поедет с голым мужчиной. Кучер утверждал, что не может допустить в карету пассажира и везти его четыре мили, если кто-нибудь не заплатит шиллинг за его проезд,— от чего оба джентльмена уклонились. Но законник, опасавшийся, как бы не вышло худо для него самого, если оставить несчастного на дороге в таком положении, принялся запугивать кучера, говоря, что в таких делах никакая осторожность не может оказаться чрезмерной, что он знает из книг самые необычайные случаи и что кучер подвергается опасности, отказываясь взять несчастного: ибо если человек умрет, то он, кучер, будет обвинен в его убийстве, если же человек выживет и подаст на него в суд, то он, адвокат, сам охотно возьмет на себя ведение дела. Эти слова подействовали на кучера, хорошо знавшего того, кто говорил их; а вышеупомянутый старый джентльмен, полагая, что голый человек доставит ему не один случай показать свое остроумие перед дамой, предложил войти в долю, если все вскладчину угостят кучера кружкой пива за провоз добавочного пассажира; итак, отчасти встревоженный угрозами одного, отчасти прельщенный посулами другого, а может быть и поддавшись состраданию к несчастному, который стоял весь в крови и дрожал от холода, кучер, наконец, уступил; и Джозеф подошел было к карете, но увидел даму, заслонявшую глаза веером,

и, как ни тяжело было его положение, наотрез отказался войти, если его не снабдят достаточным покровом, чтоб он мог это сделать, нисколько не нарушая приличия. Так безупречно скромен был этот молодой человек; такое могучее воздействие оказали на него добродетельный пример его любезной Памелы и превосходные проповеди мистера Адамса!

Хотя в карете имелось несколько верхних кафтанов, оказалось совсем нелегко преодолеть затруднение, на которое указал Джозеф. Оба джентльмена стали жаловаться, что зябнут и не могут отдать ни лоскута,— причем остроумец со смехом добавил, что «своя рубашка к телу ближе»; кучер, подстеливший себе два кафтана на козлы, отказался поступиться хоть одним из них, не желая получить его обратно окровавленным; лакей леди попросил извинить его на том же основании, а леди, невзирая на свой ужас перед голым мужчиной, поддержала своего слугу; и более чем вероятно, что бедному Джозефу, упрямо стоявшему на своем скромном решении, так и пришлось бы погибнуть на дороге, если бы почтарь (паренек, высланный впоследствии в колонии за кражу курицы) добровольно не скинул с себя кафтан, свою единственную верхнюю одежду, крепко при этом побожившись (чем навлек на себя упреки пассажиров), что он скорей согласится всю жизнь ездить в одной рубахе, чем бросит человека в таком несчастном положении.

Джозеф надел кафтан, его посадили, и карета тронулась дальше в путь. Он признался, что до смерти озяб, чем доставил остроумцу случай спросить у леди, не может ли она предложить несчастному глоток чего-нибудь согревающего. Леди ответила не без досады, что ее удивляет, как может джентльмен обращаться к ней с таким вопросом: она, конечно, никогда и не пробовала ничего такого.

Законовед стал было расспрашивать Джозефа про обстоятельства ограбления, как вдруг карету остановили разбойники и один из них, наведя пистолет, потребовал у пассажиров их деньги; те с готовностью отдали, а леди со страху протянула еще и небольшой серебряный флакон, так на полпинты, в котором, по заявлению негодяя, приложившего его к губам и хлебнувшего за ее здоровье, оказалась великолепнейшая водка,— каковое недоразумение леди впоследствии объяснила попутчикам ошибкою своей служанки: ей будто бы приказано было наполнить флакон ароматической водой.

Как только молодцы удалились, законовед, у которого, как выяснилось, был запрятан в сидении кареты ящик с пистолетами, сообщил попутчикам, что если бы дело происходило при дневном свете и если б он мог добраться до своего оружия, то он не допустил бы ограбления; к этому он присовокупил, что не раз встречался с дорожными грабителями, совершая путешествие верхом, и ни один не посмел напасть на него; и в заключение добавил, что, не опасайся он за даму больше, чем за себя

самого, он бы и теперь не расстался так легко со своими деньгами.

Остроумие, по общему наблюдению, любит жить в пустых карманах; и вот старый джентльмен, чей находчивый ум мы уже отметили выше, едва расставшись со своими деньгами, пришел в удивительно игривое настроение. Он отпустил несколько намеков на Адама и Еву и сказал много замечательных вещей о фигах и фиговых листках,— которые, может быть, больше оскорбляли Джозефа, чем кого-либо другого в карете.

Законовед тоже подарил обществу несколько милых шуток, не отклоняясь в них от своей профессии. Если бы, говорил он, Джозеф и леди были одни, то молодой человек мог бы с большим успехом произвести передачу ей своего имущества, ничем в данном случае не обремененного; он, юрист, гарантирует, что истец легко добился бы возмещения убытков и получил бы исполнительный лист, вводящий его во владение, вслед за чем, несомненно, явились бы наследники на ограниченных правах; он сам, со своей стороны, взялся бы тут же в карете составить такую надежную дарственную запись, что всякая опасность преждевременного изъятия со взысканием издержек была бы устранена. Подобный вздор он изливал потоком, пока карета не прибыла на постоялый двор, где кучера встретила только девушка служанка, которая и предложила ему холодного мяса и кружку эля. Джозеф пожелал сойти и попросил, чтобы ему приготовили постель, что девушка охотно взялась исполнить; и, будучи от природы добросердечна и не так щепетильна, как леди в карете, она подкинула в огонь большую охапку хвороста и, снабдив Джозефа кафтаном, принадлежавшим одному из конюхов, предложила ему посидеть и погреться, пока она ему постелит. Кучер же тем временем сходил за врачом, проживавшим почти рядом, через несколько домов; после чего он напомнил своим пассажирам, что они запаздывают, и, дав им попрощаться с Джозефом, поспешил усадить их в карету и увезти.

Девушка вскоре уложила Джозефа и пообещала, что постарается раздобыть ему рубашку; но видя, что он весь в крови, и вообразив, как она потом объяснила, что он того и гляди помрет, она пустилась со всех ног торопить врача, который был уже почти одет, так как сразу вскочил, подумав, что опрокинулась карета и пострадал какой-нибудь джентльмен или леди. Когда же служанка сообщила ему в окно, что дело идет о бедном пешеходе, у которого стащили все, что было при нем и на нем, и которого едва не убили,— он ее отругал: зачем-де она тревожит его в такую рань, снова снял с себя одежду и преспокойно улегся и заснул.

Аврора уже начала показывать из-за холмов свои румяные щеки и десять миллионов пернатых певцов, радостным хором распевая оды, в тысячу раз более сладостные, нежели оды нашего лауреата *, славили наравне День и Песнь,— когда хозяин

постоялого двора мистер Тау-Вауз встал ото сна и, узнав от своей служанки об ограблении и о своем несчастном голом постояльце, покачал головой и воскликнул: «Ну и денек!» — и тут же велел девушке принести одну из его собственных рубашек.

Миссис Тау-Вауз только что пробудилась и тщетно простирала руки, чтобы заключить в объятия ушедшего супруга, когда в комнату вошла служанка.

— Кто тут? Бетти, ты?

— Да, сударыня.

— Где хозяин?

— Он во дворе, сударыня; он прислал меня за рубашкой, чтобы дать ее на время бедному голому человеку, которого ограбили и чуть не убили.

— Посмей только тронуть хоть одну, мерзавка! — сказала миссис Тау-Вауз.— С твоего хозяина как раз станется собирать в дом голых бродяг и одевать их в свою одежу! Я этого не потерплю. Тронь хоть одну, и я запущу тебе в голову ночной горшок! Ступай пришли ко мне хозяина.

— Слушаю, сударыня,— ответила Бетти.

Как только муж вернулся, супруга начала:

— Какого дьявола вы тут затеваете, мистер Тау-Вауз? Я должна покупать рубашки, чтоб вы их раздавали грязным оборванцам?

— Моя дорогая,— сказал мистер Тау-Вауз,— это несчастный бедняк...

— Да,— сказала она,— я знаю: несчастный бедняк; но на кой нам дьявол несчастные бедняки? Закон и без того заставляет нас кормить их целую ораву. Скоро к нам сюда заявится человек тридцать — сорок несчастных бедняков в красных кафтанах *.

— Моя дорогая! — вскричал Тау-Вауз.— Этого человека ограбили, отобрали все, что у него было.

— Так,— сказала она,— где же у него тогда деньги, чтобы заплатить по счету? Почему такой молодчик не идет в кабак? Вот я встану и мигом выставлю его за дверь!

— Моя дорогая,— сказал муж,— простое милосердие не позволяет, чтобы ты так поступила.

— Плевать я хотела на простое милосердие! — сказала жена.— Простое милосердие учит нас заботиться прежде всего о себе и о наших семьях; я и мои родные не дадим тебе разорять нас твоим милосердием, уж будь уверен!

— Ну, хорошо, дорогая моя,— сказал он,— делай, как хочешь, когда встанешь; ты же знаешь, я никогда тебе не перечу.

— Еще бы! — сказала она.— Да вздумай сам черт мне перечить, я ему такого задала бы жару, что он у меня живо сбежал бы со двора!

На эти разговоры у них ушло около получаса, а Бетти тем временем раздобыла рубашку у конюха — одного из своих

поклонников — и надела ее на бедного Джозефа. Врач тоже, наконец, навестил его, обмыл и перевязал ему раны и теперь явился объявить мистеру Тау-Ваузу, что жизнь его постояльца в крайней опасности, так что почти нет надежды на выздоровление.

— Веселенькую заварил ты кашу! — вскричала миссис Тау-Вауз.— И не расхлебаешь! Нам, чего доброго, придется еще хоронить его на свой счет.

Тау-Вауз (который, при всем своем милосердии, отдал бы свой голос — так же свободно, как отдавал на всех выборах,— за то, чтобы его постояльцем спокойно владел сейчас любой другой дом в королевстве) ответил:

— Моя дорогая, я не виноват: его привезли сюда в почтовой карете; и Бетти уложила его в постель, когда я еще и не проснулся.

— Я вам покажу такую Бетти!..— сказала жена.

После чего, натянув на себя половину своей одежды, а остальное захватив подмышку, она выбежала вон на поиски злополучной Бетти, между тем как Тау-Вауз и врач пошли проведать беднягу Джозефа и расспросить во всех подробностях о печальном происшествии.

ГЛАВА XIII

Что случилось с Джозефом на постоялом дворе во время его болезни, и любопытный разговор между ним и мистером Барнабасом, приходским пастором

Рассказав подробно историю ограбления и кратко сообщив о себе, кто он такой и куда держит путь, Джозеф спросил врача, считает ли тот его положение сколько-нибудь опасным; на что врач со всей откровенностью ответил, что действительно боится за него, потому что «пульс у него очень возбужденный и лихорадочный, и если эта лихорадка окажется не только симптоматической, то спасти его будет невозможно». Джозеф испустил глубокий вздох и воскликнул:

— Бедная Фанни, как я хотел бы жить, чтобы увидеть тебя! Но да свершится воля божья!

Тогда врач посоветовал ему, если есть у него мирские дела, уладить их как можно скорее; ибо, сохраняя надежду на его выздоровление, он, врач, все же почитает своим долгом сообщить ему, что опасность велика; и если злокачественное сгущение гуморов * вызовет сусцитацию лихорадки, то вскоре у него, несомненно, начнется бред, вследствие чего он будет неспособен составить завещание. Джозеф ответил, что во всей вселенной не может быть создания более нищего, чем он: ибо после

ограбления у него нет ни одной вещи, хоть самой малоценной, которую он мог бы назвать своею.

— Была у меня,— сказал он,— маленькая золотая монетка — у меня отняли ее; а она была бы для меня утешением во всех моих горестях! Но поистине, Фанни, я не нуждаюсь ни в каких памятках, чтобы помнить о тебе! Я ношу твой любезный образ в сердце моем, и никогда ни один негодяй не вырвет его оттуда.

Джозеф попросил бумаги и перьев, чтобы написать письмо, но ему было отказано в них и был преподан совет направить все усилия к тому, чтоб успокоиться. Засим врач и хозяин вышли от него; и мистер Тау-Вауз послал за священником, чтобы тот пришел и свершил обряды, необходимые для души несчастного Джозефа, коль скоро врач отчаялся чем-нибудь помочь его телу.

Мистер Барнабас (так звали священника) явился по первому зову и, распив сперва котелок чаю с хозяйкой, а затем кувшин пунша с хозяином, поднялся в комнату, где лежал Джозеф, но, найдя его спящим, опять сошел вниз — подкрепиться еще разок; покончив с этим, он опять взобрался потихоньку наверх, постоял у двери и, приоткрыв ее, услышал, как больной разговаривает сам с собой следующим образом:

— О моя обожаемая Памела! Добродетельнейшая из сестер, чей пример один лишь и мог дать мне силу не уступить соблазнам богатства и красоты и сохранить мою добродетель, чтобы чистым и целомудренным приняла меня моя любезная Фанни, если бы угодно было небу привести меня в ее объятия! Разве могут богатства, и почести, и наслаждения возместить нам потерю невинности? Не она ли единственная дает нам больше утешения, чем все мирские блага? Что, кроме невинности и добродетели, могло бы утешить такого жалкого страдальца, как я? А с ними это ложе болезни и мук мне милее всех наслаждений, какие доставила бы мне постель моей госпожи. Они позволяют мне смотреть без страха в лицо смерти; и хотя я люблю мою Фанни так сильно, как никогда не любил женщину ни один мужчина, они учат меня без сожаления смириться перед божественной волей. О ты, восхитительно милое создание! Если бы небо привело тебя в мои объятия, самое бедное, самое низкое состояние было бы нам раем! Я мог бы жить с тобою в самой убогой хижине, не завидуя ни дворцам, ни усладам, ни богатствам ни единого смертного на земле. Но я должен оставить тебя, оставить навеки, мой дражайший ангел! Я должен думать о мире ином; и я от всей души молюсь, чтобы тебе дано было найти утешение в этом!

Барнабас решил, что услышал предостаточно; он сошел вниз и сказал Тау-Ваузу, что не может сослужить никакой службы его постояльцу, потому что у юноши бред и все время, пока он, священник, находился в его комнате, он нес самую бессмысленную чушь.

Днем еще раз заглянул врач и нашел пациента в еще более сильной, по его словам, лихорадке, чем утром, но все же не в бреду: ибо, вопреки мнению мистера Барнабаса, больной ни разу с самого своего прибытия в гостиницу не терял сознания.

Послали опять за мистером Барнабасом и с большим трудом уговорили его прийти вторично. Едва войдя в комнату, пастор сказал Джозефу, что пришел помолиться вместе с ним и подготовить его к переходу в другой мир; так вот, первым делом, он надеется, умирающий раскаялся во всех своих грехах?

Джозеф отвечал, что и он на это надеется, но что есть одна вещь, про которую он сам не знает, должен ли он почитать ее грехом, а если да, то он боится, что умрет нераскаянным грешником; и это не что иное, как сожаление о разлуке с молодою девушкой, которую он любит «всеми нежными струнами сердца». Барнабас стал ему внушать, что всякое возмущение против воли божьей есть величайший грех, какой может совершить человек; что он должен забыть все плотские стремления и думать о более высоких предметах. Джозеф сказал, что ни в этом, ни в будущем мире не забудет свою Фанни, и что хотя мысль о вечной разлуке с нею очень тягостна, все же она и вполовину не так мучительна, как страх перед тем страданием, какое испытает его милая, когда узнает о постигшем его несчастии. Барнабас сказал, что «такие страхи свидетельствуют о маловерии и малодушии, сугубо преступных»; что умирающий должен отрешиться от всех человеческих страстей и устремить помыслы свои к всевышнему. Джозеф ответил, что сам этого жаждет и что священник весьма его обяжет, если поможет ему это сделать. Барнабас ему сказал, что это дается милостью господней. Джозеф попросил открыть ему, как она достигается. Верой и молитвой, ответил Барнабас и спросил затем, простил ли он воров. Джозеф признался, что нет и что простить их — выше его сил: ибо ничто его так не порадовало бы, как услышать, что они пойманы.

— Это,— воскликнул Барнабас,— значит лишь желать правосудия!

— Да,— сказал Джозеф,— но если бы мне довелось встретиться с ними еще раз — боюсь, я набросился бы на них и убил бы их, если б мог.

— Несомненно,— ответил Барнабас,— убивать воров — дело вполне законное; но можете ли вы сказать, что вы их простили, как должен прощать христианин?

Джозеф попросил объяснить ему, что это значит.

— Это значит,— отвечал Барнабас,— простить их как... как... это значит простить их, как... словом, простить их по-христиански.

Джозеф сказал, что он их простил, насколько мог.

— Вот и хорошо,— сказал Барнабас,— этого достаточно.

Затем священник спросил его, не припомнит ли он еще каких-либо грехов, в каких еще не покаялся, и если да, то пусть поспешит с покаянием, чтобы им успеть еще прочитать вместе несколько молитв. Джозеф ответил, что не помнит за собой никаких тяжких прегрешений, а о тех, какие совершил, он искренне сожалеет.

Барнабас удовлетворился таким ответом и тут же приступил к молитве со всей поспешностью, на какую был способен: ибо в зале его дожидалось небольшое общество и было уже подано все, что требуется для приготовления пунша, но никто не соглашался выжать апельсины, пока он не придет.

Джозеф пожаловался на жажду и попросил чая, о чем Барнабас доложил миссис Тау-Вауз; но та ответила, что она только что отпила чай и не может весь день возиться; все же она велела Бетти снести больному наверх полкружки пива.

Бетти исполнила приказание хозяйки; но Джозеф, едва пригубив, высказал опасение, что этот напиток усилит у него жар, и добавил, что ему хочется именно чая; на что сердобольная Бетти ответила, что он непременно его получит,— разве что не окажется ни щепотки во всей Англии; и она тут же пошла и сама купила Джозефу немного чая и стала его поить; за этим занятием мы и оставим их на время и займем читателя другими вещами.

ГЛАВА XIV,

полная приключений, которые следовали в гостинице одно за другим

Надвигались вечерние сумерки, когда во двор гостиницы въехал степенного вида человек и, препоручив свою лошадь конюху, направился прямиком на кухню, потребовал трубку с табаком и сел у очага, где уже собралось несколько посетителей.

Беседа шла исключительно о грабеже, совершенном прошлой ночью, и о несчастливце, лежавшем наверху в том ужасном состоянии, в каком мы его уже видели. Миссис Тау-Вауз сказала, что ей хотелось бы знать, какого черта кучер Том Хвипвел[1] завозит в ее дом таких гостей, когда на дороге сколько угодно кабаков, где они могли бы приткнуться; но пусть ее муж не забывает: если постоялец умрет у них в доме, то расходы по его похоронам лягут на приход; и верьте не верьте, а этот молодчик требует только чая — другого ему ничего не нужно!

---

[1] Хвипвел (Whipwell) — по-английски: нахлестывай.

Бетти, только что спустившаяся вниз после своего милосердного дела, объявила, что молодой человек, по ее суждению, джентльмен, потому что она в жизни своей не видывала более нежной кожи.

— Чума на нее! — возразила миссис Тау-Вауз.— Кроме как шкурой, ему, наверно, нечем будет заплатить нам по счету. Такие джентльмены пусть уж лучше никогда не заезжают в «Дракон» (гостиница, повидимому, осенена была знаком дракона).

Джентльмен, прибывший последним, проявил большое сочувствие к несчастью бедняги, который, как он видел, попал в не слишком сострадательные руки. И в самом деле, если миссис Тау-Вауз не обнаруживала в речах нежности нрава, то над лицом ее природа так потрудилась, что сам Хогарт никогда не придавал ни одному портрету большей выразительности.

Это была особа малорослая, худая и скрюченная. Лоб у нее был сильно выпуклый на середине, а далее шел впадиной до начала носа, заостренного и красного, который навис бы над губами, не позаботься природа загнуть кверху его конец. Губы представляли собой две полоски кожи, которые, когда она говорила, стягивались кошелечком. Подбородок был у нее клином; а у верхнего края тех лоскутов кожи, что заменяли ей щеки, выдавались две кости, почти прикрывавшие маленькие красные глазки. Прибавьте к этому голос, удивительнейшим образом приспособленный к тем чувствам, какие он должен был передавать,— громкий и вместе хриплый.

Трудно сказать, что сильнее чувствовал джентльмен — неприязнь к хозяйке или сострадание к ее постояльцу. Он очень озабоченно стал выспрашивать врача, зашедшего теперь на кухню, есть ли хотя бы небольшая надежда на выздоровление больного. Он молил его употребить для этого все возможные средства, внушая, что «долг человека любой профессии — применять свое искусство gratis[1] в помощь всем несчастным и нуждающимся». Врач ответил, что он постарается, но тут же высказал убеждение, что, созови хоть всех врачей Лондона, ни один из них ничем уже не поможет страдальцу.

— Скажите, пожалуйста, сэр,— спросил джентльмен,— какие у него раны?

— А вы что-нибудь понимаете в ранах? — сказал врач, перемигнувшись при этом с миссис Тау-Вауз.

— Да, сэр, я кое-что смыслю в хирургии,— ответил джентльмен.

— Кое-что! Хо-хо-хо! — рассмеялся врач.— Уж, верно, и впрямь, я думаю, «кое-что»!

Все присутствующие насторожились, в надежде услышать, как врач, который был что называется «сущая язва», посрамит джентльмена.

---

[1] Бесплатно *(лат.)*.

Поэтому он начал надменным тоном:

— Вы, сэр, я полагаю, много путешествовали?

— Да нет, сэр, не доводилось,— сказал джентльмен.

— Хо! Тогда, быть может, вы пользовали раненых в лазаретах?

— Нет, сэр.

— Хм! ни то и ни другое? Откуда же, сэр, позволю я себе спросить, вы почерпнули ваши знания в хирургии?

— Сэр,— ответил джентльмен,— я на большие знания не притязаю; а то, что знаю, я почерпнул из книг.

— Из книг! — вскричал доктор.— О, так вы, я полагаю, читали Галена * и Гиппократа!

— Нет, сэр,— сказал джентльмен.

— Как! Вы смыслите в хирургии,— сказал доктор,— и не читали Галена и Гиппократа?

— Сэр,— промолвил тот,— я думаю, много есть хирургов, которые никогда не читали этих авторов.

— И я так думаю,— сказал доктор,— не читали, как это ни позорно! Но сам я благодаря своему образованию знаю их наизусть, и мне редко случается выйти из дому, не держа их при себе в кармане.

— Это книги изрядного объема,— сказал джентльмен.

— Ну,— сказал доктор,— какого они объема, я знаю, наверно, не хуже, чем вы. (Тут он опять подмигнул, и вся компания разразилась смехом.)

Доктор, не довольствуясь достигнутым успехом, спросил у джентльмена, не смыслит ли он и в общей медицине столько же, сколько в хирургии.

— Пожалуй, побольше,— ответил джентльмен.

— Я так и думал,— воскликнул наш ученый лекарь, подмигивая,— и о себе могу сказать то же!

— Хотел бы я быть хоть вполовину таким образованным! — сказал Тау-Вауз.— Я бы тогда снял с себя этот фартук.

— Честное слово, хозяин! — вскричал лекарь.— Я думаю, на двенадцать миль вокруг не много найдется людей, кто бы лучше меня лечил лихорадку, хоть мне и не пристало, может быть, самому это говорить. Veniente accurrite morbo [1]: вот моя метода. Полагаю, голубчик, вы разбираетесь в латыни?

— Немного разбираюсь,— сказал джентльмен.

— Ну и в греческом, понятно, тоже? Ton dapomibominos poluflosboio thalasses [2]. Но я почти позабыл эти вещи, а когда-то мог читать Гомера наизусть.

---

[1] Лечите болезнь, когда она только наступает *(лат.)*. Врач несколько перевирает: надо «venienti occurite...».

[2] В правильной транскрипции: Ton d'apameibomenos — ему отвечая, polyfloisboio thalasses — многошумного моря *(греч.)*. Нелепое соединение двух частей разных стихов из «Илиады».

— Эге! Джентльмен-то угодил впросак,— сказала миссис Тау-Вауз; и тут все расхохотались.

Джентльмен, не склонный шутить над ближними, весьма охотно позволил доктору торжествовать свою победу (чем тот и воспользовался с немалым удовольствием), и, вполне разобравшись, с кем имеет дело, сказал ему, что не сомневается в его большой учености и высоком искусстве и что врач очень обяжет его, если выскажет ему свое компетентное мнение о состоянии бедного пациента, который лежит наверху.

— Сэр,— сказал доктор,— в каком он состоянии? В предсмертном, да! Вследствие контузии черепной коробки у него перфорирована внутренняя плева окципута и дивеллицирован малый корешок того крошечного невидимого нерва, который сцепляет ее с перикраниумом; к этому присоединилась лихорадка, сперва симптоматическая, а затем пневматическая; и под конец у больного появилось делириальное состояние, или, проще говоря, он впал в бред.

Врач продолжал разглагольствовать все тем же ученым слогом, когда его прервал сильный шум. Несколько молодцов, живших по соседству, поймали одного из грабителей и приволокли его в гостиницу. Бетти побежала с этой новостью наверх, к Джозефу, который попросил поискать, не окажется ли при воре золотой монетки с продетой в нее лентой; он под присягой опознает свою монетку среди всех сокровищ всех богачей на свете.

Сколько ни настаивал пойманный на своей невиновности, толпа усердно принялась его обыскивать, и вот среди прочих вещей вытащили указанную золотую монету. Бетти, как только ее увидела, властно наложила на нее руку и отправилась с нею к Джозефу, который принял монету с бурным восторгом и, прижав ее к груди, объявил, что может теперь умереть спокойно.

Несколько минут спустя вошло еще несколько молодцов с узлом, который они нашли в канаве и в котором оказалась снятая с Джозефа одежда и вещи, отобранные у него.

Едва увидев ливрею, джентльмен объявил, что он ее узнаёт; и если она снята с бедного малого, который лежит наверху, то он хотел бы наведаться к нему, потому что он близко знаком с семьей, которой принадлежит эта ливрея.

Бетти тотчас повела его наверх; но каково же, читатель, было обоюдное их изумление, когда джентльмен увидел, что в кровати лежит Джозеф, и когда Джозеф узнал в пришедшем своего доброго друга мистера Абраама Адамса!

Было б излишним приводить здесь их разговор, касавшийся главным образом событий, уже известных читателю: ибо священник, как только успокоил Джозефа сообщением, что его Фанни в добром здоровье, со своей стороны стал во всех подробностях расспрашивать про обстоятельства, которыми вызван был этот несчастный случай.

Итак, вернемся лучше на кухню, где сошлось теперь весьма разнообразное общество из всех комнат дома, равно как и из соседних домов: столь великое удовольствие находят люди в лицезрении вора.

Мистер Тау-Вауз уже радостно потирал руки, видя такое большое сборище и предвкушая, как посетители рассядутся вскоре по отдельным комнатам, чтобы поговорить о разбойниках и выпить за здоровье всех честных людей. Но миссис Тау-Вауз, обладавшая несчастной способностью видеть вещи в несколько превратном свете, принялась бранить тех, кто приволок парня в ее дом; конечно, объясняла она супругу, человеку как раз впору ждать богатства, если он держит увеселительное заведение для нищих и воров!

Толпа покончила с обыском и не обнаружила на пойманном ничего, что можно было бы счесть за вещественное доказательство: ибо, что до одежды, то толпа, пожалуй, и удовлетворилась бы такой уликой, но врач заметил, что вещи не изобличают преступника, так как найдены были не при нем; а Барнабас, признав сей довод, добавил, что они — bona waviata [1] и принадлежат теперь лорду владетелю земли.

— Как,— сказал врач,— вы утверждаете, что эти вещи — собственность лорда владетеля?

— Да, утверждаю! — вскричал Барнабас.

— А я отрицаю,— сказал врач.— Какое касательство имеет лорд владетель к такому случаю? Пусть кто-нибудь попробует меня разубедить, что найденная вещь поступает в собственность нашедшего!

— Я слышал, — заметил один старик в углу,— судья Уайзуон [2] говорил, что, хотя у каждого свои права, все, что найдено, принадлежит английскому королю.

— Это, пожалуй, так,— согласился Барнабас,— но лишь в известном смысле: закон различает вещь найденную и вещь украденную: ибо вещь может быть украдена, но так и не найдена, и может быть найдена вещь, которая никогда не была украдена. Вещи, которые и найдены и были украдены, представляют собой waviata, и они принадлежат лорду владетелю.

— Значит, лорд владетель — приемщик краденого имущества! — объявил доктор; все дружно расхохотались, и громче всех он сам.

Вор, упорно отстаивая свою невиновность, уже почти перетянул на свою сторону (так как не было против него улик) врача, Барнабаса, Тау-Вауза и кое-кого еще, когда Бетти напомнила им, что они упустили из виду маленькую золотую монетку, которую она снесла наверх пострадавшему; а тот готов

---

[1] Искаженные латинские слова.

[2] Уайзуон (Wiseone) — по-английски: мудрец.

показать под присягой, что отличил бы ее из миллиона и даже из десяти тысяч. Это сразу решило судьбу пойманного, так как все теперь признали его виновным. Было поэтому решено посадить его на ночь под замок, а утром спозаранку отвести к судье.

ГЛАВА XV,

показывающая, как миссис Тау-Вауз смилостивилась и как Барнабас и врач ревностно преследовали вора; с добавлением рассуждения о причинах их усердия равно как и рвения многих других лиц, в нашей истории не упомянутых

Бетти сказала своей хозяйке, что, по ее суждению, их раненый постоялец — более важная особа, чем тут считали до сих пор: так как, помимо необычайной белизны его кожи и нежности рук, она подметила, что они с приезжим джентльменом держатся на самой дружеской ноге, и добавила, что, несомненно, они близкие знакомые, если не родственники.

Это несколько смягчило суровое выражение лица миссис Тау-Вауз. Боже ее упаси, сказала она, не исполнить своего христианского долга, когда под кровом ее дома находится молодой джентльмен; бродяг она не жалует, это верно, но она не хуже всякого другого умеет посочувствовать христианину в несчастье.

— Если путешественник — джентльмен,— сказал Тау-Вауз,— пусть он даже не при деньгах, нам, по всей вероятности, будет уплачено после; так что можешь, ежели тебе угодно, отпускать ему в долг.

Миссис Тау-Вауз в ответ попросила мужа «придержать свой глупый язык и не учить ее».

— Я поистине от всего сердца жалею бедного джентльмена,— сказала она,— я надеюсь, что мерзавец, который так варварски с ним обошелся, будет повешен. Бетти, сходи узнай, не надо ли ему чего. Боже упаси, чтоб он у меня в доме терпел в чем-нибудь нужду.

Барнабас и врач поднялись к Джозефу удостовериться насчет золотой монетки. Джозефа с трудом упросили показать ее; но никакие уговоры не склонили его выпустить монетку из рук. Он, однакоже, заверил, что это та самая золотая монета, которая была у него отнята; а Бетти бралась показать под присягой, что монета найдена была при воре.

Оставалось теперь только одно затруднение, как предъявить золотую монетку судье? Вести к нему самого Джозефа представлялось невозможным, а получить монету никто уже не надеялся: Джозеф привязал ее лентой к запястью и торжественно поклялся, что ничто, кроме непреоборимой силы, не

разлучит его с нею; и мистер Адамс, сжав руку в кулак чуть поменьше бабки быка, объявил, что поддержит несчастного в его решении.

По этому случаю возник спор об уликах, который не так уже необходимо здесь передавать, а затем врач сменил Джозефу повязку на голове, все еще настаивая, что его пациент находится в грозной опасности; но в заключение добавил, многозначительно сдвинув брови, что появляется некоторая надежда и что он пришлет больному порцию целебной наркотической микстуры и навестит его утром. После чего они с Барнабасом удалились, оставив мистера Джозефа и мистера Адамса наедине.

Адамс сообщил Джозефу, по какому случаю предпринял он свою поездку в Лондон: он решил издать три тома своих проповедей; к этому его поощрило, сказал он, объявление, сделанное недавно обществом книгопродавцев, которые предлагают купить любую рукопись по цене, устанавливаемой обеими сторонами; но, хотя он и предвкушал, что получит по этому случаю большие деньги, в которых его семья крайне нуждалась, он все же заявил, что не оставит Джозефа в таком положении; и, наконец, сказал, что в кармане у него девять шиллингов и три с половиной пенса и этой суммой Джозеф может располагать по своему усмотрению.

Доброта пастора Адамса вызвала слезы на глазах Джозефа; он сказал, что теперь у него появилась и вторая причина жаждать жизни: он хочет жить, чтобы выказать свою благодарность такому другу. Адамс тогда приободрил его: не надо, сказал он, падать духом; сразу видно, что врач просто невежда, да к тому же еще хочет стяжать себе славу исцелением тяжелого больного, хотя совершенно очевидно, что раны на голове у Джозефа отнюдь не опасны; он, пастор, убежден, что никакой лихорадки у Джозефа нет и через денек-другой ему можно будет снова пуститься в путь.

Эти слова влили в Джозефа жизнь; он сказал, что у него, правда, все тело болит от ушибов, но он не думает, чтобы какая-либо кость была у него сломана или что-нибудь внутри повреждено; вот только странно как-то посасывает под ложечкой, но он не знает: может быть, это происходит оттого, что он больше суток ничего не ел? На вопрос, есть ли у него желание подкрепиться, он ответил, что есть. Тогда пастор Адамс попросил его назвать, чего бы ему больше всего хотелось: может быть, яичка всмятку или куриного бульона? Джозеф ответил, что поел бы охотно и того и другого, но что больше всего его, пожалуй, тянет на кусок тушеной говядины с капустой.

Адамсу было приятно такое бесспорное подтверждение его мысли, что никакой лихорадки у больного нет, но все же он ему посоветовал ограничиться на этот вечер более легкой пищей. Итак, Джозеф поел не то кролика, не то дичи — мне так и не удалось с полной достоверностью выяснить, чего именно;

а затем по распоряжению миссис Тау-Вауз его перенесли на более удобную кровать и обрядили в одну из рубашек ее мужа.

Рано поутру Барнабас и врач пришли в гостиницу — посмотреть, как вора поведут к судье. Они всю ночь провели в прениях о том, какие можно принять меры, чтобы предъявить в качестве вещественной улики против него золотую монету: потому что они оба отнеслись к делу с чрезвычайным рвением, хотя ни тот, ни другой не был ни в малой мере заинтересован в преследовании преступника; ни одному из них он не нанес никакой личной обиды, и никогда за ними не замечалось столь сильной любви к ближним, чтобы она побудила одного из них безвозмездно прочитать проповедь, а другого — бесплатно отпустить больному лекарства хоть на один прием.

Чтобы помочь нашему читателю по возможности уяснить себе причину такого усердия, мы должны сообщить ему, что в том приходе, по несчастью, не имелось юриста; а посему между врачевателем духа и врачевателем тела шло постоянное соревнование в той области науки, в которой оба они, не будучи профессионалами, в равной мере притязали на большую осведомленность. Эти их споры велись с великим обоюдным презрением и чуть ли не делили на два лагеря весь приход: мистер Тау-Вауз и половина соседей склонялись на сторону врача, а миссис Тау-Вауз со второй половиной — на сторону пастора. Врач черпал свои познания из двух неоценимых источников, именуемых один «Карманным спутником адвоката», другой «Сводом законов» мистера Джекоба; Барнабас же всецело полагался на «Законоположения» Вуда. В данном случае, как это нередко бывало, два наших ученых мужа расходились в вопросе о достаточности улик: доктор держался того мнения, что присяга служанки и без предъявления золотой монеты поведет к осуждению арестованного; пастор же, è contra [1], totis viribus [2]. Стремление покичиться своей ученостью пред лицом судьи и всего прихода — вот единственная обнаруженная нами причина, почему оба они так заботились сейчас об общественной справедливости.

О Тщеславие! как мало признана сила твоя или как слабо распознается твое воздействие! Как своенравно обманываешь ты человечество под различными масками! Иногда ты прикидываешься состраданием, иногда — великодушием; более того, ты даже имеешь дерзость рядиться в те великолепные уборы, какие составляют принадлежность только добродетели героя. Ты, мерзостное, безобразное чудовище, поносимое священниками, презираемое философами и высмеянное поэтами! Найдется ли столь завзятый мерзавец, который открыто признался бы в знакомстве с тобой? А кто между тем не услаждается то-

---

[1] Наоборот *(итал.)*.
[2] Всеми силами *(лат.)*.

бою втайне? Да, у большинства людей вся жизнь наполнена тобою. Величайшие подлости ежедневно совершаются в угоду тебе; ты снисходишь порою до самого мелкого вора, но и на самого великого героя не боишься поднять свой взор. Твои ласки часто бывают единственной целью и единственной наградой разбоя на большой дороге или разграбления целой провинции. Чтобы насытить тебя, о бесстыдная тварь, мы пытаемся отнять у другого то, что нам и не нужно, или не выпустить из рук того, что нужно другому. Все наши страсти — твои рабы. Самая Скупость зачастую твоя прислужница, и даже Похоть — твоя сводня! Хвастливый забияка-Страх, как трус, пред тобой обращается в бегство, а Радость и Горе прячут головы в твоем присутствии.

Я знаю, ты подумаешь, что, хуля, я тебя улещаю и что только любовь к тебе вдохновила меня написать этот саркастический панегирик,— но ты обманулась, я не ставлю тебя ни в грош, и ничуть мне не будет обидно, если ты убедишь читателя расценить это отступление как чистейший вздор. Так узнай же, к стыду своему, что я отвел тебе здесь место не для чего иного, как с целью удлинить короткую главу; а засим я возвращаюсь к моему повествованию.

ГЛАВА XVI

Побег вора. Разочарование мистера Адамса. Прибытие двух весьма необычайных личностей и знакомство пастора Адамса с пастором Барнабасом

Когда Барнабас и врач вернулись, как мы сказали, в гостиницу с целью сопроводить вора к судье, их сильно огорчило известие о небольшом происшествии: это было не что иное, как исчезновение вора, который скромно удалился среди ночи, уклонившись от пышных церемоний и не пожелав, в отличие от коекого из больших людей, покупать известность ценою того, что на него станут указывать пальцем.

Накануне вечером, когда общество разошлось, вора поместили в пустой комнате и приставили к нему для охраны констебля и одного молодого паренька из числа тех, кто его поймал. К началу второй стражи как узник, так и его караульные стали жаловаться на жажду. В конце концов они согласились на том, что констебль останется на посту, а его сотоварищ наведается в погреб; в таком решении пареньку не мнилось никакой опасности, так как констебль был хорошо вооружен и мог к тому же легко призвать его на помощь, вздумай узник сделать хоть малейшую попытку вернуть себе свободу.

Едва паренек вышел из комнаты, как констеблю пришло в голову, что узник может наскочить на него врасплох и, таким

образом, не дав ему пустить в ход оружие — особливо же длинный жезл, на который он больше всего полагался,— уравнять шансы на победу в борьбе. Поэтому, чтобы предупредить подобную неприятность, он благоразумно выскользнул из комнаты и запер дверь, а сам стал на караул снаружи, с жезлом в руке, готовый сразить злосчастного узника, если тот в недобрый час задумает вырваться на волю.

Но человеческая жизнь, как было открыто кем-то из великих людей (я отнюдь не намерен приписать себе честь подобного открытия), весьма напоминает шахматную игру: ибо как там игрок, уделяя чрезмерное внимание укреплению одного своего фланга, иной раз оставляет неприкрытую лазейку на другом,— так оно приключается зачастую и в жизни; и так приключилось и в этом случае: ибо осторожный констебль, столь предусмотрительно завладев позицией у двери, забыл, на беду, про окно.

Вор, игравший против него, едва заметив эту лазейку, тотчас стал подбираться к ней, и, убедившись, что путь свободен, прихватил шапку паренька, вышел без церемонии на улицу и быстро зашагал своей дорогой.

Паренек, вернувшись с двойной кружкой крепкого пива, несколько удивился, найдя констебля по сю сторону двери; но еще более удивился он, когда дверь открыли и он увидел, что узник сбежал,— и понял каким путем! Он швырнул наземь кружку и, ничего не говоря констеблю, только выругавшись от души, проворно выскочил в окно и снова пустился в погоню за своею дичью: ему очень не хотелось терять награду, которую он уже считал обеспеченной.

Констебль в этом случае не остался вне подозрений: поговаривали, что, поскольку он не принимал участия в поимке вора, он не мог рассчитывать ни на какую часть награды, если бы тот был осужден; что у вора было в кармане несколько гиней; что едва ли констебль мог допустить такой недосмотр; что предлог, под которым он вышел из комнаты, был нелеп; что он всю жизнь держался принципа, согласно коему умный человек никогда не отказывается от денег, на каких бы условиях их ни предлагали; что на всех выборах он всегда продавал свой голос обеим сторонам, и так далее.

Но, невзирая на эти и многие другие утверждения, сам я в достаточной мере убежден в его невиновности, поскольку меня заверили в ней лица, получившие свои сведения из его собственных уст,— что, по мнению некоторых наших современников, есть лучшее и в сущности единственное доказательство.

Все семейство было теперь на ногах и вместе со многими посторонними собралось на кухне. Мистер Тау-Вауз был сильно смущен заявлением врача, что, по закону, хозяин гостиницы в ответе за побег вора,— так как побег совершился из его дома. Однако его несколько утешило мнение Барнабаса, что, поскольку побег совершился ночью, обвинение отпадает.

Миссис Тау-Вауз разразилась следующей речью:

— Честное слово, не было еще на свете такого дурака, как мой муж! Разве кто-нибудь другой оставил бы человека под охраной такого пьяного разини, такого болвана, как Том Сакбрайб * (так именовался констебль)? и если б можно было засудить его без вреда для его жены и детей, я была бы рада — пусть засудят! (Тут донесся звонок из комнаты Джозефа.) Эй, Бетти, Джон, слуги, где вас черти носят? Оглохли вы или совести у вас нет, что вы не можете получше поухаживать за больным? Узнайте, чего надо джентльмену. И что бы вам самому сходить к нему, мистер Тау-Вауз? Но вам, хоть помри человек, чувств у вас, что у чурбана! Проживи человек в вашем доме две недели, не платя ни пенни, вы бы ему никогда и не напомнили о том! Спросили бы, чего он хочет к завтраку — чаю или кофе.

— Хорошо, моя дорогая,— сказал Тау-Вауз.

Она отнеслась к доктору и к мистеру Барнабасу с вопросом, какой утренний напиток они предпочитают, и те ответили, что посидят у очага за кружкой сидра; оставим же их весело его распивать и вернемся к Джозефу.

Он проснулся чуть не на рассвете; но хотя его раны не грозили опасностью, избитое тело так ныло, что невозможно было и думать о том, чтобы теперь же пуститься в дорогу; поэтому мистер Адамс, чей капитал заметно убавился по оплате ужина и завтрака и не выдержал бы расходов еще одного дня, начал обдумывать, как бы его пополнить. Наконец, он вскричал, что «счастливо напал на верный способ, и хотя придется при этом повернуть вместе с Джозефом домой — но это не беда». Он вызвал Тау-Вауза, отвел его в другую комнату и сказал, что хотел бы занять у него три гинеи, под которые он даст ему щедрый залог. Тау-Вауз, ожидавший часов, или кольца, или чего-нибудь еще более ценного, отвечал, что, пожалуй, сможет его выручить. Тогда Адамс, указуя на свою седельную суму, с высокой торжественностью в голосе и взоре объявил, что здесь, в этой суме, лежат ни более и ни менее как девять рукописных томов проповедей * и стоят они сто фунтов так же верно, как шиллинг стоит двенадцать пенсов; и что один из томов он вверит Тау-Ваузу, не сомневаясь, конечно, что тот честно вернет залог, когда получит свои деньги: иначе он, пастор, окажется в слишком большом убытке, ибо каждый том должен ему принести свыше десяти фунтов, как его осведомило одно духовное лицо в их округе. «Потому что,— добавил он,— сам я никогда не имел дела с печатаньем и не беру на себя определять точную цену таким предметам».

Тау-Вауз, несколько смущенный этим залогом, сказал (не отступая далеко от истины), что он не судья в ценах на такой товар, а с деньгами у него сейчас, право, у самого туговато. Но все же, возразил Адамс, он ведь может дать взаймы три гинеи

под вещь, которая, несомненно, стоит никак не меньше десяти? Хозяин гостиницы возразил, что у него, пожалуй, и не найдется таких денег в доме, и к тому же ему сейчас самому нужны наличные. Он охотно верит, что книгам цена гораздо даже выше, и от всей души сожалеет, что ему это не подходит. Затем он крикнул: «Иду, сэр!» — хотя никто его не звал,— и сломя голову кинулся вниз по лестнице.

Бедный Адамс был крайне угнетен крушением своей надежды и не знал, какой бы еще попробовать способ. Он незамедлительно прибег к своей трубке, верному другу и утешителю во всех огорчениях, и, склонившись над перилами, предался раздумью, черпая бодрость и вдохновение в клубах табачного дыма.

На пасторе был ночной колпак, натянутый поверх парика, и короткое полукафтанье, не покрывавшее долгополой рясы; такая одежда в сочетании с несколько смешным складом лица придавала его фигуре вид, способный привлечь взоры тех, кто вообще-то не слишком склонен к наблюдению.

Пока он, стоя в такой позе, курил свою трубку, во двор гостиницы въехала карета цугом с многочисленной свитой. Из кареты вышел молодой человек со сворой гончих, а вслед за ним соскочил с козел другой молодой человек и пожал первому руку; тотчас же их обоих, с собаками вместе, мистер Тау-Вауз повел в комнаты; и пока они шли, между ними происходил нижеследующий быстрый и шутливый диалог:

— А вы у нас отменный кучер, Джек! — говорит тот, что вышел из кареты.— Едва не опрокинули нас у самых ворот!

— Чума на вас! — говорит кучер.— Если бы я свернул вам голову, это только избавило бы от такого труда кого-нибудь другого, но мне жалко было бы гончих.

— Ах, с.... сын! — отозвался первый.— Да если бы никто на свете не стрелял лучше вас, гончие были бы ни к чему.

— Провались я на этом месте! — говорит кучер.— Давайте буду вам стрелять на пари: пять гиней с выстрела.

— К черту! К дьяволу! — говорит первый.— Плачу пять гиней, если вы мне попадете в мягкую часть!

— По рукам! — говорит кучер.— Я вас обдеру, как вас не обдирала и Дженни Баунсер.

— Обдерите-ка вашу бабушку! — говорит первый.— Наш Тау-Вауз постоит перед вами мишенью за шиллинг с выстрела.

— Ну нет, я лучше знаю их честь,— вскричал Тау-Вауз,— я в жизни не видывал более меткого стрелка по куропаткам! Промахнуться, конечно, каждому случается; но если бы я стрелял хоть вполовину так хорошо, как их честь, я бы и думать не стал о лучшем доходе и жил бы тем, что мне давало бы ружье.

— Чума на вас! — сказал кучер.— Ваша голова того не стоит, сколько вы перестреляли дичи! Эх, вот у меня сука, Тау-

Вауз! Черт меня подери, если она хоть раз в жизни проморгала[1] птицу.

— А у меня щенок! — кричит второй джентльмен.— Ему еще нет и года, а на охоте он забьет вашу суку — хоть спорь на сто гиней!

— По рукам! — говорит кучер.— Только вы ведь скорей повеситесь, чем и впрямь пойдете на пари. Но все же,— вскричал он,— если вы намерены биться об заклад, я ставлю сотню на своего чернопегого против вашей белой суки! Идет?

— По рукам! — говорит другой.— И я ставлю еще сотню на своего Нахала против вашего Разгильдяя.

— Не пройдет! — кричит соскочивший с козел.— А вот поставить на Мисс Дженни против вашего Нахала я рискнул бы, или против Ганнибала.

— К дьяволу! — кричит вышедший из кареты.— Так я и принял любое пари, ждите! Предлагаю тысячу на Ганнибала против Разгильдяя, и если вы рискнете, я первый скажу «по рукам»!

Они уже дошли, и читатель будет очень рад оставить их и вернуться на кухню, где Барнабас, врач и некий акцизный чиновник покуривали свои трубки над сидром и куда явились теперь и слуги, сопровождавшие двух благородных джентльменов, которые только что у нас на глазах первыми оставили карету.

— Том,— кричит один из лакеев,— вон там пастор Адамс курит на галерее свою трубку!

— Да,— говорит Том,— я ему поклонился, и пастор поговорил со мной.

— Как, значит джентльмен — служитель церкви? — говорит Барнабас (когда мистер Адамс впервые приехал, ряса под его полукафтаньем была у него подобрана).

— Да, сэр,— ответил лакей,— и немного найдется таких, как он.

— Вот как! — сказал Барнабас.— Знал бы я раньше, я бы давно стал искать его общества; я всегда склонен выказать должное почтение к сану. Как вы скажете, доктор, что, если нам перейти в комнату и пригласить его выпить с нами стакан пунша?

Врач тотчас согласился; и когда пастор Адамс принимал приглашение, много любезных слов было высказано обоими служителями церкви, которые в один голос изъявили свое высокое уважение к сану. Не успели они пробыть вместе и несколько минут, как между ними завязалась беседа о малой десятине, продолжавшаяся добрый час; и за этот час ни врачу, ни акцизному не представилось случая ввернуть хоть слово.

---

[1] «Проморгать» птицу (to blink) — термин, употребляемый охотниками для обозначения того, что собака прошла мимо птицы, не сделав стойку. *(Прим. автора.)*

Затем предложено было перейти на общий разговор, и акцизный заговорил для начала о внешней политике; но некстати оброненное одним из собеседников слово повело к обсуждению того, сколь жестокую нужду терпят младшие служители церкви, и длительное это обсуждение завершилось тем, что были упомянуты девять томов проповедей.

Барнабас привел бедного Адамса в полное уныние: мы живем, сказал он, в такой испорченный век, что никто сейчас проповедей не читает.

— Подумайте только, мистер Адамс! Я и сам (так он сказал) хотел однажды издать том своих проповедей, и у меня был на них одобрительный отзыв двух или трех епископов; но как вы полагаете, что предложил мне за них книгопродавец?

— Да уж, верно, двенадцать гиней! — воскликнул Адамс.

— Даже двенадцати пенсов не предложил, вот как! — сказал Барнабас.— Да, этот скареда отказался дать мне в обмен хотя бы изданный им справочник к библии. В конце концов я предложил ему напечатать их даром, лишь бы книга вышла с посвящением тому самому джентльмену, который только что пожаловал сюда в собственной карете; и представьте себе, книгопродавец имел наглость отклонить мое предложение, и я, таким образом, потерял хороший приход, который впоследствии был отдан в обмен за лягавого щенка человеку, который... но я не хочу ничего говорить против лица, облеченного в сан. Так что вы понимаете, мистер Адамс, на что вы можете рассчитывать; потому что, если бы проповеди имели хождение, то я полагаю... не хочу хвалить себя, но, чтобы долго не распространяться, скажу: три епископа нашли, что это лучшие проповеди, какие только были написаны; но поистине проповедей напечатано весьма изрядное количество, и они еще не все раскуплены.

— Простите, сэр,— сказал Адамс,— как вы полагаете, сколько их напечатано?

— Сэр,— ответил Барнабас,— один книгопродавец говорил мне, что, по его счету, пять тысяч томов, не меньше.

— Пять тысяч! — вмешался врач.— О чем же они могут быть написаны? Помнится, когда я был мальчишкой, мне доводилось читать некоего Тиллотсона; и право, если бы человек осуществлял хоть половину того, что проповедуется хотя бы в одной из этих проповедей, он попал бы прямехонько в рай.

— Доктор! — вскричал Барнабас.— Вы богохульствуете, и я должен поставить это вам в укор. Как бы часто ни внушался человеку его долг, здесь повторение не может быть излишним. А что касается Тиллотсона, то он, конечно, хороший автор и превосходно излагает вещи, но — к чему сравнения? И другой человек может написать не хуже... Я думаю, иные из моих проповедей...— и тут он поднес свечу к своей трубке.

— Я думаю, что и среди моих найдутся такие,— воскликнул Адамс,— которые любой епископ признал бы не совсем недостойными издания; и мне говорили, что я могу выручить за них весьма изрядную (даже огромную!) сумму.

— Едва ли так,— ответил Барнабас,— однако если вы хотите получить за них малую толику денег, то, может быть, вам удастся их продать, предлагая их как «рукопись проповедей одного священнослужителя, недавно скончавшегося, доселе неопубликованных, и с полным ручательством за подлинность каждой». А знаете, мне пришла мысль: я буду вам очень обязан, если у вас найдется среди них надгробное слово и вы мне разрешите позаимствовать его у вас; мне сегодня предстоит говорить проповедь на похоронах, а я не набросал еще ни строчки, хотя мне обещана двойная плата.

Адамс отвечал, что такая речь у него только одна, но он боится, что она не подойдет Барнабасу, так как посвящена памяти некоего судьи, который проявлял необычайное усердие в охране нравственности своих ближних — настолько, что в приходе, где он жил, не осталось ни одного кабака и ни одной распутной женщины.

— Да,— сказал Барнабас,— это мне не совсем подойдет: покойный, чьи добродетели я должен буду славить в моей речи, был чрезмерно привержен к возлияниям и открыто держал любовницу. Пожалуй, мне лучше взять обычную проповедь и, положившись на память, ввернуть что-нибудь приятное о нем.

— Положитесь лучше на изобретательность,— сказал доктор,— память, чего доброго, только подведет вас: ни один человек на земле не припомнит о покойном ничего хорошего.

В беседе о такого рода высоких материях они осушили чашу пунша, заплатили по счету и разошлись: Адамс и врач пошли наверх к Джозефу; пастор Барнабас отправился славословить упомянутого выше покойника; акцизный же спустился в погреб — перемеривать бочки.

Джозеф был теперь готов приступить к бараньему филе и поджидал мистера Адамса, когда тот вошел к нему с доктором. Доктор, пощупав у больного пульс и осмотрев его раны, объявил, что находит значительное улучшение, которое он приписывает своей наркотической микстуре,— лекарству, коего целебные свойства были, по его словам, неоценимы. И воистину они были весьма велики, если Джозеф был обязан им в той мере, как это воображал врач,— ибо лишь те испарения, какие пропускала пробка, могли содействовать выздоровлению больного: микстура, как ее принесли, так и стояла, нетронутая, на окне.

Весь тот день и три следующих Джозеф провел со своим другом Адамсом; и за это время ничего примечательного не произошло, кроме того, что его силы быстро восстанавливались. Так как он обладал превосходной, здоровой кровью, раны его уже почти совсем зажили, а ушибы причиняли теперь так мало

беспокойства, что он убеждал Адамса отпустить его в путь; он говорил, что никогда не сможет достаточно отблагодарить пастора за все его милости, и просил, чтобы тот не задерживался больше и продолжал свое путешествие в Лондон.

Невзирая на явное, как он понимал, невежество Тау-Вауза и на зависть (так он рассудил) мистера Барнабаса, Адамс возлагал на свои проповеди большие надежды; поэтому, видя Джозефа почти здоровым, он сказал ему, что не станет возражать, если тот на другой день с утра двинется дальше в почтовой карете, так как он полагает, что после уплаты по счету у него останется еще достаточно, чтобы обеспечить ему проезд на один день, а там Джозефу уже можно будет пробираться дальше пешком или подъехать на какой-нибудь попутной телеге,— тем более, что в том городе, куда направляется почтовая карета, как раз открывается ярмарка и многие из его прихода потянутся туда. Сам же он, пожалуй, и впрямь поедет своею дорогой в столицу.

Они прогуливались по двору гостиницы, когда во двор въехал верхом жирный, гладкий, коротенький человечек и, спешившись, подошел прямо к Барнабасу, который сидел на скамье и курил свою трубку. Пастор и незнакомец очень любезно пожали друг другу руки и прошли в помещение.

Надвигался вечер, и Джозеф удалился в свою комнату, а добрый Адамс пошел его проводить и воспользовался этим случаем, чтобы прочитать юноше наставление — о милостях, оказанных ему господом за последнее время, и о том, что ему следует не только глубоко чувствовать это, но и выразить благодарность за них. Поэтому они оба преклонили колена и довольно много времени провели в благодарственной молитве.

Только они кончили, как вошла Бетти и передала мистеру Адамсу, что мистер Барнабас хочет поговорить с ним внизу о каком-то важном деле. Джозеф попросил, если разговор затянется надолго, дать ему знать о том, чтоб он мог во-время лечь в постель; мистер Адамс обещал, и на всякий случай они пожелали друг другу спокойной ночи.

ГЛАВА XVII

Приятный разговор между двумя пасторами и книгопродавцем, прерванный злосчастным происшествием, приключившимся в гостинице и вызвавшим не очень ласковый диалог между миссис Тау-Вауз и ее служанкой

Как только Адамс вошел в комнату, мистер Барнабас представил его незнакомцу, который был, как он сказал, книгопродавцем и мог не хуже всякого другого войти с ним в сношения

насчет его рукописей. Адамс, поклонившись книгопродавцу, ответил Барнабасу, что очень признателен ему и что это для него самое удобное: у него нет никаких других дел в столице, и он всем сердцем желал бы поехать обратно домой вместе с молодым человеком, который только что оправился после постигшего его несчастья. Потом он прищелкнул пальцами (как было у него в обычае) и в радостном волнении два-три раза пробежался по комнате. Далее, чтобы подогреть в книгопродавце желание покончить с делом как можно быстрее и дать ему за рукопись высшую цену, он заверил своих новых знакомых, что это для него чрезвычайно счастливая встреча: сейчас у него, как нарочно, крайняя нужда в деньгах, так как свою наличность он всю почти потратил, а в этой же гостинице у него оказался друг, который только что оправился от ран, нанесенных ему грабителями, и находится в самом бедственном положении.

— Так что,— сказал он,— для обеспечения моих и его нужд я не найду более счастливого средства, как безотлагательно заключить с вами сделку!

Когда он, наконец, уселся, книгопродавец начал такими словами:

— Сэр, я никоим образом не отказываюсь поинтересоваться тем, что мне рекомендует мой друг, но проповеди — это гиблый товар. Рынок так ими забит, что я не хочу иметь с ними дела,— если только они не выпускаются в свет под именем Уайтфильда, или Уэсли *, или другого столь же великого человека — епископа, например, или кого-нибудь в этом роде; или пусть это будет проповедь, сказанная на тридцатое января *; или чтоб мы могли проставить на титульном листе: «Печатается по настоятельной просьбе паствы» или, скажем, прихожан; но, право, от рядовых проповедей — извините, прошу меня уволить! Тем более сейчас, когда у меня предостаточно товара на руках. Однакоже, сэр, так как мне о них замолвил слово мистер Барнабас, я готов, если вам будет угодно, захватить с собою вашу рукопись в город и прислать вам мой отзыв о ней в самом недалеком времени.

— О,— сказал Адамс,— если хотите, я вам прочитаю две-три речи для образца.

Но Барнабас, которому проповеди надоели не меньше, чем лавочнику фиги, поспешил отклонить это предложение и посоветовал Адамсу отдать свои проповеди в руки книгопродавца; пусть Адамс оставит свой адрес, сказал он, и ему нечего беспокоиться — ответ придет незамедлительно. И, конечно, добавил он, можно без тени опасения доверить их книгопродавцу.

— О да,— сказал книгопродавец,— будь это даже пьеса, которая прошла на сцене двадцать вечеров кряду, уверяю вас, она была бы в сохранности.

Последние слова никак не пришлись Адамсу по вкусу; ему,

сказал он, прискорбно слышать, что проповеди приравнивают к пьесам.

— А я и не приравниваю, боже упаси! — вскричал книгопродавец,— хотя, боюсь, цензура скоро приведет их к тому же уровню; впрочем, недавно, я слышал, за одну пьесу уплачено было сто гиней.

— Тем позорнее для тех, кто заплатил! — вскричал Барнабас.

— Почему? — сказал книгопродавец.— Они на ней выручили не одну сотню.

— Но разве безразлично,— молвил Адамс,— посредничать ли при подании человечеству добрых поучений или дурных? Разве честный человек не согласится скорей потерять свои деньги на одном, чем заработать на другом?

— Если вы сыщете таких людей, я им не помеха,— отозвался книгопродавец,— но я так сужу: тем лицам, которые зарабатывают произнесением проповедей, им-то как раз и пристало бы нести убытки от издания оных; а для меня — какая книга лучше всего раскупается, та и есть самая лучшая; я вовсе не враг проповедей,— но только они никак не раскупаются, проповедь Уайтфильда я так же рад издать, как любой какой-нибудь фарс.

— Кто печатает такую еретическую мерзость, того надо повесить,— говорит Барнабас.— Сэр,— добавил он, обратившись к Адамсу,— писания этого человека (не знаю, попадались ли они вам на глаза) направлены против духовенства. Он хотел бы низвести нас к образу жизни первых веков христианства, да и народу внушает ложную мысль, что священник должен непрестанно проповедовать и молиться. Он притязает на буквальное якобы понимание священного писания и хочет убедить человечество, что бедность и смирение, предписанные церкви в ее младенчестве и являвшиеся только временным обличием, присвоенным ею в условиях преследования, якобы должны сохраняться и в ее цветущем, упрочившемся состоянии. Сэр, доктрины Толанда, Вулстона * и прочих вольнодумцев и вполовину не так вредоносны, как то, что проповедует этот человек и его последователи.

— Сэр,— отвечал Адамс,— если бы мистер Уайтфильд не шел в своей доктрине дальше того, что вами упомянуто, я бы оставался, как и был когда-то, его доброжелателем. Я и сам такой же, как и он, ярый враг блеска и пышности духовенства. Равно как и он, под процветанием церкви я отнюдь не разумею дворцы, кареты, облачения, обстановку, дорогие яства и огромные богатства ее служителей. Это, несомненно, предметы слишком земные, и не подобают они слугам того, кто учил, что царствие его не от мира сего; но когда Уайтфильд призывает себе на помощь исступление и бессмыслицу и создает омерзительную доктрину, по которой вера противопоставляется добрым

делам,— тут я ему больше не друг; ибо эта доктрина поистине измышлена в аду, и можно думать, что только диавол посмел бы ее проповедовать. Можно ли грубее оскорбить величие божье, чем вообразив, будто всеведущий господь скажет на том свете доброму и праведному· «Невзирая на чистоту твоей жизни, невзирая на то, что ты шел по земле, неизменно держась правил благости и добродетели,— все же, коль скоро ты не всегда веровал истинно ортодоксальным образом, недостаточность веры твоей ведет к твоему осуждению!» Или, с другой стороны, может ли какая-нибудь доктрина иметь более гибельное влияние на общество, чем убеждение, что ортодоксальность веры послужит добрым оправданием для злодея в судный день? «Господи,— скажет он,— я никогда не следовал твоим заповедям, но не наказывай меня, потому что я в них верую».

— Полагаю, сэр,— сказал книгопродавец,— ваши проповеди иного рода?

— Да, сэр,— ответил Адамс,— почти каждая их страница, скажу с благодарностью господу, заключает в себе обратное,— или я лгал бы против собственного мнения, которое всегда состояло в том, что добрый и праведный турок или язычник угоднее взору создателя, чем злой и порочный христианин, хотя бы вера его была столь же безупречно ортодоксальна, как у самого святого Павла.

— Желаю вам успеха,— говорит книгопродавец,— но прошу меня уволить, потому что у меня сейчас так много товара на руках... и, право, я боюсь, среди торговцев вы не легко найдете охотника на издание книги, которая будет, несомненно, осуждена духовенством.

— Боже нас избави,— говорит Адамс,— от распространения книг, которые духовенство может осудить; но если вы под духовенством разумеете небольшую кучку лиц, отколовшихся от всех и мечтающих узаконить какие-то свои излюбленные схемы, принося им в жертву свободу человечества и самую сущность религии,— то, право, не во власти этих людей опорочить всякое неугодное им произведение; свидетельством тому превосходная книга, называющаяся «Простой Отчет о Природе и Цели Причастия» *; книга, написанная (если позволительно мне так выразиться) пером ангела и стремящаяся восстановить истинный смысл христианства и этого священного таинства, ибо что же может в большей степени служить благородным целям религии, нежели частые радостные собрания членов общины, где они в присутствии друг друга и в служении верховному существу дают обещание быть добрыми, дружественными и доброжелательными друг к другу? И вот на эту превосходную книгу ополчился кое-кто, но безуспешно.

При этих его словах Барнабас принялся звонить изо всей силы, и когда на звонок явился слуга, он велел ему подать немедленно счет: ибо он сидит здесь, как он понимает, «в обще-

стве самого сатаны; и если останется здесь еще на несколько минут, то услышит, чего доброго, восславление Алкорана, Левиафана * или Вулстона». Адамс тогда спросил своего собеседника: раз его так взволновало упоминание книги, на которую он, Адамс, сослался, никак не думая, что может этим кого-нибудь оскорбить,— не будет ли тот любезен изложить свои возражения против нее, и он тогда попробует на них ответить.

— Мне? Излагать возражения?! — сказал Барнабас.— Я не прочел ни полслова ни в одной такой вредной книге; поверьте, я их в жизни своей никогда и не видел.

Адамс хотел было сказать слово, но тут в гостинице поднялся безобразный шум, в котором слились одновременно звучавшие голоса миссис Тау-Вауз, мистера Тау-Вауз и Бетти; однако голос миссис Тау-Вауз, как виолончель в оркестре, был ясно и отчетливо различим среди прочих и произносил следующие слова:

— Ах ты чертов негодяй, и этим ты мне платишь за все мои заботы о тебе и о твоей семье? Это награда моей добродетели? Так-то ты обходишься с женой, которая принесла тебе состояние и предпочла стольким женихам не в пример лучше тебя! Замарать мою постель, мою собственную постель с моей же служанкой! Да я ее измолочу, мерзавку, я ей вырву ее гнусные глазища! Жалкий пес, на кого позарился — на подлую девку! Будь она благородная, как я, тут еще можно было б извинить; но нищая, наглая, грязная служанка! Вон из моего дома, шлюха!

И к этому она добавила еще другое наименование, которым мы лучше не будем оскорблять бумагу. Это было двусложное слово, начинающееся на букву «с» и означающее в точности то же, как если бы сказано было: «собака-самка»,— каковым термином мы и будем пользоваться в этом случае, чтоб никого не задеть,— хотя на самом деле и хозяйка и служанка применяли вышеупомянутое слово «с...» — слово, крайне ненавистное женщинам низшего сословия. Бетти до этой минуты все сносила терпеливо и отвечала только жалобными воплями, но последнее наименование задело ее за живое.

— Я такая же женщина, как и вы,— заорала она,— а вовсе не собака-самка; а что я пошалила немного, так не я первая, и если я грешна, как все на свете,— голосила она, рыдая,— так это не причина, чтоб вы не звали меня моим именем; иная и выше меня, а ведет себя ни-ниже!

— Ах ты дрянь! — кричит миссис Тау-Вауз.— У тебя еще хватает бесстыдства мне отвечать? Точно я не поймала тебя на месте, подлая ты...

И тут она опять повторила страшное слово, отвратительное для женского слуха.

— Я не стерплю, чтоб меня так звали,— сказала Бетти.— Если я поступила дурно, я сама за это отвечу на том свете; но

я не сотворила ничего противоестественного, и я сию же минуту ухожу из вашего дома, потому что ни одной хозяйке в Англии я не позволю называть меня собакой-самкой.

Тут миссис Тау-Вауз вооружилась вертелом; но в исполнении страшного намерения ей помешал мистер Адамс, перехватив ее оружие такой сильной рукой, какою не зазорно было б обладать и Геркулесу. Мистер Тау-Вауз, видя, что пойман, как говорится у наших юристов, с поличным и сказать ему в свою защиту нечего, благоразумно удалился; Бетти же отдалась под покровительство конюха, который, хоть и едва ли был обрадован случившимся, все же представлялся ей более кротким зверем, чем ее хозяйка.

Миссис Тау-Вауз, охлажденная вмешательством мистера Адамса и исчезновением врага, начала понемногу успокаиваться и, наконец, вернулась к своей обычной ясности духа, в каковой мы и оставим ее, чтобы открыть перед читателем ступени, приведшие к одной из тех катастроф, которые хоть и являются в наши дни довольно обыденными и, может быть, даже довольно забавными, однакоже нередко оказываются роковыми для покоя и благополучия многих семей и составляют предмет не одной трагедии как в жизни, так и на сцене.

ГЛАВА XVIII

История горничной Бетти и объяснение причин, коими вызвана была бурная сцена в предыдущей главе

Бетти, виновница всего этого переполоха, обладала многими хорошими качествами. Она была не чужда доброты, великодушия и сострадания; но, к несчастью, ее организм составляли те горячие ингредиенции *, которые чистота придворного быта или женского монастыря могла бы, конечно, обуздать, но на которые должно было оказать обратное действие щекотливое положение гостиничной служанки, ежедневно подвергающейся ухаживанию поклонников всех мастей: опасному вниманию изящных господ офицеров, коим иногда приходится простаивать в гостинице год и больше, а пуще всего домогательствам лакеев, конюхов и кучеров, причем все эти искатели пускают в ход против нее целую артиллерию поцелуев, лести, подкупа и все прочие виды оружия, какие только можно найти в арсенале любви.

Бетти, которой не было еще двадцати двух лет, прожила в таком положении три года, довольно успешно лавируя среди опасностей. Первым, кто покорил ее сердце, был некий прапорщик пехоты; он, нужно сознаться, сумел зажечь в ней пламя, для охлаждения которого потребовались заботы врача.

Пока она пылала к нему, многие другие пылали к ней. Офицеры армии, молодые джентльмены, проезжавшие по западному краю, безобидные сквайры и кое-кто из более важных особ были воспламенены ее чарами.

Вполне оправившись, наконец, от последствий своей первой несчастной страсти, она, казалось, дала обет хранить нерушимое целомудрие. Долго была она глуха ко всем воздыханиям своих поклонников, пока в один прекрасный день, на ярмарке в соседнем городке, красноречие конюха Джона, подкрепленное новой соломенной шляпкой и пинтой вина, не одержало над нею вторую победу.

В этом случае, однако, она не чувствовала того пламени, которое в ней зажигала ее прежняя любовь, и не испытала тех злых последствий, каких благоразумные молодые женщины справедливо опасаются от чрезмерной уступчивости к домогательствам своих обожателей. Объяснить это можно отчасти и тем, что она не всегда была верна Джону и наряду с ним оделяла своими милостями также Тома Хвипвела — кучера почтовой кареты, а время от времени и какого-нибудь красивого молодого путешественника.

Мистер Тау-Вауз с некоторых пор стал поглядывать томно-ласковыми глазами на эту молодую девицу. Он пользовался каждой возможностью шепнуть ей нежное слово, схватить ее за руку, а иной раз и поцеловать ее в губки, потому что страсть его к миссис Тау-Вауз значительно охладела; совсем как бывает с водою: прегради ее обычное русло в одном месте, и она, естественно, ищет пробиться в другом. Миссис Тау-Вауз, как думают, стала замечать охлаждение мужа, и это, вероятно, не слишком-то много прибавило к природной кротости ее нрава: ибо она хоть и верна была супругу, как солнцу солнечные часы, но еще сильнее, чем те, жаждала, чтобы лучи падали на нее, так как более была приспособлена чувствовать их тепло.

Когда появился в гостинице Джозеф, Бетти с первого же часа возымела к нему чрезвычайную склонность, которая проявлялась все более откровенно по мере того, как больному становилось лучше,— пока, наконец, в тот роковой вечер, когда ее послали согреть ему постель, страсть не возросла в ней до такой степени и не восторжествовала так полно над скромностью и над рассудком, что после многих бесплодных намеков и хитрых подсказок девица отшвырнула грелку и, пылко обняв Джозефа, клятвенно объявила его самым красивым мужчиной, какого она видела в жизни.

Джозеф в великом смущении отпрянул от нее и сказал, что ему прискорбно видеть, как молодая женщина отбрасывает всякую мысль о скромности; но Бетти зашла слишком далеко для отступления и повела себя далее настолько непристойно, что Джозеф был вынужден, вопреки своему мягкому нраву,

применить к ней некоторое насилие: схватив в охапку, он выбросил ее из комнаты и запер дверь.

Как должен радоваться мужчина, что его целомудрие всегда в его собственной власти; что если он обладает достаточной силой духа, то и телесная сила его всегда может оказать ему защиту и его нельзя, как бедную слабую женщину, обесчестить против его воли!

Бетти пришла в бешенство от своей неудачи. Ярость и сладкое желание, как две веревки, дергали ее сердце в разные стороны: то ей хотелось вонзить в Джозефа нож, то стиснуть его в объятиях и осыпать поцелуями; но последнее желание преобладало. Затем она стала подумывать, не выместить ли его отказ на себе самой. Но когда она предалась этим помышлениям, смерть, по счастью, представилась ей в столь многих образах сразу — включая омут, яд, веревку и так далее,— что рассеянный ум ее не мог остановиться ни на одном. В этом смятении духа ей вдруг пришло на память, что она еще не постелила постель своему хозяину; вот она и направилась прямо в его спальню, где он случайно был занят в это время у своей конторки. Увидав его, она хотела было тотчас удалиться, но он ее подозвал и, взяв за руку, стиснул ее пальчики так нежно и в то же время стал шептать ей на ухо так много приятных слов, а потом так донял ее поцелуями, что побежденная красавица, чьи страсти были уже пробуждены и не были притом столь капризны, чтобы из всех мужчин только один мог их унять,— хотя, быть может, она и предпочла бы этого одного,— побежденная красавица, говорю я, спокойно подчинилась воле хозяина, который как раз достиг завершения своего блаженства, когда миссис Тау-Вауз неожиданно вошла в комнату и произвела то смятение, которое мы уже видели и которому нам больше нет необходимости уделять внимания: без всякого нашего содействия и наводящих намеков каждый читатель, не лишенный наклонности к умозрению или жизненного опыта, хотя бы он и не был сам женат, легко сообразит, что оно закончилось увольнением Бетти и смирением мистера Тау-Вауза,— причем ему пришлось со своей стороны кое-что сделать в знак благодарности доброй супруге, согласившейся его простить, и дать множество искренних обещаний, что такой грех больше никогда не повторится,— и, наконец, его готовностью до конца своих дней претерпевать напоминание о своих проступках раза два в сутки, как некую епитимью.

Конец первой книги

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Об искусстве разделения у писателей

Во всех видах деятельности — от самых высоких до самых низких, от профессии премьер-министра до литературы — есть свои тайны и секреты, которые редко открываются кому-либо, кроме как представителям того же ремесла. Среди средств, какие применяем мы, джентльмены пера, отнюдь немаловажным является прием деления наших произведений на книги и главы. И вот, не будучи достаточно знакомы с этой тайной, рядовые читатели воображают, что этим приемом членения мы пользуемся только для того, чтобы раздуть наши произведения до более внушительного объема. И, следовательно, что те места на бумаге, которые идут у нас под обозначение книг и глав, применяются, как та же парусина, тесьма и китовый ус в счете портного: то есть как допускаемая для округления суммы надбавка, которой отводится место у нас — в конце нашей первой страницы, у него — на последней.

Но в действительности дело обстоит не так: и в этом случае, как и во всех других, мы преследуем выгоду читателя, а не нашу; в самом деле, немало удобств возникает для него благодаря этому методу: во-первых, небольшие промежутки между нашими главами могут рассматриваться как заезжий двор или место привала, где он может остановиться и выпить стаканчик или освежиться чем-нибудь еще по своему желанию. Наши благородные читатели, может быть, и не в состоянии будут совершить свой путь иначе, как по одному такому переходу в день. Что же касается пустых страниц, помещаемых между нашими «книгами», то в них следует видеть те стоянки, на которых в долгом странствии путешественник задерживается на некоторое время, чтобы отдохнуть и окинуть мысленным взором все то, что он видел до сих пор в пути. Такое обозревание я беру на себя смелость порекомендовать читателю; какой бы живой

восприимчивостью ни отличался он, я бы не советовал ему путешествовать по этим страницам слишком быстро: в этом случае, пожалуй, могут ускользнуть от его взора иные любопытные произведения природы, которые были бы примечены более медлительным и вдумчивым читателем. Книга без таких мест отдохновения напоминает простор пустынь или морей, утомляющий глаз и гнетущий душу, когда вступаешь в него.

Во-вторых, что представляет собой заголовок, придаваемый каждой главе, как не надпись над воротами гостиницы (продолжим ту же метафору), сообщающую читателю, каких развлечений ему ожидать; так что он может, если они ему не по вкусу, ехать, не задерживаясь, дальше: ибо в жизнеописании — поскольку мы, в отличие от других историографов, не связаны здесь точным взаимным сцеплением событий — одна-другая глава (например, та, которую я пишу сейчас) могут быть зачастую пропущены без всякого ущерба для целого. И я в этих надписях старался быть по возможности верен истине — не подражая прославленному Монтеню *, который обещает вам одно, а дает другое; или иным авторам титульных листов, которые, обещая очень много, на деле не предлагают ничего.

Помимо этих явных преимуществ, такой прием членения предоставляет читателю еще ряд других; хотя, быть может, иные из них слишком таинственны и не могут быть поняты сразу людьми, не посвященными в науку писания. Упомянем поэтому только одно, наиболее явное: наличие глав сохраняет красоту книги, избавляет от необходимости загибать страницы, что при других условиях нередко делают те читатели, которые (хотя читают они с большой пользой и успехом) склонны бывают, вернувшись к своему занятию после получасового перерыва, забывать, на чем они остановились.

Это членение освящено древней традицией. Гомер не только разделил каждое из своих великих творений на двадцать четыре книги (может быть, во внимание к двадцати четырем буквам греческого алфавита, перед которыми он чувствовал себя столь обязанным), но, по мнению некоторых весьма проницательных критиков, еще и торговал ими в розницу, выпуская сразу только по одной книге (возможно, по подписке). Он и был первым, кто додумался до искусства, надолго потом забытого,— издавать книги выпусками; искусства, доведенного в наши дни до такого совершенства, что даже словари расчленяются и предлагаются публике вразбивку. Некий книготорговец («в целях поощрения науки и ради удобства публики») умудрился даже продать один разбитый таким образом словарь всего на пятнадцать шиллингов дороже, чем он стоил бы в целостном виде.

Вергилий дал нам свою поэму в двенадцати книгах, что свидетельствует о его скромности: ибо этим он, несомненно, хотел указать, что притязает не более как на половинную

заслугу против великого грека *; из тех же побуждений наш Мильтон не пошел сперва дальше десяти; но потом, прислушавшись к похвалам друзей, он возгордился и поставил себя на один уровень с римским поэтом *.

Не буду, однакоже, слишком углубляться в сей предмет, как это делают некоторые весьма ученые критики, которые с бесконечным трудолюбием и проницательной остротой открыли нам, каким по счету книгам приличествуют прикрасы, а каким только простота, в особенности в отношении метафор: последние, насколько я помню, по всеобщему признанию приемлемы для любой книги, кроме первой.

Я закончу эту главу следующим замечанием: каждому автору следует расчленять свою книгу, как расчленяет мясную тушу мясник, потому что это идет на пользу и читателю и повару. А теперь, удовлетворив кое в чем самого себя, я постараюсь удовлетворить любопытство моего читателя, которому, конечно, не терпится узнать, что он найдет в дальнейших главах этой книги.

ГЛАВА II

Поразительный пример забывчивости мистера Адамса и ее печальные последствия для Джозефа

Мистер Адамс и Джозеф уже готовились разъехаться в разные стороны, когда некое обстоятельство побудило доброго пастора повернуть обратно вместе с другом,— на что его не могли подвигнуть увещания Тау-Вауза, Барнабаса и книгопродавца: а именно, выяснилось, что те самые проповеди, для издания которых пастор отправился в Лондон, были — о добрый мой читатель! — оставлены им дома; вместо них в его седельной суме оказалось не что иное, как три сорочки, пара башмаков и еще кое-какие принадлежности, которыми миссис Адамс, полагая, что сорочки понадобятся ее мужу в путешествии больше, чем проповеди, заботливо снабдила его на дорогу.

Это открытие было сделано благодаря счастливому присутствию Джозефа при разборке седельного вьюка: Джозеф слышал от друга, что тот везет с собой девять томов проповедей; и не принадлежа к тому разряду философов, по мнению которых вся материя в мире может легко вместиться в скорлупу ореха, и видя, что для рукописей нет месте во вьюке, куда, по словам пастора, они были уложены, юноша в недоумении воскликнул:

— Господи, сэр, а где же ваши проповеди?

Пастор ответил:

— Здесь, здесь, дитя мое; они здесь, под моими сорочками.

Но случилось так, что в этот день была им вынута последняя сорочка и вьюк был явно пуст.

— Право, сэр,— сказал Джозеф,— в мешках ничего нет.

Мистер Адамс кинулся к вьюку и, выразив некоторое удивление, воскликнул:

— Гм! Что за притча! В самом деле, их тут нет. Так! Они, конечно, остались дома.

Джозеф понимал, как неприятно было для его друга это разочарование, и сильно огорчился; он уговаривал пастора продолжать поездку, обещая сам вернуться к нему со всею поспешностью, прихватив его книги.

— Нет, благодарю тебя, дитя мое,— ответил Адамс,— не нужно. Чего я достигну, проживая без дела в столице, коль скоро не будет при мне моих проповедей, которые являются, ut ita dicam [1], единственным поводом, aitia monotate [2] для моего паломничества? Нет, дитя, раз уж так выпало мне, я решил вернуться вместе с тобою к моей пастве — к чему меня с достаточной силой влечет и желание сердца. Может быть, это разочарование ниспослано мне ради моего же блага.

В заключение он добавил стих из Феокрита *, означавший всего лишь то, что «иногда идет дождь, а иногда светит солнце».

Джозеф поклонился в знак повиновения и благодарности за выраженное пастором желание сопровождать его в пути; и вот потребован был счет, оказавшийся по рассмотрении на один шиллинг ниже той суммы, какую имел в своем кармане мистер Адамс. Читатель, верно, удивляется, как мог он раздобыть достаточно денег на столько дней; чтобы разрешить недоумение, не будет излишним сообщить, что пастор занял гинею у одного из слуг при карете, который был когда-то его прихожанином и хозяин которого, владелец кареты, проживал о ту пору в трех милях от его прихода; мистер Адамс пользовался у всех столь бесспорным доверием, что даже мистер Питер, управляющий леди Буби, одолжил бы ему гинею под самое скромное обеспечение.

Мистер Адамс расплатился, и они уже тронулись было в путь вдвоем, договорившись путешествовать по способу «проедешь — привяжешь», который очень принят у путешественников, располагающих одною лошадью на двоих. Делается это так: два путешественника трогаются в путь одновременно, один верхом, другой пешком; и так как верховой по большей части обгоняет пешего, то установился обычай, что, проехав некоторое условленное расстояние, он должен спешиться, привязать лошадь к воротам, дереву, столбу или к чему-нибудь еще и идти дальше пешком; второй, поровнявшись с лошадью, отвязывает

---

[1] Так сказать *(лат.)*.

[2] Причина единственнейшая *(греч.)*.

ее, садится в седло и скачет вперед, пока, обогнав спутника, не достигает в свою очередь места, где должен спешиться и привязать коня. Такова эта система, бывшая весьма в ходу у наших мудрых предков, не забывавших, что у коня есть, кроме ног, еще и рот и что они могут пользоваться первыми только при условии, что самому коню предоставляется возможность пользоваться вторым. Эта система применялась в те годы, когда супруга какого-нибудь члена парламента разъезжала не в карете цугом, а на седельной подушке, за спиной у мужа; и важный адвокат не почитал для себя унизительным трусить в Вестминстер в мягком седле, в то время как его писец, примостившись позади него, болтал в воздухе ногами.

Адамс, настояв на том, чтобы Джозеф начал свой путь в седле, уже несколько минут шагал по дороге. Джозеф только вдевал ногу в стремя, когда конюх предъявил ему счет за кошт коня во время его пребывания в гостинице. Джозеф сказал, что мистер Адамс за все уплатил; но когда об этом доложили мистеру Тау-Ваузу, он разрешил дело в пользу конюха — и по всей справедливости: ибо это был новый пример забывчивости пастора Адамса, происходившей у него не от недостатка памяти, а от поспешности, с какою он постоянно пускался в хлопоты о других.

Джозеф очутился перед задачей, крайне смутившей его. Сумма, причитавшаяся за кошт коня, составляла двенадцать шиллингов (Адамс взял коня напрокат у своего причетника и поэтому распорядился, чтобы его кормили как нельзя лучше), а в кармане было у него наличными шесть пенсов (Адамс поделился с ним своим последним шиллингом). И вот, хоть и есть на свете изобретательные личности, которые умудряются оплачивать двенадцать шиллингов шестью пенсами, Джозеф был не из их числа. Он никогда в своей жизни не делал долгов и, следовательно, не был искушен в умении ловко выпутываться из них. Тау-Вауз склонялся поверить ему до другого раза, и миссис Тау-Вауз, пожалуй, дала бы на то свое согласие (ибо красота Джозефа произвела некоторое впечатление даже на тот кремень, который эта добрая женщина носила в груди под видом сердца). Так что, по всей вероятности, Джозефа отпустили бы с миром, не случись ему, когда он честно показывал пустоту своих карманов, вытянуть ту золотую монетку, которая уже упоминалась нами раньше. При виде ее у миссис Тау-Вауз увлажнились глаза; она сказала Джозефу, что не понимает, как это может быть, чтобы человек был не при деньгах и в то же время имел в кармане золото. Джозеф ответил, что он чрезвычайно ценит эту маленькую золотую монетку и не расстанется с нею за богатства, во сто крат превышающие состояние самого крупного владетеля в графстве.

— Хорошее дело,— сказала миссис Тау-Вауз,— залезать в долги, а потом отказываться расстаться с вашими деньгами, по-

тому что сни-де вам дороги! Я никогда не слышала, чтоб золотая монета стоила больше, чем столько шиллингов, на сколько ее можно разменять.

— Ни ради спасения жизни своей от голодной смерти, ни ради выкупа ее от разбойника не расстался бы я с этой дорогой монеткой,— ответствовал Джозеф.

— Что? — говорит миссис Тау-Вауз.— Не иначе как эту монету вам дала какая-нибудь дрянная потаскушка, какая-нибудь девка, да! Будь она подарком от добродетельной женщины, вы бы ею так не дорожили! Мой муж будет дурак дураком, если выпустит лошадь из рук, не получив по счету.

— Нет, нет, конечно, я не могу выпустить лошадь из рук, пока мне не отдадут мои деньги! — вскричал Тау-Вауз.

Решение это было горячо одобрено случившимся во дворе юристом, объявившим, что мистер Тау-Вауз, совершив задержание коня, будет прав перед законом.

Итак, поскольку мы в настоящее время не можем вызволить мистера Джозефа из гостиницы, мы оставим его там и поведем нашего читателя вслед за пастором Адамсом, который, пребывая в полном душевном покое, углубился в раздумье над одним фрагментом Эсхила *, занимавшим его полных три мили пути, так что он ни разу не помыслил о своем спутнике.

Наконец, досучив нить своих размышлений и находясь в тот час на вершине холма, он кинул взгляд назад и подивился, что Джозефа не видно. Так как пастор расстался с юношей, когда тот собирался сесть в седло, он не мог опасаться, что произошел какой-либо подвох, или заподозрить, что спутник его сбился с дороги, такой простой и широкой; одна лишь вероятная причина представилась Адамсу: что Джозеф повстречал какого-нибудь знакомого, который и подбил его задержаться в пути для беседы.

Поэтому он решил идти потихоньку вперед, не сомневаясь, что сейчас его догонят, и вскоре дошел до большой лужи, занимавшей всю дорогу, так что не виделось другого способа преодолеть ее, как пуститься вброд,— что он и предпринял, погрузившись в воду чуть не по пояс; но только он добрался до того края, как увидел, что, взгляни он раньше за изгородь, он нашел бы тропинку, по которой обошел бы воду, не замочив и подметок.

Удивление, что Джозеф все не едет, перешло в тревогу; пастор начал опасаться неведомо чего; и, придя к решению не двигаться дальше, а если спутник не догонит его вскорости, то повернуть назад, он захотел отыскать какой-нибудь дом или заведение, где бы можно было просушить одежду и подкрепиться пинтой пива; но ничего подходящего не увидав (по той только причине, что не глянул на сто ярдов вперед), он сел у дороги и извлек своего Эсхила.

Мимо проходил какой-то парень, и Адамс спросил, не укажет

ли он ему, где тут будет кабак. Парень сам только что вышел оттуда и знал, что и дом и вывеска на виду; он подумал, что над ним насмехаются, и, будучи угрюмого нрава, предложил пастору «держать нос по ветру и провалиться к чертям». Адамс сказал ему, что он «дерзкий нахал»,— на что парень круто обернулся, но, увидев, что Адамс сжал кулак, почел за благо идти дальше своей дорогой, не обращая больше на него внимания.

Следом за ним показался на дороге всадник и на тот же вопрос ответил:

— Да рядом, друг мой, рукой подать; он у вас перед глазами, неужели не видите?

Адамс поднял глаза, вскричал:

— Воистину так! Вот он... — и, поблагодарив учтивого человека, направился прямо в кабак.

ГЛАВА III

Мнение двух законоведов об одном и том же джентльмене и допрос, устроенный Адамсом хозяину относительно его веры

Он только вошел в дом, потребовал пинту эля и уселся, когда у крыльца остановились два всадника и, привязав своих коней к перилам, спешились. Они сказали, что надвигается страшный ливень, который решили здесь переждать, и прошли вдвоем в соседнюю комнату, не замечая мистера Адамса.

Один из них сразу же спросил другого, видел ли он когда-либо более забавное происшествие? На что другой сказал, что он сомневается, мог ли, по закону, хозяин задерживать коня за овес и сено. Но первый ответил:

— Несомненно мог; суд в этом случае решил бы в его пользу. Мне известны такие прецеденты.

Адамсу, хоть он и склонен был, как вправе заподозрить читатель, к забывчивости, всегда довольно было намека, чтобы он все припомнил; и, подслушав этот разговор, он тут же сказал себе, что речь, очевидно, идет о его собственной лошади и что он забыл уплатить за ее прокорм,— в чем он и удостоверился, когда расспросил джентльменов; и те еще добавили, что лошадке теперь, по всей видимости, предоставят больше покоя, чем пищи, если никто за нее не уплатит.

Бедный Адамс решил сейчас же вернуться в гостиницу, хотя не лучше Джозефа знал, как вызволить своего коня; однако пастора убедили переждать под кровом дождь, ливший теперь вовсю.

И вот путешественники принялись втроем за кувшин доброго вина. Адамс по дороге обратил внимание на помещичий дом,

и когда он теперь спросил, кому этот дом принадлежит, то не успел один из всадников назвать имя владельца, как другой начал того честить самыми отборными ругательствами. Едва ли найдется в английском языке хоть одно бранное слово, которого не выложил он по этому случаю. Мало того, он обвинял помещика в разных неблаговидных делах: когда тот охотится, ему все равно — что поле, что дорога; он обижает бедных фермеров, пуская коня куда вздумается и вытаптывая их пшеницу; а если кто из обиженных самым смиренным образом попросит его объехать кругом, он тут же правит суд арапником. Да и в других отношениях это величайший тиран для соседей; он не позволяет фермеру держать у себя ружье, хотя бы у того и было законное разрешение; а в доме он такой жестокий хозяин, что у него ни один слуга не прожил и года.

— В качестве судьи,— продолжал джентльмен,— он так лицеприятен, что осуждает или оправдывает, как ему заблагорассудится, нисколько не считаясь с правдой или доказательствами... Только дьявол стал бы тянуть кого-нибудь к нему на суд; я бы лучше согласился быть подсудимым у какого угодно другого судьи, чем истцом у него. Если бы я владел землей в этих краях, я бы скорее продал ее за полцены, чем стал бы жить по соседству с ним!

Адамс покачал головой и выразил свое прискорбие по поводу того, что таким людям «позволяют безнаказанно вершить свои дела и что богатство может ставить человека над законом». Когда вскоре затем хулитель вышел во двор, джентльмен, который первым назвал имя помещика, стал уверять Адамса, что его спутник судит несколько предубежденно. Может быть, и правда, сказал он, что этому помещику случалось во время охоты потравить чье-нибудь поле, но он всегда полностью возмещал пострадавшему убыток; а насчет тиранства над соседями и отбирания у них ружей — это далеко не так: он сам знает фермеров, которые, не имея разрешения, не только держат у себя ружья, но и стреляют из них дичь; для своих слуг — это самый добрый хозяин, и многие из них состарились у него на службе; это лучший мировой судья в королевстве и, как ему достоверно известно, немало трудных споров, отданных на его суд, разрешил с высокой мудростью и полным беспристрастием. Нет сомнения, что иной владелец предпочел бы заплатить втридорога за имение возле него, чем поселиться под крылом другого какого-нибудь большого человека. Джентльмен едва успел закончить свой панегирик, как его спутник вернулся и сообщил, что гроза пронеслась. Оба тотчас сели на коней и ускакали.

Адамс, крайне смущенный этими столь несходными отзывами об одном и том же лице, спросил хозяина, знает ли он названного джентльмена: а то ему уже почудилось, что те по недоразумению говорили о двух разных джентльменах.

— Нет, нет, сударь! — ответил хозяин, хитрый и ловкий человек.— Я превосходно знаю джентльмена, о котором они говорили, знаю и джентльменов, говоривших о нем. Что до езды по чужим хлебам, то, насколько мне известно, он вот уже два года не садился в седло. И что-то не слыхивал я, чтобы он когда чинил такого рода обиды, а насчет возмещения скажу вам: не так он любит сорить деньгами, чтобы доводить до того. И никогда я не слышал, чтоб он отобрал у кого ружье; нет, я даже знаю многих, у кого есть в доме ружья; а вот чтобы у него стреляли дичь, так по этой части нет человека строже: посмел бы только кто, так он бы того со свету сжил. Вы слышали, один джентльмен говорит, что он для своих слуг самый дурной господин на свете, а другой, что самый лучший; я же со своей стороны скажу: я знаю всех его слуг, а никогда ни от одного из них не слышал, что он плох или что он хорош...

— Так! так! — говорит Адамс.— А судья он справедливый?

— Право, мой друг,— ответил хозяин,— я не уверен, состоит ли он сейчас судьей: единственное дело, какое пришлось ему разбирать за много лет, была как раз тяжба между этими самыми двумя господами, которые только что вышли из моего дома; и я считаю, что он ее разрешил по справедливости,— я был при разборе.

— А в чью пользу он решил ее? — спросил Адамс.

— Думается мне, это вам должно быть ясно и без моего ответа,— воскликнул хозяин,— по тем двум разным отзывам, какие вы тут услышали о нем. Не мое это дело спорить с джентльменами, когда они пьют в моем доме; но я так понимаю, что ни один из них не сказал ни слова правды.

— Боже нас упаси от такого греха! — молвил Адамс.— Разве могут люди говорить неправду о ближних, руководствуясь мелкой личной признательностью или, что еще бесконечно хуже, личной злобой! Уж лучше мне думать, что мы их не поняли и что они говорили о двух разных лицах: много ведь при дороге домов.

— Позволь, дружок! — вскричал тут хозяин.— Ты станешь уверять, что никогда в жизни своей не солгал?

— Я никогда не солгал со злым умыслом, в этом я уверен,— ответил Адамс,— или с намерением повредить чьему-либо доброму имени.

— Фью! Со злым умыслом! — возразил хозяин.— Не с тем, конечно, умыслом, чтобы человек угодил на виселицу или чтоб наделать кому неприятностей; но так, из любви к самому себе, всегда говоришь о друге лучше, чем о враге.

— Из любви к самому себе должно держаться только правды,— говорит Адамс,— потому что, поступая иначе, мы наносим вред самой благородной части нашего существа — нашей бессмертной душе. Не верится мне, что есть болваны, готовые погубить ее ради пустячной какой-то выгоды, когда и величай-

шая выгода в этой жизни только прах по сравнению с тем, что ждет нас в будущей.

Хозяин поднял чарку и выпил с улыбкой «за будущую жизнь», добавив, однако, что он не прочь кое-что получить и в этой.

— Как,— говорит Адамс очень серьезно,— вы не верите в загробную жизнь?

На это хозяин ответил, что верит,— он же не безбожник.

— И вы верите, что у вас есть бессмертная душа? — вскричал Адамс.

Тот ответил, что верит,— избави боже, как можно не верить.

— А в рай и ад? — сказал пастор.

Тогда хозяин попросил его не кощунствовать, ибо о таких вещах нельзя ни говорить, ни думать нигде, кроме как в церкви. Адамс спросил, зачем же он ходит в церковь, если то, чему его там поучают, никак не влияет на его поведение в жизни?

— Я хожу в церковь молиться,— ответил хозяин,— из благочестия хожу.

— А ты веришь,— вскричал Адамс,— тому, что ты слышишь в церкви?

— Верю почти всему, сударь,— ответил хозяин.

— И ты не содрогаешься,— вопит Адамс,— при мысли о вечной каре?

— О каре, сударь,— отвечает тот,— я никогда не думал; но что проку говорить о таких далеких вещах? Кружка пуста — прикажете принести вторую?

Пока он ходил за пивом, к крыльцу подъехала почтовая карета. Кучер зашел в дом, и хозяйка спросила, какие у него нынче пассажиры?

— Свора паршивых с..к,— говорит он,— я бы их с радостью опрокинул; вы их не уговорите выпить ни глотка, уж поверьте!

Адамс спросил, не видел ли он дорогой молодого человека верхом на лошади, и описал Джозефа.

— Эге,— сказал кучер,— одна дама из моей кареты, его знакомая, выкупила его вместе с конем; он уже был бы тут, не загони его гроза под крышу

— Бог ее благослови! — сказал в восторге Адамс и, не усидев на месте, выбежал на улицу, узнать, кто эта милосердная женщина. Каково же было его удивление, когда он увидел свою старую знакомую, миссис Слипслоп! Она, правда, была менее удивлена, так как знала уже от Джозефа, что встретит пастора в пути. Они обменялись самыми учтивыми приветствиями, и миссис Слипслоп упрекнула кабатчицу, почему та сказала, будто в доме никакого джентльмена нет, когда она; Слипслоп, справилась о нем Но, право же, честная женщина никого не хотела намеренно вводить в заблуждение: миссис Слипслоп справилась о священнике, а она, по несчастью, приняла Адамса за лицо, направлявшееся куда-нибудь по соседству на ярмарку

обирать простаков при помощи наперстков и пуговицы * или по другому такому же делу: потому что он ходил в очень широком, хоть и куцем полукафтанье, белом с черными пуговицами, в коротком парике и в шляпе, на которой не то что черной ленты, а и вовсе ничего черного не было.

Тут подъехал Джозеф, и миссис Слипслоп предложила ему отдать коня пастору, а самому перейти в карету; но юноша это решительно отклонил, сказав, что он, слава богу, достаточно поправился, так что может держаться в седле; и к тому же, добавил он, чувство долга никогда не позволит ему сесть в карету, когда мистер Адамс едет верхом.

Миссис Слипслоп упорствовала бы дольше, если бы одна из пассажирок не положила конца их спору, заявив, что не потерпит, чтобы человек в ливрее ехал с нею в одной карете; итак, договорились, наконец, на том, что свободное место в карете займет Адамс, а Джозеф будет продолжать свой путь верхом.

Не успели они отъехать от кабака, как миссис Слипслоп, обратившись к пастору, заговорила так:

— Странная перемена произошла в нашем доме, мистер Адамс, со смерти сэра Томаса.

— Да, в самом деле, странная перемена,— говорит Адамс,— как я понял по некоторым намекам, оброненным Джозефом.

— Да,— говорит она,— я никогда бы не поверила такому делу, но чем дольше живешь на свете, тем больше видишь. Так Джозеф делал кое-какие намеки?

— Но какого рода, это я навеки сохраню в тайне,— воскликнул пастор,— он взял с меня такое обещание, перед тем как заговорить. Я искренне опечален, что миледи повела себя таким недостойным образом. Я всегда почитал ее в общем доброй госпожой и никогда бы не заподозрил ее в помыслах, столь неподобающих христианке — да еще по отношению к молодому человеку из числа ее слуг.

— Для меня это все не тайна, уверяю вас,— говорит Слипслоп,— и я думаю, скоро это станет известно повсюду: потому что с его отъездом она ведет себя совсем как сумасшедшая, иначе не скажешь.

— Поистине я глубоко опечален,— говорит Адамс,— она была такая хорошая госпожа; правда, я часто жалел, что она была недостаточно усердна в посещении церковной службы, но зато она делала много добра в приходе.

— Ах, мистер Адамс! — говорит Слипслоп.— Когда люди не видят, они зачастую ничего и не знают. Уверяю вас, из дома многое раздавалось бедным без ее ведома. Я слышала, как вы говорили с кафедры, что мы не должны хвалиться; но, право, я не могу утаить: держи она ключи в своих руках, бедняки не получали бы столько лекарственной настойки, сколько

я им отпускала. А что касается моего покойного хозяина, так он был самый достойный человек на земле и без конца творил бы добрые дела, не будь над ним надзора; но он любил мирную жизнь — упокой господи его душу! Я уверена, что он теперь в раю и наслаждается миром, которого здесь на земле кое-кто постоянно его лишал.

Адамс ответил, что он никогда раньше ни о чем таком не слыхивал, и если он не ошибается (ему помнилось, что миссис Слипслоп обычно хвалила свою госпожу и поругивала господина), то она сама придерживалась раньше другого мнения.

— Не знаю,— возразила Слипслоп,— что я могла думать когда-то, но сейчас я вполне компетентно заявляю, что дело обстоит в точности так, как я вам говорила: свет скоро увидит, кто кого обманывал; я лично ничего не скажу, кроме лишь того, что просто удивительно, как некоторые люди могут с таким святым видом творить любые дела!

Так они беседовали с мистером Адамсом, когда карета поровнялась с большим домом, стоявшим поодаль от дороги; и, увидев его, одна леди в карете воскликнула:

— Здесь живет несчастная Леонора, если можно по справедливости назвать несчастной женщину, которую мы в то же время не можем оправдывать и должны признать виновницей собственных бед.

Этих слов с лихвой достало, чтобы пробудить любопытство мистера Адамса, да и всех остальных пассажиров, которые стали дружно просить леди поведать им историю Леоноры, так как в этой истории, судя по сказанному, заключалось кое-что примечательное.

Леди, вполне благовоспитанная особа, не заставила долго себя упрашивать; она только высказала надежду, что, заняв внимание спутников, доставит им развлечение, и начала следующий рассказ.

ГЛАВА IV

История Леоноры, или Несчастная прелестница

Леонора была дочерью состоятельного джентльмена; она была высока, стройна и обладала тем живым выражением лица, которое часто привлекает сильней, чем правильные черты в сочетании с вялым видом; однакоже такого рода красота бывает порой столь же обманчива, сколь пленительна; отраженная в ней жизнерадостность часто принимается за доброту, а бойкость за истинный ум.

Леонора, которой было тогда восемнадцать лет, жила у своей тетки в одном городе на севере Англии. Она до крайности любила веселиться и очень редко пропускала бал или

какое-нибудь другое светское сборище, где ей представлялось немало случаев удовлетворить свое жадное тщеславие тем предпочтением, какое отдавали ей мужчины почти перед всеми прочими присутствовавшими там женщинами.

Среди многих молодых людей, отмечавших ее своим вниманием, был некий Горацио, которому вскоре удалось затмить в ее глазах всех своих соперников; она танцевала веселее обычного, когда ему случалось быть ее кавалером, и ни прелесть вечера, ни пенье соловья не могли так удлинить ее прогулку, как его общество. Она делала вид, будто даже и не понимает любезностей других своих поклонников, меж тем как к каждому комплименту Горацио она внимательно склоняла слух, улыбаясь порой и тогда, когда комплимент бывал слишком тонок для ее понимания.

— Простите, сударыня,— говорит Адамс,— а кто он был, этот сквайр Горацио?

— Горацио,— говорит леди,— был молодой джентльмен из хорошей семьи, получивший юридическое образование и за несколько лет пред тем удостоенный звания адвоката. Лицо и сложение его были таковы, что большинство признало бы его красавцем; и притом всему его виду было присуще такое достоинство, какое встретишь не часто. Нрава он был сурового, однако без тени угрюмости. Он был не чужд остроумия и юмора и имел склонность к злой насмешке, которой несколько злоупотреблял.

Этот джентльмен, питавший сильнейшую страсть к Леоноре, был, верно, последним, кто заподозрил, что может иметь у нее успех. Весь город сосватал их задолго до того, как он сам из ее поведения почерпнул достаточно решимости, чтоб заговорить с ней о своей любви: потому что он держался мнения (и, может быть, в этом он был прав), что весьма неполитично всерьез заводить с женщиной речь о любви прежде, чем настолько завладеешь ее чувствами, что она сама будет этого ждать и желать.

Но как ни склонны бывают влюбленные из страха преувеличивать каждое проявление милости к сопернику — и соответственно преуменьшать свои собственные мелкие успехи,— все же страсть не могла настолько ослепить Горацио, чтобы ему не внушило надежд поведение Леоноры, чья склонность к нему была теперь столь же очевидна для любого стороннего наблюдателя в их кругу, как и его чувство к ней.

— По моим наблюдениям, такие навязчивые девчонки никогда не кончали добром (говорит та леди, которая не соглашалась допустить Джозефа в карету); и что бы она ни учинила дальше, я ничему не удивлюсь!

Леди продолжала свою историю так:

— Однажды вечером, среди веселого разговора в саду, Горацио шепнул Леоноре, что он хотел бы немного пройтись

с нею наедине; потому что ему надо сообщить ей нечто очень важное.

— Вы уверены, что важное? — сказала с улыбкой Леонора.

— Надеюсь, и вам оно покажется таким,— ответил он,— коль скоро все будущее счастье моей жизни зависит только от этого.

Леонора, подозревавшая, что сейчас произойдет, была не прочь отложить объяснение до другого случая, но Горацио, почти преодолев смущение, поначалу мешавшее ему говорить, сделался теперь так настойчив, что она, наконец, уступила; и, покинув остальное общество, они свернули в сторону, на безлюдную дорожку.

Сохраняя некоторое время строгое молчание, они отошли довольно далеко от остальных. Наконец, Горацио остановился и, мягко взяв за руку Леонору, которая, дрожа и бледнея, стояла перед ним, глубоко вздохнул, потом со всею вообразимой нежностью заглянул ей в глаза и прерывающимся голосом воскликнул:

— О Леонора! Неужели я должен объяснять вам, на чем зиждится будущее счастье моей жизни! Позволено ли мне будет сказать, что есть нечто, принадлежащее вам, что служит помехой моему счастью и с чем вы должны расстаться, если не хотите сделать меня горестным несчастливцем?

— Что же это такое? — спросила Леонора.

— Разумеется,— сказал он,— вас удивляет, как мне может не нравиться что-либо принадлежащее вам; но, конечно, вы легко угадаете, о чем я говорю, если это — то единственное, за что я отдал бы взамен все богатства мира, будь они моими... О, это то, с чем вы должны расстаться, чтобы тем самым подарить мне все на свете! Неужели Леонора все еще не может — вернее, все еще не хочет догадаться? Тогда позвольте мне шепнуть ей на ушко разгадку: это ваше имя, сударыня. Расстаться с ним, снизойти к моей просьбе стать навек моею — вот чем вы спасете меня от самой жалкой участи, чем превратите меня в счастливейшего из смертных.

Леонора, зардевшись румянцем и напустив на себя самый гневный вид, сказала ему, что, если бы она могла заподозрить, какое он ей готовит объяснение, ему не удалось бы заманить ее сюда; он ее до того удивил и напугал, что теперь она просит как можно скорее отвести ее обратно к остальным гостям,— что он и выполнил, дрожа почти так же сильно, как она.

— Ну и дурак,— вскричала Слипслоп,— сразу видно, что ничего не смыслит в женском поле!

— Верно, сударыня,— сказал Адамс,— мне кажется, вы правы; я бы, если б уже зашел так далеко, добился бы от нее ответа.

А миссис Грэйв-Эрс * попросила леди опускать в своем

рассказе все эти грубые подробности, потому что ее от них коробит.

— Хорошо, сударыня,— сказала леди.— Коротко говоря, не прошло и месяца после этого свидания, как Леонора и Горацио пришли, что называется, к полному взаимному согласию. Все церемонии, кроме последней, были уже свершены, выправлены все нужные бумаги, и через самое короткое время Горацио предстояло вступить во владение предметом всех своих желаний. Я могу, если угодно, прочитать вам по одному письму от каждого из них. Письма эти запали мне в память от слова до слова; они дадут вам достаточное представление об их обоюдной страсти.

Миссис Грэйв-Эрс не пожелала слушать письма; но вопрос этот, будучи поставлен на обсуждение, был решен против нее голосами всех остальных пассажиров, причем пастор Адамс проявил большую горячность.

Горацио к Леоноре

О, какою тщетной, мое обожаемое создание, становится погоня за удовольствиями в отсутствие предмета, которому ты предан всей душой, если только они не имеют некоторого отношения к этому предмету! Прошедший вечер я был осужден провести в обществе мужей ученых и умных, которое, как ни бывало оно мне приятно раньше, теперь лишь внушало мне опасения, что они припишут мою рассеянность истинной ее причине. Вот почему, если ваши занятия лишают меня восхитительного счастья видеть вас, я всегда стремлюсь уединиться; ибо чувства мои к Леоноре слишком нежны,— и мне невыносима мысль, что другие грубой рукой коснутся тех сладостных утех, которыми горячее воображение влюбленного радует его иногда и которые, как я подозреваю, выдают тогда мои глаза. Боязнь этого обнажения наших помыслов может показаться смешною и мелочною людям, не способным постичь всю нежность этой утонченной страсти. А постичь ее могут лишь немногие, и это мы ясно поймем, когда помыслим, что требуется вся совокупность человеческих добродетелей для того, чтобы испытать эту страсть во всей ее полноте. Ведь возлюбленная, чье счастие любовь ставит себе целью, может нам предоставить пленительные возможности быть храбрыми в ее защите, щедрыми к ее нуждам, сострадательными к ее горестям, благодарными за ее доброту — и проявить равным образом все свои другие качества; и кто не проявит их в любой степени и с самым высоким восторгом, тот не вправе будет именоваться влюбленным. Потому, взирая лишь на нежную скромность вашей души, я так целомудренно питаю эту любовь в моей собственной; и потому вы поймете, как тягостно мне переносить вольности, которые мужчины, даже те, которые в обществе

слывут вполне воспитанными, иногда позволяют себе в этих случаях. Могу ли я вам сказать, как страстно жду я того блаженного дня, когда познаю ложность обычного утверждения, будто величайшее счастье человеческое заключается в надежде; хотя ни у кого в мире не было больших оснований верить истине этого положения, чем сейчас у меня,— поскольку никто никогда не вкушал такого блаженства, какое зажигает в груди моей помысел о том, что в будущем все дни мои должны проходить в обществе такой спутницы жизни и что все мои деяния будут мне дарить высокое удовлетворение, ибо направлены будут лишь к вашему счастию.

От Леоноры к Горацио[1]

Утонченность вашего духа с такою очевидностью доказывалась каждым вашим словом и поступком с тех пор, как я впервые имела удовольствие узнать вас, что я считала невозможным, чтобы доброе мнение мое о Горацио могло бы возрасти от какого-либо дополнительного доказательства его заслуг. Этой самой мыслью я тешилась в тот час, когда получила ваше последнее письмо. Но, распечатав его, сознаюсь, я с удивлением убедилась, что нежные чувства, выраженные в нем, так далеко превосходят даже то, чего я могла ожидать от вас (хотя и знала, что все благородные побуждения, на какие способна человеческая природа, сосредоточены в вашей груди), что никакими словами не обрисовать мне чувств, которые во мне пробудились при мысли, что мое счастие будет последней целью всех ваших поступков.

О Горацио! Какою же прекрасной представляется мне жизнь, в которой малейшая домашняя забота услаждена приятным сознанием, что достойнейший человек на земле, тот, кому ты наиболее склонна дарить свою любовь, должен получать пользу или удовольствие от всего, что ты делаешь! В такой жизни всякий труд должен будет превращаться в развлечение, и ничто, кроме неизбежных неурядиц жизни, не заставит нас вспомнить, что мы смертны.

Если ваша наклонность к раздумью наедине и желание скрыть свои помыслы от любопытных делают докучными для вас беседу мужей ученых и умных, то какие же томительные часы должна проводить я, обреченная обычаем на беседу с женщинами, чье природное любопытство побуждает их рыться во всех моих помыслах и чья зависть никак не может примириться с тем, что сердцем Горацио завладела другая,— что понуждает их к злым козням против счастливицы, завладевшей им! Но поистине, если когда-либо можно оправдать зависть

[1] Письмо это написано некою девицей по прочтении предыдущего. *(Прим. автора.)*

или хоть отчасти извинить ее, то именно в этом случае, где благо так велико и где так естественно, чтобы каждая желала его для себя! О, я не стыжусь признать это; и вашим достоинствам, Горацио, обязана я тем, что защищена от опасности попасть в самое тягостное положение, какое только могу вообразить: положение, когда склонность побуждает тебя любить человека, который в собственных твоих глазах достоин презрения.

Дело настолько продвинулось у нежной четы, что был уже назначен день свадьбы и оставалось до нее две недели, когда в городе, отстоявшем миль на двадцать от того, где разыгрывалась наша история, открылась сессия суда. Нужно сказать, что у молодых юристов есть обычай являться на эти сессии не столько из корысти, сколько для того, чтобы показать свое рвение и поучиться у мировых судей судебному искусству; и в этих целях кто-либо из самых умудренных и видных судей назначается спикером или, как они его скромно называют, председателем, и он им читает лекцию и направляет их в истинном знании закона.

— Здесь вы повинны в маленькой ошибке,— говорит Адамс,— которую я с вашего дозволения поправлю; я присутствовал раз на одной из таких квартальных сессий, где наблюдал, как адвокат поучал судей, а не учился у них.

— Это несущественно,— сказала леди.— Горацио отправился туда, так как он, стремясь (ради дорогой своей Леоноры) адвокатской практикой увеличить свое состояние, в то время еще не очень большое, решил не щадить трудов и не упускать ни одного случая для своего усовершенствования и продвижения.

В тот самый день, когда Горацио оставил город, Леонора сидела у окна и, обратив внимание на проезжавшую мимо карету шестерней, заявила, что это самый очаровательный, изящный, благородный выезд, какой она видела в жизни; и она добавила примечательные слова, которые ее подруга Флорелла в то время не оценила по достоинству, но после припомнила: «О, я влюблена в этот выезд!»

В тот вечер состоялся бал, который Леонора решила почтить своим присутствием,— намереваясь, однако, ради своего дорогого Горацио отказаться от танцев.

Ах, почему женщины, столь часто обладая доброй наклонностью давать обеты, так редко обладают стойкостью в их соблюдении!

Владелец кареты шестерней тоже явился на бал. Одежда его была столь же удивительно изящна, как и его выезд. Он вскоре приковал к себе взоры присутствующих; все щегольские наряды, все шелковые жилеты с серебряной и золотой оторочкой мгновенно померкли.

— Сударыня,— сказал Адамс,— не сочтите мой вопрос неуместным, но я был бы рад послушать, как джентльмен был одет?

— Сэр,— ответила леди,— мне рассказывали, что на нем был бархатный камзол горчичного цвета, подбитый розовым атласом и сплошь расшитый золотом; золотом же был расшит и его жилет из серебряной ткани. Не могу сообщить подробностей об остальной его одежде, но она была вся французского кроя, потому что Беллармин (так он звался) только что прибыл из Парижа.

Как этот изящный господин привлек взоры всего собрания, так его взор в равной мере приковала к себе Леонора. Едва увидев ее, Беллармин застыл без движения, как истукан,— или, вернее, застыл бы, если бы это позволила ему благовоспитанность. Все же, пока он нашел в себе силы исправить оплошность, каждый в зале успел без труда угадать предмет его восхищения. Дамы стали вновь отличать прежних своих кавалеров, так как все поняли, на ком остановит выбор Беллармин,— чему, однакоже, они старались воспрепятствовать всеми доступными способами: многие из них подходили к Леоноре со словами: «О сударыня, боюсь, мы сегодня не будем иметь счастья видеть, как вы танцуете», и затем восклицали так, чтоб услышал Беллармин: «Ну, Леонора танцевать не будет, уверяю вас; здесь нет ее жениха». А одна коварно попыталась помешать ей, подослав к ней неприятного кавалера, чтобы тем обязать ее либо пойти танцевать с ним, либо просидеть все танцы; но заговор не увенчался успехом.

Леонора увидела, что вызывает восхищение великолепного незнакомца и зависть всех присутствующих женщин. Сердечко ее трепетало, а голова подергивалась, точно в судороге; казалось, будто девица хочет заговорить то с тем, то с другим из знакомых, но сказать ей было нечего: нельзя было заговорить о своем торжестве, а она не могла ни на миг оторваться мыслью от любования им; никогда не испытывала она ничего подобного этому счастью. Она знавала до сих пор, что значит мучить одну соперницу, но вызвать ненависть и тайные проклятия целого собрания — то была радость, уготованная лишь для этого блаженного часа. И так как исступленный восторг смутил ее рассудок, она держалась как нельзя более глупо: она разыгрывала тысячи ребяческих фокусов, ломалась без нужды всем телом так и этак, и лицо искажала так и этак беспричинным смехом. Словом, ее поведение было столь же нелепо, как была нелепа его цель: притвориться безразличной к восхищению незнакомца и при том наслаждаться мыслью, что это восхищение дало ей победу над всеми женщинами в зале.

В таком состоянии духа была Леонора, когда Беллармин, справившись, кто она такая, подошел к ней и с низким поклоном попросил оказать ему честь пройтись с ним в танце, на

что она с глубоким реверансом немедленно согласилась. Она танцевала с ним всю ночь и упивалась высшим наслаждением, какое способна была чувствовать.

Адамс при этих словах испустил страшный стон, и дамы в испуге стали спрашивать, не болен ли он. Но он ответил, что «стенает лишь о неразумии Леоноры».

— Леонора,— продолжала леди,— удалилась к себе около шести часов утра, но не для покоя. Она ворочалась и металась в постели, лишь изредка забываясь сном, а чуть засыпала — ей снились карета и великолепные одежды, которые видела она накануне, или балы, оперы, ридотто, составлявшие предмет ее разговора с Беллармином.

Днем Беллармин в своей бесценной карете шестерней нанес Леоноре визит. Он был поистине очарован ее особой и, наведя справки, оказался настолько же прельщен состоянием ее отца (ибо сам он при всем своем великолепии был несколько менее богат, чем Крез или Аттàл... *).

— Аттал,— поправил мистер Адамс,— но простите, откуда вам знакомы эти имена?

Леди улыбнулась такому вопросу и продолжала:

— Он был столь прельщен, говорю я, что решил сразу же просить ее руки и сделал это так живо и так пылко, что быстро сломил ее слабое сопротивление и получил разрешение поговорить с ее отцом, который, как она полагала, должен был сразу склониться в пользу выезда о шести лошадях.

Итак, тем, чего так долго вздохами и слезами, любовью и нежностью добивался Горацио, тем в одно мгновение овладел веселый и обходительный англо-француз Беллармин. Другими словами: чтó скромность возводила целый год, то наглость разрушила в одни сутки.

Здесь Адамс застонал вторично; но дамы, начав пересмеиваться, не обратили внимания на этот стон.

— С первой минуты бала и до конца визита Беллармина Леонора едва ли хоть раз подумала о Горацио; но теперь, хоть и непрошенным гостем, он стал навещать ее мысли. Она жалела, что не увидела очаровательного Беллармина и его очаровательный выезд до того, как дело между ней и Горацио зашло так далеко. «Но почему,— думала она,— я должна жалеть, что не увидела Беллармина раньше; и чем же плохо, что я его увидела теперь? Ведь Горацио — мой возлюбленный, почти мой муж! И разве он не так же красив... нет, красивей даже Беллармина. Да, но Беллармин элегантней, изящней его; в этом ему не откажешь. Да, да, конечно, он элегантнее. Но совсем недавно, вчера только, разве не любила я Горацио больше всех на свете? Да, но вчера я еще не видела Беллармина. Но разве Горацио не любит меня без ума и не разобьет ли ему сердце отчаянье, если я его покину? Хорошо: а у Беллармина нет разве сердца, которое так же может быть разбито? Да, но Го-

рацио я дала обещание первому; но в этом несчастье Беллармина! Если бы его я увидела первого, я, несомненно, предпочла бы его. Разве он, милое создание, не предпочел меня всем женщинам на балу, когда каждая была у его ног? Было ли когда во власти Горацио дать мне такое доказательство своей приверженности? Может ли он дать мне выезд или что-либо другое из тех вещей, обладательницей которых сделает меня Беллармин? Какая неизмеримая разница — быть женою бедного адвоката или женою человека с состоянием — Беллармина! Если я выйду замуж за Горацио, я восторжествую не более как над одной соперницей; выйдя же за Беллармина, я стану предметом зависти всех моих знакомых. Какое блаженство!.. Но как могу я допустить, чтобы Горацио умер? Ведь он поклялся, что не переживет утраты; но, может быть, он не умрет, а если ему суждено умереть, могу ли я предотвратить эту смерть? Разве я должна жертвовать собой для него? Да к тому же Беллармин может стать равно несчастным из-за меня».

Так она спорила сама с собой, когда несколько юных леди пригласили ее на прогулку и тем облегчили ее тревогу.

На другое утро Беллармин завтракал с Леонорой в присутствии ее тетки, которую он успел достаточно осведомить о своей страсти; едва он удалился, как старая леди принялась давать племяннице наставления.

— Ты видишь, дитя,— говорит она,— что кидает тебе под ноги Фортуна; и я надеюсь, ты не станешь противиться собственному возвеличению.

Леонора, вздыхая, попросила ее «не упоминать даже о таких вещах, раз ей известно о ее обязательствах перед Горацио».

— Обязательства? Пустяки! — вскричала тетка.— Благодари бога на коленях, что еще в твоей власти их нарушить. Какая женщина станет хоть минуту колебаться, ездить ли ей в карете, или всю жизнь ходить пешком? У Беллармина выезд шестерней, а у Горацио нет и пары.

— Да, сударыня, но что же скажет свет? — возразила Леонора.— Не осудит ли он меня?

— Свет всегда на стороне благоразумия,— провозгласила тетка,— и, конечно, осудит тебя, если ты поступишься своею выгодой из каких бы то ни было побуждений. О, я отлично знаю свет, а ты, моя дорогая, такими возражениями только доказываешь свое неведенье. Верь моему слову, свет куда умней! Я дольше жила в нем, чем ты; и смею тебя уверить, мы ничего не должны уважать, кроме денег; я не знала ни одной женщины, которая вышла бы замуж по другим соображениям и после не раскаялась бы в том от всего сердца. К тому же, если сопоставить этих двух мужчин, неужели ты предпочтешь какого-то ничтожного человечка, получившего воспитание в университете, истинному джентльмену, только что вернувшемуся из

путешествия?! Весь мир признает, что Беллармин истинный джентльмен, положительно истинный джентльмен и красивый мужчина...

— Возможно, сударыня, я не стала бы колебаться, если бы знала, как мне приличней разделаться с другим.

— О, предоставь это мне,— говорит тетка.— Ты же знаешь, что твоему отцу еще ничего не сообщалось о помолвке. Правда, я со своей стороны считала партию подходящей, так как мне и не грезилось такое предложение; но теперь я тебя освобожу от этого человека; предоставь мне самой объясниться с ним. Ручаюсь, что больше у тебя не будет никаких хлопот.

Доводы тетки убедили, наконец, Леонору; и в тот же вечер, за ужином, на который к ним опять явился Беллармин, она договорилась с ним, что на следующее утро он отправится к ее отцу и сделает предложение, а как только вернется из поездки, вступит с Леонорой в брак.

Тетка вскоре после ужина удалилась, и, оставшись наедине со своей избранницей, Беллармин начал так:

— Да, сударыня, этот камзол, заверяю вас, сделан в Париже, и пусть лучший английский портной попробует хотя бы скопировать его! Ни один из них не умеет кроить, сударыня,— не умеет, да и только! Вы обратите внимание, как отвернута эта пола; а этот рукав — разве пентюху-англичанину сделать что-либо подобное?.. Скажите, пожалуйста, как вам нравятся ливреи моих слуг?

Леонора отвечала, что находит их очень красивыми.

— Все французское,— говорит он,— все, кроме верхних кафтанов; я ничего, кроме верхнего кафтана, не доверю никогда англичанину; вы знаете, надо все-таки, чем только можно, поощрять свой народ; тем более что я, пока не получил места в Лондоне, жил исключительно на доходы с имения, хе-хе-хе! Но сам я... да пусть лучше этот грязный остров сгниет на дне морском, чем надеть мне на себя хоть одну тряпку английской работы; и я уверен, если бы вы хоть раз побывали в Париже, вы пришли бы к тому же взгляду в отношении вашей собственной одежды. Вы не можете себе представить, как выиграла бы ваша красота от французского туалета; положительно вас уверяю, когда я первый раз по приезде отправился в оперу, я принимал наших английских леди за горничных, хе-хе-хе!

Такого рода учтивым разговором веселый Беллармин занимал свою любезную Леонору, когда дверь внезапно отворилась и в комнату вошел Горацио. Невозможно передать смущение Леоноры.

— Бедняжка! — говорит миссис Слипслоп.— В какой она должна была прийти конфуз!

— Нисколько! — говорит миссис Грэйв-Эрс.— Таких наглых девчонок ничем не смутишь.

— Значит, самоуверенность у нее была превыше коринфской,— сказал Адамс,— да, превыше, чем у самой Лаиды *.

— Долгое время,— продолжала леди,— все трое пребывали в молчании: бесцеремонный приход Горацио поверг в изумление Беллармина, но и столь нежданное присутствие Беллармина не менее поразило Горацио. Наконец, Леонора, собравшись с духом, обратилась к последнему и с напускным удивлением спросила, чем вызван столь поздний его визит.

— В самом деле,— ответил он,— я должен был бы принести извинения, потревожив вас в этот час, если бы не убедился, застав вас в обществе, что я не нарушаю вашего покоя.

Беллармин поднялся с кресла и прошелся менуэтом по комнате, мурлыча какой-то оперный мотив, между тем как Горацио, подойдя к Леоноре, спросил у нее шепотом, не родственник ли ей этот джентльмен,— на что она с улыбкою или скорее с презрительной усмешкой ответила:

— Нет, пока что не родственник,— и добавила, что ей непонятно значение его вопроса.

— Он подсказан не ревностью,— тихо сказал Горацио.

— Ревностью! — воскликнула она.— Право, странно было бы простому знакомому становиться в позу ревнивца.

Эти слова несколько удивили Горацио; но он не успел еще ответить, как Беллармин подошел, пританцовывая, к даме и сказал ей, что боится, не мешает ли он какому-то делу между нею и джентльменом.

— Ни с этим джентльменом,— сказала она,— ни с кем-либо другим у меня не может быть дела, которое я должна была бы держать от вас в тайне.

— Вы мне простите,— сказал Горацио,— если я спрошу, кто этот джентльмен, которому вы должны поверять все наши тайны?

— Вы это узнаете довольно скоро,— заявляет Леонора,— но я не понимаю, какие тайны могут быть между нами и почему вы говорите о них так многозначительно?

— О сударыня! — восклицает Горацио.— Неужели вы хотите, чтобы я принял ваши слова всерьез?

— Мне безразлично,— говорит она,— как вы их примете; но, мне думается, ваше посещение в столь неурочный час вовсе необъяснимо — особенно когда вы видите, что хозяйка занята; если слуги и пускают вас в дом, от воспитанного человека все же можно ждать, что он быстро поймет намек.

— Сударыня,— сказал Горацио,— я не воображал, что если вы заняты с посторонним человеком, каким мне представляется этот джентльмен, то мой визит может оказаться назойливым или что в нашем положении люди должны соблюдать подобные правила.

— В самом деле, вы точно во сне,— говорит она,— или хотите меня убедить, что я сама во сне. Не знаю, под каким

предлогом простые знакомые могут отбрасывать все правила приличного поведения.

— Да, конечно,— говорит он,— мне снится сон: иначе как объяснить, что Леонора почитает меня простым знакомым после всего, что произошло между нами!

— «Что произошло между нами»! Вы хотите оскорбить меня перед этим джентльменом?

— Черт возьми! Оскорблять даму! — говорит Беллармин, сдвинув шляпу набекрень и важно подступая к Горацио.— Ни один мужчина не посмеет в моем присутствии оскорбить эту даму, черт возьми!

— Послушайте, сэр,— говорит Горацио,— я посоветовал бы вам умерить свою свирепость; ибо если я не обманываюсь, то даме очень желательно, чтобы вашей милости задали хорошую трепку.

— Сэр,— проговорил Беллармин,— я имею честь быть ее покровителем, и черт меня побери, если я понимаю, что вы хотите сказать?

— Сэр,— отвечал Горацио,— скорее она ваша покровительница; но бросьте-ка важничать, потому что я, как видите, приготовил про вас что следует... (И тут он замахнулся на него хлыстом.)

— O! serviteur très humble,— говорит Беллармин.— Je vous entends parfaitement bien [1].

К этому времени тетка, услышав о приходе Горацио, вошла в комнату и быстро рассеяла все его сомнения. Она убедила его, что он отнюдь не грезит и что за три дня его отсутствия не случилось ничего необычайного, кроме лишь небольшой перемены в чувствах ее племянницы; Леонора же разразилась слезами и вопрошала, какой она дала ему повод обращаться с нею так варварски. Горацио предложил Беллармину выйти вместе с ним, но дамы этому воспротивились, удерживая англо-француза чуть не силой. Тогда Горацио простился без больших церемоний и ушел, предоставляя сопернику посовещаться с дамами о том, как ему уберечься от опасности, которую нескромность Леоноры, как им казалось, навлекла на него; но тетка утешила девицу увереньями, что Горацио не отважится выступить против такого совершенного рыцаря, как Беллармин: будучи юристом, он станет искать отмщения на путях закона; и самое большее, чего здесь можно опасаться, это судебного процесса.

Итак, они согласились, наконец, разрешить Беллармину удалиться на свою квартиру, предварительно уладив с ним все мелочи касательно путешествия, в которое он должен был отправиться наутро, и свадебных приготовлений к его приезду.

Но, увы! Доблесть, как это сказано мудрецами, пребывает

---

[1] Покорнейший ваш слуга! Я превосходно вас понимаю *(франц.)*.

не во внешнем обличии; и не раз бывало, что простой и степенный человек, будучи на то вызван, прибегал к этому коварному металлу — к холодной стали, тогда как более горячие головы — и порой украшенные даже эмблемой храбрости, кокардой,— благоразумно от сего уклонялись.

Утром Леонору пробудила от ее сновидений о карете шестерней печальная весть, что Беллармин пронзен клинком Горацио, что он лежит, изнывая, на заезжем дворе и лекари объявили рану его смертельной. Она немедленно вскочила с постели, заметалась, как безумная, по комнате, рвала на себе волосы и била себя в грудь со всем неистовством отчаянья,— в каковом состоянии и застала ее тетка, тоже поднятая от сна печальной вестью. Добрая старая леди изощряла все свое искусство, чтоб утешить племянницу. Она ей говорила, что покуда есть жизнь, есть и надежда; но если Беллармину суждено умереть, то ее скорбь не послужит ему на пользу, а только бросит тень на нее самое и, возможно, на некоторое время отвратит от нее новые предложения; что раз уж так повернулось дело, то лучше всего не думать больше о Беллармине и постараться вновь завоевать приверженность Горацио.

— О, не уговаривайте меня,— кричала безутешная Леонора,— разве не из-за меня бедный Беллармин лишился жизни?! Разве не эти проклятые чары (тут она загляделась на себя в зеркало) стали гибелью самого обаятельного человека нашего времени? Отныне посмею ли я вновь когда-нибудь взглянуть на собственное свое лицо (она все еще не отводила глаз от зеркала)? Не убийца ли я самого утонченного джентльмена? Ни одна другая женщина в городе не могла произвести на него впечатления!

— Нечего думать о том, что прошло,— крикнула тетка,— думай о том, как тебе вернуть приверженность Горацио.

— Разве могу я,— сказала племянница,— надеяться на его прощение? Нет, я потеряла как того, так и другого, и всему причиной ваш злой совет: это вы, вопреки моей наклонности, совратили меня и побудили бросить бедного Горацио! — И на этом слове она разразилась слезами.— Вы меня убедили, хотела я того или нет, отступиться от моей любви к нему; если бы не вы, никогда бы я и не помыслила о Беллармине; не поддержи вы его искания вашими уговорами, им бы никогда не оказать на меня действия, я бы отвергла все богатства и всю роскошь в мире; но вы, вы воспользовались моею молодостью и простотой, и теперь я навеки потеряла моего Горацио.

Тетка была почти повержена этим потоком слов; однакож она собрала всю свою силу и, обиженно поджав губы, начала:

— Я не удивляюсь такой неблагодарности, племянница: кто дает советы молодым девицам им на благо, тот всегда должен ожидать такого воздаяния. Брат мой, я уверена, будет мне благодарен за то, что я расстроила твой брак с Горацио!

— Это вам, может быть, еще и не удастся,— ответила Леонора,— и с вашей стороны крайняя неблагодарность, что вы об этом так хлопочете,— после всех тех подарков, какие вы приняли от него. (Старушке, и правда, перепало от Горацио немало подарков, и были среди них довольно ценные; но правда и то, что Беллармин, когда завтракал с нею и ее племянницей, преподнес ей бриллиант со своего пальца, превосходивший ценою все полученное от Горацио.)

У тетки уже накипела желчь для ответа, но тут в комнату вошел слуга с письмом, и Леонора, услышав, что письмо от Беллармина, нетерпеливо его вскрыла и прочитала следующее:

«Божественнейшее создание! Рана, которую мне, как вы, я боюсь, уже слышали, нанес мой соперник, повидимому не столь фатальна, как те раны, что горят в моем сердце от выстрелов из ваших глаз, tout brillant [1]. Лишь этой артиллерии суждено было меня сразить: ибо мой врач подает мне надежду, что скоро я буду в состоянии вновь навестить вашу ruelle [2], а до той поры, если только вы не окажете мне чести, о которой я едва имею hardiesse [3] помыслить, ваше отсутствие будет самой тяжелой мукой, какую может чувствовать,

сударыня,

avec toute le respecte [4] в мире,

ваш покорнейший, беспредельно dévoté [5]

Беллармин».

Как только Леонора увидела, что есть надежда на выздоровление Беллармина и что кумушка Молва, по своему обычаю, сильно преувеличила опасность, она тотчас отбросила всякую мысль о Горацио и вскоре помирилась с теткой, которая вернула ей свою благосклонность с таким христианским всепрощением, какое не часто мы встречаем в людях. Правда, ее, быть может, несколько встревожили брошенные племянницей слова о подарках. Старая леди, возможно, опасалась, что такие слухи, если они распространятся, могут повредить репутации, которую она утвердила за собой, неизменно дважды в день посещая церковь и годами сохраняя на лице и в осанке крайнюю суровость и строгость.

Страсть Леоноры к Беллармину после кратковременного охлаждения вспыхнула с возросшею силой. Девица заявила тетке, что хочет его навестить в заточении, от чего старая леди с похвальною предусмотрительностью советовала ей воздержаться. «Потому что,— говорила она,— если какая-нибудь случайность помешает вашему браку, то слишком смелое по-

[1] Блистательного *(франц.)*; грамматически англо-французом не согласовано.

[2] Уличку *(франц.)*.

[3] Смелость *(франц.)*.

[4] Со всем уважением *(франц.)*; не совсем грамотно.

[5] Преданный *(франц.)*.

ведение с таким женихом может повредить тебе в глазах людей. Женщина, пока не вышла замуж, всегда должна считаться с возможностью, что дело сорвется, и предотвращать подобную возможность»

Леонора объявила, что ей в таком случае будет все безразлично, что бы ни произошло,— потому что она теперь бесповоротно отдала свою любовь этому бесценному человеку (так она о нем сказала), и если ей выпадет на долю потерять его, то она навсегда оставит всякую мысль о мужчинах. Поэтому она решила его навестить, вопреки разумным уговорам тетки,— и в тот же день исполнила свое решение.

Дама еще вела свой рассказ, когда карета подъехала к гостинице, где пассажиры собирались пообедать,— к великой досаде мистера Адамса, чьи уши были самой голодной частью его существа: ибо он, как читатель, может быть, уже разгадал, отличался ненасытным любопытством и всей душой жаждал услышать окончание этой любовной истории, хоть и уверял, что едва ли мог бы пожелать успеха молодой девице такого непостоянного нрава.

ГЛАВА V

Страшная ссора, происшедшая в гостинице, где обедало общество, и кровавые ее последствия для мистера Адамса

Как только путешественники вышли из кареты, мистер Адамс, по своему обычаю, направился прямо в кухню и застал там Джозефа, который сидел у окна, между тем как хозяйка растирала ему ногу: дело в том, что конь, взятый мистером Адамсом у причетника, имел сильное пристрастие к коленопреклонению; можно даже думать, что это у него было профессией, как у его владельца; он, однако, не всегда предупреждал о своем намеренье и часто падал на колени, когда всадник того меньше всего ожидал. Пастору эта слабость не доставляла большого беспокойства, так как он к ней приноровился, а ноги его, когда он садился в седло, касались земли, так что падать ему приходилось с небольшой высоты, и он в таких случаях очень ловко соскакивал вперед, не причиняя себе особого вреда: его конь и сам он прокатятся, бывало, несколько шагов по земле, потом оба встанут и встретятся снова такими же добрыми друзьями, как всегда.

Бедный Джозеф, не привыкший к такого рода скакунам, хоть и был превосходным наездником, не отделался так счастливо: когда он упал, лошадь примяла ему ногу, которую, как мы сказали, сердобольная женщина в тот час, когда пастор зашел на кухню, не жалея рук растирала камфарным спиртом.

Адамс едва успел выразить Джозефу свое соболезнование, как в кухню зашел хозяин. В отличие от мистера Тау-Вауза

он отнюдь не славился мягкостью нрава и был поистине хозяином дома и всего, что в нем находилось, за исключением постояльцев.

Этот угрюмый человек, всегда соразмерявший свою почтительность с обличием путешественника — от «Благослови господь вашу милость!» до простого «Захаживай!»,— узрев жену свою на коленях перед лакеем, не посчитался с состоянием юноши и закричал:

— Чума на эту бабу! Вот выдумала себе работу! Ты почему не позаботишься о гостях, что прибыли с каретой? Ступай и спроси, чего им будет угодно на обед.

— Дорогой мой,— говорит она,— ты же знаешь, получить им у нас нечего, кроме того, что стоит на огне, и это все будет скоро готово; а у молодого человека, смотри, какой синяк на ноге!

И с этими словами она принялась растирать ногу еще усердней.

Но тут, как нарочно, зазвонил колокольчик, и хозяин, помянув черта, велел жене идти к гостям, а не стоять тут и тереть до вечера; он-де не верит, что с ногой у молодчика так скверно, как тот уверяет; а ежели очень скверно, так в двадцати милях отсюда он найдет лекаря, который может ее отрезать.

Услышав это, Адамс в два шага очутился перед хозяином и, прищелкнув пальцами над головой, пробормотал довольно громко, что он такого подлеца с легким сердцем отлучил бы от церкви, потому что сам дьявол, кажется, человечней его. Эти слова повели к диалогу между Адамсом и хозяином, уснащенному резкими репликами и длившемуся до тех пор, пока Джозеф, наконец, не предложил хозяину приличней держаться с людьми, которые выше его. На это хозяин (сперва внимательно смерив Адамса взглядом) повторил презрительно слово «выше», затем, рассвирепев, сказал Джозефу, что раз он мог войти в его дом, то может и выйти обратно, и захотел помочь ему рукоприкладством. Увидев это, Адамс так крепко угостил хозяина кулаком в лицо, что у того ручьем хлынула из носу кровь. Хозяин, никому не желая уступать в учтивости, а особенно человеку в скромном обличье Адамса, преподнес в ответ такую благодарность, что ноздри у пастора стали чуть красней обычного. Тогда Адамс двинулся опять на противника, и тот от второго тумака растянулся на полу.

Хозяйка, будучи лучшей женою, чем того заслуживал такой грубый муж, бросилась было ему помочь или, скорей, отомстить за удар, который, по всей видимости, был последним, сужденным ему на веку, когда, увы, кастрюля, полная свиной крови, стоявшая на столе, как нарочно первой подвернулась ей под руку. Она схватила ее в ярости и, не раздумывая, выплеснула в пастора ее содержимое — да так метко, что большая часть угодила ему в лицо и затем потекла широким потоком по его

бороде и по одежде, создавая самое страшное зрелище, какое только можно увидеть или вообразить. Все это узрела миссис Слипслоп, зашедшая в это мгновение на кухню. Эта благородная дама, не отличаясь тем крайним хладнокровием и выдержкой, какие, может быть, требовались, чтобы задать по этому случаю несколько вопросов, стремительно подлетела к кабатчице и мигом сорвала чепец с ее головы вместе с некоторым количеством волос, одновременно влепив две-три увесистые оплеухи, какие она, благодаря частой практике над подчиненными служанками, наловчилась отпускать с отменной грацией. Бедный Джозеф едва мог подняться со стула; пастор был занят отиранием свиной крови с глаз, совершенно его ослепившей, а хозяин дома только начал подавать признаки жизни, когда миссис Слипслоп, придерживая голову хозяйки левой своей рукой, принялась так сноровисто действовать правой, что бедная женщина подняла визг на самой высокой ноте и всполошила всех гостей.

В гостинице о ту пору, кроме дам, прибывших с почтовой каретой, случилось быть еще двум джентльменам — тем, что стояли у мистера Тау-Вауза, когда Джозеф был задержан из-за кошта коня, а потом, как было нами упомянуто, останавливались вместе с Адамсом в кабаке; был там также один джентльмен, только что возвратившийся из путешествия в Италию. Страшный вопль о спасении привлек их всех на кухню, где участники битвы были найдены в описанных нами позах.

Теперь нетрудно было прекратить побоище, так как победители уже насытили свою жажду мести, побежденные же не чувствовали охоты возобновлять сражение. Прежде других приковал к себе все взоры Адамс, сплошь залитый кровью, которую все общество приняло за его собственную, вообразив, следовательно, что он уже не жилец на белом свете. Но хозяин, успевший оправиться от удара и встать на ноги, вскоре избавил их от этих опасений, принявшись честить свою жену за то, что она загубила даром столько свиных пудингов; он говорил, что все уладилось бы наилучшим образом, не впутайся она, как последняя с..а; и он очень рад, добавил он, что благородная дама уплатила ей,— хоть и много меньше, чем ей причиталось. А бедной хозяйке в самом деле пришлось очень худо, так как вдобавок к полученным ею немилосердным затрещинам она еще лишилась изрядной пряди волос, которую миссис Слипслоп победоносно сжимала в левой руке.

Путешественник, обратившись к миссис Грэйв-Эрс, попросил ее не пугаться. Здесь произошел только небольшой кулачный бой, к которому англичане, на свою disgracia [1], весьма accustomata [2],— но это зрелище, добавил он, кажется диким тому,

---

[1] Бесчестие *(итал.)*.
[2] Привычны *(итал.)*.

кто только что вернулся из Италии, потому что итальянцы привержены не к cuffardo [1], а к bastonza [2] Затем он подошел к Адамсу и, сказав ему, что он напоминает видом призрак Отелло *, попросил его «не трясти на него своими окровавленными власами, потому что, право же, он тут ни при чем».

— Сэр,— ответил простодушно Адамс,— я далек от того, чтобы вас обвинять.

Тогда путешественник вернулся к даме и провозгласил

— По-моему, окровавленный джентльмен — uno insipido del nullo senso. Dammato di me, если я за всю дорогу от Витербо видел подобное spectaculo [3].

Один из джентльменов, вызнав у хозяина причину побоища и заверенный им, что первый удар нанесен был Адамсом, шепнул ему на ухо:

— Ручаюсь, что вам это будет на пользу.

— На пользу, сударь? — сказал с улыбкой хозяин.— Я, конечно, не помру от двух-трех тумаков, не такой я цыпленок. Но где же тут польза?

— Я хотел сказать,— объяснил джентльмен,— что суд, куда вы, несомненно, обратитесь, присудит вам компенсацию и вы получите свое, как только придет из Лондона исполнительный лист; вы, как я погляжу, умный и храбрый человек и никому не позволите бить себя, не возбудив против обидчика тяжбы: это истинный позор для человека — мириться с тем, что его колотят, когда закон позволяет ему получить возмещение; к тому же он пустил вам кровь и тем испортил ваш кафтан; за это присяжные тоже присудят вам возмещение убытков. Превосходный новый кафтан, честное слово, а теперь он и шиллинга не стоит! Я не люблю,— продолжал он,— мешаться в такие дела, но вы вправе привлечь меня свидетелем; и, дав присягу, я обязан буду говорить правду. Я видел, как вы лежали на полу, как у вас хлестала из носу кровь. Вы можете поступать по собственному усмотрению, но я, на вашем месте, за каждую каплю своей пролитой крови положил бы в карман унцию золота. Помните: я не даю вам совет подавать в суд; но если судьи у вас добрые христиане, они должны будут вам присудить изрядное возмещение за ущерб. Вот и все.

— Сударь,— сказал хозяин, почесав затылок,— благодарю вас, но что-то не по нутру мне суды. Я много такого насмотрелся у себя в приходе; там у нас два моих соседа завели тяжбу из-за дома и дотягались оба до тюрьмы — С этим словом он отвернулся и опять завел речь о свиных пудингах; и едва ли бы его жене послужило достаточным оправданием то, что она загубила их ради его же защиты, если бы ярость его не сдержало

---

[1] Кулачному бою *(итал.)*.

[2] Драке на палках *(итал.)*.

[3] Болван, лишенный разумения. Будь я проклят... зрелище (все эти итальянские слова весьма близки соответственным английским).

уважение к обществу, особенно к итальянскому путешественнику, человеку внушительной осанки.

Покуда один джентльмен хлопотал, как мы видели, в пользу хозяина гостиницы, другой столь же истово ревновал о мистере Адамсе, советуя ему вчинить немедленно иск. Нападение жены, говорил он, по закону, равносильно нападению мужа, так как они представляют собою одно юридическое лицо; и муж обязан будет выплатить возмещение убытков, и притом весьма изрядное, раз проявлены были столь кровожадные наклонности. Адамс ответил, что если они вправду одно лицо, то, значит, он совершил нападение на супругу, ибо он с прискорбием должен признаться, что сам нанес мужу первый удар.

— Мне также прискорбно, что вы признаетесь в этом,— восклицает джентльмен,— на суде это могло бы и не выявиться, так как не было других свидетелей, кроме хромого человека в кресле, но он, видимо, ваш друг и, следовательно, будет показывать только в вашу пользу.

— Как, сэр,— говорит Адамс,— вы принимаете меня за негодяя, который станет хладнокровно искать возмещения через суд и прибегнет для этого к недопустимому беззаконию? Если бы вы знали меня и мой орден, то я подумал бы, что вы оскорбляете и меня и его.

При слове «орден» джентльмен широко раскрыл глаза (ибо вид у Адамса был слишком кровавый для рыцаря какого-либо из современных орденов) и поспешил отойти, сказав, что «каждый сам знает, что ему выгодней»

Поскольку дело уладилось, постояльцы стали расходиться по своим комнатам, и два джентльмена поздравили друг друга с успехом, увенчавшим их хлопоты по примирению враждующих сторон; а путешественник отправился вкушать свою трапезу, воскликнув:

— Как сказал итальянский поэт:

Je voi[1] превосходно, что tutta e pace[2].
Неси же обед мне, мой друг Бонифаче.

Кучер начал теперь не совсем вежливо поторапливать пассажиров, посадка которых в карету задерживалась, так как миссис Грэйв-Эрс твердила, наперекор уговорам всех остальных, что она не допустит лакея в карету; а бедный Джозеф так охромел, что не мог ехать верхом. Одна юная леди, оказавшаяся внучкой графа, молила чуть ли не со слезами на глазах; мистер Адамс убеждал; миссис Слипслоп бранилась,— но все было напрасно. Леди заявила, что не унизится до езды в одной карете с лакеем; что на дороге есть телеги; что если владельцу кареты угодно, то она заплатит за два места, но с таким попутчиком не сядет.

---

[1] Я вижу *(франц.)*.
[2] Что мир водворен *(итал.)*.

— Сударыня,— говорит Слипслоп,— уверяю вас, никто не вправе запретить другому ехать в почтовой карете.

— Не знаю, сударыня,— говорит леди,— я не слишком знакома с обычаями почтовых карет, я редко в них езжу

— В них могут ездить, сударыня,— ответила Слипслоп,— очень порядочные люди, порядочнее некоторых, насколько мне известно.

Миссис Грэйв-Эрс на это сказала, что «иные прочие дают излишнюю волю своему языку в отношении некоторых лиц, стоящих выше их, что им никак не подобало бы; она же лично не привыкла вступать в разговоры со слугами». Слипслоп возразила, что «некоторые не держат слуг, так что и разговаривать им не с кем; она же лично, слава богу, живет в семье, где слуг очень много, и под ее началом было их больше, чем у любой ничтожной мелкой дворяночки в королевстве». Миссис Грэйв-Эрс вскричала, что едва ли ее госпожа склонна поощрять такую дерзость в отношении высших.

— Высших! — говорит Слипслоп.— Кто же это здесь стоит выше меня?

— Я выше вас,— ответила миссис Грэйв-Эрс,— и я сообщу вашей госпоже.

На это миссис Слипслоп громко рассмеялась и сказала, что ее миледи принадлежит к высокой знати, и такой мелкой, ничтожной дворяночке, как иные, которые путешествуют в почтовых каретах, не так-то просто до нее дойти.

Этот изящный диалог между некоторыми и иными прочими еще велся перед дверцей кареты, когда во двор прискакал важного вида человек и, увидев миссис Грэйв-Эрс, тотчас к ней подъехал, говоря:

— Дорогое дитя, как ты поживаешь?

Она отозвалась:

— Ох, папа, я так рада, что вы меня догнали!

— Я и сам рад,— ответил он,— потому что одна из наших карет сейчас будет здесь и там есть для тебя место, так что тебе не к чему ехать дальше в почтовой,— разве что сама захочешь.

— Как вы могли подумать, что я этого захочу? — воскликнула девица, и, предложив миссис Слипслоп ехать, если ей угодно, с ее молодым человеком, она взяла под руку отца, который уже спешился, и прошла с ним в дом.

Адамс не преминул шепотом спросить у кучера, знает ли он, кто этот джентльмен? Кучер ответил, что теперь-то он джентльмен, держит лошадь и слугу.

— Но времена меняются, сударь,— сказал он,— я помню, как он был мне ровня.

— Да ну? — говорит Адамс.

— Мой отец был кучером у нашего сквайра,— продолжал тот,— когда этот самый человек ездил почтарем; а теперь он у сквайра за управляющего, стал важным господином.

Адамс прищелкнул пальцами и вскричал:

— Так я и думал, что девчонка из таких!

Он поспешил поделиться с миссис Слипслоп этим добрым, как ему думалось, известием,— но оно встретило иной прием, чем он ожидал. Благоразумная домоправительница, презиравшая злобу миссис Грэйв-Эрс, покуда видела в ней дочку какого-нибудь небогатого дворянина, услышав теперь о ее родственной связи с высшей челядью знатных соседей, начала опасаться ее влияния на свою госпожу. Она пожалела, что зашла так далеко в споре, и стала думать, не попробовать ли ей помириться с этой молодою леди, пока та не уехала из гостиницы,— когда, по счастью, ей вспомнилась сцена в Лондоне, которую читатель едва ли мог забыть, и так ее утешила, что она, уверенная в своей власти над миледи, перестала опасаться каких-либо вражеских происков.

Теперь, когда все уладилось, пассажиры сели в карету, и уже она тронулась было, когда одна из дам спохватилась, что забыла в комнате свой веер, другая — перчатки, третья — табакерку, четвертая — флакончик с нюхательной солью, и розыски всех этих предметов вызвали некоторую задержку, а с ней и ругань со стороны кучера.

Как только карета отъехала от гостиницы, женщины стали хором обсуждать личность миссис Грэйв-Эрс: одна заявила, что с самого начала пути подозревала в ней особу низкого звания; другая уверяла, что она и с виду-то вовсе не похожа на дворянку; третья утверждала, что она — то самое, что она есть, и ничуть не лучше,— и, обратившись к леди, которая вела в карете рассказ, спросила:

— Вы когда-нибудь слышали, сударыня, что-нибудь лицемернее ее замечаний? Ох, избави меня боже от суда таких святош!

— О сударыня,— добавила четвертая,— такие особы всегда судят очень строго. Но меня удивляет другое: где эта несчастная девица воспитывалась? Правда, должна признаться, мне редко доводилось общаться с этим мелким людом, так что, может быть, меня это поразило больше, чем других; но отклонить всеобщее пожелание — это до того странно, что лично я, признаюсь, вряд ли бы даже поверила, что такое возможно, если б не свидетельство моих собственных ушей.

— Да, и такой красивый молодой человек! — вскричала Слипслоп.— Эта женщина, видно, лишена всех добрых симфоний, она, по-моему, не из христиан, а из турков. Если бы в ее жилах текло хоть две капли крови доброй христианки, вид этого молодого человека должен был бы их распалить. Бывают, правда, такие несчастные, жалкие, старые субъекты, что и смотреть на них тошно; и я б не подивилась, когда бы она отказалась от такого: я такая же приличная дама, как она, и мне так же, как и ей, не понравилось бы общество смердящих стариков.

Но выше голову, Джозеф,— ты не из них! И та, в ком нет симфонии к тебе, та мыслиманка, говорю вам и не отступлюсь!

От этой речи Джозефу стало не по себе, как и всем дамам, которые, решив, что миссис Слипслоп кое-чем подкрепилась в гостинице (а она и впрямь не отказала себе в лишней чарочке), стали побаиваться последствий; поэтому одна из них обратилась к леди с просьбой довести до конца свой рассказ.

— Да, сударыня,— подхватила Слипслоп,— я тоже прошу вашу милость досказать нам конец той истории, которую вы начали утром.

И благовоспитанная дама не замедлила согласиться на их просьбу.

ГЛАВА VI

Окончание рассказа о несчастной прелестнице

Леонора, порвав однажды узы, налагаемые обычаем и скромностью на ее пол, вскоре дала полную волю своей страсти. Она стала посещать Беллармина чаще и проводить у него больше времени, чем его врач; словом, она совсем превратилась в сиделку при нем, готовила ему отвары, подавала лекарства и, наперекор благоразумному совету тетки, чуть ли не вселилась в комнаты своего раненого поклонника.

Дамы из местного общества не преминули обратить внимание на ее поведение, оно сделалось главной темой разговоров за чайным столом; и почти все сурово осуждали Леонору, в особенности Линдамира — дама, о чью чопорную, сдержанную осанку и неизменное посещение церкви по три раза в день разбились все злобные нападки на ее собственную репутацию: ибо добродетель Линдамиры вызывала к себе столько зависти, что эта леди, невзирая на строгое свое поведение и строгий суд о жизни других, не могла и сама не сделаться мишенью для кое-каких стрел, которые, однакоже, не причиняли ей вреда; последним она, возможно, была обязана тому обстоятельству, что большинство знакомых ей мужчин были из духовного звания, хотя и это не помешало ей два или три раза стать предметом ядовитой и незаслуженной клеветы.

— А может быть, не такой уж незаслуженной,— говорит Слипслоп,— священники тоже мужчины, такие же, как и все.

Крайняя щепетильность добродетельной Линдамиры была жестоко оскорблена теми вольностями, какие позволяла себе Леонора: она говорила, что это поношение ее пола, что ни одна женщина не почтет сообразным со своею честью разговаривать с такой особой или появляться в ее обществе и что она никогда не будет танцевать на одном с нею балу из страха схватить заразу, коснувшись ее руки.

Но вернусь к моей истории. Как только Беллармин поправился, то есть приблизительно через месяц со дня, когда был он ранен, он поехал, как было условлено, к отцу Леоноры — просить у него руки его дочери и уладить с ним все насчет приданого, дарственных записей и прочего.

Незадолго до его прибытия старого джентльмена осведомили о положении дел следующим письмом, которое я могу повторить verbatim [1] и которое, говорят, написано был не Леонорой и не ее теткой, но женской все же рукой. Письмо это гласило:

«Сэр!

С прискорбием вам сообщаю, что ваша дочь Леонора разыграла самую низкую и самую неумную шутку с одним молодым человеком, с которым связала себя словом и которому (извините за выражение) натянула нос ради другого, менее состоятельного, хотя он и строит из себя более важную персону. Вы можете принять по этому случаю те меры, какие вам покажутся уместными; я же настоящим исполняю то, что почитаю своим долгом, так как я, хоть вы меня и не знаете, отношусь с глубоким уважением к вашей семье».

Старый джентльмен не стал утруждать себя ответом на это любезное послание, он и не вспомнил о нем, после того как прочел,— покуда не увидел самого Беллармина. Сказать по правде, это был один из тех отцов, которые видят в детях лишь несчастное последствие утех своей молодости, он предпочел бы никогда и не иметь этой обузы и тем более радовался всякой возможности сбыть ее с рук. Он слыл в свете превосходнейшим отцом, будучи столь жаден, что не только в меру своих сил обирал и грабил всех вокруг, но еще и отказывал себе во всех удобствах, вплоть до самого почти необходимого,— что́ его ближние приписывали желанию скопить огромное богатство для детей; но на деле это было не так: он копил деньги только ради самих денег, а на детей смотрел, как на соперников, которые будут услаждаться с его возлюбленной, когда он сам уже не сможет ею обладать,— и он был бы счастлив, если б мог захватить ее с собой в могилу; у детей его не было даже уверенности в получении после него наследства, разве что закон и без завещания утвердит их в правах, поскольку отец ни к одному существу на земле не питает такой нежности, чтобы ради него утруждать себя составлением завещания.

К этому-то джентльмену и является Беллармин по указанному мною делу. Его особа, его выезд, его родственные связи и его поместья — все это, как показалось старику, обещало выгодную партию для его дочери. Поэтому он с большой готов-

[1] Дословно *(лат.)*.

ностью принял его предложение; но когда Беллармин вообразил, что с главным покончено, и приступил к второстепенному вопросу о приданом, тогда старый джентльмен переменил тон и сказал, что он решил «ни в коем случае не превращать брак своей дочери в торговую сделку: кто так ее любит, что готов на ней жениться, тот после его смерти найдет ее долю наследства в его сундуках; но он-де видел такие примеры нарушения дочернего долга в оплату за преждевременную щедрость родителей, что дал зарок никогда, покуда жив, не расставаться ни с единым шиллингом». Он похвалил изречение Соломона: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит дитя»,— но присовокупил, что тот мог бы равно сказать: «Кто жалеет кошелек свой, тот спасает дитя». Потом он пустился в рассуждение о невоздержанности современной молодежи, затем повернул речь на лошадей и, наконец, стал расхваливать выезд Беллармина. Сей утонченный джентльмен в другое время был бы рад немного задержаться на этом предмете, но на сей раз он жаждал поскорей вернуться к вопросу о приданом. Он сказал, что необычайно высоко ценит молодую леди и взял бы ее с меньшим приданым, чем всякую другую, но что именно из любви к ней он вынужден проявлять некоторую заботу о мирских благах: ибо он, когда удостоится чести стать ее супругом, будет просто в отчаянии, если не сможет возить ее в карете, запряженной по меньшей мере шестью лошадьми. Старый джентльмен ответил: «Довольно и четырех, и четырех довольно!» — и перешел от лошадей к невоздержанности, от невоздержанности к лошадям, пока, завершив круг, не заговорил опять о выезде Беллармина; но не успел он коснуться этой темы, как Беллармин вернул его снова к вопросу о приданом, однако без успеха,— тот мгновенно ускользнул от неприятного предмета. Наконец, влюбленный объявил, что при нынешнем состоянии своих дел, хоть он и любит Леонору превыше tout le monde [1], ему невозможно жениться на ней без приданого. На это отец выразил свое сожаление, что дочь его должна потерять столь ценную партию; впрочем, добавил он, если б и было у него такое желание, сейчас он не в состоянии дать ей ни шиллинга: он потерпел крупные убытки и вложил крупные суммы в некоторые начинания, на которые он, правда, возлагает большие надежды, но пока что они не приносят ничего; может быть позже — например, после рождения внука или иного какого-нибудь события; он, однако, не дает никаких обещаний и не заключит контракта, так как не нарушил бы своей клятвы ни для каких дочерей на свете.

Словом, милые леди, чтобы долго вас не томить, скажу вам, что Беллармин, тщетно испробовав все доводы и убеждения, какие только мог придумать, в конце концов откланялся, но не затем, чтобы вернуться к Леоноре: он поехал прямо в свое соб-

---

[1] Всего на свете *(франц.)*.

ственное именьице, а затем, не прожив там и недели, направился снова в Париж — к великому восторгу французов и к чести для английской нации.

Но из своего родового имения он сразу по приезде отправил к Леоноре посланца со следующим письмом:

«Adorable et charmante! [1]

С прискорбием имею честь сказать вам, что я не являюсь тем heureux [2], которого судьба предназначила для ваших божественных объятий. Ваш papa [3] объяснил мне это с такою politesse [4], какую не часто встретишь по сю сторону Ламанша. Вы, может быть, угадываете, каким образом он отказал мне... Ah, mon Dieu! [5] Вы, несомненно, поверите, сударыня, что я не в состоянии передать вам лично эту столь для меня печальную новость, последствия которой я попытаюсь излечить воздухом Франции... A jamais! Coeur! Ange!.. Au diable!.. [6]

Если ваш papa обяжет вас вступить в брак, мы, я надеюсь, увидимся с вами à Paris [7], а до той поры ветер, веющий оттуда, будет самым жарким dans le monde [8], ибо он будет состоять почти сплошь из моих вздохов. Adieu, ma Princesse! Ah, l'amour! [9]

Беллармин».

Не буду пытаться, леди, описывать вам, в какое состояние привело Леонору это письмо. То была бы ужасная картина, которую мне так же неприятно было бы изображать, как вам видеть. Леонора тотчас покинула места, где стала предметом пересудов и насмешек, и удалилась в тот дом, который я вам показала, когда начала свой рассказ; там она с тех пор ведет свою безрадостную жизнь; и, может быть, мы больше должны жалеть ее в несчастье, чем осуждать за поведение, в котором, вероятно, не последнюю роль сыграли происки ее тетки и к какому в ранней своей молодости девушки часто бывают так склонны вследствие излишне легкомысленного воспитания.

— За что я могла бы еще ее пожалеть,— сказала одна молодая девица в карете,— так это за утрату Горацио; а в том, что она упустила такого супруга, как Беллармин, я, право же, не вижу несчастья.

— Да, я должна признать,— говорит Слипслоп,— джентль-

---

[1] Обожаемая и прелестная (здесь и ниже — *франц.*).
[2] Счастливцем.
[3] Папаша.
[4] Учтивостью.
[5] О боже!
[6] Навеки! Сердце! Ангел! К черту...
[7] В Париже.
[8] В мире (искажено).
[9] Прощайте, моя принцесса! О любовь!

мен был не совсем чистосердечный. Но все же это жестоко: иметь двух женихов и не получить никакого мужа вовсе... Но скажите, пожалуйста, сударыня, а что сталось с этим Ворацием?

— Он до сих пор не женат,— отвечала леди,— и с таким рвением предался своему делу, что составил себе, как я слышала, очень значительное состояние. И что всего замечательнее: он, говорят, не может не вздохнуть, когда слышит имя Леоноры, и никогда не проронил ни слова ей в упрек за ее дурное обращение с ним.

ГЛАВА VII

Совсем короткая глава, в которой пастор Адамс успевает уйти довольно далеко

Леди кончила свой рассказ, и все стали ее благодарить, когда Джозеф, высунув голову в окно кареты, воскликнул:

— Хоть верьте, хоть не верьте, а это не иначе как наш пастор Адамс идет по дороге, без своей лошади.

— Право слово, он,— говорит Слипслоп,— и плачу вам два пенса, если он не позабыл лошадь в гостинице!

И в самом деле, пастор явил новый образец рассеянности: на радостях, что удалось посадить Джозефа в карету, он и не подумал о стоявшей на конюшне лошади; и, чувствуя в ногах вполне достаточную резвость, он двинулся в путь, помахивая клюкою, и держался впереди кареты, то ускоряя, то замедляя шаг, так что их все время разделяло расстояние примерно в четверть мили.

Миссис Слипслоп попросила кучера догнать его, и тот попытался, но безуспешно: чем шибче нахлестывал он лошадей, тем быстрее бежал пастор, выкрикивая временами: «Ну, ну, догоните меня, если можете», — пока, наконец, кучер не побожился, что скорей согласится догонять борзую; и, с сердцем отпустив пастору вслед два-три проклятья, он крикнул своим лошадям: «Потише, ребятки, потише!» И благовоспитанные животные немедленно подчинились.

Но будем учтивее к нашему читателю, чем кучер к миссис Слипслоп и, предоставив карете и ее пассажирам ехать своею дорогой, последуем с читателем за пастором Адамсом, который шагал и шагал, не оглядываясь, покуда, оставив карету в трех милях позади, не дошел до такого места, где если не взять крайней тропкой вправо, то едва ли возможно было сбиться с пути. Однако по этой-то тропке он и двинулся, так как обладал поистине удивительным уменьем находить такого рода единственные возможности. Отшагав по ней мили три отлогим подъемом, он вышел к вершине холма, откуда окинул взглядом пройден-

ный путь и, нигде не обнаружив кареты, вынул своего Эсхила и решил дождаться здесь ее прибытия.

Недолго он так просидел, когда нежданно его всполошил раздавшийся поблизости ружейный выстрел; пастор поднял глаза и в ста шагах от себя увидел джентльмена, который поднимал с земли только что подстреленную куропатку.

Адамс встал и явил джентльмену зрелище, которое хоть у кого вызвало бы смех: ибо ряса у него опять спустилась из-под полукафтанья и, значит, достигала колен, тогда как полы кафтана не доходили и до середины ляжек. Но джентльмен не столько позабавился, сколько изумился, увидев в таком месте такую фигуру.

Адамс, подойдя к джентльмену, спросил, много ли он настрелял.

— Очень мало,— ответил тот.

— Я вижу, сэр,— говорит Адамс,— вы сбили одну куропатку.

На что стрелок ничего не ответил и принялся заряжать ружье.

Пока ружье заряжалось, Адамс пребывал в молчании, которое он нарушил, наконец, сказав, что вечер прекрасный. Джентльмен с первого взгляда составил себе крайне нелестное мнение о незнакомце, но, заметив в руке его книгу и разглядев, что на нем ряса, несколько изменил свое суждение и со своей стороны попытался завязать разговор, сказав:

— Вы, сэр, полагаю, не из этих мест?

Адамс с готовностью поведал ему, что совершает путешествие и, пленившись прелестью вечера и живописного места, присел немного отдохнуть и поразвлечься чтением.

— Мне тоже не грех отдохнуть,— сказал стрелок,— я с полудня вышел из дому, и черт меня подери, если я видел хоть одну птицу, пока не пришел сюда.

— Так, может быть, эти места и не изобилуют дичью? — спросил Адамс.

— Да, сэр,— сказал джентльмен,— в округе стоят на постое солдаты, и они ее всю перебили.

— Вполне правдоподобно,— воскликнул Адамс,— стрелять — их ремесло!

— Да, стрелять по дичи,— ответил тот.— Но что-то я не замечал, чтоб они с тем же рвением стреляли по нашим врагам. Не нравится мне это дело под Картахеной *; случись мне быть там — клянусь богом, я бы им показал, как надо действовать. Чего стоит жизнь человека, когда ее требует отечество! Человек, который не готов пожертвовать жизнью за отечество, заслуживает виселицы, клянусь богом!

Эти слова он проговорил таким громовым голосом, таким грозным тоном и с таким свирепым лицом и красноречивыми жестами, что напугал бы капитана ополченцев во главе целой

роты; но мистер Адамс был не из пугливых: он бестрепетно объявил собеседнику, что весьма одобряет его доблесть, но порицает его пристрастие к божбе, и посоветовал ему не предаваться этой дурной привычке, без которой он мог бы сражаться столь же храбро, как Ахилл. Тем не менее пастор был в восторге от речи своего собеседника. Он сказал, что с радостью прошел бы много миль нарочно для того, чтобы встретить человека столь благородного образа мыслей, что если джентльмену угодно будет присесть, то он с великим удовольствием побеседует с ним: ибо, хоть он и священник, но и сам, будь он к тому призван, с готовностью отдал бы жизнь за родину.

Джентльмен уселся, Адамс подле него; и затем последний, как будет показано в следующей главе, начал речь, которую мы помещаем особо, ибо она представляется нам самой любопытной не только в этой книге, но, может быть, и во всякой другой.

ГЛАВА VIII

Достопримечательная речь мистера Абраама Адамса, в которой сей джентльмен выступает перед нами в политическом свете

— Уверяю вас, сэр,— говорит он, взяв джентльмена за руку,— я искренне рад встрече с таким человеком, как вы: потому что сам я хоть и бедный пастор, но, смею сказать, честный человек и не сделал бы дурного дела даже ради того, чтобы стать епископом. Да хотя мне и не выпало на долю принести столь благородную жертву, я не был обойден возможностями пострадать за дело моей совести, и я благодарю за них небо, ибо среди моих родных, хоть и не мне бы это говорить, были люди, пользовавшиеся в обществе некоторым весом. Вот, например, один мой племянник был лавочником и членом сельского управления; он был добрый малый, с детства рос на моем попечении и, я думаю, до самой своей смерти выполнял бы мою волю. Правда, может показаться чрезмерным тщеславием с моей стороны, что я корчу из себя столь важную особу,— пользуюсь, мол, таким большим влиянием на члена сельского управления,— но так обо мне думали и другие, что убедительно выявилось, когда приходский священник, при котором я раньше был младшим пастором, незадолго до выборов прислал за мною и сказал мне, что если я не хочу расстаться со своею паствой, то я должен побудить моего племянника отдать свой голос за некоего полковника Кортли *, джентльмена, о котором я до того часа никогда ничего не слышал. Я сказал, что я не властен над голосом моего племянника (прости мне, боже, это уклонение от правды!), что тот, я надеюсь, будет голосовать согласно своей

совести и что я ни в коем случае не попытаюсь влиять на него в обратном смысле. Священник сказал мне тогда, что я напрасно увиливаю: ему известно, что я уже говорил с племянником в пользу сквайра Фикла *, моего соседа; и это была правда, ибо наша церковь в то время находилась под угрозой и все добрые люди жили, опасаясь, сами не зная чего. Тогда я смело ответил, что он оскорбляет меня, если, зная, что я уже дал обещание, предлагает мне его нарушить. Не вдаваясь в излишние подробности, скажу: я, а за мной и мой племянник упорно держали сторону сквайра, и тот был избран по сути дела благодаря поддержке; а я, таким образом, потерял свою должность. Но вы, может быть, думаете, сэр, что сквайр хоть раз обмолвился словечком о церкви? Ne verbum quidem, ut ita dicam [1], а через два года он прошел в парламент и с тех пор живет в Лондоне, где, как мне передавали (но боже меня упаси поверить этому), он даже никогда и не ходит в церковь. Я, сэр, довольно долго оставался без должности и однажды прожил целый месяц с надгробного слова, которое сказал вместо одного священника, потому что тот захворал; но это между прочим. Наконец, когда мистер Фикл переехал в Лондон, снова стал баллотироваться полковник Кортли; и кто, подумали бы вы, поддержал его, как не мистер Фикл? Тот самый мистер Фикл, который раньше говорил мне, что полковник — враг церкви и государства, теперь имел смелость хлопотать за него перед моим племянником. А сам полковник предлагал мне место священника в своем полку, но я отказался в пользу сэра Оливера Харти *, который говорил нам, что пожертвует всем для своего отечества; и я верю, что он и вправду пожертвовал бы всем, кроме разве охоты, к которой так был привержен, что за пять лет только два раза ездил в Лондон; и в одну из этих двух поездок, говорили мне, он даже и близко не подошел к зданию парламента. Все же это был достойный человек и лучший мой друг на свете: он выхлопотал мне у епископа восстановление в должности и дал мне восемь фунтов из своего кармана, чтобы я мог купить себе костюм и рясу и обставить свой дом. Мы стояли за него горой, покуда он был жив, но прожил он недолго. После его смерти ко мне обращались с новыми ходатайствами: потому что все на свете знали о моем влиянии на доброго моего племянника, который был теперь в управлении первым человеком; и сэр Томас Буби, купив поместье, которое принадлежало раньше сэру Оливеру, выставил свою кандидатуру. Тогда он был молодым человеком, только что вернулся из своих заморских странствий, и мне отрадно было слушать его речи о делах, о коих сам я ничего не знал. Будь у меня тысяча голосов, я бы все их отдал за него. Я расположил своего племянника в его пользу; его избрали, и он был превосходным чле-

[2] Ни одним словом, так сказать *(лат.)*.

ном парламента. Мне говорили, что он держал речи по часу и более — превосходные речи, но ему никогда не удавалось склонить парламент к своему мнению. Non omnia possumus omnes [1]. Он, бедный, обещал мне приход, и я не сомневаюсь, что получил бы его, если бы не одна случайная помеха, состоявшая в том, что миледи уже раньше пообещала этот приход другому — без ведома своего супруга. Правда, я узнал об этом много позже: мой племянник, умерший на месяц раньше, чем старый священник того прихода, всегда говорил мне, чтобы я ждал, ничего не опасаясь. А с того времени сэр Томас был всегда так завален, бедный, делами, что никак не находил времени повидаться со мною. Я думаю, это происходило отчасти и по вине миледи, которая считала мою одежду недостаточно хорошей для знати, собиравшейся за ее столом. Однакоже я должен отдать ему справедливость,— в неблагодарности его нельзя обвинить: его кухня, равно как и погреб были всегда открыты для меня; не раз после воскресной службы,— а я проповедую в четырех церквах,— доводилось мне подкрепить свой дух стаканом его эля.

По смерти моего племянника управление перешло в другие руки, и я уже не такой влиятельный человек, каким был раньше. И нет у меня больше таланта, чтоб отдать его на пользу родине. А кому ничего не дано, с того ничего и не спросится. Однако в урочную пору, как, например, перед выборами, мне случалось иногда бросать в своих проповедях кое-какие намеки, которые, как я имел удовольствие слышать, бывают не совсем неприятны сэру Томасу и другим честным джентльменам в нашей округе; и все они уже пять лет обещают мне исхлопотать посвящение в сан для одного из моих сыновей; ему сейчас около тридцати лет, он обладает бесконечным запасом знаний и ведет, благодарение небу, безукоризненную жизнь,— но епископ не согласен посвятить его в сан, так как он никогда не учился в университете. Да и то правда, никакая осмотрительность не может быть чрезмерной при допущении кого-либо к служению церкви,— хоть я и надеюсь, что сын мой никогда не посрамил бы своего сана: он все свои силы отдавал бы служению богу и родине, как до него старался это делать я; и он бы отдал свою жизнь, когда бы это потребовалось от него. Я убежден, что воспитал его в должных правилах,— так что я исполнил свой долг и в этом отношении не страшусь держать ответ; в сыне я уверен: он хороший мальчик; и если провидение судило ему стать таким же влиятельным человеком в общественном смысле, каким был некогда его отец, то я могу за него отвечать: свой талант он употребит так же честно, как это делал я.

---

[1] Не все способны на всё *(лат.)*.

ГЛАВА IX,

в которой джентльмен витийствует о геройстве и доблести, покуда несчастный случай не обрывает его речь

Джентльмен горячо похвалил мистера Адамса за его благие решения и высказал надежду, что и сын пойдет по его стопам, добавив, что, не будь он готов умереть за Англию, он был бы не достоин в ней жить. «Человека, который не пожертвовал бы жизнью за родину, я бы застрелил так же спокойно, как .....»

— Сэр,— продолжал он,— одного своего племянника, который служит в армии, я лишил наследства за то, что он не захотел перевестись в другой полк и отправиться в Вест-Индию. Я думаю, этот мерзавец — просто трус, хоть он и говорил в свое оправдание, будто он влюблен. Я таких бездельников, сэр, вешал бы всех подряд, всех подряд!

Адамс возразил, что это было бы слишком сурово, что люди не сами себя создают; и если страх имеет слишком большую власть над человеком, то такого человека следует скорее жалеть, чем гнушаться им; что разум и время, возможно, научат его подавлять страх. Он говорил, что человек может оказаться в одном случае трусом — и смелым в другом.

— Гомер,— сказал он,— так хорошо понимавший природу и писавший с нее, показал нам это: Парис у него сражается, а Гектор бежит *; и убедительный пример того же нам дает история более поздних веков: так, не далее как в семьсот пятом году от основания Рима, великий Помпей *, который выиграл так много битв и был удостоен стольких триумфов, он, чьей доблести многие авторы, и в особенности Цицерон и Патеркул *, возносили такие хвалы,— этот самый Помпей оставил Фарсальское поле, прежде нежели сражение было проиграно, и удалился в свой шатер, где сидел, как самый малодушный негодяй, в приступе отчаяния и уступил Цезарю победу, которою решалось владычество над миром. Я не так много странствовал по истории новых веков — скажем, последней тысячи лет,— но те, кто с ней лучше знакомы, могут, несомненно, привести вам подобные же примеры.

Под конец он выразил надежду, что джентльмен, если и принял столь поспешные меры в отношении своего племянника, все же одумается и отменит их. Джентльмен стал отвечать с большим жаром и долго говорил о мужестве и родине, пока, наконец, заметив, что смеркается, не спросил Адамса, где он думает ночевать. Тот сказал, что поджидает здесь почтовую карету.

— Почтовую карету, сэр? — говорит джентльмен.— Они все давно проехали. Последнюю вы можете еще разглядеть вдали — она милях в трех впереди нас.

— А ведь и правда — она! — воскликнул Адамс.— Значит, мне надо поспешить за каретой.

Джентльмен объяснил ему, что едва ли он сможет нагнать карету, и если он не знает дороги, то ему грозит опасность заблудиться на взгорье, потому что скоро совсем стемнеет и он, может статься, проплутает всю ночь, а наутро окажется дальше, чем был, от цели своего путешествия. Поэтому он предложил пастору дойти с ним вместе до его дома; ему при этом почти не придется уклониться от своей дороги, а там, в приходе, найдется, конечно, какой-нибудь деревенский парень, который за шесть пенсов проводит его до того города, куда он направляется. Адамс принял предложение, и они двинулись в путь, причем джентльмен снова завел речь о мужестве и о том, какой это для нас позор, если мы не готовы в любой час отдать жизнь за родину. Ночь захватила их как раз в то время, когда они подходили к заросли кустов, откуда вдруг донесся до их слуха отчаянный женский крик. Адамс рванулся выхватить ружье из рук своего спутника.

— Что вы затеваете? — молвил тот.

— Что? — говорит Адамс.— Спешу на выручку несчастной, которую убивают негодяи.

— Надеюсь, вы не такой сумасшедший,— говорит джентльмен, весь дрожа,— вы подумали о том, что это ружье заряжено только дробью, тогда как разбойники, вероятно, вооружены пистолетами с пулями? Здесь наше дело сторона; давайте-ка прибавим шагу да уберемтесь как можно скорей с дороги, не то мы и сами попадем им в руки.

Так как крик усилился, Адамс не стал отвечать, а щелкнул пальцами и, размахивая клюкой, кинулся к месту, откуда слышался голос; меж тем как муж доблести с той же готовностью направился к своему дому, куда и поспешил укрыться, ни разу не оглянувшись. Там мы и оставим его любоваться собственной своею храбростью и осуждать недостаток ее у других и вернемся к доброму Адамсу, который, подошедши к месту, откуда доносился шум, увидел женщину в борьбе с мужчиной, повалившим ее наземь и почти совсем уже осилившим ее. Не было нужды в великих способностях мистера Адамса, чтобы с первого же взгляда составить правильное суждение о происходящем. Поэтому несчастной не пришлось его молить, чтобы он за нее вступился; подняв клюку, он тотчас нацелил удар в ту часть головы насильника, где, по мнению древних, у некоторых людей помещаются мозги, которые он, несомненно бы, вышиб оттуда, если бы природа (которая, как замечено мудрецами, снабжает всякую тварь тем, в чем она наиболее нуждается) предусмотрительно не позаботилась (как это она делает всегда по отноше-

нию к тем, кого предназначает для битв) сделать кость в этой части его головы втрое толще, чем у тех рядовых людей, коим предначертано проявлять способности, в просторечии именуемые умственными, и у которых, следовательно, поскольку им необходимы мозги, она должна оставить для таковых несколько больший простор в полости черепа; поскольку же эта принадлежность совершенно бесполезна лицам иного призвания, то у нее есть возможность уплотнить у них затылочную кость, делая ее, таким образом, не столь восприимчивой ко всякому воздействию и менее подверженной размозжению или пролому; и в самом деле, у некоторых лиц, которым предопределено возглавлять армии и империи, природа, как полагают, делает иногда эту часть головы совершенно несокрушимой.

Подобно тому как боевой петух, занятый любовной утехой с курицей, если случится ему увидеть рядом другого петуха, тотчас бросает свою самку и выходит навстречу сопернику,— так и насильник, учуяв клюку, тотчас отпрянул от женщины, спеша напасть на мужчину. У него не было иного оружия, кроме того, каким снабдила его природа. Однако он сжал кулак и метнул его Адамсу в грудь, в ту ее часть, где помещается сердце. Адамс пошатнулся под мощным этим ударом, затем отшвырнул клюку, сжал пальцы в тот кулак, который нами уже упоминался ранее, и обрушил бы всю его мощь на грудь своего противника, если бы тот не перехватил его проворно левой рукою, в то же время устремив свою голову (этой частью тела некоторые современные герои из низшего сословия пользуются, как древние тараном, в качестве грозного оружия: лишнее основание для нас подивиться мудрости природы, соорудившей ее из таких прочных материалов),— боднув, говорю я, Адамса головой в живот, он повалил его навзничь и, пренебрегая законами единоборства, по которым он должен бы воздержаться от дальнейшего нападения на своего врага, покуда тот не встанет снова на ноги, набросился на него, придавил его к земле левой рукой и обрабатывал правой его тело, пока не устал и не пришел к заключению, что он (говоря языком драки) «сделал свое дело», или, на языке поэзии, «что он послал его в царство теней»; а на простом английском языке — «что тот мертв».

Но Адамс, который не был цыпленком и умел сносить побои не хуже любого кулачного бойца, лежал неподвижно только потому, что ждал удобного случая, и теперь, видя, что противник потрудился до одышки, он пустил в ход сразу всю свою силу — и так успешно, что опрокинул того, а сам оказался наверху; и тут, упершись коленом ему в грудь, он возвестил с упоением в голосе: «Теперь мой черед!» — и после нескольких минут непрерывной работы нанес молодцу такой ловкий удар под нижнюю челюсть, что тот вытянулся и затих. Адамс стал

опасаться, не перестарался ли он в своем усердии: ибо он не раз уверял, что скорбел бы, когда бы на него пала кровь человека, пусть даже и злодея.

Адамс вскочил и громко окликнул молодую женщину.

— Не унывай, милая девица,— сказал он,— тебе больше не грозит опасность от твоего обидчика, который, боюсь я, лежит мертвый у моих ног; но да простит мне бог сотворенное мною в защиту невинности!

Бедная девушка сперва долго собиралась с силами, чтобы подняться, а потом, пока шла схватка, стояла вся дрожа и, скованная ужасом, не могла даже убежать; но теперь, увидев, что ее заступник одержал верх, она робко подошла к нему, побаиваясь несколько и своего избавителя; однако его учтивая повадка и ласковый разговор быстро победили ее страх.

Они стояли вдвоем над телом, недвижно распростертым на земле, причем Адамс гораздо больше, чем женщина, жаждал уловить в нем признаки жизни; и тут он озабоченно попросил ее рассказать ему: «какое несчастье привело ее в эту позднюю ночную пору в такое безлюдное место?» Она ему поведала, что держала путь в Лондон и случайно встретилась с тем человеком, от которого он ее избавил; незнакомец сказал ей, что направляется туда же, и напросился ей в попутчики; не заподозрив никакого зла, она пошла с ним вместе; потом он сказал ей, что неподалеку есть гостиница, где она может устроиться на ночлег, и что он ее туда проводит более близким путем, чем если идти по дороге. Отнесись она даже к нему с недоверием (а этого не было, он говорил так любезно), то все равно на этом пустынном взгорье, одна в темноте, она никакими человеческими средствами не могла бы избавиться от него; и поэтому она положилась на волю провидения и шла, ожидая с минуты на минуту, что они подойдут к гостинице; вдруг около этих кустов спутник велел ей остановиться и после нескольких грубых поцелуев, которым она сопротивлялась, и недолгих уговоров, которые отвергла, он прибег к силе и попытался исполнить свой злой умысел, когда (благодарение богу!) явился он, ее заступник, и помешал этому. Адамс с одобрением выслушал слова девицы о том, как она положилась на провидение, и сказал ей, что, несомненно, только провидение послало его на выручку ей в награду за эту веру. Правда, он предпочел бы, чтобы тот злосчастный грешник не лишился жизни от его руки, но на все воля божья; он надеется, сказал Адамс, что чистота его намерения послужит ему оправданием перед судом вечным, а ее свидетельство обелит его перед судом земным. Тут он умолк и начал раздумывать, что будет правильнее: укрыться или же предать себя в руки правосудия? Чем окончились эти размышления, читатель увидит в следующей главе.

ГЛАВА X,

в которой повествуется о неожиданной развязке предыдущего приключения, вовлекшей Адамса в новые бедствия; и о том, кем была женщина, обязанная сохранением своей чистоты его победоносной руке

Молчание Адамса в сочетании с ночной темнотою и безлюдьем вселило великий страх в душу молодой женщины: она уже готова была видеть в своем избавителе столь же опасного врага, как тот, от кого он ее избавил; и так как в сумеречном свете она не могла распознать ни возраст Адамса, ни доброту, отраженную в чертах его лица, то она заподозрила, что он обошелся с нею, как иные честнейшие люди обходятся со своею отчизной: спас ее от обидчика, чтобы самому обидеть. Такие подозрения возбудило в ней молчание пастора; но они были поистине напрасны. Он стоял над поверженным врагом, мудро взвешивая в уме своем доводы, какие можно было привести в пользу каждой из двух возможностей, указанных в последней главе, и склонялся то к одной, то к другой: потому что обе казались ему столь равно разумными и столь равно опасными, что он, вероятно, до скончания дней своих — или, скажем, до скончания двух или трех дней — простоял бы на месте, покуда принял бы решение. Наконец, он поднял глаза и узрел вдалеке свет, к которому тотчас обратился с возгласом: «Heus tu, путник, heus tu!» [1] Затем он услышал голоса и увидел, что свет приближается. Люди, несшие фонарь, начали одни смеяться, другие петь, а иные орать; и тут женщина выказала некоторый страх (свои опасения касательно самого пастора она скрывала), но Адамс ей сказал:

— Не унывай, девица, и вверь себя тому самому провидению, которое доселе ограждало тебя и никогда не оставит невинного.

Оказалось, читатель, что к месту происшествия приближалась ватага парней, направлявшихся к этим кустам в поисках развлечения, которое зовется у них «хлопаньем птиц». Ежели ты в своем невежестве не знаешь, что это такое (как этого можно ждать, если ты никогда не забирался в своих странствиях далее Кенсингтона, Айлингтона, Гакнея или Боро *), то я могу тебя просветить: держат сеть перед фонарем и в то же время бьют по кустам; птицы, вспугнутые среди сна, кидаются на огонь и попадают таким образом в сеть. Адамс тотчас рассказал парням, что произошло, и попросил их поднести фонарь к лицу сраженного им противника, так как он, Адамс, опасается,

---

[1] Эй, ты! *(лат.)*

не оказался ли его удар роковым. Но пастор напрасно льстил себе такими страхами: насильник, хоть и был оглушен последней доставшейся ему затрещиной, давно уже пришел в чувство и, поняв, что освободился от Адамса, стал прислушиваться к разговору между ним и молодою женщиной, терпеливо дожидаясь их ухода, чтобы и самому удалиться, поскольку он уже не надеялся добиться вожделенного, и к тому же мистер Адамс почти так же хорошо охладил его пыл, как то могла бы сделать сама молодая женщина, достигни он венца своих желаний. Этот человек, не терявший духа ни в каких невзгодах, решил, что может сыграть роль повеселее, чем роль мертвеца; и вот, в тот миг, когда поднесли к его лицу фонарь, он вскочил на ноги и, схватив Адамса, закричал:

— Нет, погодяй, я не умер, хоть ты и твоя подлая шлюха свободно могли почесть меня мертвым после тех зверских жестокостей, какие вы надо мной учинили! Джентльмены,— сказал он,— вы во-время подоспели на помощь бедному путнику, который иначе был бы ограблен и убит этими мерзавцами: они заманили меня сюда с большой дороги и, напав на меня вдвоем, обошлись со мною вот так, как вы видите.

Адамс хотел ответить, когда один из парней крикнул:

— Черт бы их побрал! Потащим обоих к судье.

Бедная женщина затряслась от страха, а пастор возвысил было голос, но тщетно. Трое или четверо крепко держали его, кто-то поднес к его лицу фонарь, и все согласились в том, что никогда не видывали более злодейского лица, а один из них, некий адвокатский писец, объявил, что он, «несомненно, видел этого человека на скамье подсудимых». Что до женщины, то у нее растрепались волосы в борьбе и текла из носу кровь, так что не разобрать было — хороша она или безобразна; но они сказали, что ее страх явно выдает ее вину. Когда же у нее, как и у Адамса, обшарили карманы в поисках денег, якобы отнятых у пострадавшего, то при ней нашли кошелек и в нем немного золота, что их еще сильнее убедило, в особенности когда насильник выразил готовность присягнуть, что деньги эти его. При мистере Адамсе было обнаружено всего лишь полпенни. Это, сказал писец, сильно предрасполагало к догадке, что он — закоснелый преступник, судя по тому, как он хитро передал всю добычу женщине. Остальные охотно присоединились к его мнению.

Предвкушая от этого больше развлечения, чем от ловли птиц, парни оставили свое первоначальное намерение и единодушно решили всем вместе отправиться с преступниками к судье. Уведомленные о том, какой отчаянной личностью был Адамс, они связали ему руки за спиной и, спрятав свои сети в кустах, фонарь же неся впереди, поместили двух своих пленников в авангарде и двинулись в поход, причем Адамс не только

безропотно покорился судьбе, но еще утешал и подбадривал свою спутницу в ее страданиях.

Дорогой писец сообщил остальным, что это похождение будет для них очень доходным, так как каждый из их компании вправе получить соответственную долю из восьмидесяти фунтов стерлингов за поимку разбойников. Это вызвало спор о степени участия каждого в поимке: один настаивал, что должен получить самую большую часть, так как он первый схватил Адамса; другой требовал двойной доли за то, что первым поднес фонарь к лицу лежавшего на земле,— а через это, сказал он, все и открылось. Писец притязал на четыре пятых награды, потому что это он предложил обыскать преступников, равно как и повести их к судье; причем, сказал он, по строгой законности, награда причитается ему вся целиком. Наконец, договорились разобрать это притязание после, пока же все, повидимому, соглашались, что писец вправе получить половину. Потом заспорили о том, сколько денег можно уделить пареньку, который занят был только тем, что держал сети. Он скромно объяснил, что не рассчитывает на крупную долю, но все же надеется, что кое-что перепадет и ему: он просит принять в соображение, что они поручили ему заботу о своих сетях и только это помешало ему наравне с другими проявить свое рвение в захвате разбойников (ибо так они именовали этих безвинных людей); а не будь он занят сетями, их должен был бы держать кто-нибудь еще; в заключение, однако, он добавил, что удовольствуется «самой что ни на есть маленькой долей и примет ее как доброе даяние, а не в уплату за свою заслугу». Но его единодушно исключили вовсе из дележа, а писец еще поклялся, что «если наглецу дадут хоть один шиллинг, то с остальным пусть управляются, как им угодно, потому что он в таком случае устранится от дела». Спор этот велся так горячо и так безраздельно завладел вниманием всей компании, что ловкий и проворный вор, попади он в положение Адамса, позаботился бы о том, чтоб избавить на этот вечер судью от беспокойства. В самом деле, для побега не требовалось ловкости какого-нибудь Шеппарда *, тем более что и ночная тьма благоприятствовала бы ему; но Адамс больше полагался на свою невинность, чем на пятки, и, не помышляя ни о побеге, который был легок, ни о сопротивлении (которое было невозможно, так как тут было шесть дюжих молодцов, да еще впридачу сам доподлинный преступник), он шел в полном смирении туда, куда его считали нужным вести.

В пути Адамс то и дело разражался восклицаниями, и, наконец, когда ему вспомнился бедный Джозеф Эндрус, он не сдержался и произнес со вздохом его имя; услышав это, его подруга по несчастью взволнованно проговорила

— Этот голос мне, право, знаком; сэр, неужели вы мистер Абраам Адамс?

— Да, милая девица,— говорит он,— так меня зовут; и твой голос тоже звучит для меня так знакомо, что я, несомненно, слышал его раньше.

— Ах, сэр,— говорит она,— вы не помните ли бедную Фанни?

— Как, Фанни?! — молвил Адамс.— Я тебя отлично помню. Что могло привести тебя сюда?

— Я говорила вам, сэр,— отвечала она,— что я держала путь в Лондон. Но мне послышалось, что вы назвали Джозефа Эндруса; скажите, пожалуйста, что с ним сейчас?

— Я с ним расстался, дитя мое, сегодня после обеда,— сказал Адамс,— он едет в почтовой карете в наш приход, где рассчитывает повидать тебя.

— Повидать меня! Ах, сэр,— отвечает Фанни,— вы, конечно, смеетесь надо мной: с чего он вдруг пожелает меня повидать?

— И ты это спрашиваешь? — возражает Адамс.— Надеюсь, Фанни, ты не грешишь непостоянством? Поверь мне, Джозеф заслуживает лучшего.

— Ах, мистер Адамс! — молвила она.— Что мне мистер Джозеф? Право, если я с ним когда и разговаривала, так только как слуга со слугою.

— Мне прискорбно это слышать,— сказал Адамс: — целомудренной любви к молодому человеку женщина стыдиться не должна. Либо ты говоришь мне неправду, либо ты не верна достойнейшему юноше.

Адамс рассказал ей затем, что произошло в гостинице, и она слушала очень внимательно; и часто у нее вырывался вздох, сколько ни старалась она подавить его; не могла воздержаться и от тысячи вопросов,— что открыло бы ее тщательно скрываемую любовь кому угодно, кроме Адамса, который никогда не заглядывал в человека глубже, чем тот сам допускал. На деле же Фанни услышала о несчастье с Джозефом от одного из слуг при той карете, которая, как мы упоминали, останавливалась в гостинице, когда бедный юноша был прикован к постели; и, недодоив корову, она взяла подмышку узелок с одеждой, положила в кошелек все деньги, какие у нее нашлись, и, ни с кем не посоветовавшись, тотчас отправилась в путь, устремляясь к тому, кого, несмотря на робость, выказанную в разговоре с пастором, любила с невыразимой силой и притом самой чистой и самой нежной любовью. А эту робость мы даже не дадим себе труда оправдывать, полагая, что она лишь расположит в пользу девушки любую из наших читательниц и не слишком удивит тех из читателей, кто хорошо знаком с юными представительницами слабого пола.

ГЛАВА XI

Что с ними произошло у судьи. Глава, преисполненная учености

Спутники их были так увлечены горячим спором о разделе награды за поимку неповинных людей, что совсем не прислушивались к их разговору. Но вот они подошли к дому судьи и послали одного из слуг известить его честь, что они поймали двух разбойников и привели их к нему. Судья, только что воротившийся с лисьей травли и еще не отобедавший, велел свести пойманных на конюшню, куда за ними повалили толпой все слуги в доме и народ, сбежавшийся со всей округи поглядеть на вора, будто это было необычайное зрелище или будто вор отличается с виду от прочих людей.

Судья, изрядно выпив и повеселев, вспомнил о пойманных и, сказав своим сотрапезникам, что будет, пожалуй, забавно полюбоваться на них, приказал привести их пред свое лицо. Не успели они вступить в зал, как он принялся распекать их, говоря, что случаи разбоя на большой дороге до того участились, что люди не могут спокойно спать по ночам, и завернл их, что они будут осуждены, для острастки другим, на ближайшей сессии. Судья довольно долго изливался в этом духе, пока его секретарь не напомнил ему, наконец, что не лишним было бы снять свидетельские показания. Судья велел ему заняться этим, добавив, что сам он тем часом раскурит трубку. Покуда секретарь усердно записывал показания молодца, выдававшего себя за ограбленного, судья столь же усердно подтрунивал над бедной Фанни, в чем от него не отставали все его застольные друзья. Один спросил: неужели ей предстоит быть осужденной ради какого-то рыцаря с большой дороги? Другой шепнул ей на ухо, что если она еще не обзавелась животом, то он к ее услугам. Третий сказал, что она, несомненно, в родстве с Турпином *. На это один из сотрапезников, великий остроумец, тряся головой и сам трясясь от смеха, возразил, что, по его мнению, она скорее в близкой связи с Турписом *,— что вызвало общий хохот. Так они долго изощрялись в шутках над бедной девушкой, когда кто-то из гостей углядел высунувшуюся у Адамса из-под его полукафтанья рясу и вскричал:

— Что такое! Пастор?

— Как, любезный,— говорит судья,— вы выходите грабить в облачении священника? Позвольте мне вам сказать, что ваша одежда не даст вам права рассчитывать на неподсудность светскому суду.

— Да,— сказал остроумец,— из высоких прав ему предоставлено будет одно: быть вздернутым высоко над головами людей,— на что последовал новый взрыв хохота.

И тогда остроумец, видя, что его шутки имеют успех, взыграл духом и, обратившись к Адамсу, вызвал его на фехтова-

ние стихами, а чтоб его раззадорить, сам сделал первый выпад и произнес:

Molle meum levibusque cord est vilebile telis[1].

Адамс, бросив на него неизъяснимо презрительный взгляд, сказал, что он заслуживает плетки за свое произношение.

— А вы чего заслуживаете, доктор,— возразил остроумец,— если не умеете ответить с первого раза? Хорошо, я подам за тебя строку, тупая голова,— на «S»:

Si licet, ut fulvum spectatur in ignibus haurum[2].

— Как, и на «М» он не может? Хорош пастор! Что же ты не догадался украсть заодно с рясой немного пасторской латыни?

— Если б он и догадался,— сказал тогда другой из сотрапезников,— вы все равно пришлись бы ему не по зубам; я помню, в колледже вы были сущим дьяволом в этой игре. Как вы, бывало, ловили свежего человека! Из тех же, кто вас знал, никто не смел с вами состязаться.

— Теперь-то я все это перезабыл,— вскричал остроумец,— а раньше, верно, справлялся не худо... Позвольте, на чем же я кончил? На «М»... так... мда...

Mars, Bacchus, Apollo, virorum...[3]

Да, в былое время, я умел это делать неплохо...

— Э! Шут вас унеси, вы и сейчас отлично справляетесь,— сказал его приятель,— во всей Англии вас никто не перешибет.

Больше Адамс не мог стерпеть.

— Друг,— сказал он,— у меня есть восьмилетний сын, который подсказал бы тебе, что последний стих звучит так:

Ut sunt Divorum[4], Mars, Bacchus, Apollo, virorum.

— Спорю с тобой на гинею,— сказал остроумец, бросая монету на стол.

— И я с вами вполовину! — воскликнул второй.

— Идет! — ответил Адамс, но, сунув руку в карман, вынужден был пойти на попятный и сознаться, что у него нет при себе денег, что вызвало общий смех и утвердило торжество его противника, столь же неумеренное, как и хвалы, которыми венчало его все общество, утверждая, что Адамсу следовало походить подольше в школу, перед тем как идти на состязание в латыни с этим джентльменом.

---

[1] Нежно сердце мое и легкой стрелой уязвимо *(лат.)*. (Овидий, «Героиды».) В передаче этого человека стихи здесь, как и дальше, сильно искажены.

[2] Так же как мы на огне проверяем желтое злато *(лат.)*. (Овидий, «Скорбные элегии».)

[3] Марс, Вакх, Аполлон, мужей... *(лат.)*

[4] Подобно тому, как божественных *(лат.)*.

Секретарь между тем снял показания как с того молодца, так и с тех, кто захватил обвиняемых, и положил записи пред судьей, который привел всех свидетелей к присяге и, не прочитав ни строчки, приказал секретарю написать приказ об аресте.

Тогда Адамс высказал надежду, что его не осудят, не выслушав.

— Нет, нет,— воскликнул судья,— когда вы явитесь в суд, вас спросят, что вы можете сказать в свою защиту, а сейчас мы вас еще не судим, я только отправляю вас в тюрьму; если вы на сессии докажете вашу невиновность, вас оправдают за отсутствием улик и отпустят, не причинив вам вреда.

— Разве же это не наказание, сэр, безвинно просидеть несколько месяцев в тюрьме? — вскричал Адамс.— Я прошу вас хотя бы выслушать меня перед тем, как вы подпишите приказ.

— Что путного можете вы сказать,— говорит судья,— разве тут не все черным по белому против вас? Должен вам заметить, что вы очень назойливый человек, если позволяете себе отнимать у меня столько времени. А ну-ка, поторапливайтесь с приказом!

Но тут секретарь сообщил судье, что среди прочих подозрительных предметов, найденных в кармане у Адамса (перочинный нож и прочее), при нем обнаружена книга, написанная, как он подозревает, шифром: ибо никто не смог прочесть в ней ни слова.

— Эге,— говорит судья,— молодец-то может еще оказаться не просто грабителем, он, чего доброго, в заговоре против правительства! Давай-ка сюда книгу.

И тут явилась на сцену бедная рукопись Эсхила, собственноручно переписанная Адамсом. Поглядев на нее, судья покачал головой и, обернувшись к арестованному, спросил, что означают эти шифры.

— Шифры? — ответил Адамс,— да это же Эсхил в рукописи.

— Кто? Кто? — сказал судья.

— Эсхил,— повторил Адамс.

— Иностранное имя! — вскричал секретарь.

— Скорей, сдается мне, вымышленное,— сказал судья.

Кто-то из гостей заметил, что письмо сильно походит на греческое.

— Греческое? — сказал судья.— Что же тут написано?

— Да нет,— говорит тот,— я не утверждаю безусловно, что это так: уж очень я давно не имел дела с греческим... Вот кто,— добавил он, обратясь к случившемуся за столом приходскому пастору,— скажет нам сразу.

Пастор взял книгу, надел очки, напустил на себя важность и, пробормотав сперва несколько слов про себя, произнес вслух:

— Да, это в самом деле греческая рукопись, очень древняя

и ценная. Не сомневаюсь, что она украдена у того же священника, у которого негодяй взял рясу.

— А что он, мерзавец, разумеет под своим Эсхилом? — говорит судья.

— Э-э,— сказал доктор с презрительной усмешкой,— вы думаете, он что-нибудь смыслит в этой книге? Эсхил! Хо-хо-хо!.. Теперь я вижу, что это такое: рукопись одного из отцов церкви. Я знаю одного лорда, который даст хорошие деньги за этакую древнюю штучку... Ну да, вопросы и ответы. Начинается с катехизиса на греческом языке. Н-да... мда... Pollaki toi [1]... Как твое имя?

— Да, как имя? — говорит судья Адамсу.

А тот отвечает:

— Я же вам сказал и повторяю: это Эсхил!

— Отлично! — восклицает судья.— Пишите приказ об аресте мистера Эсхила. Я вам покажу, как меня дурачить вымышленными именами!

Один из присутствующих, приглядевшись к Адамсу, спросил, не знает ли он леди Буби,— на что Адамс, тотчас вспомнив его, ответил в радостном волнении:

— О сквайр, это вы? Вы, я надеюсь, скажете его чести, что я не виновен?

— Я поистине могу сказать,— отвечает сквайр,— что я крайне удивлен, видя вас в таком положении.— И, отнесшись затем к судье, он добавил: — Сэр, уверяю вас, мистер Адамс не только по рясе, но и на деле священник, и к тому же джентльмен, пользующийся самой доброй славой Я вас прошу уделить еще немного внимания его делу, потому что я уверен в его невиновности.

— Да нет же,— говорит судья,— если он джентльмен и вы уверены, что он не виновен, то я не собираюсь сажать его в тюрьму, вот уж нет! Мы посадим только женщину, а джентльмена отпустим, вы возьмете его на поруки. Загляните в книгу, секретарь, и посмотрите, как это берут на поруки, живо... да напишите поскорей приказ об аресте на эту женщину.

— Сэр,— воскликнул Адамс,— уверяю вас, она так же безвинна, как и я!

— Возможно,— сказал сквайр,— что тут произошло недоразумение; мы, может быть, послушаем, что нам расскажет мистер Адамс?

— С превеликим удовольствием!— ответил судья.— И предложим джентльмену бокал — смочить горло перед тем, как он начнет. Я не хуже всякого другого знаю, как обходиться с джентльменами. Никто не скажет, чтобы я хоть раз, с тех пор как стал судьей, засадил в тюрьму джентльмена.

Адамс начал свой рассказ, и, хотя он вел его очень про-

---

[1] Часть греческой фразы, обозначающая: часто тебе...

странно, его не перебивали; только судья несколько раз произносил свои «эге!» и «ага!» да просил иногда повторить те подробности, какие казались ему наиболее существенными. Когда Адамс кончил, судья, на основании рекомендации сквайра поверив голословному его заявлению — вопреки обратным показаниям, данным под присягой,— начал щедро сыпать «плутов» и «мерзавцев» по адресу истца и приказал привести его,— но напрасно: истец, давно поняв, какой оборот принимает дело, потихонечку улизнул, не дожидаясь исхода. Тут судья пришел в ярый гнев, и его с трудом убедили не сажать в тюрьму безвинных простаков, введенных, как и сам он, в обман. Пусть, кричал он, подкрепляя свои посулы божбой, пусть они разыщут того молодца, виновного в клевете, и приведут его к нему не позже как через два дня,— или он их всех отдаст под суд за их проделки! Они пообещали приложить к розыскам все усердие и были отпущены. Потом судья настоял, чтобы мистер Адамс сел за стол и выпил с ним чарочку; а приходский пастор вернул ему его рукопись, не проронив ни слова,— и Адамс, ясно видевший его невежественность, не стал его изобличать. Фанни же по собственной ее просьбе была поручена заботам одной из горничных, которая помогала ей умыться и переодеться.

Недолго просидела компания за столом, как ее потревожил отчаянный шум из наружного помещения, где люди, приведшие Адамса и Фанни, угощались, по обычаю дома, крепким пивом судьи. Они все сцепились между собой и немилосердно тузили друг друга. Судья самолично вышел к ним, и его почтенное присутствие быстро положило конец потасовке. Вернувшись к гостям, он рассказал, что драка была вызвана не чем иным, как спором о том, кому из них, если бы Адамса засадили, причиталась бы наибольшая доля в награде за его поимку. Все общество рассмеялось, и только Адамс, вынув трубку изо рта, глубоко вздохнул и сказал, что ему прискорбно видеть в людях такую склонность к сваре и что ему вспомнилась несколько сходная с этим история в одном из приходов, где он справляет требы.

— Там,— продолжал он,— трое юношей соревновались между собой на должность причетника, которую я решил, поскольку это от меня зависело, отдать сообразно заслугам, а именно: предоставить ее тому из них, кто был сильнее других в искусстве запевать псалмы. И вот, как только причетника утвердили в должности, между двумя кандидатами, оставшимися не у дел, возникла пря о том, на кого из них пал бы мой выбор, если бы соискателями выступали только они двое. Спор их часто смущал молящихся и вносил разноголосицу в псалмопение, так что я в конце концов был вынужден предложить им обоим молчать. Но увы — дух свары был неугомонен; и, не находя уже выхода в пении, он теперь стал проявляться в драках.

Произошло немало битв (потому что оба обладали примерно равной силой), и, как я полагаю, исход был бы роковым, если бы смерть причетника не дала мне возможность назначить одного из них на место покойного,— что тотчас положило конец спору и установило полный мир между тяжущимися сторонами.

Адамс перешел затем к философским замечаниям о том, как неразумно горячиться в спорах, когда в них нет корысти ни для одной из сторон. Затем он принялся усердно курить свою трубку, и последовало долгое молчание, которое нарушил, наконец, судья, начав петь хвалы самому себе и превозносить тонкую проницательность, только что проявленную им в разобранном деле. Его живо перебил мистер Адамс, и между его честью и пастором теперь поднялся спор о том, не должен ли был судья, по букве закона, посадить оного Адамса в тюрьму, причем последний настаивал, что подлежал аресту, а судья ревностно доказывал, что нет. Спор, возможно, кончился бы ссорой (так как они оба яро и упорно отстаивали каждый свое мнение), не случись Фанни услышать, что один молодой человек отправляется из дома судьи в ту самую гостиницу, где должна была сделать остановку почтовая карета, в которой ехал Джозеф. При этом известии Фанни тотчас попросила вызвать пастора из зала. Убедившись, что девушка твердо намерена отправиться в дорогу (хоть она и не призналась в истинной причине, а ссылалась на то, что ей тяжело присутствие тех, кто ее заподозрил в таком преступлении), Адамс столь же твердо решил отправиться с нею; итак, он простился с судьей и его гостями и тем положил конец спору, в котором юриспруденция, повидимому, задалась постыдной целью довести до драки судью и священнослужителя.

ГЛАВА XII

Приключение, весьма приятное как для лиц, замешанных в нем, так и для добросердечного читателя

Адамс, Фанни и проводник пустились в путь около часу ночи, при только что взошедшем месяце. Они прошли не более мили, когда сильнейшая гроза с ливнем вынудила их вступить под кров гостиницы, или скорей харчевни, где Адамс тотчас уселся у жаркого огня, заказал себе эля, гренков и трубку и стал курить в полное свое удовольствие, забыв о всех злоключениях.

Фанни тоже подсела к огню, в немалой, однако, досаде на непогоду. Девушка вскоре привлекла к себе взоры кабатчика, кабатчицы, служанки и молодого парня, их проводника: всем казалось, что они никогда не видели никого, кто был бы и

вполовину так хорош собой; и в самом деле, читатель, если ты влюбчивого склада, советую тебе пропустить следующее описание, которое мы для полноты нашей повести вынуждены здесь дать,— в смиренной надежде, что мы как-нибудь избежим судьбы Пигмалиона *. Ибо если доведется нам или тебе плениться этим портретом, то мы, быть может, станем беспомощны, как Нарцисс *, и должны будем сказать себе: quod petis est nusquam [1]; или, если прелестные эти черты вызовут перед нашими глазами образ леди ***, мы окажемся в столь же скверном положении и должны будем сказать нашим желаниям: Coelum ipsum petimus stultitia [2].

Фанни шел в то время девятнадцатый год; она была высокого роста и сложена с изяществом, но не принадлежала к тем худощавым молодым женщинам, которые кажутся созданными для единственного предназначения — висеть в кабинете у анатома. Напротив, ее формы были такими округлыми, что, казалось, вырывались из тугого корсажа, особенно в той его части, которая держала в заточении ее полную грудь. Также и бедра ее не требовали увеличения посредством фижм. Ее руки своею точной лепкой позволяли судить о форме тех членов, которые были скрыты под одеждой; и хотя руки эти несколько закраснели от работы, все же, когда рукав соскальзывал немного выше локтя или косынка приоткрывала шею, глазу являлась такая белизна, какой не могли бы создать самые лучшие итальянские белила. Волосы были у нее каштановые, и природа наградила ее ими очень щедро; Фанни их подстригала и по воскресеньям обычно выпускала локонами на шею, как требовала мода. Лоб у нее был высокий, брови довольно густые, выгнутые дугой. Глаза черные и сверкающие; нос почти что римский; губы красные и сочные, но нижняя, по мнению дам, слишком выдавалась вперед. Зубы у нее были белые, но не совсем ровные. Оспа оставила одинокую рябинку на ее подбородке, как раз такой величины, что ее можно было бы принять за ямочку, если бы на левой щеке не образовалась подле нее другая ямочка, которая рядом с первой казалась еще милее. Цвет лица у девушки был очень хорош, несколько тронутый солнцем, но игравший такими живыми красками, что самые утонченные дамы променяли бы на него всю свою белизну; прибавьте сюда, что ее черты, несмотря на свойственную ей застенчивость, выражали почти невообразимую полноту чувств, а улыбка — такую нежность, какой не передашь и не опишешь. Все это венчалось природным благородством, какого не привьешь искусственно и которое поражало каждого, кто видел ее.

---

[1] Того, к чему ты стремишься, нет нигде *(лат.)*. (Овидий, «Метаморфозы».)

[2] В своем безрассудстве мы устремляемся на самое небо *(лат.)*.

Эта прелестная девушка сидела у огня подле Адамса, когда ее внимание вдруг привлек голос из внутренних комнат гостиницы, певший такую песню:

Тобой нанесенную, Хлоя,
Где юноше рану целить?
Какою летейской волною
Горячую память омыть?
Коль на казнь осужден человек,
Может он убежать от суда
И с отчизной расстаться навек,—
От мысли ж укрыться куда?

Тот образ, что в сердце младое
Умел так глубоко запасть,—
Его не исторгнет ни Хлон,
Ни злейшего деспота власть.
Так Нарцисс на пленительный лик
С возрастающей жаждой глядел
И напрасно к дразнящему ник,
Огнем нестерпимым горел.

Но мог ли тоскою бесплодной
Твой образ меня истомить?
Как может, что с милою сходно,
Не радость, а горе дарить?
Боже! вырви из сердца скорей
Этот образ! И пусть истечет
Сердце кровью,— в могиле верней
Страдалец покой обретет.

Она ль, моя нимфа, по лугу
Проходит одна, без подруг?
Приветствуя пляской подругу,
Лишь грации вьются вокруг.
Ей цветочный сладчайший бальзам,
Не жалея, Зефир принесет.
Плут! Прильнув поцелуем к глазам,
Он сладость двойную найдет.

Ярым пламенем сердце объято.
Взор так ласков ее — наконец!
Как желанье, надежда крылата,
Отчаянье — жалкий хромец.
Пастушка, словно щепку волна,
Бросил к деве безумья порыв.
Не совсем уклонилась она,
Поцелуй не совсем запретив.

Уступки отвагу будили.
Шепнул я: «О друг, мы одни!..»
Остальное, что боги сокрыли,
Могут выразить только они.
Я спросил: «Долгих пыток страда
Почему мне досталась в удел?»
Хлоя молвит с румянцем стыда:
«Стрефон! Раньше бывал ли ты смел?»

Адамс все это время размышлял над одним стихом Эсхила, нисколько не прислушиваясь к голосу, хоть голос этот был та-

кой мелодический, какой не часто услышишь,— когда случайно его глаза остановились на Фанни, и он вскричал:

— Боже мой, как ты бледна!

— Бледна! Мистер Адамс,— сказала она,— господи Иисусе!..— и упала навзничь в своем кресле.

Адамс вскочил, швырнул своего Эсхила в огонь и взревел, созывая на помощь людей. Вскоре на его крик сбежался в комнату весь дом, и среди прочих певец; но когда этот соловей, которым был не кто иной, как Джозеф Эндрус, увидел свою возлюбленную Фанни в описанном нами положении, можешь ли ты, о читатель, представить себе волнение его духа? Если не можешь, отбрось эту мысль и погляди на его счастье в тот час, когда он, заключив девушку в объятья, обнаружил, что жизнь и кровь возвращаются к ее щекам; когда он увидел, что она открыла милые свои глаза, и услышал, как она нежнейшим голосом прошептала:

— Это вы, Джозеф Эндрус?

— Это ты, моя Фанни? — ответил он страстно и, прижав ее к сердцу, запечатлел бесчисленные поцелуи на ее губах, не думая о присутствующих.

Если высоконравственных читательниц оскорбляет непристойность этой картины, они могут отвести от нее взоры и поглядеть на пастора Адамса, пляшущего по комнате в радостном упоении. Иные философы, пожалуй, почли бы его счастливейшим из троих, потому что доброе его сердце упивалось блаженством, переполнявшим не только его собственную грудь, но и сердце Фанни и Джозефа. Однако подобные изыскания, как слишком для нас глубокие, мы предоставим тем, кто склонен создавать излюбленные гипотезы, не пренебрегая никаким метафизическим хламом для их построения и утверждения; сами же мы признаем первенство за Джозефом, чье счастье было не только сильнее, чем счастье пастора, но и длительней: ибо Адамс, как только миновали первые его восторги, бросил взгляд на очаг, где дотлевал в огне его Эсхил, и поспешил спасти бедные останки, то есть кожаный переплет, своего любезного друга — манускрипта, который он переписал собственной рукой и который был его неизменным спутником тридцать с лишним лет.

Фанни, как только вполне пришла в чувство, пожалела о своем бурном порыве, и, сообразив, что она сделала и чему подвергалась в присутствии стольких зрителей, тотчас покраснела от смущения; мягко отталкивая от себя Джозефа, она попросила его успокоиться и больше не позволяла ему ни целовать ее, ни обнимать. Потом, увидев миссис Слипслоп, она сделала реверанс и хотела к ней подойти; но сия высокая особа не стала отвечать на ее любезности и, глядя мимо нее, тотчас же удалилась в другую комнату, бормоча на ходу, что она понятия не имеет, кто эта девица.

ГЛАВА XIII

Рассуждение о высоких лицах и низких и отчет о том, как миссис Слипслоп отбыла в не слишком хорошем расположении духа, оставив в плачевном состоянии Адамса и его друзей

Без сомнения, многим читателям покажется крайне странным, что миссис Слипслоп, прожив несколько лет в одном доме с Фанни, за короткий срок совершенно ее забыла. Истина, однако, заключается в том, что она ее отлично помнила. А так как нам нежелательно, чтобы в нашей повести что-либо казалось неестественным, мы постараемся разъяснить причины такого ее поведения; и, несомненно, нам удастся доказать самому пытливому читателю, что в этом миссис Слипслоп нисколько не отклонялась от общепринятого пути,— пожалуй, даже, поведи она себя иначе, ей бы грозила опасность уронить свое достоинство и навлечь на себя справедливое осуждение.

Посему да будет известно, что род человеческий делится на два разряда, а именно: на людей высоких и людей низких. Однакоже, если не следует понимать меня так, будто под высокими людьми я разумею лиц, родившихся более рослыми, чем все прочие, или метафорически — лиц, возвышающихся над другими своими способностями и душевными качествами,— то равным образом нельзя толковать меня и так, будто словом «низкие» я хочу обозначить обратное. Слова «высокие особы» означают не что иное, как светские люди, а низкие — несветские. Между тем слово «светский» от долгого употребления утратило свой первоначальный смысл и вызывает у нас теперь совсем иное представление, ибо я жестоко ошибаюсь, если мы не связываем «светских особ» с понятием о людях, возвышающихся по рождению и совершенствам над человеческим стадом; между тем как в действительности под «светской особой» первоначально разумелось не что иное, как человек, живущий в свете, то есть не принадлежащий к духовному званию; и, по правде истинной, ничего другого не означает это слово и в наши дни. Поскольку мир делится, таким образом, на лиц светских и несветских, между ними возникла жестокая распря; и ни одно лицо из того или другого разряда, дабы не навлечь на себя подозрений, не станет на людях разговаривать с лицами другого разряда, хотя частным порядком они нередко состоят в самом добром общении. Трудно сказать, которая сторона победила в этой войне: в то время как светские люди захватили в собственность такие места, как двор, собрания, оперу, балы и тому подобное, люди несветские, помимо одного королевского учреждения, именуемого Медвежьим Садом его величества *, прочно держат в своем владении все дешевые танцевальные залы, ба-

лаганы, ярмарки и проч. По соглашению, два места находятся в общем пользовании, а именно — церковь и театр, где они отделяются друг от друга примечательным образом: если в церкви светские люди вознесены высоко над головами несветских людей, то в театре они в той же степени унижены и толкутся внизу, у них под ногами. Я в жизни не встречал никого, кто мог бы мне разъяснить, почему это так. Довольно будет сказать, что, именуясь на языке христианства братьями, они на деле едва ли считают друг друга представителями одного и того же вида. На это ясно указывают такие обозначения, как «человек не нашего круга», «люди, с которыми никто не знается», «тварь», «жалкая личность», «канальи», «скоты» и многие другие наименования, которыми миссис Слипслоп, часто слыша их из уст своей госпожи, полагала себя вправе пользоваться в свой черед; и, может быть, она не ошибалась: представители этих разрядов, в особенности там, где их границы сходятся, то есть низшие из высоких и высшие из низких, часто переходят из одного разряда в другой, смотря по месту и времени; ибо тот, кто является светской особой в одном месте, часто оказывается совсем несветским в другом. А в отношении времени небезинтересно будет рассмотреть картину зависимости в виде некоей лестницы. так, например, рано утром встает грум или другой мальчик слуга, без какого не обходится ни одно большое хозяйство, как не бывает большого корабля без юнги, и принимается чистить платье или наводить блеск на сапоги лакея Джона, который, как только оденется, сам берется за ту же работу для мистера Секондхенда *, камердинера при сквайре; камердинер тем же порядком несколько позже прислуживает сквайру; сквайр, как только облачился, отправляется прислуживать при облачении милорда, а едва оно завершилось, мы видим самого милорда при выходе фаворита, который, приняв должную дань почитания, сам является отдать дань своему государю, присутствуя при его levée [1]. И, может быть, во всей этой лестнице зависимости ни одна ступень не отделена от следующей бо̀льшим расстояннем, чем первая от второй; так что для философа вопрос заключается только в том, когда приятнее быть великим человеком — в шесть ли часов утра, или в два пополудни. И все же едва ли найдутся на этой лестнице двое таких, кто не почитал бы всякую короткость в обращении с лицами, стоящими ступенью ниже, за великое снисхождение; сойти же еще на одну ступень означало бы, по их мнению, окончательно уронить себя.

А теперь, читатель, я надеюсь, ты простишь мне это длинное отступление, показавшееся мне необходимым, чтобы снять с высокой особы миссис Слипслоп обвинение в том, что низким

---

[1] Утренний прием у короля *(франц.)*.

людям, никогда не видавшим людей высоких, может помниться нелепостью; но нам, знающим их, доводилось повседневно убеждаться, что люди самые высокие узнают нас в одном месте, но не в другом, узнают сегодня, но не завтра; все это трудно объяснить иначе, чем так, как я попытался сделать это здесь; и, может быть, если боги и впрямь, как полагают некоторые, создали людей лишь затем, чтобы смеяться, глядя на них,— то ничто в нашем поведении не отвечает этой цели в большей мере, чем то, о чем я только что писал.

Но вернемся к нашей истории. Адамс, который знал обо всем этом не больше кошки, усевшейся перед ним на столе, подумал, что память у миссис Слипслоп куда короче, чем на деле, и последовал за нею в соседнюю комнату, восклицая:

— Миссис Слипслоп, здесь находится одна ваша старая знакомая; посмотрите только, в какую прелестную женщину она превратилась с тех пор, как оставила службу у леди Буби.

— Кажется, я ее припоминаю,— ответила та с большим достоинством,— но не могу же я помнить всех низших слуг в нашем доме!

Потом, удовлетворяя любопытство Адамса, она принялась ему объяснять, как, прибыв в гостиницу, она нашла готовую к ее услугам коляску, как миледи решила в ближайшее время отбыть в деревню и как поэтому она, Слипслоп, должна была чрезвычайно спешить; как «из консолидации к хромоте Джозефа» она взяла его с собой, и, наконец, как необычайная ярость непогоды загнала их под кров дома, где они и встретились с пастором. Затем миссис Слипслоп напомнила Адамсу об оставленной им лошади и выразила удивление, что он забрел так далеко в сторону от своего пути и что она встречает его, как она выразилась, «в обществе девки, которая, надо полагать, то самое, чем она кажется».

Едва только Адамса навели на мысль о лошади, как его снова отвлекло от нее это замечание, бросающее тень на доброе имя Фанни. Он возразил, что, по его мнению, не было на свете более чистой девушки.

— Я от души хотел бы, от души хотел бы,— вскричал он (и прищелкнул пальцами),— чтобы все, кто выше ее, были бы не хуже!

Затем он стал рассказывать о том, как ему случилось встретиться с Фанни; но когда он дошел до обстоятельств ее спасения от насильника, миссис Слипслоп объявила, что сам он, как видно, «более пригоден для военной службы, чем для церковной»; что духовному лицу не подобает поднимать руку на кого бы то ни было; ему скорее следовало бы молиться о том, чтобы небо укрепило слабые силы девицы. Адамс на это сказал, что отнюдь не стыдится содеянного им; она же ответила, что отсутствие стыда «не характерично для духовного лица». Этот диалог, вероятно, разгорелся б еще жарче, если бы в комнату

не вошел, на счастье, Джозеф, испрашивая у миссис Слипслоп разрешения привести к ней Фанни; но она наотрез отказалась допустить к себе «какую-то потаскушку» и сказала ему, что скорей пошла бы на костер, чем села бы с ним в одну коляску, когда бы только могла помыслить, что его подкарауливают на дороге его девки; и добавила, что мистер Адамс играет в этом деле очень красивую роль, так что она не сомневается, что когда-нибудь увидит его епископом.

Пастор в ответ поклонился и воскликнул:

— Благодарю вас, сударыня, за это достопочтенное наименование, я честно постараюсь его заслужить.

— О да! — подхватила та с усмешкой.— Уж куда честнее сводить молодых людей!

При этих словах Адамс зашагал по комнате; но тут явился кучер и доложил миссис Слипслоп, что гроза прошла и месяц светит очень ярко. Она тогда послала за Джозефом, который сидел во дворе со своею Фанни, и сказала ему, что пора садиться в коляску, но он решительно отказался оставить Фанни, что привело милую даму в бешеную ярость. Она объявила, что сообщит своей госпоже, какие тут творятся дела, и миледи, несомненно, избавит приход от всяких таких особ; в заключение она произнесла длинную речь, полную язвительности и весьма замысловатых слов и с некоторыми высказываниями о духовных лицах, которые здесь непристойно повторять; наконец, убедившись, что Джозеф непоколебим, она бросилась к коляске, мимоходом метнув на Фанни взор, каким на сцене дарит Октавию Клеопатра*. Сказать по правде, она была крайне неприятно поражена присутствием Фанни: когда она впервые увидела в гостинице Джозефа, у нее зародилась надежда на кое-что, чему бы можно свершиться и в харчевне не хуже, чем во дворце. Быть может, в тот вечер мистер Адамс спас от потери целомудрия не одну только Фанни.

Когда коляска умчала прочь разъяренную Слипслоп, Адамс, Джозеф и Фанни собрались у очага, где еще долго вели невинную беседу, довольно приятную; но так как для читателя она едва ли будет занимательна, мы поспешим перейти к утру, заметив только, что никто из них не ложился спать в ту ночь. Адамс, выкурив три трубки, сладко задремал в большом кресле и предоставил влюбленным,— для чьих глаз нашлось отрадное занятие, несовместимое с желанием закрыть их,— несколько часов наслаждаться без помехи таким счастьем, о каком мои читатели, если сами они не были никогда влюблены, не составят себе ни малейшего понятия, хотя бы мы для его описания обладали столькими языками, сколько желал их иметь Гомер, которое истинные любовники легко представят в уме своем без всякой помощи с нашей стороны.

Довольно будет сказать, что Фанни после тысячи молений отдала, наконец, Джозефу всю свою душу и, почти теряя

сознание в его объятиях, со вздохом, бесконечно более нежным и сладким, чем все аравийские зефиры, прошептала ему в губы, припавшие в тот миг к ее губам: «О Джозеф, ты победил меня; я твоя навеки».

Джозеф, поблагодарив ее на коленях, обнял ее со страстью, на которую она теперь отвечала почти столь же пламенно, затем в восторге вскочил и разбудил пастора, всерьез прося его, чтобы он немедленно соединил их браком. Адамс отчитал его за эту просьбу и сказал ему, что ни в коем случае не согласится ни на что, идущее вразрез с церковными установлениями, что у Джозефа нет лицензии на брак и он, Адамс, не советует ему выправлять ее; что церковью предписана известная форма, а именно — публичное оглашение, к которому и должны прибегать все добрые христиане и нарушению которой он, пастор, приписывает многие несчастия, постигавшие людей высокого звания в брачной их жизни.

— Все,— сказал он в заключение,— кто поженились иначе, чем повелевает слово божие, соединены не богом, и союз их не является законным браком.

Фанни вняла словам пастора и, залившись румянцем, сказала Джозефу, что она, конечно же, не согласится ни на что такое и что ее удивляет подобное его предложение. Адамс поддержал ее в этом решении и похвалил; так что Джозефу ничего не оставалось, как терпеливо ждать до третьего публичного оглашения; и он добился лишь того, что Фанни в присутствии Адамса дала согласие приступить к оглашениям сразу же по их прибытии домой.

Солнце давно уже взошло, когда Джозеф, с удивлением убедившись, что нога его в полном порядке, предложил двинуться в путь. Но когда они совсем уже собрались выйти, их задержало одно непредвиденное обстоятельство, а именно: счет от хозяина, составивший семь шиллингов,— сумма невысокая, если мы учтем поглощенное мистером Адамсом безмерное количество эля. Они и не оспаривали правильность счета, и сомнения вызвала у них только возможность его оплаты, ибо человек, отобравший кошелек Фанни, к несчастью позабыл его вернуть. Баланс выглядел так:

	£	шилл.	пен.
Причитается с мистера Адамса и К°	0	7	0
В кармане у мистера Адамса	0	0	6½
» » мистера Джозефа	0	0	0
» » миссис Фанни	0	0	0
Недостает	0	6	5½

Они стояли молча несколько минут, взирая друг на друга, а затем Адамс выбежал на цыпочках к хозяйке и спросил, нет ли в этом приходе священника. Она ответила, что есть.

— Он богатый? — спросил пастор; на что она также ответила утвердительно.

Тогда Адамс, прищелкнув пальцами, вернулся обрадованный к своим друзьям с возгласом «Эврика, эврика!» Но так как те его не поняли, он сказал им просто по-английски, чтоб они не тревожились, потому что у него есть в приходе брат, который заплатит по счету; он сейчас же направится к нему, получит у него деньги и незамедлительно вернется к ним.

ГЛАВА XIV

Свидание пастора Адамса с пастором Траллибером

Пастор Адамс явился в дом к пастору Траллиберу и застал его в жилете, фартуке и с ведром в руке — только что от свиней: ибо мистер Траллибер был пастором по воскресеньям, а прочие шесть дней недели с бо̀льшим правом мог быть назван фермером. Он занимал собственный клочок земли и впридачу брал в аренду значительно бо̀льший. Его жена доила ему коров, управляла сырней и носила на рынок масло и яйца. Свиньи же были главным образом на его собственном попечении, и он заботливо ходил за ними дома и сам же отвозил их на ярмарки, давая повод к постоянным шуткам, поскольку он, воздавая должное элю, достиг объема, мало уступавшего объему продаваемых им животных. В самом деле, он был одним из самых толстых людей, каких вы могли б увидеть, и отлично сыграл бы роль сэра Джона Фальстафа, не прибегая к толщинке. Добавьте к этому, что округлость его живота делала его малый рост еще короче, так что его фигура отбрасывала тень почти одинаково длинную, когда он лежал на спине и когда стоял на ногах. Голос у него был громкий, сиплый, а речь протяжная; в довершение всего, когда он ходил, его поступь величавостью напоминала поступь гуся, только он шагал медлительней.

Мистер Траллибер, услышав, что кто-то хочет с ним поговорить, немедленно скинул свой фартук и облачился в старый шлафрок — одеяние, в каком он всегда принимал на дому посетителей. Его жена, сообщая ему о мистере Адамсе, допустила небольшую ошибку: она сказала супругу, что к нему пришел какой-то человек — как ей кажется, по поводу свиней. Это предположение побудило мистера Траллибера выйти к гостю со всею поспешностью. Едва увидев Адамса, он, ничуть не усомнившись, что цель посетителя та самая, какая вообразилась пасторше, сказал, что тот пришел в самое доброе время, так как в этот же день он ждет к себе торговца, и добавил, что они у него все чистые и жирные, потянут каждая на четыре сотни фунтов. Адамс ответил, что хозяин, наверно, не знает его.

— Что ты, что ты,— перебил Траллибер,— я часто видел

тебя на ярмарке; да как же, мы не раз делали с тобой дела и раньше, уверяю тебя. Да, да,— вскричал он,— мне запомнилось твое лицо! Только не говори больше ни слова, покуда сам не увидишь их, хоть я до сих пор никогда не продавал тебе на ветчинку таких славных окороков, как те, что ты у меня сейчас увидишь в хлеву.

Тут он обхватил Адамса и силком поволок его к свинарнику, находившемуся, впрочем, в двух шагах от окон его залы. Едва они подошли, он закричал:

— Ты их только пощупай! Да входи же, дружок, и можешь щупать без стеснения — купишь или нет.

Открыв с этим словом дверь, хозяин втолкнул Адамса в хлев, настаивая на том, чтобы гость пощупал свиней, перед тем как сказать ему хоть одно слово. Адамс, обладая прирожденной вежливостью превыше всякой искусственной, вынужден был подчиниться, перед тем как приступить к объяснениям; он схватил одну свинью за хвост, и строптивое животное сделало такой неожиданный скачок, что опрокинуло бедного Адамса прямо в навоз. Траллибер, чем помочь бы ему подняться, разразился хохотом и, войдя в хлев, сказал Адамсу с некоторым презрением:

— Как? Ты не умеешь ощупать окорок? — и потянулся было сам за одной свиньей; но Адамс, решив, что выказал уже достаточно учтивости, поспешил встать и, отступив на почтительное расстояние от животных, прокричал:

— Nihil habeo cum porcis [1]. Я священник, сэр, и пришел не за тем, чтобы покупать свиней.

Траллибер ответил, что он сожалеет об ошибке, но в ней-де виновата его жена, и добавил, что она у него дура и всегда попадает впросак. Потом он предложил гостю войти в дом и обчиститься, сам же он только запрет хлев и тотчас последует за ним. Адамс попросил разрешения посушить у огня свой кафтан, парик и шляпу, и Траллибер милостиво разрешил. Миссис Траллибер хотела принести ему таз с водой, чтобы умыться, но муж велел ей, дуре, сидеть смирно, не то она только наделает новых промахов, и направил Адамса к колодцу. Покуда Адамс умывался, Траллибер, которому внешний вид гостя не внушил большого почтения, запер дверь в залу и повел его теперь в кухню, со словами, что ему, как он думает, не вредно будет подкрепиться кружкой, сам же потихоньку шепнул жене, чтоб она принесла немного эля поплоше. После краткого молчания Адамс заговорил:

— Вероятно, сэр, вы теперь уже разглядели, что я священник?

— Да, да,— сказал с усмешкой Траллибер,— я вижу на вас рясу, хоть и не скажу, чтобы очень нарядную.

---

[1] Не имею никакого дела со свиньями *(лат.)*.

Адамс согласился, что ряса на нем не из самых лучших, и объяснил он, что имел несчастье лет десять тому назад разорвать ее, перелезая через изгородь.

Миссис Траллибер, вернувшись с элем, сказала своему мужу, что джентльмен, как она полагает, путешественник и что он, верно, будет не прочь перекусить. Траллибер предложил ей придержать свой бестолковый язык и спросил ее: как это могут пасторы путешествовать без лошадей? А у джентльмена, добавил он, лошади нет, раз он не в сапогах.

— Нет, нет, сэр,— говорит Адамс,— лошадь у меня есть, но только я оставил ее по пути.

— Рад слышать, что у вас есть лошадь,— говорит Траллибер,— право слово, не люблю я, чтобы священники ходили пешком; это неприлично и не отвечает достоинству сана.

Тут Траллибер начал длинную речь о достоинстве пасторского сана или, точнее, облачения, не стóящую, однако, того, чтобы нам ее передавать, а жена его тем часом накрыла на стол и принесла ему на завтрак миску овсяного киселя. Тогда он сказал Адамсу:

— Не знаю, приятель, с чего вы надумали навестить меня; но раз уже вы тут, если вы не прочь поесть, так ешьте.

Адамс принял приглашение, и оба пастора сели вместе за стол, а миссис Траллибер стала за стулом своего мужа, как это было, видно, у нее заведено. Траллибер уписывал вовсю, но не мог отправить в рот ни одной ложки, не отметив какого-либо недостатка в стряпне своей жены. И все это бедная женщина терпеливо сносила. В самом деле, она так безусловно преклонялась перед величием и важностью своего супруга, о которых часто слышала суждения из его собственных уст, что мнила его чуть ли не вовсе непогрешимым. Сказать по правде, пастор наставлял ее не одним, а разными путями; и для благочестивой женщины его проповеди оказались столь назидательны, что она научилась принимать дурное наряду с хорошим. Поначалу, правда, она была несколько строптива, но супруг давно уже взял над нею верх, пользуясь частью ее любовью к одним вещам, частью страхом ее перед другими, частью тем почтением, какое он сам к себе питал, частью тем, с каким относились к нему прихожане,— словом сказать, она целиком ему подчинилась и боготворила своего мужа, как Сара Авраама, величая его если не господином своим, то хозяином.

Пока они сидели за столом, супруг явил ей новый пример своего величия; ибо, как только она налила эля Адамсу, он выхватил кружку из его руки и, прокричав: «Я потребовал первым!», вылил содержимое себе в горло. Адамс стал это отрицать; спор передали на суд хозяйки, которая, хоть и склонялась на сторону гостя, не посмела последовать голосу совести и высказаться против своего супруга. И тот объявил:

— Нет, сударь, нет, я бы не был так груб, чтоб отобрать у

вас кружку, когда бы вы сами потребовали первым; но да будет вам известно, не такой я человек, чтобы позволить хотя бы наивысшему лицу в королевстве выпить наперед меня в моем собственном доме, когда первым потребовал я!

Как только они кончили завтракать, Адамс начал так:

— Я думаю, сэр, теперь самое время объяснить вам, какое дело привело меня к вам в дом. Я был в путешествии и теперь вашими краями возвращаюсь к своей пастве в обществе молодой четы, юноши и девицы, моих прихожан; мы остановились в одном странноприимном доме в этом приходе, там меня направили к вам, как к приходскому священнику...

— Хотя я только младший священник,— перебивает Траллибер,— я, мне думается, не беднее самого нашего пастора, да, пожалуй, и пастора соседнего прихода. Я мог бы, пожалуй, купить их обоих вместе.

— Сэр,— возглашает Адамс,— меня это радует. Дело мое, сэр, заключается в том, что у нас, в силу ряда случайностей, отобрали все наши деньги и мы не можем оплатить наш счет, составляющий семь шиллингов. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой выручить меня и дать мне взаймы эти семь шиллингов и к ним еще семь шиллингов, которые я вам, разумеется, верну; но если бы я и не вернул их, я убежден, что вы с радостью воспользуетесь случаем скопить себе сокровища в лучшем месте, нежели наша земная юдоль.

Вообразите, что в контору адвоката входит незнакомец, принимаемый им за клиента, и когда адвокат уже потирает ладони в предвкушении гонорара, тот протягивает ему исполнительный лист. Вообразите себе, что аптекарь в дверцу кареты, в которой подкатил к нему прославленный своим искусством великий врач, вместо вызова к больному протянет микстуру для самого врача. Вообразите, что министр вместо кругленькой суммы почтит лорда ***, или сэра ***, или сквайра *** доброй метлой. Вообразите, что приживальщик или прихлебатель, вместо того чтобы напевать своему покровителю о его добродетели и чести, станет жужжать ему в уши о его пороках и бесчестье, о безобразии, глупости и о всеобщем к нему презрении. Вообразите, что к светскому щеголю пришел портной со счетом и щеголь с первого же раза заплатил; или что портной, если щеголь это сделал, скостил добровольно тот лишек, который он накинул, в расчете, что придется ждать. Словом, вообразите, что угодно,— вы никогда не сможете себе представить ничего равного тому изумлению, какое охватило Траллибера, когда Адамс кончил свою речь. Он выкатил глаза и некоторое время молча взирал то на Адамса, то на жену; потом потупил свой взор долу, потом возвел горé. Наконец, он разразился следующей тирадой:

— Мне думается, сэр, я и сам не хуже всякого другого знаю, где мне копить мое скромное сокровище; я, слава богу,

хоть и не так богат, как некоторые, но зато вполне довольствуюсь тем, что имею; это лучший дар, чем богатство; и кому он дан, тот не требует большего. Это лучше, чем владеть миром, ибо человек может владеть миром и не быть довольным. Копить сокровища! Что в том, где копятся сокровища человека,— лишь бы сердце его было в священном писании! Ибо только в нем все сокровище христианина

Эти слова исторгли слезы из глаз Адамса; и, схватив в восторге руку Траллибера, он сказал:

— Брат! Да благословит небо случай, который привел меня к вам! Я прошел бы много миль ради того, чтобы с вами побеседовать, и, поверьте мне, я вскоре навещу вас опять; но мои друзья, боюсь я, смущены моим долгим отсутствием, так что вручите мне деньги без промедления.

Тогда Траллибер напустил на себя строгий вид и закричал:

— Уж не хочешь ли ты меня ограбить?

При этих словах его жена, заливаясь слезами, упала на колени и взвыла:

— О добрый сэр, ради господа бога, не грабьте моего хозяина, мы же бедные люди...

— Вставай, дура ты этакая,— сказал Траллибер,— и не суйся не в свое дело; ты думаешь, этот человек станет рисковать своей жизнью? Он нищий, а не грабитель!

— Совершенно справедливо! — отозвался Адамс.

— От души сожалею, что здесь нет сейчас сборщика десятины,— воскликнул Траллибер,— я бы тебя велел наказать, как бродягу, за такое бесстыдство! Четырнадцать шиллингов! Куда загнул! Да я не дам тебе и фартинга! Ты, сдается мне, такой же священник, как эта женщина (он указал на свою супругу); а если и священник, то нужно содрать с тебя рясу за то, что ты слоняешься в этаком виде по округе.

— Я прощаю это подозрение,— говорит Адамс,— но допустим, я и вправду не священник; все же я твой брат, и ты по долгу христианина, в большей мере, чем по долгу священника, обязан помочь мне в моей беде.

— Ты мне тут проповедуешь, — ответил Траллибер,— ты смеешь поучать меня моему долгу?

— Вот это мне нравится! — кричит миссис Траллибер.— Проповедовать моему хозяину!

— Женщина, молчать! — кричит Траллибер.— А ты знай, приятель,— обратился он к Адамсу,— что от таких, как ты, я не стану слушать поучений. Я знаю сам, что такое долг милосердия: не в том он состоит, чтобы раздавать милостыню бродягам!

— К тому же, хотим мы или нет,— кричит жена,— обложение в пользу бедных принуждает нас отдавать так много!..

— Фу ты! Ну и дура! Обложение в пользу бедных! Держи

при себе свою глупость,— перебил ее Траллибер и затем, отнесшись к Адамсу, повторил, что ничего ему не даст.

— Я сожалею,— ответил Адамс,— что вы, зная, что такое долг милосердия, не следуете ему как нужно. Я должен вам сказать: вы напрасно уповаете на то, что ваше знание вас оправдает; вы будете обмануты, даже если приложите к нему веру, но без добрых дел!

— Бездельник,— вскричал Траллибер,— ты в моем доме рассуждаешь против веры? Ступай за дверь! Я не желаю больше оставаться под одной кровлей с вольнодумцем, который говорит так дерзостно о вере и о священном писании.

— Не поминай писания,— говорит Адамс.

— Как это не поминать писания? — кричит Траллибер.— Ты уже и в писание не веруешь?

— Я верую, а ты нет,— ответил Адамс,— если судить по твоим делам: ибо его повеления так ясны, его награды и кары так безмерны, что невозможно человеку твердо верить и не подчиняться им. И ни одно повеление не выражается в нем яснее, ни один долг не внушается настоятельней, чем долг милосердия. Следовательно, кто чужд милосердия, о том я без зазрения совести провозглашу, что он — не христианин.

— Не советую тебе,— говорит Траллибер,— утверждать, что я не христианин; я этого от тебя не потерплю, ибо я уверен, что вполне тебя стою (и правда, хотя теперь Траллибер слишком раздобрел для атлетических упражнений, в молодости он был одним из первых по графству в драке на дубинках и в кулачном бою).

Его жена, видя, что он сжал кулаки, вмешалась и стала его молить, чтобы он не дрался, а показал бы себя истинным христианином и притянул бы своего гостя к ответу. Так как ничто не могло вызвать Адамса на бой, кроме прямого нападения на него самого или на его друга, он улыбнулся гневному виду и жестам Траллибера и, сказав, что ему прискорбно видеть таких людей облеченными в сан, удалился без дальнейших церемоний.

ГЛАВА XV

Неожиданное приключение — следствие явленного пастором Адамсом нового примера забывчивости

Когда он вернулся в гостиницу, Джозеф и Фанни сидели вдвоем. Его отсутствие не только не показалось им слишком долгим, как он того боялся, но они его даже не почувствовали и ни разу не вспомнили о пасторе. Оба они часто меня уверяли потом, что провели те часы в приятном разговоре; но так как мне не удалось добиться ни от него, ни от нее, о чем они беседовали, то я не могу поведать это читателю.

Адамс сообщил влюбленным о безуспешности своего предприятия. Все трое были сильно смущены, не зная, как уйти, и ни один из них не мог ничего придумать, пока Джозеф не предложил вызвать хозяйку и попросить ее, чтоб она им поверила в долг,— на что Фанни никак не надеялась, потому что, сказала она, ей никогда еще не доводилось видеть женщину с таким кислым лицом.

Но она была приятно разочарована: не успели они высказать свою просьбу, как хозяйка охотно согласилась и с улыбкой и поклонами пожелала им доброго пути. Однако, чтобы читатель не почел Фанни плохой физиономисткой, мы позволим себе указать на ту причину, которая, может быть, склонила хозяйку к такому доверию и благодушию. Адамс, заявив, что идет навестить своего брата, невольно обманул Джозефа и Фанни, которые оба подумали, что он имеет в виду брата по крови, а не во Христе,— и так они и объяснили это хозяйке, когда та у них спросила, где пастор. Мистер Траллибер, надо сказать, благодаря своему видимому благочестию, своей важности, строгости и замкнутости, а также славе богатея пользовался у себя в приходе таким влиянием, что все жили в страхе и трепете перед ним. Поэтому хозяйка, зная, что, скажи пастор слово,— и ей в жизни не продать больше ни кружки пива, не посмела, разумеется, оскорбить его мнимого брата отказом в кредите.

Они уже выходили, когда Адамс вспомнил, что оставил у Траллибера свой кафтан и шляпу. Так как он не желал еще раз заходить к своему собрату, хозяйка, не имея в доме слуг, предложила сама принести ему вещи.

Это была неудачная затея, так как хозяйка скоро убедилась, что составила себе ошибочное представление об Адамсе, которого Траллибер стал поносить грубейшими словами — особенно когда услышал, что тот имел дерзость притязать на близкое с ним родство.

Поэтому, едва возвратившись, хозяйка совершенно изменила тон. Стыдно людям путешествовать, сказала она, выдавая себя не за то, что они есть; к тому же налоги высоки, и она со своей стороны обязана платить за то, что имеет; поэтому она никак не может и не станет верить кому-либо в долг — хоть родному отцу; и никогда еще у нее не было так туго с деньгами, а ей нужно собрать изрядную сумму. Так что они должны заплатить ей перед тем, как уйти из ее дома.

Адамс был в сильном смущении; но так как он знал, что мог бы легко занять такую сумму в своем собственном приходе, и знал, что сам он одолжил бы ее всякому, кто попал в беду, то он снова набрался храбрости и обошел весь приход, однако безуспешно: он вернулся, как вышел, без гроша, вздыхая и жалуясь, что в стране, исповедующей христианство, человек может умереть с голоду на глазах у ближних, процветающих в изобилии.

В его отсутствие хозяйка, стоя на страже при Джозефе и Фанни, занимала их разговором о доброте пастора Траллибера. И в самом деле, он не только пользовался в округе самым добрым именем за прочие достоинства, но слыл великим благотворителем: ибо, хоть он в жизни не дал никому ни фартинга, слово «благотворительность» не сходило у него с языка.

Как только Адамс вернулся из второго своего похода, буря разыгралась вовсю, причем хозяйка среди прочих заявлений сказала, что если они попробуют улизнуть, не заплатив, то она их быстро нагонит с приказом об аресте.

Платон и Аристотель, или кто-то еще, сказали, что там, где не преуспело самое тонкое хитроумие, там часто спасает случай, и самым неожиданным образом. Вергилий это выразил очень смело:

Turne, quod optanti divum promittere nemo
Auderet, volvenda dies, en! attulit, ultro[1].

Я сослался бы на многих еще великих людей, если б мог; но так как память изменяет мне, то лучше я далее подкреплю сии замечания примером.

Случайно (ибо Адамс не был так хитер, чтобы подогнать к этому нарочно) в кабаке сидел в то время человек, который когда-то служил барабанщиком в Ирландском полку, а теперь ходил по деревням коробейником. Этот человек внимательно прислушался к речам хозяйки, а потом отвел Адамса в сторону и спросил, за какую сумму их задерживают. Получив ответ, он вздохнул и выразил сожаление, что сумма великовата: у него в кармане только шесть с половиной шиллингов, которые он от всего сердца рад им одолжить. Адамс подпрыгнул на месте и вскричал, что этого как раз хватит, потому что еще полшиллинга есть у него самого.

Таким образом, бедняков, не сыскавших сострадания у богатства и благочестия, в конце концов выручило в их беде милосердие бедного коробейника.

Предоставляю моему читателю выводить из этого случая какие угодно заключения; для меня же достаточно будет сообщить ему, что Адамс и его спутники горячо поблагодарили коробейника и, объяснив ему, куда прийти за уплатой долга, вышли втроем из гостиницы, причем хозяйка не сказала им доброго слова на прощанье, как, впрочем, и они ей; мистер Адамс только объявил, что постарается больше никогда сюда не заходить, а хозяйка со своей стороны заверила, что ей такие гости не нужны.

---

[1] Турн, что никто из богов обещать не дерзнул бы молящим,
Время приносит само во вращенье своем неустанном (*лат.*).
(*Вергилий*, «Энеида».)

ГЛАВА XVI

Весьма любопытное приключение, в котором мистер Адамс больше проявил сердечной простоты, нежели искушенности в мирских делах

Наши путешественники, удалившись мили на две от гостиницы, которую они могли почесть за рыцарский замок с большим основанием, чем Дон Кихот любую из тех, где ему довелось побывать (если вспомнить, с каким трудом они вырвались из ее стен), дошли до околицы соседнего прихода и увидели вывеску харчевни. В дверях сидел, покуривая трубку, джентльмен, у которого Адамс спросил дорогу и получил такой учтивый и обязательный ответ, сопровождавшийся такой открытой улыбкой, что добрый пастор, чье сердце по природе своей всегда лежало к любви и приветливости, стал ему задавать и другие вопросы,— в частности, как именуется этот приход и кто владелец дома, высившегося невдалеке перед ними. Джентльмен отвечал все так же обязательно; а дом, сообщил он, принадлежит ему самому.

Дальше он сказал следующее:

— Сэр, я вижу по вашей одежде, что вы духовное лицо; а так как путешествуете вы пешком, я полагаю, стакан доброго пива будет вам кстати; и я могу порекомендовать вам пиво у хозяина этого дома как лучшее в нашем графстве. Может быть, вы сделаете небольшой привал, и мы с вами покурим. Лучшего табака нет во всем королевстве.

Приглашение показалось Адамсу приятным, тем более что за весь день он не утолял жажды ничем, кроме эля из погреба миссис Траллибер, а этот напиток был воистину по крепости и вкусу немногим выше того, что перегоняли из зерна, которым великодушный ее супруг оделял своих свиней. Итак, горячо поблагодарив джентльмена за его любезное приглашение и позвав за собою Джозефа и Фанни, он вошел в кабак, где перед ними поставили большой каравай, сыр и жбан пива, вполне оправдавшего отзыв о нем,— и наши трое путешественников принялись за еду с такою прожорливостью, какой не встретить и в самых изысканных ресторациях в приходе св. Джемса.

Джентльмен выразил большой восторг перед простосердечием и жизнерадостностью Адамса; особенно же понравилось ему, что он так дружественно обращается с Джозефом и Фанни, часто называя их своими детьми. Пастор же объяснил, что под этим словом он разумеет не более как своих прихожан, и добавил, что ко всем, кого бог вверил его попечению, он, конечно, должен относиться, как отец. Джентльмен, пожав ему руку, горячо одобрил такое суждение.

— Ваш образ мыслей,— сказал он,— отвечает истинным принципам христианского священника, и я от души хотел бы,

чтобы он был всеобщим; однако должен с прискорбием сказать, что пастор нашего прихода, напротив того, не только не почитает своих неимущих прихожан членами своей семьи, но, пожалуй, не видит в них даже существ одной с ним породы. Он редко когда заговаривает с ними — разве что кое с кем из самых богатых, а перед прочими даже и шляпу не приподнимет. Я часто смеюсь, когда вижу, как он в воскресенье проходит вперевалку, точно индюк, по церковному двору сквозь ряды своих прихожан, а те кланяются ему так же покорно и встречают в ответ такое же пренебрежение, как толпа раболепных царедворцев самого надменного государя в христианском мире. Но если в светском человеке такая гордость смешна, то, конечно, в лице духовного звания она гнусна и омерзительна; если такой надутый пузырь, расхаживая в княжеских одеждах, справедливо возбуждает насмешку, то, несомненно, в облачении священника он должен вызывать наше презрение.

— Спору нет,— ответил Адамс,— ваше мнение правильно; но такие примеры, я надеюсь, редки. Те духовные лица, каких я имею честь знать, держатся совсем иного поведения; и вы со мною согласитесь, сэр, что излишняя готовность многих мирян выказывать неуважение к сану является, возможно, одной из причин того, что духовенство избегает чрезмерного смирения.

— Вполне справедливо,— говорит джентльмен.— Я вижу, сэр, вы человек выдающегося ума, и я счастлив, что благоприятный случай познакомил меня с вами: может быть, наша встреча окажется небезвыгодной и для вас. Сейчас я скажу вам только, что священник нашего прихода стар и немощен, а замещение вакансии зависит от меня. Доктор, дайте мне вашу руку и считайте твердо, что после его смерти приход за вами.

Адамс ответил, что ничто в жизни так его не смущало, как полная невозможность чем-либо воздать за столь благородную и незаслуженную щедрость.

— Сущий пустяк, сэр,— восклицает джентльмен,— место едва стоит того, чтобы вы его приняли: оно дает всего три с лишним сотни в год. Ради вас я желал бы, чтоб оно давало вдвое больше.

Адамс отвесил поклон и прослезился от благодарного волнения; затем джентльмен спросил, женат ли он и есть ли у него дети помимо тех, кого он зовет своими детьми в духовном смысле.

— Сэр,— ответил пастор,— у меня, к вашим услугам, жена и шестеро детей.

— Жаль,— говорит джентльмен,— а то я взял бы вас домашним священником и поместил у себя; впрочем, у меня есть в приходе еще один дом, и я его для вас обставлю (потому что пасторский домик у нас не очень хорош). Скажите, ваша жена знает толк в молочном хозяйстве?

— Не возьму на себя смелость утверждать, что знает,— говорит Адамс.

— Это обидно,— вымолвил джентльмен,— я бы дал вам штук шесть коров и отменные луга для их прокорма.

— Сэр,— сказал Адамс в полном упоении,— вы слишком щедры, нет, в самом деле слишком.

— Ничуть,— восклицает джентльмен,— я ценю богатство лишь постольку, поскольку оно дает мне возможность делать добро; а я никогда не встречал человека, которому услужил бы с большей радостью, чем вам.

С этими словами он горячо пожал пастору руку и сказал, что дом его достаточно просторен, чтобы дать приют и ему и его спутникам. Адамс взмолился, что не хочет доставлять ему столько хлопот, и, забывая, что у них нет на всю братию и шести пенсов, сказал, что они преотлично устроятся здесь у хозяина. Джентльмен не принимал отказа и, справившись, куда они держат путь, сказал, что и думать нечего идти такую даль пешком; он попросил соизволения прислать им своего слугу с лошадьми и еще добавил, что если они не откажут ему в удовольствии провести с ним всего два дня, то он предоставит им карету шестерней. Адамс, повернувшись к Джозефу, сказал:

— Как счастлива для тебя наша встреча с этим добрым джентльменом; я так боялся, что ты не выдержишь до конца с твоей больной ногой.

И, отнесясь затем к лицу, расточавшему эти щедрые обещания, он после долгих поклонов воскликнул:

— Благословен тот час, который впервые свел меня с таким, как вы, благодетелем; вы истинный христианин, такой, какими были христиане в первые века, и делаете честь стране, где проживаете. Я охотно совершил бы паломничество в святую землю, чтоб увидеть вас; счастье мое от выгоды, какую извлекаем мы из вашей доброты, ничтожно по сравнению с моей радостью за вас, ибо я вижу, какие сокровища вы накапливаете для себя в стране непреходящей. А посему, великодушнейший сэр, мы принимаем вашу доброту как в смысле любезно предложенного вами ночлега, так и в отношении лошадей наутро.

Тут он принялся искать свою шляпу, а Джозеф свою; и уже они оба, как и Фанни, были вполне готовы, когда джентльмен, вдруг остановившись и как будто подумав про себя с минуту, воскликнул:

— Вот неудача! Я забыл, что моя домоправительница ушла со двора и заперла все мои комнаты; я, правда, мог бы взломать для вас двери, но я не смогу дать вам постель, потому что она к тому же убрала куда-то все мое белье. Я рад, что вспомнил об этом до того, как доставил вам беспокойство пройтись со мною до дому; впрочем, я уверен, что и тут вы найдете лучшие удобства, чем могли бы ожидать. Хозяин, вы дадите этим людям хорошие постели, да?

— Как же, ваша милость! — воскликнул кабатчик.— Такие дам постели, на какие не погнушался бы лечь ни один лорд или судья в королевстве.

— Я глубоко огорчен,— говорит джентльмен,— что обстоятельства сложились так несчастливо. Решено, больше я ей никогда не позволю уносить ключи!

— Пожалуйста, сэр, пусть это вас не беспокоит,— восклицает Адамс,— мы устроимся здесь превосходно; я и то не знаю, чем мы вас отблагодарим за ту милость, что вы нам даете ваших лошадей.

— Да, да! — сказал сквайр.— Назначьте час, и лошади будут завтра поданы вам сюда.

Итак, обменявшись с Адамсом многими учтивыми словами, слишком скучными, чтоб их повторять, многими рукопожатиями и любезными улыбками и взглядами и пообещав прислать лошадей к семи утра, джентльмен распростился и ушел. Адамс же со своими спутниками вернулись к столу, где пастор выкурил еще одну трубку, после чего они удалились на покой.

Мистер Адамс встал очень рано; он поднял с постели Джозефа, и между ними возник ожесточенный спор о том, ехать ли Фанни на одной лошади с Джозефом или со слугою джентльмена. Джозеф настаивал, что он вполне поправился и может позаботиться о Фанни не хуже всякого другого. Адамс же не соглашался и заявил, что не решится посадить ее с Джозефом, потому-де, что он слабее, чем думает сам.

Спор затянулся и грозил разгореться очень жарко, когда пришел слуга от их доброго друга сказать им, что тот, к сожалению, лишен возможности предоставить своих лошадей, так как конюх без его ведома задал им всем слабительное.

Это сообщение сразу примирило спорящих.

— Кого и когда,— вскричал Адамс,— так преследовала неудача, как этого бедного джентльмена! Уверяю вас, я огорчен за него больше, чем за себя самого. Ты видишь, Джозеф, как с добрым человеком обращаются его слуги? Ключница запирает от него белье, конюх поит слабительным его лошадей, и, мне думается,— судя по тому, что вчера он ужинал в этом доме,— дворецкий запер его погреб. Боже мой! Вот как в этом мире злоупотребляют добротой! Да, я больше огорчен за него, чем за себя.

— А я так нет,— вскричал Джозеф,— пешее путешествие меня не смущает, но я озабочен тем, как мы выберемся из этого дома, разве что бог пошлет нам на выручку еще одного коробейника. Впрочем, вы так полюбились джентльмену, что он охотно ссудит вас суммой и побольше той, что мы тут задолжали; с нас следует четыре-пять шиллингов, не более.

— Правильно, дитя мое,— ответил Адамс,— я напишу ему письмо и осмелюсь, пожалуй, попросить у него полторы кроны;

два-три лишних шиллинга в кармане нам не помешают,— они могут нам понадобиться, ведь нам предстоит еще пройти добрых сорок миль.

Фанни уже встала, и Джозеф пошел ее проведать, оставив Адамса писать письмо; и пастор, кончив, отправил письмо с мальчишкой, а сам сел у порога, разжег свою трубку и предался размышлениям.

Посыльный был в отсутствии дольше, чем казалось потребным, и Джозеф, вернувшись вместе с Фанни к пастору, высказал опасение, что дворецкий сквайра запер также и его кошелек. На что Адамс ответил, что и это вполне возможно и что дьявол способен надоумить дурного слугу сыграть любую шутку со своим достойным хозяином; но, добавил он, так как сумма невелика, то такой благородный джентльмен легко достанет ее в своем приходе,— если этих денег не окажется у него в кармане. Будь это пять-шесть гиней, сказал он, или еще того больше, тогда бы другое дело!

Они сели завтракать элем с гренками, когда посыльный вернулся и сообщил им, что джентльмена нет дома.

— Прекрасно! — сказал Адамс.— Но почему же, дитя мое, ты его не подождал? Ступай, мой добрый мальчик, и дождись его прихода: он не мог уехать куда-нибудь далеко, раз все его лошади больны, и кроме того, он совсем не собирался уезжать: ведь он же приглашал нас провести у него в доме весь этот день и завтрашний. Так что ступай назад, дитя, и жди, пока он не придет домой.

Посыльный ушел и вернулся назад очень скоро с донесением, что джентльмен отправился в дальнее путешествие и будет дома не раньше как через месяц. При этих словах Адамс, видимо, очень расстроился и сказал, что стряслось, вероятно, что-нибудь непредвиденное, болезнь или смерть кого-либо из родных или еще какое-нибудь неожиданное несчастье; и, обратившись затем к Джозефу, вскричал:

— Жаль, что ты не напомнил мне занять у него эти деньги с вечера.

Джозеф ответил с улыбкой, что он очень ошибся бы в джентльмене, если бы тот не нашел какого-нибудь предлога, чтобы отказать в этом займе.

— Признаться,— сказал он,— мне и раньше не слишком-то нравилось, что, едва познакомившись с вами, он проявляет к вам столько любезности: в Лондоне я слышал от джентльменов в ливреях много подобных историй о господах. Когда же мальчик принес известие, что джентльмена нет дома, я уже понял, что́ последует дальше: потому что когда светский человек не желает исполнять свое обещание, то он обыкновенно предупреждает слуг, что его никогда не будет дома для того просителя, которому оно дано. В Лондоне я сам не раз говорил, что сэра Томаса Буби нет дома. А когда человек протанцевал у подъезда

с месяц или больше, он под конец узнает, что джентльмен уехал из города и ничего не может предпринять по его делу.

— Боже милостивый! — говорит Адамс.— Какая испорченность в христианском мире! Она, скажу я, почти равна тому, что я читал о язычниках. Но, право же, Джозеф, твои подозрения касательно этого джентльмена несправедливы; каким глупцом должен быть человек, который без всякой корысти возьмет на себя труд дьявола? А скажи, пожалуйста, на какую выгоду мог он надеяться, обманывая нас своими предложениями?

— Не мне,— ответил Джозеф,— объяснять поведение людей такому, как вы, ученому человеку.

— Ты говоришь справедливо,— изрек Адамс,— знание людей приобретается только из книг; прежде всего из книг Платона и Сенеки *, а этих авторов ты, дитя, боюсь, никогда не читал.

— Правда, сэр, не читал,— ответил Джозеф,— а только нам в лакейской известно правило, что те господа, которые больше всех обещают, меньше всех делают для других; и я часто слышал от своих товарищей, что самые хорошие подарки получали они в тех домах, где им не обещали ничего. Но, сэр, чем нам дальше обсуждать такие материи, умнее будет поискать способ, как бы выбраться из этого дома: потому что щедрый джентльмен мало что не оказал нам никакой услуги, но еще оставил на нас весь счет.

Адамс хотел ответить, когда вошел кабатчик и сказал с усмешкой:

— Ну что, господа, сквайр еще не прислал вам лошадей? Бог ты мой, до чего легко иные люди раздают обещания!

— Как! — вскричал Адамс.— Вы и раньше знали за ним такие поступки?

— Я-то? Ого! — ответил кабатчик.— Мне, знаете, не пристало говорить что-нибудь этакое джентльмену в лицо, но теперь, когда его здесь нет, я могу вас заверить, что другого такого не сыщешь на трех ярмарках. Признаться, я едва не рассмеялся, когда услышал, как он вам предложил место пастора в нашем приходе; вот отколол штуку! Я уже подумал, не предложит ли он вам вслед за тем мой дом, потому что то и другое одинаково не в его власти.

При этих его словах Адамс, призвав на себя благословение божие, сказал, что даже не читал никогда о таком чудовище.

— Но больше всего меня удручает,— сказал он,— что он втянул нас в большой долг перед вами, который мы не сможем заплатить, потому что у нас нет при себе денег и — что еще того хуже — мы проживаем так далеко, что, если вы и поверите нам в долг, я боюсь, вы потеряете ваши деньги, так как мы не найдем оказии переслать их вам.

— Поверить вам, сударь? — говорит хозяин.— С превеликой радостью! Я слишком уважаю церковь, чтобы не поверить

священнику в долг такую малость, и к тому же мне нравится ваше опасение, что вы мне не заплатите вовсе. У меня пропало за людьми немало денег, и каждый раз меня уверяли, что мне вернут долг в самое короткое время. Я ради одной новизны готов подождать с уплатой. Это будет у меня — верно вам говорю — первый такой случай. Но что вы скажете, сударь, не распить ли нам на прощанье еще один жбанчик? Возьмем на мелок немного больше, только и всего; а если вы не уплатите мне ни шиллинга, потеря меня не разорит.

Адамсу это приглашение пришлось очень по душе, тем более что оно было сделано так сердечно. Он пожал хозяину руку и, поблагодарив его, сказал, что не откажется от жбанчика больше ради удовольствия распить его с таким достойным человеком, чем ради самого напитка; и он счастлив убедиться, добавил он, что есть еще в королевстве добрые христиане, а то ему уже начинало казаться, что он живет в стране, населенной одними иудеями и турками.

Радушный кабатчик принес жбан пива, а Джозеф с Фанни удалились в сад. Пока они там наслаждались любовной беседой, Адамс с хозяином принялись за пиво; и когда оба наполнили свои стаканы и разожгли свои трубки, между ними завязался разговор, который читатель найдет в следующей главе.

ГЛАВА XVII

Диалог между мистером Абраамом Адамсом и его хозяином, который в силу несходности их мнений привел бы, может быть, к бедственной развязке, не помешай тому своевременное возвращение влюбленных

— Сэр,— начал хозяин,— уверяю вас, вы не первый, кому наш сквайр наобещал больше, чем потом исполнил. Он так известен этой своей привычкой, что те, кто с ним знакомы, ни во что не ставят его слово. Помню я, он пообещал родителям одного паренька сделать его акцизным. Они жили в бедности, и такой расход был им не совсем-то по карману, но все же они обучили сына грамоте и счету и другим вещам, какие требуются для этой должности; и мальчик, питая такие надежды, стал задирать голову выше, чем следовало по его положению: он не желал уже ни пахать, ни выполнять другие работы и ходил прилично одетый, в рубашках голландского полотна, которые менял два раза в неделю. И так оно тянулось несколько лет, пока, наконец, он не поехал к сквайру в Лондон, думая напомнить ему о его обещаниях, но он никак не мог повидать его там. Оставшись без денег и без места, юноша попал в дурное общество, сбился с пути и кончил тем, что его

сослали в колонии; весть об этом разбила сердце его матери. Расскажу вам о сквайре еще одну доподлинную историю. У меня был сосед, фермер, и было у него два сына, которых он растил для трудовой жизни, оба — славные ребята. И вот сквайру вздумалось с чего-то, что из младшего надо сделать пастора. Он уговорил отца отдать мальчика в школу, пообещав, что потом он сам обеспечит его средствами для учения в университете, а по достижении им соответственного возраста выхлопочет ему приход. Но когда мальчик проучился семь лет в школе и отец привел его к сквайру с письмом от его учителя о том, что он достаточно подготовлен для университета, сквайр, вместо того чтобы вспомнить обещанное и послать его учиться дальше на свой счет, сказал только, что мальчик хорошо обучен и жаль, что средства не позволят отцу продержать его еще лет пять в Оксфорде: а то бы к тому времени, если бы ему удалось присмотреть место священника, то можно было бы выхлопотать для него посвящение в сан. Фермер ответил, что он не такой состоятельный человек. «Ну, тогда,— сказал сквайр,— мне очень жаль, что вы его столько лет учили, потому что прокормить его такие знания не могут, а в трудовой жизни, пожалуй, только повредят ему; и второй ваш сын, который будет спокойно пахать и сеять, едва умея подписать свое имя, окажется в лучших условиях, чем он». И в самом деле, так оно и вышло: бедный юноша, не находя друзей, которые, как он мечтал, поддержали бы его до конца учения, и не желая трудиться, пристрастился к вину, хотя раньше не пил вовсе, и вскорости — то ли с горя, то ли от запоя — получил чахотку и помер. И еще я могу вам рассказать. Тут у нас была одна девушка, первая красавица на всю округу,— так он сманил ее в Лондон, пообещав устроить камеристкой к одной этакой знатной даме. Но слова он не сдержал, и вскоре до нас дошло, что она, прижив ребенка от него же самого, сделалась попросту шлюхой; потом она содержала кофейню в Ковент-Гардене, а через короткое время умерла в тюрьме от французской болезни. Я мог бы вам порассказать еще немало историй. Но что вы думаете, как обошелся он со мной самим? Надо вам знать, сэр, я смолоду был моряком и много раз ходил в плавания, пока, наконец, не сделался сам владельцем судна и был уже на пути к богатству, когда на меня напал один из этих проклятых guarda-costas [1], которые, до того как началась война, нередко захватывали наши корабли. После боя, потеряв большую часть своей команды, лишившись снастей и обнаружив две пробоины по ватерлинии, я был вынужден спустить флаг. Негодяи угнали мой корабль, красавицу бригантину водоизмещением в сто пятьдесят тонн, а меня с одним матросом и юнгой посадили в утлую лодченку, в которой мы с превеликими трудностями

[1] Суда береговой охраны *(исп.)*.

добрались в конце концов до Фальмута,— хотя испанцы, вероятно, полагали, что ей и суток не продержаться на воде. Когда я вернулся сюда (потому что здесь проживала тогда моя жена, уроженка этих мест), сквайр сказал мне, что ему так нравится отпор, данный мною врагу, что он не побоится порекомендовать меня в командиры военного корабля, если я приму такое предложение,— и я заверил его, что с благодарностью приму. Так вот, сэр, прошло два или три года, и я за это время получил много повторных обещаний не только от сквайра, но (как он мне говорил) также из Адмиралтейства. Он все не возвращался из Лондона, но меня уверял, что теперь мне нечего тревожиться — первая же вакансия закреплена за мной; и что меня по сей день удивляет, когда я это вспоминаю: после стольких разочарований он давал мне эти посулы так же уверенно, как и в первый раз! Наконец, сэр, когда мне это надоело и когда после всех этих проволочек у меня зародились некоторые сомнения, я написал в Лондон одному своему другу, у которого, по моим сведениям, было знакомство в Адмиралтействе, и попросил его поддержать ходатайство сквайра, потому что я опасался, что тот хлопочет о моем деле не так усердно, как он меня уверял. И что вы думаете, какой ответ я получил от друга? Поверите ли, сэр, он сообщил мне, что сквайр никогда в жизни не упоминал моего имени в Адмиралтействе, и посоветовал мне, если нет у меня более надежного покровителя, отказаться от моих чаяний. Я так и сделал и, посовещавшись с женой, решил открыть питейный дом, где и приветствую вас: милости просим, ваш покорный слуга! А сквайр со всеми такими же гадами пусть проваливает к черту!

— Фу, нехорошо! — говорит Адамс.— Нехорошо! Он, конечно, дурной человек, но господь, я надеюсь, обратит его сердце к раскаянию. И если бы только он способен был понять всю низость этого скверного порока, если бы только подумал хоть раз, каким он оказывается отъявленным и опасным лжецом,— он, несомненно, проникся бы столь нестерпимым презрением к самому себе, что стало бы невозможным для него сделать еще хоть шаг по тому же пути. И, сказать по правде, невзирая на столь низкое суждение о нем, вполне, впрочем, заслуженное, в чертах его лица читаются достаточные признаки той bona indoles [1], той мягкости нрава, которая свойственна доброму христианину.

— Ах, сударь, сударь! — говорит хозяин.— Если бы вы столько странствовали, сколько я, и общались бы со всеми народами, с какими я вел торговлю, вы не полагались бы нисколько на лицо человека. «Признаки в чертах лица!» — уж и сказали! На лицо я посмотрел бы только, чтоб узнать, болел ли человек оспой,— ни для чего другого.

---

[1] Природной склонности к добру *(лат.)*.

Он проговорил это с таким неуважением к замечанию Адамса, что тот был сильно задет и, быстро вынув трубку изо рта, ответил так:

— Сударь мой, я, может быть, и без помощи корабля совершал более далекие странствия, чем вы. Вы думаете, заплывать в разные города и страны — это значит странствовать? Нет.

Coelum non animum mutant qui trans mare currunt [1].

Я в полдня могу проделать больший путь, чем вы в целый год. Что же, вы, я полагаю, видели Геркулесовы столбы * и, быть может, стены Карфагена. И вы могли, пожалуй, слышать Сциллу и видеть Харибду *; вы, верно, заходили в ту келью, где был застигнут Архимед при взятии Сиракуз *. Вы, я полагаю, плавали между Цикладами * и прошли знаменитым проливом, получившим свое имя от несчастной Геллы, чья участь так любовно описана Аполлонием Родосским *; вы, догадываюсь я, посетили то место, где Дедал упал в море, когда солнце растопило его восковые крылья; вы, несомненно, пересекли Понт Эвксинский *; побывали, конечно, на берегах Каспия и навестили Колхиду — посмотреть, нет ли там еще одного золотого руна?

— Нет, по чести, сударь,— ответил хозяин,— ни в одно из этих мест я никогда не заглядывал.

— А я побывал в них во всех,— сказал Адамс.

— Тогда,— вскричал хозяин,— вы были, верно, в Ост-Индии, потому что никаких таких мест, я могу в том присягнуть, нет ни на западе, ни в Леванте *.

— Простите, а где Левант? — промолвил Адамс.— Уж ему-то по всем правилам надо быть в Ост-Индии.

— Ого! Вы такой замечательный путешественник,— вскричал кабатчик,— а не знаете, где Левант! Я рад вам служить, сударь, но мне вы лучше таких вещей не говорите: не хвалитесь перед нами, что вы путешественник, здесь это не пройдет!

— Если ты так туп, что все еще меня не понимаешь,— молвил Адамс,— то я поясню: странствия, о коих я говорил, заключаются в книгах,— единственный вид путешествия, при котором приобретаются знания. Из книг я узнал то, что я сейчас утверждал: природа обычно кладет на лицо такой отпечаток духовной сущности, что искусный физиономист редко ошибется в человеке. Думаю, вы никогда не читали на этот счет историю с Сократом, так вот я вам ее расскажу. Один физиономист заявил о Сократе, что черты его лица ясно выдают в нем прирожденного плута. Такое суждение, противоречившее всему образу действий этого великого человека и общепринятому мнению о нем, так возмутило афинских юношей, что они стали

[1] Только ведь небо меняют, не душу, кто за море едет *(лат.)* — вошедшая в пословицу строка из «Посланий» Горация.

швырять камни в физиономиста и убили бы несчастного за его невежество, не удержи их от этого сам Сократ: он объявил замечание правильным и сознался, что, хотя он исправляет свои наклонности с помощью философии, от природы он так привержен к пороку, как о нем замечено. Так вот, ответьте мне: как иначе мог бы человек узнать эту историю, если не из книг?

— Хорошо, сударь,— сказал кабатчик,— а какая важность в том, знает ее человек или нет? Кто ходит по морям, как я ходил, тот всегда имеет возможность узнать свет, не утруждая своих мозгов ни Сократом, ни другими такими господами.

— Друг мой,— вскричал Адамс,— пусть человек проплывет вокруг всей земли и бросит якорь в каждой ее гавани — он вернется домой таким же невеждой, каким пустился в плавание.

— Бог с вами! — ответил кабатчик.— Был у меня боцман, бедняга; он едва знал грамоте, а мог водить корабль наравне с любым командиром военного флота, и к тому же отлично знал торговое дело.

— Торговля,— ответил Адамс,— как доказывает Аристотель в первой главе своей «Политики», недостойна философа, а если ведется так, как сейчас, она противоестественна.

Хозяин пристально посмотрел на Адамса и, выждав с минуту в молчании, спросил его, не из тех ли он сочинителей, которые пишут в «Газеттер»?

— Потому что я слышал,— сказал он,— что ее пишут пасторы.

— Газеттер! — сказал Адамс.— Что это такое?

— Это грязный листок с новостями,— ответил хозяин,— который вот уже много лет распространяют в народе, чтобы порочить торговлю и честных людей; я не потерпел бы его у себя на столе, хотя бы мне предлагали его задаром.

— Нет, здесь я ни при чем,— ответил Адамс,— я никогда не писал ничего, кроме проповедей; и уверяю вас, я не враг торговли, когда она в согласии с честностью, отнюдь нет! Я всегда смотрел на купца, как на очень ценного члена общества,— может быть, не ниже никого, кроме лишь человека науки.

— Не ниже, нет,— сказал хозяин,— и того не ниже. Что пользы было бы от науки в стране, где нет торговли? Чем бы вы, пасторы, покрывали ваши плечи и насыщали брюхо? Кто вам доставляет ваши шелка, и полотна, и ваши вина, и все прочие предметы, необходимые для вашей жизни? Кто, как не мореходы?

— Это все вам следовало бы скорее назвать предметами роскоши,— ответил пастор,— но допустим, что они необходимы,— есть нечто более необходимое, чем сама жизнь, и это нам дает учение: учение церкви, хочу я сказать. Кто вас облачает в одежду благочестия, кротости, смирения, милосердия, терпения и всех других христианских добродетелей? Кто

насыщает ваши души млеком братской любви и питает их тонкой пищей святости, которая очищает их от мерзостных плотских страстей и в то же время утучняет их воистину богатым духом благодати? Кто? спрошу я.

— Да, в самом деле, кто? — восклицает кабатчик.— Что-то мне не доводилось видеть такие одежды и такую пищу, как ни рад я, сударь, служить вам.

Адамс собрался дать на это суровую отповедь, когда Джозеф и Фанни вернулись и стали так настойчиво торопить его в дорогу, что он не мог им отказать; итак, схватив свою клюку и попрощавшись с хозяином (причем теперь они не были так довольны друг другом, как поначалу, когда только сели вместе за стол), он вышел вместе с Джозефом и Фанни, выражавшими сильное нетерпение, и они все втроем пустились снова в путь.

Конец второй книги

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Вступительное слово в прославление биографии

Невзирая на предпочтение, какое суд толпы, быть может, отдаст романистам, выпускающим свои книги под такими заглавиями, как история Англии, история Франции, Испании и т. д.,— не подлежит сомнению, что правду можно найти только у тех авторов, которые прославляют жизнь великих людей и обычно именуются биографами, в то время как первых следовало бы называть топографами или хорографами,— термины, которые могли бы превосходно отметить различие между ними, ибо своею задачей эти авторы ставят главным образом описание стран и городов, с чем при посредстве географических карт они справляются довольно хорошо, так что в этом на них можно положиться. Что же касается человеческих поступков и характеров, то здесь их писания не столь достоверны, чему не требуется лучшего доказательства, чем вечные противоречия, возникающие между двумя топографами, когда они берутся за историю одной и той же страны: например, между лордом Кларендоном и мистером Уитлоком, между мистером Ичардом и Рапеном * и между многими другими, у которых факты выставляются в совершенно различном освещении, так что каждый читатель верит, чему хочет, а самые рассудительные и недоверчивые читатели справедливо полагают такое писание в целом не чем иным, как романом, в котором писатель дал волю счастливому и плодотворному вымыслу. Но, если они сильно расходятся в передаче фактов, приписывая победу одни одной стороне, другие же другой, или одного и того же человека рисуя одни негодяем, другие великим и честным,— то все они, однакоже, согласны меж собой в указаниях места, где происходили предполагаемые события и проживало лицо, являющееся одновременно негодяем и честным человеком. Мы же, биографы, являем пример обратного. На истинность излагаемых нами событий можно вполне положиться,

хотя мы часто указываем неверно, в каком веке и в какой стране они происходили. Так, быть может, и достойно изысканий критики, в Испании ли жил пастух Хрисостом, который, как нам сообщает Сервантес, умер от любви к прекрасной Марселе, пренебрегавшей им,— но станет ли кто сомневаться, что подобный глупый малый действительно существовал? Есть ли на свете такой скептик, который не поверил бы в безумие Карденио, вероломство Фернандо, назойливое любопытство Ансельмо, слабость Камиллы, шаткую дружбу Лотарио *,— хотя, быть может, касательно времени и места, где жили все эти люди, наш добрый историк прискорбно неточен. Но самый известный пример такого рода мы находим в истинной истории о Жиль Блазе *, где неподражаемый биограф допустил пресловутую ошибку относительно родины доктора Санградо, который обращался со своими пациентами, как виноторговец с винными бочонками, выпуская из них кровь и доливая водой. Разве не известно каждому, кто хоть немного знаком с историей медицины, что не в Испании проживал этот доктор? Равным образом неверно называет тот же автор родину своего архиепископа, как и родину тех важных особ, чей возвышенный ум не находил вкуса ни в чем, кроме трагедии,— и многие другие страны. Те же ошибки можно заметить и у Скаррона *, и в «Тысяче и одной ночи», и в историях Марианны и Удачливого крестьянина * и, может быть, еще у ряда писателей этого разряда, которых я не читал или сейчас не припомню, ибо я никоим образом не распространяю эти замечания на тех авторов современных повестей и «Атлантид» *, которые, не прибегая к помощи природы или истории, повествуют о личностях, каких никогда не было и не будет, и о делах, какие никогда не вершились и не могут вершиться; писателей, чьи герои суть их собственные творения, и чей мозг — тот хаос, откуда они черпают весь свой материал. Не то, чтоб эти писатели не заслуживали почета, напротив — им, быть может, подобает самый высокий почет: что может быть благороднее, чем являть собою пример удивительной широты человеческого гения! К ним можно применить сказанное Бальзаком * об Аристотеле: что они представляют собою вторую природу (потому что они не имеют ничего общего с первой, на которую авторы более низкого разряда, не умея стоять на собственных ногах, вынуждены опираться, как на костыли). Те же, о ком я сейчас говорю, обладают, повидимому, такими ходулями, которые, как сказал в своих письмах блистательный Вольтер, «уносят наш гений далеко, но неравномерным шагом». Воистину, далеко за пределы читательского зрения,

За царство хаоса и древней ночи.

Но вернемся к первому разряду, к тем, кто довольствуется списыванием с природы, не создавая новых образцов из беспо-

рядочной груды материи, нагроможденной в их собственном мозгу. Разве такая книга, как та, что повествует о подвигах прославленного Дон Кихота, не заслуживает именоваться историей больше даже, чем повесть о Марианне? Ибо в то время как последняя замкнута в границы известного времени и известной страны, первая есть история мира в целом или по меньшей мере той части его, которая причастна законам, искусствам и наукам,— ее историей от того времени, когда она впервые приобщилась к ним, и до наших дней, и далее — доколе она будет им причастна.

Теперь я попробую применить эти замечания к лежащему перед нами труду, ибо, по правде сказать, я их здесь изложил главным образом в целях отвода некоторых предположений, какие могут построить касательно отдельных его частностей простосердечные люди, всегда спешащие усмотреть в изложенном отчет о добродетелях своих друзей. Несомненно, некоторые из моих читателей узнали законоведа в почтовой карете, как только услышали его голос. Вполне вероятно, что мой остроумец и чопорная дама также встретятся со знакомыми, равно как и все прочие действующие лица. Поэтому, чтоб устранить всякие злостные сопоставления, я заявляю здесь раз навсегда, что я описываю не людей, а нравы, не индивидуума, а вид. Мне, может быть, возразят: так разве действующие лица не взяты из жизни? На это я отвечу утвердительно, я даже могу, пожалуй, сказать, что написал очень мало такого, чего бы не видел сам. Законовед не только что живет, но прожил уже четыре тысячи лет; и, я надеюсь, бог продлит его жизнь еще на столько же. К тому же, его можно встретить не только среди людей одной профессии, одного вероисповедания, одной страны, но когда впервые появилось на человеческой сцене низкое, себялюбивое существо, которое ставило свое «я» в центре всего творения, которое не желало ни утруждать себя, ни подвергаться опасности, ни давать деньги, чтобы помочь другому человеку или спасти ему жизнь,— тогда родился наш юрист; и покуда такая особа, какую я сейчас описал, существует на земле, до тех пор проживет и он. А следовательно, ему воздают мало чести, когда полагают, что он силится изобразить какого-либо маленького, безвестного человека, потому что он случайно сходствует с ним той или иной чертой или, скажем, своею профессией; между тем как его появление на свет предполагало куда более широкие и благородные цели: не выставить на посмеяние одно жалкое существо перед узким и презренным кругом его знакомых, но показать зеркало тысячам, в тишине их кабинетов, чтоб они могли узреть свое уродство и постарались бы от него избавиться,— и таким образом, претерпев тайное унижение, избегли бы публичного срама. Это ставит границу и определяет различие между сатириком и пасквилянтом: первый тайно исправляет недостатки

человека для его же блага — как отец; второй публично позорит самого человека в острастку другим — как палач.

Остается еще только рассмотреть кое-какие мелкие обстоятельства. Как драпировка не меняет портрета, так, сколько бы мода ни менялась в разные времена, сходство от этого не уменьшается. Так что, мне кажется, мы с уверенностью можем сказать, что миссис Тау-Вауз ровесница нашему юристу; и хотя в тех превратностях, каким она должна была подвергнуться в столь длительном существовании, ей, наверно, довелось в свое время стоять и за стойкой в гостинице,— я не постесняюсь утверждать, что в круговороте веков она когда-нибудь восседала и на троне. Короче говоря, если когда-либо крайняя буйность нрава, жадность и бесчувствие к человеческому горю, приправленное некоторой долей лицемерия, соединялись в женском облике,— этой женщиной была миссис Тау-Вауз; а если когда-либо замечались в мужчине проблески доброты, затемненные скудостью духа и разума,— этим мужчиной был не кто иной, как ее трусливый муж.

Не стану больше задерживать читателя и сделаю ему только еще одно предостережение обратного свойства. Как в большинстве наших действующих лиц мы хотим бичевать не индивидуумов, а всех людей того же рода,— так в наших общих описаниях мы имеем в виду не всех огулом, но подразумеваем наличие многих исключений. Например, при описании «высоких лиц» мы, конечно, не намеревались включить сюда уже и тех, которые к чести для своего высокого звания умеют благонаправленной снисходительностью сделать свое превосходство возможно менее тягостным для людей, поставленных, главным образом по воле случая, ниже их. Так, я мог бы назвать одного пэра, возвышающегося над людьми столько же по своей природе, сколько благодаря Фортуне: нося на своей особе благородные знаки почета, он носит в то же время печать достоинства на душе своей, отмеченной величием, обогащенной знанием и украшенной гением. Я видел, как этот человек, оказывая щедрую помощь другому, свободно общался с ним и был ему покровителем и в то же время приятелем. Я мог бы назвать одного простолюдина, своими превосходными талантами вознесенного над толпой так высоко, как его не мог бы всей своей властью возвысить государь: его обращение с теми, кому он оказывает услугу, приятнее самой услуги, и он так умеет проявлять радушие, что, если бы мог отбросить врожденное величие осанки, он часто заставлял бы самого смиренного из своих знакомых забывать, кто хозяин того дома, где их столь любезно принимают. Эти образы, мне думается, должны быть всем известны; я заявляю, что они взяты из жизни и нисколько не возвышаются над ней. Под описанными мною «высокими людьми» я, следовательно, разумею множество жалких особ, которые, позоря своих дедов, чей почет и

богатства они унаследовали (или еще, пожалуй, больше своих матерей,— потому что такое вырождение едва ли вероятно), имеют наглость проявлять пренебрежение к людям, стоящим отнюдь не ниже тех, кому они обязаны собственным своим величием. Невозможно, мне кажется, придумать зрелище, более достойное нашего негодования, чем человек, который не только пятнает родовой свой герб, но срамит весь род человеческий, надменно обращаясь с людьми достойными, являющими собою честь для природы своей и позор для ветреной Фортуны.

А теперь, читатель, прихватив с собою эти указания, ты можешь, если хочешь, последовать дальше за течением нашей правдивой истории.

ГЛАВА II

Ночная сцена, во время которой на долю Адамса и его спутников выпало несколько удивительных приключений

Наши путешественники столь поздно выбрались из гостиницы или кабака (можно назвать так и этак), что немного прошли они миль, когда их настигла или встретила ночь,— как вам будет угодно. Читатель должен меня извинить, что я не вдаюсь в подробное описание их пути; так как мы приближаемся к местожительству господ Буби и так как имя это несколько опасного свойства и некоторые злонамеренные лица могут в коварстве своем применить его ко многим достойным деревенским сквайрам — порода людей, которая представляется нам вполне безобидной и внушает нам должное почтение,— то мы ничем не желаем содействовать таким злонамеренным целям.

Мгла уже покрыла половину земного шара, когда Фанни шепотом попросила Джозефа остановиться для отдыха, потому что она так устала, что больше не может идти. Джозеф тотчас убедил Адамса, еще ничуть не притомившегося, сделать привал. Тот, едва уселся, начал скорбеть об утрате своего любезного Эсхила, и только мысль, что в темноте он все равно не мог бы читать, несколько утешила его.

Небо было так затянуто облаками, что не проглядывала ни одна звезда. То была воистину «зримая тьма», по выражению Мильтона. Это обстоятельство, однако, было очень приятно для Джозефа, ибо Фанни, не опасаясь, что Адамс ее увидит, дала волю своей страсти, как никогда до той поры: склонив голову Джозефу на грудь, она беззаботно обвила его руками и позволила ему прижаться щекой к ее щеке. Это преисполнило нашего героя таким счастьем, что он не променял бы свою мураву на прекраснейший пуховик в прекраснейшем в мире дворце.

Адамс сел поодаль от влюбленных и, не желая мешать им, предался размышлению. Но немного времени провел он так, когда заметил вдали свет, который, казалось, приближался к нему. Он тотчас окликнул невидимого путника, но к его прискорбию и удивлению свет на миг остановился и затем исчез. Тогда Адамс спросил у Джозефа, не видел ли он свет? Джозеф ответил, что видел.

— А заметил ты, как он исчез? — добавил Адамс.— Я хоть и не боюсь привидений, но допускаю их существование.

Он погрузился в размышления об этих бесплотных существах, вскоре прерванные несколькими голосами, которые прозвучали, как ему помнилось, чуть ли не над ухом у него, хотя на деле они доносились с изрядного расстояния. Так или иначе, но он отчетливо разобрал, что путники сговариваются убить всякого, кого они встретят. А немного погодя услышал, как один из них сказал, что за эти две недели он уже прирезал с дюжину.

Адамс упал на колени и вверил себя промыслу божию, а бедная Фанни, тоже расслышавшая эти страшные слова, обняла Джозефа так крепко, что если бы не боязнь за подругу (потому что и он был не глух), то любую опасность, какая грозила бы только ему, он почел бы недорогою ценой за такие объятия.

И вот Джозеф вынул свой перочинный нож, а пастор, кончив молитву, схватился за клюку, единственное свое оружие, и, подойдя к Джозефу, предложил ему разлучиться с Фанни и поместить ее в тыл. Но его совет остался втуне, девушка только крепче прижалась к милому, ничуть не постеснявшись присутствием Адамса, и ласкающим голосом заявила, что готова умереть в его объятиях. Джозеф, с невыразимой страстью прижав ее к груди, шепнул ей, что «смерть в ее объятиях ему отрадней, чем жизнь без них». Адамс, потрясая клюкой, сказал тогда, что и он презирает смерть не менее, чем кто другой, а затем громко провозгласил:

Est hic, est animus lucis contemptor et illum,
Qui vita bene credat emi quo tendis, honorem [1].

Голоса на миг замолкли, потом один из них прокричал:

— Кто тут есть, черт побери? — на что у Адамса хватило благоразумия промолчать; и вдруг он увидел несколько огней, которые возникли, как ему почудилось, все сразу из-под земли и быстро стали к нему приближаться. Он тотчас заключил, что это привидения, и, сообразив, что и голоса были нечеловеческие, воскликнул:

— Именем господа, чего тебе надобно?

---

[1] Есть здесь дух, презирающий свет, и он полагает
Дешево жизнью купить ту честь, которой ты ищешь *(лат.)*.
(Вергилий, «Энеида».)

Только он это выговорил, как один из голосов крикнул:

— Вот они, черт их возьми!

И вскоре затем Адамс услышал звуки крепких ударов, как будто несколько человек схватились в драке на палках. Он уже двинулся было к месту сражения, когда Джозеф поймал его за полы, умоляя не мешкать и, покуда темно, увести Фанни от опасности. Адамс тотчас уступил. Джозеф помог Фанни подняться, и они все трое пустились наутек; не оглядываясь и не подвергшись погоне, они отмахали добрых две мили,— причем Фанни ни разу не пожаловалась на усталость,— когда увидели вдалеке несколько огоньков на небольшом расстоянии друг от друга; сами же они оказались в это время на склоне очень крутого косогора. Адамс поскользнулся и мгновенно исчез из виду, что сильно напугало Джозефа и Фанни; но если бы свет позволил им что-нибудь разглядеть, они бы, верно, с трудом удержались от смеха при виде того, как пастор катится с горы,— а он действительно проделал таким образом весь путь от вершины до подножья, не причинив себе вреда. Потом, чтобы успокоить их, он прокричал во весь голос, что цел и невредим. Джозеф и Фанни постояли с минуту, раздумывая, как им быть. Потом сделали несколько шагов до места, где спуск казался не таким крутым, и тогда Джозеф, взяв свою Фанни на руки, твердо пошел вниз по косогору и, ни разу не споткнувшись, опустил ее, наконец, наземь у подножья горы, где к ним вскоре присоединился и Адамс.

Учитесь, мои прекрасные соотечественницы! Помните о собственной слабости и тех возможностях, при которых сила мужчины может вам быть полезна, и, взвесив должным образом то и другое, остерегайтесь избирать себе парой жидконогих щеголей и модных петиметров, которые не только что не понесут вас на крепких руках, как Джозеф Эндрус, по неровным дорогам и крутым уклонам жизненного пути, но еще, пожалуй, захотят в бессилии своем опереться на вашу силу и помощь.

Наши путешественники двинулись дальше — туда, где виднелся ближайший огонек, и, миновав выгон, выбрались на лужок; теперь огонь, казалось, был совсем уже недалеко, но, к своему горю, они очутились на берегу реки. Адамс остановился и объявил, что он-то может пересечь ее вплавь, но не знает, удастся ли переправить таким образом и Фанни; на что Джозеф возразил, что если пойти вдоль берега, то им непременно встретится вскоре мост, тем более что множество огней не оставляет сомнений в том, что неподалеку лежит селение.

— Верно,— сказал Адамс,— а я и не подумал.

И вот, приняв план Джозефа, они пересекли два выгона и подошли к маленькому яблоневому саду, который вывел их к дому. Фанни попросила Джозефа постучаться туда, уверяя, что от усталости еле стоит на ногах. Адамс, шедший первым,

совершил эту церемонию; дверь тотчас отворилась, и на пороге появился простой на вид человек. Адамс объяснил ему, что с ними молодая женщина, которая так утомлена путешествием, что они будут ему очень обязаны, если он позволит ей зайти и отдохнуть. Человек осветил Фанни свечой, которую держал в руке, и, так как девица показалась ему невинной и скромной, а учтивая манера Адамса не вызвала у него никаких опасений, он тотчас ответил, что будет рад предложить отдых в своем доме и девушке и спутникам ее. Затем он провел их в очень приличную комнату, где сидела за столом его жена; она тотчас поднялась и стала придвигать стулья, приглашая их сесть, и не успели они принять приглашение, как хозяин дома спросил их, не выпьют ли они чего-нибудь, чтоб освежиться. Адамс поблагодарил и ответил, что не отказался бы от кружки эля, и Джозеф с Фанни присоединились к его выбору. Пока хозяин наполнял весьма объемистый кувшин, его жена, сказав гостье, что у нее очень усталый вид, стала ее уговаривать, чтоб она выпила чего-нибудь покрепче эля; та горячо поблагодарила, но отказалась, добавив, что и впрямь очень устала, но что короткий отдых, конечно, восстановит ее силы.

Когда все уселись за стол, мистер Адамс, влив в себя немалое количество эля и с общего разрешения закурив трубку, обратился к хозяину дома с вопросом: не пошаливает ли в окрестности нечистая сила? Не получив ответа на свой вопрос, он начал рассказывать, на какое приключение они натолкнулись сейчас в горах. Но не довел он свой рассказ и до половины, как кто-то громко застучал в дверь. Все выразили некоторое удивление, а Фанни и добрая женщина сильно побледнели. Муж вышел на стук, и, пока он был в отсутствии, что продолжалось довольно долго, они все молча смотрели друг на друга и прислушивались к шумному разговору,— звучало сразу несколько голосов. Адамс уже не сомневался, что это блуждают духи, и обдумывал, как их заклясть; Джозеф готов был склониться к тому же мнению; Фанни сильней опасалась людей, нежели призраков, а добрая женщина начала подозревать своих гостей, вообразив, что там, за дверью, жулики из одной с ними шайки. Наконец, хозяин дома вернулся и со смехом сказал Адамсу, что его привидение раскрыто: убийцами были овцекрады, а двенадцать жертв — не что иное, как зарезанные ими овцы. К этому он добавил, что пастухи с ворами управились, двоих поймали и теперь ведут их к мировому судье. Это сообщение разогнало все страхи; и только Адамс пробормотал про себя, что он тем не менее убежден в существовании привидений.

Они весело сидели у огня, покуда хозяин, оглядев своих гостей и рассудив, что ряса, выбившаяся из-под кафтана у Адамса, и поношенная ливрея Джозефа Эндруса плохо соответствуют дружественному тону между ними, не начал

строить кое-какие предположения, не совсем выгодные для его гостей; и, обратившись к Адамсу, он сказал, что по одежде он в нем различает священника, а в этом честном малом предполагает его лакея.

— Да, сэр,— ответил Адамс,— я, к вашим услугам, священник, но этот молодой человек, которого вы справедливо назвали честным, сейчас не состоит ни у кого на службе; он не жил никогда ни в одном доме, кроме дома леди Буби, откуда уволен, уверяю вас, совершенно безвинно.

Джозеф же сказал, что его ничуть не удивляет, если джентльмену кажется странным, когда такой человек, как мистер Адамс, в своей доброте нисходит до бедняка.

— Дитя,— сказал Адамс,— плохим я был бы священником, если бы почитал честного бедняка недостойным моего внимания или дружбы. Я не знаю, как люди, мыслящие иначе, могут называть себя последователями и слугами того, кто не делал различия между людьми, а если делал, то разве лишь отдавая предпочтение бедным перед богатыми. Сэр,— продолжал он, обратившись к джентльмену,— эти двое молодых людей — мои прихожане, и я люблю их и смотрю на них, как на своих детей. В их истории есть кое-что не совсем обычное, но сейчас будет слишком долго ее рассказывать.

Несмотря на простодушие, сквозившее во всем облике Адамса, хозяин дома, слишком хорошо зная свет, не спешил дать веру его заявлениям. Он не был вполне убежден, что Адамс и впрямь священник, хоть и видел на нем рясу. И вот, чтоб испытать его несколько, он спросил, не выпустил ли мистер Поп * за последнее время чего-нибудь нового. Адамс ответил, что слышал высокие хвалы этому поэту, но что сам он не читал и ничего не знает из его произведений. «Хо-хо! — сказал про себя джентльмен.— Не поймал ли я тебя, голубчика?»

— Как,— молвил он вслух,— вы не знакомы с его Гомером?

Адамс ответил, что никогда не читает классиков в переводе.

— И в самом деле,— ответил джентльмен,— в греческой речи есть такая величавость, какой, мне думается, не достигает ни один из современных языков.

— А вы, сэр, знаете греческий? — сказал с оживлением Адамс.

— Немножко, сэр,— ответил джентльмен.

— Вы не укажете мне, сэр,— воскликнул Адамс,— где я мог бы купить Эсхила? Моего постигло недавно несчастие.

Эсхил был не под силу джентльмену, хоть он и отлично знал это имя; возвращаясь поэтому к Гомеру, он спросил, какую часть «Илиады» пастор считает превосходнейшей? Адамс на это ответил, что правильней было бы спросить, какой род красоты он полагает главным в поэзии,— потому что Гомер равно превосходен во всех.

— В самом деле,— продолжал он,— сказанное Цицероном о совершенном ораторе отлично можно применить и к великому поэту: «Он должен владеть всеми совершенствами». Гомер ими всеми владел в наивысшей степени; так что не без основания философ в двадцать второй главе своей «Поэтики» иначе его не называет, как только словом «поэт». Он был отцом не только эпоса, но и драмы, и не только трагедии, но так же и комедии, ибо его «Маргит», к прискорбию утраченный, стоял, по словам Аристотеля, в таком же отношении к комедии, как его «Илиада» и «Одиссея» к трагедии. Следовательно, ему мы обязаны также и Аристофаном, а не только Еврипидом, Софоклом * и бедным моим Эсхилом. Но если вам угодно, мы ограничимся (по крайней мере сейчас) «Илиадой», его благороднейшим творением; хотя, насколько я помню, ни Аристотель, ни Гораций не отдают ей предпочтения перед «Одиссеей». Прежде всего, в отношении ее сюжета: что может быть проще и в то же время благородней? Первый из этих двух рассудительных критиков справедливо хвалит нашего поэта за то, что он избрал своим предметом не всю войну, которая, хоть и имела, как мы от него узнаем, свое ясное начало и конец, была слишком обширна для того, чтоб ее охватить и уразуметь с одного взгляда. Меня поэтому часто удивляло, почему такой точный автор, как Гораций, в своем послании к Лоллию, называет Гомера «Trojani Belli Scriptorem» [1]. Во-вторых, возьмем, его развитие действия, по Аристотелю — pragmaton systasis [2]: возможно ли для ума человеческого вообразить столь совершенное единство и в то же время такое величие? И здесь я должен сделать указание на нечто, что никем, насколько я помню, до сих пор не отмечалось: эта harmotton [3], эта согласованность действия и сюжета! Ибо, если сюжетом является гнев Ахиллеса, сколь соответствует ему действие, каковым является война, из которой и возникает каждое новое событие и с которою связан каждый эпизод?! В-третьих, его нравы — то, что Аристотель помещает на втором месте в своем описании различных частей трагедии и что, по его словам, заключено в действии; я теряюсь и не знаю, чем больше восхищаться, точностью ли его суждения, открывающейся в тончайших подробностях, или необъятностью его воображения, проявившейся в их разнообразии? Если говорить о первой из них — как тонко проводится различие между гордым, уязвленным чувством Ахиллеса и оскорбительной горячностью Агамемнона! Как глубоко грубая храбрость Аякса отлична от милой удали Диомеда или мудрость Нестора, плод долгого размышления и опыта, от Улиссова ума, вскормленного только

---

[1] Автором, описавшим Троянскую войну *(лат.)*.
[2] Состав событий *(греч.)*.
[3] Соответствие *(греч.)*.

изощренностью и хитростью! В рассуждении же их разнообразия мы можем воскликнуть вместе с Аристотелем (в двадцать четвертой его главе), что ни одна часть божественной Гомеровой поэмы не лишена характеров. Поистине, я мог бы сказать, что едва ли в человеческой природе найдется такая черта, какая не была бы затронута где-либо в этой поэме. И как нет такой страсти, какую он не мог бы описать, так нет и такой, какую он не мог бы разбудить в читателе; если в чем-либо он, может быть, превосходнее, чем во всем другом, то скорее всего, склонен я думать, в патетике. Уверяю вас, я никогда не мог читать без слез двух эпизодов, где выведена Андромаха, сетующая в первом о грозящей Гектору опасности, и во втором — о его смерти. Образы в них так необычайно трогательны, что поэт, по моему убеждению, должен был обладать исключительно благородным и добрым сердцем. И я позволю себе заметить, что Софокл далеко уступает красотам своего образца, когда в уста Текмессы * он вкладывает подражание нежным уговорам Андромахи. А ведь Софокл был величайшим гением из всех, кто писал трагедии, и никто из его преемников в этом искусстве, то есть ни Еврипид, ни трагик Сенека, не может идти в сравнение с ним. Что до суждений его и слога, то о них мне не нужно ничего говорить: первые особливо замечательны чрезвычайным совершенством в самом главном,— а именно своею правильностью; о последнем же пространно говорит Аристотель, которого вы, несомненно, читали и перечитывали. Я упомяну только еще одну вещь — то, что великий критик в своем разборе трагедии называет opsis'ом, или обстановкой, и что эпосу присуще так же, как и драме, с одною лишь разницей: в эпосе ее создание падает на долю поэта, а в драме на долю художника. Но случалось ли когда художнику вообразить такую сцену, какую дают нам тринадцатая и четырнадцатая песни «Илиады», где читатель одновременно видит пред собой Трою с выстроившимся пред нею илионским войском; греческое войско, лагерь и флот; Зевса, восседающего на вершине Иды и, с головой, окутанной облаками, с молнией в деснице, взирающего на Фракию; Посейдона, шествующего по морю, которое расступается, чтоб дать ему проход, и затем садящегося на гору Самос; и раскрывается небо, и все боги сидят на престолах! Это ль не возвышенно? Это ль не поэзия?

Адамс прочитал затем на память около ста греческих стихов таким голосом и так выразительно и страстно, что чуть не напугал обеих женщин, а джентльмен, оставив прежние свои сомнения касательно Адамса, склонен был теперь подозревать, что в его лице он принимает у себя епископа. Он пустился в безудержные хвалы учености Адамса и по доброте сердца перенес свое благоволение и на его спутников. Он сказал, что очень сострадает молодой женщине, которая так бледна и слаба от долгого пути (по правде говоря, она ему

представлялась более высокой персоной, чем была на деле). Затем он выразил сожаление, что не может с удобством устроить их всех троих, но если они удовольствуются местом у очага, то он охотно посидит с мужчинами, а молодая женщина может, если ей угодно, разделить постель с его женой,— что̀ он ей весьма советует, потому что до ближайшего постоялого двора идти еще не меньше мили, да и тот не очень-то хорош. Адамс, которому полюбились и кресло, и эль, и табак, да и сам хозяин, уговорил Фанни принять любезное предложение, и в этих уговорах его поддержал Джозеф. Впрочем, склонить ее было нетрудно, потому что она мало спала в последнюю ночь и вовсе не спала в предыдущую, так что даже любви едва ли было под силу помешать ее векам сомкнуться. Когда предложение было, таким образом, с благодарностью принято, добрая хозяйка выставила на стол все, что нашлось в доме съестного, и гости, по радушному приглашению, усердно принялись за еду, особенно пастор Адамс. Молодые же люди скорее подтверждали справедливость мнения врачей, гласящего, что любовь, как и прочие сладости, не служит к возбуждению аппетита.

Как только кончился ужин, Фанни по собственному почину удалилась на покой, и добрая хозяйка составила ей компанию. Хозяин дома, Адамс и Джозеф (который по скромности своей ушел бы из комнаты, если б джентльмен не настоял на обратном) подтянулись поближе к камину, где Адамс (по его собственному выражению) «вновь начинил» трубку, а джентльмен достал бутылку превосходного пива — лучшего напитка в его доме.

Скромное поведение Джозефа, его изящная внешность, добрый отзыв о нем Адамса и явно дружественные их отношения — все это стало оказывать свое воздействие на чувства джентльмена и пробудило в нем желание узнать его историю, о необычности которой ранее упоминал пастор. Только он высказал это свое желание Адамсу, как тот с соизволения Джозефа поспешил удовлетворить его любопытство и рассказал все, что знал, но по возможности щадя доброе имя леди Буби; и в заключение поведал о давней, верной и взаимной любви юноши к Фанни, не скрывая, что девушка она незнатная и неученая. Это последнее обстоятельство окончательно успокоило мнительность джентльмена, заподозрившего было, что Фанни — дочь какого-нибудь важного лица и что Джозеф с нею сбежал, посвятив в свой заговор Адамса. Теперь он был прямо-таки влюблен в своих гостей, весело пил за их здоровье и горячо благодарил Адамса за труд, когда тот закончил свой долгий рассказ,— потому что рассказывать он любил обстоятельно.

Адамс указал джентльмену в ответ, что в его власти теперь отплатить тем же, ибо необычайное его радушие и проявлен-

ные им большие познания в словесности [1], каких он не ожидал встретить под такою кровлей, пробудили в нем поистине небывалое любопытство.

— Так что,— сказал он,— если это не слишком будет затруднительно, сэр, пожалуйста — вашу историю!

Джентльмен ответил, что не может отказать гостю в том, чего он вправе требовать; и после некоторых обычных извинений, какие часто служат предисловием к истории, он начал следующим образом.

ГЛАВА III,

в которой джентльмен рассказывает историю своей жизни

— Сэр, я происхожу из хорошей семьи и по рождению — дворянин. Я получил светское воспитание, учился в закрытой школе, где настолько преуспел, что овладел латинским и довольно прилично греческим языком. Когда мне было шестнадцать лет, умер мой отец и оставил меня хозяином над самим собой. Он мне завещал скромное состояние, которое я, по его желанию, не мог получить, пока мне не исполнится двадцать пять лет: ибо он всегда утверждал, что раньше этого возраста нельзя предоставлять человеку поступать по собственному усмотрению. Однако это его намерение было так туманно выражено в его завещании, что юристы посоветовали мне вступить по этому пункту в тяжбу с моими опекунами Признаться, я отнесся неуважительно к желанию покойного отца, достаточно мне известному, принял их совет и вскоре добился успеха, ибо опекуны мои не проявили в этом деле большого упорства.

— Сэр,— перебил Адамс,— могу я просить соизволения узнать ваше имя?

Джентльмен ответил, что его зовут Вильсоном, и продолжал:

---

[1] Кое-кто поставил автору на вид, что здесь он допустил ошибку· ибо Адамс в самом деле выказал некоторые познания — возможно, все, какими обладает сам автор; джентльмен же не выказал никаких, если не счесть за признак учености его одобрение Адамсу, что было бы явной нелепицей. Однакоже, невзирая на такую критику, исходившую, как мне сказали, из уст одного великого оратора в общественной кофейне, я оставил эту ошибку неисправленной, как было в первом издании. Меня, надеюсь, не почтут тщеславным, если я применю к чему-либо в этом труде замечание, которое делает г-жа Дасье * в предисловии к своему «Аристофану»: «Je tiens pour une maxime constante, qu'une beauté médiocre plait plus généralement qu'une beauté sans défaut». (Я считаю непреходящей истиной, что посредственная красота людям больше нравится, чем красота безупречная.) Мистер Конгрив * допускает такого же рода промах в своей «Любви за любовь», где Татл говорит мисс Пру, что за его похвалы ее красоте она должна восхищаться им так же, как если бы он сам обладал этой красотой. *(Прим. автора.)*

— После смерти отца я очень недолго оставался в школе; рано развившись в юношу, я с крайним нетерпением рвался вступить в свет, считая себя для этого достаточно возмужалым, образованным и одаренным. Этому слишком раннему вступлению в жизнь без должного руководства я приписываю все мои последующие несчастья, так как, помимо очевидных зол, связанных с ним, тут кроется кое-что еще, не всеми замечаемое: первое впечатление, произведенное вами на людей, очень трудно потом искоренить. Каким же несчастьем должно быть для вас, если ваша репутация в обществе установилась раньше, чем вы могли узнать ей цену или взвесить последствия тех поступков, от которых зависит в будущем ваше доброе имя?

Без малого семнадцати лет я бросил школу и отправился в Лондон всего лишь с шестью фунтами в кармане,— с крупной суммой, воображал я тогда, а потом удивился, увидев, как быстро она растаяла.

В своем тщеславии я стремился стяжать славу утонченного джентльмена и полагал, что для начала мне помогут в этом портной, парикмахер и еще кое-кто из ремесленного люда, промышляющего облачением человеческого тела. Как ни тощ был мой кошелек, я получил у них кредит легче, чем ожидал, и вскоре был обряжен так, как мне хотелось. Это, признаюсь, приятно меня удивило; но впоследствии я узнал, что в аристократической части столицы многие поставщики придерживаются правила оказывать заказчикам кредит как можно шире, назначать цены как можно выше и налагать затем арест как можно скорее.

Я подумывал о совершенствах второстепенных — о танцах, фехтовании, верховой езде и музыке; но так как на них требовались и время и затраты, то я успокоился по отношению к танцам на том, что немного учился им в детстве и умел довольно мило пройтись в менуэте; что до фехтования, так я решил, что мой покладистый нрав убережет меня от ссор; о том, что нет у меня лошади, никто, надеялся я, не подумает; а в музыке я рассчитывал легко прослыть знатоком, так как помнил, что многие мои школьные товарищи позволяли себе судить об операх, хотя не умели ни петь, ни играть на скрипке.

Необходимым казалось также знание города: его, я думал, даст мне посещение общественных мест. Поэтому я стал уделять им все мое внимание и таким путем вскоре овладел модными словечками, выучился превозносить модные развлечения и знал по имени и в лицо большинство бывших тогда в моде мужчин и женщин.

Теперь как будто оставалось только позаботиться о любовных интригах,— и я решил завести их немедленно: то есть, я хочу сказать, немедленно стяжать соответствующую славу. И в самом деле, я так в этом преуспел, что в самое короткое

время завязал пять-шесть связей — и с самыми блистательными женщинами Лондона.

При этих его словах Адамс испустил глубокий вздох и, призвав на себя благословение господне, воскликнул:

— Боже милостивый! Какие дурные времена!

— Не такие дурные, как вы думаете,— продолжал джентльмен,— ибо, уверяю вас, все эти дамы были целомудренны, как весталки *, насколько мог я это знать. К чему я стремился и чего достиг — была лишь молва о моей связи с ними; и, может быть, даже в этом я только обольщался: все те, кому я показывал их записочки, знали, вероятно, не хуже меня самого, что записочки эти подложны и что я написал их сам.

— Писать письма самому себе! — сказал Адамс, широко раскрыв глаза.

— О сэр,— ответил джентльмен,— в наше время это самый обычный грешок. В половине современных пьес выводятся такие лица. Вы не поверите, сколько я положил труда, к каким нелепым прибегал уловкам, чтоб очернить доброе имя порядочных женщин. Когда кто-нибудь с восторгом отзывался о той или иной из них, я отвечал: «Ах, боже, вы о ней! Она скоро пойдет по рукам». И если тот отвечал, что считал ее добродетельной, то я, бывало, возражал: «О, женщина всегда кажется добродетельной, покуда не попала на улицу, но вам и мне, Джеку и Тому (тут я оглядываюсь на кого-нибудь другого из собеседников), нам это лучше известно». И при этом я выну из кармана бумажку — скажем, счет от портного — и, поцеловав ее, воскликну. «А ведь я, ей-богу, был когда-то в нее влюблен».

— Продолжайте, пожалуйста,— молвил Адамс,— но больше не божитесь.

— Сэр,— сказал джентльмен,— прошу вас меня извинить. Так вот, сэр, три года провел я, занимаясь такими делами.

— Какими делами? — перебил Адамс.— Не помню я, чтоб вы упомянули хоть о каком-нибудь деле.

— Ваше замечание справедливо,— сказал с улыбкой джентльмен,— правильней было бы сказать, что я прожил три года, ничего не делая. Помню, позже я попробовал как-то вести дневник и занес в него запись за один день, которая годилась бы и для всякого другого дня в течение всего того времени. Попробую привести на память эту запись:

«Утром я встал, взял трость и вышел прогуляться в своем зеленом камзоле и в папильотках (новый вздох Адамса), прослонялся так часов до десяти. Был на аукционе; сказал леди ***, что у нее нечистое лицо; очень смеялся чему-то, сказанному капитаном ***,— не помню чему, потому что недослышал; пошептался с лордом ***; поклонился герцогу *** скому; хотел было приторговать табакерку, но не стал — побоялся, что придется ее купить.

С 2-х до 4-х — одевался. *(Вздох.)*
С 4-х до 6-ти — обедал. *(Вздох.)*
С 6 до 8 — в кофейне.
С 8 до 9 — в театре Дрюри Лейн.
С 9 до 10 — Линкольнс-инн-Фильдс.
С 10 до 12 — гостиная. *(Глубокий вздох!)*

Во всех этих местах не случилось ничего, достойного упоминания».

Адамс на это с некоторой горячностью сказал:

— Сэр, это ниже, чем жизнь животного, и едва ли выше прозябания; я в недоумении, что могло привести к этому человека вашего ума.

— То, что нас приводит к бо́льшим безумствам, чем вы себе представляете, доктор,— ответил джентльмен,— тщеславие! Сколь ни презренен я был тогда — а, смею вас уверить, даже бы не можете сильнее презирать то жалкое создание, каким я был, чем сам я теперь презираю его,— в те годы я восхищался самим собой и отнесся бы свысока к человеку, одетому, подобно вам (извините меня),— хотя бы он и обладал всей вашей ученостью и превосходными качествами, которые я в вас наблюдаю.

Адамс поклонился и попросил его продолжать рассказ.

— Когда я прожил такою жизнью три года,— сказал джентльмен,— произошел случай, принудивший меня переменить обстановку. Однажды, когда я в кофейне у Сент-Джемса слишком вольно отозвался об одной знатной и юной леди, некий офицер-гвардеец, присутствовавший при этом, счел нужным обвинить меня во лжи. Я ответил, что я, возможно, ошибаюсь, но что в мои намеренья входило говорить только правду. Он ответил лишь презрительной усмешкой. А я после этого стал замечать странное охлаждение ко мне всех моих знакомых: ни один из них теперь не заговаривал со мною первый, и очень немногие, хотя бы просто из вежливости, отвечали мне на поклон. Те, в чьем обществе я обычно обедал, исключили меня из своего круга, и к концу недели я оказался в Сент-Джемсе одинок, как в пустыне. Один почтенный пожилой господин в широкополой шляпе и при длинной шпаге сказал мне, наконец, что моя молодость внушает ему жалость и поэтому он мне советует доказать свету, что я не такой негодяй, каким меня считают. Я сперва не понял его; но он все разъяснил мне и в заключение сказал, что если я напишу вызов, то сам он, из чистого милосердия, согласен вручить его капитану.

— Поистине милосердный господин! — воскликнул Адамс.

— Я испросил позволения подумать до утра,— продолжал джентльмен,— и, удалившись к себе на квартиру, постарался возможно более честно взвесить все последствия в обоих случаях. В одном из них я подвергался риску либо самому поплатиться жизнью, либо обагрить руки кровью человека, к которому не питал ни малейшей злобы. И я скоро пришел

к выводу, что блага, какие получил бы я в другом случае, стоили того, чтобы отказаться от этого риска. Поэтому я решил удалиться со сцены и немедленно переехал в Темпль, где снял себе квартиру. Там я вскоре завел новый круг знакомых, из которых никто не знал о том, что случилось со мной. Правда, они мне были не очень по вкусу, ибо щеголи Темпля — только бледная тень щеголей Сент-Джемса. Они лишь пародия на пародию. В своем тщеславии они, если это возможно, еще смешнее тех. Здесь я встречал фатов, выпивавших с лордами, которых они даже не знали, и состоявших в связи с дамами, которых не видели в глаза. Теперь мои подвиги ограничивались Ковент-Гарденом, где я показывался на балконах театров, посещал непотребных женщин, волочился за продавщицами апельсинов и поругивал пьесы. Этим похождениям вскоре положил конец мой врач, убедивший меня в необходимости безвыходно просидеть месяц в моей комнате. К концу месяца, поразмыслив на досуге, я решил отказаться в дальнейшем от общения с фатами и модниками всех родов и по возможности избегать тех случайностей, которые могли бы вновь подвергнуть меня вынужденному уединению.

— Я полагаю,— сказал Адамс,— этот совет уединиться на месяц для размышления был очень хорош; но я скорей ожидал бы его не от врача, а от духовного лица.

Джентльмен улыбнулся простодушию Адамса и, не вдаваясь в разъяснения по столь неприятному предмету, продолжал так:

— Когда здоровье мое восстановилось, я убедился, что тяготение к женщинам, которое я теперь опасался удовлетворять так, как делал это раньше, причиняет мне изрядное беспокойство; поэтому я решил завести любовницу. Без долгих проволочек я остановил свой выбор на молодой женщине, которая раньше была на содержании у двух джентльменов и с которой меня познакомила некая знаменитая сводня. Я взял ее к себе и на время нашего сожительства назначил ей содержание. Возможно, что оно выплачивалось бы очень плохо, но она постаралась о том, чтобы я не тревожился на этот счет, ибо еще до дня расплаты за первые три месяца я застал ее у себя на квартире в слишком интимной беседе с одним молодым человеком, который носил офицерский кафтан, но на самом деле состоял в учении у какого-то ремесленника в Сити. Чем бы принести мне извинения за свое непостоянство, она принялась крепко браниться и, выразив мне свое презрение, поклялась, что и для первого человека в Англии не стала бы себя ограничивать. Мы после этого расстались, и та же сводня вскоре устроила ее на содержание к другому. Разлука меня не очень огорчила, но через два-три дня я убедился, что следует пожалеть о нашей встрече: ибо я вынужден был опять наведаться к своему врачу. Теперь мне пришлось нести покаяние

несколько недель, и за это время я завел знакомство с прелестной молодой девицей, дочерью дворянина, который, прослужив сорок лет в армии и проделав все кампании с герцогом Мальборо *, умер поручиком в отставке и оставил жену с единственной дочерью в крайне бедственном положении: они получали скудную пенсию от правительства, и дочь к этим крохам прирабатывала кое-что иглой, она была превосходной вышивальщицей. Когда мы впервые познакомились, руки этой девицы домогался один молодой человек с приличными средствами к жизни. Он был в учении у купца, торговавшего полотном, и располагал небольшими деньгами, достаточными, однако, чтобы основать собственную торговлю. Мать очень хотела этого брака, имея к тому все основания. Но я вскоре воспрепятствовал ему. Я так очернил этого человека в глазах его возлюбленной и так ловко пустил в ход лесть, обещания и подарки, что,— скажу вам, не задерживаясь на этом предмете,— добился победы над бедной девушкой и увел ее от матери. Словом сказать, я ее совратил.

(Адамс при этих словах вскочил, сделал несколько шагов по комнате и снова сел в свое кресло.)

Этой частью моей истории я и сам возмущен не меньше, чем вы: уверяю вас, сколько бы я ни каялся, всего будет мало в моем собственном мнении. Но если вы и теперь уже возмущены, то насколько же возрастет ваше негодование, когда вы услышите о пагубных последствиях этого варварского, этого низкого поступка. Если вам угодно, я на этом прерву.

— Ни в коем случае! — воскликнул Адамс.— Продолжайте, умоляю вас, и дай бог, чтобы вы искренне раскаялись в этом и во многом другом, о чем вы мне сейчас рассказали.

— Итак, я стал счастливым обладателем прелестной молодой особы, хорошо воспитанной и наделенной многими приятными качествами. Мы прожили вместе несколько месяцев в горячей взаимной любви, не ища иного общества и развлечения, чем то, какое доставляли мы друг другу. Но это не могло тянуться вечно; и хотя я все еще питал к ней самые хорошие чувства, я начал все чаще и чаще искать другого общества и, значит, оставлять ее одну — сперва ненадолго, а потом и на целые дни. Она в этих случаях не скрывала своего недовольства и жаловалась, что ведет унылую жизнь; чтобы помочь беде, я познакомил ее с другими содержанками, с которыми она могла играть в карты, ходить в театр и предаваться разным иным развлечениям. Недолго вращалась она в этом кругу, как я стал наблюдать значительную перемену в ее поведении: скромность и невинность постепенно исчезали в ней, и скоро душа ее оказалась вконец развращенной. Она полюбила общество повес, усвоила всю повадку модниц, чувствовала себя хорошо только в гостях или когда принимала гостей у меня в комнатах. Она стала жадна на деньги, чрезвычайно расточи-

тельна, распущенна на язык, и когда мне случалось в чем-либо ей отказать, немедленным следствием были проклятия, слезы и припадки. Так как первые восторги любви давно миновали, такое поведение вскоре совсем охладило мои чувства к ней; я с приятностью думал теперь о том, что она мне не жена, и у меня зарождалось намеренье расстаться с нею; но когда я дал ей это понять, она благосклонно избавила меня от труда выставить ее за дверь и удалилась сама, предварительно взломав мое бюро и прихватив с собою все, что могла,— около двухсот фунтов. В первом пылу досады я решил было преследовать ее со всею строгостью закона. Но вначале ей посчастливилось ускользнуть от меня, а дальше моя горячность улеглась: я помыслил, что сам был первым обидчиком и нанес ей невозместимый ущерб, лишив ее душевной невинности; а когда до меня еще дошло, что бедную старую мать побег дочери свел в могилу, я, почитая себя ее убийцей (— И с полным основанием! — провозгласил со вздохом Адамс), был даже рад, что всемогущий бог избрал такой способ покарать меня; и я решил спокойно помириться с потерей. Лучше бы мне было больше никогда и не услышать о бедной девице, которая под конец совсем погрязла в разврате: несколько лет она была просто непотребной женщиной и кончила свою жалкую жизнь в Ньюгейте.

Здесь джентльмен испустил глубокий вздох, а мистер Адамс отозвался еще более громким вздохом; и оба молча несколько минут смотрели друг на друга. Наконец, джентльмен вернулся к своему рассказу:

— Я был неизменно верен своей любовнице все время, пока содержал ее. Но едва она сбежала от меня, как я обнаружил, помимо пропажи денег, еще и другие признаки ее непостоянства. Коротко сказать, я был вынужден в третий раз обратиться к врачу, и тот не скоро выпустил меня из своих рук.

Я теперь зарекся иметь дело с женщинами, хулился во всеуслышание, что удовольствие не вознаграждает за муки, и ругал прекрасный пол в таких же крепких выражениях, в каких некогда его честил Ювенал. Я смотрел на всех столичных блудниц с невообразимым отвращением: они представлялись мне расписными дворцами, где обитают Болезнь и Смерть, и самая их красота не больше придавала им приятности в моих глазах, чем позолота — пилюле или гробу — накладное золото. Но хотя я уже не был покорным рабом любви, я все же должен был себе признаться, что я попрежнему ее верноподданный. Моя ненависть к женщинам с каждым днем убывала, и я не уверен, что со временем не стал бы снова жертвой какой-нибудь заурядной шлюхи, если бы от этого меня не спасло мое чувство к очаровательной Сапфире, которое, получив однажды доступ в мое сердце, все полнее им завладевало. Сапфира была женою светского и галантного человека, казавшегося, должен

я признаться, во всех отношениях достойным ее любви, хотя, по слухам, не пользовался таковой. Она была поистине une coquette achevée [1].

— Простите, сэр,— говорит Адамс,— что такое une coquette? Я встречал это слово у французских авторов, но никогда не мог связать с ним никакого представления. Мне думается, что это то же, что и une sotte, или, по-нашему,— дура.

— Сэр,— ответил джентльмен,— вы, пожалуй, не слишком ошибаетесь; но так как это совсем особенный вид дурости, то я попробую его описать. Если все живые существа расположить в порядке их полезности, то я не много назвал бы животных, которые заняли бы место ниже кокетки; и, надо сказать, это создание не наделено почти ничем, кроме как инстинктом; правда, иногда нам может показаться, что им движет тщеславие; но по большей части его действия стоят ниже даже этого низменного побуждения,— так, например, иные нелепые ужимки его и повадки куда нелепее, чем то, что можно наблюдать в самых смешных птицах и зверьках, и наводят наблюдателя на мысль, что глупая тварь нарочно добивается нашего презрения. Самое характерное в ней — притворство, а им управляет только каприз: ибо, если иногда это создание тщится представить красоту, ум, остроумие, добродушие, учтивость или здоровье, то равным образом оно примеряет на себя и обратное — безобразие, глупость, злобу, невоспитанность и болезнь. Жизнь кокетки — сплошная ложь; и единственное правило, по которому вы можете составить о ней суждение, состоит в том, что она никогда не бывает тем, чем кажется. Если бы кокетка могла полюбить (а это для нее невозможно, ибо где начинается чувство, там кончается кокетка), то ее любовь носила бы маску безразличия или даже ненависти к предмету любви; следовательно, когда она старается убедить вас в своей склонности, вы можете не сомневаться, что она к вам в лучшем случае равнодушна. Так и было с моею Сапфирой, которая, едва увидев меня в числе своих поклонников, сразу же стала оказывать мне то, что обычно зовется поощрением: она часто обращала на меня свой взор, а когда глаза наши встречались, тотчас, бывало, отводила свои, притворяясь удивлённой и взволнованной. Эти уловки увенчались успехом; и по мере того как я становился к ней все приверженней, превосходя в этом всех прочих ее вздыхателей, она все более поощряла меня — прямее, чем других. Она понижала голос, прибегала к шепоту, лепету, вздохам, вздрагиванию, смеху — словом, проявляла все признаки страсти, какими ежедневно обманываются тысячи мужчин. Играя со мной в вист, она, бывало, остановит на мне глубокий взгляд и в это время забудет сделать сброс или ренонс, а потом разразится бессмысленным смехом и воскликнет:

---

[1] Законченной кокеткой *(франц.)*.

«Ах! Просто не знаю, о чем это я задумалась!» Но не буду долго на этом задерживаться. Проделав достаточный, как мне казалось, курс галантного обхождения и вполне уверившись, что пробудил в своей даме бурную страсть, я стал искать случая объясниться с нею. Она всячески этого избегала; однако я был очень упорен, и случай в конце концов представился. Не стану описывать все подробности того свидания, довольно будет сказать, что, когда Сапфира больше не могла уже притворяться, что не замечает, куда я гну, она изобразила сперва сильнейшее изумление и тотчас вслед сильнейшее негодование: ей будто бы непонятно, что в ее поведении дало мне повод оскорблять ее подобным образом! И как только ей удалось от меня вырваться, она заявила, что у меня нет иного способа избежать последствий ее гнева, как больше никогда ее не видеть или по крайней мере не разговаривать с нею. Такой ответ меня не успокоил. Я продолжал преследовать ее, но безуспешно, и пришел, наконец, к убеждению, что ее супруг был единственным обладателем ее особы, но что и он, как и никто другой, никогда не владел ее сердцем. От дальнейшей погони за этим ignis fatuus[1] меня отвлекло поощрение, оказанное мне женою одного купца, женщиной не первой молодости и не очень красивой, но настолько все же приятной, что я при влюбчивой моей натуре не мог ее отвергнуть. Итак, я скоро ей доказал, что ее намеки не упали на каменистую или бесплодную почву, напротив того — они тотчас доставили ей пылкого и жадного любовника. Она тоже не дала мне оснований жаловаться и на зажженный ею огонь отвечала равным жаром. Теперь предо мною была уже не кокетка, а женщина, слишком разумная, чтобы из жалкого тщеславия разменивать по мелочам благородную страсть любви. Мы сразу поняли друг друга; и так как радости, к которым мы стремились, заключались во взаимном удовлетворении, то мы вскоре их снискали и насладились ими. Сперва я чувствовал себя очень счастливым, обладая этой новой любовницей, чья нежность пресытила бы вскоре и более привередливый аппетит, на мой же действовала совсем иначе: она разжигала мою страсть сильней, чем могли бы ее разжечь красота и молодость. Но счастье мое не могло долго длиться. Опасности, грозившие нам из-за ревности ее супруга, причиняли мне сильное беспокойство.

— Бедняга! Мне жаль его,— воскликнул Адамс.

— Да, он в самом деле заслуживал жалости,— сказал джентльмен,— потому что он искренне любил свою жену, и, право, меня радует сознание, что я не был первым, кто отвратил от него ее привязанность. Наши опасения оправдались и даже с лихвой: он в конце концов поймал нас, и у него оказались свидетели наших свиданий. Он стал тогда преследовать

[1] Блуждающим огоньком *(лат.)*.

меня по закону, и ему присудили с меня в возмещение ущерба три тысячи фунтов, выплата которых сильно расстроила мое состояние, и, что еще того хуже, на руках у меня оказалась его разведенная жена. Я вел с нею мало приятную жизнь. страсть моя к ней теперь поостыла, а ее чрезмерная ревность была до крайности утомительна. Наконец, ее смерть освободила меня от обузы, которую я иначе не мог бы скинуть никаким путем, так как считал себя виновником всех несчастий этой женщины.

Теперь я распростился с любовью и решил искать других, не столь опасных и разорительных удовольствий. Я завел круг достойных приятелей, спавших с утра до вечера и пивших с вечера до утра: людей, о которых можно бы сказать, что они скорее пожирают время, нежели живут. Их беседы были только шумом; пение, крики, вздорные споры, тосты, питье, блёв, курение — вот к чему главным образом сводились наши утехи. Но, будучи плохи сами по себе, они были все же приемлемей, чем наше более степенное времяпровождение, когда велись между нами бесконечно нудные рассказы о скучных, обыденных делах или жаркие споры о пустяках, обычно кончавшиеся заключением пари. Этому образу жизни положило конец первое же серьезное размышление, и я стал членом клуба, посещавшегося высоко одаренной молодежью. Здесь бутылка призывалась только в помощь к беседе, вращавшейся вокруг сложнейших вопросов философии. Эти джентльмены были заняты поисками истины, причем, отбрасывая прочь все предрассудки воспитания, подчинялись только непогрешимому руководству человеческого разума. Сей великий руководитель, доказав им сперва ложность весьма древней, но нехитрой догмы, что в мире есть такое существо, как бог, помог им затем утвердить на его месте некий Принцип Права, придерживаясь которого, каждый достигал абсолютной нравственной чистоты. Раздумие научило меня ценить это общество, как научило оно меня презирать и ненавидеть прежнее. Теперь я начал почитать себя существом высшего порядка, каким не мнил себя раньше; и Принцип Права тем более меня привлекал, что в собственной своей природе я не находил ничего, восстававшего против него. Я с крайним презрением смотрел на тех, кто следовал по пути добродетели, побуждаемый чем-либо иным, нежели присущей ей красотою и совершенством; а о нравственности теперешних моих товарищей я был такого высокого мнения, что доверил бы им все самое дорогое и близкое. Пока я упивался этим сладостным сном, произошли один за другим два или три случая, которые поначалу очень меня удивили. Один из наших виднейших философов, или поборников Принципа Права, скрылся от нас, прихватив с собой жену своего лучшего друга. Потом другой покинул клуб, предоставив своим поручителям расплачиваться за него. Третий занял у меня некоторую сумму без расписки, а когда я попросил его вернуть мне долг,

он от него начисто отрекся. Эти несколько поступков, столь несообразных с нашим золотым правилом, побудили меня взять под сомнение его непогрешимость; но когда я поделился своими мыслями с одним из членов клуба, он сказал, что ничто не бывает само по себе абсолютно хорошим или дурным; что действия именуются плохими или хорошими соответственно обстоятельствам действующего; что человек, сбежавший с женою друга, мог, обладая прекрасными наклонностями, поддаться силе необузданной страсти, а в прочих отношениях он, возможно, весьма достойный член общества; и если красота какой-либо женщины причиняет ему страдания, то он имеет естественное право облегчить их. Он наговорил еще немало вещей в этом роде и вызвал у меня такое отвращение, что я в тот же вечер покинул это общество и больше туда не возвращался. Оставшись в одиночестве, тяготившем меня, я сделался частым посетителем театров, тем более что театр всегда был моим любимым развлечением и редкий вечер не проводил я два-три часа за кулисами, где встречал многих поэтов, с которыми стал потом захаживать и в таверны. Кое-кто из актеров тоже примыкал к нам. На этих встречах поэты обычно занимали нас чтением своих пьес, актеры — декламацией из своих ролей. В этих случаях я замечал, что тот из джентльменов, кто доставлял развлечение, бывал больше всех доволен вечером, остальные же, хотя в лицо говорили ему любезности, редко когда упускали случай высмеять его за глаза. Здесь я сделал ряд наблюдений, настолько, пожалуй, обыденных, что не стоит их приводить.

— Сэр,— молвит Адамс,— просим: ваши наблюдения.

— Ну что ж,— говорит джентльмен,— во-первых, я пришел к выводу, что обычное утверждение, будто к тщеславию наиболее бывает склонен талант, неверно. Люди в не меньшей мере кичатся богатством, силой, красотой, почетом и так далее. Но эти качества сами представляются глазам наблюдателя, тогда как бедный талант вынужден изощряться перед публикой, чтобы она оценила его совершенство; и на его готовности к этому и основано упомянутое мною ходячее мнение. Но разве тот, кто расходуется на обстановку своего дома или на украшение своей особы, кто затрачивает много времени и труда на то, чтоб одеться, или кто рассчитывает в уплату за самоотверженность, старания, а то и за подлость получить титул или ленту, не отдает такую же дань тщеславию, как какой-нибудь автор, когда он рвется прочитать вам свою поэму или пьесу? Вторым моим наблюдением было то, что тщеславие — худшая из страстей и более всякой другой отравляет душу. Себялюбие куда более распространенный порок, чем мы обычно признаем, так что ненависть и зависть к тем, кто стоит между нами и желанным благом, очень естественны. Однако на путях любострастия и честолюбия таких препятствий немного, и даже

когда мы одержимы скупостью, далеко не в каждом видим мы помеху нашим целям; а вот тщеславный всегда ищет превосходства над другими, и все, чем выделяется другой или за что другого хвалят, становится предметом его неприязни.

Адамс начал тут шарить у себя по карманам и затем вскричал:

— Увы! У меня ее нет при себе!

И когда джентльмен спросил, что он ищет, он ответил, что ищет проповедь о тщеславии, которую считает наилучшей из своих речей.

— Эх, как глупо! Как глупо! — промолвил он.— Мне бы нужно всегда носить эту проповедь в кармане. Была бы она хоть милях в пяти отсюда, я охотно сбегал бы за ней, чтобы вам ее прочитать.

Джентльмен отвечал, что нет в том нужды, ибо он исцелился от этой страсти.

— Вот потому-то,— ответил Адамс,— я и хотел прочитать вам мою проповедь; потому что вы, я уверен, оценили бы ее. В самом деле, ни к чему я не питаю большей вражды, чем к этой глупой страсти — тщеславию!

Джентльмен улыбнулся и продолжал:

— После этого я вскоре попал в общество игроков, где ничего примечательного не случилось, кроме только того, что иссякло мое состояние, с которым эти джентльмены помогли мне быстро расправиться. Это открыло предо мною картины жизни, мне до тех пор неизвестные: бедность и разорение со страшной свитой кредиторов, стряпчих, бейлифов * преследовали меня день и ночь. Моя одежда износилась, кредит иссяк, друзья и знакомые все охладели ко мне. И тут мне взбрела в голову престранная мысль: я вздумал написать пьесу! У меня было довольно досуга — страх перед бейлифами заставлял меня изо дня в день сидеть дома; и так как у меня всегда была к тому некоторая наклонность и кое-какие способности, я сел за работу и через несколько месяцев произвел на свет пьесу в пяти актах, которую принял один театр. Я вспомнил, что когда-то я брал у поэтов билеты на их бенефисы задолго до появления их пьес на сцене; и, решив последовать обычаю, столь удобному для меня в нынешних моих обстоятельствах, я не замедлил запастись большим числом маленьких бумажек. В счастливом состоянии была бы наша поэзия, когда бы эти бумажки имели хождение в булочной, в пивной и в свечной лавке,— но, увы, это далеко не так! Ни один портной не возьмет их в уплату за холстину, китовый ус, тесьму; и ни один бейлиф не примет их как дань благодарности. На деле бумажки эти являются только грамотой на нищенство, удостоверением в том, что их владелец нуждается в пяти шиллингах, иными словами — призывом к христианской благотворительности. Я изведал то, что хуже бедности, или, вернее, наихудшее последствие бедности, а именно—

угодничество перед большими людьми и зависимость от них. Не раз с утра я дожидался часами в холодных приемных у знатных лиц, где, увидав сперва, как к хозяину пропускают подлейших мерзавцев в кружевах и вышивке, модных фигляров и сводников, я иногда выслушивал от лакея, что сегодня милорд никак не может меня принять: верный признак, что я никогда уже не получу доступа в этот дом. Иногда меня, наконец, пропускали; и великий человек считал тогда уместным сказать мне в свое извинение, что он уже не свободен.

— Не свободен,— говорит Адамс,— простите, что это значит?

— Сэр,— говорит джентльмен,— гонорар, выплачиваемый авторам книгопродавцами даже за лучшие произведения, бывал так ничтожно мал, что несколько лет тому назад иные родовитые и состоятельные люди, покровители таланта и учености, почитали нужным для дальнейшего их поощрения создавать путем добровольной подписки поощрительные фонды. Таким образом, Прайор *, Роу, Поп и некоторые другие одаренные поэты получали от публики большие суммы за свои труды. Это казалось столь легким способом заработать деньги, что многие жалкие писаки того времени отваживались печатать свои произведения тем же способом; а у иных хватало дерзости проводить подписку на ненаписанные сочинения или даже на такие, какие у них и в мыслях не было написать. Подписки таким образом множились до бесконечности и превратились в своего рода налог на общество; и некоторые лица, находя нелегкой для себя задачей отличать хороших авторов от плохих или распознавать, какой талант стоит поощрения, а какой нет, изобрели во избежание расхода на такое множество подписок прекрасный способ отклонения всех подписок вообще: они давали поэту вперед небольшую сумму, обязуясь дать больше, если когда-либо на что-либо подпишутся. Многие это делали, а иные только говорили, что сделали, чтобы отвадить всех просителей. Тот же способ стал затем применяться и в отношении театральных билетов, которые были не меньшей докукой для общества, и это называлось — не быть свободным для подписки.

— Что и говорить, выражение довольно меткое и, пожалуй, многозначительное,— сказал Адамс,— ибо если человек с большим состоянием почитает себя «не свободным», как у вас это зовется, поощрять достойных людей, то он стоит того, чтоб его и вправду лишили свободы.

— Итак, сэр,— говорит джентльмен,— возвращаюсь к моему рассказу. Иногда мне перепадала от знатного лица гинея, подаваемая столь же высокомерно, как подается обычно милостыня самому жалкому нищему, а чтоб ее добыть, мне приходилось терять на прислуживание столько времени, что разумней было бы потратить его на честный труд, в котором я нашел бы и выгоды больше и куда больше удовлетворения.

Я провел таким образом два тяжких месяца, подвергаясь бесконечным унижениям и возлагая все свои надежды на обильную жатву с моей пьесы; но когда я обратился, наконец, к суфлеру, чтоб узнать, скоро ли начнут ее репетировать, он мне сообщил, что ему дано распоряжение от хозяев вернуть мне пьесу Потому что, сказал он, ее никак не могут сыграть в этом сезоне; но если я ее возьму и переработаю к следующему сезону, то они охотно снова посмотрят ее. Я с негодованием выхватил у него рукопись и удалился в свою комнату, где бросился на постель в приступе отчаянья.

— Лучше бы вам было броситься на колени,— сказал Адамс,— ибо отчаянье греховно.

— Когда миновал первый бурный порыв,— продолжал джентльмен,— я стал хладнокровно обдумывать, что мне теперь предпринять в таком моем положении — без друзей, без денег, без кредита и без репутации. Перебрав в уме много разных возможностей, я не нашел иного пути добывать себе хотя бы скудные средства к жизни, как, поселившись на чердаке близ Темпла, подвизаться переписчиком у стряпчих, к чему я был вполне пригоден, так как почерк был у меня превосходный. Я остановился на этом плане и сразу же попытался привести его в исполнение. Я вспомнил об одном своем знакомом адвокате, который когда-то вел для меня дела, и обратился к нему; однако он не только не дал мне работы, но еще и посмеялся над моей затеей и сказал мне, что боится, как бы я не обратил его документы в пьесы и как бы не пришлось ему увидеть их на сцене. Не стану докучать вам примерами того же рода шуток со стороны других и замечу только, что сам Платон не питал большего отвращения к поэтам *, чем эти господа юристы. Когда мне случалось зайти в кофейню, что я позволял себе только по воскресным дням, по залу пробегал шепот, неизменно сопровождавшийся усмешкой: «Вот идет поэт Вильсон!» Не знаю, случалось ли вам это наблюдать, но человеческой природе свойственно коварное стремление, искореняемое изредка добрым воспитанием (а чаще лишь прикрываемое вежливостью), вызывать в ближнем чувство неловкости или недовольства собою. Это стремление широко проявляется во всяком обществе, кроме такого, где преобладают светские манеры; в особенности же среди молодых людей того и другого пола, чье рождение и состояние ставят их непосредственно за гранью этого высокого круга: я говорю о низшем слое дворянства и о высшем слое купеческого мира — самой, уверяю вас, невоспитанной части человечества. Так вот, сэр, когда я кое-как перебивался таким образом, едва получая достаточно работы, чтоб не умереть с голоду, причем слава поэта преследовала меня, как проклятие, я случайно свел знакомство с одним книгопродавцем, который сказал мне, что ему досадно видеть, что человек с моим образованием и талантом вынужден добывать

свой хлеб таким жалким трудом, и он берется, сказал он, устроить меня наилучшим образом, если я соглашусь работать на него. Человеку в моих обстоятельствах, как он отлично знал, не оставалось выбора. Я, понятно, принял его предложение и его условия, далеко не выгодные, и усердно принялся за переводы. Теперь я не мог жаловаться на недостаток работы. Он ее доставлял мне столько, что за полгода я дописался чуть не до слепоты. Здоровье мое подрывал также и сидячий образ жизни, при котором упражнялась движением только правая рука, так что долгое время я совсем не мог писать. А это, на мое несчастье, задержало выпуск в свет одной из моих работ; и так как мое последнее произведение расходилось не бойко, книгопродавец не стал больше давать мне заказов и ославил меня среди своих собратьев как недобросовестного и ленивого работника. Однако за время службы у него, едва не уморив себя работой и недоеданием, я все же скопил несколько гиней; и вот я купил на них лотерейный билет, решив довериться Фортуне и попытать, не склонна ли она возместить мне тот ущерб, что нанесла мне за игорным столом. После этой покупки я остался почти без гроша; и тут, в довершение всех бед, в комнату ко мне проник бейлиф, переодетый женщиной и направленный ко мне книгопродавцем. Он меня арестовал по иску моего портного на тридцать пять фунтов,— и так как я не мог представить поручителя на эту сумму, меня отвели к нему в дом и заперли в каморке на чердаке. Теперь у меня не было ни здоровья (я едва только оправился от своего недуга), ни свободы, ни денег, ни друзей; и я расстался со всеми надеждами, даже с желанием жить.

— Но это же не могло долго длиться,— сказал Адамс,— портной, конечно, тотчас разрешил отпустить вас, когда познакомился с состоянием ваших дел и узнал, что только обстоятельства ваши не позволили вам уплатить ему.

— О сэр,— ответил джентльмен,— это он знал и до того, как подверг меня аресту; да, он знал, что только крайняя нужда помешала мне расплатиться с долгами, потому что я был его заказчиком много лет, тратил с его помощью большие деньги и в дни своего процветания платил всегда очень аккуратно. Но когда я напомнил ему об этом, заверяя, что, если он сам не помешает моему усердию, я буду выплачивать ему все деньги, какие смогу заработать усиленным трудом и прилежанием, оставляя себе лишь самое необходимое для поддержания жизни,— он на это ответил, что его терпение иссякло; что я уже не раз брал у него отсрочку; что ему нужны деньги; что он передал дело в руки адвоката; и что если я не расплачусь с ним немедленно или не найду поручителя, то сяду в тюрьму — и пусть я не жду тогда милосердия.

— Пусть же сам он,— вскричал Адамс,— ждет милосердия там, где ему не будет отпущения! Как может такой человек

повторять молитву господню, в которой слово, обычно переводимое, не знаю почему, словом «прегрешения», означает в подлиннике «долги»! И как мы сами не прощаем должникам, когда они неплатежеспособны,— так и нам, несомненно, не будет прощения, когда у нас уже не останется возможности платить.

Он умолк, и джентльмен продолжал:

— Когда я пребывал в таком плачевном положении, один мой прежний знакомый, которому я показывал свой лотерейный билет, разыскал меня, явился ко мне и с сияющим лицом, сжимая мне руку, пожелал мне счастья в моей великой удаче: «На ваш билет,— сказал он,— пал выигрыш в три тысячи фунтов».

Адамс при этих словах прищелкнул пальцами в порыве радости, которая, однако, продлилась недолго, ибо джентльмен продолжал так:

— Увы, сэр! Фортуна сыграла злую шутку, чтобы тем ниже низвергнуть меня: этот лотерейный билет я за два дня перед тем отдал одному своему родственнику, который отказался иначе одолжить мне один шиллинг на хлеб. Когда друг узнал об этой злосчастной продаже, он стал меня бранить и попрекать меня всеми проступками и ошибками моей жизни. Он сказал, что я из тех, кого судьба не может спасти, даже если бы захотела; что теперь я погиб безвозвратно и не вправе рассчитывать на сострадание друзей; что было бы непростительной слабостью сочувствовать в несчастьях человеку, который сам очертя голову кидается навстречу гибели. Затем он в самых живых красках нарисовал мне счастье, каким бы я наслаждался теперь, не распорядись я так безумно билетом. Я сослался на крайность, до которой дошел. Но он на это не ответил и снова принялся меня бранить. Я, наконец, не выдержал и попросил его удалиться. Скоро я сменил дом бейлифа на тюрьму, где, не имея денег на оплату отдельного помещения, я попал в общую камеру с толпой несчастных, с которыми жил наравне, лишенный всех жизненных удобств,— даже того, каким пользуется скотина: живительного воздуха. В этих страшных обстоятельствах я пробовал обращаться с письмами о помощи ко многим старым своим знакомым, в том числе и к тем, кого я раньше сам ссужал деньгами без особой надежды на возврат; но безуспешно. В лучшем случае мне отвечали отговорками вместо отказа.

Когда я томился в этих условиях, таких отвратительных, что лучше их не описывать, и, казалось бы, в гуманной стране, а тем более в христианской стране, являющихся непомерной карой за некоторую нерачительность и нескромность,— когда я пребывал, говорю я, в этих условиях, в тюрьму явился какой-то человек и, вызвав меня, вручил мне следующее письмо:

«Сэр!

Мой отец, которому вы продали ваш билет на последнюю лотерею, умер в тот самый день, когда на билет пал выигрыш, о чем вы, может быть, слышали, и оставил меня единственной наследницей всего своего состояния. Я так огорчена вашими нынешними обстоятельствами и той неприятностью, какую должно причинять вам сознание упущенной вами возможности счастья, что вынуждена обратиться к вам с просьбой принять то, что вложено в этот конверт, и остаюсь преданная вам и готовая к услугам

Гарриет Гарти».

И как вы думаете, что было вложено в конверт?

— Не знаю,— сказал Адамс.— Надеюсь, не меньше гиней.

— Сэр, это был банковый билет на двести фунтов.

— Двести фунтов! — воскликнул Адамс в восторге.

— Ни больше и ни меньше,— сказал джентльмен.— Но не так меня обрадовали деньги, как подпись великодушной девушки, пославшей мне их,— девушки, которая была не только добрейшим, но и прелестнейшим созданием в мире и к которой я издавна питал страстные чувства, не отваживаясь в них открыться. Я тысячу раз целовал ее подпись и, роняя из глаз слезы нежности и благодарности, повторял... Но не стану вас задерживать этими излияниями. Я немедленно вернул себе свободу и, уплатив все долги, отправился, имея в кармане еще свыше пятидесяти фунтов, благодарить свою любезную избавительницу. Ее в тот день не случилось в городе, чему я, поразмыслив немного, даже порадовался: потому что мне, таким образом, представилась возможность явиться к ней в более приличной одежде. Через два-три дня, когда она вернулась в город, я бросился к ее ногам с самыми пламенными изъявлениями благодарности, которые она отклонила с непритворным великодушием, говоря мне, что я ничем так не отблагодарю ее, как ежели не стану никогда упоминать, а еще лучше — и думать об этом обстоятельстве, потому что оно должно напоминать мне несчастную случайность, о которой вряд ли я могу думать без досады.

— Мне кажется,— продолжала она,— что я сделала очень мало и, может быть, неизмеримо меньше, чем подобало бы мне. И если вы помышляете вступить в какое-либо предприятие, для которого вам понадобилась бы сумма более крупная, то я не буду слишком строга ни по части поручительства, ни по части процентов.

Я постарался, насколько это было в моей власти, выразить ей свою благодарность за этот избыток доброты, хотя, быть может, он не радовал меня, а терзал мою душу более жестоко, чем все перенесенные мною лишения; он наводил меня на такие горькие помыслы, каких не могли мне внушить

нищета, отчаянье и тюрьма. Ибо, сэр, эти благодеяния и слова, которые должны возбудить в добром сердце самое пламенное чувство дружбы к существу того же пола или к старому и некрасивому существу другого пола, исходили от женщины, от молодой и прелестной девушки, чьи совершенства были мной давно замечены, и я давно пылал к ней сильной страстью, хотя, не питая надежды, должен был скорее обуздывать и скрывать свои чувства, чем лелеять их и признаваться в них пред нею. Доброта здесь сочеталась с красотою, кротостью, нежностью и такой обворожительной улыбкой... О мистер Адамс, я в тот час был сам не свой, и, забыв разницу в нашем положении, не думая о том, как худо я плачу ей за ее добро, если желаю, чтоб она, так много давшая мне, отдала бы мне все, что было в ее власти, я нежно завладел ее рукой и, припав к ней губами, пожал ее с невообразимым жаром; потом, подняв полные слез глаза, я увидел, что ее лицо и шею залил румянец; она хотела отнять у меня свою руку, но все же не выдернула ее из моей, хоть я ее удерживал лишь очень слабо. Мы оба стояли, охваченные трепетом: она — потупив глаза, я — неотрывно глядя на нее. Боже милостивый, что творилось тогда с моей душой! Она пылала любовью, желаньем, восхищением, благодарностью и нежной страстью, и все эти чувства устремлялись к единственному и чарующему предмету. Страсть, наконец, взяла верх над рассудком и почтением, и, отпустив руку девушки, я уже хотел схватить ее в объятия, когда она, овладев собой, отпрянула от меня и в негодовании спросила, дала ли она мне право на такое обращение. Тогда я упал к ее ногам и сказал, что если я оскорбил ее, то жизнь моя в ее полной власти, и я был бы рад это доказать ей каким угодно образом.

— Да, сударыня,— сказал я,— вы не могли бы с той же радостью наказать меня, с какою я перенесу наказание. Я признаю свою вину. Мне стыдно подумать, что я хотел просить вас принести ваше счастье в жертву моему. Поверьте мне, я искренне раскаиваюсь в своей неблагодарности; но поверьте также — только моя страсть, неудержимая страсть моя к вам завела меня так далеко! Я вас люблю давно и нежно; и доброта, проявленная вами, помимо воли вашей раздавила несчастного, над которым и так уже висела гибель. Не вините меня ни в каких низких, корыстных расчетах; и, перед тем как я с вами прощусь навсегда (а я намерен сделать это незамедлительно), примите мои уверения, что на какую бы высоту ни вознесла меня судьба, на такую же пожелал бы я поднять и вас. О, будь она проклята, судьба!..

— Не кляните,— говорит она, перебивая меня, самым сладостным голосом,— не кляните судьбу, когда она сделала меня счастливой; и раз она отдает ваше счастье в мою власть, то, как я уже говорила, вы можете попросить у меня, что угодно, в пределах разумного, и я вам не откажу.

— Сударыня,— ответил я,— вы во мне ошиблись, ежели и впрямь воображаете, что судьба еще властна дать мне счастье. Вы и так слишком многим меня обязали; у меня остается лишь одно желание: чтобы мне представился благословенный случай отдать жизнь мою за ничтожное хотя бы прибавление к вашему благополучию. А что до меня, единственное для меня возможное счастие — это услышать о вашем; если судьба отпустит вам его в полной мере, я прощу ей все обиды, нанесенные мне.

— И это будет правильно, конечно,— ответила она с улыбкой,— потому что мое счастье включает в себя и ваше. Я давно знаю ваши достоинства; и должна сознаться,— добавила она, краснея,— что чувство, которое вы мне сейчас изъявляете, я заметила в вас давно, несмотря на все ваши усилия скрыть его,— непритворные, как я убеждена; и если недостаточно всего, что я могла бы дать вам в пределах разумного... отбросьте разум... и теперь, я полагаю, вы не можете спросить у меня ничего такого, в чем я вам откажу...

Эти слова она проговорила с невообразимой нежностью. Я встрепенулся; кровь моя, которая, словно заледенев, остановилась у сердца, бурно побежала по жилам. Я стоял молча, потом, кинувшись к ней, схватил ее, уже покорную, в объятия и сказал ей, что она в таком случае должна мне отдать себя самое... О сэр!.. Могу ли я описать вам ее? Несколько минут она смотрела на меня без слов, почти без движения. Наконец, совладав с собою, она потребовала, чтобы я ее оставил, и таким тоном, что я немедленно повиновался. Однакоже, как вы догадываетесь, я скоро увиделся с нею вновь... Но извините — боюсь, я и так слишком долго задержался на подробностях этого первого свидания.

— Напротив,— сказал Адамс, проводя языком по губам,— я бы охотно даже прослушал их вторично.

— Итак, сэр,— продолжал джентльмен,— буду по возможности краток. Через неделю она дала согласие сделать меня счастливейшим из смертных. Вскоре после того мы поженились, и когда я выяснил, каково имущественное положение моей жены (для чего, уверяю вас, у меня не сразу нашлось время), оказалось, что капитал ее составляет около шести тысяч фунтов и большая часть его вложена в дело; отец Гарриет занимался ввозом вина, и она, повидимому, была не прочь, чтобы я, если мне этого хочется, продолжал ту же торговлю. Я взялся за дело охотно и слишком неосмотрительно: ибо, не будучи подготовлен воспитанием к тайнам коммерции и стараясь вести дело с безупречной честностью и прямотой, я вскоре увидел, что состояние наше идет на убыль и мое предприятие понемногу хиреет,— потому что мои вина я ничем не разбавлял и пускал в продажу такими же чистыми, какими ввозил их из-за моря, а виноторговцы повсеместно их хулили, оттого что я не мог отдавать их так же дешево, как другие, получавшие

двойную прибыль при более низкой цене. Вскоре я потерял надежду увеличить таким путем наше состояние; и не совсем приятны были мне навязчивые визиты многих, кто вели со мной знакомство в дни моего процветания, потом же, когда узнал я превратность судьбы, избегали меня, отказывали в приеме, а теперь спешили возобновить знакомство. Словом, я окончательно убедился, что в мирских наслаждениях больше всего безумия, в делах — мошенничества; а то и другое не более как суета: приверженцы наслаждения рвут друг друга в клочья, соревнуясь в трате денег, а деловые люди в жажде их добыть. Все счастье заключалось для меня в моей жене, которую я любил с несказанной нежностью, и она отвечала мне тем же; и у меня не было иных видов, как только обеспечить свою возраставшую семью: жена моя была уже тяжела нашим вторым ребенком. Поэтому, когда представился случай, я ее спросил, как посмотрит она на то, чтобы нам зажить уединенной жизнью; и она, выслушав мои доводы и увидав мою к тому склонность, охотно согласилась. Мы вскоре обратили в наличность наше небольшое состояние, теперь сократившееся до трех тысяч фунтов, часть его вложили в покупку этой усадебки и, как только жена разрешилась от бремени, удалились сюда от мира, полного сутолоки, шума, зависти, ненависти и неблагодарности, к тишине, покою и любви. Мы прожили здесь без малого двадцать лет, почти не зная иного общения, как только друг с другом. Соседи почитают нас за очень странных людей: здешний сквайр считает меня сумасшедшим, а пастор — пресвитерианцем, потому что я не хожу на охоту с первым и не пью со вторым...

— Сэр,— говорит Адамс,— Фортуна, думается мне, уплатила вам полностью свои долги в этом вашем сладостном уединении.

— Сэр,— ответил джентльмен,— я благодарен великому создателю всего сущего за те радости, какими я здесь наслаждаюсь. У меня лучшая в мире жена и трое прелестных детей, к которым я питаю истинную родительскую нежность... Но нет в этом мире неомраченной радости: когда я прожил здесь три года, я потерял моего старшего сына. (И тут он горько вздохнул.)

— Сэр,— говорит Адамс,— мы должны покориться провидению и помнить, что смерть неизбежна для каждого.

— Да, мы должны покориться, это так,— отвечал джентльмен,— и если бы он умер, я бы мог снести утрату с должным смирением. Но увы! Сэр, его увели от моего порога дурные бродяги — из тех, кого зовут цыганами; и самые усердные розыски не вернули мне его. Бедный мальчик! Он был так хорош собой — точный портрет своей матери.— И тут невольные слезы полились из его глаз, как и из глаз Адамса, который всегда в таких случаях разделял чувства своих друзей.

— Итак, сэр,— сказал джентльмен,— я кончил мой рассказ и прошу меня извинить, если вдался в излишние подробности. А теперь, ежели позволите, я принесу еще бутылочку! — Каковое предложение пастор с благодарностью принял.

ГЛАВА IV

Описание образа жизни мистера Вильсона. Трагическое происшествие с собакой и другие важные события

Джентльмен вернулся с бутылкой; и некоторое время они с Адамсом сидели молча, пока тот, наконец, не вскочил со словами:

— Нет, едва ли!

Джентльмен спросил, что он имел в виду, и пастор ответил, что он соображал, не мог ли быть его украденным сыном недавно столь прославившийся король Теодор, но тут же добавил, что возраст его не соответствует этому предположению.

— Как бы то ни было,— сказал он,— бог всегда располагает к лучшему; очень возможно, что ваш сын стал большим человеком или герцогом, и когда-нибудь он предстанет пред вами во всем своем величии.

Джентльмен ответил, что узнал бы его из десяти тысяч: потому что слева на груди у него родимое пятно в виде земляники, полученное им от матери, которую тянуло на эту ягоду.

Уже поднялась с постели юная красавица Заря и, сияя свежей молодостью и весельем, как мис ..... [1], с нежными брызгами росы на пухлых губках, отправилась на раннюю свою прогулку по восточным холмам; и уже галантный кавалер Солнце украдкой вышел из супружеской опочивальни, чтоб отдать милой деве дань своего внимания,— когда джентльмен спросил у гостя, не хочет ли он пройтись и посмотреть его садик, на что тот охотно согласился, и Джозеф, пробудившись от сна, в который был погружен в течение двух часов, пошел вместе с ними.

Ни цветники, ни фонтаны, ни статуи не оживляли этот маленький сад. Единственным его украшением была короткая аллея, обсаженная с двух сторон орешником и замыкавшаяся зеленой беседкой, где в жаркую погоду джентльмен и его жена любили посидеть в уединении, радуясь на своих детей, которые резвились на аллее перед ними. Но хотя тщеславие не заглядывало в этот укромный уголок, здесь можно было найти большое разнообразие плодов и все, что нужно для кухни; и этого было предостаточно, чтобы вызвать восхищение Адамса, который сказал, что у джентльмена, несомненно, хороший садовник.

---

[1] Любое имя по желанию читателя. *(Прим. автора.)*

— Сэр,— ответил тот,— садовник перед вами; все, что вы тут видите,— дело моих собственных рук. Выращивая необходимое для нужд моего стола, я в то же время обеспечиваю себе добрый аппетит. В теплые месяцы года я обычно провожу здесь не меньше шести часов в сутки — и не трачу их праздно; это мне позволило после моего прибытия сюда сохранять свое здоровье, не прибегая к медицине. Сюда я обычно выхожу на заре освежиться и здесь тружусь, покуда жена одевает детей и готовит нам завтрак; а после завтрака и до конца дня мы редко уже бываем врозь; когда погода не позволяет им выйти ко мне, то я обычно сижу с ними дома, ибо я не стыжусь ни побеседовать с женой, ни поиграть с детьми: сказать по правде, я не замечаю, чтобы женщины уступали нам в умственном отношении, как нас старается в том уверить легкомыслие повес, тупость дельцов или суровость ученых. Что касается моей жены, то заявляю прямо: я не встречал среди лиц моего пола никого, кто умел бы делать более справедливые наблюдения или удачнее высказывать их; и не думаю, чтобы у кого-нибудь на свете был более преданный и верный друг. Притом эта дружба не только услаждена большой чуткостью и нежностью, но и скреплена к тому же более дорогими залогами, чем может представить самый тесный мужской союз: ибо какая же связь может быть крепче нашего общего интереса к плодам нашей любви? Может быть, сэр, вы сами не отец; если так, то, конечно, вам трудно себе представить, сколько радости я нахожу в своих малютках. И не стали бы вы презирать меня, когда б увидели, как я ползаю по полу, играя с моими детьми?

— Это зрелище преисполнило бы меня уважением,— проговорил Адамс,— я сам сейчас отец шестерых детей, а было их у меня одиннадцать; и могу сказать, я если и сек когда своего ребенка, то только в качестве его школьного учителя, и тогда я ощущал каждый удар на своем собственном заду. А что касается ваших слов относительно женщин, то я часто скорбел, что моя жена не знает по-гречески.

Джентльмен ответил с улыбкой, что и он не хотел бы быть понятым так, будто его жена знает что-нибудь помимо забот о семье; напротив, говорит он, моя Гарриет, уверяю вас, замечательная хозяйка, и мало у кого из джентльменов найдется повариха, которая лучше знала бы толк в стряпне и в приготовлении сластей; правда, теперь ей не часто представляется случай показать себя в этих искусствах, однако вино, которое вы так хвалили вчера за ужином, было ее собственного изготовления, как и все напитки в нашем доме,— за исключением пива, потому что это уже по моей части. (— И уверяю вас, лучшего я не пивал,— вставил Адамс.) Раньше мы держали служанку, но с тех пор как мои девочки подросли, жена не считает нужным поощрять в них праздность: так как я смогу им

дать лишь очень небольшое приданое, мы не желаем, чтобы воспитание ставило их выше той среды, в какую придется им попасть, и чтоб они потом презирали или разоряли небогатого мужа. Да, я желаю, чтоб им достался в удел человек моего склада и уединенное существование: я узнал по опыту, что безмятежное, ясное счастье и душевное удовлетворение несовместимы с суетой и сутолокой света.

Так он говорил, когда малыши, только что встав, взапуски побежали к нему и попросили благословения. Они робели перед чужими, но старшая сообщила отцу, что мать и молодая гостья встали и завтрак готов. Все направились в дом, где джентльмена поразила красота Фанни, оправившейся от усталости и одетой теперь безупречно чисто: негодяи, забрав у нее кошелек, оставили при ней узелок с вещами. Но если хозяин был так сильно изумлен красотою юной девушки, то гости его были не менее очарованы нежностью, проявлявшейся в обращении мужа и жены друг с другом и с их детьми, а также почтительным и любовным отношением детей к родителям. Благорасположенный ум Адамса был равно умилен и тем радушием, с каким они старались услужить гостям и предлагали им все лучшее, что было в доме; но еще более восхитили его два-три примера их готовности помочь ближнему: покуда завтракали, хозяйку дома отозвали к захворавшему соседу, и она понесла ему лекарственной настойки, изготовленной ею для пользования больных; а хозяин тем временем вышел на улицу дать другому соседу что-то с огорода, в чем была у того нужда,— потому что все, что они имели, охотно предлагалось каждому, кто ни попросит.

Добрые люди были в самом радостном расположении духа, когда вдруг услышали выстрел; и тотчас затем вприпрыжку, вся в крови, вбежала маленькая собачонка, любимица старшей их дочери, и легла у ног своей хозяйки. Увидев это, бедная девочка, которой было лет одиннадцать, разразилась слезами, и тут вошел один их сосед и рассказал, что молодой сквайр, сын лорда владетеля, подстрелил собачку мимоходом и при том еще поклялся, что подаст в суд на ее хозяина за то, что он держит спаньеля: он-де предупреждал, что не потерпит ни единого в своем приходе. Собака, которую девочка взяла к себе на колени, стала лизать ей руки и через несколько минут околела. Девочка громко разрыдалась о своей утрате, остальные дети расплакались над несчастьем сестры, и Фанни тоже не удержалась от слез. Покуда отец и мать пытались утешить девочку, Адамс схватил свою клюку и вышел бы на сквайра, не удержи его Джозеф. Однакож он не мог обуздать свой язык: слово «мерзавец» он произнес с большой силой; он сказал, что сквайр заслуживает виселицы больше, чем иной разбойник, и сожалел, что не может его высечь. Мать увела из комнаты свою девочку, плачущую, с мертвой любимицей на руках; и тогда джентльмен

рассказал, что сквайр уже пытался раз застрелить собачку и сильно поранил ее, причем у него не могло быть иного побуждения, кроме злобы: ведь несчастная тварь была величиной едва с кулак и за все шесть лет, что его дочь владела ею, ни разу не удалилась от дому дальше, чем на двадцать шагов. Она ничем не заслужила подобного обращения; но у отца юноши слишком большое состояние, с ним не потягаешься. Он ведет себя, как истинный тиран, перебил в округе всех собак и отобрал у всех жителей ружья; мало того — он еще топчет все живые изгороди и скачет, не глядя, по посевам и садам, как по проезжей дороге.

— Захватил бы я его в своем саду!..— сказал Адамс.— Впрочем, я скорей простил бы его, когда бы он ворвался на коне в мой дом, чем примирился бы с таким злым поступком, как этот!

Так как веселье их беседы нарушено было этим несчастьем, в котором гости ничем не могли помочь своему доброму хозяину, и так как мать ушла наверх утешать бедную девочку, слишком добрую, чтобы быстро забыть нежданную утрату своей любимицы, которая за несколько минут перед тем ластилась к ней, и так как Джозефу и Фанни не терпелось скорее добраться домой и приступить к тем предварительным обрядам, необходимым для их счастья, на коих настаивал Адамс,— гости собрались уходить. Джентльмен горячо уговаривал их остаться к обеду, но когда понял, как они рвутся в дорогу, он позвал жену, и, совершив, как полагалось, все церемонии поклонов и реверансов, которые приятнее видеть, чем описывать, они распростились, причем джентльмен с женой сердечно пожелали гостям счастливого пути, а те столь же сердечно поблагодарили за радушный прием Наконец, они вышли, и Адамс объявил, что это и есть тот образ жизни, какой люди вели в золотом веке.

ГЛАВА V

Спор о школах, происходивший между мистером Абраамом Адамсом и Джозефом в дороге, и неожиданное открытие, приятное для обоих

Наши путешественники, неплохо подкрепившись в доме джентльмена — Джозеф и Фанни сном, а мистер Абраам Адамс табаком и элем,— пустились снова в путь с отменной бодростью и, следуя по указанной им дороге, отшагали много миль, прежде чем встретились с приключением, достойным упоминания. А мы, пользуясь этим временем, предложим нашим читателям очень любопытный, как нам кажется, разговор о закрытых школах, происходивший между мистером Джозефом Эндрусом и мистером Абраамом Адамсом.

Они отошли не так далеко, когда Адамс, окликнув Джозефа, спросил его, слушал ли он историю джентльмена, и тот ответил, что слушал «всю первую часть».

— И не думается тебе, что он был в молодости очень несчастным человеком?

— Да, очень несчастным,— ответил юноша.

— Джозеф,— вскричал Адамс и выпятил губы,— я открыл первопричину всех несчастий, выпавших ему на долю. Закрытая школа, Джозеф, была первопричиной всех бедствий, постигших его впоследствии! Закрытые школы — питомники порока и безнравственности. Помнится мне, все испорченные молодые люди, с которыми учился я в университете, были воспитанниками этих школ... Ах, боже мой! Я их помню так, как если бы это было вчера,— всю их банду; их называли — я забыл почему — «королевскими школярами»... дурные, очень дурные были ребята! Джозеф, тебе следует благодарить бога за то, что ты не учился в закрытой школе, а то бы ты никогда не сохранил добродетели, как тебе удалось ее сохранить. Я всегда забочусь прежде всего о нравственности мальчика; по мне, пусть он лучше будет болваном, чем атеистом или пресвитерианцем. Чего стоит вся ученость мира по сравнению с бессмертной душой? Что получит человек взамен, если отдаст он душу свою? Но в больших школах учителя не тревожатся о таких вещах. В университете учился со мною юноша восемнадцати лет, который совсем не знал катехизиса; я же со своей стороны всегда готов был скорее посечь мальчугана за нерадение к катехизису, чем за любой другой предмет. Поверь мне, дитя мое, все злоключения доброго джентльмена проистекли из того, что он воспитывался в закрытой школе.

— Мне не подобает,— ответствовал Джозеф,— спорить с вами о чем бы то ни было, сэр, особливо ж о такого рода предмете: потому что поистине все на свете должны признать, что вы наилучший школьный учитель во всем нашем графстве.

— Да,— говорит Адамс,— я и сам полагаю, что в этом мне нельзя отказать; это я могу заявить без всякого тщеславия... и, пожалуй, даже если прихватить нам и соседнее графство, то и там... Но — gloriari non est meum [1].

— Однако, сэр, раз уж вы соизволили спросить, как я об этом посужу,— говорит Джозеф,— так ведь вам известно, что мой покойный господин, сэр Томас Буби, обучался в закрытой школе, а превосходнее его не было джентльмена во всей округе. И он часто говаривал, что, будь у него сто сыновей, он их всех послал бы учиться туда же. Он держался мнения и часто его высказывал, что, выходя из закрытой школы и попадая затем в свет, юноша за один год усваивает больше, чем усвоит за пять лет другой, получивший домашнее образование. Он говаривал,

---

[1] Хвастаться не в моем обычае *(лат.)*.

что и сама по себе школа посвятила его во многие тайны жизни (так, помню, он и выражался) потому-де, что «большая школа — это маленькое общество, где мальчик, не вовсе лишенный наблюдательности, может видеть в уменьшенном размере то, что позже открывается ему в широком мире».

— Hinc illae lachrimae [1]; именно потому,— молвил Адамс,— я и отдаю предпочтение частной школе, где мальчики могут оставаться в неведении и целомудрии: ибо, согласно этим чудесным строкам из пьесы «Катон» *, единственной английской трагедии, какую читал я,—

Когда творит мерзавцев знанье света,
В неведенье пусть Юба проживет.

Кто не пожелал бы своему дитяти лучше сохранить чистоту, чем усвоить весь курс искусств и наук, которым он, впрочем, может поучиться и в частной школе? Ибо я без излишнего тщеславия могу сказать, что в деле преподавания не поставлю себя вторым ни за кем,— так что и при частном обучении юноша может получить не меньше знаний, чем в закрытой школе.

— Но, с вашего разрешения,— возразил Джозеф,— он и пороков может усвоить не меньше; доказательством тому многие джентльмены помещики, которые получили образование в пяти милях от собственного дома, а порочны так, как ежели бы с младенчества знали свет. Мне запомнилось еще с того времени, когда я состоял в конюхах: ежели лошадь норовиста по природе, ее, сколько ни объезжай, не исправишь; я полагаю, так точно оно и с людьми: если у мальчика злостные, дурные наклонности, никакая школа, хоть и самая расчастная, нипочем не сделает его хорошим; и наоборот, если он правильного нрава, можно отпустить его хоть в Лондон, хоть куда угодно; не опасаясь, что он испортится. К тому же, помнится мне, мой господин часто говорил, что в закрытых школах дисциплина не в пример лучше, чем в частных.

— Ты говоришь, как обезьяна,— сказал Адамс,— и твой господин тоже пел с чужого голоса! Дисциплина — вот уж действительно! Если один человек сечет по утрам на двадцать или тридцать мальчишек больше, чем другой, неужели это значит, что он лучше умеет наводить дисциплину? Я, например, посмел бы соревноваться в этом со всяким, кто учительствовал со времен Хирона * и по нынешний день; и если бы мне довелось быть учителем шестерых только мальчиков, я поддерживал бы среди них дисциплину не хуже, чем иной учитель в самой большой на свете школе. Я ничего не утверждаю, молодой человек, запомните: я не утверждаю ничего; но если бы сам

[1] Это-то и составляет их плачевную сторону (буквально: отсюда и слезы) (*лат.*).

сэр Томас получил образование где-нибудь поближе к дому и под чьим-либо надзором — запомните, я не называю никого по имени,— то это было бы лучше для него; но отец его решил во что бы то ни стало дать ему знание света. Nemo mortalium omnibus horis sapit [1].

Он, увлекшись, продолжал в том же духе, и Джозеф несколько раз просил извинения, заверяя, что не имел в мыслях оскорбить его.

— Верю, дитя мое,— говорит пастор,— и я на тебя не сержусь; но чтобы в школе поддерживалась хорошая дисциплина, для этого...

И пастор снова и снова пускался в рассуждения, приводил имена всех учителей древности и ставил себя выше их всех. В самом деле, если была у доброго этого человека какая-либо навязчивая идея — или, как говорится в просторечии, блажь,— то заключалась она вот в чем: он почитал школьного учителя величайшей фигурой в мире, а себя величайшим изо всех школьных учителей, и сам Александр Великий во главе своего войска не сбил бы его с этих позиций.

Адамс все не оставлял своей темы, когда они подошли к одному из красивейших уголков земли. Это было нечто вроде природного амфитеатра, поднимавшегося над излучиной маленькой речушки и густо поросшего лесом; деревья высились одни над другими, как бы расставленные на ступенях естественной лестницы; и так как лестницу эту скрывали их ветви, то казалось, что их нарочно расположил в таком порядке замысел искуснейшего садовода. Земля же была устлана зеленью, какой не передала бы никакая живопись; а вся картина в целом могла бы пробудить романтические мечтания и в более зрелых умах, чем умы Джозефа и Фанни, и даже без содействия любви.

Они подошли сюда около полудня, и Джозеф предложил Адамсу сделать привал в этом прелестном местечке и подкрепиться провиантом, которым их снабдила добросердечная миссис Вильсон. Адамс не стал возражать против этого предложения; и вот они уселись и, вытащив холодную курицу и бутылку вина, принялись за еду с таким весельем, что ему позавидовали бы, верно, и на блистательном пиру. Не премину рассказать, что среди провианта они нашли бумажку, в которую оказалась завернута золотая монета, и Адамс, подумав, что ее вложили туда по ошибке, хотел было повернуть назад и возвратить найденное владельцу; но Джозеф кое-как убедил его, что мистер Вильсон нарочно избрал такой деликатный способ дать им средства в дорогу, помня их рассказ о том, как они попали в беду и как их выручил великодушный коробейник. Адамс сказал, что, видя такое проявление доброты, он радуется всем

[1] Никто из смертных не бывает мудрым во всякий час *(лат.)*.

сердцем, и не столько за себя, как за самого даятеля, которого ждет щедрая награда в небесах. Он успокоил себя так же мыслью, что скоро получит возможность расплатиться и сам, так как джентльмену предстояла через неделю поездка в Сомерсетшир и он твердо обещал проехать через приход Адамса и навестить его: обстоятельство, казавшееся нам ранее слишком несущественным, чтоб о нем упоминать, но тех, кто питает к мистеру Вильсону ту же симпатию, что и мы, оно порадует, ибо сулит им надежду вновь с ним повидаться. Джозеф засим произнес речь о милосердии, которую читатель, если расположен, может найти в следующей главе, ибо мы почли бы неприличным, не предупредив, вовлечь его в такое чтение.

ГЛАВА VI

Нравственные рассуждения Джозефа Эндруса; и случай на охоте с чудесным избавлением пастора Адамса

— Меня часто удивляло, сэр,— сказал Джозеф,— почему так редки среди людей примеры милосердия; ведь если не склоняет человека облегчить страдания ближних доброта его сердца, то жажда почета, думается мне, должна была бы подвигнуть его на это. Что побуждает человека строить прекрасный дом, покупать прекрасную обстановку, картины, одежду и прочие вещи, если не честолюбивое стремление внушать людям больше уважения, чем другие? Так разве же одно большое милосердное деяние, один случай вызволения бедного семейства из нищеты, предоставления неудачливому ремесленнику некоторой суммы денег, чтоб он мог зарабатывать свой хлеб трудом, освобождение несостоятельного должника от его долга или из тюрьмы или любое другое доброе дело — не доставили бы человеку больше уважения и почета, чем могут дать ему самые великолепные на свете картины, дом, обстановка и одежда? Ведь не только сам человек, получивший помощь, но и каждый, кто услышал бы имя такого благодетеля, должен бы, мне представляется, почитать его бесконечно выше, чем владельца всех тех вещей, восхищаясь которыми мы славим скорее строителя, мастера, художника, кружевницу, портного и прочих, чье искусство создало эти вещи, нежели особу, присвоившую их себе с помощью денег. Я, со своей стороны, когда стоял, бывало, за стулом моей госпожи в комнате, увешанной картинами, и поглядывал на них, ни разу не подумал об их владельце; да и другие также, насколько я замечал, когда, бывало, спросят, чья эта картина, то никогда в ответ не называли хозяина дома, но говорили: Аммиконни, Поля Воронеза, Тициана или Хогарти *, а это все, я полагаю, имена худож-

ников. А спросили бы: кто выкупил такого-то из тюрьмы? кто ссудил деньгами разорившегося ремесленника, чтоб он мог стать на ноги? кто одел эту бедную многодетную семью? — вполне ясно, каков должен быть ответ. К тому же эти важные господа ошибаются, когда воображают, что они таким путем достигают хоть какого-нибудь почета; что-то я не помню, чтобы случалось мне побывать с миледи в гостях и чтоб она там похвалила бы обстановку или дом, а вернувшись к себе, не высмеивала бы и не хулила все, что только что хвалила у людей; и другие джентльмены в ливреях говорили мне то же о своих господах. А посмотрел бы я, как самый мудрый человек на свете посмел бы высмеять истинно доброе дело! Посмотрел бы я, да! Кто бы только попробовал, того бы самого подняли на смех, а не стали бы смеяться вместе с ним. Добрые дела творят немногие, однакоже все в один голос превозносят тех, кто творит их. Право, странно даже, что люди наперебой прославляют доброту, а никто не старается заслужить эту славу; и наоборот: все поносят порок, и каждый рвется делать то, что сам же он хулит. Не знаю, какая тому причина, но что это так — ясно для всякого, кто вращался в свете, как довелось вращаться мне последние три года.

— Неужели большие господа всегда бывают дурными? — говорит Фанни.

— Встречаются, конечно, исключения,— отвечает Джозеф.— Некоторые джентльмены из лакейской говорили о делах милосердия, совершенных их господами, и я слышал, как сквайр Поп, знаменитый поэт, за столом миледи рассказывал истории о человеке из места, которое называется Росс, и о другом, из Бата, о каком-то Ал... Ал... * — не помню его имени, но оно имеется в книге стихов. Этот джентльмен, между прочим, построил себе славный дом, который очень нравится сквайру Попу; но добрые дела его видны лучше, нежели виден дом, хоть он и стоит на горе, да и приносят ему больше почета. В книгу его поместили за добрые дела; и сквайр говорил, что он в нее помещает всех, кто этого заслуживает; а, конечно, раз он живет среди важных господ, когда бы среди них были такие, так уж он бы знал о них...

Вот и все, что мог припомнить по моей просьбе мистер Джозеф Эндрус из той своей речи, и я передал ее по возможности его собственными словами с самыми небольшими исправлениями. Но, я полагаю, читателей моих несколько смущает долгое молчание пастора Адамса,— тем более, что ему представлялось столько случаев проявить любопытство и вставить свои замечания. Истина заключается в том, что пастор крепко спал, и заснул он в самом начале вышеприведенной речи. И право же, если читатели припомнят, сколько часов не смыкал он глаз, то их не удивит этот отдых, от которого добрый пастор едва ли отказался бы, когда бы сам Генлей * или иной столь же

велик оратор (буде таковой возможен) витийствовал бы перед ним, стоя на трибуне или на церковной кафедре.

Джозеф, который всю свою речь произнес, не меняя положения — склонив набок голову и уставив в землю взор, поднял, наконец, глаза и лишь теперь увидел, что Адамс лежит, растянувшись на спине и издавая храп чуть погромче обычного крика некоего долгоухого животного; тогда юноша повернулся к Фанни и, взяв ее руку, завел любовную игру, хоть и вполне совместную с чистейшей невинностью и благопристойностью, но все ж такую, какой при свидетелях он не решился бы начать и она не допустила бы. Предаваясь этим безобидным и приятным утехам, они вдруг услышали приближавшийся громкий лай своры гончих и вскоре затем увидали, как вынесся из лесу заяц и, перескочив ручей, очутился на лужке, в нескольких шагах от них. Едва ступив на берег, заяц сел на задние ноги и прислушался к шуму погони. Зверек показался Фанни очень милым, и ей от души хотелось взять его на руки и уберечь от опасности, как видно грозившей ему; но и разумные творения не всегда умеют отличить своих друзей от врагов: что ж тут удивительного, если глупый зайчик, едва взглянув, побежал от друга, желавшего дать ему защиту, и, пересекши лужок, вновь махнул через речку и очутился опять на том берегу. Но бедняга был так изнурен и слаб, что три раза падал на бегу. Это произвело впечатление на нежное сердце Фанни, и со слезами на глазах она заговорила о том, какое варварство — мучить до полусмерти бедное, ни в чем не повинное и беззащитное животное и, забавы ради, подвергать его жесточайшей пытке. Однако долго рассуждать об этом ей не пришлось: внезапно гончие промчались лесом, который огласился их лаем и улюлюканьем охотников, мчавшихся за ними верхами. Собаки, переплыв речку, побежали дальше заячьим следом; пять всадников попробовали перескочить речку — троим это удалось, двое же при этой попытке были выброшены из седла в воду; их спутники, как и собственные их лошади, продолжали погоню, предоставив своим товарищам и седокам взывать о милости к судьбе или обратиться для спасения к более действительным средствам — к ловкости и силе. Джозеф, однако, не проявил себя в этом случае столь безучастным: он на минуту оставил Фанни, подбежал к джентльменам, которые уже стояли на ногах, мотая головами, чтоб вылить воду из ушей, и с помощью Джозефа быстро вскарабкались на берег (ибо речка была совсем неглубока); не остановившись даже поблагодарить человека, любезно оказавшего им помощь, они кинулись, мокрые, через луг, призывая собратьев-охотников придержать коней; но те их не слышали.

Гончие теперь быстро нагоняли зайца. Петляя и спотыкаясь, слабея с каждым шагом, бедняга полз через лес, и когда он, сделав круг, оказался вновь у того места, где стояла Фанни,

враги настигли его; изгнанный из укрытия, он был схвачен и разорван в клочья на глазах у Фанни, которая не могла подать ему более действенной помощи, чем сострадание; не удалось ей и уломать Джозефа, в юности своей любившего охоту, чтоб он предпринял что-нибудь противное охотничьим законам в пользу зайца, который, по его словам, «был убит правильно».

Заяц схвачен был в двух-трех шагах от Адамса, который мирно спал немного поодаль от влюбленных; и гончие, пожирая зайца и таская его взад и вперед по земле, подтянулись так близко к пастору, что некоторые из них вцепились в подол его рясы (может быть, принимая ее за заячью шкуру), другие же тем временем, запустив зубы в парик, который пастор укрепил на голове носовым платком, начали его стягивать; и если бы толчки, доставшиеся его телу, не произвели на спящего больше впечатления, чем шум, то собаки, несомненно, отведали бы и пасторского мяса, приятный вкус которого мог бы стать для Адамса роковым; однако, растормошенный, он сразу проснулся и, одним рывком освободив голову от парика, с удивительным проворством вскочил на ноги, так как изо всех членов своего тела только им, казалось, мог он теперь вверить свою жизнь. Итак, расставшись также чуть не с третьей частью своей рясы, добровольно отданной им врагу в качестве exuviae, или трофеев, он побежал со всею скоростью, какую мог призвать себе на помощь. И да не послужит это на суде людском к умалению его храбрости: да будет принята во внимание численность противника и то, что нападение было совершено врасплох; и если есть среди наших современников такой неистовый храбрец, что не допускает и мысли о бегстве ни при каких обстоятельствах, то я говорю (но лишь тишайшим шепотом, и торжественно заявляю — без намерения оскорбить кого-либо из храбрых людей Англии),— я говорю, или, скорей, шепчу, что он невежда, не читавший никогда ни Гомера, ни Вергилия, и ничего не знает о Гекторе или о Турне *; скажу более: он не знаком с биографией некоторых наших великих современников — тех, кто, храбростью не уступая ни львам, ни даже тиграм, пускались в бегство и бежали бог знает как далеко и бог знает почему, на удивление друзьям и в забаву врагам. Но если лиц такого героического склада несколько оскорбило поведение Адамса, то, несомненно, они будут в полной мере ублаготворены тем, что мы расскажем сейчас о Джозефе Эндрусе. Хозяин своры только что приблизился или, как говорится, выступил на сцену, когда Адамс, как мы упомянули выше, покинул ее. Этот джентльмен слыл большим любителем шуток; но лучше скажем прямо,— тем более, что это не удалит нас от темы,— он был великим охотником на людей.

Правда, до сей поры ему случалось охотиться только с собаками своей собственной породы, и он держал при себе для этой цели свору брехливых псов. Но сейчас, решив, что

нашелся человек достаточно шустрый, он вздумал позабавиться другого рода охотой; и вот он с криком шмыгнул в сторонку, а сам пустил гончих вслед мистеру Адамсу, божась, что в жизни не видывал такого крупного зайца, и так при этом улюлюкал и гикал, точно бежал перед ним побежденный противник. А ему усердно вторили псы человеческой или, точнее сказать, двуногой породы, поспешавшие за ним верхами на конях, упомянутые нами выше.

О ты, кто бы ты ни была — муза ли, или иным пожелаешь ты именем зваться! Ты, что ведаешь жизнеописаниями и вдохновляла всех биографов в наши времена; ты, что напитала чудесным юмором перо бессмертного Гулливера и заботливо направляла суждения своего Маллета *, вдохновляя его сжатый и мужественный слог; ты, что не приложила руки к тому посвящению и предисловию или к тем переводам, которые охотно вычеркнула бы из биографии Цицерона *; ты, наконец, что без помощи какой бы то ни было литературной приправы и вопреки наклонностям самого автора заставила Колли Сиббера написать некоторые страницы его книги по-английски! О помоги мне в том, что будет мне, вижу я, не по плечу! Выведи ты на поле юного, бодрого, смелого Джозефа Эндруса, дабы взирали на него мужи с изумлением и завистью, а нежные девы — с любовью и страстной тревогой за его судьбу!

Как скоро увидел Джозеф Эндрус друга своего в беде, когда впервые чуткие собаки набросились на пастора, тотчас схватил он дубинку в правую руку свою — ту дубинку, что его отец получил от деда его, которому преподнес ее в дар один кентский силач, после того как всенародно проломил ею в тот день три головы. То была дубинка великой крепости и дивного искусства, сработанная лучшим мастером мистера Дерда, с коим не может равняться ни один другой ремесленник и коим сделаны все те трости, с которыми последнее время выходят щеголи на утреннюю прогулку в парк; но эта была воистину вершиной его мастерства; на ее набалдашнике были вырезаны нос и подбородок, каковые, пожалуй, можно бы принять за щипцы для орехов. Учеными высказывалось положение, что сие должно изображать Горгону *; на деле же мастер здесь скопировал лицо некоего долговязого английского баронета, чрезвычайно остроумного и важного; он намеревался также запечатлеть на этой дубинке много разных историй: как, например, вечер первого представления пьесы капитана Б ***, где вы увидели бы критиков в расшитых камзолах пересаженными из лож в партер, прежнее население которого вознесено было на галерею и там занялось игрой на свистульках; намеревался он еще изобразить аукционный зал, где мистер Кок стоял бы на высоте своей трибуны, выхваляя достоинства фарфоровой чаши и недоумевая, «почему никто не предлагает больше за это прекрасное, за это великолепное...» И много дру-

гих вещей хотел он запечатлеть, но вынужден был отступиться от своего замысла за недостатком места.

Только Джозеф схватил в руки эту дубинку, как его глаза метнули молнию, и доблестный быстроногий юноша побежал со всею поспешностью на помощь другу. Он догнал его в тот самый миг, когда Дубняк ухватился уже за подол рясы, который волочился оторванный по земле. Мы, читатель, к этому случаю приурочили бы какое-нибудь сравнение, если бы не два препятствия: во-первых, это прервало бы наше повествование, которое сейчас должно развиваться быстро; но эта причина еще не столь веская, и таких перерывов встречается у писателей немало. Второе и более значительное препятствие состоит в том, что мы не подыскали бы сравнения, достойного нашей цели: ибо, воистину, какой пример мог бы вызвать пред очами читателя образ дружбы и вместе с ней отваги, молодости и красоты, силы и стремительности — всего, чем пылал Джозеф Эндрус? Пусть же те, кто описывает львов и тигров, а также героев, более ярых, чем те и другие, возвышают свои поэмы и пьесы сравнениями с Джозефом Эндрусом, который сам превыше всех сравнений.

Вот Дубняк крепко схватил пастора за подол и остановил его бег. Едва увидел это Джозеф, как он опустил свою дубинку на голову псу и уложил его на месте. Тогда Ельник и Охальник завладели полукафтаньем пастора и, несомненно, повалили бы несчастного на землю, когда бы Джозеф не собрал всю свою силу и не отмерил бы Охальнику такой удар по спине, что тот разжал зубы и с воем побежал прочь. Жестокая участь ждала тебя, о Ельник! Ельник, лучший пес, когда-либо преследовавший зайца! Тот, что ни разу не подал голоса иначе, как при бесспорно верном запахе; добрый на следу, надежный в травле, не пустобрех, не пустогон, пес, чтимый всей сворою гончих! Чуть подаст он, бывало, голос — знали они, что дичь близка. И он пал под ударом Джозефа! Громобой, Разбой, Чудной и Чумной — следующие жертвы его ярости — растянулись во всю длину на земле. Тут Красавица, сука, которую мистер Джон Темпл вырастил в своих комнатах и вскормил за своим столом, а незадолго перед тем прислал за пятьдесят миль в подарок сквайру, свирепо ринулась на Джозефа и впилась ему зубами в ногу. Искони не бывало пса свирепей ее, ибо она была амазонской породы и на родине своей рвала быков; но теперь она вступила в неравный спор и разделила бы судьбу названных выше, не вмешайся в тот час Диана * (читатель пусть верит или нет, как будет угодно), которая, приняв образ выжлятника, заключила любимицу в свои объятья.

Пастор теперь обратился лицом к противникам и своею клюкою поверг многих из них на землю, а прочих рассеял; но на него набросился Цезарь, который сбил его с ног. Тогда прилетел другу на выручку Джозеф и с такою мощью обрушился

на победителя, что Цезарь,— о, вечное посрамление славному имени его! — с жалобным визгом пустился наутек.

Битва кипела ярым неистовством, как вдруг выжлятник, человек степенный и в летах, поднял — о, чудо! — свой голос и отозвал гончих с поля боя, говоря им на понятном для них языке, что дальнейшее сопротивление бесполезно: ибо рок присудил победу врагу.

До сих пор муза с обычным своим достоинством вела рассказ об этой чудовищной битве, которую, мнится нам, было бы не по плечу изобразить никакому поэту, ни романисту, ни биографу, и, заключив его, она умолкает; так что мы теперь продолжаем повествование нашим обыденным слогом. Сквайр и его приятели, у которых фигура Адамса и рыцарство Джозефа вызвали сперва бурный взрыв смеха и которые до сих пор смотрели на происходившее с таким удовольствием, какого никогда не доставляла им ни охота, ни состязание в стрельбе, ни скачки, ни петушиный бой, ни травля медведя,— стали теперь опасаться за своих собак, из которых многие лежали, распростертые, на поле битвы. Поэтому сквайр, предварительно сплотив вокруг себя для безопасности кольцо друзей, мужественно подъехал к сражавшимся и, придав лицу самое, какое только мог, грозное выражение, властным голосом спросил Джозефа, о чем он помышлял, расправляясь таким порядком с его гончими. Джозеф бестрепетно ответил, что собаки первые напали на его друга, и, принадлежи они хоть величайшему человеку в королевстве, он обошелся бы с ними точно так же: потому что, покуда есть в его жилах хоть единая капля крови, он не будет стоять сложа руки, когда этот джентльмен (тут он указал на Адамса) подвергается обиде, будь то от человека или от животного. Джозеф сказал это, и они с Адамсом, потрясая своим деревянным оружием, стали в такие позы, что сквайр и его свита почли нужным пораздумать перед тем, как приступить к отмщению за своих четвероногих союзников.

В эту минуту подбежала к ним Фанни, в тревоге за Джозефа забыв опасность, грозившую ей самой. Сквайр и все всадники, пораженные ее красотой, сразу к ней одной приковали свои взоры и мысли, заявляя в один голос, что никогда не видели такого очаровательного создания. И забава и гнев были тотчас забыты, все смотрели на девушку в безмолвном изумлении. Один только выжлятник не подпал под ее очарование: он хлопотал над собаками, подрезывая им уши и стараясь вернуть их к жизни,— в чем настолько преуспел, что только две поплоше остались недвижимыми на поле брани. Тогда выжлятник заявил, что это еще хорошо — могло быть хуже; а он-де со своей стороны не может винить джентльмена и не понимает, зачем это его хозяин натравливает собак на крещеных людей: нет более верного способа испортить собаку, как пускать ее по следу всякой погани, когда она должна гнать зайца!

Сквайр, узнав, что зло причинено небольшое,— и, может быть, сам замышляя худшее зло, хоть и другого рода,— подошел к мистеру Адамсу с более благосклонным видом, чем раньше; он сказал, что сожалеет о случившемся, что он всячески старался предотвратить это, с той минуты, как разглядел его облачение, и отозвался с большой похвалой о храбрости его лакея, за какового он принял Джозефа. Затем он пригласил мистера Адамса отобедать у него и выразил желание, чтоб и молодая женщина пришла бы вместе с ним. Адамс долго отказывался; но сквайр повторял приглашение так настойчиво и так учтиво, что пастор вынужден был, наконец, согласиться. Джозеф подобрал его парик, шляпу и прочее, растерянное им в бою (а иначе, возможно, все это было бы забыто), и мистер Адамс кое-как привел себя в порядок; а затем конные и пешие двинулись все вместе одним аллюром к дому сквайра, стоявшему неподалеку.

В пути прелестная Фанни привлекала к себе все взоры; джентльмены старались превзойти друг друга в хвалах ее красоте; но читатель простит мне, если я не приведу здесь этих славословий, ибо в них не содержалось ничего нового или необычного,— как простит он мне и то, что я опускаю здесь множество забавных шуток, нацеленных в Адамса: один заявлял, что травля пасторов — лучший в мире вид охоты; другой похвалил его за то, как стойко он защищался — не хуже, право, любого барсука, и все такие же забавные замечания, которые хоть и плохо соответствовали бы нашей степенной повести, сильно, однако, смешили и развлекали сквайра и его веселых друзей.

ГЛАВА VII

Сцена издевательства, изящно приспособленная к новым временам и вкусам

В дом сквайра они прибыли как раз к обеду. Поднялся небольшой спор по поводу Фанни, которую сквайр (он был холост) хотел посадить за свой стол; но она не соглашалась, да и Адамс не позволял разлучать ее с Джозефом; так что ее в конце концов отправили вместе с Джозефом на кухню, где слугам был отдан приказ напоить молодого человека допьяна; той же милостью задумано было почтить и Адамса: ибо сквайр полагал, что, приведя этот план в исполнение, можно будет легко осуществить и то, что он, едва завидев Фанни, замыслил над ней учинить.

Прежде чем идти нам дальше, не лишним будет разъяснить читателю, что представляли собою этот джентльмен и его друзья. Хозяин дома, человек лет сорока, был обладателем весьма значительного состояния и, как сказано, холостяком;

воспитывался он (если здесь применимо это слово) в деревне, в родном своем доме, под надзором матери и учителя, которому приказано было ни в чем не перечить своему ученику и заниматься с ним не больше, чем тому хотелось, то есть очень мало, и только в годы детства, так как с пятнадцати лет мальчик всецело предался охоте и другим сельским забавам, для чего мать снабдила его всем, что требовалось,— лошадьми, собаками и прочим. Учитель же, стараясь потакать своему питомцу (потому что знал, что в будущем тот может щедро его отблагодарить), сделался его сотоварищем не только в этих развлечениях, но и за бутылкой, к которой юный сквайр пристрастился очень рано. Когда ему исполнилось двадцать лет, мать его спохватилась, что не выполнила родительского долга; и вот она надумала, буде возможно, склонить своего сына к тому, что, по ее понятиям, отлично заменило бы ему обучение в закрытой школе и в университете: то есть к путешествию; и при содействии учителя, определенного ему в провожатые, она этого легко достигла. В три года юный сквайр, как говорится, «объездил всю Европу» и вернулся домой с большим запасом французских костюмов, словечек, слуг и глубокого презрения к родной стране; особенно же ко всему, что отдавало простосердечием и честностью наших прадедов. Мать по его возвращении поздравила себя с большим успехом; и, став теперь хозяином своего состояния, он вскоре обеспечил себе место в парламенте и прослыл одним из самых утонченных джентльменов своего времени; но больше всего отличало его необычное пристрастие ко всему смешному, отвратительному и нелепому в человеческой породе,— так что он никогда не приближал к себе людей, лишенных какого-либо из этих свойств; и те, кого природа отметила ими в наивысшей мере, становились первейшими его любимцами; если же встречался ему человек, обделенный изъянами или старавшийся их скрыть, то сквайр с наслаждением выискивал способы толкнуть его на несвойственные ему нелепые поступки или же выявить и выставить на смех то, что было ему свойственно. Для этой цели он всегда держал при себе несколько личностей, которых мы назвали выше псами, хотя они, сказать по правде, не сделали бы чести собачьему роду: их обязанностью было вынюхивать и выставлять на вид все, что хоть сколько-нибудь отдавало вышеназванными качествами, особливо же в людях степенных и благопорядочных; но если их поиски бывали безуспешны, они готовы были самое добродетель и мудрость предать посмеянию в угоду своему господину и кормильцу. Джентльменами такого собачьего склада, проживавшими сейчас в его доме и вывезенными им из Лондона, были некий пожилой офицер в отставке, некий актер, некий скучный поэт, врач-шарлатан, горе-скрипач и хромоногий учитель танцев, немец родом.

Как только подали обед и мистер Адамс встал для молитвы,

капитан убрал за его спиною стул, так что пастор, когда попробовал сесть, шлепнулся на пол; и это оказалось шуткой номер первый — к великому увеселению всей компании. Вторая шутка была проделана поэтом, который сидел подле пастора, по другую его руку: пока бедный Адамс почтительно пил за здоровье хозяина, поэт изловчился опрокинуть ему на колени тарелку с супом,— и это вместе с извинениями поэта и кроткими ответами пастора тоже весьма повеселило общество. Шутка третья была преподнесена одним из лакеев, которому приказано было подбавить мистеру Адамсу в эль изрядное количество можжевеловой водки, и когда гость объявил, что в жизни не пивал лучшего эля, только в нем, пожалуй, многовато солоду, все снова расхохотались. Мистер Адамс (чей рассказ положен нами в основу этой главы) не мог припомнить всего, что было проделано над ним в этом роде,— или, скорей, по своему безобидному нраву, не желал всего раскрывать; если бы не сведения, полученные нами от одного из слуг дома, эта часть нашей повести, которую мы никак не причисляем к наименее любопытным, осталась бы прискорбно неполной. Впрочем, мы вполне допускаем, что за обедом они, по их выражению, откололи еще немало шуток, но нам никак не удалось дознаться, в чем эти шутки состояли. Когда было убрано со стола, поэт стал декламировать стихи, сложенные, как он сказал, экспромтом. Приводим их ниже по списку, который мы добыли с превеликими трудностями:

ЭКСПРОМТ НА ПАСТОРА АДАМСА

Ужели пасторы бывают таковы?
И ряса и парик куда как не новы.
Добро б лисицу в нем учуял нюх собачий,
От тухлой ветчины лисою пахнет паче! [1]
Но собственному как поверить оку, друг,
Коль свора в пасторе учует зайца вдруг?
А Феб ошибся бы грубей, чем гончих свора,
Когда б узрел в тебе великого актера!

С этими словами бард сдернул с актера парик и получил одобрение всей компании — больше, пожалуй, за ловкость руки своей, нежели за стихи. Актер, чем ответить какой-либо проделкой над поэтом, стал изощрять свои таланты все на том же Адамсе. Он продекламировал несколько остроумных отрывков из пьес, возводящих хулу на все духовенство в целом, и они были встречены шумным восторгом всех присутствующих. Теперь пришел черед учителю танцев выказать свои таланты; и вот, обратившись к Адамсу на ломаном английском языке, он сказал ему, что он «есть человек, ошшен хорошо стеланны тля танцы, и сразу видно по его походке, что он утшился у какой-

[1] Когда гончей предстоит погоня за лисицей, по земле волочат кусок тухлой ветчины и пускают собаку сперва по этому следу. *(Прим. автора.)*

нибудь большой утшитель»; приятное качество в священнике, сказал он, если тот умеет танцевать; и в заключение попросил его исполнить менуэт, заметив, что его ряса сойдет за юбку и что он сам пройдется с ним в паре. С этим словом он, не дожидаясь ответа, стал натягивать перчатки, а скрипач поднял уже смычок. Присутствующие начали наперебой предлагать учителю танцев пари, что пастор его перстанцует, но он уклонился, говоря, что и сам не сомневается в том, так как он в жизни не видывал человека, который казался бы «такой хороши тля танец, как этот тшентльмен». Затем он выступил вперед, готовясь взять Адамса за руку, которую тот поспешно отдернул и сжал в кулак, присоветовав немцу не заводить шутку слишком далеко, ибо он, Адамс, не позволит над собой глумиться. Учитель танцев, узрев кулак, благоразумно отступил, заняв позицию вне пределов досягаемости, и стал передразнивать мимику Адамса, который не сводил с него глаз, не догадываясь, чем он собственно занят, и желая лишь избежать вторичного прикосновения его руки. Тем временем капитан, улучив минуту, воткнул пастору в рясу шутиху, или «чертика», и затем поджег ее свечой для прикуривания. Чуждый подобным забавам, Адамс подумал, что его и впрямь взорвали, и, вскочив со стула, запрыгал по комнате к безграничной радости зрителей, объявивших его лучшим танцором на свете. Как только чертик перестал его терзать, Адамс, несколько оправившись от смущения, вернулся к столу и стал в позу человека, собравшегося произнести речь. Все закричали: «Слушайте! Слушайте!» — и он заговорил так:

— Сэр, мне прискорбно видеть, что человек, которого провидение столь благосклонно одарило милостями, воздает за них такой злой неблагодарностью; ибо если вы и не наносили мне обид самолично, видно каждому, что вы получали удовольствие, когда это делали другие, и ни разу не попытались воспрепятствовать грубости, проявленной в отношении меня, а следовательно, и вас, если вы правильно ее истолкуете: потому что я ваш гость и, по законам гостеприимства, подлежу вашему покровительству. Один джентльмен нашел приличным сочинить на меня стихи, о которых я скажу лишь то, что лучше быть их темой, нежели автором. Он изволил оказать мне неуважение как пастору. Я полагаю, мое звание не может явиться предметом насмешек, а сам я могу стать таковым только в том случае, если опозорю свой сан,— но бедность, я надеюсь, никогда и никому не будет вменена в позор. Правда, другой джентльмен продекламировал несколько изречений, выражающих презрение к самому званию священника. Он говорит, что эти изречения взяты из пьес. Я убежден, что подобные пьесы — срам для правительства, разрешающего их играть; и проклятие падет на народ той страны, где их показывают на театре. На то, как со мной обошлись другие, мне не нужно указывать; они и сами, подумав, признают свое поведение несообразным ни с возрастом моим, ни

с моим саном. Вы меня застали, сэр, в пути с двумя моими прихожанами (я умалчиваю о том, как напали на меня ваши гончие, ибо тут я простил вполне — все равно, случилось ли это по злой воле выжлятника или по его нерадивости), и мой внешний вид свободно мог навести вас на мысль, что ваше приглашение явилось для меня благостыней, хотя в действительности мы располагаем достаточными средствами; да, сэр, если бы нам предстояло пройти еще сотню миль, у нас достало бы чем покрыть наши расходы благоприличным образом. (При этих словах он извлек полгинеи, найденные им в корзине.) Я вам это показываю не ради похвальбы своим богатством, а чтоб вы видели, что я не солгал. Я не домогался тщеславно чести сидеть за вашим столом. Но, будучи здесь, я старался вести себя по отношению к вам с полным уважением; если в чем-либо я преступил против этого, то лишь ненамеренно; и, конечно, я не мог провиниться настолько, чтобы заслужить нанесенные мне оскорбления. Следовательно, если они направлены были на мое духовное звание или на бедность мою (а вы видите, не так уж я крайне беден), то позор ложится не на мой дом, и я от души молю бога, чтобы грех не тяготел над вашим.

Так он закончил и стяжал дружные рукоплескания всех присутствующих. Затем хозяин дома сказал ему, что очень сожалеет о случившемся, но что гость не должен обвинять его в соучастии: стихи были, как он и сам отметил, так дурны, что он, пастор, мог бы легко на них ответить; а что касается шутихи, то, конечно, это была очень большая обида, учиненная ему учителем танцев; и если, добавил он, пастор отколотит виновника, как тот заслужил, то ему, хозяину, это доставит превеликое удовольствие (и тут он, вероятно, сказал правду).

Адамс ответил, что, кто бы это ни учинил, ему как священнику не пристало применять такое наказание.

— Однако,— добавил он,— что касается учителя танцев, то я свидетель его непричастности, ибо я все время не сводил с него глаз. Кто бы это ни сделал, да простит его бог и да придаст ему немного больше разума и гуманности.

Капитан сказал суровым тоном и с суровым взором, что, он надеется, пастор имеет в виду, черт возьми, не его,— гуманности в нем не меньше, чем во всяком другом, а если кто-нибудь попробует заявить обратное, то он перережет ему горло в доказательство его ошибки! Адамс ответил с улыбкой, что он, кажется, нечаянно обмолвился правдой. На это капитан воскликнул:

— Что вы имели в виду, говоря, что я «обмолвился правдой»? Не будь вы пастором, я бы не спустил вам этих слов, но ваше облачение служит вам защитой. Если бы такую дерзость сказал мне кто-нибудь, кто носит шпагу, я бы уж давно дернул его за нос.

Адамс возразил, что если капитан попробует грубо его

задеть, то не найдет для себя защиты в его одеянии, и, сжав кулак, добавил, что бивал не раз и более крепких людей. Хозяин делал все, что мог, чтобы поддержать в Адамсе воинственное расположение духа, и надеялся вызвать побоище, но был разочарован, ибо капитан ответил лишь словами: «Очень хорошо, что вы пастор», и, осушив полный бокал за пресвятую матерь церковь, закончил на этом спор.

Затем врач, до сих пор сидевший молча как самая спокойная, но и самая злобная собака изо всех, в напыщенной речи выразил высокое одобрение сказанному Адамсом и строгое порицание недостойному с ним обхождению.

Далее он перешел к славословиям церкви и бедности и заключил советом Адамсу простить все происшедшее. Тот поспешил ответить, что все прощено, и в благодушии своем наполнил бокал крепким пивом (напиток, предпочитаемый им вину) и выпил за здоровье всей компании, сердечно пожав руку капитану и поэту и отнесшись с большим почтением к врачу, который, и правда, не смеялся видимо ни одной из проделок над пастором, так как в совершенстве владел мускулами лица и умел смеяться внутренне, не выдавая этого ничем.

Тогда врач начал вторую торжественную речь, направленную против всякой легкости в разговоре и того, что зовется обычно весельем. Каждому возрасту, говорил он, и каждому званию подобают свои развлечения — от погремушки до обсуждения философских вопросов; и ни в чем не раскрывается так человек, как в выборе развлечения.

— Ибо,— сказал он,— как мы с большими надеждами смотрим на мальчика и ждем от него в дальнейшем разумного поведения в жизни, если видим, что он в свои нежные годы мячу, шарам или другим ребяческим забавам предпочитает в часы досуга упражнение своих способностей соревнованиями в остроумии, учением и тому подобным,— так, равным образом, должны мы смотреть с презрением на взрослого человека, когда застаем его за катаньем шаров или другою детскою игрой.

Адамс горячо одобрил мнение врача и сказал, что он часто удивлялся некоторым местам у древних авторов, где Сципион, Лелий * и другие великие мужи изображены проводящими долгие часы в самых пустых забавах. Врач на это ответил, что у него имеется старая греческая рукопись, рассказывающая, между прочим, о любимом развлечении Сократа.

— Вот как? — горячо воскликнул пастор.— Я был бы вам бесконечно признателен, если бы вы дали мне ее почитать.

Врач обещал прислать ему рукопись и далее сказал, что может, пожалуй, изложить это место.

— Насколько я припоминаю,— сказал он,— развлечение состояло в следующем: воздвигался трон, на котором сидели с одной стороны король, а с другой — королева, а по бокам выстраивались их телохранители и приближенные; к ним впускали

посла, роль которого всегда исполнял сам Сократ; и, когда его подводили к подножью трона, он обращался к монархам с важной речью о доблести, о добродетели, нравственности и тому подобном. По окончании речи его сажали между королем и королевой и по-царски угощали. Это, помнится мне, составляло главную часть... Я, может быть, забыл некоторые подробности, так как читал давно.

Адамс сказал, что такой способ отдохновения и впрямь достоин столь великого мужа, и выразил мысль, что следовало бы установить что-нибудь похожее среди наших больших людей — вместо карт и других праздных занятий, в которых они, как он слышал, проводят попусту слишком много часов своей жизни. А христианская религия, добавил он, явилась бы еще более благородным предметом для таких речей, чем все, что мог изобрести Сократ. Хозяин дома одобрил сказанное Адамсом и объявил, что хочет осуществить церемонию сегодня же, против чего врач стал возражать, так как никто не подготовился к речи.

— Разве что,— добавил он, обратясь к Адамсу с таким серьезным выражением лица, что ввел бы в обман и не столь простодушного человека,— у вас имеется при себе какая-нибудь проповедь, доктор.

— Сэр,— сказал Адамс,— я никогда не пускаюсь в путь, не имея при себе проповеди; на всякий, знаете ли, случай.

Пастор легко поддался уговорам своего достойного друга, как называл он его теперь, взять на себя роль посла; и джентльмен немедленно отдал приказание воздвигнуть трон, что было выполнено быстрей, чем они успели распить две бутылки. Но у читателя, пожалуй, не будет больших оснований восхищаться по этому поводу проворством слуг. Трон, сказать по правде, представлял собою вот что: был доставлен большой чан с водой и с двух сторон придвинуто по стулу — несколько выше чана, и все вместе было застлано одеялом; на эти стулья посадили короля и королеву — то есть хозяина дома и капитана. И вот в сопровождении врача и поэта в зал вступил посол, который, прочитав, к великому увеселению всех присутствующих, проповедь, был подведен к своему месту и посажен между их величествами. Те незамедлительно привстали, одеяло, не придерживаемое больше ни с того, ни с другого конца, опустилось, и Адамс окунулся с головою в чан. Капитан успел отскочить, но сквайр, на свою беду, оказался не столь проворен, как это требовалось здесь, так что Адамс, не дав ему времени сойти с трона, ухватился за него и потянул его за собою в воду — к немалому тайному удовольствию всей компании. Адамс, окунув сквайра раза три, выскочил из чана и стал искать глазами врача, которого, несомненно, препроводил бы на то же почетное место, если бы тот не поспешил благоразумно удалиться. Тогда пастор потянулся за своей клюкой и, разыскав ее, как и спутников своих, объявил, что больше ни минуты не пробудет в этом доме. Он

ушел, не попрощавшись с хозяином, которому отомстил более жестоко, чем сам того хотел: не позаботившись во время обсушиться, сквайр схватил при этом случае простуду, которая причинила ему жестокую лихорадку и едва не свела в могилу.

ГЛАВА VIII,

которую некоторые читатели почтут слишком короткой, а другие слишком длинной

Адамс, а с ним и Джозеф, возмущенный не меньше друга своего тем обращением, какое тот встретил у сквайра, вышли с палками в руках и увлекли за собой Фанни, невзирая на возражения слуг, которые всячески старались удержать их, не прибегая только лишь к насилию. Путники шли, как могли быстро — не столько из боязни преследования, сколько ради того, чтобы дать мистеру Адамсу согреться движением после холодной ванны. Слугам даны были такие распоряжения касательно Фанни, что джентльмен ни в малой мере не опасался ее ухода; и теперь, услышав, что она оставила дом, он пришел в ярость и тотчас разослал своих людей с приказом или привести ее назад, или же не возвращаться вовсе. Поэт, актер и все прочие, кроме врача и учителя танцев, пошли исполнять поручение.

Вечер, когда наши друзья пустились в путь, был очень темный, однако шли они так быстро, что вскоре прибыли в гостиницу, находившуюся в семи милях пути. Они единодушно решили здесь заночевать, тем более что мистер Адамс был к этому времени так же сух, как до своего превращения в посла.

В гостинице, которую мы могли бы назвать кабаком, когда бы на вывеске ее не значилось «Новая Гостиница», им не предложили ничего, кроме хлеба с сыром и эля; они, однако, с радостью сели за эту еду, ибо голод стоит любого французского повара.

Едва они отужинали, как Адамс, вознеся всевышнему благодарственную молитву за ниспослание пищи, объявил, что он ел свой скромный ужин с бо́льшим удовольствием, чем роскошный обед, и с великим презрением высказался о неразумии рода человеческого, который поступается надеждой на вечное блаженство ради стяжания обширного богатства на земле,— тогда как в самом невысоком положении и при самом скудном достатке можно столько находить отрады.

— Совершенно справедливо, сэр,— заговорил степенный человек, который сидел, покуривая трубку у огня, и был, как и Адамс, путешественником.— Я, подобно вам, нередко удивлялся, когда видел, какую ценность повсеместно полагают люди в богатстве,— хотя опыт каждого дня показывает нам, сколь

невелика его власть: ибо что воистину желанное может оно нам доставить? Может ли оно дать красоту безобразному, силу слабому или здоровье немощному? Если бы могло, мы бы не видели, конечно, так много неблагообразных лиц на пышных сборищах, и не изнывало бы такое множество хворых и слабых в каретах своих и дворцах. Нет, и королевская казна не купит краски, чтобы нарядить бледное Уродство в цветущую юность этой девушки, как не купит снадобья, которое наделило бы Немочь силой этого молодого человека. Разве не приносит нам богатство хлопоты вместо покоя, зависть вместо преданности и опасность вместо обеспеченности? Разве может оно продлить наше владение им или умножить дни того, кто им услаждается? Напротив, безделие, излишества и заботы, сопутствующие ему, укорачивают жизнь миллионам людей и приводят их через боль и горести к безвременной кончине. Где же тогда его ценность, если оно не может ни украсить или укрепить наше тело, ни усладить или продлить нам жизнь? Далее... может ли оно украсить дух наш, если не тело? Не преисполняет ли оно скорее сердце наше тщеславием, не раздувает ли щеки наши гордостью, не делает ли оно наши уши глухими ко всякому призыву добродетели, а сердца к состраданию?

— Дайте мне вашу руку, брат,— сказал в восторге Адамс,— ибо я угадываю в вас лицо духовного звания.

— Право же, нет,— ответил тот (хоть он и был на самом деле священником римско-католической церкви; но кто знаком с нашими законами, того не удивит, что патер не спешил в этом признаться *).

— Кем бы вы ни были,— воскликнул Адамс,— вы высказали мои взгляды; нет того слова в вашей речи, которое я раз двадцать не произносил бы в своих проповедях: ибо мне ясно было всегда, что легче корабельному канату (что, кстати скажу, есть правильная передача слова, переводимого нами, как «верблюд») пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство небесное.

— В этом, сэр,— молвил его собеседник,— с вами легко согласятся богословы, и это — печальная истина; но так как чаяние отдаленного блага не оказывает на нас ощутительного воздействия, то не бесполезно дать людям вполне уразуметь (а это, думается мне, для них возможно при самом небольшом внимании), что даже и блага земные не могут быть куплены богатством. Это положение, по-моему, может быть доказано не только метафизически, но и, так сказать, математически; и я всегда был в нем столь безусловно убежден, что ни к чему не питаю большего презрения, чем к золоту.

Теперь длинную речь завел Адамс; но так как говорил он большей частью то, что встречается у многих авторов, трактовавших этот предмет, я не стану приводить ее здесь. Пока он говорил, Джозеф и Фанни удалились на покой, и хозяин тоже

оставил помещение. Когда английский священник кончил, римский начал новую речь, которую вел с великой горечью и обличительным жаром, и заключил ее, наконец, просьбой к Адамсу ссудить ему восемнадцать пенсов на оплату счета, пообещав при этом, что если он и не возвратит их никогда, то во всяком случае будет возносить молитвы за даятеля. Добряк пастор ответил, что восемнадцати пенсов будет мало для завершения сколько-нибудь длительного путешествия и что у него есть в кармане полгинеи, которой он готов поделиться. Затем он принялся шарить по карманам, но найти монеты не мог, потому что за обедом у сквайра с ним сыграли одну шутку, о которой мы до сих пор не упоминали: освободили его карман от сокровища, неосмотрительно выставленного напоказ.

— Увы! — вскричал Адамс.— Деньги я, конечно, потерял; потратить их я никак не мог. Сэр, это верно, как то, что я — христианин: сегодня утром у меня в кармане было целых полгинеи, а сейчас не осталось и полпенни. Не иначе, как дьявол забрал их у меня!

— Сэр,— ответил с улыбкою патер,— вам не к чему оправдываться; если вы не склонны одолжить мне денег, я удовлетворен.

— Сэр,— воскликнул Адамс,— будь у меня при себе самая крупная сумма на свете,— да будь у меня даже десять фунтов! — я бы отдал их целиком, чтобы выручить из беды христианина. Я огорчен больше за вас, чем за себя. Можно ли быть худшему несчастью, чем эта потеря? Оттого, что у меня нет в кармане денег, я заподозрен в том, что я не христианин!

— Я еще незадачливей вас,— промолвил тот,— если вы так великодушны, как вы уверяете, потому что поистине я был бы рад и кроне, мне ее вполне достало бы, чтобы добраться до места, куда я иду: это не более как в двадцати милях пути, и я бы мог прийти туда завтра к вечеру. Уверяю вас, не в моем это обыкновении пускаться в дорогу без денег. Но я только что прибыл в Англию, а буря принудила нас при переезде выбросить за борт все, что у нас было. Я не сомневаюсь, что этот человек поверил бы мне на слово тот пустяк, какой я ему задолжал, но мне неприятно унижаться перед такими людьми, признаваясь, что у меня нет ни шиллинга: потому что хозяева гостиниц, да и многие другие, не полагают большого различия между нищим и вором.

Патер думал, однако, что с хозяином лучше поговорить в этот же вечер, чем на следующее утро, поэтому он решил двинуться в путь немедленно, невзирая на темноту; и, как только хозяин вернулся, он изложил ему состояние своих дел, на что хозяин, почесав затылок, ответил:

— Что ж, не знаю, сударь; раз оно так и денег у вас нет, я, мне думается, должен вам поверить. Хоть я всегда предпочитаю, где можно, получать наличными, но, право, вы с виду

такой честный джентльмен, что я не убоялся бы вам поверить и в двадцать раз больше.

Священник не ответил и, наспех попрощавшись с ним и с Адамсом, удалился в некотором смущении, и, может быть, не совсем поверив искренности Адамса.

Едва он ушел, хозяин, покачивая головой, объявил, что, заподозри он только, что у этого молодчика нет денег, он бы не дал ему ни глотка; он и не надеется, сказал он, когда-нибудь еще его увидеть, потому что и с лица-то он отъявленный плут.

— Ну и пройдоха! — воскликнул хозяин.— По его разговору насчет богатства я подумал, что у него по меньшей мере фунтов сто в кармане.

Адамс пожурил хозяина за такие подозрения, неподобающие, сказал он, доброму христианину, и затем, не помышляя о своей потере и не раздумывая о том, как сам он отбудет наутро, он улегся на очень грубой постели — следуя примеру своих спутников; однако здоровье и усталость обеспечили им такой сладкий отдых, какой не часто могут нам доставить бархат и пуховая перина.

ГЛАВА IX,

заключающая в себе самые удивительные и кровавые приключения, какие только можно встретить в этой, а может быть, и во всякой другой достоверной истории

Близилось утро, когда Джозефа Эндруса пробудила от сна мысль о его любезной Фанни; и в то время как лежал он в нежном раздумье об этом прелестном создании, раздался яростный стук в дверь, над которой приходилась его комната. Он тотчас вскочил с кровати и, растворив окно, услышал вопрос, нет ли в доме путешественников? И тут же другой голос спросил: не стали ли здесь на ночлег двое мужчин и молодая женщина? Хотя голоса были незнакомы Джозефу, он сразу заподозрил истину,— потому что в доме сквайра один лакей рассказал ему о планах своего господина,— и ответил отрицательно. Один из слуг, хорошо знавший кабатчика, окликнул его по имени в ту самую минуту, когда тот отворил другое окно, и задал тот же вопрос; кабатчик ответил утвердительно.

— Эге! — крикнул другой.— Мы, значит, вас поймали, голубчики! — и велел хозяину сойти вниз и отпереть дверь.

Фанни, не спавшая, как и Джозеф, едва услышав это, вскочила с кровати и, наспех натянув на себя юбки и платье, побежала в комнату возлюбленного, который был почти уже одет; тот, не мешкая, впустил ее и, обняв с самой страстной нежностью, наказал ей ничего не бояться, ибо он готов умереть, защищая ее.

— И поэтому я не должна бояться? — говорит она.— Когда я могу потерять то, что мне дороже всего мира?

Тогда Джозеф, целуя ей руку, сказал, что готов благодарить случай, исторгший у нее нежные слова, какими она не дарила его раньше... Затем он кинулся будить делившего с ним постель Адамса, который все еще крепко спал, хотя Джозеф уже не раз его окликнул. Но едва только пастор уразумел, какая грозит опасность, он тоже выскочил из постели, не помышляя о присутствии Фанни, которая поспешила отвернуться от него, вдвойне благословляя мрак: как мог бы он избавить от смущения невинность менее чистую или скромность менее щепетильную, так здесь укрыл он краску, залившую ей лицо.

Адамс вскоре надел на себя всю свою одежду, кроме штанов, о которых второпях забыл; впрочем, их довольно успешно возмещала длина его рубахи и рясы. А тем временем дверь была отперта, и в дом вошли капитан, поэт, актер и трое слуг. Капитан сказал хозяину, что двое молодцов, заночевавших здесь, сбежали с молодой девицей, и справился, в какой комнате она спит. Хозяин, сразу поверивший рассказу, пояснил им, куда идти, и капитан с поэтом кинулись взапуски наверх. Поэт, оказавшийся резвее, вошел в комнату первым, стал шарить в постели и по углам — но безуспешно: птичка улетела, о чем читатель, которому иначе пришлось бы, может быть, болеть за нее сердцем, был нами заранее извещен. Тогда они спросили, где спят мужчины, и уже подходили к комнате, когда Джозеф громким голосом провозгласил, что будет стрелять в первого, кто попробует взломать дверь. Капитан справился, какое у них огнестрельное оружие, и хозяин ответил, что скорее всего — никакого; он даже уверен, что так, потому что он слышал вечером, как один из них спрашивал у другого, что они будут делать без оружия, ежели их нагонят, а другой отвечал, что они будут защищаться палками, доколе смогут, и правому бог поможет. Это успокоило капитана, но не поэта, который благоразумно сошел вниз, объявив, что его дело — прославлять великие деяния, а не вершить их. Капитан, как только уверился, что огнестрельного оружия нет, тотчас изъявил готовность понюхать пороху, божась, что любит его запах, приказал слугам следовать за ним и, смело взбежав наверх, немедленно сделал попытку сорвать дверь, что ему с помощью слуг скоро и удалось исполнить. Когда дверь слетела с петель, они увидели неприятеля выстроившимся в три ряда — с Адамсом в авангарде и с Фанни в тылу. Капитан сказал Адамсу, что если они все немедленно вернутся в дом сквайра, они встретят учтивое обхождение, но если откажутся, то ему дан приказ увести от них молодую леди, так как имеются веские основания полагать, что они похитили ее из родительского дома; сколько бы она ни переодевалась, ее наружность, которую она не может скрыть, достаточно убеждает, что она стоит по рождению неизмеримо выше их. Фанни, разразив-

шись слезами, стала торжественно заверять капитана, что он ошибается, что она бедный беззащитный найденыш, что у нее во всем свете нет никаких родственников, и, упав на колени, взмолилась, чтоб он не пытался отрывать ее от друзей, которые, она уверена, скорее умрут, чем лишатся ее,— что Адамс подтвердил словами, очень недалекими от клятвы. Капитан побожился, что ему некогда разговаривать, и, предложив им благодарить самих себя за то, что последует далее, он велел слугам броситься на них, стараясь в то же время сам обойти Адамса с фланга, чтобы захватить Фанни. Но пастор, пересекший ему дорогу, получил удар от одного из слуг и, не разбираясь, откуда исходил этот удар, ответил на него капитану: так ловко саданул его в ту часть живота, которая зовется в просторечии «под ложечкой», что тот, шатаясь, отступил на несколько шагов. Не привыкши к такого рода игре и не без оснований опасаясь, что второй подобный выпад вкупе с первым будет, пожалуй, равносилен сквозному удару клинком, капитан, когда Адамс на него надвинулся, выхватил кортик и примерился уже нанести в голову проповеднику удар, который, вероятно, заставил бы его замолкнуть навеки, если бы Джозеф в это самое мгновение, подняв одной рукой некий стоявший под кроватью огромный каменный сосуд, который шестеро щеголей едва подняли бы и двумя руками, не запустил бы его вместе с содержимым прямо в лицо капитану. Занесенный кортик выпал из руки капитана, а сам он с тяжелым грохотом рухнул на пол, и в кармане у него зазвякали медяки; красная жидкость, содержавшаяся в его жилах, вместе с желтою, наполнявшею сосуд, побежала потоком по его лицу и одежде. Адамс тоже не совсем того избежал: часть жидкости на лету излила свою благодать на его голову и заструилась по морщинам, или, скорее, бороздам на его щеках; тут один из слуг, схватив тряпку из ведра с водой, уже отслужившей службу при мытье полов, ткнул ею пастору в лицо; однако ему не довелось его повалить: пастор одною рукою вырвал тряпку у противника, а другою поверг его наземь и нанес ему удар в ту часть лица, где у некоторых любителей жизненных услад прирожденные носы соединяются с приставными.

До сих пор Фортуна клонила как будто победу на сторону путешественников, но потом, согласно своему обычаю, вдруг начала проявлять ветреность нрава: ибо теперь на поле, или, вернее, в комнату, сражения вступил хозяин, налетел прямо на Джозефа и, шибанув его головой в живот (он был крепким парнем и опытным боксером), чуть не сбил юношу с ног. Но Джозеф, отставив одну ногу назад, так дал хозяину левым кулаком под подбородок, что тот закачался. Юноша уже замахнулся, чтобы наддать еще и правым кулаком, когда сам получил от одного из слуг сильный удар дубиной по виску, от которого лишился сознания и распростерся на полу.

Фанни раздирала воздух воплями, и Адамс уже спешил на помощь Джозефу, но двое слуг и кабатчик напали на пастора и вскоре одержали над ним верх, хотя он бился, как безумец, и выглядел таким черным от следов, оставленных на нем тряпкой, что Дон Кихот, несомненно, принял бы его за околдованного мавра. Но теперь следует самая трагическая часть: ибо капитан снова встал на ноги, и, увидев, что Джозеф лежит на полу, а со стороны Адамса также не грозит опасности, он мигом схватил Фанни и при содействии поэта и актера, которые, услышав, что битва кончена, поднялись наверх, оттащил ее, плачущую и рвущую на себе волосы, прочь от ее ненаглядного Джозефа и, глухой ко всем ее мольбам, силой сволок ее с лестницы и прикрутил к седлу актеровой лошади; затем, сев верхом на свою, а ту, на которой была злополучная девица, взяв под уздцы, капитан ускакал, обращая на ее крики не больше внимания, чем мясник на визги ягненка; так как поистине все помыслы его были заняты только теми милостями, каких мог он ждать для себя в связи с успехом своего похождения.

Слуги, получившие строгий приказ не выпускать Адамса и Джозефа, чтобы сквайру не встретить никакой помехи в своем умысле против бедной Фанни, по наущению поэта немедленно привязали Адамса к одному столбику кровати, а Джозефа, как только привели его в чувство, к другому, затем, оставив их вдвоем, спиной друг к другу, и наказав хозяину не освобождать их и даже не подходить к ним близко впредь до новых распоряжений, они отправились восвояси; но случилось им двинуться в путь не по той дороге, которую выбрал капитан.

ГЛАВА X

Беседа между актером и поэтом, приводимая в этой повести единственно с целью развлечь читателя

Прежде чем продолжить эту трагедию, мы на время предоставим Джозефа и мистера Адамса самим себе и последуем примеру мудрых распорядителей сцены, которые в середине драматического действия занимают вас превосходным вставным номером, образцом сатиры или юмора, известным под наименованием танца. Номер этот поистине танцуется, а не говорится, ибо выполняют его перед публикой особы, умственные способности которых, по мнению большинства, помещаются у них в пятках, и которым, как и героям, мыслящим посредством рук, природа отпустила головы только ради приличия, да еще чтобы надевать на них шляпы, поскольку таковые нужны бывают в танце.

Поэт, отнесясь к актеру, продолжал так:

— Повторяю (разговор их начался давно и шел все время, пока наверху происходила битва), вы не получаете хороших пьес по вполне очевидной причине: оттого, что авторам не оказывают поощрения. Джентльмены не будут писать, сэр,— да, не будут писать иначе, как в чаянии славы или денег, а вернее, того и другого вместе. Пьесы, как деревья, не растут без пищи, но на тучной почве они, как грибы, возникают сами собой. Поэзию, как виноградные лозы, можно подрезать, но не топором. Город, как балованное дитя, не знает, чего хочет, и больше всего тешится погремушкой. Сочинители фарсов могут еще рассчитывать на успех, но всякий вкус к возвышенному утрачен. Впрочем, одну из причин этой растленности я полагаю в убожестве актеров. Пусть даже поэт пишет, как ангел, сэр, эти жалкие люди не умеют дать выражения чувству!

— Не увлекайтесь,— говорит актер,— в современном театре актеры по меньшей мере столь же хороши, как авторы; нет, они даже ближе стоят к своим прославленным предшественникам; я скорее жду увидеть вновь на сцене Бута *, нежели нового Шекспира или Отвея *; и в сущности я мог бы обратить ваше замечание против вас же и по справедливости сказать: актеры не находят поощрения по той причине, что у нас нет хороших новых пьес.

— Я не утверждал обратного,— сказал поэт,— но я удивлен, что вы так разгорячились; вы не можете мнить себя задетым в этом споре, надеюсь, вы лучшего мнения о моем вкусе и не вообразили, будто я намекал лично на вас. Нет, сэр, будь у нас хоть бы шесть таких актеров, как вы, мы бы вскоре могли соревноваться с Беттертонами и Сэндфордами * прежних времен: ибо, говоря без комплиментов, я полагаю, что никто не мог бы превзойти вас в большинстве ваших ролей. Да, это истинная правда: я слышал, как многие, и в том числе великие ценители, отзывались о вас столь же высоко; и вы меня извините, если я скажу вам, что каждый раз, как я вас видел за последнее время, вы неизменно приобретали все новые достоинства — как снежный ком. Вы опровергли мое представление о совершенстве и превзошли то, что мнилось мне неподражаемым.

— Вас,— отвечал актер,— столь же мало должно задевать сказанное мною о других поэтах, ибо, черт меня возьми, если не найдется отличных реплик и даже целых сцен в последней вашей трагедии, по меньшей мере равных шекспировским! В ней есть тонкость чувства и благородство выражения, которым, нужно в том сознаться, многие из моих собратьев не отдали должного. Сказать по правде, они достаточно бездарны, и мне жаль бывает автора, которому приходится присутствовать при убийстве своих творений.

— Это, однако, не часто может случиться,— возразил поэт,— творения большинства современных сочинителей, как мертворожденные дети, не могут быть убиты. Это такая жалкая,

недоношенная, недописанная, безжизненная, бездушная, низкая, плоская требуха, что я просто жалею актеров, вынужденных заучивать ее наизусть; это, вероятно, не многим легче, чем запоминать слова на незнакомом языке.

— Я убежден,— сказал актер,— что если написанные фразы имеют мало смысла, то при произнесении вслух его становится еще того меньше. Я не знаю почти ни одного актера, который ставил бы ударения на нужном месте, не говоря уж о том, чтобы приспособлять жесты к роли. Мне доводилось видеть, как нежный любовник становился в боевую позицию перед своей дамой и, как отважный герой, с мечом в руке, извивался перед противником, словно воздыхатель перед своим предметом... Я не хочу хулить свое сословие, но разрази меня гром, если в душе я не склоняюсь на сторону поэта.

— С вашей стороны это скорей великодушно, чем справедливо,— сказал поэт,— и хотя я терпеть не могу дурно говорить о чужих произведениях и никогда этого не делаю и не стану делать, но следует отдать должное и актерам: что мог бы сделать сам Бут или Беттертон из такой мерзкой дряни, как «Мариамна» Фентона *, «Филотас» Фрауда или «Евридика» Маллета? Или из того пошлого и грязного предсмертного хрипа, который какой-то молодчик из города Уоппинга, что ли,— ваш Дилло или Лилло *, как его там звали,— именовал трагедиями?

— Прекрасно! — говорит актер.— А скажите на милость, что вы думаете о таких господах, как Квин и Дилен *, или этот щенок и кривляка Сиббер, или этот уродина Маклин, или эта заносчивая потаскуха миссис Клайв *? Что путного сделали б они из ваших Шекспиров, Отвеев и Ли? Как сходили бы с их языка гармонические строки этого последнего:

...Довольно: мне презренны,
Когда ты рядом, шум и блеск двора.
Они да будут далеки от нас,
От нас, чьи души добрый жребий вел
Иным путем. Подобны вольным птицам.
Мы станем жить, забыв свой род и племя;
В луга и рощи, в гроты полетим
И будем в нежном шепоте друг с другом
Обмениваться душами — и пить
Кристальную струю, вкушать плоды
Хозяйки осени. Когда же вечер
С улыбкой золотой кивнет: «Пора!» —
В гнездо родное возвращаться будем
И мирно спать до утренней зари.

Или во что обратился бы этот гневный возглас Отвея:

...Кто захочет быть
Той тварью, что зовется человеком?

— Стойте, стойте! — сказал поэт.— Прочтите лучше ту нежную речь в третьем акте моей пьесы, в которой вы были так блистательны!

— С удовольствием бы,— отвечал актер,— но я ее забыл.

— Да, когда вы ее играли, вы еще не достигли достаточного совершенства,— воскликнул поэт,— а то бы вы стяжали такие аплодисменты, каких еще не знавала сцена. О, как мне было жаль вас, когда вы их лишились!

— Право,— говорит актер,— насколько я помню, этому монологу свистали сильнее, чем всему остальному в пьесе.

— Да, свистали тому, как вы его произнесли,— сказал поэт.

— Как я произнес! — сказал актер.

— То есть тому, что вы его не произносите,— сказал поэт,— вы ушли со сцены, и тут поднялся свист.

— Поднялся свист, и тут я вышел, насколько я помню,— ответил актер,— и могу, не хвастаясь, сказать вам: вся публика признала, что я отдал должное роли; так что не относите провал вашей пьесы на мой счет.

— Не знаю, что вы разумеете под провалом,—ответил поэт.

— Но вы же знаете, что она игралась один только вечер! — вскричал актер.

— Да,— сказал поэт,— вы и весь город преследовали меня враждой; партер был полон моих врагов, мерзавцев, которые перерезали бы мне горло, если б их не удерживал страх перед виселицей. Все портные, сэр, все портные!

— С чего бы это портным так на вас взъяриться? — восклицает актер.— Не у всех же у них, надеюсь, вы шили себе платье?

— Принимаю вашу остроту,— ответил поэт,— но вы помните, как все было, не хуже меня самого; и вы знаете, что в партере и на верхней галерее засели те, кто отнюдь не желал, чтобы пьесу мою продолжали давать на театре, хотя многие, огромное большинство — в частности, все ложи,— очень этого хотели, да и большинство дам клялось, что их ноги не будет в театре, покуда мою пьесу не сыграют еще раз... И я должен признать, эти люди держались правильной политики, когда не допускали, чтобы пьеса дана была вторично: негодяи знали, что пройди она во второй раз, она пройдет и в пятидесятый; если когда-либо трагедия передавала отчаянье... я не питаю пристрастия к собственному произведению, но если бы я сказал вам, что говорили о нем лучшие судьи... Однако не из-за одних только врагов моих она не имела того успеха на театре, какой получила она потом среди утонченных читателей, ибо вы не можете утверждать, что исполнители отдали ей должное.

— Я думаю,— отвечал актер,— они отдали должное всему заключенному в ней отчаянью: ибо мы поистине были в отчаянье, когда в последнем акте нас забросали апельсинами; нам всем казалось, что он станет последним актом нашей жизни.

Поэт, вскипев яростью, приготовился ответить, когда спору их положило конец одно происшествие; и если читателю не терпится узнать, какое именно, то придется ему перескочить через следующую главу, являющую собой в некотором роде

противоположность этой и содержащую, может быть, нечто самое прекрасное и торжественное во всей книге, а именно — беседу между пастором Абраамом Адамсом и мистером Джозефом Эндрусом.

ГЛАВА XI,

содержащая увещания пастора Адамса, обращенные к его убитому горем другу; написана в целях наставления и усовершенствования читателя

Не успел Джозеф вполне прийти в себя и увидеть, что возлюбленной нет, как скорбь его о ее утрате излилась в стенаниях, которые пронзили бы всякое сердце, кроме лишь такого, что сделано из состава, по твердости и прочим свойствам весьма похожего на кремень: ибо вы можете высекать из него огонь, который брызнет искрами из глаз, но из глаз этих не выльется ни капли влаги. Однако у бедного юноши сердце было из более мягкого состава, и при словах: «О моя дорогая Фанни! О моя любовь! Неужели я никогда, никогда больше не увижу тебя!» — его глаза наводнились слезами, которые приличны были бы кому угодно, только не герою. Словом, его отчаяние было таково, что легче его вообразить, чем описывать...

Мистер Адамс, сидевший к Джозефу спиною, после долгих его сетований повел в скорбном духе такую речь:

— Не думай, мое дорогое дитя, что я всецело порицаю эти первые муки твоего горя: ибо когда невзгоды поражают нас внезапно, чтобы им противиться, нужно обладать неизмеримо большими знаниями, чем обладаешь ты; однако человеку и христианину подобает призывать себе на помощь рассудительность, и она тотчас научит его терпению и покорности. А потому, утешься, дитя мое, говорю тебе, утешься! Правда, ты потерял самую красивую, самую добрую, прелестную и милую молодую женщину, ту, с кем ты, быть может, располагал жить в счастье, целомудрии и чистоте, ту, от кого, быть может, ты льстил себя надеждою иметь много милых крошек, которые стали бы вашей радостью в молодые ваши лета и утешением в старости. Ты ее не только утратил, но у тебя есть основания опасаться грубой обиды, какую могут учинить над нею похоть и сила. Следственно, тебе легко вообразить всяческие ужасы и прийти в отчаянье.

— О, я сойду с ума! — воскликнул Джозеф.— О, если бы я только мог высвободить руки, я бы вырвал себе глаза и разодрал свое тело!

— Если ты хочешь воспользоваться руками в таких целях, то я рад, что ты связан,— ответил Адамс.— Я изобразил твои несчастья так сильно, как только мог; но, с другой стороны, ты

должен подумать и о том, что ты христианин, что ничто не свершается с нами без попущенья божьего и что долг человека, а тем паче христианина — смиряться. Мы не сами себя создали; и та сила, что создала нас, управляет и располагает нами по воле своей. Творец наш делает с нами, что ему угодно, и мы не вправе сетовать. Второе основание, почему не должны мы сетовать,— наше невежество: ибо, как мы не знаем будущих событий, так равно не можем и сказать, к какой цели клонится то или иное происшествие; и то, что поначалу грозит нам злом, может в конце пойти нам на благо. Я должен бы в сущности сказать, что мы невежественны вдвойне (только сейчас у меня нет времени как следует это разъяснить), ибо, как мы не знаем, к какой цели направлено в конечном счете то или иное происшествие,— так равно не можем с уверенностью сказать, какой причиной оно изначально порождено. Ты — человек, и следовательно — грешник; и, может быть, это тебе послано в наказание за твои грехи; в таком смысле это воистину может быть почтено за благо для тебя,— да, за величайшее благо, довлеющее гневу небесному и предотвращающее ярость, которая неизбежно ввергла бы нас в гибель. В-третьих, наше бессилие помочь самим себе служит доказательством безрассудства и бессмысленности наших сетований: ибо кому противимся мы или на кого мы сетуем, если не на ту силу, от чьих стрел не охранят нас никакие доспехи, не даст убежать никакая быстрота. На ту силу, которая не оставляет нам иной надежды, помимо смирения.

— О сэр! — воскликнул Джозеф.— Все это очень верно и очень хорошо, и я мог бы слушать вас до вечера, когда бы не было у меня такого горя на сердце, как сейчас.

— Разве стал бы ты,— говорит Адамс,— принимать лекарство, когда ты здоров, и отказываться от него, когда болен? Разве мы подаем утешение не угнетенному горем, а тем, кто радуется, или тем, кто в покое?

— Да вы же не сказали мне еще ни слова утешения! — возразил Джозеф.

— Не сказал? — вскричал Адамс.— А что же я делаю? Что могу я сказать тебе в утешение?

— О, скажите мне,— взмолился Джозеф,— что Фанни вернется в мои объятия, что я вновь обниму это милое создание во всей его прелести, во всей незапятнанной чистоте.

— Что ж, может быть,— воскликнул Адамс,— но я не могу обещать тебе ничего на будущее. Ты должен с полной покорностью ждать событий; когда будет она тебе возвращена, твой долг — благодарить небо; и в том же он, когда не будет. Джозеф, если ты мудр и поистине знаешь собственную свою выгоду, ты мирно и спокойно подчинишься всем вершениям промысла господня, в полной уверенности, что все несчастья, посылаемые праведному, как бы ни были они велики, посылаются ради его же блага. Да не только собственная твоя выгода, но и долг твой

велит тебе воздержаться от неумеренного горя, поддаваясь которому ты не достоин имени христианина.

Он проговорил последние слова несколько более строго, чем обычно. Тогда Джозеф попросил пастора не гневаться, говоря, что тот ошибается, если предполагает в нем отрицание своего долга: нет, он издавна знает свой долг!

— Чего стоит твое знание долга, если ты его не выполняешь? — ответил Адамс.— Знание твое только усугубляет вину... Ох, Джозеф, я никогда не полагал в тебе такого упрямства.

Джозеф ответил, что пастор, видимо, неправильно понял его:

— Уверяю вас,— сказал он,— вы ошибаетесь, если думаете, что я нарочно стараюсь горевать; клянусь душой своей, нет!

Адамс упрекнул его за клятву и пустился снова в рассуждения о неразумии горести, указывая Джозефу, что все мудрецы и философы, будь они даже язычники, писали против нее; он привел ряд выдержек из Сенеки и из «Утешения» *, которое, хоть и не принадлежит перу Цицерона, почти не уступает, сказал он, любому из его произведений; и заключил замечанием, что неумеренная скорбь может прогиевить ту силу, которая одна лишь властна вернуть ему Фанни.

Этот довод — или, скорее, порожденная им мысль о возможности возвращения любимой — возымел больше действия, чем все сказанное пастором раньше, и на минуту унял мучения Джозефа; но когда страхи достаточно ясно нарисовали его взору опасность, нависшую над несчастной Фанни, горе овладело им с удвоенной яростью, и Адамс ни в малой мере не мог его смягчить; хотя заметим в пользу пастора, что и сам Сократ едва ли достиг бы здесь большего успеха.

Они приумолкли на время, у обоих вырывались только стоны и вздохи; наконец, Джозеф разразился следующим монологом:

Да! Буду скорбь мою нести, как муж,
Но должно мне и чувствовать, как мужу.
Мне не забыть, что было это все —
И было мне так дорого!..

Адамс спросил у него, что он такое декламирует. Джозеф ответил, что это строки из одной пьесы, которые ему запомнились.

— Эх, пьесы могут научить только язычеству! — сказал Адамс.— Кроме «Катона» и «Совестливых влюбленных» *, я не слыхивал ни о единой пьесе, достойной, чтоб ее читал христианин. Зато во второй из них, сознаюсь, есть места, почти достаточно торжественные для проповеди...

Теперь, однако, мы оставим их на время и разузнаем о той, которая являлась предметом их беседы.

ГЛАВА XII

Еще приключения, которые, надеемся мы, не только удивят, но и порадуют читателя

Ни забавный диалог, происходивший между поэтом и актером, ни важные и поистине возвышенные речи мистера Адамса, как мы полагаем, не вознаградят достаточно читателя за его беспокойство о несчастной Фанни, которую он оставил в таком плачевном положении. Поэтому мы приступим теперь к рассказу о том, что случилось с этой прекрасной и невинной девой после того, как попала она в недобрые руки капитана.

Сей служитель Марса, умчав свою прелестную добычу из гостиницы незадолго до рассвета, со всей доступной ему быстротой поспешил к дому сквайра, где нежному созданию предстояло быть принесенным в жертву сластолюбию насильника. В дороге он был не только глух ко всем ее жалобам и мольбам, но еще изливал ей в уши непристойности, настолько непривычные для ее слуха, что девушка, на свое счастье, почти не понимала их. Наконец, капитан изменил тон и попробовал успокоить ее и прельстить, расписывая ей блеск и роскошь, какие доставит ей мужчина, который и склонен и властен дать ей все, чего она пожелает; он также выразил уверенность, что вскоре она начнет смотреть благосклоннее и на него, виновника этого счастья, и забудет того жалкого человека, полюбить которого она могла лишь по своему неведению. Она ответила, что ей невдомек, о ком он говорит: никогда она не любила никакого «жалкого человека».

— Вас задело, сударыня,— говорит он,— что я его так назвал. Но что лучшего можно сказать о человеке в ливрее, невзирая на всю вашу склонность к нему?

Она ответила, что не понимает его, что тот человек был слугой в одном с нею доме, и, насколько ей известно, вполне честным; а что до склонности к мужчинам...

— Ручаюсь вам,— вскричал капитан,— мы найдем способы, которые научат вас склоняться; и я советую вам покориться добром, потому что, можете не сомневаться, не в вашей власти, сколько бы вы ни противились, сохранить свою девственность еще хоть на два часа. Вам выгоднее согласиться: сквайр будет много любезнее к вам, если насладится вами по доброй вашей воле, а не насильственно.

При этих его словах Фанни начала громко звать на помощь (было уже совсем светло); но так как никто не откликнулся, она возвела глаза к небу и стала молить, чтобы сила небесная помогла ей сохранить невинность. Капитан ей сказал, что если она не перестанет визжать, то он найдет способ заткнуть ей глотку. Тогда несчастная, не видя надежды на помощь, предалась отчаянью: «Джозеф! Джозеф!» — вздыхала она, и слезы

рекой катились по милым ее щекам, увлажняя косынку, покрывавшую ей грудь. На дороге показался всадник, и тут капитан крепко пригрозил ей, чтоб она не смела жаловаться; однако в то мгновение, как незнакомец поровнялся с ней, она стала убедительно просить его вызволить несчастное создание из рук насильника. Всадник при этих словах остановил своего коня, но капитан стал уверять его, что это его жена и что он ее везет домой от ее любовника; незнакомцу, человеку пожилому (а может быть, к тому же и женатому), объяснение показалось столь вразумительным, что он пожелал капитану счастливого пути и поскакал дальше. Едва дав ему удалиться, капитан принялся крепко ругать девицу за то, что она преступает его приказания, и пригрозил ей кляпом, но тут прямо перед ними выехали на дорогу еще два всадника, вооруженные пистолетами. Один при этом сказал другому:

— А хороша девчонка, Джек! Кто бы ни был этот парень, хотел бы я быть на его месте.

Но другой с жаром воскликнул:

— Фью! Да я же ее знаю! — и, обратившись к ней, сказал: — Никак вы Фанни Гудвил?

— Да, да, это я! — закричала она.— Ох, Джон, теперь я вас узнала... Небо вас послало мне на помощь, чтобы вырвать меня из рук дурного человека, который увозит меня для своих подлых целей... О, ради бога, спасите меня от него!

Тотчас завязался ожесточенный спор между капитаном и теми двумя; и так как они были при пистолетах, да и коляска, которую они сопровождали, теперь тоже подъехала, капитан сообразил, что ни сила, ни хитрость ему не помогут, и попробовал обратиться в бегство, в чем, однако, он не преуспел. Джентльмен, ехавший в коляске, приказал остановить лошадей и с видом судьи стал вникать в обстоятельства дела; и когда Фанни изложила их, а парень, знавший ее, подтвердил, что ей можно верить, он приказал, чтобы капитана, который весь был в крови после сражения в гостинице, повели за его коляской в качестве пленника, девице же весьма учтиво предложил сесть рядом с ним в коляску: ибо, сказать по правде, этот джентльмен (а был он не кто иной, как небезызвестный мистер Питер Паунс, опередивший леди Буби всего лишь на несколько миль, так как выехал в то же утро, но немного пораньше) был отменно галантен и любил хорошеньких женщин больше всего на свете, за исключением денег — собственных и чужих.

Коляска уже приближалась к гостинице, которая, как известно было Фанни, лежала на их пути и куда она прибыла в то самое время, когда поэт и актер вели свой спор внизу, а мистер Адамс и Джозеф беседовали спина к спине наверху; как раз в ту минуту, до которой мы довели тех и других в двух предшествующих главах, коляска остановилась у входа, и Фанни, выпрыгнув из нее, мгновенно побежала к Джозефу. О читатель,

вообрази, если можешь, радость, загоревшуюся в груди наших любовников при этой встрече, и если сердце твое бессильно помочь твоему воображению, я искренне тебя сожалею всем своим собственным сердцем: ибо да узнает жестокосердный негодяй, что в нежном сочувствии заключается услада превыше всех, какие сам он способен вкушать!

Питер, узнав от Фанни о присутствии здесь Адамса, отправился наверх навестить его и принять от него дань уважения: поскольку Питер был лицемером — порода людей, в которой Адамс никогда не умел разобраться,— то последний воздавал его кажущейся доброте эту дань, которую первый относил к своему богатству; поэтому мистер Адамс был у Паунса в таком фаворе, что однажды он, спасая пастора от тюрьмы, одолжил ему четыре фунта тринадцать шиллингов шесть пенсов только лишь под расписку и честное слово, каковыми Паунс едва ли мог как-нибудь воспользоваться, если бы деньги не были своевременно возвращены (пастор, однако, вернул их точно в срок).

Нелегко, пожалуй, описать сейчас фигуру Адамса: он ночью встал с кровати в такой страшной спешке, что был без штанов и без чулок и не снял он еще с головы красного в крапинку платка, которым на сон грядущий прикрутил к голове вывернутый наизнанку парик. На нем была разодранная ряса и полукафтанье, но, как висели из-под этого полукафтанья останки рясы, так из-под рясы выглядывала узкая полоса белой, или, верней, беловатой, рубахи; к этому добавьте несколько разных красок, сочетавшихся на его лице: длинная, в подпалинах мочи борода послужила к удержанию жидкости из каменного сосуда и другой — почернее, натекшей с тряпки... Как только эта фигура, освобожденная милой Фанни от уз, явилась взору Питера, степенная важность мускулов его лица нарушилась; однако он тут же посоветовал пастору обчиститься и не стал принимать от него дань уважения, покуда он не приведет себя в должный вид.

Поэт и актер, увидев капитана в положении узника, сразу же помыслили, как им обеспечить собственную безопасность, единственным средством к чему им представилось бегство; поэтому они взгромоздились вдвоем на лошадь поэта и начали отступление со всею доступной им быстротой.

Хозяин гостиницы, хорошо знавший мистера Паунса и ливрею леди Буби, был немало смущен этой переменой картины, и его смущение отнюдь не рассеялось, когда его супруга, поднявшись только что с постели и выслушав от него отчет о происшедшем, не скупясь надавала ему «дураков» и «болванов», спросила затем, почему он с ней не посоветовался, и сказала, что он, как видно, не перестанет следовать идиотским указаниям своей пустой башки, покуда не доведет до разорения жену и детей.

Джозеф, услыхав о прибытии капитана и видя, что Фанни

в безопасности, оставил ее на короткое время, сбежал с лестницы, подошел прямо к обидчику, скинул кафтан и вызвал его на бой; но капитан отклонил вызов, говоря, что кулачного боя он не признает. Тогда Джозеф взял в правую руку дубинку и, левой рукой схватив капитана за шиворот, жестоко его оттузил, в заключение сказав, что получил теперь частичное удовлетворение за то, что вытерпела его дорогая Фанни.

Когда мистер Паунс немного подкрепился провиантом, который был у него в коляске, а мистер Адамс придал себе наилучший вид, какой возможен был при его одежде, Паунс приказал привести к нему капитана: ибо, сказал он, тот совершил уголовное преступление и ближайший мировой судья засадил его в тюрьму; но слуги (чья жажда мести быстро утоляется), вполне удовлетворенные расправой, которую учинил над капитаном Джозеф и которая, надо сказать, была не слишком милостивой, позволили ему заблаговременно удалиться, что он и сделал, пригрозив суровым мщением Джозефу; однако я не слышал, чтобы он когда-либо почел удобным привести свою угрозу в исполнение.

Хозяйка дома по собственному почину предстала пред лицо мистера Паунса и с бесчисленными приседаниями сказала ему, что его честь, как она надеется, простит ее неразумному мужу ради его семейства; правда, говорила она, если бы можно было погубить его одного, то она бы с радостью на это согласилась, а спросят, почему, так его милости хорошо известно, что муж ее того заслуживает; но у нее трое малых детей, которые не могут сами заботиться о своем пропитании; и ежели ее мужа отправят в тюрьму, то им всем придется жить на средства прихода, потому что она, бедная, слабая женщина, только и знает, что носить детей, а работать на них ей и вовсе некогда. Так что, она надеется, его честь примет это в свое милостивое соображение и простит на этот раз ее супруга; он никогда не замышлял зла ни на кого, будь то мужчина, женщина или ребенок, и если б не дурья его голова, то в остальном он мужчина хоть куда: она за неполных три года родила от него троих детей и вот-вот должна разрешиться четвертым.

Она бы долго еще продолжала в том же роде, когда бы Питер не остановил ее, заявив, что ничего не имеет ни против ее мужа, ни против ее самой. И когда Адамс и другие разъяснили ей, что все прощено, она со слезами и приседаниями вышла из комнаты.

Мистер Паунс хотел, чтобы Фанни продолжала путешествие в его коляске; но она наотрез отказалась, заявив, что поедет с Джозефом на лошади, которую ему предоставляет один из слуг леди Буби. Но увы! Когда лошадь привели, она оказалась не чем иным, как тем самым скакуном, которого мистер Адамс оставил в гостинице и которого эти добрые люди, зная пастора, выкупили за него у хозяина. Впрочем, какого бы коня ни пред

ложили Джозефу, его не убедили бы сесть в седло — даже и с тем, чтобы ехать с его возлюбленною Фанни,— покуда не достали бы коня и для пастора; а тем более не стал бы он лишать своего друга его же собственной лошади, которую он узнал с первого взгляда, хоть Адамс и не узнал; однако, когда пастору напомнили, как было дело, и сказали, что привели лошадь, оставленную им в пути, он ответил: «Смотри-ка! Ведь я и впрямь ее там оставил!»

Адамс настаивал, чтобы Джозеф с Фанни поехали верхом на этой лошади, и объявил, что сам он охотно дойдет до дому пешком.

— Если бы мне идти одному,— сказал он,— то я поставил бы шиллинг за то, что пешеход обгонит конных путешественников; но так как я намерен взять себе в спутники трубку, то возможно, что я прибуду часом позже.

Один из слуг шепнул Джозефу, чтобы он поймал пастора на слове и предоставил старику идти пешком, коли ему так угодно. На это предложение Джозеф ответил гневным взглядом и непреложным отказом; подхватив свою Фанни на руки, он твердо сказал, что скорее пронесет ее так всю дорогу, чем, отобрав лошадь у мистера Адамса, позволит ему идти пешком.

Может быть, читатель, ты видел, как быстро разрешался спор двух джентльменов или двух леди, когда оба, или обе, уверяли, что не станут кушать этот лакомый кусочек, настаивая, каждый или каждая, на принятии его другим,— хотя в действительности каждому очень хотелось проглотить его самому. Но не заключай отсюда, что и этот спор пришел бы к быстрому разрешению: ибо здесь обе стороны настаивали искренне, и очень возможно, что они и по сей день стояли бы так и спорили во дворе гостиницы, если бы добрый Питер Паунс не примирил их: убедившись, что у него не остается надежды на благосклонность Фанни, которая давно дразнила его аппетит, и желая иметь около себя кого-нибудь, пред кем он мог похвалиться своим величием, он сказал пастору, что подвезет его до дому в своей коляске. Это одолжение было принято Адамсом с бесчисленными поклонами и изъявлениями признательности, хотя впоследствии он и говорил, что сел в коляску «больше для того, чтоб не было обиды, чем из желания ехать в ней, так как в душе предпочитает пешую ходьбу даже езде в экипаже». Вопрос таким образом разрешился, коляска с Адамсом и Паунсом тронулась, а Фанни уже уселась на подушку двойного седла, данного Джозефу на подержание хозяином гостиницы, и ухватилась за кушак, которым ее возлюбленный нарочно для того опоясался, но умное животное, подумав, что двое — чет, а трое — нечет, что там, где двое,— третий лишний и так далее, нашло свою двойную ношу весьма неудобной и, перебирая задними ногами, как передними, стало двигаться не вперед, а в прямо противоположном направлении. Даже и Джозеф, при

всем своем искусстве наездника, не мог убедить лошадку пойти, как надо: не питая никакого почтения к прелестной части тела прелестнейшей девушки, сидевшей у нее на крупе, она выкидывала такие штуки, что, не подоспей на помощь один из слуг, Фанни, попросту говоря, шлепнулась бы наземь. Затруднение было быстро разрешено посредством обмена коней; и когда Фанни снова посадили в седло с подушкой, водруженное на более благонравное и лучше откормленное животное, лошадь пастора, найдя, что с четом и нечетом все теперь в порядке, согласилась двинуться вперед; и вся процессия потянулась в Буби-холл, куда и прибыла через несколько часов спустя, причем дорогой не произошло ничего примечательного, если не считать любопытного диалога между пастором и управляющим, который, говоря языком одного небезызвестного апологета *, образца для всех биографов, «дожидается читателя в следующей главе».

ГЛАВА XIII

Любопытный диалог, имевший место между мистером Абраамом Адамсом и мистером Питером Паунсом и более достойный прочтения, чем все труды Колли Сиббера и многих других

Вскоре после того как коляска тронулась в путь, мистер Адамс заметил, что погода стоит прекрасная.

— Да, и местность тоже прекрасная,— ответил Паунс.

— Я думал бы так же,— возразил Адамс,— не приведись мне недавно в моем путешествии пересечь холмы, где виды, по-моему, превосходят красотою и этот и всякий другой на свете.

— Виды — вздор,— ответил Паунс,— здесь один акр земли стоит десяти тамошних; и спросить меня, так мне не доставляют удовольствия виды ни на какую землю, кроме как вид на мою собственную.

— Сэр,— сказал Адамс,— вы можете ублажать себя не одним прекрасным видом этого рода.

— Да, слава богу, у меня кое-что имеется,— ответил тот,— и я довольствуюсь этим и не завидую никому; я кое-что имею, мистер Адамс, и от своего имения делаю столько добра, сколько могу.

Адамс ответил, что богатство без милосердия ничего не стоит: оно только тем приносит добро, кто делает добро другим.

— У нас с вами,— сказал Питер,— разные понятия о милосердии. Признаться, в том смысле, как оно обычно употребляется, я это слово недолюбливаю; по-моему, милосердие нам, джентльменам, не к лицу: это чисто пасторское свойство, хотя я не стану утверждать, что и пасторы-то всегда обладают им.

— Сэр,— сказал Адамс,— я определяю милосердие как великодушную наклонность давать облегчение страждущим.

— Такое определение,— ответил Питер,— мне, пожалуй, по вкусу: милосердие, как вы сказали, наклонность, да... и состоит не столько в деяниях, как в наклонности к ним. Но, увы, мистер Адамс, кого разуметь под страждущими? Поверьте мне, люди страдают по большей части от воображаемых горестей; и, давая им облегчение, мы иной раз проявляем больше глупости, чем доброты.

— Но подумайте, сэр,— возразил Адамс,— ведь голод и жажду, холод и наготу, и другие горести, гнетущие бедняков, никак нельзя назвать воображаемым злом.

— Как может кто-нибудь жаловаться на голод,— молвил Питер,— в стране, где чуть ли ни в каждом поле можно набрать такой превосходной зелени на салат? Или о жажде, где каждая речка и ручеек доставляют такое сладостное питье? А что до холода и наготы, то это зло порождается роскошью и обычаем. Человек по природе своей не более нуждается в одежде, чем лошадь или другое животное, и есть целые народы, обходящиеся без одежды; но это все, пожалуй, такие вещи, которые вам, не знающему света...

— Извините меня, сэр,— перебил Адамс,— я читал о гимнософистах *.

— Чума на них, на ваших гиблососвистов,— вскричал Питер,— самая большая ошибка в нашей конституции — это попечение о бедных, не считая, пожалуй, попечения кое о ком еще. Сэр, я с каждого своего владения выплачиваю на бедных почти столько же, сколько взимается с меня земельного налога; и, уверяю вас, я чаю сам в конце концов попасть в иждивенцы своего прихода.

Адамс на это лишь недоверчиво улыбнулся, а Питер продолжал так:

— Сдается мне, мистер Адамс, вы из тех, кто думает, будто у меня уймища денег; многие, сдается мне, воображают, что у меня не только что набиты карманы, а и вся одежда подбита кредитными билетами; но, уверяю вас, вы все ошибаетесь: я не тот человек, за какого меня принимают. Если я свожу концы с концами, так и на том спасибо. Я понес большие убытки на покупках. Слишком неосмотрительно раздавал деньги. Сказать по правде, я боюсь, что мой наследник найдет дела мои в худшем состоянии, чем о них говорит молва. Да, да, ради него мне бы следовало побольше любить деньги и поменьше землю. Ну, скажите на милость, любезный мой сосед, откуда бы взяться у меня такому богатству, какое мне так щедро приписывает свет? Как бы я мог, не воруя, приобрести такие сокровища?

— В самом деле,— говорит Адамс,— я был всегда того же мнения: я, как и вы, дивился, откуда берется у людей эта уверенность, когда они утверждают о вас такие вещи, которые мне

представляются просто невозможными, потому что, как вы знаете, сэр, и как я часто слышал от вас же, вы сами приобрели свое состояние; но можно ли поверить, что вы за вашу короткую жизнь накопили такую кучу богатств, какую числит за вами молва? Вот ежели бы вы унаследовали земли, как сэр Томас Буби,— земли, переходившие в вашем роду из поколения в поколение, от отца к сыну,— вот тогда бы люди еще могли утверждать это с бо́льшим основанием.

— Ну, а во сколько же ценят мое состояние? — воскликнул Питер с лукавой усмешкой.

— Сэр,— ответил Адамс,— иные утверждают, что у вас не менее как двадцать тысяч.

Питер насупился.

— Да нет же, сэр,— сказал Адамс,— вы ведь только спросили, как думают другие; я со своей стороны всегда это отрицал, я никогда не полагал ваше состояние и вполовину этой суммы.

— Однако, мистер Адамс,— сказал Питер, стиснув его руку,— я бы им не продал всего, чем я располагаю, и за двойную сумму против этой, а что думаете вы или что думают они, я на это наплевал и начхал. Я не обеднею оттого, что вы меня почтете бедняком или попробуете расславить по всей округе, будто я беднее, чем я есть. Я хорошо знаю, как склонны люди к зависти; но я, благодарение богу, выше их. Это верно, что я сам приобрел свое богатство. У меня нет наследственного поместья, как у сэра Томаса Буби, которое переходило бы в моем роду от отца к сыну; но я знаю таких наследников поместий, которые вынуждены путешествовать пешком по стране, как иные бедняки в разодранной рясе, и были бы, вероятно, рады получить какой-нибудь жалкий приходишко. Да, сэр, это все такие же обтрепанные господа, как вы сами; и ни один человек в моем положении, не страдай он, как я, пороком благодушия, не посадил бы их с собой в коляску.

— Сэр,— сказал Адамс,— я ни в грош не ставлю вашу коляску; и, если бы я знал, что вы намерены меня оскорблять, я бы скорее пошел пешком на край света, чем согласился бы сесть в нее. Однако, сэр, я сейчас же избавлю вас от неудобства!

С этим словом он отворил дверцу коляски и, не крикнув даже кучеру, чтобы тот придержал лошадей, выскочил прямо на дорогу, причем забыл захватить свою шляпу, которую, впрочем, мистер Паунс с яростью швырнул ему вслед. Джозеф и Фанни тут же спешились, чтобы пройти вместе с пастором последний кусок пути, составлявший не более мили.

Конец третьей книги

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 1

Прибытие леди Буби и всех остальных в Буби-холл

Карета шестерней, в которой сидела леди Буби, догнала прочих путешественников на въезде в приход. Едва леди увидела Джозефа, щеки ее зарделись румянцем и стали тотчас мертвенно бледны. От неожиданности она едва не остановила карету, но во-время опомнилась и не сделала этого. Она въехала в приход под колокольный звон и приветственные возгласы бедняков, радовавшихся возвращению своей покровительницы после столь долгого отсутствия, во время которого все ее доходы уплывали в Лондон и ни шиллинга не перепадало им, что немало способствовало их крайнему обнищанию. Если в таком городе, как Лондон, жестоко дает себя знать отбытие двора, то насколько же болезненней должен ощущаться отъезд богатых владельцев в захолустной деревеньке, обитатели которой постоянно находят в такой семье работу и пропитание, а крохами от ее стола обильно кормятся немощные, престарелые и дети бедноты со всего прихода, причем щедрость благодетеля нисколько не отражается на его кармаиах.

Но если предвкушение выгоды зажигало все лица такой откровенной радостью, насколько же сильнее действовала любовь, внушаемая пастором Адамсом, на всех, кто был свидетелем его возвращения! Прихожане толпились вокруг него, как почтительные дети вокруг доброго отца, и наперебой старались выказать ему почтение и любовь. Пастор со своей стороны пожимал каждому руку, сердечно расспрашивал о здоровье отсутствовавших, об их детях и родственниках, и лицо его выражало удовлетворение, какое может дать только доброта, осчастливленная благодарностью.

Джозефа и Фанни тоже от души приветствовали все, кто их видел. Словом сказать, никогда три человека не могли бы встретить более радушного приема, как поистине никто никогда не заслуживал в большей мере всеобщей любви.

Адамс повел своих спутников к себе домой и настоял, чтоб они с ним разделили все, чем могла его угостить жена, которую он, как и детей своих, нашел в добром здоровье и радости. Оставим же их там наслаждаться полным счастьем за скромной трапезой и взглянем на картины большего великолепия, но неизмеримо меньшего блаженства.

Проницательные наши читатели при этом вторичном появлении на сцене леди Буби, несомненно, заподозрили, что с увольнением Джозефа для нее не все еще окончилось; и, честно говоря, они не ошибаются, стрела проникла глубже, чем думала леди, и рана не так-то легко поддавалась лечению. Устранение героя вскоре охладило ярость, но возымело совсем иное действие на любовь: первая сошла со сцены вместе со своим виновником, вторая же — вместе с образом его — притаилась в глубине души. Беспокойный, прерывистый сон и смутные мерзкие видения достались в удел леди в ту первую ночь. К утру воображение нарисовало ей более приятную картину, но лишь для обмана, не для услады: ибо еще до того, как леди успела достичь обещанного счастья, все исчезло, и она осталась в одиночестве, не благословляя, а кляня свое видение.

Когда она встала от сна, ее воображение было еще разгорячено ночным призраком, и тут взгляд ее случайно скользнул по тому месту, где стоял накануне настоящий Джозеф. Это маленькое обстоятельство воссоздало в ее памяти образ его в живейших красках. Каждый взгляд, каждое слово, каждый жест вторгались в душу, и вся его холодность не могла умалить их очарования. Леди приписывала ее молодости Джозефа, его неразумию, страху, благочестию, чему угодно, но только не тому, что тотчас вызвало бы в ней презрение,— то есть отсутствию пристрастия к женскому полу, и не тому, что возбудило бы в ней ненависть,— то есть отсутствию влечения лично к ней.

Затем размышление увлекло ее дальше и сказало ей, что она не увидит больше прекрасного юношу; хуже того — что она сама его прогнала и, может быть, за ту лишь провинность, что он чрезмерно чтил и уважал ее, тогда как ей следовало бы скорее поставить ему в заслугу эти чувства, тем более что их можно было, конечно, легко устранить. И она винилась, проклинала непомерную горячность своего нрава; вся ярость ее обратилась на себя самое, и Джозеф предстал в ее глазах невинным. Страсть ее, наконец, стала так неистова, что принудила ее искать утоления, и леди подумывала теперь, не призвать ли Джозефа обратно; но гордость этого не допускала — гордость, изгнавшая вскоре из ее души все более кроткие чувства и представившая ей все ничтожество того, к кому она тянулась. Эта мысль вскоре начала затемнять его прелести; затем пришло пренебрежение, а за ним презрение, которое привело за собой ненависть к виновнику столь сильных тревог. Эти враги Джо-

зефа, едва завладев мыслями леди, тотчас возвели на него тысячу обвинений — обвинений в чем угодно, только не в отвращении к ее особе; мысль эта была столь нестерпима, что леди пресекла ее при первой же попытке возникновения. Теперь на помощь пришла жажда мести; и мысль, что она прогнала юношу, лишив его ливреи и рекомендации, была ей сейчас чрезвычайно приятна. Она упивалась всевозможными бедствиями, какие, как ей подсказывало воображение, могли ему выпасть на долю, и с улыбкой злорадства, гнева и презрения видела его в лохмотьях, надетых на него ее фантазией.

Миссис Слипслоп, призванная звонком, предстала пред госпожой, которая теперь была уверена, что вполне совладала со своею страстью. Одеваясь, миледи спросила, уволен ли уже тот молодчик согласно ее распоряжениям. Слипслоп ответила, что она об этом уже доложила ее милости (как оно и было на деле).

— И как он это принял? — промолвила госпожа.

— Ах, право, сударыня,— воскликнула Слипслоп,— таким манером, что всякий, кто ни смотрел на него, был в аффектации... Бедному мальчику причиталось жалованья совсем мало: он ведь постоянно отсылал половину денег родителям; так что, когда с него сняли ливрею вашей милости, ему не на что было купить себе кафтан, и пришлось бы ему ходить нагишом, если бы один из слуг не снабдил его одеждой; а когда он так стоял в одной рубашке (сказать по правде, ну прямо амурчик!) и ему доложили, что ваша милость отказывают ему в рекомендации, он вздохнул и сказал, что ничем умышленно не оскорбил вас, и что он со своей стороны, куда бы ни попал, будет всегда хорошо о вас отзываться, и что он призывает на вас благословение божие, потому что вы самая добрая госпожа, хотя его враги и очернили его перед вами; мне очень жаль, что вы его прогнали со двора: по моему сужденью, у вас не было в доме более верного слуги.

— Зачем же,— возразила леди,— вы посоветовали мне его прогнать?

— Я, сударыня? — сказала Слипслоп.— Да неужто вы забыли, как я прилагала все старания, чтобы этому помешать? Но я видела, что ваша милость прогневались, а вмешиваться в такие оказии нам, старшим слугам, не фасон.

— Точно не ты сама, дерзкая тварь, заставила меня прогневаться? — вскричала леди.— Точно не твои наговоры, в которых ты, вероятнее всего, оболгала бедного малого, распалили меня против него? За все, что случилось, он может благодарить тебя — как и я за утрату честного слуги, который, может быть, стоил больше всех вас вместе взятых. Бедненький! Я очарована его добротой к родителям. Почему вы мне этого не рассказали раньше и дали мне уволить такого хорошего человека без

рекомендации? Теперь мне понятна причина всего вашего поведения и ваших жалоб тоже: вы ревновали к девчонкам!

— Я? Ревновала? — сказала Слипслоп.— Уж поверьте, я ставлю себя повыше его; надеюсь, я лакею не пара.

Эти слова повергли госпожу в бешеную ярость, и она велела Слипслоп уйти прочь с ее глаз; а та, задрав нос, прокричала на прощанье:

— Извольте радоваться! Тут, кажется, есть кое-кто поревнивей меня!

Госпожа сделала вид, что не расслышала этих слов, хотя на деле и расслышала и поняла их. Последовал новый конфликт, столь похожий на прежний, что подробный отчет о нем превратился бы в повторение. Достаточно будет сказать, что леди Буби нашла все основания усомниться, так ли уж безусловна ее победа над своею страстью, как она себя в том обольщала? И для полноты этой победы она приняла решение, более обыденное, нежели мудрое: немедленно удалиться в деревню. Читатель уже видел прибытие двух ее предвестников: сначала миссис Слипслоп, с которой, несмотря на всю ее дерзость, госпожа не решилась расстаться, потом мистера Паунса, а затем появление самой миледи.

На следующее по приезде утро, в воскресенье, леди отправилась в церковь к великому удивлению всех прихожан, никак не ожидавших увидеть там свою госпожу сразу после долгого пути, тем более что она никогда не отличалась благочестием. Джозеф тоже был в церкви, и, слышал я, было замечено, что леди чаще останавливала глаза на нем, чем на пасторе; но это, мне думается, злостный навет. Когда окончились молитвы, мистер Адамс встал и громким голосом произнес:

— Оглашаю предуведомление о браке между Джозефом Эндрусом и Фрэнсис Гудвил, каковые оба проживают в этом приходе...— и так далее.

Произвело ли это какое-либо впечатление на леди Буби, укрытую в то время от взоров молящихся спинкой своей скамьи, мне так и не удалось дознаться; но известно, что через четверть часа она поднялась, устремила взор на ту часть церкви, где сидели женщины, и неотрывно смотрела в ту сторону до конца проповеди таким испытующим оком и с таким гневным лицом, что женщины почти все убоялись, не прогневили ли они свою госпожу.

Вернувшись домой, она тотчас призвала к себе в спальню Слипслоп и сказала, что ей непонятно, с какой стати этот нахал Джозеф оказался у них в приходе? Слипслоп на это доложила госпоже о том, как она встретила в дороге Адамса вместе с Джозефом, а затем и о приключении с Фанни. В продолжение рассказа леди часто менялась в лице; выслушав до конца, она велела призвать к себе мистера Адамса, а как она повела себя с ним, читатель увидит в следующей главе.

ГЛАВА II

Диалог между мистером Абраамом Адамсом и леди Буби

Мистер Адамс оказался неподалеку: он пил внизу во здравие ее милости кружку ее же эля. Едва он предстал пред миледи, та начала следующим образом:

— Мне странно, сэр, что вы, будучи стольким обязаны этому дому (чем именно, читатель по ходу нашей повести был подробно ознакомлен), забыв о благодарности, оказываете уважение лакею, изгнанному из него за неподобающие дела. Да и не пристало, скажу я вам, сэр, человеку вашего звания шататься по дорогам с каким-то бездельником и какой-то девчонкой. Правда, что касается девушки, то ничего порочащего я о ней не знаю. Слипслоп говорит, что она воспитывалась в моем доме и вела себя, как нужно, пока не увлеклась этим молодым человеком, который ее совращает с пути. Пожалуй даже, она еще может исправиться, если он оставит ее в покое. Поэтому вы совершаете чудовищное дело, устраивая брак между этими двумя людьми,— брак, который погубит их обоих.

— Сударыня,— говорит Адамс,— если вашей милости угодно меня выслушать, разрешите сказать вам, что никогда я не слышал ничего дурного о Джозефе Эндрусе; а если бы слышал, то постарался бы направить его к добру: ибо я никогда не поощрял и не буду поощрять в заблуждениях того, кто вверен моим заботам. Что касается молодой женщины, то уверяю вашу милость, я о ней такого же доброго мнения, как и ваша милость или кто угодно другой. Это самая милонравная, самая честная и достойная девица; что же касается ее красоты, то этого я в ней хвалить не стану, хотя все мужчины признают ее прелестнейшей из женщин нашего прихода, благородных ли взять, или простых.

— Вы очень дерзки,— сказала леди,— если говорите мне о таких гадостях. Священнику куда как подобает тревожиться о прелестных женщинах, и вы, несомненно, способны тонко судить о красоте! Что и говорить, мужчина, проживший всю жизнь в таком приходе, как этот, должен быть редким ценителем красоты! Смешно! Красавица, скажите на милость!.. Деревенская девчонка — красавица!.. Меня стошнит, если я еще раз услышу слово «красота»... Итак, этой девице, видимо, предстоит подарить приходу целое племя красавиц... Но, сэр, у нас и так предовольно бедняков. Я не желаю, чтобы здесь поселились вдобавок еще какие-то бродяги.

— Сударыня,— говорит Адамс,— ваша милость, уверяю вас, обижены на меня без всякого основания. Они уже давно желали сочетаться браком, и я их от этого отговаривал; я даже позволю себе утверждать, что я один причиной их промедлению в этом деле.

— Что же,— сказала она,— вы поступали очень разумно и честно, хоть она и первая красавица на весь приход.

— А теперь, сударыня,— продолжал он,— я только исполняю свою обязанность перед мистером Джозефом.

— Пожалуйста, не называйте при мне таких молодчиков «мистерами»! — вскричала леди.

— Он,— сказал пастор,— заказал мне оглашение открыто и с согласия Фанни.

— Да,— ответила леди,— я знаю, девчонка так и вешается ему на шею. Слипслоп рассказывала мне, как она гоняется за мужчинами,— в этом, я полагаю, одна из ее прелестей. Но если они и надумали пожениться, вы, я надеюсь, не станете делать вторичного оглашения впредь до моего приказа.

— Сударыня,— объявляет Адамс,— если кто-либо сделает обоснованное предостережение и выставит достаточный довод против этого брака, я пресеку оглашения.

— Я приведу вам довод,— говорит она,— он бродяга и не должен селиться здесь и навязывать на шею приходу целое гнездо нищих, хотя бы все они до одного были красавцами.

— Сударыня,— ответил Адамс,— я не хочу перечить вашей милости, но дозвольте сказать вам: адвокат Скаут объяснял мне, что всякий человек, прослужив один год, приобретает право поселения в том приходе, где он служил.

— Адвокат Скаут,— возразила леди,— бессовестный наглец! Я не позволю никаким адвокатам Скаутам чинить мне препоны. Повторяю вам еще раз: я не хочу, чтобы на нас легло новое бремя; поэтому я предлагаю вам прекратить оглашения.

— Сударыня,— возразил Адамс,— я подчинился бы вашей милости во всем, что законно; но, право же, если люди бедны, это не основание против их брака. Бог не допустил бы такого закона. Бедным и так выпадает достаточно скудная доля в этом мире; было бы поистине жестоко отказывать им в простейших правах и в невинных радостях, какие природа предоставила всякой живой твари.

— Если вы,— кричит леди,— не знаете своего места и не понимаете, с каким почтением такой человек, как вы, должен смотреть на такую женщину, как я; если вы позволяете себе оскорблять мой слух распутными речами, то я скажу лишь одно короткое слово: мой вам приказ — не смейте делать больше оглашений, а не то я посоветую вашему господину, приходскому священнику, уволить вас со службы! Да, сэр, я сделаю это, невзирая на ваше несчастное семейство; и тогда, пожалуйста, идите побираться вместе с первой красавицей в приходе!

— Сударыня,— ответил Адамс,— я не знаю, что ваша милость разумеет под словами «господин» и «служба». Я служу господину, который никогда не уволит меня за исполнение моего долга; и если начальство (я, правда, не был никогда в состоя-

нии оплатить лиценциатство) почтет нужным устранить меня от попечения над моей паствой, господь, я надеюсь, предоставит мне другую. Во всяком случае, в моей семье у каждого, как и у меня самого, есть пара рук, и я не сомневаюсь, что господь благословит нас в наших стараниях честно зарабатывать свой хлеб трудом. Доколе совесть моя чиста, я никогда не устрашусь того, что могут сотворить надо мною люди.

— Я кляну себя,— сказала леди,— что по кротости своей унизилась до столь долгого разговора с вами. Придется мне принять другие меры, потому что вы, я вижу, в сговоре с этими людьми. Но чем скорее вы оставите меня, тем будет лучше; и я отдам приказ, чтоб отныне двери мои были для вас закрыты. Я не потерплю, чтобы здесь принимали пасторов, которые шатаются по дорогам с красотками.

— Сударыня,— сказал Адамс,— ни в одном доме я не переступлю порога против желания хозяев; но, я уверен, когда вы более вникнете в дело, вы станете одобрять, а не хулить мои действия. Итак, я смиренно удаляюсь! — что он и сделал, отвесив несколько поклонов, или, вернее, несколько раз попытавшись отвесить поклон.

ГЛАВА III

Что произошло между леди и адвокатом Скаутом

Среди дня леди послала за мистером Скаутом и яростно на него накинулась за то, что он баламутит ее слуг, но он стал это отрицать — в согласии с истиной: он только заметил как-то мимоходом — и, пожалуй, правильно,— что год службы дает право поселения; итак, он повинился, что он мог в свое время разъяснить это пастору; и, насколько ему известно, сказал он, такой закон есть.

— Я решила не допускать,— сказала леди,— чтоб мои уволенные слуги селились здесь у нас; и если таков ваш закон, я приглашу другого адвоката.

Скаут ответил, что, пригласи она хоть сто адвокатов, ни один из них и все они вместе не смогут изменить закон. Самое большее, что доступно адвокату, это помешать законам возыметь действие; а это он и сам может сделать для ее милости не хуже всякого другого.

— Я думаю, сударыня,— говорит он,— ваша милость не уловили различия: я только утверждал, что человек, прослужив год, становится поселенцем. Но есть существенное различие между поселением по закону и поселением фактическим. И когда я утверждал вообще, что человек становится поселенцем, то, поскольку закон предпочтительней факта, мои слова следовало понимать в смысле поселения по закону, а не

фактического. Предположим теперь, сударыня, что мы допускаем законность его поселения: какую пользу могут они отсюда извлечь? Какое это имеет отношение к фактической стороне? Фактически он не поселился; а если он фактически не поселился — он не обитатель; а если он не обитатель, то он не принадлежит к этому приходу,— и тогда, несомненно, не здесь должны делаться оглашения о его браке. Мне мистер Адамс объяснил волю вашей милости и ваше нежелание, вполне основательное, допускать обременение прихода бедняками: у нас их и так слишком много; и, я думаю, следовало бы издать закон, по которому половину из них отправили бы на виселицу или в колонии. Если мы можем с очевидностью доказать, что он не поселился фактически, дело принимает совсем иной оборот. То, что я говорил мистеру Адамсу, предполагало еще и фактическое поселение; и действительно, будь оно тут налицо, я бы сильно колебался, как поступить.

— Довольно с меня ваших «фактических» и ваших «если бы»,— сказала леди,— я не разбираюсь в этой тарабарщине; вы слишком много на себя берете, и очень дерзко с вашей стороны делать вид, будто вы управляете всем приходом; вас еще поставят на место, уверяю вас,— поставят на место. Что касается девчонки, так я решила: она здесь не поселится,— я не позволю всяким красавицам плодить детей и отдавать их нам на иждивение.

— Красавицы! Ну и ну! Ваша милость изволили, конечно, пошутить,— промолвил Скаут.

— Так мне описал ее мистер Адамс,— ответила леди,— скажите, пожалуйста, что это за особа, мистер Скаут?

— Чуть ли не самое уродливое существо, какое только я видел. Жалкая, грязная девка, вашей милости едва ли доводилось когда-либо видеть такую.

— Ну хорошо, дорогой мистер Скаут, пусть она будет чем угодно, но вы же знаете, эти безобразные бабы тоже рожают детей; так что мы должны воспрепятствовать этому браку.

— Поистине так, сударыня,— ответил Скаут,— ибо последующий брак в единодействии с законом превращает закон в факт; и тогда он уже неоспорим. Я повидаюсь с мистером Адамсом, и мне, несомненно, удастся его убедить. Он может выставить, конечно, только то возражение, что он лишается платы за требу; но я уверен, что, когда это будет должным порядком улажено, не останется никаких препятствий. Нет, нет, это невозможно! Но ваша милость не может осуждать его за нежелание упустить гонорар. Каждый должен знать цену своим услугам. Что же касается до самого дела, то, если ваша милость соизволит поручить его мне, я позволю себе пообещать вам успех. Законы этой страны не столь грубы, чтобы разрешить ничтожному бедняку тягаться с владельцами такого состояния, как у

вашей милости. У нас есть одна верная карта: притянуть молодчика к ответу перед судьей Фроликом *, который, как только услышит имя вашей милости, отправит его в тюрьму, не вдаваясь в расспросы. А что касается этой грязной потаскухи, то против нее нам и начинать-то ничего не нужно: раз мы избавимся от молодца, эта уродина сама...

— Принимайте все меры, какие вы найдете нужными, милый мистер Скаут,— ответила леди,— но я хочу избавить приход от них обоих, потому что Слипслоп рассказывает мне такие истории об этой особе, что мне противна всякая мысль о ней; и хотя вы и говорите, что она так дурна собой, но, знаете, мой добрый мистер Скаут, разбитные девчонки, которые сами вешаются мужчинам на шею, всегда найдут среди них охотника; так что если мы не хотим, чтобы нам тут наплодили бедняков, следует избавиться и от нее.

— Ваша милость вполне правы,— ответил Скаут,— но, я боюсь, закон не дает нам для этого достаточной власти. Судья, однако, в угоду вашей милости выжмет из закона все, что будет возможно. Сказать по правде, большое счастье для нашей округи, что Фролик сейчас исправляет эту должность: он уже снял с нас заботы о нескольких бедняках, которых закон никогда не мог бы убрать. Я знаю многих судей, для которых посадить человека в смирительный дом так же нелегко, как лорду судье на сессии присудить к повешенью; но приятно смотреть, как его честь, наш судья, отправляет молодца в смирительный дом; он делает это с таким удовольствием! А когда уж он засадит человека, то потом о нем и слыхом не услышишь: за один месяц либо помрет с голоду, либо заживо сгниет.

Здесь появление нового посетителя положило конец разговору, и мистер Скаут, получив распоряжение вести дело и посулив полный успех, удалился.

Этот Скаут был из господ, которые, не обладая знанием закона, да и не пройдя соответственного обучения, берут на себя смелость, наперекор парламентскому акту, выступать в деревне в роли адвокатов и таковыми именоваться.

Они — проклятие общества и позор для сословия, к которому вовсе и не принадлежат и которое подобным проходимцам обязано той неприязнью, с какой на него смотрят слабые люди. С этим-то человеком, которого леди Буби еще недавно не удостоила бы и двумя словами, некое ее чувство к Джозефу, а также ревность и презрение к невинной Фанни вовлекли ее в доверительную беседу, и беседа эта случайно подтвердила кое-какие сведения, почерпнутые Скаутом ранее из намеков Слипслоп, при которой он состоял в кавалерах; они-то и дали ему возможность сочинить свою злую ложь о бедной Фанни, чему читатель, может быть, не подыскал бы достаточного объяснения, если бы мы не сочли удобным это ему сообщить.

ГЛАВА IV

Короткая глава, содержащая, однако, весьма существенные материи, в частности — прибытие мистера Буби и его супруги

Всю эту ночь и следующий день леди Буби провела в крайнем волнении; мысли ее были в расстройстве, а душу потрясали бурные и противоречивые страсти. Она любила, ненавидела, жалела, отвергала, превозносила, презирала одного и того же человека приступами, сменявшими друг друга через очень короткие промежутки времени. Во вторник был праздник, и она с утра пошла в церковь, где, к ее удивлению, мистер Адамс сделал вторичное оглашение помолвки таким же громким голосом, как и в первый раз. На ее счастье, проповеди не было, поэтому ничто не мешало ей сразу же вернуться домой и дать волю своей ярости, которую она и пяти минут не могла бы скрывать от молящихся; впрочем, их было немного — в церкви собрались только Адамс, его жена, причетник, сама миледи и один из ее слуг. Вернувшись домой, она встретила Слипслоп, которая обратилась к ней с такими словами:

— О сударыня, подумайте только! Ведь мистер Скаут, адвокат, свел их обоих к судье — и Фанни и Джозефа! Весь приход льет слезы, все говорят, что их теперь непременно повесят: потому что никто не знает, за что это их так...

— Думаю, что они того заслужили,— перебила леди,— зачем вы мне говорите об этих презренных тварях?

— Ах, дорогая моя госпожа,— отвечает Слипслоп,— не жалко разве, что такой симпатичный молодой человек должен умереть насильнической смертью? Я надеюсь, судья примет в подсчет его молодость. Что до Фанни, так, по-моему, не так уж важно, что с ней будет; и если бедный Джозеф что-нибудь натворил, я готова поклясться, что это она его запутала: когда уж мужчина попался с наличным, так и знай, что тут кроется одна из этих гнусных тварей, которые позорят весь наш женский пол.

После минуты раздумья леди огорчилась не менее, чем сама Слипслоп: хоть ей хотелось, чтобы Фанни услали как можно дальше, удаления Джозефа она вовсе не желала, а тем более вдвоем с его любезной. Она молчала, не зная, как ей быть или что сказать по этому случаю, когда во двор вкатила карета шестерней и один из слуг доложил госпоже о приезде ее племянника, мистера Буби, с супругой. Она распорядилась провести их в гостиную, куда направилась и сама, постаравшись согнать с лица следы волнения и несколько успокоив себя мыслью, что при таком обороте брак по крайней мере предотвращен, а дальше, к какому бы ни пришла она решению, у нее будет возможность его исполнить, поскольку она располагает для этого превосходным орудием в лице адвоката Скаута.

Леди Буби подумала, что слуга ошибся, упомянув супругу мистера Буби, так как она не слышала еще ничего о женитьбе племянника; каково же было ее изумление, когда тот, как только она вошла в гостиную, представил ей свою жену со словами:

— Сударыня, перед вами та самая очаровательная Памела, о которой вы, как я уверен, достаточно наслышаны.

Леди приняла гостью с большей любезностью, чем он ожидал; даже с отменной любезностью: ибо она была безупречно вежлива и не обладала ни одним пороком, несовместимым с благовоспитанностью. Минут десять они сидели и вели безразличный разговор, когда вошел слуга и шепнул что-то мистеру Буби, который тотчас сказал дамам, что вынужден их покинуть на часок ради одного очень важного дела; и так как их беседа в его отсутствие представляла бы для читателя мало наставительного или забавного, мы их также оставим на время и последуем за мистером Буби.

ГЛАВА V,

содержащая в себе судебные материалы: любопытные образцы свидетельских показаний и прочие вещи, небезинтересные для мировых судей и их секретарей

Не успели молодой сквайр и его супруга выйти из кареты, как их слуги принялись справляться о мистере Джозефе, от которого, говорили они, их госпожа, к своему великому удивлению, не получала вестей с тех самых пор, как он уволился от леди Буби. На это им тут же сообщили последнюю новость о Джозефе, с которой они и поспешили познакомить своего господина, и тот решил немедленно отправиться к судье и приложить все усилия к тому, чтобы возвратить своей Памеле ее брата, прежде чем она узнает, что могла его потерять.

Судья, к которому потащили преступников и который проживал неподалеку от Буби-холла, оказался, на счастье, знаком мистеру Буби, так как владел поместьем по соседству с ним. Итак, приказав заложить лошадей, сквайр отправился в своей карете к судье и прибыл к нему, когда тот уже заканчивал дело. Гостя ввели в залу и сказали, что его милость сейчас придет к нему сюда: ему осталось только приговорить к отправке в смирительный дом одного мужчину и одну женщину. Убедившись теперь, что нельзя терять ни минуты, мистер Буби настоял, чтобы слуги провели его прямо в помещение, где судья, как он сам выражался, «отбывал свою повинность». Когда его туда впустили и между ним и его милостью произо-

шел обмен первыми приветствиями, сквайр спросил судью, в каком преступлении виновны эти двое молодых людей.

— Ничего особенного,— ответил судья,— я их приговорил всего лишь к одному месяцу тюрьмы.

— Но в чем же их преступление? — повторил сквайр.

— В краже, коль угодно знать вашей чести,— сказал Скаут.

— Да,— говорит судья,— грязное дельце о краже. Мне, пожалуй, следует подбавить им кое-что в поученье, всыпать, что ли, розог. (Бедная Фанни, которая до сих пор утешалась мыслью, что она все разделит с Джозефом, задрожала при этих его словах; но, впрочем, напрасно, потому что никто, кроме разве сатаны, не стал бы выполнять над ней такой приговор.)

— Все же,— сказал сквайр,— я еще не знаю, в чем преступление, то есть сущность его.

— Да оно тут, на бумаге,— ответил судья, показывая запись свидетельских показаний, которую он за отсутствием своего секретаря вел сам и подлинный экземпляр которой нам с превеликими трудностями удалось раздобыть; приводим ее здесь verbatim et literatim [1]:

«Показания Джемса Скаута, отваката, и Томаса Троттера, фермера, снятые предо мною, мировым судьей иво виличисва в Сомерсетшире.

Оныи свидетели говорят, и первым от сибя говорит Томас Троттер, что... дня сего даннаво Октября, в воскрисенье днем, в часы между 2 и 4 папалудни, названные Джозеф Эндрус и Фрэнсис Гудвил шли через некое поле, принадлежашчее отвакату Скауту, и по дороге, што ведет через выше означинное поле, и там он увидил, как Джозеф Эндрус атрезал ножом одну ветку арешника, стоимостью как он полагает, в полтора пенса или около таво; и он говорит, што названная Фрэнсис Гудвил равным образом шла по траве, а ни по вышеозначиниой дороге через вышеозначинное поле, и приняла и понесла в своей руке вышеозначинную ветку и тем самым свершила соучасье и садействие названному Джозефу. И названный Джемс Скаут от своего лица говорит, что он доподлинно думает, что вышеозначинная ветка есть его собственная ветка...» и так далее.

— Господи Иисусе! — сказал сквайр.— Вы хотите отправить двух человек в смирительный дом за какую-то ветку?

— Да,— сказал адвокат,— и это еще большое снисхождение: потому что, если бы мы назвали ветку молодым деревцем, им обоим не избежать бы виселицы.

— Понимаете,— говорит судья, отводя сквайра в сторону,— я бы не был в этом случае так суров, но леди Буби желательно удалить их из прихода; Скаут прикажет констеблю, чтоб он им позволил сбежать, если они захотят; но они, понимаете ли, намерены пожениться, и так как они по закону — здешние посе-

[1] Слово в слово, буква в букву *(лат.)*.

ленцы, леди не видит другого способа помешать им лечь обузой на ее приход.

— Прекрасно,— сказал сквайр,— я приму меры, чтобы успокоить мою тетушку на этот счет; равным образом я даю вам обещание, что Джозеф Эндрус никогда не будет для нее обузой. Я буду вам очень обязан, если вы вместо отправки в смирительный дом отдадите их под мой надзор

— О, конечно, сэр, если вам это желательно,— ответил судья; и без дальнейших хлопот Джозеф и Фанни были переданы сквайру Буби, которого Джозеф превосходно знал, ничуть, однако, не подозревая, в каком они состояли теперь близком родстве. Судья сжег ордер на арест; констебля отпустили на все четыре стороны; адвокат не стал жаловаться на то, что суда не будет; и подсудимые в великой радости без конца благодарили мистера Буби, который, однако, не пожелал ограничить этим свою обязательность: приказав лакею принести чемодан, который он нарочно велел прихватить при отъезде из Буби-холла, сквайр попросил у судьи разрешения пройти вместе с Джозефом в другую комнату; здесь он велел слуге достать один из его личных костюмов с бельем и всеми принадлежностями и оставил Джозефа переодеваться, хоть тот, не зная причины всех этих любезностей, отказывался принять эту милость так долго, как позволяло приличие.

Пока Джозеф облачался, сквайр вернулся к судье, которого застал в беседе с Фанни: ибо, когда разбиралось дело, она стояла, нахлобучив шляпу на глаза, которые к тому же тонули в слезах, и таким образом скрыла от его милости то, что, может быть, сделало бы излишним вмешательство мистера Буби,— по крайней мере лично для нее. Судья, как только увидел ее просветлевшее личико и ясные, сиявшие сквозь слезы глаза, втайне выругал себя за то, что помыслил было засадить ее в острог. Он охотно отправил бы туда свою жену, чтобы Фанни заняла ее место. И почти одновременно загоревшись желанием и задумав план его осуществления, он те минуты, на которые сквайр уединился с Джозефом, употребил на то, чтобы изъявить ей, как он сожалеет, что, не зная ее достоинств, обошелся с нею так сурово; и он сказал, что поскольку леди Буби не желает, чтоб она проживала в ее приходе, то он, судья, рад приветствовать ее в своем, где он ей обещает личное свое покровительство; к этому он добавил, что если она пожелает, то он возьмет ее и Джозефа в услужение к себе в дом, и подкрепил это уверение пожатием руки. Она любезно поблагодарила судью и сказала, что передаст Джозефу это предложение, которое он, конечно, с радостью примет, потому что леди Буби прогневалась на них обоих, хотя ни он, ни она, сколько ей известно, ничем не оскорбили миледи; но она объясняет это происками миссис Слипслоп, которая всегда недолюбливала ее.

Вернулся сквайр и помешал продолжению этого разговора;

судья, якобы из уважения к гостю, на деле же из страха перед соперником (о женитьбе которого он не знал), услал Фанни на кухню, куда она с радостью удалилась; и сквайр, со своей стороны уклоняясь от хлопотных объяснений, тоже не стал возражать.

Даже будь это в моих возможностях (что едва ли так), не стоило бы приводить здесь разговор между двумя джентльменами, поскольку он, как мне передавали, касался лишь одного предмета — скачек. Джозеф вскоре облачился в самый простой костюм, какой он мог выбрать,— синий камзол, штаны с золотой оторочкой и красный жилет с такой же отделкой; и так как этот костюм, который сквайру был широковат, пришелся ему как раз впору, то юноша был в нем необычайно хорош и выглядел вполне благородно: никто не усомнился бы, что костюм соответствует его положению в той же мере, в какой он был ему к лицу, и не заподозрил бы (как можно заподозрить, когда милорд ***, или сэр ***, или мистер *** появляются в кружевах и вышивке), что это посыльный от портного несет домой на своей спине ту одежду, которую ему полагалось бы нести подмышкой.

Сквайр попрощался с судьей и, вызвав Фанни и заставив ее и Джозефа, вопреки их желанию, сесть вместе с ним в карету, велел кучеру ехать к дому леди Буби. Не проехали они и десяти ярдов, как сквайр спросил Джозефа, не знает ли он, кто этот человек, поспешающий через поле:

— Право,— добавил он,— я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так шибко шагал!

— О сэр,— ответил пылко Джозеф,— это же пастор Адамс!

— Ах, в самом деле он! — сказала Фанни.— Бедняга, он бежит сюда, чтобы попытаться помочь нам. Это самый достойный, самый добросердечный человек.

— Да,— сказал Джозеф,— и да благословит его бог! Другого такого нет на свете.

— Конечно! Он лучший из людей! — вскричала Фанни.

— Вот как? — молвил сквайр.— Так я хочу, чтобы лучший из людей сидел со мной в карете.

И с этими словами он велел остановить лошадей, а Джозеф по его приказу окликнул пастора, который, узнав его голос, еще прибавил шагу и вскоре поровнялся с ними. Сквайр, едва сдерживая смех при виде пастора, пригласил его сесть в карету; тот долго благодарил и отказывался, говоря, что может пойти пешком рядом с каретой и ручается, что не отстанет, но его в конце концов уговорили. Теперь сквайр поведал Джозефу о своей женитьбе; но он мог бы и не утруждать себя напрасно, так как его лакей уже выполнил эту задачу, покуда Джозеф переодевался. Далее он высказал, каким счастьем наслаждается он с Памелой и как он ценит всех, кто связан с нею родством. Джозеф кланялся многократно и многократно изъявлял свою признатель-

ность, а пастор Адамс, только теперь заметивший новый наряд Джозефа, прослезился от радости и принялся потирать руки и прищелкивать пальцами, как одержимый.

Они подъехали к дому леди Буби, и сквайр, попросив их подождать во дворе, прошел к своей тетке и, вызвав ее из гостиной, сообщил ей о прибытии Джозефа в таких словах:

— Сударыня, так как я женился на добродетельной и достойной женщине, я решил признать ее родственников и оказывать им всем должное уважение; поэтому я почту себя бесконечно обязанным перед всеми моими близкими, если и они поведут себя так же. Правда, ее брат был вашим лакеем, но теперь он стал моим братом; и я счастлив одним: что ни нрав его, ни поведение, ни внешность не дают мне оснований стыдиться, когда я его так называю. Словом, сейчас он стоит внизу, одетый, как подобает джентльмену, и мне желательно, чтобы впредь на него так и смотрели, как на джентльмена; вы меня несказанно обяжете, если допустите его в наше общество: потому что я знаю, что это доставит большую радость моей жене, хотя она никогда не упомянет о том.

Это была милость Фортуны, на какую леди Буби не посмела бы надеяться.

— Племянник,— ответила она ему с жаром,— вы знаете, как меня легко склонить ко всему, чего захочет Джозеф Эндрус... фу, я хотела сказать, чего вы захотите от меня; и так как он теперь с вами в родстве, я не могу принимать его иначе, как своего родственника.

Сквайр сказал, что весьма обязан ей за такое великодушие. И сделав затем три шага по комнате, он снова подошел к ней и сказал, что он просит еще об одном одолжении, которое она, верно, окажет ему так же охотно, как и первое.

— Тут есть,— сказал он,— одна молодая особа...

— Племянник,— молвит леди,— не позволяйте моей доброте соблазнять вас на столь обычное в этих случаях желание обратить ее против меня самой. И не думайте, что если я с таким снисхождением согласилась допустить к своему столу вашего шурина, то я соглашусь терпеть общество всех моих слуг и всех грязных девок в округе.

— Сударыня,— ответил сквайр,— вы, вероятно, никогда не видели это юное создание. Мне не случалось встречать ни в ком такой нежности и невинности в соединении с такою красотой и таким благородством.

— Я ее ни в коем случае не допущу к себе,— возразила леди с горячностью,— никто в мире не уговорит меня на это, я даже самую просьбу эту нахожу оскорбительной, и...

Зная ее непреклонность, сквайр ее перебил, попросив извинения и пообещав больше и не заикаться о том. Затем он вернулся к Джозефу, а леди к Памеле. Он отвел Джозефа в сторону и сказал ему, что сейчас поведет его к его сестре, но что

ему пока не удалось получить разрешения на то же для Фанни. Джозеф просил, чтоб ему позволили повидаться с сестрой наедине и затем вернуться к Фанни; но сквайр, зная, какое удовольствие доставит его супруге общество брата, не согласился и сказал Джозефу, что такая недолгая разлука с Фанни не страшна, раз он знает, что она в безопасности; и в добавление он выразил надежду, что Джозеф и сам не захочет сразу уйти от сестры, с которой так давно не виделся и которая его так нежно любит... Джозеф тотчас сдался: ибо поистине ни один брат не мог любить сестру свою сильнее; и, сдав Фанни на попечение мистера Адамса, он последовал за сквайром наверх, между тем как девушка, радуясь, что ей не нужно являться к леди Буби, отправилась с пастором в его жилище, где, как она полагала, ей был обеспечен радушный прием.

ГЛАВА VI,

из которой вас просят прочесть ровно столько, сколько вам будет угодно

Встреча между Джозефом и Памелой не прошла без слез радости с обеих сторон; и объятия их полны были нежности и любви. Однако все это доставило больше удовольствия племяннику, нежели тетке: ее пламя только жарче разгорелось, чему еще более способствовало новое одеяние Джозефа, хотя и без него достаточно ярки были живые краски, в какие природа облекла здоровье, силу, молодость и красоту. После обеда Джозеф по их просьбе занимал их рассказом о своих похождениях; и леди Буби не могла скрыть досады в тех местах рассказа, где на сцену выступала Фанни,— особенно же когда мистер Буби пустился в восторженное восхваление ее красоты. Леди сказала, обратившись к новой своей племяннице, что она удивляется, как это ее племянник, женившийся, как он уверяет, по любви, почитает приличным развлекать жену таким разговором; и добавила, что она со своей стороны приревновала бы мужа, если бы он стал так горячо восхищаться другою женщиною. Памела ответила, что и она, пожалуй, усмотрела бы в этом достаточный повод к ревности, если бы не видела здесь лишь новый пример способности мистера Буби находить в женщинах больше красоты, чем им уделено. При этих ее словах обе дамы уставили взоры в два зеркала; и леди Буби ответила, что мужчины вообще мало что понимают в женской красоте; затем, любуясь каждая только собственным своим лицом, они принялись наперебой восхвалять друг дружку. Когда настал час отходить ко сну (причем хозяйка дома оттягивала его, покуда позволяло приличие), она сообщила Джозефу (которого мы будем впредь называть мистером Джозефом, так как у него не меньше

прав на такое наименование, чем у многих других,— тех неоспоримых прав, какие дает хорошая одежда), что распорядилась приготовить ему постель. Он, как мог, отклонял эту честь, потому что сердце его давно рвалось к милой Фанни, но миледи настаивала на своем, утверждая, что во всем приходе он не найдет удобств, приличных для такого лица, каким он должен теперь себя считать. Сквайр и его супруга поддержали ее, и мистеру Джозефу Эндрусу пришлось в конце концов отступиться от намеренья навестить в этот вечер Фанни, которая со своей стороны так же нетерпеливо ждала его до полуночи, когда во внимание к семье мистера Адамса, и так уже просидевшей ради нее лишние два часа, она легла спать,— но не заснула: мысли о любви гнали сон, а то, что Джозеф не пришел, как обещал, наполняло ее беспокойством, которое, впрочем, она не могла приписать иной причине, как просто своей тоске по нему.

Мистер Джозеф встал рано утром и направился к той, в ком была вся радость его души. Едва услышав его голос в гостиной пастора, девушка вскочила с кровати и, одевшись в несколько минут, сошла вниз. Два часа провели они в невыразимом счастье; потом, с дозволения мистера Адамса назначив венчанье на понедельник, мистер Джозеф вернулся к леди Буби, о чьем поведении с прошлого вечера мы поведаем теперь читателю.

Удалившись к себе в спальню, она спросила Слипслоп, что думает та об удивительном создании, которое ее племянник взял себе в жены.

— Да, сударыня? — сказала Слипслоп, еще не совсем сообразив, какого ждут от нее ответа.

— Я спрашиваю вас,— повторила леди,— что вы думаете об этой фефеле, которую мне, как видно, следует именовать племянницей?

Слипслоп, не нуждаясь в дальнейших намеках, принялась разносить Памелу на все корки и придала ей такое жалкое обличье, что родной отец не узнал бы ее. Леди в меру сил своих помогала в этом своей камеристке и, наконец, произнесла:

— Я думаю, Слипслоп, вы ей воздали по справедливости; но как она ни дурна, она ангел по сравнению с Фанни.

Тогда Слипслоп набросилась на Фанни, которую искрошила и изрубила столь же беспощадно, заметив в заключение, что в этих «подлых креатурах» всегда что-то есть такое, что их неизменно отличает от тех, кто стоит выше их.

— В самом деле,— сказала леди,— но из вашего правила, думается мне, есть одно исключение; вы, несомненно, догадываетесь, кого я имею в виду.

— Честное слово, сударыня, не догадываюсь,— сказала Слипслоп.

— Я говорю об одном молодом человеке; вы, право, тупейшее создание,— сказала леди.

— Ох, и в самом деле так. Да, поистине, сударыня, он — исключение,— ответила Слипслоп.

— Да, Слипслоп? — подхватила леди.— Он, не правда ли, так благороден, что любой государь мог бы, не краснея, признать его своим сыном! Его поведение не посрамило бы самого лучшего воспитания. Его положение заставляет его во всем уступать тем, кто поставлен выше его, но в нем при этом нет той низкой угодливости, которая зовется в таких особах «добрым поведением». Что бы ни делал он, ничто не носит на себе отпечатка подлой боязливости, но все в нем явно отмечено почтительностью и благодарностью и внушает вместе с тем уверенность в любви... И сколько в нем добродетели: такое почтение к родителям, такая нежность к сестре, такая неподкупность в дружбе, такая смелость и такая доброта, что, родись он джентльменом, его жене досталось бы в удел неоценимое счастье.

— Несомненно, сударыня,— говорит Слипслоп.

— Но так как он то, что он есть,— продолжала леди,— будь в нем еще тысяча превосходных качеств, светская дама станет презреннейшей женщиной, если ее заподозрят хотя бы в мысли о нем; и я сама презирала бы себя за такую мысль.

— Несомненно, сударыня,— сказала Слипслоп.

— А почему «несомненно»? — возразила леди.— Ты отвечаешь, точно эхо! Разве он не в большей мере достоин нежного чувства, чем какой-нибудь грязный деревенский увалень, пусть даже из рода древнего, как потоп, или чем праздный, ничтожный повеса, или какой-нибудь фатишка знатного происхождения? А между тем мы обрекаем себя в жертву им, чтобы избежать осуждения света; спасаясь от презрения со стороны других, мы должны соединяться узами с теми, кого сами презираем; должны предпочитать высокое рождение, титул и богатство истинным достоинствам. Такова тирания обычая, тирания, с которой мы вынуждены мириться: ибо мы, светские люди,— рабы обычая.

— Чушь, да и только! — сказала Слипслоп, хорошо понявшая теперь, какой ей держаться линии.— Будь я так богата и так знатна, как ваша милость, я бы не была ничьей рабой.

— Как я? — сказала леди.— Но я же говорила лишь о том, что было бы, если бы какой-нибудь молодой и знатной женщине, мало видевшей свет, случилось полюбить такого человека... Как я! Вот еще!.. Надеюсь, ты не вообразила...

— Нет, сударыня, конечно нет! — восклицает Слипслоп.

— Нет? Что «нет»? — вскричала леди.— Ты всегда отвечаешь, не дослушав. Я только признала пока, что он очаровательный молодой человек. Но чтобы я!.. Нет, Слипслоп, со всеми мыслями о мужчинах для меня покончено. Я потеряла мужа, который... но если я стану вспоминать, я сойду с ума! Отныне мой покой заключается в забвении. Слипслоп, я хочу

послушать твой вздор, чтобы мысли мои направились в другую сторону. Что ты думаешь о мистере Эндрусе?

— Да что ж! — говорит Слипслоп.— Он, по-моему, самый красивый, самый приличный мужчина, какого я только встречала; и сделайся я самой знатной дамой, это вышло бы не худо кое для кого. Ваша милость могут, коли вам угодно, говорить о всяких там обычаях, но, скажу вам компотентно, взять любого молодого человека из тех, что ходили в Лондоне в дом к вашей милости,— куда им всем до мистера Эндруса! Пустые вертопрахи, да и только! Я бы скорей пошла замуж за нашего старого пастора Адамса; и слушать не хочу, что там люди говорят, лишь бы я была счастлива на груди у того, кого люблю! Некоторые люди хулят других только потому, что у тех есть то, чему они сами были б рады.

— Итак,— сказала леди,— если бы вы были дамой с положением, вы действительно вышли бы замуж за мистера Эндруса?

— Да, уверяю вашу милость,— ответила Слипслоп,— вышла бы, если бы он от меня не отказался.

— Дура, идиотка! — кричит леди.— «Если бы он не отказался» от знатной дамы! Разве тут могут быть сомнения?

— Нет, сударыня, конечно нет,— сказала Слипслоп.— Сомнений быть не могло бы, только б убрать с дороги Фанни; скажу вам компотентно, окажись я на месте вашей милости и полюби я мистера Джозефа Эндруса, она бы у меня и минуты не оставалась в приходе! Я уверена, адвокат Скаут спровадил бы ее, куда надо, когда бы ваша милость только заикнулись ему о том.

Эти последние слова Слипслоп подняли бурю в душе ее госпожи. У нее возник страх, что Скаут ее выдал — или, верней, что она сама выдала себя перед ним. Помолчав немного и дважды изменившись в лице — сперва побелев, потом побагровев,— она сказала так:

— Меня удивляет, какую волю вы даете своему языку! Вы инсинуируете, будто я использую Скаута против этой девки из-за некоего молодого человека?

— Что вы, сударыня! — сказала Слипслоп, перепуганная до потери рассудка,— чтобы я инсвинировала такие вещи!

— Еще бы вы посмели! — ответила леди.— Надеюсь, мое поведение самой злобе не позволило бы возвести на меня такую черную клевету. Проявляла ли я когда хоть малейшую игривость, малейшую легкость в обхождении с мужчинами? Следовала ли я примеру некоторых, кого тебе, я думаю, случалось видеть, позволяя себе неприличные вольности хотя бы с мужем; но и он, дорогой мой покойник (тут она всхлипнула), если бы ожил (она выдавила слезу), не мог бы меня укорить в каком-либо проявлении нежности или страсти. Нет, Слипслоп, за все время нашего супружества я ни разу не подарила мужа даже

поцелуем, не выразив при том, как это мне противно. Я уверена, что он и сам не подозревал, как сильно я его любила... А после его смерти, ты же знаешь, хотя прошло уже почти шесть недель (одного дня не хватает), я не допустила к себе ни одного посетителя, пока не приехал этот мой сумасшедший племянник. Я ограничила свое общество только друзьями женского пола... Неужели же и такое поведение должно страшиться суда? Быть обвиненной не только в презренной страсти, но еще и в том, что она направлена на такой предмет, на человека, недостойного даже, чтобы я его замечала...

— Честное слово, сударыня,— говорит Слипслоп,— я не понимаю вашу милость и ничего на этот счет не знаю.

— Я думаю, что ты и впрямь меня не понимаешь!.. Это — тонкости, существующие только для возвышенных умов; ты с твоими грубыми идеалами не можешь их постичь. Ты жалкое существо одной породы с Эндрусами, пресмыкающееся самого низкого разряда, плевел в публичном саду творения...

— Смею уверить вашу милость,— говорит Слипслоп, в которой страсти распалились почти до такой же степени, как в ее госпоже,— я не больше имею касательства к публичным садам, чем некоторые особы. В самом деле, ваша милость говорит о слугах, точно они не родились от христианского рода. У слуг та же плоть и кровь, что и у знати; и по мистеру Эндрусу видно, что нисколько не хуже, а то так и лучше, чем у иных... И я со своей стороны не вижу, чтобы мои одеялы [1] были грубее, чем у некоторых лиц; и уверяю вас, будь мистер Эндрус моим дружком, я бы не стала стыдиться его перед обществом джентльменов: потому что, кто ни увидит его в новом костюме, всякий скажет, что он выглядит таким же джентльменом, как и кто угодно. Грубые, да!.. А мне вот и слышать непереносимо, как бедного молодого человека обливают грязью: потому что, скажу вам, я никогда не слыхала, чтобы он в жизни своей сказал о ком-нибудь дурное слово. В сердце у него нет грубости, он самый добронравный человек на свете; а что до его кожи, так она у него, уверяю вас, не грубей, чем у других. Грудь у него, когда он был мальчиком, казалась белой, как первый снег; и где не заросла волосами, там она у него и сейчас такая. Ей-же-ей! Будь я миссис Эндрус, да располагай я хоть сотенкой в год, не стала бы я завидовать самой высокопоставленной даме — покуда есть у меня голова на плечах! Женщина, которая не была бы счастлива с таким мужчиной, не заслуживает никакого счастья: потому что если уж он не может дать счастья женщине, то я в жизни своей не видела мужчины, который бы мог. Говорю вам, я хотела бы стать важной дамой ради него одного; и, я думаю, когда бы я сделала из него джентльмена, он вел бы себя так, что никто бы меня не осудил за это; и, я ду-

---

[1] Может быть, она хотела сказать «идеалы». *(Прим. автора.)*

маю, немногие посмели бы сказать ему в лицо или мне, что он не джентльмен.

С этим словом она взяла свечи и спросила свою госпожу, уже лежавшую в постели, есть ли у нее какие-нибудь еще распоряжения; та кротко ответила, что нет, и, назвав свою домоправительницу «забавным созданием», пожелала ей спокойной ночи.

ГЛАВА VII

Философские рассуждения, подобных которым не встретишь в каком-нибудь легком французском романе. Внушительный совет мистера Буби Джозефу и встреча Фанни с прельстителем

Привычка, мой добрый читатель, имеет такую власть над умом человеческим, что никакие высказывания о ней не должны показаться слишком странными или слишком сильными. В истории о скупце, который по долгой привычке обжуливать других обжулил, наконец, самого себя и с превеликой радостью и торжеством выудил из собственного кармана гинею, чтобы схоронить ее в своем же сундуке, нет ничего невозможного или невероятного. Так же обстоит дело с обманщиками, которые, долго обманывая других, в конце концов выучиваются обманывать самих себя и проникаются теми самыми (пусть ложными) взглядами на собственные свои способности, совершенства и добродетели, какие они, может быть, годами старались внушить о себе своим ближним. Теперь, читатель, применим это замечание к тому, о чем я намерен поговорить дальше, и да станет тебе известно, что поскольку страсть, именуемая обычно любовью, изощряет большую часть талантов в особах женского или, скажем, прекрасного пола, то они, поддаваясь ей, нередко начинают проявлять и некоторую наклонность к обману; но ты за это не станешь злобиться на милых красавиц, когда примешь в соображение, что с семилетнего возраста или даже раньше маленькая Мисс слышит от своей матери, что Молодой Человек — это страшный зверь, и, если она позволит ему подойти к ней слишком близко, он непременно растерзает ее на куски и съест; что не только целовать его и играть с ним, но и позволять, чтоб он целовал ее или играл с нею, никак нельзя; и, наконец, что она не должна иметь к нему склонности, так как, если она таковую возымеет, все ее друзья в юбочках станут считать ее изменницей, показывать на нее пальцами и гнать ее из своего общества. Эти первые впечатления еще больше укрепляются затем стараниями школьных учительниц и подруг; так что к десяти годам Мисс прониклась таким ужасом и отвращением к вышеназванному чудовищу, что, едва его завидев, бежит от

него, как невинный зайчик от борзой. Таким образом, лет до четырнадцати — пятнадцати девицы питают лютую вражду к Молодому Человеку; они решают — и не устают повторять,— что никогда не вступят с ним ни в какое общение, и лелеют в душе надежду до конца жизни держаться от него подальше, а о том, что это возможно, свидетельствуют наглядные примеры — взять хотя бы их добрую незамужнюю тетушку. Но, достигнув указанного возраста и пройдя через второе семилетие, когда ум их, созрев, становится дальнозорче и они, почти ежедневно сталкиваясь с Молодым Человеком, начинают постигать, как трудно постоянно его сторониться; а когда они подметят, что он часто сам на них поглядывает, и притом с интересом и вниманием (потому что до этого возраста чудовище редко замечает их),— девицы начинают думать о грозящей опасности; и, видя, что избежать зверя нелегко, более разумные из них ищут обеспечить свою безопасность иными путями. Они стараются всеми доступными для них средствами придать себе приятность в его глазах, чтоб у него не возникло желания обидеть их; и обычно это им настолько удается, что взоры его, все чаще делаясь томными, вскоре ослабляют их представление о его свирепости, страх идет на убыль, и девицы осмеливаются вступить с чудовищем в разговор; а когда они затем убеждаются, что он совсем не таков, каким его описывали, что он весь — благородство, мягкость, любезность, нежность и чувствительность, их страшные опасения исчезают. И теперь (так как человеку свойственно перескакивать от одной крайности к обратной столь же легко и почти столь же неожиданно, как перепархивает птица с сучка на сучок) страх мгновенно сменяется любовью; но, подобно тому, как люди, с детства запуганные некими бесплотными образами, которым присвоено название привидений, сохраняют ужас перед ними даже и после того, как убедятся, что их не существует,— так и эти юные леди, хоть и не боятся больше быть сожранными, не могут целиком отринуть все то, что было им внушено; в них еще живет страх перед осуждением света, так прочно внедренный в их нежные души и поддерживаемый изъявлениями ужаса, которые они каждодневно слышат от подруг. Поэтому теперь их единственной заботой становится — избежать осуждения; и с этой целью они притворяются, будто все еще питают к чудовищу прежнее отвращение; и чем больше они его любят, тем ревностней изображают они неприязнь. Постоянно и неизменно изощряясь в таком обмане на других, они и сами, наконец, поддаются обману и начинают верить, что ненавидят предмет своей любви.

Именно так случилось и с леди Буби, которая полюбила Джозефа задолго до того, как она сама это поняла, и теперь любила его сильнее, чем думала. А с того часа, как приехала его сестра, ставшая ей племянницей, и леди увидела его в об-

личье джентльмена, она втайне начала лелеять замысел, который любовь скрывала от нее до той поры, пока его не выдало сновидение.

Едва встав с постели, леди послала за племянником; и когда он пришел, она, расхвалив его выбор, сказала ему, что то снисхождение, с каким она допустила своего собственного лакея к своему столу, должно было ему показать, что она смотрит на семейство Эндрусов, как на его — нет, как на свою — родню; и раз уж он взял жену из такой семьи, ему следует всячески стараться поднять эту семью насколько возможно. Наконец, она посоветовала ему пустить в ход все свое искусство и отклонить Джозефа от намеченного им брака, который только укрепит их родственную связь с ничтожеством и нищетой; и в заключение леди указала, что, устроив мистеру Эндрусу назначение в армию или какую-нибудь другую приличную должность, мистер Буби мог бы вскоре поднять своего шурина до уровня джентльмена; а стоит только это сделать, и мистер Эндрус, с его способностями, скоро сумеет вступить в такой союз, который не послужит им к бесчестию.

Племянник горячо принял это предложение; и когда он, вернувшись в комнату жены, застал с нею мистера Джозефа, то сразу повел такую речь:

— Любовь моя к моей милой Памеле, брат, распространяется и на всех ее родственников, и я буду оказывать им такое же уважение, как если бы я взял жену из семьи герцога. Надеюсь, я уже и ранее дал вам некоторые свидетельства в том и буду давать их и впредь изо дня в день. Поэтому вы мне простите, брат, если моя забота о вашем благе заставит меня произнести слова, которые вам, быть может, неприятно будет выслушать, но я должен настоятельно вам указать, что если вы хоть сколько-нибудь цените наши узы и мою к вам дружбу, то вы должны отклонить всякую мысль о дальнейших сношениях с девицей, которая — поскольку вы мой родственник — стоит много ниже вас. Я понимаю, что это покажется поначалу нелегко, но трудность с каждым днем будет уменьшаться; и в конце концов вы сами будете искренне мне благодарны за мой совет. Девушка, я признаю, хороша собой, но одной лишь красоты недостаточно для счастливого брака.

— Сэр,— сказал Джозеф,— уверяю вас, ее красота — наименьшее из ее совершенств, и я не знаю такой добродетели, которой бы не обладало это юное создание.

— Что касается ее добродетелей,— ответил мистер Буби,— то вы о них пока что не судья; но если даже она и преисполнена ими, вы найдете равную ей по добродетелям среди тех, кто выше ее по рождению и богатству и с кем вы можете теперь почитать себя на одном уровне; во всяком случае я постараюсь, чтобы так это стало в скором времени, если только вы сами мне не помешаете, унизив себя подобным браком,— браком, о котором

я едва могу спокойно думать и который разобьет сердца ваших родителей, уже предвкушающих, что вы скоро займете видное положение в свете.

— Не думайте,— возразил Джозеф,— что мои родители имеют какую-либо власть над моими склонностями! И я не обязан приносить свое счастье в жертву их прихоти или тщеславию. Помимо того, мне было бы очень грустно видеть, что неожиданное возвышение моей сестры вдруг преисполнило бы их такою гордыней и внушило бы им презрение к равным; ни в коем случае я не покину мою любезную Фанни,— даже если б я мог поднять ее так же высоко против ее теперешнего положения, как подняли вы мою сестру.

— Ваша сестра, как и я сам,— молвил Буби,— признательна вам за сравнение, но, сэр, эта девица далеко уступает в красоте моей Памеле, не обладая к тому же и половиной других ее достоинств. А кроме того, так как вы изволите мне колоть глаза моей женитьбой на вашей сестре, то я научу вас понимать глубокое различие между нами: мое состояние позволило мне поступить по моему желанию, и с моей стороны было бы таким же безумием отказывать себе в этом, как с вашей — к этому стремиться.

— Мое состояние также позволяет мне поступить по моему желанию,— сказал Джозеф,— потому что я ничего не желаю, кроме Фанни; и покуда у меня есть здоровье, я могу своим трудом поддержать ее в том положении, какое назначено ей от рождения и каким она довольствуется.

— Брат,— сказала Памела,— мистер Буби советует вам, как друг, и, несомненно, мои папа и мама разделят его мнение и будут с полным основанием сердиться на вас, если вы вздумаете разрушать то добро, которое он нам делает, и опять потянете нашу семью вниз после того, как он ее возвысил. Вам было бы приличней, брат, не потворствовать своей страсти, а молить помощи свыше для ее преодоления.

— Вы, конечно, говорите это не всерьез, сестра; я убежден, что Фанни по меньшей мере вам ровня.

— Она была мне ровней,— ответила Памела,— но я уже не Памела Эндрус, я теперь супруга этого джентльмена, и, как таковая, я выше ее. Надеюсь, я не буду никогда повинна в неподобающей гордости; но в то же время я постараюсь помнить, кто я такая,— и не сомневаюсь, что господь мне в этом поможет.

Тут их пригласили к завтраку, и на этом кончился пока их спор, исход которого не удовлетворил ни одну из трех сторон.

Фанни между тем прохаживалась по уличке в некотором отдалении от дома, куда Джозеф обещал при первой же возможности явиться к ней. У нее не было за душой ни шиллинга, и с самого возвращения она жила исключительно лишь милосердием пастора Адамса. К ней подъехал незнакомый молодой

джентльмен в сопровождении нескольких слуг и спросил, не это ли дом леди Буби. Он и сам прекрасно знал ее дом и задал свой вопрос с той лишь целью, чтоб девушка подняла голову и показала, так же ли она хороша лицом, как изящно сложена. Увидев ее лицо, он пришел в изумление. Он остановил коня и побожился, что в жизни не встречал более красивого создания. Затем, мигом соскочив на землю и передав коня слуге, он раз десять поклялся, что поцелует ее,— чему она сперва подчинилась, прося его только не быть слишком грубым; но он не удовольствовался любезным приветствием, ни даже грубым штурмом ее губ, а схватил ее в объятия и попытался поцеловать ей грудь, чему она всей своей силой противилась; и так как наш любезник не был из породы Геркулесов, девушке, хоть и не без труда, удалось этому помешать. Молодой джентльмен, быстро выбившись из сил, отпустил ее; но, садясь в седло, он подозвал одного из своих слуг и велел ему оставаться подле девушки и делать ей какие угодно предложения,— лишь бы она согласилась отправиться с ним вечером на дом к его господину, который, как должен был внушить ей слуга, возьмет ее на содержание. Затем джентльмен направился с остальными слугами дальше к дому леди Буби, к которой он приехал погостить на правах дальнего родственника.

Слуга, будучи надежным малым и получив поручение из тех, к каким он издавна привык, взялся за дело с большим усердием и ловкостью, но не достиг успеха. Девушка была глуха к его посулам и отвергала их с крайним презрением. Тогда сводник, у которого, быть может, больше было горячей крови в жилах, чем у его господина, принялся хлопотать в свою собственную пользу: он сказал девушке, что хоть он и лакей, но человек с состоянием, над которым он сделает ее полной хозяйкой... и при том без всякого ущерба для ее добродетели, потому что он готов на ней жениться. Она ответила, что, если бы даже его хозяин или самый знатный лорд в королевстве захотел на ней жениться, она ему отказала бы. Устав, наконец, от уговоров и распаленный чарами, которые, пожалуй, могли бы зажечь пламя в груди древнего философа или современного священнослужителя, он привязал коня и затем напал на девушку с куда большей силой, чем за час до того — его хозяин. Бедная Фанни не могла бы сколько-нибудь долго сопротивляться его грубости, но божество, покровительствующее целомудренной любви, послало ей на помощь ее Джозефа. Еще издали увидев ее в борьбе с мужчиной, он, как ядро из пушки, или как молния, или как что-либо еще более быстрое, если есть что-либо быстрее,— полетел к ней и, подоспев в тот самый миг, когда насильник сорвал косынку с ее груди и уже хотел припасть губами к этой сокровищнице невинности и блаженства, угостил его крепким ударом в ту часть шеи, для которой самым приличным украшением была бы веревка. Парень отшат-

нулся и, почувствовав, что имеет дело кое с кем потяжелее, чем нежная трепещущая ручка Фанни, оставил девушку и, обернувшись, увидел своего соперника, который, сверкая глазами, готов был снова наброситься на него; и в самом деле, он еще не успел стать как следует в оборону или ответить на первый удар, как уже получил второй, который, прийдись он в ту часть живота, куда был намечен, оказался бы, вероятно, последним, какой довелось бы ему получить в своей жизни; но насильник, подбив руку Джозефа снизу, отвел удар вверх, к своему рту, откуда тотчас вылетело три зуба; после этого, не слишком очарованный красотою противника и не чересчур польщенный этим способом приветствия, он собрал всю свою силу и нацелился Джозефу в грудь. Но тот левым кулаком искусно отбил удар, так что вся его сила пропала зря, а правый, отступив на шаг, с такой свирепостью выбросил в своего врага, что, не перехвати его тот рукою (ибо он был не менее славным боксером), удар повалил бы его наземь. Теперь насильник замыслил другой удар, в ту часть груди, где помещается сердце; Джозеф не отвел его, как раньше, в воздух, но настолько изменил его прицел, что кулак, хоть и с ослабленной силой, угодил ему не в грудь, а прямо в нос; затем, выставив вперед одновременно кулак и ногу, Джозеф так ловко ткнул насильника головой в живот, что тот рухнул мешком на поле битвы и пролежал, бездыханный и недвижный, немало минут.

Когда Фанни увидела, что ее Джозеф получил удар в лицо и что кровь его струится потоком, она стала рвать на себе волосы и призывать на помощь другу все силы земные и небесные. Впрочем, она сокрушалась недолго, так как Джозеф, одолев противника, подбежал к ней и уверил ее, что сам он не ранен; тогда она упала на колени и возблагодарила бога за то, что он сделал Джозефа орудием ее спасения и в то же время сохранил его невредимым. Она хотела стереть ему кровь с лица своей косынкой, но Джозеф, видя, что противник пытается встать на ноги, повернулся к нему и спросил, достаточно ли он получил; тот ответил, что достаточно, ибо решил, что бился не с человеком, а с чертом; и, отвязывая коня, сказал, что нипочем не подступился бы к девчонке, если бы знал, что о ней есть кому позаботиться.

Фанни теперь попросила Джозефа вернуться с нею к пастору Адамсу и пообещать, что он ее больше не оставит; то были столь приятные для Джозефа предложения, что, услышь он их, он бы немедленно изъявил согласие; но теперь его единственным чувством стало зрение: ибо ты, может быть, припомнишь, читатель, что насильник сорвал у Фанни с шеи косынку и этим открыл для взоров зрелище, которое, по мнению Джозефа, превосходило красотою все статуи, какие он видывал в жизни; оно скорей могло бы обратить человека в статую,

чем быть достойно изображенным величайшим из ваятелей. Скромная девушка, которую никакая летняя жара никогда не могла побудить к тому, чтобы открыть свои прелести своенравному солнцу (и этой своей скромности она, может быть, была обязана их непостижимой белизной), несколько минут стояла с полуобнаженной грудью в присутствии Джозефа, покуда страх перед грозившей ему опасностью и ужас при виде его крови не позволяли ей помыслить о себе самой; но вот причина ее тревоги исчезла, и тут его молчание, а также неподвижность его взгляда вызвали у милой девицы помысел, который бросил ей в щеки больше крови, чем ее вытекло у Джозефа из ноздрей. Снежно-белая грудь Фанни тоже покрылась краской в то мгновение, когда девушка запахнула вокруг шеи косынку. Джозеф заметил ее тягостное смущение и мгновенно отвел взор от предмета, при виде которого он испытывал величайшее наслаждение, какое могли бы сообщить его душе глаза. Так велика была его боязнь оскорбить девушку и так доподлинно его чувство к ней заслуживало благородного имени любви.

Фанни, оправившись от своего смущения, почти равного тому, какое охватило Джозефа, когда он его заметил, повторила свою просьбу; последовало немедленное и радостное согласие, и они вместе, пересекши два или три поля, подошли к жилищу мистера Адамса.

ГЛАВА VIII

Разговор, имевший место между мистером Адамсом, миссис Адамс, Джозефом и Фанни; и кратко о поведении мистера Адамса, которое кое-кто из читателей назовет недостойным, нелепым и противоестественным

Когда жених и невеста подошли к дверям, между пастором и его женой только что кончился долгий спор. Предметом его как раз и была молодая чета; ибо миссис Адамс принадлежала к тем благоразумным женщинам, которые никогда ничего не делают во вред своей семье, вернее даже, она была одной из тех добрых матерей, которые в своей заботе о детях готовы погрешить против совести. Она издавна лелеяла надежду, что старшая ее дочь займет место миссис Слипслоп, а второй сын станет акцизным чиновником по ходатайству леди Буби. Она и думать не хотела о том, чтобы отказаться от этих надежд, и была поэтому крайне недовольна, что муж ее в деле Фанни так решительно пошел наперекор желаниям миледи. Она уже сказала, что каждому человеку подобает заботиться в первую голову о своей семье; что у него жена и шестеро детей, содержание и пропитание которых доставляют ему достаточно хлопот, так что нечего ему вмешиваться еще и в чужие дела; что он сам всегда

проповедовал покорность высшим и не пристало ему собственным своим поведением подавать пример обратного; что если леди Буби поступает дурно, то сама же и будет за это в ответе и не на их дом падет ее грех; что Фанни была раньше служанкой и выросла на глазах у леди Буби, а следовательно, леди уж, верно, знает ее лучше, чем они: и если бы девушка вела себя хорошо, то едва ли бы ее госпожа так против нее ожесточилась; что он, быть может, склонен думать о ней слишком хорошо из-за того, что она так красива,— но красивые женщины часто оказываются не лучше иных прочих; что некрасивые женщины тоже созданы богом и, если женщина добродетельна, то неважно, наделена ли она красотой, или нет. По всем этим причинам, заключила пасторша, Адамс должен послушаться миледи и приостановить дальнейшее оглашение брака. Но все эти превосходные доводы не оказали действия на пастора, который настаивал, что должен исполнять свой долг, невзирая на те последствия, какие это возымеет для него в смысле благ мирских; он постарался ответить жене, как мог вразумительней, и она только что высказала до конца свои новые возражения (так как повсюду, кроме как в церкви, за нею всегда оставалось последнее слово), когда Джозеф и Фанни вошли к ним в кухню, где пастор с женой сидели за завтраком, состоявшим из ветчины и капусты. В учтивости миссис Адамс проступала холодность, которую можно было бы почувствовать при внимательном наблюдении, но которая ускользнула от ее гостей; впрочем, эту холодность в значительной мере прикрыло радушие Адамса: узнав, что Фанни в это утро еще ничего не пила и не ела, он тотчас предложил ей кость от окорока, которую сам было начал обгладывать,— все, что осталось у него из еды, а затем проворно побежал в погреб и принес кружку легкого пива, которое он называл элем; так или иначе, но лучшего в доме не было. Джозеф, обратившись к пастору, передал ему, какой разговор относительно Фанни произошел между ним, его сестрою и сквайром Буби; затем он поведал пастору, от каких опасностей он спас свою невесту, и высказал некоторые свои опасения за нее. В заключение он добавил, что у него не будет ни минуты покоя, пока не назовет он Фанни окончательно своею, и спросил, не позволит ли им мистер Адамс выправить лицензию, сказав, что деньги он без труда займет. Пастор ответил, что он уже сообщил им свои взгляды на брак по лицензии и что через несколько дней она станет излишней.

— Джозеф,— сказал он,— мне не хотелось бы думать, что эта поспешность вызывается больше твоим нетерпением, нежели страхами; но так как она, несомненно, порождена одной из этих двух причин, я рассмотрю их обе, каждую в свою очередь; и сперва первую из них, а именно — нетерпение. Так вот, дитя, я должен тебе сказать, что если в предполагаемом твоем браке с этой молодой женщиной у тебя нет иных намерений,

кроме потворства плотским желаниям, то ты виновен в тяжком грехе. Брак освящается в более благородных целях, как ты узнаешь, когда услышишь чтение службы, установленной для этого случая. И, может быть, если ты проявишь себя добрым юношей, я прочту вам проповедь gratis, в которой покажу, как мало внимания должно уделять в браке плотскому наслаждению. Текстом для нее, сын мой, будет часть двадцать восьмого стиха из пятой главы евангелия от Матфея: «кто смотрит на женщину с вожделением...» Окончание опускаю, как чуждое моим целям *. Воистину, все такие скотские вожделения и чувства должны быть сурово подавлены, если не совершенно искоренены, и лишь тогда можно назвать сосуд освященным для благодати. Женитьба в видах удовлетворения этих наклонностей есть осквернение святого обряда и должна навлекать проклятие на всякого, кто с такою легкостью ее предпринимает. Итак, если твоя поспешность возникает из нетерпения, ты должен исправиться, а не попустительствовать пороку. Теперь возьмем вторую статью, намеченную мной для обсуждения, а именно — страх: он означает недоверие, в высшей степени греховное, к той единственной силе, на которую должны мы возлагать всё наше упование с полным убеждением, что она не только может разрушить замыслы наших врагов, но и обратить их сердца к добру. Поэтому, чем пускаться на непозволительные и отчаянные средства, чтобы избавиться от страха, мы должны прибегать в этих случаях только к молитве; и тогда мы можем быть уверены, что получим наилучшее для нас. Если грозит нам какое-либо несчастье, мы не должны отчаиваться, как не должны предаваться горю, когда оно постигнет нас: мы во всем должны покоряться воле провидения, не привязываясь ни к одному земному предмету настолько, чтобы не могли мы разлучиться с ним без душевного возмущения. Ты еще молодой человек и плохо знаешь жизнь; я старше и видел больше. Всякая страсть в чрезмерности своей становится преступной, и даже сама любовь, если мы ее не подчиняем долгу, порой заставляет нас пренебрегать им. Если б Авраам настолько любил сына своего Исаака *, что отказался бы от требуемой жертвы, кто из нас не осудил бы его? Джозеф, я знаю многие твои добрые качества и ценю тебя за них; но так как с меня спросится за твою душу, вверенную моему попечению, я не могу не укорить тебя в пороке, когда я вижу его. Ты слишком склонен к страсти, дитя, и так безгранично привержен этой молодой женщине, что если бог потребует ее у тебя, боюсь, ты не расстанешься с нею без ропота. Поверь же мне, ни один христианин ни к одному предмету или существу на земле не должен настолько прилепляться сердцем своим, чтобы не мог он в любой час, когда этот предмет будет потребован или отобран у него божественным провидением, мирно, спокойно и без недовольства отрешиться от него.

При этих его словах кто-то быстро вошел в дом и сообщил мистеру Адамсу, что его младший сын утонул. С минуту пастор стоял в безмолвии, потом заметался по комнате, в горчайшей муке оплакивая свою утрату. Когда Джозеф, равно ошеломленный несчастьем, достаточно оправился, он попробовал утешить пастора; в этой попытке он привел немало доводов, которые в разное время запали ему в память из его проповедей, как частных, так и публичных (ибо Адамс был великим противником страстей и ничего так охотно не проповедовал, как преодоление их разумом и верой), но сейчас пастор не был расположен внимать увещаниям.

— Дитя, дитя,— сказал он,— не хлопочи о невозможном. Будь это кто другой из моих детей, я мог бы еще снести удар терпеливо, но мой маленький лепетун, любовь и утеха моих преклонных лет... чтобы он, бедный крошка, был выхвачен из жизни, едва ступив на ее порог! Самый милый, самый послушный мальчик, никогда ничем не огорчивший меня! Только сегодня утром я дал ему урок по «Quæ Genus»[1]. Вот она, эта книга, по ней бы он учился, бедное дитя! Теперь она уже не нужна ему. Он был бы отличнейшим учеником и стал бы украшением церкви... Никогда не встречал я таких способностей и такой доброты в столь юном существе.

— И какой он был красивый мальчик! — говорит миссис Адамс, очнувшись от обморока на руках у Фанни.

— Мой бедный Джекки, неужели я тебя больше никогда не увижу! — восклицает пастор.

— Увидите, конечно,— говорит Джозеф,— но не здесь, а на небесах: вы встретитесь там, чтобы больше никогда не разлучаться.

Пастор, верно, не расслышал этих слов, так как не обратил на них большого внимания; он продолжал сетовать, и слезы скатывались ему на грудь. Наконец, он вскричал: «Где мой мальчик?» и кинулся было за порог, когда, к его великому изумлению и радости, которую, надеюсь, читатель с ним разделит, он встретил бегущего к нему сына, правда вымокшего насквозь, но живого и невредимого. Человек, принесший известие о несчастии, проявил излишнее рвение — как это бывает иногда с людьми — из не очень, мне кажется, похвального пристрастия к передаче дурных вестей: увидев, как мальчик упал в реку, он, чем бы кинуться ему на помощь, помчался сообщать отцу об участи ребенка, которая представилась ему неизбежной, но от которой мальчика спас тот самый коробейник, что раньше вызволил его отца из менее страшной беды. Радость пастора была столь же бурной, как перед тем его горе; он тысячу раз принимался целовать и обнимать сына и плясал по комнате, как умалишенный; когда же он увидел и узнал своего старого

[1] Раздел о различии родов в латинской грамматике.

друга коробейника и услышал о его новом благодеянии, какие испытал он чувства? О, не те, что испытывают два царедворца, заключая друг друга в объятия; и не те, с какими знатный человек принимает подлых, вероломных исполнителей своих злых намерений; и не те, с какими недостойный младший брат желает старшему радости в сыне * или с каким человек поздравляет своего соперника, добившегося любовницы, места или почести. Нет, читатель, он чувствовал кипение, восторг переполненного честного, открытого сердца, рвущегося к человеку, оказавшему ему доподлинные благодеяния; и если ты не можешь сам постичь сущность этих чувств, то я не стану понапрасну стараться помочь тебе в этом.

Когда все треволнения улеглись, пастор, отведя Джозефа в сторону, стал продолжать таким образом:

— Да, Джозеф, не поддавайся чрезмерно своим страстям, если ждешь счастья в жизни.

У Джозефа, как это могло бы статься и с Иовом, иссякло терпение, он перебил пастора, говоря, что легче давать советы, чем следовать им; и что он-де не заметил, чтобы сам мистер Адамс одержал над собою столь полную победу, когда думал, что потерял своего сына или когда узнал, что мальчик спасен.

— Юноша,— ответил Адамс, возвышая голос,— желторотому не подобает поучать седовласого. Ты не ведаешь нежности отцовской любви; когда ты станешь отцом, только тогда ты будешь в состоянии понять, что может чувствовать отец. Нельзя требовать от человека невозможного; утрата дитяти есть одно из тех великих испытаний, в которых нашему горю дозволено быть неумеренным.

— Отлично, сэр,— восклицает Джозеф,— и если я люблю женщину так же сильно, как вы свое дитя, то, конечно, ее утрата причинит мне равную скорбь.

— Да; но такая любовь неразумна, дурна сама по себе, и ее следует преодолевать,— отвечает Адамс,— она слишком отдает плотским вожделением.

— Однакоже, сэр,— говорит Джозеф,— нет греха в том, чтобы любить свою жену и дорожить ею до безумия!

— Нет, есть,— возражает Адамс,— человек должен любить свою жену, несомненно, это нам заповедано; но мы должны любить ее с умеренностью и скромностью.

— Боюсь, я окажусь повинен в некотором грехе, невзирая на все мои старания,— говорит Джозеф,— потому что я буду, конечно, любить без всякой меры.

— Ты говоришь неразумно, как ребенок! — восклицает Адамс.

— Напротив,— говорит миссис Адамс, которая прислушивалась к последней части их беседы,— вы сами говорите неразумно. Надеюсь, дорогой мой, вы никогда не станете проповедовать такой бессмыслицы, будто мужья могут слишком

сильно любить своих жен. Когда бы я узнала, что в доме у вас лежит такая проповедь, я бы ее непременно сожгла; и заявляю вам, не будь я уверена, что вы меня любите всем сердцем, то я вас ненавидела и презирала бы — уж в этом я за себя отвечаю! Вот еще тоже! Прекрасное учение! Нет, жена вправе требовать, чтобы муж любил ее, как только может; и тот грешник и мерзавец, кто не любит так свою жену. Разве он не обещал любить ее, и тешить, и лелеять, и все такое? Право же, я все это помню еще, как если бы только вчера затвердила, и никогда не забуду. Впрочем, я знаю наверно, что на деле вы не следуете тому, что проповедуете, потому что вы были для меня всегда любящим и заботливым мужем, уж это-то правда; и мне невдомек, к чему вы только стараетесь вбить в голову молодому человеку такой вздор! Не слушайте вы его, мистер Джозеф, будьте таким хорошим мужем, каким только можете, и любите свою жену всем телом и всей душой.

Тут сильный стук в дверь положил конец их спору и возвестил начало новой сцены, которую читатель найдет в следующей главе.

ГЛАВА IX

Визит, нанесенный пастору доброй леди Буби и ее благовоспитанным другом

Как только леди Буби услышала от джентльмена рассказ о его встрече возле дома с удивительной красавицей и заметила, с каким восторгом он говорит о ней, она, тотчас заключив, что то была Фанни, стала обдумывать, как бы познакомить их поближе, и в ней загорелась надежда, что богатое платье молодого человека, подарки и посулы побудят девушку оставить Джозефа. Поэтому она предложила гостям прогуляться перед обедом и повела их к дому мистера Адамса. Дорогой она предложила своим спутникам позабавить их одним из самых смешных зрелищ на земле, а именно — видом старого глупого пастора, который, сказала она со смехом, содержит жену и шестерых своих отпрысков на нищенское жалованье — около двадцати фунтов в год; и добавила, что во всем приходе не найдется семьи, которая ходила бы в худших отрепьях. Все охотно согласились на этот визит и прибыли в то самое время, когда миссис Адамс говорила свою речь, приведенную нами в предыдущей главе. Дидаппер — так звали молодого франта, которого мы видели подъезжавшим верхом к дому леди Буби,— постучал тростью в дверь, подражая стуку лондонского лакея. Все, кто находился в доме, то есть Адамс, его жена, трое детей, Джозеф, Фанни и коробейник, были повергнуты в смущение этим стуком; но Адамс подошел прямо к двери и, впустив леди

Буби со всем ее обществом, отвесил им около двухсот поклонов, а его жена сделала столько же реверансов, говоря при этом гостье, что «ей стыдно встречать ее в таком затрапезном платье» и что «в доме у нее такой беспорядок», но если бы она ждала такой чести, то ее милость застала бы ее в более приличном виде. Пастор не стал извиняться, хотя на нем была его ободранная ряска и фланелевый ночной колпак. Он сказал, что «сердечно приветствует их в своем бедном доме», и, обратившись к мистеру Дидапперу, воскликнул:

Non mea renidet in domo lacunar[1].

Франт ответил, что он не понимает по-валлийски; пастор только поглядел на него с изумлением и ничего не сказал.

Мистер Дидаппер, прельстительный Дидаппер, был молодой человек ростом около четырех футов пяти дюймов. Он носил собственные волосы, хотя они были у него такими жидкими, что не грех ему было бы и надеть парик. Лицо у него было худое и бледное; туловище и ноги не наилучшей формы, так как его плечи были очень узки, икры же отсутствовали; а его поступь скорее можно было бы назвать поскоком, нежели походкой. Духовные его достоинства вполне отвечали этому внешнему виду. Мы определим их сперва по отрицательным признакам. Он не был полным невеждой, ибо умел поговорить немного по-французски и спеть две-три итальянские песенки; он слишком долго вращался в свете, чтобы быть застенчивым, и слишком много бывал при дворе, чтобы держаться гордо; он, видимо, не был особенно скуп — так как тратил много денег; и не замечалось в нем всех черт расточительности — ибо он никогда не дал никому ни шиллинга... Не питал ненависти к женщинам; он всегда увивался около них, но при этом был так мало привержен к любострастию, что среди тех, кто знал его ближе, слыл очень скромным в своих наслаждениях. Не любил вина и так мало склонен был к горячности, что два-три жарких слова противника тотчас охлаждали его пыл.

Теперь дадим две-три черточки положительного свойства. Будучи наследником огромного состояния, он все же предпочел из жалких и грязных соображений, касавшихся одного незначительного местечка, поставить себя в полную зависимость от воли человека, именуемого важным лицом; и тот обходился с ним до крайности неуважительно, требуя при этом от него послушания всем своим приказам, которым молодой человек беспрекословно подчинялся, поступаясь совестью, честью и благом родной страны, где ему принадлежали столь обширные земли. В довершение характеристики скажем: он был вполне доволен собственной своей особой и своими дарованиями, но очень любил высмеивать всякое несовершенство в других. Та-

[1] Мой дом не блистает резным потолком *(лат.)*. (Из Горация.)

кова была маленькая личность — или, лучше сказать штучка,— впорхнувшая вслед за леди Буби в кухню мистера Адамса.

Пастор и его друзья отступили от очага, вокруг которого они сидели, и освободили место для леди и ее свиты. Не отвечая на реверансы и чрезвычайную учтивость миссис Адамс, леди, повернувшись к мистеру Буби, воскликнула: «Quelle bête! Quel animal!» [1] А увидев Фанни, которую она распознала бы, даже если б девушка не стояла рядом с Джозефом, она спросила франта, не находит ли он эту юную особу прехорошенькой.

— Черт возьми, сударыня,— ответил франт,— это та самая девица, которую я встретил!

— Я и не подозревала,— промолвила леди,— что у вас такой хороший вкус.

— Потому, конечно, что вы мне никогда не нравились! — воскликнул прельстительный Дидаппер.

— Ах, шутник! — сказала она.— Вы же знаете, что я всегда питала к вам отвращение.

— С таким лицом,— сказал франт,— я не стал бы говорить об отвращении; моя дорогая леди Буби, умойте свое лицо перед тем, как говорить об отвращении, заклинаю вас [2].— Тут он рассмеялся и принялся любезничать с Фанни.

Все это время миссис Адамс просила и умоляла дам, чтоб они сели,— и, наконец, добилась этой милости. Так как маленький мальчик, с которым произошло несчастье, все еще сидел у огня, мать выбранила его за невежливость, но леди Буби взяла его под защиту и, хваля его красоту, сказала пастору, что сын прямо-таки его портрет.

Увидев затем в руках у мальчика книжку, она спросила, умеет ли он читать.

— Да,— сказал Адамс,— он уже немного знает латынь, сударыня, и недавно приступил к «Quæ Genus».

— Да ну их, ваших квагензов,— ответила леди,— пусть он мне почитает по-английски.

— Lege, Дик *, lege,— сказал Адамс; но мальчик ничего не отвечал, пока не увидел, что пастор сдвинул брови; тогда он прохныкал:

— Я не понимаю, отец.

— Что ты, мальчик! — говорит Адамс.— Как будет повелительное наклонение от «lego»? «Legito», не так ли?

— Да,— отвечает Дик.

— А еще как? — говорит отец.

— Lege,— выговорил сын после некоторого колебания.

— Умница! — говорит отец.— А по-английски, дитя мое, что означает «lege»?

---

[1] Какое животное! *(франц.)*

[2] Дабы некоторым читателям не показалось это неестественным, мы полагаем нужным сообщить, что оно взято verbatim из одного вполне светского разговора. *(Прим. автора.)*

Мальчик долго молчал в смущении и ответил, наконец, что не знает.

— Как! — вскричал Адамс, рассердившись.— Или водой смыло все твои знания? Как перевести на латынь глагол «читать»? Подумай, потом говори.

Ребенок некоторое время думал, затем пастор два-три раза произнес:

— Le... le...

— Lego,— ответил Дик.

— Очень хорошо! Ну, а на наш язык,— говорит пастор,— как перевести глагол «lego»?

— Читать! — воскликнул Дик.

— Отлично,— сказал пастор,— умница! Ты сможешь хорошо учиться, если будешь прилагать старания... Знаете, ваша милость, ему только восемь лет с небольшим, а он уже прошел «Propria quae maribus»... [1] Ну, Дик, почитай ее милости.

И так как леди, желая дать франту время и возможность похлопотать около Фанни, подтвердила свою просьбу, Дик начал читать, а что — покажет следующая глава.

ГЛАВА X

История двух друзей, которая может послужить полезным уроком для всех, кому случилось поселиться в доме у супружеской четы

— «Леонард и Поль были друзьями...»

— Произноси «Ленард», дитя,— перебил пастор.

— Прошу вас, мистер Адамс,— говорит леди Буби,— не перебивайте мальчика, пусть читает.

Дик продолжал:

— «Ленард и Поль были друзьями; они совместно получили образование в одной и той же школе, где и завязалась у них взаимная дружба, которую они долго сохраняли. Она так глубоко запала в души им обоим, что продолжительная разлука, во время которой они не поддерживали переписки, не могла искоренить ее или ослабить; напротив, она ожила со всею силой при первой же их встрече, случившейся только через пятнадцать лет. Большую часть этого времени Ленард провел в Ост-Индии...»

— Произноси: «Ост-Индия»,— говорит Адамс.

— Прошу вас, сэр, помолчите,— говорит леди.

Мальчик продолжал:

---

[1] «То, что свойственно морям» *(лат.)*.

— «...в Ост-Индии, меж тем как Поль служил в армии своему королю и отечеству. На этих двух различных поприщах они встретили столь различный успех, что Ленард был теперь женат и вышел в отставку, располагая состоянием в тридцать тысяч фунтов; а Поль дослужился лишь до звания капитана пехоты и не имел за душою ни шиллинга.

Случилось так, что полк, в котором служил Поль, получил приказ стать на квартиры неподалеку от имения, приобретенного Ленардом. Этот последний, ставший теперь землевладельцем и мировым судьей, приехал на сессию суда в тот город, где стоял на постое его старый друг,— вскоре по его приезде туда. По какому-то делу, касавшемуся одного солдата, Полю случилось зайти в суд. Возмужалость, время, действие чужого климата так сильно изменили Ленарда, что Поль сначала не признал давно знакомые черты; но не так было с Ленардом: он узнал Поля с первого взгляда и, не сдержавшись, вскочил со скамьи и бросился его обнимать. Поль стоял сперва несколько смущенный, но друг быстро разъяснил недоразумение; и, вспомнив его, офицер тотчас ответил на объятия с горячностью, которая у многих зрителей вызвала смех, а кое в ком пробудила более высокое и приятное чувство.

Не буду задерживать читателя мелкими подробностями и скажу только, что Ленард стал просить друга в тот же вечер поехать вместе с ним к нему в имение. Просьба эта была уважена, и Поль получил от своего командира отпуск на целый месяц.

Если что-либо на свете могло еще увеличить счастье, ожидаемое Полем от посещения друга, то он получил это добавочное удовольствие, когда, прибыв в его дом, узнал в его жене свою старую знакомую, с которой встречался он раньше на зимних квартирах и которая всегда казалась женщиной самого приятного нрава. Такая слава установилась за нею среди всех ее близких, так как она принадлежала к той породе дам, каждая представительница которой именуется лучшей женщиной на свете.

Но как ни мила была эта дама, она все же была женщиной; иначе говоря, ангелом и не ангелом...»

— Ты, верно, ошибся, дитя,— воскликнул пастор,— ты прочел бессмыслицу.

— Так сказано в книге,— ответил сын.

Мистера Адамса властно призвали к молчанию, и Дик продолжал:

— «Ибо, хотя по внешности она заслуживала наименования ангела, но в душе своей она была вполне женщиной. И самым примечательным и, может быть, самым губительным признаком этого служило присущее ей в высокой степени упрямство.

Прошло дня два с прибытия Поля, прежде чем проявились эти признаки, но скрывать их дольше оказалось невозможным.

И она и ее муж вскоре перестали стесняться присутствием друга и возобновили свои споры с прежним рвением. Споры эти велись с крайним пылом и нетерпением, из-за какого бы пустяка ни возникали они первоначально. И пусть это покажется неправдоподобным, но самая маловажность предмета спора часто выставлялась оправданием упорства спорящих, как, например:

— Если бы вы меня любили, вы бы, конечно, никогда не стали спорить со мной по такому пустяку.— Ответ вполне ясен, ибо этот довод применим обоюдно; и он неизменно влек за собой несколько более подчеркнутое возражение, вроде такого:

— Смею вас уверить, у меня больше основания это говорить, так как правы все-таки не вы.

Во время таких споров Поль всегда соблюдал строгое молчание и сохранял неизменным выражение лица, не склоняясь видимо ни на ту, ни на другую сторону. Но все же однажды, когда супруга в сильной ярости вышла из комнаты, Ленард не удержался и стал искать суда у своего друга.

— Видал ли ты,— говорит он,— существо, более неразумное, чем эта женщина? Что мне с нею делать? Я души в ней не чаю и ни на что не могу пожаловаться в ее нраве, кроме как на это упрямство; что бы она ни заявила, она будет это утверждать против всех на свете доводов и правды. Прошу тебя, дай мне совет.

— Прежде всего,— говорит Поль,— я скажу тебе напрямик, что ты не прав, потому что, допустим даже, что она ошибается, разве предмет вашего спора был сколько-нибудь существенным? Что за важность, венчался ли ты в красном жилете или в желтом? Об этом ведь был ваш спор. Итак, допустим, она ошиблась; раз ты говоришь, что любишь ее так нежно — а я думаю, она заслуживает самой нежной любви,— разве не разумней уступить, хотя бы ты и сознавал свою правоту, чем доставлять и ей и себе неприятность? Я лично, если когда-нибудь женюсь, непременно заключу с женой соглашение, что во всех наших спорах (особенно же в спорах по пустякам) та сторона, которая более убеждена в своей правоте, всегда должна уступить победу другой; таким образом, мы оба будем наперебой отступаться от своих утверждений.

— Признаюсь,— сказал Ленард,— дорогой мой друг,— и тут он потряс ему руку,— в твоих словах много правильного и разумного, и я постараюсь в будущем следовать твоему совету.— Они прервали вскоре разговор, и Ленард, пройдя к своей жене, попросил у ней прощения и сказал, что друг разъяснил ему, как он не прав. Она тут же пустилась в пространные восхваления Поля, в которых муж ей вторил, и оба согласились, что Поль самый достойный и самый умный человек на земле. При следующей встрече, за ужином, она, хоть и пообещала не упоминать о том, что рассказал ей муж, не могла не бросать на Поля самые добрые и ласковые взгляды и

сладчайшим голосом спросила, не разрешит ли он положить ему кусочек жареного дупеля.

— Жареной куропатки, дорогая моя, так вы хотели сказать? — говорит муж.

— Дорогой мой,— говорит жена,— я спрашиваю вашего друга, не скушает ли он жареного дупеля; и уж, верно, я знаю, раз я сама жарила дичь!

— Думается мне, я тоже знаю, раз я сам ее подстрелил,— возражает муж,— я твердо знаю, что не видел за весь год ни одного дупеля; однако хоть я и знаю, что я прав, я покоряюсь — и пусть жареная куропатка будет жареным дупелем, если так вам угодно.

— Мне все равно,— говорит жена,— куропатка ли это, или дупель, но вы своими доводами способны свести человека с ума! В собственном мнении вы, конечно, всегда правы, но ваш друг, я полагаю, знает, что он ест.

Поль ничего не ответил, и спор продолжался, как обычно, почти весь вечер. На следующее утро леди, встретив случайно Поля и будучи уверена, что он ей друг и держит ее сторону, приступила к нему с такими словами:

— Я уверена, сэр, что вас уже давно удивляет неразумие моего супруга. Правда, в других отношениях он прекрасный человек, но он так упрям, что только женщина такого покладистого нрава, как я, уживется с ним. Вот хотя бы вчера,— как может человек быть таким нерассудительным!.. Я уверена, что и вы его не одобряете. Прошу вас, ответьте, разве не был он неправ?

После короткого молчания Поль ответил так:

— Извините, сударыня, но если благовоспитанность побуждает меня отвечать наперекор моему желанию, то приверженность к истине вынуждает меня объявить вам, что я другого мнения. Говоря просто и честно, вы были совершенно неправы; предмет, по-моему, не стоил обсуждения, но птица была, несомненно, куропаткой.

— О сэр,— ответила леди,— я бессильна, если вкус вводит вас в обман.

— Сударыня,— возразил Поль,— это совершенно не существенно; даже будь это не так, муж ваш вправе был ожидать от вас уступчивости.

— Вот как, сэр,— говорит она.— Уверяю вас...

— Да, сударыня! — воскликнул он.— Вправе — от такой разумной женщины, как вы; и, позвольте мне сказать это вам: такое снисхождение показало бы превосходство вашего разумения даже над разумением вашего супруга.

— Но, дорогой сэр,— сказала она,— зачем я буду уступать, когда я права?

— По этой самой причине,— ответил Поль. — Это будет наилучшим проявлением вашей нежности к нему; кто же в

большей мере заслуживает нашего сострадания, как не любимый нами человек, когда он не прав?

— Да,— сказала она,— но я стараюсь вразумить его.

— Извините меня, сударыня,— ответил Поль,— но я взываю к собственному вашему опыту: разве когда-нибудь ваши доводы его убеждали? Чем ошибочней наше суждение, тем меньше мы склонны сознаваться в этом. Я, со своей стороны, всегда наблюдал, что те, кто утверждает в споре неверное, всегда горячатся сильнее.

— Что ж,— говорит она,— признаюсь, в ваших словах есть доля истины; и я постараюсь руководствоваться ими впредь.

Тут вошел муж, и Поль удалился. А Ленард, с благодушным видом подойдя к жене, сказал ей, что он сожалеет об их глупом споре за вчерашним ужином; сейчас он убедился, что был неправ. Жена, улыбаясь, ответила, что его уступка, думается ей, вызвана его снисходительностью, что ей стыдно, сколько слов наговорила она по такому глупому поводу,— тем более что теперь она уверилась в своей ошибке. Последовало небольшое соревнование, но с полной взаимной доброжелательностью, и в заключение жена сказала мужу, что Поль убедительно доказал ей, что она не права. После этого они в один голос принялись хвалить своего общего друга.

Поль теперь проводил дни свои в полной приятности: споры стали куда реже и короче, чем раньше. Но черт или несчастная случайность, в которой, может быть, черт не был нисколько замешан, вскоре положил конец его благоденствию. Гость стал своего рода тайным судьей по каждому разногласию; и, думая, что ему удалось утвердить принцип уступчивости, он не совестился при каждом споре уверять тайком обоих в их правоте, как раньше прибег он к обратному способу. Один раз в его отсутствие возникло между супругами сильное словопрение, и обе стороны решили передать свой спор на его суд — причем муж заявил, что решение будет, несомненно, в его пользу; а жена ответила, что он может обмануться в своем ожидании, потому что его друг, наверно, успел убедиться, как редко вина падала на нее... и если б только он все знал!..

Супруг ответил:

— Моя дорогая, я не хочу разбираться в старых наших спорах, но, я думаю, если бы вы тоже знали все, вы бы не воображали, что мой друг всегда на вашей стороне.

— Ну, нет,— говорит она,— раз уж вы меня на это вызвали, то я упомяну об одной только вашей ошибке. Помните, вы поспорили со мной о том, нужно ли посылать Джекки в школу, когда стоят холода; так вот — я вам тогда уступила только по снисходительности, хоть и знала сама, что я права; и Поль сам сказал мне потом, что и он так считает.

— Моя дорогая,— возразил супруг,— я не беру под сомнение вашу правдивость, но торжественно вас заверяю: когда я

обратился к Полю, он принял всецело мою сторону и сказал, что поступил бы точно так же.

Тогда они принялись разбирать бессчетные другие примеры, и обнаружилось, что во всех случаях Поль, под великим секретом, высказывался в пользу каждой из сторон. В заключение, поверив друг другу, муж и жена жестоко обрушились на предательское поведение Поля и согласно решили, что он был причиной чуть ли не всех споров, какие возникали между ними. После этого они стали необычайно нежны друг к другу и так взаимно уступчивы, что соревновались между собою в осуждении собственных поступков и дружно изливали свое негодование на Поля; а жена, опасаясь кровавого исхода, стала даже настойчиво уговаривать мужа, чтоб он спокойно дал другу своему уехать от них на другой день,— поскольку к этому дню истекал срок его отпуска,— и затем порвал с ним знакомство.

Такое поведение может показаться неблагодарностью со стороны Ленарда, однако жена (хоть и не без труда) добилась от него обещания последовать ее совету. Оба они проявили в этот день необычную холодность к гостю, и Поль, наделенный тонкой чувствительностью, отвел Ленарда в сторону и так насел на него, что тот в конце концов открыл секрет. Поль признался в правде, но разъяснил притом, в каких намерениях он так себя вел. Ленард ответил на это, что Полю, как истинному другу, следовало бы посвятить его своевременно в свой план: он ведь мог не сомневаться в его умении соблюдать тайну! Поль ответил на это с некоторым возмущением, что Ленард достаточно показал, действительно ли он умеет что-нибудь скрывать от жены. Ленард возразил с некоторой горячностью, что у него больше оснований к упрекам, потому что он, Поль, сам вызвал большую часть споров между ними своим нелепым поведением, и не открой они с женой друг другу, как обстояло дело, то Поль мог бы стать виновником их разрыва. Поль на это возразил...»

Но тут случилось нечто, что заставило Дика прервать чтение и о чем мы расскажем в следующей главе.

ГЛАВА XI,

в которой история идет дальше

Джозеф Эндрус с большим трудом терпел дерзкое поведение Дидаппера, разговаривавшего с Фанни очень вольно и предлагавшего ей содержание, но уважение к обществу удерживало его от вмешательства, покуда франт давал волю только своему языку; однако франт, улучив минуту, когда взоры дам оказались направлены в другую сторону, позволил себе грубое прикосновение к девице руками; и Джозеф, как только это

увидел, тотчас угостил франта такою звонкой пощечиной, что тот очутился в нескольких шагах от того места, где сидел. Дамы завизжали, вскочили со стульев, а франт, как только оправился, обнажил свой кортик; Адамс же, увидев это, схватил левой рукой крышку от печного горшка и, прикрываясь ею, как щитом, без всякого наступательного оружия в другой руке стал впереди Джозефа, принимая на себя всю ярость франта, извергавшего такие проклятия и угрозы, что женщины в испуге сбились в кучу, теряя рассудок от одних лишь его воплей о мести. Но Джозеф был не из трусливых и просил Адамса дать противнику сразиться с ним, потому что у него-де в руке отличная дубинка и враг ему не страшен. Фанни в обмороке упала на руки миссис Адамс, и в комнате был уже полный переполох, когда мистер Буби, шагнув мимо Адамса, притаившегося за своею крышкой от горшка, подошел к Дидапперу и настоял, чтобы тот вложил кортик в ножны, обещая, что ему будет дано удовлетворение; на что Джозеф заявил, что он готов и будет драться любым оружием. Франт спрятал свой кортик, достал из кармана зеркальце и, не переставая взывать о мести, стал приглаживать волосы; пастор отложил свой щит, а Джозеф, подбежав к Фанни, быстро привел ее в чувство. Леди Буби побранила Джозефа за оскорбление, нанесенное им Дидапперу, но Джозеф ответил, что за такое дело он пошел бы в атаку на целый полк.

— За какое дело? — спросила леди.

— Сударыня,— ответил Джозеф,— он был груб с этой молодою женщиной.

— Как,— говорит леди,— мне кажется, он хотел поцеловать девицу; разве нужно бить джентльмена за такое намерение? Я должна сказать вам, Джозеф, подобные манеры вам не к лицу.

— Сударыня,— сказал мистер Буби,— я видел все, что произошло, и я не одобряю поведения моего брата: потому что я не понимаю, что дает ему основание выступать защитником этой девицы.

— А я одобряю,— говорит Адамс,— он храбрый юноша; каждому мужчине подобает выступать защитником невинности; и подлейшим трусом будет тот, кто не заступится за женщину, с которой он готовится вступить в брак.

— Сэр,— говорит мистер Буби,— мой брат неподходящая партия для такой девушки, как эта.

— Да,— говорит леди Буби,— и вы, мистер Адамс, поступаете несообразно с вашим саном, поощряя подобные дела; меня очень удивляет, что вы об этом хлопочете. Я думаю, вам больше подобало бы отдавать ваши заботы жене и детям.

— В самом деле, сударыня, ваша милость говорят истинную правду,— отозвалась миссис Адамс,— он несет несусветный вздор, говорит, будто весь приход — его дети. Право, я не по-

нимаю, что он при этом разумеет; иная жена могла бы заподозрить, что он предался распутству; но в этом я его никак не обвиняю: я тоже умею читать писание — не хуже его, и ни разу я там не вычитала, что пастор обязан кормить чужих детей; а он к тому же всего-навсего бедный сельский священник, и у него, как вашей милости известно, не хватает средств даже и на нас с детьми.

— Вы говорите превосходно, миссис Адамс,— изрекла леди Буби, до того не удостоившая пасторшу ни единым словом,— вы, как видно, очень разумная женщина; и, уверяю вас, ваш муж ведет себя очень глупо и действует против собственного интереса, потому что моему племяннику этот брак крайне неприятен; и в самом деле, я не могу порицать за это мистера Буби: партия эта совершенно неприемлема для нашей семьи!

Леди продолжала в том же роде, обращаясь к миссис Адамс, в то время как франт прыгал по комнате, тряся головой — отчасти от боли, отчасти со злобы; а Памела бранила Фанни за ее самонадеянные попытки поймать в сети такого жениха, как ее, Памелы, брат. Бедная Фанни отвечала только слезами, которые уже давно начали увлажнять ее косынку; и Джозеф, увидев это, взял свою невесту под руку и увел ее, поклявшись, что не станет признавать родственниками людей, враждебных той, которую он любит больше всех на свете. Он вышел, поддерживая Фанни левой рукой и размахивая дубинкой в правой,— и ни мистер Буби, ни франт не почли нужным остановить его. Леди Буби и ее сопровождающие оставались после этого в доме очень недолго: колокол Буби-холла уже звал их переодеваться, на что у них едва достало времени до обеда.

Адамс, казалось, был сильно удручен, и, видя это, его жена прибегла к обычному матримониальному бальзаму. Она ему сказала, что не зря он огорчается: потому что он, как видно, погубил всю семью дурацкими своими выходками; но, может быть, он горюет об утрате двух своих детей, Джозефа и Фанни?

Тут вступила в разговор и его старшая дочь:

— В самом деле, отец, это очень жестоко — приводить сюда посторонних, чтобы они вырывали хлеб из рта у ваших детей... Вы держите их у себя с того часа, как они вернулись в приход, и, судя по всему, намерены продержать еще добрый месяц; разве вы обязаны кормить ее за то, что она красавица? Я, впрочем, не вижу, чтоб она была красивей других. Если бы людей кормили за красоту, вряд ли бы жилось ей лучше, чем ее ближним... Против мистера Джозефа я ничего не могу сказать — он молодой человек честных правил и заплатит со временем за все, что получает. Но эта девица!.. Почему она не возвращается туда, откуда сбежала? Будь у меня денег миллион, я не дала бы такой бесстыжей бродяжке ни полпенни, нипочем не дала бы, хоть умирай она с голоду!..

— А я дал бы,— закричал маленький Дик,— и я не хочу, отец, чтобы бедная Фанни умирала с голоду; лучше я отдам ей весь этот хлеб и сыр.— И он протянул ломоть, который держал в руке.

Адамс улыбнулся мальчику и сказал, что рад видеть в нем доброго христианина и что, будь у него в кармане полпенни, он дал бы их ему; и добавил, что долг велит нам во всех своих ближних видеть братьев и сестер и любить их соответственно.

— Да, папа,— говорит Дик,— и я ее люблю больше даже, чем моих сестер: потому что она красивей их всех.

— Красивей? Ах ты наглый мальчишка! — говорит сестра и отпускает Дику оплеуху, за которую отец, вероятно, отчитал бы ее, если бы в эту минуту не вернулись в комнату коробейник, Джозеф и Фанни. Адамс велел жене приготовить им чего-нибудь на обед. Жена ответила, что никак не может, у нее есть другие дела. Адамс укорил ее за прекословие и привел много текстов из писания в доказательство тому, что муж — глава над женою и жена должна ему покоряться и повиноваться. Пасторша ответила, что это кощунство — говорить словами писания вне церкви, что такие вещи хорошо проповедовать с кафедры, а поминать их в обыденном разговоре — надругательство. Джозеф объяснил мистеру Адамсу, что пришел не затем, чтобы доставлять хлопоты ему или миссис Адамс: он просит всю компанию оказать ему честь пойти с ним к «Джорджу» (деревенский кабачок), где он заказал им на обед ветчину с приправой из овощей. Миссис Адамс, добрейшая женщина, хоть, пожалуй, и слишком бережливая, охотно приняла приглашение; пастор последовал ее примеру; и они отправились все вместе, прихватив с собой и маленького Дика, которому Джозеф дал шиллинг, когда услышал, какую щедрость мальчик хотел проявить по отношению к Фанни.

ГЛАВА XII,

из которой добросердечный читатель узнает нечто такое, что не доставит ему большого удовольствия

Коробейник, как только услышал, что большой дом в приходе принадлежит леди Буби, пустился в расспросы и узнал, что она вдова сэра Томаса и что сэр Томас откупил Фанни ребенком трех-четырех лет у одной женщины бродяги; и теперь, когда их скромная, но дружеская трапеза закончилась, он сказал Фанни, что, пожалуй, может сообщить ей, кто ее родители. Все сотрапезники и особенно сама Фанни встрепенулись при этих словах коробейника. Они напрягли все свое внимание, и он продолжал так:

— Хоть я теперь добываю свой хлеб таким скромным занятием, раньше я был джентльменом; так по крайней мере именовались лица моей профессии. Короче говоря, я был барабанщиком в Ирландском пехотном полку. Когда я занимал этот почетный пост, мне случилось сопровождать офицера нашего полка в Англию для вербовки новобранцев. По пути из Бристоля во Фрум (со времени упадка овцеводства сукнодельческие города поставляли в армию большое число рекрутов) мы нагнали на дороге женщину лет тридцати или около того, не очень красивую,— но для солдата она была достаточно хороша. Когда мы с нею поровнялись, она приноровила к нам свой шаг и, разговорившись с нашими дамами (в отряде все, кроме меня,— то есть сержант, двое рядовых и еще один барабанщик,— имели при себе женщин), продолжала путешествие с нами вместе. Я, смекнув, что она может достаться на мою долю, подошел к ней, полюбезничал с ней на наш военный лад и быстро достиг успеха. Пройдя с милю, мы с ней поладили и жили с тех пор вместе, как муж и жена, до ее смертного часа.

— Полагаю,— говорит, перебивая его, Адамс,— вы поженились по лицензии: я не вижу, как могло бы осуществиться для вас церковное оглашение, коль скоро вы переходили непрестанно с места на место.

— Да, сэр,— сказал коробейник,— мы разрешили себе спать в одной постели без церковного оглашения.

— Что ж,— молвил пастор,— ex necessitate[1] допустима и лицензия; но, несомненно, несомненно, первый способ правильней и предпочтительней.

Коробейник продолжал так:

— Она вернулась со мною в наш полк и переходила вместе с нами с квартир на квартиры, пока, наконец, когда мы стояли в Галловее, не схватила лихорадку, от которой и умерла. На смертном своем одре она призвала меня к себе и, горько плача, сказала, что не может сойти в могилу, не открыв мне одной тайны, которая, по ее словам, была единственным грехом, тяжко лежавшим у нее на сердце. Она рассказала, что странствовала раньше с толпой цыган, занимавшихся кражей детей; что сама она только раз виновна была в таком преступлении; о нем сокрушалась она больше, чем о всех других своих грехах, так как этим она, быть может, причинила смерть родителям ребенка. «Потому что,— добавила она,— почти невозможно описать красоту малютки, которую я похитила, когда ей было года полтора. Мы продержали ее у себя без малого два года, и я потом сама продала ее за три гинеи сэру Томасу Буби в Сомерсетшире...» Ну, а вы знаете сами, многие ли в графстве носят это имя.

— Да,— говорит Адамс,— у нас есть несколько Буби, но те

---

[1] По необходимости *(лат.)*.

все сквайры, а баронета Буби среди живых сейчас нет ни одного; к тому же это так все точно сходится, что не остается места для сомнений; но вы забыли назвать нам родителей, у которых было похищено дитя.

— Их фамилия,— ответил коробейник,— Эндрус. Жили они в тридцати милях от сквайра; и покойница моя сказала, что я непременно смогу отыскать их по одному признаку: у них была еще одна дочка с очень странным именем — Памила или Памела; одни выговаривают так, другие иначе.

Фанни, изменившаяся в лице при упоминании имени «Эндрус», теперь лишилась чувств; Джозеф побледнел; бедный Дикки разревелся; пастор упал на колени, вознося благодарственную молитву за то, что открытие сделано было ранее, чем свершился страшный грех кровосмешения; а коробейник, недоумевая, гадал и не мог разгадать причину всего этого смятения, покуда ему не открыла ее, наконец, пасторская дочка, которая одна только оставалась безучастной (ее мать усердно хлопотала подле Фанни, растирая девушке виски): сказать по правде, Фанни была единственным существом на свете, которое дочка пастора не пожалела бы в таком положении, в каковом, невзирая на все свое сострадание, мы оставим ее на время и нанесем визит леди Буби.

ГЛАВА XIII

Возвращаясь к леди Буби, мы узнаем кое-что о страшной борьбе в ее груди между любовью и гордостью, и о том, что произошло после нежданного открытия

Леди села со своими гостями обедать, но ничего не ела. Как только убрали со стола, она шепнула Памеле, что ей нездоровится, и попросила ее занять своего мужа и Дидаппера. Затем она поднялась в свою спальню, послала за Слипслоп и бросилась на постель в терзаниях бешенства, любви и отчаянья, не в силах сдерживать взрыв этих бурлящих страстей. Слипслоп подошла к ее кровати и спросила, как чувствует себя ее милость; но леди, вместо того чтобы открыть свои муки, как было ее намерение, пустилась в длинное восхваление красоты и добродетелей Джозефа Эндруса и под конец выразила сожаление, что столько нежности расточается понапрасну на такой презренный предмет, как Фанни! Слипслоп, отлично зная, чем унять ярость своей госпожи, принялась повторять (с преувеличением, если это мыслимо) все замечания миледи и в заключение воскликнула, как, мол, было бы хорошо, когда бы Джозеф был джентльменом и ей можно было бы увидеть свою госпожу в объятиях такого супруга. Тогда леди вскочила с кровати и, пройдясь два раза по комнате, промолвила с глу-

боким вздохом, что он, несомненно, осчастливил бы любую женщину.

— Ваша милость,— говорит на это Слипслоп,— были бы с ним счастливейшей женщиной на земле... Ну их совсем, обычаи и всякую такую чепуху! Не все ли равно, что скажут люди? Неужто я побоюсь скушать сладенькое, потому что люди могут назвать меня лакомкой? Надумай я выйти замуж за какого-нибудь мужчину, мне никто на свете не помешал бы. У вашей милости нет родителей, которые лезли бы со своей опекой наперекор вашим пассиям. К тому же он теперь принадлежит к семье вашей милости и такой же порядочный джентльмен, как всякий другой; и почему это женщина не может, как мужчина, делать что ей вздумается? Почему вашей милости не выйти замуж за брата, как ваш племянник женился на сестре? Будьте уверены, когда бы это было криминальным преступлением, я бы не стала склонять на него вашу милость.

— Но, дорогая Слипслоп,— ответила леди,— если бы даже я позволила себе уступить подобной слабости, на дороге стоит эта подлая Фанни, которую этот идиот... О, как я его ненавижу и презираю!

— Она-то? Эта безобразная жеманница? — вскричала Слипслоп.— Предоставьте ее мне... Ваша милость, вероятно, слышали, что Джозеф сцепился из-за нее с одним из слуг мистера Дидаппера? Так вот, его хозяин приказал им нынче вечером приволочь ее силой. И уж я позабочусь, чтоб у них в этом деле не было недостатка в помощниках. Я как раз разговаривала внизу с этим джентльменом, когда ваша милость послали за мной.

— Ступайте к нему,— говорит леди Буби,— ступайте сию же минуту: мистер Дидаппер, я думаю, недолго у нас прогостит. Сделайте все, что можете, потому что я твердо решила, что эта девчонка не войдет в нашу семью. Я, хоть мне и нездоровится, вернусь к гостям; но когда ее уволокут, дайте мне тотчас знать.

Слипслоп ушла, а ее госпожа принялась осуждать собственное свое поведение следующими словами:

— Что я делаю? Как я дала этой страсти незаметно заползти в мою грудь? Давно ли я решаюсь задавать себе такой вопрос?.. Выйти замуж за лакея! Безумие! Как мне после этого смотреть в глаза своим знакомым? Но я могу удалиться от них: удалиться с тем, в ком одном я полагаю больше счастья, чем может дать мне весь мир без него! Удалиться... чтобы непрестанно наслаждаться красотою, к созерцанию которой так тянется мое распаленное воображение; и утолять до предела каждую прихоть свою, каждое желание... О! И такою страстью горю я к лакею! Я презираю, ненавижу эту страсть!.. Но почему? Разве он не благороден, не мил, не ласков?.. Ласков —

но к кому? К самой подлой девке, к твари, которая не стоит того, чтобы я о ней думала! Неужели же он... Да, он ее предпочитает мне. Будь они прокляты, его совершенства, и ничтожное, низкое сердце, которое обладает ими, которое могло подло снизойти до этой жалкой девчонки и неблагодарно отвергнуть все почести, какие я ему оказываю! И я способна любить это чудовище? Нет, я вырву его образ из своей груди, растопчу его, отшвырну его ногой. Я растерзаю перед своим взором эти жалкие прелести, которые презираю теперь, потому что не хочу я, чтобы ненавистная мне потаскушка наслаждалась теми совершенствами, которые я отвергаю! Да, хотя сама я презираю его, хотя я оттолкнула бы его, если бы он с мольбою упал к моим ногам, не должна другая вкусить то блаженство, которое я презрела... Почему я говорю «блаженство»? Для меня это было бы несчастьем: пожертвовать своей репутацией, добрым именем, положением в обществе ради утоления низменного и дурного желания... Как ненавистна мне эта мысль! Насколько же наслаждение, порождаемое мыслями о добродетели и рассудительности, изысканней, чем жалкая приятность, проистекающая из порока и безумия! Куда я позволила увлечь меня этой нечистой, сумасбродной страсти, когда пренебрегла помощью рассудка? Рассудка, который выставил теперь предо мною мои желания в их подлинном виде и тотчас помог мне изгнать их. Да, я благословляю небо и свою гордость! Теперь я вполне победила эту недостойную страсть; и даже не будь на ее пути никаких препятствий, моя гордость презрела бы все наслаждения, какие могли бы проистечь из столь низменной, столь жалкой, столь подлой...

В это мгновение прибежала совсем запыхавшаяся Слипслоп и с чрезвычайным жаром воскликнула:

— О сударыня, я узнала поразительную новость! Лакей Том только что пришел от «Джорджа», где будто бы обедал со своей компанией Джозеф; и Том говорит, там появился какой-то чужой человек, который открыл, что Фанни и Джозеф — брат и сестра.

— Как, Слипслоп! — кричит в изумлении леди.

— Я не успела, сударыня, расспросить о подробностях,— кричит Слипслоп,— но Том говорит, что это истинная правда.

Неожиданная весть начисто стерла все те замечательные размышления, которые за минуту до того породила высшая власть рассудка. Иными словами, когда отчаянье, которым в сущности и вызвано было решение о ненависти, начало отступать, леди с минуту колебалась и затем, позабыв весь смысл недавнего своего монолога, опять отпустила домоправительницу с приказанием вызвать Тома в гостиную, куда леди и сама поспешила теперь, чтобы сообщить новость Памеле. Памела сказала, что не может этому поверить: она никогда не слышала, чтобы родители ее потеряли дочь или чтоб у них вообще когда-

либо был еще ребенок, кроме нее и Джозефа. Леди сильно вознегодовала на племянницу и заговорила о выскочках и непризнавании родства с теми, кто еще так недавно стоял с нею на одном уровне. Памела не отвечала; но муж ее, взяв ее сторону, сурово упрекнул свою тетку за такое обращение с его женой; он сказал, что, если бы не поздний час, Памела сию же минуту покинула бы ее дом; что если б можно было доказать, что эта молодая женщина действительно ей сестра, то жена его, без сомнения, охотно раскрыла бы ей свои объятия, и он сам поступил бы так же. Потом он попросил, чтобы послали за тем человеком и за молодой особой; и леди Буби тотчас отдала соответственное распоряжение, а затем почла нужным принести извинения Памеле, которые та охотно приняла,— и все улеглось.

Явился коробейник, а также Фанни и, конечно, Джозеф, не пожелавший оставить ее; за ними следовал и пастор, движимый не одним лишь любопытством, которым был он наделен в немалой мере, но и чувством долга, как он полагал: ибо он всю дорогу непрестанно призывал Фанни и Джозефа, бурно предававшихся печали, вознести благодарственные молитвы и радоваться столь чудесному избавлению от страшного греха.

Когда они прибыли в Буби-холл, их тотчас позвали в гостиную, где коробейник повторил ту же историю, какую рассказал он перед тем в харчевне, настаивая на правильности каждого обстоятельства; так что все, кто слушал, вполне признали истину его слов, кроме Памелы, которая воображала, что если она никогда не слышала от родителей упоминания о таком несчастии, то сообщение это, несомненно, ложно; кроме леди Буби, которая заподозрила здесь ложь, потому что пламенно надеялась, что все окажется правдой; и кроме Джозефа, который опасался, что история правдива, потому что всем сердцем желал, чтобы она оказалась ложной.

Мистер Буби предложил им всем умерить свое любопытство и подождать с окончательным решением — поверить или не поверить — до следующего утра, когда прибудут мистер Эндрус с женой, которых он рассчитывал с Памелой вместе отвезти к себе домой в своей карете; тогда можно будет с полной уверенностью убедиться в истинности или ложности рассказа,— к которому, добавил он, многие веские обстоятельства побуждают отнестись с доверием, тем более что сам он, мистер Буби, не видит, какой выгоды ради стал бы коробейник выдумывать свою историю или пытаться сочинить про них такую ложь.

Леди Буби, не привыкшая к такому обществу, с большим радушием принимала за своим столом их всех — то есть своего племянника, его супругу, ее брата и сестру, франта и пастора. Что касается коробейника, то его она велела слугам принять

как можно лучше на кухне. Все общество в гостиной, за исключением разочарованных любовников, которые сидели скучные и молчаливые, пребывало в самом веселом расположении духа; мистер Буби уломал Джозефа принести мистеру Дидапперу извинения, которыми тот счел себя вполне удовлетворенным. Франт и пастор подпускали друг другу шпильки — все больше насчет одежды, и это сильно забавляло остальных. Памела корила своего брата Джозефа за то, что его так огорчает неожиданное появление у них новой сестры. Если, сказала она, он любит Фанни так, как должно, чистой любовью, то у него нет оснований сетовать на свое родство с нею. Адамс тогда начал речь о платонической любви, от которой сделал быстрый переход к радостям в загробной жизни и заключил настойчивым уверением, что не существует такой вещи, как наслаждение в жизни земной. При этих его словах Памела и ее супруг с улыбкой переглянулись.

Когда эта счастливая пара предложила удалиться на покой (из прочих никто не высказывал ни малейшего желания отойти ко сну), гости разошлись по разным комнатам, где для всех приготовлены были постели; даже и Адамса не отпустили домой, так как к ночи началась гроза. Фанни, правда, долго просила, чтобы ей разрешили пойти с пастором к нему ночевать, но ее так настойчиво уговаривали остаться, что, по совету Джозефа, она, наконец, согласилась.

ГЛАВА XIV,

содержащая ряд любопытных ночных приключений, в которых мистер Адамс был не раз на волосок от гибели — частью из-за своей доброты, частью же из-за рассеянности

Через час после того как все они разошлись (а было это в четвертом часу утра), прельстительный Дидаппер, которому страсть его к Фанни не давала смежить веки, направляя всю фантазию его на измышление способа утолить его желания, в конце концов изыскал средство, сулившее успех. Он заранее приказал слуге разузнать, где спит Фанни, и тот доставил ему нужные сведения; и вот он встал, надел штаны и халат и прокрался тихонько на галерею, которая вела к ее комнате; подобравшись, как он вообразил, к ее двери, он отворил ее по возможности бесшумно и вошел в комнату. Ноздри его наполнил запах, какого он не ожидал в комнате такого нежного и юного создания и который, быть может, произвел бы неприятное воздействие на менее пылкого любовника. Дидаппер, однако, нащупал не без труда кровать (в комнате не было ни проблеска света) и, приоткрыв полог, зашептал го-

лосом Джозефа (ибо франт превосходно умел передразнивать чужую речь):

— Фанни, мой ангел, я пришел сообщить тебе, что история, которую мы слышали вечером, оказалась, как я выяснил, ложной. Я больше не брат твой, а твой возлюбленный; и я не хочу откладывать ни на минуту свое блаженство с тобою. Ты довольно знаешь мое постоянство и можешь не сомневаться, что я на тебе женюсь; если ты любишь меня достаточно, ты мне не откажешь в обладании твоими чарами.

Говоря таким образом, он освободился от тех немногих одежд, какие были на нем, и, прыгнув в кровать, восторженно обнял своего, как думал он, ангела. Если он был удивлен, не получая ответа на свои слова, то теперь его приятно поразило, что на объятия его отвечают с равным пылом. Но недолго пребывал он в этом сладостном смущении, ибо и он и его дама тотчас открыли свою ошибку: та, кого он заключил в объятия, была не кто иная, как прелестнейшая миссис Слипслоп; но хотя она-то сразу узнала мужчину, которого приняла было за Джозефа, он никак не мог сообразить, кто оказался на месте Фанни. Он так мало видел или так мало замечал эту почтенную даму, что даже и свет не помог бы ему это разгадать. Обнаружив свою ошибку, франт Дидаппер попытался выскочить из кровати еще поспешней, чем прыгнул в нее. Но бдительная Слипслоп помешала ему: ибо эта рассудительная женщина, не получив утех, обещанных воображением ее сладострастию, решила принести немедленную жертву своему целомудрию. Она, сказать по правде, ловила случай залечить кое-какие раны, которые, как она опасалась, ее поведение могло за последнее время нанести ее репутации; и, обладая редким присутствием духа, она сообразила, что злополучный франт очень кстати подвернулся ей на пути и теперь она может восстановить во мнении госпожи свою славу неприступной добродетели. И вот, в то мгновение, когда он попробовал выскочить из кровати, Слипслоп цепко ухватилась за его рубашку и заголосила:

— Ах ты негодяй! Ты покусился на мою невинность и, боюсь я, погубил меня во сне. Я присягну, что ты совершил надо мною насилие, я буду преследовать тебя по всей строгости закона!

Франт пытался высвободиться, но дама крепко держала его и, пока он боролся, вопила:

— Убивают! Убивают! Воры! Грабеж! Насилие!

Услышав эти слова, пастор Адамс, который лежал в соседней комнате и не спал, размышляя над рассказом коробейника, вскочил с постели и, не теряя времени на одевание, ринулся в комнату, откуда доносились крики. В темноте он сунулся прямо к кровати и коснулся рукою кожи Дидаппера (ибо Слипслоп почти совсем сорвала с него рубаху); почувствовав, что кожа чрезвычайно мягка, и услышав, как франт тихим голосом про

сит Слипслоп отпустить его, пастор не стал сомневаться, что это и есть молодая женщина, которой грозит насилие; он тут же бросился на кровать, и, когда в руке у него оказался подбородок Слипслоп, поросший жесткой щетиной, его предположение подтвердилось, поэтому он высвободил франта, который тотчас ускользнул, и, обернувшись затем к Слипслоп, получил изрядную зуботычину; загоревшись мгновенно бешенством, пастор поспешил так честно отплатить за эту милость, что, если бы занесенный на бедную Слипслоп кулак не миновал ее в темноте, угодив в подушку, прекрасная дама, вероятно, испустила бы дух. Промахнувшись, Адамс навалился прямо на Слипслоп, которая тузила его и царапала, как могла; он же не отставал от нее в усердии, но, к счастью, ночная темнота благоприятствовала его жертве. Слипслоп стала, наконец, кричать, что она — женщина; но Адамс отвечал, что она скорее черт, и если это так, то он рад с ним сцепиться; и, разозленный новой зуботычиной, пастор так поддал домоправительнице на добрую память в печенки, что та взвыла на весь дом Тогда Адамс схватил ее за волосы (повязка в схватке сползла с ее головы), уткнул ее лбом в спинку кровати, и тут оба они закричали, чтобы дали огня.

Леди Буби, не спавшая, как и ее гости, услышала тревогу с самого начала; будучи женщиной смелого духа, она надела халат, юбку и ночные туфли, взяла свечу, горевшую всегда в ее спальне, и бесстрашно направилась в комнату своей домоправительницы, куда вошла в ту самую минуту, когда Адамс по двум горам, которые Слипслоп носила перед собою, пришел к открытию, что имеет дело с особой женского пола. Тогда он решил, что она ведьма, и сказал, что эти груди, наверно, выкормили легион чертей. Слипслоп, видя, что леди Буби входит в комнату, закричала во весь голос:

— Помогите! Или я буду обесчещена! — И Адамс, заметив свет, быстро обернулся и увидел леди (как и она его) в тот миг, когда та подступила к изножию кровати и остановилась при виде голого Адамса, так как скромность не позволила ей подойти ближе. Леди начала поносить пастора как распутнейшего изо всех мужчин, и особенно корила его тем, что он бесстыдно избрал ее дом местом для своих похождений и ее личную камеристку предметом своего скотства. Бедный Адамс уже успел разглядеть лицо женщины, лежавшей с ним в одной кровати, и, вспомнив, что не одет, пришел в не меньшее смущение, чем сама леди Буби, и тотчас шмыгнул под одеяла, из которых целомудренная миссис Слипслоп тщетно старалась его вытряхнуть. Потом, высунув голову, на которой в виде украшения он носил фланелевый ночной колпак, пастор провозгласил себя невиновным, принес десять тысяч извинений миссис Слипслоп за удары, которые нанес ей, и поклялся, что принял ее по ошибке за ведьму Тут леди Буби, потупив взор свой долу,

заметила на полу что-то, сверкавшее ярким блеском, и, подняв, разглядела, что то была великолепная бриллиантовая запонка А немного поодаль лежал рукав от мужской рубашки с кружевной манжетой.

— Ай-ай-ай!— говорит она.— Что все это значит?

— О сударыня,— говорит Слипслоп,— я не знаю, что произошло, я так была напугана. Тут, может быть, было десять мужчин!

— Кому принадлежит эта кружевная манжета и бриллианты? — говорит леди.

— Несомненно,— восклицает пастор,— молодому джентльмену, которого я, войдя в комнату, принял за женщину,— откуда и проистекли все дальнейшие недоразумения: ибо если бы я распознал в нем мужчину, я его схватил бы, будь он даже вторым Гераклом,— хотя он больше похож, пожалуй, на Гиласа *.

Затем пастор объяснил, по какой причине поднялся с постели и что происходило дальше — вплоть до появления леди. Слушая этот рассказ и глядя на Слипслоп и ее поклонника, чьи головы выглядывали из-под одеяла с двух противоположных углов кровати, леди не могла удержаться от смеха; да и Слипслоп не настаивала на обвинении пастора в посягательстве на ее девичью честь. Леди поэтому предложила ему вернуться в свою кровать, как только сама она выйдет, а затем, приказав Слипслоп встать и пройти для услуг в ее комнату, она удалилась, наконец, к себе.

Когда она ушла, Адамс снова стал приносить извинения миссис Слипслоп, которая с истинно христианской кротостью не только простила его, но начала любезно к нему пододвигаться, в чем он усмотрел намек на то, что пора уходить; и, выскочив скорей из кровати, он поспешил к своей собственной, но, к несчастью, вместо того чтобы взять направо, он повернул налево и вошел в комнату, где лежала Фанни. Как читатель, может быть, помнит, всю прошлую ночь девушка не сомкнула глаз и была так измучена случившимся с нею за день, что даже мысли о Джозефе не помешали ей погрузиться в глубокий сон, которого не мог возмутить весь шум в смежной комнате. Адамс ощупью нашел кровать и, тихонько отвернув одеяло, как его издавна приучила миссис Адамс, залез под него и пристроил свой могучий корпус на краешке кровати — место, которое эта добрая женщина предназначила ему раз навсегда.

Как кошка или левретка какой-нибудь нимфы, по которой томятся десять тысяч вздыхателей, спокойно лежит подле очаровательной девушки и, не ведая, что покоится на ложе блаженства, обдумывает, как поймать ей мышку или стащить с блюда ломтик хлеба с маслом,— так Адамс лежал рядом с Фанни, не ведая о рае, к которому был так близок; и даже нежное благоухание, исходившее из ее уст, не могло взять верх

над запахами табака, застоявшимися в пасторских ноздрях. Сон еще не овладел добряком, когда Джозеф, тайно условившийся с Фанни, что зайдет к ней утром на рассвете, тихо постучал в дверь ее спальни; он дважды повторил свой стук; когда же Адамс прокричал: «Кто там? Входите!» — он подумал, что ошибся дверью, хотя Фанни дала ему самые точные указания; однако, узнав голос друга, Джозеф отворил дверь и увидел лежавшие на стуле женские одежды. Фанни в ту же минуту пробудилась и, наткнувшись простертой рукой на бороду Адамса, вскричала:

— О боже! Где я?

— Где я? Боже! — отозвался пастор.

Фанни взвизгнула, Адамс спрыгнул с кровати, а Джозеф стоял, как говорится у трагиков, подобно статуе изумления.

— Как она попала ко мне в комнату? — воскликнул Адамс.

— Как вы попали к ней? — воскликнул в недоумении Джозеф.

— Я ничего не ведаю,— отозвался Адамс,— кроме одного: что для меня она весталка. Пусть я не буду христианином, если я различаю, мужчина она или женщина. Кто не верит в колдовство, тот нехристь. Нет сомнения, что ведьмы существуют и сейчас, как и во дни Саула *. Мое платье унесла нечистая сила, а на его месте очутилось платье Фанни.

Так он все настаивал, что находится в собственной комнате; Фанни же это упорно отрицала и заявила, что его старания уверить Джозефа в подобной лжи убеждают ее в дурных намерениях пастора.

— Как! — сказал в бешенстве Джозеф.— Он позволил себе какую-нибудь грубость по отношению к тебе?

Фанни ответила, что не может обвинить мистера Адамса ни в чем другом сверх того, что он подло забрался к ней в постель, что́, думается ей, было достаточной грубостью и чего ни один мужчина не стал бы делать без дурного умысла. Высокое мнение Джозефа об Адамсе было нелегко пошатнуть, и, когда он услышал от Фанни, что ей не нанесено никакого ущерба, он несколько поостыл; но все же он недоумевал, и, хорошо зная дом и помня, что женские комнаты находились по эту сторону от спальни миссис Слипслоп, а мужские по ту, он не сомневался, что находится в комнате Фанни. Поэтому, уверив Адамса в сей истине, он попросил его объяснить, как он сюда попал. Тогда Адамс, стоя в одной рубахе, что не оскорбляло Фанни, так как полог кровати был задернут, рассказал обо всем, что случилось; и когда он окончил, Джозеф сказал, что теперь все ясно: пастор ошибся, повернув налево, а не направо.

— Вот оно что! — вскричал Адамс.— Так и есть! Верно, как шестипенсовик! Ты разгадал загадку.

Он стал шагать по комнате, потирая руки, и попросил у Фанни извинения, уверяя ее, что не знает, мужчина она или

женщина. Девушка, в невинности своей твердо поверив всему, что он сказал, ответила, что больше не сердится, и попросила Джозефа проводить пастора в его комнату и побыть там с ним, пока она оденется. Джозеф и Адамс вышли, и последний вскоре убедился в совершенной им ошибке; однакоже, одеваясь, он несколько раз повторил, что верит тем не менее в нечистую силу и не понимает, как может христианин отрицать ее существование.

ГЛАВА XV

Прибытие Гаффера и Гаммер Эндрусов, а также еще одной особы, которую не очень ждали; и полное разрешение трудностей, воздвигнутых коробейником

Как только Фанни оделась, Джозеф вернулся к ней, и между ними произошла долгая беседа, в которой они уговорились, что если они в самом деле брат и сестра, то оба дадут обет безбрачия и будут жить вместе до конца своих дней, питая друг к другу чувство платонической любви.

За завтраком все были очень веселы, и даже Джозеф с Фанни держались бодрее, чем накануне вечером.

Леди Буби извлекла бриллиантовую запонку, которую франт с большой готовностью признал своею, добавив, что он лунатик и часто совершает прогулки во сне. Впрочем, он нисколько не стыдился своего любовного похождения и пытался даже намекнуть, будто между ним и прекрасной Слипслоп произошло больше того, что было на деле.

Только отпили чай, как пришло известие о прибытии старого мистера Эндруса с женой. Они были тотчас приглашены в дом и любезно приняты леди Буби, чье сердце заколотилось в груди — равно как и сердце Джозефа и Фанни. В этот час они, быть может, переживали не меньшую тревогу, чем царь Эдип *, когда ему открылась его судьба.

Мистер Буби начал следствие, сообщив старому джентльмену, что у него среди присутствующих одним ребенком больше, чем он думает, и, взяв Фанни за руку, объявил старику, что она — его дочь, которая была у него похищена в младенчестве цыганами. Мистер Эндрус, выразив некоторое удивление, заверил сквайра, что никогда цыгане не крали у него дочери и что у него никогда не было других детей, кроме Джозефа и Памелы. Эти слова подействовали на двух влюбленных, как подкрепляющий напиток на сердечного больного; но совсем иное действие оказали они на леди Буби. Она велела позвать коробейника, который опять, как накануне, рассказал свою историю. Когда он кончил, миссис Эндрус бросилась к Фанни и обняла ее, восклицая:

— Да, это она! Мое дитя!

Всех присутствующих поразило такое расхождение в показаниях мужа и жены; и у влюбленных кровь вновь отлила от щек, когда старая женщина повернулась к мужу, который был удивлен сильнее, чем все остальные, и, собравшись с духом, повела такую речь:

— Вы, верно, помните, мой дорогой, когда вы уехали сержантом в Гибралтар, вы меня оставили в ожидании ребенка, и пробыли вы в отлучке, как вы знаете, три года. Мне пришлось рожать в ваше отсутствие, и я родила — как я истинно верю — эту самую дочь, которую я не могла забыть, потому что я ее кормила своей грудью вплоть до того дня, когда ее у меня украли. Как-то днем, когда девочке был год или полтора, или около того, в дом ко мне вошли две цыганки и предложили погадать мне. У одной из них был на руках ребенок. Я показала им свою ладонь и пожелала узнать, вернетесь ли вы когда-нибудь домой; и я помню, как если б это случилось только вчера, они мне твердо пообещали, что вы вернетесь. Я положила девочку в люльку и вышла, чтобы принести им эля, лучшего, какой у меня был; когда я вернулась с кувшином (право, я ходила за ним не дольше, чем сейчас рассказываю вам), женщин уже не было. Я испугалась, не стащили ли они чего-нибудь, и все смотрела да смотрела, но зря, да и, видит бог, у меня очень мало было такого, что они могли бы украсть. Наконец, услышав плач ребенка, я подошла к люльке, чтобы взять его на руки,— но, боже мой, как я была поражена, когда вместо своей девочки, которую я только что положила в люльку, самой красивой, толстенькой, здоровенькой малютки, какую только можно себе представить, я нашла там бедного хворенького мальчика, которому, казалось, и часу не прожить. Я кинулась вон, рвала на себе волосы, вопила, как сумасшедшая, клича тех женщин, но с того дня и по нынешний так ничего о них и не узнала. Когда я вернулась в дом, бедный младенец (наш Джозеф — вот он стоит сейчас перед нами, большой и здоровый) поднял на меня свои глазенки так жалобно, что, право же, как ни была я разгневана, у меня недостало сердца причинить ему зло. Тем часом вошла случайно в дом моя соседка и, услышав про мою беду, присоветовала мне растить пока несчастного чужого ребенка,— и, может быть, господь в один прекрасный день вернет мне моего родного. Я тогда взяла ребенка на руки и покормила его грудью — ну, честное слово, так, как если бы он был рожден от моей плоти. И, не жить мне на свете, если это неправда,— я в скором времени полюбила мальчика не меньше, чем любила свою собственную девочку... Но времена, скажу я вам, пошли тяжелые, а у меня — двое детей, и нечем мне с ними кормиться, как только своим трудом, а давал он, видит бог, очень мало; и вот я была вынуждена просить помощи у прихода; но мне не только

ничего не дали, а еще выслали меня по приказу судьи за пятнадцать миль, в то место, где мы теперь живем и где я поселилась незадолго до того, когда вы, наконец, вернулись. Джозефу (так я стала его называть,— а бог его знает, был ли он когда крещен, или нет, и каким именем), Джозефу, говорю я, было, как мне казалось, лет пять, когда вы явились домой; он, я думаю, года на два, на три старше, чем эта наша дочка (я совершенно уверена, что это она и есть), и когда вы на него посмотрели, вы сказали, что он дюжий паренек, а сколько ему лет — и не спросили; и вот я вижу, что вы ничего не подозреваете, и решила, что так и выдам его за своего,— я боялась, что иначе вы не станете так его любить, как я. И все это истинная правда, и я могу присягнуть в этом перед каким угодно судьей в королевстве.

Коробейник необычайно внимательно слушал рассказ Гаммер Эндрус, а когда она кончила, спросил, не было ли у подкинутого ей ребенка какой-нибудь метины на теле. На что та ответила, что была «земляничка на груди,— ну прямо такая, точно выросла в саду». Джозеф это подтвердил и, расстегнув по настоянию присутствующих кафтан, показал им свою родинку.

— Хорошо,— говорит Гаффер Эндрус, старик чудаковатый и хитрый, который, по всему видно, не желал иметь больше детей, чем он мог прокормить,— вы, думается мне, доказали нам очень ясно, что этот парень не родной наш сын; но почему вы так уверены, что девчонка — наша?

Тогда пастор вывел вперед коробейника и попросил его повторить все, что он сообщил накануне в харчевне; тот согласился и рассказал историю, уже известную читателю, как и мистеру Адамсу. Все обстоятельства подмены сходились у него с рассказом Гаммер Эндрус, и он подтвердил, со слов своей покойной жены, что на груди у мальчика была родинка в виде земляники. При повторении слова «земляника» Адамс, до того смотревший на родинку без волнения, теперь встрепенулся и прокричал:

— Боже мой! Мне кое-что пришло на ум!

Но он не успел ничего объяснить, так как его вызвал зачем-то один из слуг. Когда пастор вышел, коробейник стал уверять Джозефа, что его отец и мать — люди более высокого положения, чем те, кого он до сих пор признавал за своих родителей; что он был украден из дома одного джентльмена теми, кого называют цыганами, и они его держали у себя целый год, а потом, видя, что он вот-вот умрет, они его обменяли на другого ребенка, более здорового, как было рассказано выше. Он сказал, что имени отца Джозефа его жена никогда не знала, или знала, но запамятовала; но она сообщила ему, что этот джентльмен жил милях в сорока от того места, где произошла подмена. И коробейник дал обещание не жалея сил помогать Джозефу в стараниях разыскать это место.

Но Фортуна, которая редко дарит добром или злом или делает человека счастливым или несчастным лишь наполовину, решила избавить коробейника от этого труда. Читатель, может быть, соблаговолит припомнить, что мистер Вильсон собирался совершить путешествие на запад Англии, в котором ему предстояло проехать через приход мистера Адамса, и что он обещал навестить пастора. Теперь он с этой целью подъехал к воротам Буби-холла, куда его направили из пасторского дома, и послал в комнаты слугу, который, как мы видели, вызвал к нему мистера Адамса. Едва тот упомянул, что обнаружен украденный ребенок, и произнес слово «земляника», как мистер Вильсон с безумием в глазах и крайней страстностью в речи попросил провести его в столовую, где он, ни на кого не глядя, кинулся прямо к Джозефу, обнял его, бледный и дрожащий, и потребовал, чтобы тот показал знак на своей груди; пастор следовал за ним, прыгая, потирая ладони и возглашая:

— Hic est quem quaeris; inventus est [1] и так далее.

Джозеф исполнил требование мистера Вильсона, который, увидав знак, отдался самому неистовому порыву страсти; он обнимал Джозефа в невыразимом восторге и восклицал со слезами радости:

— Я нашел своего сына, я снова его обнимаю!

Джозеф, недостаточно подготовленный, не мог полностью разделить восторг отца (тот был действительно его отцом); все же он не без жара ответил на его объятия; но когда из рассказа мистера Вильсона он увидел, как точно совпадают все обстоятельства — и лица, и время и место,— он бросился ему в ноги и, обняв его колени, в слезах испросил у него благословения, которое было дано с большим чувством и принято с такой почтительностью, и столько нежности примешалось к нему с обеих сторон, что это потрясло всех присутствующих; но никого так сильно, как леди Буби, которая вышла из комнаты в смятении, слишком явном для многих и не очень великодушно кое-кем истолкованном.

ГЛАВА XVI

и последняя, в которой эта доподлинная история приводится к счастливому концу

Фанни не намного отставала от Джозефа в изъявлении дочернего долга перед родителями и радости своей, что обрела их. Гаммер Эндрус поцеловала ее и сказала, что всем сердцем рада ее видеть, но что она со своей стороны никого и никогда

---

[1] Вот он тот, кого ты ищешь; он найден *(лат.)*.

не могла бы любить больше, чем Джозефа. Гаффер Эндрус не выказал особенного волнения: он благословил девушку и поцеловал ее, но пожаловался, что соскучился по трубке, так как с утра не сделал ни одной затяжки.

Мистер Буби, не знавший ничего о страсти своей тетки, приписал ее внезапный уход гордости и пренебрежению к семье, из которой он взял себе жену; ему поэтому захотелось уехать как можно скорей: поздравив мистера Вильсона и Джозефа, он приветствовал Фанни, назвав ее своею сестрой, и представил ее, как таковую, Памеле, которая повела себя с тем приличием, какого требовал случай.

Потом он известил о своем отъезде тетку, и та ответила через слугу, что желает ему доброго пути, но что ей слишком нездоровится и потому она не может лично повидаться ни с кем из гостей. Итак, он стал готовиться к отбытию, пригласив мистера Вильсона к себе в гости, и Памела с Джозефом так настоятельно просили джентльмена не отклонять приглашения, что он в конце концов сдался, договорившись с мистером Буби, что тот высылает к миссис Вильсон вестника с сообщением, которое джентльмен не согласился бы отложить ни на минуту, зная, какое счастье доставит оно его жене.

Поезд построился так: впереди ехала карета, в которую сели старики Эндрусы с двумя дочерьми; за нею следовали верхами сквайр, мистер Вильсон, Джозеф, пастор Адамс и коробейник.

Дорогой Джозеф сообщил отцу о своем намерении жениться на Фанни, и тот сперва встретил эту новость не совсем одобрительно, но по горячим настояниям сына дал свое согласие, сказав, что если Фанни в самом деле такая хорошая девушка, какою кажется и какою Джозеф описывает ее, то это, по его мнению, может возместить невыгоды ее рождения и состояния. Однако он настаивал, чтобы сын немного повременил с венчанием и сперва повидался бы с матерью; и Джозеф, видя, как твердо стоит на этом отец, с полным уважением подчинился — к большой радости пастора Адамса, который таким образом увидал возможность выполнить все требования церкви и поженить своих прихожан, не прибегая к лицензии.

Мистер Адамс, ликуя по этому случаю (ибо такие обряды были для него немаловажным делом), пришпорил невзначай своего скакуна, что благородному животному пришлось не по нраву, ибо это был горячий конь и к тому же привыкший к не в пример более опытным наездникам, нежели джентльмен, который сидел сейчас на его хребте и, возможно, внушал ему только презрение; конь тотчас пустился во всю прыть и проделывал всякие фокусы до тех пор, пока не выбросил пастора из седла, при виде чего Джозеф поспешил на помощь другу. Это происшествие чрезвычайно развеселило слуг и сильно напугало бедную Фанни, наблюдавшую все в окно кареты; но ве-

селье одних и ужас другой быстро миновали, когда пастор объявил, что падение не причинило ему вреда.

Лошадь, освободившись от недостойного наездника, каким она, вероятно, считала Адамса, преспокойно побежала дальше, но была перехвачена одним джентльменом и его слугами, которые держали путь в обратную сторону и оказались теперь на небольшом расстоянии от кареты. Вскоре они встретились; и когда один из слуг передал Адамсу его лошадь, сам джентльмен окликнул его,— и Адамс, подняв глаза, тотчас узнал в нем того мирового судью, перед которым пришлось недавно предстать ему и Фанни. Пастор очень любезно с ним поздоровался; а судья сообщил ему, что на следующий же день поймал мошенника, пытавшегося оклеветать его и молодую женщину, и отправил в солсберийскую тюрьму, где он был опознан как виновник нескольких ограблений.

Пастор и судья почтили друг друга множеством приветствий и поклонов, и последний поехал дальше, первый же, с некоторым презрением отклонив предложенный Джозефом обмен конями и объявив, что не уступит, как ездок, никому во всем королевстве, снова взгромоздился на своего скакуна; и теперь вся компания снова пустилась в путь и благополучно его завершила, причем мистера Адамса скорее удача, чем искусство в верховой езде, уберегла от повторного падения.

У себя в доме мистер Буби устроил друзьям своим самую блистательную встречу по обычаям старинного английского гостеприимства, еще соблюдаемым очень немногими семьями в отдаленных уголках Англии. Все они провели этот день необычайно приятно; едва ли нашлось бы другое общество, где каждый был бы так искренне и так глубоко счастлив. Джозефу и Фанни представился случай побыть с глазу на глаз целых два часа — самых быстрых и самых сладостных, какие только можно вообразить.

Наутро мистер Вильсон предложил сыну отправиться с ним вместе к матери, что, несмотря на его сыновнюю обязательность и страстное желание увидеть мать, несколько огорчило молодого человека, так как принуждало его оставить Фанни; но мистер Буби по своей доброте помог и здесь: он предложил послать свою карету шестерней за миссис Вильсон. Памела приглашала ее так искренне, что мистер Вильсон в конце концов сдался на уговоры мистера Буби и Джозефа и допустил, чтобы карета поехала за его женой порожняком.

В субботу вечером карета возвратилась и привезла миссис Вильсон, так что в обществе стало еще одним счастливым созданием больше. Читатель вообразит быстрей и лучше, чем я мог бы описать, объятия и слезы радости, последовавшие за ее приездом. Достаточно будет сказать, что она легко поддалась

на уговоры присоединиться к своему супругу в его согласии на брак их сына с Фанни.

В воскресение мистер Адамс отправлял церковную службу в приходе сквайра Буби, а местный священник весьма любезно оказал ему ту же услугу и поехал за двадцать миль отправить службу в приходе леди Буби,— причем ему было особо поручено неукоснительно произвести оглашение — третье и последнее.

Наконец, настало счастливое утро, приведшее Джозефа к достижению всех его желаний. Он встал и оделся в изящный, но простой костюм мистера Буби, пришедшийся ему как раз впору; от всякой изысканности он отказался,— как и Фанни, которую Памела так и не уговорила нарядиться во что-нибудь более богатое, чем белое кисейное платье. Правда, рубашка, подаренная ей Памелой, была из самых тонких и обшита по вырезу кружевом; сестра снабдила ее также парой тонких белых нитяных чулок — все, что Фанни согласилась принять; на голове у нее был ее собственный чепчик с закругленными ушами и поверх него соломенная, подбитая вишневым шелком шляпка на вишневой ленте. В таком наряде невеста вышла из своей комнаты, пылая румянцем, притаив дыхание; и Джозеф, чьи глаза метали пламя, повел ее, сопровождаемый всем семейством, в церковь, где мистер Адамс совершил обряд, при котором лишь одно достойно было примечания наравне с удивительной и непритворной скромностью Фанни — истинно христианское благочестие Адамса, который всенародно укорил мистера Буби и Памелу за смех в таком священном месте и в такой торжественный час. Наш пастор поступил бы не иначе и в отношении самого высокого князя на земле: ибо хотя в других вещах он оказывал высшим покорность и почтительность, но там, где дело касалось религии, он тотчас утрачивал всякое лицеприятие. Его правилом было, что он — служитель всевышнего, и не может, не нарушая своего долга, хотя бы в мельчайшем поступиться честью или делом господина своего, будь то ради самого великого земного властителя. Он и сам любил говорить, что мистер Адамс в церкви, облаченный в стихарь, и мистер Адамс в другом месте и без этого украшения — два совершенно различных лица.

Когда церковные обряды закончились, Джозеф повел свою цветущую молодую жену обратно в дом мистера Буби (расстояние было такое близкое, что они не посчитали нужным воспользоваться каретой); остальные также сопровождали молодоженов пешком; а там их ждала великолепнейшая трапеза, за которой пастор Адамс проявил отменный аппетит, поразив и превзойдя им всех присутствующих. Впрочем, недостаток аппетита в этом случае выказали только двое — те, в чью честь справлялось торжество. Они насыщали свое воображение более упоительным пиром, который им сулило приближение ночи и

мысль о котором переполняла их ум, хотя и будила в них различные чувства: один был весь — желание, тогда как у другой желания приглушала боязнь.

Наконец, после того как день миновал, полный жаркого веселья, умеряемого самым строгим приличием,— причем, однако, пастор Адамс, крепко зарядившись элем и пудингом, позволил себе больше игривости, чем это было у него в обычае,— настал блаженный миг, когда Фанни удалилась со своею матерью, свекровью и сестрой. Ее раздевали недолго, ибо ей не нужно было размещать по шкатулкам драгоценности, ни складывать с чрезвычайной тщательностью тонкие кружева. Раздеваться означало для нее не снимать, а лишь открывать украшения: так как все ее прелести были дарами природы, она при всем желании не могла снять их с себя. Как, читатель, дам я тебе достойный образ этого прелестного юного существа! Цветение роз и лилий могло бы дать некоторое слабое представление о румянце на белом ее лице, их запах — о ее сладостной прелести; но чтобы представить себе ее всю, вообрази юность, здоровье, свежесть, красоту, грацию и невинность на брачном ложе; вообрази их в предельном их совершенстве; и тогда встанет пред твоими глазами образ очаровательной Фанни.

Как только Джозефу дали знать, что она в постели, он полетел к ней в безудержном нетерпении. Одна минута привела его к ней в объятия; и тут мы оставим счастливую чету наслаждаться тайными наградами их постоянства; наградами, такими великими и сладкими, что Джозеф, я думаю, не завидовал в ту ночь сáмому высокородному герцогу, ни Фанни сáмой блистательной герцогине.

На третий день мистер Вильсон и его жена с сыном и дочерью вернулись домой, где они живут теперь все вместе так счастливо, как, может быть, больше никто на земле. Мистер Буби с беспримерной щедростью наделил Фанни приданым в две тысячи фунтов; Джозеф приобрел на них небольшое поместье в одном приходе со своим отцом, где он и поселился (отец на свои средства оборудовал ему хозяйство); и Фанни с превосходнейшим умением ведает его молочной фермой,— которой, впрочем, в настоящее время она не в состоянии много заниматься, потому что, как сообщает мне мистер Вильсон в последнем письме, она вот-вот должна разрешиться первым ребенком.

Мистер Буби предложил мистеру Адамсу место на сто тридцать фунтов в год. Адамс поначалу отказывался, решив не покидать свою паству, с которой прожил так долго; но вспомнив, что такой доход позволит ему держать помощника, он согласился и недавно вступил в новую должность.

Коробейник, помимо нескольких прекрасных подарков, как от мистера Вильсона, так и от мистера Буби, хлопотами послед-

него получил место акцизного чиновника и исправляет свои обязанности так честно, что пользуется по округе всеобщим доверием и любовью.

Что касается до леди Буби, то она через несколько дней вернулась в Лондон, где молодой драгунский капитан и несчетные партии в вист вскоре стерли память о Джозефе.

Джозеф неизменно блаженствует со своею Фанни, которую боготворит со всею страстью и нежностью, и она отвечает ему тем же. Счастье этой четы — неиссякаемый источник радости для их любящих родителей; и что особенно примечательно — Джозеф объявил, что будет, подражая их примеру, жить в уединении, и никакие книгопродавцы, ни их приспешники сочинители не уговорят его выступить на арену большого света.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЬЕСЫ

ПОЛИТИК ИЗ КОФЕЙНИ, ИЛИ СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ

Стр. 6. Каули Абраам (1618—1667) — английский поэт, предшественник классицизма; выступал с сатирой на пуритан.

Стр. 7. Флери Андре Геркюл (1653—1743) — французский кардинал, воспитатель Людовика XV. С 1726 года и до смерти был первым министром и фактическим руководителем всей внешней и внутренней политики Франции.

Дон Карлос (1716—1788) — сын испанского короля Филиппа V, претендовавший на испанские владения в Италии, перешедшие по Утрехтскому миру (1713) австрийским Габсбургам.

«Великий Кир» (1649—1653) — десятитомный роман французской аристократической салонной писательницы Мадлены Скюдери (1607—1701).

Стр. 8. ...во время осады Гибралтара.— Испанская крепость Гибралтар в 1704 году была занята англичанами и по Утрехтскому миру перешла Англии. Однако в 1720 и 1726 годах Испания предпринимала попытки вернуть крепость. После того как они кончились неудачей, Испания Севильским трактатом 1729 года подтвердила свой отказ от Гибралтара. Тем не менее борьба за Гибралтар продолжалась в течение почти всего XVIII века.

Ост-Индия (Восточная Индия) — в XVIII веке общее название для Индостана, Индо-Китая и Малайского архипелага.

...самого императора.— Речь идет о германском императоре Карле VI (1685—1740) (годы правления 1711—1740).

...венгерской кампанией пахнет.— Имеются в виду военные действия на территории Венгрии в период австро-турецкой войны 1716—1718 годов.

Проливы — Па-де-Кале и Ламанш.

Стр. 9. ...депеша с известиями о смерти дофина.— Дофин — титул наследника французского престола. Вопросы престолонаследия играли в международной политике XVIII века очень значительную роль и

не раз давали повод к войнам, ввиду родственных связей между различными королевскими домами, претендовавшими на престол.

Стр. 11. Марк Антоний... отдал весь мир за женщину.— Намек на известный исторический эпизод: любовь древнеримского политического деятеля, сподвижника Юлия Цезаря, Марка Антония (ок. 83—31 гг. до н. э.) к египетской царице Клеопатре заставила его во время решительного сражения с войсками римского сената оставить свою армию.

Стр. 12. Силен *(греч. миф.)* — воспитатель бога вина — Вакха и его неизменный спутник; старый, веселый, вечно пьяный сатир.

Стр. 13. Великий Могол — так в Европе называли мусульманских императоров Индии. (Могол — испорченное «монгол».)

Стр. 17. Олд Бейли — центральный уголовный суд Лондона и графства Миддлсекс.

Хикс-холл — здание, где происходили сессии (ассизы) лондонских мировых судов.

Темпль — группа зданий, где находилась корпорация юристов. Молодые люди, желавшие получить юридическое образование, поступали в эту корпорацию в качестве учеников.

Стр. 18. Фартинг — английская мелкая монета.

Стр. 19. Ост-Индская компания — Британская Ост-Индская компания; была организована в 1600 году для торговли с Индией. В XVIII веке она фактически захватила страну. Компания держала собственные вооруженные силы и пользовалась в Индии всей полнотой власти. Управление Индией было передано английскому правительству лишь во второй половине XIX века.

...все золото, что мы выкачиваем из одной Индии, мы ухлопываем на глиняные безделушки... из другой.— Имеются в виду Вест-Индия (Куба, Ямайка и прилегающие Большие и Малые Антильские острова в Карибском море) и Ост-Индия (см. примечание к стр. 8).

Стр. 21. ...поставить эту даму к позорному столбу.— По законам того времени уличенных в лжесвидетельстве ставили к позорному столбу.

...на месте королевского судьи.— Королевский судья — член одной из коллегий высшего, так называемого суда королевской скамьи. Мировой судья не имел права сам вынести приговор по важному делу. Он мог либо освободить арестованного, либо передать дело в вышестоящий суд.

Стр. 24. Содом и Гоморра — по библейскому преданию, города в Палестине, уничтоженные богом за разврат жителей.

Стр. 27. ...в красном кафтане.— Красный кафтан составлял принадлежность военной формы.

Стр. 28. Троя, когда ее взяли, была погружена в сон.— Согласно греческому преданию о Троянской войне, воины Агамемнона проникли в Трою в большом деревянном коне и ночью овладели городом.

Ага — титул высших сановников и военачальников в старой Турции.

Стр. 29. ...на водах в Бате.— В Бате находился модный курорт с серными источниками.

Стр. 30. ...принцесса Микомикона заводит своего избавителя в клетку.— Намек на сцену из романа Сервантеса «Дон Кихот». Священник и цирюльник уговорили крестьянскую девушку Доротею выдать себя за принцессу Микомикону, с тем чтобы заманить Дон Кихота домой, куда он и был доставлен в клетке.

Стр. 36. Сент-Джемс — здесь: аристократический район вблизи от королевского дворца, носившего то же название.

Стр. 44. Вестминстер-холл — дворец в Лондоне, где одновременно помещались парламент и суды высшей инстанции. На это обстоятельство и намекается в тексте.

Стр. 52. ...где виски служит Ипокреной...— Ипокрена (иначе: Гипокрена) — источник в Греции, посвященный музам. Влага этого источника, по верованиям древних греков, вдохновляла поэтов.

Стр. 53. ...в ларце Пандоры.— По греческой мифологии, Зевс создал из земли и воды женщину по имени Пандора и послал ее на землю, дав ей в приданое ящик, заключавший всевозможные несчастья. Когда Пандора вышла замуж и ящик был открыт, несчастья распространились по земле.

Стр. 60. Пороховой заговор — католический заговор в Лондоне, целью которого было взорвать парламент в день его открытия королем Иаковом I (8 ноября 1605 г.).

Стр. 69. В святилище папессы Иоанны — то есть в Рим, резиденцию пап, славившихся своим развратом. Папесса Иоанна занимала в течение двух лет (855—856) папский престол, выдавая себя за мужчину. Согласно преданию, разрешилась от бремени во время одной процессии.

Лукреция.— Патрицианка Лукреция, обесчещенная царем Секстом Тарквинием, лишила себя жизни. Событие это относят к 510 году до н. э.

ОПЕРА ГРАБ-СТРИТА, ИЛИ У ЖЕНЫ ПОД БАШМАКОМ

К эпиграфу: Фильдинг избрал эпиграфом склонение латинского указательного местоимения, желая лишний раз подчеркнуть, что он намекает на королевскую семью.

Стр. 72. Пазлтекст (Puzzletext) — буквально: путающий священное писание.

Триктрак — разновидность игры в кости.

Стр. 73. Скриблерус.— «Опера Граб-стрита» была издана под псевдонимом Скриблерус Секундус (Второй Писака) *(лат.)*. Подписываясь этим псевдонимом, Фильдинг указывал на свою идейную близость к кружку литераторов, выступавших под коллективным псевдонимом «Мартин Скриблерус». Руководителем кружка был Джонатан Свифт (1667—1745), а одним из его членов Джон Гей (1685—1732), основатель сатирической демократической комедии в Англии XVIII века и создатель жанра «балладной оперы», в котором написана «Опера Граб-стрита».

...из Валлийской в оперу Граб-стрита.— Пьеса Фильдинга в первоначальном варианте носила название «Валлийская опера».

Здесь был заключен намек на королевскую семью, все члены которой говорили с заметным немецким акцентом, что делало их речь похожей на валлийский диалект (валлийцы, жители Уэльса, являются потомками древних кельтов). По цензурным соображениям Фильдинг изменил заглавие на «Опера Граб-стрита». Граб-стрит (ныне Мильтон-стрит) — улица в Лондоне, на которой в те времена жили издатели книг, рассчитанных на малообразованного читателя, и нищие литературные поденщики, поставлявшие им товар. Говоря ниже о «корпорации Граб-стрит» и «ученом обществе, носящем такое имя», Фильдинг, следуя уже установившейся традиции, употребляет название улицы нарицательно, имея в виду всех авторов низкопробной литературы.

Установления Королевской Скамьи.— Суд королевской скамьи — суд высший инстанции, постановления которого по ряду вопросов приобретали значение обязательного юридического прецедента для нижестоящих судов.

Стр. 77. ...герой Ахилл... на прялку свой меч сменил.— Речь идет об эпизоде из жизни героя древнегреческих мифов Ахилла. Его мать, узнав, что ему суждено погибнуть на войне, спрятала его среди дочерей царя Ликомеда. С одной из дочерей Ликомеда, Деидамией, Ахилл вступил в любовную связь.

Сквайр — помещик-дворянин, не имеющий титула; так же называли сыновей титулованных помещиков, пока к ним еще не перешел по наследству титул отца.

Стр. 79. ...если речь идет о пресвитерианском пасторе.— Пресвитерианство, одна из ветвей пуританства,— религиозное течение, не признающее церковной иерархии и церковных обрядов, унаследованных англиканской церковью от католической.

Дрюрн-Лейн — один из двух ведущих драматических театров Англии, называвшихся «королевскими» (второй — Ковент-Гарден).

Стр. 85. Церковная десятина — налог в пользу церкви в размере десятой части доходов. В Англии XVIII века этот налог фактически взимался в пользу государства и только небольшая его часть возвращалась духовенству.

Стр. 91. Кадрил — модная в то время карточная игра.

Стр. 93. ...на брег Плутонов — то есть на тот свет. По греческой мифологии, царство Плутона — подземное царство, населенное тенями людей; его омывает река Стикс.

Стр. 95. ...вам надо драться под... другой мотив...— Эта песенка исполнялась на мотив «Британцы устремляются домой».

Стр. 96. Триполит — порошок, получаемый от соединения гипса с глиной и коксом при нагревании; употребляется в строительстве.

Стр. 111. ...отвращение к браку, как у католического священника.— Католические священники дают обет безбрачия.

Стр. 112. Гименей *(греч. миф.)* — бог брака.

Стр. 115. ...голова на плечах не только для того, чтоб проповеди читать.— Удар головой в живот противника был тогда распространенным приемом драки.

К эпиграфу: Фильдинг взял эпиграфом отрывок из «Искусства поэзии» древнеримского поэта Горация (65—8 гг. до н. э.).

Я бы составил мой слог из знакомых для всех выражений
Так, чтобы каждому легким сначала он мог показаться,
Но чтоб над ним попотел подражатель иной.

(Строки 240—242.)

У Фильдинга первая строка этого отрывка опущена.

Стр. 123. Честерфильд Филипп Стенкоп (1694—1773) — английский политический деятель, незадолго перед тем принявший сторону сельской партии; выступал также как писатель-моралист.

Свобода сцены... не менее достойна защиты, чем свобода печати.— В 1733 году правительство Роберта Уолпола предприняло первую (закончившуюся неудачей) попытку протащить закон о предварительной цензуре пьес, принятых к постановке в театре. В 1735 году правительство снова пыталось добиться утверждения этого закона парламентом.

Сократ, который в значительной мере обязан своей гибелью презрению, навлеченному на него комедиями Аристофана.— Сократ (ок. 469—399 гг. до н. э.), древнегреческий философ-идеалист. Аристофан (ок. 446—385 гг. до н. э.), создатель древнегреческой политической комедии, высмеял Сократа в своей комедии «Облака» (423 г. до н. э.). Сочувственный отзыв Фильдинга о Сократе, как и о его ученике Платоне (см. ниже) объясняется тем, что этическое учение Сократа (учение о добродетели и знании) сыграло свою роль в формировании мировоззрения английских просветителей.

Стр. 125. ...соображения мистера Бута и мистера Сиббера совпали с моими.— Бартон Бут (1681—1733), видный трагический актер, и Колли Сиббер (1671—1757), актер и известный драматург, совместно с комическим актером Робертом Вилксом (1665—1732) являлись с 1711 по 1732 год владельцами театра Дрюри-Лейн. Они же осуществляли художественное руководство этим театром. Фильдинг впоследствии не раз писал, что руководство Дрюри-Лейн старалось ставить всяческие препоны молодым талантливым драматургам. Это обстоятельство косвенно подтвердил и сам Сиббер в своей автобиографии.

Мольбы попавших в беду актеров Дрюри-Лейна.— После смерти Бута и ухода из Дрюри-Лейна К. Сиббера сын последнего, актер Теофиль Сиббер (1703—1758), рассчитывал захватить в свои руки руководство театром. Когда это не удалось, он перешел в Маленький театр Хеймаркет, уведя с собой лучших актеров, и поэтому Дрюри-Лейн нуждался в срочном обновлении репертуара, чтобы сохранить публику.

Стр. 126. ...не передай я пьесу туда, где она ныне поставлена.— Пока шли репетиции «Дон Кихота в Англии» Теофиль Сиббер, помирившись с новым руководством театра, вернулся в Дрюри-Лейн, и Фильдинг вынужден был уйти оттуда. Пьеса была поставлена в Маленьком театре Хеймаркет, директором и художественным руководителем которого через некоторое время стал сам Фильдинг.

Стр. 132. Платон (ок. 428 — ок. 348 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.

Джентльмен — здесь: представитель джентри (дворянства).

Стр. 134. ...на одеяле полетать согласен.— Намек на известный эпизод из «Дон Кихота» Сервантеса. Дон Кихот съехал, не заплатив по счету, с постоялого двора, и за это Санчо наказали, подбрасывая его на одеяле. Подобного рода наказание применялось и в Англии.

Тантал *(греч. миф.)* — сын Зевса и нимфы Плуто; за оскорбление, нанесенное богам, был осужден на страшные мучения: вода убегала, когда он хотел напиться; пища исчезала, когда он протягивал к ней руки.

Стр. 136. ...которого ваш отец встречал в Испании.— Ошибка автора. Как выясняется из последней сцены комедии, сэр Томас Лавленд никогда Дон Кихота не видел.

...у моей тезки Доротеи.— Речь идет об одной из героинь романа Сервантеса «Дон Кихот», крестьянской девушке Доротее, вышедшей замуж за знатного гранда Фернандо.

Стр. 137. ...на свадьбе Камачо.— Намек на эпизод из романа Сервантеса: имеется в виду свадьба богатого крестьянина Камачо.

Стр. 139. Корпорация — имеется в виду избирательная корпорация: объединение избирателей самоуправляющегося местечка (бюро), пользующегося правом посылать депутата в парламент. Из семи с половиной миллионов населения избирательными правами пользовались лишь сто пятьдесят тысяч человек. В сельских бюро корпорации были особенно малочисленны, и каждый лишний голос имел значение для результатов выборов. Поэтому в них широко практиковался подкуп избирателей соперничающими партиями.

Стр. 140. Ритейл (Retail) — фамилия избирателя, в переводе означает розничный торговец.

Бедлам — сумасшедший дом в Лондоне.

Стр. 141. Олдермен — член городского самоуправления.

Стр. 143. Бриарей — согласно греческому мифу, великан, имевший пятьдесят голов и сто рук.

Аргус — мифическое существо, наделенное огромным количеством глаз, часть которых всегда бодрствовала.

Стр. 144. Фригольдеры — крестьяне, владевшие собственной землей либо имевшие землю в пожизненном пользовании. В данном случае речь идет о последних.

Стр. 145. ...сумасшедшего с оруженосцем, как он себя величает.— По-английски оруженосец и сквайр — одно слово, поэтому Баджер принял Санчо за сквайра, а Дон Кихот впоследствии Баджера — за оруженосца, выдающего себя за рыцаря.

Стр. 151. Корк — английский портовый город.

Стр. 152. Ридотто — публичный костюмированный бал.

Стр. 154. Гален Клавдий (ок. 130 — ок. 200 гг. до н. э.) — знаменитый древнеримский врач, приведший в систему все медицинские познания того времени.

Коук Эдуард (иначе Кок или Кук) (1552—1634) — один из основоположников современного английского права.

Стр. 156. ...двадцать шиллингов на гром и молнию.— В английском театре XVIII века гром и молния принадлежали к числу обязательных сценических эффектов при постановке трагедии.

Стр. 161. Черный акт — так обычно называли «охотничий закон», изданный в Англии в 1723 году. Закон получил свое название из-за одной статьи, которая гласит, что «всякий, вооруженный мечом или другим вредоносным оружием и зачернивший себе лицо, либо иным способом изменивший свою наружность и появившийся в каком-либо заповедном месте, где содержались или будут содержаться зайцы либо кролики, и надлежащим образом в этом уличенный,— карается смертью, как при уголовном преступлении».

Стр. 168. Коронная коллегия — коллегия суда королевской скамьи, занимавшаяся специально уголовными делами.

Иски на случай — иски за правонарушения, не предусмотренные законом. Ныне система «исков на случай» не существует.

Стр. 169. Вестминстер — имеется в виду Вестминстер-холл, в котором находились суды высшей инстанции.

ПАСКВИН

Стр. 173. Пасквин.— В эпоху Фильдинга это слово было обиходным и обозначало «насмешник», «критик». Произошло оно от названия обломка античной статуи, к которому в Риме, в эпоху Возрождения, прикрепляли сатирические стихи.

Стр. 174. Имена действующих лиц имеют аллегорический смысл. Трэпунт (Trapwit) — показное остроумие; Фастиан (Fustian) — ходульный; Снируэлл (Sneerwell) — насмешник; Плейс (Place) — местечко, выгодная должность; Промиз (Promise) — обещание; Фокс-чейз (Fox-Chase) — лисья охота; Танкард (Tankard) — пивная кружка.

Суфлер.— В театре XVIII века суфлер исполнял обязанности теперешнего помощника режиссера.

Стр. 175. ...Кофейня Кинга — кофейня в Лондоне, посещавшаяся самой бедной публикой.

Стр. 176. ...закон, отменяющий ведьм.— Средневековый закон о преследовании ведьм был отменен в Англии только в 1736 году.

Стр. 177. Квакер — член религиозной протестантской секты квакеров. Правила квакеров запрещают им присягу, военную службу, посещение театров, азартные игры, охоту, танцы, употребление спиртных напитков и даже торговлю предметами роскоши и порохом. Фильдинг, неоднократно изобличал квакеров в ханжестве и лицемерии.

Стр. 181. ...свобода, собственность и никакого акциза — лозунг сельской партии.

...олдермен Ститч.— Фамилии олдерменов указывают на их профессии: Ститч (Stitch) — портной; Дамаск (Damask) — торговец шелком; Тимбер (Timber) — торговец лесом; Айрон (Iron) — торговец металлическими изделиями.

Стр. 184. ...распивает чай в зеленой комнате.— Зеленая комната (термин, введенный К. Сиббером в 1701 году) — гостиная при

актерских уборных; здесь посетители театра, имевшие доступ за кулисы, угощали актрис.

Стр. 185. Фаринелло — псевдоним итальянского певца-кастрата Карло Броски (1705—1782), с большим успехом выступавшего в Лондоне. Насмешки Фильдинга в «Пасквине» и «Историческом календаре» заставили Фаринелло покинуть Англию.

«Пещера Мерлина» — пантомима Д. Рича.

Смитфильд — лондонский рынок, где в XVIII веке продавался скот.

Стр. 187. Я не желаю, чтобы над нами сидел папа римский.— Здесь заключен намек на то обстоятельство, что торийская партия, члены которой составляли ядро сельской партии, поддерживала католическую церковь.

Стр. 188. ...подобно автору «Цезаря в Египте» — то есть К. Сибберу (см. примечание к стр. 125).

Должности вроде пожирателя говядины.— Игра слов: beefeator означает также «лейб-гвардеец».

Стр. 189. Поэт-лауреат — почетная должность при английском дворе. Поэт-лауреат избирался из числа известных литераторов и получал большое содержание. В его обязанность входило писать оды по случаю придворных торжеств. Должность поэта-лауреата занимал в то время К. Сиббер.

...в книге «Дневник Фога».— Здесь заключен намек на статью лорда Честерфильда (см. примечание к стр. 123) в «Фогс уикли джорнал», в которой он иронически назвал английскую армию «армией восковых фигур».

Стр. 190. Якобит — якобитами называли сторонников свергнутой династии Стюартов (от имени последнего короля из этой династии Иакова и его сына Иакова-Эдуарда, претендовавшего на английский престол).

Стр. 193. «Крафтсмен» — печатный орган оппозиционной сельской партии.

«Дейли газеттер» — орган правительства.

Стр. 194. Миссис Осборн — так Фильдинг издевательски называл редактора «Дейли газеттер».

...вы действительно довольны миром в Европе? — Придворная партия придерживалась в этот период мирной политики, сельская стояла за вооруженное вмешательство в дела Европы.

Стр. 195. ...собирался всю комедию назвать «Веер».— Сцена с веером является намеком на предательство лорда Герви (иначе: Гарвея), перешедшего на сторону придворной партии. Герви имел прозвище «фэнни», созвучное с «фэн» (fan) — веер.

Стр. 196. Сент-Джемский парк — парк в Лондоне, в районе королевского дворца.

Стр. 200. ...несколько лет прослужил во Флите.— Священники лондонской тюрьмы Флит совершали тайные браки в тавернах, расположенных по дороге к тюрьме, на Флит-стрит.

Стр. 212. Джонсон Бен (Бенджамин) (1573—1637) — крупный английский драматург, современник Шекспира.

Драйден Джон (1631—1700) — английский поэт, драматург и критик, близкий к классицизму.

Ли Натаниэль (ок. 1653—1692) — английский поэт и драматург того же направления.

Роу Николас (1674—1718) — английский драматург, один из первых биографов и редакторов-издателей Шекспира.

Седлерс Уэллс — летний открытый театр с легким развлекательным репертуаром; в 1765 году на его месте было воздвигнуто здание современного театра.

Стр. 214. Фаэтон *(греч. миф.)* — сын бога солнца Феба. Объезжая небо на колеснице солнца, он не смог управиться с лошадьми, и солнце начало сжигать все на своем пути. Зевс опрокинул Фаэтона в море.

Стр. 220. Ванбру Джон (1664—1726) — английский драматург, один из поздних представителей комедии Реставрации.

Стр. 222. «Герлотрамбо» — нелепая пьеса танцмейстера и актера Самюэля Джонсона (1691—1773); одна из первых комедий Фильдинга, «Авторский фарс» (1730), являлась пародией на эту пьесу.

Стр. 224. Гудменс-фильдс — один из лондонских театров.

Крейн-Корт (буквально: «Журавлиный двор») — очевидно, намек на общество антикваров.

Стр. 225. Сквикаронелли — намек на Фаринелло (см. примечание к стр. 185).

«ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ»

Стр. 229. Книгопродавец.— Книгопродавец был тогда и издателем.

Стр. 231. Мельник из Менсфильда — герой народной баллады, включенной позднее в собрание песен, опубликованных Томасом Перси (1729—1811). По преданию, мельник из Менсфильда достойно принял у себя в доме короля Генриха II, не зная, кто он такой, и был возведен им за это в рыцарское звание.

П-во — правительство. Фильдинг намеренно дает это слово не полностью, как было принято воспроизводить неприличные слова.

«Крафтсмен» и «Коммон-Сенс» — органы оппозиционной сельской партии.

Стр. 233. Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — флорентийский историк, писатель и искусный дипломат, стремившийся к установлению сильной власти и уничтожению феодальной раздробленности Италии; некоторыми идеями Макиавелли воспользовались впоследствии для оправдания политической беспринципности.

Стр. 234. ...спутать... старого Ника со старым Бобом.— Старый Ник (так же «старый джентльмен») — шутливая кличка черта. Под именами «Старый Боб», «Боб», «Квидам» Фильдинг выводит первого министра английского правительства Роберта Уолпола.

Стр. 237. ...я почерпнул его более чем из дюжины — намек на пьесы драматургов, защищавших наиболее узкие, групповые интересы сельской партии. Подобные пьесы ставил Теофиль Сиббер, когда он руководил театром Хеймаркет (1734). Это место еще раз указывает на независимую по отношению к обеим партиям позицию, которую занимал Г. Фильдинг.

Стр. 240. ...Король Теодор — немецкий авантюрист барон Теодор фон Нехоф. В марте 1736 года, во время восстания корсиканцев против генуэзского владычества, предложил руководителям восстания помощь оружием, при условии, что будет провозглашен королем Корсики; после того как все европейские правительства отказались признать его, в ноябре того же года он покинул остров.

Стр. 244. Мистер Хен.— Слово «hen» по-английски — курица. В образе мистера Хена Фильдингом выведен известный в то время аукционист Кок (cock — петух).

Стр. 247. Эсквайр.— Это слово, присоединенное к фамилии, указывало на дворянское происхождение.

Все имена в этой сцене носят аллегорический характер: Хамдрам (Humdrum) — зануда; лорд Боф-Сайде (Both-sides) — лорд «И вашим и нашим»; Пипкин (Pipkin) — глиняный горшочек; Макдональд О'Тандер (O'Thunder) — Макдональд Громовержец; Гузквил (Goosequill) — дурацкое перо; Литтлвит (Littlewit) — недоумок.

Стр. 248. Уходя из армии, всякий продаст ее за наличные.— Намек на продажу офицерских патентов в армии.

Тотхил-фильдс — улица в Лондоне (позднее — Питер-стрит).

...принимала участие в одной или двух кампаниях в Хайд-парке.— Хайд-парк — крупнейший парк в Лондоне. В XVIII веке там обычно происходили дуэли.

Стр. 249. ...знаю лавку, где это обойдется дешевле.— Намек на систему подкупов, практиковавшихся правительством Роберта Уолпола.

Стр. 250. Пистоль — кличка актера Теофиля Сиббера. Известнейшей из сыгранных им считалась роль Пистоля (персонаж пьес Шекспира «Генрих IV», ч. II, «Виндзорские проказницы» и «Генрих V»). Друг Фильдинга, знаменитый художник Хогарт, изобразил его в этой роли.

Стр. 251. Роль Полли Пичум в пьесе Джона Гея отдать моей супруге знаменитой.— Речь идет о соперничестве из-за роли Полли Пичум в балладной опере Джона Гея «Опера нищего» (1728) между женой Теофиля Сиббера, известной актрисой Сусанной Марией Сиббер (1714—1766), и актрисой Катериной Клайв (1711—1785).

Когда поставил он свою «Загадку», когда приплыл в Египет славный Цезарь. Под этот свист великий Джон угас...— Имеются в виду пьесы К. Сиббера «Любовная загадка» (1729), «Цезарь в Египте» (1725) (переделка трагедии Корнеля «Помпей») и «Папская тирания в царствование короля Джона» (1736) (переделка исторической хроники Шекспира «Король Джон»). Последняя пьеса была настолько слабой, что актеры отказались в ней играть.

Стр. 252. Феспис (VI в. до н. э.) — по преданию, первый трагический поэт Афин.

Стр. 253. Граунд-Айви — под этим именем изображен Колли Сиббер. Слово Граунд-Айви (Ground-Ivy) приблизительно означает «присасывающийся».

Стр. 255. Две Полли — снова намек на соперничество из-за роли Полли Пичум в «Опере нищего» Джона Гея (см. примечание к стр. 251).

Стр. 258. Великий Лан.— Под этим именем Фильдинг неоднократно выводил в своих произведениях Джона Рича (1692—1761), руководителя театра Ковент-Гарден, постановщика пантомим и известного исполнителя пантомимных ролей арлекина.

Бомонт Франсис (1584—1616) и Флетчер Джон (1579—1625) — известные английские драматурги, современники Шекспира; многие пьесы написаны ими совместно.

ПАМФЛЕТЫ

«СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАРЬ»

Настоящий памфлет составлял первую часть 4-го номера «Ковент-гарденского журнала» (14 января 1752 г.). Заглавие у Фильдинга помещено непосредственно перед словарем, а вступительная часть оставлена без заглавия.

Стр. 261. ...не выражает ясной идеи.— Приведенное высказывание заимствовано из главного произведения философа Локка (1632—1704) «Опыт о человеческом разуме».

...законодатель всех видов речи.— Приведенное высказывание заимствовано из «Искусства поэзии» Горация (I, 71).

Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 140 гг. н. э.) — римский поэт-сатирик.

Стр. 262. Бэрроу Исаак (1630—1677) — английский математик и теолог, одна из его проповедей, «Долг и обязанность богатства перед бедностью», встретила горячее одобрение Г. Фильдинга. Писатель цитировал ее в трех номерах своего «Ковент-гарденского журнала» (22, 44, 69).

Тиллотсон Джон (1630—1694) — известный английский богослов, архиепископ Кентерберийский.

Кларк Самуэль (1626—1701) — известный комментатор библии.

Лист — обычное в журналистике XVIII века название номера журнала.

Стр. 263. ...голова, украшенная черной лентой.— Черная лента представляла собой отличительный знак офицера.

Стр. 264. Юмор.— Этот афоризм Фильдинга направлен против легких, развлекательных жанров, занявших большое место в лондонских театрах того времени, особенно против пантомимных представлений Джона Рича (см. примечание к стр. 258).

«ПИСЬМО ИЗ БЕДЛАМА»

Настоящий памфлет входил в 35-й номер «Ковент-гарденского журнала» (2 мая 1752 г.) и опубликован Фильдингом без заглавия.

Стр. 265. Дрокансер — комический персонаж пародийной пьесы «Репетиция» (1671), написанной герцогом Букингемом совместно с С. Бетлером и рядом других сотрудников. «Ковент-гарденский журнал» издавался Фильдингом под псевдонимом Дрокансер.

Анакреон (иначе: Анакреонт; VI в. до н. э.) — древнегреческий лирик, воспевавший в своих стихах вино, любовь и дружбу.

Стр. 267. Гудибрас — персонаж из одноименной поэмы Самуэля Бетлера (1612—1680), направленной против революционного пуританства. Фильдинг и другие представители демократического крыла просветителей обращались к поэме Бетлера, черпая в ней сатирический материал против современного им пуританства, ставшего после «революции» 1688 года охранительной идеологией буржуазии.

Стр. 268. Мизаргурус — имя автора письма означает: «ненавистник серебра» *(лат.)*.

ТРАКТАТ О НИЧТО

Стр. 269. ...отважных остроумцев времен Карла II.— Намек на комедиографов периода реставрации Стюартов в Англии (1660—1688).

Стр. 270. Из ничего и выйдет лишь ничто.— Шекспир, «Король Лир» (I, 1).

...сотворило ли мир Нечто из Ничто или Ничто из Нечто.— Речь идет о спорах между деистами и атеистами.

Стр. 272. Двух видимостей — то есть бога-отца и бога-сына.

Аргивяние — житель Аргоса, города-государства в древней Греции.

РОМАНЫ

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПОКОЙНОГО ДЖОНАТАНА УАЙЛЬДА ВЕЛИКОГО

«История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» была опубликована Фильдингом в третьем томе «смешанных сочинений» (1743), изданных по подписке после успеха романа «История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса». Однако роман, как установлено исследователями творчества Фильдинга, был написан до «Джозефа Эндруса». В 1754 году роман был подвергнут автором тщательной редактуре.

Стр. 281. Плутарх (ок. 50 — ок. 120 гг. н. э.) — греческий историк эпохи римского владычества, автор «Сравнительных жизнеописаний».

Светоний Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140 гг. н. э.) — римский историк; автор книги «Жизнеописание двенадцати цезарей».

Непот Корнелий (I в. до н. э.) — римский писатель, автор биографий исторических деятелей.

Аристид (ок. 540—467 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец. Возглавлял умеренно-демократическое течение.

Брут Марк-Юний (85—42 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, республиканец, убийца Юлия Цезаря.

Лисандр (год рождения неизвестен; ум. в 395 г. до н. э.) — спартанский наварх (командующий флотом) в период Пелопонесской войны; отличался неумеренным честолюбием.

Нерон (37—68 гг. н. э.) — римский император, известный своим честолюбием и жестокостью.

Стр. 282. Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.) — основатель Эллинской империи. Цезарь, Кай Юлий (100—44 гг. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, уничтоживший республиканский строй и провозгласивший себя императором.

Стр. 283. Принц Красавчик — герой одной из сказок Шарля Перро (1628—1703).

Стр. 284. Хенгист — по преданию, глава одного из англосаксонских племен, завоевавших Британию (V в.); вызвав вождей бриттов для переговоров, он перебил их.

Бург Губерт, де (ум. в 1243 г.) — английский государственный деятель; в царствование королей Джона и Генриха III занимал должность верховного джастикария (высшая государственная должность в Англии в XII и XIII веках). С 1216 по 1232 год ему фактически принадлежала вся власть в стране.

Джон Фальстаф — персонаж исторической хроники Шекспира «Генрих IV» и комедии «Виндзорские проказницы»; занимался грабежами на большой дороге.

...когда бы Гарри Пятый сдержал слово, данное старому собутыльнику.— Намек на известный эпизод из исторической хроники Шекспира «Генрих IV» (ч. II): принц Гарри, собутыльник Фальстафа, став королем Генрихом V, отказался от своего старого товарища.

...в годы гражданской войны.— Имеется в виду война между силами парламента и сторонниками короля Карла I, в период английской революции XVII века.

Стр. 285. Этот Эдвард.— Следует читать: Джемс; здесь несомненна либо оговорка автора, либо опечатка в первом издании книги, неисправленная в последующих.

Стр. 285. ...жизнь провел в ходатайствах по судебным делам несчастных узников Ньюгейта. —Ньюгейт — старинная тюрьма в Лондоне. Как явствует из текста, Эдвард (Джемс) был так называемым ньюгейтским ходатаем — подручным адвоката.

Верховный шериф — главное административное и судебное должностное лицо в английских графствах (областях).

Мидлсекс —графство, в которое входил Лондон, пока не был выделен в самостоятельное, Лондонское графство.

...раздавала апельсины всем желающим — то есть была продавщицей апельсинов в театре; это занятие в XVIII веке обычно служило прикрытием для проституции.

Стр. 286. ...лозы которого, разросшись, покрыли всю Азию...— Иранский царь Кир (ок. 558—529 гг. до н. э.), был основателем обширной империи, включавшей значительную часть Азии.

...от нее родился пожар, спаливший всю Трою.— Согласно древнегреческому преданию о Троянской войне, она началась из-за того, что Парис, сын троянского царя Приама, похитил Прекрасную Елену.

Ковент-Гарден — городской сад в Лондоне, получивший свое название, как и театр и известный собор, по району, в котором расположен.

Тит Отс — авантюрист, по ложному доносу которого в 1678 году было казнено пятнадцать человек, обвиненных в католическом заговоре. Имя Отса стало в Англии нарицательным для клеветника и лжесвидетеля.

Стр. 288. ...когда ему читали из восьмой песни «Энеиды» рассказ о Каке...— В восьмой песне «Энеиды» — поэмы древнеримского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.), рассказывается о том, как Геркулес сразил великана Кака, извергавшего из уст пламя.

...покойным шведским королем.— Имеется в виду шведский король Карл XII (1682—1718).

«Испанский жулик» — один из многочисленных испанских плутовских романов (пикаресков), переводившихся в Англии XVIII века.

«Плутни Скапена» (1671) — комедия Мольера (1622—1673).

Стр. 289. Ла Рюз (La Ruse) — по-французски: хитрость.

Томас Тимбл (Thimble) — по-английски: наперсток.

Стр. 292. Тауэр — старинная крепость в Лондоне, куда заключали государственных преступников; во внутреннем дворе тюрьмы совершались казни. Тайберн — место казни уголовных преступников.

Стр. 298. Плантации его величества в Америке — место ссылки.

Стр. 304. Смэрк (Smirk) — по-английски: надменная усмешка.

...которых природа... облачила в красное — то есть военные, одетые в красные кафтаны.

Мильтон Джон (1608—1674) — крупнейший поэт и публицист английской революции XVII века.

Стр. 305. ...Пол-ярда ленты — см. примечание к стр. 263.

...здесь... мы должны пойти по стопам Вергилия, опустившего кое-где pius и pater.— Pius — благочестивый, постоянный эпитет Энея в «Энеиде», выражающий почтительное отношение его к отцу, Анхису. Pater — отец. У Вергилия Анхис сопровождает Энея во всех его странствиях в качестве верного советчика.

Стр. 311. ...опубликованной им впоследствии апологии своей жизни.— Намек на вышедшую в 1740 году автобиографию К. Сиббера (см. примечание к стр. 125).

Конв...ция — конвокация, собрание представителей английской церкви, созываемое для решения вопросов управления церковью.

Стр. 326. Пенелопа — жена Одиссея, героя эпоса Гомера. В двадцатилетнее отсутствие Одиссея ее руки домогались многочисленные женихи. Пенелопа обещала выбрать себе мужа, когда кончит ткать саван для своего свекра, но ночью распускала сотканное за день.

Стр. 327. Фалестрида — по греческому мифу, царица амазонок, будто бы предложившая помощь Александру Македонскому в его борьбе против персов.

Анна Буллен.— Имеется в виду Анна Болейн (1504—1536), вторая жена английского короля Генриха VIII; казнена по обвинению в супружеской измене и кровосмешении.

Стр. 328. Дердеус Магнус («Великий Дерд») *(лат.)* — ирониче-

ское прозвище, которое Фильдинг дает одному из лондонских купцов, некоему мистеру Дерду, упоминаемому и в «Джозефе Эндрусе».

Стр. 332. ...на приеме у Старого Бейли.— Намек на Олд Бейли — центральный уголовный суд Лондона (old — старый).

Фирс (Fierce) — по-английски: свирепый.

Стр. 333. Свэггер (Swagger) — по-английски: чванство.

Стр. 334. Слай (Sly) — по-английски: хитрый.

Мистер Кетч (или Джек Кетч) — нарицательная кличка палача.

Кавалеры или тори-роры... круглоголовые, фиги.— Здесь к несколько измененным названиям партий тори и вигов присоединяются названия политических партий периода гражданской войны 40-х годов XVII века: «кавалеры» — сторонники династии Стюартов, и «круглоголовые» — сторонники парламента.

Стр. 335. ...в не совсем почетном смысле.— Все это примечание представляет собой пародию на ученые комментарии к произведениям классической литературы. Подобного рода комментарии Фильдинг высмеивал и пародировал неоднократно — в частности, в своей пьесе «Жизнь и смерть Тома Тама Великого, с примечаниями Скриблеруса Секундуса».

Стр. 336. Индоссант — лицо, сделавшее на обороте векселя передаточную надпись; в данном случае мистер Хартфри.

Стр. 339. Воксхолл — увеселительный сад в окрестностях Лондона.

Стр. 345. Капер.— По действовавшему в XVIII веке международному праву частные суда воюющих держав получали так называемое каперское свидетельство, по которому они имели право задерживать вражеские корабли. Захваченный корабль отводился в порт, где специальный суд решал, является ли он «призом»,— то есть признается ли собственностью капитана, офицеров и команды, захвативших его. Корабль и имущество поступали в продажу, а деньги делились между капитаном и командой. Каперство было уничтожено по конвенции европейских держав в 1854 году.

Стр. 353. Геродот (ок. 484—425 гг. до н. э.) — первый греческий историк.

Стр. 357. ...Сократ принял весть о том, что корабли прибыли и пора готовиться к смерти.— Согласно афинскому обычаю, казни не совершались в течение тридцати дней в году, пока афинский флот находился на празднике в Делосе.

Стр. 360. Роль Ахата при нашем Энее или... Гефестиона при нашем Александре.— Ахат — верный друг Энея, бежавший с ним вместе из Трои. История Энея рассказана в «Энеиде» — поэме римского писателя Вергилия (70—19 гг. до н. э.). Гефестион (год рождения неизвестен; ум. в 324 г. до н. э.) — ближайший друг Александра Македонского, выполнявший важнейшие его поручения.

Файрблад (Fireblood) — по-английски: горячая кровь.

Стр. 379. ...два весьма великих человека, чьи имена войдут, несомненно, в историю, с недавнего времени стали выходить на сцену, открыто рубя и кроша друг друга самым жестоким образом на забаву зрителям.— Речь идет, повидимому, о борьбе между премьер-министром Робертом Уол-

полом и одним из лидеров оппозиции Уиллингтоном, в 1742 году сменившим Уолпола на посту премьер-министра.

Стр. 382. ...мог бы уплатить по сорок шиллингов за фуит.— Несостоятельный должник мог, по соглашению с кредитором, уплатить по нескольку шиллингов за фуит. (В фуите двадцать шиллингов.)

Стр. 384. Блускин — действительный участник шайки Джонатана Уайльда, выданный им полиции.

Стр. 386. Достопочтенный — обращение к пэру Англии или члену королевского совета.

Стр. 416. Докторс Коммонс — коллегия юристов гражданского права; выдавала лицензии на брак (без церковного оглашения), ведала разводами, завещаниями и т. д.

Стр. 423. ...обладай я красноречием Цицерона или, к примеру, Туллия.— Речь идет об одном и том же лице — знаменитом древнеримском ораторе Марке Туллии Цицероне (106—43 гг. до н. э.).

ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ДЖОЗЕФА ЭНДРУСА И ЕГО ДРУГА АБРААМА АДАМСА

Стр. 439. ...автор этих небольших томов.— «Джозеф Эндрус» был первоначально издан в двух томах в двенадцатую часть листа.

Аристотель сообщает, что оно так же относилось к комедии, как «Илиада» к драме.— Речь идет о комической поэме «Маргит» (маргитос — по-гречески: дурак), которую Аристотель ошибочно приписывал Гомеру («О поэзии», гл. IV).

«Телемак» архиепископа Камбрэйского.— Фильдинг имеет в виду роман французского писателя Франсуа Фенелона (1651—1715) «Приключения Телемака» (1699), который представлял собой критику режима Людовика XIV и предлагал ряд буржуазных реформ в системе абсолютизма. Роман написан как «продолжение» «Одиссеи» Гомера.

Стр. 440. «Клелия», «Клеопатра», «Астрея», «Кассандра», «Великий Кир» — галантно-аристократические романы салонных писателей Франции XVII столетия, отличавшиеся намеренной вычурностью языка.

Бурлеск — название литературного жанра (расцвет его относится к 1640—1660 годам во Франции), возникшего как пародия на высокий стиль классицизма и героико-галантных аристократических романов. Для бурлеска характерны нарочитая обыденность изображаемых ситуаций, гротескность, грубоватость и сочность народного языка.

Стр. 441. Шефтсбери — Антони Эшли Купер граф Шефтсбери (1671—1713), английский философ, родоначальник одного из двух ведущих направлений так называемой «этической философии» XVIII века, основным тезисом которой было: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Шефтсбери много писал по вопросам эстетики.

Хогарт Вильям (также — Гогарт) (1697—1764) — известный английский художник, создавший серии гравюр, изобличавших темные стороны жизни современного ему буржуазно-аристократического общества. Друг Фильдинга.

Стр. 442. Аббат Бельгард Жан-Батист Морван, де (1648—1734) — третьестепенный французский литератор.

Стр. 446. ...история Джона Великого... история некоего графа Варвика, нареченного при крещении Гаем; жизнеописания Аргала и Парфении... и... история семи достойнейших мужей, поборников христианства,— средневековые истории, изданные в XVIII веке одной книжкой, озаглавленной: «Забавная история Джона и великанов; история Гая, графа Варвика; история Аргала и Парфении — лучших героев поэмы Филиппа Сиднея; и История семи христианских мучеников».

...я говорю о жизнеописаниях господина Колли Сиббера и госпожи Памелы Эндрус.— Речь идет об «Апологии жизни мистера Колли Сиббера, актера и бывшего совладельца Королевского театра» (1740), написанной им самим (см. примечание к стр. 125), и о романе С. Ричардсона (1689—1761) «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), который написан от имени героини.

Стр. 447. Гаффер и Гаммер — искаженные английские слова «grandfather» и «grandmather»; иначе говоря: дед да баба, старик и старуха.

...относится к основателю секты смеющихся философов, получившей впоследствии наименование «Эндру-затейников».— Согласно английскому преданию, некий Эндру Борд, врач, живший в XVI столетии, завоевывал себе клиентуру тем, что потешал своих пациентов шутовскими речами. Впоследствии «Эндру-затейниками» стали называть шутов, заманивавших на ярмарках публику в палатки знахарей, а затем и других ярмарочных шутов.

Стр. 448. Бубн (Booby) — по-английски: олух.

Джек Простак — так называли в Англии чучело, которое на великий пост использовали как мишень для метания палок.

Стр. 450. «Долг человека» — анонимный популярный трактат на этические темы, впервые опубликованный в 1659 году. «Фома Кемпийский» — очевидно, имеется в виду сочинение средневекового философа-мистика Фомы Кемпийского (1379—1471) «Подражание Христу» (ок. 1427), переведенное с латинского языка.

«Летопись» Бэкера — «Летопись английских королей» (1643) Ричарда Бэкера (1568—1645), в то время широко распространенная.

Стр. 452. ...со своими разноцветными собратьями — то есть с лакеями, одетыми в ливреи разных цветов.

Титл, Татл (Tittle-tattle) — по-английски: сплетни.

Стр. 453. ...которого мы с полным основанием станем называть отныне Джозефом — то есть Иосифом: намек на библейское сказание об Иосифе Прекрасном, проданном в рабство в Египет и отвергшем любовь жены царедворца Пентефрия.

Стр. 457. Ратафия — род наливки.

Стр. 461. Великий Рич (см. примечание к стр. 258). Геспер — греческое название планеты Венеры; у древних греков он считался символом ночи. Фетида — богиня моря у древних греков. Феб — бог солнца у древних греков.

Стр. 464. ...одни из сыновей Креза... вдруг заговорил,

хотя был нем.— Согласно легенде, персидский царь Кир, покорив Лидию, велел казнить ее царя, Креза (VI в. до н. э.). Перед казнью немой сын Креза внезапно воскликнул: «Воин, не убивай Креза!»

...зрителей в восемнадцатипенсовой галерее — то есть слуг и бедных горожан.

Бриджуотер, Вильям Миллз — второстепенные актеры английского театра первой половины XVIII века.

Фидий (V в. до н. э.) и Пракситель (IV в. до н. э.) — знаменитые греческие скульпторы.

Стр. 468. Брэмбл (Bramble) — по-английски: репейник; Паззл (Puzzle) — по-английски: путаница.

Стр. 471. ...в доме сэра Джона.— Фильдинг ошибся. Речь идет о сэре Томасе Буби.

Стр. 476. Оды нашего лауреата — намек на Колли Сиббера.

Стр. 477. Скоро к нам сюда объявятся человек тридцать — сорок несчастных бедняков в красных кафтанах — то-есть солдат. Речь идет о бесплатных постоях, ложившихся тяжелым бременем на население.

Стр. 478. Сгущение гуморов.— Фильдинг имеет в виду учение Гиппократа, крупнейшего врача древней Греции (460—377 гг. до н. э.), согласно которому физическое состояние человека зависит от пропорций между четырьмя жидкостями или соками (гуморами) — кровью, слизью, черной и желтой желчью.

Стр. 491. Сакбрайб (Suckbribe) — по-английски: тяни взятку.

...девять рукописных томов проповедей.— В главе XV говорится только о трех томах проповедей.

Стр. 497. Уайтфильд Джордж (иначе: Витфильд) (1714—1770), Уэсли Джон (1703—1791), Уэсли Чарльз (1708—1788) — деятели так называемого методизма — религиозного течения, основанного в 1728 году Джоном Уэсли. Методизм сыграл в Англии XVIII века чрезвычайно реакционную роль.

...проповедь, сказанная на тридцатое января.— 30 января — день казни короля Карла I Стюарта. Этот день отмечался сторонниками реставрации абсолютной монархии в Англии.

Стр. 498. Толанд Джон (1670—1722), Вулстон Томас (1669—1731) — английские философы-материалисты XVIII века. Оба они не раз выступали против духовенства и религиозных предрассудков.

Стр. 499. «Простой Отчет о Природе и Цели Причастия».— Эта книга написана епископом Бенджаменом Ходли, другом Фильдинга. Ходли выступал также как комедиограф («Недоверчивый муж»).

Стр. 500. Левиафан — библейское чудовище. Здесь Фильдинг намекает на сочинение философа-материалиста XVII века, Томаса Гоббса «Левиафан»; этим словом Гоббс обозначает буржуазное государство.

Стр. 501. Ингредиенции — в смысле «ингредиенты», составные части.

Стр. 505. Монтень Мишель (1533—1592) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор знаменитой книги «Опыты», направленной против схоластической философии средних веков.

Стр. 506. ...против великого грека — то есть Гомера.

...римским поэтом — то есть Вергилием.

Стр. 507. Феокрит (III в. до н. э.) — греческий поэт, представитель так называемой «буколической» (пастушеской) поэзии; автор многочисленных идиллий и сценок из жизни пастухов.

Стр. 509. Эсхил (525—456 гг. до н. э.) — крупнейший древнегреческий трагик.

Стр. 514. ...обирать простаков при помощи наперстков и пуговицы.— Во времена Фильдинга существовала азартная ярмарочная игра, в которой надо было угадать, под каким из трех наперстков лежит пуговица.

Стр. 517. Грэйв-Эрс (Grave-Airs) — по-английски: важный.

Стр. 522. Аттал.— Речь идет об Аттале III (годы царствования 138—133 гг. до н. э.), царе Пергама (город и царство эллинистической эпохи в Малой Азии).

Стр. 525. ...самоуверенность у нее была превыше коринфской... превыше, чем у самой Лаиды.— В древней Греции коринфские гетеры встречались только с богатыми людьми; Лаида была самой недоступной из них.

Стр. 532. Призрак Отелло.— Речь на самом деле идет о призраке Банко (персонаж трагедии Шекспира «Макбет»).

Стр. 541. Дело под Картахеной.— Картахена — порт на Карибском море, вблизи которого в 1741 году английский адмирал Вернон потерпел поражение от испанского флота.

Стр. 542. Кортли (Courtly) — по-английски: придворный.

Стр. 543. Фикл (Fickle) — по-английски: вздор. Харти (Hearty) — по-английски: сердечный.

Стр. 545. Парис у него сражается, а Гектор бежит.— Имеются в виду два эпизода из «Илиады»: поединок Париса, обычно уклонявшегося от боя, с царем Менелаем, у которого он похитил жену; и попытка мужественного Гектора спастись бегством от Ахилла, в поединке с которым ему суждено погибнуть.

Помпей Гней (106—48 гг. до н. э.) — римский полководец и политический деятель.

Патеркул (I в. н. э.) — римский историк, автор «Краткой истории Рима».

Стр. 549. Кенсингтон, Айлингтон, Гакней, Боро — районы Лондона.

Стр. 551. Шеппард Джек — разбойник, два раза бежавший из ньюгейтской тюрьмы.

Стр. 553. Турпин Дик — известный разбойник; кончил жизнь на виселице.

Турпис — по-латыни: непристойный.

Стр. 559. Пигмалион — легендарный греческий скульптор; влюбился в созданную им самим статую прекрасной девушки.

Нарцисс *(греч. миф.)* — прекрасный юноша, влюбившийся в собственное отражение в воде; не в силах оторвать от него свой взгляд, он умер на берегу ручья.

Стр. 562. Медвежий Сад его величества — так назывались загоны, в которых происходила травля медведей на глазах у зрителей.

Стр. 563. Секондхенд (Secondhand) — по-английски: второго сорта.

Стр. 565. ...взор, каким на сцене дарит Октавию Клеопатра.— Намек на эпизод из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра». Октавия — соперница Клеопатры; сестра Цезаря и жена Антония.

Стр 580. Сенека Люций Анней (3—65 гг. н. э.) — древнеримский философ-стоик и автор трагедий; занимался по преимуществу вопросами этики.

Стр. 584. Геркулесовы столбы — древнее название Гибралтарского пролива.

Сцилла и Харибда *(греч. миф.)* — страшные чудовища, нападавшие на мореплавателей в узком проливе, отделяющем Италию от Сицилии.

...где был застигнут Архимед при взятии Сиракуз.— Архимед (ок. 287—212 гг. до н. э.), крупнейший математик древности, убит при взятии Сиракуз римлянами.

Циклады (Киклады) — острова в южной части Эгейского моря.

Аполлоний Родосский (ок. 295—215 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт эллинистического периода, автор поэмы «Аргонавтика», написанной по мотивам мифа о походе Язона в Колхиду (древнегреческое название страны на западном побережье Кавказа) за «золотым руном» — шкурой барана, на котором Гелла, дочь царя Афаманта и богини облаков Нефелы, бежала со своим братом от преследований мачехи. Когда они переплывали морской пролив, Гелла соскользнула с барана и утонула.

Понт Эвксинский — древнегреческое название Черного моря.

Левант — средневековое название стран Востока; с XIII—XIV веков так стали называть Ближний Восток.

Стр. 587. Лорд Кларендон Эдвард Хайд (1608—1674) — реакционный историк буржуазной революции в Англии («История великого мятежа»); Уитлок Балстрод (1605—1676) — автор книги о том же историческом периоде, сторонник вождя революции Кромвеля; Ичард Лауренс (1670—1730) — английский историк, автор истории Англии с периода римского владычества до воцарения короля Вильгельма III, то есть до 1689 года; Рапен Поль, де (1661—1725) — автор восьмитомной «Истории Англии» (1724), сторонник «революции» 1689 года.

Стр. 588. Карденно, Фернандо, Ансельмо, Камилла, Лотарио — герои вставных новелл и эпизодов в «Дон Кихоте» Сервантеса.

Жиль Блаз — герой одноименного романа (1735) французского писателя периода Просвещения Алена Рене Лесажа (1668—1747).

Скаррон Поль (1610—1660) — французский писатель, один из создателей жанра «бурлеск», автор одного из первых реалистических романов французской литературы — «Комический роман» (1654).

...в историях Марианны и Удачливого крестьянина.— Речь идет о романах «Марианна» (1741) и «Удачливый крестьянин» (1736) Пьера Мариво (1688—1763), французского комедиографа и романиста периода Просвещения.

...повестей и «Атлантид» — Фильдинг намекает на серию сатирических произведений английской писательницы Мери Мэнли (1672—1724) под общим заглавием «Новая Атлантида».

Бальзак Жан-Луи Гез, де (1594—1654) — французский писатель периода классицизма.

Стр. 595. Поп Александр (1688—1744) — английский поэт и критик, представитель просветительского классицизма. Широкой известностью пользовались его переводы «Илиады» и «Одиссеи» Гомера.

Стр. 596. Эврипид (485—409 гг. до н. э.) и Софокл (496—406 гг. до н. э.) — древнегреческие трагики.

Стр. 597. Текмесса — героиня трагедии Софокла «Аякс» (иначе: «Аянт»).

Стр. 599. Дасье Анна (1654—1720) — известная французская переводчица Гомера, знаток античной литературы.

Конгрив Уильям (1670—1729) — крупнейший представитель школы реакционной комедии эпохи реставрации Стюартов. Фильдинг признавал Конгрива как большого мастера языка и комедийной интриги, но всегда боролся с продолжателями реакционных тенденций этого драматурга.

Стр. 601. Весталки — жрицы древнеримской богини Весты, дававшие обет целомудрия.

Стр. 604. Герцог Мальборо, Джон Черчилль (1650—1722) — английский полководец и государственный деятель.

Стр. 610. Бейлиф — чиновник, который производил арест должника и в течение определенного срока держал его у себя в доме. Должника, не уплатившего за это время причитающиеся с него деньги, отправляли в тюрьму.

Стр. 611. Прайор Метью (1664—1721) — английский поэт, близкий к просветительскому классицизму.

Стр. 612. ...сам Платон не питал большего отвращения к поэтам.— Согласно теории древнегреческого философа-идеалиста Платона чувства не могут быть источником истинного знания. Поэтому, утверждает Платон, в совершенном государстве не должно быть места для художников и поэтов.

Стр. 624. «Катон» (1713) — трагедия Джозефа Аддисона (1672—1719), политического деятеля и основателя английской буржуазной журналистики. «Катон» — образец просветительского классицизма в английской литературе XVIII века.

Хирон *(греч. миф.)* — мудрый кентавр (получеловек-полулошадь), воспитавший Ахилла и других героев.

Стр. 626. Аммиконии, Поль Воронез, Тициан или Хогарти.— Речь идет об итальянских живописцах: Джакопо Аммиконии, Паоло Веронезе, Тициане и английском художнике-сатирике, друге Фильдинга,— Хогарте.

Стр. 627. ...о каком-то Ал... Ал...— не помню имени — намек на друга Фильдинга Ральфа Аллена, оказывавшего материальную помощь писателю.

Генлей Джон (иначе: Хенли) (1692—1756) — проповедник, известный в Англии XVIII века под кличкой «оратор Хенли»; издавал газету «Гип доктор» в защиту правительства Роберта Уолпола. Враг Фильдинга.

Стр. 629. Тури — герой «Энеиды» Вергилия.

Стр. 630. Маллет Дэвид (1705—1765) — английский поэт-сентименталист.

...к тому посвящению и предисловию или к тем переводам, которые охотно вычеркнула бы из биографии Цицерона».— Намек на «Жизнеописание Марка Туллия Цицерона» Коньера Мидльтона, появившееся в начале 1741 года с посвящением лорду Герви (см. примечание к стр. 195).

...изображать Горгону — то есть Медузу Горгону *(греч. миф.)*, уродливое чудовище, взгляд которого превращал все живое в камень.

Стр. 631. Диана — богиня охоты у древних греков.

Стр. 638. Сципион — Сципион Эмилиан Африканский-младший (II в. до н. э.), выдающийся римский полководец и государственный деятель.

Лелий Мудрый, Гай (185—115 гг. до н. э.) — римский народный трибун.

Стр. 641. ...кто знаком с нашими законами, того не удивит, что патер не спешил в этом признаться,— то есть признаться в том, что он священник римско-католической церкви: в Англии XVIII века католики не имели права занимать общественные и государственные должности.

Стр. 647. Бут Бартон (1681—1733) — известный трагический актер, один из руководителей театра Дрюри-Лейн.

Беттертон Томас (1635—1710) — крупный английский трагический актер. Сэндфорд — английский актер того же периода.

Стр. 648. Фентон Илия (1683—1730) — английский поэт-классицист; трагедия «Мариамна» опубликована им в 1723 году.

...ваш Дилло или Лилло — Джордж Лилло (1693—1739), английский драматург, автор первых мещанских драм в английской литературе; пользовался поддержкой Фильдинга.

Квин и Дилен... Сиббер... Маклин... Клайв — крупные актеры английского театра того времени. Здесь речь идет о Теофиле Сиббере (1703—1758), сыне Колли Сиббера.

Стр. 652. «Утешение».— Имеется в виду сочинение римского философа Боэция (480—524 гг. н. э.), последователя идеализма Платона.

«Совестливые влюбленные» (1722) — нравоучительная комедия драматурга и журналиста Ричарда Стиля (1672—1729).

Стр. 658. ...говоря языком одного небезызвестного апологета — намек на Колли Сиббера.

Стр. 659. Гимнософисты — буквально: нагие мудрецы; так называли в древней Греции индийских философов, проповедовавших крайний аскетизм.

Стр. 669. Фролик (Frolick) — по-английски: шалун.

Стр. 689. Окончание опускаю, как чуждое моим целям.— Полностью этот стих гласит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем».

Если б Авраам настолько любил... Исаака, что отказался бы от... жертвы.— По библейскому преданию, бог, испытывая веру Авраама, библейского патриарха, приказал ему принести в жертву сына Исаака, но отвел нож Авраама, убедившись в его покорности.

Стр. 691. ...не те, с какими недостойный младший брат желает старшему радости в сыне.— Согласно английским законам того времени, наследство не делилось на доли, а переходило целиком к старшему сыну; если же он умирал бездетным — к следующему по старшинству в семье.

Стр. 694. Lege Дик.— Ошибка автора: в предыдущей главе сына Адамса звали Джек.

Стр. 712. Гилас — в греческой мифологии сын дрнопского царя Фейодома, убитого Гераклом; слабый, женственный юноша.

Стр. 713. ...как и водни Саула.— Намек на библейское сказание об эндорской волшебнице, к которой пришел накануне битвы царь Саул.

Стр. 714. Эдип *(греч. миф.)* — царь Фив. Воспитанный пастухом, он юношей отправляется на поиски своих родителей, по неведению убивает своего отца и женится на матери. Когда Эдипу стало известно, что он совершил преступление, он ослепил себя.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Мокульский. Генри Фильдинг — великий английский просветитель III

ПЬЕСЫ

Политик из кофейни, или Судья в ловушке. *Перевод К. Чуковского* и *Т. Литвиновой* 3

Опера Граб-стрита, или у жены под башмаком. *Перевод Ю. Кагарлицкого* 71

Дон Кихот в Англии. *Перевод Ю. Кагарлицкого* . . . 121

Пасквин. *Перевод Т. Рубинштейн* 173

Исторический календарь за 1736 год. *Перевод Ю. Кагарлицкого* 227

ПАМФЛЕТЫ

Перевод Ю. Кагарлицкого

Современный словарь 261

Письмо из Бедлама 265

Трактат о Ничто 269

РОМАНЫ

Перевод Н. Вольпин

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ПОКОЙНОГО ДЖОНАТАНА УАЙЛЬДА ВЕЛИКОГО

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I, показывающая, какую мы получаем пользу, увековечивая подвиги удивительных явлений природы, именуемых великими людьми 281

Глава II, дающая отчет о всех предках нашего героя, каких удалось выискать в хламе древности, тщательно обследованном с этой целью 283

Глава III. Рождение, родня и воспитание мистера Джонатана Уайльда Великого 285

Глава IV. Мистер Уайльд совершает свой первый выход в свет. Его знакомство с графом Ла Рюз . . . 289

Глава V. Обмен мыслями между юным мастером Уайльдом и графом Ла Рюз, перешедший в препирательство, но разрешившийся затем самым мирным, спокойным и естественным образом 291

Глава VI. Дальнейшие переговоры между графом и мастером Уайльдом и прочие великие дела . 295

Глава VII. Мастер Уайльд отправляется в путешествие и возвращается снова домой. Очень короткая глава, обнимающая неизмеримо больший период времени и меньший материал, чем любая другая во всей нашей повести 297

Глава VIII. Похождение, при котором Уайльд, производя раздел добычи, являет удивительный образец величия 299

Глава IX. Уайльд навещает мисс Летицию Снэп. Описание этой прелестной молодой особы и безуспешный исход исканий мистера Уайльда 302

Глава X. Раскрытие некоторых обстоятельств касательно целомудренной Летиции, которые сильно удивят, а возможно, и смутят нашего читателя . . . 304

Глава XI, содержащая замечательный образец величия, не уступающий тем, какие дает нам древняя и новая история. Заканчивается некоторыми здравыми указаниями веселым людям 305

Глава XII. Новые подробности касательно мисс Тиши, которые после прежних едва ли сильно удивят читателя. Описание очень изящного джентльмена. И диалог между Уайльдом и графом со ссылками на добродетель и т. д. и т. д. 307

Глава XIII. Глава, которой мы чрезвычайно гордимся, видя в ней поистине наш шедевр. Она содержит в себе чудесную историю о дьяволе и неподражаемо изящную сцену, в которой торжествует честь . . . 310

Глава XIV, в которой история величия идет дальше 313

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I. Глупцы, их душевный склад и надлежащее использование, для которого они рождены на свет . 318

Глава II. Великие примеры величия, проявленные Уайльдом как в его поведении с Бэгшотом, так и в его замысле сперва при посредстве графа провести Томаса Хартфри, а потом обмануть графа и оставить его без добычи 321

Глава III, содержащая сцены любви, нежности и чести,— все в высоком стиле 324

Глава IV, в которой Уайльд после долгих бесплодных стараний разыскать друга произносит по поводу своего несчастья нравоучительную речь, каковая (если правильно ее понять) может пригодиться кое-кому из видных ораторов 328

Глава V, содержащая ряд удивительных похождений, которые с превеликим величием совершил наш герой 330
Глава VI. О шляпах 334
Глава VII, показывающая, к каким последствиям привели сношения Хартфри с Уайльдом,— вполне естественным и обычным для маленьких людей в общении с великим человеком; а также некоторые образцы писем, отражающие несколько способов отвечать заимодавцу 336
Глава VIII, в которой наш герой поднимает величие на беспримерную высоту 339
Глава IX. Все больше величия в Уайльде. Низкая сцена между миссис Хартфри и ее детьми и план нашего героя, достойный наивысшего восхищения и даже изумления 342
Глава X. Приключения на море, удивительные и необычные 344
Глава XI. Высокое и удивительное поведение нашего героя в лодке 346
Глава XII. Странное, но все же естественное спасение нашего героя 348
Глава XIII. Исход приключения с лодкой и конец второй книги 350

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава I. Низкое и жалкое поведение мистера Хартфри и глупость его приказчика 352
Глава II. Монолог Хартфри, полный низменных и пошлых мыслей и лишенный всякого величия . . 354
Глава III, в которой наш герой идет дальше дорогой величия 357
Глава IV, в которой впервые появляется необыкновенно многообещающий молодой герой; и о других великих делах 359
Глава V. Все больше и больше величия, беспримерного как в подлинной истории, так и в романах . 361
Глава VI. Исход похождений Файрблада; и брачный контракт, переговоры о коем могли бы вестись одинаково и в Смитфильде и в Сент-Джемсе 365
Глава VII. Дела, предшествовавшие бракосочетанию мистера Джонатана Уайльда с целомудренной Летицией 367
Глава VIII. Супружеский разговор, происходивший между Джонатаном Уайльдом, эсквайром, и его женой Летицией утром четырнадцатого дня после празднования их бракосочетания и закончившийся более мирно, чем это обычно бывает при такого рода дебатах 370
Глава IX. Замечания по приведенному выше диалогу и низкие намерения нашего героя, которые должны показаться презренными каждому ценителю величия 373

Глава X. Мистер Уайльд с небывалым великодушием приходит на свидание к своему другу Хартфри и встречает неблагодарный прием 375

Глава XI. Глубоко продуманный проект, посрамляющий все интриги нашего века; с первым и вторичным отступлениями 378

Глава XII. Новые примеры глупости Френдли и т. д. 380

Глава XIII. Кое-что относительно Файрблада, что удивит читателя; и кое-что касательно одной из девиц Снэп, что его сильно смутит 382

Глава XIV, в которой наш герой произносит речь, достойную прославления. И о поведении одного из участников шайки, более противоестественном, пожалуй, чем все, что рассказано в этой хронике . . . 384

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I. Замечание священнослужителя, которое следовало бы начертать золотыми буквами; образец безмерного неразумия Френдли и страшное несчастье, постигшее нашего героя 388

Глава II. Несколько слов о неблагодарности народной. Прибытие мистера Уайльда в замок и прочие происшествия, о каких не повествует ни одна другая историческая хроника 391

Глава III. Любопытные анекдоты из истории Ньюгейта 394

Глава IV. Томасу Хартфри вынесен смертный приговор, по случаю чего Уайльд выказывает некоторую слабость человеческую 398

Глава V. О разных вещах 399

Глава VI, в которой дается объяснение предыдущему счастливому событию 402

Глава VII. Миссис Хартфри рассказывает свои приключения 404

Глава VIII, в которой миссис Хартфри продолжает рассказ о своих приключениях 408

Глава IX, содержащая ряд неожиданных происшествий 411

Глава X. Страшный переполох в замке 415

Глава XI. Исход приключений миссис Хартфри . . . 417

Глава XII. Хроника возвращается к созерцанию величия 421

Глава XIII. Диалог между пастором Ньюгейта и мистером Джонатаном Уайльдом Великим, в котором священнослужитель с великой ученостью толкует о смерти, бессмертии и прочих важных предметах . 422

Глава XIV. Уайльд достигает вершины человеческого величия 427

Глава XV. Характеристика нашего героя и заключение хроники 430

ИСТОРИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ДЖОЗЕФА ЭНДРУСА И ЕГО ДРУГА АБРААМА АДАМСА

Написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон Кихота

Предисловие автора 439

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I. О биографиях вообще и биографии Памелы в частности; и попутно несколько слов о Колли Сиббере и других 445

Глава II. О мистере Джозефе Эндрусе, о его рождении, происхождении, воспитании и великих дарованиях, и в добавление несколько слов о его предках . . . 447

Глава III. О священнике мистере Абрааме Адамсе, о камеристке миссис Слипслоп и о других 449

Глава IV. Что произошло по переезде в Лондон . . 452

Глава V. Смерть сэра Томаса Буби, горькая и страстная скорбь его вдовы и великая чистота Джозефа Эндруса 453

Глава VI. Джозеф Эндрус пишет письмо своей сестре Памеле 455

Глава VII. Изречения мудрых мужей. Диалог между леди и ее камеристкой и панегирик любовной страсти — или, скорее, сатира на нее в возвышенном стиле 458

Глава VIII, в которой после некого весьма изящного описания рассказывается о свидании между леди и Джозефом, когда сей последний явил пример, коему мы в наш порочный век не надеемся увидеть подражания со стороны лиц его пола 461

Глава IX. О том, что произошло между леди и миссис Слипслоп; причем предупреждаем, что тут встретятся такие вещи, которые не каждый правильно поймет при первом чтении 465

Глава X. Джозеф пишет еще одно письмо; его расчеты с мистером Питером Паунсом и т. д. и уход его от леди Буби 469

Глава XI. О некоторых новых неожиданных обстоятельствах 470

Глава XII, содержащая ряд удивительных приключений, которые постигли Джозефа Эндруса в дороге и покажутся почти невероятными тому, кто никогда не путешествовал в почтовой карете 473

Глава XIII. Что случилось с Джозефом на постоялом дворе во время его болезни, и любопытный разговор между ним и мистером Барнабасом, приходским пастором 478

Глава XIV, полная приключений, которые следовали в гостинице одно за другим 481

Глава XV, показывающая, как миссис Тау-Вауз смилостивилась и как Барнабас и врач ревностно преследовали вора; с добавлением рассуждения о причинах их усердия равно как и рвения многих других лиц, в нашей истории не упомянутых 486

Глава XVI. Побег вора. Разочарование мистера Адамса. Прибытие двух весьма необычайных личностей и знакомство пастора Адамса с пастором Барнабасом 489

Глава XVII. Приятный разговор между двумя пасторами и книгопродавцем, прерванный злосчастным происшествием, приключившимся в гостинице и вызвавшим не очень ласковый диалог между миссис Тау-Вауз и ее служанкой 496

Глава XVIII. История горничной Бетти и объяснение причин, коими вызвана была бурная сцена в предыдущей главе 501

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I. Об искусстве разделения у писателей . . . 504

Глава II. Поразительный пример забывчивости мистера Адамса и ее печальные последствия для Джозефа . 506

Глава III. Мнение двух законоведов об одном и том же джентльмене и допрос, устроенный Адамсом хозяину относительно его веры 510

Глава IV. История Леоноры, или Несчастная прелестница 515

Глава V. Страшная ссора, происшедшая в гостинице, где обедало общество, и кровавые ее последствия для мистера Адамса 529

Глава VI. Окончание рассказа о несчастной прелестнице 536

Глава VII. Совсем короткая глава, в которой пастор Адамс успевает уйти довольно далеко 540

Глава VIII. Достопримечательная речь мистера Абраама Адамса, в которой сей джентльмен выступает перед нами в политическом свете 542

Глава IX, в которой джентльмен витийствует о геройстве и доблести, покуда несчастный случай не обрывает его речь 545

Глава X, в которой повествуется о неожиданной развязке предыдущего приключения, вовлекшей Адамса в новые бедствия; и о том, кем была женщина, обязанная сохранением своей чистоты его победоносной руке 549

Глава XI. Что с ними произошло у судьи. Глава, преисполненная учености 553

Глава XII. Приключение, весьма приятное как для лиц, замешанных в нем, так и для добросердечного читателя 558

Глава XIII. Рассуждение о высоких лицах и низких и отчет о том, как миссис Слипслоп отбыла в не слишком хорошем расположении духа, оставив в плачевном состоянии Адамса и его друзей 562

Глава XIV. Свидание пастора Адамса с пастором Траллибером 567

Глава XV. Неожиданное приключение — следствие явленного пастором Адамсом нового примера забывчивости 572

Глава XVI. Весьма любопытное приключение, в котором мистер Адамс больше проявил сердечной простоты, нежели искушенности в мирских делах . . 575

Глава XVII. Диалог между мистером Абраамом Адамсом и его хозяином, который в силу несходности их мнений привел бы, может быть, к бедственной развязке, не помешай тому своевременное возвращение влюбленных 581

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава I. Вступительное слово в прославление биографии 587

Глава II. Ночная сцена, во время которой на долю Адамса и его спутников выпало несколько удивительных приключений 591

Глава III, в которой джентльмен рассказывает историю своей жизни 599

Глава IV. Описание образа жизни мистера Вильсона. Трагическое происшествие с собакой и другие важные события 619

Глава V. Спор о школах, происходивший между мистером Абраамом Адамсом и Джозефом в дороге, и неожиданное открытие, приятное для обоих . . . 622

Глава VI. Нравственные рассуждения Джозефа Эндруса; и случай на охоте с чудесным избавлением пастора Адамса 626

Глава VII. Сцена издевательства, изящно приспособленная к новым временам и вкусам 633

Глава VIII, которую некоторые читатели почтут слишком короткой, а другие слишком длинной 640

Глава IX, заключающая в себе самые удивительные и кровавые приключения, какие только можно встретить в этой, а может быть, и во всякой другой достоверной истории 643

Глава X. Беседа между актером и поэтом, приводимая в этой повести единственно с целью развлечь читателя 646

Глава XI, содержащая увещания пастора Адамса, обращенные к его убитому горем другу; написана в целях наставления и усовершенствования читателя . . 650

Глава XII. Еще приключения, которые, надеемся мы, не только удивят, но и порадуют читателя 653

Глава XIII. Любопытный диалог, имевший место между мистером Абраамом Адамсом и мистером Питером Паунсом и более достойный прочтения, чем все труды Колли Сиббера и многих других . . . 658

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I. Прибытие леди Буби и всех остальных в Буби-холл 661

Глава II. Диалог между мистером Абраамом Адамсом и леди Буби 665

Глава III. Что произошло между леди и адвокатом Скаутом 667

Глава IV. Короткая глава, содержащая, однако, весьма существенные материи, в частности — прибытие мистера Буби и его супруги 670

Глава V, содержащая в себе судебные материалы: любопытные образцы свидетельских показаний и прочие вещи, небезинтересные для мировых судей и их секретарей 671

Глава VI, из которой вас просят прочесть ровно столько, сколько вам будет угодно 676

Глава VII. Философские рассуждения, подобных которым не встретишь в каком-нибудь легком французском романе. Внушительный совет мистера Буби Джозефу и встреча Фанни с прельстителем 681

Глава VIII. Разговор, имевший место между мистером Адамсом, миссис Адамс, Джозефом и Фанни; и кратко о поведении мистера Адамса, которое кое-кто из читателей назовет недостойным, нелепым и противоестественным 687

Глава IX. Визит, нанесенный пастору доброй леди Буби и ее благовоспитанным другом 692

Глава X. История двух друзей, которая может послужить полезным уроком для всех, кому случилось поселиться в доме у супружеской четы 695

Глава XI, в которой история идет дальше 700

Глава XII, из которой добросердечный читатель узнает нечто такое, что не доставит ему большого удовольствия 703

Глава XIII. Возвращаясь к леди Буби, мы узнаем кое-что о страшной борьбе в ее груди между любовью и гордостью, и о том, что произошло после нежданного открытия 705

Глава XIV, содержащая ряд любопытных ночных приключений, в которых мистер Адамс был не раз на волосок от гибели — частью из-за своей доброты, частью же из-за рассеянности 709

Глава XV. Прибытие Гаффера и Гаммер Эндрусов, а также еще одной особы, которую не очень ждали; и полное разрешение трудностей, воздвигнутых коробейником 714

Глава XVI и последняя, в которой эта доподлинная история приводится к счастливому концу 717

Примечания *Ю. Кагарлицкого* 723

Редактор *А. Миронова*

Оформление художника *Л. Зусмана*

Художеств. редактор *А. Ермаков*

Техн. редактор *Д. Ермоленко*

Корректор *А. Иванова*

*

Сдано в набор 14/VI 1954. Подписано к печати 2/IX 1954. А 05935. Бумага 60 X 92 1/16 — 49,25 печ. л. 47,9 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1780. Цена 14 р.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

*

Набрано и сматрицировано в 3-й типографии «Красный пролетарий» Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано 1-й Образцовой типографией имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва, Валовая, 28.